UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00309456 2

М. Е. САЛТЫКОВЪ

[Н. ЩЕДРИНЪ]

СОЧИНЕНІЯ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ:

Господа Ташкентцы.—Дневникъ провинціала въ Петербургѣ.—Убѣжище Монрепо.—Культурные люди.

ИЗДАНІЕ АВТОРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7.

1889.

PG
3361
S3
1889
t. 4

LIBRARY
AUG 30 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

1003973

СОДЕРЖАНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ.

СТРАН.

Отъ автора 1
Введеніе 2
I.—Что такое „ташкентцы“ 14
II.—Ташкентцы-цивилизаторы 29
III.—Они-же 44
IV.—Ташкентцы приготовительнаго класса:
Первая параллель 63
Вторая „ 91
Третья „ 124
Четвертая „ 166

ДНЕВНИКЪ ПРОВИНЦІАЛА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Глава I. 215
„ II. 228
„ III. 250
„ IV. 274
„ V. 298
„ VI. 320
„ VII. 340
„ VIII. 361
„ IX. 382
„ X. 398
„ XI. 423

УБѢЖИЩЕ МОНРЕПО.

СТРАН.

I.—Общій обзоръ 451
II.—Тревоги и радости въ Монрепо́ 473
III.—Монрепо́-усыпальница 500
IV.—Finis Монрепо̀ 520
V.—Предостереженіе 548

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ.

I.—Культурная тоска 571
II.—Продолженіе тоски и появленіе Прокопа 576
III.—Между своими 583
IV.—Поѣхали 590
V.—Тайна, облекающая личность восточнаго человѣка, слегка разъясняется. 598—602

ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ

КАРТИНЫ НРАВОВЪ.

ОТЪ АВТОРА.

Изслѣдованіе о „Ташкентцахъ“ распадается на двѣ части: „Ташкентцы приготовительнаго класса“ и „Ташкентцы въ дѣйствіи“. Настоящимъ томомъ оканчивается первая часть, составляющая сама по себѣ отдѣльное цѣлое. Я отнюдь не имѣю претензіи утверждать, что въ представляемыхъ здѣсь вниманію читателя параллеляхъ исчерпывается все, что могло бы подойти подъ эту рубрику, но ежели бы я пошелъ еще далѣе въ воспроизведеніи различныхъ типовъ „ташкентства“, то работѣ моей, пожалуй, не было бы конца. Притомъ же въ намѣреніяхъ моихъ было написать ежели не романъ въ собственномъ значеніи этого слова, то болѣе или менѣе законченную картину нравовъ, въ которой читатель могъ бы видѣть какъ источники „ташкентства“ такъ и выраженіе этого явленія въ дѣйствительности. Поэтому первую часть и посвящаю біографическимъ подробностямъ героевъ ташкентства, а во второй—на сцену явится самое „ташкентское дѣло“, въ созданіи котораго примутъ участіе дѣйствующія лица первой части. Въ виду этого я нашелъ, что привлеченіе слишкомъ большого количества элементовъ, хотя и однородныхъ по своимъ цѣлямъ, но крайне разнообразныхъ въ своихъ проявленіяхъ, могло бы загромоздить мой трудъ множествомъ лицъ, связь между которыми, быть можетъ, представилась бы читателю не вполнѣ ясною. Тѣмъ не менѣе я сознаю, что отсутствіе нѣкоторыхъ типовъ (какъ напримѣръ ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляетъ пропускъ очень замѣтный. Но я постараюсь познакомить читателя съ этими типами во второй части, выводя ихъ постепенно, въ роли эпизодическихъ лицъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Въ разсказахъ Глинки (композитора) занесенъ слѣдующій фактъ. Однажды покойный литераторъ Кукольникъ, безъ приготовленій, „необыкновенно ясно и дѣльно“ изложилъ передъ Глинкой исторію Литвы, и когда послѣдній, не подозрѣвая за авторомъ „Торквато Тассо“ столь разнообразныхъ познаній, выразилъ свое удивленіе по этому поводу, то Кукольникъ отвѣчалъ: „прикажутъ—завтра же буду акушеромъ“.

Отвѣтъ этотъ драгоцѣненъ, ибо даетъ мѣру талантливости русскаго человѣка. Но онъ еще болѣе драгоцѣненъ въ томъ смыслѣ, что раскрываетъ нѣкоторую тайну, свидѣтельствующую, что упомянутая выше талантливость находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ „приказанія“. Ежели мы не изобрѣли пороха, то это значитъ, что намъ не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприщѣ общественнаго и политическаго устройства, то это означаетъ, что и по сему предмету никакихъ распоряженій не послѣдовало. Мы не виноваты. Прикажутъ—и Россія завтра же покроется школами и университетами; прикажутъ—и просвѣщеніе, вмѣсто школъ, сосредоточится въ полицейскихъ управленіяхъ. Куда угодно, когда угодно и все что угодно. Литераторы ждутъ манія, чтобъ сдѣлаться акушерами; повивальныя бабки стоятъ во всеоружіи, чтобъ по первому знаку положить начало родовспомогательной литературѣ. Все на чеку, все готово устремиться куда глаза глядятъ.

Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести въ обществѣ суматоху и толкотню. Однакожъ ничего подобнаго не усматривается. Вездѣ порядки, вездѣ твердое сознаніе, что толкаться не велѣно. Но прикажите—и мы изумимъ міръ дерзостными поступками.

Увѣренность въ нашей талантливости такъ велика, что для насъ не полагается даже никакой профессіональной подготовки. Всякая профессія доступна намъ, ибо ко всякой профессіи мы отъ рожденія вкусъ получили. Свобода отъ наукъ не только не мѣшаетъ, но служитъ рекомендаціей, потому что сообщаетъ человѣку букетъ „свѣжести“. „Свѣжесть“, въ свою очередь, даетъ талантливости характеръ неудержимой и ни передъ чѣмъ не останавливающейся похотливости. Человѣкъ постоянно готовый и постоянно вожделѣю-

щій—это своего рода нерушимая стѣна. Это развязный малый, передъ которымъ всякая спеціальность немедленно сдается на капитуляцію. Назовите рядомъ съ „свѣжимъ“ человѣкомъ какого-нибудь „умника“,—и всякій сразу пойметъ, сколько горечи и презрѣнія слышится въ этомъ послѣднемъ названіи. „Умникъ!“ — вѣдь это засоренная голова! это человѣкъ, изнемогающій подъ бременемъ собственнаго безсилія! это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!

А мы именно хотимъ только созидать, и потому блюдемъ нашу „свѣжесть“ паче зѣницы ока. Мы твердо помнимъ, что отъ насъ ожидается какое-то „новое слово“, а для того, чтобъ оно сказалось, мы не полагаемъ никакихъ другихъ условій, кромѣ чистоты сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума. Это условіе потому хорошо, что оно общедоступно, а сверхъ того, благодаря ему, всѣ профессіи дѣлаются безразличными. Человѣкъ, видѣвшій въ шкафу своды законовъ, считаетъ себя юристомъ; человѣкъ, изучившій форму кредитныхъ билетовъ, называетъ себя финансистомъ; человѣкъ, усмотрѣвшій нагую женщину, изъявляетъ желаніе быть акушеромъ. Все это люди, не обремененные знаніями, которые въ „свѣжести“ почерпнутъ рѣшимость для исполненія какихъ угодно приказаній, а въ практикѣ отыщутъ и средства для ихъ осуществленія.

Практика — это тоже своего рода божество, которое выведетъ ихъ изъ умственнаго оцѣпенѣнія и дастъ смыслъ ихъ невнятному бормотанію. Тамъ, въ этой насыщенной азбучными испареніями атмосферѣ, среди недомолвокъ, справокъ, противорѣчій и колебаній, они, кроха по крохѣ, соберутъ себѣ сокровище гораздо болѣе прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Тамъ на бокахъ Петровъ и Ивановъ юристъ уяснитъ себѣ понятіе о мѣрѣ наказаній; тамъ финансистъ во-очію убѣдится, что кредитные билеты сами хорошо знаютъ карманы, въ которыхъ имъ быть надлежитъ. И не утратятъ они при этомъ ни единой капли „свѣжести“, ибо при концѣ профессіональнаго поприща пребудутъ столь же свободны отъ наукъ, какъ и при началѣ онаго.

И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вѣра въ силу прирожденной талантливости дѣйствительно дѣлала чудеса. Приходилъ человѣкъ совершенно свѣжій и начиналъ орудовать. Писалъ законы, устанавливалъ порядки и даже доводилъ „ввѣренную“ часть до идеальнаго совершенства. Не только подчиненные, но люди совсѣмъ посторонніе — и тѣ говорили: „да, этотъ человѣкъ не то что X. или Z. Этотъ человѣкъ — *подтянетъ*!“ Гдѣ тайна этого волшебства? Очевидно, ее слѣдуетъ искать или въ неизреченной наглости „свѣжихъ людей“, или же въ томъ, что самыя „ввѣренныя“ части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсѣмъ неповрежденными науками.

Первое предположеніе, очевидно, не выдерживаетъ никакой критики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанію—вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объясненіемъ для жизненныхъ явленій. Гораздо правильнѣе остановиться на простотѣ „ввѣренныхъ частей“, тѣмъ больше, что здѣсь приходитъ къ намъ на помощь и практика съ своими истинно-поразительными подтвержденіями.

Одинъ знатный иностранецъ, посѣщавшій Россію во времена Петра Великаго (предоставляю любителямъ отечественной старины догадаться, кто этотъ путешественникъ), разсказываетъ слѣдующее: „Несмотря на совершенныя симъ государемъ преобразованія, процессъ, посредствомъ коего управляется здѣшній народъ, столь простъ, что не требуетъ со стороны администратора ни высокаго ума, ни познаній. Я, по крайней мѣрѣ, лично зналъ одного намѣстника, который былъ до такой степени простодушенъ, что однажды, по недоразумѣнію, откусилъ сьой собственный палецъ, но и за всѣмъ тѣмъ оказывался вполнѣ удовлетворительнымъ для выполненія тѣхъ задачъ, которыя ему предстояли. Каждый день передъ нимъ клали извѣстную порцію бумагъ, и ежели эта порція случайно уменьшалась, то онъ примѣтно начиналъ безпокоиться, упрекалъ подчиненныхъ въ нерадѣніи и требовалъ усугубленія рвенія. Съ теченіемъ времени онъ до того вошелъ въ свою роль, что сдѣлался даже прихотливымъ. Замѣтилъ, что ему подаютъ только коротенькія бумаги и сталъ требовать длинныхъ; потомъ и симъ не удовлетворился, но велѣлъ сочинить статистику, которую, по изготовленіи, подписалъ и отправилъ. Такимъ образомъ, съ помощью одного очень простого пріема, называемаго по здѣшнему *подтягиваніемъ*, этотъ плохой и даже глупый человѣкъ прожилъ нѣсколько лѣтъ и умеръ въ званіи намѣстника естественною смертію“.

Повѣрить этому разсказу очень возможно. Всякій изъ насъ зналъ на своемъ вѣку и неутомимыхъ статистиковъ, и прибодрыхъ финансистовъ, которые ничего не имѣли за душою, кромѣ чистаго сердца и не вполнѣ поврежденнаго ума—и за всѣмъ тѣмъ дѣйствовали. Какимъ образомъ могли дѣйствовать эти чистосердечные люди? Какимъ образомъ могло случиться, что только естественная смерть освобождала ихъ отъ тягостей лежавшаго на нихъ бремени? Что̀ означаетъ этотъ фактъ?

По моему мнѣнію, онъ можетъ означать одно: простоту задачъ. Очень долгое время область профессій представляла у насъ сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тѣни. X. взывалъ объ удовлетвореніи, но въ глазахъ людей профессіи онъ не существовалъ, какъ живое лицо, а существовало лишь „дѣло объ X., ищущемъ удовлетворенія“. Z. томился въ тюрьмѣ, но и онъ, какъ живое лицо былъ не извѣстенъ, а извѣстно было только „дѣло объ Z., томящемся въ тюрьмѣ“. Рѣчь шла не объ дѣйствительной участи людей, а о рѣшеніи уравненій съ однимъ или нѣсколькими неизвѣстными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состоянія тѣней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тѣнями и въ этомъ качествѣ дѣлаются вполнѣ равнодушны къ тому, какія рѣшаются объ нихъ уравненія и какія пишутся статистики. Вотъ тутъ-то и настигаютъ ихъ „свѣжіе“ люди. Сначала они совѣстятся и довольствуются только простыми уравненіями; потомъ дѣлаются дерзкими и начинаютъ требовать статистикъ. Какіе плоды приноситъ ихъ подтягивательная дѣятельность — они не знаютъ, да и знать, по правдѣ, не нужно, потому что навѣрное она никакихъ плодовъ не принесетъ. „Все равно, братцы, помирать!“ говорятъ люди, и дѣйствительно начинаютъ помирать, какъ будто и невѣсть какое мудрое дѣло дѣлаютъ.

И что̀ всего удивительнѣе—эта „свѣжесть“ допускалась не только въ области дѣятельности спекулятивной, но и въ области ремеслъ, гдѣ, повидимому, прежде всего требуется если не искусство, то навыкъ. И тутъ люди, по приказанію, дѣлались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему дѣлались?—а потому, очевидно, что требовались только *простые* сапоги, *простое* платье, *простая* музыка, то-есть такія именно вещи, для выполненія которыхъ совершенно достаточно двухъ элементовъ: приказанія и готовности. Кукольникъ зналъ, что̀ говорилъ, когда вызывался хоть сейчасъ быть акушеромъ. Онъ понималъ, что тутъ предстоитъ акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выраженіе готовности.

Такимъ образомъ оказывается, что какъ ни велика наша талантливость, все-таки она можетъ считаться дѣйствительною лишь до тѣхъ поръ, пока существуетъ безпредметность профессій, или, говоря другими словами, покуда можно всѣ сапоги шить на одну ногу. Какъ скоро давальцы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мѣркѣ, никакія приказанія не помогутъ нашей готовности. Еще Петръ Великій изволилъ приказать намъ быть европейцами, а мы только въ недавнее время попытались примѣрить на себя заправское европейское платье, да и тутъ все раздумываемъ: не рано ли? да впору ли будетъ? — Какъ хотите, а горше этой формулы самоуничиженія даже выдумать трудно.

Отъ чего же мы отбояриваемся? что̀ защищаемъ? Очевидно, мы защищаемъ то выморочное пространство, которое, послѣ приказанія Петра Великаго: быть всѣмъ россіянамъ европейцами—такъ и осталось ненаполненнымъ. Нѣтъ у насъ ничего, кромѣ пресловутой талантливости, то-есть пустого мѣста, на которомъ могутъ произрастать и пшеница, и чертополохъ. Но именно это-то пустое мѣсто и дорого намъ. Раскольники, современные Петру — и тѣ лучше были, ибо говорили: „мы хотимъ пáхнуть по своему“. Мы же ничего не говоримъ, а просто-на-просто съ пустомъ въ пусто лѣземъ. И выходитъ, что мы тоже пáхнемъ, только пáхнемъ нежилымъ мѣстомъ.

И вотъ, недалеко отъ насъ глухая стѣна. Сапожникъ начинаетъ смутно понимать, что сколько есть на свѣтѣ ногъ, столько же должно быть и сапоговъ; администраторъ, судья, финансистъ догадываются, что сзади ихъ профессій есть нѣчто, что̀ движется и заявляетъ о своей конкретности, что̀ требуетъ, чтобъ къ нему, а не его примѣривали. Въ хаосѣ безразличія, въ которомъ еще такъ недавно виталъ нѣкоторый самъ себѣ довлѣющій духъ, начинаютъ выясняться отдѣльные образы, которые съ изумленіемъ смотрятъ на стѣну, воздвигнутую вѣковою русскою готовностью. И вспоминается имъ многострадальная исторія этой готовности. Вспоминается, какъ они, бія себя въ перси, на цѣлый міръ возглашали: „мы люди сѣрые, привычные! насъ хоть на куски рѣжь, хоть огнемъ пали, мы на все готовы! Вспоминается, какъ они суетились, разоряли, громили, жгли—и все это безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради похотливаго желанія доказать, сколь талантливъ можетъ быть человѣкъ, когда знаетъ, что его за эту талантливость не подвергнутъ тѣлесному наказанію. „Многое мы совершили, многое претерпѣли,—говорятъ они,—а въ результатѣ все-таки стѣна — и ничего болѣе!“

Эта стѣна, однакожъ, не съ неба свалилась и не изъ земли выросла. Мы имѣли свою интеллигенцію, но она заявляла лишь о готовности слѣдовать приказаніямъ. Мы имѣли такъ-называемую меньшую братію, но и она тоже заявляла о готовности слѣдовать приказаніямъ. Никто не предвидѣлъ, что наступитъ моментъ, когда каждому придется жить за собственный счетъ. И когда этотъ моментъ наступилъ, никто не вѣритъ глазамъ своимъ; всякій ощупываетъ себя, словно съ переполя, и, не находя ничего въ запасѣ, кромѣ талантливости, кричитъ: „измѣна! бунтъ!“

Есть три способа избавиться отъ глухой стѣны. Первый заключается въ томъ, чтобы признать прихотливыми всѣ требованія жизни, которыя почему-нибудь намъ не по нутру. Это задача очень трудная (едва-ли можно отыскать человѣка, который далъ бы увѣрить себя, что ощущаемыя имъ потребности прихотливы); но еслибъ даже мы рѣшились поддерживать ее, то и тутъ необходимо прежде всего понимать, въ чемъ заключаются приводящія въ затрудненіе потребности, откуда онѣ пришли и почему могутъ быть сочтены прихотливыми. Однимъ словомъ, необходимы умъ и знаніе. Другой способъ (тоже не весьма надежный) заключается въ томъ, чтобъ увѣрить общество, что положеніе у глухой стѣны есть самое выгодное для него положеніе. Этотъ тезисъ еще труднѣе, но и его защитить не невозможно, если есть знаніе объекта бесѣды и подготовленность къ принятію возраженій. Опять-таки знаніе и умъ. Наконецъ, третій способъ представляется въ откровенномъ признаніи законности вновь народившихся потребностей и въ пріисканіи для нихъ правильнаго исхода. Этотъ способъ самый надежный, но тутъ уже просто-напросто требуется ума палата.

Какой бы изъ этихъ трехъ путей ни былъ избранъ, во всякомъ случаѣ талантливость играетъ здѣсь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть—ничего она собственною силою не можетъ. Вездѣ на первомъ планѣ требуются знаніе, примѣръ, навыкъ. Они одни могутъ дать содержаніе талантливости и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже обуздать ея стремительность. Человѣкъ, который на одной талантливости созидаетъ зданіе своего будущаго благополучія—это человѣкъ, у котораго есть пламенное сердце, но въ этомъ сердцѣ нѣтъ ничего, кромѣ погадки готовности. Съ этой погадкой ему предстоитъ одно изъ двухъ: или удивить міръ продерзостью, или наполнить вселенную зловоніемъ. Повидимому, это очень большой рискъ. Но мы убѣдимся, что тутъ даже риска никакого нѣтъ, если примемъ въ соображеніе, что сневѣжничать во всякомъ случаѣ легче, нежели совершить подвигъ. А талантливость именно тѣмъ и отличается, что всегда имѣетъ въ виду дѣла самыя блестящія, то-есть самыя легкія. Бѣжку съѣсть, вавилонскую башню проектировать — вотъ задачи, которыя ей льстятъ, на которыя она обращаетъ всю свою похотливость. И посмотрите, съ какою легкостью выступаютъ эти люди впередъ! Какъ они заранѣе трубятъ о побѣдѣ, какъ клянутся голыми руками потушить пылающій костеръ!

И чѣмъ больше предвкушеніе торжества, тѣмъ больше малодушія, ненависти и подозрительности при первомъ неуспѣхѣ. Эта послѣдняя черта очень опасна, потому что почва бунтовъ и измѣны, на которую вступаетъ потерпѣвшая неудачу талантливость, есть единственная доступная ея уровню. Ни из-

мѣна, ни бунты, по нашему извѣчному обычаю, не требуютъ опредѣленій. Оба эти слова для каждаго ясны сами по себѣ, то-есть ясны именно въ томъ смыслѣ, какой тотъ или другой талантливый субъектъ желаетъ имъ сообщить. Съ произнесеніемъ краткаго и въ то же время совершенно неопредѣленнаго звука пріобрѣтается и исходный пунктъ, и матеріалъ для наполненія всей послѣдующей карьеры. Затѣмъ уже слѣдуютъ обузданія....

А что же, кромѣ обузданій, произвела на свѣтъ наша талантливость за все время ея вѣкового и при томъ вполнѣ безпрепятственнаго существованія?

Представьте себѣ такой случай: директоръ департамента призываетъ къ себѣ столоначальника и говоритъ ему: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы открыли Америку“.

Я не берусь утверждать, чтобъ столоначальникъ осмѣлился возразить, но онъ все-таки пойметъ, что открытіе Америки совсѣмъ не его ума дѣло. Поэтому, всего вѣроятнѣе, онъ поступитъ такъ: разошлетъ во всѣ мѣста запросы и затѣмъ постарается кончить это дѣло изморомъ.

Но пускай тотъ же директоръ тому же столоначальнику скажетъ: „Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы всѣхъ этихъ Колумбовъ привели къ одному знаменателю!“

Вы не успѣете оглянуться, какъ Колумбы подлинно будутъ обузданы, а Америка такъ и останется неоткрытою.

Митрофаны не измѣнились. Какъ и во время Фонъ-Визина, они не хотятъ знать ариѳметики, потому что приходъ и расходъ сосчитаетъ за нихъ приказчикъ; они презираютъ географію, потому что кучеръ довезетъ ихъ куда будетъ приказано; они небрегутъ исторіей, потому что старая нянька всякія исторіи на сонъ грядущій разскажетъ. Одно право они упорно отстаиваютъ—это право обуздывать, право свободно простирать руками впередъ.

Митрофанъ на все способенъ, потому что на все готовъ.

Онъ спеціалистъ по части гражданскаго судопроизводства, потому что занималъ деньги и не отдавалъ оныхъ.

Онъ спеціалистъ по части уголовнаго судопроизводства, потому что давалъ затрещины и получалъ оныя.

Онъ спеціалистъ по части администраціи, потому что знаетъ такія ругательства, которыя могутъ въ одно мгновеніе опалить человѣка.

Онъ спеціалистъ по части финансовъ, потому что всѣ трактиры были свидѣтелями его финансовыхъ операцій.

Онъ медикъ, потому что страдалъ секретными болѣзнями.

Онъ акушеръ, потому что видалъ нагихъ женщинъ.

Всѣ профессіи онъ изучилъ на своихъ собственныхъ бокахъ съ такой основательностью, что даже получилъ названіе „выжиги“. „Выжига“—это совсѣмъ не ругательный, а скорѣе дѣловой терминъ, означающій мужа совѣта. „Ужъ коли этакая выжига не поможетъ“,—говорятъ вамъ, указывая на X. или Z.—„то дѣло твое пропащее“. Вы обращаетесь къ „выжигѣ“, и, къ изумленію вашему, онъ дѣйствительно помогаетъ вамъ. Это до того удивительно, что вамъ непремѣнно приходитъ на мысль, что и этотъ „выжига“,

и средства, которыя онъ употребляетъ, и ваше дѣло, и вы сами — все это, взятое вмѣстѣ, не стоитъ ломанаго гроша. Все это какой-то безобразный миражъ, способный поселить въ душѣ не то отчаяніе, не то презрѣніе ко всему: къ жизни, къ себѣ самому...

Дайте „выжигѣ“ рубль серебра—онъ заложитъ душу чорту; дайте пять рублей—онъ самъ сдѣлается чортомъ. Ему и это сдѣлать легко, потому что онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ знаетъ, гдѣ найти чорта и что у него просить.

Это ходячій кошмаръ, который прокрадывается во всѣ закоулки жизни и умѣетъ до такой степени прочно внѣдриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успѣваетъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ и подлиннымъ мужемъ совѣта.

И все благодаря лишь тому, что простота задачъ продолжаетъ привлекать всѣ сердца.

Намъ все еще чудится, что надо нѣчто разорить, чему-то положить предѣлъ, что-то стереть съ лица земли. Не полезное что-нибудь сдѣлать, а именно только разорить. Ежели признаться по совѣсти, то это собственно мы и разумѣемъ, говоря о процессѣ созиданія. Наши такъ-называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется имъ наполненною скоро-воспламеняющимися элементами, состоящими изъ козней, крамолъ и измѣны. Со всѣмъ этимъ надо, конечно, покончить. Но къ кому же обратиться? Кто возьметъ на себя трудное обязательство сражаться противъ козней некознедѣйствующихъ и крамолъ некрамольствующихъ? Кто, кромѣ Митрофана, этого вѣчно-талантливаго и вѣчно-готоваго человѣка, для котораго не существуетъ даже объекта движенія и исполнительности, а существуетъ только самое движеніе и самая исполнительность? Налетѣлъ, нагрянулъ, ушибъ — а что ушибъ? — онъ даже не интересуется и узнавать объ этомъ...

Времена усложняются. Съ каждымъ годомъ борьба съ жизнью дѣлается труднѣе для эмпириковъ и невѣждъ. Но Митрофаны не унываютъ. Они продолжаютъ думать, что карьера ихъ только-что началась, и вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, которое имъ еще долго придется наполнять своими подвигами. Какимъ образомъ могли зародиться всѣ эти смѣлыя надежды? гдѣ ихъ отправной пунктъ? Увы! углѣдить за этимъ не только трудно, но даже совсѣмъ невозможно.

Митрофанъ—плохой теоретикъ; онъ не любитъ ни анализировать, ни обобщать, и упорнѣе всего отворачивается отъ самого себя. Еслибъ вчерашній день былъ въ свѣжей памяти, онъ, быть можетъ, стоялъ бы укоромъ или, по малой мѣрѣ, поученіемъ. Но такъ какъ вчерашняго дня нѣтъ, такъ какъ послѣдовавшая за нимъ ночь принесла за собой хмельное забвеніе всего прошлаго, то нѣтъ мѣста ни для поученій, ни для уроковъ. Представьте себѣ пропойцу, который встаетъ съ постели съ разбитымъ лицомъ, съ угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувствомъ тупого самоотсутствія, которое не даетъ ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, гдѣ онъ и кто онъ. Еслибъ этотъ человѣкъ могъ понимать,

еслибъ онъ могъ ясно представить себѣ всѣ подробности безобразій прошедшаго дня, быть можетъ тутъ произошла бы потрясающая драма. Но такъ какъ онъ ничего не помнитъ, ничего себѣ не представляетъ, то чувствуетъ только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, онъ снова возвращается къ вчерашнему дню, но не для того, чтобъ анализировать, а для того, чтобъ воспроизвести его съ буквальною точностью. Въ этой безнадежной картинѣ заключается единственно-возможное объясненіе всего Митрофанова существованія.

Для Митрофана не существуетъ ни опыта, ни преданія, ни возможности дѣлать какія-либо умозаключенія, потому что всякая настоящая минута его жизни безъ остатка вытѣсняется слѣдующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомысліе не есть легкомысліе. Это сейчасъ родившійся и притомъ совершенно порожній человѣкъ, объ котораго, какъ о каменную скалу, разбивается принципъ вмѣняемости. Его дѣйствія можно было бы сравнить съ проявленіемъ стихійной силы, но даже и это сравненіе оказывается неумѣстнымъ, потому что задача стихіи — безсознательное разрушеніе рядомъ съ безсознательнымъ творчествомъ, а задача Митрофана — одно безсознательное разрушеніе. Вотъ почему до сихъ поръ не существуетъ ни одной сколько-нибудь ясной теоріи митрофанства, которая могла бы оправдать его существованіе и указать на перспективы, ожидающія это явленіе въ будущемъ.

Въ XVIII вѣкѣ Митрофанъ впервые выступилъ на дорогу дѣятельности во всемъ блескѣ своей талантливости. Въ эту достопамятную эпоху со всѣхъ сторонъ сыпались на него стрѣлы просвѣщенія, и онъ съ какою-то ребяческою отвагой подставлялъ имъ свое рыхлое тѣло. Но въ дѣйствительности онъ облюбовалъ только одну изъ нихъ, а именно ту, которая называется табелью о рангахъ, и въ ней замкнулъ весь смыслъ своего существованія. Все, что стояло рядомъ съ этой табелью, всѣ математики, химіи, механики, фортификаціи и проч., о насажденіи которыхъ, съ жезломъ въ рукахъ, хлопоталъ Петръ Великій—все это только внѣшнимъ образомъ окатило Митрофана, оставивъ въ его тѣлѣ лишь легкій ознобъ. Но табель о рангахъ внѣдрилась, вошла въ плоть и кровь. Съ этою табелью въ рукахъ, хмельной отъ приливовъ талантливости, онъ рыскалъ по долам и горамъ, внося въ самые глухіе закоулки смѣлую проповѣдь о чинопочитаніи и заражая самыя убогія хижины своею просвѣтительною дѣятельностью. Передъ немеркнущимъ блескомъ табели о рангахъ тускло, почти презрѣнно свѣтились прочіе вопросы жизни, то-есть все то, что составляетъ дѣйствительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всѣхъ сторонъ безнадежнѣйшимъ эмпиризмомъ; источники во-очію изсякали подъ игомъ расточительности и хищничества; стихіи безконтрольно господствовали надъ трудомъ и жизнью человѣка, а Митрофанъ ничего не замѣчалъ, ни передъ чѣмъ не останавливался и упорно отстаивалъ убѣжденіе, что табель о рангахъ дастъ все: и славу, и богатство, и рѣшительный голосъ въ дѣлѣ устройства судебъ человѣчества.

Только полуторавѣковой искусъ могъ пошатнуть это убѣжденіе и возбудить сомнѣнія насчетъ живописныхъ свойствъ табели о рангахъ. Но такъ какъ это была единственная форма западно-европейской жизни, которая не

только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и такъ какъ съ нею отождествилась идея о просвѣщеніи, то весьма естественно, что сомнѣніе въ ея доброкачественности распространилось огуломъ и на всѣ прочіе результаты, выработанные цивилизаціей Запада. Мнѣнія, что Западъ разлагается, что та или другая раса обветшала и сдѣлалась неспособною для пользованія свободой, что западная наука поражена безплодіемъ, что общественныя и политическія формы Запада представляютъ безконечную цѣпь лжей, въ которой одна ложь исчезаетъ, чтобъ дать мѣсто другой—вотъ мнѣнія, наиболѣе любезныя Митрофану. И все потому только, что онъ смѣшалъ цивилизацію съ табелью о рангахъ. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, онъ знаетъ не мало анекдотовъ изъ исторіи просвѣтительной дѣятельности XVIII вѣка, и, заручившись ими, считаетъ себя уже совершенно свободнымъ отъ церемонныхъ отношеній къ цивилизаціи вообще. Заговорите съ Митрофаномъ о какихъ угодно открытіяхъ или порядкахъ, которыхъ польза ясна и несомнѣнна даже для неразвитого человѣка—онъ оскалитъ зубы, и вмѣсто опроверженія ушибетъ васъ такимъ анекдотомъ изъ „Русскаго Архива“, что вамъ сдѣлается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просвѣтительная дѣятельность, на которую онъ ссылается, не есть просвѣтительная дѣятельность, а пародія на нее; что онъ же, Митрофанъ, долженъ быть обвиненъ въ томъ, что изъ всѣхъ плодовъ западной цивилизаціи успѣлъ вкусить только отъ самаго гнилого и притомъ давно брошеннаго подъ столъ—онъ отвѣтитъ на ваши доказательства другимъ анекдотомъ, еще болѣе пахучимъ, и будетъ дѣйствовать такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока вы не убѣдитесь въ совершенномъ безсиліи какихъ бы то ни было доказательствъ передъ силою анекдота и уподобленія.

Но ежели нѣтъ ясныхъ фактовъ (нельзя же принимать за фактъ одну голую готовность), на основаніи которыхъ можно было бы создать теорію митрофанства, то-есть упованія и прозрѣнія. Извѣстно, что ничто такъ не окрыляетъ фантазію, какъ отсутствіе фактовъ. Нѣтъ фактовъ — значитъ, есть пустое пространство, неограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидѣніями. Поэтому, какъ только Митрофанъ вступаетъ на почву упованій, онъ дѣлается смѣлъ до дерзости, необузданъ до самозабвенія. Онъ говоритъ, — и съ восхищеніемъ слушаетъ самого себя; и чѣмъ больше говоритъ, тѣмъ больше чувствуетъ потребность говорить,—говорить безъ конца. И всегда для своихъ разговоровъ выберетъ тезисъ самый неожиданный, самый блестящій: либо пятую стихію, либо новое слово. „Будетъ носить чужое заношенное бѣлье, — скажетъ онъ: — пора произнести и свое собственное *новое* слово“. И, конечно, надежду на произнесеніе этого новаго слова возложитъ на самого себя.

Что носить чужое заношенное бѣлье не лестно—это истина для всѣхъ непререкаемая. Но Митрофанъ упускаетъ изъ вида, что онъ носилъ это заношенное бѣлье добровольно, не замѣчая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему съ барскаго плеча. Цивилизованные народы всегда имѣютъ полный комплектъ бѣлья, и потому мѣняютъ его такъ часто, что обладателю рубища это можетъ показаться даже прихотью. Стало быть, въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго, что рядомъ съ

чистымъ бѣльемъ имѣется порядочная куча и заношеннаго; скорѣе же удивительно то душевное настроеніе, которое заставляетъ останавливаться именно на заношенномъ бѣльѣ предпочтительно передъ чистымъ. Кто жъ виноватъ въ существованіи такого настроенія?

Тайна этой переимчивости заднимъ числомъ опять-таки объясняется слишкомъ большою талантливостью Митрофана. Ему некогда слѣдить за быстро смѣняющимися явленіями жизни, потому что онъ, уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не можетъ отвязаться отъ нея, не натѣшившись всласть, не выжавши изъ нея сока, не доведя факта до абсурда. Изъ фрака онъ сдѣлаетъ мундиръ, и напишетъ цѣлый трактатъ о ношеніи его, изъ бритья бороды онъ создастъ себѣ кумиръ, и будетъ носиться съ этимъ кумиромъ до изнеможенія. Воспріимчивость угнетаетъ его и нерѣдко даже дѣлаетъ опаснымъ утопистомъ и безпардонпѣйшимъ регламентаторомъ. Покуда онъ носится съ своимъ „живымъ вопросомъ“ и старается внѣдрить его въ себя на вѣки-вѣчные, живой вопросъ давно уже оказывается сданнымъ въ архивъ и замѣненнымъ другими, болѣе подходящими вопросами. Что въ результатѣ такой упорной воспріимчивости можетъ быть только глухая стѣна,—это очевидно; но Митрофанъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы обвинить себя въ такомъ неудачномъ результатѣ. „Сколько лѣтъ мы носимъ фраки, сколько крови изъ-за одной бороды пролито, а все толку нѣтъ!“ говоритъ онъ, и принимаетъ твердое намѣреніе навсегда отвернуться отъ затѣй разлагающагося Запада, которыя, на его взглядъ, до того уже тощи, что и натѣшиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не споритъ, что политическія и общественныя формы, выработанныя Западной Европой, далеко не совершенны. Но здѣсь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастіе само свалится когда-нибудь съ неба. Митрофанъ же смотритъ на это дѣло совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутыхъ формъ, и въ особенности напирая на то, что у насъ онѣ (являясь въ видѣ заношеннаго чужого бѣлья) всегда претерпѣвали полнѣйшее фіаско, онъ въ то же время завиняетъ и самый процессъ творчества, называетъ его безплоднымъ метаніемъ изъ угла въ уголъ, анархіей, бунтомъ. По обыкновенію больше всего достается тутъ Франціи, которая, какъ извѣстно, выдумала двѣ вещи: ширину взглядовъ и канканъ. Изъ того числа — канканъ принятъ Митрофаномъ съ благодарностью, а отъ ширины взглядовъ онъ отплевывается и до-днесь со всею страстностью своей воспріимчивой натуры.

Увы! Митрофанъ не знаетъ, какъ трудно положеніе человѣка, который обязывается жить своимъ умомъ. Нѣтъ у послѣдняго ничего готоваго, кромѣ того, что онъ приготовилъ своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имѣется въ запасѣ большое подспорье — наука, которою онъ самъ же выдумалъ и вывелъ въ люди; но наука еще не настолько полна, чтобъ отвѣчать на всѣ запросы жизни. Желанія человѣка опережаютъ науку, и вотъ онъ дѣлаетъ все новыя попытки, впадаетъ въ заблужденія, поправляетъ себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человѣкъ, живущій своимъ

умомъ, не можетъ устранить опытовъ, достающихся даже дорогою цѣной. Онъ знаетъ, во-первыхъ, что въ ширинѣ его запросовъ заключается залогъ непрерывающагося развитія жизни, да сверхъ того не можетъ отказаться отъ попытокъ уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождаетъ въ немъ другую, которая тоже требуетъ удовлетворенія. Поэтому, быть можетъ, онъ коношится нѣсколько болѣе, нежели тотъ солидный человѣкъ, который знаетъ, что кучеръ навѣрное привезетъ его туда, куда приказано; и не столь мудръ, какъ тотъ мудрецъ, который стоитъ, уставясь глазами въ стѣну, и твердо уповаетъ, что стѣна сама собой разступится передъ нимъ. Часто намъ случается слышать, какъ говорятъ: „вотъ дрянные людишки! что ни человѣкъ, — то мнѣніе; что ни вопросъ, — то споръ!“ Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные: въ сущности, это люди, живущіе своимъ умомъ и понимающіе всю трудность подобнаго положенія. Простимъ ихъ, ибо они все-таки болѣе самихъ себя безпокоятъ, нежели насъ.

Митрофанъ съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на политическихъ и общественныхъ формахъ, потому что видитъ ихъ внѣшнюю измѣнчивость, и отъ этого признака приходитъ къ заключенію о негодности самого процесса созданія этихъ формъ. По его мнѣнію, капризъ и чудачество обуреваютъ вселенную; люди не по необходимости мѣняютъ старыя формы общежитія на новыя, а потому только, что такъ вздумалось. То внутреннее содержаніе, отъ котораго зависитъ то или другое устройство обществъ, тѣ открытія и изобрѣтенія человѣческаго ума, которыя такъ рѣзко опредѣляютъ характеръ того или другого періода исторіи человѣчества, совершенно закрыты для него. Однакоже это пропускъ очень важный.

Историческая наука недаромъ отдѣлила послѣднія четыре столѣтія и существеннымъ признакомъ этого отграниченія признала великія изобрѣтенія и открытія XV вѣка. Здѣсь проявленія усилій человѣческой мысли дали жизни человѣчества совсѣмъ иное содержаніе и разъ навсегда доказали, что общественныя и политическія формы имѣютъ только кажущуюся самостоятельность, что онѣ дѣлаются шире и растяжимѣе по мѣрѣ того, какъ пополняется и усложняется матеріалъ, составляющій ихъ содержаніе.

Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вѣкъ открытій и изобрѣтеній, и думаетъ, что между ними и тою или другою формою жизни нѣтъ ничего общаго. Въ его глазахъ передвигаются центры человѣческой индустріи: въ его глазахъ матеріальныя и умственныя богатства перемѣщаются изъ однѣхъ рукъ въ другія, а онъ продолжаетъ думать, что все это не болѣе, какъ случайность, и спѣшитъ заткнуть ту или другую дыру и сдѣлать нѣкоторыя ничтожныя поправки въ обветшавшемъ зданіи табели о рангахъ. Да, — только въ табели о рангахъ, ибо какъ ни глумится надъ ней Митрофанъ подъ веселую руку, а она все-таки и до-днесь составляетъ единственный обрывокъ цивилизаціи, дѣйствительно дорогой его сердцу.

И вотъ такимъ-то образомъ проводится время въ ожиданіи „новаго слова“ и открытія пятой стихіи. Самонадѣянность и хвастовство ростутъ, а житье наступаетъ трудное, трудное даже для Митрофановъ. Нелѣпостно перенимаютъ они всякую новую штуку: но такъ-какъ эта штука является независимо отъ общихъ формъ жизни, то весьма естественно, что она ихъ же бьетъ

въ лобъ. Міръ открытій и изобрѣтеній, въ глазахъ Митрофановъ, есть міръ подробностей, существующій an sich und für sich и не имѣющій внутренней связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, какое должно выйти столпотвореніе, сколько заплатъ, пятенъ и брызговъ грязи должно быть на той ризѣ, которую сооружаетъ себѣ Митрофанъ и къ которой онъ каждый день прибавляетъ по новой заплатѣ, по новому грязному пятну.

Но кромѣ путаницы Митрофану угрожаетъ еще другая бѣда: отчаяніе. Онъ можетъ очутиться въ положеніи раскольника, съ часу на часъ ожидающаго антихриста. Если антихристъ въ виду, если черезъ минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сѣять, ни собирать въ житницы, а нужно заботиться только о саванѣ и гробѣ. Подобно сему, если каждое новое открытіе или усовершенствованіе приводитъ лишь къ тому, что̀ бьетъ въ лобъ, и ежели при этомъ нѣтъ даже поползновенія опредѣлить причину такого страннаго дѣйствія открытій и усовершенствованій, то остается одно изъ двухъ: или закутаться въ саванъ, или обратиться въ дикое состояніе.

И за всѣмъ тѣмъ насъ ждетъ еще „новое слово“... но, Боже мой! сколько же есть прекрасныхъ и вполнѣ испытанныхъ старыхъ словъ, которыхъ мы даже не пытались произнести, какъ уже хвастливо выступаемъ впередъ съ чѣмъ-то новымъ, которое мы, однакожъ, не можемъ даже опредѣлить! Есть ли разсчетъ предпочесть неизвѣстное извѣстному? и честно ли, наконецъ, угрожать вселенной „новымъ словомъ“, когда намъ самимъ небезъизвѣстно, что матеріалъ для этого „новаго слова“ состоитъ исключительно изъ „краткихъ начатковъ“ да изъ первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики?

Гдѣ жъ элементы будущаго? вотъ вопросъ.

Въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ у насъ выступило впередъ многое, о чемъ никому и не снилось до того времени. На недостатокъ приказаній мы пожаловаться не можемъ, ибо ими наполнены всѣ страницы нашей новѣйшей исторіи,—какимъ же образомъ отвѣчала на нихъ наша талантливость?

Всюду, куда мы ни обратимся, встрѣчаемъ одинъ отвѣтъ: погодите! еще время не ушло!

У насъ есть сословіе адвокатовъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть гласный и устный судъ... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть земскіе дѣятели... погодите! еще время не ушло!

У насъ есть опыты крестьянскаго самоуправленія... погодите! еще время не ушло!

Погодите! не торопитесь! куда спѣшить!—въ одинъ голосъ вопіютъ всѣ Митрофаны, и вопіютъ такъ громко, что посторонній человѣкъ останавливается въ какомъ-то странномъ недоумѣніи. Съ одной стороны, судя по непрерывности предостерегающихъ криковъ, ему кажется, что въ сей пространной веси происходитъ либеральное столпотвореніе; съ другой стороны, онъ видитъ, ясно видитъ, что вся поспѣшность здѣсь заключается въ томъ, чтобы не спѣшить.

А этимъ временемъ, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются

въ „аблакатовъ“, а земскіе дѣятели—въ устроителей пикниковъ, закусокъ и обѣдовъ.

Подготовки нѣтъ, а ремесленность уже проникаетъ всюду. Ремесленность самаго низшаго сорта, ремесленность, ничего иного не вожделѣющая, кромѣ гроша. Надулъ, сосводничалъ, получилъ грошъ, изъ онаго копѣйку пропилъ, другую спряталъ — въ этомъ весь интересъ настоящаго. Когда грошей накопится достаточно, можно будетъ задрать ноги на столъ и начать пить безъ просыпу: въ этомъ весь идеалъ будущаго.

И съ такимъ-то запасомъ, съ такими-то идеалами Митрофанъ сбирается въ дальній путь и надѣется сказать свое новое слово! Въ ожиданіи же минуты, когда „слово“ назрѣетъ, онъ не на шутку мечтаетъ быть просвѣтителемъ.

Просвѣтительная миссія—это идеалъ Митрофана, это провиденціальное его назначеніе. Со штофомъ въ рукѣ, съ непреоборимымъ апетитомъ въ желудкѣ, онъ мечется изъ угла въ уголъ, обѣщая все привести къ одному знаменателю (къ какому — онъ самъ того не знаетъ) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести къ знаменателю просвѣщенія...

Молчаніе — вотъ единственный ясный результатъ, который покуда выработала наша такъ-называемая талантливость. Затѣмъ, въ ожиданіи того таинственнаго „новаго слова“, которому предстоитъ обновить міръ, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопросъ:

Гдѣ жъ элементы будущаго?

I.—Что такое «ташкентцы»?

„Ташкентцы“ — имя собирательное.

Тѣ, которые думаютъ, что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.

„Ташкентецъ“—это просвѣтитель. Просвѣтитель вообще, просвѣтитель на всякомъ мѣстѣ и во что бы то ни стало; и притомъ просвѣтитель, свободный отъ наукъ, не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія. Человѣкъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариѳметики, таблички умноженія и т. д. „Ташкентецъ“ во всемъ этомъ видитъ неумѣстную придирку и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ—значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ особенный родъ просвѣтительной дѣятельности — просвѣщенія безазбучнаго, которое не обогащаетъ просвѣщаемаго знаніями, не даетъ ему болѣе удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ извѣстнымъ запахомъ. Тотъ, кто пьетъ хересъ trés vieux, считаетъ себя просвѣтителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просвѣтителемъ всѣхъ, пьющихъ настойку и водку. Разумѣется, это только при-

мѣръ, но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятіе о градаціи. Градацію эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримѣръ въ сравнительную сферу сюртуковъ и поддевокъ, ресторановъ и харчевенъ, кокотокъ, имѣющихъ ложу въ бель-этажѣ, и кокотокъ, безнадежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мѣщанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человѣкомъ, „который ѣстъ лебеду“. Это тотъ самый человѣкъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.

Но и здѣсь не слѣдуетъ понимать буквально, что „человѣкъ, питающійся лебедою“, долженъ непремѣнно наполнять свой желудокъ этимъ суррогатомъ. „Лебеда“, какъ и „голодъ“, суть выраженія фигуральныя, дающія мѣсто для великаго множества представленій. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ мірѣ подъ названіемъ подспорья, и отъ которой, во всякомъ случаѣ, хоть животъ у человѣка пучитъ; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьемъ ничему не служитъ. Человѣкъ, который питается этою послѣднею лебедою, есть именно тотъ человѣкъ, котораго голоду нѣтъ предѣловъ. Онъ со всѣхъ сторонъ открытъ для дѣйствія безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому что у него самого нѣтъ единственнаго орудія, съ помощью котораго можно отражать безазбучное просвѣтительство — нѣтъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается на-лицо — отъ рожденія ли онъ не имѣлъ ея, или утратилъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ —дѣло не въ томъ; во всякомъ случаѣ онъ стоитъ со всѣхъ сторонъ открытый, и любому охочему человѣку нѣтъ никакой трудности приложить къ нему какія угодно просвѣтительныя задачи.

Однажды я собственными ушами слышалъ слѣдующій разговоръ:

— Дайте срокъ! — говорилъ нѣкто: — вотъ тамъ-то (имя рекъ) должны произойти на дняхъ серьезныя замѣшательства — безъ насъ дѣло не обойдется!

— Шагу безъ насъ не сдѣлаютъ! — ораторствовалъ другой: — только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!

Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нѣчто въ родѣ гориллъ, способныхъ раздробить зубами дуло ружья. У каждаго изъ нихъ навѣрное воспріемницей была управа благочинія, не та, которая имѣетъ мѣстопребываніе на Садовой улицѣ, а та, которая издревле подстерегаетъ рожденіе охочаго русскаго человѣка, и тотчасъ же принимаетъ его въ свои нѣдра, чтобъ не выпустить оттуда никогда.

Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:

— Слышали? нигилисты-то!.. вѣдь это, батюшка, кладъ!

— Кладъ-то кладъ; только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не нужно, а слѣдуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имѣю честь явиться!

Я взглянулъ: передо мною были тѣ же гориллы.

Въ третій разъ:

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ дѣлѣ главное — ухватить! Даже ума не требуется! Кому слѣдуетъ вручилъ, съ кого слѣдуетъ получилъ! Ухватилъ — и баста!

— Ухватить-то ухватилъ; только зѣвать тоже не слѣдуетъ, потому что нашего брата ноньче ой-ой какъ расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотѣли эти человѣкообразные? чему они радовались?

Съ чѣмъ, съ какими орудіями они приступали къ дѣйствію? Вотъ это-то-вопросы и слѣдуетъ предлагать себѣ всякій разъ, когда присутствуешь при подобнаго рода разсужденіяхъ и разговорахъ. Если этихъ вопросовъ не будетъ, вся соль разсужденій утратится, а вмѣстѣ съ тѣмъ утратится и смыслъ общаго теченія жизни. Очень часто мы проходимъ, слышимъ, смотримъ, и нимало не вдумываемся въ то, мимо чего проходимъ, что̀ слышимъ, на что̀ смотримъ. Въ бо̀льшей части случаевъ, конкретность поражаетъ наши чувства скорѣе машинально, нежели сознательно, и вслѣдствіе этого, явленія по малой мѣрѣ сомнительныя кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажимъ ихъ отъ покрововъ обыденности, дадимъ мѣсто сомнѣніямъ, поставимъ въ упоръ вопросъ: кто вы такіе? откуда? — и мы можемъ заранѣе сказать себѣ, что наше сердце замретъ отъ ужаса при видѣ праха, который поднимется отъ одного сознательнаго прикосновенія къ нимъ...

Вопрошать всегда слѣдуетъ, хотя бы проходящее передъ нашими глазами явленіе представлялось обыденнымъ или даже совсѣмъ постороннимъ. Говорятъ, что излишніе вопросы прибавляютъ излишнюю горечь въ жизни, что отсутствіе вопросовъ предохраняетъ отъ состоянія безсмѣннаго страха, въ которомъ очутился бы человѣкъ, еслибъ онъ всегда видѣлъ вещи въ ихъ дѣйствительномъ, безпокровномъ видѣ. Это правда; но правда и то, что вѣдь вслѣдъ за страхомъ сама собою приходитъ и охота освободиться отъ него; а это уже выигрышъ несомнѣнный. Поэтому слѣдуетъ разъ навсегда сказать себѣ, что въ мірѣ общественныхъ отношеній нѣтъ ничего обыденнаго, а тѣмъ менѣе посторонняго. Все насъ касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успѣемъ покорить свои страхи, когда уловимъ интимный тонъ жизни, или, иначе, когда мы вполнѣ усвоимъ себѣ обычай вопрошать всѣ безъ изъятія явленія, которыя она производитъ.

Чего хотѣли упомянутые выше люди?—этотъ вопросъ разрѣшается однимъ словомъ:

Жрать!!

Жрать что̀ бы то ни было, цѣною чего бы то ни было!

Жгучая мысль объ ѣдѣ не даетъ покоя безазбучнымъ; она день и ночь грызетъ ихъ существованіе. Какъ добыть ѣду?— въ этомъ весь вопросъ. Къ счастію, есть штука, называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...

Отрицать чье бы то ни было право на ѣду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разростается до такихъ размѣровъ, за которыми уже слѣдуетъ опасность. Дѣло въ томъ, что безазбучный ташкентецъ требуетъ ѣды не только некупленной, но и безпрерывно возобновляющейся; онъ никода не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваетъ другой. Чѣмъ больше онъ ѣстъ, тѣмъ больше онъ голоденъ, и это объясняется тѣмъ естественнѣе, что онъ даже утратилъ привычку утолять свой голодъ порядочнымъ образомъ. Онъ не ѣстъ, а закусываетъ, хватая урывками, на-лету; вотъ почему безпрерывное его закусыванье не бро-

сается въ глаза. Ѣда падаетъ словно въ пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентецъ непримѣтно истребляетъ цѣлыя массы всякаго рода тушъ, и, къ удивленію, это нимало не утучняетъ его. Въ томъ-то и заключается ужасъ, который возбуждаетъ этотъ человѣкъ, что онъ никогда не скажетъ: „я сытъ!“

Если намъ не кажутся странными нѣкоторыя радости, если мы не останавливаемся въ оцѣпенѣніи передъ нѣкоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даемъ себѣ труда анализировать ихъ внутреннее содержаніе. А между тѣмъ въ этихъ случаяхъ чье-то счастіе всегда основано на чьемъ-то несчастіи, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнѣніе здѣсь тѣмъ болѣе непростительно, что достаточно самаго поверхностнаго обзора подобныхъ личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идутъ медленно, глядятъ угрюмо и строго, шевелятъ челюстями, скрипятъ зубами, какъ будто говорятъ: дай срокъ! перекушу я тебѣ когда-нибудь горло! Другіе виляютъ, изумляютъ своею юркостью и самымъ наивнымъ образомъ изыскиваютъ способы снять съ васъ сюртукъ, а въ случаѣ надобности и лишить васъ мимоходомъ жизни. Смотрите внимательнѣе — и навѣрное вы сдѣлаете такія открытія, которыя непремѣнно принесутъ пользу. Отъ васъ не ускользнутъ ни судорожныя подергиванья рукъ, ни блудящіе огоньки, которыми, по временамъ, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; однимъ словомъ, ничего изъ того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будетъ, чтобъ обогатить вашъ умъ познаніями и раскрыть сущность явленія, дотолѣ загадочнаго. Вы пріучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. Въ вашу душу проникнетъ страхъ, но повторяю: это здоровый страхъ, потому что онъ приводитъ за собой рѣшимость во что бы ни стало освободиться отъ него.

Нѣтъ ничего опаснѣе обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается передъ нами дрянной человѣчишко, и мы не спрашиваемъ даже себя: кого-то онъ оборвалъ? Кого-то заживо освѣжевалъ? Кого-то проглотилъ? Мы ждемъ, чтобъ намъ объявили объ этомъ съ церемоніей, то-есть чтобъ тутъ былъ и приговоръ суда, и эшафотъ, и заплечный мастеръ. Только тогда, на мѣстѣ казни, всматриваясь въ эту несытую фигуру, мы говоримъ себѣ: „каковъ! а я еще вчера видѣлъ, какъ онъ шнырилъ по улицамъ!“ Но даже и это не всегда вразумляетъ насъ, ибо, сказавши себѣ такое назиданіе, мы тутъ же опять вступаемъ на торную дорогу, опять завязываемъ себѣ глаза, и не разстаемся съ нашей повязкой до тѣхъ поръ, покуда новая церемонія съ эшафотомъ и заплечнымъ мастеромъ насильно не сорветъ ея.

Понять извѣстное явленіе значитъ уже обобщить его, значитъ осуществить его для себя не въ одной какой-нибудь частности, а въ цѣломъ рядѣ таковыхъ, хотя бы онѣ, на поверхностный взглядъ, имѣли между собой мало общаго. Понять же явленіе вредное, порочное — значитъ на половину предостеречь себя отъ него. Вотъ почему я прошу читателя убѣдиться, что названіе „ташкентцы“ отнюдь не слѣдуетъ принимать въ буквальномъ смыслѣ. О! еслибъ всѣ ташкентцы нашли себѣ убѣжище въ Ташкентѣ! Мы могли бы сказать тогда: „Ташкентъ есть страна, населенная вышедшими изъ Россіи, за ненадобностью, ташкентцами“. Но теперь — развѣ мы можемъ указать

навѣрное, гдѣ начинаются границы нашего Ташкента и гдѣ онѣ кончаются? не живутъ ли господа ташкентцы посреди насъ? не рыскаютъ ли стадами по весямъ и градамъ нашимъ?

И вѣдь никто-то, никто не признаетъ ихъ за ташкентцевъ, а всѣ видятъ лишь добродушныхъ малыхъ, которымъ до смерти хочется ѣсть...

Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ ласковы и послѣ оголѣнія вновь обростаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь — къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбѣжное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и брѣющій, то подгибаютъ подъ себя ноги и ждутъ...

Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ городѣ, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей столько-то, приходскихъ церквей столько-то, училищъ нѣтъ, библіотекъ нѣтъ, богоугодныхъ заведеній нѣтъ, острогъ одинъ и т. д.—вы можете сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердцѣ Ташкента. Навѣрное вы найдете тутъ и просвѣтителей, и просвѣщаемыхъ, услышите крики: „ай! ай!“—свидѣтельствующіе о томъ, что корни ученія горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго, въ потѣ лица снискивающаго свою лебеду человѣка, около котораго, вѣчно его облюбовывая, похаживаетъ вѣчно несытый, но вѣчно жрущій ташкентецъ. Но училищъ и библіотекъ все-таки не найдете.

Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здѣсь рѣчь, находится тамъ, гдѣ дерутся и бьютъ.

Вчера я былъ въ театрѣ, въ самомъ аристократическомъ изъ всѣхъ—въ итальянской оперѣ—и вдругъ увидѣлъ ташкентца, и что всего удивительнѣе—ташкентца-француза (оказалось, что это былъ генералъ Флёри). Скулы его были развиты необычайно, носъ орлиный, зубы стиснуты, глаза—искали. Что-то безнадежное сказывалось въ этой сухой и мускулистой фигурѣ, какъ будто тамъ, внутри, все давно застыло и умерло. Разумѣется, кромѣ чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосѣду и съ волненіемъ, какъ будто хотѣлъ его предостеречь, сказалъ:

— Посмотрите, какой ташкентецъ!

Сосѣдъ съ удивленіемъ взглянулъ сначала на меня, потомъ въ ту сторону, въ которую я указывалъ; затѣмъ началъ всматриваться-всматриваться, и наконецъ пожалъ мнѣ руку, какъ будто въ самомъ дѣлѣ я избавилъ его отъ бѣды.

Изъ этого я заключилъ, что кромѣ тѣхъ границъ, которыхъ невозможно опредѣлить, Ташкентъ существуетъ еще и за границею (каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, я пришелъ къ догадкѣ, что даже такія формы, которыя, повидимому, свидѣтельствуютъ о

присутствіи цивилизаціи, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ удобно мирится съ желѣзными дорогами, съ устностью, гласностью, однимъ словомъ, со всѣми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится такъ-называемая цивилизація. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ самое маленькое слово: фюить! — и вы получите такой Ташкентъ, лучше котораго желать не надо.

Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ нравахъ и въ сердцѣ человѣка. Всякій, кто видитъ въ семейномъ очагѣ своего ближняго не огражденное мѣсто, а арену для веселонравныхъ похожденій, есть ташкентецъ; всякій, кто въ физіономіи своего ближняго видитъ не образъ Божій, а токъ, на которомъ можетъ во всякое время молотить кулаками, есть ташкентецъ; всякій, кто не стѣсняясь швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленною вещью, кто видитъ въ немъ лишь матеріалъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеніямъ, есть ташкентецъ. Человѣкъ разсуждающій, что вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было плевать во всѣ стороны, есть ташкентецъ...

Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку на возможность располагать своими движеніями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Можетъ быть, это „нѣчто зарождающееся“, „нѣчто намекающее“ и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого! Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ видится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися—сколько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго апетита!

Я, конечно, былъ бы очень радъ, еслибъ могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вотъ издыхающій Ташкентъ! но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, вездѣ сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно сквернѣхъ и опасныхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!“ и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!“ Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причи-

ной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся и окрѣпшій. Пожалуй я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ — въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что и пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достатотно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь такое общественное положеніе, въ которомъ одинъ Ташкентъ упраздняется только по милости возникновенія другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и дѣлается вѣщуномъ чего-то недобраго. Говорятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть слѣды стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то перестанетъ быть Ташкентомъ. На это я могу отвѣтить только: да, это разсужденіе очень ободрительное; но и за всѣмъ тѣмъ я ни на іоту не усилю моего легковѣрія и не надѣну узды на мои сомнѣнія. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: съ одной стороны — упорствующую безазбучность; съ другой—увеличивающійся апетитъ и возрастающую затѣйливость требованій для удовлетворенія его. Ничто такъ не прихотливо, какъ Ташкентъ, твердо рѣшившійся не выходить изъ безазбучности и въ то же время уже порастлившійся тонкою примѣсью цивилизаціи. Пирогъ, начиненный устностью и гласностью—помилуйте! да это такое объяденье, что вѣкъ его ѣшь—и вѣкъ сытъ не будешь! Тутъ-то и лестно размахнуться, когда размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ будто препятствующими, а въ сущности едва ли не споспѣшествующими. Вѣдь и изъ опыта извѣстно, что нарѣзное ружье стрѣляетъ дальше, нежели ружье, у котораго дуло имѣетъ внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не вѣрите въ существованіе господъ ташкентцевъ, я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу. Тамъ вы навѣрное и на каждомъ шагу насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, въ бараній рогъ согнулъ,—говоритъ одинъ,—да и жаловаться бы не велѣлъ!

— Этого человѣка четвертовать мало!—восклицаетъ другой.

— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку сбираетъ-съ! —вопіетъ третій.

Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но все-таки установленнаго и всѣми признаннаго судилища; нѣтъ, это приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себѣ гуляючи по улицѣ и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную рѣчь словцо о четвертованіи. Иногда они даже не понимаютъ и содержанія своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казни единственно по простосердечію... Да, читатель, по простосердечію! и ежели ты сомнѣвался, что даже въ слово „четвертованіе“ можетъ вкрасться простосердечіе, то взгляни на эти самодовольныя фигуры, устремляющіяся въ клубъ обѣдать—и убѣдись!

Меня нерѣдко занимаетъ вопросъ: можетъ ли палачъ обѣдать? можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? какую картину долженъ представлять его семейный бытъ? ласкаетъ ли онъ жену свою? гладитъ ли по головѣ ребенка? Помнитъ ли онъ? то-есть помнитъ ли, что онъ—заплечный мастеръ?

Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себѣ, чтобъ палачъ имѣлъ надобность насыщаться; мнѣ казалось, что онъ долженъ быть всегда сытъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я увидѣлъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертованіе и голодную смерть на необитаемомъ островѣ, тутъ же сряду устремлялись обѣдать—мои сомнѣнія сразу покончились. Да, сказалъ я себѣ—это вѣрно; палачъ можетъ обѣдать, можетъ имѣть семейство, ласкать жену, гладить по головѣ ребенка! Что нужды, что онъ сегодня же утромъ гладилъ кого-то по спинѣ?—былъ часъ и было дѣло; насталъ другой часъ — настало другое дѣло; въ такомъ-то часу онъ заплечный мастеръ, въ такомъ-то — отецъ семейства, въ такомъ-то — полезный гражданинъ... Всѣ часы распредѣлены, и у всякаго часа есть особенная клѣтка. Все имѣетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ, и слѣдовательно все обстоитъ благополучно...

Но оставимъ заплечнаго мастера и займемся нашими ташкентцами, изъ разряда простодушныхъ.

„Согнуть въ бараній рогъ“ — ясно, что эти люди не понимаютъ, какъ это больно, если они не теряютъ даже апетита, выразивши своему ближнему такое странное пожеланіе. Ясно также, что они и о „необитаемомъ островѣ“ имѣютъ понятіе только по слышанной ими въ дѣтствѣ исторіи о Робинзонѣ Крузое. Можетъ быть, имъ думается, что вотъ, дескать, Робинзонъ и въ пустынѣ нашелъ средства приготовить себѣ обѣдъ и прикрыть свою наготу... Невѣжды! они не знаютъ даже того, что это исторія вымышленная? Но въ томъ-то и дѣло, что есть случаи, когда невѣжество не только не вредитъ, но помогаетъ. Во-первыхъ, оно освобождаетъ человѣка отъ множества представленій, передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасѣ, если бы имѣлъ отчетливое понятіе о ихъ внутренней сущности; во-вторыхъ, оно дозволяетъ содержать апетитъ въ постоянно-достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невѣжества, чего можетъ устыдиться гуляющій русскій человѣкъ? — того ли, что въ произнесенныхъ имъ сейчасъ угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего другого, кромѣ безсмысленнаго бреха? но почемъ же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ на всѣ свои дѣйствія, на всѣ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ ходитъ — брешетъ, ѣстъ — брешетъ. И знаетъ это, и нимало ему не стыдно.

Что тутъ есть брехъ — это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что васъ настигаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а цѣлая совокупность бреховъ. И вдругъ вамъ объявляютъ, что эта-то совокупность именно и составляетъ общественное мнѣніе. Сначала вы не вѣрите, и усиливаете ваши наблюденія; но мало-по-малу сомнѣнія слабѣютъ. Проходитъ немного времени, и вы уже восклицаете: какъ это странно, однакожъ!.. всѣ брешутъ!

Всѣ не всѣ, но это не мѣшаетъ предполагать, что еслибъ при употребленіи нѣкоторыхъ выраженій мы давали мѣсто элементу сознательности, то дѣло отъ этого едва ли бы проиграло.

Возьмемъ для примѣра хоть одно такое выраженіе: согнуть въ бараній рогъ. Что нужно сдѣлать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человѣка почти вчетверо, и притомъ такъ, чтобъ головой онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову перекинулись бы на спину.

Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобіе бараньяго рога. Возможно ли подобное предпріятіе? — по совѣсти, это сказать нельзя. Я увѣренъ, что человѣкъ умретъ немедленно, какъ только начнутъ пригибать его голову съ тѣми усиліями, какія необходимы для подобной операціи. Когда онъ умретъ, конечно уже можно будетъ и пригибать, и наматывать какъ угодно, но удовольствія въ этомъ занятіи не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ, который не можетъ даже выразить, что онъ цѣнитъ дѣлаемыя по поводу его усилія? По моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать надъ живымъ человѣкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка нагрубить, и въ то же время не лишенъ способности произвести правильную оцѣнку...

Но—скажутъ мнѣ—какъ же вы не понимаете, что выраженіе „въ бараній рогъ согнуть“ есть выраженіе фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую рѣчь постепенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ пошлыхъ, самыхъ вредныхъ. По моему мнѣнію, не мѣшало бы подумать и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.

И такъ, Ташкентъ можетъ существовать во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Не знаю, убѣдился ли въ этомъ читатель мой, но я убѣжденъ настолько, что считаю себя даже вполнѣ компетентнымъ, чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующихъ въ этой отвлеченной странѣ. Такимъ образомъ, я нахожу возможнымъ изобразить:

ташкентца, цивилизующаго in partibus;

ташкентца, цивилизующаго внутренности;

ташкентца, разрабатывающаго собственность казенную (въ просторѣчіи —казнокрадъ);

ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просторѣчіи —воръ);

ташкентца промышленнаго;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внѣшнюю;

ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю; и такъ далѣе, почти до безконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всѣхъ имѣется одинъ соединительный крикъ:

Жрать!!

Я не предполагаю писать романъ, хотя похожденія любого изъ ташкентцевъ могутъ представлять много запутаннаго, сложнаго и даже поразительнаго. Мнѣ кажется, что романъ утратилъ свою прежнюю почву съ тѣхъ поръ, какъ семейственность и все, что̀ принадлежитъ къ ней, начинаетъ измѣнять свой характеръ. Романъ (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какимъ онъ являлся до сихъ поръ) есть по преимуществу произведеніе семейственности. Драма его зачинается въ семействѣ, не выходитъ оттуда и тамъ же заканчивается. Въ положительномъ смыслѣ (романъ англійскій), или въ отрицательномъ (романъ французскій), но семейство всегда играетъ въ романѣ первую роль.

Этотъ теплый, уютный, хорошо обозначившійся элементъ, который давалъ содержаніе роману, улетучивается на глазахъ у всѣхъ. Драма начинаетъ требовать другихъ мотивовъ; она зарождается гдѣ-то въ пространствѣ и тамъ кончается. Покуда это пространство не освѣщено, все въ немъ будетъ казаться и холодно, и темно, и безпріютно. Перспективъ не видно; драма кажется отданною въ жертву случайности. Того пришибло, тотъ умеръ съ голоду — развѣ такое разрѣшеніе можетъ быть названо разрѣшеніемъ? Конечно, можетъ; и мы не признаемъ его таковымъ единственно потому, что оно предлагается намъ обрубленное, обнаженное отъ тѣхъ предшествующихъ звеньевъ, въ которыхъ собственно и заключалась никѣмъ незамѣченная драма. Но эта драма существовала несомнѣнно и заключала въ себѣ образцы борьбы гораздо болѣе замѣчательной, нежели та, которую представлялъ намъ прежній романъ. Борьба за неудовлетворенное самолюбіе, борьба за оскорбленное и униженное человѣчество, наконецъ борьба за существованіе — все это такіе мотивы, которые имѣютъ полное право на разрѣшеніе посредствомъ смерти. Вѣдь умиралъ же человѣкъ изъ-за того, что его милая поцѣловала своего милаго, и никто не находилъ дикимъ, что эта смерть называлась разрѣшеніемъ драмы. Почему? — а потому именно, что этому разрѣшенію предшествовалъ самый процессъ цѣлованія, то-есть драма. Тѣмъ съ большимъ основаніемъ позволительно думать, что и другія, отнюдь не менѣе сложныя опредѣленія человѣка тоже могутъ дать содержаніе для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сихъ поръ пользуются недостаточно и неувѣренно, то это потому только, что арена, на которой происходитъ борьба ихъ, слишкомъ скудно освѣщена. Но она есть, существуетъ и даже очень настоятельно стучится въ двери литературы. Въ этомъ случаѣ я могу сослаться на величайшаго изъ русскихъ художниковъ, Гоголя, который давно провидѣлъ, что роману предстоитъ выйти изъ рамокъ семейственности.

Романъ современнаго человѣка разрѣшается на улицѣ, въ публичномъ мѣстѣ — вездѣ, только не дома; и притомъ разрѣшается самымъ разнообразнымъ, почти непредвидѣннымъ образомъ. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась Богъ знаетъ гдѣ; началась поцѣлуями двухъ любящихъ сердецъ, а кончилась полученіемъ прекраснаго мѣста, Сибирью и т. п. Эти рѣзкіе перерывы и переходы кажутся намъ неожиданными, но между тѣмъ въ нихъ несомнѣнно есть своя строгая послѣдовательность, только усложнившаяся множествомъ разнаго рода мотивовъ, которые и до сихъ поръ еще ускользаютъ отъ нашего вниманія или неправильно признаются нами не-драматическими. Прослѣдить эту неожиданность такъ, чтобъ она перестала быть неожиданностью — вотъ, по моему мнѣнію, задача, которая предстоитъ геніальному писателю, имѣющему создать новый романъ.

Само собою разумѣется, что я не пытаюсь даже подойти къ подобной задачѣ; я сознаю, что она мнѣ не по силамъ. Но такъ какъ я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя матеріаловъ для нея. Есть типы, которые объяснить небезполезно, въ особенности въ тѣхъ вліяніяхъ, которыя они имѣютъ на современность. Если справедливо, что во всякомъ положеніи вещей главнымъ зодчимъ является исторія, то не менѣе справедливо и то, что вездѣ можно встрѣтить отдѣльныхъ индивидуумовъ,

которые служатъ воплощеніемъ „положенія“ и представляютъ собой какъ бы отвѣтъ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы—значитъ понять и разъяснить типическія черты самого положенія, которое ими не только не заслоняется, но, напротивъ того, съ ихъ помощью дѣлается болѣе наглядными и рельефнымъ. И мнѣ кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляетъ условій совершенной цѣльности, но можетъ внести въ общую сокровищницу общественной физіологіи матеріалъ довольно цѣнный.

Но тутъ является еще одно условіе—это отношеніе писателя къ типамъ, имъ изображаемымъ. Всякая данная историческая минута, несмотря на то, что ее можно охарактеризовать однимъ выраженіемъ (такъ напримѣръ, объ извѣстныхъ эпохахъ говорятъ, что это эпохи, когда „злое начало въ человѣкѣ пришло къ спокойному и полному сознанію самого себя“ (Нибуръ, „Чт. о др. ист.“), представляетъ, однакожъ, довольно много мотивовъ, очень разнообразныхъ, изъ которыхъ одни вызываютъ типы, возбуждающіе негодованіе, другіе—типы, возбуждающіе сочувствіе. Казалось бы, что нѣтъ повода ни для негодованія, ни для сочувствія, если ужъ разъ признано, что во всякомъ положеніи главнымъ зодчимъ является исторія. Между тѣмъ мы не можемъ воздержаться, чтобы однихъ не обвинить, а другихъ не ставить на пьедесталъ, и чувствуемъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ законно и разумно. Мнѣ кажется, явленіе это объясняется тѣмъ, что въ этомъ случаѣ и сочувствіе, и негодованіе устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздѣйствіе ихъ на общество. Кромѣ дѣйствующихъ силъ добра и зла, въ обществѣ есть еще извѣстная страдательная среда, которая преимущественно служитъ ареной для всякаго воздѣйствія. Упускать эту среду изъ вида невозможно, еслибъ даже писатель не имѣлъ другихъ претензій, кромѣ собиранія матеріаловъ. Очень часто объ ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется какъ бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, въ сущности же представленіе объ этой страдательной средѣ никогда не покидаетъ мысли писателя. Это та самая среда, въ которой прячется „человѣкъ, питающійся лебедою“. Живетъ ли онъ, или только прячется? Мнѣ кажется, что хотя онъ по преимуществу прячется, но все-таки и живетъ немного.

Спрашивается: можетъ ли писатель оставаться совершенно безучастнымъ къ тому или иному способу воздѣйствія на эту страдательную среду?

Какъ бы то ни было, но покуда арена, на которую видимо выходитъ новый романъ, остается неосвѣщенною, скромность и сознаніе пользы заставляютъ вступать на нее не въ качествѣ художника, а въ качествѣ собирателя матеріаловъ. Это развязываетъ писателю руки, это ставитъ его въ прямыя отношенія къ читателю. Собиратель матеріаловъ можетъ дозволить себѣ внѣшнія противорѣчія—и читатель не замѣтитъ ихъ; онъ можетъ навязать своимъ героямъ сколько угодно должностей, званій, ремеслъ; онъ можетъ сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть въ этомъ случаѣ—смерть примѣрная: въ сущности, герой живъ до тѣхъ поръ, покуда живо положеніе вещей, его вызвавшее.

Но я чувствую, что уже достаточно распространился о томъ, какую цѣль имѣютъ въ виду предлагаемые этюды.

Нѣтъ ничего легче, какъ составить краткое извѣстіе о родопроисхожденіи любого „ташкентца“.

Въ большинствѣ случаевъ, это дворянскій сынъ, не потому, чтобы въ дворянствѣ фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго ташкентства, а потому, что сословіе это до сихъ поръ было единымъ дѣйствующимъ, и слѣдовательно невольно представляло собой разсадникъ всего, что такъ или иначе имѣло возможность проявлять себя. Кромѣ пороковъ, тутъ были, конечно, и добродѣтели. Затѣмъ „ташкентецъ“ непремѣнно получилъ такъ-называемое классическое образованіе, т.-е. такое, которое имѣло свойствомъ испаряться немедленно по оставленіи паціентомъ школьной скамьи. Еще Грановскій подмѣтилъ это странное свойство россійскаго классицизма. „Студенты,—пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ („Біографич. очеркъ“ А. Станкевича),—занимаются хорошо, пока не кончили курса“, или, другими словами, до тѣхъ поръ, покуда можетъ потребоваться сдача экзамена. Послѣ сего, какъ и слѣдуетъ ожидать, наступаетъ полнѣйшая „свобода отъ наукъ“.

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ молодого человѣка, который выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовленіе къ нимъ стоило ему нѣсколькихъ недѣль самаго усидчиваго и назойливаго труда и не мало безсонныхъ ночей. Въ теченіе курса онъ занимался всѣмъ, чѣмъ хотите, только не пріобрѣтеніемъ знанія. Инстинктъ подсказывалъ ему, что даровая жизнь не требуетъ знанія и что знаніе, въ свою очередь, не можетъ даже имѣть никакихъ примѣненій къ даровой жизни. При такомъ положеніи вещей можетъ существовать только одинъ стимулъ для пріобрѣтенія знанія (въ особенности знанія съ точки зрѣнія классицизма, знанія, не имѣющаго немедленнаго и непосредственнаго приложенія) — это любознательность. Но развѣ можно обвинять кого бы то ни было за то, что онъ мало любознателенъ? развѣ любознательность обязательна? Нашъ юноша очень хорошо понимаетъ это, и убѣждается въ необходимости знанія только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Нѣсколько недѣль сряду онъ находится въ возбужденномъ, почти восторженномъ состояніи. Въ теченіе этого времени онъ окачиваетъ себя множествомъ разнообразнѣйшихъ знаній, но понимаетъ только одно: что знанія служатъ отвѣтомъ на печатные билеты, которые онъ долженъ будетъ брать на-удачу со стола экзаменатора. Увы? этихъ билетиковъ такъ много, что на нѣкоторые изъ нихъ онъ даже не успѣлъ приготовить отвѣтовъ...

Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ школу и получаетъ дипломъ!

Онъ во всеоружіи является на ту самую арену исторіи, на которой, по выраженію Грановскаго, онъ долженъ быть и матеріаломъ, и зодчимъ („зачѣмъ же матеріаломъ? — недоумѣваетъ онъ про себя: — не лучше ли прямо зодчимъ?“).

Нимало не медля, отправляется онъ въ трактиръ, и этимъ открываетъ свое вступленіе на арену исторіи. Черезъ полчаса онъ уже смѣшиваетъ Ликурга съ Солономъ, а Мильтіада дружески называетъ Мараѳономъ. Проходитъ еще полчаса — и вотъ даже этотъ маскарадный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ какія-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсѣмъ неклассической Машки...

Знаніе, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ помнитъ только одно: что онъ получилъ дипломъ и имѣетъ право, отпраздновавши какъ слѣдуетъ освобожденіе отъ наукъ, быть „зодчимъ“.

Гдѣ и въ какомъ смыслѣ зодчимъ?

Онъ устремляется подъ кровлю родительскаго дома, чтобъ отдохнуть послѣ неумѣреннаго окачиванья. Разумѣется, къ нему простираются всѣ объятія; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ: „ну, вотъ, молодецъ!“ Но никто не спрашиваетъ, чѣмъ онъ заручился и съ какимъ запасомъ пріѣхалъ. Среди восторговъ, увеселеній и ласкъ незамѣтно проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ семейный праздникъ пріѣдается, наступаетъ забота объ устройствѣ праздника болѣе солиднаго и на иной манеръ.

— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ,—говорятъ дворянскому сыну родители:—вѣдь ты не объѣдокъ какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущемъ!—повторяетъ дворянскій сынъ и, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаетъ, что имѣетъ право быть зодчимъ...

Или голубей гонять, или быть зодчимъ — средины нѣтъ. Сомнѣнія, къ которой изъ этихъ двухъ должностей примкнетъ выборъ, нельзя допустить; колебанію можетъ подлежать только одинъ вопросъ: гдѣ и въ какомъ смыслѣ быть зодчимъ?

Нѣкоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земскимъ судомъ. Въ гражданской палатѣ существуютъ крѣпостныя дѣла („прекраснѣйшія, мой другъ, эти мѣста!“ говорятъ растроганные родители), но тамъ „зодчество“ ограничивается только устройствомъ и пріумноженіемъ собственнаго благосостоянія. Въ земскомъ судѣ менѣе шансовъ для зодчества имущественнаго, за то большой просторъ для зодчества историческаго. Историческое зодчество прельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красивостью.

— Съ чѣмъ же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что̀ предстоитъ мнѣ созидать? что̀ я знаю?—спрашиваетъ онъ себя, и съ непривычки ему дѣлается какъ будто совѣстно.

— Я знаю, что я ничего не знаю!—мелькаетъ въ его умѣ единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполнѣ твердо.

— Э! не боги горшки обжигали!—мелькаетъ, однакожъ, и другой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.

Какъ всегда водится, истина позднѣйшая вытѣсняетъ истину предшествовавшую. Позднѣйшій афоризмъ даетъ молодому человѣку возможность позабыть объ афоризмѣ прежде явившемся.

Рѣшено; онъ начинаетъ обжигать горшки, и вскорѣ убѣждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не только онъ самъ, но все, что̀ его окружаетъ: товарищество, въ которое онъ вступаетъ, и даже

масса, которую онъ предпринимаетъ обжигать—все въ одинъ голосъ удостовѣряетъ его, что онъ по истинѣ способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, что онъ знаетъ, что онъ умѣетъ дѣлать: такъ натуральнымъ кажется всѣмъ и каждому, что для обжиганія горшковъ совсѣмъ не требуются божественныя качества. Каково зодчество, таковы и зодчіе — это безспорно. Каково зодчество?—странный вопросъ!—ухватилъ, смялъ, поволокъ...

И дѣйствительно: за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спорится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ видѣ. Онъ удивляется только одному: отчего въ школѣ его учили какъ будто чему-то другому?

—А чему, бишь, учили меня въ школѣ?—инстинктивно спрашиваетъ онъ самого себя:—ахъ, да! res nullius caedet primo occupandi!—вѣрно! Затѣмъ онъ успокоивается и окончательно рѣшаетъ въ умѣ, что нѣтъ въ мірѣ ничего столь безполезнаго, какъ нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежъ. Молодой человѣкъ влетаетъ въ нихъ съ гиканьемъ, съ свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надвинувши шапку набекрень... Онъ чувствуетъ, что надоѣдливая опека школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего да и некогда. Съ этой минуты онъ полноправный гражданинъ своей новой родины.

Съ этой же минуты онъ окончательно дѣлается продуктомъ принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще болѣе своеобразныя понятія, которыя закрываютъ плотною завѣсой остальные обрывки воспоминаній скуднаго школьнаго прошлаго. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить въ мірѣ порядокъ и всеобщее безмолвіе.

Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что ташкентство плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, сколько тѣмъ, что за нимъ неизбѣжно скрывается „человѣкъ, питающійся лебедою“.

Этотъ человѣкъ — явленіе очень любопытное, въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ, но повидимому и не желаетъ сытости.

Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравейникѣ, и до того съежился и присмирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышится и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единаго живого звука. Членораздѣльна ли она? способна ли выдѣлить изъ себя какія-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не въ силахъ разложить ее?

Мракъ, окружающій эти вопросы, до такой степени густъ, что многіе воспользовались имъ, чтобъ утверждать, что всякій муравейникъ есть соединеніе безличныхъ Ивановъ, которые всѣ одинаково снабжены толоконными животами и всѣ одинаково ни на что не скалятъ зубы, ничего не просятъ, кромѣ лебеды. Это просто безшумное стадо, насущееся среди всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, питающееся поскуднѣйшими злаками, встающее съ восходомъ солнца, засыпающее съ закатомъ его, не покорившее себѣ природу, но само покорившееся ей.

„Покуда существовало крѣпостное право,—прибавляютъ защитники этого мнѣнія,—стадо, по крайней мѣрѣ, было сыто и прилежно къ воздѣлы-

ванью; теперь оно и голодно, и вмѣсто воздѣлыванья поетъ по кабакамъ безобразныя пѣсни". Такимъ образомъ оказывается, что трудъ, какъ результатъ принужденія, и кабакъ, какъ результатъ естественнаго влеченія, — вотъ два полюса, между которыми осужденъ метаться человѣкъ, питающійся лебедою.

Другихъ опредѣленій не существуетъ; по крайней мѣрѣ, Ташкентъ цивилизованный, Ташкентъ интеллигентный не съумѣлъ отыскать ихъ.

Какъ ни авторитетны подобныя показанія, однакожъ когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то-есть тоже жертвами всевозможныхъ недоразумѣній и недомыслій, то въ душу невольно закрадывается сомнѣніе.

Если муравейникъ, имѣя передъ собой два пути — путь трудолюбія и путь праздности, предпочелъ послѣдній первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно-копошащійся муравейникъ, но муравейникъ, имѣющій способность выбирать. Предположимъ, что въ данную минуту онъ сдѣлалъ свой выборъ въ явный ущербъ самому себѣ, но если уже однажды признается за нимъ способность выбирать, то необходимо признать и другую способность — способность руководиться при этомъ какими-нибудь соображеніями. Очень можетъ быть, что праздность показалась ему выгоднѣе, или, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели трудолюбіе. Я напередъ соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблужденіе; но есть же какая-нибудь причина, вслѣдствіе которой и грубыя заблужденія въ иныя минуты принимаютъ видъ истины. Одну изъ такихъ причинъ, между прочимъ, представляетъ то разнорѣчіе, которое возникаетъ въ умѣ, когда начинаешь примѣнять слово „выгода" къ слову „трудъ". Трудъ выгоденъ — это афоризмъ очень основательный, но нельзя же принимать всякій афоризмъ буквально. Афоризмы самые крѣпкіе подвергаются разложенію; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идетъ рѣчь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишкомъ ли понятіе объ ней отвлеченно для такого простого и неразвитого ума, какимъ представляется умъ муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?

Не могу не повторить здѣсь того, что̀ уже сказано было однажды въ началѣ этого этюда: никогда не лишнее дѣлать себѣ вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляетъ человѣка и всѣмъ явленіямъ сообщаетъ ихъ истинные, дѣйствительные размѣры.

Но, оставивъ въ сторонѣ несостоятельное мнѣніе о безличности „человѣка, питающагося лебедою", я все-таки долженъ сказать, что мракъ, окружающій его, густъ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящаго, секретно-вздыхающаго и секретно-вожделѣющаго субъекта, увидѣть его лицомъ къ лицу — до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрѣшимою. Можетъ быть, это происходитъ оттого, что пріемы, употреблявшіеся доселѣ съ этою цѣлью, были или слишкомъ грубы, или слишкомъ наивны. Эти пріемы состояли съ одной стороны въ ташкентскомъ воздѣйствіи, съ другой — въ томъ, что мы сами (и притомъ очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляетъ, но не изслѣдуетъ; притворство выглядываетъ наружу изъ-подъ самой искусной гримировки, и при частомъ повтореніи обращается въ привычку, которая всѣ дѣйствія человѣка держитъ въ какомъ-то

искуственномъ плѣну. Нужно найти какой-нибудь средній путь, на которомъ наблюдатель могъ бы обозрѣвать человѣка, питающагося лебедою, оставаясь самимъ собой, то-есть не ташкентствуя, но и не лебезя.

Говоря по совѣсти, этого средняго пути я еще не знаю, но, кажется, что съ 19 февраля 1861 года онъ уже начинаетъ понемногу освѣщаться. Массы выясняются; показываются очертанія отдѣльныхъ особей; наблюдательныя средства получаютъ возможность дѣйствовать успѣшнѣе не потому, чтобы они сами по себѣ дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось нѣсколько лишнихъ преградъ, стоявшихъ между предметомъ и предметнымъ стекломъ. Очень возможно, что упадутъ и другія, послѣднія преграды.

Что тогда откроется?—вотъ въ чемъ весь вопросъ.

II. — Ташкентцы-цивилизаторы.

Цивилизующее значеніе Россіи въ исторіи развитія человѣчества всѣми учебниками статистики поставлено на такомъ незыблемомъ основаніи, что самое щекотливое самолюбіе должно успокоиться и сказать себѣ, что далѣе этого идти невозможно. Я узналъ объ этомъ назначеніи очень рано. Тому назадъ давно — я воспитывался въ то время въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, и, какъ сейчасъ помню, что это было на слѣдующее утро послѣ какого-то великолѣпно удавшагося торжественнаго дня—мы слушали первую лекцію статистики. Профессоръ вошелъ на каѳедру и слѣдующимъ образомъ началъ свою бесѣду о цивилизующемъ значеніи Россіи. „А замѣтили ли вы, господа, — сказалъ онъ, — что у насъ въ высокоторжественные дни всегда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ небѣ? что ежели, по временамъ, погода съ утра и не обѣщаетъ быть хорошею, то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставленіи обывателямъ зажечь иллюминацію никогда не встрѣчаетъ препонъ въ своемъ исполненіи?“ Затѣмъ онъ вздохнулъ, сосредоточился на минуту въ самомъ себѣ и продолжалъ: „Стоя на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія призвана Провидѣніемъ“ и т. д., и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображеніе. Для меня сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)! Если вѣрить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъ-давно рѣшена. Несмотря на то, что торжества имѣютъ характеръ праздниковъ переходящихъ, наше солнце настолько дисциплинировано, что зараньше справляется съ календаремъ, когда ему слѣдуетъ играть. Тогда и играетъ. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мнѣ не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то „плоды“, которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать; но что это за „плоды“, въ какихъ лѣсахъ они ростутъ и какимъ порядкомъ

ихъ передавать, то-есть справа ли налѣво, или слѣва направо — этого никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ. „Налѣво кругомъ!“ —раздавалось въ моихъ ушахъ; но и этотъ воинственный кличъ какъ-то не утѣшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.

— Иванъ Петровичъ! — спрашивалъ я почтеннаго нашего профессора:—зачѣмъ же намъ передавать чужіе плоды, если у насъ есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, такъ никто тебѣ не препятствуетъ! — отвѣчалъ Иванъ Петровичъ съ тѣмъ равнодушіемъ, которое въ то время одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ, и которое, казалось, такъ и говорило: „что ты пристаешь ко мнѣ за разъясненіями? Я свое дѣло сдѣлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!“

— Но откуда брать? Куда передавать?—продолжалъ я настаивать.

— Придетъ пора да время—все узнаешь. Скажутъ: „спасибо“—значитъ, потрафилъ: надерутъ вихоръ—значитъ, проштрафился, надо начинать сызнова.—И такъ, милостивые государи! находясь на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія самимъ Провидѣніемъ призвана...

Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ—вотъ и все;

и 3) что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ.

Результаты неясные, не удовлетворявшіе даже тогдашнихъ моихъ дѣтскихъ требованій.

Но съ теченіемъ времени самыя трудныя загадки разгадываются. Не буду подробно разсказывать здѣсь печальную исторію моихъ колебаній; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочарованіями. Была, напримѣръ, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогіи и видя, что солнце каждый день встаетъ на востокѣ, я заключилъ изъ этого, что восточные плоды суть тѣ самые, которые наиболѣе пригодны для запада, и что стоитъ только насадить ихъ, чтобы положить конецъ всѣмъ гніеніямъ, броженіямъ и недоразумѣніямъ. Я ободрился. Нарѣзавши цѣлую рощу цивилизующихъ орудій и воскликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ, какъ-то вы тамъ гніете!—я устремился впередъ, и что жъ оказалось?—что мои цивилизующія орудія всѣ сразу заглохли! что пересаженныя съ почвы дѣвственной, но сравнительно тощей, они не только никого не плѣнили, но даже сами не выдержали изобилія туковъ, представляемаго западнымъ гніеніемъ!

Всякій пойметъ, какъ былъ непріятенъ для меня этотъ опытъ; но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что „стою на рубежѣ“, то цивилизаціонное мое назначеніе нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западѣ не принесла желаемыхъ результатовъ,—разсуждалъ я самъ съ собою,—то это значитъ только, что я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гдѣнибудь въ другомъ мѣстѣ. Меня начала интересовать мысль: не съѣздить ли,

для начала, поцивилизовать слегка, напримѣръ, въ Рязанскую или Тамбовскую губерніи? И не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ, хотя и довольно голодныхъ ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнувъ: „ребята! съ нами Богъ!“ ринулся...

Могу сказать смѣло: я дѣйствовалъ по всѣмъ правиламъ искусства, то-есть цивилизовалъ все, что попадалось мнѣ по пути. Но и тутъ неудача не перестала меня преслѣдовать. Оказалось, что въ этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мнѣ оставалось только преклониться ницъ передъ такими памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народныя бани), величественныя зданія волостныхъ и сельскихъ расправъ, вымощенныя известковымъ камнемъ улицы и проч., и проч. Однажды, видя, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнулъ:—да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно? — и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались двѣ цивилизаціи совершенно равноправныя: одна, которую хотѣлъ насадить я съ своими „ребятами“, и другая, которую постепенно насаждалъ цѣлый рядъ „ребятъ“, начиная отъ знаменитаго своими проказами Ударъ-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевымъ.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывалъ мое огорченіе. Но товарищи мои крѣпко пріуныли. И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпитъ безъ остатка, а за минуту передъ тѣмъ мы съѣли послѣдній кусокъ колбасы. Въ долгъ никто не вѣрилъ... Куда дѣвать никому ненужную силу? Гдѣ найти секретъ, который давалъ бы возможность просвѣщать безъ просвѣщенія, палить безъ пороху, сѣчь безъ розогъ? Какое употребленіе сдѣлать изъ рукъ, которыя такъ и цѣпляются, такъ и хватаютъ? А главное: какъ добыть очищенной, не имѣя гроша за душой, спустивши все до послѣдней нитки, не зная никакого ремесла, никакихъ даже словъ, кромѣ: „ради стараться!“ и — „съ нами Богъ!“? Всякій согласится, что положеніе болѣе безвыходное, болѣе трагическое — трудно себѣ представить!

По временамъ мною овладѣвали движенія совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ мѣста и бѣжалъ впередъ, самъ не зная куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизовать насквозь цѣлую палестину! Я бросался и на западъ, и внутрь, все въ надеждѣ что-нибудь зацѣпить, что-нибудь ущемить... Тщетно! Я чувствовалъ, что во мнѣ сидитъ что-то такое, чему нѣтъ имени... или нѣтъ! это ужасное имя есть, и называется оно—разоренье! Не откуда ничѣмъ раздобыться, некуда ничего нести... все вздоръ, все обольщенье и прахъ! Ничего у меня не осталось, кромѣ ужаснаго аппетита!

Жррррать!!

И вдругъ я услышалъ слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаилъ дыханіе.

— Таш-кентъ! Таш-кентъ! — слаще всякой музыки раздавалось въ ушахъ моихъ.

Жррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не понималъ и самъ, какіе новые пути оно открываетъ твоимъ добрымъ товарищамъ! Ты

произнесъ его безсознательно, въ порывѣ отчаянія, но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи шумѣли и спорили; слово „Ташкентъ“ было у всѣхъ на языкѣ.

— Ташкентъ!—ораторствовалъ другъ мой, Аркаша Пустолюбовъ: — но поймите же, messieurs, вѣдь это только географическій терминъ, вѣдь это просто пустое мѣсто, въ которомъ не только удобствъ, но даже ѣды никакой, кромѣ баранины, нѣтъ!

— Жрррать!—какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ.

— Однако, mon cher, — возражалъ Сеня Броненосный:—баранина... c'est très succulant! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а въ нашемъ положеніи даже далеко не лишняя.

— Жрррать!

— Позвольте! ну, положимъ — баранина! но общество женщинъ? гдѣ, я васъ спрашиваю, найдемъ мы общество женщинъ?

Но я уже не слушалъ; уста мои шептали: стоя на рубежѣ...

Господи! ужели же, наконецъ, тѣ цѣли, о которыхъ говорилъ учебникъ статистики, будутъ достигнуты!

Я прогорѣлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминаніе севастопольской брани, которой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ извѣстіе о мирѣ застало насъ въ одинъ переходъ отъ Тулы; вслѣдствіи эта самая ополченка была свидѣтельницей моихъ усилій по водворенію началъ восточной цивилизаціи въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ), на ногахъ — соотвѣтствующія брюки. Затѣмъ, кромѣ голода и жажды—ничего!

Въ такомъ положеніи я на послѣднія деньги взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербургѣ.

Я еще прежде замѣчалъ, что по какой-то странной случайности составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда бываетъ однородный. Такъ напримѣръ, бываютъ вагоны совершенно глупые, что въ особенности часто случалось вскорѣ послѣ заведенія спальныхъ вагоновъ. Однажды, помѣстившись въ спальномъ вагонѣ второго класса, я былъ лично свидѣтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успѣвши еще осмотрѣться, сказалъ:

— Ну, теперича намъ здѣсь преотлично! ежели мы теперича даже совсѣмъ раздѣнемся, такъ и тутъ никто ничего намъ сказать не можетъ!

И дѣйствительно, онъ скинулъ съ себя все, даже сапоги, и въ одномъ бѣльѣ началъ ходить взадъ и впередъ по отдѣленіямъ. Эта глупость до того заразила весь вагонъ, что черезъ минуту уже всѣ путешественники были въ одномъ бѣльѣ и радостно приговаривали:

— Ну, теперь намъ здѣсь преотлично! теперь ежели мы и совсѣмъ раздѣнемся, такъ никто ничего сказать намъ не смѣетъ!

И такимъ образомъ ѣхали всѣ вплоть до Петербурга, то раздѣваясь, то одѣваясь и выказывая радость неслыханную.

Точно такъ же было и въ настоящемъ случаѣ; вагонъ, въ которомъ я по-

мѣстился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравшіеся тутъ, были не отъ міра сего, но принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло изъ отставныхъ служакъ, уже порядочно обколоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ виднѣлось и нѣсколько молодыхъ людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водкѣ. Никакимъ другимъ цивилизующимъ орудіемъ они не обладали, кромѣ сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цѣпкихъ рукъ, которыми они по временамъ какъ будто загребали. На многихъ были одѣты такія же ополченки, какъ и на мнѣ; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины и водки. Но всѣ говорили безъ устали; въ душѣ у всякаго жила надежда. Надо было видѣть, съ какою поспѣшностью проглатывали они на станціяхъ стаканы очищенной, съ какими судорожными движеніями отдирали зубами куски зачерствѣлой колбасы! Казалось, земля горѣла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ бы не упустить времени!

— Да-съ, — говоритъ кто-то въ одномъ углу: — это, я вамъ доложу, сторонка! сверху палитъ, кругомъ песокъ... воды — ни капли! Ну, да вѣдь мы люди привышные!

— Такъ-то такъ, только насчетъ ѣды... ну, и тово-воно какъ оно — и этого тоже нѣту!

— Помилуйте! да какой вамъ ѣды лучше! баранина есть, водка есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съѣлъ кусокъ...

— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлѣбнаго, такъ сказываютъ, и въ заводѣ нѣтъ!

— Такъ что жъ! еще лучше — изъ рису ее тамъ дѣлаютъ! Отъ этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.

Въ другомъ углу:

— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ первый разъ нахожусь...

— Ссс!..

— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ-третьемъ году, сижу, знаете, слышу: шумятъ! Ну, думаю, люди нужны! Надѣваю вотъ эту самую дубленку, и прямо къ покойному генералу! Вышелъ... хрипитъ! — „Ну?“ говоритъ. — Такъ и такъ, говорю, — готовъ! — „Хорошо, говоритъ, мнѣ люди нужны“... Только и словъ у насъ съ нимъ было. Налѣво круг-омъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ пòлечку подцѣпилъ — масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, объ пòлечкахъ-то надо будетъ забыть! Это такой край, что тутъ не то чтобы чтò, а какъ бы только перехватить что-нибудь!

— Чтò вы! да развѣ вы не слышали, какая у нихъ тамъ баранина?...

Въ третьемъ углу:

— Мнѣ бы, знаете, годикъ-другой, — а потомъ урвалъ свое, и на боковую!

— Чтò вы! чтò вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ доложу, такая баранина...

Въ четвертомъ углу:

— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дѣлъ за собой имѣете?

— Тринадцать разъ, шельма, подъ судъ отдавалъ! двѣнадцать разъ изъ уголовной чистъ выходилъ — ну, на тринадцатомъ скапутился!

— Однако, теперь Богъ милостивъ!

— Теперь, батюшка, наше дѣло вѣрное! — завтра къ вечеру пріѣдемъ, послѣ-завтра чѣмъ свѣтъ въ канцелярію... Ограпортовалъ... сейчасъ тебѣ въ зубы подорожную, прогоны и прочее... А ужъ тамъ-то, на мѣстѣ-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...

Въ пятомъ углу:

— Не посчастливилось мнѣ, mon cher! — говоритъ одинъ молодой человѣкъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ): — изъ школы выгнали... ну, и рѣшился!

— А я такъ долговъ надѣлалъ; вотъ отецъ и говоритъ: „ступай, говоритъ, мерзавецъ въ Ташкентъ!“

— Однако, вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень учтивъ!

— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру... Ну, да впрочемъ это все пустяки! а меня вотъ что̀ пугаетъ: какъ-то тамъ будетъ насчетъ лакомства?!

— Говорятъ, будто ташкентскія принцессы очень недурны...

— Гм... вѣдь мы въ полку-то разбаловались. Вотъ тоже и объ ѣдѣ не совсѣмъ одобрительные слухи ходятъ!

— Однако я слышалъ, что баранину можно достать отличную...

Въ шестомъ углу:

— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же! — она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ: — Ну, вотъ! значитъ, и насчетъ лакомства сомнѣваться нечего!

— Только тяжеленько имъ будетъ, супругѣ-то вашей! — продолжаетъ одинъ изъ прежнихъ голосовъ: — вѣдь тамъ ни съѣсть, ни испить слатенько...

— И! что̀ вы! — да тамъ, говорятъ, такая баранина...

Въ седьмомъ углу:

— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицины-то поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академіи почесть-что при царѣ Горохѣ. Однако травки нѣкоторыя еще знаю.

— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!

— Народъ простой, непорченный-съ. Опять сказываютъ, что у нихъ даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцѣляетъ!

Въ восьмомъ углу:

— Проповѣдовать — можно! Только вотъ сказываютъ, что они по постамъ баранину лопаютъ — ну, это истребимо съ трудомъ!

Однимъ словомъ, всѣ заканчиваютъ свои рѣчи бараниной, всѣ надѣются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ Сеня Броненосный слушалъ, слушалъ, но, наконецъ, не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ объ ней говорятъ, то я увѣренъ, что черезъ полгода въ странѣ не останется ни одного барана!

Увы! такова судьба цивилизующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и взамѣнъ того научаетъ обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто въ выигрышѣ? кто въ проигрышѣ?—тѣ ли, которые удѣляютъ пришельцу частицу стадъ своихъ, или тѣ, которые, въ возвратъ за это, приносятъ съ собой драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ плодовъ земныхъ — просвѣщеніе?

Но здѣсь я долженъ сдѣлать довольно горькое для моего самолюбія признаніе. Я чувствую, что въ жизни моей готовится что-то рѣшительное, а это невольно заставляетъ меня чаще и чаще обращаться къ самому себѣ. Бываютъ минуты, когда откровенная оцѣнка пройденнаго пути становится настоятельнѣйшею потребностью всего человѣческаго существа. Повидимому, одна изъ такихъ минутъ наступаетъ теперь для меня...

Сознаюсь безъ оговорокъ: я не имѣю права быть очень высокаго о себѣ мнѣнія. Лучшее изъ качествъ, которыми я обладаю, есть нѣчто въ родѣ Сократовскаго: „я знаю, что ничего не знаю“. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мнѣ въ жизни, такъ какъ оно дѣлало изъ меня во всякое время и во всякомъ мѣстѣ лихого исполнителя. Я никогда не изобрѣту пороха (даже если мнѣ формально *прикажутъ* изобрѣсти — я и тогда какъ-нибудь отшучусь); но если его изобрѣтутъ другіе—я очень радъ. Палить я тоже готовъ во всякое время, и ежели не встрѣчу слишкомъ серьезныхъ препятствій, то могу выказать храбрость несомнѣнную. Не помню, въ какой именно изъ Шекспировскихъ комедій, герой пьесы задаетъ себѣ вопросъ: что такое невинность?—и весьма резонно отвѣчаетъ: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Хотя съ точки зрѣнія моралистовъ это сравненіе для меня не совсѣмъ выгодно, но я долженъ сказать правду (разумѣется, по секрету), что оно подходитъ ко мнѣ довольно близко. Пустая бутылка!—лестнаго, конечно, немного для меня въ этомъ сравненіи!—но для чего жъ бы, однакожъ, я сталъ отрекаться отъ этого званія? Развѣ міръ не наполненъ сплошь такими же точно пустыми бутылками, какъ и я? и развѣ сущность дѣла можетъ измѣниться отъ того, что нѣкоторыя изъ этихъ бутылокъ высокомѣрно называютъ себя „сосудами“?

Я тѣмъ меньше имѣю основанія конфузиться этого названія, что сдѣлался пустою посудой далеко не произвольно. Тутъ, задолго до меня, ужъ были цѣлыя поколѣнія пустыхъ посудинъ, которыя, дребезжа и звеня, такъ много о себѣ надребезжали и назвенѣли, что, казалось, и впрямь нѣтъ званія болѣе почетнаго, болѣе счастливаго и спокойнаго, какъ званіе пустой бутылки. Званіе это не только насижено, но и по штатамъ значится подлежащимъ немедленному замѣщенію, какъ только открывается свободная вакансія. Тутъ нѣтъ мѣста ни для размышленій, ни для колебаній. Вы являетесь въ жизнь, объявляете имя и фамилію. „Записать его въ званіе пустой бутылки“ — и вы записаны...

Съ моей стороны уже и то значительный шагъ впередъ, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно такъ скоро дать трещину, какъ посудина, которую слишкомъ часто то наполняютъ, то опоражниваютъ. Я чувствую, что уже недалекъ моментъ разложенія, тотъ моментъ, когда навсегда долженъ быть поколебленъ авторитетъ балалаекъ, пустыхъ бутылокъ, упраздненныхъ головъ и т. п. Но если я сознаю, что такой результатъ неиз-

бѣженъ, это нимало не обязываетъ меня стараться о приближеніи минуты, которая должна превратить бутылки въ черепки. Совсѣмъ напротивъ. Я думаю даже, что еслибъ я дѣйствовалъ въ смыслѣ приближенія этой минуты, то такая дѣятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохраненія. Что говоритъ мнѣ здравый смыслъ? — онъ говоритъ: какъ ты ни бейся, но кромѣ пустой бутылки ничего изъ тебя не выйдетъ. Что говоритъ чувство самосохраненія? — оно говоритъ: неужели же погибать изъ-за того только, что явился въ свѣтъ пустою посудиной? и явился не произвольно, нимало не участвуя въ этомъ актѣ ни сознаніемъ, ни волею?... Что остается мнѣ дѣлать послѣ такихъ отвѣтовъ? Измѣниться — я не могу; погибнуть — не имѣю ни малѣйшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать въ ряду пустыхъ бутылокъ, и этимъ дѣйствіемъ окончательно закрѣпить законность моего присутствія на аренѣ всероссійской цивилизующей дѣтельности.

Какъ бы то ни было, но я живу: а если живу то, стало быть, имѣю и право отстаивать свое существованіе. Но отстаивать его я не могу иначе, какъ продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сдѣлали меня обстоятельства. Иначе я буду исключенъ изъ жизни. Покуда порожняя посуда имѣетъ возможность дребезжать и звенѣть, моя обязанность — тоже дребезжать и звенѣть и время отъ времени наполняться тою жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты. Какая это жидкость — до этого мнѣ нѣтъ дѣла, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся съ полнымъ равнодушіемъ къ тому, что ее наполняетъ. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чѣмъ-нибудь замѣнить эту пустоту, и замѣняю ее готовностью. Поэтому я переимчивъ, вертлявъ, дерзокъ на услугу и ни передъ какой профессіей не задумываюсь. Никто не засталъ меня ни въ какихъ подвигахъ, которые могли бы свидѣтельствовать, что я такое, и это въ совершенствѣ обезпечиваетъ мою свободу. Я публицистъ, метафизикъ, реалистъ, моралистъ, финансистъ, экономистъ, администраторъ. По нуждѣ, я могу быть даже другомъ народа. Вчера существовало крѣпостное право — я былъ крѣпостникомъ: сегодня крѣпостное право отмѣнено — я удивляюсь, какъ можно было дожить до настоящей вожделѣнной минуты, и не задохнуться. Всякая минута застаетъ меня врасплохъ, и всякая же минута находитъ меня готовымъ. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россійской Имперіи, столь же разнообразны и роды моей готовной дѣятельности. Надъ всѣми ими паритъ одно: моя всегдашняя непоколебимая готовность слѣдовать указанію всякаго одареннаго способностью указывать перста, хотя бы этотъ перстъ былъ и запачканъ. Не ужасайтесь этой способности, не клеймите ее именемъ разврата; это дѣйствительно развратъ, но развратъ добросовѣстный (бываетъ же добросовѣстное воровство!), развратъ лишь *до нѣкоторой степени*, точно такъ, какъ и все прочее, что во мнѣ ни есть, — все добросовѣстно и все развратно лишь *до нѣкоторой степени*.

Иногда мнѣ случается накуралесить серьезно: обрушить какой-нибудь монументъ, передавить при этомъ цѣлую уйму людей. Изъ этого одни заключаютъ, что я имѣю злое сердце и дѣлаю вредъ преднамѣренно; другіе — что я человѣкъ рѣшительный, дѣйствующій во имя какихъ-то сознанныхъ мною идей. Я вслушиваюсь въ эти толки, и смѣюсь себѣ втихомолку; ибо я очень

хорошо понимаю, что въ дѣйствительности я только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесомъ — и никто не имѣетъ права вмѣнить мнѣ это ни въ злодѣяніе, ни даже въ озорство. Помилуйте! я самъ къ своимъ дѣяніямъ отношусь совершенно объективно, то-есть исключительно съ точки зрѣнія чистоты отдѣлки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами... о, еслибъ знали, что все это не болѣе, какъ угаръ! еслибъ могли видѣть, какъ разрывается послѣ этого угара голова, какъ болѣзненно бьется и сжимается сердце!..

Многіе спрашиваютъ меня: чего жъ я достигъ? Но развѣ на этотъ вопросъ я, съ своей стороны, не могу отвѣтить другимъ вопросомъ: а чего же, милостивые государи, можетъ достигнуть человѣкъ, прогорѣвшій до тла? человѣкъ, который не имѣетъ ни воспоминаній, ни надеждъ, у котораго нѣтъ ничего внутри, кромѣ разоренія? — Конечно, ничего другого, кромѣ того, чтобы какъ-нибудь не пропасть, чтобъ не быть въ конецъ искалѣченнымъ и хоть изрѣдка да возобновлять въ себѣ вкусъ тѣхъ благъ, которыя *теперь* выбрасываются ему въ видѣ обглоданной кости, но которыя *нѣкогда* составляли фондъ его существованія? Если я достигаю всего этого — *я* считаю себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Воспоминаніе о потерянныхъ благахъ жизни переносится совсѣмъ не такъ легко, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Оно до послѣдней минуты волнуетъ и раздражаетъ плѣнное воображеніе; оно преслѣдуетъ, жжетъ, оно медленно, всечасно отравляетъ. Въ настоящемъ — воздержаніе и тоска; впереди — вино, игра, женщины... а въ промежуткѣ — лишь небольшой океанъ грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупецъ, который, благословясь, не бросится вплавь?

Грязи! какой грязи? въ этомъ весь вопросъ!

Еслибъ эта грязь пачкала наглядно, осязательно, еслибъ она измѣняла наружность человѣка, уничтожала ея элегантность, дѣйствовала тлетворнымъ образомъ на зрѣніе и обоняніе сосѣдей — тогда такъ! Тогда, конечно, и самый отчаянный человѣкъ задумался бы прежде, чѣмъ окунуться въ нее. Но вѣдь это грязь отвлеченная, метафизическая; грязь, о которой ces dames даже понятія никакого не имѣютъ!

Переплывите этотъ грязный океанъ, окунитесь въ него съ головою, ныряйте, шалите сколько угодно — и вы все-таки выйдете на берегъ, словно изъ душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получаютъ даже какой-то особенный, нелишенный пикантности блескъ!

Мнѣ во сто кратъ болѣе досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороковъ, которую такъ охотно навязываютъ всѣмъ и каждому особаго рода цеховые, именующіе себя моралистами. Неприличіе и безконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ея появленіе вноситъ конфузъ въ порядочныя семейства, заставляетъ умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяетъ изумленіемъ глаза; однимъ словомъ, уничтожаетъ веселость, гармонію, движеніе и жизнь. Какъ бы я ни былъ самостоятеленъ, я не могу не сказать внутренно: „да твое мѣсто не здѣсь; не среди этихъ цвѣтущихъ силою и увѣренностью людей, а тамъ, въ вагонѣ третьяго класса,

въ кругу людей надломленныхъ, потухшихъ и полинявшихъ, людей съ завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающихъ очищенную и раздирающихъ зубами окаменѣлую колбасу!“ Въ эти горькія минуты я явственно слышу, какъ внутренности мои колышутся подъ наплывомъ ненависти — ненависти къ кому? Къ тѣмъ ли, которые меня презираютъ? Нѣтъ, не къ нимъ, ибо они представляютъ идеалъ, къ которому стремятся всѣ мои помыслы, и которому я могу завидовать, но ненавидѣть не могу. Къ кому же?—а именно къ тѣмъ, кого я самъ презираю, къ тѣмъ моимъ собесѣдникамъ по вагону третьяго класса, которые вчера простодушно сообщали мнѣ о своихъ видахъ на ташкентскую баранину!

Эти ужасные люди своимъ участіемъ, своимъ панибратствомъ каждую минуту уничтожаютъ меня. Они напоминаютъ мнѣ, что я не что иное, какъ un homme perdu de dettes, что я такой же проходимецъ, пропойца, прощалыга, какъ они всѣ, что я одинъ изъ тѣхъ любопытныхъ субъектовъ, которые растратили молодость, силу, таланты и состояніе — на что? — на лестное знакомство съ половыми московскихъ трактировъ! Какъ же мнѣ не ненавидѣть ихъ? Какъ не броситься мнѣ въ какой угодно омутъ, лишь бы освободиться изъ плѣна ихъ ужаснаго панибратства!

И я достигну этого! Въ Ташкентѣ ли, или въ другомъ мѣстѣ, но я дойму этихъ людей, пятнающихъ меня своимъ прикосновеніемъ!

Да, если ужъ заводить рѣчь о какихъ-то метафизическихъ пятнахъ, незримо ложащихся на какую-то не менѣе метафизическую совѣсть, то прежде надлежитъ изобрѣсти средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы ихъ горѣть на лбу и щекахъ человѣка неизгладимымъ свидѣтельствомъ того праха, которымъ преисполнено въ немъ все, за исключеніемъ сюртука и штановъ, всегда находящихся въ безукоризненной исправности! А такъ какъ этого средства, по счастью, не изобрѣтено, то стало быть...

Но довольно морализировать.

Я зналъ, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивилизаціи состоитъ нѣкто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ по школѣ. Онъ занимался организаціей арміи цивилизаторовъ; онъ кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ цѣлыми транспортами къ мѣсту назначенія, распоряжался перевозочными средствами и т. д., и т. д.

Каждаго человѣка судьба снабжаетъ какою-нибудь спеціальностью. Однихъ она дѣлаетъ спеціалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ — спеціалистами по части вопросовъ педагогическихъ, третьихъ (большинство)—спеціалистами по части „очищенной“ и т. п. Спеціальность Накатникова заключалась въ распространеніи цивилизаціи. Никто не имѣлъ права съ бо̀льшимъ основаніемъ сказать: „стоя на рубежѣ“, какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидѣть на мѣстѣ, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго уголка, какимъ-нибудь чудомъ ускользнувшаго отъ его цивилизующаго вліянія! Онъ неоднократно уже дѣлывалъ весьма замѣчательные въ этомъ смыслѣ походы, и потому былъ чрезвычайно опытенъ. Мало

того, что онъ могъ заранѣе опредѣлить всѣ матеріальныя подробности похода (заготовленіе цивилизующихъ орудій, количество ихъ и т. д.), но инстинктивно угадывалъ, что̀ кому требуется. Разумѣется, всего нужнѣе оказывались разные принципы. Такъ напримѣръ, направляя стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ, съ которымъ надлежитъ ближе познакомить обывателей — это le principe du stanovoy russe. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ невѣждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысканіи податей. Теперь, когда дѣло шло объ отдаленномъ востокѣ, онъ, разумѣется, прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего имъ нужно?—и тотчасъ же, съ свойственною ему проницательностью, рѣшилъ, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцевъ съ principe du télégue russe. Я это зналъ, и, разумѣется, приготовилъ нѣсколько нелишнихъ соображеній въ этомъ смыслѣ.

Признаюсь, я не безъ волненія переступилъ порогъ канцеляріи, въ которой должна была рѣшиться моя участь. Накатниковъ былъ нѣкогда моимъ другомъ — это правда, но въ то же время я зналъ, что ему не безъизвѣстна была моя цивилизующая дѣятельность въ одной изъ западныхъ губерній... Это меня смущало, потому что я велъ себя тогда... ахъ, какъ я себя тогда велъ! Къ счастію, я могъ утѣшить себя тою мыслью, что современный контингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который дѣйствовалъ и на западѣ, и внутри, и что, слѣдовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни подъ какимъ видомъ нельзя.

Когда я вошелъ въ пріемную, всѣ мои вчерашніе спутники по вагону были уже на-лицо. Многіе изъ нихъ почистились; всѣ были положительно трезвы. Такія физіономіи встрѣчаешь только въ пріемные дни въ канцеляріяхъ да въ церквахъ передъ причастіемъ. Кромѣ ихъ, набралось еще много другого народа, столь же рѣшительнаго и столь же скудно, но чистенько одѣтаго. Пьеръ опрашивалъ каждаго по одиночкѣ и главное вниманіе обращалъ на спеціальности, могущія служить подспорьемъ въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ бо́льшей части случаевъ онъ встрѣчалъ просителей, какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ извѣстныхъ ему по цивилизующей дѣятельности на западѣ и внутри. По движенію его лица я убѣдился, что и мой приходъ не остался имъ незамѣченнымъ.

Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школѣ, и зналъ, что тамъ онъ игралъ довольно незавидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцемъ и вѣчно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу, шевелится кончикъ языка; изнутри слышится какое-то неопредѣленное мурлыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ зеркальце, помурлычитъ, что-то поправитъ, и опять начнетъ мѣрно водить щеткой по головѣ. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ тѣ минуты, когда онъ бывалъ свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда по-неволѣ и всегда съ опредѣленною цѣлью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъ заведенія. И всегда при этомъ кончикъ языка прилизывалъ зачинающійся надъ верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбкѣ его (а онъ улыбался постоянно) видѣлось что-то сардоническое, вопроситель-

ное; какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: „чему же я, однако, улыбаюсь?“ Говорилъ онъ рѣдко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая все-таки требовала нѣкоторой связности рѣчи, едва ли кто-нибудь изъ насъ имѣлъ бы возможность утверждать, въ состояніи ли онъ сказать кряду два слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ; его можно было дразнить и даже щипать — онъ только пожимался и изрѣдка произносилъ единственное, завѣтное слово: „шутъ!“ Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой мѣры, то онъ молча вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшійся подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырялъ ею въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и какъ-то машинально слѣдуя за всѣми товарищескими движеніями, прожилъ онъ съ нами шесть лѣтъ. Никто не могъ назвать его своимъ другомъ, но всѣ видѣли въ немъ добраго товарища. Въ курсѣ онъ вышелъ послѣднимъ.

И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качествѣ цивилизатора!..

Но счастье ужасно измѣняетъ человѣка. Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чинѣ штатскаго генерала, имѣетъ на груди очень почтенное украшеніе... и говоритъ! Я не могу утверждать, что онъ говоритъ разумно, но онъ говоритъ, и этого уже для меня достаточно. Слова слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ; по временамъ можно даже различить мысленное присутствіе знаковъ препинанія. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имѣетъ характеръ благосклонности; кончикъ языка, по прежнему, безпокойно облизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеніе уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнѣе: безукоризненные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свѣжестью лицо: но ничто не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета, ни о томительныхъ совѣщаніяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напротивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами своей миссіи, а прическа тутъ такъ-себѣ... пришла сама собою.

Какъ произошла эта метаморфоза — я съ точностью объяснить не могу, но несомнѣнно, что тутъ большую роль игралo то случайное положеніе, которое Пьеръ успѣлъ занять. Положенія обязываютъ. Съ расширеніемъ горизонтовъ, явленія самыя общеизвѣстныя и безспорныя утрачиваютъ свою рѣзкость и даже измѣняютъ свои первоначальныя названія. Глупость начинаетъ называться благодушіемъ, коварство — дипломатіей, мошенничество — искусствомъ жить на свѣтѣ. Въ чинѣ коллежскаго регистратора, Пьеръ былъ глупъ: теперь, въ чинѣ штатскаго генерала, онъ сдѣлался благодушенъ. Глупость непріятна, и ежели не представляетъ положительнаго порока, то во всякомъ случаѣ никого не украшаетъ; напротивъ того, благодушіе есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьеръ обошелъ всѣхъ по очереди: всѣмъ сказалъ слово ободренія и надежды, и когда приблизился къ моему сосѣду, то я совершенно явственно услышалъ какъ бы случайно оброненное имъ слово: „шутъ!“

Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу и, признаюсь

откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольствія. Это слово разомъ перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго прошлаго. Мало того, оно заключало въ себѣ отпущеніе всѣхъ моихъ недавнихъ проказъ. Я просвѣтлѣлъ и переминался съ ноги на ногу, въ ожиданіи аудіенціи. Я видѣлъ въ немъ уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеніе, а какое-то высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все. „До послѣдней капли крови!“ „не щадя живота!“ „не токмо за страхъ, но и за совѣсть!“—вотъ единственныя формулы, которыя безсознательно вырабатывали мои мозги, подъ вліяніемъ внезапнаго прилива преданности. Наконецъ просители были удовлетворены, и мы остались вдвоемъ.

— Шутъ! — повторилъ онъ, но такъ мило, такъ безконечно-благосклонно, что я могъ только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шутъ!

Онъ съ „небесною“ улыбкой оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакинѣ, продолжалъ:

— Ба! и старый другъ на плечахъ!

Я былъ побѣжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ я разсказалъ печальную повѣсть моихъ грѣхопаденій: признался ему во всемъ, даже...

— Ваше превосходительство! Я здѣсь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположенія!—заключилъ я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Такая довѣренность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ, и съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпріятій. Онъ объяснилъ мнѣ всю важность предстоящихъ задачъ и, постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille, пришелъ, наконецъ, къ тому, что онъ называлъ „la question du télégue russe“. Этотъ вопросъ, по его мнѣнію, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей будущей цивилизующей дѣятельности.

— Первоначальный способъ передвиженія, — говорилъ онъ, — несомнѣнно представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человѣка. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Тѣмъ же способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...

— Въ недавнее время заведены „посыльные“, которые тоже...—осмѣлился вставить я отъ себя.

— Ну, да, мы, наши прародители и „посыльные“—все это пользуется первоначальными способами передвиженія. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мнѣ нужно высказать мою мысль вполнѣ. И такъ, я сказалъ, что первоначальный способъ передвиженія заключаются въ пѣшковой ходьбѣ. Но по мѣрѣ того, какъ человѣкъ порабощаетъ природу и укрощаетъ звѣрей, способы передвиженія усложняются: на смѣну пѣшковой ходьбы является ѣзда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понятіе о собственности, которая, на основаніи правила: omnia mea mecum portо, навьючивается, вмѣстѣ съ всадникомъ, на одно и то же животное. Это уже шагъ впередъ, но согласись со мной, что шагъ очень ограниченный (я сдѣлалъ знакъ головой и нѣсколько

подкатилъ глаза, какъ будто хотѣлъ сказать: oh, comme je vous comprends, mon général!)... Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже—вотъ ключъ для объясненія существованія народовъ пастушескихъ, кочевыхъ. Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидѣть на мѣстѣ... enfin, tout s'explique! Наконецъ появляется телѣга — этотъ неудобный и тряскій экипажъ! — но посмотри, какую онъ революцію произведетъ! Своею неудобностью онъ заставитъ обывателя остеречься излишнихъ передвиженій, и тѣмъ самымъ привяжетъ его къ землѣ. Эта привязанность, съ своей стороны, породитъ понятіе о навозѣ. Видя постепенное накопленіе этого удобрительнаго матеріала, простодушный пастухъ спроситъ себя: что такое навозъ? и въ первый разъ задумается, въ первый разъ осѣнится мыслью, что навозъ, какъ и все въ природѣ, существуетъ не безъ цѣли. Онъ начинаетъ дорожить навозомъ, онъ видитъ въ немъ ses pénates et ses lares—и вотъ устраиваетъ около него свое жилище и незамѣтно для самого себя вступаетъ въ періодъ осѣдлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!). Понимаешь? Человѣкъ заводитъ телѣгу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходитъ передъ нашими глазами незамѣченнымъ, совершенно достаточно, чтобъ онъ пріобрѣлъ элементарныя понятія о навозѣ и навсегда оставилъ кочевыя привычки! Но этого мало; имѣя телѣгу, онъ полагаетъ основаніе прочной цивилизаціи (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можемъ сразу произвести въ бытѣ этихъ несчастныхъ бродягъ, ничѣмъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кромѣ телѣги! кромѣ простой русской телѣги! Aussi, je leur en donnerai... du télègue! Га!

Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только тому, какъ это мнѣ самому сто разъ не пришли въ голову мысли столь простыя и естественныя. Каждый день я вижу сотни телѣгъ, а никогда-таки не приходило на мысль, что тутъ-то именно и сидитъ вся суть цивилизующаго русскаго дѣла. Повидимому, и Пьеръ убѣдился, что я понялъ его намѣренія, потому что прервалъ свои объясненія и ласково сказалъ мнѣ:

— Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебѣ нашему генералу, и мы запишемъ тебя въ гвардію. Да, mon cher, и у насъ, ташкентцевъ, есть свои чернорабочіе и свои гвардейцы. Que veux-tu! Первые— это такъ-называемые les pionniers de la civilisation; они идутъ впередъ, прорубаютъ просѣки, пускаютъ кровь и такъ далѣе. Всѣ эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня видѣлъ, — все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то въ общемъ ходѣ дѣла это почти остается незамѣченнымъ. Этихъ кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они такъ и лѣзутъ изъ всѣхъ щелей на смѣну другъ другу. Совсѣмъ другое дѣло — наша цивилизаціонная гвардія. Люди гвардіи не прорубаютъ сами просѣкъ, а только указываютъ и дирижируютъ работами. Имъ не позволяется погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ. Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги!

Должно быть, впечатлѣніе, произведенное на меня послѣдними словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно улыбнулся и сказалъ:

— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! C'est juste! Желаніе скорѣе разрѣшить вопросъ „о полученіи“ съ твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вниманіе, что „старый другъ, котораго ты такъ добросовѣстно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорѣе уступить мѣсто новому другу, болѣе приличной наружности. Завтра это дѣло будетъ покончено, а покамѣстъ...

Онъ далъ мнѣ некрупную ассигнацію и отпустилъ отъ себя, потому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а летѣлъ, точно у меня выросли сзади крылья. По дорогѣ я забѣжалъ въ Палкинъ трактиръ и разомъ съѣлъ двѣ порціи бифштекса.

Цѣлый день я получалъ деньги.

Когда я пришелъ въ главное казначейство и явился къ тамошнему генералу (на всякомъ мѣстѣ есть свой генералъ), то даже этотъ повидимому нечувствительный человѣкъ изумился разнообразію параграфовъ и статей, которые я сразу предъявилъ! А что всего важнѣе, денегъ потребовалась куча неслыханная, ибо я, въ качествѣ ташкентскаго гвардейца, кромѣ собственныхъ подъемныхъ, порціонныхъ и проч., получалъ еще и другія суммы, потребныя преимущественно на заведеніе цивилизующихъ средствъ...

§ 15. Цивилизующія средства.

Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ.

§ 26. Береговое довольствіе.

Ст. 14. Призрѣніе шляющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.

Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный, который получалъ при этомъ свои тощіе *ординарные* порціоны и прогоны, только облизывался.

Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.

Я помню, что на другой день отправился на желѣзную дорогу и взялъ мѣсто въ спальномъ вагонѣ второго класса.

Я помню, что былъ одѣтъ въ *хорошее* платье, что ѣлъ *хорошее* кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ плечо у меня висѣла дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.

Все это я помню...

Но какимъ образомъ я очутился въ Ростовѣ-на-Дону?!! И не въ хорошемъ платьѣ, а въ моей старой ополченской поддёвкѣ?!! Гдѣ моя сумка?!!

Ужели я пріѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ познакомиться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я впрочемъ не видалъ?!!

Не можетъ быть!

Я помню: я ѣхалъ...

Я ѣхалъ, я ѣхалъ, я ѣхалъ...

Я ѣхалъ.

Вѣроятно по дорогѣ я засмотрѣлся на какую-нибудь постороннюю губернію и...

Господи!

Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превратилъ въ Ташкентъ Рязанскую губернію. Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пилъ...

Въ Таганрогѣ меня арестовали.

— Откуда? куда?—спрашивали меня.

— Я помню: я ѣхалъ...

— Гдѣ казенная сумка?

— Я помню: я пилъ...

Что случилось? гдѣ я нахожусь?

Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: „стоя на рубежѣ...“ Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: „le principe du télègue russe...“

§ 15. Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ!!

Но вѣдь надобны же средства, mon cher! Телѣга... конечно, это не Богъ знаетъ драгоцѣнность какая, но вѣдь надо построить ее! Гдѣ жъ средства... коли я ихъ всѣ пропилъ... mon cher!?

III.—Они же.

Ахъ! какъ я тогда себя велъ!

Ташкентъ еще завоеванъ не былъ: на западѣ дѣло было покончено; мы были свободны, но страсть къ завоеваніямъ не умирала.

Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь...

Я помню это было лѣтомъ. Петербургъ погибалъ, стихіи смѣшались. Наводненіе слѣдовало за наводненіемъ; Адмиралтейство уже уплыло; съ часу на часъ ожидали, что поплыветъ Петропавловская крѣпость. Публицисты гремѣли; общественное мнѣніе требовало быстрой и дѣйствительной Немезиды. Образовались, какъ водится, подъ предводительствомъ отставныхъ генераловъ, нѣсколько частныхъ компаній „для искорененія зла“; акціи разбирались нарасхватъ, тѣмъ болѣе, что цѣна имъ была назначена копѣйка серебромъ. Какъ въ 1612 году, общество пыталось спасти себя само, безъ разрѣшенія начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компаній, подъ названіемъ: „Робкое усиліе благонамѣренности“, приступилъ и я.

Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ — я тутъ. Не успѣетъ еще генералъ (не знаю почему, но мнѣ всегда представляется, что кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я выростаю изъ-подъ земли и тре-

пещу предъ его превосходительствомъ. Гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался—я чувствую. Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги, вытягиваются, вытягиваются, бѣгутъ, бѣгутъ, и едва успѣетъ вылетѣть звукъ: „Ребята! съ нами Богъ!“—я тутъ.

— Куда прикажете, ваше-ство?

— А! ты опять здѣсь!

— Точно такъ, ваше-ство!

— Благодарю, мнѣ люди нужны!

Такъ именно было и тогда. Не помню, въ какой губерніи я скитался, но помню, въ карманѣ не было ни гроша. И еще помню: мѣра беззаконій исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, подкрѣпиться 3—4 рюмками очищенной, сѣсть въ телѣгу, перекреститься—все это было дѣломъ одной минуты. Затѣмъ скакать, скакать и скакать... И дѣйствительно, я прискакалъ въ тотъ моментъ, когда генералъ произносилъ возмутительную рѣчь. Эта рѣчь произвела на меня такое глубокое впечатлѣніе, что я и теперь помню ее отъ слова до слова. „Господа! сказалъ онъ: не посрамимся, но ляжемъ костьми. Такъ, мм. гг., говорилъ блаженной памяти его высочество великій князь Святославъ Игоревичъ, намѣреваясь вступить въ сокрушительный бой съ Іоанномъ Цимисхіемъ“... Генералъ остановился, покраснѣлъ и прибавилъ: „Господа! я не ораторъ, но, какъ человѣкъ русскій, могу сказать: ребята, наша взяла!..“

Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленію, пріемная зала была уже полна соискателей всѣхъ возрастовъ, состояній и націй. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компаніи въ одну минуту возвысились съ копѣйки до ломанаго гроша. Сочувствующіе, желающіе поживиться, тѣснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ завистливые взгляды, такъ что генералъ, чтобы предотвратить несчастіе, долженъ былъ сказать: „Господа! не торопитесь! всѣмъ будетъ мѣсто! мнѣ люди нужны!“ И затѣмъ, обращаясь къ одному изъ приближенныхъ, продолжалъ: „Какой, однако, прекрасный наплывъ чувствъ!“

Насъ тутъ же всѣхъ поголовно переписали и велѣли немедленно явиться въ правленіе для окончательнаго распредѣленія по отрядамъ (par escouades). Я помню, въ числѣ соискателей меня въ особенности поразилъ одинъ инородецъ: при 3-хъ-аршинномъ ростѣ и соразмѣрной тучности онъ выражалъ такую угрюмую рѣшительность, что самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались при одномъ его приближеніи.

Генералъ нашъ долго любовался имъ, но, замѣтивъ, что это предпочтеніе во многихъ начинаетъ возбуждать чувство патріотической ревности, тотчасъ же поспѣшилъ разувѣрить насъ. „Господа!—сказалъ онъ:—не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исключительно люди сверхъестественнаго роста! Нѣтъ!—въ нашемъ предпріятіи найдется мѣсто для людей всякаго роста, всякой комплекціи. Одно *непремѣнное* условіе — это русская душа!“ Слово „непремѣнное“ генералъ произнесъ съ особымъ удареніемъ.

— А нѣмцу можно?—раздался въ толпѣ чей-то голосъ. Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Нѣмцу — можно! нѣмцу всегда можно! потому что у нѣмца всегда русская душа!—сказалъ онъ съ энтузіазмомъ и, обращаясь вновь къ своему

приближенному, прибавилъ: — о, еслибы всѣ русскіе обладали такими русскими душами, какія обыкновенно бываютъ у нѣмцевъ!

Генералъ на минуту задумался и пожевалъ губами.

— Наполеонъ III сказалъ правду, — произнесъ онъ какъ бы въ раздумьи: „что̀ такое истинный французъ?“ спросилъ онъ себя въ одну изъ трудныхъ минутъ, и отвѣчалъ: „истинный французъ есть тотъ, который исполняетъ приказанія генерала Пьетри!“ И съ тѣхъ поръ, какъ онъ сказалъ себѣ это, все у него пошло хорошо!

— Такъ точно, ваше пр-ство! — прогремѣли мы хоромъ.

Инородецъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей; изъ нихъ 400 (все-таки бо́льшинство!) русскихъ, 200 нѣмцевъ съ русскими душами, тридцать-три инородца безъ души, но съ развитыми мускулами, и 33 поляка. Послѣднихъ генералъ тотчасъ же вычеркнулъ изъ списка. Но едва онъ успѣлъ отдать соотвѣтствующее приказаніе, какъ „безмозглые“ обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся націи.

— Мы тоже русскіе! — съ наглостью говорили они. — У насъ тоже русскія души!

— Но вы католики, господа! — усовѣщивалъ генералъ: — а этого я ни въ какомъ случаѣ потерпѣть не могу!

— Какіе мы католики — мы и въ церкви никогда не бываемъ!

— А! если такъ — это другое дѣло! но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...

И затѣмъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обращаясь къ намъ, прибавилъ:

— Ну, теперь съ Богомъ, господа!

Съ этими словами предсѣдатель компаніи „Робкое усиліе благонамѣренности“ удалился въ кабинетъ, оставивъ всѣхъ очарованными...

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и весело разговаривали.

— Ангелъ! — говорили одни.

— Какое знаніе человѣческаго сердца! — разсуждали другіе.

Я лично былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что, подходя къ Палкину трактиру и встрѣтивши „стриженую“, которая шла по Невскому, притопывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Ммеррзавка!

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себѣ не могу. Но оказалось, что я попалъ мѣтко, потому что негодная поблѣднѣла какъ полотно и поскорѣе сѣла на извозчика, чтобъ избѣжать народной Немезиды. Есть какой-то инстинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человѣку его дѣйствія, и я никогда не раскаивался, повинуясь этому инстинкту. Такъ напримѣръ, когда я цивилизовалъ на западѣ, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ восклицая: — А ну-те вы, такіе-сякіе „кши, пши, вши“, разсказывайте! думаете ли вы, что „надзѣя“ еще съ вами?

Я очень хорошо понималъ, что остроумнаго тутъ нѣтъ ничего. „Надзѣя“—надежда, „смѣтанка“—сливки, „до зобаченья“—до свиданія—конечно, все это слова очень обыкновенныя, но—странное дѣло!—мы, просвѣтители, не могли выносить ихъ. Намъ казалось—ну, какъ не бить людей, которые произносятъ такія слова? Но въ то же время я былъ убѣжденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкновенно веселою. И дѣйствительно, они просто надрывали животы отъ смѣха, когда я произносилъ свое привѣтствіе. (Каюсь, этому смѣху многіе даже были обязаны своимъ спасеніемъ.)

— О! какой панъ милій!—восклицали они хоромъ... Милій! замѣтьте, „милій“, а не „милый“! Ахъ, прахъ васъ побери!

Точно такъ было и теперь.

Повидимому, я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень многое. Къ несчастію, я былъ голоденъ, и къ тому не имѣлъ свободнаго времени слѣдить за негодяйкой. Однако я все-таки былъ доволенъ, что успѣлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, какъ и въ генеральской пріемной, такъ какъ всѣ мы на первый случай получили по нѣсколько монетъ и спѣшили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержанія, которое каждый изъ насъ передъ тѣмъ вытерпѣлъ. Но замѣчательно, что никто не спрашивалъ себѣ горячаго, а всѣ насыщались какъ-то непослѣдовательно, урывками, бо́льшею частью солеными и копченными закусками, заѣдая ими водку. Трехъ-аршинный инородецъ былъ тоже здѣсь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ кислыхъ щей и съѣлъ четверть жеребенка. Проглотивъ послѣдній кусокъ, онъ отяжелѣлъ и долгое время не могъ даже моргнуть глазами. Многіе пользовались этимъ и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всѣхъ пунктахъ шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что намъ придется дѣйствовать по ночамъ,—догадывались одни.

— Еще бы! Днемъ-то „его“ съ собаками не сыщешь, а ночью—динь, динь! Команъ ву порте ву? Wie viel haben sie gewesen? Сейчасъ его, ракалію, за волосное правленіе — не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-н-е-то-ны-ри-ть-ся!

— А если же онъ уфъ спальни? — спросилъ тотъ самый нѣмецъ, который сомнѣвался, какая у него душа.

— А если же онъ уфъ спальни?—поддразнилъ его одинъ изъ собесѣдниковъ: — такъ что же, что уфъ спальни! Тебѣ же, нѣмцу, лучше — прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую набредешь!

Нѣмчикъ покраснѣлъ.

— Что? Побагровѣлъ? Ахъ, нѣмецъ, нѣмецъ! чувствуетъ мое сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая минута милліонъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься: „уфъ спальни!“

— О, нѣтъ! я ничего! мнѣ очень пріятно!

— То-то „ничего!“ Ты иди прямо, потому дохнуть тутъ некогда!

— Это дѣло нужно умненько вести,—разсуждали въ другомъ мѣстѣ:— потому тутъ какъ разъ наскочишь!

— Не можетъ этого быть!

— Что вы говорите: „не можетъ быть“! Я самъ, сударь, на собственной своей персонѣ испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!.. Ну! Вы думаете, что это родимое! нѣтъ, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, — ораторствовали въ третьемъ мѣстѣ: — а когда онъ обробѣетъ, то потребовать, чтобъ указалъ путь... Когда же такимъ образомъ настоящая берлога будетъ приведена въ извѣстность, то изловить „его“ не будетъ составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ трескомъ, чтобъ впечатлѣніе было полное...

— Но если, заслышавъ шумъ, „онъ“ уйдетъ?

— Куда уйдетъ, подъ столъ что-ли спрячется? или въ щель заползетъ? такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за волосы!..

— Но если „онъ“ вдругъ лишитъ себя жизни?

— Те-те-те, это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да вы, сударь, стало быть не знаете ихъ! Это благородный человѣкъ... ну, тотъ, конечно... для благороднаго человѣка жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатаго!

Словомъ сказать, всѣ шумѣли, всѣ волновались. Одинъ инородецъ былъ исключительно преданъ варенію принятой имъ пищи. Вскорѣ, впрочемъ, и онъ получилъ способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всѣмъ корпусомъ къ Невскому, и, увидѣвъ на улицѣ жалкую собачонку, которая на трехъ ногахъ жалась около тротуара, отперъ окно, вынулъ изъ кармана небольшой камень и пустилъ имъ въ собаку. Послѣдовалъ визгъ, и на губахъ его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль долженъ былъ играть этотъ человѣкъ въ предстоящемъ походѣ. Всѣ на мгновеніе притихли.

Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнѣе и сильнѣе во мнѣ кипѣла. Я не знаю, испытывалъ ли читатель это странное чувство самораздраженія, когда въ человѣкѣ первоначально зарождается ничтожнѣйшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разростаться, разростаться, и наконецъ охватываетъ всѣ помыслы, преслѣдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть подстрекаетъ себя сама и не удовлетворяется до тѣхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего своего содержанія.

Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Обстановка, совѣщанія, ожиданіе предстоящихъ подвиговъ — все это дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Чѣмъ болѣе я слушалъ, тѣмъ болѣе напрягались мои душевныя силы, тѣмъ болѣе я ненавидѣлъ. Ночь, робѣющій дворникъ, бряцанія о тротуары и черныя лѣстницы, remue ménage въ бумагахъ и письмахъ—таково начало! Потомъ: краткое мерцаніе утренней зари, медленный благовѣстъ къ заутренямъ, дрожь на проникнутомъ ночною свѣжестью воздухѣ, рюмка водки въ ближайшей харчевнѣ, шумъ, смѣхъ, изумленіе раннихъ прохожихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ опьянѣнія подобная перспектива?

Въ такомъ-то возбужденномъ состояніи я вышелъ изъ Палкина трактира и уже хотѣлъ направить шаги въ свою квартиру, какъ вдругъ увидѣлъ идущаго на-встрѣчу товарища по школѣ. Натурально, бросились другъ къ другу;

изліянія, воспоминанія, вопросы... Радость была взаимная, потому что въ школѣ мы были очень дружны, а послѣ того потеряли другъ друга изъ вида, и слѣдовательно ни онъ обо мнѣ, ни я объ немъ не имѣли рѣшительно никакихъ свѣдѣній... И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ задушевной бесѣды, онъ говоритъ мнѣ:

— Ахъ, какое время, мой другъ! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянулъ на него; онъ уловилъ этотъ взглядъ, и вдругъ... все понялъ!

— То-есть, ты понимаешь меня, — заспѣшилъ онъ, какъ-то странно смѣясь мнѣ въ лицо: — не въ томъ смыслѣ ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мнѣ надо по одному дѣлу!

И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нѣсколько минутъ, какъ статуя, стоялъ на одномъ мѣстѣ и безмолвно кусалъ усы. Если бы въ эту минуту возлѣ меня разверзлась пропасть, я навѣрное бросился бы въ нее!..

Мерзавецъ!

Pardon! Вѣдь было, однако, время... когда я былъ либераломъ!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня съ недовѣріемъ: да, было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ нѣкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увы! теперь уже умершимъ!). Мы составляли тогда тѣсную, дружескую семью; у всѣхъ насъ былъ одинъ девизъ: „добро, красота, истина“.

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма съ классицизмомъ, движеніе, возбужденное Бѣлинскимъ, Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ — все это увлекало насъ и увлекало совершенно искренно. Насъ трогали идеи 48-го года; конечно, не сущность ихъ, а женерозность, гуманность... „Alea jacta est! la grandeur d'âme est à l'ordre du jour!“ — восклицали мы вслухъ съ Ламартиномъ.

Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустройства и благочинія?

Это сдѣлалось очень странно, но, я помню, тутъ произошелъ какой-то сумбуръ.

Была одна минута, одна единственная минута, когда вдругъ все перемѣнилось, когда выползли изъ норъ какіе-то волосатые люди и начали доказывать, что „добро“, „красота“, „истина“ — все это только слова, которыя непремѣнно нужно наполнить содержаніемъ, чтобы они получили значеніе.

— Что разумѣете вы, напримѣръ, подъ „добромъ“? — спрашивали насъ эти люди, и спрашивали такъ дерзко, такъ самоувѣренно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ возможность „распорядиться“ исчезла навсегда изъ всѣхъ кодексовъ.

Однако мы были настолько любезны (замѣтьте: мы могли и не быть такими!), что отвѣчали.

Я помню, я въ первый разъ тогда покраснѣлъ. До тѣхъ поръ все это было мнѣ такъ ясно, такъ безспорно — и вдругъ... призываютъ къ допросу!

— Добро! — говорили мы: — но развѣ каждому изъ насъ не присуще это

чувство? Развѣ каждый изъ насъ не трепещетъ при одномъ его имени? Развѣ не страненъ самый вопросъ: что такое добро?

Сказавъ это, мы сѣли, ибо были увѣрены, что отвѣтили.

— Ну-съ?—услышали мы вмѣсто возраженія.

— Наконецъ, — продолжали мы: — если въ трудныя минуты жизни мы жаждемъ утѣшенія, то гдѣ же мы ищемъ его, какъ не въ высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняетъ достаточно, какое значеніе, какую цѣну имѣетъ добро?

Мы кончили и опять сѣли, ожидая, что „они“ поймутъ. Но въ отвѣтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный смѣхъ. Я понялъ, что этотъ смѣхъ называется „отрицаніемъ“ и впервые тогда произнесъ: —Меррзавцы!

Послѣ этого пошло дальше и дальше; послѣ „отрицанія“ пришло „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ „безвѣріе“, потомъ „посягательство на чужую собственность“, затѣмъ еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришелъ, что я у пристани...

Иногда меня интересуетъ вопросъ: что было бы, еслибъ былъ живъ Грановскій? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что самъ по себѣ этотъ вопросъ праздный; но сознаюсь, въ первое время моего вступленія на арену благочинія, онъ волновалъ меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе компетентнымъ людямъ. Многіе изъ нихъ уклонялись, многіе не отвѣчали ни да, ни нѣтъ; но одинъ просто-на-просто сразилъ меня.

— Вы!—почти крикнулъ онъ на меня: —вы... другъ Грановскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не пустилъ!..

Меррзавецъ!

Я уже сказалъ, что мы дѣйствовали отрядами, par escouades.

Несмотря на позднее время, „онъ“ сидѣлъ и читалъ книгу; подруга его беззаконій спала. Когда мы позвонили, онъ самъ отворилъ намъ дверь. „Онъ“ не казался испуганнымъ, ни даже изумленнымъ, но какъ будто старался понять... Наконецъ „онъ“ понялъ.

Первымъ моимъ движеніемъ было овладѣть книгой.

Содержаніе ея было физіологическое.

— Вотъ эти-то книги и доводятъ васъ, милостивый государь, до всего!— сказалъ я, и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.

„Онъ“ съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостью слѣдилъ за моими непроизвольными движеніями, однако не протестовалъ.

Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто?—спросилъ я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракитоваго куста вѣнчаны?

— Къ сожалѣнію, я не настолько знакомъ съ отечественными былинами, чтобы отвѣчать на вашъ вопросъ.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю васъ понимать себя!—вспылилъ я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснѣе.

— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ?—говорилъ я, выходя изъ себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!

— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ?.. Извольте получить... билетъ!

„Она“ на-скоро одѣлась и вышла къ намъ.

Повидимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми!—сказалъ „онъ“.

Но она все еще не рѣшалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всѣхъ — разъясненія этой загадки... Вдругъ черты ея лица начали искажаться, искажаться... „Она“ поняла... И что жъ? Оказалось, что это была дочь почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, увлеченная хитростью въ сонмище неблагонамѣренныхъ...

Марршъ!

Было еще позднѣе, и „онъ“ уже спалъ. Сдѣлавши нѣсколько сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадкѣ, прислушиваясь, какъ за дверью возились и ходили взадъ и впередъ. Вознѣ этой, казалось, не будетъ конца.

— Да куда же, однако, дѣвались мои носки?—долетаетъ до насъ „его“ голосъ.

Наконецъ носки были отысканы и дверь отперта. „Онъ“ узналъ насъ сразу, и не только не показалъ никакого изумленія, но даже принялъ гостей съ нѣкоторою развязностью.

Впослѣдствіи открылось, что „онъ“ уже „травленый“.

— Ба! Гости!—сказалъ „онъ“ довольно весело:—да ужъ нѣтъ ли тутъ старыхъ знакомыхъ? нѣтъ? Ну, и съ новыми познакомимся! Магіе! вставай: гости пришли!

Оказалось, что „онъ“ былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ. На столѣ, въ кабинетѣ, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холоднаго пирога... Нѣсколько початыхъ бутылокъ вина и наполовину выпитый графинъ съ водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли?—сказалъ „онъ“, указывая на закуски:—отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пріятели, такъ вотъ кстати и закуска осталась. А я покамѣстъ одѣнусь: вѣдь мнѣ придется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать меня—такъ?

— Точно такъ-съ!—отвѣчалъ я, увлеченный его добродушіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не подумать: „если бы всѣ“ они „были таковы! Гостепріименъ, ласковъ, словоохотливъ!“

Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начиналъ думать, что „они“ не ѣдятъ и не пьютъ, и вдругъ... встрѣчаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлѣбосольства! И гдѣ же встрѣчаюсь!

Что̀ привело этого человѣка въ бездну вольномыслія? Непостижимо!!

Мы послѣдовали приглашенію радушнаго хозяина, и, признаюсь, даже не замѣтили, какъ прошло время въ любезной бесѣдѣ.

Говорили обо всемъ, о соціализмѣ, о коммунизмѣ, но безъ раздраженія, безъ задора и даже съ видимымъ удовольствіемъ. Одинъ только разъ я принужденъ былъ выразиться довольно строго, и именно по поводу той самой Marie, которую онъ уже вызывалъ вначалѣ нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностью потчивала насъ пирогомъ и закуской.

— Эта особа... какъ вамъ приходится?—спросилъ я его.

— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ быть, нужно въ спальную войти? Сдѣлайте одолженіе—не стѣсняйтесь? Я самъ вамъ все покажу.

— Нѣтъ-съ, покуда мы еще не имѣемъ въ этомъ нужды... Но жена... т.-е. какъ жена? — прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ глазомъ: — вокругъ ракитоваго куста?

— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумѣете...

Но онъ не успѣлъ докончить.

— Довольно, государь мой!—сказалъ я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вѣжливое обращеніе еще не даетъ права на дерзость.

Затѣмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ все. Въ цѣлой квартирѣ не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, такъ что я даже изумился.

— Васъ изумляетъ отсутствіе книгъ и бумагъ?—поспѣшилъ онъ объяснить, замѣтивъ на моемъ лицѣ недовольное движеніе:—но поймите же, наконецъ, что, начиная съ 48-го года, я періодически подвергаюсь точно такимъ посѣщеніямъ, какъ въ настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить нѣкоторую опытность.

Признаюсь, во всякомъ другомъ случаѣ подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала: такъ мнѣ пріятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вѣроятно, не по своей винѣ увлеченнаго хозяина!

Подъ вліяніемъ этого чувства я совершенно раскисъ.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ (такъ „его“ звали), сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что давно не проводилъ такъ пріятно время, какъ въ вашемъ миломъ, образованномъ семействѣ.

— За что̀ же тутъ сердиться?

— Да-съ! Но за всѣмъ тѣмъ... моя обязанность... мой, если можно такъ выразиться, священный долгъ...

— Повелѣваетъ вамъ пригласить меня съ собою? Что жъ, вѣдь я съ перваго же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ мѣстѣ и во всякое время готовъ!

— Да-съ; но могу васъ увѣрить, что съ своей стороны... все, что зависитъ.

— Ну, отъ такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ вы, тутъ, пожалуй, ровно ничего зависѣть не можетъ... Однако довольно разговаривать: идемъ!

Тутъ только я замѣтилъ, что ему все-таки не совсѣмъ пріятно было наше посѣщеніе.

Марршъ!

Петербургъ погибалъ! Петропавловская крѣпость уже уплыла... Послѣдній оплотъ! Это было зрѣлище ужасное: куда ни оглянись — вездѣ дыра... Публицисты гремѣли, благонамѣренные... радовались!

Всѣ чувствовали, что надо вырвать „зло“ съ корнемъ, всѣ издавали дикіе вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношеніе имѣло къ данной минутѣ? Объ этомъ никто себя не спрашивалъ, не разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопріятна, что это одна изъ тѣхъ минутъ, къ которымъ можно пріурочить какую угодно обиду, и никто въ суматохѣ ничего не разберетъ и не отличитъ. Если *теперь* упустить минуту, то кто можетъ поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвостъ?

Нѣтъ зрѣлища болѣе поразительнаго, какъ зрѣлище радости благонамѣренныхъ! это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го! Повидимому, тутъ нѣтъ даже необходимой, для вразумительности, членораздѣльности, а за всѣмъ тѣмъ нельзя не чувствовать, что это единственные „передовые“ звуки, возможные въ извѣстныя минуты!

Еще вчера благонамѣренный жался къ сторонкѣ, ходилъ съ понурою головой, съ блѣдными щеками и потухшими взорами; еще вчера онъ клялся и божился, что отнынѣ подло быть негодяемъ — и вдругъ какая метаморфоза! Сегодня онъ цвѣтетъ; походка у него увѣренная, авторитетная; глаза блещутъ молніями: уста извергаютъ побѣдный вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась побѣда, но чувствуете, что она совершилась, и что вчерашній день утонулъ навсегда. Vae victis! Горе тому, кто попадется въ эту минуту на глаза „благонамѣренному“! Онъ въ одно мгновеніе будетъ съ ногъ до головы обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильныя общественныя пертурбаціи необходимы для „благонамѣреннаго“: онѣ даютъ ему возможность окрѣпнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердцѣ радостный трепетъ; наводненіе, голодъ — приводятъ въ восхищеніе!

Въ обыкновенное время, когда теченіе дѣлъ не представляетъ угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществѣ расцвѣтаетъ надежда на лучшее будущее — „благонамѣренный“ увядаетъ, ибо сознаетъ себя ненужнымъ.

Самолюбіе его страдаетъ безмѣрно; онъ мечется и ищетъ исхода для своей дѣятельности и вездѣ приходитъ не во-время, вездѣ видитъ себя лишнимъ... Тишина тлетворнымъ образомъ дѣйствуетъ на его фонды, почти-что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ, это явленіе до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображеніе всевозможными страхами. „Тихо — стало быть, я пропалъ“, — говоритъ себѣ благонамѣренный, и нѣтъ мѣры его злополучію. Чтобы пищевареніе совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы цѣлыя массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, или, по крайней мѣрѣ, чтобы кто-нибудь да стоналъ.

Если этого нѣтъ, онъ чувствуетъ себя неловко, и, чтобы смягчить свое горе, начинаетъ предсказывать, накликать.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на его предсказанія, на горизонтѣ появляется облако, въ воздухѣ чувствуется удушливость, вдалекѣ слышатся раскаты грома...

Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается румянецъ на его блѣдныхъ щекахъ, какою страшною пастью разверзаются нѣмотствовавшія дотолѣ уста!

„Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это будетъ такъ!“ —хохочетъ онъ на всѣ стороны. И льется этотъ зловѣщій перекатистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни давно уснувшія ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипѣло и безсмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умѣя найти для себя яснаго выраженія...

Наступаетъ минута какого-то адскаго откровенія. „Либералы!“ —раздается побѣдный кличъ, и все, что чувствуетъ себя бодрымъ,—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруганіе.

Въ такомъ положеніи дѣлъ очень естественно, что какъ бы человѣкъ ни старался попасть въ тонъ минуты, онъ всегда чувствуетъ себя опереженнымъ.

Такъ было и съ нами, членами общества „Робкаго усилія благонамѣренности“. Какъ мы ни бодрились, какъ ни старались сослужить службу общественную—возрастающій спросъ на благонамѣренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ насъ. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и неумѣлыми; насъ открыто называли колпаками!! Въ концѣ концовъ, мы сдѣлались страдательнымъ орудіемъ, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видѣть, какіе люди встали тогда изъ могилъ! Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имѣли съ вашимъ сосѣдомъ процессъ; если вы дали взаймы денегъ и имѣли неосторожность напомнить объ этомъ; если вы имѣли несчастіе доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что онъ подлецъ, взяточнику—что онъ взяточникъ; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника добычу — это просто-на-просто означало, что вы сами вырыли себѣ подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступленіяхъ, и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла „благонамѣренность“...

Провинція колыхалась и извергала изъ себя цѣлые легіоны чудовищъ ябеды и клеветы—

Отъ Перми до Тавриды,
Отъ хладныхъ финскихъ скалъ
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада „благонамѣренныхъ“, чтобы выместить накипѣвшія въ сердцахъ обиды...

Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили. Обвинялся всякій: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совѣтника включительно. Вся табель о рангахъ была заподозрѣна. Сводились счеты; все про-

шлое ликвидировалось сразу... Дѣлалось яснымъ, что какъ бы ни тщился человѣкъ быть „благонамѣреннымъ“, не было убѣжища, въ которомъ бы не настигала его „благонамѣренность“ еще болѣе благонамѣренная.

Самые „благонамѣренные“, наконецъ, спутались и испугались — не за общество, а за самихъ себя и за дѣтей своихъ.

Человѣкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда-нибудь преступилъ противъ ходячей политической морали, а то, существовали ли какіе-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и какъ угодно, и на которомъ изъ пунктовъ обрушится обвиненіе именно на него? Тотъ, кого въ этомъ обвинительномъ омутѣ постигло забвеніе, могъ считать себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо, а кому только издали грозили пальцемъ, долженъ былъ спѣшить исчезнуть, чтобы не раздражать своимъ видомъ торжествующей „благонамѣренности“. Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ — вотъ лучшій удѣлъ, котораго могъ желать человѣкъ...

Читатель! ты, который, пробѣгая настоящее признаніе, быть можетъ, обвиняешь меня въ развратѣ, размысли надъ правдивой картиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; провѣрь ее съ твоими воспоминаніями, и скажи по совѣсти: гдѣ находятся дѣйствительныя, крайнія границы нравственной распущенности — во мнѣ... или, можетъ быть, въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ?

На этотъ разъ было почти утро... Цѣлую ночь мы не смыкали глазъ, и уже начинали дѣйствовать нерѣшительно и вяло. Это былъ тотъ моментъ, когда на улицахъ начинаетъ показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движеніе: дворники метутъ мостовую, открываются двери булочныхъ, съѣзжаются возы съ овощами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движеніе еще не показываются. Въ такія минуты всего сильнѣе чувствуется цѣна теплой кровати. Самый безпріютный человѣкъ ищетъ себѣ уголка, къ которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояніе дѣлается почти непереносимымъ и можетъ быть поддержано лишь искусственнымъ образомъ...

Мы спѣшили.

„Онъ“ былъ уже, однако, одѣтъ. „Онъ“ отворилъ намъ дверь, держа въ рукахъ книгу, и, не отрывая отъ нея глазъ, пошелъ передъ нами, какъ будто наше появленіе не составляло для него ничего непредвидѣннаго и, пожалуй, даже не относилось къ нему.

Равнодушіе уже перестало удивлять насъ. Однако это было уже не равнодушіе, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примѣчали, что, какъ бы ни старался человѣкъ взглянуть въ глаза бѣдѣ, какъ бы ни примирялся онъ съ неизбѣжностью и непоправимостью положенія, въ которое ставила его сила обстоятельствъ, но такое философское настроеніе никогда не оказывается вполнѣ цѣльнымъ. Всегда въ него примѣшивалась хоть тѣнь горечи, ироніи или, по крайней мѣрѣ, изумленія. Человѣкъ не протестуетъ, не жалуется, но восклицаніе: „какіе жалкіе люди!“ — такъ и свѣтится

во всѣхъ движеніяхъ, такъ и бьетъ всюду: и въ интонаціи голоса, и въ выраженіи глазъ... всюду.

Читатель! какъ ни обидна подобная оцѣнка, но даже и она можетъ примирить! Чувствуется, что эту фразу говоритъ человѣкъ не совсѣмъ еще закоснѣлый, что вы не ничто въ его глазахъ, что у него могутъ быть такія же уязвимыя мѣста, какъ и у васъ, и у всякаго; однимъ словомъ, что это слабый смертный, которому можно сдѣлать больно, который имѣетъ хоть какія-нибудь точки соприкосновенія съ вами. Какъ хотите, а это сознаніе успокоиваетъ. Напротивъ того, тутъ въ этомъ разсѣянномъ и сосредоточенномъ молодомъ человѣкѣ не видѣлось ничего подобнаго. Какъ будто все давно имъ понято, рѣшено и забыто.

Мы вошли въ кабинетъ.

„Онъ“ молча сѣлъ около окна и углубился въ чтеніе. Натурально, это меня взорвало.

— Извольте стоять!—крикнулъ я на него.

Онъ всталъ и продолжалъ читать.

— Извольте оставить книгу!

Онъ положилъ книгу на столъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ я сквозь зубы, но такъ, что онъ навѣрное слышалъ мое восклицаніе; тѣмъ не менѣе ни малѣйшаго движенія не показалось на лицѣ его.

— Съ вами живетъ какая-нибудь женщина?

— Смотрите!—сказалъ онъ, какъ будто отгоняя отъ себя что-то назойливое, прервавшее нить его мыслей.

Разсуждая хладнокровно, я долженъ сознаться, что при тогдашнемъ моемъ утомленіи именно только такое адское равнодушіе и могло обновить мои заснувшія силы. Я съ яростью выбрасывалъ книги, швырялъ бумаги. Но онъ по прежнему продолжалъ стоять у окна и безъ малѣйшаго признака изумленія смотрѣлъ на картину разрушенія, которая быстро созидалась передъ его глазами.

— Кто вы такой?—наконецъ бросился я къ нему.

Онъ назвалъ себя. Онъ даже не сказалъ, что я самъ долженъ знать, у кого я нахожусь. Повидимому, ему не приходило въ голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.

Это было до такой степени ново, что въ головѣ у меня блеснула мысль: не подступиться ли къ нему посредствомъ великодушія?

— Общественное мнѣніе указываетъ на васъ, какъ на причину зла,—сказалъ я.—Опровергните это! Постарайтесь снять съ себя столь ужасное обвиненіе! Я изъ участія къ вамъ говорю это: мнѣ жаль васъ! Наконецъ, я прошу васъ: спасите себя и дайте мнѣ возможность участвовать въ этомъ спасеніи!

— Идемте!—произнесъ онъ съ такимъ видомъ, какъ будто ему безконечно надоѣло мое кроткое изліяніе чувствъ...

Марршъ!

Дальше! дальше!

„Онъ“, очевидно, былъ философъ, и принялъ на себя трудъ убѣждать насъ.

—Мнѣ кажется, господа,—говорилъ онъ:—что вы бьете совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ, и что, видя въ занятіяхъ умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете послѣднему упрекъ, котораго оно даже не заслуживаетъ!.. Ужели оно и въ самомъ дѣлѣ такъ разслаблено, что не можетъ выдержать напора мысли, и первая вещь, отъ которой прежде всего необходимо остеречь его—это преданность интересамъ мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимѣе невѣжество? Почему, когда въ обществѣ возникаетъ какое-нибудь замѣшательство, первые люди, которые дѣлаются жертвами подозрительности, суть именно люди мысли, люди изслѣдованія? Согласитесь, что такое странное явленіе нельзя даже объяснить иначе, какъ глубокимъ презрѣніемъ, которое вы питаете не только къ обществу, но и къ самимъ себѣ?

Я слушалъ его съ удовольствіемъ, да и нельзя было иначе, потому что au fond il y a du vrai dans tout cecі!.. Иногда мы дѣйствительно пересаливаемъ и какъ будто черезчуръ охотно доказываемъ міру, что знаменитое хрестоматическое двустишіе: „Науки юношей питаютъ“ и пр., улетучивается изъ насъ немедленно, какъ только мы покидаемъ школьныя скамьи.

Я невольно вздохнулъ при этомъ соображеніи.

Онъ продолжалъ:

— Допустимъ однакоже, что наука вредитъ; но вѣдь во всякомъ случаѣ это такой вредъ, который доступенъ только немногимъ, большинству же не можетъ при этомъ угрожать ни малѣйшею опасностью. Вы говорите: общество лишь тогда можетъ быть счастливо, когда оно невѣжественно. Прекрасно! Но съ чего же вы берете, что эта невѣжественность такъ легко доступна для посягательства науки? И ежели общество дѣйствительно такъ невѣжественно, что считаетъ состояніе невѣжества лучшимъ залогомъ своего спокойствія, то какъ же допустить въ немъ ту легкомысленную жажду къ знанію, которая будто бы до того сильна, что требуетъ какихъ-то экстраординарныхъ мѣръ для предупрежденія увлеченія ею?

Удовольствіе мое возрастало. Онъ продолжалъ:

— Одно что-нибудь: или общество желаетъ знанія, и слѣдовательно можетъ безопасно выдержать его; или оно не терпитъ знанія—и въ такомъ случаѣ, конечно, само постоитъ за свою святыню, само отобьется отъ нападеній и защититъ свое право на свободу отъ наукъ. Бояться за общество, столь крѣпко убѣжденное, предпринимать искусственныя и не всегда ловкія мѣры для огражденія его — не значитъ ли это безъ надобности волновать его и даже указывать такіе просвѣты, которыхъ оно никогда не увидало бы, не будь вашей безсознательной услуги?

Удовольствіе возрастало съ каждой минутой. Я думалъ: „ахъ, если бы такъ всѣ разсуждали! если бы всѣ понимали, что вмѣсто того, чтобы преслѣдовать науку, лучше всего поступать такъ, какъ бы ея совсѣмъ не было... Наука! Что такое наука? Parlez-moi de ça! Qu'est ce que c'est que cette „наука“, et où avez-vous été pêcher cet animal-là?“

Вотъ, по моему мнѣнію, единственный разговоръ, который можетъ допустить по этому поводу истинно прозорливая внутренняя политика!

Но „онъ“ продолжалъ:

— Но вѣдь придется же наконецъ понять — хоть въ этомъ и тяжело сознаться, — что совсѣмъ безъ наукъ тоже обойтись нельзя; что народы, которые питаютъ къ наукамъ презрѣніе...

„Онъ“ остановился, точно обрѣзалъ: очевидно, „онъ“ понялъ, что я слушалъ „его“ съ удовольствіемъ.

— Идемте! — сказалъ „онъ“, надѣвая на голову картузъ.

Марршъ!

Замѣчательно, что женщины никогда не бываютъ такъ тверды въ бѣдствіяхъ, какъ мужчины: онѣ непремѣнно или въ слезы ударятся, или слегкомысленничаютъ. Обыкновенно онѣ очень хвастливы и даже нагло отстаиваютъ убѣжденія, имъ искусственно привитыя; напротивъ того, становятся очень робки, когда дѣло коснется ихъ убѣжденій настоящихъ, жизненныхъ. Сейчасъ норовятъ шмыгнуть въ сторону. Такъ напримѣръ, онѣ выходятъ изъ себя, разговаривая о собственности, о семействѣ, какъ основѣ государственнаго и гражданскаго союза, — однимъ словомъ, обо всемъ, что ни прямо, ни косвенно не касается ихъ, а заговорите-ка объ „амурахъ“...

— Вы, душенька, либералка? — спрашивалъ я на дняхъ одну „милушку“, зачитывавшуюся Боклемъ до чертиковъ.

— А вы, душенька, негодяй? — отвѣчала она, вѣроятно думая очень уколоть меня этимъ названіемъ.

Вотъ одинъ изъ тысячи примѣровъ женскаго легкомыслія! Я обращаюсь съ словомъ: „либералка“, а она отвѣчаетъ мнѣ: „негодяй!“ и не понимаетъ, что въ этомъ наивномъ сопоставленіи заключается все мое торжество; что она собственными своими милыми устами подтверждаетъ, что „либералъ“ и „негодяй“ — понятія однозначащія...

Я охотно указалъ ей на этотъ естественный выводъ, и хотя она пыталась объяснить свою фразу, но въ этихъ объясненіяхъ еще болѣе запутывалась...

— Нѣтъ, я этого не говорила! — горячилась она: — „либерализмъ“ — это само по себѣ, а „негодяй“ — самъ по себѣ: негодяй — это вы!

И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ былъ расцѣловать ее...

— Ну, а насчетъ браковъ какъ? — спросилъ я.

Она вышла изъ себя... Вообще я замѣтилъ, что „онѣ“ не любятъ этого вопроса, и перестаютъ быть любезными, когда имъ предлагаютъ его.

— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней мѣрѣ, что называется коммунизмомъ?

— Коммунизмъ, — заговорила она бойко: — это такая форма общежитія, при которой ни одинъ изъ членовъ общества не имѣетъ отдѣльной собственности, въ которую всѣ члены приносятъ одинаковую долю труда, необходимаго для производства цѣнностей, и всѣ же получаютъ одинаковую долю въ пользованіи произведенными цѣнностями.

— Всѣ: и лѣнивые, и прилежные?

— Лѣнивыхъ не должно быть. Лѣнивые — это изобрѣтеніе вашего историческаго общества.

— Прекрасно-съ! Ну, а насчетъ браковъ — такъ-таки ничего не скажете?

— Я сказала уже, что вы негодяй!

Ужели это не легкомысліе? Готовы всѣмъ рисковать, страдать, перенести всякую невзгоду изъ-за какихъ-то завѣтныхъ принциповъ, а какъ только начнешь сводить этотъ любезный принципъ съ маленькаго пьедесталъчика, на который онъ взобрался, какъ только назовешь этотъ принципъ по имени—сейчасъ или сердятся, или плачутъ!

Марршъ!

Въ другой разъ дѣло было еще горячѣе.

Я сидѣлъ съ одной „душкой“ (и какъ идутъ къ нимъ эти распущеные волосы, эти короткія платьица, какой онѣ имѣютъ шикарный видъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что занятіе анатоміей отнюдь не должно входить въ кругъ воспитанія благородныхъ дѣвицъ.

— Почему такъ?—спросила она меня довольно нахально.

— А потому, душенька,—отвѣчалъ я:—что анатомія можетъ волновать нѣжныя, легко воспламеняющіяся чувства...

— Лучше скажите, что она можетъ волновать чувства у тѣхъ, кто не помышляетъ ни о чемъ, кромѣ гадостей...

— Ужъ будто и „гадостей“? А небось, какъ дойдетъ до „амуровъ“...

Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержаніемъ разговора, миловидностью паціентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла видѣть прекраснѣйшую въ мірѣ ножку, я, можетъ быть, ужъ слишкомъ близко подсѣлъ къ ней...

Я хотѣлъ уже взять ее за талію... Хлопъ!.. Ужели и это не легкомысліе? Проповѣдуютъ свободу любви, а какъ только предлагаютъ имъ запечатлѣть эту свободу... Хлопъ!

Марршъ!

— Ахъ, какъ я себя велъ!

„Онѣ“ сидѣли и клеили картонки. Не знаю, почему мнѣ это показалось возмутительнымъ. Но этого мало! мнѣ показалось, что слѣдуетъ ихъ обыскать...

Ахъ, какъ я себя велъ!

Читатель можетъ спроситъ меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощью куска мяса,

его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцовать, но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной иниціативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабаго смертнаго, съ желѣзомъ въ сердцѣ, съ кремнемъ въ душѣ, вооружаетъ когтями льва! Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я видѣлъ себя предметомъ восторженнѣйшихъ овацій. Въ похвалу мнѣ произносились спичи; во всѣхъ трактирахъ Имперіи лилось шампанское съ пожеланіемъ новыхъ и новыхъ подвиговъ; со всѣхъ концовъ сыпались поздравительныя телеграммы... Я пламенѣлъ, я жаждалъ, я устремлялся, я былъ готовъ! Я нѣсколько дней сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ сна и почти не ѣлъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она одна поддерживала мои силы... Но цементъ былъ крѣпокъ! Я дошелъ почти до ясновидѣнія, и угадывалъ „негодяевъ“ тамъ, гдѣ другіе усматривали только дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ. Но, съ другой стороны, эта же возбужденность чувства мѣшала мнѣ ясно понимать, что въ числѣ множества прихотливыхъ формъ, которыми облекается либерализмъ, есть нѣкоторыя, прикасаться къ которымъ не всегда безопасно... Особенныя трудности въ этомъ смыслѣ представляютъ формы, называемыя дѣйствительными статскими совѣтниками.

Овацiи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникала измѣна. Поговаривали кой-гдѣ que je suis trop entier, что у меня начинаютъ обрисовываться слишкомъ яркія убѣжденія, что это тоже нехорошо, потому что, становясь на почву убѣжденій (даже самыхъ, что называется, пасквильныхъ), человѣкъ самый враждебный либерализму постепенно совращается, совращается и наконецъ, ничего не подозрѣвая, оказывается на самомъ днѣ онаго...

Какія-то странныя предчувствія тяготили меня. Я смутно подозрѣвалъ, что эти слухи недаромъ, что откуда-то грозитъ опасность, долженствующая положить конецъ моей дѣятельности. Я старался исправиться, старался стать выше убѣжденій; но безсонница и искусственныя средства для подкрѣпленія слабѣющаго организма разрушали всѣ усилія, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ. Едва я приступалъ къ „работѣ“, какъ мною овладѣвалъ всецѣло демонъ ненависти. Глаза наливаются кровью, въ ушахъ шумитъ, руки безпокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вотъ инородецъ, такъ тѣмъ нахвалиться не могутъ. Ему что! — онъ пришелъ, ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни капли! А я?!

Сегодня призывали меня къ генералу, не къ тому отставному, который вручилъ мнѣ жезлъ просвѣщенія, а къ другому, настоящему, котораго я, по несчастію, совсѣмъ упустилъ изъ вида. Генералъ былъ сердитъ.

— Правда ли, — сказалъ онъ мнѣ, — что вы дошли до такой степени гнусности, что позволили себѣ потерять всякое уваженіе даже къ женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотѣлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... немного... Я заикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ дѣйствительно жалокъ.

— Прошу отвѣчать на вопросъ!—прервалъ генералъ.

— Точно такъ, ваше пр-ство!—выпалилъ я словно изъ пушки.

— Мерзавецъ!

Странное дѣло! Сколько разъ имѣлъ я случай испытывать на себѣ дѣйствіе этого слова, сколько разъ самъ примѣнялъ его къ другимъ,—и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, совсѣмъ новымъ.

Однако растолковать это все-таки довольно трудно. „Мерзавецъ!“ — ну, прекрасно! Но отчего же одинъ генералъ говоритъ: „молодецъ!“—а другой, при тѣхъ же точно обстоятельствахъ, кричитъ: „мерзавецъ!“?

Но какимъ образомъ я „его“ высѣкъ?!

Дѣло было такъ.

Мы закусывали въ „Старомъ Пекинѣ“. Выпито было изрядно, потому что стеченіе патріотовъ было неслыханное. Я разсказывалъ о подвигахъ послѣдней ночи; другіе — также. Соревнованіе было общее. Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный оборотъ, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ еще поступлю, и что въ будущую же ночь непремѣнно „его“ высѣку.

Каналья-нѣмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опредѣлить, какая у него душа) еще больше раззудилъ меня, выразивши сомнѣніе насчетъ исполнимости моего намѣренія. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто противъ одного!—бѣсновался я:—я ставлю сто рюмокъ, ты — одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У нѣмцевъ — я это замѣтилъ—головы всегда нѣсколько прозрачны на свѣтъ!)

— О, я съ удовольствіемъ!—зудилъ проклятый нѣмецъ:—но ви можете сичасъ же начайть плятить, потому что это никакъ невозможно... ви дольшенъ „его“ взять... вести... смотрѣть... но висѣчь! — это невозможно! О, нѣтъ... это другой, а не ви!

И словно бѣсъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня, моталъ своей бараньей головой и повторялъ:

— Висѣчь—нѣтъ! не ви!

Наступила ночь. По обыкновенію, я отправился въ походъ. Для крѣпости выпилъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилію. Онъ со двора указалъ намъ квартиру въ самомъ верху.

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали съ собой дворника до самой двери квартиры. Но впослѣдствіи стали неглижировать этою предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лѣстницѣ, которая вдобавокъ была темна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись, пришли къ цѣли.

Едва успѣли мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ „онъ“ уже прибѣжалъ къ двери и поспѣшно отворилъ ее...

Повидимому, это былъ человѣкъ не первой молодости. Лицо его было блѣдно и разстроено. Свѣча дрожала въ рукѣ. Распахнувшіяся полы стараго, истрепаннаго халата обнаруживали пару трясущихся ногъ. Никогда я не видалъ человѣка въ такой степени виноватаго...

— Всыпьте-ка ему десятка два дѣтскихъ!—сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

Нѣмецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.

„Онъ“ былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. „Онъ“ кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стона, ни жалобы.

— Ваша фамилія, ваши занятія?—сурово спросилъ я.

— Начальникъ отдѣленія XX департамента, статскій совѣтникъ Перемоловъ! — отвѣчалъ онъ, упираясь глазами внизъ. (Очевидно, ему было стыдно.)

Представьте мое изумленіе! это былъ... не „онъ“!!

Я пытался какъ-нибудь выпутаться, и запутался еще больше. Мнѣ слѣдовало просто-на-просто уйти, показавъ видъ, что общественная немезида удовлетворена. Вмѣсто того, я уперся, перерылъ всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мнѣ послужить оправданіемъ. Разумѣется, я ничего не нашелъ, кромѣ доказательствъ его душевной невинности... Тогда я сталъ придираться...

— Но какъ же осмѣлились вы, милостивый государь, вводить меня въ заблужденіе? —накинулся я на него.

Но онъ уже понялъ и, убѣдившись въ своей невинности, началъ обнаруживать твердость души.

— Нѣтъ, это вамъ такъ не пройдетъ!—говорилъ онъ, постепенно приходя въ раздраженіе и какъ бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ. —Нѣтъ! это что же? Этакъ всякій съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нѣтъ! это не такъ!.. Въ этихъ дѣлахъ надо глядѣть да и глядѣть...

— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю! Это чортъ знаетъ что! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-н-н-ѣ-ѣтъ!

Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставлять къ моему лицу кулаки... Такъ, что даже наконецъ я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете?— сказалъ я съ достоинствомъ.

— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной—какъ съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ахъ!

Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть святыхъ вонъ выноси! Одно мгновеніе въ моей головѣ мелькнуло: не попросить ли прощенія? Но странное дѣло! я вдругъ какъ-то понялъ, что это послѣдній мой подвигъ, и покорился...

Онъ не простилъ.

На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.

— Правда ли, что вы статскаго совѣтника Перемолова подвергли наказанію на тѣлѣ?—спросилъ онъ меня.

— Точно такъ, ваше пр-ство!

Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.

— Мерзавецъ!—произнесъ онъ тихо...

Опять это слово!!!

IV.—Ташкентцы приготовительнаго класса.

ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ.

Ольга Сергѣевна Персіанова не безъ основанія считаетъ себя еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать-три, тридцать-четыре года, она такъ еще моложава и такъ хорошо сохранилась, что иногда, а особенно вечеромъ, при свѣчахъ, ею можно даже залюбоваться. Это типъ женщины, которая какъ бы создана исключительно для того, чтобъ любить, нравиться, pour être bien mise и ни въ чемъ себѣ не отказывать.

Подобнаго сорта женщины встрѣчаются въ такъ-называемомъ „свѣтѣ“ довольно часто. Ихъ съ малыхъ лѣтъ сажаютъ въ спеціально-устроенные садки и тамъ выкармливаютъ именно такимъ образомъ, чтобы онѣ были bien mises, умѣли plaire и пріучались ни въ чемъ себѣ не отказывать. По окончаніи выкормки цѣлые выводки достаточно-обученныхъ молодочекъ выпархиваютъ на вольный свѣтъ и немедленно начинаютъ примѣнять къ дѣлу результаты полученнаго воспитанія. Разумѣется, тутъ все зависитъ отъ того, красива ли выпорхнувшая на волю молодка, или некрасива. Красивое личико гарантируетъ будущность блестящую и безпечальную; некрасивое — указываетъ въ перспективѣ рядъ слезныхъ дней. Красивая молодка заранѣе можетъ быть увѣрена, что жизнь ея потечетъ какъ въ повѣсти, то-есть что она въ свое время зацѣпится за шпору румянаго кавалериста, который, послѣ нѣкоторыхъ неизбѣжныхъ во всѣхъ повѣстяхъ перипетій, кончитъ тѣмъ, что приведетъ ее за собой въ храмъ славы и утѣхъ. Тамъ она будетъ показываться bien mise, будетъ ѣздить на рысакахъ, causer съ кавалерами и никогда ни въ чемъ себѣ не отказывать. А дальше—что Богъ дастъ. Можетъ быть, отыщется другой кавалеристъ, можетъ быть дипломатъ, а можетъ быть... и самъ Александръ Дюма-фисъ. Напротивъ того, некрасивая молодка такъ и останется съ своими jolies manières, и съ желаніемъ ни въ чемъ себѣ не отказывать. Она будетъ bien mise исключительно для самой себя, и ни одинъ кавалеристъ не поведетъ ее ни въ храмъ славы, ни въ храмъ утѣхъ. А если и поведетъ, обольщенный блестящимъ приданымъ, или связями, то такъ тамъ и оставитъ въ храмѣ одну. Безъ занятій, безъ цѣли къ жизни, безъ возможности causer, она постепенно накопитъ въ себѣ такой запасъ желчи, что жизнь

сдѣлается для нея пыткою. Изъ дѣйствующаго лица въ повѣсти утѣхъ, какимъ она воображала себя во времена счастливой выкормки въ патентованномъ садкѣ, она сдѣлается простою, жалкою конфидентkою, будетъ выслушивать исповѣдь тайныхъ амурныхъ словъ и трепетныхъ рукопожатій, расточаемыхъ кавалеристами и дипломатами счастливымъ молодкамъ-красоткамъ, и неизмѣнно при этомъ думать все одинъ и тотъ же припѣвъ: „ахъ, кабы все это мнѣ!“ И такъ какъ ни одной капли изъ всего этого ей не перепадетъ, то она станетъ сочинять цѣлые фантастическіе романы, будетъ видѣть волшебные сны и пробуждаться тѣмъ больше несчастною, оставленною, одинокою, чѣмъ больше преисполненъ былъ свѣта, суеты и лихорадочнаго оживленія только-что пережитый сонъ.

Ольга Сергѣевна принадлежала къ числу молодокъ красивыхъ, а потому счастіе преслѣдовало ее съ первыхъ шаговъ ея вступленія въ свѣтъ. Вышедши изъ патентованнаго садка шестнадцати лѣтъ, въ семнадцать она уже зацѣпилась за шпору краснощекаго ротмистра Петра Николаича Персіанова и затѣмъ навсегда поселилась въ храмѣ утѣхъ полновластною хозяйкою. Цѣлый годъ безпримѣрнаго блаженства встрѣтилъ молодую женщину на самомъ порогѣ семейной жизни. Это былъ непрерывный рядъ баловъ, parties de plaisir, выѣздовъ, пріемовъ, въ которыхъ принимали участіе представители всѣхъ возможныхъ родовъ оружія и дипломаты всѣхъ вѣдомствъ. „C'était un rêve“, какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращеніи съ бала, начиналось собственно такъ-называемое семейное счастіе и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалетъ, предшествующій визитамъ или пріему. Отъ Ольги Сергѣевны всѣ были въ восхищеніи: старики называли ее куколкой: молодые кавалеристы, говоря объ ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцовала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась вѣрною своему Петькѣ до конца (voilà ce que c'est que d'avoir reçu une éducation morale et religieuse!—говорили объ ней старушки). Наконецъ, осьмнадцати лѣтъ, она сдѣлалась матерью, одною изъ тѣхъ матерей, о которыхъ благовоспитанные сынки говорятъ: „у меня maman такая миленькая, точно куколка!“ Это происшествіе, въ свою очередь, положило начало цѣлому ряду новыхъ подвиговъ, которые опять-таки дали Ольгѣ Сергѣевнѣ возможность être bien mise, causer, plaire и ни въ чемъ себѣ не отказывать. Въ теченіе шести недѣль послѣ родовъ, она неутомимо снаряжала своего маленькаго Nicolas, и наконецъ достигла-таки того, что онъ въ свою очередь сдѣлался точно куколка.

— Онъ у меня совсѣмъ, совсѣмъ куколка!—говорила она, показывая Nicolas кавалеристамъ, товарищамъ ея мужа:—Куколка! засмѣйся!

Кавалеристы хвалили „куколку“ и въ то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.

По прошествіи шести недѣль начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok, всѣхъ надо было обрадовать, всѣмъ сообщить, какой у насъ родился „куколка“.

— Ma tante, еслибъ вы знали, какой онъ у меня куколка! C'est un petit charme! И какъ все понимаетъ! Представьте себѣ, на дняхъ я одѣва-

юсь, а онъ лежитъ у меня на колѣняхъ, и вдругъ (слѣдуетъ нѣсколько словъ на ухо)... mais imaginez-vous cela!

— Ты сама еще куколка!—улыбаясь, отвѣчаетъ ma tante:—но чувство матери, мой другъ—священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! Съ той минуты, какъ у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une révélation. Этого противнаго Петьку я даже не пускаю къ себѣ... et vous savez si je l'aime! Все думаю о томъ, какъ бы мнѣ нарядить моего милаго куколку! И еслибъ вы знали сколько платьицъ ему сшила... tout un trousseau!

— Все это очень хорошо, мой другъ, но не забудь, что для мальчика главное не въ платьицахъ, а въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ.

— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вотъ теперь, когда Петька вздумалъ въ прошлый постъ ѣсть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у насъ есть сынъ, которому мы должны подавать примѣръ! si vous faites gras à table, vous ferez maigre ailleurs... И при этомъ такъ ему погрозила, что онъ со страху (vous savez, ma tante, comme c'est une grande privation pour lui!) съѣлъ цѣлую тарелку супу *безо всего*!!

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Поѣзжай, подѣлись своей радостью съ дядей Павломъ Борисычемъ!

У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что у ma tante, съ тою разницей, что вмѣсто нравоученій о религіозномъ чувствѣ и твердыхъ правилахъ нравственности дядя сказалъ слѣдующее наставленіе:

— Ты дѣлаешь очень мило, мой другъ, что заботишься о своемъ куколкѣ. Que ton marmot soit bien lavé, bien vêtu, qu'il soit présentable, enfin—все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанетъ время, когда онъ будетъ думать не объ атласныхъ одѣяльцахъ и кружевныхъ чепчикахъ, а о другомъ атласѣ, о другихъ кружевахъ. Vous savez, ma chère, de quoi il s'agit. Надобно, чтобъ онъ встрѣтилъ эту минуту съ честью. Il faut que ce soit un galant homme. Чтобъ онъ не обращался съ женщиной какъ извозчикъ или какъ нынѣшніе національгарды, которые, отправляясь въ общество порядочныхъ женщинъ, предварительно ищутъ себѣ вдохновенья въ манежахъ, кафе-шантанахъ и циркахъ! Чтобъ женщина была для него святыня! Чтобъ онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!

На что Ольга Сергѣевна отвѣчала:

— Mon oncle! ужели вы во мнѣ сомнѣваетесь! Mais le culte de la beauté... c'est tout ce qu'il y a de plus sacré! Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку къ себѣ не пускаю — ét vous savez, comme c'est une grande privation pour lui!—только потому, что онъ рѣзокъ немного!

— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Я съ своей стороны высказался, а теперь ужъ отъ тебя будетъ зависѣть сдѣлать изъ твоего „куколки“ un homme bien élevé. Поѣзжай и подѣлись твоею радостью съ братомъ Никитой Кирилычемъ.

И такъ далѣе, то-есть того же содержанія и съ тѣми же оттѣнками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Romanzoff и проч., и проч.

Такимъ образомъ прошли два года, въ продолженіе которыхъ судьба то покровительствовала „куколкѣ“, то измѣняла ему. Maman относилась къ нему какъ-то капризно: то запоемъ показывала его всякому пріѣзжающему гостю, то запоемъ оставляла въ дѣтской на рукахъ нянекъ и бонны. Мало-по-малу послѣдняя система превозмогла, такъ что только въ званые обѣды и вечера куколку на минуту вызывали въ гостиную, вмѣстѣ съ хорошенькой швейцаркой-бонной, и раскладывали передъ гостями, всего въ батистѣ и кружевахъ на атласной подушкѣ. Гости подходили, щекотали у „куколки“ подъ брюшкомъ, произносили: „брякишь!“ или „диковинное произведеніе природы!“ и при этомъ такъ жадно посматривали на maman, что становилось жутко.

На двадцать-первомъ году („куколкѣ“ тогда не было еще трехъ лѣтъ) Ольгу Сергѣевну постигло горе: у нея скончался мужъ. Въ первыя минуты она была какъ безумная. Просиживала по нѣсколько минутъ лицомъ къ стѣнѣ, потомъ подходила къ роялю и разсѣянно брала нѣсколько аккордовъ, потомъ подбѣгала къ гробу и утомленно-капризнымъ голосомъ вскрикивала:

— Петька! глупый! ты какъ смѣешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, никогда!—не смѣешь бросить твою Ольку!

И слезы, какъ перлы, сыпались (именно сыпались, а не лились) изъ ея темно-синихъ глазъ, и—о диво! — не производили въ нихъ ни красноты, ни опухлости.

Но черезъ шесть недѣль опять наступила пора визитовъ, и плакать стало некогда. Надо было ѣхать къ ma tante, къ mon oncle, къ comtesse Romanzoff и со всѣми подѣлиться своимъ горемъ. Вся въ черномъ, немного блѣдная, съ опущенными глазами, Ольга Сергѣевна была такъ интересна, такъ скромно и плавно скользила по паркету гостиныхъ, что всѣ въ почтительномъ безмолвіи разступались передъ нею, и въ одинъ голосъ рѣшили: „c'est une sainte!“

— Ma tante!—говорила между тѣмъ Ольга Сергѣевна: — я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тѣмъ, что у меня осталось другое сокровище —мой „куколка“!

— Другъ мой,—отвѣчала ma tante:—я знаю, потеря твоя велика. Но даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ есть всегда вѣрное пристанище— это религія!

— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! какъ я это понимаю! Съ тѣхъ поръ, какъ я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась! La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments, ou j'ai envie d'avoir des ailes! И еслибъ у меня не было моего другого сокровища, моего „куколки“...

— Ну, Христосъ съ тобой, сама ты куколка!.. Поѣзжай и подѣлись твоимъ горемъ съ дядей Павломъ Борисычемъ. Ты знаешь, какъ старикъ тебя жалуетъ.

У дяди Павла Борисыча тѣ же жалобы и то же сочувствіе.

— Я потеряла моего благодѣтеля, мое сокровище, mon oncle! — говорила Ольга Сергѣевна: — вы знали, какъ онъ былъ добръ ко мнѣ! какъ онъ любилъ меня! какъ исполнялъ всѣ мои прихоти! А я... я была глупенькая тогда; я была недостойна его благодѣяній! Я... я не понимала тогда, какъ дорого ему все это стоило!

— Мой другъ, я очень понимаю всю важность твоей потери, — отвѣчалъ „mon oncle“: — mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина, и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку!

— Ахъ, mon oncle! вы одинъ добрый, одинъ великодушный. Vous pénétrez si bien dans le coeur d'une femme! Нѣтъ, я не буду худѣть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!

— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она тамъ постнымъ масломъ да изреченіями аббата Гэте кормитъ, а я этого не люблю! Ну, теперь Христосъ съ тобой! Поѣзжай и подѣлись твоимъ горемъ съ братомъ Никитой Кирилычемъ!

И т. д., и т. д.

Затѣмъ все впало въ обычную колею. Въ теченіе четырехъ лѣтъ Ольга Сергѣевна являла собой примѣръ скромности и материнской нѣжности. „Куколка“, временно пренебреженный, вновь выступилъ на первый планъ и сдѣлался предметомъ всевозможныхъ восхищеній. Его одѣвали утромъ, одѣвали въ полдень, одѣвали къ обѣду, одѣвали къ вечеру. Утромъ къ нему пріѣзжалъ спеціальный дѣтскій докторъ, осматривалъ, ощупывалъ, присутствовалъ при его купаньѣ, и всякій разъ неизмѣнно повторялъ одну и ту же фразу.

— О! этотъ молодой человѣкъ будетъ имѣть успѣхъ!

На что Ольга Сергѣевна столь же неизмѣнно отвѣчала:

— Ah! mais savez-vous, docteur, qu'il devient déjà polisson!

Передъ обѣдомъ „куколку“ прогуливали на рысакахъ по Невскому и по набережной; вечеромъ его приводили въ гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить des aimabilités. У „куколки“ были двѣ бонны: англичанка и нѣмка, и одна institutrice — француженка. Сверхъ того, по распоряженію ma tante, его посѣщалъ отецъ Антоній, le père Antoine, молодой и благообразный священникъ, который отличался отъ своихъ собратій тѣмъ, что говорилъ по-французски безъ латинскаго акцента, ходилъ въ муаръ-антиковой рясѣ и съ такою непринужденностью сѣялъ сѣмена религіи и нравственности, какъ будто ему это ровно ничего не стоило... Идетъ и сѣетъ и, повидимому, даже не замѣчаетъ, что сѣмена такъ и сыплются изъ всѣхъ поръ его существа. При такой обстановкѣ относительно „куколки“ разомъ достигались всѣ цѣли хорошаго воспитанія: и тѣлесная крѣпость, и привычка къ обществу, и прекрасныя манеры, и такъ-называемые краткіе начатки вѣры и нравственности.

Не одинъ изъ лихихъ кавалеристовъ, посѣщавшихъ по вечерамъ салонъ Ольги Сергѣевны, заглядывался на нее и покушался нарушить миръ ея души. Это казалось тѣмъ менѣе труднымъ, что два года счастливаго супружества

должны были порядкомъ-таки избаловать хорошенькую молодку, и слѣдовательно, при такой набалованности, ей не легко было разомъ покончить съ утѣхами прошлаго. Сама ma tante выражала по секрету свои опасенія на этотъ счетъ, а mon oncle даже прямо выражался: „pourvu que ça soit une bonne petite intrigue bien comme il faut—le reste ne me regarde pas! Но, къ общему удивленію, Ольга Сергѣевна закалилась какъ адамантъ. По временамъ она, конечно, вспыхивала, щеки ея слегка алѣли, глаза туманились, грудь поднималась и не умѣла сдержать затаеннаго вздоха; но какъ-то всегда, въ эти тяжкія минуты, подоспѣвалъ къ ней на выручку „куколка“. Онъ бурей влеталъ въ гостиную и такъ уморительно расшаркивался, что Ольга Сергѣевна мгновенно отрезвлялась. Отецъ Антоній, которому были извѣстны всѣ перипетіи этой борьбы слабой женщины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ, сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями, и для пріобрѣтенія большей крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсѣмъ безопасною, потому что самъ отецъ Антоній выслушивалъ ее „смущенный и очи опустя, какъ передъ матерью виновное дитя“, и Ольга Сергѣевна такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой кавалерійскій корнетъ. Ma tante была такъ поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, какъ „ma sainte“. Одинъ mon oncle все еще надѣялся, что когда-нибудь cela viendra, и продолжалъ предостерегать Ольгу Сергѣевну насчетъ національ-гардовъ.

И вдругъ, черезъ четыре года, Ольга Сергѣевна является къ ma tante и объявляетъ, что ей скучно.

— Но что же съ тобой, мой другъ?—спросила ma tante, пораженная этой неожиданностью.

— Je ne sais, je sens quelque chose là,—отвѣчала Ольга Сергѣевна, указывая на грудь: —однимъ словомъ, доктора въ одинъ голосъ приказываютъ мнѣ ѣхать за границу!

— Но какъ же быть съ „куколкой“?

— Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная... что, можетъ быть, я даже преступная мать!—воскликнула Ольга Сергѣевна, и вдругъ встала передъ ma tante на колѣни: — ma tante! вы не оставите его! вы замѣните ему мать!

Жребій „куколки“ былъ брошенъ. Ma tante согласилась замѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго. Въ результатѣ этихъ соединенныхъ усилій, долженъ былъ выйти un jeune homme accompli, рыцарь вѣжливости и преданности, молодой человѣкъ, преисполненный всевозможныхъ bons principes, preux chevalier, готовый во всякое время объявить крестовый походъ противъ manans et mécréans. Ольга Сергѣевна уѣхала вполнѣ успокоенная.

Годы шли, а интересная вдова, какъ канула за границу, такъ и исчезла тамъ. Слухъ былъ, что она на короткое время блеснула на водахъ, въ сопровожденіи какого-то національгарда (отъ судьбы, видно, не убѣжишь!), но по-

томъ скоро уѣхала въ Парижъ и тамъ поселилась на житье. Потомъ прошелъ и еще слухъ: въ Парижѣ Ольга Сергѣевна произвела фуроръ и имѣла нѣсколько шикарныхъ приключеній, которыя сдѣлали имя ея очень громкимъ. La belle princesse Persianoff сдѣлалась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандалёзныхъ хроникъ. Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неибѣжное слѣдствіе чтенія романа „L'homme qui rit“). Доходы съ пензенскихъ, тамбовскихъ и воронежскихъ имѣній проматывались съ быстротою неимовѣрною. Система залоговъ и перезалоговъ, продажа лѣсныхъ и другихъ угодій, находившая при покойномъ Петькѣ лишь робкое себѣ примѣненіе, сдѣлалась основаніемъ всѣхъ финансовыхъ операцій Ольги Сергѣевны. „Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'à charge!“ безпрерывно писала она къ одному изъ своихъ cousins, наблюдавшему „изъ прекраснаго далека“ за имѣніемъ ея и ея покойнаго мужа. И одна за другой полетѣли Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Коняихи, все, что̀ служило обременѣніемъ, что̀ вдругъ оказалось лишнимъ. Наконецъ репутація Ольги Сергѣевны достигла тѣхъ предѣловъ, далѣе которыхъ идти было ужъ некуда. Въ газетахъ разсказывали подробности одной дуэли, въ которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсѣмъ лестную для нея роль. Повѣствовалось о какомъ-то butor изъ молдаванъ, о какихъ-то mauvais traitements, жертвою которыхъ была la belle princesse russe de P***, и наконецъ о какомъ-то preux chevalier, который явился защитникомъ мальтретированной красавицы. Тогда петербургскіе родные встревожились.

— Et dire que c'était une sainte!—восклицала ma tante.

— Я предсказывалъ, что знакомство съ національгардами не доведетъ до добра!—зловѣще каркалъ mon oncle.

На семейномъ совѣтѣ рѣшено было просить... Разрѣшеніе не замедлило, и въ силу его Ольга Сергѣевна вынуждена была оставить очаровательный Парижъ и поселиться въ деревнѣ, для поправленія разстроенныхъ семейныхъ дѣлъ. Въ это время ей минуло тридцать-четыре года.

А „куколка“ тѣмъ временемъ процвѣталъ въ одномъ „высшемъ учебномъ заведеніи“, куда былъ помѣщенъ стараніями ma tante. Это былъ юноша въ полномъ смыслѣ слова многообѣщающій: красивый, свѣжій, краснощекій, вполнѣ увѣренный въ своей дипломатической будущности и въ то же время съ завистью посматривающій на бряцающихъ палашами юнкеровъ. По части священной исторіи онъ зналъ, что „царь Давидъ на лирѣ, играетъ во псалтырѣ“, и что у законоучителя ихъ „лимонная борода“. По части всеобщей исторіи онъ былъ твердо убѣжденъ, что Римъ палъ жертвою своевольной черни. По части этнографіи и статистики ему небезъизвѣстно было, что человѣчество раздѣляется на двѣ отдѣльныхъ породы: chevaliers и manans, изъ коихъ первые храбры, великодушны, преданны и вѣрны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы; а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмиренію посредствомъ экзекуцій. Сверхъ того, онъ курилъ

табакъ, охотно пилъ шампанское и еще охотнѣе посѣщалъ театръ Берга по воскреснымъ и табельнымъ днямъ. О maman своей онъ имѣлъ самое смутное понятіе, то-есть зналъ, que c'est une sainte, и что она живетъ за границей для поправленія разстроеннаго здоровья. Ольга Сергѣевна раза два въ годъ писала къ нему коротенькія, но чрезвычайно милыя письма, въ которыхъ умоляла его воспитывать въ себѣ сѣмена религіи и нравственности, запасъ которыхъ всегда хранился въ готовности у ma tante. Онъ съ своей стороны писалъ къ maman чаще, и довольно пространно описывалъ свои занятія у профессоровъ, такъ что въ одномъ письмѣ даже подробно изобразилъ первый крестовый походъ. „Представьте себѣ, милая maman, ихъ гнали отвсюду, на нихъ плевали, ихъ травили собаками, однакожъ они, предводимые пламеннымъ Петромъ Пикарскимъ, все шли, все шли“. Но такъ-какъ во время этого описанія (онъ самъ впослѣдствіи признавался въ этомъ maman) его тайно преслѣдовалъ образъ нѣкоторой Альфонсинки и ея куплетъ:

A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin,
Et beaucoup d'autres choses...

то весьма естественно, что реляція о крестовомъ походѣ заканчивалась слѣдующими словами: „въ особенности же съ героической стороны выказалъ себя при этомъ небольшой французскій городокъ Provins (allez-y, bonne maman, c'est si près de Paris!), который въ настоящее время, какъ видно изъ географіи, отличается изобиліемъ жасминовъ и розъ самыхъ лучшихъ сортовъ“.

Таковъ былъ этотъ юноша, когда ему минуло шестнадцать лѣтъ и когда съ Ольгой Сергѣевной случилась катастрофа. Пріѣхавши въ Петербургъ, интересная вдова, разумѣется, расплакалась, и прикинулась до того наивною, что когда „куколка“ въ первое воскресенье явился въ отпускъ, то она, увидѣвъ его, притворилась испуганною и съ крикомъ: „ахъ! это не „куколка!“ это какой-то большой!“—выбѣжала изъ комнаты. „Куколка“, съ своей стороны, услышавъ такое привѣтствіе, пріосанился и покрутилъ зачатокъ уса.

Тѣмъ не менѣе, болѣе близкое знакомство между матерью и сыномъ все-таки было неизбѣжно. Какъ ни дичилась на первыхъ порахъ Ольга Сергѣевна своего бывшаго „куколки“, но мало-по-малу робость прошла и началось сближеніе. Оказалось, что Nicolas—прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses, и даже совсѣмъ, совсѣмъ не сынъ, а просто братъ. Онъ такъ мило бралъ свою конфетку-maman за талію, такъ нѣжно цѣловалъ ее въ щечку, рукулировалъ ей на ухо de si jolies choses, что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательнаго отъѣзда въ деревню показалась для Ольги Сергѣевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящіе каникулы нѣсколько смягчала ея горе.

— Надѣюсь, что ты будешь откровененъ со мною? — говорила она, трепля „куколку“ по щекѣ.

— Maman!

— Нѣтъ, ты совсѣмъ, совсѣмъ будешь откровененъ со мной! ты разскажешь мнѣ всѣ твои prouesses, tu me feras un récit détaillé sur ces da-

mes, qui ont fait battre ton jeune cœur... Ну, однимъ словомъ, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну, что бы такое ты могъ думать?.. ну, положимъ, что я твоя сестра!..

— И, чортъ возьми, прехорошенькая! — прокартавилъ Nicolas (въ экстренныхъ случаяхъ онъ всегда для шика картавилъ), обнимая и цѣлуя свою maman.

И maman уѣхала, и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали, съ каменнымъ господскимъ домомъ, съ огромнымъ, прекрасно содержимымъ господскимъ садомъ, съ многоводною рѣкою, прудами, тѣнистыми аллеями—вотъ мѣсто успокоенія Ольги Сергѣевны отъ парижскихъ треволненій. Комната Nicolas убрана съ тою разсчитанною простотою, которая на первомъ планѣ ставитъ комфортъ и допускаетъ изящество лишь какъ необходимое подспорье къ нему. Ковры на полу и на стѣнахъ; простая, но чрезвычайно покойная постель; мебель, обитая сафьяномъ; массивный письменный столъ, уставленный столь же массивными принадлежностями письма и куренья; небольшая библіотека, составленная изъ избраннѣйшихъ романовъ Габоріо, Монтепена, Фейдо, Понсонъ-дю-Терайля и проч., и наконецъ по стѣнамъ цѣлая коллекція ружей, ятагановъ и кинжаловъ—вотъ обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести цѣлое лѣто.

Первая минута свиданія была очень торжественна.

— Voici la demeure de vos ancêtres, mon fils!—сказала Ольга Сергѣевна:—можетъ быть, въ эту самую минуту они благословляютъ тебя là haut!

Nicolas, какъ благовоспитанный юноша, поникъ на минуту головой, потомъ поднялъ глаза къ небу и какъ-то порывисто поцѣловалъ руку матери. При этомъ ему очень кстати вспомнились стихи изъ хрестоматіи:

И изъ его суровыхъ глазъ
Слеза невольная скатилась...

И онъ вдругъ вообразилъ себѣ, что онъ сѣдой, что у него суровые глаза, и изъ нихъ катится слеза.

— А вотъ и твоя комната, Nicolas,—продолжала maman:—я сама уставляла здѣсь все до послѣдней вещицы; надѣюсь, что ты будешь доволенъ мною, мой другъ!

Глаза Nicolas прежде всего впились въ стѣну, увѣшанную оружіемъ. Онъ рванулся впередъ, и сталъ одинъ за другимъ вынимать изъ ноженъ кинжалы и ятаганы.

— Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merci! vous êtes la plus généreuse des mères! — восклицалъ онъ въ ребяческомъ восторгѣ, показывая свои сокровища:—этотъ ятаганъ... чортъ возьми!

— Этотъ ятаганъ—святыня, мой другъ: его отнялъ твой дѣдушка Николай Ларіонычъ — c'était le bienfaiteur de toute la famille! —à je ne sais plus quel Turc, и съ тѣхъ поръ онъ переходитъ въ нашемъ семействѣ изъ рода въ родъ! Здѣсь все, что ты ни видишь, полно воспоминаній... de nobles souvenirs, mon fils!

Nicolas вновь поникъ головой, подавленный благородствомъ своего прошлаго.

— Вотъ этотъ кинжалъ,—продолжала Ольга Сергѣевна,—его вывезла изъ Турціи твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque. Она была плѣнная турчанка, но твой grand oncle Constantin такъ увлекся ея глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs!), что не только обратилъ ее въ нашу святую православную вѣру, notre sainte religion orthodoxe, но впослѣдствіи даже женился на ней. И представь себѣ, mon ami, всѣ, кто ни зналъ ее потомъ въ Москвѣ... никто не могъ найти въ ней даже тѣни турецкаго! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски... mais tout-a-fait comme une femme bien élevée! По временамъ даже журила самого свѣтлѣйшаго!

Nicolas поникъ опять.

— А вотъ это ружье — ты видишь, оно украшено серебряными насѣчками—его подарилъ твоему другому grand oncle, Ипполиту, самъ свѣтлѣйшій князь Таврическій—tu sais? l'homme du destin! Покойный Pierre разсказывалъ, что „баловень фортуны“ очень любилъ твоего grand oncle, и даже готовилъ ему блестящую карьеру, mais il parait que le cher homme était toujours d'une très petite santé—и это мѣсто досталось Мамонову!

— Fichtre! c'est le grand oncle surnommé le Bourru bienfaisant? Такъ вотъ онъ былъ каковъ!

— Онъ самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler. Онъ поселился въ деревнѣ, здѣсь по близости, и все жертвуетъ, все строитъ монастыри. C'est un saint, и тебѣ непремѣнно нужно у него погостить. Что онъ вытерпѣлъ — ты не можешь себѣ представить, мой другъ! Десять лѣтъ онъ былъ подъ опекой по доносу своего дворецкаго (un homme, dont il a fait la fortune!) за то, что будто бы засѣкъ его жену... lui! un saint! И это послѣ того, какъ онъ былъ наканунѣ такой блестящей карьеры! Но и затѣмъ онъ никогда не позволялъ себѣ роптать... напротивъ, и до сихъ поръ благословляетъ то имя... mais tu me comprends, mon ami?

Nicolas въ четвертый разъ поникъ головой.

— Но разсказывать исторію всего, что ты здѣсь видишь, слишкомъ долго, и потому мы возвратимся къ ней въ другой разъ. Во всякомъ случаѣ ты видишь, что твои предки и твой отецъ—oui, et ton père aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune!—всегда и прежде всего помнили, что они всѣмъ сердцемъ своимъ принадлежатъ нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!

— Oh, maman! la patrie!

— Oui, mon ami, la patrie—vous devez la porter dans votre coeur! А прежде всего—дворянскій долгъ, а потомъ нашу прекрасную православную религію (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbé Gueté). Безъ этихъ трехъ вещей—что мы такое? Мы путники, или, лучше сказать, пловцы...

— „Безъ кормила, безъ весла“,—вставилъ свое слово Nicolas, припомнивъ нѣчто подобное изъ хрестоматіи.

— Ну, да, c'est juste, ты прекрасно выразилъ мою мысль. Я сама

была молода, душа моя, сама заблуждалась, ѣздила даже съ визитомъ къ Прудону, но, къ счастью, все это прошло, какъ больной сонъ... et me voilà!

— O, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion!

Ольга Сергѣевна, въ свою очередь, поникла головой и даже умилилась.

— Ты не повѣришь, мой другъ, какъ я счастлива!—сказала она:—я вижу въ тебѣ это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon coeur bondit et trépigne! Нѣтъ, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувствъ матери! Mais c'est quelque chose d'inéffable, mon enfant, mon noble enfant adoré!

Этимъ торжество пріема кончилось. За обѣдомъ и мать, и сынъ уже болтали, смѣялись и весело чокались бокалами, при чемъ Ольга Сергѣевна не безъ лукавства говорила Nicolas:

— А помнишь, душа моя, ты писалъ мнѣ объ одномъ городкѣ Provins, который изобилуетъ жасминами и розами; признайся, откуда ты взялъ это свѣдѣніе?

— Maman! я получилъ его въ театрѣ Берга! Parbleu! on enseigne très bien la géographie dans ce pays-là!

Первое время мать и сынъ не могли насмотрѣться другъ на друга. Ольга Сергѣевна какъ институтка бѣгала по тѣнистымъ аллеямъ, прыгала на pas de géant; Nicolas ловилъ ее и, поймавши, крѣпко-крѣпко цѣловалъ.

— Maman! разскажи, какъ вы познакомились съ papa?

— Папа былъ немного грубъ... но тогда это какъ-то нравилось,—слегка заалѣвшись, отвѣчаетъ Ольга Сергѣевна.

— Еще бы! Sacré nom! vous autres femmes! c'est votre idéal d'être maltraitées! Ну-съ! какъ же ты съ нимъ познакомилась?

— Мы встрѣтились въ первый разъ на балѣ, и онъ танцовалъ со мной сначала кадриль, потомъ мазурку... Тогда лифы носили очень короткіе — c'était presqu'aussi ouvert qu'à présent—и онъ все смотрѣлъ... это было очень смѣшно!

— Еще бы не смотрѣть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme! Ну-съ, дальше-съ.

— Потомъ онъ сдѣлалъ предложеніе, а черезъ мѣсяцъ насъ обвѣнчали. Mais comme j'avais peur, si tu savais!

— Еще бы! Кувыркомъ!

— Колька! негодный! развѣ ты знаешь?

— Гм...

— Вѣдь тебѣ еще только шестнадцать лѣтъ!

— Семнадцатый-съ... Я, maman, революцій не дѣлаю, заговоровъ не составляю, въ тайныя общества не вступаю... laissez-moi au moins les femmes, sapristi! Затѣмъ, продолжайте.

— Et puis!.. c'était comme une épopée! c'était tout un chant d'amour.

— Да-съ, тутъ запоешь, какъ выражается мой другъ, Сеня Бирюковъ!

— Et puis... il est mort! Я была какъ безумная. Я звала его, я не хотѣла вѣрить...

— Еще бы! сразу на сухояденіе!

— Ахъ, Nicolas, ты шутишь съ самымъ священнымъ чувствомъ! Говорю тебѣ, что я была совершенно какъ въ хаосѣ, и если бы у меня не остался мой „куколка“...

— „Куколка“ — это я-съ. Стало быть, вы мнѣ одолжены, такъ сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дѣло на своемъ вѣку сдѣлалъ! Но затѣмъ прошли цѣлыя двѣнадцать лѣтъ, maman... уже ли же вы?.. Но это невѣроятно! si jeune, si fraîche, si pimpante, si jolie! Я сужу, наконецъ, по себѣ... Jamais on ne fera de moi un moine!

Ольга Сергѣевна алѣетъ еще больше и какъ-то стыдливо поникаетъ головой, но въ это же время исподлобья взглядываетъ на Nicolas, какъ будто говоритъ: „какой же ты, однако, простой: непремѣнно хочешь mettre les points sur les i!“

— Trèves de fausse honte!—картавитъ между тѣмъ, Коля — у насъ условлено разсказать другъ другу всѣ наши prouesses! Слѣдовательно, извольте сейчасъ же исповѣдоваться передо мной, какъ передъ духовникомъ!

Ольга Сергѣевна на мгновеніе заминается, но потомъ вдругъ бросается къ сыну и прячетъ у него на груди свое лицо.

— Nicolas! Я очень, очень виновата передъ тобой, мой другъ! — шепчетъ она.

— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mère, que même à présent tu es jolie à croquer... parole!

— Ah! tu viens de m'absoudre! mon généreux fils!

— Не только абсудирую, но и хвалю! И такъ...

— Ахъ, „онъ“ такъ любилъ меня, а я была такъ молода... Ты знаешь, Pierre былъ очень грубъ, и хотя въ то время это мнѣ нравилось... mais „lui“! C'était tout un poème! Il avait de ces délicatesses! de ces attentions!

— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить цѣлую главу! а этотъ кавалеристъ, который сопровождалъ васъ за границу? Тотъ, который такъ пугалъ mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons??

— C'était un butor!

— Passons. Но кто же былъ этотъ „онъ“, celui qui avait des délicatesses?

— Онъ писалъ сначала въ „Journal pour rire“, потомъ въ „Charivari“, потомъ въ „Figaro“... Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ онъ смѣшно писалъ! И все такъ мило! И мило, и смѣшно! И какъ онъ умѣлъ оскорблять! Et avec cela brave, maniant à merveille l'épée, le sabre et le pistolet! Всѣ журналисты его боялись, потому что онъ могъ всѣхъ ихъ убить!

— Et joli garçon?

— Beau... mais d'une beauté!.. Повторяю тебѣ, это была цѣлая поэма! Et avec ça, adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique!

Ольга Сергѣевна вздыхаетъ и какъ-то сосредоточенно мнетъ въ своей рукѣ вѣтку цвѣтущей сирени. Мысли ея витаютъ тамъ, на далекомъ западѣ, au coin du boulevard des Capucines, № 1, тамъ, гдѣ она однажды позабыла свой bonnet de nuit, гдѣ Anatole, который тогда писалъ въ „Figaro“,

на ея глазахъ сочинялъ свои милѣйшія blagues (oh! comme il savait blaguer, celui-là!) и откуда ее навсегда вырвалъ семейный деспотизмъ! Въ эту минуту она забываетъ и о сынѣ, и о его prouesses, да и хорошо дѣлаетъ, потому что вспомни она объ немъ, кто знаетъ—не возненавидѣла ли бы она его, какъ первую, хотя и невольную причину своего заточенія?

— Ну, а насчетъ Прудона какъ?—пробуждаетъ ее голосъ Nicolas.

— N'en parlons pas!

Ольга Сергѣевна говоритъ это уже съ оттѣнкомъ гнѣва и начинаетъ быстро ходить взадъ и впередъ по кругу, обрамленному густыми липами.

— Вообще, будетъ обо всемъ этомъ!—продолжаетъ она съ волненіемъ: —все это прошло, умерло и забыто! Que la volonté de Dieu soit faite! А теперь, мой другъ, ты долженъ мнѣ разсказать о себѣ!

Ольга Сергѣевна садится. Nicolas съ невозмутимой важностью поворачивается на скамейкѣ, обнявши обѣими руками приподнятую колѣнку.

— Et bien, maman, — говоритъ онъ:—nous aimons, nous folichonons, nous buvons sec!

Maman какъ-то сладко смѣется; въ ея головѣ мелькаетъ далекое воспоминаніе, въ которомъ когда-то слышались такія же слова.

— Raconte moi, comment cela t'est venu?—спрашиваетъ она.

— Mais... c'est simple comme bonjour!—картавитъ Nicolas:—однажды мы были въ циркѣ... передъ циркомъ мы много пили... et après la représentation... ma foi! le sacrifice était consommé!

Ольга Сергѣевна, ожидавшая пикантныхъ подробностей и перипетій, смотритъ на него съ насмѣшливымъ удивленіемъ. Какъ будто она думаетъ про себя: „странно! точь-въ-точь такое же животное, какъ покойный Петька!“

— И ты?..—спрашиваетъ она.

Но Nicolas подмѣчаетъ насмѣшливый тонъ этого вопроса и спѣшитъ поправиться.

— Maman!—говоритъ онъ восторженно:—C'était, comme vous l'avez si bien dit, tout un poème!

Эта фраза словно пробуждаетъ Ольгу Сергѣевну; она снова вскакиваетъ съ скамейки и снова начинаетъ ходить взадъ и впередъ по кругу. Прошедшее воскресаетъ передъ нею съ какою-то подавляющею, непреоборимою силою; воспоминанія такъ и плывутъ, такъ и плывутъ. Она не ходитъ, а почти бѣгаетъ; губы ея улыбаются и потихоньку напѣваютъ какую-то пѣсенку.

— C'était tout un poème!—мелькаетъ у нея въ головѣ.

Проходитъ нѣсколько дней; разсказы о прошедшихъ prouesses исчерпываются, но ихъ замѣняетъ сюжетъ столько же, если не больше, животрепещущій. Дѣло въ томъ, что Ольга Сергѣевна еще за границей слышала, что въ Петербургѣ народились какіе-то нигилисты, родъ особеннаго сословія, котораго не коснулись краткіе начатки нравственности и религіи, и которое, вслѣдствіе того, ничѣмъ не занимается, ни науками, ни художествами, а только дѣлаетъ революціи. Когда же она, сверхъ того, узнала, что въ члены этого сословія преимущественно попадаютъ молодые люди, то материнскимъ опасе-

ніямъ ея не стало предѣловъ. Она тотчасъ же собралась писать къ „куколкѣ“, чтобъ предостеречь и вразумить его, и, конечно, выполнила бы свое намѣреніе, еслибъ въ эту самую минуту къ ней не пришелъ Anatole съ какою-то, только-что измышленною имъ, bonne petite blague. Эта blague была такъ мила, такъ остроумна и весела, что Ольга Сергѣевна цѣлый день хохотала до слезъ и къ вечеру не только утратила ясное представленіе о нигилистахъ, но даже почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная національность (les polonais, les italiens... les nihilistes), которая въ этомъ качествѣ имѣетъ право на собственную свою конституцію и на собственные свои законы. Хотя же впослѣдствіи событія не одинъ разъ напоминали ей объ ужасныхъ дѣлахъ этихъ „ужасныхъ людей“, и она опять собиралась писать по этому поводу къ „куколкѣ“, но Anatole съ своей стороны тоже не дремалъ и былъ такъ неистощимъ на blagues, что всѣ усилія думать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ этихъ прелестныхъ blagues, остались тщетными. Такъ продолжалось все время до самаго переселенія въ Перкали. Тутъ она окончательно припомнила все слышанное о нигилистахъ и рѣшилась немедленно испытать политическія убѣжденія „куколки“.

Завтракъ кончился; Nicolas только-что разсказалъ свою послѣднюю prouesse и, покачиваясь на стулѣ, мурлыкаетъ: „Mon père est à Paris“... Ольга Сергѣевна ходитъ взадъ и впередъ по столовой и нѣкоторое время не знаетъ, какъ приступить къ дѣлу.

— Надѣюсь, мой другъ, что ты не нигилистъ!—наконецъ отрѣзываетъ она: — нигилисты — это тѣ самые, которые гражданскій бракъ выдумали!

— Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерваторъ!—обижается Nicolas.

— Je sais bien que vous êtes un noble enfant! но знай, Nicolas, что еслибъ когда-нибудь тебѣ зашла въ голову мысль о революціи... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?..

— Maman! вы странная! вы лучшая изъ матерей, но вы не понимаете меня.

— Ah! les hommes sont bien méchants! они такъ искусно разставляютъ свои сѣти, что я не могу... нѣтъ, нѣтъ, не могу не дрожать за тебя. И потому, еслибъ когда-нибудь, по какому-нибудь случаю, тебя постигло искушеніе...

— Parbleu! je voudrais bien voir!

— Не шути этимъ, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты — это даже не люди... это... это злые духи, — et tu sais d'après la bible ce que peut un esprit malfaisant. А потому, если они будутъ тебя искушать, вспомни обо мнѣ... вспомни, мой другъ!.. и помолись! La prière—c'est tout. Она дастъ тебѣ крылья и мигомъ прогонитъ весь этотъ cauchemar de moujik. Дай мнѣ слово, что ты исполнишь это?

— Maman! вы странная!

— Нѣтъ, дай мнѣ слово! успокой меня!

— Даю вамъ милліонъ триста тысячъ словъ, что каждый изъ этихъ злыхъ духовъ, при первомъ свиданіи, получитъ отъ меня такую taloche, что

забудетъ въ другой разъ являться съ предложеніями! О! я эти революціи изъ нихъ выбью! Я ихъ подтяну!

Nicolas надувается и вскакиваетъ; глаза его искрятся; лицо принимаетъ торжественное выраженіе. Онъ такимъ орломъ прохаживается по залѣ, какъ будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и онъ, во исполненіе, напалъ на свѣжій и совершенно несомнѣнный слѣдъ.

— Maman!—произноситъ онъ важно:—желаете ли вы, чтобъ я открылъ передъ вами мою profession de foi?

— Mon fils?

— Alors écoutez bien ceci. Я консерваторъ; я человѣкъ порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe — voici mon programme à moi. Что касается до нигилистовъ, то я думаю объ нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passez moi le mot —негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-là! ils tournent dans un cercle vicieux! Надѣюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Какой ты однакожъ...

„Умный"—хотѣла сказать Ольга Сергѣевна, но вдругъ остановилась. Она совсѣмъ некстати вспомнила, что даже ея покойный Пьеръ („le pauvre ami—онъ никогда ничего не зналъ, кромѣ тѣлесныхъ упражненій!")—и тотъ однажды вдругъ заговорилъ, когда зашла рѣчь о нигилистахъ. „И, право, говорилъ не очень глупо!"—разсказывала она потомъ объ этомъ диковинномъ случаѣ его товарищамъ-кавалеристамъ.

А Nicolas между тѣмъ надувается все больше и больше.

— Благодаря моему воспитанію,—ораторствуетъ онъ:—благодаря вамъ, ma noble et sainte mère, la ligne de conduite que j'ai à suivre est toute tracée. Cette ligne — la voici: желай въ предѣлахъ возможнаго, безпрекословно исполняй приказанія начальства, будь готовъ, et ne te mêle pas de politique. Одинъ изъ нашихъ гувернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète!! А въ переводѣ это значитъ: не возносись, не пари въ облакахъ—и никто тебя не тронетъ. Но если ты желаешь парить —что жъ, милости просимъ! Только ужъ не прогнѣвайся, mon cher, если съ облаковъ ты упадешь гдѣ-нибудь... où cela ne sent pas la rose!

— Merci! merci, mon fils! — страстно произноситъ Ольга Сергѣевна.

Но Nicolas не слушаетъ и, постепенно разгорячаясь, нѣсколько разъ сряду повторяетъ:

— Oui, dans cet endroit-là cela ne sentira pas la rose... je le garantie!

Мало-по-малу, раздражаясь собственною фантазіей, онъ вступаетъ въ тотъ фазисъ, когда человѣкомъ вдругъ овладѣваетъ какая-то нестерпимая потребность лгать. Онъ останавливается противъ maman, нѣсколько времени смотритъ на нее въ упоръ, какъ будто приготовляетъ къ чему-то необычайному.

— Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народъ!—восклицаетъ онъ:—они требуютъ милліонъ четырста тысячъ головъ! Je vous demande, si c'est pratique!

Съ минуту и мать, и сынъ, оба молчатъ, подавленные.

— Они говорятъ, что наука вздоръ... la science! что искусство—напрасная потеря времени... les arts! что всякій сапожникъ во сто разъ полезнѣе Пушкина... Pouschkinn!

Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! Они не признаютъ таинствъ, религіи, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!!

Ольга Сергѣевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas.

— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-нибудь изъ этихъ страшныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— Maman! Я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il était mal peigné, pas du tout lavé... и отъ него пахло!

— L'horreur!

Политическая программа Nicolas не только успокоиваетъ Ольгу Сергѣевну, но даже внушаетъ ей уваженіе къ сыну.

— До сихъ поръ я только любила тебя, — говоритъ она: — теперь я тебя уважаю!

На что Nicolas со всѣмъ энтузіазмомъ пламенной души отвѣчаетъ:

— Oh! ma noble et sainte mère! mais sentez donc! sentez, comme mon coeur bondit et trépigne!

Вообще „куколка" доволенъ собой выше всякой мѣры. Во-первыхъ, благодаря maman, онъ узнаетъ, что онъ консерваторъ (до сихъ поръ всѣ его политическія убѣжденія заключались въ томъ, чтобы не пропустить ни одного праздничнаго дня, не посѣтивши театра Берга), и что ему предстоитъ въ будущемъ какая-то роль; во-вторыхъ, слова Ольги Сергѣевны объ уваженіи окончательно возносятъ его на недосягаемую высоту. Онъ цѣлые дни ходитъ въ забытьи, цѣлые дни строитъ планы за планами и наконецъ дѣлается до того подозрительнымъ, что впадаетъ почти въ ясновидѣніе.

— Aujourd'hui j'ai rêvé!—говоритъ онъ однажды.—Мнѣ снилось, что я сдѣлался невидимкой и присутствую при ихъ совѣщаніяхъ! Можете себѣ представить, maman, какія я при этомъ сдѣлалъ открытія!

Въ другой разъ онъ обращаетъ вниманіе maman на вредное направленіе умовъ, замѣченное имъ между поселянами.

— Какъ хотите, maman,—ораторствуетъ онъ:—а чувство уваженія къ священному принципу собственности такъ мало въ нихъ развито, что я почти прихожу въ отчаяніе. Вчера изъ парка выгнали крестьянскую корову; сегодня на господскомъ овсѣ застали цѣлое стадо гусей. Я думаю, что система штрафовъ была бы въ этомъ случаѣ очень-очень дѣйствительна!

Наконецъ, въ третій разъ, онъ объявляетъ, что видѣлъ на селѣ настоящаго нигилиста.

— Но кого же, мой другъ?—изумленно спрашиваетъ Ольга Сергѣевна.

— Tu sais... ce séminariste... сынъ нашего священника. Представь себѣ, встрѣчается давеча со мной и пренагло-нагло подаетъ мнѣ руку... canaille!

Открытіе это нѣсколько смущаетъ Ольгу Сергѣевну. Она съ своей стороны ужъ замѣтила Аргентова (фамилія заподозрѣннаго семинариста), и ей даже показалось, что онъ не только не нигилистъ, но даже „благонамѣренный“. Именно, „благонамѣренный“, не „консерваторъ“ — „консерваторами“ могутъ быть только les gens comme il faut, а „благонамѣренный“, то-есть смирный, послушный, преданный. Аргентовъ былъ высокій и плотный молодой человѣкъ; голова у него была большая и кудрявая; черты лица нѣсколько крупны, но не безъ привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергѣевна замѣтила. „Il est du peuple, c'est vrai, — думала она про себя, — mais quelquefois ces gens-là ont du bon“. И она до такой степени прониклась убѣжденіемъ, что Аргентовъ „благонамѣренный“, что однажды, выходя изъ церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.

— Послѣ, — прибавила она: — теперь дайте мнѣ насмотрѣться на моего „куколку“! Онъ у меня такой серьезный, непремѣнно хочетъ оставаться со мной одинъ! Вѣдь вы еще не скоро уѣзжаете отсюда, мсьё Аргентовъ?

— Все зависитъ отъ мѣстовъ-съ, — отвѣчалъ молодой человѣкъ: — какъ скоро откроется вакансія, тогда ужъ будетъ не до знакомствъ-съ, а надо будетъ думать о пріисканіи невѣсты-съ!

— Ну, будетъ время, еще познакомимся! — сказала Ольга Сергѣевна, садясь въ экипажъ, между тѣмъ какъ Аргентовъ удалялся во-свояси, напѣвая звучнымъ басомъ: „тѣлеснаго озлобленія терпѣти не могу“.

Съ тѣхъ поръ мысль объ Аргентовѣ посѣщала ее довольно настойчиво. Въ головѣ ея даже завязались по этому случаю цѣлые романы съ длинными зимними вечерами, съ таинственнымъ мерцаньемъ луннаго луча и съ этою страстною, курчавою головой, si pleine de sève et de vigueur! Она полулежитъ на диванѣ, глаза ея зажмурены, а голосъ гремитъ и дрожитъ, и въ ушахъ ея безсвязно раздаются какія-то страстныя, пламенныя слова. Ей сладко мечтать подъ эти страстные звуки; она не сознаетъ даже содержанія ихъ, а только тихо-тихо поддается имъ, побѣжденная ихъ страстностью... И какъ онъ мило брюзжитъ, когда она, въ самомъ разгарѣ его діатрибъ, вдругъ, выйдя изъ забытья, „совсѣмъ-совсѣмъ некстати“ обращается къ нему съ вопросомъ:

— А вы читали Оссіана, Аргентовъ?

— Не объ Оссіанѣ идетъ теперь рѣчь, — кричитъ онъ на нее, вскакивая какъ ужаленный: — а о народныхъ страданіяхъ-съ! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?

„Странное дѣло!“ думается ей: „сколько разъ я предлагала этотъ вопросъ... тамъ... à Paris... и всѣ „они“ отвѣчали мнѣ такимъ образомъ! Всѣ, всѣ сердились“.

И вдругъ „куколка“ разрушаетъ весь этотъ rêve, объявляя, что Аргентовъ — нигилистъ! Un homme qui n'a pas de religion!! человѣкъ, который выдумалъ гражданскій бракъ!!

— Но не ошибаешься ли ты, мой другъ? — говоритъ она какъ-то робко.—Мнѣ кажется... онъ благонамѣренный!

— Нѣтъ, нѣтъ, у меня это ужъ инстинктъ, и онъ меня никогда-никогда не обманывалъ! Всѣ эти fils de pope нарочно говорятъ глупыя слова, чтобъ скрыть, что они дѣлаютъ революціи! А что у нихъ на умѣ однѣ революціи—c'est un fait avéré! И не меня они обманутъ своимъ смиреніемъ!

Однимъ словомъ, восторженность Nicolas ростетъ до того, что онъ начинаетъ вскакивать по ночамъ, кричать, кого-то требовать къ отвѣту, что̀ причиняетъ Ольгѣ Сергѣевнѣ не мало тревоги.

— Maman!—восклицаетъ онъ однажды: — je sens que je mourrai, mais au moins je mourrai à mon poste! Touchez ma tête—elle est toute en feu!

— Но ты бы чѣмъ-нибудь разсѣялъ себя,—испуганно говоритъ она:—посмотрѣлъ бы на наше хозяйство, позвалъ бы управляющаго!

— Oh, maman! все это кажется мнѣ теперь такъ ничтожнымъ... si petit, si mesquin!

— Но подумай, мой другъ, у тебя будутъ дѣти; это твой долгъ, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom.

— Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, maman!

Но Ольга Сергѣевна уже не слушаетъ и посылаетъ къ Nicolas управляющаго. Nicolas, съ свойственною ему стремительностью, излагаетъ передъ управляющимъ цѣлый рядъ проектовъ, отъ которыхъ тотъ только таращитъ глаза. Такъ напримѣръ, онъ предлагаетъ устроить на селѣ кафе-ресторанъ, въ которомъ крестьяне могли бы имѣть чисто приготовленный, дешевый и при томъ сытный обѣдъ („и Богу бы за меня молили!“ мелькаетъ при этомъ у него въ головѣ).

— Понимаешь? понимаешь?—толкуетъ онъ:—я не того требую, чтобъ были у нихъ голландскія скатерти, а чтобъ было все чисто, мило, просто—понимаешь?

Потомъ, не давши этой идеѣ дальнѣйшаго развитія, онъ переходитъ къ пчеловодству, и доказываетъ, что при современномъ состояніи науки („la science!“) можно заставить пчелъ дѣлать какой угодно медъ — липовый, розовый, резедовый и т. д.

— Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый медъ, ты—резедовый... и мы оба... понимаешь?

Наконецъ бросаетъ и эту матерію, грозитъ управляющему пальцемъ и съ восклицаніемъ: „я васъ подтяну!“—убѣгаетъ къ maman.

— Maman! да тутъ у васъ какіе-то Каракозовы завелись! — разражается онъ.

Съ этихъ поръ кличка „Каракозовъ“ остается за управляющимъ навсегда.

Наконецъ Ольга Сергѣевна вспоминаетъ, что въ сосѣдствѣ съ ними живетъ молодой человѣкъ, Павелъ Денисычъ Магнушевъ, и предлагаетъ Nicolas познакомиться съ нимъ.

— Опять какой-нибудь Каракозовъ!—остритъ Nicolas.

— Нѣтъ, мой другъ, это молодой человѣкъ—совсѣмъ-совсѣмъ однѣхъ мыслей съ тобою. Онъ консерваторъ; il est connu comme tel, хотя всего только два года тому назадъ вышелъ изъ своего заведенія. Вы понравитесь другъ другу.

— Гм... можно!

Павелъ Денисычъ Мангушевъ живетъ всего въ десяти верстахъ отъ Персіановыхъ, въ прекраснѣйшей усадьбѣ, ни въ чемъ не уступающей Перкалямъ. Въ ней все тѣнисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный домъ; густой, старинный садъ, спускающійся террасой къ рѣкѣ; оранжереи, каменныя службы, большой конный заводъ и кругомъ — поля, поля и поля. Самъ Мангушевъ — совершенно исковерканный молодой человѣкъ, какого только возможно представить себѣ въ наше исковерканное всякими bons и mauvais principes время. Воспитаніе онъ получилъ то же самое, что и Nicolas, то-есть тѣ же „краткіе начатки“ нравственности и религіи и то же безсознательно сложившееся убѣжденіе, что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans. Хотя между ними шесть лѣтъ разницы, но мысли у Мангушева такія же дѣтскія, какъ у Nicolas, и также подернуты легкимъ слоемъ разврата. Ни тотъ, ни другой не подозрѣваютъ, что оба они —шалопаи; ни тотъ, ни другой не видятъ ничего внѣ того круга, котораго содержаніе исчерпывается чищеніемъ ногтей, анализомъ покроя галстуховъ, пиджаковъ и брюкъ, оцѣнкою кокотокъ, рысаковъ и т. д. Единственная разница между ними заключалась въ томъ, что Nicolas готовилъ себя къ дипломатической карьерѣ, а Мангушевъ, par principe, всему на свѣтѣ предпочиталъ la vie de château. Въ послѣднее время у насъ это уже не рѣдкость. Прежде помѣщики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнѣе жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смѣютъ ни въ чемъ отказать, потому что въ полѣ есть заяцъ, въ лѣсу — медвѣдь и т. д. Теперь поселяются въ деревняхъ par principe, для того, чтобъ сѣять какія-то сѣмена и поддерживать какія-то якобы права... Такимъ образомъ, если для Nicolas предстояло проводить въ жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушевъ уже два года сряду проводилъ шалопайство de la vie de château..

— Vous autres, gens de l'épée et de robe,—обыкновенно выражался Мангушевъ:—вы должны администрировать, заботиться о казнѣ, защищать государство отъ внѣшнихъ враговъ... que sais-je! Nous autres, châtelains, nous devons rester à notre poste! Мы должны наблюдать, чтобъ здѣсь, на мѣстахъ взошли эти сѣмена... Однимъ словомъ, чтобъ эти краеугольные камни... vous concevez?

Выраженіе „краеугольные камни“ онъ какъ-то особенно подчеркивалъ и всегда останавливался на немъ. Онъ покручивалъ свои усики, пристально поглядывалъ на своего собесѣдника и умолкалъ, вполнѣ увѣренный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. Въ сущности же, „краеугольные камни“, о которыхъ здѣсь упоминалось, состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себѣ ногти и примѣривалъ галстухи, потомъ—ѣздилъ по со-

сѣдямъ, или принималъ таковыхъ у себя, и наконецъ, на ночь, зѣвая выслушивалъ рапорты своихъ: chef de l'administration и chef de harras.

— Я, messieurs, не знаю, что̀ такое скука!—выражался онъ, разсказывая объ употребленіи своего дня:—моя жизнь—это жизнь труда, заботъ и распоряженій. Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons à nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms (Ольга Сергѣевна отъ него заразилась этой фразой, когда рекомендовала „куколкѣ“ заняться хозяйствомъ). Поэтому наше мѣсто—на нашемъ посту. Вы, господа военные и господа дипломаты,—вы защищайте отечество и ведите переговоры. A nous—le rôle modeste des civilisateurs. Мы сѣемъ и способствуемъ прозябанію посѣяннаго. Я съ утра ужъ принимаю рапорты, дѣлаю распоряженія, осматриваю постройки, mes bâtisses, хожу на работы.!. И такимъ образомъ проходитъ цѣлый трудовой день! У меня даже свой судъ... Я здѣсь верховный судья! Всѣ эти люди, которымъ нечего ѣсть — всѣ они приходятъ *ко мнѣ и у меня* просятъ работы. Я могу дать, могу и отказать,—стало быть, я правъ, говоря, что судъ принадлежитъ *мнѣ*. У меня нѣтъ ни одного безнравственнаго человѣка въ услуженіи... parceque la morale, mon cher,—c'est mon cheval de bataille. Я каждому приходящему ко мнѣ наниматься говорю: хорошо, но ты долженъ быть почтителенъ! И они почтительны. Всѣ эти краеугольные камни... вы меня понимаете?

Дошедши до „краеугольныхъ камней“, Мангушевъ опять умолкалъ, считая свою миссію совершенно исполненною.

Nicolas и Мангушевъ сразу поняли другъ друга, хотя послѣдній принялъ перваго съ оттѣнкомъ нѣкотораго покровительства.

— Soyez le bienvenu!—сказалъ онъ ему:—le descendant des Persianoffs всегда будетъ желаннымъ гостемъ въ домѣ Мангушевыхъ. Мы, сельскіе дворяне, конечно, не можемъ доставить вамъ тѣхъ высокихъ наслажденій, къ которымъ привыкли люди столицъ; но и у насъ найдется для Персіанова и чарка добраго стараго вина, и хорошій кусокъ дымящагося ростбифа. Entrez, je vous prie.

Мангушевъ высказалъ это такъ серьевно, что Nicolas сразу почувствовалъ безпредѣльное благоговѣніе къ нему. Онъ былъ такъ щегольски и въ то же время такъ просто одѣтъ, что Nicolas въ своемъ мундирчикѣ почувствовалъ себя какъ-то неловко (онъ въ первый разъ упрекнулъ себя, зачѣмъ надѣлъ мундиръ и не послушался maman, которая совѣтовала надѣть легкій палевый костюмъ). Въ его воображеніи всталъ совсѣмъ не тотъ золотушный, вертлявый и исковерканный Мангушевъ, который дѣйствительно ломался передъ его глазами, а подлинный представитель той vie de château, о которой онъ вычиталъ когда-то dans ces bons petits romans, воспитывавшихъ его юность. Цѣлая картина быстро пронеслась въ его воображеніи. Молодой лордъ, разсѣвающій сѣмена консерватизма, религіи и нравственности; семейный очагъ; длинные зимніе вечера въ старомъ, величественномъ замкѣ; подъемные мосты; поля, занесенныя снѣгомъ; охота на кабановъ и сернъ; трикъ-тракъ съ сельскимъ кюрè; бесѣда за ужиномъ съ обильными возліяніями; общія молитвы съ преданными сѣдыми слугами, и затѣмъ крѣпкій, здоровый и безмятежный сонъ до утра... Однимъ словомъ, онъ совершенно позабылъ, что

находится въ Глуповской губерніи, гдѣ нѣтъ ни шато, ни кюрѐ, играющихъ въ триктракъ, ни кабановъ, ни консерватизма, ни религіи, ни нравственности, а есть только высь и ширь да безконечно праздные и безпредѣльно болтающіе Мангушевы.

— Et la santé de madame? — освѣдомился между тѣмъ Мангушевъ.

— Merci. Maman se porte très bien.

— Oh! votre mère est une noble et sainte femme!

Молодые люди вошли въ кабинетъ и усѣлись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.

— Et maintenant causons. Charles! vite un déjeuner, et une bouteille de notre meilleur! — обратился Мангушевъ къ расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаній: — мсьё де Персіановъ! вы какое вино предпочитаете?

Nicolas вспыхнулъ, потому что до сихъ поръ онъ самъ еще не давалъ себѣ отчета относительно вина. Онъ неизмѣнно душилъ шампанское, полагая, что дорогая его цѣна вполнѣ достаточна, чтобъ оправдать это предпочтеніе.

— Mais... le champagne! — смущенно пролепеталъ онъ, все больше и больше краснѣя.

— Pardon! мы будемъ пить шампанское en son temps et lieu — надѣюсь, что вы у меня обѣдаете? — а теперь... Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux... „Retour des Indes“... C'est tout ce qu'il faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff?

Nicolas промычалъ въ знакъ согласія.

— У меня въ услуженіи все французы, — продолжалъ Мангушевъ, когда Шарль удалился: — и вамъ рекомендую то же сдѣлать. Il n'y a rien comme un français, pour servir. Наши русскіе болѣе къ полевымъ работамъ склонность чувствуютъ. Il sont sales. Но за то въ полѣ за сохой... c'est un charme!

Затѣмъ уже начинается собственно causerie.

— Ну-съ, что новаго въ Петербургѣ?

— Mais... nous follichonons, nous aimons, nous buvons sec!

— Oh, cette bonne, brave jeunesse! Мы, сельскіе дворяне, любуемся вами изъ нашего далека, и шлемъ вамъ отсюда наши скромныя пожеланія. Вамъ трудно въ настоящую минуту, messieurs, и мы понимаемъ это очень хорошо; но повѣрьте, что и наша задача тоже нелегка!

Мангушевъ останавливается, какъ будто собирается съ мыслями.

— У насъ нѣтъ поддержки! — наконецъ говоритъ онъ и опять умолкаетъ.

Nicolas дѣлаетъ видъ, что умѣетъ, такъ сказать, читать между строкъ.

— On est trop bon là-bas! — продолжаетъ Мангушевъ: — нѣтъ спора, намѣренія прекрасны, но нѣтъ этой пылкости, этого натиска, чтобъ разомъ покончить съ гидрою! А мы... что же мы можемъ сдѣлать съ нашими маленькими, разрозненными усиліями? Мы можемъ только помогать по мѣрѣ нашихъ слабыхъ силъ... и сожалѣть!

— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas? — радуется Nicolas — je le dis mille fois par jour qu'on est trop bon pour cette canaille-là!

— Et vous avez raison. Я день и ночь борюсь съ этимъ зломъ... je

ne fais que cela... И что жъ! Я долженъ сознаться, что до сихъ поръ всѣ мои усилія были совершенно напрасны. Они проникаютъ всюду: и въ наши школы, и въ наши молодыя земскія учрежденія!

— Я увѣренъ, что еще на дняхъ видѣлъ здѣсь одного нигилиста!—восклицаетъ Nicolas:—и еслибъ не maman...

— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonté et de douceur! Но надо сознаться, что онѣ намъ много портятъ въ нашей святой миссіи!

— Но я былъ неумолимъ,—лжетъ Nicolas:—я прямо сказалъ maman, что не желаю, чтобъ въ нашемъ селѣ процвѣтали Каракозовы! И его ужъ нѣтъ!

— И хорошо сдѣлали. Votre mère est une sainte, но потому-то именно она и не можетъ судить этихъ людей, какъ они того заслуживаютъ! Но, дастъ Богъ, классическое образованіе превозможетъ, и тогда... Надѣюсь, monsieur de Persianoff, что вы за классическое образованіе?

Nicolas надувается, какъ бы нѣчто соображая.

— Классицизмъ—этимъ все сказано,—продолжаетъ между тѣмъ Мангушевъ:—это utile dulce, l'utile et le doux нашего добраго стараго Горація. Скажу вамъ откровенно, m-r de Persianoff, я никогда—никогда не скучаю. Какъ только я замѣчаю, что мнѣ грустно, я сейчасъ же беру моего старика Гомера, и забываю все... Съ этой точки зрѣнія иногда у меня даже нѣтъ силъ ненавидѣть этихъ нигилистовъ: я просто сожалѣю объ нихъ. У нихъ нѣтъ этого наслажденія, которымъ пользуемся, напримѣръ, мы съ вами; ils ne comprennent pas la poésie du coeur!

Nicolas глядитъ на Мангушева во всѣ глаза и все больше проникается благоговѣніемъ къ нему. А вмѣстѣ съ благоговѣніемъ онъ проникается потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытія, ни возможности для отступленія.

— Я самъ... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочемъ, предпочитаю ему Виргилія. „Les Boucoliques“—tout est là! Этимъ все сказано! —картавитъ онъ, самодовольно поворачиваясь въ креслѣ и покручивая зачатокъ уса.

— Vraiment? вы любитель? Очень радъ! очень радъ! потому что въ такомъ случаѣ мы навѣрное сойдемся!

— Я еще въ младшемъ курсѣ прочиталъ всего Корнелія Непота... Fichtre, quel style!

— Oh, quant au style—c'est Entrope qu'il faut lire! Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность... и, наконецъ, эта возвышенность... Надо прочесть самому, чтобъ убѣдиться, что это такое!

Бесѣдуя такимъ образомъ, новые друзья доврались наконецъ до того, что вытаращили глаза и стали втупикъ. „Et Esope donc!“ — началъ-было Nicolas, но остановился, потому что рѣшительно позабылъ, кто такой былъ Эзопъ и къ какой онъ принадлежалъ націи.

— Ну-съ, теперь мы позавтракаемъ! А послѣ завтрака я вамъ покажу мой harras. Заранѣе предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нѣчто весьма замѣчательное.

За завтракомъ Мангушевъ пытался-было продолжать „серьезный“ раз-

говоръ, и сталъ развивать свои идеи насчетъ „правъ“ вообще и въ особенности насчетъ тѣхъ изъ нихъ, которыя онъ называлъ „священными“; но когда дошла очередь до знаменитаго „Retour des Indes“, серьезность измѣнила характеръ и сосредоточилась исключительно на достоинствѣ вина. Мангушевъ велъ себя въ этомъ случаѣ какъ совершеннѣйшій знатокъ, съ отличіемъ прошедшій весь курсъ наукъ у Дюссо, Бореля и Донона. Онъ слѣдилъ глазами за движеніями Шарля, разливавшаго вино въ стаканы, вертѣлъ свой стаканъ въ обѣихъ рукахъ, какъ бы слегка согрѣвая его, пилъ благородный напитокъ небольшими глотками и т. п. Nicolas, съ своей стороны, старался ни въ чемъ не отставать отъ своего друга: нюхалъ, смаковалъ губами, поднималъ стаканъ къ свѣту и проч.

— Mais savez-vous, que c'est parfait! on sent le goût du raisin à un tel point, que c'est inconcevable!—наконецъ произнесъ онъ восторженно.

— N'est-ce pas?—не менѣе восторженно отозвался Мангушевъ:—ah! attendez! à dîner je vais vous regaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles!

Затѣмъ разговоръ полился ужъ рѣкой.

— Я только разъ въ жизни пилъ подобное вино,—повѣствовалъ Мангушевъ:—c'était à Bordeaux, chez un nommé comte de Rubempré—un comte de l'Empire, s'il vous plaît — га! это было винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этихъ comtes de l'Empire, но это вино! Ah! ce vin!

Мангушевъ развелъ руками, какъ бы давая понять, что дальше объяснять безполезно. Nicolas сидѣлъ противъ него и завидовалъ.

— Я долженъ вамъ сказать, что судьба вообще баловала меня на этотъ счетъ. Въ другой разъ, это было въ Италіи... въ Сорренто, въ Сполетто — je ne sais plus lequel!.. Приходимъ мы въ какую-то остерію. Ну, просто, въ грязную остерію, въ родѣ нашей харчевни... vous pouvez vous imaginer ce que c'est! Жарко, устали, хочется пить. Разумѣется, сейчасъ: una fiasca del vino! — „Si, signor“ и т. д. И что жъ бы вы думали! Мнѣ, именно мнѣ, подаютъ бутылку d'un certain lacryma christi... ah! mais c'était quelque chose! Представьте себѣ, что это была *одна* бутылка, хранившаяся у хозяина въ погребѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ! Et puis, c'était fini. Ни прежде, ни послѣ я подобнаго вина не пивалъ!

Nicolas завидуетъ еще больше, но въ то же время чувствуетъ, что и ему слѣдуетъ вставить свое слово въ разговоръ.

— On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie?—картавитъ онъ съ важностью.

— Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger à Messine. Это все равно, что груши, которыя можно ѣсть только на сѣверѣ Франціи. Вездѣ это—груши; тамъ—это божество!

— Et Naples! frutti del mare!—восклицаетъ Nicolas.

— Я ѣлъ ихъ съ утра до вечера, и никогда не могъ довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idée de ce qu'on trouve à l'étranger en fait de vins et de comméstibles! On y devient glouton sans y penser—parole d'honneur! Перигоръ, Бордо, Марсель—все это усѣяно!

Тюрбо, тонъ, paté de foie gras—c'est à n'y pas croire! Et puis, les huîtres, и эта безподобная, ни съ чѣмъ несравнимая bouille-abesse!

— Et les femmes donc!

— A qui le dites-vous! Ah, il y avait une certaine donna Ineza... Впослѣдствіи она была въ Петербургѣ у одного адвоката... les gueux! ils nous arrachent nos meilleurs morceaux! Но я... я встрѣтился съ нею въ Севильѣ. Представьте себѣ теплую южную ночь... надъ нами темное синее небо... кругомъ все благоухаетъ... и тамъ вдали, comme dit Pouschkinne:

Бѣжитъ, шумитъ
Гвадалквивиръ...

Мы идемъ, впиваемъ въ себя этотъ волшебный воздухъ и чувствуемъ—mais à la lettre чувствуемъ! — какъ вся кровь приливаетъ къ сердцу! И вдругъ... ОНА! въ легкой мантильѣ... на головѣ черный кружевной капюшонъ, и изъ-подъ него... два черныхъ, какъ уголь, глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour à Séville, vous m'en direz des nouvelles!

У Nicolas захватываетъ дыханіе. Потребность лгать саднитъ ему грудь, катится по всѣмъ его жиламъ и наконецъ захлестываетъ все его существо.

— Je vous dirai, qu'une fois il m'est arrivé à Pétersbourg...—начинаетъ онъ, но Мангушевъ съ своей стороны такъ ужъ разолгался, что не хочетъ дать ему кончить.

— О! наши сѣверныя женщины! c'est pauvre, c'est mesquin, cela n'a pas de sève! Надобно видѣть ихъ *тамъ*! Тамъ — это зной, это адъ, это что-то такое, чтò мы, люди сѣвера, даже понять не можемъ, не испытавши лично тамъ, на мѣстѣ! Но за то, разъ на мѣстѣ, мы одни только и можемъ оцѣнить южную женщину! Знаете ли вы, что только южная женщина умѣетъ цѣловать какъ слѣдуетъ?

Nicolas окончательно багровѣетъ.

— Вы не вѣрите? — а между тѣмъ нѣтъ ничего святѣе этой истины. Она не цѣлуетъ—она пьетъ... elle boit! вотъ поцѣлуй южной женщины! Я помню, это было однажды въ Венеціи, la bella Venezia... Мы плыли въ гондолѣ... вдоль береговъ дворцы... въ окнахъ огни... вдали звучатъ баркароллы... надъ нами ночь... mais de ces nuits, qu'on ne trouve qu'en Italie! И вдругъ она меня поцѣловала... oh! mais ce baiser! c'était quelque chose d'inéffable! c'était tout un poème! Увы! это былъ послѣдній ея поцѣлуй!

Мангушевъ потупился. Nicolas впился въ него глазами.

— Elle est morte le lendemain. Она, женщина юга, не могла выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпомъ всю чашу — и умерла! Вы можете себѣ представить мое положеніе! J'ai été comme fou... Parole d'honneur!

Nicolas хочетъ сказать un compliment de condoléance, но, благодаря „Retour des Indes", слова какъ-то путаются у него на языкѣ.

— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien désagréable!—бормочетъ онъ.

— Parbleu! si la personne est jolie! allez-y et vous m'en direz des nouvelles! — восклицаетъ Мангушевъ, и такъ какъ завтракъ конченъ и

лгать больше нечего, то предлагаетъ своему новому другу отправиться вмѣстѣ на конный заводъ.

— Vous verrez mon royaume!—говоритъ онъ:—тамъ я отдыхаю и чувствую себя джентльменомъ!

Начинается выводка: у Мангушева въ рукахъ бичъ, которымъ онъ изрѣдка пощелкиваетъ въ воздухѣ. Жеребцы и кобылы выводятся одни за другими, одни другихъ красивѣе и породистѣе. Но Мангушевъ уже не довольствуется тѣмъ, что его „производители“ дѣйствительно безподобны, и начинаетъ лгать. Всѣ они взяли ему по нѣскольку призовъ, опередили „Чародѣя“, „Бычка“ и т. д.

— Вотъ.—говоритъ онъ:—этотъ самый „Зябликъ“ (c'est le doyen du harras) двадцать два приза взялъ—parole!

— Quel producteur!—восторженно восклицаетъ Nicolas.

За „Зябликомъ“ слѣдуетъ кобыла „Эмансипація“, за „Эмансипаціей“ —жеребецъ „Консерваторъ“ и проч. У Nicolas искрятся глаза и захватываетъ духъ, тѣмъ болѣе, что Мангушевъ каждую выводку непремѣнно сопровождаетъ исторіей, которая неизмѣнно начинается словами: „представьте себѣ, съ этою лошадью какой случай у меня былъ“. „Куколка“ выражаетъ свой восторгъ ужъ не восклицаніями, а взвизгиваніемъ и захлебываньемъ. Мало того: онъ чувствуетъ себя жалкимъ и ничтожнымъ, сравнивая этихъ благородныхъ животныхъ съ скромными „Васьками“ и „Горностаями“, украшающими конюшню села Перкалей.

„Et dire que cet homme a tout cela!“—думаетъ онъ, поглядывая съ завистью на торжествующаго Мангушева.

За обѣдомъ „куколка“ словно въ чаду. Онъ слабо пьетъ и почти совсѣмъ не притрогивается къ кушаньямъ.

— Этотъ „Зябликъ“ не выходитъ у меня изъ головы. А „Консерваторъ“! А эта „Ласточка“... quelles hanches!—взвизгиваетъ онъ поминутно.

Мангушевъ видитъ восторженность пламеннаго молодого человѣка и удостовѣряется, что въ немъ будетъ прокъ. На этомъ основаніи онъ предлагаетъ Nicolas выпить на „ты“ и беретъ съ него слово видѣться какъ можно чаще. Новые восторги, новыя восклицанія, новое лганье, сопровождаемое заклинаніями.

— Слушай! когда ты поѣдешь въ Парижъ,—говоритъ Мангушевъ:— ты меня предупреди. Я тебѣ дамъ письмо къ нѣкоторой Florence—et vous m'en direz des nouvelles, mon cher monsieur!

Отъ Florence разговоръ переходитъ къ Emilie, отъ Emilie—къ Ernestine, и такъ какъ въ продолженіе его слѣдуетъ бутылка за бутылкой, то лганье кончается только за полночь.

А въ Перкаляхъ еще не спятъ. Ольга Сергѣевна стоитъ на террасѣ, вглядывается въ темноту ночи и ждетъ своего „куколку“ („Oh, les sentiments d'une mère!“—говоритъ она себѣ мысленно).

— Maman! quel homme! quel homme!—восклицаетъ Nicolas, выскакивая изъ коляски и бросаясь въ объятія матери.

Каникулы кончились; Nicolas возвращается въ „заведеніе“. Онъ скучаетъ, потому что чадъ только-что пережитыхъ воспоминаній еще туманитъ его голову. Да и всѣ вообще воспитанники глядятъ какъ-то вяло. Они рука-объ-руку лѣниво бродятъ по заламъ заведенія, передаютъ другъ другу вынесенныя впечатлѣнія, и не то иронически, не то съ нетерпѣніемъ относятся къ ожидающей ихъ завтра наукѣ.

— Ты что-нибудь знаешь изъ „свинства“ (подъ этимъ именемъ между воспитанниками слыветъ одна изъ „наукъ“)?

— Ты прочиталъ „Черты“?

— Messieurs! на завтра „Чучело“ задалъ сочиненіе на тему: „сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“, Карамзина, съ романтизмомъ „Марьиной Рощи“, Жуковскаго“—каковъ Чучело!

Въ такомъ родѣ идетъ перекрестный разговоръ, относящійся до наукъ. Въ залахъ и классахъ непріютно, голо и даже какъ будто холодно; лампы горятъ по обыкновенію свѣтло, но кажется, что въ этомъ свѣтѣ чего-то недостаетъ, что онъ какой-то казенный; хочется спать, и между тѣмъ рано. Раздается звонокъ, призывающій къ ужину; но воспитанники не глядятъ ни на крутоны съ чечевицей, ни на „суконные“ пироги. Менѣе благовоспитанные (плебеи) съ негодованіемъ отодвигаютъ отъ себя „cette mangeaille de pourceau“ и грозятся сдѣлать „исторію“; болѣе благовоспитанные (аристократы) ограничиваются тѣмъ, что не прикасаются къ кушанью и презрительно пожимаютъ плечами, слушая нетерпѣливые возгласы плебеевъ. Увы! въ „заведеніи“ уже есть „свои“ аристократы и „свои“ плебеи, и эта демаркаціонная черта не исчезнетъ въ стѣнахъ его, но отзовется и дальше, когда и тѣ, и другіе выступятъ на широкую арену жизни. И тѣ, и другіе выйдутъ на нее съ убѣжденіемъ, что человѣческая раса раздѣляется на chevaliers и manans, но одни выйдутъ съ правомъ поддерживать это убѣжденіе путемъ практики —другіе лишь съ правомъ облизываться на него и поддерживать его только въ теоріи. Первые будутъ стараться не замѣчать послѣднихъ, будутъ называть ихъ „amis cochons“; вторые будутъ ненавидѣть первыхъ, будутъ сгорать завистью къ нимъ, и за всѣмъ тѣмъ полѣзутъ въ грязь, чтобъ попасться имъ на глаза и заслужить ихъ улыбку!

— Pierre! съ какимъ я познакомился консерваторомъ!—сообщаетъ „куколка“ другу своему, Петѣ Накатникову:—quel homme!

— Шутъ!

Этотъ Петя отличается тѣмъ, что настоящаго разговора вести не можетъ и выражаетъ свои мысли по возможности короткими словами. Только въ минуты сильнаго душевнаго потрясенія онъ позволяетъ себѣ проговориться какою-нибудь пословицей въ родѣ: „на томъ стоимъ-съ!“ или: „бей сороку и ворону!“ Тѣмъ не менѣе, между товарищами онъ слыветъ типомъ истиннаго chevalier.

— Самъ ты шутъ! Слушай! Мы видѣлись съ нимъ чуть не каждый день, и наконецъ такъ сошлись въ убѣжденіяхъ, что поклялись другъ другу составить общество „избавителей“.

— J'en suis!

— Ты понимаешь, что это никакъ не будетъ „тайное“ общество... напротивъ того, совсѣмъ-совсѣмъ явное! Il s'agit des nihilistes, vois-tu!

— Topez-là, monseigneur!

— Какимъ онъ угощалъ меня виномъ... „Retour des Indes“... га! это было винцо!

— Jus divin! du raisin!—мурлыкаетъ Петя.—На минералкахъ я познакомился съ Joyeux!

— Ты глупъ, Петя. Надобно было съ Альфонсинкой познакомиться, а ты все къ мужчинамъ лѣзешь!

— A bas! ça viendra!

— А еще я у него пилъ другое вино... Представь себѣ, эту бутылку подарилъ его дѣдушкѣ Потемкинъ... Tu sais, l'homme du destin!

Сеня, вмѣсто отвѣта, облизываетъ свои усики.

— Она лежала сто лѣтъ въ какомъ-то углу, въ подвалѣ... и я первый, первый открылъ это чудо! Однажды мы сидимъ вдвоемъ и пьемъ... oh! nous avons joliment trinqué ce soir-là! И вдругъ я ему говорю: Мангушевъ я увѣренъ, что у тебя въ подвалѣ хранится какое-нибудь чудо! Натурально, онъ тотчасъ же далъ мнѣ pleins-pouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-là). и не прошло минуты, какъ ужъ она была въ моихъ рукахъ!

— Выпили?

— Еще бы! Потомъ онъ разсказывалъ мнѣ свое путешествіе за границей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! Я знаю, гдѣ найти лучшее вино, лучшій обѣдъ, устрицы, однимъ словомъ, все! Ensuite, il m'a donné des détails sur une certaine signora italienne... oh! quels détails!

— Sapristi!

— Представь себѣ, онѣ, эти южныя женщины, не цѣлуютъ, а пьютъ!

— A bas!

— А въ довершеніе всего онъ далъ мнѣ письмо къ здѣшней Бертѣ... en attendant le moment, ou je pourrai aller en Italie. Но ты понимаешь, какъ это съ его стороны мило!

— Былъ?

— Еще бы! Сейчасъ съ машины заѣхалъ къ Огюсту pour me faire décrotter, и оттуда прямо къ ней. Mais quel adorable créature! Все слѣдующее воскресенье я съ нею. C'est convenu.

Въ этомъ родѣ разговоръ ведется за полночь. На другое утро Nicolas встаетъ съ головною болью и употребляетъ тщетныя усилія, чтобъ сравнить романтизмъ „Бѣдной Лизы“ съ романтизмомъ „Марьиной Рощи“. Онъ подбѣгаетъ къ Петѣ и спрашиваетъ его:

— Ты сравнилъ?

Петя молча показываетъ листъ бумаги, на которомъ размашистымъ почеркомъ изображено:

„Романтизмъ „Бѣдной Лизы“ настолько же выше романтизма „Марьиной Рощи“, насколько сѣдая и мудрая старость выше рѣзвой и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора находились долгое время при дворѣ и пользовались милостями монарховъ“.

Шутъ!

Такъ проходитъ недѣля „наукъ“. Въ воскресенье Nicolas бѣжитъ къ Бертѣ, и тамъ отдыхаетъ отъ всей абракадабры, которую принято называть ученьемъ.

— Vous n'avez pas l'idée, ma chère, comme ils nous bourrent de sciences, ces bourreaux!

— Les barbares!

Дни проходятъ за днями; воспитаніе идетъ своимъ чередомъ между будничными „науками“ и праздничною Бертой. Но вотъ истекаютъ и послѣдніе два года, и зданіе окончательно увѣнчивается. За два мѣсяца до выпуска Nicolas находится какъ въ чаду. Онъ освѣдомляется о лучшемъ портномъ, лучшемъ bottier, лучшемъ confectionneur de linge и допускаетъ по этимъ предметамъ une analyse détaillée et raisonnée. Наконецъ, останавливается на Жоржѣ, Лепретрѣ и Léon. По воскресеньямъ онъ разрывается между ними, тогда какъ maman, пріѣхавшая нарочно по этому случаю изъ Перкалей, покупаетъ экипажи, мебель, устраиваетъ квартиру—un vrai nid d'oiseau!

— Mais regarde donc, comme ça sera joli!—говоритъ она ему, водя по комнатамъ ихъ будущаго жилища: —tu seras là comme dans un petit nid.

— Maman! vous êtes la meilleure des mères. Jamais! non, jamais je ne saurai...

Nicolas закусываетъ губу и умолкаетъ, потому что наплывъ чувствъ мѣшаетъ ему говорить. Какъ бы послѣ нѣкотораго колебанія, онъ бросается къ maman и крѣпко-крѣпко обнимаетъ ее. Ma tante, свидѣтельница этой сцены, приходитъ въ умиленіе.

— Nicolas! tu es un noble enfant!—говоритъ она со слезами на глазахъ.

— Ma tante, c'est à vous que je dois ce que je suis! — восклицаетъ Nicolas, и отъ maman съ тою же стремительностью бросается къ ma tante и также обнимаетъ ее.

Наступаютъ экзамены, на которыхъ „куколка“ отвѣчаетъ довольно разсѣянно. Но начальство знаетъ причину этой разсѣянности и снисходитъ къ ней. Сверхъ того, оно знаетъ, что всѣ эти благородные молодые люди, la fleur de notre jeunesse, завтра же начнутъ свое служеніе обществу, и никогда не измѣнятъ ни долгу, ни именамъ, которыя они носятъ. Слѣдовательно, если они и не вполнѣ твердо знаютъ, въ которомъ году произошло паденіе Западной Римской Имперіи, то это еще не большая бѣда.

Наконецъ бьетъ и минута освобожденія. Nicolas выходитъ изъ стѣнъ заведенія, восторженно простираетъ впередъ правую руку и, какъ бы обращаясь къ невидимому врагу, торжественно произноситъ:

— А теперь, messieurs... поборемся!

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ.

Просимъ читателя послѣдовать за нами въ одно изъ закрытыхъ заведеній конца тридцатыхъ годовъ, въ которыхъ воспитывались дѣти дворянъ преимущественно небогатаго состоянія. Тамъ воспитывается „палачъ“, герой настоящаго разсказа.

„Палачъ“ ужъ шестой годъ выживаетъ въ „заведеніи“; четыре года провелъ онъ въ первомъ классѣ, и теперь доживаетъ второй годъ во второмъ. Настоящая его фамилія Хмыловъ, но товарищи называютъ его „палачемъ“, и эта кличка, повидимому, утвердилась за нимъ навсегда.

Хмыловъ принадлежитъ къ числу тѣхъ легендарныхъ юношей, о которыхъ въ школахъ складываются разсказы самаго чудеснаго свойства. Такъ напримѣръ, разсказывали, будто бы онъ, узнавъ однажды, что начальство рѣшилось исключить его за лѣность изъ заведенія, подавалъ въ губернское правленіе просьбу объ опредѣленіи его въ палачи, „куда угодно, по усмотрѣнію вышняго начальства“. Еще говорили, будто на душѣ его лежитъ сто одно убійство, и что мать его — та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впослѣдствіи сдѣлалась героинней романа того же имени. Одинъ ученикъ даже увѣрялъ, что видѣлъ у „палача“ разрывъ-траву и какую-то „мертвую воду“, съ помощью которой онъ будто бы могъ весь классъ сначала повергнуть въ сонъ, а потомъ всѣхъ до чиста обобрать. И какъ ни фантастичны были эти разсказы, но „палачъ“ отчасти оправдывалъ ихъ своимъ хищнымъ видомъ и какою-то таинственною отчужденностью, съ которою онъ держался въ кругу товарищей и которая, быть можетъ, зависѣла не столько отъ него самого, сколько отъ случайно сложившихся, при поступленіи его въ заведеніе, обстоятельствъ.

„Палачу“ было невступно осьмнадцать лѣтъ; роста онъ былъ не громаднаго, но внушительнаго, сухощавъ, но сложенъ крѣпко и мускулистъ; брилъ бороду и обладалъ необычайною физическою силою. Среди прочей мелюзги товарищей онъ казался Голіаѳомъ. Въ минуты добраго расположенія духа онъ сажалъ на каждую руку по ученику, а третьяго ученика помѣщалъ у себя верхомъ на плечахъ, и съ такою ношей дѣлалъ два-три конца бѣгомъ по огромной рекреаціонной залѣ. Но подобныя добрыя минуты были рѣдкими проблесками въ его школьной жизни; вообще же „палачъ“ былъ угрюмъ и наводилъ своей силой паническій страхъ на товарищей. Особенность наружнаго вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, въ свою очередь, привела къ озлобленію съ одной стороны и къ безпрерывнымъ приставаньямъ — съ другой. „Палачъ“ *любилъ бить*, и притомъ билъ почти всегда безъ причины, то-есть подстерегалъ перваго попавшагося мальчугана, и съ наслажденіемъ тузилъ его, допуская при этомъ пытку и калѣченье.

Но въ то же время онъ былъ трусъ и въ особенности боялся начальства, о которомъ повидимому съ дѣтства составилъ себѣ понятіе, какъ о чемъ-то неотразимомъ. Товарищи знали это и, ненавидя „палача“, устраивали, отъ времени до времени, на него облавы и травли, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ рѣшительную минуту можно было прибѣгнуть къ защитѣ начальства. Въ

корридорѣ, въ рекреаціонной залѣ, въ саду, всегда невдалекѣ отъ дремлющаго надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и съ крикомъ: „палачъ! палачъ!“ приближалась къ нему. Заслышавъ этотъ крикъ, „палачъ“ вздрагивалъ и бѣжалъ впередъ, сложивъ руки крестомъ на груди, выгнувъ шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но на встрѣчу ему бѣжала другая толпа такой же мелюзги и съ тѣмъ же крикомъ: „палачъ! палачъ!“ Тогда онъ останавливался, съ проворствомъ кошки оборачивался назадъ и выхватывалъ изъ толпы перваго попавшагося подъ руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, „палачъ“ вывертывалъ своему паціенту руку и, шипя, произносилъ:

— Забью!

И Богъ знаетъ, чѣмъ могли бы оканчиваться эти пароксизмы бѣшенства, еслибъ обезумѣвшаго отъ ужаса мальчугана не выручалъ надзиратель.

— A genoux, Khmiloff! à genoux, tête remplie d'immondices!—гремѣлъ голосъ надзирателя, и „палачъ“ съ какою-то горькой усмѣшкой отрывался отъ своей жертвы и угрюмо, но безпрекословно становился на колѣни.

Невѣжественность „палача“ была изумительная; лѣность—выше всего, что̀ можно представить себѣ въ этомъ родѣ. И ко всему этому—какое-то неизреченное презрѣніе къ чему бы то ни было, что̀ упоминало объ ученьи, о книгѣ. Вообразить себѣ этого атлета-юношу, съ его запасомъ рѣшимости и свирѣпости, встрѣчающагося гдѣ-нибудь въ глухомъ переулкѣ одинъ-на-одинъ съ „наукою“, значило заранѣе опредѣлить участь послѣдней. Навѣрное онъ обратитъ въ пепелъ бумажныя фабрики, взорветъ на воздухъ университеты и гимназіи и подвергнетъ человѣческую мысль разстрѣлянію. Онъ самъ удивлялся, какимъ образомъ онъ могъ научиться грамотѣ. „Сама пришла“, говорилъ онъ, тщетно пытаясь разрѣшить этотъ вопросъ сколько-нибудь удовлетворительнымъ образомъ. И дѣйствительно, правильнѣе этого рѣшенія нельзя было придумать. Никто не видалъ, чтобы онъ что-нибудь училъ или читалъ, и вся дѣятельность его, въ смыслѣ образованія ума и сердца, ограничивалась перепискою переводовъ и сочиненій на заданную тему, съ черняковъ, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задалъ, напримѣръ, переложеніе въ прозу басни „Дубъ и Трость“, онъ, незадолго до класса, подходилъ къ кому-нибудь изъ товарищей, клалъ передъ нимъ чистый листъ бумаги, на которомъ, въ видѣ заголовка, собственной его рукой было написано: — „Дубъ и Трость“, переложеніе въ прозѣ, которое „такой-то“ обязанъ составить для Максима Хмылова,—и спокойно при этомъ произносилъ.

— Черезъ полчаса!

И черезъ полчаса его дѣйствительно уже видѣли сидящимъ на задней скамейкѣ и переписывающимъ готовое переложеніе. Вся фигура его какъ-то неестественно при этомъ натуживалась и скашивалась въ одну сторону: языкъ высовывался изъ угла рта и крупныя капли пота выступали на лбу.

Родись этотъ юноша нѣсколько позже, то-есть въ то время, когда вредъ, отъ наукъ происходящій, былъ приведенъ россійскими романистами и публицистами въ достаточную ясность, ему не было бы цѣны. Но, къ несчастію для него, онъ началъ учебное поприще въ то наивное время, когда „наука“ (быть

можетъ, по новости ея) казалась еще чѣмъ-то цѣннымъ, когда никто не понималъ ясно, что̀ значитъ это слово, но всякій былъ убѣжденъ, что „науки юношей питаютъ“, и что человѣку, не знающему ариѳметики, грозитъ въ жизни какая-то бѣда. Поэтому не менѣе товарищей не любили „палача“ и учителя и надзиратели. У каждаго изъ нихъ Хмыловъ имѣлъ свое прозвище. Французъ-учитель называлъ его „animal“ и „tête remplie de foin“; учитель нѣмецъ обращался къ нему не иначе, какъ „o, du, ungeschickter, unnützer Khmiloff“; латинскій учитель именовалъ его „canis rabiosus“ и „pecus campi“. Съ какимъ-то злорадствомъ заставляли они его позировать на потѣху цѣлому классу. Входитъ, напримѣръ, на каѳедру monsieur Menuet, маленькій поджарый французикъ, скорѣе похожій на извозчика, нежели на учителя, и первымъ долгомъ считаетъ немедленно заполучить Хмылова.

— Eh bien. animal de Khmiloff, lisons! § 44. Imparfait de l'indicatif!

Хмыловъ читаетъ:

„Лорске жете́ петитъ. ме метръ ете́ контантъ де моа“.

— Etre content de toi: crétin! de toi, qui es le bourreau de tes maîtres! Animal, va!

— Господинъ Менуетъ! не извольте ругаться!

— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbécile, continuons: § 49. Imparfait et passé défini!

Хмыловъ читаетъ:

„Пьеръ леграндъ деженѐ а сенкъ еръ дю матенъ, иль дине́ а мпди е не супе па“... Е иль буве́, — вставляетъ онъ неожиданно.

— Où as-tu lu cela? réponds, triple animal! où as-tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait?

— Се листоаръ, — господинъ Менуетъ.

— „Се листоаръ“? — передразниваетъ monsieur Minuet: — et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ça serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite-moi les exemples du § 52! „Que prenez-vous le matin“?

„Палачъ“ оживляется; онъ почти не смотритъ въ книгу и довольно правильно рапортуетъ:

— „Же пранъ юнъ тассъ де те́ у де кафе авекъ дю пенъ блянъ; ле суаръ же манжъ юнъ траншъ де во̀ у де бефъ у де мутонъ“!

— Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l' animal! Mais achève, donc, achève, imbécile infect et vénimeux! Dis: „je vous remercie, madame, j'ai tant mangé que je n'ai plus faim“!

— Же фенъ.

— Ah, tu as faim, vieux tonneau fêlé. impossible à emplir! tu as faim. hyppopothâme plein d'âge! Va donc te mettre à genoux, exécrable ganâche! Nous verrons, si de cette manière-là tu parviendras à te rassasier!

„Палачъ“, не торопясь, встаетъ съ мѣста, проходитъ мимо скамей, при общемъ смѣхѣ товарищей, и становится на колѣни, ворча сквозь зубы:

— Вы всегда меня, господинъ Менуетъ, притѣсняете!

Даже законоучитель-батюшка, и тотъ считалъ своимъ долгомъ слегка поковырять въ Хмыловѣ, или, какъ онъ выражался, „измѣрить глубины сего океана празднолюбія“. А потому, обладая особливымъ даромъ прозорливства, онъ всегда огорошивалъ „палача“ слѣдующимъ вопросомъ:

— А ну-те, кто изъ васъ здѣсь дубиной прозывается? Вставай, дубъ младый, сказывай, что̀ есть адъ?

Хмыловъ вставалъ и безъ запинки отчеканивалъ:

— Карцеръ есть слово греческое, и означаетъ мѣсто темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлетъ сторожъ Мазилка!

— Такъ, младый дубъ, такъ. Спасибо, хоть самъ себѣ резолюцію прочиталъ...

Иди жъ, душа, во адъ и буди вѣчно плѣнна...

сирѣчь, изволь идти въ карцеръ...

И „палачъ“, нимало не прекословя, складывалъ тетрадки, дабы благополучно прослѣдовать въ карцеръ.

Только однажды, когда учитель-нѣмецъ по обыкновенію обратился къ нему:

— Also doch, unnützer palatsch Khmiloff...

„Палачъ“ вдругъ пустилъ ему въ упоръ:

— Колбаса!

Но и тутъ сейчасъ же струсилъ и безусловно сдался въ плѣнъ надзирателю, заточившему его на недѣлю въ карцеръ.

Даже дядьки—и тѣ терпѣть не могли „палача“, такъ что когда онъ, послѣ обѣда или ужина, приходилъ въ буфетную, чтобы поживиться остатками отъ общей трапезы, то они всегда гнали его отъ себя, говоря: „Видно, мало награбилъ у учениковъ? къ дядькамъ грабить пришелъ!“

Родомъ „палачъ“ былъ изъ Орловской губерніи, и не безъ гордости говаривалъ: „Мы, орловцы—проломленныя головы“, или: „Орелъ да Кромы — первые воры!“ Отецъ его считался въ числѣ лицъ, „почтённыхъ довѣріемъ господъ дворянъ“, то-есть служилъ исправникомъ, и, вслѣдствіе непреоборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходилъ изъ-подъ суда. Но даже и для этого закаленнаго въ суровой школѣ уголовной палаты человѣка Максимка представлялъ что-то феноменальное. Поэтому, когда онъ привезъ „палача“ въ заведеніе, то слѣдующимъ образомъ отрекомендовалъ его инспектору классовъ:

— Откровенно вамъ доложу, Василій Ипатычъ, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, какихъ днемъ съ огнемъ поискать! Бился я съ нимъ, хотѣлъ отдать въ пудретное заведеніе, да по дворянству стыдно! Дворянинъ-съ. А потому, ежели желаете оказать ему благодѣяніе—деритe! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите двѣ. А въ удостовѣреніе, представляю при семъ въ презентъ сто рублей.

— Я учиться не стану! воля ваша! — угрюмо проговорилъ „палачъ“, стоявшій тутъ же въ сторонкѣ и вслушавшійся въ рекомендацію отца.

— Слышали-съ? Изволили слышать, какое это золото! Деритe-съ! сдѣлайте милость, деритe-съ!—убѣждалъ отецъ инспектора, и затѣмъ, обращаясь

къ сыну, присовокупилъ:—а тебѣ, балбесъ, повторяю: если ты сто лѣтъ въ первомъ классѣ просидишь — я и тогда не возьму тебя изъ заведенія! Сто лѣтъ буду за тебя деньги платить, а домой—ни-ни! Такъ тутъ и околѣвай!

Хмыловъ былъ принятъ, и, быть можетъ, благодаря сторублевой рекомендаціи и ежегоднымъ присылкамъ живностью и домашними припасами, не былъ изгоняемъ изъ заведенія (въ то время еще не существовало правила, въ силу котораго больше двухъ лѣтъ въ одномъ и томъ же классѣ оставаться нельзя). Но съ тѣхъ поръ какъ „палачъ“ поступилъ въ заведеніе, никто изъ родныхъ никогда не посѣтилъ его, такъ что онъ казался совсѣмъ забытымъ. Денегъ ему тоже никогда не присылали, а такъ какъ казенная пища была совершенно недостаточна для питанія его мощнаго организма, то онъ всегда былъ голоденъ.

Чтобы наполнить желудокъ, онъ прибѣгалъ или къ обложенію товарищей произвольными данями, или къ грабежу. Система даней заключалась въ томъ, что онъ заказывалъ тремъ-четыремъ ученикамъ (обыкновенно выбирая самыхъ робкихъ): кому полбулки, кому бутербродъ съ мясомъ.

— Слыхалъ я,—говорилъ онъ:—что бутерброды дѣлаются такимъ образомъ: взявъ два куска хлѣба, положить ихъ одинъ на другой, а по срединѣ помѣстить кусокъ жареной говядины....

Или:

— Другіе за булку даютъ два листа бумаги, а я беру только полбулки, и не даю ничего...

И былъ увѣренъ, что у него будетъ столько полбулокъ и бутербродовъ, сколько онъ пожелаетъ.

Система грабежа заключалась въ томъ, что въ пріемные дни, когда воспитанниковъ посѣщали родные, „палачъ“ становился у дверей пріемной комнаты и съ волненіемъ прислушивался и приглядывался въ замочную скважину. По формѣ передаваемыхъ пакетовъ онъ угадывалъ о ихъ содержаніи, и затѣмъ, какъ хищный звѣрь въ клѣткѣ, начиналъ безпокойно метаться по корридору, ведущему изъ пріемной въ классъ. Ученики знали этотъ обычай и безъ прекословія вынимали—кто пирогъ, кто яблоко, кто горсть орѣховъ—и отдавали „палачу“. Въ эти минуты онъ былъ почти ласковъ. Онъ обиралъ дани въ громадный бумажный тюрикъ, и по окончаніи грабежа отправлялся въ классъ на заднюю скамейку, гдѣ онъ имѣлъ постоянное пребываніе, и которая поэтому называлась „палачёвскою“. Тамъ онъ раскладывалъ награбленное добро, разсортировывалъ его и затѣмъ начиналъ истреблять.

— Господа! „Палачъ“ жретъ!—раздавалось по классу.

Это былъ самый ненавистный для него крикъ, потому что вслѣдъ за тѣмъ мальчишки, какъ бѣсенята, вскарабкивались на скамейки, подбѣгали къ „палачевской“, бросали въ „палача“ пескомъ и книгами, и вообще старались всячески портить „палачевъ кормъ“. „Палачъ“ огрызался и рычалъ, но не рѣшался оставить мѣсто, потому что по опыту зналъ, что если онъ хоть на минуту погонится за кѣмъ-нибудь изъ своихъ мучителей, то кормъ его будетъ мгновенно расхищенъ. Поэтому онъ старался какъ можно скорѣе уничтожить награбленное, и когда процессъ истребленія приходилъ къ концу—отяжелѣвалъ. Въ такихъ случаяхъ онъ бокомъ садился на лавкѣ и посоло-

вѣлыми глазами смотрѣлъ въ упоръ на разсѣявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабаня пальцами по конторкѣ и какъ бы говоря: а ну-те, не угодно ли будетъ пристать ко мнѣ теперь!

По субботамъ „палача“ сѣкли. Въ заведеніи, гдѣ онъ воспитывался, существовало насчетъ этого очень своеобразное обыкновеніе. Каждую субботу, послѣ всенощной, учениковъ строили въ два ряда по бокамъ рекреаціонной залы, и затѣмъ, по воцареніи гробовой тишины, инспекторъ классовъ громкимъ и яснымъ голосомъ вызывалъ на середину тѣхъ, которые получили въ теченіе недѣли извѣстное число нулей.

— Господинъ Хмыловъ!—обыкновенно начиналъ инспекторъ.

Хмыловъ выходилъ и исподлобья высматривалъ, какой урядникъ будетъ сѣчь, Кочуринъ или Купцовъ, такъ какъ Кочуринъ сѣкъ больно, а Купцовъ—нестерпимо. Сообразно съ этимъ онъ возвышалъ или понижалъ температуру своего духа, и затѣмъ, молча перекрестясь, ложился на скамейку.

— Шестьдесятъ!—командовалъ инспекторъ.

— Василій Ипатычъ, не приказывайте держать!—уже лежа обращался къ нему Хмыловъ.

— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

— Ж-ж-ж-и-и!—раздавалось въ воздухѣ.

Хмыловъ лежалъ вольно и не испускалъ ни единаго стона. Иногда онъ закусывалъ губу и съ ожесточеніемъ царапалъ себѣ грудь, чтобы нейтрализировать одну боль посредствомъ другой. Когда отсчитывали послѣдній, шестидесятый ударъ, онъ проворно соскакивалъ со скамейки, и, какъ ни въ чемъ не бывало, принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто „Танька, ростокинская разбойница“, еще въ дѣтствѣ выкупала „палача“ въ какомъ-то болотѣ, въ мертвой водѣ, и съ тѣхъ поръ палачево тѣло сдѣлалось твердо какъ чугунъ.

Но въ одну изъ субботъ совершилось нѣчто совсѣмъ непредвидѣнное. Инспекторъ классовъ, сдѣлавъ обычный парадъ, вдругъ, сверхъ всякаго чаянія, объявилъ:

— Въ теченіе цѣлой недѣли господинъ Хмыловъ получилъ только одинъ нуль, и потому сѣченъ сегодня не будетъ. Во вниманіе къ столь очевидному знаку милосердія Божія, всѣмъ лѣнтяямъ, съ разрѣшенія господина директора, объявляется на сей разъ прощеніе! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

„Палачъ“ вдругъ сдѣлался героемъ дня. Его окружили и поздравляли со всѣхъ сторонъ, но онъ казался скорѣе сконфуженнымъ, нежели обрадованнымъ. Удивлено озирался онъ по сторонамъ и очевидно недоумѣвалъ, серьезно ли его поздравляютъ, или нѣтъ. И сомнѣнія его были далеко небезъосновательны, потому что поздравленія съ каждой минутой дѣлались шумнѣе и шумнѣе, и наконецъ превратились въ явное приставанье.

— Палачъ! палачъ!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

И черезъ минуту Хмыловъ, съ налитыми кровью глазами, уже бѣжалъ безъ памяти по корридору, преслѣдуемый криками безпощадной мелюзги.

У „палача“ былъ только одинъ другъ—„Агашка“.

Судя по кличкѣ, можно было предположить въ этомъ юношѣ что-нибудь женственное, но въ дѣйствительности было совершенно противное. „Агашка“ былъ рослый дѣтина, столь же сильный, какъ „палачъ“, и въ то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широкимъ ртомъ и мясистымъ носомъ съ раздувающимися ноздрями и почти безъ переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этихъ сокровищъ какимъ-нибудь прозвищемъ. И вотъ, когда онъ въ первый разъ вошелъ новичкомъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ, взглянувъ на него, крикнулъ: „Господа! Агашка пришла!“ И, должно быть, прозвище попало мѣтко, потому что съ тѣхъ поръ новичокъ такъ и пошелъ гулять съ нимъ по заведенію.

Настоящая фамилія „Агашки“ была Голопятовъ, а родомъ онъ былъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ той же Орловской губерніи, откуда происходилъ и „палачъ“. Это было первымъ поводомъ для сближенія между ними.

Однажды, по окончаніи классовъ, встрѣтившись съ Голопятовымъ въ корридорѣ, „палачъ“ первый подошелъ къ нему.

— Вы откуда?—спросилъ онъ его.

— Орловской губерніи Мценскаго уѣзда.

— Значитъ, Амченина къ намъ на дворъ... такъ?

— Пожалуй.

— Ну, а я Кромской. Орелъ да Кромы — первые воры. Будемъ знакомы.

Вторымъ поводомъ къ дружбѣ была физическая сила, которою несомнѣнно обладалъ „Агашка“. До поступленія его, „палачъ“ чувствовалъ себя одинокимъ; теперь онъ получилъ возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческіе эксперименты силы. Какъ только звонокъ возвѣщалъ рекреацію, оба спѣшили въ залъ и вступали въ единоборство. „Агашка“ былъ простъ, и потому бился чисто, такъ сказать, первобытно; „палачъ“ былъ лукавъ, и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибѣгалъ къ подножкамъ. Поэтому первый былъ почти всегда побѣждаемъ, но второй все-таки понималъ, что неровенъ случай, и „Агашка“ можетъ искалѣчить его. Уставши бороться, они ходили взадъ и впередъ по корридору, разговаривая о силѣ, приводя примѣры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

— У меня дядя телѣгу за колесо на всемъ скаку останавливаетъ!—хвастался „Агашка“.

— А у меня былъ прадѣдушка, такъ тотъ однажды у черкасскаго быка рогъ изо лба вывернулъ!—отзывался „палачъ“.—Да онъ и фальшивую монету дѣлалъ!—прибавлялъ онъ совсѣмъ неожиданно.

Когда и этотъ разговоръ истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тотъ и другой выставитъ кулакъ, и мѣряются.

— Только у меня, братъ, костистѣе,—молвитъ „палачъ“:—мой кулакъ настоящій... сухой!

— Ну, братъ, и моимъ можно душу изъ оглоблей вышибить!—возразитъ „Агашка“.

И опять начнутъ молча ходить, покуда опять придетъ охота мѣрять кулаки.

Иногда разговоръ разнообразился.

— Ты какъ полагаешь, Хмыловъ?—спроситъ Агашка:—кто шибче деретъ, Кочуринъ или Купцовъ?

— Кочуринъ шибче, Купцовъ больнѣй. У Кочурина рука вольная, и сердце играетъ; у Купцова рука словно какъ не своя, да и деретъ онъ словно какъ не самъ. Кочуринъ до тридцати ударовъ рубцы только кладетъ, а Купцовъ съ перваго удара кожу просѣкаетъ. Купцова я боюсь.

— Да, это такъ; Кущовъ—это я тебѣ скажу...

— Нѣтъ, прошлаго года, какъ-то разъ оба урядника больны или въ отлучкѣ были, такъ меня, вмѣсто нихъ, ламповщикъ дралъ... вотъ я тебѣ скажу дралъ!

— Больно?

— Шкуру спустилъ! Довольно тебѣ сказать, что даже я обезумѣлъ! Какъ только это шестьдесятъ сосчитали, такъ я, самъ ужъ не помню какъ, при всѣхъ и при инспекторѣ, сейчасъ ему въ зубы!

Молчаніе.

— Гм... Нѣтъ, вотъ на площади, должно быть, дерутъ! — задумчиво молвитъ „Агашка“.

Опять молчаніе.

— Слыхалъ я, что средство есть,—опять молвитъ „Агашка“.

— Это масломъ натираться? Пробовалъ я.

— Лучше?

— Оно, конечно... какъ не лучше! Скользитъ! Да только инспекторъ-шельма сейчасъ же разсмотрѣлъ—такъ и сыгралъ я въ ничью. Нѣтъ, да это что! хорошо бы вотъ въ юнкера поступить!

— Да, дранья-то бы не было!

— Въ юнкерахъ-то! Что ты! опомнись! да тамъ такъ дерутъ... такъ дерутъ! А ужъ какъ бы начальство осталось довольно! То-есть, скажи только: жги! рви!.. ну, то-есть, такъ бы...

По временамъ друзья подходили къ уряднику Кочурину, который черезъ день дежурилъ въ корридорѣ.

— А что, Кочуринъ, твоя, что-ли, очередь драть въ слѣдующую субботу?—интересовался „палачъ“.

— Моя.

— То-то; ты, братъ, не очень!

— Распишу—ничего!

— Нѣтъ, братъ, я тебѣ говорю, ты не очень! потому, братъ, я и самъ... я, братъ, и въ зубы...

По воскресеньямъ друзья чувствовали какую-то особливую, бѣшеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не выходили изъ стѣнъ заведенія. Наборовшись досыта, пересказавши другъ другу всевозможные анекдоты о силѣ, они начинали придумывать, какъ бы уразнообразить день.

— Косушку надо.—рѣшалъ „палачъ“.

— Можно бы и полштофъ, только деньги какъ? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, запирать.

— Вотъ я намеднись грамматику Цумпта нашелъ,—развѣ ее въ мытье снести?..

— Ладно. Валяй, Хмыловъ, къ Кольчугину! А коли еще Евтропія на придачу захватишь—два двугривенныхъ... это какъ калачъ!

„Палачъ“ перелѣзаетъ черезъ ограду сада, и въ одной куркѣ, безъ шапки, бѣжитъ вонъ изъ заведенія. Черезъ часъ друзья уже пріютились гдѣ-нибудь въ темномъ углу, расшиваютъ сивуху и заѣдаютъ ее колбасой.

— Ты больше ѣшь, Голопятовъ,—уговариваетъ „палачъ“: — потому ежели теперича пить да не ѣсть—бѣда!

— Да, это такъ, при винѣ безъ ѣды нельзя, отвѣчаетъ—„Агашка“:— у меня тоже дядя былъ, такъ тотъ ничего не ѣлъ, только развѣ маленькій кусочекъ хлѣба съ солью, а все пилъ, все пилъ; такъ повѣришь ли, подъ конецъ онъ словно ртутью налитой сдѣлался! Руки дрожатъ, голова мотается... страсть!

Черезъ два часа оба спятъ какъ убитые, растянувшись на лавкѣ.

Однажды въ годъ, передъ каникулами, за „палачемъ“ пріѣзжалъ разсыльный изъ земскаго суда, въ кибиткѣ, запряженной парою тощихъ обывательскихъ лошадей. Ученики чутьемъ угадывали этотъ пріѣздъ, и черезъ минуту разсыльнаго уже со всѣхъ сторонъ обступала мелюзга.

— За палачемъ пріѣхалъ?

— Танька, ростокинская разбойница, жива?

— Въ какомъ лѣсу вы нынче на промыселъ выходите?

Разсыльный таращилъ глаза, не понимая сыплющихся на него вопросовъ.

— За кѣмъ ты пріѣхалъ?—переспрашивалъ его кто-нибудь вновь.

— За барченкомъ, за Максимомъ Петровичемъ.

— Ну, онъ самый — палачъ и есть. А отецъ у него тоже палачъ? И мать—палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова въ неописанное волненіе. Онъ за нѣсколько недѣль начиналъ готовиться къ нимъ и старался устроить какъ-нибудь такъ, чтобы выскользнуть изъ заведенія незамѣченнымъ. Но это никогда ему не удавалось, благодаря неповоротливости разсыльнаго и прозорливости учениковъ. Сконфуженный, выходилъ онъ въ швейцарскую и, бросая направо и налѣво тревожные взоры, спѣшилъ какъ можно скорѣе юркнуть на улицу.

— Палачъ!—кричали ему вслѣдъ.

Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трускомъ удаляется отъ стѣнъ заведенія и, наконецъ, совсѣмъ выѣзжаетъ изъ Москвы. Очутившись за городомъ, Хмыловъ поспѣшно снимаетъ съ себя куртку, съ наслажденіемъ вдыхаетъ зараженный воздухъ заставы и жадно вглядывается въ безконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

— Ишь ты, дорога-то!—говоритъ онъ.

— Да... большая!—отзывается съ облучка разсыльный:—а позволь, Максимъ Петровичъ, узнать, за что они тебя палачемъ обзываютъ?

— Такъ... подлецы... не знаютъ сами... Жрать хочу... денегъ нѣтъ... грабить долженъ!—безсвязно бормочетъ „палачъ“, и въ голосѣ его слышится несвойственное ему дрожаніе.

„Палачъ“ отворачивается и глядитъ въ сторону. Въ эту минуту его ненавистное прозвище жжетъ его.

— Какой я палачъ, Сергѣичъ!—наконецъ произноситъ онъ:—я волкъ —вотъ что!

— Ужъ будто и волкъ?

— Да, волкъ. Голоденъ... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и травятъ!

Сергѣичъ задумчиво покачиваетъ головой.

— А ты бы, сударь, не все грабежомъ,—говоритъ онъ:—а иногда и лаской. Вотъ папеньку-то за грабежъ нонѣ подъ судъ отдали!

— Врешь?

— Всѣхъ отдали подъ судъ: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвѣича. Софронъ-то Матвѣичъ, сказываютъ, такихъ дѣловъ надѣлалъ, что и каторги-то ему, слышь мало.

— Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и свѣтлѣетъ. Выраженіе этого лица какъ будто говоритъ: ай-да молодцы... Хмыловскіе!

— Вѣрно говорю,—продолжаетъ Сергѣичъ.—Теперича изъ губерніи цѣлый кагалъ пріѣхалъ Софрона-то Матвѣича судить. Такъ онъ передъ ними, передъ чиновниками-то, словно вьюнъ на сковородѣ—такъ и пляшетъ!

— Врешь!—не станетъ дядя подличать! На каторгу, такъ на каторгу! Развѣ на каторгѣ не тѣ же люди живутъ! Вотъ я хоть сейчасъ... что же!

„Палачъ“ задумывается; въ воображеніи его рисуется „нижегородка“, этапная тюрьма, конвой, угрюмыя лица арестантовъ, и среди нихъ онъ, звенящій кандалами и наручниками...

— Ну, что, а Маришка какъ?—спрашиваетъ онъ, выходя изъ задумчивости.

— Маришку бросить надо—вотъ что. Она нынче и легла—и встала—все съ Ѳедькой поваромъ!

— Ишь подлая!.. А Микешка фалетуръ?

— Микешкѣ баринъ намеднись сказалъ, что только ему и озоровать, что до перваго набора!

— Вре-ешь?

Черезъ шесть часовъ обывательскія лошаденки кой-какъ дотаскиваютъ путешественниковъ до Подольска, гдѣ назначенъ первый роздыхъ. Сергѣичъ суетится около кибитки, вытаскивая изъ подъ сѣна кулекъ съ залежавшеюся домашней провизіей. „Палачъ“ усматриваетъ между тѣмъ висящій на гвоздикѣ у облучка Сергѣичевъ кисетъ съ махоркой, и потихоньку высыпаетъ изъ него трубки на двѣ табаку.

— Что жъ ты не спросишь, здоровы ли папенька съ маменькой?—укоризненно говоритъ ему Сергѣичъ на постояломъ дворѣ, гдѣ Хмыловъ успѣлъ ужъ расположиться подъ образами и съ жадностью оплетаетъ жареную курицу.

— А ну ихъ! денегъ не даютъ!

Черезъ четверть часа онъ стоитъ подъ навѣсомъ постоялаго двора и дѣлится камнемъ въ курицу, копающуюся въ навозѣ.

Курица испускаетъ неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убѣгаетъ.

Въ прежнія времена небогатые помѣщики, при выборѣ усадебной осѣдлости, руководствовались слѣдующими соображеніями: во-первыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы мужикъ всегда подъ руками былъ. Отгородитъ помѣщикъ попросторнѣе мѣстечко въ ряду съ крестьянскими избами (большей частью въ низинкѣ, чтобъ зимой теплѣе было) и складетъ тамъ домъ не домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заноситъ снѣгомъ, а лѣтомъ чуть-чуть виднѣется изъ-за тына. Потомъ спереди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повернуться негдѣ, а сзади и по бокамъ настроитъ людскихъ, да застольныхъ, да амбарушекъ, да клѣтушекъ — и пойдетъ этотъ нескладный бородъ строеній чернѣть и ветшать подъ вліяніемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налѣво рядъ покосившихся крестьянскихъ избъ, раздѣляемыхъ улицей, на которой отъ навоза и грязи проѣзда нѣтъ. За то, баринъ знаетъ, что въ какой избѣ дѣлается, что говорится, какой мужикъ по болѣзни не выходитъ на барщину, какой отлыниваетъ, у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвѣича Хмылова, стоявшая на самой серединѣ небольшого села Вавилова. Тутъ все было пригнано къ общему типу помѣщичьихъ усадьбъ средней руки: и почернѣвшій одноэтажный домъ съ подслѣповатыми окнами и ветхою крышей, и классическій палисадникъ, и великое множество клѣтушекъ, въ которыхъ десятками лѣтъ скоплялся и сберегался никому ненужный хламъ. Внутри дома — дрожащія половицы, стѣны, окленныя побѣленой газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидѣть, и великое изобиліе бутылей съ настойками и наливками, разставленныхъ по окнамъ. Внѣ дома — отсутствіе воды, тѣни, всего, на чемъ могъ бы отдохнуть глазъ. Куда ни взглянешь—вездѣ навозъ и грязь. Даже прудъ, выкопанный въ сторонѣ на площади, — и тотъ покрытъ плесенью и пухомъ домашней птицы, а по берегамъ до безобразія изрытъ и загаженъ.

Въ усадьбѣ Петра Матвѣича живутъ три поколѣнія. Онъ самъ съ женою Ариной Тимоѳеевной, два сына подростка (независимо отъ „палача“, съ которымъ мы ужъ познакомились) и старый дѣдушка Матвѣй Никанорычъ. Братецъ Софронъ Матвѣичъ владѣетъ собственной усадьбой, стоящей на той же площади, въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ главной усадьбы.

Дѣдушкѣ за восемьдесятъ лѣтъ; онъ совсѣмъ выжилъ изъ ума и помнитъ одно слово: „рви“! Лѣтъ двадцать назадъ (въ концѣ двадцатыхъ годовъ онъ сотворилъ какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторгѣ, еслибъ добрые люди не надоумили его сказаться умершимъ. Вздумано-сдѣлано; добыли форменное свидѣтельство, что такого-то числа и года бояринъ Матвѣй Никаноровъ Хмыловъ волею Божіей помре,

представили документъ въ уголовную палату — и живетъ съ тѣхъ поръ старикъ, въ видѣ контрабанды, на усадьбѣ у старшаго сына Петра Матвѣича.

Дѣдушка, несмотря на преклонныя лѣта, старикъ бодрый и блажной. Взамѣнъ потухшаго ума, въ немъ развилась назойливая проказливость, которая никому не даетъ покоя. Съ утра до вечера онъ неутомимо шныритъ изъ комнаты въ комнату, тутъ отдеретъ отъ стѣны кусокъ обоевъ, тамъ — обмажетъ мебель грязью или жованнымъ хлѣбомъ. И все время неумолкаемо бормочетъ и свиститъ. „Согрѣшили мы!“ — говоритъ, глядя на него, Арина Тимоѳеевна, и съ какою-то безнадежностью ждетъ, что вотъ-вотъ онъ или домъ подожжетъ, или битаго стекла въ наливку насыплетъ, или дѣвкѣ Маришкѣ глаза пескомъ засоритъ. Но домашніе не рѣшаются поступать съ нимъ круто, потому что подозрѣваютъ, что у него есть значительный кушъ, который онъ припряталъ въ то время, когда рѣшился сказаться умершимъ. Куда онъ спряталъ свое имущество — этого, несмотря на всѣ старанія, никто допскаться не можетъ, но загадочность нѣкоторыхъ поступковъ полупомѣшаннаго старика даетъ полный поводъ предполагать, что дѣйствительно старикъ что-то скрываетъ. По временамъ онъ исчезаетъ куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризомъ. Едва успѣютъ хватиться старика, а онъ ужъ опять тутъ какъ тутъ, откуда-то возвращается и знай себѣ бормочетъ да посвистываетъ. Все это, разумѣется, интриговало и даже мучило домашнихъ, и Петръ Матвѣичъ, который даже въ пьяномъ видѣ не переставалъ быть почтительнымъ сыномъ, не разъ приступалъ къ отцу съ объясненіями по этому предмету.

— Откройтесь! — говорилъ онъ: — откройтесь, добрый другъ папенька! снимите съ души вашей тяжкій грѣхъ!

Но старикъ безсмысленно смотрѣлъ на него и бормоталъ:

— Рви... самъ... самъ... самъ рви!

Пробовалъ заводить рѣчь объ этой матеріи и Софронъ Матвѣичъ: этотъ старался подѣйствовать на воображеніе старика не столько почтительностью, сколько угрозою.

— Папенька! — говорилъ онъ: — вѣдь ежели теперича допросить васъ какъ слѣдуетъ — вѣдь вы скажете-съ! какъ святъ Богъ, скажете-съ!

Но на это увѣщаніе старикъ даже не произносилъ своего любимаго слова: „рви“, а только слегка вздрагивалъ и измѣнялся въ лицѣ. Быть можетъ, онъ смутно догадывался, что Софронъ Матвѣичъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые, разъ рѣшивъ въ умѣ своемъ предпріятіе, ни надъ чѣмъ не задумаются, чтобъ достигнуть его осуществленія.

Наконецъ, прибѣгали и къ третьему способу: заставляли дѣтей слѣдить за старикомъ. И дѣйствительно, младшему сыну, Ванѣ, чуть-чуть не удалось напасть на слѣдъ. Однажды онъ подсмотрѣлъ, какъ дѣдушка вышелъ изъ дома, какъ онъ перешелъ черезъ дворъ, и потомъ, согнувшись и подобравши полы халата, сталъ куда-то прокрадываться позади скотныхъ избъ. Но покуда маленькій шпіонъ раздумывалъ, не лечь ли ему на брюхо, чтобъ ловчѣе подползти къ старику, послѣдній точно чутьемъ догадался, что за нимъ слѣдятъ. Онъ внезапно выпрямился во весь ростъ, какъ ни въ чемъ не бывало

повернулъ назадъ и, поровнявшись съ внукомъ, поднялъ его за плечи на воздухъ...

Съ тѣхъ поръ дѣдушку оставили въ покоѣ и съ какимъ-то тупымъ недоумѣніемъ ожидали, что вотъ-вотъ или умретъ старикъ, или перемѣнятъ форму ассигнацій—и тогда пиши пропало. Софронъ Матвѣичъ съ особенной настойчивостью указывалъ брату на эти случайности.

— Покаетесь, братецъ, да поздно будетъ,—говорилъ онъ своимъ хнычущимъ, вкрадчивымъ голосомъ, звукъ котораго былъ до такой степени мучителенъ, что Арина Тимоѳеевна, несмотря на двадцать-пять лѣтъ жизни въ семействѣ Хмыловыхъ, не могла его слышать безъ того, чтобъ въ ней не упало сердце.

Петръ Матвѣичъ, вмѣсто отвѣта, какъ-то алчно вздрагивалъ и дико вращалъ глазами.

— Я самъ родителя моего чту, — продолжалъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ:—каждый день, утромъ и вечеромъ, возношу сердце объ ихъ долголѣтіи. Однако, и за всѣмъ тѣмъ, съ своей стороны мнѣніемъ полагалъ бы, что ежели теперича, безъ ущерба для ихъ здравія, на время ихъ въ чуланъ запереть или, напримѣръ, въ пищѣ сокращеніе допустить...

Петръ Матвѣичъ, не дослушавъ до конца, вскакивалъ какъ ужаленный, и съ простертыми дланями устремлялся впередъ, самъ не зная куда.

— Куда ты? куда? на убивство собрался?—кричала ему вслѣдъ Арина Тимоѳеевна; — ишь тебя „зуда"-то раззудилъ! И глаза, какъ у быка, кровью налились!

Но старикъ и самъ предупреждалъ возможность „убивства". Почуявъ, что объ немъ идетъ рѣчь, онъ скрывался въ чуланъ, или на сѣновалъ, или въ другое неприступное мѣсто, и оставался тамъ до тѣхъ поръ, пока наступившая въ домѣ тишина не удостовѣряла, что Софронъ Матвѣичъ ушелъ восвояси, а Петръ Матвѣичъ, окончательно ошалѣлый отъ водки, заснулъ гдѣнибудь богатырскимъ сномъ.

Такъ шли дни за днями, и старикъ продолжалъ жить, оставаясь загадкой для цѣлаго семейства. Никто не могъ сказать навѣрное, въ умѣ ли онъ, или не въ разумѣ, а также при чемъ онъ состоитъ: при настоящемъ ли капиталѣ, заключающемся въ ассигнаціяхъ, или при кипѣ старой газетной бумаги, которую онъ, быть можетъ, и самъ принималъ за кипу ассигнацій.

Петра Матвѣича многіе разумѣли злымъ человѣкомъ, но, говоря по правдѣ, онъ былъ ни добръ, ни золъ, а только черезъ мѣру лихъ. Разсудка онъ не имѣлъ, но, несмотря на свои слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, обладалъ замѣчательно горячимъ темпераментомъ, которымъ и руководствовался во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Это была, такъ сказать, талантливая скотина, готовая бѣжать, летѣть въ огонь, въ воду, въ преисподнюю, бить, сокрушать, вездѣ, всегда, во всякое время, на всякомъ мѣстѣ. Только на небо влѣзть онъ не могъ, да и то потому, что, читая каждый день „иже еси на небеси", полагалъ, что тамъ живетъ какое-то особенное, ужъ совсѣмъ высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Мѣстные помѣщики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря объ немъ, выражались такъ: „у насъ исправникъ лихой! онъ подтянетъ"! И онъ дѣйствительно съ

такою любовью предавался подтягиванію, что даже постояннаго мѣстожительства нигдѣ, кромѣ тарантаса, указать не могъ. Подобно буйному вихрю, рыскалъ онъ день и ночь по угламъ и закоулкамъ уѣзда, издалека грозясь нагайкою и собственноручно творя судъ и расправу. Онъ налеталъ, какъ орелъ изъ-за сизыхъ тучъ, и сѣкъ. Затѣмъ летѣлъ дальше, опять сѣкъ и опять летѣлъ дальше. Что такое сѣченіе? Какое ощущеніе вызываетъ оно въ истязуемомъ субъектѣ? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сѣченіе было, въ его глазахъ, только обрядомъ, входящимъ въ кругъ его обязанностей, какъ исправника. Онъ зналъ, что въ однихъ случаяхъ нужно надѣть мундиръ, въ другихъ—сѣчь и согласно съ этимъ располагалъ своими поступками. „Запорю!“ „въ гробъ заколочу!“ „въ бараній рогъ согну!“ — таковъ былъ обычный способъ его собесѣдованія, и онъ произносилъ эти слова безъ сознательной злобы, хотя голосъ его гремѣлъ какъ труба, глаза таращились и у рта показывалась пѣна. Онъ не понималъ, чтобъ исправникъ могъ говорить, не обрывая, не простирая рукъ и не сквернословя. Въ сквернословіи видѣлъ онъ почти обязательную формальность, соблюденіе которой влекло за собой для него названія: „молодецъ“ и лихой“, несоблюденіе — названія: „мямля“, „тряпка“ и „баба“.

— Ужъ это, батюшка, должность такая,—объяснялъ онъ:—повѣсь-ка я на стѣну вотъ этотъ инструментъ (онъ указывалъ на нагайку)—голову на отсѣченіе отдаю, что черезъ два дня весь уѣздъ вверхъ ногами пойдетъ!

И дѣйствительно, никогда, даже дома, не выпускалъ нагайки изъ рукъ.

Взятку онъ любилъ, но никогда не подбирался къ ней, какъ тать въ нощи, не сочинялъ предварительныхъ проектовъ насчетъ ея обрѣтенія, не каверзничалъ, а бралъ съ маху. И притомъ бралъ исключительно съ имущихъ, а неимущихъ только сѣкъ. Сѣченіе представляло, въ его глазахъ, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамонѣ, дѣлаемой нерѣдко даже въ ущербъ прерогативѣ. Поэтому онъ и взятку старался облечь въ форму грабежа. Нужно денегъ — летитъ на гуртовщика, потомъ летитъ на лѣсопромышленника, потомъ на содержателя крупчатной мельницы, и всегда беретъ безъ дѣла, безъ повода, здорово живешь. Нѣтъ нужды въ деньгахъ—оставляетъ толстосумовъ въ покоѣ, а неимущихъ продолжаетъ сѣчь. Иногда онъ выказывалъ даже замѣчательное безкорыстіе и дѣлалъ въ назначенныхъ къ полученію кушахъ значительныя и ничѣмъ не мотивируемыя сбавки. Но это допускалось лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда паціенты льстили его самолюбію, то-есть говорили ему въ глаза, что онъ лихой, что онъ въ одномъ своемъ кулакѣ держитъ цѣлый уѣздъ, и что не будь его — имъ пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

— А я, сударь, былъ намеднись въ Латышовѣ,—говоритъ, напримѣръ, промышленникъ, на котораго наложена сторублевая дань:—ну, и подивился-таки!

— А что?

— Шолковые стали съ тѣхъ поръ, какъ ручки-то вашей отвѣдали.

— То-то; васъ не подтяни—вы всѣ разбойниками будете!

— Что говорить! по нашемъ братѣ палка плачетъ—это вѣрно!

— Ну, чортъ съ тобой, давай пятидесятную... живо!

Благодаря этому обстоятельству, у него никогда не было лишнихъ денегъ, да и тѣ, которыя были, онъ любилъ пропить, прогулять и вообще разсорить болѣе или менѣе непроизводительнымъ образомъ.

— Я, — говорилъ онъ: — не то, что другіе; я съ народа беру, да въ народъ же и пущаю.

Водку онъ пилъ не запоемъ, но во всякое время и столь же много, какъ бы запоемъ. Поэтому, хотя онъ никогда не бывалъ окончательно и безобразно пьянъ, но постоянно находился въ туманѣ и никогда отчетливо не понималъ, куда тычетъ руками. Тамъ, гдѣ онъ „раскидывалъ свой шатеръ", происходило одно изъ двухъ: либо сѣченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что онъ проживаетъ свои доходы какъ благородный человѣкъ, а толстосумы даже называли его душевнымъ человѣкомъ.

— У насъ исправникъ — душа человѣкъ! — говорили они: — онъ съ тебя возьметъ, да онъ же и за столъ рядомъ съ собою посадитъ!

Передъ начальствомъ Петръ Матвѣичъ трепеталъ. Но не просто трепеталъ, а любилъ трепетать, трепеталъ не только за страхъ, но и за совѣсть. Онъ страстно любилъ встрѣчать, провожать, устремляться, застывать на мѣстѣ, рапортовать, а потому всякій проѣздъ начальства, хотя бы и не совсѣмъ того вѣдомства, къ которому онъ принадлежалъ, былъ для него торжествомъ. Познавъ о предстоящемъ „прослѣдованіи" черезъ его уѣздъ, онъ заѳодя приходилъ въ волненіе, заготовлялъ квартиры, сѣялъ направо и налѣво мужицкіе зубы и даже прекращалъ на время употребленіе водки, такъ что самое лицо дѣлалось у него бѣлое. Подстерегши начальство, подъ дождемъ и морозомъ, на границѣ уѣзда, онъ вытягивался въ струну, замиралъ и рапортовалъ; потомъ кидался въ телѣгу и какъ бѣшеный скакалъ впередъ, оглашая воздухъ гиканьемъ.

— Мы, батюшка, передъ начальствомъ—все одно, что борзыя-съ,— говорилъ онъ: — прикажутъ: разорви! — и разорвемъ-съ!

И точно, слушая, какъ онъ говорилъ это, видя, какъ онъ вращалъ при этомъ глазами, и какъ лицо его становилось изъ краснаго фіолетовымъ и даже синеватымъ, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорветъ.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

— Хмыловъ, — выражалось оно: — это лихой! этотъ подтянетъ!

Даже крестьянскіе мальчики, и тѣ, наслушавшись расточаемыхъ со всѣхъ сторонъ Хмылову похвальныхъ аттестацій, говорили:

— Вотъ погоди! ужо проѣдетъ исправникъ — онъ те подтянетъ!

Дома Петръ Матвѣичъ бывалъ только наѣздами, на сутки, на двое, не больше. Налетитъ, перевернетъ все и всѣхъ вверхъ дномъ — и опять исчезнетъ недѣли на двѣ. Онъ самъ охотно сознавался, что ничего не смыслитъ въ деревенскомъ хозяйствѣ, и ставитъ это себѣ не въ порокъ, а въ достоинство.

— Какой я деревенскій хозяинъ! — выражался онъ: — я хозяинъ уѣзда — вотъ я кто!

Поэтому, какъ бразды хозяйственнаго управленія, такъ и воспитаніе дѣтей онъ вполнѣ предоставилъ женѣ, требуя только, чтобы въ случаяхъ тѣлесной расправы съ дѣтьми она не сама распоряжалась, а доводила о томъ до его свѣдѣнія.

— Вы, бабы,—говорилъ онъ,—не сѣчете, а только мажете. А ихъ, разбойниковъ, надо такимъ манеромъ допросить, чтобъ они всю жизнь памятовали.

И такъ-какъ дѣти дѣйствительно росли разбойниками, то каждый налетъ Петра Матвѣича въ деревню неизмѣнно сопровождался экзекуціей. „Въ гробъ ракалій заколочу!“ „Запорю мерзавцевъ!“ — вотъ единственныя проявленія родственныхъ отношеній, которыя были обычными въ этой семьѣ. Но опять-таки и здѣсь на первомъ планѣ стояла не сознательная жестокость, а обрядъ. Петръ Матвѣичъ помнилъ, что онъ и самъ росъ разбойникомъ, что его самого и запарывали, и въ гробъ заколачивали, и что все это, однакожъ, не помѣшало ему сдѣлаться „молодцомъ“. А слѣдовательно и дѣтямъ тѣ же пути не заказаны. Ростутъ, ростутъ разбойниками, а потомъ, глядишь, и сдѣлаются вдругъ „молодцами“.

Къ отцу Петръ Матвѣичъ относился довольно равнодушно. Хотя предположеніе о таинственномъ капиталѣ и волновало его, но волновало лишь потому, что этимъ капиталомъ всѣ домашніе мозолили ему глаза. Но старикъ былъ къ нему почти ласковъ и, повидимому, даже искалъ у него защиты противъ ехидства Софрона Матвѣича. Въ присутствіи старшаго сына дѣдушка прекращалъ свои проказы, переставалъ бормотать, свистать и наполнять домъ гамомъ. По временамъ онъ даже останавливался передъ Петромъ Матвѣичемъ и съ какою-то непривычною ему задушевностью въ голосѣ произносилъ:

— Рви!

— Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю!—возражалъ на это Петръ Матвѣичъ.

Но старикъ оставался непреклоненъ и повторялъ:

— Рви! рви! рви!

Петръ Матвѣичъ на минуту задумывался, потомъ внезапно приказывалъ запрягать тарантасъ и летѣлъ на встрѣчу гурту.

Въ эти дни исправникъ былъ неумолимъ и грабилъ все, что положено, не поддаваясь ни резонамъ, ни лести.

Анна Тимоѳеевна была женщина смирная, но отличалась тѣмъ, что даже въ домашнемъ обиходѣ никогда не могла съ точностью опредѣлить, чего ей хочется. Можетъ-быть поѣсть, можетъ-быть испить, а можетъ-быть и просто по двору побродить. Случилось это съ нею съ тѣхъ поръ, какъ Петръ Матвѣичъ (молодые еще они тогда были) однажды ударилъ ее подъ пьяную руку по темени.

— Какъ ударилъ онъ это меня по темю,—разсказывала она всегдашней своей собесѣдницѣ, попадьѣ, — такъ съ тѣхъ поръ и нѣтъ у меня понятія. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется—не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а съ годами свойство это возросло въ ней до геркулесовыхъ столповъ. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревнѣ: тамъ подберетъ, тутъ погрозитъ, и все какъ-то безъ толку, словно въ просоньи. Идетъ невѣдомо куда, и такъ безнадежно смотритъ, какъ будто говоритъ: да уйдите вы, распостылые, съ моихъ глазъ долой! Потомъ на минуту встрепенется и примется „настоящимъ манеромъ“ хозяйничать. Старосту назоветъ кровопивцемъ, повара—воромъ, дѣвку Ма-

ришку—поскудою. Совершивши этотъ подвигъ, опять притихнетъ, сядетъ у окна, разстегнетъ у блузы воротъ и высматриваетъ, не прошмыгнетъ ли черезъ дворъ Маришка-поганка на кухню къ подлецу Ѳедькѣ.

— И то бѣжитъ! бѣжитъ! — вдругъ восклицаетъ она, стремительно вскакивая съ мѣста и съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ приглядываясь, какъ Маришка съ быстротою ящерицы скользитъ по двору, скользитъ и, наконецъ, проскальзываетъ въ отворенную дверь кухни.

Или вдругъ встревожится, отчего дѣтей долго не видать, а они ужъ тутъ какъ тутъ. Одного ведутъ за ухо, потому что у пѣтуха крыло камнемъ перешибъ; другой самъ бѣжитъ съ расквашеннымъ носомъ.

— Смерти на васъ нѣтъ!—крикомъ-крикнетъ Арина Тимоѳеевна, и тотчасъ же распорядится: одному дастъ щелчокъ въ лобъ, другому вихоръ надеретъ.

Такого рода хозяйственныя и воспитательныя распоряженія исчерпывали собой весь день. Затѣмъ вечера Арина Тимоѳеевна проводила въ обществѣ попадьи и жаловалась ей на судьбу.

— Нѣтъ моей жизни каторжнѣе! — говорила она: — всѣмъ-то я припаси! всѣмъ-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругомъ суровые взгляды, какъ бы выражая неодобреніе домашнимъ, причиняющимъ столько тревоги Аринѣ Тимоѳеевнѣ.

— Сколько старикъ одинъ слопаетъ, такъ это Богъ только видитъ! Богъ только видитъ!—продолжала хозяйка, ударяя себя кулакомъ въ грудь: — словно у него не брюхо, а прорва! Такъ и кладетъ! такъ и кладетъ! Набѣгается это день-деньской по угламъ-то, да пуще, да пуще!

— Слыхала я, сударыня, насчетъ крестовъ, которые каждому человѣку при рожденіи назначаются...—вставляла свое слово попадья. Но Арина Тимоѳеевна не слушала ее и продолжала:

— И все-то мнѣ тошно! и все-то мнѣ постыло! Вотъ хоть бы Маришка-поганка. Такъ хвостомъ и вертитъ, такъ и вертитъ! Каково мнѣ это видѣть-то!

Жалобы лились какъ рѣка, до тѣхъ поръ, пока самъ собою не истощался несложный репертуаръ ихъ. Тогда Арина Тимоѳеевна прощалась съ попадьей, удалялась въ спальню и приносила Маришкѣ окончательную жалобу.

— Измучилась я съ вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вотъ Богу помолиться — анъ у меня и словъ никакихъ на языкѣ нѣтъ. А завтра опять вставай! опять на муку мученскую выходи!

Еслибъ у Арины Тимоѳеевны спросили, любитъ ли она мужа, она навѣрное отвѣтила бы: „какъ не любить! вѣдь онъ мужъ“! Еслибъ спросили, любитъ ли она дѣтей, она отвѣтила бы: „какъ не любить! вѣдь они дѣти!“

— Щемитъ мое сердце по нихъ! — говорила она: — такъ-то щемитъ! такъ-то ноетъ!

Но въ чемъ именно проявлялось это материнское щемленіе сердца — этого, конечно, не могъ бы опредѣлить мудрѣйшій изъ мудрецовъ. Иной разъ

щемитъ сердце отъ того, что севрюжинки солененькой захотѣлось; иной разъ отъ того, что кваску хорошо бы испить; иной разъ отъ того, что вдругъ объ дѣтяхъ дума въ голову западетъ.

— Это у тебя все отъ праздности да отъ жиру!—молвитъ ей въ упоръ Петръ Матвѣичъ, когда она черезчуръ разохается.

— Какъ же, съ жиру! дѣти-то, чай, мои!—огрызнется она. Потомъ на минуту смолкнетъ, и опять начнетъ у нея сердце щемить.

— Вотъ,—скажетъ:—хорошо, кабы у насъ домъ полная чаша былъ!

— Это еще что?

— Да такъ... все, чего ни потребуй, все бы сейчасъ... Яичка бы захотѣлось — яичко бы на столѣ! Говядинки... супцу... все бы сейчасъ, въ секундъ!

— Вотъ дуру-то Богъ послалъ!

— По твоему, я дура, а по моему, ты дуракъ. Чѣмъ ругаться-то, лучше бы отца допросилъ, куда онъ милліонъ свой спряталъ?

Среди фантазій, безпорядочно бродившихъ въ головѣ Арины Тимоѳеевны, мысль о томъ, что у дѣдушки есть какой-то кушъ, который онъ неизвѣстно куда запряталъ, въ особенности угнетала ее. Она носилась съ этой мыслью съ утра до вечера, ложилась съ нею спать и наконецъ даже бредила ею во снѣ. Начавъ съ одной тысячи, воображеніе постепенно увеличивало и увеличивало вожделѣнную сумму, и наконецъ остановилось на милліонномъ размѣрѣ. Дальше Арина Тимоѳеевна не умѣла считать.

— А ты вѣрно знаешь, что милліонъ?—спрашиваетъ ее Петръ Матвѣичъ.

— Какъ же не вѣрно! Сколько лѣтъ жилъ! сколько грабилъ!

— Ахъ, дура, дура!

— Ты уменъ! Другіе на такихъ мѣстахъ, поди, какіе капиталы наживаютъ, а онъ, блаженный, все двугривенничками да пятиалтынничками, да и тѣ деревенскимъ дѣвкамъ просоритъ!

Разговоры эти обыкновенно кончались тѣмъ, что Петръ Матвѣичъ вскакивалъ изъ-за стола и приказывалъ закладывать тарантасъ.

Что могло сдѣлаться изъ дѣтей въ подобномъ семействѣ—это понятно само собой. Уже въ силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были „пащенки“, „выродки“, „балбесы“—и ничего больше. Росли они по спартански, то-есть кувыркались по двору, лазили по деревьямъ, разоряли птичьи гнѣзда, дразнили козла, науськивали собакъ на кошку и по временамъ даже воровали. Съ малыхъ лѣтъ ихъ головы задумывались надъ тѣмъ, что хорошо бы въ кучера или въ разсыльные идти, да имѣть въ рукахъ нагайку ременную и хлестать ею направо и налѣво, „вотъ какъ папенька хлещетъ“.

— Какого имъ дьявола воспитанія!—говорила Арина Тимоѳеевна: — и такъ, балбесы, подходя жуютъ!

— Я ихъ воспитаю... а-р-р-р-апникомъ! — прибавлялъ съ своей стороны Петръ Матвѣичъ.

На десятомъ году старшаго сына, Максимку (онъ же и „палачъ“), засадили за грамоту. Призвали сельскаго попа, дали мальчугану въ руки указку и положили передъ нимъ азбуку съ громаднѣйшими азами.

— Ты его, отецъ Василій, дери!—рекомендовалъ при этомъ Петръ Матвѣичъ:—вѣдь онъ у насъ идолъ!

И дѣйствительно, Максимка оправдывалъ это прозвище. Исподлобья смотрѣлъ на классный столъ, словно упирающійся быкъ, котораго ведутъ подъ обухъ.

— Ишь вѣдь какъ смотритъ! чуетъ, пащенокъ, чѣмъ пахнетъ! Я тебя... воспитаю!

И началась для Максима та ежедневная мука, которая называется грамотою.

— Азъ-буки-вѣди, бря, вря, дря, жря,—мрачно твердилъ онъ по цѣлымъ часамъ, ковыряя въ носу и безцѣльно озираясь по сторонамъ.

— Ты въ книгу-то носъ уткни! по сторонамъ-то не глазѣй!—внушалъ отецъ Василій.

Максимка съ какимъ-то безконечно-скорбнымъ выраженіемъ въ лицѣ устремлялъ глаза въ книгу, какъ будто говорилъ: вотъ вещь, постылѣе которой нѣтъ ничего на свѣтѣ!

— Я, отецъ Василій, въ кучера хочу!—вдругъ произносилъ онъ.

— Вотъ выростешь—можетъ, и въ пастухи опредѣлятъ!

— А по мнѣ, хоть въ пастухи! у меня тогда большой-большой кнутъ будетъ!

— Ладно. Это когда-то еще будетъ. А теперь тверди: ля, мря, ня... ну, что еще въ носу нашелъ?

— Ля, мря, ня,—угрюмо повторялъ Максимка:—а ежели я буду пастухомъ, зачѣмъ же мнѣ грамота?

— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутомъ съ пониманіемъ хлещетъ.

— Врете вы все. Вонъ Антипка, у него болона на лбу, а какъ онъ кнутомъ щелкаетъ! Его всѣ коровы знаютъ.

По временамъ, въ „ученье“ вмѣшивалась Арина Тимоѳеевна.

— Каковъ у насъ идолъ-то? спрашивала она, зайдя въ классную комнату.

— Башка!—отвѣтствовалъ обыкновенно отецъ Василій, гладя Максимку по головѣ.

— Ну, и слава-те, Господи! Можетъ, хоть одинъ съ разумомъ выйдетъ!

Въ два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и и первыя четыре правила ариѳметики. Это такъ ободрило Арину Тимоѳеевну, что она начала даже заявлять желанія нѣсколько прихотливыя.

— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучилъ!—говорила она отцу Василью.

— Какому же, сударыня, языку?

— А вотъ тому-то, что не говоритъ-то! ну, вотъ, что мертвый-то!

— Латинскому? что жъ... никакъ я его еще помню?

Но Петръ Матвѣичъ прямо назвалъ эти затѣи преувеличенными, и объявилъ, что везетъ Максимку въ „заведеніе“. Будущій „палачъ“, услышавъ объ этомъ разрѣшеніи, даже повеселѣлъ.

— Да ты никакъ, балбесъ, обрадовался?—укоризненно замѣтила ему Арина Тимоѳеевна.

— Что жъ дома-то! дома тиранятъ и тамъ будутъ тиранить! такъ лучше ужъ тамъ! Я въ кучера убѣгу.

Максимка былъ сданъ въ „заведеніе“ и забытъ. Черезъ четыре года очередь „ученья“ стояла ужъ за Ѳедькой-разбойникомъ, а тамъ гляди поспѣвалъ и Ванька-воряга.

— Всѣхъ-то всему научи! всѣмъ-то всего припаси!—жаловалась Арина Тимоѳеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловыхъ. Но чтобы сдѣлать ее вполнѣ ясною, необходимо сказать хоть нѣсколько словъ о другомъ представителѣ этой фамиліи, о братцѣ Софронѣ Матвѣичѣ.

Софронъ Матвѣичъ былъ младшій братъ и представлялъ совершенную противоположность Петру Матвѣичу. Если въ основаніи всѣхъ поступковъ послѣдняго лежала необузданность темперамента, то въ характерѣ перваго преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петръ Матвѣичъ буянилъ, дрался и шелъ на-проломъ; Софронъ Матвѣичъ каверзничалъ, извивался и зудилъ. Петръ Матвѣичъ имѣлъ голосъ рѣзкій, не уступавшій протодіаконскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софронъ Матвѣичъ говорилъ тихо, вкрадчиво, словно хныкалъ. Когда Петръ Матвѣичъ говорилъ: „папенька! какъ почтительный сынъ убѣждаю васъ“... то исходъ рѣчи былъ неизвѣстенъ: можетъ быть разорветъ папеньку на части, а можетъ быть плюнетъ и отойдетъ; когда же Софронъ Матвѣичъ начиналъ: „позвольте мнѣ, добрый другъ, папенька“... то исходъ этой рѣчи былъ извѣстенъ заранѣе, ибо всякому было понятно, что „зуда когда-нибудь непремѣнно вызудитъ старика“. По внѣшнему виду Петръ Матвѣичъ былъ высокъ, коренастъ и постоянно грозилъ испытать на себѣ дѣйствіе паралича: напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ походилъ фигурой на отца, то-есть былъ мужчина средняго роста, юркій, сухой и несомнѣнно живучій, ходилъ неслышными шагами, крадучись, и нѣсколько пригибалъ голову, какъ будто уклонялся отъ угрожавшаго ему откуда-то удара. Петръ Матвѣичъ относился къ церкви легкомысленно и рѣдко бывалъ у службы; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ былъ въ церкви усерденъ, молился всегда на колѣняхъ и притомъ со слезами. Въ довершеніе всего, Петръ Матвѣичъ имѣлъ должность видную и блестящую, а иногда даже позволялъ себѣ мечтать о возможномъ преуспѣяніи на поприщѣ администраціи; напротивъ того, Софронъ Матвѣичъ занималъ не блестящее, но солидное мѣсто уѣзднаго стряпчаго, и никогда ни о какомъ преуспѣяніи не мечталъ.

Несмотря на тихій, приниженный видъ, всѣ боялись Софрона Матвѣича. При взглядѣ на его задумчивое и какъ-то сомнительно-улыбающееся лицо, всякому сейчасъ же невольно приходило на мысль: вотъ человѣкъ, который навѣрное обдумываетъ какое-нибудь злодѣйство. Съ просителями Софронъ Матвѣичъ былъ вѣжливъ необыкновенно, даже мужикамъ говорилъ не иначе, какъ „голубчикъ“ и „дружокъ“.

— У тебя, дружокъ, дѣльце въ судѣ?—спрашивалъ онъ такимъ голосомъ, что у просителя непремѣнно сердце ёкнетъ въ груди.

И затѣмъ, заручившись „дѣльцемъ“, онъ начиналъ играть съ нимъ. То

дополняетъ, то запросцы дѣлаетъ, то просто скажетъ: „а ну, не трогъ, маленько поокруглится!“

— Тебѣ чего, миленькій? объ дѣльцѣ небось справиться пришелъ? Идетъ оно у насъ, дружокъ, живымъ манеромъ бѣжитъ! Подмазочки бы вотъ надо!

И, получивши подмазочку, кланялся, жалъ просителю руку и чувствительнѣйше благодарилъ.

Вообще онъ облюбовывалъ и смаковалъ просителя, какъ артистъ, и потому не сразу обдиралъ его, а любилъ постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видалъ когда-нибудь, какъ ручная лисица поступаетъ съ подстрѣленной вороной, предназначенной ей на обѣдъ, то онъ можетъ имѣть приблизительное понятіе о томъ, что происходило между Софрономъ Матвѣичемъ и просителемъ. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рветъ ее на куски, а долгое время полегоньку то тамъ, то тутъ покусываетъ. Куснетъ—и отскочитъ въ сторону, даже задумается, словно забудетъ. Потомъ опять изогнется и со всѣхъ ногъ кинется къ воронѣ, но, не тронувъ ее, отпрянетъ назадъ. Даже ворона смотритъ на эти маневры съ изумленіемъ, какъ будто говоритъ: Христосъ съ тобой! вѣдь я было-испугалась! Потомъ опять скачокъ, и опять, и опять,—до тѣхъ поръ, пока не вызудитъ у вороны жизнь. Тогда потихоньку ощиплетъ и съѣстъ. Точно такъ поступалъ и Софронъ Матвѣичъ: онъ разорялъ полегоньку, со вздохами, съ перемежками, но разорялъ до тла, до тѣхъ поръ, пока послѣдній грошъ не вызудитъ. Тогда ужъ съѣстъ окончательно.

Въ усадьбу Софронъ Матвѣичъ наѣзжалъ рѣдко. Человѣкъ онъ былъ холостой и хозяйствомъ не занимался. Но всякій разъ, какъ пріѣдетъ въ Вавиловку, непремѣнно кому-нибудь что-нибудь да прокуситъ.

— Ты, Палаша, никакъ опять съ прибылью?—обращался онъ къ судомойкѣ Палашѣ, которая, по своему дѣвичеству, каждый годъ носила ребятъ:—ахъ, дружокъ, какъ это грѣшно! знаешь, какъ Богъ-то за это наказываетъ? что блудницамъ въ аду-то пріуготовано? Ахъ, другъ мой! другъ мой! Ну, нечего дѣлать, посадите ее, миленькіе, въ холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажетъ—и сотворитъ при этомъ крестное знаменіе.

Старикъ-дѣдушка при одномъ упоминовеніи о Софронѣ Матвѣичѣ дрожалъ и измѣнялся въ лицѣ. Арина Тимоѳеевна тоже ненавидѣла его и увѣряла, что Максимка весь въ него уродился.

— Тѣломъ-то въ отца, а нравомъ въ Софронку. Софронка меня въ тѣ поры испугалъ, какъ я тяжела была, ну, и вышелъ Максимка въ него.

Даже Петръ Матвѣичъ крестился и вздрагивалъ, когда Софронъ Матвѣичъ, по обыкновенію своему, неслышно подкрадывался къ нему.

Одинъ „палачъ“ *любилъ* дядю и говорилъ про него:

— Вотъ дядя—это человѣкъ! Этотъ не сробѣетъ, даромъ что съ виду тихенькимъ кажется!

„Палача“ ждутъ дома безъ нетерпѣнія; едва ли даже не позабыли, что за нимъ послано.

Да и не до него теперь. Весь домъ въ унынiи: Арина Тимоѳеевна ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ потерянная, и вздыхаетъ; разбойники-дѣти благонравно сидятъ по мѣстамъ; дворовые суетятся; на дворѣ то впрягаютъ, то распрягаютъ лошадей; мужики нагружаютъ у барскаго крыльца подводы. Одинъ дѣдушка свѣжъ и бодръ и пуще прежняго щелкаетъ, свиститъ и горланитъ какую-то нескладицу. Самъ Петръ Матвѣичъ каждую ночь пріѣзжаетъ въ Вавилово вмѣстѣ съ Софрономъ Матвѣичемъ. Пріѣхавши, оба брата о чемъ-то шушукаются, потомъ дѣлаютъ распоряженія, вслѣдствіе которыхъ на другой день опять нагружаются подводы, а къ утру обоихъ и слѣдъ простылъ.

Разсыльный говорилъ правду: въ городъ одновременно наѣхали двѣ коммисіи, изъ которыхъ одна занималась изслѣдованіемъ дѣйствій исправника, а другая выворачивала наизнанку уѣздный судъ. И такъ какъ члены коммисіи нуждались въ пищѣ и питіи, то вавиловскіе запасы видимо истощались. И вдругъ, въ такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, такъ сказать, на счету, наѣзжаетъ откуда-то совсѣмъ забытый сынъ.

— Вотъ ужъ правду-то говорятъ: гость не во-время хуже татарина!— встрѣчаетъ Арина Тимоѳеевна „палача“.

— Вы, маменька, только ротъ разинете, такъ ужъ и сморозите!—отвѣчаетъ „палачъ“, цѣлуя у матери руки.

— Безчувственный ты балбесъ! слышалъ ли, по крайности, что̀ съ отцомъ-то дѣлается?

— Какъ не слыхать! объ немъ по всей дорогѣ отъ самой Москвы въ рога трубятъ!

„Палачъ“ отворачивается отъ матери и идетъ въ залу. Но тамъ дѣдушка, подкравшись на цыпочкахъ къ двери, уже сторожитъ внучка, и въ одно мгновеніе ока мажетъ его по губамъ какою-то дрянью.

— Убью!—пускаетъ „палачъ“ въ догонку старику, который, учинивъ проказу и подобравъ халатъ, бѣжитъ во всѣ лопатки въ другія комнаты.

— А папеньку-то судить будутъ! — докладываетъ „палачу“ Ѳедька-разбойникъ.

— И дяденьку тоже!—присовокупляетъ Ванька-воряга.

— Цыцъ, бѣсенята!... Жрать хочу! живо!—командуетъ „палачъ“, и въ ожиданіи ѣды направляетъ стопы въ дѣвичью.

Тамъ стоитъ дѣвка Маришка, нагнувшись къ сундуку, наполненному полотнами, и отбираетъ изъ нихъ тѣ, которыя потоньше.

— Маришка! жрать... смерть моя! — говоритъ онъ, придавая своему голосу почти мягкій оттѣнокъ.

— Не до васъ теперь, баринъ! видите, дѣло дѣлаю!—отвѣчаетъ Маришка, и еще ниже нагибается къ сундуку, чтобы не встрѣтиться взорами съ „палачемъ“.

— Ты, подлая, съ Ѳедькой связалась?

— Еще съ кѣмъ?

— Тебѣ говорятъ: съ Ѳедькой! Да ты не верти хвостомъ, а гляди на меня!

— Не образъ!

— Говорятъ, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись къ сундуку, неохотно поворачиваетъ къ нему голову и, взглянувши, восклицаетъ:

— Ахъ, да какіе вы, баринъ, большіе!

— То-то большой! ты смѣй только!

— Что смѣть-то! сами-то, чай, давнымъ-давно меня на какую-нибудь кузнечиху *) смѣняли!

— Ну, тамъ на кого бы ни смѣнялъ! То я, а то ты! Тебѣ и по закону такъ слѣдуетъ. Да брось ты полотна-то, гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится передъ нимъ.

— Что тутъ у васъ дѣлается? взбѣсились, что-ли, даже поѣсть не допросишься?

— Ахъ, баринъ, столько у насъ здѣсь напастей! столько напастей! Цѣлая орава папеньку-то судить наѣхала, и всѣ-то жрутъ, всѣ-то пьютъ! кажется, что только добра папенька нажили — все туда, въ эту прорву пойдетъ!

— А ты... съ Ѳедькой?

„Палачъ“ рычитъ, но рычитъ не опасно. Маришка понимаетъ это.

— Вы, баринъ, всегда... — говоритъ она: — и что только вамъ этотъ Ѳедька поперекъ всталъ—диковина!

— Верти хвостомъ-то! Отецъ золъ?

— И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть подъ красную шапку не отдали.

„Палачъ“ крутитъ зачатокъ уса и сурово произноситъ:

— Ну, и чортъ съ нимъ! я самъ въ солдаты уйду!

Въ эту минуту Арина Тимоѳеевна какъ буря влетаетъ въ дѣвичью и разстраиваетъ интересный tête-à-tête.

— Выросъ, батюшка!—язвитъ она: —ума не вынесъ, а не хуже стоялаго жеребца ржетъ! Смотри, какъ бы Ѳедька-подлецъ не приревновалъ!

— Да и у васъ, маменька, ума немного! — огрызается „палачъ“: — вотъ покормить небось не догадаетесь!

— Надоѣло!—вдругъ прибавляетъ онъ, зѣвая и потягиваясь, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ онъ Богъ вѣсть сколько времени толчется въ этомъ домѣ, и все ему безмѣрно въ немъ оностылѣло.

Въ залѣ, на столѣ, „палача“ ждутъ холодные объѣдки.

— Ишь вѣдь! куска живого нѣтъ!—озлобленно произноситъ онъ, жадно обгладывая кость: — Ѳедька! нельзя ли, братецъ, цопнуть? спроворь!

Ѳедька устремляется со всѣхъ ногъ въ пространство; минуты черезъ три онъ возвращается назадъ, бережно неся что-то подъ полой халата.

— Гдѣ Богъ послалъ?—спрашиваетъ „палачъ“, принимая изъ рукъ брата пузырекъ съ водкой.

— У Михея кучера изъ полштофа вылилъ.

— Ну, это, братъ, не порядки. Кучеръ — онъ человѣкъ дорожный, ему безъ водки нельзя. Ты бы по окнамъ у родительницы пошарилъ.

---

*) Магазинная дѣвушка съ Кузнецкаго-Моста, въ Москвѣ. Въ сороковыхъ годахъ дѣвицы эти не отличались особенной строгостью поведенія.

— Смотритъ... нельзя!

— Смотритъ! а ты такъ воруй, чтобъ смотрѣла, да не видала. А на будущее время, чтобъ не были вы безъ дѣла, вотъ вамъ урокъ: каждый день мнѣ чтобы косушка была!

Насытившись и въ пропорцію выпивши, „палачъ“ отправляется на конный дворъ и встрѣчается тамъ съ форейторомъ Никешкою.

— Здорово, Никешка! — кричитъ онъ ему.

Никешка вытягивается во фронтъ и на солдатскій манеръ произноситъ:

— Здравія желаю, ваше благородіе-е-е!

— Въ солдаты?

— Точно такъ, ваше благородіе-е-е!

— И я въ солдаты уйду! надоѣло!

— Это точно, ваше благородіе... прискучило!

— Хорошо, Никешка, въ солдатахъ! Всталъ утромъ... лошадь вычистилъ... ранецъ... Щи, каша... ходи! вытягивайся! Ну, да вѣдь солдатъ работы не боится!

— Зачѣмъ, ваше благородіе, работы бояться! Я теперича такъ себѣ сердце настроилъ, что заставь меня сейчасъ цѣлому полку аммуницію вычистить — такъ вотъ сейчасъ и — и!

— Солдатъ человѣкъ привышный! Солдатъ, ежели начальство прикажетъ: жги! рви — онъ и сожжетъ, и разорветъ, все какъ слѣдуетъ! Потому онъ человѣкъ подначальный!

„Палачъ“ входитъ въ конюшню и осматриваетъ стойла.

— Трезорка живъ?

— Точно такъ, ваше благородіе!

— И Полканка живъ?

— Живъ, ваше благородіе!

— Какъ бы, братецъ, ихъ на кошку науськать!

На зовъ Никешки, держа хвостъ по вѣтру, какъ бѣшеные прискакиваютъ два пса. „Палачъ“ и Никешка становятся въ углу коннаго двора и замираютъ въ ожиданіи; псы, раскрывъ пасти, нетерпѣливо стоятъ около нихъ, вертятъ хвостами и потихоньку взвизгиваютъ. Наконецъ на заборѣ появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинкѣ, поползетъ и остановится; потомъ почешетъ задней лапой за ухомъ, зѣвнетъ, оглянется, нѣтъ ли кого, и опять поползетъ. Наконецъ, не видя ни откуда опасности, соскакиваетъ на землю внутрь двора.

— Ату! ату его! — вдругъ какъ безумные подхватываютъ „палачъ“ и Никешка.

Псы летятъ; кошка сначала заминается, но черезъ мгновеніе тоже летитъ, задеря хвостъ, къ забору, цѣпляется когтями за столбъ, съ быстротою молніи вспалзываетъ наверхъ и, какъ окаменѣлая, становится тамъ, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоятъ у подошвы забора и, не сводя съ кошки глазъ, виляютъ хвостами и жалобно взвизгиваютъ.

— Стиксовали, подлецы! — гремитъ „палачъ“: — Никешка! учить ихъ!

Начинается ученіе: собакъ дерутъ за уши, бьютъ чѣмъ попало; воздухъ наполняется тѣмъ особеннымъ собачьимъ визгомъ, которому въ цѣломъ мірѣ

звуковъ нѣтъ ничего подобнаго. На шумъ прибѣгаютъ братишки и старый дѣдушка. Послѣдній стоитъ въ воротахъ, подобравъ полы халаты, и самъ, въ какомъ-то ребяческомъ экстазѣ, визжитъ и лаетъ.

— Ты чего прибѣжалъ?—обращается „палачъ“ къ старику:—старые годы вспомнилъ?

— Онъ такъ-то людей въ стары годы собаками травилъ!—вставляетъ свое слово Никешка.

— Рви!—огрызается дѣдушка и, видимо сконфуженный, удаляется восвояси, при общемъ грохотѣ веселящихся.

— Маришку-то, ваше благородіе, оставить надо!—докладываетъ Никешка, когда гвалтъ унялся.

„Палачъ“ злобно фыркаетъ.

— Она теперича у Ѳедьки-повара и легла, и встала? А я вамъ, ваше благородіе, другую ягоду припасъ!.. такая-то ягода! вотъ такъ ужъ ягода!

— Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; „палачъ“ окончательно вступилъ въ свою домашнюю колею, то-есть побывалъ и на конномъ, и на скотномъ, и на огородѣ. Въ десять часовъ вечера онъ ужинаетъ вмѣстѣ со всѣмъ семействомъ, и на всѣ вопросы матери угрюмо отмалчивается.

— Да отвѣчай, идолъ, произвели ли тебя въ классы-то?!—чуть ли не въ десятый разъ спрашиваетъ его Арина Тимоѳеевна.

— Завтра отцу все скажу,—отвѣчаетъ „палачъ“, выходя изъ-за стола, и, ни съ кѣмъ не простясь, удаляется въ боковушку, гдѣ ему постлали постель.

Около полуночи онъ слышитъ въ просонкахъ звонъ колокольцовъ, стукъ подъѣзжающаго экипажа, хлопанье воротъ и дверей и наконецъ шаги отца въ передней.

— Балбесъ пріѣхалъ?—раздается голосъ Петра Матвѣича.

— Ну, пошла пильня въ ходъ!—мысленно произноситъ „палачъ“, переворачиваясь на другой бокъ.

Отцу, однакожъ, не до Максимки. На другой день, часовъ въ шесть утра, онъ уже собрался въ городъ и только мимоходомъ успѣлъ взглянуть на сына.

— Ну, что, олухъ Царя Небеснаго, экзамена не выдержалъ?—поздоровался онъ съ нимъ.

— Не выдержалъ-съ.

— Повѣсить тебя мало, ракалія!

— Я, папенька, въ юнкера желаю-съ.

— Сказалъ: сгною подлеца въ заведеніи! и сгною?

— Воля ваша-съ.

Присутствовавшій при этомъ Софронъ Матвѣичъ тоже счелъ долгомъ вступиться въ разговоръ.

— Что жъ ты, душенька, у папеньки-то ручки не цѣлуешь? а-а-ахъ, милый другъ! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленькій, какъ родителей-то утѣшать надобно?

— Я, дяденька, въ военную службу желаю-съ!

— И что это у васъ, други милые, за болѣзнь такая: все въ военную да въ военную! все бы вамъ убивать, все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчикъ, что штатскій-то слово иногда пуститъ, такъ словомъ-то этимъ убьетъ вѣрнѣе, чѣмъ изъ ружья! Вотъ она, гражданская-то часть, какова!

— Что съ нимъ, съ оболтусомъ, разговаривать! — прерываетъ Петръ Матвѣичъ медоточивую рѣчь брата:—вотъ ужо свалимъ съ рукъ губернскую саранчу—я съ тобой раздѣлаюсь!

Дни идутъ за днями во всемъ ихъ суровомъ однообразіи, закаляя характеръ „палача“. Онъ совсѣмъ не видитъ отца и, пользуясь этимъ обстоятельствомъ, даетъ полный просторъ своимъ вкусамъ и наклонностямъ. Съ ранняго утра онъ уже на конюшнѣ, травитъ собаками кошку или козла, хлопаетъ арапникомъ, разсѣкаетъ кнутомъ лубья, куритъ махорку, сплевываетъ въ сторону и по временамъ устраиваетъ, съ цѣлью грабежа, экспедиціи на погребъ, въ кладовую и даже на крестьянскіе огороды.

— Скучно у васъ, Никешка!—говоритъ онъ своему наперснику.

— Супротивъ Москвы какъ же можно!

— Я, братъ, въ Москвѣ такія штуки удиралъ, такія удиралъ! съ Голопятовымъ черезъ заборъ въ питейный бѣгали. Голопятова знаешь?

— Нѣтъ, такихъ не слыхали.

— Амченина-то Голопятова не знаешь? Вѣдь онъ тутъ, по близости, въ Амченскѣ живетъ!

— Слыхали, что баринъ хорошій,—лжетъ Никешка.

— Ужъ такой, братъ, это человѣкъ! Мы съ нимъ однажды Кубарихинъ домъ вдвоемъ разнесли!

— Ишь ты! да ужъ гдѣ намъ супротивъ Москвы!

— У васъ даже питейнаго нѣтъ. Я со скуки хочу научиться табакъ нюхать.

— И отъ табаку тоже большого способья нѣтъ. Тошнитъ отъ него спервоначалу. А мы, баринъ, вотъ что: давайте въ церковь ходить, да на крылосѣ пѣть.

— Чудесно. Вотъ это, братъ, отлично ты вздумалъ!

„Палачу“ такъ скучно, что онъ съ жаромъ хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводитъ ее въ исполненіе. Онъ вербуетъ въ пѣвчіе младшихъ братьевъ, дворовыхъ и деревенскихъ мальчишекъ, собираетъ ихъ на задворкахъ и производитъ спѣвки.

— Эхъ, Голопятова нѣтъ! вотъ бы рявкнулъ!—жалуется онъ.

Мало-по-малу, вмѣсто лая и визга собакъ, воздухъ оглашается стихирами и прокимнами. Двѣ недѣли кряду продолжается это новое столпотвореніе, и „палачъ“ до того предается своей забавѣ, что дѣлается почти неузнаваемъ. Только встанетъ утромъ—уже бѣжитъ на спѣвку; пообѣдаетъ, напьется чаю на скорую руку—и опять на спѣвку. Онъ похудѣлъ, сдѣлался богомоленъ и богобоязненъ, а мальчишекъ совсѣмъ смучилъ. По временамъ онъ даже помышляетъ, не пойти ли ему въ монахи.

— Крутъ эти монахи... страсть!—рѣшаетъ онъ, и тотчасъ сообщаетъ о своемъ рѣшеніи Никешкѣ.

— Что жъ, въ монахи—такъ въ монахи! я къ вамъ служкой пойду! — отвѣчаетъ Никешка.

— Заживемъ мы съ тобой... лихо!

Однако и эта затѣя не долго гнѣздится въ умѣ его, потому что Арина Тимоѳеевна, узнавъ о его планахъ, считаетъ долгомъ объяснить ему, что монахамъ не даютъ мяса.

— Что̀ лопать-то будешь?—спрашиваетъ она его.

„Палачъ“ смущается, ибо совершенно опредѣленно сознаетъ, что безъ мяса ему жить невозможно.

— Знаешь ли ты, балбесъ, какъ настоящіе-то угодники живутъ? Одну просвирку на цѣлую недѣлю запасетъ, голубчикъ, да и кушаетъ! А въ Свѣтло-Христово воскресенье яичко-то облупитъ, поцѣлуетъ, да и опять на блюдо положитъ! А вѣдь тебѣ, олуху, мясища надобно!

— Врете вы все! не можетъ человѣкъ безъ мяса жить!

— Еще какъ живетъ-то! живетъ да еще работаетъ! Ты спроси вотъ у мужичка, когда онъ мясо-то видитъ! И какъ только Богъ его поддерживаетъ! все-то онъ безъ мяса! Ни у него говядинки, ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимоѳеевна впадаетъ въ чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть цѣлый день, готова даже погоревать и поплакать, но „палачъ“ сразу осаживаетъ ее.

— Ну, распустили нюни!—восклицаетъ онъ, и, не дожидаясь дальнѣйшихъ разглагольствованій, уходитъ изъ дома.

Какъ ни огорчительно открытіе, сдѣланное Ариной Тимоѳеевной, но оно западаетъ въ душу „палача“ и производитъ переломъ въ его образѣ мыслей.

— Ну ихъ къ шуту!—говоритъ онъ Никешкѣ:—мать говоритъ, что монахамъ мяса не даютъ!

— Что жъ, можно и оставить!

Идея о монашествѣ предается забвенію, спѣвки прекращаются, и на мѣсто ихъ лай и визгъ собакъ опять вступаютъ въ права свои.

Среди этого содома Арина Тимоѳеевна ходитъ какъ потерянная и безъ перемежки вздыхаетъ.

„И отчего онъ такой кровопивецъ?“ думается ей: „нѣтъ-чтобы книжку почитать или въ уголку тихонько посидѣть, какъ другія дѣти! Все бы ему разорвать, да перервать, да разбить, да проломить!“

Бродитъ Арина Тимоѳеевна по комнатамъ и все думаетъ, все думаетъ. А на дворѣ гвалтъ, гиканье, свистъ, ревъ.

— Лаской, что-ли, съ нимъ какъ-нибудь! — наконецъ додумывается она и немедленно рѣшается воспользоваться этою мыслью.

— Хоть бы ты, Макся, поговорилъ съ матерью-то!—обращается она къ сыну.

— Объ чемъ мнѣ съ вами говорить!

— Ну, все же, хоть бы утѣшилъ!

— Горе, что-ли, у васъ?

— Какъ не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нѣтъ моему горю

скончанья! вотъ хоть бы объ васъ, объ дѣточкахъ... ну, щемитъ у меня сердце, щемитъ да и вся недолга!

— Ну, и пущай щемитъ!

— Или вотъ теперича кровопивцы изъ губерніи налетѣли! что они пропили! что проѣли! Что было добра нажито—все повытаскали!

— И опять это дѣло не мое.

— Какъ же не твое, Макся!.. Ты хоть бы пожалѣлъ, мой другъ!

— Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимоѳеевна на минуту умолкаетъ, видимо обиженная равнодушіемъ сына.

— И что это за народъ такой нынче ростетъ... безчувственный! — наконецъ произноситъ она, посматривая въ окошко.

— Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерутъ — и то стараюсь не чувствовать. У насъ урядникъ Купцовъ, прямо скажу, шкуру съ живого спущаетъ, такъ если бы тутъ еще чувствовать...

„Палачъ“ постепенно одушевляется; онъ ощущаетъ твердую почву подъ ногами.

— Одинъ разъ,—говоритъ онъ:—я товарища искалѣчилъ, такъ меня самъ инспекторъ билъ. Бьетъ-это смаху, словно у него бревно подъ руками, бьетъ, да тоже вотъ какъ вы приговариваетъ: „безчувственный!“ Такъ я ему прямо такъ-таки въ лицо и сказалъ: ежели, говорю, Василій Ипатычъ, такъ бьютъ да еще чувствовать...

„Палачъ“ отъ волненія задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхиваетъ, ноздри раздуваются и самъ онъ отъ времени до времени вздрагиваетъ.

— Меня вотъ товарищи словно волка травятъ,—продолжаетъ онъ:—соберутся всей ватагой, да и травятъ. Такъ еслибъ я чувствовалъ, что бы я долженъ былъ съ ними сдѣлать?

Онъ смотритъ на мать въ упоръ; глаза его сверкаютъ такимъ дикимъ блескомъ, что Арина Тимоѳеевна, не понявшая ни одного слова изъ всего, что говорилъ сынъ, пугается.

— Да ты обалдѣлъ, что-ли: какъ на мать-то смотришь! — начинаетъ она, но „палачъ“ уже ничего не слышитъ.

— Теперича, къ примѣру, я хочу въ юнкера поступить, — гремитъ онъ:—такъ ежели начальство мнѣ скажетъ:—Хмыловъ! разорви!—какъ по вашему? я и въ то время долженъ какія-нибудь чувства имѣть? Извините-съ!

„Палачъ“ быстро поворачивается, и черезъ минуту сугубый гвалтъ возвѣщаетъ о благополучномъ прибытіи его на конный дворъ.

Арина Тимоѳеевна опять задумывается, или, лучше сказать, въ голову ея опять начинаютъ заглядывать какіе-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдругъ заглянетъ слово: „убьетъ!“—то вдругъ мелькнетъ: „это онъ съ матерью-то такъ разговариваетъ!“ Наконецъ она вскакиваетъ съ мѣста и разражается.

— Желала бы я!—восклицаетъ она иронически: — ну, вотъ хоть бы глазкомъ посмотрѣла бы, что изъ этого урода выйдетъ!

Но вотъ и губернская саранча уѣхала во-свояси; Петръ Матвѣичъ свободенъ и пріѣзжаетъ въ Вавиловку отдохнуть.

— Теперь я съ тобой, мерзавецъ, раздѣлаюсь! — говоритъ онъ сыну, располагаясь въ креслѣ съ такимъ спокойнымъ видомъ, какъ будто собрался пріятно провести время.

— Вся ваша воля-съ.

— Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

— Я, папенька, въ полкъ желаю-съ.

— Будешь ли учиться?

— Я, папенька, ежели вы меня въ полкъ не отдадите, убѣгу-съ!

— К-к-кан-наллья!

Петръ Матвѣичъ вытягивается во весь ростъ, простираетъ руки и до такой степени таращитъ глаза, что, кажется, вотъ-вотъ они выскочатъ. „Палачъ“ закусываетъ губу и ждетъ.

— Нагаекъ!—кричитъ Петръ Матвѣичъ задавленнымъ голосомъ.

Экзекуція начинается; ударъ сыплется за ударомъ. Петръ Матвѣичъ блѣденъ; въ глазахъ его блуждаетъ огонь, горло пересохло, губы горятъ.

— Убью! въ гробъ заколочу!—уже не кричитъ, а шипитъ онъ тѣмъ же задавленнымъ голосомъ.

„Палачъ“ словно замеръ; ни стона, ни звука.

— Убить, что-ли, сына-то хочешь!—вдругъ раздается испуганный голосъ Арины Тимоѳеевны.

Она блѣдна и дрожитъ. Какъ кошка, вцѣпляется она въ полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьетъ... ахъ, убьетъ!

Петра Матвѣича съ трудомъ оттаскиваютъ. Онъ шатается словно пьяный и смотритъ на всѣхъ потухшими глазами, какъ будто не сознаетъ, гдѣ онъ и что тутъ случилось. „Палачъ“ страдаетъ, но, видно, перемогаетъ себя. Онъ встряхиваетъ волосами, на губахъ его блуждаетъ вызывающая и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненная инстинктивнаго страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могутъ выдерживать долѣе. Не проходитъ минуты, какъ лицо его начинаетъ искажаться, и наконецъ какое-то ужасное рычаніе вылетаетъ изъ его груди, рычаніе, сопровождаемое цѣлымъ ливнемъ слезъ.

— Плачь, батюшка, плачь! — увѣщеваетъ его Арина Тимоѳеевна: — плачь! легче будетъ!

Но онъ ничего не слышитъ и стремглавъ убѣгаетъ изъ комнаты.

Сцена сѣченія произвела на весь домъ подавляющее дѣйствіе. Всѣ какъ будто опомнились, и въ то же время были до того поражены, что боялись словомъ или даже неосторожнымъ движеніемъ напомнить о происшедшемъ. Прислуга ходитъ на цыпочкахъ, словно чувствуетъ за собою вину; Арина Тимоѳеевна потихоньку плачетъ, но, заслышавъ шаги мужа, поспѣшно утираетъ слезы и старается казаться веселою; дѣдушка мелькаетъ тамъ и сямъ, но безшумно и испуганно, какъ будто тоже понимаетъ, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшія дѣти сидятъ смирно и разсматриваютъ книжку съ

картинками. Въ самомъ Петрѣ Матвѣичѣ замѣтна перемѣна: онъ похудѣлъ, осунулся, мало ѣстъ и совсѣмъ не пьетъ. „Палачъ“ примѣчаетъ это общее уныніе и всячески старается эксплуатировать его въ свою пользу. Онъ цѣлые дни гдѣ-то скрывается; приходитъ домой только обѣдать, молча ѣстъ, выбирая самые лучшіе куски, послѣ обѣда цѣлуетъ у родителей ручки и тотчасъ же опять уходитъ вплоть до ужина.

— Здоровъ?—какъ-то не удержался однажды спросить его Петръ Матвѣичъ.

— Слава Богу-съ; гной теперича въ ранахъ показался-съ,—отвѣтилъ „палачъ“, но съ такою язвительною почтительностью, что Петръ Матвѣичъ весь вспыхнулъ и чуть было опять не потребовалъ нагаекъ.

На самомъ же дѣлѣ „палачъ“ уже почти позабылъ объ экзекуціи и проводитъ время на обычной аренѣ своихъ подвиговъ, то-есть на конномъ дворѣ. Но онъ сдѣлался какъ-то солиднѣе въ своихъ поступкахъ, не бурлитъ, не хлопаетъ арапникомъ, не дразнитъ козла, а или заваливается спать на сѣновалъ, или бесѣдуетъ съ кучерами. Станетъ гдѣ-нибудь въ углу, куритъ махорку, сплевываетъ и ведетъ разумную рѣчь о коренникахъ, объ иноходцахъ, о томъ, какія должны быть у „настоящей“ лошади копыта, какой задъ и т. д.

— У „настоящей“ лошади задъ долженъ быть широкій... какъ печка! потому у „ей“ вся сила въ заду!—утвердительно говоритъ „палачъ“.

— Нѣтъ, вотъ я у одного троечника коренника зналъ, такъ у того былъ задъ... страсть! — разсказываетъ кучеръ Михей: — это подъ гору по полтораста пудовъ спустить—ни почемъ!

— По „саше“?—вопрошаетъ „палачъ“, поддѣлываясь подъ тонъ своей аудиторіи.

— По саше и по простой дорогѣ—какъ хошь! И сколько разъ у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

— Не продалъ?

— Ни въ жисть. „Дай ты мнѣ сто пудовъ золота, говоритъ—умру, а лошади не отдамъ!“

— И что за житье, ваше благородіе, этимъ извозчикамъ—умирать не надо!—вступается Никешка.

— На что лучше!—восклицаетъ Михей:—ѣда одна что стоитъ! Щи подадутъ—не продуешь! Иному барину въ праздникъ такихъ не ѣсть!

„Палачъ“ задумывается и полегоньку посасываетъ трубочку. Воображеніе его играетъ; онъ видитъ передъ собой большую дорогу, коренника, переступающаго съ ноги на ногу и упирающагося широкимъ задомъ въ громадный возъ; офицеровъ, скачущихъ мимо; постоялый дворъ, и на столѣ щи, подернутыя толстымъ слоемъ растопившагося свиного сала...

— Папушникъ съ медомъ ѣсть будете?—слышится ему словно въ просонкахъ.

— Вы бы вотъ что, ваше благородіе,—прерываетъ его мечты Никешка: —поклонились бы вы папенькѣ-то: наградите, молъ, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вамъ, ваше благородіе, въ работникахъ послужилъ!

— Что-жъ, Никешка—парень ловкій! Онъ это дѣло управитъ!—подтверждаетъ Михей.

— А ужъ какую бы мы тройку подобрали—на удивленіе!—продолжаетъ Никешка:—ну, просто, то-есть, и въ гору, и подъ гору—какъ хошь!

— А ты это видѣлъ?—осаживаетъ его „палачъ", снимая куртку и показывая спину, усѣянную поджившими рубцами: —такъ вотъ ты пойди да и поклонись папенькѣ-то, а онъ тебѣ еще вдвое засыплетъ!

Или:

— Кучеръ, коли ежели онъ настоящій ѣздокъ, непремѣнно долженъ особенное такое „слово" знать!—повѣствуетъ Михей.

— Да, безъ этого нельзя!—подтверждаетъ и „палачъ".

— Теперича ежели ты въ грязи завязъ, или въ гору сталъ — только скажи это самое „слово" — хошь изъ какой хошь трущобы тебя лошадь вывезетъ! а не скажешь „слова"—хоть до завтрева бейся, на вершокъ не подвинешься!

И т. д., и т. д.

Однимъ словомъ, „палачъ" благодушествуетъ и, зная, что отцу до поры времени совѣстно смотрѣть ему въ глаза, пользуется своимъ положеніемъ самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренникахъ, о томъ, какъ однажды Никешка на ровномъ мѣстѣ пять часовъ бился, „хочь ты что хошь", о томъ, какъ одинъ ямщикъ въ одну пряжку сто верстъ сдѣлалъ и только на половинѣ дороги лошадей попоилъ, „палачъ" отправляется къ дяденькѣ Софрону Матвѣичу, который тоже отдыхалъ въ Вавиловкѣ послѣ ревизорскаго погрома, и слушаетъ разсказы этого новаго Одиссея.

— Я, дяденька, въ полкъ уйду!—обыкновенно начинаетъ „палачъ".

— И что ты это заладилъ одно: въ полкъ да въ полкъ! На войну хочешь? такъ на войнѣ-то, братъ, бабушка еще на-двое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьютъ!

И затѣмъ начинался безконечный рядъ разсказовъ о преимуществахъ гражданской службы.

— Гражданская-то служба развѣ не тоже страженіе?—повѣствуетъ дяденька:—только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части одинъ стражается, а другой претерпѣваетъ страженіе. И сколько я этихъ гражданскихъ страженіевъ въ своей жизни выигралъ, такъ ежели бы все счесть, кажется, и фельдмаршаломъ-то меня сдѣлать мало!

„Палачъ" оглядываетъ мизерную, словно объѣденную фигуру дяденьки, и улыбается.

— А ты не гляди, миленькій, что я ростомъ не вышелъ; я, душа моя, такія дѣла дѣлывалъ, что другому даже въ генеральскихъ чинахъ во снѣ не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь ростъ и, тыкая себя перстомъ въ грудь, продолжаетъ:

— Я только говорить о себѣ не люблю, а многимъ, даже очень многимъ въ жизни своей такія права предоставилъ, что ежели они послѣ того рукъ на себя не наложили, такъ именно только по христіанству, какъ хри-

стіанскій законъ вообще запрещаетъ роптать! Насѣкина, напримѣръ, Павла Ивановича знаешь?

— Это пьяненькаго-то?

— Это теперь онъ пьяненькій, а прежде былъ онъ у насъ, предводителемъ, тузъ козырный былъ! Гордый человѣкъ былъ, тиранилъ, жегъ, сѣкъ. Дворянинъ ли, мужикъ ли — всѣ, говоритъ, передо мной равны! Вотъ онъ каковъ, „пьяненькій"-то, въ старые годы былъ! А кто гордыню-то эту изъ него извлекъ? Я, Софронъ Матвѣевъ Хмыловъ, ее извлекъ! Походилъ около него, распланировалъ все какъ слѣдуетъ, потомъ далъ страженіе—и извлекъ.

— Да я, дяденька, помилуйте...

— Погоди, мой другъ, дай сказать! Или возьмемъ теперича хоть Палагинское дѣло. Убили рабы своего господина, имѣніемъ его воспользовались —однѣми деньгами, душа моя, сто тысячъ было! — бѣжали, пойманы, уличены! По твоему, какъ надлежитъ въ этомъ случаѣ поступить? Отдуть душегубовъ кнутомъ, сослать куда Макаръ телятъ не гонялъ — и дѣло съ концомъ?—Ну, нѣтъ, не будетъ ли этакъ-то очень ужъ просто! Съ имѣніемъ-то, скажи ты мнѣ, какъ поступить? Да опять же и гдѣ это имѣніе взять? Потому эти самые душегубы во всемъ прочемъ чистосердечно повинились, а насчетъ имѣнія такую аллегорію, такую аллегорію поютъ, что и Боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется страженіе вамъ дать. И какъ бы ты полагалъ?—не успѣлъ я это страженіе до половины довести, какъ они ужъ все до полушки отдали!

— Да вѣдь я, дяденька, не о васъ. Вы, извѣстно...

— Нѣтъ, да ты слушай, что потомъ будетъ! Отдавши все до полушки, сидятъ они въ острогѣ годъ, сидятъ другой — и вдругъ возгордились! Мыста! да вы-ста! изъ насъ, говорятъ, жилы вытянули, а резону намъ не даютъ! И даже очень громко этакъ-то побалтываютъ. Что жъ, дѣлать нечего, пришлось и въ другой разъ страженіе дать... только ужъ послѣ этого другого-то страженія...

Софронъ Матвѣичъ внезапно останавливается и вмѣсто продолженія прерваннаго разговора присовокупляетъ:

— Такъ вотъ они каковы, гражданскія-то страженія! Коли ежели да съ умѣніемъ, да съ снаровочкой,—большую можно пользу для себя получить!

„Палачъ" смотритъ на дядю съ благоговѣніемъ, почти съ алчностью. Глаза его такъ и бѣгаютъ.

— Я десять губернаторовъ претерпѣлъ!—продолжаетъ Софронъ Матвѣичъ хныкающимъ голосомъ:—я пятнадцати ревизорамъ очки вставилъ! И всякой-то на меня съ наскоку наѣзжалъ!—„я, дескать, этого разбойника Хмылова въ бараній рогъ согну!" Анъ дашь ему страженіе—онъ и притихъ! Статскій совѣтникъ Ноздревъ у насъ былъ, такъ тотъ, какъ пріѣхалъ въ городъ, такъ и рычитъ: „подайте мнѣ его! разорву!" Каково мнѣ это слушать-то? каково? Однако я выслушалъ, доложилъ, опять выслушалъ, опять доложилъ— и сталъ онъ у меня послѣ того шолковый... Даже поноску носить выучился, и такъ-это привыкъ, что въ глаза, бывало, мнѣ смотритъ—когда же, молъ, ты скажешь: пиль!?

— Да вѣдь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

— Не то чтобы слишкомъ уменъ, а человѣческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотритъ на человѣка, и ничего въ немъ не видитъ, а я проникаю. Я даже когда не нужно — и тогда проникаю. Идешь это по улицѣ, видишь человѣка и все думаешь: а кто знаетъ, можетъ быть, этому человѣку современемъ придется страженіе дать!

Но какъ ни привлекательны рисуемыя дядей картины гражданскихъ сраженій, „палачъ“ не поддается соблазну. Онъ понимаетъ, что ему тутъ дѣлать нечего. Въ немъ, если хотите, имѣется достаточный запасъ той одеревенѣлой жестокости, которая на самыя большія мученія позволяетъ смотрѣть хладнокровно, но нѣтъ ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни къ какимъ комбинаціямъ онъ неспособенъ, и потому даже въ шашки порядкомъ не могъ научиться играть.

— Нѣтъ, дяденька,—говоритъ онъ:—я ужъ въ полкъ!

— Что жъ, въ полкъ, такъ въ полкъ! Коли нѣтъ призванія, такъ и соваться нечего. А вѣдь и я, душа моя, не сразу тоже въ чувство пришелъ. Съ мужика съ простого началъ, а потомъ, постепенно, и губернаторовъ постигъ. Бывало, папенька приведетъ мужика-то и скажетъ: „Софронъ, учись!“ Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякій суставчикъ попытаешь, все ищешь, гдѣ у него струна-то играетъ. Нашелъ струну—и ликуй, потому тутъ онъ ужъ и самъ передъ тобой, словно клубокъ, развертываться начнетъ. Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а онъ, что больше дергаешь, то ходчѣй да ходчѣй все развертывается. И такой вдругъ понятный сдѣлается, что даже вчужѣ удивительно, какъ это сразу ты его не постигъ!

. . . . . .

И живетъ такимъ родомъ „палачъ“ подъ сѣнью родительскаго крова, живетъ изо дня въ день, и не видитъ исхода своему страстному желанію оставить науку и поступить въ полкъ. Эта мысль преслѣдуетъ его день и ночь. Ни разсказы дяди, ни бесѣды на конномъ дворѣ не могутъ заставить ее позабыть. Вотъ и каникулы подходятъ къ концу, а онъ все при томъ же, при чемъ былъ и вначалѣ своего пріѣзда въ деревню.

Порой онъ рѣшается бѣжать, но куда? съ чѣмъ? При всей неразвитости, онъ понимаетъ непрактичность этой мысли, и потому не безъ удовольствія ожидаетъ момента, когда его опять повезутъ въ Москву и опять очутится онъ въ стѣнахъ „заведенія“. Тамъ онъ по крайней мѣрѣ увидится съ „Агашкой“, а это свиданіе возбуждаетъ въ немъ какія-то смутныя надежды. Что будетъ?—онъ самъ еще не можетъ опредѣлить, но что нѣчто, навѣрное, будетъ—въ этомъ онъ не сомнѣвается.

— Голопятовъ выручитъ! — говоритъ онъ себѣ, и съ этою сладкою мыслью засыпаетъ въ послѣдній разъ подъ кровлей скромнаго вавиловскаго дома.

И дѣйствительно, „Агашка“ — первое лицо, съ которымъ „палачъ“ встрѣчается въ „заведеніи“.

— Хмыловъ! меня опекунъ въ полкъ отдаетъ!—объявляетъ онъ сразу.

„Палачъ“ блѣднѣетъ.

— Такъ это... вѣрно?—спрашиваетъ онъ потухшимъ голосомъ.

— Черезъ мѣсяцъ, какъ дважды два. А ты какъ?

„Палачъ“, вмѣста отвѣта, снимаетъ съ себя куртку и показываетъ слѣды рубцовъ, оставшіеся на спинѣ.

— Это... за полкъ!—говоритъ онъ.

„Агашка“ вдругъ проникается великодушіемъ.

— Уйдемъ вмѣстѣ! — говоритъ онъ:—вмѣстѣ горе тяпали, вмѣстѣ и уйдемъ!

— Да вѣдь ты... самъ собою... и безъ того...—заикается „палачъ“.

— Не хочу просто выходить... уйду! Или вотъ что: удеремъ, Хмыловъ, какую-нибудь такую штуку, чтобъ насъ обоихъ разомъ выгнали!

„Палачъ“ съ какою-то робкою радостью смотритъ на своего друга.

— Да ты что, подлецъ? не вѣришь мнѣ?—великодушествуетъ „Агашка“: —да я теперь ни за что безъ тебя изъ заведенія не уйду!

Пріятели цѣлуются и заключаютъ наступательный союзъ. Начинается цѣлый рядъ подвиговъ, слава которыхъ, постепенно возрастая, наполняетъ наконецъ Москву. Родители съ недоумѣніемъ вопрошаютъ другъ друга, правда ли, что какіе-то ученики „заведенія“ взяты будочникомъ въ кабакѣ; правда ли, что еще какіе-то ученики того же „заведенія“ пойманы въ ту минуту, какъ хотѣли взломать церковную кружку; правда ли, что еще какіе-то ученики забрались ночью въ квартиру женатаго надзирателя Сенъ-Романа... Въ теченіе двухъ-трехъ недѣль „палачъ“ и Агашка вдвоемъ совершили столько, что, казалось, будто въ ихъ подвигахъ участвовало не меньше ста человѣкъ.

Черезъ мѣсяцъ оба друга сидятъ уже въ карцерѣ! еще недѣля — и за обоими пріѣхали посланные отъ родныхъ.

Друзья веселы и всецѣло поглощены ощущеніемъ испытываемаго ими счастія. Они бодро проходятъ черезъ рекреаціонную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этотъ разъ даже не пускаютъ въ догонку Хмылову „палача“. Смутный говоръ удивленія провожаетъ ихъ до самой швейцарской.

Вотъ они на порогѣ; вотъ уже и стѣны заведенія остаются позади нихъ. „Палачъ“ останавливается и въ какомъ-то неописанномъ волненіи сжимаетъ руку „Агашки“.

— Не про-па-демъ! — восторженно восклицаетъ онъ, отчетливо раздѣляя каждый слогъ своей краткой рѣчи.

— Не пропадемъ! — словно эхо, повторяетъ за нимъ „Агашка“.

ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ.

У начальника отдѣленія, статскаго совѣтника Семена Прокофьича Нагорнова, родился сынъ. Это былъ плодъ пятнадцати лѣтней бездѣтной супружеской жизни, и потому естественно, что появленіе его на свѣтъ произвело на родителей впечатлѣніе не совсѣмъ обыкновенное. Миша былъ еще во чревѣ матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему

карьерѣ, и ни одной минуты не сомнѣвались, что у нихъ родится именно сынъ, а не дочь. Анна Михайловна, съ легкомысліемъ женщины, пророчила, что сынъ у нея будетъ военный; напротивъ того, Семенъ Прокофьичъ изъявлялъ надежду, что Мишѣ суждено современемъ сдѣлаться „министерскимъ перомъ".

— Ему, матушка, карьеру надобно дѣлать, а не мостовую гранить, — говорилъ будущій отецъ: — а потому мы отдадимъ его въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ.

Затѣмъ, разсчитавши, что Миша, пойдя по этой дорогѣ, восемнадцати лѣтъ уже можетъ быть титулярнымъ совѣтникомъ и что производство изъ коллежскихъ регистраторовъ въ титулярные совѣтники, за выслугу лѣтъ, потребуетъ не менѣе десяти лѣтъ, Нагорновъ прибавилъ:

— Даже теперь можно уже сказать, что нашъ Михайло Семеновичъ состоитъ на службѣ на правахъ канцелярскаго чиновника, кончившаго курсъ въ уѣздномъ училищѣ!

Нагорновы были люди простые и добрые, и какъ мужъ, такъ и жена принадлежали къ очень почтенному чиновничьему роду. „Мы искони крапивные!" — шутя говаривалъ Семенъ Прокофьичъ, и отнюдь не скорбѣлъ о томъ, что въ ряду его предковъ не было ни князя Тарелкина, который былъ знаменитъ тѣмъ, что цѣловалъ крестъ царю Борису, потомъ цѣловалъ крестъ Лже-Дмитрію, потомъ цѣловалъ крестъ Василію Ивановичу Шуйскому, и которому за всѣ эти поцѣлуи наконецъ выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Круазе, который былъ знаменитъ тѣмъ, что въ одномъ нижнемъ бѣльѣ прибѣжалъ изъ Парижа въ Россію, и потомъ, въ 1814 году, вполнѣ экипированный, бралъ Парижъ вмѣстѣ съ союзниками. Отецъ Семена Прокофьевича, уже умершій, служилъ совѣтникомъ въ управѣ благочинія; отецъ Анны Михайловны, по фамиліи Рыбниковъ, находился еще въ живыхъ и служилъ архиваріусомъ въ одномъ изъ министерствъ; но такъ какъ имѣлъ генеральскій чинъ, то назывался не архиваріусомъ, а управляющимъ архивомъ.

Обѣ семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньямъ обыкновенно собирались за обѣдомъ у Нагорновыхъ, а такъ какъ у Анны Михайловны было еще три сестры дѣвицы, то въ небольшой квартирѣ начальника отдѣленія бывало довольно людно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорновъ весь отдавался отдохновенію, не скребъ съ утра до ночи перомъ и даже позволялъ себѣ партикулярные разговоры. Скромный обѣдъ разнообразился праздничной кулебякой съ сигомъ, которую всѣ ѣли съ тѣмъ апетитомъ, съ какимъ обыкновенно ѣдятъ люди очень рѣдкое лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала поводъ для одного и того же неизмѣннаго разговора.

— Я пятьдесятъ лѣтъ на свѣтѣ живу, и, благодареніе моему Богу, никогда изъ Петербурга не выѣзжалъ (и батюшка, и дѣдушка безвыѣздно въ Петербургѣ жили!), и за всѣмъ тѣмъ все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки, да еще нашей корюшки, нигдѣ, кромѣ здѣшней столицы, достать нельзя! Вотъ въ Ревелѣ, говорятъ, какую-то вкусную кильку ловятъ — ну, той, въ свѣжемъ видѣ, никогда не видалъ, а чего не видалъ, о томъ и спорить не стану! — бесѣдовалъ Семенъ Прокофьичъ, тщательно выскребывая ножомъ съ тарелки соринки рыбы и капусты и отправляя ихъ въ ротъ.

— Въ Шлюшинѣ, сказываютъ, этого сига множество! — возражалъ Михайло Семенычъ Рыбниковъ.

— Помилуйте, батюшка! какой же въ Шлюшинѣ сигъ! Ладожскій ли сигъ, или нашъ невскій!

— Ну, да и кусается же этотъ невскій сижокъ!—вставляла свое слово Анна Михайловна: — Зина! Евлаша! Ляля! сестрицы! что жъ вы! съ сижкомъ!—обращалась она къ сестрамъ, которыя, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, не были свободны отъ нѣкотораго жеманства.

— Онѣ у меня скромницы!—шутилъ старикъ Рыбниковъ: — при людяхъ не ѣдятъ, а вотъ послѣ обѣда на кухню заберутся, такъ ужъ тамъ и съ сижкомъ, и съ кашкой, и съ рисцемъ... пожалуй, и платья-то разстегнутъ!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующіе заливались добродушнымъ хохотомъ.

Затѣмъ разговоръ переходилъ къ жареному гусю, по поводу котораго тоже высказывалось мнѣніе, что противъ петербургскаго гуся никакому другому не устоять.

— Слыхалъ я,—говорилъ Нагорновъ:—будто въ Москвѣ въ Новотроицкомъ трактирѣ какихъ-то необыкновенныхъ гусей подаютъ, да вѣдь это славны бубны за горами, а мы поѣдимъ нашего петербургскаго!

— У насъ гуси лапчатые!—замѣчалъ въ свою очередь старикъ Рыбниковъ, вновь возбуждая во всей компаніи веселый смѣхъ.

Послѣ обѣда старцы уединялись въ кабинетѣ и попыхивали копѣечныя сигары, прислушиваясь къ женскому стрекотанію, немолчно раздававшемуся въ спальной, и изрѣдка перебрасываясь замѣчаніями.

— Такъ такъ-то, батюшка, ваше превосходительство!—говорилъ Семенъ Прокофьичъ.

— Да, есть тово... немного!—отвѣтствовалъ, позѣвывая, Михайло Семенычъ.

И такимъ порядкомъ проходило воскресенье за воскресеньемъ, безъ всякой надежды, чтобъ въ эту жизнь когда-нибудь проникнулъ свѣжій, живой элементъ.

Только въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ, когда русская жизнь какъ будто тронулась, воскресные обѣды Нагорновыхъ нѣсколько оживились, ибо каждую недѣлю являлась какая-нибудь новость, которая задѣвала за живое и о которой трудно было не потолковать.

— Вотъ и марки почтовыя проявились! и инспекторскій департаментъ упраздненъ! —сообщалъ Семенъ Прокофьичъ, относившійся впрочемъ къ реформамъ съ большою благосклонностью: — а что вѣдь, ежели теперича все сообразить, сколько въ теченіе одной прошлой недѣли переформировано, такъ я думаю, что даже самаго обширнаго ума на такую работу не достанетъ!

— Это вамъ, молодымъ людямъ, въ диковинку эти реформы-то!—возражалъ старикъ Рыбниковъ: — а у меня, братъ, въ архивѣ, всѣ эти реформы какъ на ладони видны — вѣ какъ! За какую связку ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

— Ну, нѣтъ, батюшка! Это не такъ! прежде на бумагѣ-то города брали,

а теперь настоящее дѣло пошло! Я самъ въ коммисіи о распространеніи единомыслія двадцать лѣтъ членомъ состоялъ—и что жъ! сто-одинъ томъ трудовъ выдали, и все-таки ни къ какому заключенію придти не могли! Потому — рано было! А теперича разомъ весь этотъ матеріалъ и двинули! Возьмемъ хоть бы почтовые ящики—какое это для всѣхъ удобство! Написалъ письмо, пошелъ въ департаментъ, опустилъ мимоходомъ въ ящикъ—и покоенъ! Нѣтъ, какъ же можно! Только бы, съ Божьею помощью, потихоньку да полегоньку, да безъ революцій!

— Давай Богъ! давай Богъ!

Но скоро и о почтовыхъ ящикахъ разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сдѣлались такими же скучными и вялыми, какъ и разговоры о пирогѣ съ сигомъ. И вдругъ въ это сѣренькое затишье, въ эту со всѣхъ сторонъ запертую и ничѣмъ несмущаемую среду ворвалось что-то новое, быть можетъ когда-то составлявшее предметъ завѣтнѣйшихъ мечтаній, но давнымъ-давно уже, за давностью лѣтъ, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вотъ въ одно изъ воскресеній Семенъ Прокофьичъ слѣдующею рѣчью встрѣтилъ своего тестя:

— Подобно тому, какъ древле Захарія, священникъ Авіевой чреды, на склонѣ дней своихъ...

— Ну, братъ, исполать!—не далъ докончить ему обрадованный Рыбниковъ:—молодецъ! гдѣ же она? гдѣ же Анюта?

— А вотъ и самая оная Елизаветъ!—какъ-то блаженно улыбаясь, отвѣтилъ Семенъ Прокофьичъ, указывая на выходящую изъ спальной Анну Михайловну, которой щеки на сей разъ алѣли уже не отъ однихъ хлопотъ по приготовленію пирога, но и отъ той сладкой застѣнчивости, которую ощущаетъ всякая женщина, готовящаяся въ первый разъ подарить своей странѣ гражданина: — сего числа особа эта утвердительно можетъ сказать: взыгра младенецъ во чревѣ моемъ!

— Ну, братъ, не ждалъ! Молодецъ! молодецъ Анюта! и ежели теперича внукъ... вы непремѣнно Михайломъ его назовите!

— Что будетъ мнѣ сынъ, а вамъ внукъ — въ этомъ я никакого сомнѣнья не имѣю, потому что въ моей фамиліи никогда женскаго пола не было, да и вообще по всему оно такъ видимо! Ну, и Михайломъ мы его тоже назовемъ: пускай будетъ такой же достойный Михайло Семенычъ, какъ и тезоименитый его дѣдъ!

Въ этотъ день обѣдъ былъ какъ-то особенно торжественъ и оживленъ. Радость прокралась въ эту скромную, тѣсную столовую и освѣтила ее лучомъ своимъ. Лица расцвѣли и покрылись словно глянцемъ; груди вздымались подъ наплывомъ наполнявшаго ихъ блаженства; глаза застилались туманомъ счастья и неизреченной вѣры въ какое-то сладкое, свѣтлое, полное всевозможныхъ благъ будущее.

— Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы поѣдимъ и попьемъ! У меня, батюшка, сегодня праздникамъ праздникъ, торжество изъ торжествъ!—говорилъ Семенъ Прокофьичъ: — на склонѣ дней моихъ... Анюта! другъ мой! не тревожься!

— Да, братъ, теперь надо вамъ подумать... и крѣпко подумать! По-

тому что ежели ему теперича хорошее начало положить, такъ это, братъ, на всю жизнь пойдетъ!

— Я, батюшка, ужъ все обдумалъ. Анюта сначала предлагала въ конную гвардію его опредѣлить, но теперь, благодареніе Богу, мы такъ общими силами порѣшили: отдать нашего младенца въ такое заведеніе, гдѣ больше чиновъ даютъ!

— Это, братъ, правильно, потому что безъ чиновъ тоже нельзя. Хоть и поговариваютъ объ уничтоженіи, а я такъ полагаю, что никогда имъ скончанья не будетъ!

— И мы проживемъ, и дѣти наши, съ Божьею помощью, проживутъ, и никто чинамъ конца не увидитъ! А вы, сестрицы, какъ полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеныча?

Сестрицы, въ качествѣ сущихъ дѣвицъ, вмѣсто отвѣта, конфузливо катали изъ хлѣба шарики.

— Онѣ, братъ, у меня штатскія! въ архивѣ воспитаніе получили! — шутилъ Рыбниковъ.

— Ну, и слава Богу! Я, батюшка, такъ думаю, что первѣе всего слѣдуетъ достигать, чтобъ перо *у него* хорошее было и чтобъ на начальство *онъ* правильный взглядъ имѣлъ. Потому что ежели при нынѣшнемъ стремительномъ направленіи да еще хорошее перо... можно заранѣе поручиться, что онъ каждаго начальника уловить будетъ въ состояніи!

— Да; перо... хоть оно и гусиное...

— Я по себѣ, батюшка, знаю, что̀ значитъ „перо“. Теперича у меня начальникъ всего только одно слово и можетъ говорить, да и то не для всѣхъ вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому онъ мною и дорожитъ. Мало того: иное время онъ даже слово-то, которое знаетъ, высказать тяготится, только лобъ морщитъ, а я все-таки понимаю!

— Все равно, что іероглифъ!

— Іероглифъ — это такъ точно. Только надобно къ этому іероглифу ключъ имѣть: а какъ скоро его имѣешь, то прочая вся приложатся. А что̀ бы я сдѣлалъ, кабы перомъ не владѣлъ!

Съ этихъ поръ воскресныя бесѣды получили иной характеръ. Несмотря на то, что героемъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпѣливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось какое-то неистощимое разнообразіе. Старики были рады несказанно и строили предположенія за предположеніями. Конечно, проскакивали между ними и не совсѣмъ радостныя. Припоминалась, напримѣръ, тяжелая, трудная молодость, припоминались характеры начальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгновенныя тѣни тотчасъ же разсѣевались передъ твердою увѣренностью, что Миша непремѣнно будетъ скромный, работящій и въ то же время талантливый малый, который легко овладѣетъ тайнами „пера“, а слѣдовательно съумѣетъ поработить всякаго начальника.

— Съ начальникомъ, батюшка, только ладить надо умѣть,— говорилъ Семенъ Прокофьичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поѣзжай на немъ безъ опасности!

— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ, что даже поноску носить были готовы!—подтверждалъ Рыбниковъ.

— И даже съ удовольствіемъ-съ. Потому что начальникъ — онъ въ себѣ помощи не находитъ, ну, и обращается къ подчиненному! и ужъ радъ-радъ, коли его кто выручить можетъ!

Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго новаго человѣка, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желаннымъ образомъ его судьбу безъ того, чтобы какъ-нибудь не потѣснить другихъ. Что Миша во что бы ни стало долженъ создать себѣ карьеру—это стояло внѣ всякаго сомнѣнія; а можетъ ли онъ достигнуть этого иначе, какъ сдѣлавшись необходимымъ кому-нибудь изъ сильныхъ міра сего? Очевидно, не можетъ, потому что у него нѣтъ ни блестящихъ связей, ни знатной родни, ни денегъ. Стало быть, онъ долженъ понравиться; а понравиться онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда сильный міра настолько безпомощенъ, что не можетъ безъ Миши ни шагу ступить. Тогда только этотъ сильный, но безпомощный найдется въ необходимости, въ отплату за избавленіе его отъ безпомощности, подѣлиться съ своимъ избавителемъ хотя однимъ кускомъ того безконечнаго пирога, около котораго неотступно кишатъ міріады закусывателей, и какъ ни стараются, а все не могутъ окончательно доканать его. И Миша несомнѣнно доберется до этого куска, и будетъ, какъ и всѣ прочіе, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людямъ, которые могутъ только „морщить лобъ“ и лишить его человѣка, которому извѣстны всѣ тайны „пера“...

Подъ шумокъ этихъ мечтаній и предположеній Анна Михайловна съ своей стороны дѣятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бѣгали въ квартиру Нагорновыхъ, гдѣ, кромѣ нихъ, появилась еще новая гостья, въ лицѣ повивальной бабки, Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальной и неустанно между собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Семена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то, что, еще за мѣсяцъ до родовъ, въ квартирѣ начальника отдѣленія появилась дѣтская кроватка и вездѣ лежали вороха всякаго бѣлья.

Наконецъ, въ одинъ морозный декабрскій день, предчувствія заботливыхъ родителей насчетъ того, что у нихъ непремѣнно будетъ сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семенычъ Нагорновъ увидѣлъ свѣтъ.

Нѣтъ надобности разсказывать, какъ шло первоначальное воспитаніе Миши. За нимъ ухаживали, его мыли и пичкали всѣ, начиная отъ Анны Михайловны съ сестрицами и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ домѣ его называли не иначе, какъ Михайломъ Семенычемъ, и всѣ до единаго глядѣли ему въ глаза, хотя Семенъ Прокофьичъ по временамъ и высказывалъ какую-то особенную воспитательную теорію, которая явно клонилась къ ущербу Миши. Теорія эта была, впрочемъ, неновая и заключалась въ томъ, что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредствомъ лозы.

— Да, это такъ!—говорилъ онъ тономъ непреложнаго убѣжденія:— изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себѣ я знаю, что человѣку безъ розги даже человѣкомъ сдѣлаться невозможно.

— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу!—накидывалась на него Анна Михайловна: — такъ тебѣ и дали! да ты ошалѣлъ, въ департаментѣ-то сидючи!

— Я не объ Михайлѣ Семенычѣ рѣчь веду, а вообще, съ теоретической точки зрѣнія дѣло обсуждаю! Вы, женщины, серьезнаго разговора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданіи міра если заговоришь, такъ вы и тутъ свои тряпки и шиньоны съумѣете приплести! Объ Михайлѣ Семенычѣ — не знаю, а *вообще* — оно такъ! Даже государственные люди — и тѣ это средство на себѣ испытывали!

Но Миша, какъ бы подозрѣвая коварные подходы отца, росъ такъ тихо и благонравно, что рѣшительно не давалъ ни малѣйшаго повода къ примѣненію мѣръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обнаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трогательно повторялъ утромъ и вечеромъ: „Спаси, Господи, папеньку, маменьку, дѣдушку, тетенекъ, начальниковъ, покровителей и всѣхъ православныхъ христіанъ“, и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольствія. Четырехъ лѣтъ онъ зналъ наизустъ „Отче нашъ“ и „Все упованіе мое“; аккуратно послѣ обѣда и чаю цѣловалъ ручки у папаши и мамаши, и каждое воскресенье непремѣнно сопровождалъ Семена Прокофьича къ обѣднѣ. Трудно было не радоваться на этого милаго ребенка, когда онъ, совершенно готовый въ путь, вбѣгалъ въ кабинетъ отца и торопилъ его въ церковь.

— Папа! скорѣе! звонятъ!—кричалъ онъ своимъ звонкимъ дѣтскимъ голосомъ.

— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!

— Мнѣ, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ Семенъ Прокофьичъ по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими ножками.

— Вашъ-съ? — спрашивали его встрѣчавшіеся по дорогѣ другіе начальники отдѣленій, которыми особенно изобилуетъ эта мѣстность.

— Самъ дѣлалъ!—шутилъ Семенъ Прокофьичъ:—вотъ какого пузыря выростилъ!

— По гражданской части пустить намѣрены?

— Въ департаментъ, батюшка, въ департаментъ! Сначала въ заведеніе отдадимъ (безъ этого нынче нельзя), а потомъ и на большую дорогу поставимъ!

И затѣмъ, въ теченіе цѣлаго обѣда, непремѣнно шла рѣчь о Мишѣ, о его необыкновенномъ благонравіи и набожности.

— Даже затормошилъ меня!—повѣствовалъ Семенъ Прокофьичъ: — „часы, говоритъ, слушать хочу!“

— А намеднись,—хвасталась Анна Михайловна: — просто даже удивилъ! „Мама, говоритъ, купи мнѣ ризу!“ Я спрашиваю: зачѣмъ тебѣ, душенька? „А я, говоритъ, дома каждый день обѣдню служить буду!“

— Что жъ! Это недорого стоитъ!—вступался старикъ Рыбниковъ: — погоди, Михайло Семенычъ, я тебѣ ужо ризу подарю, да ужъ и камилавку кстати состряпаемъ—служи себѣ да послуживай!

И дѣйствительно, къ величайшей радости Миши, у него вскорѣ явились и риза, и камилавка, и вырѣзанное изъ бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, онъ цѣлые дни расхаживалъ по комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой дѣтскій голосъ выкрикивая: „аллилуія!“

Чѣмъ болѣе выросталъ Миша, тѣмъ благонравнѣе и понятливѣе онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то оказалось, что онъ ловитъ азы и склады налету. И что всего важнѣе—не только съ быстротою усвоиваетъ себѣ грамоту, но въ то же время смотритъ учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель (дешовенькій, изъ кантонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души, и никогда не отзывался родителямъ о Мишѣ иначе, какъ съ волненіемъ.

— Это такой,—восклицалъ онъ:—такой, доложу вамъ... ну, просто, такой-съ...

— Ну, и слава Богу! — говорила Анна Михайловна съ блаженной улыбкой.

— Нѣтъ-съ, вы себѣ представить не можете! Это такой-съ... это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье отвѣдать кулебяки съ сигомъ.

Природа дала Мишѣ понятливость; благонравіе дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоятельная, а служившая продолженіемъ департамента. Обстановка, въ которой жило семейство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здѣсь видѣлась даже извѣстная степень изобилія и запасливости. Но за всѣмъ тѣмъ на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свѣжій человѣкъ, безъ всякихъ постороннихъ внушеній, понималъ, что позволь себѣ хозяинъ хотя на пядь отступить отъ самой строгой аккуратности—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ. Все было пригнано и урѣзано такъ, чтобы жизнь вращалась только около необходимаго, не дозволяя себѣ никакого уклоненія въ сторону, а тѣмъ менѣе баловства. Если на мебели можно сидѣть—ну, и слава Богу; если въ подсвѣчникъ можно вставить свѣчу—вотъ все, что требуется. Вся роскошь заключалась въ чистотѣ и въ той казенной симметріи, съ которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсѣмъ арестантовъ, но и не совсѣмъ не-арестантовъ, и потомъ закупорили со всѣхъ сторонъ, съ тѣмъ, чтобы туда никогда не проникала струя свѣжаго воздуха. Затѣмъ постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живущіе въ ней такъ принюхались, что уже не обнаруживали ни малѣйшаго поползновенія освѣжиться. Эти люди отмѣривали время съ такою же безучастною объективностью, съ какою аршин-

никъ мѣряетъ матерію: вотъ отмѣрено двадцать-четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ—и конецъ отмѣриванію. Внѣ стѣнъ квартиры—все было неизвѣстность и мракъ. Внѣшній міръ наполненъ подводныхъ камней, опасностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу—какъ разъ наскочишь на сорванца, который или языкъ тебѣ покажетъ, или архивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистифируетъ. А дома между тѣмъ тепло и уютно; знаешь, гдѣ какая вещь лежитъ, ни на что не наткнешься и ужъ, конечно, не поскользнешься на пространствѣ какихъ-нибудь пяти-шести саженъ. Стало быть, жить слѣдуетъ такимъ образомъ: какъ можно больше прижиматься къ сторонѣ, никого не затрогивать и твердо знать, въ какіе часы какая обязанность предстоитъ, не смѣшивая и тѣмъ болѣе не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ когда-то въ сердцѣ смутный ропотъ, но съ теченіемъ времени онъ такъ всосался въ плоть и кровь, что сдѣлался второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они выходили изъ квартиры только по нуждѣ: онъ—въ департаментъ, она — на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ отлучекъ. За все послѣднее время Семенъ Прокофьичъ только два раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непріятностей. Въ первый разъ налетѣлъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Прокофьича была пріятельница, какая-то Катерина Прохоровна, увѣрилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда старикъ Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охать и ахать — показалъ ему языкъ и убѣжалъ. Въ другой разъ налетѣлъ другой сорванецъ, снялъ шляпу, перекрестился и поцѣловалъ его прямо въ орденъ святыя Анны, который Семенъ Прокофьичъ очень тщательно и не безъ нѣкотораго хвастовства разстилалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убѣждало сидѣть дома и какъ можно рѣже переступать за порогъ его.

Въ такой атмосферѣ Миша невольно складывался благонравнымъ, аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ранней юности слухъ его все чаще поражали два слова: служба и департаментъ. Съ утра до вечера онъ слышалъ разговоры о департаментѣ, въ которыхъ сосредоточивалось все: и сѣтованія, и радости, и надежды, и предвидѣнія будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда папаша сбирается — ему отвѣчали: въ департаментъ. Кто въ передней дожидается съ портфелемъ?—курьеръ привезъ бумаги отъ директора департамента. Чему папаша радуется?—ему привезли орденъ изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ? — онъ боится, чтобъ его не обошли въ департаментѣ наградой. Начиналъ ли онъ рѣзвиться шумливѣе обыкновеннаго—его останавливали фразой: „не шуми, не мѣшай папашѣ; у него завтра докладъ въ департаментѣ“. Въ скрипѣ пера, въ щелканьи косточками щетовъ, раздававшемся по вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ которою подавался обѣдъ по приходѣ отца—вездѣ слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофьичъ заваливался послѣ обѣда всхрапнуть на диванѣ, и тогда невольно приходило на умъ: такъ мо-

жетъ храпѣть только человѣкъ, намаявшійся утромъ въ департаментѣ! Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша былъ прикрѣпленъ къ департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдетъ кровью, а за нимъ слѣдомъ изойдетъ кровью и все то, что разъ навсегда заперто въ этой квартирѣ.

Правда, что представленія Миши о департаментѣ еще были довольно фантастичны. Онъ не понималъ дѣйствительной департаментской организаціи, а скорѣе представлялъ ее себѣ въ видѣ какого-то загадочнаго царства тѣней. Войдя въ это царство, папаша перестаетъ быть папашей, сохраняетъ только крестъ на шеѣ и, окруженный Васильемъ Прохорычемъ, Авдѣемъ Дмитричемъ, Алексѣемъ Иванычемъ и Владиміромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначальники Нагорнова), витаетъ въ пространствѣ, созерцая лицо директора и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре часа—и видѣнія исчезаютъ. Папаша снова дѣлается папашей, надѣваетъ пальто и вмѣстѣ съ прочими воплотившимися тѣнями, словно изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго штаба. Черезъ минуту все пространство отъ Малой Милліонной до Подъяческихъ наполняется блѣдными, изнуренными лицами, на которыхъ читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что въ мозгу Миши уже внѣдрилась идея департамента. Департаментъ—это цѣлое будущее; департаментъ—это глухой переулокъ, изъ котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подъяческую. Департаментъ—это сама неизбѣжность, это шхера, около которой какъ ни лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

— И благодѣтельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще, чѣмъ въ наилучшей гавани отдохнешь! — объяснялъ Семенъ Прокофьичъ, когда кто-нибудь позволялъ себѣ выразить въ его присутствіи хоть какое-нибудь сомнѣніе насчетъ живительныхъ свойствъ департамента.

Или:

— Ты попробуй-ка, сунься въ другомъ мѣстѣ поискать — анъ тутъ оступился, въ другомъ мѣстѣ промахъ далъ, а въ третьемъ и вовсе оказался негоднымъ! А въ департаментѣ-то какъ у Христа за пазушкой! дѣло у тебя постоянное, вѣрное... какъ калачъ! Не только никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже если бы ты и гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ тебѣ на нихъ положатъ! Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгамъ да проходимцамъ. Такъ то-съ!

Благодаря такой обстановкѣ, Миша незамѣтно научился смотрѣть на родительскую квартиру какъ на продолженіе департамента, на отца—какъ на ходячій осколокъ департамента, и даже на самого себя—какъ на дитя департамента.

— А скоро, папаша, я въ службу пойду?—часто приставалъ онъ къ Семену Прокофьевичу.

— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ и на службу! Вмѣстѣ будемъ лямку тянуть!

— И мундиръ мнѣ, папаша, дадутъ?

— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаши! Будь только прилеженъ да благонравенъ, а начальство ужъ наградитъ!

Слушая такія рѣчи, Миша усугублялъ рвеніе и, никогда не теряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ: „города, стоящіе на Волгѣ, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь, Корчева и т. д.“

— А чѣмъ замѣчателенъ городъ Лаишевъ?—по временамъ испытывалъ его отецъ.

— Лаишевъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Свіяжскъ, напримѣръ?

— Свіяжскъ, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ при сліяніи рѣки Волги и Свіяги, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Ну, а городъ Чебоксары?

— Чебоксары, уѣздный городъ Казанской губерніи, стоитъ на рѣкѣ Волгѣ, имѣетъ соборъ и рыбныя ловли.

— Да такъ ли, полно? что-то ты ужъ очень сходственно говоришь!

— Это такъ точно-съ, Семенъ Прокофьичъ,—вступался учитель:—Михайло Семенычъ нашъ не слукавитъ-съ! Это такой ребенокъ... такой, доложу вамъ, ребенокъ-съ...

И шли дни за днями, укрѣпляя въ Мишѣ вѣру въ ожидающее его департаментское будущее и обогащая его умъ познаніями. Наконецъ Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились въ его памяти. Мишѣ минуло двѣнадцать лѣтъ. Это былъ срокъ, въ который заранѣе назначено было отдать его въ „заведеніе“.

„Заведеніе“, въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имѣло спеціальностью воспитывать государственныхъ младенцевъ. Поступитъ въ „заведеніе“ партикулярный ребенокъ—сейчасъ начнутъ его со всѣхъ сторонъ обшлифовывать и обгосударствливать, — глядишь, черезъ шесть, семь лѣтъ ужъ выходитъ настоящій, заправскій государственный младенецъ.

Государственный младенецъ тѣмъ отличается отъ прочихъ людей вообще и отъ людей государственныхъ въ особенности, что даже въ преклонныхъ лѣтахъ не можетъ вырости въ мѣру человѣка. Вглядитесь въ его жизнь и дѣйствія — и вамъ сразу будетъ ясно, что онъ совсѣмъ не живетъ и не дѣйствуетъ, въ реальномъ значеніи этихъ словъ, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствуетъ. Или около человѣка, или около теоріи, вообще около чего-то такого, что съ нимъ, государственнымъ младенцемъ, не имѣетъ ничего общаго. Въ низменныхъ слояхъ общества это свойство обнаруживается съ особенною наглядностью. Очень часто вы встрѣчаете малаго лѣтъ сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорятъ:

— Ѳедя! возьми, братъ, тамъ на столѣ рублевую и бѣги въ лавку за икрой!

Или:

— Ѳедя! слетай, братъ, къ Ивану Иванычу; скажи ему, что намъ безъ него жить невозможно!

Ѳедя беретъ рублевую, бѣжитъ въ лавку, приноситъ фунтъ икры и безъ утайки двадцать копѣекъ сдачи. И вы чувствуете, что никому изъ здѣ предстоящихъ подобнаго приказанія отдать нельзя, а Ѳедѣ можно. Быть можетъ, у Ѳеди сѣдина въ бородѣ пробивается, быть можетъ, у него есть жена и дѣти, а его все-таки посылаютъ въ лавочку за икрой, и ему не приходитъ даже въ голову протестовать противъ подобнаго помыканія. Почему? — а потому просто, что онъ не выросъ и никогда не выростетъ въ мѣру человѣческаго роста, потому что онъ не живетъ, не поступаетъ, а вертится и гоношитъ.

Въ высшихъ сферахъ это состояніе вѣчнаго младенчества выступаетъ не такъ рельефно, во-первыхъ, потому, что человѣкъ-планета, около котораго вертится человѣкъ-спутникъ, не всегда бываетъ для простого глаза видимъ, а во-вторыхъ потому, что если человѣкъ-планета и видимъ, то онъ заявляетъ о своемъ присутствіи въ болѣе мягкихъ формахъ. Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ, напримѣръ, такія планеты, какъ Меттернихъ, Наполеонъ, Бисмаркъ и другіе? Сколько спутниковъ имѣли и имѣютъ другія еще болѣе таинственныя планеты, какъ напримѣръ: неуклонное исполненіе обязанностей, строгость, натискъ, нелицепріятное примѣненіе правосудія и такъ далѣе?—На эти вопросы ни одинъ мудрецъ даже приблизительно не отвѣтитъ. Стоитъ начертить кругъ, дать ему названіе системы или принципа, чтобы въ этомъ кругѣ появились миріады вѣчныхъ недорослей, которые по первому манію и въ лавочку за икрой побѣгутъ, и подслушать не прочь, а въ случаѣ крайности—даже изъ ружья выпалить готовы.

— Ѳедя! подслушай!

— Опасно!

— Да ты не толкуй, а пойми, что тебѣ говорятъ: надо подслушать!

А у Ѳеди тѣмъ временемъ ужъ и морду перекосило отъ усердія и натуги; онъ только для острастки, для вида протестовалъ, а на самомъ дѣлѣ ужъ даже смекнулъ, какъ эту штуку устроить.

— Надо это дѣльце умненько сдѣлать,—говоритъ онъ:— вотъ развѣ...

И начинаетъ развивать цѣлый планъ, одинъ изъ тѣхъ плановъ, которые всегда какъ-то разомъ рождаются въ головахъ недорослей, небогатыхъ иниціативой, но изобилующихъ всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и въ то же время онъ сознаетъ, что не подслушать для него никакъ невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вѣчный недоросль къ взведенному курку ружья, дрожа всѣмъ тѣломъ, хватается зубами за веревочку, спускаетъ курокъ... и прежде, чѣмъ ружье успѣетъ выпалить, падаетъ въ обморокъ. Кажется, тутъ есть все: и отвращеніе къ огнестрѣльному оружію, и страхъ, и даже обморокъ, а все-таки онъ спуститъ курокъ и въ этотъ, и въ другой, и въ милліонный разъ, потому что этого требуетъ отъ него система, это предписываетъ человѣкъ-планета: Меттернихъ, Наполеонъ III, Бисмаркъ...

Миша Нагорновъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаруживалъ готовность вертѣться и быть вѣчнымъ недорослемъ. Уже дома онъ умѣлъ смотрѣть старшимъ въ ротъ и въ глаза, и зналъ, когда слѣдуетъ поцѣловать въ ручку и когда въ плечо. Въ „заведеніи“ —этимъ благонадежнымъ зародышамъ было

суждено распуститься въ пышный цвѣтъ. Онъ не просто слушался, а слушался съ удовольствіемъ, съ радостью. Глаза его при этомъ блестѣли, ротъ улыбался, сердце билось; однимъ словомъ, все его существо принимало благодарное участіе въ подвигѣ послушанія. Это былъ даже не подвигъ для него — это было требованіе его натуры. Онъ понималъ надзирателя съ одного слова, и всегда шелъ дальше этого слова, то-есть отгадывалъ сокровенную его мысль, доканчивалъ ее и комментировалъ въ ущербъ себѣ и на пользу послушанію. Несмотря на общій, довольно высокій уровень благонравія въ заведеніи, Миша даже между благонравными былъ благонравнѣйшимъ. Онъ вовсе не былъ смиренъ въ банальномъ значеніи этого слова; нѣтъ, онъ былъ даже рѣзовъ, но это была та милая, откровенная рѣзвость, которая такъ по сердцу воспитателямъ и которая свидѣтельствуетъ о всегда открытомъ сердцѣ воспитываемаго.

„Нагорновъ ведетъ себя и учится хорошо не потому, что этого требуютъ уставы заведенія, а потому, что ему *пріятно* учиться и вести себя хорошо“, говорили объ немъ начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомнѣнную проницательность и знаніе человѣческаго сердца, не всегда начальству свойственное.

— Я, мамаша, не понимаю, какъ можно быть послѣднимъ въ классѣ! — на первыхъ же порахъ сообщилъ онъ Аннѣ Михайловнѣ: — насъ въ классѣ тридцать-три человѣка, а всегда какъ-то такъ случается, что я и по наукамъ, и по поведенію первый!

— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

— Я, мамаша, не то чтобы боялся чего нибудь, а такъ... пріятно! Вотъ у насъ одинъ ученикъ, Погорѣловъ, есть, такъ тотъ тоже всѣ уроки знаетъ, а все-таки никогда *первымъ* не будетъ! Во-первыхъ, онъ сидитъ на задней лавкѣ, а у насъ, мамаша, кто хочетъ *первымъ* быть, долженъ сидѣть на передней лавкѣ, чтобъ его всегда видѣли... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, напримѣръ, сидѣлъ на задней лавкѣ, могъ ли бы учитель видѣть, что я всегда готовъ отвѣчать?

— Самой собой, мой другъ.

— Или вотъ тотъ же Погорѣловъ: ведетъ-ведетъ себя хорошо — да вдругъ и нагрубитъ!

— Ты, душенька, съ мерзавцами-то не связывайся!

— Я, мамаша, ни съ кѣмъ не связываюсь, у кого балы дурные. Потому, я не знаю... мнѣ кажется, что съ ними мнѣ не объ чемъ говорить!

И дѣйствительно, ему не объ чемъ было говорить съ тѣми непослушными, вѣчно глядящими въ лѣсъ дѣтьми, экземпляры которыхъ, несмотря на обшлифовываніе, все-таки нерѣдки въ заведеніяхъ. Не то чтобы онъ преднамѣренно обѣгалъ ихъ, но природѣ его былъ положительно противенъ протестъ, котораго они были вмѣстилищемъ. „Послушаніе“ нашло въ немъ себѣ полнѣйшее осуществленіе. Онъ былъ рѣзвъ и смиренъ именно тогда, когда это какъ разъ сходилось съ уставами заведенія. Онъ вовсе не былъ произведеніемъ дрессировки, насильственнымъ образомъ заставляющей пригибаться подъ гнетомъ извѣстныхъ требованій; онъ представлялъ собой непосредственное олицетвореніе самого устава. Онъ инстинктомъ угадывалъ, когда слѣдуетъ

быть рѣзвымъ и когда слѣдуетъ быть смирнымъ. Въ часы рѣзвости онъ былъ даже рѣзвѣе и шумливѣе другихъ, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень пріятно. Что̀ означаетъ рѣзвость ребенка?— она означаетъ, что ребенокъ доволенъ собою, своими воспитателями, „заведеніемъ“, всею обстановкой. Она означаетъ, что въ ребенкѣ играетъ благодарное сердце, что онъ съ спокойной совѣстью обращается къ своему невинному вчерашнему дню и съ свѣтлымъ довѣріемъ взираетъ на свой невинный завтрашній день. Такая подкладка рѣзвости восхитительна даже въ томъ случаѣ, если она выражается нѣсколько шумно. Миша зналъ это, и потому въ назначенные для рѣзвости часы бѣгалъ рысью, скакалъ галопомъ, кувыркался, оглашалъ рекреаціонную залу крикомъ, и при этомъ никогда не приходило ему въ голову скрыться изъ района гувернерскаго наблюденія. Съ своей стороны и воспитатели любовались его рѣзвостью, ибо видѣли, что дитя не повѣсничаетъ, а рѣзвится—потому что оно довольно и исполнено довѣрія.

— Nagornoff, mon ami! vous êtes tout en nage! allons, réposons nous, mon enfant!—говорилъ ему мсьё Петанлеръ, и говорилъ такимъ голосомъ, въ которомъ явственно звучала нота безконечнаго благожелательства къ милому ребенку.

Нагорновъ хваталъ эту ноту налету и, прекративъ кувырканье, садился невдалекѣ отъ мсьё Петанлера и дѣлался смирнымъ. Но не принужденье видѣлось въ его глазахъ, а удовольствіе, внушаемое сознаніемъ, что его усадили именно въ ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что слѣдуетъ сѣсть. Пройдетъ десять минутъ, онъ простынетъ, и мсьё Петанлеръ, конечно, скажетъ ему:

— Allons, mon ami! amusez-vous donc! Que diable! à votre âge il ne faut pas rester toujours sérieux!

И Миша опять начнетъ играть въ веревочку, прыгать, скакать—и все отъ души.

Такъ шло „поведеніе“ этого мальчика; такъ же шли и „науки“. Онъ понималъ, когда слѣдуетъ учиться и когда слѣдуетъ слушать. Въ часы репетиціи онъ весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши, мѣрно качался всѣмъ корпусомъ и, изрѣдка выпрямляясь, съ какимъ-то гордо-довольнымъ видомъ произносилъ фразу изъ учебника, въ родѣ: „раздался звукъ вѣчевого колокола—и дрогнули сердца новгородцевъ“, или: „les Novogorodiens disaient oui et disaient oui et perdirent leur liberté“.

— Филимоновъ!—обращался онъ къ своему товарищу по лавкѣ:—почему Карамзинъ сказалъ: „*раздался* звукъ вѣчевого колокола“ и „*дрогнули* сердца новгородцевъ“, а не „звукъ вѣчевого колокола *раздался*“ и „сердца новгородцевъ *дрогнули*“?

— А почемъ я знаю! я у него въ головѣ не былъ!

— Чудакъ! потому что такъ сильнѣе! „Раздался“! „Дрогнули“!—тутъ натискъ есть. Надо, чтобы именно эти, а не другія слова сразу поразили читателя!

И затѣмъ онъ опять весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себѣ уши и мѣрно покачивался всѣмъ корпусомъ.

Но во время классовъ тетрадки и книги всегда лежали передъ нимъ

закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магіи на ничѣмъ не покрытомъ столѣ, онъ, казалось, говорилъ учителю: смотри! я безпомощенъ! ни подъ лавкой, ни на лавкѣ у меня ничего нѣтъ, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понималъ это, и какъ бы магнитомъ влекся къ Нагорнову.

Вызываетъ, напримѣръ, русскій учитель:

— Господинъ Осликовъ! „Оселъ и соловей“ —какая это часть рѣчи?

— Глаголъ-съ.

Миша Нагорновъ мгновенно весь просвѣтляется и ѣстъ учителя глазами.

— Извольте спрягать!

— Я оселъ и соловей, ты оселъ и соловей, онъ...

Осликовъ умолкаетъ, замѣчая, что учитель подставилъ ему ножку. Нагорновъ просвѣтляется больше и больше.

— Господинъ Нагорновъ! объясните господину Осликову, какая часть рѣчи „Оселъ и Соловей“!

— „Оселъ и Соловей“ —это заглавіе одной изъ самыхъ нравоучительныхъ басенъ дѣдушки Крылова. Это не часть рѣчи, а соединеніе трехъ словъ, изъ которыхъ два: „оселъ“, „соловей“ —суть имена существительныя, а третье „и“ —союзъ.

— Садитесь, господинъ Нагорновъ, а вы, господинъ Осликовъ...

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, между воспитателями и учителями съ одной стороны и Нагорновымъ — съ другой образовалась непрерывная симпатія, и — что всего важнѣе, образовалась совершенно естественно. Но за всѣмъ тѣмъ Миша не подольщался и не шпіонствовалъ, — качества, которыя особенно не нравятся товарищамъ. Онъ и въ этомъ смыслѣ могъ бы считаться образцомъ, потому что угадывалъ сущность устава не только по отношенію къ начальству, но и по отношенію къ товариществу. Онъ сразу поставилъ себя такимъ образомъ, что никто ни въ чемъ не могъ его обвинить. Всякій видѣлъ, что Миша чистъ какъ хрусталь, что онъ не предумышленно хорошо ведетъ себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не можетъ. Часто онъ даже помогалъ лѣнивымъ и тупымъ, объясняя передъ классомъ урокъ, переводя заданный отрывокъ изъ „De viris illustribus“, рѣшая математическія задачи и проч., но ни подсказывать, ни инымъ образомъ фальшивить не соглашался ни за что. Онъ даже лавку выбралъ такую, на которой сидѣли юноши разумные, не нуждавшіеся въ подсказываньи, и былъ безконечно счастливъ, что можетъ безъ помѣхи всецѣло предаваться почтительному и радостному услѣживанію за выраженіемъ глазъ и рта учителя.

— Подлецъ ты, Нагорновъ! —брякнетъ отъ времени до времени Осликовъ, въ устахъ котораго слово: „подлецъ“, не имѣло впрочемъ никакого сознательно-ругательнаго значенія: — „Солитеръ“ (такъ звали въ „заведеніи“ учителя русской грамматики по причинѣ неимовѣрно-длиннаго его роста) капканъ въ нѣкоторомъ родѣ человѣку ставитъ, а тебѣ и горя мало. Еще радуется, выскакиваетъ!

— Послушай, душа моя! —отвѣтитъ Нагорновъ: —не могу же я, наконецъ! Чѣмъ же я виноватъ, что Амплій Васильевичъ ко мнѣ обращается?

И Осликовъ удовлетворяется этимъ объясненіемъ, ибо, въ сущности,

самъ сознаетъ, что Нагорнову нельзя иначе, и что съ другой стороны и „Солитеру“ тоже ничего иного не остается, какъ обратиться за разрѣшеніемъ вопроса не къ кому другому, а къ Нагорнову, у котораго отъ природы всѣ разрѣшенія на лицѣ написаны.

Когда въ заведеніи происходили такъ-называемыя „исторіи“, никто изъ товарищей никогда не могъ навѣрное опредѣлить, участвовалъ ли въ нихъ Нагорновъ, или уклонился отъ участія. Скорѣе всего, что въ такія торжественныя минуты объ немъ совсѣмъ переставали думать. Какъ-то само-собой разумѣлось, что Нагорнову тутъ быть не для чего, что это совсѣмъ не его дѣло. Тѣмъ не менѣе, приготовляясь къ „исторіи“, отъ него не скрывались и свободно развивали передъ нимъ проекты классныхъ возмущеній, не опасаясь, что онъ сошніонитъ. И дѣйствительно, онъ не только не шніонилъ, но, за-одно съ другими, выносилъ на себѣ послѣдствія „исторій“.

— Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez donc sincère, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passé!—уговаривалъ его мсье Петанлеръ, залучивъ куда-нибудь въ уединенную комнату.

— Pardonnez-moi, monsieur, j'ai été coupable comme les autres!—отвѣчалъ Миша, то краснѣя, то блѣднѣя подъ гнетомъ насилія, которое онъ долженъ былъ сдѣлать надъ собой, чтобы наклеветать самому на себя.

— Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a déjà gatée la carrière de maint jeune homme!

— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas!

Нагорнова отпускали, но онъ явственно слышалъ, какъ мсьё Петанлеръ, хотя и ничего отъ него не добившись, все-таки вслѣдъ ему говорилъ:—Va, généreux jeune homme!

Такимъ образомъ, даже самыя „преступленія“ не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, въ понятіяхъ начальства, оттѣнокъ чего-то рыцарскаго.

— Такъ какъ я не могу вѣрить, чтобы воспитанникъ Нагорновъ участвовалъ въ вашей недостойной шалости, то, лишая весь классъ отпуска въ слѣдующее воскресенье, я для господина Нагорнова дѣлаю исключеніе!—сказалъ однажды инспекторъ послѣ одной изъ подобныхъ исторій.

Но Нагорновъ твердою стопой вышелъ изъ рядовъ, и рѣшительно произнесъ:

— Позвольте и мнѣ раздѣлить участь моихъ товарищей!

Инспекторъ ласково взглянулъ на него, потрепалъ по щекѣ и, прошептавъ:

— Toujours le même! toujours bon et généreux! — прослѣдовалъ къ свои аппартаменты.

Просьба *перваго* ученика была удовлетворена, и онъ раздѣлилъ участь своихъ товарищей.

Анну Михайловну такія исторіи всегда приводили въ волненіе. Во-первыхъ, онѣ лишали ее случая видѣть Мишу въ воскресенье дома, и, во-вторыхъ. она, какъ женщина, постоянно трепетала, какъ бы Миша какъ-нибудь въ солдаты не угодилъ.

— Какіе-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварятъ, —жаловалась она: — а нашъ терпи! Ихъ домой не пускаютъ, и нашего не пускаютъ! ихъ въ солдаты — и нашего въ солдаты!

Но защитникомъ Миши въ этихъ случаяхъ являлся самъ Семенъ Прокофьичъ.

— Что касается до солдатовъ, то ты это черезчуръ хватила, —говорилъ онъ: — А относительно товарищества вотъ что скажу: товарищей тоже выдавать не слѣдуетъ. Почемъ знать, кто чѣмъ въ будущемъ сдѣлается? Можетъ, прохвостомъ, а можетъ и съ неба звѣзды хватать станетъ! Ты его теперь выдашь, а онъ въ свое время тебѣ припомнитъ: а помнишь ли, скажетъ, любезный другъ, какъ я передъ учителемъ дубина дубиной стоялъ, а ты въ ту пору надо мной фривольничалъ? Такъ-то вотъ.

— Все же таки...

— И все-таки ничего. Безъ ума головорѣзничать нашъ Михайло Семенычъ не станетъ — не таковъ онъ у насъ — а держаться около товарищей полезно и нужно, — это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, съ кѣмъ говоришь и къ кому завтра подъ начало попадешь. Ужъ я на что старикъ — и то берегусь. Сегодня *онъ* по тротуару гремитъ, а завтра *онъ* начальникомъ надъ тобой будетъ. Ты *ему* сегодня, покуда онъ по тротуару гремитъ, сгрубилъ, а завтра *онъ* тебя въ бараній рогъ согнетъ... Вотъ тутъ и угадывай!

Соображенія эти нѣсколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успѣвали отобѣдать, какъ она уже летѣла въ „заведеніе“, завернувъ въ салфетку пирогъ съ сигомъ, до котораго въ эти дни, разумѣется, никто не дотрогивался. И умиленіе ея возрастало до крайнихъ предѣловъ, когда самъ Петанлеръ, узнавъ о ея пріѣздѣ, подходилъ къ ней и говорилъ:

— Вашъ сынъ, сударыня, — это утѣшеніе родителей, слава заведенія и гордость товарищей!

Судебная реформа произвела въ „заведеніи“ необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствіе, особливо съ той минуты, когда на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ, и ученики увидали ихъ лицомъ къ лицу. Витіи гремѣли, присяжные засѣдатели глядѣли безпомощно и метались словно въ предсмертной агоніи; судьи старались казаться безстрастными. Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, составляющихся съ цѣлью наиноспѣшнѣйшаго ободранія кліентовъ. Говорили, что изъ Москвы нарочно пріѣзжалъ какой-то грекъ и предлагалъ разостлать по всей Россіи такую паутину, чтобъ ни одинъ кліентъ не могъ миновать ее, а разъ попавшись, — не могъ бы изъ нея выпутаться.

— Позвольте, однакожъ, — спорили въ публикѣ: — ежели всѣхъ кліентовъ сразу умертвить, — что жъ останется въ будущемъ?! Вѣдь это значитъ подрывать будущее!

— Какое тамъ еще будущее! — отвѣчали спорщикамъ: — во-первыхъ, кліентъ безсмертенъ: сегодня умерщвленъ одинъ, завтра народится другой; во-вторыхъ ежели переведется кліентъ, развѣ нельзя фабрикаціей гороховой колбасы заняться или по желѣзно-дорожной части куски рвать? Тутъ, батюшка, каждая минута дорога!

Повѣствовали, что такой-то взялъ съ кліента тридцать процентовъ, такой-то уготовалъ себѣ мѣсто предсѣдателя конкурса съ фельдмаршальскимъ жалованьемъ, такъ что всѣ доходы съ имѣнія несостоятельнаго должника должны будутъ пойти на удовлетвореніе расходовъ по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что „людей не было“; адвокатскіе ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что „людей не было“. До тѣхъ поръ были только звѣри, а теперь понадобились *люди*. Но для *людей*, если таковые находились, ворота были отворены настежъ; будь только *человѣкомъ*—и можешь быть обнадеженъ,

Что подъ каждымъ здѣсь листомъ
Ты найдешь и столъ, и домъ...

Карьера!—Это слово спирало въ зобу дыханіе. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для нѣкоторыхъ, „особливою знатностью отличающихся людей“. Худородный человѣкъ долженъ былъ употребить неимовѣрныя усилія, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съѣсть грязи! сколько перецѣловать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ поясницѣ, наболѣвшей и словно помертвѣвшей подъ гнетомъ ожиданій въ пріемныхъ, переднихъ и канцеляріяхъ. Алчущій пирога, предварительно допущенія къ нему, долженъ былъ проглотить шпагу, съѣсть раскаленный желѣзный орѣхъ, запить стаканомъ дегтя и т. д. Теперь—пирогъ стоялъ ничѣмъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и всѣхъ приглашалъ насладиться. „Вси пріидите! вси насладитесь! Всякій да ястъ!“ И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ, кто пришелъ въ девятомъ часу! Лишь бы былъ *человѣкъ*! Жри!

Человѣкъ! Но гдѣ же клеймо, съ помощью котораго можно было бы отличить человѣка отъ тысячеглаваго змія? На первыхъ порахъ многіе затруднялись этимъ вопросомъ и вслѣдствіе того робѣли рекомендоваться въ качествѣ *людей*. Но вскорѣ одумались и начали дѣйствовать вольнымъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же тотъ юродивый простецъ, который, облизываясь на пирогъ, скажетъ о себѣ: хотѣлось бы мнѣ отвѣдать сего пирога, но, къ сожалѣнію, я *не человѣкъ*! Не правильнѣе ли предположить, что даже тотъ, кто во истину *не человѣкъ*, скорѣе скроетъ это печальное обстоятельство, нежели публично повѣдаетъ объ немъ, добровольно воздерживаясь отъ пирога? Въ древнія времена юродивымъ было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили съ лампадами: погаснетъ лампада, навоняетъ—значитъ, нѣтъ тебѣ царства небеснаго. Нынѣче и тутъ облегченіе: юродивый безъ лампады ходитъ, и слѣдовательно имѣетъ возможность напакостить съ гору, прежде нежели наполнитъ вселенную зловоніемъ...

Такимъ образомъ, люди нашлись...

И что за карьера предстояла имъ! Съ одной стороны—лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность ограждать невиннаго, защищать попранное право собственности,—обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пѣніемъ, танцами,

увеселительными прогулками съ Деверіей, Шнейдершей, а пожалуй хоть и съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана...

— Ты что̀ получилъ за такое-то дѣло?

— Да что̀! всего пять тысячъ! не стоило руки марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Наработаю тысячъ двѣсти-триста — и на боковую!

Такого рода разговоры слышались вездѣ, да другихъ (по крайней мѣрѣ въ теченіе перваго, горячаго времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рѣкой; облитые потомъ татары бѣгаютъ, не слыша подъ собою ногъ; ассигнаціи мелькаютъ въ воздухѣ, какъ мухи въ жаркій лѣтній день... Кто сіи ликующіе, стремящіеся затмить своимъ ликованіемъ ликованіе желѣзнодорожныхъ дѣятелей? Это они, это вчерашніе рыбари, это сегодняшніе ловкачи-ташкентцы, отвѣдывающіе отечественнаго пирога!

Спеціалисты по части убійствъ, спеціалисты по части личныхъ оскорбленій и купеческихъ самодурствъ, спеціалисты по части бракоразводныхъ дѣлъ — все посыпалось словно изъ рога изобилія. — Пальты, сапоги, сакъ-вояжи, ситцы, люстрины... пожалуйте, господинъ! къ намъ пожалуйте!

Жрать!!!

Рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать. „Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль? зачѣмъ ты зажалъ его въ рукѣ? — разожми! Я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару!“

Дальше рубля взоръ ничего не видитъ. Ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ: жрать!

Естественно, что этотъ неистовый кличъ, немолчно раздававшійся по стогнамъ города, не могъ не взволновать воображенія птенцовъ „заведенія“. Въ этомъ кличѣ открывалась своего рода система, новый кругъ, въ которомъ имъ суждено было вертѣться, и они ринулись туда съ головой. Птенецъ, у котораго вчера другой мысли не было, кромѣ: „раздался звукъ вѣчевого колокола“, сегодня, пользуясь праздничнымъ днемъ, уже намѣчаетъ на Невскомъ чистокровный рыжій экземпляръ и не безъ увѣренности говоритъ себѣ: „моя!“ Слыша, что̀ происходитъ въ мірѣ большихъ, каждый птенецъ сознаетъ себя *человѣкомъ*, ибо каждый понимаетъ, что въ немъ имѣется достаточный запасъ юркости и способности, чтобы вмѣстѣ съ другими кричать: — Лови! не задерживай таліи! слѣдующій! слѣдующій!

Но если „птенцы“ были взбудоражены, то родители, въ свою очередь, отъ полноты чувствъ, могли только произносить: „ахъ!“ Они смотрѣли на своихъ подростковъ, представляли себѣ, что̀ ждетъ ихъ въ будущемъ, и говорили: „ахъ!“ Они шли по Невскому, встрѣчались съ камеліей, и ихъ осѣняла мысль, что, можетъ быть, черезъ годъ эта самая камелія (увы! нынче родители уже и объ этихъ дѣтскихъ удобствахъ пекутся!)... „ахъ!“ Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: „ахъ!“ Даже на художественную выставку смотрѣли какими-то плотоядными, завидущими глазами... Только бы поскорѣе, только бы курсъ кончить, а что всѣ эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будутъ въ *нашихъ* рукахъ — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія!

За это ручается врожденная юркость „птенцовъ“, ихъ способность кричать всегда и при всякомъ случаѣ: „лови! не задерживай!“

Подобно другимъ, Миша Нагорновъ ходитъ какъ отуманенный. Онъ ропщетъ на Бога и на людей за то, что ему еще два года предстоитъ маяться въ „заведеніи“. Онъ чувствуетъ себя уже готовымъ, то-есть настолько же юркимъ, какъ X или Z, давно уже пріобрѣвшіе себѣ титулъ „ловкачей“. Онъ даже пробовалъ однажды свои силы: переодѣлся въ статское платье и подъ именемъ „аблаката“ Иванова явился въ камеру мирового судьи защищать дѣло „о излишне затребованномъ за котлету четвертакѣ“.

— И защитилъ!—говорилъ онъ, весь пылая, собравшимся вокругъ него товарищамъ:—Ахъ, господа! вы представить себѣ не можете, какое это чувство!

Въ „заведеніи“, вмѣсто баровъ, игры въ веревочку и пятнашки, завелась игра въ суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные засѣдатели избирались изъ учениковъ младшаго класса на томъ основаніи, что они, какъ дѣти, должны были сохранить совѣсть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно лѣнивѣйшій изъ учениковъ, Осликовъ, на томъ основаніи, что ему, какъ неспособному и притомъ сыну очень бѣдныхъ родителей, не предстоитъ въ будущемъ никакой блестящей карьеры, а слѣдовательно и готовиться не къ чему, кромѣ скамьи обвиняемыхъ. Обвиняли его въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ, такъ что еслибъ сложить ихъ всѣ вмѣстѣ и показать ему эту массу злодѣйствъ въ яркой картинѣ, то даже онъ, несмотря на свою непонятливость, понялъ бы и пришелъ бы въ ужасъ отъ неключимости содѣяннаго имъ.

Едва пробилъ звонокъ, возвѣщающій рекреацію, какъ уже ученики бѣгутъ въ залъ и торопливо садятся по мѣстамъ. Слышится сдержанный говоръ; Осликовъ уже засѣлъ на скамью подсудимыхъ и окидываетъ товарищей безучастнымъ взглядомъ; защитникъ Тонкачевъ вбѣгаетъ запыхавшись, какъ будто сейчасъ только перехватилъ въ буфетной, и наскоро перелистовываетъ бумаги. Онъ изрѣдка обращается къ Осликову и шепчетъ ему, настолько однакожъ громко, что передніе ряды публики слышатъ: „Смотри же, болванъ, показывай, какъ я училъ. Я тутъ за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, съ дуру брякнешь!“ По другую сторону залы сидитъ обвинитель Нагорновъ, котораго открытая физіономія блещетъ сладкою увѣренностью, что вотъ-вотъ сейчасъ этого самаго Осликова онъ безъ масла проглотитъ. Судъ намѣренно мѣшкаетъ. Присяжные засѣдатели вздыхаютъ и разсуждаютъ о томъ, нельзя ли какъ-нибудь отпроситься. Наконецъ влетаетъ судебный приставъ (тоже изъ лѣнивыхъ) и возглашаетъ: „судъ идетъ!“ Всѣ встаютъ и молча ожидаютъ, покуда судьи усядутся.

Нѣкоторое время судьи шепчутся. Они понимаютъ, что судьямъ необходимо совѣщаться, хотя бы они сейчасъ только вышли изъ совѣщательной комнаты. Судья потому и судья, что онъ никогда не можетъ всего предвидѣть, и потому всегда долженъ совѣщаться. Наконецъ шептанье оканчивается; предсѣдатель, ученикъ старшаго класса Кнабенвурстъ, вынимаетъ бумажки съ именами присяжныхъ. Онъ дѣлаетъ это такъ опрятно, какъ будто показываетъ фокусы. „Смотрите, господа!“ такъ, кажется, и говоритъ онъ:

„вотъ полтинникъ, но вы можете быть увѣрены, что, покуда онъ находится въ этихъ рукахъ, онъ никогда не превратится ни въ полуимперіалъ, ни даже въ цѣлковый!“ Присяжные засѣдатели выбраны и начинаютъ отлынивать.

— Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу въ мелочной лавочкѣ —кто же теперича за меня сидѣть будетъ?—отговаривается одинъ.

— Я даже не понимаю, какимъ образомъ позволили себѣ привлечь меня... я въ государственной службѣ состою!—удивляется другой.

— Я и по домашности-то моей даже самаго простого обстоятельства разсудить не могу!—оправдывается третій.

Судъ шепчется и оставляетъ всѣ отговорки безъ послѣдствій. Засѣдатели вздыхаютъ и, понуривъ головы, садятся на лавкѣ вблизи прокурора. Одинъ изъ нихъ немедленно притворяется спящимъ.

На сей разъ Осликовъ является въ роли отставного солдата Дороѳеева и обвиняется въ кражѣ со взломомъ. Но онъ ни въ чемъ не сознается.

— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человѣкъ слабый, пьяный!—говоритъ онъ.

— Разскажите же намъ, какъ все это было!—настаиваетъ, тѣмъ не менѣе, предсѣдатель.

Защитникъ Тонкачевъ вскакиваетъ какъ ужаленный.

— Въ виду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи такихъ-то правилъ, запрещающихъ домогаться отъ обвиняемаго признанія,—говоритъ онъ,—я требую, чтобы мое заявленіе было записано въ протоколъ.

Судъ снова шепчется.

— Въ виду сейчасъ приведенныхъ защитникомъ законовъ,—говоритъ наконецъ, предсѣдатель,—подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитникъ! настаиваете ли вы на томъ, чтобы ваше заявленіе было записано въ протоколъ?

Защитникъ расшаркивается и говоритъ, что даннымъ подсудимому правомъ не сознаваться онъ удовлетворенъ даже превыше своихъ желаній. Онъ видитъ теперь, что передъ нимъ дѣйствительно судъ скорый, милостивый и правый...

— Приступимъ же къ выслушанію свидѣтелей.

Показанія свидѣтелей отличаются сбивчивостью и неопредѣленностью. Потерпѣвшая сторона, содержатель ночлежной, Савелій Потаповъ, не можетъ утвердительно сказать, точно ли найденный у Дороѳеева грошъ принадлежалъ ему, Потапову.

— Мой будто зубомъ покусанъ былъ, а этотъ новый, — говоритъ онъ.

Прокуроръ вскакиваетъ и пронизываетъ Потапова взоромъ.

— Такъ вы точно помните, что у васъ наканунѣ грошъ былъ?

— Да, это точно... былъ! Былъ грошъ—это вѣрно.

— Этого для меня достаточно-съ!

Прокуроръ что-то отмѣчаетъ карандашомъ на бумагѣ; защитникъ въ свою очередь нѣчто записываетъ.

Другой свидѣтель показываетъ:

— Это точно, что онъ возлѣ меня на нарахъ лежалъ...

— Такъ вы точно помните, что онъ лежалъ? Это не показалось вамъ? вы подтверждаете это и теперь?—допекаетъ прокуроръ.

— Лежалъ—это вѣрно! Рядомъ легли—рядомъ и встали!

— Этого для меня совершенно достаточно!

— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...—встаетъ съ своего мѣста защитникъ, но предсѣдатель прерываетъ его, говоря, что онъ въ свое время можетъ сказать все, что̀ находитъ нужнымъ, въ защиту подсудимаго.

— Я прошу занести въ протоколъ мое заявленіе, что защита не свободна!—настаиваетъ Тонкачевъ.

Предсѣдатель шепчется и объявляетъ, что защита можетъ, если желаетъ, сдѣлать нужное, по ея мнѣнію, замѣчаніе.

Тонкачевъ встаетъ, расшаркивается и заявляетъ, что онъ отлагаетъ замѣчаніе до произнесенія защитительной рѣчи. Тѣмъ не менѣе, онъ считаетъ своимъ долгомъ съ гордостью заявить, что видитъ передъ собой судъ скорый, милостивый и правый, который навѣрное отнесется къ его несчастному кліенту съ тою же гуманностью, съ какою относился и къ его собственнымъ заявленіямъ...

Наконецъ перекрестный допросъ кончился. Слово за прокуроромъ. Миша Нагорновъ нѣсколько блѣденъ, но глаза его такъ и пронизываютъ. Голосъ его сначала дрожитъ, но потомъ постепенно дѣлается тверже и тверже и подъ конецъ начинаетъ словно отчеканивать.

„Господа судьи! господа присяжные засѣдатели! — говоритъ онъ. — 15-го іюня, на Сѣнной площади, совершилось преступленіе, неяркое по своему внѣшнему выраженію, но яркое по своей сущности; преступленіе, доказывающее съ очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы въ нашемъ обществѣ понятія о правѣ собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вамъ, какъ необходимо, чтобы въ обществѣ существовали твердыя понятія о собственности; вы сами принадлежите къ почетному сословію собственниковъ, и лучше меня можете понять, какія важныя послѣдствія сопряжены для общества и для васъ съ сохраненіемъ этой твердыни, на которой зиждется благополучіе государствъ и народовъ. Криминалисты насчетъ этотъ единогласны; общество, не признающее собственности,—говорятъ они,—подобно стаду дикихъ звѣрей, изъ которыхъ каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вамъ встать на ту высоту, на которой слѣдуетъ стоять при обсужденіи предстоящаго намъ дѣла. Итакъ, въ іюнѣ 18** года, на Сѣнной площади, здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ сказать, въ центрѣ промышленнаго движенія, почти подъ глазами полицейскаго надзора, совершено дерзкое преступленіе. Въ ночь этого числа, въ одну изъ ночлежныхъ квартиръ, которыми изобилуетъ эта мрачная мѣстность, пришелъ ночевать отставной солдатъ Дороѳеевъ, а на другой день утромъ, когда хозяинъ квартиры, Савелій Потаповъ, проснулся и по своему обыкновенію пошелъ въ сундукъ, то сундукъ этотъ оказался роспертымъ, замокъ у сундука сломаннымъ, пробой сорваннымъ. При этомъ считаю долгомъ обратить ваше вниманіе, господа присяжные, на слѣдующее обстоятельство, къ которому я впослѣдствіи обращусь. Обстоятель-

ство это заключается въ томъ, что до того времени Дороѳеевъ почти каждый день посѣщалъ ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился съ хозяиномъ и до 15-го числа ночевать къ нему не ходилъ.

„Такова, милостивые государи, фабула преступленія. Спустимся же съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія и постараемся освѣтить ихъ. Но прежде, чѣмъ идти далѣе, я долженъ объяснить вамъ, господа присяжные, значеніе такъ-называемыхъ косвенныхъ уликъ.

„Что̀ такое косвенная улика? — Это такой признакъ преступленія, который хотя самъ по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но, будучи сопоставленъ съ другими, тоже не имѣющими собственнаго значенія, признаками, будучи разсматриваемъ, такъ сказать, въ связи съ цѣлымъ рядомъ такого же рода признаковъ, составляетъ совершеннѣйшее доказательство. Предположимъ, напримѣръ, что въ городѣ совершено убійство. Убитъ Z, котораго видѣли, какъ онъ вчера, въ такомъ-то часу вечера, выходилъ изъ кабака вмѣстѣ съ X, и о которомъ съ тѣхъ поръ никто ничего не слыхалъ. Вотъ это-то обстоятельство, что X вышелъ изъ кабака вмѣстѣ съ Z, и есть первое звено въ цѣпи косвенныхъ уликъ, которыми впослѣдствіи пораженъ будетъ X. Взятое отдѣльно, оно, конечно, ничего не значитъ. X могъ выйти вмѣстѣ съ Z изъ дверей кабака, но, пройдя по улицѣ нѣсколько шаговъ, они могли разойтись въ разныя стороны — совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тутъ начинается рядъ послѣдующихъ уликъ. Во-первыхъ, у X найдена на рукѣ царапина. И эта улика, конечно, сама по себѣ недостаточна, ибо X могъ оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и т. д. Но вотъ является вторая улика: на ногахъ у X найдены сапоги убитаго, которые были на послѣднемъ въ то время, когда его видѣли въ кабакѣ; это уже значительная прибавка къ суммѣ уликъ, хотя сама по себѣ и она все-таки ничего не значитъ. Мало-ли какимъ образомъ могъ пріобрѣсть X сапоги Z? Онъ могъ купить ихъ, могъ наконецъ выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здѣсь на помощь является третья улика: X не можетъ объяснить употребленіе своего времени между моментомъ выхода вмѣстѣ съ Z изъ кабака, и моментомъ, когда Z найденъ мертвымъ на улицѣ. Вы скажете, что и этотъ фактъ не имѣетъ рѣшительнаго значенія; вы скажете, что X, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, могъ забыть, гдѣ онъ былъ, что онъ могъ забыть это по разсѣянности, что онъ, можетъ быть, провелъ это время въ предосудительномъ мѣстѣ и ему не хочется въ томъ сознаться? Я первый со всѣмъ этимъ согласенъ, господа присяжные, но потому-то и убѣждаю васъ: обращайте вниманіе не на каждую косвенную улику въ отдѣльности, а на ихъ совокупность. Совокупность—это уже не отдѣльная какая-нибудь улика, но цѣлая, такъ сказать, совокупность или, другими словами, рядъ уликъ, взаимно другъ друга провѣряющихъ и подтверждающихъ!

„Совокупность—это единственное орудіе, которое имѣетъ правосудіе для борьбы съ зломъ! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершаетъ свои дѣянія въ темнотѣ ночи; оно окутываетъ ихъ мракомъ, составляетъ для нихъ искусственную обстановку, обманываетъ, заметаетъ слѣды! Но здѣсь-то именно и настигаетъ его недремлющее око правосудія! Ежели ты *тамъ* не былъ, то гдѣ же ты былъ? ежели ты не помнишь, гдѣ былъ, то

почему у тебя на рукѣ царапина? Какимъ образомъ очутились на твоихъ ногахъ чужіе сапоги? И такъ далѣе—покуда, наконецъ, изъ всѣхъ этихъ мелкихъ и, повидимому, ничтожныхъ признаковъ не образуется *совершеннѣйшее* доказательство!

„Вотъ этою-то „совокупностью уликъ“ и намѣренъ воспользоваться я относительно лица, сидящаго предъ вами на скамьѣ обвиняемыхъ.

„Первая косвенная улика — это самый сундукъ, который былъ вамъ предъявленъ Онъ носитъ на себѣ всѣ признаки взлома, и, конечно, самъ подсудимый не будетъ столь смѣлъ, чтобъ утверждать, что онъ въ такомъ видѣ вышелъ изъ рукъ творца.

„Взломъ существуетъ—это фактъ!!

„Но взломъ сдѣланъ не просто для взлома, а съ преступною цѣлью воспользоваться чужою собственностью — это тоже фактъ!! Еще вечеромъ 15-го іюня 18** года Потаповъ считалъ себя обладателемъ двоихъ старыхъ нестрядинныхъ портовъ, одной почти новой рубашки и монеты, называемой въ простонародьи семишникомъ. Утромъ, 16-го числа, этихъ вещей у него не стало. Онѣ исчезли, испарились, улетучились—все, что̀ угодно, но только исчезли со взломомъ, съ помощью сломаннаго висячаго замка и сорваннаго пробоя! Это вторая косвенная улика!

„Зачѣмъ Дороѳеевъ пришелъ къ Потапову? Защита, быть можетъ, скажетъ, что таково было обыкновеніе Дороѳеева; что квартира Потапова была ночлежнымъ домомъ, въ которомъ каждую ночь ночевало множество лицъ. Но, во-первыхъ, господа присяжные, къ словамъ защиты вообще слѣдуетъ относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ. Защита *заинтересована* въ оправданіи своего кліента (*сильное движеніе со стороны Тонкачева (ого!); предсѣдатель съ безпокойствомъ смотритъ* на Мишу, *но послѣдній, не смущаясь, продолжаетъ*); скажу болѣе: отъ этого оправданія зависитъ самое матеріальное обезпеченіе защиты (*Тонкачевъ вскакиваетъ*)... Но прекратимъ, однакоже, этотъ разговоръ, который—я сознаю—не всѣмъ можетъ здѣсь нравиться... И такъ, продолжаю. Во-вторыхъ, говорю я, почему же Дороѳеевъ пришелъ ночевать къ Потапову именно въ ту самую ночь, когда у послѣдняго совершена кража... кража со взломомъ, господа присяжные! Или тутъ есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ? Мы охотно согласились бы съ этимъ предположеніемъ, если бы не жили въ просвѣщенномъ девятнадцатомъ вѣкѣ, когда вѣра въ чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тутъ нѣтъ ни игры природы, ни чуда, а просто-на-просто есть третья косвенная улика!

„Чтобъ доказать, что тутъ нѣтъ никакого чуда, намъ не нужно даже ссылаться на просвѣщенное время, среди котораго мы живемъ. Мы такъ легко, самыми обыкновенными средствами, можемъ распутать эту кажущуюся случайность, что она даже въ вашихъ глазахъ, гг. присяжные, утратитъ всякое право претендовать на названіе случайности. И дѣйствительно, слѣдствіе съ полною ясностью раскрываетъ вамъ, что передъ этимъ Дороѳеевъ кряду пять дней не ночевалъ у Потапова, а имѣлъ пріютъ у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему такъ? — на этотъ вопросъ слѣдствіе отвѣчаетъ прямо: Дороѳеевъ былъ во враждѣ съ Потаповымъ, и именно поссорился съ

нимъ за пять дней передъ кражею, и именно изъ-за той почти новой рубахи, которая, какъ я сказалъ выше, вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ исчезла въ ночь 15-го іюня 18** года. За пять дней передъ тѣмъ Дороѳеевъ просилъ Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потаповъ соглашался, но просилъ 50 копѣекъ; Дороѳеевъ давалъ только 40. Торгъ не состоялся, но злоба запала глубоко въ сердце Дороѳеева. Онъ уже тогда не могъ сдержать ее, и при постороннихъ людяхъ сказалъ Потапову: „погоди жъ ты!“ Во сколько же разъ должна была возрасти эта злоба въ теченіе послѣдующихъ пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Дороѳеевъ человѣкъ неразвитой, человѣкъ нрава грубаго, человѣкъ, котораго ежеминутно должна была точить мысль объ этой почти новой рубашкѣ, на которую онъ, повидимому, давно уже смотрѣлъ завистливыми глазами! Въ виду этого соображенія ссора Дороѳеева съ Потаповымъ является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломомъ, но и уликой *преднамѣреннаго* ея совершенія!

„Но идемъ дальше. Свидѣтель Онуфріевъ утверждаетъ, что самъ слышалъ, какъ Дороѳеевъ чиркалъ спичкою, чтобъ добыть огня, а свидѣтель Прохоровъ прямо показалъ, что, лежа подлѣ Дороѳеева, онъ очень отчетливо слышалъ, какъ послѣдній ворочался съ боку на бокъ. Свидѣтельства подавляющія! Тѣмъ не менѣе, Дороѳеевъ возражаетъ противъ нихъ и, смѣю такъ выразиться, съ невозмутимою наглостью утверждаетъ, что онъ добывалъ себѣ огня и ворочался на нарахъ, потому что хотѣлъ идти за естественной надобностью! Позволяю себѣ, однакожъ, думать, гг. присяжные, что вы оцѣните это объясненіе, какъ оно того заслуживаетъ. Какъ! и здѣсь является эта всегдашняя безчестная уловка людей, промышляющихъ темнымъ и опаснымъ ремесломъ незаконнаго стяжанія! И вы повѣрите ей! Вещь неслыханная („chose inouïe“)! Этихъ людей какъ-то всегда обуреваютъ естественныя надобности именно въ тѣ минуты, когда имъ предстоитъ привести въ исполненіе ихъ темные, глубоко обдуманные замыслы! Естественная надобность! что̀ можетъ быть законнѣе этой причины?! Но спрашиваю я васъ: развѣ Дороѳеевъ былъ въ первый разъ въ этомъ домѣ, чтобъ не имѣть полной возможности удовлетворить своей надобности безъ помощи огня? Развѣ онъ не знаетъ всѣхъ входовъ и выходовъ? не знаетъ, какъ расположена всякая нара, какъ нужно пройти, чтобъ достигнуть желаемаго? — Нѣтъ, онъ знаетъ все это; онъ не знаетъ опредѣлительно только одного: гдѣ стоитъ хозяйскій сундукъ, тотъ сундукъ, который ему предстоитъ взломать. И вотъ, пользуясь темнотою ночи, увѣренный, что ночлежники, послѣ тяжкаго трудового дня, заснули сномъ, который позволяю себѣ назвать непробуднымъ, онъ зажигаетъ спичку и идетъ. Куда идетъ? что̀ хочетъ совершить? — онъ не сказываетъ намъ объ этомъ. Но мы... мы уже угадываемъ его преступныя намѣренія! Мы слѣдили шагъ за шагомъ за его дѣйствіями, и позволяемъ себѣ думать, что у насъ прибавилась еще пятая косвенная улика, и притомъ такая, которая, кромѣ кражи со взломомъ, свидѣтельствуетъ еще и о нераскаянности обвиняемаго.

„Наконецъ и еще улика — шестая: у Дороѳеева на другой день, утромъ, при обыскѣ, найденъ былъ за голенищемъ сапога семишникъ. Конечно, Дороѳеевъ утверждаетъ, что эти двѣ копѣйки составляютъ его собственность, — но гдѣ жъ доказательства справедливости этого показанія? Кто видѣлъ,

что у Дороѳеева вечеромъ 15-го числа 18** года были эти двѣ копѣйки? И почему у него оказалось именно двѣ, а не три, не пять, не десять, не двадцать копѣекъ? Опять игра случая! Странная эта игра, господа присяжные! выгодная для подсудимаго, но которую, благодаря вашему просвѣщенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что самъ Потаповъ показываетъ, что бывшій у него семишникъ *будто* бы покусанъ зубомъ, между тѣмъ какъ монета, найденная у Дороѳеева, имѣетъ видъ совершенно новый. Но можно ли вѣрить Потапову, потерпѣвшему отъ преступленія? Почему не предположить, что имъ овладѣло состраданіе къ своему старинному квартиранту? что онъ, давая сбивчивыя показанія, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ угрозъ, внушеній, мольбы? Но васъ, господа присяжные, подобныя колебанія въ показаніяхъ потерпѣвшей стороны не должны останавливать; или, лучше сказать, на васъ они должны имѣть силу совершенно въ обратномъ смыслѣ. Вы должны сказать себѣ: эти колебанія не больше какъ колебанія; а за ними стоитъ неоспоримая, неопровержимая и со всѣхъ сторонъ непререкаемая истина, которую я позволяю себѣ формулировать слѣдующимъ образомъ: вчера пропало двѣ копѣйки, сегодня—найдено тоже двѣ копѣйки. Ни больше, ни меньше.

„Вы спросите, можетъ быть: гдѣ же другія вещественныя доказательства, исчезнувшія изъ сундука вмѣстѣ съ семишникомъ? гдѣ двое старыхъ нестрядиныхъ портовъ? гдѣ почти новая рубашка? гдѣ носовой платокъ, о которомъ, по незаявленію претензіи со стороны потерпѣвшаго лица, обвиненіе можетъ только догадываться? На это я могу отвѣчать одно: не знаю. Но въ то же время позволяю себѣ предложить слѣдующую догадку. Ежели означеннаго имущества не оказалось у Дороѳеева, то не значитъ ли это, что онъ его спряталъ? Отсутствіе вещественныхъ доказательствъ развѣ всегда равносильно несуществованію ихъ? Нѣтъ, въ большей части случаевъ, тутъ не только нѣтъ тождества, но есть даже доказательство совершенно противнаго. Поймите меня, гг. присяжные! Когда человѣкъ боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, какъ спрятать ее — это аксіома. Слѣдовательно, ежели мы не находимъ искомаго даже послѣ самаго тщательнаго обыска, произведеннаго у преступника, то это еще не значитъ, что искомаго у него нѣтъ, а означаетъ только, что онъ имѣлъ основаніе *тщательно* отъ насъ его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убѣжденіе.

„Я кончилъ, господа присяжные. Вы знаете изреченіе: да будетъ судъ правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись къ предстоящему вамъ подвигу. Пусть будетъ вашъ судъ правымъ и *милостивымъ*, но въ то же время пусть будетъ онъ милостивымъ и *правымъ*. Пусть надъ преступникомъ прострется ваше милосердіе, но въ то же время пусть кара, достойная преступленія, настигнетъ его! Тогда и только тогда вы будете на высотѣ вашего призванія, и докажете враждебнымъ элементамъ, неустанно подтачивающимъ священнѣйшія основы общества, что милосердное око правосудія не дремлетъ. Оно не дремлетъ, милостивые государи, хотя оно *око*, а не *глаза*! Единственное око—но и тому вы не дадите сомкнуть вѣжды! Какое величественное зрѣлище, милостивые государи!“

Въ залѣ проносится смутный говоръ: рѣчь обвинителя произвела эф-

фектъ. Нагорновъ, красный и запыхавшійся, опускается на стулъ. Однако, несмотря на изнеможеніе, онъ еще находитъ въ себѣ достаточно силы, чтобъ послать черезъ залъ вызывающій взглядъ Тонкачеву. Въ публикѣ слышится вопросъ: вывернется или провалится Тонкачевъ?

Тонкачевъ—очень чистенькій мальчикъ, съ виду похожій на jeune premier (онъ уже въ старшемъ классѣ, и заранѣе усвоиваетъ себѣ всѣ замашки заправскихъ адвокатовъ изъ природы jeunes premiers). Онъ очень развязно помахиваетъ pince-nez и безъ малѣйшаго смущенія, даже съ нѣкоторою дерзостью, начинаетъ защитительную рѣчь. Ядовитость и иронія такъ и брызжутъ въ каждомъ его словѣ.

„Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвиненію. Старательность и усердіе, съ которымъ оно составлено, заслуживаетъ величайшей похвалы. Скажу болѣе: я совершенно, увѣренъ, что никогда, ни передъ однимъ судомъ не было сказано столь усердной обвинительной рѣчи, какъ та, которую вы сейчасъ слышали. Господинъ прокуроръ знаетъ, что ежели матеріальное обезпеченіе адвоката зависитъ отъ оправданія кліента, то, съ другой стороны, почести, которыя ждутъ впереди каждаго члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успѣхомъ...“

Миша, весь блѣдный, вскакиваетъ съ своего мѣста и дрожащимъ голосомъ произноситъ:

— Господа судьи! я протестую! я всѣми силами моей души („de toutes les forces de mon âme!“ мелькаетъ у него въ головѣ) протестую противъ инсинуаціи, которую дозволяетъ себѣ защита!

Судьи шепчутся; въ залѣ обнаруживается сдержанное волненіе.

— Защитникъ! приглашаю васъ оставаться въ предѣлахъ защиты! — произноситъ наконецъ предсѣдатель.

„Господа судьи! я вовсе не имѣлъ намѣренія оскорблять кого бы то ни было; я хотѣлъ только сказать, что для защиты имѣть дѣло съ противникомъ, который такъ старательно оправдываетъ довѣріе своего начальства — очень пріятно.

„Затѣмъ продолжаю, и ежели обвиненіе, какъ выразился г. прокуроръ, попыталось „спуститься съ факеломъ правосудія въ дебри преступленія“, то я съ своей стороны постараюсь съ тѣмъ же факеломъ спуститься въ дебри обвиненія и водрузить знамя освобожденія въ развалинахъ невинности.

„Вещь замѣчательная, господа („chose rémarquable, messieurs!“ мелькаетъ у него въ головѣ)! Передъ вами сейчасъ говорилъ одинъ изъ лучшихъ представителей нашего обвинительнаго искусства; вы слышали рѣчь, продолжавшуюся болѣе получаса, рѣчь, старавшуюся быть убѣдительною и, повидимому, построенную очень искусно...“

Миша судорожно подскакиваетъ на стулѣ; глаза его бѣгаютъ отъ предсѣдателя къ защитнику. Наконецъ предсѣдатель вновь выходитъ изъ бездѣйствія.

— Приглашаю защитника,—говоритъ онъ—воздержаться отъ оцѣнки талантовъ господина прокурора. Оцѣнивать эти таланты имѣетъ право лишь непосредственное его начальство.

„Но что же осталось въ вашемъ сознаніи, господа присяжные, теперь, когда рѣчь прокурора ужъ произнесена? Разберите внимательнѣе вынесенныя вами сейчасъ впечатлѣнія, и навѣрное вы найдетесь вынужденными отвѣтить на мой вопросъ только однимъ словомъ: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно, но это такъ. Я первый отдаю справедливость ораторскимъ средствамъ моего противника, его непреоборимому усердію, и за всѣмъ тѣмъ очень радъ за моего кліента, что единственный ясный результатъ, который вытекаетъ изъ рѣчи прокурора—это *ничего*!“

Нагорновъ хочетъ вновь обидѣться; предсѣдатель, видя это, начинаетъ ѣсть защитника глазами; еще одно лишнее слово — и Тонкачеву угрожаетъ прекращеніе защиты.

„Вамъ говорятъ, милостивые государи, что никакихъ прямыхъ уликъ, которыя доказывали бы, что преступленіе, о которомъ идетъ рѣчь, совершенное обвиняемымъ Дороѳеевымъ, въ виду обвинительной власти не имѣется. Я охотно этому вѣрю. Такъ какъ мой кліентъ невиненъ, то было бы даже странно, если бы противъ него были какія-нибудь дѣйствительныя, а не мнимыя доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиняемыхъ? А вотъ, говорятъ вамъ: противъ него существуютъ улики косвенныя. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенныя улики? Къ величайшему удовольствію нашему, отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ само обвиненіе. Косвенныя улики, говоритъ онъ, это тѣ самыя, которыя ничего не стоютъ. Это обрывки чего-то неяснаго, неизвѣстно откуда идущаго, это подслушанныя сплетни досужихъ кумушекъ, это безпорядочная сорная куча, изъ которой торчатъ обглоданныя арбузныя корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, однимъ словомъ, все, что никому не нужно, чѣмъ всякій гнушается, между чѣмъ ни подъ какимъ видомъ нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

„Господа присяжные! Во всемъ этомъ скрывается цѣлое искусство, искусство не очень важное, но во всякомъ случаѣ очень замѣчательное. Искусство играть ничего незначащими объѣдками, чтобы воспользоваться ими въ интересахъ обвиненія. Чтобы показать вамъ, что игра подобнаго рода не только возможна, но и легка, я сейчасъ приведу вамъ нѣсколько образчиковъ.

„Слѣдствіе показываетъ, напримѣръ, что обвиняемый не былъ *тутъ*; обвиненіе хватается за этотъ фактъ и уже формулируетъ его такъ: обвиняемый не былъ *тутъ*, слѣдовательно онъ былъ *гдѣ-нибудь*, слѣдовательно и *конечно*, онъ былъ тамъ, *гдѣ совершено преступленіе*. Вотъ одинъ образчикъ игры въ косвенныя улики. Какимъ образомъ очутилось здѣсь „конечно“ —этого, *конечно*, не объяснятъ даже знаменитые духи, совѣтовавшіе г. Корбе въ такую-то ночь посильнѣе взволновать г-жу Алымову. (*Въ публикѣ раздается: „браво!“ Предсѣдатель грозитъ очистить залу засѣданія.*) Другой образчикъ: наканунѣ пропало двѣ копейки, сегодня найдено тоже *двѣ* копѣйки; *слѣдовательно*, это тѣ самыя двѣ копѣйки, которыя пропали вчера. Откуда взялось это *слѣдовательно*? развѣ мало находится въ обращеніи двухкопѣечниковъ? Пусть прокуроръ заглянетъ въ свой собственный кошелекъ! Пусть поищетъ въ немъ! Быть можетъ, онъ найдетъ тамъ такой же семишникъ, этотъ salaire бѣднаго, къ которому онъ съ такимъ презрѣніемъ относился. (*Миша вскакиваетъ, безмолвно протестуя противъ приписывае-*

мой ему аристократической гадливости!) Почему же *этотъ* двухкопѣечникъ, который въ сію минуту находится въ кошелькѣ г. прокурора—не тотъ двухкопѣечникъ, который въ ночь съ 15-го на 16-е іюня 18** года пропалъ у Потапова?

„Но я не хочу идти далѣе, и не стану продолжать вопросовъ по каждой изъ указанныхъ обвиненіемъ уликъ. Это безполезно. Вѣдь это дѣло рѣшенное: само обвиненіе заранѣе объявило, что каждая изъ этихъ пресловутыхъ уликъ, взятая сама по себѣ, не стоитъ ломанаго гроша...

„Но вамъ говорятъ: важность заключается не въ каждомъ признакѣ преступленія, взятомъ въ отдѣльности, а въ ихъ совокупности! Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Что же, однако, означаетъ оно? Увы! Я сейчасъ буду имѣть честь объяснить вамъ, гг. присяжные, что оно означаетъ.

„Возьмите арбузное зерно, прибавьте къ нему нѣсколько хлѣбныхъ крохъ, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте нѣсколько обрѣзковъ бумаги—и спросите себя, что изъ этого можетъ выйти? Обвиненіе утверждаетъ, что изъ этого выйдетъ арбузъ (*въ публикѣ смѣхъ*), но *я*... я позволяю себѣ усомниться въ этомъ! Я прямо думаю, что это будетъ смѣсь предметовъ, которые, не имѣя никакой цѣнности, взятые порознь,—еще менѣе имѣютъ таковой, взятые вмѣстѣ! Это совсѣмъ не „совокупность“, а именно смѣсь, жалкая, никому не надобная смѣсь...

„Тѣмъ не менѣе, изобрѣтенный г. прокуроромъ арбузъ (*новый взрывъ смѣха въ публикѣ; Миша дѣлается красенъ, какъ раскаленное желѣзо*), при извѣстныхъ условіяхъ, дѣлается настолько опаснымъ, что равнодушно относиться къ нему невозможно. Такъ напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ, это уже не арбузъ, а разрывной снарядъ, который могъ бы убить моего кліента, если бы судьба его зависѣла отъ суда менѣе просвѣщеннаго и гуманнаго, нежели вашъ. Но вѣдь онъ могъ бы убить не одного моего кліента, а и каждаго изъ васъ, гг. присяжные. Каждый изъ васъ навѣрное гдѣ-нибудь находился во время совершенія преступленія; каждый изъ васъ можетъ найтись въ невозможности объяснить употребленіе своего времени; у каждаго изъ васъ (даже у г. прокурора!) могутъ найтись двѣ копѣйки; стало быть, каждаго изъ васъ, вслѣдствіе этихъ ничтожныхъ, ничего не объясняющихъ признаковъ, можно привлечь къ суду? Подумайте, господа, что будетъ съ обществомъ, въ которомъ г. прокурору будетъ дана возможность во всякое время по своему усмотрѣнію и въ кого попало пускать изобрѣтеннымъ имъ арбузомъ!

„Намъ говорятъ: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачиваютъ священнѣйшія основы общества! Осуждайте! ибо если преступленіе останется ненаказаннымъ, то общество превратится въ скопище дикихъ звѣрей, которые будутъ хватать другъ друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преслѣдуйте, будьте безпощадны, но не забудьте, что стрѣлы ваши должны попадать въ дѣйствительнаго преступника, а не въ прохожаго, который случайно очутился на пути пущеннаго прокуроромъ снаряда. Если кража, совершонная у Потапова, взываетъ къ небу о мщеніи, то почему же непремѣнно казнить Дороѳеева, а не каждаго изъ насъ, по усмотрѣнію г. прокурора? Почему, наконецъ, не казнить первую попавшуюся подъ руку куклу, чтобы на ней показать примѣръ наказуемости? Я самъ не утопистъ, милостивые го-

судари! Я далеко не принадлежу къ числу жалкихъ послѣдователей жалкой теоріи абсолютной невмѣняемости, которою гнусныя исчадія современнаго нигилизма думаютъ отвести глаза правосудію! Нѣтъ, я не нигилистъ! Напротивъ того, я глубоко убѣжденъ, что преступная воля должна быть наказана, что преступникъ, какъ говоритъ безсмертный Гегель, не только имѣетъ право на наказаніе, но можетъ даже требовать его; однако согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требованіе исходило отъ человѣка чистаго, совсѣмъ непричастнаго содѣянному! Дороѳеевъ невиненъ—зачѣмъ же онъ будетъ требовать, чтобы его наказали?!..

„Затѣмъ, обращаясь къ случаю, по поводу котораго довѣріе начальства призвало васъ, гг. присяжные, произнести приговоръ, я просто нахожу излишнимъ говорить что-либо въ оправданіе моего кліента. Да, онъ ночевалъ у Потапова, онъ чиркалъ спичкою, онъ приторговывалъ у потерпѣвшей стороны „почти новую“ рубаху—я охотно допускаю все это, но ни въ чемъ не вижу преступленія! Я не проникалъ въ тайники души Дороѳеева — эти тайники, господа, открыты только Богу! —но, оставаясь на почвѣ фактовъ, я могу быть совершенно покойнымъ. Господа присяжные засѣдатели! вы не захотите обмануть довѣріе начальства! вы объявите подсудимаго Дороѳеева невиннымъ!“

Эта рѣчь производитъ эффектъ потрясающій. Осликовъ будетъ оправданъ—это несомнѣнно. Тонкачевъ съ какою-то неизреченною самоувѣренностью качается на стулѣ. Какъ будто хочетъ сказать: „и зачѣмъ вы меня изъ пустяковъ тревожили! зачѣмъ отняли понапрасну столько драгоцѣнныхъ минутъ!“ Нагорновъ понимаетъ это; онъ догадывается, что, какъ обвинитель, онъ хватилъ нѣсколько черезъ край, и потому отказывается отъ возраженія. Въ публикѣ слышится сдержанный смѣхъ; слово: „арбузъ! нагорновскій арбузъ!“ —летаетъ по рядамъ, и можно предвидѣть, что слово это не скоро забудется въ заведеніи. Но у Нагорнова есть звѣзда, и она выручаетъ его въ ту самую минуту, когда противники считаютъ его уже погибшимъ.

— Подсудимый Дороѳеевъ! что имѣете вы прибавить въ свою защиту?— обращается предсѣдатель къ Осликову.

Осликовъ лѣниво встаетъ и, ковыряя въ носу, озираетъ присутствующихъ. Тонкачевъ съ ужасомъ начинаетъ подозрѣвать, что кліентъ его позабылъ всѣ внушенія, которыя были ему даны передъ засѣданіемъ.

— Да что говорить, ваше высокородіе! — произноситъ наконецъ Осликовъ:—мой грѣхъ! я укралъ!

Тонкачевъ кидается къ Осликову; Нагорновъ поднимаетъ голову и, сложивъ на груди руки, бросаетъ своему противнику взглядъ, исполненный неизреченнаго торжества. Общій взрывъ хохота, подъ шумъ котораго никто не слышитъ рѣчи, которую предсѣдатель, въ видѣ безконечно тянущейся канители, обращаетъ къ присяжнымъ засѣдателямъ, вручая имъ листъ съ вопросными пунктами и убѣждая ихъ оправдать довѣріе начальства.

— Если вы найдете, что подсудимый виноватъ,—взываетъ предсѣдатель:—то скажете: *виновенъ*; если же найдете, что подсудимый невиноватъ, то скажете: *невиновенъ*. Идите же, и пусть Богъ просвѣтитъ сердца ваши!

Присяжные засѣдатели уходятъ, и черезъ минуту выносятъ приговоръ: *виновенъ* — по всѣмъ вопросамъ. Судъ присуждаетъ Осликова къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ заключенію въ арестантскихъ ротахъ въ теченіе пяти лѣтъ.

Ученики спѣшатъ въ классы. Мсьё Петанлеръ ловитъ на дорогѣ Тонкачева.

— Ecoutez, Tonkatschoff! — говоритъ онъ:—vous avez été brillant, même éblouissant de verve et d'esprit, mais la vérité a été, comme toujours, du coté de Nagornoff! Comment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne sois pas coupable! Mais... au nom de Dieu!

По воскресеньямъ Миша разсказываетъ о своихъ подвигахъ родителямъ.

Со времени открытія новыхъ судовъ между родителями поселилось нѣкоторое разногласіе относительно будущности сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семенъ Прокофьичъ склоняется на сторону прокурорскаго надзора.

— Да ты слышалъ ли, въ департаментѣ-то сидя, какіе *они* куски рвутъ!—убѣждаетъ Анна Михайловна мужа.

— Всѣхъ денегъ, матушка, не ограбишь. Да вѣдь если очень-то шибко по чужимъ карманамъ лазить начнешь, такъ и въ Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавровъ-то вѣдь не далеко. Ну, и Бельмесовъ тоже. Гуляетъ онъ до поры до времени, а я все-таки надѣюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то подъ глазами—онъ у насъ все равно, что у Христа за пазушкой будетъ! А можетъ быть еще политическій процессъ—такъ ты вотъ и понимай тутъ!

Самъ Миша тоже не могъ опредѣлительно сказать, куда ему хочется: въ адвокаты или въ прокуроры. Иногда, идетъ онъ мимо милютиныхъ лавокъ, и думаетъ: „Непремѣнно въ адвокаты пойду! вѣдь все, все, что тутъ ни есть — все мое будетъ! Каждый день по четыре коробки сардинокъ съѣдать буду!“

Въ другой разъ его плѣняетъ прокурорскій мундиръ и сопряженная съ нимъ неуклонность. Да это и не мудрено, потому что вѣдь тутъ все-таки не то, что жулика защитить — тутъ, съ позволенія сказать, *общество* въ опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствіе! попранное право собственности! низринутые въ прахъ авторитеты!—какія величественныя, повергающія въ трепетъ задачи! И какая дорога впереди! сколько поводовъ для волненій на этомъ пути, въ началѣ котораго стоитъ какой-нибудь жалкій судебный слѣдователь или секретарь суда *), а въ концѣ — министръ! А тутъ еще, чего добраго, политическій

---

*) Авторъ оговаривается: что должности судебнаго слѣдователя и секретаря суда очень почтенныя должности—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; слѣдовательно, ежели онѣ представляются жалкими, то не съ точки зрѣнія автора, а съ точки зрѣнія Миши Нагорнова. Для обвиненія въ диффамаціи тутъ нѣтъ повода, развѣ что кто-нибудь вздумаетъ преслѣдовать Мишу Нагорнова.—*Авт.*

процессъ наклюнется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

— Вѣдь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задеря хвостъ, по управамъ благочинія летаетъ, а въ нѣкоторомъ родѣ... гардъ де-ссо!

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представленіе о четырехъ коробкахъ сардинокъ почти всегда одерживало верхъ надъ честолюбивыми мечтами. Миша не могъ пройти мимо человѣка, чтобы не видѣть въ немъ „кліента“, а разъ усмотрѣвши кліента, онъ уже невольно ѣлъ его глазами.

— Я, маменька, Плотицына сегодня во снѣ видѣлъ!—открывался онъ Аннѣ Михайловнѣ въ минуту, когда апетитъ ужъ очень сильно начиналъ тревожить его.

— Ужъ какъ бы хорошо! ужъ такъ бы хорошо! ахъ, какъ хорошо!— вмѣсто отвѣта восклицала Анна Михайловна и даже вся краснѣла отъ волненія.

— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

— Кто съ нимъ, съ упрямымъ, сговоритъ! А какіе куски-то они рвутъ! ахъ, мой другъ, какъ рвутъ!

— Да это само собой! Неужто жъ потачку давать! Тридцать процентиковъ, батюшка! тридцать процентиковъ, милости просимъ-съ!

— Вѣдь нынче шагу безъ него, мой другъ, ступить нельзя! Дыхнуть безъ него, безъ кровопивца, возможности нѣтъ! Ты шагъ впередъ—онъ два! И все-то забѣгаетъ, все-то впередъ бѣжитъ, все то норовитъ подножку тебѣ подставить!

— Однакожъ какое это, маменька, величественное зданіе!

— Вѣдь ужъ коли попалъ ты *ему* въ лапы—такъ тамъ и держись! И не шевелись! Все равно, что въ капканѣ! Ужъ *онъ* тебя лущитъ-лущитъ! Онъ тебя чиститъ-чиститъ! Путаетъ-путаетъ! И до тѣхъ поръ онъ тебя на волю не выпуститъ, покуда, что называется, какъ стельку не обстрижетъ!

— Ну, маменька, не всѣ такъ! Вотъ у насъ Благолѣповъ адвокатъ есть, такъ тотъ даже самъ съ удовольствіемъ, по силѣ возможности, кліенту подаритъ! Намеднись выигралъ дѣло одной кліентки, ну, кліентка и пріѣзжаетъ къ нему. „Что, говоритъ, Василій Васильичъ, вы съ меня за труды положите?“ А онъ, знаете, покраснѣлъ этакъ, да такъ прямо и брякнулъ: „я, говоритъ, сударыня, за добрыя дѣла деньгами не беру, а вотъ кабы вы просвирку за меня вынули!“

— Ну, ужъ это какой-то... необыкновенный какой-то? Однакожъ какъ бы ты думалъ! хоть просвиркой, а все-таки взялъ! Иной разъ, душа моя, и просвирка... ахъ, какъ это иногда важно, мой другъ! Молитва-то! вѣдь она, кажется... и ничего въ ней нѣтъ... анъ, смотришь, и долетѣла! Анъ онъ въ другомъ мѣстѣ уйму денегъ урвалъ или вотъ въ лотерею двѣсти тысячъ выигралъ! за молитву-то!

— Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

— Не говори этого, мой другъ! ахъ, не говори! какъ знать, чего не знаешь!

— А какъ бы, маменька, хорошо-то! Вотъ, говорятъ, Отпѣтый такую „деверію“ завелъ, что вся кавалерія смотритъ да зубами щелкаетъ!

— Ну, это, мой другъ, тоже опасно. По моему, лучше копить. Вѣдь эти прорвы, душа моя... много, ахъ, много деньжищъ нужно, чтобы до сытости ихъ довести! У насъ, мой другъ, у директора такая-то была, такъ онъ не то что все состояніе свое въ нее ухлопалъ, а и казну-то, кажется, по міру бы пустилъ, кабы вò-время его за руку не ухватили! Вонъ теперича и живетъ да поживаетъ въ Архангельской губерніи, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысакахъ гарцуетъ!

— А хорошо бы, маменька!

— Ужъ какъ бы не хорошо, кабы не эта ихъ жадность! Опрятны онѣ очень—вотъ чѣмъ берутъ! Нашей русской противъ нихъ — и ни Боже мой! Только и дерутъ же онѣ за эту чистоту! Годиковъ этакъ пять-шесть пофорсила—глядишь, либо домину въ четыре этажа вывела, или въ ломбардъ цѣлую уйму деньжищъ спрятала! А брильянтовъ-то сколько! а кружевъ-то!

— Имъ, маменька, безъ брильянтовъ нельзя. А что касается до богатства, такъ я отъ одного адвоката за вѣрное слышалъ, что у иной, кромѣ брильянтовъ да кружевъ, ничего и нѣтъ. Да и тѣ, какъ получитъ, сейчасъ же у закладчика заложитъ, да у него же опять и беретъ на прокатъ!

— Ужъ будто бы бѣдность такая! все, чай, сколько-нибудь накопитъ!

— Ей-Богу, маменька, такъ. Вѣдь онѣ до сихъ поръ все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь въ ходъ пошли, а прежде все съ офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денегъ истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дѣло — квартира, ковры, бѣлье, второе—экипажъ, третье—туалетъ, чтобы новый каждый день былъ...

— И за все-то, мой другъ, съ нея вдвое! за все-то вдвое противъ другихъ дерутъ! Потому всякій знаетъ, что она нечестная — ну, и берутъ! Она и торговаться-то даже, мой другъ, не смѣетъ, а такъ прямо и отдаетъ!

— Вотъ видите! Платье-то, можетъ быть, на ней пятьсотъ рублей стоитъ, а офицеръ-то возьметъ, да за обѣдомъ его шампанскимъ обольетъ!

— И обольетъ! Ты думаешь, не обольетъ! Да и какъ еще обольетъ-то! Офицеръ—вѣдь онъ гордъ! На, скажетъ, подлянка! понимай, каковъ я есть!

— Такъ вотъ то-то и есть! Тутъ, маменька, ужъ не о четырехъ-этажныхъ домахъ приходится думать, а о томъ, какъ бы самой то лѣтъ пятокъ-другой продышать!

— Гдѣ ужъ о домахъ думать! да еще то ли съ ними дѣлаютъ! Еще нынѣче все-таки потише стало, а прежде, бывало, какъ поразскажетъ папенька!..

— Ужъ будто и папенька!!

— А ты какъ бы объ отцѣ-то своемъ полагалъ! Тоже, батюшка, сахаръ медовичъ былъ! Это чтобы „деверію“ встрѣтить, да, высуня языкъ, цѣлыя сутки за ней не пробѣгать—да упаси Богъ, чтобы онъ случай такой пропустилъ! Пытала я первое-то время плакать отъ него! Бывало, онъ рыскаетъ тамъ, по Мѣщанскимъ-то, а я лежу одна-одинешенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни однимъ, то-есть, словомъ никогда я его не попрекнула, чтобы тамъ взглядъ какой-нибудь или жестъ недовольный... Никогда! Всегда—милости просимъ!

Анна Михайловна лжетъ, и Миша тоже очень хорошо знаетъ, что Се-

менъ Прокофьичъ имѣетъ о „деверіяхъ“ самыя первоначальныя, такъ сказать, дѣтскія понятія. Но имъ обоимъ пріятно лгать, потому что предметъ-то лганья очень ужъ занятенъ. Они ходятъ обнявшись по комнатѣ и мечтаютъ. Анна Михайловна мечтаетъ о томъ, сколько бы у нея было изюму, черносливу, вермишели, макаронъ, однимъ словомъ—всего, чего только душа проситъ. Мечтанія Миши обращены больше въ сторону „кокотки“.

— Еще бы не хорошо! ужъ такъ-то бы хорошо! — восклицаетъ Анна Михайловна.

— Ахъ, маменька! — стонущимъ голосомъ вторитъ ей Миша, и ни съ того, ни съ сего цѣлуетъ ее.

Но вотъ является Семенъ Прокофьичъ, только-что совершившій утреннее воскресное поклоненіе директору. Бесѣда разомъ принимаетъ другой характеръ.

— Ну, что, молодецъ, опять кого-нибудь въ каторжныя работы сослалъ?—спрашиваетъ счастливый отецъ.

— Нѣтъ, только на пять лѣтъ въ арестантскія роты! Да и то, папенька, преступникъ ужъ самъ сознался! Чуть-чуть было Тонкачевъ не загонялъ меня!

— Какъ же это ты, братъ, маху далъ! Ай, ай, ай!

— Да вѣдь трудно, папенька!

— А ты напирай, братецъ! Онъ отъ тебя, а ты за нимъ! Онъ въ сторону, а ты обѣги кругомъ—да встрѣчу! Вотъ, братецъ, какъ дѣла-то обдѣлывать нужно!

— Да я, папенька, и такъ...

— Ну, да вѣдь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и въ арестантскія роты на пять лѣтъ! Ну, и пущай его посидитъ! За дѣло! Впередъ не блуди!

— А у насъ, папаша, на будущей недѣлѣ въ „заведеніи“ политическій процессъ приготовляется!

— Ну, вотъ и дѣло! Вотъ этихъ лохматыхъ да стриженыхъ — это такъ! Катай ихъ!

— А я бы, право, Мишеньку въ адвокаты отдала!—какъ-то нерѣшительно заговариваетъ Анна Михайловна.

Этого робкаго заявленія достаточно, чтобы въ одно мгновеніе прогнать хорошее расположеніе духа Семена Прокофьича.

— И что тебѣ, матушка, за охота мнѣ передъ обѣдомъ апетитъ портить!—брюзжитъ онъ.—Вотъ дай срокъ, умру, тогда хоть въ черти-дьяволы, хоть въ публичный домъ его отдавай!

Высказавъ это, Семенъ Прокофьичъ, огорченный и раздраженный, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ и вплоть до самаго обѣда не показывается оттуда.

Ничто не измѣнилось въ теченіе шестнадцати лѣтъ, въ воскресныхъ обѣдахъ Нагорновыхъ,—только посѣтители ихъ какъ будто повыцвѣли. Дѣдушка Михайло Семенычъ ужъ не управляетъ архивомъ и съ тѣхъ поръ, какъ находится въ отставкѣ, какъ-то опустился, пересталъ шутить и, словно мхомъ, весь обросъ волосами. Онъ худо слышитъ, глядитъ какъ-то тускло

и безпомощно и плохо ѣстъ. Сестрицы-дѣвицы попрежнему остаются сущими дѣвицами, но уже не краснѣютъ и не стыдятся при словѣ „мужчина“, но сами охотно заговариваютъ о самопомощи, самовоспитаніи и вообще обо всемъ, что имѣетъ какое-нибудь прикосновеніе къ женскому вопросу. Самъ Семенъ Прокофьичъ, съ тѣхъ поръ, какъ его сдѣлали генераломъ, постоянно задумывается и что-то шепчетъ про себя, какъ будто разсчитываетъ, къ какому же, наконецъ, празднику дадутъ ему звѣзду. Пирогъ съ сигомъ подается по прежнему, но невскій сижокъ до такой степени поднялся въ цѣнѣ, что вынуждены были замѣнить его ладожскимъ и волховскимъ. Однимъ словомъ, жизнь видимо угасаетъ въ этомъ семействѣ и, можетъ быть, даже давно угасла бы, еслибъ отъ времени до времени не пробуждалъ ее Миша прикосновеніемъ своего скромнаго, но все-таки молодого задора.

— Нынче, батюшка, у насъ кулебяка не прежняя!—начинаетъ бесѣду Семенъ Прокофьичъ, обращаясь къ старику Рыбникову: — нынче невскими-то сижками князья да графы... да вотъ аблакаты лакомятся, а съ насъ, дѣйствительныхъ статскихъ, и ладожскаго предовольно! Да вѣдь и то сказать, чѣмъ же ладожскій сигъ—не сигъ!

Рыбниковъ мычитъ что-то въ отвѣтъ, но, очевидно, только изъ учтивости, потому что ничего не слышитъ, хотя Нагорновъ и старается говорить какъ можно отчетливѣе.

— Прежде, батюшка ваше превосходительство, говядина-то восемь копѣечекъ за фунтъ была, а нынче Богъ такъ привелъ, что за бульонную по двадцати копѣечекъ платимъ. Дорогъ понастроили, думали, что хоть икра дешевле будетъ, анъ и тутъ легости нѣтъ. Вотъ я за самую эту квартиру прежде пятьсотъ на ассигнаціи платилъ, а нынче она ужъ пятьсотъ-то серебрецомъ изъ кармана стоитъ-съ! Такъ-то вотъ!

Общее молчаніе. Всѣ понимаютъ, что Семенъ Прокофьичъ къ чему-то ведетъ свою рѣчь, и ждутъ понурившись. И дѣйствительно, по тѣмъ подергиваньямъ, съ которыми онъ рѣжетъ пирогъ и посылаетъ въ ротъ куски его, видно, что на сей разъ дѣло не обойдется безъ нравоученія.

— А сыночекъ вотъ въ аблакаты устремляется!—разражается наконецъ Семенъ Прокофьичъ: — а отъ этихъ, прости Господи, сорванцовъ, и бѣдствія-то всѣ на насъ пошли!

Молчаніе дѣлается еще глубже и тягостнѣе.

— У отца за душой гроша нѣтъ, а у сынка ужъ актрисы на умѣ... да какъ эти... камеліями, что-ли, онѣ у васъ прозываются?

— Камеліями, папенька.

— Камелія, батюшка, — это цвѣтокъ такой. Цвѣтками назвали! настоящимъ-то манеромъ стыдно назвать, такъ по цвѣтку названіе выдумали!

— Помилуйте, папенька, развѣ я...

— Я не объ тебѣ, мой другъ, а вообще про молодежь про нынѣшнюю... Зависть, батюшка ваше превосходительство, у нихъ какая-то появляется, коли они у котораго человѣка въ карманѣ рубль видятъ! Мысли другой никакой нѣтъ! Такъ вотъ и говоритъ тебѣ въ самые глаза: не твой рубль, а мой! И такъ это на тебя взглянетъ, что даже сконфузитъ всего! Точно ты и

въ самомъ дѣлѣ виноватъ передъ нимъ! точно и въ самомъ дѣлѣ у тебя не свой, а его рубль-то въ карманѣ!

Миша слушаетъ, уткнувшись въ тарелку. Очевидно, онъ недоволенъ. Какъ представитель молодого поколѣнія, онъ считаетъ своимъ долгомъ хотя пассивно, но достойно протестовать противъ клеветы на него.

— Иду я это, батюшка, намеднись по Катериновкѣ,—продолжаетъ обличать Семенъ Прокофьичъ:—а передо мной два школяра идутъ. „Вотъ бы, говоритъ одинъ, кабы въ этой канавѣ разомъ всю рыбу выловить — вотъ бы денегъ-то много забрать можно!“ Такъ вотъ у нихъ жадность-то какова! А того и не понимаетъ, малецъ, что въ нашей Катериновкѣ, кромѣ нечистотъ изъ Зондерманландіи, и рыбы-то никакой нѣтъ!

При словѣ: „Зондерманландія“, старикъ Рыбниковъ обнаруживаетъ нѣкоторое оживленіе.

— Да, братъ, бывали! бывали мы тамъ!—шамкаетъ онъ.

— Вотъ онъ, аблакатъ-то этотъ, какъ нахватаетъ чужихъ-то денегъ, ему и не жалко! Въ лавку придетъ — всю лавку подавай! А мы терпи! Онъ чужой двугривенчикъ-то за говядину отдаетъ, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

— Бывали! бывали! — прерываетъ старикъ Рыбниковъ, думая, что рѣчь все идетъ объ Зондерманландіи.

— Нѣтъ, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у нихъ аукціонъ насчетъ этихъ деверій-камелій идетъ! Офицеръ говоритъ: полторы, говоритъ! Онъ: двѣ, говоритъ! Офицеръ опять: двѣ съ половиной! Онъ: три, говоритъ! Откуда онъ деньги-то беретъ! Вы вотъ что мнѣ, батюшка, объясните!

— Да... да... въ Зондерманландіи... это точно!

— И вѣдь ничего-то у него на умѣ, кромѣ стяжанья этого, нѣтъ! Не то чтобы государству или тамъ отечеству... послужить бы тамъ, что-ли... Нѣтъ, только одну мысль и держитъ въ головѣ: какъ бы мамонъ себѣ набить!

Семенъ Прокофьичъ постепенно приходитъ въ такой азартъ, что даже бросаетъ на тарелку ножъ и вилку.

— А насъ взяточниками обзываютъ!—гремитъ онъ:—мы обрѣзочки да обкусочки подбирали—мы взяточники! А онъ цѣлаго человѣка за-разъ проглотитъ готовъ—онъ ничего, онъ благородный! Зачѣмъ, молъ, сей человѣкъ праздно по свѣту мыкается! Пускай, молъ, онъ у меня въ животѣ отлежится!

Гусь стоитъ посреди стола нетронутымъ. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагиваютъ губы; даже старикъ Рыбниковъ начинаетъ понимать, что происходитъ нѣчто неладное.

— И вотъ тебѣ мой отцовскій завѣтъ, Михайло Семенычъ!—въ упоръ обращается къ сыну старикъ Нагорновъ.—Въ аблакаты — ни-ни! Просвирками-то, братъ, не проживешь, да ты и теперь ужъ надъ просвирками-то посмѣиваешься! Ты, братъ, можетъ, на за границу засматриваешься, что тамъ аблакатъ-то въ почетѣ! Такъ вѣдь тамъ онъ человѣкъ вольный: сегодня онъ аблакатъ, а завтра министръ—вонъ оно что! А ты здѣсь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

Миша убѣждается, что, благодаря отцовскому предупрежденію, двери въ адвокатуру для него закрыты. Онъ рѣшается идти въ прокуроры, и въ согласность этому рѣшенію пріучаетъ себя слегка голодать. „У прокурора, говоритъ онъ себѣ, животъ долженъ имѣть форму вогнутаго зеркала, чтобы служилъ не къ обременѣнію, а чтобы всегда... вездѣ... ваше превосходительство!.. готовъ-съ!“

Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго исполнителя—типъ еще наростающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же русскій Митрофанъ, готовый и просвѣщаться, и просвѣщать, сражаться и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время онъ нѣсколько замутился, благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній и неумѣнію съ желательною скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ, какъ стекло, и овладѣетъ браздами...

Миша уже и ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправскій прокуроръ. Строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплются: „по уложенію о наказаніяхъ“, „по смыслу такого-то рѣшенія кассаціоннаго департамента“, „на основаніи правилъ о судопроизводствѣ“, „въ Сводѣ законовъ гражданскихъ, статья такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено“ и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами онъ все какъ будто обвиняетъ и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такія дѣла, по статьѣ такой-то, слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на три года запрятать!—говоритъ онъ: —да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натянуть можно!

Въ большой залѣ, въ ресторанѣ Бореля, свѣтло и людно. Говоръ, смѣхъ остроты и шутки не умолкаютъ. Татары безшумно мелькаютъ взадъ и впередъ, перемѣняя тарелки, принимая опорожненныя бутылки и устанавливая столъ новыми. Это пируютъ за субботнимъ товарищескимъ ужиномъ будущіе прокуроры, будущіе судьи, будущіе адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то въ томъ, то въ другомъ ресторанѣ, и за бокаломъ вина обсуждаютъ ожидающія ихъ впереди карьеры. Начальство знаетъ объ этомъ, но, въ виду скораго выпуска, смотритъ на запрещенныя сходки сквозь пальцы.

Разговоръ дробится по группамъ. На одномъ концѣ стола ведутъ рѣчь о томъ, что̀ выгоднѣе: въ столицѣ быть адвокатомъ или въ провинціи?

— Ловкачевъ! ты куда?

— Странный вопросъ! — разумѣется, въ адвокаты! не въ судьяхъ же пять лѣтъ на одномъ стулѣ сидѣть!

— Я, братъ, тоже въ адвокаты, да только думаю въ провинцію. Здѣсь ужъ очень много нашего брата развелось!

— Что̀ жъ! это мысль!

— Я, братъ, на дняхъ одного провинціальнаго адвоката встрѣтилъ, такъ очень хвалитъ! Такое, говоритъ, житье, что даже повѣрить трудно!

— А какъ однако?

— А тысячъ пятнадцать, двадцать въ годъ! Только, говоритъ, у насъ деликатесы-то бросить надо!

— То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?

— А такъ, говоритъ, какая сторона больше дастъ—ту и защищай!

— Это само собой! да тамъ дѣла-то все мозглявыя!

— Это нужды нѣтъ! Мнѣ, говоритъ, хоть по зернышку, да почаще! Вѣдь онъ тамъ одинъ какъ перстъ—ну, все и захватилъ! А ежели пріѣдетъ, говоритъ, еще адвокатъ—сейчасъ, говоритъ, въ другой городъ переберусь!

— Да; двоимъ—это точно... пожалуй, и дѣлать тамъ нечего!

— А теперь, представь себѣ, какъ ему хорошо! Что ни дѣло, то вѣрный выигрышъ, потому что у него и противниковъ-то настоящихъ нѣтъ. Народъ безсловесный все: стало быть, истецъ ли, отвѣтчикъ ли, какъ только не успѣлъ заручиться имъ, такъ ужъ и знаетъ заранѣе, что дѣло его пропало. Для меня, говоритъ, любое дѣло защитить — все одно, что въ вистъ съ тремя болванами партію сыграть!

— Да! это мысль!—объ этомъ стоитъ подумать!

Въ другой группѣ, средоточіемъ которой служитъ Миша Нагорновъ, идетъ тотъ же разговоръ, но съ другими варіаціями.

— Нѣтъ, Проходимцевъ, я съ тобой не согласенъ! — ораторствуетъ Миша:—въ существованіи прокурора есть тоже свои хорошія стороны!

— Еще бы не было! даже египетскіе аскеты, когда жевали акридъ—и тѣ находили, что существованіе ихъ имѣетъ свои хорошія стороны!

— Ну, нѣтъ-съ; тутъ не акридами пахнетъ. Это не совсѣмъ такъ. Я заранѣе приглашаю тебя на прокурорскій обѣдъ, и будь увѣренъ, что ты всегда найдешь у меня и кусокъ сочнаго „бульи“, и стаканъ добраго вина!

— „Бульи“!

— Что-жъ; и „бульи“ не у всякаго адвоката бываетъ! Конечно, есть между ними такіе, которые изъ трюфлей не выходятъ — я заранѣе уступаю тебѣ, что въ прокураторѣ я этого не найду!—ну, да вѣдь это изъ десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не будетъ въ твоей адвокатурѣ —это возможности восходить по лѣстницѣ должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать современемъ на ту высоту, съ которой человѣческіе интересы кажутся какимъ-то жалкимъ миражемъ, мгновенно разлетающимся при первомъ появленіи изъ-за тучъ величественнаго свѣтила государственности!

— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

— Нѣтъ, отчего жъ! Я понимаю, что препятствія будутъ, и даже препятствія очень серьезныя! Но мнѣ кажется, что ежели я съумѣю заслужить довѣріе моего начальства, то самыя препятствія обратятся мнѣ же на пользу! Они только закалятъ меня и въ то же время утратятъ характеръ непреодолимости!

— Вотъ закалъ-то этотъ...

— Да ты пойми, душа моя: два-три хорошихъ убійства — и у меня дѣло въ шляпѣ... Я ужъ на виду! А если тутъ не повезетъ, можно по части проектцевъ пройтись! Проектецъ, напримѣръ, по части измѣненія судебныхъ уставовъ... какіе тутъ виды-то представиться могутъ!

— Такъ, значитъ, будемъ рѣзаться другъ противъ друга?

— Значитъ, будемъ рѣзаться!

Въ другихъ пунктахъ стола идутъ разговоры болѣе отрывочные.

— Да съ этого дѣла, — выкрикиваетъ кто-то — не то что тридцать, сто тысячъ взять мало! Это ужъ глупо! Это просто-на-просто значитъ дѣло портить!

— Ну, братъ, сто тысячъ—дудки! Кабы нашего брата поменьше было —это такъ! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысячъ заполучить! А теперь... откажись-ка ты отъ тридцати-то тысячъ—десятки на твое мѣсто явятся! Нѣтъ, братъ, нынче и за тридцать тысячъ въ ножки поклонишься!

— Я навѣрное это знаю,—выкрикиваетъ другой:—что ежели ты ему впередъ тысячи рублей не выложишь, онъ пальцемъ объ палецъ для тебя не ударитъ! Намеднись въ Пензу по дѣлу о растлѣніи малолѣтней его приглашали, такъ онъ прямо наотрѣзъ потребовалъ: первое — восемь тысячъ на столъ—это ужъ безъ возврата, значитъ; второе — ежели вмѣсто каторги только на поселеніе—еще восемь тысячъ; третье—ежели совсѣмъ оправлю—двадцать тысячъ!

— Ну, это, братъ, молодецъ!

— Господа!—выкрикиваетъ третій:—я предлагаю составить компанію для отравленія этой нѣмки!

— Какой нѣмки? какой нѣмки?—сыплются со всѣхъ сторонъ вопросы.

— Да вотъ той, которая двадцать милліоновъ долларовъ въ наслѣдство получила! Боковая линія пятидесяти процентовъ не пожалѣетъ, чтобъ ее извести!

— Этотъ-то вопросъ неважный!—выкрикиваетъ четвертый:—вопросъ-то объ единоутробіи! Да ежели его какъ слѣдуетъ разработать, какой свѣтъ-то на всю судебную практику прольется! Вѣдь мы въ потьмахъ, господа, бродимъ! Вѣдь это что жъ, наконецъ!

И вдругъ, среди этого хаоса восклицаній, вопросовъ и пререканій влетаетъ въ залъ цвѣтъ, слава и гордость адвокатуры—самъ господинъ Тонкачевъ.

Тонкачевъ уже два года какъ вышелъ изъ „заведенія“, и съ тѣхъ поръ съ честью подвизается на поприщѣ адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человѣкъ; на немъ черная бархатная визитка и тончайшее, ослѣпительной бѣлизны бѣлье. Претензій на щегольство — никакихъ; но все такъ прилично и умненько пригнано, что всякій при взглядѣ на него невольно думаетъ: „какой должно быть способный и основательный молодой человѣкъ!“ Стулья съ шумомъ раздвигаются, чтобы дать мѣсто новому и очевидно дорогому гостю.

— Тонкачевъ! вотъ это мило! вотъ это сюрпризъ!—восклицаютъ молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

— Извините, господа, я по-просту! Я здѣсь въ сосѣдней комнатѣ ужиналъ—вдругъ, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старыхъ пріятелей не навѣстить!

— И прекрасно! выпьемъ вмѣстѣ! Человѣкъ! шампанскаго! Господа! за здоровье Владиміра Васильевича Тонкачева!

— Принимаю и благодарю. И въ свою очередь пью за васъ, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ черезъ два мѣсяца суждено испробовать свои силы! Привѣтствую въ васъ то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и я, полный молодыхъ надеждъ, выступалъ изъ стѣнъ заведенія! Привѣтствую въ васъ то прекрасное будущее, которое впрочемъ прекрасно не для однихъ васъ, но съ вами и, такъ сказать, по случаю васъ—и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убѣжденіе: вы призваны совершить перерожденіе горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высотѣ этого призванія! Съ такими бодрыми, сильными, смѣлыми дѣятелями можно смотрѣть впередъ съ довѣріемъ. Можно смѣло поднимать завѣсу будущаго — и не опасаться! Пускай подкапывается подъ насъ злоба, пускай обращаетъ она на насъ свой змѣиный шипъ — мы останемся твердыми, какъ скала! Волны клеветы будутъ лизать ноги наши, но никогда не досягнутъ до головы. Мы не утописты, господа, не политики, не идіологи — слѣдовательно, у насъ даже мѣстъ такихъ не имѣется, въ которыя клевета могла бы безъ труда запустить свое жало! У насъ нѣтъ даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляемъ въ дѣло свой трудъ, свои познанія, и получаемъ за это посильное вознагражденіе! вотъ наша роль, господа; роль въ высшей степени скромная, но въ высшей степени плодотворная. И такъ, господа, повторяю: я счастливъ, поднимая за васъ этотъ бокалъ! За васъ я пью, за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ дѣятелей, которымъ суждено довершить то, что такъ счастливо начали ихъ предшественники!

Тонкачевъ произнесъ эту рѣчь совсѣмъ невзначай и съ такою легкостью, что казалось, какъ будто вошелъ человѣкъ и плюнулъ. Тѣмъ неописаннѣе былъ произведенный ею въ молодежи фуроръ.

— Браво, Тонкачевъ! вотъ такъ спасибо! Это что называется по-товарищески! Человѣкъ! шампанскаго!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

Но вотъ, среди поцѣлуевъ и обниманій, къ Тонкачеву приближается Миша съ бокаломъ въ рукахъ.

— Позвольте мнѣ, — начинаетъ онъ взволнованнымъ голосомъ:—позвольте мнѣ, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, привѣтствовать въ васъ славу, надежду и гордость нашего молодого, только-что нарождающагося сословія адвокатовъ! Изъ-за скромныхъ стѣнъ нашего заведенія мы слѣдили за вашими успѣхами и радовались имъ. Мы, смѣю такъ выразиться, гордились ими. На долю нашего заведенія выпалъ счастливый жребій, господа. Сколько дало оно странѣ высокопоставленныхъ лицъ, сколько людей, отмѣченныхъ печатью генія! Слѣдовательно, выходя изъ стѣнъ школы, мы прямо уже видимъ передъ собою примѣры, которыхъ вполнѣ достаточно, чтобъ ободрить молодой духъ и вдохнуть въ молодое сердце рѣшимость слѣдовать по стопамъ предшественниковъ. Что можетъ быть величественнѣе, поучительнѣе, благотворнѣе, какъ зрѣлище людей, неуклонно шествующихъ по стезѣ долга! А мы, мы видимъ это зрѣлище постоянно, и постоянно имѣемъ возможность вдохновляться имъ! Чтобъ быть твердыми, намъ не нужно особенныхъ усилій: намъ стоитъ только взглянуть впередъ. Тамъ, въ этомъ блестящемъ сонмищѣ людей, посвятившихъ себя служенію истинѣ,

мы встрѣтимъ не только полезный примѣръ, но и дѣйствительную помощь, совѣтъ и одобреніе. Намъ ли не преуспѣвать! намъ ли не подвигаться быстрымъ и твердымъ шагомъ по лѣстницѣ должностей! Черезъ два мѣсяца мы выходимъ, господа. Черезъ два мѣсяца мы предстанемъ передъ вами, Владиміръ Васильевичъ! передъ вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь отъ насъ, вы подадите намъ руку помощи, которая такъ необходима для нашей неопытности! Я убѣжденъ въ этомъ, и въ этой сладкой увѣренности, съ чувствомъ заранѣе несущейся отъ сердца признательности поднимаю за васъ бокалъ мой! За Владиміра Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведенія! За славу нашего молодого, только-что нарождающагося сословія адвокатовъ!

Восторгъ школяровъ не знаетъ предѣловъ. Тонкачева качаютъ, Нагорнова качаютъ, потомъ поочередно качаютъ Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

— Ты, Осликовъ, какъ?—спрашиваетъ его Тонкачевъ.

— А я, братъ, кажется, на скамьѣ подсудимыхъ сидѣть буду!—отвѣчаетъ Осликовъ, залпомъ выпивая громадную рюмку коньяку и заѣдая ее булкой съ икрой.

— Ну, въ такомъ случаѣ бери меня въ защитники,—любезно предлагаетъ Тонкачевъ: — только, чуръ, не виниться, какъ, помнишь, въ тотъ разъ!

— Я, братъ, поньче твердъ. Невиновенъ—кончено дѣло.

Общій взрывъ хохота.

Тонкачевъ усаживается въ центрѣ стола и начинаетъ бесѣдовать.

— Въ нашемъ дѣлѣ господа, больше всего смѣлость нужна!—ораторствуетъ онъ:—смѣлость и находчивость; это средство на судей безъ ошибки дѣйствуетъ!

— Да, удивительно, какъ вы зининское дѣло выиграли!—воскликнулъ Ловкачевъ.

— А почему я его выигралъ? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти въ ходъ того блестящаго парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

— Ну, съ вами-то не такъ легко справиться!

— Я, господа, вотъ какъ разсуждаю: адвокатъ долженъ не просто говорить, а говорить, такъ сказать, съ картинками. Вотъ какъ книжки: и съ картинками, и безъ картинокъ издаютъ. Чуть только судъ задумываться сталъ — ну, тутъ ужъ не плошай! Всѣ картинки, какія есть — всѣ на столъ разомъ выкладывай!

— Но вѣдь для этого талантъ особенный нужно имѣть!

— Безъ таланта, батюшка, ничего нельзя. За талантъ-то собственно и деньги намъ платятъ. За талантъ, за смѣлость, за умѣнье найтись. Наше дѣло такое, что тутъ все въ соображеніе принимать слѣдуетъ: характеръ судей, и домашнюю ихъ обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вотъ-вотъ проигралъ дѣло, анъ подвернется подъ руку случай — и поправился! Я даже въ запасѣ всегда какую-нибудь случайность имѣю. Анекдотъ тамъ, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дамъ противнику выговориться, да тутъ его и накрою: въ нѣкото-

ромъ, молъ, царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ истецъ... И пошелъ, и пошелъ!

— Удивительно! безподобно!

Тонкачевъ окончательно входитъ въ роль и начинаетъ, такъ сказать, прорицать...

— Мнѣ стоитъ только взглянуть на составъ суда,—говоритъ онъ:—чтобъ сейчасъ же опредѣлить, выиграю я дѣло, или проиграю. Вотъ тутъто именно и нужна мнѣ сноровка. Ежели составъ суда благопріятный, я всѣ силы употреблю, чтобъ дѣло было разсмотрѣно въ этомъ засѣданіи; ежели составъ суда неблагопріятный — я изъ кожи лѣзу, чтобъ мое дѣло было отложено. Вы думаете, какъ я кондыревское дѣло выигралъ?—именно этотъ фортель въ ходъ пустилъ! Вижу, Левушка Сибаритовъ въ числѣ судей сидитъ — ну, думаю, плохо дѣло! И подвелъ, знаете, кулеврину! И до тѣхъ поръ откладывалъ да откладывалъ, покуда Левушку въ Чернолѣсскъ предсѣдателемъ не перевели. Тогда и покончилъ.

Въ публикѣ слышится ропотъ удивленія...

— Я не такія еще штуки выдѣлывалъ! Одинъ разъ я передъ присяжными показывалъ, какъ черезъ веревочку прыгаютъ. Всталъ по серединѣ зала и началъ прыгать. Оправдали. Другой разъ, сталъ доказывать, что одинъ человѣкъ можетъ цѣлый напушникъ съѣсть — и съѣлъ. Я къ одному изъ будущихъ засѣданій такую штуку приготовляю, такую штуку! Вотъ увидите!

— Разскажите, Тонкачевъ! Ну, пожалуйста!

— Нѣтъ, господа, покуда это секретъ. Я долженъ поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто-пять дѣлъ въ производствѣ было — сколько отчаянныхъ между ними, ну, самыхъ то-есть такихъ, что даже издали взглянуть на него противно! — и девяносто-семь изъ нихъ выигралъ! Замѣтьте: изъ ста-пяти дѣлъ только восемь проигранныхъ! Такого tour de force даже Отпѣтый не совершалъ!

— Тонкачевъ! шампанскаго! servez-vous!

— Нѣтъ, господа, вы ужъ позвольте мнѣ самому фетировать васъ! человѣкъ, двѣнадцать бутылокъ! Вы, господа, какое предпочитаете?

— Редереръ! Редереръ!

— А я, грѣшный человѣкъ, предпочитаю Heidzick-Cabinet! Суше. А впрочемъ, можно отъ времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежитъ по коньячкамъ пройтись, чтобы приличное *осаже* сдѣлать послѣ всего этого изобилія плодовъ земныхъ!

Попойка возобновляетъ теченіе свое и принимаетъ болѣе и болѣе шумный характеръ. Черезъ часъ пирующіе уже перестаютъ понимать другъ друга. Одинъ Тонкачевъ, что называется, ни въ одномъ глазѣ, и только хвастаетъ въ нѣсколько болѣе усиленныхъ размѣрахъ, чѣмъ обыкновенно.

— Вотъ когда вы выйдете изъ заведенія, всѣ ко мнѣ приходите!—говоритъ онъ:—такъ прямо и приходите! Я всѣхъ въ помощники приму! Мы цѣлую фабрику заведемъ! Мы такое судоговоренье устроимъ, что небу жарко будетъ! Истецъ ли, отвѣтчикъ ли—все будетъ одно, все въ нашихъ рукахъ. Самъ истецъ, самъ и отвѣтчикъ! Вотъ мы какую штуку удеремъ! Я, ты, онъ —все одно! все одинъ чортъ!

Наконецъ дѣло доходитъ до того, что нѣкоторые изъ бесѣдующихъ начинаютъ плакать, другіе—смѣяться, третьи—призывать небо и землю въ свидѣтели. Одинъ изъ школьниковъ подходитъ къ зеркалу и, завидѣвъ, тамъ свое изображеніе, начинаетъ къ нему придираться. Опьянѣлъ наконецъ и Тонкачевъ.

— А вѣдь по правдѣ-то,—говоритъ онъ коснѣющимъ языкомъ:—какъ ежели по совѣсти... свиньи мы, господа! Ничего-то вѣдь у насъ за душой! Ну просто, такъ сказать, въ душѣ кабакъ... Ей Богу такъ!

Далеко за полночь молодыхъ людей не безъ труда развозятъ по домамъ татары.

Наконецъ сданъ и послѣдній экзаменъ. Будущіе прокуроры и адвокаты разсыпаются по стогнамъ Петербурга.

Миша вышелъ первымъ. Въ щегольскомъ фракѣ, съ капитанскимъ чиномъ на плечахъ, онъ съ выпускного обѣда является въ отчій домъ. Но такъ-какъ онъ нàвеселѣ, то ему кажется, что передъ нимъ не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова въ Подъяческой, а величественное зданіе суда.

— Принимая во вниманіе,—говоритъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ передней и указывая на отца: — принимая во вниманіе, что этотъ человѣкъ совершилъ преступленіе съ полнымъ сознаніемъ содѣяннаго, и притомъ безъ всякихъ уменьшающихъ вину его обстоятельствъ, а потому полагаемъ...

— Другъ ты мой!—восклицаетъ Анна Михайловна въ какомъ-то неописанномъ волненіи.

— Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ нимъ!—съ нѣжностью говоритъ Семенъ Прокофьичъ, крестя сына.

— И за что они меня въ прокуроры отдали! Я въ адвокаты хочу! — всхлипываетъ Миша какимъ-то наболѣвшимъ голосомъ, и слезы градомъ катятся изъ глазъ его.

Будущаго прокурора укладываютъ спать.

ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Никто не могъ сказать опредѣлительно, какимъ образомъ Порфирій Велентьевъ сдѣлался финансистомъ. Правда, что еще въ 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ уже написалъ проектъ подъ названіемъ:

ДЕШЕВѢЙШІЙ СПОСОБЪ ПРОДОВОЛЬСТВІЯ АРМІИ И ФЛОТОВЪ!!

ИЛИ

КОЛБАСА ИЗЪ ЕЛОВЫХЪ ШИШЕКЪ СЪ ПРИМѢСЬЮ НИКУДА НЕГОДНЫХЪ МЯСНЫХЪ ОБРѢЗКОВЪ!!

—въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изобрѣтеннаго имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднѣйшей полосѣ Россіи для устройства громадныхъ размѣровъ колбас-

ной фабрики; взамѣнъ же того предлагалъ снабжать армію и флотъ изумительнѣйшею колбасою по баснословно-дешевымъ цѣнамъ. Но, увы! тогда время для проектовъ было тугое, и хотя нѣкоторые помощники столоначальниковъ того вѣдомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что „хорошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать“, однако въ высшихъ сферахъ никто Порфирія за финансиста не призналъ и проектомъ его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы онъ „несвойственными дворянскому званію вымыслами впредь не занимался, подъ опасеніемъ высылки за предѣлы цивилизаціи“. На томъ это дѣло и покончилось. Порфирій года четыре прожилъ смирно, состоя на службѣ въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ.

Но молчаніе его было вынужденное, и втайнѣ Велентьевъ все-таки давалъ себѣ слово во что бы ни стало возвратиться къ проекту о колбасѣ. Перечитывая стекающіяся отовсюду вѣдомости о положеніи въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наименованій, онъ пускался въ вычисленія, доказывалъ недостаточность употреблявшихся въ то время способовъ для извлеченія доходовъ, требовалъ учрежденія особаго министерства подъ названіемъ „министерства дивидендовъ и раздачъ“ и, указывая на неисчерпаемыя богатства Россіи, лежащія какъ на поверхности земли, такъ и въ нѣдрахъ оной, восклицалъ:

— Столько богатствъ—и втунѣ! Вѣдь это, наконецъ, свинство!

Но никто уже не вѣрилъ ему. Даже помощники столоначальниковъ—и тѣ сомнѣвались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы лестно заполучить мѣстечко въ министерствѣ дивидендовъ и раздачъ. Всѣ считали Велентьева полупомѣшанною и преисполненною финансоваго бреда головой, никакъ не подозрѣвая, что близится время, когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ дѣйствительностью, но даже будетъ оттѣсненъ послѣднею далеко на задній планъ...

Наконецъ наступилъ 1857 годъ, который всѣмъ открылъ глаза. Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое русское единомысліе и уступило мѣсто не менѣе пресловутому русскому галдѣнію. Это былъ годъ, когда выпорхнули цѣлые рои либераловъ-пѣнкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чѣмъ пахнетъ. Это былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять въ нѣдрахъ русской земли, добродушно смѣшивая послѣднюю съ русской казною.

Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проекты сыпались за проектами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ дотолѣ присвоивались презрительныя наименованія „соломенныхъ головъ“, „гороховыхъ шутовъ“, „проходимцевъ“ и даже „подлецовъ“, вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностью соображеній которыхъ слѣпли глаза у всѣхъ непосвященныхъ въ тайны жульничества. Всѣхъ русскихъ быковъ предполагалось посолить и въ соленомъ видѣ отправить за границу. Всѣ русскія болота представлялось необходимымъ разработать и извлеченные изъ торфа продукты отправить за границу. Х. указывалъ на изобиліе грибовъ и требовалъ „устройства грибной промышленности на болѣе раціональныхъ основа-

ніяхъ"; Z. указывалъ на массы тряпья, скопляющіяся по деревнямъ, и доказывалъ, что еслибы эти массы употребить на выдѣлку бумаги, то бумажныя фабрики всѣхъ странъ должны были бы объявить себя несостоятельными. У. заявлялъ скромное желаніе, чтобы въ его руки отданы были всѣ русскіе кабаки, и взамѣнъ того обѣщалъ сдѣлать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмель, ленъ, пенька, сало, кожи — на все завистливымъ окомъ взглянули домашніе ловкачи-реформаторы и изъ всего изъявляли твердое намѣреніе выжать сокъ до послѣдней капли. Повсюду, даже на улицахъ, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицынъ сынъ! скажите, какую штуку выдумалъ!

Однимъ словомъ, русскій геній воспрянулъ...

Но какъ ни грандіозны были проекты объ организаціи грибной промышленности, объ открытіи рынковъ для сбыта русскаго тряпья и проч. — они представлялись ребяческимъ лепетомъ въ сравненіи съ проектомъ, который созрѣлъ въ головѣ Велентьева. Тѣ проекты были простые, болѣе или менѣе увѣсистые булыжники. Веленьевъ же вдругъ извлекъ цѣлую глыбу и поднесъ ее изумленной публикѣ. Проектъ его былъ озаглавленъ такъ: „О предоставленіи коллежскому совѣтнику Порфирію Менандрову Велентьеву въ товариществѣ съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Василіемъ Вонифатьевымъ Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилѣтнюю эксплуатацію всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, истребленія"... Передъ величіемъ этой концессіи всѣ сомнѣнія относительно финансовыхъ способностей Порфирія немедленно разсѣялись. Всѣ тѣ, которые дотолѣ смотрѣли на Велентьева какъ на исполненную финансоваго бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отдѣленій, встрѣчаясь на Подъяческой, въ восторгѣ поздравляли другъ друга съ обрѣтеніемъ истиннаго финансоваго человѣка минуты. Директоры департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядывалъ не скептицизмъ, а опасеніе, съумѣютъ ли они встать на высоту положенія, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутація Велентьева, какъ финансиста, установилась на прочныхъ основаніяхъ, и ежели не навсегда, то по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не явится новый Велентьевъ, съ новымъ, еще болѣе грандіознымъ проектомъ „о повсемѣстномъ опустошеніи" и не свергнетъ своего созію съ пьедестала, на который тотъ вскарабкался.

Само собой разумѣется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купцѣ Поротоуховѣ. О Поротоуховѣ еще менѣе можно было сказать, какимъ образомъ онъ сдѣлался финансистомъ. Большинство помнило его еще подъ именемъ Васьки Поротое-Ухо сидѣльцемъ кабака въ одной изъ великорусскихъ губерній; хотя же онъ въ этомъ положеніи и успѣлъ заслужить себѣ репутацію балагура, но такъ-какъ въ тѣ малопросвѣщенныя времена никто не подозрѣвалъ, что отъ балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращалъ на него особеннаго вниманія. Тѣмъ не менѣе, должно полагать, что Васька занимался не однимъ балагурствомъ, но умѣлъ кое-что и утаить. И вотъ, въ одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ производились значительные торги на отдачу различныхъ поставокъ и подрядовъ, и подъ торго-

вымъ листомъ совершенно отчетливо подписался: „вильмерстанскій первастатейнай купецъ Василей Велифантьяфъ Поротаухавъ симъ патъ Писуюсь“. Присутствующіе такъ и ахнули. Поротоуховъ — первостатейный купецъ? Не можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотрѣлъ такъ свѣтло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился „вильмерстанскимъ купцомъ“. Повидимому онъ расцвѣлъ въ одну ночь, расцвѣлъ тайно отъ всѣхъ глазъ, съ тѣмъ, чтобы разомъ явить міру всѣ благоуханія, которыми онъ былъ преисполненъ. И расцвѣлъ не затѣмъ, чтобы вмалѣ завянуть, а затѣмъ, чтобы явиться финансистомъ-практикомъ, правою рукой того плодотворнаго дѣла, душою котораго суждено было сдѣлаться Велентьеву.

Такимъ образомъ, на нашемъ общественномъ горизонтѣ одновременно появилось два финансовыхъ свѣтила. Другое, болѣе слабонервное общество, не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поротоуховъ пошли въ ходъ. Желѣзными когтями вцѣпились они въ нѣдра русской земли и копаются въ нихъ до днесь, волнуя воображеніе россіянъ перспективами неслыханныхъ барышей и обѣщаніемъ какихъ-то сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнѣніе, справедливо угадавъ на Велентьевѣ и Поротоуховѣ людей, отвѣчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки не совсѣмъ правильно взглянуло на тѣ условія, въ силу которыхъ они появились на аренѣ общественной дѣятельности не въ качествѣ прохвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ авторитетности. Оно увидѣло въ нихъ баловней фортуны, геніальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленіи явилась какъ плодъ внезапнаго откровенія. Это было заблужденіе. Не съ неба свалилась къ этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло цѣлое воспитаніе, вслѣдствіе котораго они такъ же естественно развились въ финансистовъ самоновѣйшаго фасона, какъ Миша Нагорновъ — въ неусыпнаго служителя Ѳемиды, а Коля Персіяновъ—въ администратора высшей школы.

На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ, предоставляя себѣ поговорить о Васильѣ Поротоуховѣ при случаѣ.

Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Даже и теперь, въ одной изъ подмосковныхъ губерній, имѣется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ дѣдъ былъ въ теченіе сорока лѣтъ священникомъ. Благодаря существовавшему въ двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго званія, Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были прекрасныя. Еще будучи въ семинаріи, онъ съ такою легкостью усвоивалъ себѣ всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго богословія включительно, что отецъ ректоръ не разъ рѣшался переименовать его въ Быстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще болѣе для Порфиши, почему-то не успѣлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впослѣдствіи, какъ отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академію, въ Петербургъ, гдѣ тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выходѣ изъ академіи, духовной карье-

ры не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагопріятствовали ему и тутъ. Въ это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ искалъ для своего сына воспитателя и, по совѣту жены, обратился къ единственному въ то время надежному источнику истиннаго просвѣщенія — къ духовной академіи. Отецъ ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ Ферлакуровъ. Княжна Оболдуй-Щетина была послѣднею представительницей знаменитаго рода князей Оболдуевъ-Щетинъ. Дабы не дать угаснуть воспоминанію объ этомъ родѣ, княжна, вышедши замужъ за французскаго эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы къ фамиліи послѣдняго была присоединена и ея собственная. Такимъ образомъ устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ. Новоиспеченный князь Россійской Имперіи оказался вполнѣ достойнымъ внезапно постигшаго его счастія. Онъ сразу понялъ, что настоящее отечество для праздношатающагося — тамъ, гдѣ представляется возможность кататься какъ сыръ въ маслѣ, и затѣмъ, нимало не колеблясь, принялъ православіе, и съ этой минуты не иначе говорилъ о себѣ, какъ „мы, русскіе“. Долгихъ усилій ему стоило, чтобы *полюбить севрюжину* съ хрѣномъ; но такъ какъ онъ понялъ, что безъ этого быть истинно русскимъ нельзя, то не только полюбилъ севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о кашѣ выражался не иначе, какъ: „каша есть матерь наша“. Онъ щеголялъ тѣмъ, что онъ русскій, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко время, когда всѣ французскіе Ферлакуры будутъ русскими. Въ разговорѣ онъ любилъ вклеивать малоупотребительныя слова, въ родѣ „токмо“, „вящій“, „вмалѣ“, „книжица“, „иждивеніе“ и т. д. Но когда онъ, наконецъ, написалъ книжицу, въ которой изобразилъ, какими неисповѣдимыми путями онъ дошелъ до сознанія истинъ святой православной вѣры, то всѣ признали, что болѣе благонадежнаго русскаго, чѣмъ этотъ русскій Ферлакуръ—и желать не надо. Пользуясь этимъ благопріятнымъ поворотомъ мнѣнія высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вѣрными шагами шелъ себѣ да шелъ по лѣстницѣ должностей, и наконецъ получилъ совершенно обезпеченное положеніе въ вѣдомствѣ святѣйшаго синода.

Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ поступилъ, въ качествѣ домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, послѣдній былъ уже на верху почестей и славы.

Менандръ скоро и ловко освоился съ своимъ новымъ положеніемъ. Онъ понялъ, что ему слѣдуетъ быть почтительнымъ безъ низкопоклонства, откровеннымъ безъ фамильярности и, наконецъ, по крайней мѣрѣ въ такой же степени русскимъ, какъ и князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ! Послѣднее было для него, конечно, довольно легко, потому что онъ не только ѣлъ севрюжину съ хрѣномъ, но и гороховицу употреблялъ довольно охотно. Но найти середину между почтительностью и низкопоклонствомъ, отыскать ту ноту, которая не дозволяла бы откровенности перейти въ фамильярность, было нѣсколько труднѣе. Какъ и всѣ семинаристы, Менандръ былъ до крайности угловатъ, и потому рѣшительно не владѣлъ своимъ тѣломъ. Онъ не зналъ, что дѣлать съ руками (по временамъ, онъ порывался ихъ прятать какъ бы подъ

гнетомъ ощущенія рясы на плечахъ), и вообще всею фигурой напоминалъ танцующаго медвѣдя. Желаніе попасть въ тонъ и показать знаніе свѣтскихъ приличій убивало его и заставляло дѣлать тысячи несообразностей. Онъ то спѣшилъ и устремлялся; то вдругъ останавливался и упирался какъ быкъ; то чрезмѣрно улыбался, стараясь сложить губы на подобіе сердечка; то вдругъ насупливалъ брови и по цѣлымъ часамъ глядѣлъ исподлобья. По-французски онъ понималъ отлично, но разговоръ его былъ нерѣшительный, какъ будто его постоянно преслѣдовала мысль: а не по-латыни ли я говорю? Сверхъ того, онъ былъ ширококостъ и говорилъ такимъ открытымъ басомъ и съ такою невозмутимою разсудительностью, какъ будто непрерывно проповѣдовалъ или вразумлялъ. Но что въ особенности вредило ему, такъ это тогдашній модный костюмъ, которымъ онъ поспѣшилъ обзавестись. Вообразите вишневаго цвѣта съ искрой фракъ, совершенно облизанный спереди и съ узенькими фалдочками назади, штаны въ обтяжку, высокій галстухъ, до того туго повязанный, что всякій франтъ того времени казался всегда живущимъ подъ угрозой паралича, и наконецъ прическу, состоящую изъ кока посреди лба, гладко выстриженнаго затылка и волосъ, зачесанныхъ на виски въ видѣ толстыхъ запятыхъ—и вы будете имѣть возможность представить, какъ долженъ былъ казаться смѣшнымъ въ такомъ видѣ этотъ плотный семинаристъ, только-что перешедшій съ академической парты въ великолѣпные салоны перваго русскаго Ферлакура.

Но Менандру, что называется, везло, и потому даже нелѣпая внѣшность послужила ему въ пользу.

Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и набожная. Въ обществѣ ее уважали за то, что она умѣла умно вести теологическіе споры; но такъ какъ даже и въ то суровое время молодые люди предпочитали амурные разговоры теологическимъ, то княгиня постоянно видѣла себя окруженною людьми, имѣвшими не менѣе статскаго совѣтника на плечахъ. Но статскіе и дѣйствительные статскіе совѣтники говорили такъ резонно, что даже на нее наводили тоску. Съ одной стороны, старый Ферлакуръ съ своими „книжицами“ и „ижливеніями“, съ другой—какой-нибудь генералъ-маіоръ Толоконниковъ, читающій на soirée causante проектъ „немедленнаго возсоединенія уніи, буде нужно, даже съ помощью оружія“ — вотъ убивающая обстановка, въ которой ей суждено было влачить изо дня въ день свое существованіе. Поэтому, хотя княгиня и не сознавалась даже самой себѣ, что отсутствіе въ ея салонахъ молодого элемента раздражало ее, но по временамъ сами статскіе совѣтники замѣчали, что на нее находятъ порывы какой-то странной теологической рѣзвости. То вдругъ начнетъ цитировать Вольтера и энциклопедистовъ, то возбудитъ вопросъ о папской непогрѣшимости и окажетъ явную наклонность къ поддержанію ея (подивимся, читатель! гдѣ-то, на отдаленномъ сѣверѣ, слабая женщина еще въ двадцатыхъ годахъ провидѣла вопросъ, повергающій въ смущеніе современную католическую Европу!). Статскіе совѣтники слушали, хлопали глазами и расходились по домамъ „смущенные и очи опустя“. А княгиня, оставшись наединѣ съ самой собою, начинала вздыхать, швыряла теологическія диссертаціи на полъ, садилась къ окну и съ какимъ-то безнадежнымъ томленіемъ устремляла въ даль глаза

свои. Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждетъ? — на эти вопросы я отвѣчать не берусь. Я знаю только, что когда маленькому князенку стукнуло десять лѣтъ, она съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ начала торопить стараго Ферлакура, чтобъ онъ какъ можно скорѣе пріискивалъ сыну воспитателя.

Княгинѣ понравилась и неловкость Велентьева, и даже его необыкновенный французскій языкъ. Тутъ было много пикантнаго, много такого, надъ чѣмъ можно было поработать. Она прямо взяла Менандра подъ свое покровительство, и, надо сказать правду, повела дѣло приручненія дикаря съ большимъ тактомъ. Прежде всего она внушила ему полное довѣріе къ себѣ своимъ ровнымъ, мягкимъ и открытымъ обращеніемъ. Изъ своихъ отношеній къ нему она изгнала всякую подготовленность, все, что могло бы намекнуть Велентьеву, что она выдерживаетъ школу, а не свободно относится къ нему. Потомъ она предприняла внушить ему, что она „святая“ (une sainte), и въ этомъ качествѣ имѣетъ нѣкоторое право снисходительно указывать людямъ на ихъ недостатки, безъ всякаго намѣренія оскорбить ихъ самолюбіе. Пользуясь тѣмъ, что Менандръ занималъ должность воспитателя ея сына, она часто и подолгу бесѣдовала съ нимъ, но никогда не давала замѣтить, что его открытый басъ по временамъ уже слишкомъ переходитъ въ порывистый вой или глубокомысленное урчаніе, а только нюхала спиртъ и противопоставляла этимъ страннымъ голосовымъ тонамъ мягкіе и ровные тоны своего собственнаго голоса.

Вслушиваясь въ ея свободно-льющуюся, хотя и нѣсколько безцвѣтную рѣчь, Велентьевъ невольнымъ образомъ сравнивалъ ее съ своими захлебываніями и начиналъ догадываться, почему княгиня ощущаетъ потребность нюхать спиртъ, когда онъ говоритъ. И вслѣдствіе этихъ сравненій его собственная рѣчь невольнымъ образомъ, хотя и не безъ нѣкоторой съ его стороны работы, становилась все болѣе и болѣе спокойною. Та же самая тактика была съ успѣхомъ примѣнена и относительно прочихъ внѣшнихъ маневръ. Княгиня начала съ того что, идя къ обѣду, потребовала, чтобъ Велентьевъ подавалъ ей руку; но когда она сдѣлала это въ первый разъ, то Менандръ, во-первыхъ, бросился къ ней со всѣхъ ногъ и чуть не обрушился на нее всѣмъ корпусомъ, во-вторыхъ, изогнулся такимъ образомъ, что самъ князь удивился и сказалъ: „нѣтъ необходимости, другъ мой, столь вяще изломиться“. Съ тѣхъ поръ княгиня всегда сама подходила къ Менандру, брала его за руку и въ качествѣ „святой“ позволяла себѣ незамѣтно сообщать его корпусу надлежащее направленіе. Въ результатѣ оказалось, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ Велентьевъ говорилъ очень пріятнымъ и изъятымъ отъ всякой натуги басомъ и имѣлъ походку настолько непринужденную, что княгиня безъ всякаго риска могла даже при гостяхъ призывать его къ себѣ съ другого конца комнаты.

По вечерамъ княгиня читала съ Велентьевымъ Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потомъ, подъ предлогомъ утомленія, передавала книгу Менандру. Велентьевъ, путаясь и краснѣя, выводилъ латинскія фразы и употреблялъ неимовѣрныя усилія, чтобы произносить ихъ какъ можно болѣе въ носъ. Княгиня съ ангельскимъ терпѣніемъ выносила эту

тарабарщину, и только тогда, когда можно было сдѣлать это безъ неприличія, вновь брала у Менандра книгу и продолжала читать сама.

— Вы читаете съ большимъ одушевленіемъ,—дружески говорила она:—я рѣдко слышала чтеніе до такой степени ясное, какъ ваше; но произношеніе у васъ еще недостаточно выработано. При вашихъ блестящихъ способностяхъ, вы, конечно, въ самое короткое время успѣете преодолѣть небольшія трудности языка.

И дѣйствительно, постепенно Менандръ до того навострился, что даже самъ старый Ферлакуръ, выслушавъ, въ одно прекрасное утро, его рапортъ о вчерашнихъ воспитательныхъ занятіяхъ юнаго князька, въ изумленіи воскликнулъ:

— Ah ça! ah mais! mais il est tout-à-fait comme il faut, ce coquin de séminariste! Еще одно вящее усиліе, мой юный другъ, и все будетъ къ наилучшему концу!

По временамъ княгиня посвящала его и въ тайны свѣтскаго разговора. Обыкновенно это случалось вечеромъ, когда въ домѣ не было гостей, когда старый князь уѣзжалъ въ клубъ, а маленькій князекъ уже спалъ. Начитавшись Массильона, перебравъ всѣ доводы pro и contra возсоединенія церквей, княгиня въ задумчивости полулежала на кушеткѣ, а Менандръ, сложивъ губы сердечкомъ (отъ этой скверной привычки даже она не могла его отъучить), сидѣлъ противъ нея.

— Ахъ, что-то будетъ за гробомъ?—произносила княгиня, закрывая глаза.

— Я полагаю, будетъ жизнь безконечная,—отвѣчалъ Велентьевъ.

Княгиня нѣкоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая грудь ея слегка колебалась, голова закидывалась назадъ; складки темной шолковой блузы мягко вздрагивали.

— Нѣтъ, я не о томъ,—начинала она вновь:—я хотѣла бы знать, что такое ангелы?

— Ангелы-съ—это безплотные духи. По крайней мѣрѣ, такъ учитъ наша святая православная церковь.

— Однако многіе праведные люди ихъ видѣли. Согласитесь, что еслибъ они были совсѣмъ-совсѣмъ безплотными, развѣ можно было бы видѣть ихъ?

— Нетлѣннымъ очамъ, ваше сіятельство, я полагаю...

— Ахъ, нѣтъ, опять не то! Знаете ли, я бы сама хотѣла быть ангеломъ! Только тогда, быть можетъ, я убѣдилась бы, что такое значитъ: „безплотная“, и въ то же время плоть есть.

— Ваше сіятельство! Ежели судить по сердцу, то и въ настоящее время едва ли впадетъ въ ошибку тотъ, кто будетъ утверждать, что вы ангелъ!!!

— Вы думаете?.. Однако... я не безплотная...

Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьевъ краснѣлъ какъ ракъ и начиналъ тяжело дышать.

— Я не безплотная,—тихо повторяла княгиня, снова закрывая глаза и окончательно впадая въ мечтательность.

Черезъ нѣсколько времени Менандру было объявлено, что онъ причисленъ,

съ чиномъ коллежскаго секретаря, къ одной изъ канцелярій. Но такъ какъ на его рукахъ лежало болѣе важное дѣло воспитанія молодого Ферлакура, то само собой разумѣется, что всѣ его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться полученіемъ за отличіе чиновъ. Это было время его перевоспитанія, то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человѣка, до тонкости понимающаго приличія свѣта. Княгиня продолжала заниматься его перевоспитаніемъ со всѣмъ увлеченіемъ экзальтированной женщины. Она переговорила съ нимъ всѣ разговоры того времени, но подъ конецъ какъ-то всегда сводила рѣчь къ ангеламъ и старалась допытаться, въ чемъ заключаются особенности ангельскаго житія. Онъ же съ своей стороны осмѣлился до того, что мало-по-малу сталъ заводить рѣчь о „тѣлесномъ озлобленіи“, и по зрѣломъ разсмотрѣніи этого предмета приходилъ къ заключенію, что „сколь сіе ни прискорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы душа могла свободнѣе воспарить“.

— Какой вы, однакожъ, матеріалистъ, Менандръ! — съ легкимъ укоромъ выговаривала ему княгиня.

— Невозможно, ваше сіятельство! — возражалъ онъ: — извольте разсудить сами! естественное ли дѣло, чтобы душа человѣческая чувствовала себя свободною, коль скоро сдерживающія ее узы не находятъ себѣ надлежащаго разрѣшенія?..

Княгиня на минуту задумывалась и потомъ какъ бы про себя произносила:

— Au fond, peut-être, vous êtes dans le vrai!

А молодой Ферлакуръ между тѣмъ подросталъ, пріятнѣйшимъ образомъ проводя время въ дѣвичьей, въ обществѣ нянекъ и горничныхъ, и лишь по временамъ ощущая на себѣ воспитательное вліяніе Велентьева.

Года черезъ три Менандръ однакожъ сообразилъ, что, предаваясь разговорамъ объ ангельскомъ житіи и тѣлесномъ озлобленіи, онъ не только не уйдетъ далеко, но даже можетъ скомпрометировать свое будущее. Онъ понялъ, что какъ ни ангелоподобна княгиня, но къ этой ангелоподобности уже начинаетъ примѣшиваться нѣкоторое количество „тѣлеснаго озлобленія“. Затѣмъ представился вопросъ: что̀ такое княгиня, и что̀ такое онъ самъ? Вопросъ этотъ Велентьевъ, нимало не обольщаясь, разъяснилъ себѣ такимъ образомъ: княгиня — женщина избалованная, капризная и при томъ властная; онъ же — червь, въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Поэтому онъ рѣшился оставаться, въ отношеніяхъ своихъ къ княгинѣ, на почвѣ исключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазіями, какъ бы ни легко казалось ихъ осуществленіе...

Въ это время молодой Ферлакуръ поступилъ въ университетъ. Затѣмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежнему лежать на Велентьевѣ, но онъ былъ уже настолько свободенъ, что могъ безъ ущерба для этихъ обязанностей искать для себя другихъ занятій. Вслѣдствіе этого онъ началъ порываться на дѣйствительную службу, и устроилъ это дѣло такъ ловко, что сама княгиня убѣдилась, что дѣйствительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть лучше всего восполненъ Ве-

лентьевымъ, у котораго кстати была на-готовѣ цѣлая законодательная система, ждавшая только удобнаго случая для своего осуществленія.

— Законы, ваше сіятельство, къ тому должны быть направлены, чтобы всѣхъ людей добродѣтельными сдѣлать!—такъ формулировалъ Менандръ свой взглядъ на законодательство.

— Странный вы человѣкъ, Велентьевъ! развѣ кто-нибудь сомнѣвался, что люди обязаны быть добродѣтельными! Но какъ этого достигнуть?—возражала княгиня.

— Достигнуть, ваше сіятельство, всего возможно, если правительствомъ будутъ допущены необходимыя въ семъ случаѣ приспособленія.

— Я понимаю: вы хотите сказать, что въ основаніе законодательства слѣдуетъ положить систему наказаній и наградъ?

— Точно такъ, ваше сіятельство. Ежели для добродѣтели будутъ ассигнуемы отъ правительства поощренія и награды, а пороку будутъ указаны въ перспективѣ арестантскія роты и смирительные дома, и ежели указанія эти будутъ выполнены неупустительно, то всякому вразумительно будетъ, по какой стезѣ ему надлежитъ идти.

— Да, но вы забываете, что смирительные дома уже существуютъ, а что касается до наградъ, то врядъ ли казна будетъ въ состояніи...

— Ваше сіятельство! Я такъ объ этомъ предметѣ думаю, что истинно-добродѣтельный человѣкъ, и не обременяя казны, самъ себя съумѣетъ вознаградить, если ему будутъ преподаны надлежащія къ тому средства!

Однимъ словомъ, при содѣйствіи княгини, Менандръ въ скоромъ времени очутился въ самомъ центрѣ той кипучей дѣятельности, среди которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокустово ложе...

Двадцатые года были уже на исходѣ, и прежній піэтизмъ замѣнился страстью къ законодательству. Канцелярія, въ которой пріютился Велентьевъ, занималась преимущественно законами. Тамъ писались новые законы, измѣнялись, согласовались и редижировались старые. Цѣлыя полчища семинаристовъ окунали перья въ сокровищницу первозданнаго, неиспорченнаго человѣческаго мышленія и, „замаравши ихъ тамо“, предавались „изобрѣтенію неослабныхъ и для всеобщаго употребленія пригодныхъ правилъ и узаконеній“. Цѣлые вороха подготовительныхъ работъ валялись въ шкафахъ и по столамъ; тутъ были и предварительныя объяснительныя записки, и сравнительныя таблицы, и какіе-то громадные листы съ наклеенными на нихъ печатными вырѣзками. Слонообразные юноши-семинаристы безъ устали копались въ этихъ ворохахъ, и начальство, взирая на нихъ, съ удовольствіемъ помышляло, что существуютъ же на свѣтѣ тѣлеса, которыхъ даже подобная работа сломить не можетъ.

Здѣсь Велентьевъ встрѣтилъ товарищей по академіи, съ которыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства. Тутъ были они всѣ: и Гіероглифовъ, и Мудровъ, и Быстроумовъ, и Словущенскій. На нихъ лежали тогдашнія упованія Россіи, и, какъ извѣстно, лежали не напрасно. Товарищи встрѣтили Менандра не только безъ зависти, но даже съ сердечностью и радушіемъ. Вскорѣ они ввели его въ свой интимный кружокъ, ко-

торый, повидимому, преслѣдовалъ какія-то особыя цѣли, и потому имѣлъ внѣшніе признаки недозволеннаго правительствомъ общества.

Кружокъ этотъ назывался „Дружескимъ союзомъ для изысканія средствъ и достиженія цѣлей“. Цѣль союза формулировалась такъ: произвести повсемѣстное пареніе духа, имѣя притомъ въ виду достиженіе высшихъ блаженствъ. Въ тридцатыхъ годахъ—это уже не дозволялось. Ближайшимъ средствомъ къ этой цѣли предлагалось слѣдующее: опутать Россію цѣлою сѣтью семинаристовъ-администраторовъ и семинаристовъ-законодателей, такъ какъ имъ однимъ, „яко видѣвшимъ процвѣтшій въ единую отъ нощей жезлъ Ааронов“, вполнѣ доступно истинное представленіе о высшихъ блаженствахъ. Будучи введенъ въ это общество, Велентьевъ немедленно и съ полною ясностью опредѣлилъ себѣ тотъ путь, по которому ему надлежитъ идти, то-есть предпринялъ изгнать отъ него все относящееся къ пареніе духа, яко противоправительственное.

Какъ и во всякомъ обществѣ людей, соединившихся съ извѣстными цѣлями, въ „союзѣ“ были двѣ партіи: радикалы и умѣренные. Во главѣ радикаловъ стояли: Гіероглифовъ и Мудровъ; во главѣ умѣренныхъ (иначе „суетныхъ“) находились: Быстроумовъ и Словущенскій. Какъ составители законовъ, эти молодые люди руководили всѣмъ движеніемъ; за ними уже стояли цѣлыя полчища Рождественскихъ, Спасскихъ, Неглигентовыхъ и проч., имѣвшихъ болѣе скромныя должности въ различныхъ департаментахъ.

Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились къ „пареніе духа“; они небрегли внѣшностью, были чрезмѣрно худы и длинны, одѣвались плохо, причесывались по принужденію и жадно глотали всякую пищу, не разбирая достоинствъ ея. Словомъ сказать, они охотно отдали бы на поруганіе тѣла свои, лишь бы достигнуть „высшихъ блаженствъ“.

„Я желалъ бы, чтобы псы терзали меня!“—вдохновенно говорилъ Гіероглифовъ. Напротивъ того, „суетные“ были люди слегка тронутые матеріализмомъ, и хотя признавали „пареніе духа“ лучшею формою человѣческаго счастія, но признавали это подъ условіемъ укрощенія тѣлеснаго озлобленія при посредствѣ „незазорныхъ и дозволенныхъ правительствомъ лакомствъ“. Имъ улыбался суровый съ виду, но въ сущности очень покладистый правительственный матеріализмъ, въ видѣ приношеній, взятокъ, акциденцій и проч. По наружному виду это были люди кругленькіе и сытенькіе; одѣвались они не безъ семинарской щеголеватости, причесывались каждый день и не только не признавали правила: „предлагаемое да ядимъ“, но, напротивъ того, всегда выбирали по возможности лучшіе куски. Тѣлъ своихъ на поруганіе они не отдавали, а напротивъ желали „въ полномъ спокойствіи и мирѣ душевномъ сквозь горнило испытаній пройти, дабы впослѣдствіи отъ трапезы блаженствъ благочинно и непрепятственно вкушать“.

Менандръ Велентьевъ сразу всталъ на сторону „суетныхъ“ и даже скоро сдѣлался руководителемъ и главой этой партіи. Случайно высказанное имъ княгинѣ убѣжденіе, относительно средствъ для укрощенія тѣлеснаго озлобленія, глубоко запало ему въ душу. Сначала укротить, а потомъ—воспарить. Немедленно по вступленіи въ союзъ, онъ напечаталъ за подписью Z въ одномъ изъ журналовъ того времени статью подъ названіемъ: „Что означаетъ истинное умерщвленіе человѣческой плоти?“—въ которой доказывалъ,

что истинное умерщвленіе плоти есть „благопріятное и въ дозволенныхъ закономъ размѣрахъ оной удовлетвореніе“. „Неспорно, — писалъ онъ, — что плоть человѣческая имѣетъ естество въ достаточной степени гнусное, но такъ-какъ мы оную ни уничтожить, ниже сократить не вольны, то и вынуждаемся принять оную во вниманіе“. Статья эта надѣлала большого шума; Гіероглифовъ и Мудровъ написали каждый по отвѣтной статьѣ, въ которыхъ изъяснили, что хотя г. Z имъ и неизвѣстенъ, но, должно быть, имѣетъ душу низкую, такъ-какъ даже имени своего подъ статьей подписать не дерзнулъ. Тогда Велентьевъ написалъ другую статью подъ названіемъ: „Что симъ достигается?“ — побѣдоноснымъ образомъ доказавъ, что симъ достигается именно то самое свободное пареніе духа, о которомъ хлопочутъ и Гіероглифовъ съ Мудровымъ. „Когда духъ нашъ свободно и бодро паритъ?“ вопрошалъ онъ себя, и тутъ же отвѣтствовалъ на вопросъ: „тогда, когда плоть молчитъ; молчитъ же она не тогда, когда чувствуетъ себя угнетенною, но тогда, когда требованія ея вполнѣ и на законномъ основаніи удовлетворены“.

Полемика эта, какъ и всѣ полемики, никакой пользы для науки духознанія не принесла, но для самого Велентьева имѣла результатъ очень существенный. Вопросъ о тѣлесномъ озлобленіи выяснился для него настолько ясно, что его неотступно начало преслѣдовать страстное представленіе о мѣстѣ совѣтника въ одной изъ казенныхъ палатъ. Получить мѣсто совѣтника питейнаго отдѣленія, и потомъ воспарить—такова была отнынѣ завѣтная мечта Велентьева,—мечта, осуществленіе которой сдѣлало его равнодушнымъ даже къ „изобрѣтенію пригодныхъ законовъ“. Только въ званіи совѣтника онъ надѣялся найти для себя ту награду, которую, по его же словамъ, истинно добродѣтельный человѣкъ, не обременяя казны, самъ для себя получить можетъ. Получить мѣсто по питейной части и затѣмъ приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себѣ въ подруги дѣвицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую, но и не безприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито уродливую—таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Менандра.

Къ счастію для Велентьева, привести въ исполненіе оба эти предположенія оказалось нетруднымъ.

Если въ синодальномъ вѣдомствѣ игралъ видную роль князь Оболдуй-Ферлакуръ, то въ финансовомъ вѣдомствѣ такую же роль игралъ эйзенахскій уроженецъ фонъ-Юнгфершафтъ, въ то время уже возведенный въ графское Россійской Имперіи достоинство. Франко-германской распри еще не существовало; вопросъ о національностяхъ дремалъ подъ сѣнію вѣнскихъ трактатовъ, а потому всѣ выходцы поддерживали другъ друга безъ различія національностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфершафту насчетъ мѣстечка по питейной части; Юнгфершафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита—и, благодаря взаимнымъ услугамъ, дѣла объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ шли какъ по маслу. Архимандриты, совѣтники, исправники—всѣ видѣли себя агентами одной и той же короны, только по разнымъ предметамъ, распредѣленіе которыхъ хранилось въ высшей регистратурѣ. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня такъ усердно хлопотала, что чрезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ зародилась идея о мѣстѣ,

Менандръ уже являлся къ самому Юнгфершафту и получалъ отъ него наставленіе, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ россійскими финансами. Графъ былъ сухой и безстрастный старикъ, говорившій глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ, и повидимому онъ оправдывалъ это мнѣніе; но, къ сожалѣнію, изъ долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то глубоко-безнадежное убѣжденіе о Россіи.

— Сей страна отъ природы таковъ, — говорилъ онъ, — что въ немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Вы отправляетесь въ одну изъ наивыгоднѣйшихъ губерніи Россійской Имперіи, — сказалъ онъ ему: — но прошу васъ — я не приказываю, но прошу — имѣйте ротъ не столько широкій, какъ многіе изъ сослуживцевъ вашихъ!

— Помилуйте, ваше сіятельство! — заикнулся-было Менандръ, у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что ви хотите сказать, — невозмутимо продолжалъ старикъ: — ви хотите сказать, что ви не таковъ. Я долженъ вамъ вѣрить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вамъ: сожалѣйте вашъ родной страна! Это очень добрый и хорошій страна; но нужно немного его менажировать!

Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо порываясь разувѣрить графа, но старикъ былъ невозмутимъ.

— И еще прошу васъ, — говорилъ онъ: — не будьте нетерпѣливъ! Мы для всѣхъ предлагаемъ очень хорошій обѣдъ, но много людей имѣютъ такъ мало терпѣнья, что бросаются кушать, когда еще столъ не накрытъ. И за то попадаютъ подъ судъ.

На губахъ графа играла чуть-чуть замѣтная улыбка; глаза смотрѣли ясно, какъ будто читали насквозь въ душѣ этого вскормленника гороховицы, всѣ фибры котораго въ эту минуту свѣтились вожделѣніемъ. Подъ лучомъ этого взгляда Велентьеву сдѣлалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу, — продолжалъ напутствовать графъ: — не все грабить! Очень большой человѣкъ грабить не надо. Ибо ежели законъ говоритъ: дѣйствовать не взирая на особъ, то практика говоритъ не такъ. Прощайте, г. Велентій!

Велентьевъ вышелъ отъ графа словно изъ бани. Съ одной стороны, уста по привычкѣ шептали: „ангелъ, а не человѣкъ!“ — съ другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угадалъ въ немъ нѣчто такое, въ чемъ даже онъ самъ не рѣшался дать себѣ отчетъ. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проницательностью, что, говоря по совѣсти, не было возможности что-либо возразить.

Какъ бы то ни было, но предположеніе относительно мѣста осуществилось; оставалось осуществить другое предположеніе — относительно вступленія въ законный бракъ. Фортуна и на этотъ разъ не оставила Менандра своимъ покровительствомъ.

У княгини жила въ домѣ троюродная племянница, одна изъ многочи-

сленныхъ представительницъ захудалаго грузино-осетинскаго рода князей Крикулидзевыхъ. Княжнѣ Нинѣ Иракліевнѣ было подъ-тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незамѣтно копошилась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома, не обращая на себя ничьего вниманія и повидимому отказавшись отъ всякой надежды на вступленіе въ брачный союзъ. Въ постоянномъ одиночествѣ она пріобрѣла одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшія подачки, которыя давала ей по праздникамъ княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сдѣлать въ гостиномъ дворѣ или въ милютиныхъ лавкахъ закупки: тогда она уэкономливала нѣсколько рублей и присовокупляла ихъ къ прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губерніи небольшое имѣніе (не болѣе тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже прятала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это имѣніе и приноситъ ли оно что-нибудь, но она знала это отлично, и, пользуясь въ домѣ тетки полной свободой, неслышно и незримо для всѣхъ дѣлала очень выгодныя финансовыя операціи. Операціи эти заключались въ отдачѣ крестьянъ въ солдаты „за дурное поведеніе“, въ продажѣ рекрутскихъ квитанцій, въ покупкѣ на свозъ душъ, въ продажѣ дѣвокъ и проч. Операціи неблестящія, почти незамѣтныя, но вѣрныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь Іонки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ рекруты по случаю искривленія позвоночнаго столба, въ домѣ надъ нею смѣялись и говорили: „cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!“ и затѣмъ, конечно, обхлопатывали дѣло такъ, что Іонку-подлеца принимали, несмотря на искривленіе позвоночнаго столба. А она прикидывалась казанской сиротой, но черезъ мѣсяцъ или черезъ два снова возбуждала вопросъ объ отдачѣ въ солдаты подлеца-Ипатки, у котораго на правой рукѣ не оказывалось указательнаго перста.

— Calmez-vous, chère enfant!—успокаивалъ ее старый князь:—j'intercederai! cela s'arrangera.

И Прошки, Ипатки, Іонки исчезали безслѣдно въ качествѣ кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фурштатскихъ чиновъ великой россійской арміи.

Но подъ конецъ и въ домѣ стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей исполнилось тридцать лѣтъ, и она, постепенно чернѣя, сдѣлалась уже совсѣмъ черною. Догадался и Велентьевъ, но, прежде чѣмъ на что-нибудь окончательно рѣшиться, онъ сталъ исподволь похаживать по корридору, въ который выходила комната княжны. Княжна съ своей стороны замѣтила эти прогулки — и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая забитостью, одиночествомъ и страстью къ деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться въ зеркало, и незамѣтно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сдѣлались томные, голосъ зазвучалъ рѣзче, носъ еще болѣе заострился и вытянулся. Наконецъ, въ одно послѣ обѣда, встрѣтившись съ Велентьевымъ въ корридорѣ, она пригласила его въ свою комнату и угостила прекраснѣйшимъ вареньемъ.

— Вы, можетъ быть, думаете, что у меня денегъ нѣтъ?—сказала она, вдругъ приступая къ самому существу дѣла:—нѣтъ, у меня есть деньги!

Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаніи.

— Я недавно купила сто мужиковъ на свозъ, — продолжала княжна: — и ежели эта операція удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сіятельство!—захлебнулся Велентьевъ.

— А когда я буду выходить за мужъ, то ma tante дастъ мнѣ еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдавать въ ростъ.

— Ваше сіятельство! осмѣлюсь доложить...

— Вы думаете, можетъ быть, что отдавать деньги въ ростъ — дѣло рискованное, но я могу сказать навѣрное, что тутъ никакого риску нѣтъ. Почти всѣ заложенныя вещи остаются невыкупленными и достаются мнѣ за безцѣнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснѣйшихъ вещей!

И она выложила передъ нимъ цѣлый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.

— Всѣ эти вещи теперь мои,—сказала она:—потому что всѣ онѣ просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я вамъ подарю одну изъ этихъ табакерокъ. Скажите, вы въ какихъ отношеніяхъ къ ma tante?

— Помилуйте, ваше сіятельство!.. Княгиня — ангелъ-съ! смѣю ли я подумать!

— Гм... ангелъ! А Ѳедосѣя Семеныча вы знаете?

— Нѣтъ-съ, не имѣю чести...

— Ну, такъ вотъ онъ могъ бы сказать вамъ, какой она ангелъ. Теперь онъ секретаремъ въ вятской духовной консисторіи служитъ.

Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ и княжною. Тѣмъ не менѣе онъ заключалъ въ себѣ настолько содержательности, что участь обоихъ дѣйствующихъ лицъ была рѣшена. Черезъ мѣсяцъ княжна Нина Иракліевна Крикулидзева уже носила фамилію Велентьевой, и молодые въ великолѣпномъ іохимовскомъ дормезѣ (подарокъ ma tante) отправлялись въ губернскій городъ Семіозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирій.

Такимъ образомъ уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ сказать, на самомъ лонѣ финансовыхъ операцій.

Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ тѣмъ невозмутимымъ практическимъ смысломъ, которымъ онъ всегда отличался. Конечно, въ качествѣ бывшаго семинариста, не отвыкшаго еще во всякомъ дѣлѣ прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, онъ увлекся-было разъясненіемъ вопроса о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ совѣтника казенной палаты, но, къ чести его должно сказать, что увлеченіе это было непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему дѣйствительность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что отыскивать въ ней что-либо отвѣчающее понятію, выраженному словами: права и обязанности — было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за нѣчто существенное такое, напримѣръ, право, какъ право носить мундиръ съ шитьемъ

шестого класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принадлежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ составѣ, хотя и подраздѣлялся на рубрики, носившія наименованіе „правъ и обязанностей“ но очевидно, что это произошло лишь вслѣдствіе недоразумѣнія. Въ сущности, всякій, какъ чиновникъ, такъ и простой обыватель, жилъ какъ могъ, то-есть не зналъ ни правъ, ни обязанностей, а просто-на-просто занимался пріобрѣтеніемъ въ свою пользу матеріальныхъ удобствъ настолько, насколько это позволяла личная возможность пріобрѣтать. И ужъ, конечно, никто не стѣснялся мыслью, что существуетъ на свѣтѣ какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имѣютъ названіе правъ и обязанностей.

И такъ, ни правъ, ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе не попасть подъ судъ. Но желаніе есть такая вещь, которая присуща природѣ человѣка, даже независимо отъ степени нравственнаго и умственнаго его развитія. И дикарь нѣчто желаетъ, несмотря на то, что онъ не имѣетъ понятія ни о правдѣ, ни о добрѣ, ни объ общественномъ интересѣ. Поэтому, если существуетъ общество, въ которомъ всѣ высшіе интересы сосредоточиваются исключительно около мундирнаго шитья и другихъ внѣшнихъ проявленій чиновничьяго этикета, то ясно, что въ этомъ обществѣ единственнымъ регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій можетъ служить только личная жадность каждаго отдѣльнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная, уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря. Можетъ человѣкъ унести и спрятать, или не можетъ? можетъ заглотать облюбованный кусъ, или не можетъ? —вотъ кругъ, въ которомъ вращается человѣческая жизнь, вотъ вся ея философія.

Несмотря на свою грубость, эта теорія улыбалась Велентьеву. Во-первыхъ, она не только совпадала съ его теоріей угожденія плоти (дабы духъ могъ безпрепятственнѣе воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполненіе второй половины задачи (пареніе духа) естественному ходу обстоятельствъ. Возможетъ духъ воспарить — прекрасно; не возможетъ — стало быть, обстоятельства тому не благопріятствуютъ. И дешево, и сердито.

Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теоріи нѣтъ, то, дѣлать ничего, надобно мириться и съ тою, какая есть. Только безумцы могутъ отыскивать жемчужное зерно въ навозѣ; мудрый же довольствуется и овсянымъ зерномъ. Притомъ же и правительство одобряетъ, дабы никто жемчужнаго зерна не искалъ. Мудрый прежде всего ищетъ, чтобы у него была почва подъ ногами, и ежели эту почву составляетъ навозъ, то онъ и на навозѣ не погнушается строить зданіе своего благосостоянія. Въ-третьихъ, наконецъ, — и это самое главное, теорія личной жадности встрѣчала на практикѣ такія приспособленія, которыя примиряли съ нею самаго взыскательнаго и щепетильнаго моралиста.

Взятая сама по себѣ, она была безнравственна—Велентьевъ охотно допускалъ это. Еслибъ всѣмъ людямъ безъ различія была предоставлена возможность свободно проявлять стремленія своего апетита, то послѣдствія этой свободы были бы самыя пагубныя. А именно: или всеобщая истребительная

война, или всеобщее обѣднѣніе. По крайней мѣрѣ такъ гласитъ наука не только тогдашняго, но и нашего времени. Ни того, ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ качествѣ вскормленника семинаріи, онъ ненавидѣлъ военныя упражненія и любилъ сосать свой кусъ не токмо нетревожно и несмущенно, но такъ, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила Подателя всѣхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патріотъ, онъ понималъ, что ежели всѣ куски сдѣлать равными, то человѣческая дѣятельность утратитъ главнѣйшій свой стимулъ: соревнованіе. Каждый будетъ доволенъ (или вынужденъ казаться таковымъ) своей долей, и не станетъ порываться урвать долю, сосомую сосѣдомъ. Люди одичаютъ, сдѣлаются лѣнивыми и безпечными, утратятъ инстинктъ предусмотрительности и запасливости—на что похоже! Фабрики и заводы прекратятъ свое дѣйствіе; промышленность придетъ въ упадокъ, торги запустѣютъ, земледѣлію будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Что станется съ отечествомъ? — Велентьева подиралъ морозъ по кожѣ отъ этого вопроса. Но, къ счастію, ему не представлялось даже надобности разрѣшать этотъ вопросъ, ибо само отечество позаботилось о его разрѣшеніи.

Русское общество съ самаго начала XVIII вѣка порывалось создать теорію такой регламентаціи апетитовъ, которая приличествовала бы обществу вполнѣ цивилизованному, оберегающему себя и отъ анархіи, и отъ всеобщаго обѣднѣнія. Попытки эти выразились въ формѣ очень незамысловатой, но въ то же время очень дѣйствительной, а именно—въ формѣ табели о рангахъ. Общество не лукавило; оно не прибѣгало для оправданія своихъ теорій къ помощи сложныхъ и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрѣшаютъ вопросъ объ уравновѣшеніи человѣческихъ апетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ дѣйствительности происходитъ ограниченіе однихъ частныхъ апетитовъ въ пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило проще, то-есть раздѣлило апетиты на ранги, и затѣмъ сказало, что только дѣйствительно сильный и вполнѣ сознающій себя апетитъ можетъ выйти изъ того ранга, въ который его помѣстила судьба. Это была своего рода цѣльная и оригинальная экономическая наука, которая въ главныхъ чертахъ раздѣляла обывателей на слѣдующіе четыре разряда. Однимъ предоставлялось желать, но не получать желаемаго; другимъ — желать и получать сполна; четвертымъ — желать и получать въ излишествѣ.

Такимъ образомъ вопросъ о безнравственности теоріи индивидуальныхъ апетитовъ былъ устраненъ, и это тѣмъ болѣе утѣшило Велентьева, что въ большинствѣ случаевъ съ табелью о рангахъ уходилъ на задній планъ и вопросъ о силѣ апетита, или, лучше сказать, вопросъ этотъ ставился въ полнѣйшую зависимость отъ разрядовъ. Конечно, исключенія допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ, былъ однимъ изъ такихъ исключеній), но исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ и узаконяютъ правило. По общему же правилу: будь человѣкъ хоть семи пядей во лбу, имѣй онъ хоть волчій апетитъ, но ежели по щучьему велѣнію онъ засѣлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкаться ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.

— Да-съ, и сиди да посиживай тамъ! вотъ и хотѣлось бы тебѣ, кури-

цыну сыну, что-нибудь стибрить—анъ врешь, руки коротки! Припасено, милый человѣкъ, да не про тебя!—мысленно говорилъ себѣ Велентьевъ, потирая руки.

Столь прекрасныя практическія приспособленія совершенно успокоили Менандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что апетитъ у него сильный, что самъ онъ, по мѣрѣ возможности, готовъ пожрать все, что̀ угодно, и что обстоятельства благопріятствуютъ не только содержанію этого апетита въ исправности, но даже и развитію его въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ настолько благоразуменъ, что на первый разъ, по собственному движенію, причислилъ себя не къ четвертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ—это идеалъ, это свѣтозарный пунктъ, къ которому надлежитъ стремиться и по возможности достигать. Третій разрядъ—это „слѣдуемое“, это то̀, что̀ во всякомъ случаѣ должно быть. Велентьевъ понялъ, что прежде, нежели требовать отъ судьбы излишковъ, человѣкъ долженъ достигать „счастія“, то-есть такого душевнаго равновѣсія, при которомъ онъ имѣетъ право сказать: я мало имѣю, но за сіе малое восхвалю Господа моего въ тимпанахъ и гусляхъ! Достигнуть же этого блаженнаго состоянія можно лишь тогда, когда желанія человѣческія строго согласованы съ средствами ихъ осуществленія, и когда вслѣдствіе этого согласованія произойдетъ полученіе желаемаго сполна. Разумѣется, непріятно видѣть, какъ сосѣдъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не умѣетъ!), но на первыхъ порахъ и эту непріятность слѣдуетъ перенести стоически. Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ — онъ, Велентьевъ, поживетъ и на Козьей улицѣ, въ собственномъ домикѣ съ садомъ и палисадникомъ. Всякому свое—вотъ правило мудраго; тотъ же мудрѣйшій, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдѣ уже теряется различіе между твоимъ и моимъ — все-таки долженъ хотя на время притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому: совѣтнику ревизскаго отдѣленія — свое; губернскому контролеру — свое, поменѣе; губернскому казначею — свое, еще поменѣе; ему, Велентьеву, яко совѣтнику питейнаго отдѣленія — свое, противъ другихъ сугубо. Но до поры до времени ни ему нѣтъ дѣла до чужихъ кусковъ, ни другимъ — до его куска. Всякій да сосетъ свой кусокъ подъ смоковницею своей.

„Прибылъ я въ патріархальный нашъ Семиозерскъ,—писалъ Велентьевъ къ другу своему Словущенскому,—и изумился, до какой степени мудро наши добрые провинціалы все сіе устроили. Представь себѣ немалое зданіе, множествомъ камеръ исполненное. Одному дана камера посвѣтлѣе и пообширнѣе, другому — не столько свѣтлая и обширная; однакожъ никто, начиная съ презуса и кончая послѣднимъ канцелярскимъ служителемъ, не забытъ. И скажу тебѣ откровенно, мой другъ! Мнится, что не тотъ счастливъ, кто имѣетъ самую свѣтлую и обширную камеру, но тотъ, кто и въ своей посредственной камерѣ умѣетъ съ чистымъ сердцемъ прожить!“

Въ тѣ времена мѣста совѣтниковъ казенныхъ палатъ (въ особенности же питейныхъ отдѣленій) считались самыми завидными. Хотя грабежъ шелъ неусыпающій, но такъ-какъ онъ былъ негромкій, то со стороны казалось, что это не грабежъ, а только полученіе желаемаго. Поэтому, кромѣ хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ. Какой-нибудь совѣтникъ губернскаго правле-

нія, чтобы поставить себя въ матеріальномъ отношеніи на одну высоту съ совѣтникомъ казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти въ паи съ убійцами, или скрасть сенатскій указъ, или сдѣлать подлогъ. То-есть, говоря выраженіемъ того времени, долженъ былъ „замараться“, ибо лишь за дѣла, сопряженныя съ „замараніемъ“, онъ получалъ мзду настолько существенную, что „не совѣстно было ее взять“. Напротивъ того, совѣтникъ казенной палаты могъ не только гнушаться убійцами, но просто имѣлъ право сидѣть сложа руки и, какъ говорится, ждать у моря погоды — и ни десница, ни шуйца его оттого не оскудѣвали. Ему нужно было только состоять въ званіи совѣтника — и взятка притекала къ нему сама, и притомъ взятка самая „благородная“, такая, которую и „не стыдно было взять“ (въ количественномъ смыслѣ), и для полученія которой не нужно было ни „мараться“, ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что мѣста эти цѣнились высоко и достигались лишь съ помощью сильной протекціи или очень значительной денежной оплаты.

Но даже и въ казенныхъ палатахъ питейныя отдѣленія казались чѣмъ-то исключительнымъ, въ родѣ рая земного. Прочіе совѣтники хоть по временамъ, но должны были красть и вымогать *); совѣтникъ питейнаго отдѣленія—никогда! Онъ могъ, никого не угнетая, а, напротивъ, всѣхъ радуя, прожить свой вѣкъ — и во всякомъ случаѣ получить желаемое сполна и въ опредѣленные сроки. Въ его завѣдываніи было самое тучное, благонравное и сговорчивое изъ всѣхъ стадъ, какія когда-либо ввѣрялись человѣческому пасенью. То было стадо откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ. Тучное и покладистое, оно привлекало къ себѣ всѣ сердца еще тѣмъ, что было немногочисленно и неразнообразно, а слѣдовательно не представляло опасностей и относительно болтовни. Въ этомъ маленькомъ, однородномъ и по природѣ податливомъ мірѣ, между пасущими и пасомыми изстари завязались такія крѣпкія отношенія, которыя образовали собой цѣлое „положеніе“, имѣвшее, пожалуй, болѣе силы и обязательности, нежели положенія, освященныя закономъ. Это добровольное, выработанное самою жизнью „положеніе“ выполнялось съ точностью вѣрнѣйшаго часового механизма и притомъ самымъ „благороднымъ“ образомъ. Однимъ словомъ, благодаря ему, совѣтникъ питейнаго отдѣленія могъ, нимало „не маряясь“, получать все то, что и онъ, и самъ взяткодатель считали безспорно ему принадлежащимъ.

Каждогодно, въ сентябрѣ, производились въ палатѣ торги на поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ „на братію“ отъ шести до восьми копѣекъ ассигнаціями съ ведра, смотря по тому, какое существовало въ губерніи „положеніе“. Откупщикъ съ своей стороны тоже руководился

*) Такъ напримѣръ: совѣтникъ ревизскаго отдѣленія обязанъ былъ щупать рекрутскія тѣла, выслушивать плачъ, стоны и проклятія, кривить душой при пріемѣ охотниковъ, входить въ пререканія съ лекарями и военными пріемщиками и т. д., губернскій контролеръ, чтобы получить мзду, нерѣдко оставлялъ безъ утвержденія даже самые правильные отчеты, такъ что ему давали взятку только затѣмъ, чтобъ развязаться съ нимъ; на мѣста губернскихъ казначеевъ попадали древніе старики, которые жили подачками при подписаніи указовъ о выдачѣ денегъ, а также подарками, получаемыми отъ уѣздныхъ казначеевъ.—*Примѣч. авт.*

„положеніемъ“, внося свою дачу по третямъ года или помѣсячно, и притомъ всегда впередъ, такъ-что даже въ случаѣ смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ являлись по временамъ и отдѣльные случаи: взятіе откупа въ казенное управленіе, корчемство, пререканія между откупщиками двухъ сосѣднихъ уѣздовъ и т. д. Но и эти случаи были предвидѣны „положеніемъ“, и ежели не математически вѣрно, то приблизительно были имъ разрѣшены. Слѣдовательно въ виду всегда имѣлась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ, ни пререканій. Пріѣдетъ заводчикъ, скажетъ: „по „положенію“ имѣю честь вручить“; совѣтникъ пожметъ ему руку и отвѣтитъ: „напрасно безпокоились, а впрочемъ“... Только всего и разговоровъ.

Затѣмъ замокъ щелкалъ, и „слѣдующее по положенію“ скромно присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава — всѣ приносили отъ избытковъ своихъ, а тотъ, кто терпѣлъ — не жаловался, да врядъ ли и понималъ, что онъ терпитъ.

Столь превосходныя качества мѣстъ требовали и строгаго выбора лицъ для занятія ихъ. Лица эти были люди солидные, обладавшіе вполнѣ благонадежными качествами ума и сердца. Многіе изъ совѣтниковъ питейныхъ отдѣленій были тайные поборники масонства; многіе числились членами библейскаго общества и всѣ безъ исключенія отличались набожностью, склонностью къ созерцательности и любовью къ благолѣпію службы церковной. Епархіальные архіереи видѣли въ нихъ опору благочестія, доблестнѣйшихъ сыновъ церкви, составлявшихъ украшеніе воскресныхъ архіерейскихъ пироговъ. Центральная власть понимала ихъ какъ людей, существенно заинтересованныхъ въ сохраненіи существующихъ порядковъ, а слѣдовательно благонамѣренныхъ и нестроптивыхъ. Директоры училищъ отводили душу, бесѣдуя съ ними о Богѣ и Его величіи. Полиціймейстеры указывали на нихъ, какъ на идеалъ доблестнаго содержанія мостовыхъ и неуклонной вывозки нечистотъ. Въ заключеніе же всего, общество, убѣжденное, что изъ всего чиновничьяго сословія они одни не имѣютъ надобности „мараться“, а только получаютъ слѣдующее „по положенію“, дарило ихъ своимъ довѣріемъ и выбирало старшинами въ мѣстные клубы.

Живя скромно, окруженные общею любовью, никѣмъ не огорчаемые, эти люди незамѣтно становились городскими старожилами, принимали къ сердцу мѣстные интересы, дѣлались членами холерныхъ, оспенныхъ и другихъ комитетовъ и умирали въ глубокой старости, оставляя послѣ себя вдовъ и сиротъ, которые были бы неутѣшными, еслибъ хлопоты по утвержденію въ правахъ наслѣдства давали имъ время для продолжительнаго оплакиванья. И когда печальная колесница увозила къ послѣднему жилищу гробъ, на крышѣ котораго красовалась трехъ-угольная шляпа, а внутри покоились бренные останки того, кто еще такъ недавно былъ добрымъ пастыремъ откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ, никто не говорилъ вслѣдъ этому гробу: „вотъ умеръ одинъ изъ грабителей русской земли!“ — но всякій, сотворивъ крестное знаменіе произносилъ: „вотъ умеръ человѣкъ, который никогда въ своей жизни не замарался, но довольствовался лишь тѣмъ, что слѣдовало ему по положенію“.

Вотъ краткій, но правдивый очеркъ того положенія, въ которомъ очутился Велентьевъ въ Семиозерскѣ.

Менандръ Семенычъ инстинктомъ угадалъ все, что въ его новой роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность, почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ двадцать лѣтъ сряду разрѣшалъ вопросы объ утечкѣ и усышкѣ. Еще передъ выѣздомъ изъ Петербурга онъ понялъ, что главное въ этомъ дѣлѣ — это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего пріобрѣлъ себѣ отлично переплетенную и разлинованную тетрадь съ вытисненною на переплетѣ надписью „Разное“. На внутреннемъ же заглавномъ листѣ тетради онъ надписалъ: „Смѣта ожидаемыхъ полученій“, съ эпиграфомъ: *благословиши вѣнецъ лѣта благости Твоея, Господи*! Затѣмъ, съ свойственною ему проницательностью, онъ раздѣлилъ смѣту на пять слѣдующихъ параграфовъ: § 1-й. „Содержаніе, отъ казны присвоенное (*лепта вдовицы*)“. § 2-й. „Положеніе отъ откупа (*всякое даяніе благо*)“. § 3-й. „Положеніе отъ господъ винокуренныхъ заводчиковъ (*и всякъ даръ совершенъ*)“. § 4-й. „Слѣдуемое отъ винныхъ приставовъ (*ему же дань—дань, ему же честь—честь, ему же оброкъ—оброкъ*)“. § 5-й. „Разныя поступленія (*ищите и обрящете*)“. Сдѣлавъ это распредѣленіе, Менандръ Семеновичъ сказалъ себѣ, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающія кругообращеніе совѣтника питейнаго отдѣленія, найдены и затѣмъ остается только наблюдать, чтобъ онѣ своевременно и неупустительно наполнялись.

По соображеніямъ его, всѣ пять параграфовъ смѣты должны были доставить никакъ не менѣе тридцати тысячъ рублей на ассигнаціи въ годъ, безъ лажа. А такъ какъ, при тогдашней дешевизнѣ всѣхъ жизненныхъ потребностей и при собственной его умѣренной жизни, ему и пять тысячъ прожить за глаза, то долженъ получиться ежегодный остатокъ въ двадцать-пять тысячъ рублей, который и представляетъ собой „полученіе желаемаго“, или чистый доходъ. Этотъ чистый доходъ предполагалось употреблять на финансовыя операціи.

Въ тѣ времена финансовыя операціи были еще въ младенчествѣ. Никто еще не думалъ ни о желѣзныхъ дорогахъ, ни о водопроводахъ, а тѣмъ менѣе объ учрежденіи компаній для полученія отъ казны пособій. Приращеніе капитала шло медленно, но за то вѣрно. Большинство чиновниковъ клало свои лепты въ ломбардъ на имя неизвѣстнаго, и предпочитало этотъ способъ приращенія всѣмъ другимъ, потому что онъ не былъ сопряженъ съ рискомъ и не допускалъ огласки.

— Ломбардъ — святое дѣло! — говорили чиновники.—Положилъ, и концы въ воду.

Другой способъ приращенія заключался въ одолженіи деньгами „вѣрнаго человѣка“ за хорошіе проценты. Тутъ приращеніе шло нѣсколько быстрѣе, но и возможность огласки была настолько значительна, что только мелкіе и очень жадные чиновники рѣшались на эту операцію. Третій способъ состоялъ въ помѣщеніи денегъ въ торговыя предпріятія, которыя обыкновенно велись подъ чужимъ именемъ; но эта операція требовала такого сложнаго и бдительнаго контроля, что чиновники, увлекавшіеся выгодами торговыхъ барышей, нерѣдко становились въ положеніе человѣка, погнавшагося разомъ

за двумя зайцами и ни одного не поймавшаго. Наконецъ, существовала еще и четвертая операція—это покупка и продажа мужиковъ. Операція эта была совершенно вѣрная и выгодная. но тутъ огласка была уже полная.

Менандръ Семеновичъ, какъ человѣкъ солидный, и операцію выбралъ солидную, то-есть рѣшился класть свой чистый доходъ въ ломбардъ. Нельзя сказать, чтобы мысль о болѣе быстромъ обогащеніи не улыбалась ему, но онъ понялъ, что благосостояніе его зависитъ не столько отъ тѣхъ выгодъ, которыя можетъ доставить ему быстрое обращеніе благопріобрѣтенныхъ капиталовъ, сколько отъ ежегодныхъ и совершенно вѣрныхъ присовокупленій, которыя сулила ему должность. Эта должность представляла единственную прочную и никогда не изсякающую операцію, которую онъ могъ предпринять безъ риска, а потому онъ далъ себѣ слово оберегать ее отъ всякихъ случайностей и содержать этотъ источникъ столь чистымъ и прозрачнымъ, какъ ему въ томъ передъ начальствомъ и на страшномъ судѣ отвѣтъ дать надлежитъ.

Только два раза, въ продолженіе своей служебной карьеры, Велентьевъ отступилъ отъ этого мудраго правила: оба раза по настоянію Нины Ираклiевны, и оба раза съ ущербомъ. Одинъ разъ онъ „одолжилъ“ за хорошій процентъ довольно значительную сумму совершенно „вѣрному“ человѣку, которому притомъ нужно было „перехватить“ двадцать тысячъ на самый короткій срокъ для самой надежной операціи. И что же оказалось? Едва получилъ „вѣрный человѣкъ“ деньги, какъ тотчасъ же словно въ воду канулъ. Только черезъ годъ онъ вынырнулъ, но вынырнулъ тамъ, гдѣ уже не существуетъ ни возвратовъ занятыхъ суммъ, ни надеждъ на выгодныя операціи—въ семиозерскомъ острогѣ. Менандръ Семеновичъ поскорбѣлъ, упрекнулъ Нину Ираклiевну въ легкомыслiи, но давать дѣлу огласку и „мараться“ не пожелалъ. Подобно древнему Іову, онъ сказалъ себѣ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ“,—и затѣмъ купилъ два калача и поѣхалъ въ тюремный замокъ.

— Ты у меня двадцать тысячъ укралъ,—сказалъ онъ своему должнику: —но я тебѣ не мщу, потому что мстятъ только низкія души. Вотъ. привезъ тебѣ два калача: возьми и ѣшь.

Въ другой разъ онъ задумалъ открыть мучной лабазъ и торговать подъ чужимъ именемъ хлѣбомъ, но и эта операція убѣдила его, что одному человѣку заграбить всѣ деньги никакъ невозможно. Во-первыхъ, контроль надъ мѣщаниномъ, отъ имени котораго производилась торговля, оказался до крайности сложнымъ и даже унизительнымъ. Каждое утро Велентьевъ запирался съ своимъ агентомъ въ кабинетѣ, провѣрялъ счеты, прокладывалъ выручку, но и за всѣмъ тѣмъ никогда не могъ освободиться отъ мысли, что агентъ нѣчто укралъ. Какъ плодъ этихъ сомнѣній, въ кабинетѣ раздавались покрякиванія и еще какіе-то звуки, выражавшіе не то недовѣріе, не то недоумѣніе.

— „Со вчерашними ежели считать, то двѣсти-пятьдесятъ рублей и три четверти копѣйки, а безъ оныхъ сто-одинъ рубль двадцать-двѣ копѣйки, и того девяносто рублей“,—читалъ Менандръ Семеновичъ отчетъ.—Чортъ тебя знаетъ, братецъ, какую ты тутъ чушь напоролъ!

Затѣмъ счеты складывались, и Велентьевъ уже безъ дальнѣйшихъ околичностей обращался къ своему агенту съ вопросомъ:

— Вѣрно?

— Помилуйте, ваше высокородіе! осмѣлюсь ли я?

— Я тебя спрашиваю: вѣрно?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ-съ!

— Повтори, какое ты слово сказалъ?

— Какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вашимъ высокородіемъ: ни копѣйки не утаилъ-съ!

— Смотри же, помни это! Знаешь, что̀ въ писаніи сказано: не человѣкомъ солгалъ еси, но Богу!

Во-вторыхъ, несмотря на клятвы, дѣло кончилось все-таки тѣмъ, что мѣщанинъ однажды совсѣмъ не явился съ отчетомъ, а вслѣдъ затѣмъ объявилъ себя отъ собственнаго имени невинно падшимъ и исчезъ. Вторично Велентьевъ, подобно Іову, воскликнулъ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ!“ —но съ тѣхъ поръ уже далъ себѣ слово никогда не сворачивать съ пути, который указывалъ ему на ломбардъ, какъ на единственное вѣрное хранилище чиновническихъ лентъ.

Когда Порфиша началъ понимать себя, репутація Менандра Семено́вича въ Семіозерскѣ уже установилась. Онъ пользовался общественнымъ уваженіемъ, состоялъ въ званіи старшины мѣстнаго клуба, имѣлъ на шеѣ орденъ св. Анны и въ довершеніе всего обладалъ дружескимъ расположеніемъ губернатора. Губернаторъ когда-то принадлежалъ къ сектѣ скакуновъ, былъ пойманъ на радѣніи въ инженерномъ замкѣ, затѣмъ, въ видѣ опалы, сосланъ въ Семіозерскъ на губернаторство, и вслѣдствіе всего этого считалъ себя философомъ. Поэтому бесѣда съ Менандромъ была для него настоящею усладою. Но и среди этихъ благопріятныхъ условій Велентьевъ нимало не возгордился, но, напротивъ того, готовъ былъ всякому подать благой совѣтъ и даже оказать помощь—разумѣется, если она была не денежная.

Порфиша отъ природы былъ любознателенъ, но это качество развилось въ немъ еще болѣе вслѣдствіе таинственности, которою папаша облекалъ нѣкоторыя свои дѣйствія. Ежедневно утромъ Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинетѣ и по истеченіи нѣкотораго времени выходилъ оттуда весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вотъ однажды, оторвавшись отъ рѣзвыхъ игръ юности, онъ подстерегъ моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался къ ней неслышными шагами, приложилъ къ замочной скважинѣ глазъ и увидѣлъ слѣдующую картину.

Отецъ сидѣлъ у письменнаго стола, задомъ къ нему, слѣдилъ по толстой разграфленной книгѣ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать какія-то бумажки, смотрѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ на свѣтъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все какъ слѣдуетъ, онъ приступилъ къ сортированію тѣхъ бумажекъ, которыя еще не были сложены въ пачки, подобралъ сѣренькія къ сѣренькимъ, красныя къ краснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ клалъ ее на столъ, причемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо оберты-вался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ ли кто за нимъ. Затѣмъ онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мѣшокъ съ полуимперіалами и раз-

ложилъ на столѣ порядочное количество блестящихъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнаціи и полуимперіалы, онъ подвелъ на счетахъ общій итогъ, потянулся, крякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операція кончилась; ассигнаціи и полуимперіалы отправлены въ надлежащіе ящики; замки защелкнулись; Порфиша отпрянулъ отъ двери и поспѣшилъ въ столовую играть.

Какъ ни однообразно было это зрѣлище, но оно полюбилось Порфишѣ. Ему понравился и звонъ полуимперіаловъ, и шелестъ бумажекъ, тѣмъ болѣе, что папаша, въ качествѣ члена палаты, постоянно имѣлъ ассигнаціи новенькія. Каждое утро онъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ начала сеанса и, притаивъ дыханіе, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать интонаціи папашиныхъ покрякиваній, угадывалъ, когда папаша доволенъ результатами своего сеанса и когда недоволенъ. Мало того: никѣмъ не наставляемый, онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сѣренькія бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и, какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ, что первымъ надлежитъ отдать предпочтеніе передъ послѣдними. Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.

Но въ особенности интересовали его два мѣсяца въ году, а именно: сентябрь, когда производились торги на вино, въ просторѣчіи называемые сѣнокосомъ, и ноябрь, когда присяжные отправлялись въ Петербургъ за гербовой бумагой и когда папаша отсылалъ свой чистый доходъ для вклада въ ломбардъ. Въ обоихъ случаяхъ Менандръ Семеновичъ замѣтно волновался, но въ первомъ волновался сладостно и видѣлъ веселые сны, а во второмъ былъ мраченъ и видѣлъ во снѣ воровъ, мошенниковъ и грабителей. Это волненіе длилось до тѣхъ поръ, пока вино не было окончательно заподряжено и пока довѣренный присяжный не вручалъ Велентьеву новаго ломбарднаго билета на имя неизвѣстнаго. Тогда все снова приходило въ обычный порядокъ. Вмѣстѣ съ отцомъ оживалъ и падалъ духомъ и Порфиша. Не имѣя никакихъ положительныхъ свѣдѣній ни о заподрядѣ вина, ни о ломбардѣ, онъ понималъ однакожъ, что названныя выше эпохи составляютъ вѣнецъ того процесса созиданія, которому такъ неутомимо, въ продолженіе цѣлаго года, предавался его отецъ. Онъ смутно чувствовалъ, что въ родительскомъ домѣ происходитъ нѣчто очень важное и рѣшительное, и еслибы проницательный человѣкъ заглянулъ въ эти минуты въ его душу, то убѣдился бы, что хотя Порфиша еще ни разу не произнесъ слова: „капиталъ“, но что слово это уже созрѣло, и недалеко то время, когда оно слетитъ съ его языка такъ свободно, какъ будто именно на этомъ языкѣ, а не въ другомъ мѣстѣ его подлинное мѣсторожденіе.

Но чѣмъ болѣе Порфиша выказывалъ наклонности къ меркантилизму и къ счетной части, тѣмъ менѣе поощрялъ въ немъ эту наклонность Менандръ Семеновичъ. Подобно всѣмъ людямъ, занимающимся накопленіемъ, а не распредѣленіемъ богатствъ, онъ какъ бы нѣсколько стыдился своего ремесла.

Одаренный отъ природы домовитыми инстинктами евангельской Марѳы, онъ прикидывался безпечною Маріей, и ни о чемъ такъ охотно не бесѣдовалъ, какъ о маслѣ, миррѣ и благовоніяхъ. Поэтому онъ твердилъ Порфишѣ о добродѣтели и старался внушить ему чувства невинныя и въ то же время

возвышенныя. Но, къ величайшему сожалѣнію, у него было такъ мало свободнаго времени, что онъ могъ дѣлать эти внушенія лишь въ самомъ краткомъ видѣ. Утро было занято службой, вечеръ — клубомъ; вполнѣ свободнымъ оказывался только небольшой послѣобѣденный промежутокъ, который и посвящался вкорененію въ ребенкѣ благородныхъ чувствъ. Отдохнувши и напившись чаю, Менандръ Семеновичъ ходилъ съ Порфишей по довольно обширному фруктовому саду, который былъ разведенъ имъ сзади дома, очищалъ яблони отъ червей и гусеницъ и собиралъ паданцы. Если яблоко упало вслѣдствіе зрѣлости, то Менандръ Семеновичъ, поднимая его, говорилъ:

— Вотъ, мой другъ, образъ жизни человѣческой! Едва созрѣлъ — и уже упалъ!

Если же яблоко упало подточенное червемъ, то онъ говорилъ:

— И тутъ жизнь человѣческая прообразуется! Но не зрѣлостью сраженная, а подточенная завистью и клеветой!

Потомъ, указывая на небо, присовокуплялъ:

— Смотри на небо, мой другъ, и оттолѣ жди себѣ утѣшенія въ коловратностяхъ жизни! Тамъ живетъ Общій Отецъ нашъ! Люби его, другъ мой!

И затѣмъ, повернувшись на каблукахъ, отправлялся въ клубъ.

Несмотря на краткость этихъ поученій, Порфиша не любилъ ихъ. Быть можетъ, онъ не могъ согласить ихъ съ тѣми утренними сеансами, которыхъ онъ былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ, или же вообще въ немъ мало развита была склонность къ реторическимъ уподобленіямъ—какъ бы то ни было, но образъ отца представлялся ему двойственнымъ: во-первыхъ, въ видѣ солиднаго человѣка, занимающагося процессомъ созиданія, и, во-вторыхъ, въ видѣ сытаго празднолюбца, предающагося, въ ожиданіи партіи виста, разглагольствіямъ о какихъ-то совсѣмъ ненужныхъ сравненіяхъ человѣка съ яблокомъ. За дѣйствіями перваго онъ слѣдилъ съ тревогою и любовью; предиками послѣдняго скучалъ и тяготился. Онъ не разъ даже пытался объяснить себѣ, отчего папаша утромъ такой, а послѣ обѣда другой; но такъ какъ для дѣтскаго ума разрѣшеніе этого вопроса не представляло существеннаго интереса, то вопросъ такъ и канулъ въ общей безднѣ мгновенно вспыхивающихъ и мгновенно же потухающихъ вопросовъ, которыми такъ богато дѣтское существованіе. Впослѣдствіи, въ лѣтахъ болѣе зрѣлыхъ, образъ отца разглагольствующаго окончательно стушевался, и тѣмъ рельефнѣе выступилъ образъ отца, щелкающаго на счетахъ и каждодневно созидающаго.

Гораздо цѣльнѣе и рельефнѣе представлялся Порфишѣ образъ матери.

Нина Ираклiевна, вышедши замужъ и поселившись въ Семиозерскѣ, значительно измѣнилась. И прежде у нея было немного княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенію и то немногое княжеское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться, ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни—страсть къ пріобрѣтенію—получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать — Менандръ Семеновичъ не

только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея — свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамаши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ-что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Иракліевна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно, ни огласка, ни опасеніе клеветы — ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ и записываются подъ рубрикой: „воспособленія“. Но такъ-какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Иракліевна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только съ точки зрѣнія выжиманія такъ-называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгуя мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженій и, слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату выкупиться на волю — вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч. На все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семпозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были снабжены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣривалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Иракліевна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно такъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ,

но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнами на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, и изрѣдка раздавалось щелканье косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасленныя, рваныя, вдѣланныя въ писанную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія? — спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку, и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдѣя старосты руки черныя-пречерныя!—говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Иракліевны.

— У Авдѣя старосты... Да не тронь же, душенька, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. „Слава Богу, все вѣрно!“ — говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть можетъ, будетъ идти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Иракліевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, пріема оброка, талекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: „хоть въ петлю полѣзай“. Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Иракліевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай „руку“ въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый божій день.

— Дорого, — обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ на Таганкѣ заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дегтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то ты говоришь?

— Триста.

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухъ стахъ они въ совѣтъ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти—это двадцать тысячъ... шестьдесятъ-то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съума спятилъ!

Нина Ираклiевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ быть, отдадутъ! — заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ, и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите — вамъ послужу; другой попроситъ—другому готовъ!

— То-то „готовъ“! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копѣйки больше!

Сказавши это, Нина Ираклiевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая крѣпость, вслѣдствіе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ „заведенія“ на Таганкѣ продавалъ его, а самъ съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же „заведеніе“ половымъ.

Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ комнаты несся запахъ дегтя и сермяжины, и раздавались возгласы: „гдѣ же взять-то, сударыня?“ и неизбѣжный отвѣтъ на нихъ: „а мнѣ хоть роди, да подай!“ Въ большей части случаевъ мужики винились, становились на колѣни и просили прощенія, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодяями. Но изрѣдка бывали и такіе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ!—горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала!—запиралась Нина Ираклiевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги

отдалъ!—упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшій въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ и видѣла Владычица, какъ ты отдаваль, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что-ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Иракліевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека; являлось колебаніе, не отдать ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ?—шептали уста ея.

Но Порфишу во всей этой сценѣ поражали лишь грубость Еремки и дерзость, съ которою онъ осмѣливался обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключеніе, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и просилъ прощенія. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ, и во второмъ обманщикъ. „Стало быть, онъ обманывалъ, если прощенья запросилъ!“ „Обманщикъ — и еще смѣетъ грубить!“—такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула: „какъ ты смѣешь?“ есть самая удобная въ сношеніяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить!—восклицалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятія Нины Иракліевны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнія. Нина Иракліевна успокоивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Иракліевны были хозяйственныя распоряженія, выражавшіяся въ приказаніяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.

— У Васьки-Косого лошадь хороша, такъ ее на барскій дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эко мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то „слушаю“. Ты слушай, а не разговаривай, что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что̀ скажи: за Ѳедькой-то Долговязовымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говоритъ: пущай прежде объягнится!

— А знаешь ли ты, что за такія слова вашего брата въ солдаты отдаютъ! Мнѣ чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если черезъ недѣлю Ѳедька не приведетъ!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученій, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относился къ процессу созиданія сознательно и чтобы въ немъ уже зародилась та доза канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Сначала эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ, мало-по-малу, одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранитъ цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ щелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ: „хоть роди, да подай!“, къ которому любила прибѣгать Нина Иракліевна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менандръ Семеновичъ, ни Нина Иракліевна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной спеціальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они были понятливы, шустры и готовы на все. Что̀ выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи „свободы тѣлодвиженій“ найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все—объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усвоивалъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому ежели школа и обучала ребенка закону Божію, ариѳметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

Тѣмъ не менѣе, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно подъ вліяніемъ отца и матери, изъ него, конечно, образовался бы только обыкновенный рутинный финансистъ, на манеръ финансистовъ добраго стараго времени. Онъ копилъ бы деньги безъ дерзости, считалъ бы ихъ, крѣпко-накрѣпко замыкалъ бы замки въ денежныхъ помѣщеніяхъ и затѣмъ умеръ бы, пріобрѣтя на полученный въ наслѣдство милліонъ еще какой-нибудь такой же милліонъ. Но было обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозоръ и помогло ему сойти съ рутинной дороги. Этимъ возбуждающимъ стимуломъ, пролившимъ живоносный свѣтъ на дальнѣйшія

судьбы Порфиши, были отыскивающіе княжескаго достоинства братья Тамерланцевы.

Георгій и Иванъ Мастрюковичи Тамерланцевы приходились по матери двоюродными братьями Нинѣ Иракліевнѣ и были чистокровные осетинцы. Спеціальность ихъ заключалась въ томъ, что они не имѣли постояннаго мѣста жительства и переѣзжали съ одной ярмарки на другую. Сверхъ того они были прекрасно обучены на бильярдѣ, отыскивали княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей, а въ карты играли такъ чисто, что ярмарочные шулера называли ихъ не иначе, какъ „благородными людьми“.

Отецъ ихъ, Мастрюкъ Булатовичъ, былъ неизвѣстнаго происхожденія осетинъ, перебѣжавшій нѣкогда къ русскимъ, поступившій въ инородческій эскадронъ въ чинѣ корнета и тотчасъ же начавшій отыскивать княжеское достоинство. Многія высокопоставленныя лица помогали ему въ этихъ домогательствахъ, но безуспѣшно. Доказательствъ у него не было никакихъ, кромѣ собственныхъ разсказовъ, изъ которыхъ явствовало, что на родинѣ, въ Осетіи, у него была сакля и двѣ козы.

— Саклемъ владалъ, пара коза кормилъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!—наивно объяснялъ онъ средства своего существованія въ состояніи дикости, но достовѣрности даже этихъ бѣдныхъ показаній ничѣмъ подтвердить не могъ.

Осетія въ то время еще не состояла во власти русскихъ, слѣдовательно не существовало ни губернскаго правленія, ни даже земскаго суда, черезъ которые можно было бы доподлинно узнать, дѣйствительно ли обладаніе двумя козами составляетъ, по мѣстнымъ законамъ, признакъ княжескаго достоинства. Поэтому геральдія медлила, затруднялась и требовала какихъ-то поколѣнныхъ росписей, а Мастрюкъ, ничему не внимая и ничего не понимая, твердилъ одно:

— Саклемъ владалъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!

Въ такомъ положеніи находилось это дѣло въ то время, когда Мастрюкъ, дослужившійся до ротмистра и принявшій фамилію Тамерланцева, умеръ, оставивъ послѣ себя двухъ сыновей: Амалата и Азамата. Умеръ онъ вѣрнымъ мусульманиномъ, хотя самъ Ферлакуръ неоднократно убѣждалъ его, какъ дальняго родственника по женѣ (въ это время мелкомѣстный князь Крикулидзевъ женился на Мастрюковой сестрѣ, Магуль-Мегери, во святомъ крещеніи Маріѣ Булатовнѣ), оставить заблужденія и познать свѣтъ истинной вѣры. Но Мастрюкъ, выслушавъ убѣжденія, постоянно задавалъ Ферлакуру одинъ и тотъ же вопросъ:

— У тебя, бачка, много жена?

— Одна.

— Ну, а мине двадцать-одинъ жонъ довольна!

Но когда Мастрюкъ умеръ, сыновей живо окрестили и отдали въ кадетскій корпусъ, переименовавъ старшаго изъ Амалата въ Георгія, а младшаго —изъ Азамата въ Ивана. Въ корпусѣ оба брата отличались необыкновенною ненавистью къ наукамъ и особенною страстью въ восточной магіи и къ тѣлес-

нымъ упражненіямъ, требовавшимъ ловкости и силы. Когда они вышли въ офицеры, то уже знали весьма значительное число фокусовъ, и потому смотрѣли въ глаза будущему совершенно спокойно, почти свѣтло. Это были необыкновенно развитые въ тѣлесномъ отношеніи молодые люди, съ смуглыми, очень красивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, на подобіе масокъ. У обоихъ братьевъ были широкія сильныя скулы, черные какъ смоль волосы и глаза, и на правой щекѣ по большому родимому пятну, увѣнчанному волосами. Амалатъ пѣлъ очень пріятнымъ басомъ, Азаматъ — теноромъ; оба — плясали лезгинку, какъ истые горцы. Женщины вольнаго обращенія были отъ нихъ безъ ума; старушки, занимавшіяся покровительствомъ скромнымъ молодымъ людямъ, замѣтивъ ихъ въ театрѣ, интересовались узнать ихъ фамилію. Въ полку, куда они поступили, ихъ тоже полюбили, потому что они охотно принимали участіе въ такъ-называемыхъ исторіяхъ, и кромѣ того никто не могъ выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словомъ сказать, молодые люди были хоть куда.

Благодаря покровительству лицъ, помнившихъ еще незабвенныя услуги, оказанныя покойнымъ Мастрюкомъ, имъ предстояла, конечно, довольно видная военная карьера въ будущемъ. Быть можетъ, имъ суждено было даже принять когда-нибудь дѣятельное участіе въ возсоединеніи Осетіи, но они сами испортили все дѣло. Однажды Амалатъ запрегъ въ телѣгу тройку жидовъ и одного изъ нихъ загналъ, а Азаматъ въ то же время поймалъ трехъ жидовокъ, вымазалъ ихъ дегтемъ, обвалялъ въ перьяхъ и пустилъ по городу (это происходило въ одной изъ западныхъ губерній). Къ несчастію, и жиды, и жидовки принадлежали къ числу упорныхъ, не шедшихъ ни на какія соглашенія, такъ что дѣло нельзя было „замять“, и братья вынуждены были оставить полкъ.

Тогда братья обратились къ проворству рукъ и къ покровительству чувствительныхъ старушекъ. У нихъ появились рысаки, экипажи и на всѣхъ пальцахъ брилліантовые перстни, которые они, поносивъ немного, замѣняли очень хорошими стразовыми. Жизнь они вели бродячую, цыганскую: покупали, прогорали и опять возрождались, бывали даже биты. Во всѣхъ городахъ, гдѣ существовали мало-мальски значительныя ярмарки, они являлись непремѣнными посѣтителями, устраивались на постоялыхъ дворахъ какъ у себя дома, разстилали на полу и на голыхъ скамьяхъ персидскіе ковры, и на все время ярмарки заводили, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Кончится ярмарка — исчезнутъ и они, исчезнетъ и дымъ, которымъ они наполняли свои временныя пристанища. Не успѣютъ оглянуться — они ужъ на другой ярмаркѣ; опять разстилаютъ ковры, покупаютъ, продаютъ, мечутъ и понтируютъ.

Иногда, впрочемъ, они основывались и въ одномъ и томъ же городѣ на довольно продолжительное время. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда верхнее чутье докладывало имъ, что въ такомъ-то мѣстѣ есть нѣкто, около котораго можно пощечиться. Тогда они знакомились съ помѣщиками, представлялись губернатору, называли себя политическими изгнанниками, прикидывались завидными женихами и не прочь были занять денегъ подъ залогъ осетинскихъ виноградниковъ. Въ провинціальныхъ обществахъ ихъ принимали

очень радушно, во-первыхъ, потому, что они носили крупныя стразовыя запонки, а во-вторыхъ, потому, что были малые на всѣ руки. Перекинуть ли направо-налѣво, устроить ли для дѣвицъ petits jeux, рекомендовать ли лошадку, спѣть ли модный тогда романсъ „Черную шаль“, причемъ съ особеннымъ чувствомъ проскрежетать:

Ко мнѣ постучался презрѣнный еврей...

—на все это они такъ охотно соглашались, что, гдѣ бы они ни появились, общество немедленно оживлялось. Объ Осетіи они разсказывали чудеса. Какъ злой дядя за два абаза продалъ ихъ въ Кахетію, и какъ отецъ ночью обратно ихъ оттуда укралъ; какая у отца ихъ была неприступная крѣпость, изъ которой онъ дѣлалъ на русскихъ набѣги; какой удивительный росъ у нихъ виноградъ; какіе вкусные чуреки дѣлала ихъ мать; какъ прекрасенъ Казбекъ при восходѣ солнца и проч., и проч. Словомъ сказать, объясняли все, что можно было почерпнуть изъ производившихъ тогда фуроръ повѣстей Марлинскаго. И въ доказательство своего подлинно-осетинскаго происхожденія затягивали пѣсню, въ которой слышались только гортанные звуки: га-го-ги! но которая заставляла ихъ заливаться горькими-горькими слезами.

Вообще Тамерланцевы имѣли то свойство, что коль скоро проникали въ какой-нибудь домъ, то незамѣтно дѣлались въ немъ своими людьми. Они умѣли побалагурить съ лакеями, перемигнуться съ горничными, привлечь на свою сторону дѣтей и такъ убѣдительно просили хозяевъ не церемониться съ ними и не безпокоиться ихъ присутствіемъ, что тѣмъ оставалось только махнуть рукою. Въ самое короткое время, хотѣли или не хотѣли хозяева, они утверждались въ домѣ самымъ прочнымъ образомъ. Лакеи, чутьемъ заслышавъ приближающійся экипажъ, бросались къ подъѣзду и наперерывъ провозглашали: „пожалуйте-съ! господа только-что за столъ сѣли-съ“, или: „пожалуйте-съ! господъ дома нѣтъ, да они сейчасъ будутъ-съ!“ И начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самыхъ близкихъ родныхъ. Горничныя просовывали въ дверь головы, въ ожиданіи щипка или поцѣлуя. Дѣти съ гикомъ и гамомъ устремлялись на встрѣчу, вооруженные свистульками, гремушками и трещетками. Даже поваръ—и тотъ говорилъ: „сегодня у насъ молодые господа будутъ обѣдать“ — и требовалъ отъ экономки усиленной пропорціи сахару, яицъ и масла. Хозяева, обольщенные пріятными манерами и услужливостью братьевъ, сначала тоже были внѣ себя; когда же потомъ начинали изыскивать способы, какимъ бы образомъ избавиться отъ ихъ вездѣсущія, то было уже поздно. Тамерланцевы уже крѣпко держались на всѣхъ пунктахъ, и едва появлялись передъ ними недоумѣвающія лица хозяевъ, какъ они самымъ любезнымъ образомъ восклицали:

— Евдокимъ Григорьичъ! Анна Павловна! не церемоньтесь съ нами! пожалуйста, занимайтесь вашими дѣлами! Мы здѣсь съ дѣтьми. Кирюша! Параша! Вѣдь мы поѣдемъ сегодня въ Москву? А? вотъ такъ: туру-ту-ту... га! въ Москву поѣхали!

И Евдокимъ Григорьичъ отправлялся въ кабинетъ, плюнувъ и говоря Аннѣ Павловнѣ:

— Нѣтъ, ужъ, матушка, ты сама! Сама пріучила этихъ эѳіоповъ—сама, какъ хочешь, и раздѣлывайся съ ними.

Нельзя сказать, чтобъ это было съ ихъ стороны предумышленно. Скорѣе всего, они безсознательно стремились всюду, гдѣ можно было что-нибудь урвать или урѣзать, и вообще имѣли такъ-называемый чортовъ инстинктъ. Всякій очень скоро убѣждался, что братья глупы, и что, слѣдовательно, искать въ ихъ дѣйствіяхъ какого-нибудь злого умысла — нѣтъ повода; но всякій въ то же время ощущалъ, что десятки самыхъ злыхъ озорниковъ не въ состояніи были бы привести человѣка въ такое беззащитное положеніе, въ какое приводили эти два безсознательныхъ и безконечно покладистыхъ шалопая.

Нина Иракліевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее желаютъ видѣть князья Тамерланцевы.

— Тети-Машины дѣти!—воскликнула она въ недоумѣніи, но тутъ же, не потерявъ присутствія духа, обратилась къ Менандру Семеновичу и прибавила:—ради Христа, не давай ты имъ денегъ!

Свиданіе произошло; Велентьевы были сдержанны; кузены предупредительны и нѣжны.

— Въ государственной службѣ, господа, состоите? — спрашивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, братецъ, способностей не имѣемъ,—скромно отвѣчали братья.

— Ну, способности тутъ не Богъ-знаетъ какія требуются!

Братья посидѣли, раскланялись и уѣхали; затѣмъ въ теченіе недѣли они еще два раза навѣстили Велентьевыхъ и каждый разъ называли Нину Иракліевну „belle cousine“, увѣряли, что она вполнѣ сохранила тамерланцевскій типъ, и такъ крѣпко и часто цѣловали у нея ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфишѣ (ему минуло въ то время одиннадцать лѣтъ) они на другой же разъ подарили книжку съ картинками, такъ что не пригласить ихъ обѣдать было уже совѣстно. Затѣмъ, хотя послѣ обѣда Тамерланцевы и попросили у Менандра Семеновича денегъ взаймы, но, получивъ отказъ, не только не обидѣлись, но очень любезно воскликнули:

— Братецъ, забудьте! пусть денежные разсчеты не разстраиваютъ нашихъ родственныхъ отношеній! Забудьте! намъ не нужно денегъ! мы не просили ихъ!

Словомъ сказать, съ Велентьевыми повторилась та же исторія, что и съ другими. Какъ ни чутко держали они себя относительно братьевъ, но устоять противъ естественнаго теченія обстоятельствъ не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый разъ умѣли чѣмъ-нибудь подслужиться: Нинѣ Иракліевнѣ подарили настоящій персидскій коверъ, Порфишѣ навезли цѣлый ворохъ игрушекъ, наконецъ у Менандра Семеновича попросили позволенія осмотрѣть его лошадей, нашли у одной изъ нихъ подсѣдъ и дали такой мази, отъ которой въ два дня подсѣдка какъ не бывало.

— Совсѣмъ было-думалъ продать лошадь!—говорилъ Велентьевъ:—а теперь опять хоть куда! Благодарю!

— Вы, братецъ, насчетъ лошадей, пожалуйста, ни къ кому не обращайтесь!—упрашивали Тамерланцевы: —у насъ теперь на примѣтѣ одна пара есть.. ахъ, какая это пара!

И дѣйствительно, почти за безцѣнокъ сосватали Велентьеву такую пару, что самъ инспекторъ врачебной управы, вкупѣ съ отставнымъ кавалерійскимъ полковникомъ, какъ ни осматривали животныхъ, не могли найти въ нихъ ни одного порока.

Но сомнѣніе уже мучило Менандра Семеновича, и по временамъ онъ выражалъ его довольно энергично.

— И чортъ ихъ знаетъ, что̀ за народъ такой!—разсуждалъ онъ самъ съ собою: — цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера не шулера... иностранцы какіе-то!

И онъ на всякій случай пробовалъ, достаточно ли крѣпко заперты ящики его письменнаго стола, и, удостовѣрившись, что крѣпко, отправлялся на половину къ Нинѣ Иракліевнѣ.

— Да полно, братцы ли они тебѣ?—спрашивалъ онъ ее.

— Тети-Машины дѣти-то! неужто жъ я не знаю!

— И все-таки ты бы запирала! Эти братцы... право, ужъ и не знаю!

Мало-по-малу Тамерланцевы пріобрѣли дружбу лакеевъ и горничныхъ, а въ особенности полное довѣріе Порфиши. Тогда они ужъ безъ церемоніи стали таскаться и завтракать, и обѣдать. Сидитъ Менандръ Семеновичъ въ кабинетѣ и деньги считаетъ — глядь, братцы пріѣхали! Въ залѣ бѣготня, пѣніе, стукъ, трескъ; Азаматъ учитъ Порфишу лезгинку танцовать, Амалатъ аккомпанируетъ на фортепьяно и выкрикиваетъ: „га-го-ги!“ Лакей бѣгаетъ изъ столовой въ буфетную и обратно, стучитъ тарелками, ножами и готовитъ закуску. Менандръ Семеновичъ нѣкоторое время терпитъ и старается разрѣшить себѣ задачу: „два да пять сколько будетъ?“—но сколько онъ ни прокладываетъ на счетахъ — все выходитъ или однимъ рублемъ больше, или однимъ рублемъ меньше. Наконецъ онъ, какъ ужаленный, вбѣгаетъ въ буфетную.

— Тебѣ кто велѣлъ?—накидывается онъ на лакея, поспѣшающаго съ подносомъ въ рукахъ въ столовую.

— Какъ-же-съ, вѣдь братцы-съ! — отвѣчаетъ лакей, очевидно даже изумленный, что ему могъ быть предложенъ такой странный вопросъ.

Менандръ Семеновичъ краснѣетъ, покрякиваетъ и уже не настаиваетъ больше. Онъ съ грустною покорностью снимаетъ съ себя халатъ, надѣваетъ домашній казинетовый казакинъ и отправляется въ столовую, предварительно удостовѣрившись, что всѣ ящики заперты и все въ кабинетѣ цѣло.

А братцы уже спѣшатъ къ нему на встрѣчу и въ одинъ голосъ восклицаютъ:

— Братецъ, напрасно безпокоитесь! Мы здѣсь съ Порфишей!

Но Менандръ Семеновичъ уже чувствуетъ, что утро у него отравлено, и что гдѣ бы онъ ни былъ, въ столовой ли, въ кабинетѣ ли, мысль о „братцахъ“ вездѣ будетъ его преслѣдовать. Поэтому онъ усаживается за столъ и принимаетъ геройское рѣшеніе занимать братцевъ.

— Я говорю: вы бы, господа, въ государственную службу шли!—начинаетъ онъ, краснѣя и самъ не зная, о чемъ собственно онъ ведетъ рѣчь.

— Способности, братецъ, не имѣемъ.

— А вы бы принудили себя!

— Старались, братецъ, да ничего не вышло.

— Гм... странно это!

Молчаніе.

— Да вы, братецъ, напрасно себя безпокоите! Мы здѣсь вотъ съ Порфишей, а не то, немного погодя, къ кузинѣ Ниночкѣ пройдемъ!—опять начинаютъ братцы.

— Нина Иракліевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не понимаю, какъ можно безъ занятій жить! —говоритъ Менандръ Семеновичъ, уже не скрывая своихъ недоумѣній.

Но братцы какъ бы забавляются этими недоумѣніями.

— Мы, братецъ, тоже занимаемся, —отвѣчаютъ они: —только занятія у насъ кратковременныя. Вотъ и сегодня утромъ пару лошадей присмотрѣли... ахъ, какая это пара!

— Какое ужъ это занятіе—лошади!

Тщетно все. Какъ ни старался Велентьевъ выжить братцевъ — они словно приросли. Въ домѣ все цѣло: денегъ въ другой разъ не просятъ — а между тѣмъ, какъ ни посмотришь, все тутъ. Иногда даже желалъ, чтобъ они что-нибудь украли (разумѣется, не весьма цѣнное), лишь бы безъ шума отдѣлаться отъ нихъ.

— Я, сударыня, съума скоро сойду!—жаловался онъ женѣ.—Выйти изъ кабинета нельзя: одинъ въ залѣ съ Порфишей, другой въ корридорѣ съ Агашкой шушукается. Сведетъ онъ ее у насъ!

— А коли сведетъ, такъ и купитъ. По мнѣ, ежели хорошую цѣну дастъ... и Богъ съ ними!

А братцы между тѣмъ забрали уже себѣ въ голову, что Порфиша года черезъ четыре будетъ гусарскимъ юнкеромъ, и что, слѣдовательно, имѣются въ перспективѣ векселя подъ вѣрное обезпеченіе смерти любезнѣйшихъ родителей. Какъ ни отдаленны были эти надежды, но какъ другого дѣла покамѣстъ у нихъ не было, то приручніе Порфиши представлялось цѣлью очень привлекательною и даже практическою...

Съ своей стороны, Порфиша очень хорошо понялъ дяденекъ. Онъ угадалъ въ нихъ присутствіе именно того элемента легкомыслія, перемѣшаннаго съ жульничествомъ, котораго ему недоставало и безъ котораго истинный финансистъ все равно, что тѣло безъ души. Онъ видѣлъ, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что они ничѣмъ не занимаются, а между тѣмъ бросаютъ деньгами, какъ щепками; что у нихъ во всякое время—неистощимый запасъ игръ, выдумокъ и фокусовъ. Все это, вмѣстѣ взятое, произвело на него подавляющее впечатлѣніе, и въ самое короткое время онъ до такой степени страстно прилѣпился къ дяденькамъ, что даже пересталъ слѣдить за финансовыми операціями родителей.

Первый сдѣланный передъ нимъ фокусъ особенно его поразилъ. Дядя Амалатъ вынулъ изъ кармана золотой и показалъ его Порфишѣ.

— Видѣлъ?—спросилъ онъ его.

— Видѣлъ.

Амалатъ положилъ золотой на ладонь и зажалъ его въ кулакъ.

— Видѣлъ? тутъ золотой? — спросилъ онъ опять, разжимая кулакъ и вновь сжимая его.

— Тутъ.

— Ну, теперь смотри!

Амалатъ сдѣлалъ рукой движеніе, но до такой степени быстрое, что Порфиша могъ только замѣтить, что у него что-то мелькнуло въ глазахъ. Потомъ Амалатъ разжалъ кулакъ и показалъ Порфишѣ пустую ладонь.

— Клацъ! гдѣ золотой?

Порфиша вытаращилъ глаза и машинально повторилъ:

— Гдѣ золотой?

— Ну, теперь обыскивай меня: если сыщешь — твой золотой!

Но сколько Порфиша ни искалъ—золотого нигдѣ не оказалось. Тогда Амалатъ повторилъ свой фокусъ наоборотъ, то-есть показалъ, какъ въ пустыхъ рукахъ—клацъ!—вдругъ оказалось по два золотыхъ.

— Дяденька!—захлебывающимся голосомъ простоналъ Порфиша.

Въ другой разъ на сцену выступилъ Азаматъ и изобразилъ штуку еще почище, а именно: взялъ колоду картъ и показалъ ее Порфишѣ.

— Видѣлъ? Вся колода картъ тутъ?

— Вся.

— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?

— Двойку пикъ.

Клацъ!—Азаматъ выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ, ты еще двойку пикъ хочешь?

— Еще двойку пикъ хочу.

— Держись!

Клацъ!—Азаматъ опять выбросилъ двойку пикъ.

— Можетъ быть, ты и еще двойку пикъ хочешь?

Но Порфиша уже не отвѣчалъ, а только взглядывалъ на дяденьку съ разинутымъ ртомъ.

— Ты, можетъ быть, хочешь, чтобъ вся колода была изъ двоекъ пикъ? смотри!

И Азаматъ одну за другой сталъ кидать двойки пикъ. Это до того поразило Порфишу, что онъ заплакалъ, какъ бы обидѣвшись, что дяденьки смѣются надъ нимъ.

— Погоди, мы еще не то тебѣ покажемъ! — утѣшали его братья Тамерланцевы.

Когда дяденьки ушли, Порфиша взялъ въ руки грошъ и старался произвести съ нимъ ту же эволюцію, какую Амалатъ производилъ съ золотымъ, но ничего изъ этого не вышло. Потомъ онъ попробовалъ то же самое сдѣлать наоборотъ, то-есть сжалъ пустые кулаки, махнулъ ими крестъ-на-крестъ въ воздухѣ,—сказалъ: „клацъ!“—но и тутъ ничего не вышло.

— Дяденька!—приставалъ онъ:—покажите, какъ вы дѣлаете?

— Погоди! вотъ будешь большой—до всего дойдешь!

Слова эти глубоко запали въ душу Порфиши. Онъ повторялъ ихъ и старался угадать, что такое это „все“, до чего онъ современемъ дойдетъ. Постепенно онъ сталъ задумываться и сдѣлался разсѣяннымъ. Процессъ созиданія, царствовавшій въ домѣ родителей, уже не удовлетворялъ его, тѣмъ, бо-

лѣе, что дяденьки, по мѣрѣ ближайшаго знакомства, начали открыто смѣяться надъ скопидомствомъ Менандра Семеновича.

— У твоего отца много денегъ?—спрашивалъ его Амалатъ.

— Много.

— А знаешь ли ты, какъ онъ деньги копитъ?

— Какъ?

— А вотъ какъ, смотри!

И Амалатъ клалъ на столъ золотой, накладывалъ на него другой, третій и т. д., причемъ пыхтѣлъ, покрякивалъ, пожимался и озирался кругомъ.

— Такъ?

Порфиша не отвѣчалъ, но ему и самому уже начинало казаться, что „такъ“.

— Ну, а мы вотъ какъ: сколько ты хочешь, чтобъ у меня было въ горсти золотыхъ?

— Двадцать!

— Эка хватилъ! Ну, держи руки, отсчитывай!

Дяденька дѣлалъ видъ, какъ будто ловилъ что-то руками въ воздухѣ, и затѣмъ отчеканивалъ монету за монетой до двадцати.

Нина Иракліевна первая замѣтила, что Порфиша задумывается, начинаетъ любить уединеніе, шевелитъ губами, какъ бы разговаривая самъ съ собой, дѣлаетъ какія-то странныя движенія руками, то сжимаетъ кулаки, то разжимаетъ ихъ.

— Не боленъ ли ты, мой другъ?—спросила она однажды сына.

— Нѣтъ, здоровъ.

— Что же ты ходишь точно растерянный?

Порфиша остановился и показалъ мамашѣ руки.

— Вы это видѣли?

Нина Иракліевна съ изумленіемъ смотрѣла, какъ онъ растянулъ руки на подобіе фокусника, потомъ быстро махнулъ ими крестъ-на-крестъ и сказалъ:

— Видѣли, что ничего не было? Теперь смотрите! Клацъ! Видите?

— Что видѣть-то! Разжалъ пустые кулаки—только и всего!

— Ничего вы не понимаете! Вы только и умѣете, что копѣйку къ копѣйкѣ прижимать, а я вотъ — клацъ!—сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

Нина Иракліевна безпокойно взглянула ему въ глаза.

— Это все Амалатка съ Азаматкой!—прошептала она.

Въ этотъ же день, послѣ обѣда, Порфиша былъ призванъ на аудіенцію къ отцу.

— Какое ты давеча слово мамашѣ сказалъ?—спросилъ Менандръ Семеновичъ.

Но Порфиша не только не струсилъ, но отвѣчалъ даже дерзко:

— Какое слово? Клацъ! вотъ какое слово!

— Что же оно означаетъ?

— А вотъ что!

Порфиша вытянулъ обѣ руки, сжалъ кулаки, встряхнулъ ими и сказалъ отцу:

— Клацъ! видѣли? Сколько захочу денегъ, столько и будетъ!

— Да-съ, это они! это Мастрюковичи! — обратился Велентьевъ къ женѣ: —это они его фокусамъ обучаютъ!

Но какія ни принимали Велентьевы мѣры, чтобъ устранить вліяніе дяденекъ, все было напрасно. Тамерланцевымъ было отказано отъ дому, но домашніе такъ полюбили ихъ, что нисколько не мѣшали Порфишѣ бѣгать къ дяденькамъ послѣ обѣда, когда папаша и мамаша опочивали отъ трудовъ. Однажды, прибѣжавъ къ нимъ, онъ засталъ въ ихъ квартирѣ что-то не совсѣмъ обыкновенное.

Единственная пріемная комната была полна народомъ; на столѣ, около печки, красовалась закуска и нѣсколько на половину опорожненныхъ бутылокъ и штофовъ; облака дыма выѣдали глаза. Дядя Азаматъ сидѣлъ за большимъ зеленымъ столомъ и металъ; дядя Амалатъ помѣщался сбоку и распоряжался кассой. Кругомъ стола сидѣли неизвѣстныя личности въ мундирныхъ сюртукахъ, венгеркахъ и казакинахъ; передъ каждымъ лежали игранныя колоды картъ, изъ которыхъ они съ нервнымъ движеніемъ вытаскивали то одну, то другую карту и клали на столъ. Тамъ и сямъ виднѣлись столбики золота, которое не считали, а передавали изъ рукъ въ руки кучками, какъ бы на глазомѣръ. На пальцахъ рукъ обоихъ братьевъ сверкали перстни. Порфиша, не ожидавшій такого зрѣлища, оторопѣлъ.

— Ва-банкъ!—крикнулъ кто-то въ ту самую минуту, какъ онъ вошелъ.

Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалатъ такъ ясно сверкнулъ въ его сторону глазами, что банкометъ тотчасъ же овладѣлъ собой, и передернулъ столь чисто, что извѣстный шулеръ, майоръ Бѣлокопытовъ, присутствовавшій тутъ же и понтировавшій только для виду, крякнулъ отъ наслажденія.

Игра кончилась. Порфиша видѣлъ, какъ груда золота перешла въ руки дяденекъ, и посмотрѣлъ на нихъ почти съ благоговѣніемъ.

— Видишь!—сказалъ ему Азаматъ, когда разошлись гости: — а твой отецъ еще говоритъ, что мы только гранимъ мостовую. Можетъ ли онъ въ цѣлый вѣкъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ часъ добыли!

— Дяденька! какъ вы это дѣлаете?

— Нѣтъ, братъ, тебѣ еще рано. Выростешь—самъ до всего дойдешь. Главное, чтобъ охота была, а умѣнье придетъ само собою!

Такъ длилось до тѣхъ поръ, пока Амалатъ не получилъ, наконецъ, такъ-называемую „непріятность“, вслѣдствіе которой братья вынуждены были оставить Семіозерскъ и искать убѣжища въ другомъ городѣ.

Разсчеты Тамерланцевыхъ на Порфишу не оправдались. Онъ не сдѣлался ни игрокомъ, ни фокусникомъ, ни гусаромъ. Тѣмъ не менѣе, общество дядянекъ оказало на его будущее дѣйствіе гораздо болѣе рѣшительное, нежели даже примѣръ родителей. Если послѣдніе познакомили его съ наружнымъ видомъ денежныхъ знаковъ и заронили въ его душу первую мысль о созиданіи, то первые доказали во-очію, что перлъ созиданія — это созиданіе изъ ничего. Тамерланцевы исчезли безслѣдно, но уроки ихъ неизгладимыми чертами врѣзались въ чуткой душѣ Порфиши. Въ той суммѣ впечатлѣній, которыя даются человѣку дѣтствомъ, примѣры внѣшней ловкости и быстроты

всегда представляютъ очень компактный и характерный слой. По удаленіи дяденекъ, Порфиша сдѣлался скученъ и долгое время машинально дѣлалъ быстрыя движенія руками, сжималъ и разжималъ пустые кулаки и тщательно разсматривалъ, не окажется ли тамъ червонца. Повидимому это были движенія безсмысленныя и ненужныя, но будущее доказало, что они были необходимы и вполнѣ умѣстны, ибо служили какъ бы смутнымъ прообразованіемъ тѣхъ пріемовъ, которые должны были впослѣдствіи составить его славу, какъ финансиста.

Червонцевъ не оказалось, но вмѣсто нихъ—клацъ! — неслышно и незримо уже зрѣлъ въ его душѣ проектъ объ изготовленіи дешевой и долгосохраняемой колбасы.

Формальное воспитаніе между тѣмъ шло своимъ чередомъ. Хотя нельзя было сказать, чтобъ Порфиша питалъ особенную страсть къ наукамъ, тѣмъ не менѣе, до знакомства съ дяденьками, дѣло образованія ума и сердца коекакъ шло. Нѣкоторыми предметами онъ болѣе или менѣе интересовался, а математику даже полюбилъ настолько, что съ самозабвеніемъ принялся извлекать квадратные корни, какъ только этотъ математическій пріемъ былъ ему показанъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ явились дяденьки и на первый разъ объяснили ему задачу: „летѣло стадо гусей“, онъ постепенно дѣлался все разсѣяннѣе и разсѣяніе. Все простое, все, что̀ могло быть рѣшено наглядным образомъ, опротивѣло ему. Мысль его неудержимо влеклась къ неизвѣстному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только чудо, въ родѣ щучьяго велѣнія, могло освободить его отъ сѣтей, въ которыхъ путалось его воображеніе. Еслибъ въ то время кто-нибудь шепнулъ ему о квадратурѣ круга или о непрерывномъ движеніи, онъ навѣрное со всѣмъ пыломъ юношеской горячности увлекся бы этими задачами и сталъ бы съ утра до вечера вертѣться около нихъ, какъ бѣлка въ колесѣ. Но, увы! у него даже этого ограниченія не было, а было только одно магическое слово: „клацъ!“, за которымъ открывалась пустая и бездонная пропасть. Въ этой безднѣ, среди цѣлаго міра чудесъ, свободно парило воображеніе, питая само себя и гадливо отвращаясь отъ всего, что̀ напоминало о дѣйствительности. Понятно, что при такомъ болѣзненномъ настроеніи умственныхъ силъ Порфишѣ было уже не до квадратныхъ корней, которыми пичкалъ его Менандръ Семеновичъ.

На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга, едва-ли не въ то же самое, въ которомъ воспитывался и Коля Персіяновъ. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: „Вы знаете, добрѣйшая моя благодѣтельница,—писалъ онъ ей,—что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой, и дѣды, въ теченіе, можетъ быть, многихъ столѣтій, возносили Подателю всѣхъ благъ молитву о *принесенныхъ честныхъ дарѣхъ*, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается; слѣдовательно, еслибъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счелъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что назначеніе ея — вливать

въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, *чѣмъ* я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и *что* сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя, при томъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, еслибъ онъ сіи чувства могъ пріобрѣтать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути".

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участь его была не изъ самыхъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія, и, къ довершенію всего, служитъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое былъ тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи — показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумагѣ, и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія о немъ. Въ это время ей было не до Велентьевыхъ, потому что ее занималъ вопросъ о возсоединеніи латышей, съ которымъ была тѣсно связана личность генерала Толоконникова.

Такимъ образомъ Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разъѣзжались по домамъ, ѣздили на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть бильярдъ, домино и т. д.

— Mais, malheureux jeune homme!—укорялъ его мосьё Петанлеръ: — Vous n'avez donc ni père, ni mère, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! c'est singulier!

— Personne, monsieur, — угрюмо отвѣтствовалъ Порфиша и съ какимъ-то нервнымъ нетерпѣніемъ выслушивалъ вечеромъ разсказы товарищей о томъ, сколько они съѣли, въ теченіе дня, пирожковъ и порцій мороженаго, въ какой кондитерской дѣлаются лучшія конфекты и у какого извозчика лучше бѣжитъ рысакъ.

Это одиночество еще сильнѣе развило въ Порфишѣ ту мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома педагогическими откровеніями дяденекъ. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреаціонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса—удалялся въ садъ, бродилъ по

аллеямъ или садился на дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созиданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы... И вдругъ — клацъ! — вся эта обстановка исчезла, но исчезла лишь на минуту, для того чтобы — клацъ! — появиться вновь, но уже не въ рукахъ папаши съ мамашей, а въ рукахъ дяденекъ, которыя онъ сейчасъ только видѣлъ пустыми. Вообще, какъ только появлялись на сцену дяденьки, видѣнія шли за видѣніями, цѣлыми вереницами, и принимали самый фантастическій характеръ...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ — все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли, выростаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: „ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣлъ“. Вотъ тема, за которую хватается фантазія и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ, и старикъ — исчезаютъ: остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ-пять копѣекъ сдачи. А червонецъ тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и получаетъ сдачи два рубля девяносто копѣекъ. Червонецъ опять тутъ-какъ-тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостинницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда онять въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ получаетъ сдачу и вездѣ удостовѣряется, что драгоцѣнный червонецъ неприкосновененъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Тогда фантазія начинаетъ другой сонъ, другую сказочную легенду.

Передъ Порфишей — прыгающая лягушка, за которою онъ гонится и которую тщетно старается убить. Вотъ онъ уже настигаетъ ее, вотъ настигъ, какъ вдругъ — клацъ! — передъ нимъ ужъ не лягушка, а древняя сморщенная старуха, которая говоритъ ему: „тутъ, подъ этой старой липой, лежитъ несмѣтный кладъ; разбойникъ Кудеяръ зарылъ котелъ съ золотыми деньгами и посадилъ эту самую липу“. Сказавши это, старуха исчезаетъ, а фантазія Порфиши цѣпко хватается за новую тему и начинаетъ по ея поводу новый процессъ созиданія. Что кладъ будетъ въ рукахъ Порфиши — это не можетъ подлежать сомнѣнію. Съ этою цѣлью онъ встаетъ по ночамъ, неслышными шагами пробирается мимо дремлющаго дядьки, отпираетъ наружную дверь и, вооруженный заступомъ, выходитъ въ садъ. Аллеи длинны и темны; кругомъ — тишина и загадочность! издали, въ формѣ неопредѣленнаго шороха, то возрастающаго, то смолкающаго, доносится шумъ неусыпающаго города. Но Порфиша не останавливается передъ приливами и отливами городского шума. Онъ спѣшитъ къ цѣли и начинаетъ рыть. Онъ одинъ выполнитъ эту трудную задачу, потому что ни съ кѣмъ не хочетъ раздѣлить свою добычу. Не то чтобы онъ былъ безгранично жаденъ, но ему улыбается мысль, что вдругъ — клацъ! —

и онъ обладатель милліоновъ. Однако что-то ужъ звякнуло... это онъ! это котелъ съ имперіалами! Порфиша судорожно вскрываетъ крышу, черпаетъ, черпаетъ; но болѣе пуда золота заразъ унести не можетъ. Сколько золотыхъ въ пудѣ? Сколько составитъ это въ переводѣ на кредитные рубли? Опять звонокъ, опять классъ. Учитель латинскаго языка тщетно допрашиваетъ Порфишу объ исключеніяхъ на is. „Amnis, anguis, axis“, бормочетъ Порфиша, и окончательно становится втупикъ. Коли хотите, онъ знаетъ и дальше: calis, canalis и проч., но онъ не о томъ думаетъ. Онъ видитъ передъ собою другую безлунную ночь, потомъ третью, четвертую и такъ далѣе, пока воображеніе вновь не запутывается въ собственныхъ тенетахъ.

Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ гораздо больше того, что̀ требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведеніе или, лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣсничалъ, не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порокъ. Французъ-гувернеръ называлъ его не иначе, какъ „malheureux jeune homme“; гувернеръ-нѣмецъ утверждалъ, что спасти злосчастнаго юношу можетъ только одинъ педагогическій пріемъ, а именно пріемъ, носящій спеціальное наименованіе „внезапно данной пощечины“.

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семіозерскъ, онъ заставалъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простого созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. По старому отецъ запирался каждое утро въ кабинетѣ, щелкалъ на счетахъ и по истеченіи урочнаго времени выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. По прежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ наяву, которые постоянно проносились передъ Порфишей, сновъ съ кладами, неразмѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.—это кропотливое копѣечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— А вы по прежнему копѣечку къ копѣчкѣ прижимаете-съ?—спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту Нина Ираклiевна приняла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несомнѣнной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ!—продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Ираклiевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что̀ это, щенокъ, говоришь?—крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣ-

которое время онъ исподлобья, съ идіотскою ироніей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ, что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что-же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ затѣмъ подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, то-есть откупщика, который только-что вручилъ „слѣдуемое по положенію".

— Напрасно безпокоились! — говорилъ Менандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ... святое дѣло!—расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе — это такъ; а все-таки...—настаивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не „все-таки", а просто положеніе—и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ вѣсть откуда, нагрянулъ Порфиша. Но вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихикнулъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ, и дома, благодаря педагогическому вліянію дяденекъ, Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, еслибъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ умственныя силы Порфиши вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполнѣ достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась „политической экономіей" и преподавалась воспитанникамъ заведенія какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами. Что онъ вновь находится въ обществѣ дяденекъ Амалата и Азамата, и что таинственное слово: „клацъ!" постепенно утрачиваетъ свою таинственность. Міръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ пріобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразмѣнныхъ червонцевъ — теперь ему подавала руку сама наука; прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли придти и не придти на помощь, смотря по тѣмъ рессурсамъ, которые представляла бо́льшая или мѣньшая напряженность воображенія—теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные кунштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ ужъ бредъ серьезный, могущій, по-

жалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая въ свою очередь представлялась уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей пѣсню: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ, милостивые государи, „спросъ"; вотъ—„предложеніе"; вотъ—„кредитъ" и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни, съ ея ликованіями и воплями, съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными—не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? правильно ли присвоено это названіе, или неправильно? насколько они могутъ удовлетворять требованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка? — все это оставалось безъ разъясненія. Наука—пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетами; жизнь—арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таинственнаго „кланъ!", которое такъ долго смущало его воображеніе. Слова: „спросъ", „предложеніе, „кредитъ", „ажіотажъ", „акціонерныя компаніи" не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ себѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ „спросъ и предложеніе" представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ; игра въ „кредитъ" разросталась въ романъ; игра въ „ажіотажъ" превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

— Кредитъ,—толковалъ онъ Колѣ Персіянову:—это когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, вдругъ—кланъ!—онѣ есть!

— Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты?—картавилъ Коля.

— Чудакъ! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить—ну, и опять кредитъ! Еще платить—еще кредитъ! Нынче всѣ государства такъ живутъ!

Коля удовлетворялся этимъ объясненіемъ, во-первыхъ, потому, что оно согласовалось съ практикой, которой слѣдовали его предки, а во-вторыхъ и потому, что оно отвѣчало его собственнымъ видамъ и пожеланіямъ. Что предстояло Колѣ въ будущемъ?—ему предстояла жизнь праздная, легкая и удобная. На „производство богатствъ" онъ не разсчитывалъ, на „накопленіе" ихъ—и того менѣе. Изъ всѣхъ экономическихъ законовъ, о которыхъ гласила школа, на немъ отражался только законъ „распредѣленія богатствъ"—въ видѣ оброковъ, присылаемыхъ изъ деревень, да еще законъ „потребленія"

—въ формѣ пріобрѣтенія рысаковъ и производства всевозможныхъ кутежей. Но, увы! дѣйствіе закона потребленія давало себя знать всегда какъ-то сильнѣе, нежели дѣйствіе закона распредѣленія, и потому онъ очень былъ радъ, когда въ формѣ „кредита“ ему явился совершенно готовый исходъ изъ этого затрудненія.

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой „спросъ“ съ завязанными глазами бѣгалъ за „предложеніемъ“, а „предложеніе“ въ свою очередь нащупывало, нѣтъ ли гдѣ „спроса“; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ „ажіотажъ“ и въ „акціонерныя компаніи“, которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Порфиша въ какомъ-то экстатическомъ упоеніи утопалъ въ этой свѣтящейся безднѣ. Онъ былъ властелиномъ биржи; передъ нимъ преклонялись языцы, въ видѣ армянъ, грековъ и жидовъ. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось „предложеніе“, а „спросъ“ былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся „спросъ“, а „предложеніе“ было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала—это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремлялся всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кишѣли семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ немедленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался подолгу на одномъ и томъ же предпріятіи, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали. Если Колѣ Персіянову былъ необходимъ „кредитъ“ для того, чтобъ позавтракать устрицами, отобѣдать съ шампанскимъ и окончить день въ домѣ терпимости, то Порфишѣ онъ нуженъ былъ совсѣмъ для другихъ цѣлей. Онъ видѣлъ въ „кредитѣ“ извѣстную экономическую функцію, безъ которой нельзя было обойтись въ ряду прочихъ экономическихъ функцій. Экономическая наука представлялась ему въ видѣ

шкафа съ множествомъ ящиковъ, и чѣмъ быстрѣе выдвигались и задвигались эти ящики, тѣмъ болѣе умилялась его душа.

Но что̀ всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы оріентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша проникалъ и въ нѣдра земли, и въ глубины морскихъ хлябей—и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и—клацъ!—покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однакожъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

— Il est par trop théoricien, ce cher Vélentieff,—выражался о немъ Коля Персіяновъ:—mais c'est égal, c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа, объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ.—Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и выростешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

— Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ прежнимъ недовѣріемъ относился къ сыну и, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ, невольно припоминалъ объ Амалаткѣ и Азаматкѣ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ...

ДНЕВНИКЪ ПРОВИНЦІАЛА

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Глава I.

Я въ Петербургѣ.

Зачѣмъ я въ Петербургѣ? по какому случаю?—этого вопроса, по врожденной провинціаламъ неосмотрительности, я ни разу не задалъ себѣ, покидая нашъ постылый губернскій городъ. Мы, провинціалы, устремляемся въ Петербургъ какъ-то инстинктивно. Сидимъ-сидимъ — и вдругъ тронемся. Губернаторъ сидитъ и вдругъ надумается: толкнусь-молъ, нѣтъ-ли чего подходящаго! Прокуроръ сидитъ—и тоже надумается: толкнусь-ка, нѣтъ ли чего подходящаго! Партикулярный человѣкъ сидитъ—и вдругъ словно озаренный начинаетъ укладываться... „Вы въ Петербургъ ѣдете?“—Въ Петербургъ!—Этимъ все сказано. Какъ будто Петербургъ самъ собою, однимъ своимъ именемъ, своими улицами, туманомъ и слякотью долженъ что-то разрѣшить, на что-то пролить свѣтъ. Что разрѣшить? на что пролить свѣтъ? — этого ни одинъ провинціалъ никогда не пробуетъ себѣ уяснить, а просто-на-просто, съ безсознательною увѣренностью твердитъ себѣ: „вотъ ужо съѣзжу въ Петербургъ, и тогда“... Что тогда?

Какъ бы то ни было, вопросъ: зачѣмъ я ѣду въ Петербургъ? возникъ для меня совершенно неожиданно, возникъ спустя нѣсколько минутъ послѣ того, какъ я усѣлся въ вагонъ николаевской желѣзной дороги.

Въ этомъ вагонѣ сидѣла *губернія*, сидѣло все то, отъ чего я бѣжалъ, отъ лицезрѣнія чего стремился отдохнуть. Тутъ были: и Петръ Иванычъ, и Тертій Семенычъ, и самъ представитель „высшаго въ имперіи сословія“, Александръ Прокофьичъ (онъ же „Прокопъ Ляпуновъ“) съ супругой, на лицѣ которой читается только одна мысль: „Alexandre! у тебя опять галстухъ на бокъ съѣхалъ!“ Это была ужаснѣйшая для меня минута. Всѣ они были на-лицо, съ своими жирными-затылками, съ своими клинообразными кадыками, въ фуражкахъ съ красными околышами и съ кокардой надъ козырькомъ. Всѣ притворялись, что у нихъ есть нѣчто въ карманѣ, и ни одинъ даже не пытался притвориться, что у него есть нѣчто въ головѣ. Повидимому это послѣднее обстоятельство для нихъ составляло дѣло рѣшонное, потому что смотрѣть на міръ такими осовѣлыми глазами, какими смотрѣли они, мо-

тутъ только люди или совершенно эманципированные отъ давленія мысли, или люди совсѣмъ наглые. А такъ-какъ моихъ спутниковъ нельзя же назвать вполнѣ наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежатъ къ числу вполнѣ свободныхъ. На меня эти красные околыши произвели какое-то болѣзненное впечатлѣніе. Мнѣ показалось, что я опять въ нашемъ рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовскомъ клубѣ, окруженный сѣятелями, дѣятелями и всѣхъ сортовъ шлющимися и непомнящими родства людьми...

Разумѣется, обрадовались. Но въ этихъ привѣтственныхъ возгласахъ мнѣ слышалось что-то обидное. Какъ будто, привѣтствуя меня, они въ одинъ голосъ говорили: а вотъ и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встрѣча до такой степени уязвила меня, что я никогда такъ отчетливо, какъ въ эту минуту, не сознавалъ, что вѣдь я и самъ такой же шлющійся и незнающій куда приткнуть голову человѣкъ, какъ и они? Кайдановъ удостовѣряетъ, что древніе авгуры не могли удерживаться отъ смѣха, встрѣчаясь другъ съ другомъ. Быть можетъ, на первыхъ порахъ оно такъ и было; но впослѣдствіи, когда интересъ новизны исчезъ, эти встрѣчи должны были возбуждать не смѣхъ, а взаимное озлобленіе. Скажите: можно ли безъ злобы ежеминутно встрѣчаться съ человѣкомъ, котораго видишь насквозь, со всѣмъ его нутромъ? Помилуйте! да отъ этого человѣка за тридевять земель бѣжать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать: бѣжать! Вы бѣжите, а онъ—за вами! Онъ, этотъ земскій авгуръ, населяетъ теперь всѣ вагоны, всѣ гостинницы! Онъ ораторствуетъ въ клубахъ и ресторанахъ; онъ проникаетъ въ педагогическія, экономическія, сельско-хозяйственныя и иныя собранія и даже защищаетъ тамъ какіе-то рефераты. Онъ желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова; онъ смотритъ Патти, Паску, Лукку, Шпейдеръ. Словомъ, онъ вездѣ. Это какой-то неугомонный духъ, отъ вездѣсущія котораго не упастись нигдѣ...

По обыкновенію, какъ только размѣстились въ вагонахъ, такъ тотчасъ же начался обмѣнъ мыслей.

— Въ Петербургъ?—спрашиваетъ Прокопъ Петра Иваныча.

— Въ Петербургъ.

— Зачѣмъ, смѣю спросить?

— Да такъ... насчетъ концессіи одной... А вы?

— Я, признаться, тоже... отъ земства... А вы, Тертій Семенычъ?

— Да я... какъ бы вамъ сказать... вѣдь и я тоже насчетъ концессіи!

Наконецъ вопросъ обращается и ко мнѣ:

— Въ Петербургъ-съ?

Тутъ-то вотъ именно и представился мнѣ вопросъ: зачѣмъ я въ самомъ дѣлѣ ѣду въ Петербургъ? и какимъ образомъ сдѣлалось, что я, убѣгая изъ губерніи и находясь несомнѣнно за предѣлами ея, въ вагонѣ все-таки очутился въ самомъ сердцѣ оной? И мнѣ сдѣлалось такъ совѣстно и конфузно, что я совершенно неосновательно отвѣтилъ Прокопу:

— Да тамъ... тоже маленькая концессія...

Тогда начались проекты самыхъ фантастическихъ концессій. Изъ Пензы въ Наровчатъ, захвативъ на дорогѣ Мокшанъ и Инсаръ; изъ Рязани въ Михайловъ, а тамъ въ Каширу, въ Алексинъ, въ Бѣлевъ, въ Медынь и т. д.

Слышались фразы: „вотъ бы!“ „вотъ кабы!“ „ну ужъ тогда бы!“ и проч. Но меня такъ всецѣло поглотила мысль, зачѣмъ я-то собственно собрался въ Петербургъ,—я, который не имѣлъ въ виду ни получить концессію, ни защитить педагогическій или сельскохозяйственный рефератъ,—что даже не замѣтилъ, какъ мы проѣхали Тверь, Бологово, Любань. Съ этою же мыслью я очутился утромъ на дебаркадерѣ николаевской желѣзной дороги.

Но здѣсь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что всѣ мы, то-есть вся губернія, останавливаемся въ Grand Hôtel... Уклониться отъ совмѣстнаго жительства не было возможности. Еще въ Колпинѣ начались возгласы: „да остановимтесь, господа, всѣ вмѣстѣ!“—„вмѣстѣ, господа, веселѣе!“—„стыдно землякамъ въ разныхъ мѣстахъ останавливаться!“ и т. д. Нужно было имѣть твердость Муція Сцеволы, чтобы устоять противъ такихъ зазываній. Разумѣется, я не устоялъ.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вотъ буквально тѣ впечатлѣнія, которыя въ теченіе первыхъ двухъ недѣль я испытывалъ въ Петербургѣ изо дня въ день.

Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются въ дверь моего нумера. Раньше всѣхъ стучитъ Прокопъ.

— Ну, что? какъ концессія? заполучили? — обращается онъ ко мнѣ своимъ обычнымъ лающимъ голосомъ.

— Нѣтъ еще... да и не знаю...

— Тутъ, батюшка, зѣвать некогда! Какъ разъ изъ-подъ носа стибрятъ!

Черезъ полчаса опять стукъ: стучитъ Тертій Семенычъ.

— Ну, что? заполучили?

— Не знаю, какъ бы сказать...

— Что-жъ вы мямлите-то! что мямлите! вѣдь этакъ какъ разъ изъ-подъ носа утащатъ!

Проходитъ четверть часа: стукъ, стукъ! Идетъ мимо Петръ Иванычъ.

— Что? какъ концессія?

Мнѣ уже дѣлается весело. Я самъ начинаю вѣрить, что пріѣхалъ за концессіей, и что есть какая-то линія между Сапожкомъ и Касимовымъ, которую мнѣ совершенно необходимо заполучить.

— Да что, батюшка!—говорю я:—эта концессія... шутъ ее знаетъ!

— Что вы зѣваете-то! что зѣваете! Прокопъ вотъ всѣ передніе ужъ объѣздилъ, а вы! Хотите, я вамъ скажу одну вещь!

— Ахъ! сдѣлайте милость!

— Тамъ полковникъ одинъ есть... Просто даже и вѣдомства-то всѣмъ не того, отставной... Такъ вотъ покуда мы стоимъ этакъ въ пріемной, проходитъ мимо насъ этотъ полковникъ прямо въ кабинетъ... Потомъ, черезъ четверть часа, опять этотъ полковникъ изъ кабинета проходитъ, и только глазомъ мигнетъ!

— Ну, и что жъ?

— Ну, тутъ его и лови!

Затѣмъ „губернія“ часа на два, на три исчезаетъ. Но не успѣлъ я одѣться (бьетъ два часа), какъ опять стукъ въ дверь. Влетаетъ Прокопъ.

— Развѣ такъ дѣлаютъ дѣла?—накидывается онъ на меня.—Вы вотъ потягиваетесь тутъ, а я ужъ во всѣхъ трехъ министерствахъ былъ!

— Александръ Прокофьичъ! Неужто?

— Да-съ, былъ-съ. Только ужъ и ходьба!

— А что?

— Да вотъ, посчитайте-ка сами ступеньки отъ перваго этажа до четвертаго, тогда увидите!

— А результатъ?

— Да какъ сказать? — покуда еще никакого! Вѣдь здѣсь, батюшка, не губернія! чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазкомъ-то его увидѣть, надо съ мѣсяцъ мѣста побѣгать! Здѣсь вѣдь всѣ дѣла дѣлаются такъ!

— Однако это непріятно!

— А вамъ все чтобъ было „пріятно“! Вамъ бы вотъ чтобъ Ѳаддей и носки вамъ на ноги надѣлъ, и сапоги бы натянулъ, а изъ этого чтобъ концессія вышла! Нѣтъ, сударь, пріятности-то тогда пойдутъ, когда вотъ линійку заполучимъ, а теперь не до пріятностей! Здѣсь, батюшка, и всѣ такъ живутъ!

Прокопъ подходитъ къ окну, видитъ бѣгущаго по улицѣ мазурика, и воображеніе рисуетъ передъ нимъ цѣлую картину.

— Смотрите!—восклицаетъ онъ: — вонъ онъ высуня языкъ бѣгаетъ! Вы думаете, онъ дѣло дѣлаетъ! Пустяки, сударь! пустяки онъ дѣлаетъ! Деньто деньской онъ пробѣгаетъ, вечеромъ прибѣжитъ домой: что я сдѣлалъ?— Иной даже заплачетъ! Ничего, ну, просто-на-просто ничего! А тамъ пройдетъ и еще день, и еще, и еще... И все-то такъ! и всякій-то день ничего! А черезъ мѣсяцъ, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Какъ сформируется? почему сформируется?—ничего неизвѣстно! Тамъ бросилъ словечко, тамъ глазкомъ глянулъ, туда забѣжалъ, тамъ съ швейцаромъ покалякалъ — на видъ оно пустяки, анъ, смотришь, въ результатѣ оно самое и есть!

Снова стукъ. Петръ Иванычъ влетаетъ прямо въ соболяхъ. Щеки у него горятъ, кадыкъ застылъ отъ мороза, усы влажны.

— Ну, кажется, идетъ дѣло на ладъ!—говоритъ онъ весело.

— Рѣшена?—спрашиваетъ Прокопъ, и въ глазахъ его появляется какой-то блудящій огонь, котораго я прежде не примѣчалъ.

— Рѣшена!

— Ну, а моя еще нѣтъ!

— Теперь только бы въ самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: къ тузу какому-нибудь примазаться! Ужъ чортъ его душу дери... ѣшь половину!

Еще стукъ. Влетаетъ Тертій Семенычъ и падаетъ въ изнеможеніи въ кресло.

— Усталъ,—говоритъ онъ: — былъ вездѣ! И у Бубновина былъ, и у Мерзавскаго былъ, и у сына Сирахова былъ!

— Ну, и что же?

— Всѣ въ одинъ голосъ: „полезнѣйшее предпріятіе!“

— Смотри, какъ бы тебя съ „полезнѣйшимъ-то предпріятіемъ“ не продернули! вѣдь это тоже народъ теплый!

— Меня-то! у меня линія вѣрная! Отъ Корочи черезъ Тимъ, Щигры, да такъ-таки прямо въ Ливны. А тамъ у меня кстати и имѣніе есть.

— Да ты что̀ возить-то по этой линіи будешь?

— Ужъ это наше дѣло!

— Нѣтъ, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александръ Прокофьичъ, что̀ вы-то по вашей линіи возить будете?

— Это отъ Изюма-то, черезъ Купянку, Валуйки да въ Острогожскъ? Да тутъ, батюшка, хлѣба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скотъ, кожи! Да ты пойми: вѣдь въ Изюмѣ-то окружный судъ! Члены суда будутъ ѣздить! судебные слѣдователи! судебные пристава! Твое же острогожское имѣніе описывать поѣдутъ!

Между тѣмъ Петръ Иванычъ безпокойно поглядываетъ на часы, и вдругъ вскакиваетъ:

— Однако пора бѣжать!

И всѣ трое, обращаясь ко мнѣ, разомъ восклицаютъ.

— Вы развѣ не пойдете устрицы ѣсть?

— Не знаю... Я какъ-то еще не думалъ объ этомъ.

— Ну, какимъ же образомъ послѣ того вы концессію получить хотите! Гдѣ же вы съ настоящими дѣльцами встрѣтитесь, какъ не у Елисеева или у Эрбера? Вѣдь тамъ всѣ! Всѣхъ тамъ увидите!

— Да вѣдь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что̀ я, въ самомъ дѣлѣ, возить по ней буду!

— А вамъ-то что̀? Это что̀ еще за тандрессы такіе! Вонъ Петръ Иванычъ снѣтокъ бѣлозерскій хочетъ возить... а сооруженія-то, батюшка, затѣваетъ какія! Черезъ Чегодощу мостъ въ двѣ версты—разъ! черезъ Тихвинку мостъ въ три версты (тутъ грузы захватитъ)—два! Черезъ Волховъ мостъ—три! По горамъ, по долам, по болотамъ, по лѣсамъ! Въ болотахъ морошку захватитъ, въ лѣсу—рябчика! За то въ Питерѣ настоящій снѣтокъ будетъ! Не псковскій какой-нибудь, а настоящій бѣлозерскій! Вкусъ-то въ немъ какой—ха! ха!

— Смѣйтесь! смѣйтесь! а вотъ какъ заполучу дорожку, тогда будетъ... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику до тла разузнали! Гдѣ что̀ родится, гдѣ какое производство идетъ! Гдѣ мамура-ягода, гдѣ княженика-ягода! Гдѣ сырть-рыба, гдѣ сельдь, гдѣ снѣтокъ! Гдѣ мыло варятъ, гдѣ кожи дубятъ! Разносчикъ кричитъ: „сельди переславскія!“—а мы примѣчаемъ!

Дѣлать нечего, отправляемся вчетверомъ на биржу къ Елисееву.

Устричная зала полна. Губернія преобладаетъ. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки. На столахъ валяются фуражки съ красными околышами и кокардами. Тамъ и сямъ мелькаютъ какія-то оливковыя личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словомъ—какіе-то иконописные люди, которымъ удалось сбѣжать съ кипарисной доски и отгуляться на волѣ у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скотъ, откормленный бардою. Личности эти составляютъ центры, около которыхъ образуются группы кадыковъ. Но самый

главный центръ представляетъ какой-то необыкновенно жирный и, повидимому, не очень умный человѣкъ, который сидитъ на диванѣ у средней стѣны и на груди у котораго отдыхаетъ тяжелая золотая цѣпь, обремененная драгоцѣнными желѣзнодорожными жетонами. Онъ ужъ поѣлъ и, сложа на груди руки и зажмуривъ глаза, предается пищеваренію. По временамъ пройдетъ мимо него кадыкъ, скажетъ: „Анемподисту Тимоѳеичу!“—тогда онъ отдѣлитъ отъ туловища одну изъ рукъ и вложитъ ее въ протянутую руку кадыка. Хотя этотъ человѣкъ сидитъ за своимъ столомъ одиноко, но что не кто другой, а именно онъ составляетъ настоящій центръ компаніи—въ этомъ нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряютъ его изъ вида. Они и сидятъ за своими столами какъ-то не прямо, а въ полъ-оборота къ нему, и говорятъ другъ съ другомъ словно не другъ съ другомъ, а обращаясь къ третьему лицу, которое нельзя безпокоить прямо, но безъ мнѣнія котораго обойтись немыслимо.

Проходя мимо него, Прокопъ толкаетъ меня въ бокъ и шепчетъ какимъ-то испуганнымъ голосомъ:

— Бубновинъ!

Въ залѣ сыро, наслякощено, накурено. Словно туманъ стоитъ. Но кадыки не гогочутъ, по своему обычаю, а какъ-то сдержанно бесѣдуютъ, заискиваютъ.

—Аристиду Ѳемистоклычу!—восклицаетъ Прокопъ, расцвѣтая при видѣ одного изъ византійскихъ изображеній, котораго наружность напоминаетъ паука, только-что проглотившаго муху: — какъ поживаете? каково прижимаете?

— Ницево! зивемъ!

— Дѣвочки какъ?

— И дѣвоцки!.. у насъ дѣвоцекъ завсегда бываетъ оцень достатоцно!

— Ну, и слава Богу!

Мы садимся за особый столъ; приносятъ громадное блюдо, усѣянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозрѣваютъ въ будущемъ и усматриваютъ тамъ потребность въ новомъ такомъ же блюдѣ.

— Вели еще десятка четыре вскрыть!—командуетъ онъ:—да надо бы и насчетъ вина распорядиться... Аристидъ Ѳемистоклычъ! вы какое вино при устрицахъ потребляете?

— Сабли... а впроцемъ я могу всякое!

— Ну, и намъ подавай шабли, а потомъ и до „всякаго“ доберемся!

Начинается истребленіе устрицъ подъ гвалтъ общаго говора.

— Я вамъ докладываю: простой армейскій штабсъ-капитанъ былъ!—ораторствуетъ какой-то „кадыкъ“:—въ нашемъ городѣ въ квартальные просился—не дали.

— А теперь третью дорогу строитъ!—отзывается другой „кадыкъ“:—вотъ оно что значитъ умъ-то!

— Да; если человѣкъ съ умомъ... это тоцно!..—замѣчаетъ Аристидъ Ѳемистоклычъ.

Онъ пропустилъ ужъ полсотни устрицъ и развалился на диванѣ, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищи были! въ одно время въ полку служили!—повѣствуетъ въ другомъ углу третій „кадыкъ“:—вчерась встрѣчаемся на Невскомъ. „Ты что?“ говоритъ. —Такъ и такъ, говорю, дорожку бы заполучить! — „Приходи“, говоритъ!

Я вглядываюсь въ говорящаго, и вижу, что онъ лжетъ. Быть можетъ, онъ и отъ природы не можетъ не лгать, но въ эту минуту къ его хвастовству видимо примѣшивается разсчетъ, что оно подѣйствуетъ на Бубновина. Послѣдній, однакожъ, поддается туго: онъ окончательно зажмурилъ глаза, даже слегка похрапываетъ.

— А какая доброта-то!—продолжаетъ хвастаться кадыкъ:—такъ-таки просто и говоритъ: „пріѣзжай, говоритъ, я тебя съ женой познакомлю, а потомъ и объ дорожкѣ потолкуемъ! я, говоритъ, знаю, что твое дѣло вѣрное!“

Бубновинъ продолжаетъ похрапывать.

— Шнейдершу бы вотъ попросить, чтобы словечко замолвила!—вдругъ предлагаетъ кто-то.

Бубновинъ открываетъ одинъ глазъ, какъ будто хочетъ сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложенію не дается дальнѣйшаго развитія, потому что оно, какъ и всѣ другія восклицанія, въ родѣ: вотъ бы! тогда бы! явилось точно такъ же случайно, какъ тѣ мухи, которыя неизвѣстно откуда берутся, прилетаютъ и потомъ опять неизвѣстно куда исчезаютъ.

Съѣдаются первые четыре десятка устрицъ, потомъ съѣдаются еще четыре десятка устрицъ; въ промежуткахъ съѣдаются: два фунта свѣжей икры, фунтъ сыру, фунтъ семги. Выпивается по бутылкѣ шабли на брата, потомъ по бутылкѣ шампанскаго; въ промежуткахъ пробуются разные сорта водокъ. Дымъ синими волнами ходитъ по комнатѣ, такъ что, несмотря на зажженный газъ, почти ничего не видно. И чѣмъ больше выпивается, тѣмъ гуще дѣлается шумъ. Приходятъ новые дѣятели; слышатся вопросы: „рѣшена?“ „аудіенціи-то добился ли, по крайней мѣрѣ?“ и отвѣты: „а чортъ ихъ разберетъ!“... „семь дней хожу и дальше передней—ни-ни!“... Въ пять часовъ мы выходимъ наконецъ на воздухъ.

— Гдѣ же дѣльцы-то?—спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновинъ!

— Да вѣдь вы съ нимъ даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однакожъ, чудной! развѣ этакого человѣка можно сразу! Его надобно еще пріучить къ себѣ, чтобы онъ, значитъ, къ физіономіи-то сначала присмотрѣлся! Разъ скажешь ему: Анемподисту Тимоѳеичу! въ другой: Анемподисту Тимоѳеичу!—ну, онъ и прислушивается помаленьку. Успѣлъ ты ему понравиться—дѣло въ шляпѣ! Не успѣлъ—домой поѣзжай! и проѣдаться тутъ нечего! Вотъ этотъ баринъ, что про Шнейдершу-то давеча молвилъ — вы видѣли, какъ онъ на него посмотрѣлъ! Да баринъ-то плохъ! Другой бы на его мѣстѣ такъ бы этой Шнейдершей Бубновина раззудилъ, что завтра и по рукамъ бы хлопнули!

— Зачѣмъ же дѣло? воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то ужъ подумываю! Кончено дѣло! завтра же чѣмъ свѣтъ—къ Бубновину! Я ему этотъ прожектецъ во всѣхъ статьяхъ разверну!

Я возвращаюсь въ свой нумеръ—усталый, ошеломленный, полупьяный;

нераздѣтый бросаюсь въ постель и засыпаю тяжелымъ сномъ. Во снѣ мнѣ видится желѣзная дорога отъ Петербурга до самаго устья Печоры. Локомотивъ, пыхтя и свистя, несется въ необозримую даль; болотныя трясины содрогаются, лѣса оглашаются безконечнымъ эхомъ, испуганные звѣри и птицы скрываются куда-то далеко, въ непроглядный мракъ. На поѣздѣ сидитъ жандармъ и какой-то партикулярный молодой человѣкъ. И мчатся эти люди день и ночь, худо спятъ, наскоро закусываютъ, бѣгутъ, спѣшатъ, какъ будто и невѣсть какія пріятства ожидаютъ ихъ на устьѣ Печоры. А съ устья Печоры въ свою очередь тоже мчится поѣздъ, и несется на немъ господинъ Латкинъ съ свѣжею печорскою семгою и кедровой шишкой въ рукахъ, какъ доказательство крайней необходимости дороги въ этотъ кишащій естественными богатствами край. И вдругъ въ Усть-Сысольскѣ ужасное столкновеніе... Раздается трескъ, громъ; я въ ужасѣ мечусь на постели и наконецъ вскакиваю.

Въ комнатѣ темно; въ дверь моего нумера дѣйствительно кто-то сильнѣйшимъ образомъ стучитъ.

Отпираю: влетаетъ Прокопъ.

— Спите, батюшка, спите! — говоритъ онъ мнѣ укоризненно: — а я, покуда вы тутъ спите, у Дюссо съ такимъ человѣчкомъ знакомство свелъ!

— Съ какимъ еще человѣчкомъ? — спрашиваю я, насилу продирая глаза.

— Да ужъ съ такимъ человѣчкомъ, что ежели черезъ недѣлю мое дѣло не будетъ слажено и покончено, назовите меня въ глаза подлецомъ!

Не успѣваю я отвѣтить, какъ влетаютъ разомъ Тертій Семенычъ и Петръ Иванычъ.

— Ну, батюшка, слава Богу! кажется, мое дѣло въ шляпѣ!—говоритъ Тертій Семенычъ.

— И меня, я полагаю, черезъ недѣльку поздравить будетъ можно! — перебиваетъ его Петръ Иванычъ.

— Ну, а теперь пора и отдохнуть!—возглашаетъ Прокопъ:—да что, впрочемъ, не выпить-ли на ночь прощёную!

Но я рѣшительно отказываюсь, и гости, послѣ долгихъ упрашиваній, расходятся наконецъ по нумерамъ.

Я остаюсь одинъ (бьетъ ужъ два часа) и вновь ложусь спать.

Такимъ образомъ продолжается пятнадцать дней. Кромѣ своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообѣдалъ какъ слѣдуетъ. Кромѣ устрицъ, икры, семги—ничего. Горячаго ни-ни! Наконецъ я чувствую, что ежели это времяпрепровожденіе продолжится, то я сдѣлаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мѣрѣ, три бутылки вина, не считая водки! И это, такъ сказать, натощакъ. Перестаю наконецъ понимать, кто я и гдѣ я. Въ одно прекрасное утро просыпаюсь—и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? какъ? зачѣмъ? Наконецъ, когда ужъ мнѣ вылили на голову цѣлое ведро холодной воды (я помню, я все кричалъ: лей! лей!)—только тогда я понялъ, что я — я. Подбѣжалъ къ зеркалу, смотрю —глаза налитые, совсѣмъ круглые. Значитъ, дошелъ до точки.

Нѣтъ, надо бѣжать. Но какъ же уѣхать изъ Петербурга, не видавъ ничего, кромѣ нумера гостинницы и устричной залы Елисеева? Вѣдь есть,

вѣроятно, что-нибудь и поинтереснѣе. Есть умственное движеніе, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконецъ, найдутся старые знакомые, товарищи, которыхъ хотѣлось бы повидать...

Кончено. Я предпринимаю героическое рѣшеніе. Въ одно прекрасное утро, покуда „губернія“ шныритъ по разнымъ концамъ города, я уплачиваю мой счетъ въ Grand Hôtel и тайкомъ перебираюсь въ скромныя chambres garnies на Гороховой.

Прежде всего я отправляюсь въ Воронцинскія бани, гдѣ парюсь до тѣхъ поръ, покамѣстъ не сознаю себя вполнѣ трезвымъ. Затѣмъ приступаю вновь къ практическому разрѣшенію вопроса: зачѣмъ я пріѣхалъ въ Петербургъ?

Сознаюсь откровенно: изъ всѣхъ названныхъ выше соблазновъ (умственное движеніе, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего болѣе привлекаетъ послѣдній, то-есть „жизнь“. Мы, провинціалы,—да, впрочемъ, одни ли мы?—имѣемъ о „жизни“ представленіе нѣсколько двойственное. Хазовый конецъ этого представленія составляютъ интересы умственные и общественные; дѣйствительной же его сущности отвѣчаетъ все то, что льститъ интересамъ личнымъ и непосредственнымъ, то-есть вкусу и чувственности. На этотъ конецъ у насъ и слово такое выдумано: жуировать. А жуировать совсѣмъ не значитъ ходить въ публичную библіотеку, посѣщать лекціи профессора Сѣченова, защищать въ педагогическихъ и иныхъ собраніяхъ рефераты и проч., а просто, въ переводѣ на французскій языкъ, означаетъ: buvons, chantons, dansons et aimons! Поэтому, если мы встрѣчаемъ человѣка, который, говоря о жизни, драпируется въ мантію научныхъ, умственныхъ и общественныхъ интересовъ, и увѣряетъ, что никогда не бываетъ такъ счастливъ и не живетъ такою полною жизнью, какъ изслѣдуя вопросъ о пришествіи варяговъ или о мѣстѣ погребенія князя Пожарскаго, то можно сказать навѣрное, что этотъ человѣкъ или преднамѣренно, или безсознательно скрываетъ свои настоящія чувства. Говоритъ онъ о пользѣ классическаго образованія, а на умѣ у него: buvons, chantons, dansons et aimons! Говоритъ о податной реформѣ, а на умѣ: buvons, chantons, dansons et aimons! Всѣ эти вопросы, системы, нововведенія и проч. представляютъ лишь неизбѣжную, но сухую и горькую приправу жизни. Безъ нихъ нельзя обойтись, потому что они даютъ однимъ—прекраснѣйшія должности съ прекраснѣйшимъ содержаніемъ, другимъ, не нуждающимся въ содержаніяхъ—прекраснѣйшія общественныя положенія. Но конечный результатъ всѣхъ этихъ содержаній и положеній всетаки резюмируется такъ: buvons, chantons, dansons et aimons. Никакое полезное предпріятіе немыслимо, если оно время отъ времени не освѣжается обѣдомъ съ шампанскимъ и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна реторика, если ихъ не оплодотворяетъ струя редерера. Даже археологъ, защищая рефератъ о „ярославлѣ-сребрѣ“—и тотъ думаетъ: „вотъ ужъ выпьемъ изъ той самой урны, въ которой хранился прахъ Овидія!“ Вотъ гдѣ настоящая русская подоплека, а совсѣмъ не тамъ, гдѣ безплодно ищутъ ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это въ совершенствѣ; оттого-то въ ней и ѣдятъ, такъ сказать, подходя.

Слѣдуя общему примѣру, и я отправился на поиски „жизни“, и съ этою цѣлью посѣтилъ товарищей моихъ по школѣ.

Прихожу къ одному—статскій совѣтникъ!

— Статскій совѣтникъ!—восклицаю я: — поздравляю, поздравляю!

А самъ между тѣмъ чувствую, что въ голосѣ у меня что-то оборвалось, а внутри какъ будто закипаетъ. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярнымъ совѣтникомъ въ отставку, то могъ бы... могъ бы... Ахъ, чортъ побери да и совсѣмъ!

— Да, душа моя,—съ невозмутимою важностью отвѣчаетъ мнѣ бывшій товарищъ:—не могу пожаловаться, начальство цѣнитъ-таки труды мои!

„Труды твои! шишъ твои труды — вотъ что!“ со злобою помышляю я, но вслухъ говорю слѣдующее: — Ну, а дальше... есть виды?

— Насчетъ видовъ — это покамѣстъ еще секретъ. Но, конечно, съ Божьею помощью...

Сказавъ это, онъ устремилъ такой пронзительный взглядъ въ даль, что я сразу понялъ, что сей человѣкъ ни передъ какими видами несостоятельнымъ себя не окажетъ.

— Ну, а въ настоящемъ какъ?

— А въ настоящемъ... журируемъ! Гандонъ, Ловато, Шнейдеръ... да ты Шнейдеръ-то видѣлъ?

— Нѣтъ еще... я такъ недавно въ Петербургѣ...

— Ты не видалъ Шнейдеръ! Чудакъ! Чего же ты ждешь? Желалъ бы я знать, зачѣмъ ты пріѣхалъ! Boulotte... да вѣдь это перлъ! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi! И онъ не видѣлъ!

Въ эту минуту въ комнату входитъ другой товарищъ, еще только коллежскій совѣтникъ.

— Смѣльскій! ужасайся! онъ не видалъ Шнейдеръ!

— Ты не видалъ Шнейдеръ?

— Онъ не слыхалъ „Dites lui“!

— Et Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... c'tte fille! Barbare!.. va!

Я слушаю и краснѣю. Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлалъ я въ теченіе цѣлыхъ двухъ недѣль? Я бесѣдовалъ съ Прокопомъ, я наслаждался лицезрѣніемъ иконописнаго Аристида Ѳемистоклыча — и чего не видѣлъ! не видѣлъ Шнейдеръ!

— Ради Бога... нельзя ли?—лепечу я въ смущеніи.

— Ah, mon cher, c'est grave! C'est très-grave, ce que tu nous demande-là. Однако вотъ что. У насъ ложа на всѣ пятнадцать представленій, и хотя насъ четверо, но для тебя, pour te désinfecter de ta chère ville natale... мы потѣснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обѣдать, но за обѣдомъ, чуръ, много вина не пить! Помните, что сегодня идетъ „Barbe bleue“; а чтобъ эту пьесу просмаковать, нужно, чтобъ голова была свѣтла да и свѣтла!

И точно, за обѣдомъ мы пьемъ сравнительно довольно мало, такъ-что когда я, руководясь бывшими примѣрами, налилъ себѣ передъ закускою большую (желѣзнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись съ нѣко-

торымъ безпокойствомъ. Затѣмъ: по рюмкѣ хересу, по стакану добраго лафита и по бутылкѣ шампанскаго на человѣка—и только.

На свѣжую голову Шнейдеръ дѣйствуетъ изумительно. Она производитъ то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанскаго. Влетая на сцену, черезъ какое-нибудь мгновеніе, она ужъ поднимаетъ ногу...

— Adorable!—шепчетъ мой другъ, статскій совѣтникъ.

— И замѣть, что у насъ она въ стократъ скромнѣе играетъ, нежели въ Парижѣ!—комментируетъ другой мой другъ, коллежскій совѣтникъ.

И вдругъ она начинаетъ пѣть. Но это не пѣніе, а какой-то опьяняющій, звенящій хохотъ. Поетъ, и въ то же время чешетъ себя во всѣхъ мѣстахъ, какъ это, впрочемъ, и слѣдуетъ дѣлать наивной поселянкѣ, которую она изображаетъ.

— Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. parlez-moi de ça!—захлебывается статскій совѣтникъ.

— Je vous demande un peu, si ce n'est pas là une grande actrice!—вторитъ коллежскій совѣтникъ, и съ какою-то ненавистью озирается по сторонамъ, какъ будто вызываетъ дерзновеннаго, который осмѣлился бы выразить противоположное мнѣніе.

Но зала составлена слишкомъ хорошо; никто и не думаетъ усомниться въ геніальности m-lle Шнейдеръ. Во время пѣнія всѣ благоговѣйно слушаютъ; послѣ пѣнія всѣ неистово хлопаютъ. Мы съ своей стороны хлопаемъ и вызываемъ до тѣхъ поръ, покуда зала окончательно пустѣетъ.

Послѣ спектакля ужинъ (уже безъ воздержанія) и за ужиномъ разговоръ.

— Mais comme elle se gratte!

— En voilà une fille!

— Et remarquez, comme elle a fait ceci...

Статскій совѣтникъ пробуетъ пройтись церемоніальнымъ маршемъ, какъ это дѣлаетъ Шнейдеръ, то-есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я самъ взволнованъ отъ глубины души, и желаю выразить свои чувства.

— Признаюсь, господа, — говорю я: — это... это... замѣтили ли вы, напримѣръ, какой у нея отлетъ?

Я изгибаюсь головой и грудью впередъ, а остальною частью корпуса силюсь изобразить „отлетъ“.

— Именно отлётъ! C'est le vrai mot! Otliott! magnifique!

— Ай-да деревня! сидитъ въ захолустьи, да и выдумаетъ!

— Messieurs! не говорите такъ легко о нашемъ захолустьи! У насъ тамъ одна помпадурша есть, такъ у нея отлётъ! Je ne vous dis que ça!

Я собираю пальцы въ кучку и цѣлую кончики.

— Ну, все-таки, противъ Шнейдеръ... — сомнѣвается статскій совѣтникъ.

— Да развѣ я объ Шнейдершѣ!.. Schneider! mais elle est unique! Шнейдеръ... это... это... Но, я вамъ скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte

pas les hanches,—c'est vrai, — mais si elle se les grattait! я не ручаюсь, что и вы... Человѣкъ! четыре бутылки шампанскаго!

Потомъ слѣдуютъ еще четыре бутылки, потомъ еще четыре бутылки... Желудокъ отказывается вмѣщать, въ груди чувствуется стѣсненіе. Я возвращаюсь домой въ пять часовъ ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успѣваю лечь въ постель, какъ тотчасъ же засыпаю. Но я не безъ гордости сознаю, что сего числа я былъ истинно пьянъ не съ пяти часовъ пополудни, а только съ пяти часовъ пополуночи.

На другой день къ другому товарищу—этотъ уже не просто статскій, а дѣйствительный статскій совѣтникъ.

— Ужъ дѣйствительный статскій!!

— Да, душа моя, дѣйствительный. Благодареніе Богу, начальство видитъ мои труды и цѣнитъ ихъ.

— Да вѣдь такимъ образомъ ты, пожалуй...

— И очень не мудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько извѣстны... Enfin qui vivra – verra.

Сказавши это, онъ поднялъ ногу, какъ будто инстинктивно куда-то ее заносилъ. Потомъ, какъ бы сообразивъ, что серьезныхъ разговоровъ со мной, провинціаломъ, вести не приходится, спросилъ меня:

— Надѣюсь, что ты видѣлъ Шнейдеръ?

— Вчера съ старыми товарищами былъ.

— Это въ „Barbe bleue“? Délicieuse! не правда ли?

— Comme elle se gratte les hanches et les jambes!

— N'est-ce pas! quelle fille! quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! mais une actrice... ce qui s'appelle—consommée!

— А ты замѣтилъ, какъ она церемоніальнымъ маршемъ къ вѣнцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу въ лицахъ, но при первой же попыткѣ вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну, вотъ! ну, вотъ!—смѣется мой другъ:—это хорошо, что ты такъ твердо запомнилъ, но зачѣмъ подражать неподражаемому! En imitant l'inimitable, on finit par se casser le cou.

— Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme elle se gratte!

— Ah! mais c'est encore un trait de génie... ça! Замѣть, кого она представляетъ? Она представляетъ простую, наивную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo...

— Mais c'est simple comme bonjour!

— Вотъ сегодня, напримѣръ, ты увидишь ее въ „Le sabre de mon père“—здѣсь она не только не чешется, но даже поразитъ тебя своимъ величіемъ! А почему? потому что этого требуетъ роль!

— Увы! у меня нѣтъ на сегодня билета!

— Вздоръ! Надо, чтобъ ты видѣлъ эту пьесу. Вы — люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность—это стараться, чтобъ вы все видѣли, все знали. Вотъ что: у насъ есть ложа, и хотя мы тамъ вчетверомъ, но для тебя потѣснимся. Я хочу, непремѣнно хочу, чтобъ ты видѣлъ, какъ *она* поетъ „Dites lui!“. Я съ намѣреніемъ говорю: „чтобъ ты видѣлъ“, потому

что это мало слышать, это именно *видѣть* надо! А теперь идемъ обѣдать, mais soyons sobres, mon cher! parceque c'est très sérieux, ce que tu vas voir ce soir!

Мы обѣдаемъ внятеромъ. Выпиваемъ по рюмкѣ хересу, по стакану добраго лафита и по бутылкѣ шампанскаго на человѣка—и только.

Я не стану описывать впечатлѣнія этого чуднаго вечера. *Она* изнемогала, таяла, извивалась и такъ потрясала „отлётомъ", что товарищи мои, несмотря на то, что всѣ четверо были дѣйствительные статскіе совѣтники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно такъ же, какъ и *она*.

Изъ театра—къ Борелю.

— Ну-съ, что скажете, любезный провинціалъ?

— Да, messieurs, это... Это, я вамъ скажу... Это искусство!

— C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son dépérissement! Eh bien! je vous demande un peu, si ce n'est pas la personnification même de l'art! „Dites-lui!"—parlez-moi de ça!

— И замѣтьте, messieurs, какой у нея „отлетъ"!

— Otliott! c'est le mot! mais il est unique, ce cher provincial!

Какъ и наканунѣ,—я изогнулся головой и корпусомъ впередъ.

— Именно! именно! c'est ça! c'est bien ça!—кричали дѣйствительные статскіе совѣтники, хлопая въ ладоши.

Даже Борелевскіе татары—и тѣ смѣялись.

— А теперь, господа, въ благодарность за высокое наслажденіе, доставленное мнѣ вами, позвольте... Человѣкъ! шесть бутылокъ шампанскаго!

Затѣмъ еще шесть бутылокъ, еще шесть бутылокъ и еще... Я вновь возвращаюсь домой въ пять часовъ ночи, но на сей разъ уже съ мѣньшею гордостью сознаю, что хотя и не съ пяти часовъ пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь въ постель усталый и съ отягченной винными парами головой.

Такимъ образомъ проходитъ десять дней. Утромъ—вставанье и потягиванье до трехъ часовъ; потомъ—посѣщеніе старыхъ товарищей и обѣдъ съ умѣренной выпивкой; потомъ—Шнейдерша и ужинъ съ выпивкой неумѣренной. На одиннадцатый день я подхожу къ зеркалу и удостовѣряюсь, что глаза у меня налитые и совсѣмъ круглые. Значитъ, опять въ самую точку попалъ.

„Ужъ не убраться ли по добру по здорову подъ сѣнь рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовскаго клуба?"—мелькаетъ у меня въ головѣ. Но мысль, что я почти мѣсяцъ живу въ Петербургѣ, и ничего не видалъ, кромѣ Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдеръ, угрызаетъ меня.

„Нѣтъ, думаю: — попробую еще! По крайней мѣрѣ, узнаю, что такое современная петербургская жизнь!"

Принявъ это рѣшеніе, отправляюсь въ Воронинскія бани, гдѣ парюсь до тѣхъ поръ, пока сознаю себя вполнѣ трезвымъ.

Затѣмъ на цѣлый день остаюсь дома и занимаюсь приведеніемъ въ порядокъ желудка. И только на другой день, свѣжій и встрепанный, начинаю новый рядъ похожденій.

Глава II.

Что же такое, однако, „жизнь“?

Въ теченіе болѣе трехъ недѣль я продѣлалъ все, что, по ходячему кодексу о „жизни“, надлежитъ продѣлать, чтобы имѣть право сказать: я жуировалъ, и слѣдовательно жилъ. Я исполнилъ „buvons“—ибо ни одного дня не ложился спать трезвымъ; я исполнилъ „chantons et dansons“—ибо стоически выдержалъ цѣлыхъ десять представленій „avec le concours de m-lle Sneider“; наконецъ, я не могу сказать, чтобы не было въ продолженіе этого времени кое-чего и по части „aimons“... А въ результатѣ все-таки, долженъ сознаться, что не только „жизни“, но даже и жуировки тутъ не было никакой. Мало того: по окончаніи всего этого жизненнаго процесса я испытываю какое-то удивительно странное чувство. Мнѣ сдается, что все это время я провелъ въ одиночномъ заключеніи!

И дѣйствительно, это было не болѣе какъ одиночное заключеніе, только въ особенной, своеобразной формѣ. Провести въ продолженіе двухъ недѣль всѣ сознательные часы въ устричной залѣ Елисеева, среди кадыковъ и иконописныхъ людей—развѣ это не одиночное заключеніе? Провести остальные десять дней въ обществѣ дѣйствительныхъ статскихъ кокодессовъ, лицомъ къ лицу съ несомнѣннѣйшею чепухой, въ видѣ „Le sabre de mon père“, съ чепухой безъ начала, безъ конца, безъ середки—развѣ это не одиночное заключеніе? Ежели первый признакъ, по которому мы сознаемъ себя живущими въ человѣческомъ обществѣ, есть живая человѣческая рѣчь, то развѣ я ощущалъ на себѣ ея дѣйствіе? Говоря по совѣсти, все, что я испытывалъ въ этомъ смыслѣ, ограничивалось слѣдующимъ: я безразличнымъ образомъ сотрясалъ воздухъ, я внималъ рѣчамъ безъ подлежащаго, безъ сказуемаго, безъ связки, и самъ произносилъ рѣчи безъ подлежащаго, безъ сказуемаго, безъ связки. „Вотъ кабы“, „ну, ужъ тогда бы“—вѣдь это такого рода словопренія, которыя я могъ бы совершенно удобно производить и въ одиночномъ заключеніи. Ужели же я безъ натяжки могу утверждать, что меня окружало дѣйствительно людское общество, когда въ моемъ времяпрепровожденіи не было даже внѣшнихъ признаковъ общественности? Нѣтъ, это были не болѣе, какъ люди стѣноподобные, обладающіе точно такими же собесѣдовательными средствами, какими обладаютъ и стѣны одиночнаго заключенія. Это было не общество въ дѣйствительномъ значеніи этого слова, а именно одиночное заключеніе, въ которое, вслѣдствіе упущенія начальства, ворвалось шампанское съ устрицами, съ пѣніемъ и танцами.

А между тѣмъ кодексъ, формулирующій жизнь словами: buvons, dansons, chantons et aimons — сочиненъ не нами. Онъ существуетъ издревле, и цѣлыя поколѣнія довольствовались имъ, не думая ни о чемъ другомъ и не желая ничего больше. Отчего же онъ опротивѣлъ мнѣ въ двадцать-четыре дня, а достославнымъ моимъ предкамъ казался лучше всякаго эдема? Отчего мои пращуры могли всю жизнь, безъ всякаго ущерба, предаваться культу „buvons“, а я не могу выдержать мѣсяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличили меня въ нетрезвомъ поведеніи,

чтобы мнѣ самому, наконецъ, моя собственная персона не сдѣлалась до нѣкоторой степени противною? Отчего дѣдушка Матвѣй Иванычъ, передъ которымъ дѣвка Палашка каждый вечеръ, изо дня въ день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучалъ ея жидкимъ репертуаромъ, но такъ и умеръ не насладившись имъ до сыта, а я, несмотря на то, что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, въ какихъ-нибудь десять дней ощутилъ такую сытость, что хоть повѣситься?

Я живо помню дѣдушку Матвѣя Иваныча. Это былъ старикъ высокій, широкоплечій, бодрый, сильный, румяный. Онъ вставалъ рано, никогда не нѣжился и не потягивался, но сразу одѣвался, выливалъ на голову кувшинъ холодной воды, выпивалъ красоулю и отправлялся въ отъѣзжее поле. Тамъ, въ промежуткахъ полеванія, выпивалось до пропасти, и основаніемъ выпивки всегда служилъ спиртъ. Очевидно, тутъ было отъ чего ошалѣть самому крѣпкому организму, но старикъ возвращался домой не только безъ всякихъ признаковъ пресыщенія, но съ явнымъ намѣреніемъ выпить до пропасти и за обѣдомъ. Послѣ обѣда онъ задавалъ выхрапку, продолжавшуюся часа три, потомъ выпивалъ „дессертную“, выслушивалъ старосту и отправлялся въ залъ. Тамъ его ожидали сѣнныя дѣвушки, съ дѣвкой Палашкой во главѣ, и начиналось неперестающее потрясеніе бедрами, все въ одномъ и томъ же тонѣ, съ однѣми и тѣми же прибаутками, нынѣче какъ вчера. Какъ страстный любитель потрясаній, дѣдушка, разумѣется, не могъ ни устоять, ни усидѣть, и потому притопывалъ, приплясывалъ, жаловалъ по рюмкѣ, самъ выпивалъ по двѣ и проводилъ такимъ образомъ время до ужина. За ужиномъ онъ велъ пристойный разговоръ съ гостями, если таковые наѣзжали, или съ домашними, если гостей не было, и выпивалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы имѣть возможность сейчасъ же заснуть и отнюдь не видѣть никакихъ сновъ. И разсчетъ никогда не обманывалъ его; онъ безмятежно засыпалъ вплоть до утра, съ наступленіемъ котораго вновь повторялся вчерашній день съ тою же выпивкой, съ тѣмъ же отъѣзжимъ полемъ и тѣми же потрясаніями.

А дяденька у меня былъ, такъ у него во всякой комнатѣ было по шкапику, и во всякомъ шкапикѣ по графинчику, такъ что все времяпровожденіе его заключалось въ томъ: въ одной комнатѣ походитъ и выпьетъ, потомъ въ другой походитъ и выпьетъ, покуда не обойдетъ весь домъ. И ни малѣйшей скуки, ни малѣйшаго недовольства жизнью!

Десятки лѣтъ проходили въ этомъ однообразіи, и никто не замѣчалъ, что это —однообразіе, никто не жаловался ни на пресыщеніе, ни на головную боль! Въ баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвленія, а для того, чтобы испытать, какой вкусъ имѣетъ вино, когда его пьетъ человѣкъ совершенно нагой и окруженный цѣлымъ облакомъ горячаго пара.

Положимъ, что въ былое время, какъ говорятъ, на Руси рождались богатыри, которымъ ни почемъ было выпить штофъ водки, согнуть подкову, переломить цѣлковый; но вѣдь дѣло не въ томъ, что человѣкъ имѣлъ возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а въ томъ, какъ онъ могъ не лопнуть отъ скуки?

А мнѣ вотъ скучно. Я пью у Елисеева вино первый сортъ, а мнѣ ка-

жется, что есть и еще какое-то вино, которое представляетъ собою уже самый первый сортъ, и мнѣ его не даютъ; я смотрю на Шнейдершу, а мнѣ кажется, что есть еще какая-то оберъ-Шнейдерша, и что вотъ если бы эту оберъ-Шнейдершу посмотрѣть, такъ это точно... Гдѣ бы я ни находился, вездѣ меня угнетаетъ мысль, что есть еще нѣчто, что̀ необходимо бы заполучить, но въ чемъ состоитъ это нѣчто—вотъ этого-то именно я формулировать и не могу. Я процвѣталъ подъ сѣнью рязанско-козловско-тамбовско-саратовскаго клуба — и изнемогалъ отъ скуки; я наслаждался рѣчами земскихъ авгуровъ — и изнемогалъ отъ скуки; наконецъ я пріѣхалъ въ Петербургъ—и опять изнемогаю отъ скуки. Вездѣ чего-то недостаетъ, какъ будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и пѣсни не настоящія, и любовь не настоящая, и авгуры не настоящіе, и ихъ рѣчи не настоящія. Словомъ сказать, жизнь идетъ словно плохое театральное представленіе. Какъ будто вотъ наняли актеровъ изъ Александринки и сказали имъ: представляйте комедію. Ну, они и вьютъ во снѣ веревки за приличное вознагражденіе.

Отчего дѣдушка Матвѣй Иванычъ могъ жуировать такъ, что эта жуировка не приводила его къ мизантропіи, а я, его потомокъ, не могу вкусить ни отъ какого плода безъ того, чтобъ этотъ плодъ тотчасъ же не показался мнѣ пресным до отвращенія? Оттого ли, что въ развеселое житье Матвѣя Иваныча входилъ какой-нибудь особый, намъ неизвѣстный элементъ, котораго теперь не существуетъ, и который даже однообразію сообщалъ извѣстнаго рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, лучше и развитѣе нашего пращура, что нашъ кругозоръ нѣсколько шире, и что, вслѣдствіе этого, мы не можемъ удовлетворяться тѣми дешевыми наслажденіями, которыя тѣшили нашихъ предковъ?

Вопросы эти какъ-то невольно пришли мнѣ на мысль во время моего вытрезвленія отъ похожденій съ дѣйствительными статскими кокодессами. А такъ какъ впредь до окончательнаго приведенія въ порядокъ желудка дѣлать мнѣ рѣшительно было нечего, то они меня заняли до такой степени, что я цѣлый вечеръ лежалъ на диванѣ и все думалъ, все думалъ. И долженъ сознаться, что результаты этихъ думъ были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттѣнять внѣшнее однообразіе жизни дѣдушки Матвѣя Иваныча, были слѣдующіе: во-первыхъ, дворянскій интересъ, во-вторыхъ, сознаніе властности, въ-третьихъ, интересъ сельско-хозяйственный, въ-четвертыхъ, моціонъ. Постараюсь разъяснить здѣсь, какую роль играли эти элементы въ томъ общемъ тонѣ жизни, который на принятомъ тогда языкѣ назывался жуированіемъ.

Что̀ ни говорите о дворянскомъ интересѣ, но онъ существовалъ. Содержаніе этого явленія было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось такъ легко), но что самое явленіе имѣло очень реальное существованіе —въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Еще на нашей памяти дворянскія собранія были шумны и многолюдны, и хотя предметомъ ихъ было охраненіе только одного единственнаго права, но это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что̀ къ нему ни прикасалось, что само по себѣ представляло, такъ сказать, цѣлый пантеонъ правъ. Говорятъ, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать

противъ этого. Но я веду рѣчь не о достоинствахъ права, а о томъ, въ какой мѣрѣ оно могло служить подспорьемъ для жизни. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ не даромъ не пропускалъ ни одного собранія, не даромъ, періодически черезъ каждые три года, бушевалъ въ губернскомъ городѣ. Бушеваніе было для него не цѣлью, а символомъ. Онъ сознавалъ себя представителемъ *своего* права, и по случаю этого права предавался всякаго рода необузданностямъ, съ полною увѣренностью, что онѣ пройдутъ для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятія, которыя шли рядомъ и взаимно другъ друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себѣ, а безнаказанность усложняла получаемое отъ необузданности удовольствіе и придавала ему нѣкоторую пикантность. Посмотрите: всѣ люди ходятъ опасно и жмутся къ сторонѣ, а дѣдушка Матвѣй Иванычъ одинъ во всякое время мчится вихремъ по улицамъ, разбиваетъ на голову полицію и бьетъ въ трактирахъ посуду! Какъ хотите, а такое обладаніе монополіей необузданности не могло не льстить чувству человѣка, не обладавшаго особенно утонченнымъ развитіемъ...

Сами по себѣ взятыя, такого рода удовольствія, даже въ глазахъ очень грубыхъ людей, не могли казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное ихъ повтореніе повергло бы даже дѣдушку въ такое же уныніе, какъ и меня, если бы тутъ не было подстрекающей мысли о какихъ-то якобы правахъ. Но въ томъ-то и дѣло, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждомъ шагу, напоминала о себѣ ежеминутно. Извѣстно, что наши предводители дворянства считали своимъ долгомъ пикироваться съ губернаторами и даже, по временамъ, подставлять имъ ножки. Еслибъ кто-нибудь взялъ на себя трудъ обстоятельно написать исторію этихъ пикировокъ, вышла бы очень интересная исторія, изъ которой всякій увидѣлъ бы, что это былъ просто глупый обычай, по поводу котораго можно только развести руками. Обѣ стороны лаяли въ буквальномъ смыслѣ этого слова, лаяли безсознательно, безпричинно, просто потому, что изстари такъ ужъ заведено. Но вѣдь дѣло не въ томъ, глупо или умно было содержаніе пикировки, а въ томъ, что вотъ ни одинъ курицынъ сынъ не смѣетъ ее производить, а я, имя рекъ, произвожу — и горя мнѣ мало. Конечно, и это опять-таки вносило въ жизнь нашихъ пращуровъ глупость сугубую, но такъ-какъ это была глупость предвзятая, то она невольнымъ образомъ получала всѣ свойства убѣжденія. Что̀ можетъ быть глупѣе, какъ сдернуть скатерть съ вполнѣ сервированнаго стола, и тѣмъ не менѣе для человѣка, занимающагося подобными дѣлами, это не просто глупость, а молодечество и даже, въ нѣкоторомъ родѣ, рыцарскій подвигъ, въ основѣ котораго лежитъ убѣжденіе: *другіе* мимо этого самаго стола пробираются бокомъ, а *я* подхожу и прямо сдергиваю съ него скатерть! Такимъ образомъ, натѣшившись вдоволь въ губерніи, то-есть огласивши неслыханнымъ крикомъ собраніе и неслыханнымъ пьянствомъ гостинницы, напикировавшись съ губернаторомъ и киявши подачку прочимъ чинамъ, наши пращуры возвращались въ свои дворянскія гнѣзда и предавались тамъ дворянскимъ удовольствіямъ. Удовольствія эти подробно указаны выше, при описаніи дня дѣдушки Матвѣя Иваныча, и несложность ихъ очевидна для всякаго. Но, несмотря на эту несложность, мысль,

что онѣ дворянскія, играла роль масла, питающаго огонь. Человѣкъ вращался въ заколдованномъ кругѣ изо дня въ день на одинъ и тотъ же манеръ, но не падалъ духомъ и не роптalъ на судьбу, потому что былъ убѣжденъ, что вращаться такимъ образомъ — *его право* и въ то же время его долгъ. Да и однихъ ли пращуровъ нашихъ поддерживала подобная мысль при отбываніи скучнаго процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные пріемы, церемоніи и присѣданія, которыми кишитъ міръ, и вы убѣдитесь, что причина, вслѣдствіе которой они такъ упорно поддерживаются, не дѣлаясь постылыми для самихъ участвующихъ въ нихъ, заключается именно въ томъ, что въ основѣ ихъ непремѣнно лежитъ хоть подобіе какого-то представленія о правѣ и долгѣ.

Къ тому же наши пращуры въ упомянутомъ выше *своемъ правѣ* видѣли твердыню, и видѣли ее не безъ основанія. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ понималъ очень отчетливо, что ежели онъ твердъ въ вѣрѣ, то никто не только не тронетъ его, но и *не можетъ* тронуть. Онъ самъ сознавалъ себя твердыней, и кратковременные капризы его съ губернаторомъ были не больше, какъ обоюдное развлеченіе двухъ твердынь. А такъ-какъ послѣднему это было такъ же хорошо извѣстно, какъ и дѣдушкѣ, то онъ, конечно, остерегся бы сказать, какъ это дѣлается въ странахъ, гдѣ особыхъ твердынь по штату не полагается: „я васъ, милостивый государь, туда турну, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ!“ — потому что дѣдушка на такой репримандъ, нимало не сумнясь, отвѣтилъ бы: „вы не осмѣлитесь это сдѣлать, ибо я самъ государя моего отставной подпоручикъ!“ И губернаторъ навѣрное прикусилъ бы языкъ, потому что дѣдушкина твердость въ вѣрѣ была такова, что вошла даже въ пословицу. Припомнимъ, что въ ту пору не было ни эмансипацій, ни вольнаго труда, ни вольной продажи вина и вообще ничего такого, что̀ поселяетъ въ человѣческой совѣсти разладъ и зарождаетъ въ человѣкѣ печальныя думы о коловратности счастія. А коль скоро нѣтъ въ жизни разлада, то человѣкъ, даже безъ всякаго давленія фанатизма, имѣетъ вѣру сильную и стремительную. Онъ смотритъ въ одну точку, около которой располагаетъ и всѣ прочія подробности жизни. А такъ какъ эта точка не только существовала для нашихъ пращуровъ, но и составляла совершеннѣйшій пантеонъ, то человѣку, убѣжденному, что онъ находится въ самомъ центрѣ храма славы, весьма естественно было примиряться съ нѣкоторыми его недостатками, заключавшимися въ однообразіи предоставляемыхъ имъ наслажденій. И отъѣзжее поле, и потрясающая бедрами дѣвка Палашка, и даже хожденіе по комнатамъ, украшеннымъ шкапиками съ графинчиками — все это выносилось безропотно, потому что во всемъ этомъ видѣлся символъ, за которымъ пряталась идея о *правѣ* и *долгѣ*.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, никакихъ подобнаго рода интересовъ не имѣемъ. Мы какъ-то вдругъ опѣшили и убѣдились, что у насъ отъ *нашего* права не осталось ни капельки. Собранія наши малолюдны: мы не пикируемся, потому что пикироваться на манеръ пращуровъ не имѣемъ уже повода, а какимъ образомъ пикироваться на новый манеръ — еще не придумали. Съ другой стороны, мы не срываемъ скатертей съ сервированныхъ столовъ и не услаждаемся потрясаніями доморощенныхъ Палашекъ, потому что это слишкомъ дорого стоитъ. Для того, чтобы имѣть хоть призракъ тѣхъ

удовольствій, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ѣхать въ Петербургъ, и тамъ, въ складчину, по два рубля съ рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но вѣдь Шнейдерша—достояніе общее, а при общедоступности доставляемаго ею удовольствія кто же изъ насъ можетъ сказать: это *моя* Шнейдерша! какъ, бывало, говаривалъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ: „это моя Палашка“? А въ возможности подобныхъ-то восклицаній и заключается тайна живучести тѣхъ несложныхъ удовольствій, которыя составляютъ удѣлъ нашъ. Вникните въ смыслъ этого восклицанія, вслушайтесь въ тонъ, которымъ оно сказано — и вы убѣдитесь, что тутъ звучитъ нѣчто больше, нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка была для дѣдушки не просто Палашкой, а олицетвореніемъ *его права*; что онъ, услаждая свой взоръ ея потрясаніями, пріобрѣталъ не на два рубля съ рыла удовольствія, а сознавалъ удовлетвореннымъ свое чувство дворянина. А мы что? Мы даже m-lle Филиппо не можемъ заставить спѣть „L'amour — ce n'est que cela“, ежели этой пѣсенки не значится въ афишахъ. Да если бы и имѣли возможность заставить—что же потомъ? Или, быть можетъ, есть у насъ, кромѣ m-lle Филиппо и ея пѣсенокъ, и другіе какіе-нибудь интересы, какъ напримѣръ: ужинъ съ шампанскимъ у Дюссо, устрицы съ шампанскимъ у Елисеева и нумеръ въ гостинницѣ для отдохновенія отъ пьяно-проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигдѣ не можемъ найти себѣ мѣста. Мы не выработали ни новыхъ интересовъ, ни новыхъ способовъ жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что при такомъ положеніи вещей не помогутъ намъ никакія кривлянія, хотя бы они производились даже съ талантливостью m-lle Schneider.

Вторымъ оттѣняющимъ жизнь элементомъ было сознаніе властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себѣ безсребренника квартальнаго надзирателя, обяжите его съ утра до вечера распоряжаться на базарѣ и оставьте при немъ только сладкое сознаніе исполненныхъ обязанностей. Навѣрное онъ въ самый короткій срокъ выйдетъ въ отставку. „Помилуйте, скажетъ, изъ-за чего тутъ биться! и грошей не сбирать, да еще какія-то обязанности наблюдать! развѣ съ ними, чертями, такъ можно!“ Но скажите тому же квартальному: „другъ мой! на тебя возложены важныя и скучныя обязанности, но для того, чтобы исполненіе ихъ не было слишкомъ противно, дается тебѣ въ руки власть“—и вы увидите, какъ онъ воспрянетъ духомъ и какихъ надѣлаетъ чудесъ! Увы! какъ ни мало-плодотворно занятіе, формулируемое выраженіемъ „гнуть въ баранiй рогъ“, но при отсутствіи другихъ занятій, при отчаянномъ однообразіи общаго тона жизни, и оно освѣжаетъ. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ говаривалъ: „когда я иду, то земля подо мной дрожитъ“—и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человѣка, но это была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ея нѣтъ ни малѣйшаго основанія.

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,

—сказалъ поэтъ, а дѣдушка мой, съ своей стороны, могъ прибавить: „есть на-

слажденіе и въ сѣченіи", разумѣя подъ этимъ, впрочемъ, не самый процессъ сѣченія, а принципъ его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаемъ такого рода наслажденія, но такъ какъ они существовали на нашей памяти, то понимать ихъ, все-таки, можемъ. Если мы въ настоящее время и сознаемъ, что желаніе властвовать надъ ближними есть признакъ умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознаніе это пришло къ намъ путемъ только теоретическимъ, а подоплека наша и теперь врядъ-ли далеко ушла отъ этой грубости. Всякій вслухъ глумится надъ позывами властности, но всякій же про себя держитъ такую рѣчь: „а вѣдь, еслибъ только пустили, какого-бы я звону задалъ!" Я думаю даже, что бо́льшая часть нашихъ горестей отъ того происходитъ, что намъ не надъ кѣмъ и не надъ чѣмъ повластвовать. А дѣдушкѣ Матвѣю Иванычу было надъ чѣмъ и надъ кѣмъ повластвовать, и онъ понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесницѣ и не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотритъ онъ, напримѣръ, на дѣвку Палашку, какъ она коверкается, и въ то же время если не формулируетъ, то всѣмъ существомъ сознаетъ: „я съ этой Палашкой что́ хочу, то и сдѣлаю: захочу — косу обстригу, захочу — за Антипку-пастуха замужъ выдамъ.

— Палашка! хочешь за пастуха Антипку замужъ!

— Помилуйте, баринъ! чѣмъ же я провинилась? кажется, стараюсь!

— А ну, Христосъ съ тобою, пляши!

И Палашка ожесточеннѣе прежняго упирала руки въ боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дѣдушка посматривалъ на ея плясательные пароксизмы и думалъ про себя: „однако важно я ее, поганку, напугалъ!"

И такимъ образомъ въ общее однообразіе жизни прокрадывалась новая стихія, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, лишены даже такого сорта оживляющихъ эпизодовъ.

— *Мы курицъ не можемъ сдѣлать зла*! ma parole!—говорилъ мнѣ на дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:—объясни же мнѣ, ради Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?

И я ничего не могъ ни выразить, ни объяснить, ибо знаю, что, по утвердившемуся на улицѣ понятію, обладаніе властью дѣйствительно равносильно возможности гнуть въ бараній рогъ, и что въ этомъ смыслѣ мы точно никакой власти не имѣемъ. Или, быть можетъ, мы имѣемъ ее въ какомъ-нибудь другомъ смыслѣ?.. Risum teneatis, amici!

Но если такое убѣжденіе объ утраченной властности уже укоренилось въ насъ, то, очевидно, намъ остается нести иго жизни безъ всякаго сознанія, что мы что-нибудь можемъ, и, напротивъ того, съ полнымъ и горькимъ сознаніемъ, что съ нами все совершить можно. Мы такъ и поступаемъ. Конечно, съ нашей стороны это очень большая добродѣтель, и мы имѣемъ-таки право утѣшать себя мыслью, что дальше отъ властности — дальше отъ зла; но вѣдь вопросъ не о тѣхъ добродѣтеляхъ, которыя отрицательнымъ путемъ очень легко достаются, а о той скукѣ, о тѣхъ жизненныхъ неудобствахъ, которыя составляютъ естественное послѣдствіе всякой страдательной добродѣтели. У меня былъ очень добродѣтельный дяденька, который служилъ засѣдателемъ въ судѣ и которому именно за добродѣтель его было велѣно подать въ

отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только самъ дяденька, но и всѣ родные были въ неописанномъ волненіи.

— Мухи не обидѣлъ! — говорилъ дяденька.

— Мухи не обидѣлъ! — восклицали родные.

— Мухи не обидѣлъ! — шептались между собой дворовые.

— Мухи не обидѣлъ! — разсуждали дяденькины сослуживцы.

Это было, дѣйствительно, сладкое сознаніе; но кончилось дѣло, все-таки, тѣмъ, что дяденька же долженъ былъ всѣхъ приходившихъ къ нему съ выраженіями сочувствія угощать водкой и пирогомъ. Такъ и умеръ съ сладкою увѣренностью, что не обидѣлъ мухи и что за это. именно за это долженъ былъ выйти въ отставку.

Не то же ли явленіе повторяется теперь надо мною? Дѣдушка Матвѣй Иванычъ обидѣлъ многихъ—и жилъ! Я, его внукъ, клянусь честью, именно мухи не обидѣлъ — и чувствую собя находящимся отъ жизни въ отставкѣ! За что?

За что? вникните въ этотъ вопросъ: вспомните, что его повторяютъ многія тысячи людей, и разсудите, каковы должны быть люди, у которыхъ не выработалось никакихъ другихъ вопросовъ, кромѣ: за что?

Третье подспорье—интересъ сельско-хозяйственный. Надобно сознаться, что интересъ этотъ во времена дѣдушки былъ обставленъ очень рутинно и самъ по себѣ занималъ нашихъ предковъ весьма умѣренно. Но они самими условіями жизни были поставлены въ центрѣ хозяйственной сутолоки, и потому волею-неволею не могли оставаться ей чуждыми. Не было рѣчи ни объ улучшеніяхъ, ни о преимуществахъ той или другой системы, ни о замѣнѣ человѣческаго труда машиннымъ (объ исключеніяхъ, разумѣется, я не говорю), но была безконечная ходьба. неумолкаемое галдѣніе, понуканіе и помыканіе во всѣхъ видахъ и наконецъ та надоѣдливая придирчивость, которая положила основаніе пословицѣ: свой глазокъ-смотрокъ. Этотъ „глазокъ-смотрокъ“ очень мало видѣлъ, но смотрѣлъ, дѣйствительно, много, и этого было достаточно, чтобъ наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали въ собственномъ смыслѣ этого слова, а „спрашивали“. Дѣдушка Матвѣй Иванычъ такъ разсуждалъ: распорядиться работами — дѣло приказчика и старосты, а мое дѣло — съ нихъ „спросить“. И дѣйствительно, „спрашивалъ“ много, хотя въ этомъ „спрашиваньи“ первое мѣсто, конечно, занимала случайность. Поѣдетъ, бывало, дѣдушка въ бѣговыхъ дрожкахъ на пашню, наѣдетъ на пропашку или на комъ нетронутой бороной земли — и „спроситъ“. Пойдетъ на гумно, захватитъ въ горсть мякины, усмотритъ въ ней невывѣянныя зерна — и опять „спроситъ“. Все въ этомъ *хозяйничаньи* основывалось на случайности, на томъ, что дѣдушка захватывалъ ту, а не другую горсть мякины; но эта случайность составляла одинъ изъ тѣхъ жизненныхъ эпизодовъ, совокупность которыхъ заставляла говорить: въ сельскомъ хозяйствѣ вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дѣло, что только на минутку ты отъ него отвернись, такъ оно тебя рублемъ по карману наказало. Допустимъ, что это было самообольщеніе, но вѣдь вопросъ не въ томъ, правильно или неправильно смотритъ человѣкъ на дѣло своей жизни, а въ томъ, есть ли у него хотя какое-

нибудь дѣло, около котораго онъ можетъ держаться. Дѣдушка, напримѣръ, слылъ однимъ изъ лучшихъ хозяевъ въ губерніи, а между тѣмъ я положительно знаю, что онъ ни бельмеса не смыслилъ въ хозяйствѣ, то-есть пахалъ и сѣялъ тамъ (земли-дескать вдоволь, рабочія руки даромъ — все же хоть полтора зерна да уродится!), гдѣ нынѣче ни одинъ человѣкъ со смысломъ пахать и сѣять не станетъ. Но онъ умѣлъ „спрашивать", и въ этомъ заключалась вся тайна его репутаціи. И эта потребность „спрашивать" не сосредоточивалась на одномъ хозяйствѣ, но преслѣдовала его всюду, окрашивала всю остальную его дѣятельность, сообщая ей характеръ неумолкающей суеты. Онъ вездѣ „спрашивалъ", вездѣ являлъ себя энциклопедистомъ. И хоть эта суета, въ концѣ концовъ, не созидала и сотой доли того, что̀ она могла бы создать, еслибы была примѣнена болѣе осмысленнымъ образомъ, но она помогала жить и до извѣстной степени оттѣняла ту вещь, которая извѣстна подъ именемъ жуировки и которую—безъ этихъ вспомогательныхъ средствъ—слѣдовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Иваныча, рѣшительно никакихъ хозяйственныхъ интересовъ не имѣемъ. Зачѣмъ, спрашиваю я васъ, пойду я на пашню или на гумно? Съ кого я „спрошу"? А вѣдь и у меня, точно такъ же, какъ и у дѣдушки, кромѣ „спрашиванья", никакихъ другихъ распорядительныхъ средствъ по части сельскаго хозяйства не имѣется. Поэтому, если мнѣ и случается какъ-нибудь заблудиться на гумнѣ, то я отнюдь не позволяю себѣ прикоснуться ни къ мякинѣ, ни къ провѣянному зерну. Къ чему? вѣдь это любопытство только растравитъ мои раны! И заочно я совершенно увѣренъ, что провѣянное зерно содержитъ въ себѣ на половину мякины, а, напротивъ, мякина содержитъ на половину невывѣяннаго зерна—зачѣмъ же я буду удостовѣряться въ этомъ? Лучше я буду сидѣть и вздыхать. Вздыхать—это мое право, и я тѣмъ съ бо̀льшимъ увлеченіемъ пользуюсь имъ, что это единственное право, которое я самъ выработалъ и котораго никто у меня не отниметъ. Въ самомъ дѣлѣ, не обидно ли: я не только не меньше дѣдушки знаю толкъ въ сельскомъ хозяйствѣ, но даже нѣсколько больше, а между тѣмъ дѣдушка ежегодно ставилъ цѣлый городъ скирдовъ, а у меня на гумнѣ всего два скирдочка стоятъ, да и тѣ какіе-то растрепанные и накренившіеся на бокъ. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что какъ у меня, такъ и у дѣдушки, главное основаніе сельско-хозяйственныхъ распоряженій, все-таки, не что иное, какъ система „спрашиванія", съ тою лишь разницей, что дѣдушка могъ „спрашивать", а я не могу. Слѣдовательно мнѣ и хозяйничать нечего, а надлежитъ все бросить и какъ можно скорѣе ѣхать въ столичный городъ Петербургъ и тамъ наслаждаться пѣніемъ дѣвицы Филиппо̀, проглатываніемъ у Елисеева устрицъ и истребленіемъ шампанскихъ винъ у Дюссо до тѣхъ поръ, пока глаза не сдѣлаются налитыми и вполнѣ круглыми.

Затѣмъ четвертый оттѣняющій жизнь элементъ—моціонъ... Но права на моціонъ, повидимому, и мы не утратили, а потому я и оставляю этотъ вопросъ безъ разсмотрѣнія. Не могу, однакожъ, не замѣтить, что и этимъ правомъ мы пользуемся до крайности умѣренно, потому что, собственно говоря, и ходить намъ некуда и незачѣмъ, просто же идти куда глаза глядятъ—все еще какъ-то совѣстно.

Такимъ образомъ, вопросъ, отчего насъ такъ скоро утомляютъ тѣ несложныя удовольствія, которыя нимало не пресыщали нашихъ предковъ, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольнымъ образомъ спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологію добраго стараго времени, апологію тѣхъ патріархальныхъ отношеній, которыя такъ картинно выражались въ крѣпостномъ правѣ?

Не пугайся, однакожъ, о, слишкомъ либеральный читатель! Рѣчь идетъ вовсе не о томъ. Жаль не крѣпостного права, а жаль того, что право это, несмотря на его упраздненіе, еще живетъ въ сердцахъ нашихъ. Отрѣшившись отъ него внѣшнимъ образомъ, мы не выработали себѣ ни бодрости, составляющей первый признакъ освобожденнаго отъ путъ человѣка, ни новыхъ взглядовъ на жизнь, ни болѣе притязательныхъ требованій къ ней, ни новаго права, а просто-на-просто успокоились на одномъ формальномъ признаніи факта упраздненія. Развѣ этимъ все сказано? Развѣ это конецъ, а не начало?

Затѣмъ я представляю каждому по собственному усмотрѣнію разрѣшить второй изъ поставленныхъ выше вопросовъ: насколько мы лучше нашихъ пращуровъ и насколько съумѣли расширить нашъ кругозоръ? Я же, съ своей стороны, могу разрѣшить этотъ вопросъ лишь слѣдующимъ образомъ:

Да, мы лучше нашихъ пращуровъ. Но лучше не сами по себѣ, а потому что мы отцы дѣтей нашихъ, которыя несомнѣнно будутъ лучше и нашихъ пращуровъ, и насъ.

Совершенно свѣжій и трезвый, я вышелъ на улицу съ твердымъ намѣреніемъ идти на всѣ четыре стороны, какъ при самомъ выходѣ, на крыльцѣ, меня застигъ Прокопъ.

— Такъ вотъ онъ гдѣ!—загремѣлъ онъ своимъ лающимъ голосомъ:— ну, батюшка, задали вы намъ задачу!

Признаюсь, при звукѣ этого голоса я струсилъ. Вотъ, думаю, сейчасъ схватитъ онъ меня въ охапку и опять потащитъ къ Елисееву!

— Мы думали, что онъ тихимъ манеромъ концессію выслѣживаетъ, а онъ, прошу покорно, Шнейдершу изучаетъ! Видѣли, батюшка, видѣли!

— Да, кстати... а ваши дѣла по концессіи?

— Ну ихъ!

Прокопъ вдругъ заволновался, и нѣсколько секундъ я думалъ, что у него отъ гнѣва сперло въ зобу дыханіе.

— Нѣтъ, вы представьте себѣ, какая со мной штука случилась!—воскликнулъ онъ наконецъ:—все дѣло ужъ было на мази, и денегъ я съ три пропасти разсорилъ, вдругъ — хлопъ рѣшеніе: вести отъ Изюма дорогу несвоевременно! Это отъ Изюма!

— Гм... да... Изюмъ... это...

— Одно слово: Изюмъ! Только назови—всякій пойметъ! Да вѣдь кому у насъ понимать-то? вы вотъ что мнѣ скажите! Кому понимать-то?

Я чувствовалъ, что вотъ-вотъ Прокопъ сейчасъ ударится въ либерализмъ, и какъ-то инстинктивно пролепеталъ:—Prenez garde... on peut nous entendre...

— Ну ихъ! боюсь я ихъ, что-ли! По мнѣ, хоть сколько хочешь подслушивай! Такъ вотъ, сударь, какія дѣла у насъ дѣлаются!

— Ну, и что жъ теперь?

— Теперь я другую линію повелъ. Желѣзнодорожную-то часть бросилъ. Я свое дѣло сдѣлалъ, указалъ на Изюмъ—нельзя?—стало быть, куда хочешь, хоть къ чорту-дьяволу дорогу веди—мое дѣло теперь сторона! А я нынѣче по административной части гусара запустилъ. Хочу въ губернаторы. Съ такими, скажу вамъ, людьми знакомство свелъ—отдай все да и мало!

— А что?

— Да ужъ шабашъ! Одно скверно—скучно очень, да и водки не подаютъ. Не хотите ли, я васъ сегодня вечеромъ представлю? Сегодня въ одномъ мѣстѣ проектъ „объ уничтоженіи“ читать будутъ.

— Объ уничтоженіи чего же?

— Ну... чего? разумѣется, всего. И мировые суды чтобъ уничтожить, и окружные суды чтобы по боку, и земство по шапкѣ. Словомъ сказать, чтобы ширь да высь—и больше ничего!

— Что вы! да вѣдь это цѣлая революція!

— А вы какъ объ этомъ полагали? Мы вѣдь не нѣмцы, по маленьку не любимъ! Вонъ головорѣзы-то—слышали, чай?—милліонъ триста тысячъ головъ требуютъ, ну, а мы, имъ въ пику, сорокъ милліоновъ поясницъ заполучить желаемъ.

Прокопъ, сказавъ это, залился добродушнѣйшимъ смѣхомъ. Этотъ смѣхъ —именно драгоцѣннѣйшее качество, за которое рѣшительно нѣтъ возможности не примириться съ нашими кадыками. Не могутъ они злокознствовать серьезно—сейчасъ же сами свои козни на смѣхъ поднимутъ. А если который и начнетъ серьезничать, то навѣрное такую глупость сморозитъ, что тутъ же его въ шуты произведутъ, и пойдетъ онъ ходить всю жизнь съ надписью: „гороховый шутъ“.

— Однако это любопытно!

— Еще какъ любопытно-то, умора! Нынѣче прожекты-то эти въ модѣ: всѣ пишутъ. Одинъ пишетъ о сокращеніи, другой—о расширеніи. Недавно одинъ изъ нашихъ даже прожектъ о разстрѣлянии прислалъ—право!

— И что жъ?

— На виду! Говорятъ: горяченько немного, однако кой-чѣмъ позаимствоваться можно.

— Стало-быть и вы...

— Еще бы. И я прожектъ о расточеніи написалъ. Вѣдь и мнѣ, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось въ одномъ мѣстѣ—пробую въ другомъ. Тамъ побываю, въ другомъ мѣстѣ прислушаюсь — смотришь, анъ по маленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынѣче по очереди каждодневно въ семи домахъ бываю, и вездѣ только и дѣла дѣлаю, что прожекты объ уничтоженіи выслушиваю.

Говоря такимъ образомъ, мы вышли на Невскій проспектъ и поровнялись съ Доминикомъ.

— Зайти развѣ?—пригласилъ Прокопъ:—вѣдь я съ тѣхъ поръ, какъ изюмскую-то линію порѣшили, къ Елисееву—ни-ни! Ну его! А Доминика

я вамъ доложу, кулебяки на гривенникъ съѣшь да огня на гривенникъ проглотишь — и правъ! Только вотъ мерзлаго сига въ кулебяку кладутъ — это скверно!

— Признаюсь, не хотѣлось-бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова какъ-то...

— Да развѣ возможно не пить! Воть хоть бы то мѣсто, куда мы сегодня поѣдемъ, развѣ нашъ братъ можетъ тамъ хоть одинъ часъ пробыть, не подкрѣпившись зараньше? Скучища адская, а развлеченіе — одинъ чай. Кабы, кажется, не надежды мои на полученіе — ни одной минуты въ этомъ постыломъ мѣстѣ не остался бы!

Согласился. Съѣли по два куска кулебяки; выпили по двѣ рюмки водки.

— Да обѣдаемъ вмѣстѣ! Тутъ же, не выходя, и исполнимъ все, что долгъ повелѣваетъ! Скверно здѣсь кормятъ —это такъ. И масло горькое, и салфетки какія-то... особливо вонъ та, въ углу, что ножи обтираютъ... Ну, батюшка, да вѣдь за рубликъ—не прогнѣвайтесь!

Однимъ словомъ, день пошелъ своимъ чередомъ...

Вечеромъ Прокопъ заставилъ меня надѣть фракъ и бѣлый галстухъ, а въ десять часовъ мы уже были въ салонахъ князя Оболдуй-Тараканова.

Раутъ былъ въ полномъ разгарѣ; въ гостиной стоялъ говоръ; лакеи безшумно разносили чай и печенье. Насъ встрѣтилъ хозяинъ, который, послѣ первыхъ же рекомендательныхъ словъ Прокопа, произнесъ:

— Радъ-съ. Намъ, консерваторамъ, не мѣшаетъ какъ можно тѣснѣе стоять другъ около друга. Мы страдали изолированностью — и это насъ погубило. Наши противники сходились между собою, обмѣнивались мыслями — и въ этомъ обмѣнѣ нашли свою силу. Воспользуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю *всѣхъ*, лишь бы эти *всѣ* гармонировали съ моимъ образомъ мыслей; *всѣхъ*... vous concevez? Я впрочемъ надѣюсь, что вы консерваторъ?

Признаюсь, я такъ мало до сихъ поръ думалъ о томъ, консерваторъ я или прогрессистъ, что чуть-было не опѣшилъ передъ этимъ вопросомъ. Притомъ же фраза: „Я теперь принимаю *всѣхъ*“, какъ-то странно покоробила меня. „Вотъ,—мелькнуло у меня въ головѣ,—скотина! заискиваетъ, принимаетъ, и тутъ же считаетъ долгомъ дать почувствовать, что ты въ его глазахъ не больше, какъ — *всѣ*!“ Вотъ это-то собственно и называется у насъ „сближеніемъ“. Одинъ принимаетъ у себя другого, и думаетъ: „съ какимъ бы я наслажденіемъ вышвырнулъ тебя, курицына сына, за окно, кабы“... а другой сидитъ и тоже думаетъ: „съ какимъ бы я наслажденіемъ плюнулъ тебѣ, гнусному пыжику, въ лицо, кабы“... Представьте себѣ, что этого „кабы“ не существуетъ — какой обмѣнъ мыслей вдругъ произошелъ бы между собесѣдниками! Быть можетъ, соображенія мои пошли бы и дальше по этому направленію, но, къ счастью для меня, я встрѣтилъ строгій взоръ Прокопа и поспѣшилъ на скорую руку сказать:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

Затѣмъ послѣдовало представленіе княгинѣ и какому-то крошечному старичку (дядѣ хозяина), который сидѣлъ отдѣльно на длинномъ креслѣ и имѣлъ видъ черемисскаго божка, которому вымазали красною глиной щеки, и вмѣсто глазъ вставили можжевеловыя ягодки.

Картина, представлявшаяся моимъ глазамъ, была слѣдующаго рода. Хозяинъ постоянно былъ на ногахъ и переходилъ отъ одной группы бесѣдующихъ къ другой. Это былъ человѣкъ довольно высокій, тощій и совершенно прямой, но возраста его я и теперь опредѣлить не могу. Скорѣе всего, это былъ одинъ изъ тѣхъ людей безъ возраста, какихъ въ настоящее время встрѣчается довольно много и которые, едва покинувъ школьную скамью, уже смотрятъ государственными младенцами. Физіономія его имѣла что-то кислонадменное; рѣчь и движенія были сдержанны и какъ бы брезгливы. Очевидно, тутъ все держалось очень усиленною внѣшнею выправкой, скрывавшей то внутреннее недоумѣніе, которое обыкновенно отличаетъ людей раздраженныхъ и въ то же время неумѣющихъ себѣ ясно представить причину этого раздраженія. Подобнаго рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляетъ весьма значительное вспомогательное средство при составленіи карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидѣла за особымъ établissement, около котораго ютились какіе-то поношенные люди, имѣвшіе видъ государственныхъ семинаристовъ. Одинъ изъ нихъ объяснялъ на французскомъ діалектѣ вопросъ о соединеніи церквей, причемъ слегка касался и того, въ какомъ отношеніи должна находиться Россія къ догмату о папской непогрѣшимости. Тутъ же сидѣлъ французскій attaché, изъ породы брюнетовъ, который ѣлъ княгиню глазами и ждалъ только конца объясненій по церковнымъ вопросамъ, чтобы въ свою очередь объяснить княгинѣ мотивы, побудившіе императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидѣли и стояли группами въ три-четыре человѣка, и между ними я запримѣтилъ нѣсколько кадыковъ, которыхъ видѣлъ у Елиссева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. Въ слѣдующей комнатѣ мелькали женскія фигуры (то были сестры хозяина и ихъ подруги) въ перемежку съ безбородыми молодыми людьми, имѣвшими видъ ососовъ. По временамъ оттуда долеталъ сдержанный смѣхъ, обыкновенно сопровождающій такъ-называемыя невинныя игры. Я сталъ около дверей и увидѣлъ странное зрѣлище. По срединѣ комнаты стоялъ старикъ-французъ, который съ полупомѣшаннымъ видомъ декламировалъ:

Petit oiseau! qui es-tu?

И затѣмъ, отъ лица птички, отвѣчалъ, что она — l'envoyé du ciel, родилась dans les airs и т. д. Затѣмъ предлагалъ опять вопросъ:

Petit oiseau! où vas-tu?

И опять объяснялъ, что она летитъ, чтобы утѣшить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу, наполнить радостью сердце поэта, пропѣть узнику вѣсть о его возлюбленной и т. д.

Petit oiseau! que veux-tu?

— Charmant! — восклицала молодая особа: — monsieur Connot! mais recitez-nous donc quelque chose de „Zaïre"!

— „Zaïre", mesdames, — началъ мсьё Конно, становясь въ позу: — c'est, comme vous le savez, une des meilleures tragédies de Voltaire...

Но я уже не слушалъ далѣе. Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мнѣ показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тѣмъ не менѣе, я переломилъ себя и поспѣшилъ примкнуть къ группѣ, въ которой находился хозяинъ.

— Ваше мнѣніе, messieurs,—говорилъ онъ,—вотъ насущная потребность нашего времени; вы — люди земства; вы — дѣйствительная консервативная сила Россіи. Вы, наконецъ, стоите лицомъ къ лицу съ народомъ. Мы безъ васъ—selon l'aimable expression russe—ни взадъ, ни впередъ. Только теперь начинаетъ разъясняться, сколько бѣдствій могло бы быть устранено, если бы были выслушаны *лучшіе люди* Россіи!

— „Излюбленные", ваше сіятельство!—осклабился какой-то государственный семинаристъ.

— Именно „излюбленные"!—c'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' „izlioublenny", et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar!

— А что тамъ у насъ дѣлается, князь, кабы вы изволили видѣть — чудеса!—доложилъ почтительнымъ басомъ Прокопъ:—народъ споили, рабочихъ взять негдѣ, хозяйство побросали... Смотрѣть, ваше сіятельство, больно!

— Не отчаивайтесь... ne perdez pas courage! Русскій народъ добръ... au fond, notre peuple est excellent! Впрочемъ я уже давно все предвидѣлъ и изложилъ въ моей запискѣ объ „устраненіи"... Теперь я кончаю мой другой трудъ объ „уничтоженіи", который, я надѣюсь... Къ сожалѣнію, я не могу сегодня представить его на вашъ судъ, потому что недостаетъ нѣсколько штриховъ. Но у меня есть другой небольшой трудъ, который я, немного погодя, lorsque nous serons au complet, буду имѣть честь прочесть вамъ.

— Нѣтъ, вы скажите, ваше сіятельство, куда это насъ приведетъ?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую намъ всѣмъ: мы быстрыми, но твердыми шагами приближаемся... en un mot, nous dansons sur un volcan!

— Да еще на какомъ волканѣ-то, князь! Вѣдь это точь-въ-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи, а теперь даже всѣ вмѣстѣ! Конечно, вамъ отсюда этого не видно...

— Но поэтому-то мы и просимъ васъ, messieurs: выскажитесь! дайте услышать вашъ голосъ! Expliquez-nous le fin mot de la chose — et alors nous verrons... По крайней мѣрѣ я убѣжденъ, что еслибъ каждый помѣщикъ прислалъ свой проектъ... mais un tout petit projet!... согласитесь, что это не трудно! Вы какого объ этомъ мнѣнія?—внезапно обратился князь ко мнѣ...

— Mais oui! mais comment donc! un tout petit projet! Mais avec plaisir!—на скорую руку выговорилъ я, и вслѣдъ затѣмъ употребилъ очень ловкій маневръ, чтобы незамѣтнымъ образомъ отдѣлиться отъ этой группы и примкнуть къ другой.

— Куда мы идемъ?—слышалось въ этой другой группѣ:—къ чему приближаемся?

— И это та самая Россія, которая двадцать лѣтъ тому назадъ цвѣла! Pauvre chère patrie!

— Тогда каждый крестьянинъ по праздникамъ щи съ говядиной ѣлъ! пироги! А нынче! попробуйте-ка спросить, на сколько дворовъ одна корова приходится?

— Comment? Comment dites-vous? — послышался голосъ хозяина: — прежде мужики ѣли щи съ говядиной?.. vous en êtes bien sûr?

— Точно такъ, ваше сіятельство. Въ моемъ собственномъ имѣніи такъ было. А въ храмовые праздники даже утокъ рѣзали!

— Ссс... А теперь, вы говорите, одна корова на нѣсколько дворовъ?

— Это вѣрно-съ. Да что же тутъ мудренаго, ваше сіятельство! Сначала посредники, потомъ акцизные, потомъ судьи. Вѣдь это почти лихорадка-съ! вотъ вы недавно оттуда; какъ вы объ этомъ думаете?

— Я... что жъ... я, конечно... Mais oui! mais comment donc! mais certainement! — пробормоталъ я опять на скорую руку и тутъ же предпринялъ маневръ, чтобы какъ-нибудь примкнуть къ третьей группѣ.

— Народъ безъ религіи — все равно, что тѣло безъ души, — шамкалъ какой-то сѣдовласый младенецъ: — отнимите у человѣка душу, и тѣло перестаетъ фонксіонировать, дѣлается бездушнымъ трупомъ; точно такъ же, отнимите у народа религію — и онъ внезапно погрязаетъ въ пучинѣ апатіи. Онъ перестаетъ воздѣлывать поля, становится непочтителенъ къ старшимъ и въ своемъ высокомѣріи возвышаетъ заработную плату до такихъ размѣровъ, что предпринимателю ничего больше не остается, какъ оставить свои плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleurs!

— Куда мы идемъ? вотъ что вы объясните намъ!

— Безъ религіи, безъ авторитетовъ, безъ истиннаго знанія куда же можно придти, кромѣ... Но я не произношу этого страшнаго слова; я просто зажмуриваю глаза, и говорю: Dieu, qui mène toutes choses à bien, ne laissera pas périr notre chère et sainte Russie... нашу святую, православную Русь, messieurs!

Тутъ ужъ я самъ не выдержалъ и произнесъ:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

При этомъ перерывѣ сѣдовласый младенецъ посмотрѣлъ на меня такъ изумленно, какъ будто я оскорбилъ его. Взоръ его совершенно явственно говорилъ: qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son „comment donc“! Я вспомнилъ недавнія слова хозяина: „теперь мы принимаемъ *всѣхъ*“, и въ умѣ моемъ опять мелькнуло: „скотина!“ Нечего и говорить, что я сейчасъ же поспѣшилъ осчастливить своимъ присутствіемъ четвертую группу.

— Земледѣліе уничтожено, промышленность чуть-чуть дышетъ (прошедшимъ лѣтомъ, въ мою бытность въ уѣздномъ городѣ, мнѣ понадобилось пришить пуговицу къ пальто, и я буквально — à la lettre! — не нашелъ человѣка, который взялъ бы на себя эту операцію!), въ торговлѣ застой... скажите, куда мы идемъ?

Въ отвѣтъ слышатся вздохи.

— Я, впрочемъ, десять лѣтъ тому назадъ предвидѣлъ это. Я уже тогда всѣмъ и каждому говорилъ: messieurs! мы стоимъ у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шагъ — и мы будемъ на вершинѣ онаго!

— Mais oui! mais certainement! mais comment donc! — отвѣчаетъ кто-то за меня, покуда я маневрирую къ пятой группѣ.

— И чего церемонятся съ этою поскудною литературой! — слышится въ этой группѣ: — вѣдь это, наконецъ, неслыханно!

— А судъ, ваше превосходительство, между тѣмъ оправдываетъ-съ!

— Ахъ! этотъ судъ! вотъ онъ гдѣ у меня сидитъ! Этотъ судъ!!

— Я, ваше превосходительство, записку составилъ, гдѣ именно доказываю, что въ литературѣ нашей, со смерти Булгарина, ничего кромѣ тлетворнаго направленія не существуетъ-съ.

— Тлетворное — c'est le mot! Cest un malfaiteur qui tue par sa nauséaboncle puanteur! Я со времени покойнаго Николая Михайловича (c'était le bon temps!) ничего не читаю, но на дняхъ мнѣ для курьеза прочитали пять строкъ... всего пять строкъ. И клянусь вамъ Богомъ, что я увидѣлъ тутъ все: и дискредитированіе власти, и презрѣніе къ обществу, и насмѣшку надъ религіей, и космополитизмъ, и выхваленіе соціализма... Ma parole, c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre!

— Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль въ моей запискѣ провожу-съ!

— И прекрасно дѣлаете, другъ мой! Надобно, непремѣнно надобно, чтобы люди бодрые, сильные, спасали общество отъ растлѣвающихъ людей! И какихъ тамъ еще идей нужно, когда вокругъ насъ все, съ Божьею помощью, цвѣтетъ и благоухаетъ! N'est-ce pas, mon jeune ami?

Увы! вопросъ этотъ относился опять ко мнѣ, и я опять не нашелъ никакого отвѣта, кромѣ:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

Къ счастію, въ это время въ гостиной раздалось довольно громогласное „шш“. Я обернулся и увидѣлъ, что хозяинъ сидитъ около одного изъ столовъ и держитъ въ рукахъ исписанный листъ бумаги.

— Messieurs,—говорилъ онъ:—по желанію нѣкоторыхъ уважаемыхъ лицъ, я рѣшаюсь передать на вашъ судъ отрывокъ изъ предпринятаго мною обширнаго труда „объ уничтоженіи“. Отрывокъ этотъ носитъ названіе: „Какъ мы относимся къ прогрессу?“—и я помѣщу его въ передовомъ нумерѣ одной газеты, которая имѣетъ на дняхъ появиться въ свѣтъ...

— Mesdemoiselles! voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince!—обратилась княгиня въ другую комнату.

Смѣхъ и шумъ прекратились; молодежь высыпала въ гостиную.

— Надо вамъ объяснить, messieurs, что мы, то-есть люди консервативной партіи, давно чувствовали потребность въ печатномъ органѣ. У насъ была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергіи, отчасти вслѣдствіе нѣкоторой шаткости понятій, она должна была прекратить свое плодотворное существованіе. Теперь мы рѣшились издавать новую газету подъ юмористическимъ названіемъ: „Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибѣжище для молодцовъ, не знающихъ куда преклонить голову“. Мы выбрали это названіе, потому что оно совершенно въ русскомъ, немножко насмѣшливомъ тонѣ... N'est-ce pas, messieurs?

— Изъ-за одного заглавія, ваше сіятельство, сколько будетъ пренумерантовъ! вотъ увидите! — вставилъ свое слово господинъ, который хвастался запиской о тлетворномъ направленіи современной русской литературы.

— И такъ, messieurs, приступимъ.

Какъ мы относимся къ прогрессу?

„Сила совершившихся фактовъ, безъ сомнѣнія, не подлежитъ отрицанію. Фактъ совершился — слѣдовательно не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что онъ фактъ, при томъ не просто фактъ, но фактъ совершившійся (въ публикѣ говоръ: quelle lucidité!). Это, такъ сказать, фундаментъ или, еще лучше, отправной пунктъ.

„Итакъ, фактъ совершился!

„И мы не отрицаемъ его, но принимаемъ съ благодарностью. Мы съ благоговѣйною благодарностью принимаемъ всѣ совершившіеся факты, хотя бы появленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ казалось намъ прискорбнымъ и даже легкомысленнымъ (въ публикѣ: *avalez-moi cela, messeigneurs*!)... Фактъ совершился—и мы благодаримъ. Мы благодаримъ, потому что мы благодарны по самой природѣ, потому что наши преданія, завѣты нашихъ отцовъ, наше воспитаніе, правила, внушенныя намъ съ дѣтства—все, en un mot, создало насъ благодарными...

— Pardon!—раздается голосъ стараго дяди:—vous avez fourrée là une expression française! Mettez plutôt: „однимъ словомъ“...

— C'est juste, mon oncle! И такъ, messieurs:

„Все, *однимъ словомъ*, создало насъ благодарными. Мы не можемъ не благодарить, точно также какъ не можемъ не принести наши сердца на алтарь отечества въ минуту опасности. Отечество, находящееся въ опасности — это мы сами, находящіеся въ опасности! И мы не принесемъ ему въ даръ сердца́ наши! мы поспѣшимъ привѣтствовать его враговъ! Нѣтъ, мы не сдѣлаемъ ни того, ни этого, потому что отечество и мы—это что-то совершенно нераздѣльное. Это до такой степени не подлежитъ отдѣленію, въ смыслѣ умственности, какъ и въ смыслѣ матеріальности, что какъ отечество не можетъ существовать безъ насъ, такъ и мы не можемъ существовать безъ него. А потому, возвращаясь къ первичной моей мысли, повторяю: мы благодаримъ, ибо это есть наша натура.

„Теперь разсмотримъ нѣсколько близкимъ образомъ, что̀ такое есть это священное право благодарить?

„Благодарить—это ѳиміамъ. Это возносящійся ѳиміамъ сердца. Точно такъ же, какъ для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнѣйше обзнакомиться съ русскимъ языкомъ и памятниками грамотности, точно такъ же, повторяемъ мы, для того, чтобы благодарить, надобно имѣть доброе и преданнѣйшее сердце. Но преданнѣйшее сердце не только благодаритъ, но и преимущественнѣйше предостерегаетъ. Или, лучше сказать, не предостерегаетъ, въ грубомъ значеніи этого слова, но отъ благодарныхъ чувствъ заявляетъ. Мы не отрицаемъ совершившихся фактовъ, мы благодаримъ, но въ то же время заявляемъ! Мы заявляемъ, потому что имѣемъ преданнѣйшее сердце, и потому заявленіе является на устахъ нашихъ не въ печальномъ образѣ горькой улыбки, но въ прекрасномъ видѣ улыбки, исполненной довѣрія. Мы не осмѣливаемся изречь изъ нашихъ устъ: „довольно!“ ибо не можемъ даже знать, дѣйствительно ли есть то̀ довольно, что̀ намъ кажется таковымъ. Но мы говоримъ: примите благоговѣйный ѳиміамъ, который

испускаютъ наши сердца, и ежели мы ошибаемся, то дайте нашей мыслительности другое направленіе.

— Encore une fois pardon!—вновь откликается дядя:—мнѣ кажется, это не совсѣмъ точно! Не лучше ли сказать: „дайте другое и, конечно, *столь же благоговѣйное* направленіе нашей мыслительности"? А еще бы лучше: *нашимъ мыслительнымъ благожелательностямъ*. N'oubliez pas, mon cher, que vous protestez (ты мягко постилаешь, но спать на твоей постели весьма будетъ жестко, comme dit un charmant proverbe russe), et tu sais, que dansces choses-là rien n'est à négliger! (Присутствующіе переглядываются между собой, какъ бы говоря: какой тонкій старикъ!)

— Merci, mon oncle, vous avez touché juste! И такъ, messieurs, будемъ продолжать въ измѣненной редакціи:

„другое, и, конечно, столь же благоговѣйное направленіе нашимъ мыслительнымъ благожелательностямъ.

„И такъ, фактъ совершился. Мы всѣ видѣли его совершеніе, и сердца наши благожелательно, можно сказать, благоговѣйно содрагались. Теперь мы спрашиваемъ себя только, долженъ ли повторяться этотъ едва совершившійся фактъ безгранично? и на вопросъ этотъ позволяемъ себѣ думать, что ежели бы рядомъ съ совершившимся фактомъ было поставлено благодѣтельное *тирé*, то отъ сего наши сердца преисполнились бы не менѣе благоговѣйною признательностью, какою былъ ѳиміамъ, наполнявшій ихъ по поводу совершившагося факта. Мы были благодарны за фактъ, но мы, конечно, будемъ не меньше благодарить и за *тирé*, ибо, какъ я сказалъ уже выше, право благодарить есть, такъ сказать, лучшее и преимущественнѣйшее право, которое мы за собой признаемъ!

„Совершившійся фактъ — это есть мудрость. *Тирé* — это есть болѣе, нежели мудрость: это мудрость въ мудрости (*quelle profondeur*!). Вспомнимъ по сему случаю Наполеона III, а въ настоящую минуту—князя Бисмарка. Они сіе должны современемъ познать, что̀ мы теперь отъ себя скромнымъ образомъ утверждаемъ. Вспомнимъ еще великаго преобразователя экономическихъ законовъ Англіи, Роберта Пиля, но не забудемъ и величайшаго Вашингтона! Вездѣ и повсюду—законъ одинъ, который есть таковъ: прогрессъ—это мудрость стремительная, уносящая за собой исторію; *тирé*—это мудрость, оглядывающаяся назадъ, скующая исторію, а не низвергающая ее въ прахъ!

„Стало быть, если мы благоговѣйно просимъ поставить *тирé*, то не только не грѣшимъ противъ мудрости дѣйствительной, но даже споспѣшествующимъ образомъ доказываемъ, какая отъ того есть приносимая польза.

„Мы объяснились съ нашими читателями съ открытымъ сердцемъ; надѣемся, что они съ таковымъ же отнесутся и къ намъ. Быть можетъ, насъ будутъ бранить ретроградами, но мы того не боимся. Мы не имѣемъ ничего бояться, ибо мы не ретрограды. Мы только не хотимъ бѣжать впередъ, сломя голову, потому что ежели всѣ побѣгутъ и отъ того сломаютъ головы—что̀ можетъ изъ сего произойти, кромѣ несвоевременной гибели? Вотъ этого именно вопроса никогда не задаютъ себѣ господа слишкомъ пламенные прогрессисты, но не мѣшало бы отъ времени до времени все оное себѣ припоминать. Мы говоримъ: не мѣшало бы, потому что никогда не мѣшаетъ то̀, что̀ есть само по

себѣ полезно. А что припоминаніе такого рода полезно, то это несомнѣнно доказывается приносимою имъ вездѣ и повсюду безчисленною пользой.

„Затѣмъ, прощаясь съ читателями до слѣдующаго нумера, въ коемъ постараемся обстоятельнѣйше объяснить нашу profession de foi, воскликнемъ: съ нами наше право, а затѣмъ да пребудетъ надъ нами Божіе благословеніе!“

Хозяинъ умолкъ. Въ публикѣ раздавались сдержанныя восклицанія: „прекрасно!“ — „мастерски!“ — „bien écrit et surtout bien pensé!“

Но я почти обезумѣлъ отъ скуки. Никогда я такъ ясно не сознавалъ, что пора пить водку, какъ въ эту минуту. Прокопъ, очевидно, слѣдилъ за выраженіемъ моего лица, потому что подошелъ ко мнѣ, какъ только кончилось чтеніе.

— Уйдемъ! на тебѣ лица нѣтъ! тошнитъ тебя, что-ли? (Онъ вдругъ началъ говорить мнѣ „ты“.)

Мы вышли; насъ охватила лунная, морозная петербургская ночь.

— Айда къ Палкину! — скомандовалъ Прокопъ извозчику: — Я, братъ, нынѣче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тутъ крѣпки. Ѣсть устрицы у Елисеева да ужинать у Дюссо тогда хорошо, когда на сердцѣ легко. Концессію тамъ выхлопатываешь или Шнейдершу облюбовываешь — ну, и тянетъ тебя къ легкому напитку. А какъ наслушаешься прожектовъ „объ уничтоженіи“ да „объ разстрѣляніи“, такъ на сердцѣ-то сдѣлается такъ моркотно, такъ моркотно, что радъ цѣлую четверть выпить, чтобы его опять въ прежнее положеніе привести! А какова статейка-то?

— Гм... да... статья... это...

Вспомнивъ про статью, я такъ обозлился, что не своимъ голосомъ закричалъ на извозчика: — Пошелъ!

— Да, братъ, за такія статейки въ уѣздныхъ училищахъ штанишки снимаютъ, а онъ еще вонъ какъ кочевряжится. „Для того, говоритъ, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнѣйше обзнакомиться съ русскимъ языкомъ“... Вотъ и поди ты съ нимъ!

Мы пробесѣдовали у Палкина до двухъ часовъ. Съѣли только по одному бифштексу, но выпили...

Однимъ словомъ, мы вышли на улицу, держась подъ-руки. Кажется, даже мы пѣли пѣсни.

На другой день утромъ, вѣроятно въ видахъ скорѣйшаго вытрезвленія, Прокопъ принесъ мнѣ знаменитый проектъ „О разстрѣляніи и благихъ онаго послѣдствіяхъ“, составленный ветлужскимъ помѣщикомъ Поскудниковымъ. Проекту предпослано вступленіе, въ которомъ авторъ объясняетъ, что хотя онъ, *со времени извѣстнаго происшествія*, живетъ въ деревнѣ не у дѣлъ, но здоровье его еще настолько крѣпко, что онъ и на другомъ поприщѣ могъ бы довольно многое „всеусерднѣйше и не къ стыду“ совершить. А коль скоро человѣкъ въ чемъ-нибудь убѣжденъ, то весьма естественно, что въ немъ является желаніе въ томъ же убѣдить и другихъ. Отсюда попытка разъяснить вопросъ: *отчего все сіе происходитъ*, а затѣмъ и осуществленіе этой попытки въ формѣ предлагаемаго проекта.

„Отчего все сіе происходитъ?“—конечно, отъ недостатка спасительной строгости. Если бы, напримѣръ, своевременно было прибѣгнуто къ разстрѣлянію, то и общество было бы спасено, и молодое поколѣніе ограждено отъ заразы заблужденій. Конечно, не легко лишить человѣка жизни, „сего первѣйшаго дара милосерднаго Творца“, но авторъ и не требуетъ, чтобы разстрѣливали всѣхъ поголовно, а предлагаетъ только: „разстрѣливать по внимательномъ всѣхъ винъ разсмотрѣніи, но неукоснительно“. И тогда „все сіе“ исчезнетъ, „лицо же добродѣтели, нынѣ потускнѣвшее, возсіяетъ вновь, какъ десять лѣтъ тому назадъ“.

Нѣкоторые мотивы, которыми авторъ обусловливаетъ необходимость предлагаемой мѣры, не изъяты даже чувствительности. Такъ напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ онъ выражается такъ: „Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворнымъ вліяніямъ, цѣлыми толпами устремляются въ бездну; а такъ-какъ подобное устремленіе законами нашего отечества не допускается, то и видятъ сіи несчастные младыя свои существованія подсѣченными въ самомъ началѣ (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотримъ на сіе странное позорище, видимъ гибель самой цвѣтущей и, быть можетъ, самой способной нашей молодежи, и не хотимъ пальцемъ объ палецъ ударить, чтобы спасти ее. Устремимъ же наши спасительныя ладьи для спасенія сихъ утопающихъ! подадимъ руку помощи этимъ несчастнымъ, увлекающимся юношамъ! Сдѣлаемъ все сіе — и тогда съ спокойною совѣстью скажемъ себѣ: мы совершили все для огражденія дѣтей нашихъ!“

Но всего замѣчательнѣе то, что и вступленіе, и самый проектъ умѣщаются на одномъ листѣ, написанномъ очень разгонистою рукой! Какъ мало нужно, чтобъ заставить возсіять лицо добродѣтели! Въ особенности же кратки заключенія, къ которымъ приходитъ авторъ. Вотъ они:

„А потому полагается небезполезнымъ подвергнуть разстрѣлянію нижеслѣдующихъ лицъ:

Первое, всѣхъ несогласно мыслящихъ.

Второе, всѣхъ, въ поведеніи коихъ замѣчается скрытность и отсутствіе чистосердечія.

Третье, всѣхъ, кои угрюмымъ очертаніемъ лица огорчаютъ сердца благонамѣренныхъ обывателей.

Четвертое, зубоскаловъ и газетчиковъ“.

И только.

Вечеромъ мы были на раутѣ у предсѣдателя общества чающихъ движенія воды, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы. Присутствовали почти все старики, и потому въ комнатахъ господствовалъ какой-то особенный старческій запахъ. Подали чай и читали статью, въ которой современная русская литература сравнивалась съ вавилонскою блудницей. Въ промежуткахъ между чаемъ и чтеніемъ происходилъ обмѣнъ вздоховъ (то были именно не мысли, а вздохи).

— Гдѣ тѣ времена, когда пѣлъ сладкогласный Жуковскій? когда Карамзинъ плѣнялъ своею прозой?—вздыхалъ одинъ.

— „Какъ лебедь на брегахъ Меандра“... — зажмуривъ глаза, вздыхалъ другой.

— Увы! изъ всей этой плеяды остался только господинъ Страховъ!— вздыхаючи, вторилъ третій.

— Куда мы идемъ? куда мы идемъ?—вздыхалъ четвертый.

Старцы задумывались и въ тактъ покачивали головами. Очень возможное дѣло, что они такъ и заснули бы въ этой позѣ, если бы отъ времени до времени не пробуждалъ ихъ возгласъ:

— И это литература! Куда мы идемъ?

Я пробылъ у дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы съ девяти до одиннадцати часовъ и насчиталъ, что въ теченіе этого времени по крайней мѣрѣ двадцать разъ былъ повторенъ вопросъ: „куда мы идемъ?“ Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатлѣніе, что когда мы вышли съ Прокопомъ на улицу, я самъ безотчетно воскликнулъ:

— Куда же мы въ самомъ дѣлѣ идемъ?

— Сегодня я сведу тебя къ Шухардину, — отвѣтилъ Прокопъ: — а завтра, если Богъ грѣхамъ потерпитъ, направимъ стопы въ „Старый Пекинъ“.

Опять два бифштекса, и — что̀ всего непріятнѣе — опять возвращеніе домой съ пѣснями. И съ чего я вдругъ такъ распѣлся? Я начинаю опасаться, что если дѣло пойдетъ такимъ образомъ дальше, то меня непремѣнно когда-нибудь посадятъ въ часть.

На третій день — раутъ у предсѣдателя общества благихъ начинаній, отставного генерала Проходимцева. Приходимъ и застаемъ компанію человѣкъ въ двѣнадцать. Все отставные провіантскіе чиновники, заявившіе о необыкновенномъ усердіи во время севастопольской кампаніи. У всѣхъ на лицѣ написано: я по суду не изобличенъ, а потому надѣюсь еще послужить! Общество сидитъ вокругъ чайнаго стола; хозяинъ читаетъ: *)

—А онъ: моя ты лада!
Есть мѣсто рѣпѣ точно.
Но садъ засѣять надо,
За то, что онъ цвѣточный!

— Прекрасно! не въ бровь, а прямо въ глазъ!

— Куда мы идемъ? скажите, куда мы идемъ?

— Позвольте, господа! послушайте, что̀ дальше будетъ!

—Ее (рощу) порубятъ, лада,
На зданіе такое,
Гдѣ̀ бъ жирныя говяда
Кормились на жаркое!

---

*) Отрывки, приводимые ниже, взяты изъ стихотворенія графъ А. К. Толстого: „Баллада съ тенденціей“. Любопытствующіе могутъ отыскать эту балладу въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1871 года за октябрь.

— Но какой стихъ! Вотъ, наконецъ, настоящая-то сатира!
— Шш... шш... слушайте! слушайте!

—О, другъ ты мой единый! —
Воскликнула невѣста:
Ужель для той скотины
Иного нѣту мѣста?
—Есть много мѣста, лада.
Но тотъ пріютъ тѣнистый
Затѣмъ изгадить надо,
Что въ немъ свѣжо и чисто!

— Именно! именно!—рукоплескали отставные провіантскіе чиновники, и затѣмъ поднялся хохотъ, который и не прерывался уже до самаго конца пьесы. Особенный фуроръ произвело слѣдующее опредѣленіе современнаго матеріалиста:

Они жъ, матерьялисты,
Отъ имени прогресса,
Кричатъ, что трубочисты
Суть выше Апеллеса...

— „Суть выше Апеллеса“! Каковъ, господа, пошибъ! Вотъ это я называю сатирой! Это отпоръ! Это настоящій, заправскій отпоръ!

Затѣмъ всѣ на минуту смолкли и погрузились въ думы. Какъ вдругъ кто-то завылъ:

— Куда мы идемъ? Объясните, куда мы идемъ?

И всѣ, словно ужаленные, вскочили съ мѣстъ и подняли такой неизреченный лай, что я поскорѣе схватилъ шляпу и увлекъ Прокопа въ „Старый Пекинъ“.

Бифштексъ—и возвращеніе домой съ пѣснями.

И еще два вечера провелъ я въ обществѣ испуганныхъ людей, и ничего другого не слышалъ, кромѣ возгласа: „куда мы идемъ?“ Но послѣ пятаго вечера со мной случилось нѣчто совсѣмъ необыкновенное.

Я проснулся утромъ съ головною болью и долгое время ничего не понималъ, а только смотрѣлъ въ потолокъ. Вдругъ слышу голосъ Прокопа: „Господи Іисусе Христе! да гдѣ же мы?“ Вскакиваю, оглядываюсь, и вижу, что мы въ какой-то совершенно неизвѣстной квартирѣ, что я лежу на диванѣ, а на другомъ диванѣ лежитъ Прокопъ. Мною овладѣлъ страхъ.

Я вспомнилъ слышанную въ дѣтствѣ исторію о какомъ-то пустынножителѣ, который сначала напился пьянъ, потомъ совершилъ прелюбодѣяніе, потомъ укралъ, убилъ—однимъ словомъ, въ самое короткое время исполнилъ всю серію смертныхъ грѣховъ.

— Гдѣ мы вчера были?—обратился я къ Прокопу.

Но Прокопъ стоялъ какъ бы въ остолбенѣніи и только пялилъ на меня свои опухшіе глаза.

Я сталъ припоминать, и съ помощью неимовѣрныхъ усилій успѣлъ со-

ставить нѣчто цѣлое изъ уцѣлѣвшихъ въ моемъ мозгу обрывковъ. Да, мы отправились сначала къ Балабину, потомъ къ Палкину, оттуда къ Шухардину и наконецъ въ „Пекинъ“. Но тутъ нить воспоминаній оборвалась. Не украли ли мы въ „Пекинѣ“ серебряную ложку? не убили ли мы на скорую руку полового? не вели ли насъ на веревочкѣ? — вотъ этого-то именно я не могъ возстановить въ своей памяти.

Я припоминалъ, что со мною уже былъ почти такой же случай въ молодости. Въ то время я былъ студентомъ московскаго университета и охотно бесѣдовалъ объ искусствѣ (святое искусство!) въ трактирѣ „Британія“. Однажды, находясь въ хорошей компаніи, я выпилъ, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнаціями водки и, совершивши этотъ подвигъ, исчезъ. Гдѣ я былъ, этого я совершенно не помню, но дѣло въ томъ, что черезъ какіе-нибудь полчаса опять я воротился въ „Британію“, но воротился... безъ штановъ! Можно себѣ представить, какъ изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевавъ въ „Британіи“ на бильярдѣ, на другой день проснулся! И что жъ оказалось?—что штаны мои преспокойно лежатъ у меня дома! Что я нарочно приходилъ домой, чтобы ихъ снять, и, совершивши этотъ подвигъ, отправился назадъ въ „Британію“.

— Да какимъ же образомъ это случилось? Я говорилъ что-нибудь? Приказывалъ?—допрашивалъ я своего слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили придти, сняли и опять ушли-съ.

— Да что же я еще-то дѣлалъ?

— Изволили придти-съ, сняли и опять ушли-съ.

Такъ вотъ на какіе подвиги я способенъ...

И вдругъ, въ ту самую минуту, когда мнѣ все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и передъ нами очутился расторопный малый въ мундирѣ помощника участковаго надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартирѣ, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-на-просто въ безобразномъ видѣ шатались ночью по улицѣ.

— Какимъ же образомъ у васъ-то мы очутились?—полюбопытствовалъ Прокопъ.

— Да просто шелъ я, по должности, дозоромъ-съ; ну, вижу, благородные люди... не могутъ объяснить мѣстожительства-съ...

Никогда не бывало мнѣ до такой степени стыдно...

Глава III.

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокопъ завалилъ меня проектами, чтеніе которыхъ чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубійствѣ. Истинно только Богъ спасъ мою душу отъ конечной погибели... Но буду разсказывать по порядку...

Прежде всего, при одномъ воспоминаніи о моемъ послѣднемъ приключеніи, мнѣ было такъ сосѣстно, что я нѣкоторое время не могъ подумать о себѣ, не покраснѣвши при этомъ. Посудите сами: пріѣхать въ Петербургъ,

въ этотъ, такъ сказать, центръ россійской интеллигенціи и дебютировать тѣмъ, что по истеченіи четырехъ недѣль очутиться невѣдомо какимъ образомъ въ квартирѣ помощника участковаго надзирателя Хватова! Я взглянулъ на себя въ зеркало — и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность дѣлаться круглыми. Съ какимъ-то щемящимъ чувствомъ безнадежности бродилъ я въ халатѣ, изъ угла въ уголъ, по моему нумеру и совершенно явственно чувствовалъ, какъ меня сосетъ. Именно „сосетъ“ — и ничего больше. Еслибъ кто-нибудь спросилъ меня, что со мною дѣлается, я положительно ничего другого не нашелся бы отвѣтить, кромѣ этого страннаго слова: „сосетъ“. Не то тоска, не то смутное напоминаніе объ адмиральскомъ часѣ. Къ довершенію позора, въ теченіе цѣлой недѣли, аккуратно изо дня въ день, меня посѣщалъ расторопный поручикъ Хватовъ и съ самою любезною улыбкой напоминалъ мнѣ о моемъ грѣхопаденіи. Придетъ, сядетъ, закуритъ папироску и начнетъ:

— Иду, знаете, дозоромъ, и вдругъ вижу — благородные люди! И можно сказать, даже въ очень веселомъ видѣ-съ! Время, знаете, ночное-съ... мѣстожительства объявить не могутъ... Ну-съ, конечно, какъ самъ благородный человѣкъ... по силѣ возможности-съ... Сейчасъ къ себѣ на квартиру-съ... Диванъ-съ, подушки-съ...

— То-есть, такъ я вамъ благодаренъ! такъ благодаренъ! — завѣрялъ я въ свою очередь, весь пунцовый отъ стыда: — кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

— Помилуйте! что-же-съ! благородные люди... время ночное-съ... мѣстожительство объявить не могутъ... диванъ, подушки-съ...

И такимъ образомъ цѣлыхъ семь дней сряду. Придетъ, выкуритъ три-четыре папиросы, выпьетъ рюмку водки, закуситъ и уйдетъ. Подъ конецъ даже такъ меня полюбилъ, что началъ говорить мнѣ *ты*.

Дѣдушка Матвѣй Иванычъ! думалось мнѣ въ эти минуты: — воображалъ-ли ты когда-нибудь, чтобъ твой потомокъ могъ покрыть себя подобнымъ позоромъ! Ты, который, выходя грузнымъ изъ рязанско-козловско-тамбовскаго клуба, не торопясь влѣзалъ въ экипажъ, подсаживаемый вѣрными слугами, и затѣмъ благополучно слѣдовалъ до постоялаго двора, гдѣ ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одѣяло! Ты, который о самомъ имени полиціи зналъ только потому, что отъ времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Іонку-подлеца въ часть! Могъ ли ты представить себѣ, что твой родной внукъ, какъ какой-нибудь безпаспортный мѣщанинъ, проведетъ цѣлую ночь въ самомъ сердцѣ той самой полиціи, о которой ты зналъ только по наслышкѣ, какъ о вмѣстилищѣ клоповъ, блохъ и розогъ! Что этотъ внукъ будетъ поднятъ на улицѣ (позоръ! у него нѣтъ ни экипажа, ни вѣрныхъ слугъ, ни цуга лошадей!) и призрѣнъ, буквально: призрѣнъ, расторопнымъ полицейскимъ поручикомъ Хватовымъ! Что этотъ самый Хватовъ будетъ заявлять претензію на вѣчную признательность сердца со стороны твоего внука! что онъ будетъ прохаживаться съ нимъ по водочкѣ и наконецъ въ минуту откровенности, скажетъ ему „ты“!

Позоръ!

И вотъ, о, реформы, горькіе ваши плоды!

Какимъ же образомъ, послѣ всего этого, утишить негодующее сердце? какимъ образомъ сдержать благородные порывы? Реформы!!

Вотъ Прокопъ—такъ тотъ мигомъ поправился. Очевидно, на него даже реформы не дѣйствуютъ. Голова у него трещала всего одинъ день, а на другой день онъ уже прибѣжалъ ко мнѣ какъ ни въ чемъ не бывало и навалилъ на столъ цѣлую кипу проектовъ.

— Читать ли?—молвилъ я робко:—какъ бы опять не запить!

— Какъ не читать! надо читать! Зачѣмъ же ты пріѣхалъ сюда? Вѣдь если ты хочешь знать, въ чемъ послѣдняя суть состоитъ, такъ гдѣ же ты объ этомъ узнаешь, какъ не тутъ? Вотъ, напримѣръ, прожектъ о децентрализаціи—ужъ такъ онъ мнѣ понравился! такъ понравился! И словъ-то, кажется, не приберешь, какъ хорошо!

— А что?

— Да чтобы значитъ вездѣ, по всему лицу земли... по зубамъ чтобъ бить свободно было... вотъ это и есть самая децентрализація!

Прокопъ, по обыкновенію своему, залился смѣхомъ.

И чортъ его знаетъ, что это за смѣхъ у Прокопа — никакъ понять не могу! Дѣйствительно ли звучитъ въ немъ иронія, или это только такъ, избытокъ веселонравія, который самъ собой просится наружу? Вотъ, кажется, и хохочетъ человѣкъ надъ децентрализаціей съ точки зрѣнія безпрепятственнаго и повсемѣстнаго битья по зубамъ, а загляните-ка ему въ нутро — анъ окажется, что вѣдь онъ и впрямь ничего кромѣ этой безпрепятственности не вожделѣетъ! Вотъ и поди, разбери, какъ это въ немъ разомъ укладывается: и тоска по мордобитію, и несомнѣннѣйшая язвительнѣйшая насмѣшка надъ этою самою тоской!

— А ужъ ежели,—продолжалъ между тѣмъ Прокопъ—ты отъ этихъ прожектовъ запьешь, такъ значитъ линія такая тебѣ вышла. Оно, по правдѣ сказать, трудно и не запить. Все бить да сѣчь, да стрѣлять... коли у кого чувствительное сердце—ну, просто невозможно не запить! Ну, а ежели кто закалился—вотъ, какъ я, напримѣръ—такъ ничего. Большую даже пользу нахожу. Свѣтлыя мысли есть—ей Богу.

Опять хохотъ, этотъ загадочный, разстраивающій нервы хохотъ!

Но такъ-какъ у меня голова все еще была несвѣжа, то я два дня сряду просто-на-просто пробродилъ изъ угла въ уголъ и только искоса поглядывалъ на кипу писанной бумаги. А въ груди между тѣмъ сосало, и Богъ знаетъ какихъ усилій мнѣ стоило, чтобъ не крикнуть: водки и закусить! Воздержаться отъ этого клича было тѣмъ труднѣе, что у лакеевъ chambres garnies есть привычка, и притомъ препоганая: поминутно просовываетъ, каналья, голову въ дверь и спрашиваетъ: „что прикажете?“ Ну, что я могу приказать? Что могу я отвѣтить на его вызывающій вопросъ, кромѣ: водки и закусить!? Вотъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ—тотъ точно могъ разныя приказанія отдавать, а я—что я могу?!

Однако, повторяю, Богъ спасъ, и, можетъ быть, я провелъ бы время даже не совсѣмъ дурно, еслибъ не раздражали меня, во-первыхъ, періодическіе визиты поручика Хватова и, во-вторыхъ, назойливость Прокопа. Помимо этихъ двухъ непріятностей, право, все было хорошо.

Я находился въ томъ состояніи, когда голова, за нѣсколько времени передъ тѣмъ трещавшая, начинаетъ мало-по-малу разгуливаться. Настоящимъ образомъ еще ничего не понимаешь, но кое-какія мысли ужъ бродятъ. Подойдешь къ печкѣ — и остановишься; къ окну подойдешь — и посмотришь. Что̀ въ это время бродитъ въ головѣ—этого ни подъ какимъ видомъ не соберешь, а что бродитъ нѣчто — въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. По временамъ даже удается иное схватить. Вотъ сейчасъ мелькнуло: „хорошо бы двѣсти тысячъ выиграть!“ —и ушло. Потомъ: „какое это въ самомъ дѣлѣ благодѣяніе, что откупа уничтожены!“ —и опять ушло. Вообще, все приходитъ и уходитъ до такой степени какъ-то смутно, что ни встрѣчать, ни провожать нѣтъ надобности. И вдругъ канальская мысль: „не приказать ли водки?“

— Ну, нѣтъ, братъ, шалишь! водка—это, братъ, ядъ! Вспомни, какъ ты въ „Старомъ Пекинѣ“ чуть-чуть полового не ушибъ, и какъ потомъ въ квартирѣ у поручика Хватова розоперстую аврору встрѣчалъ!

Ушло.

И проходятъ, такимъ образомъ, часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходилъ да мечталъ, а о чемъ бы мечталъ — и самъ не знаешь! Вотъ, кажется, сейчасъ чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелилъ губами, а черезъ мгновенье—смотришь, забылъ! Да и кто знаетъ? можетъ быть, оно и хорошо, что забылъ...

Вотъ что̀ совсѣмъ ужъ нехорошо—это Прокопъ, который самымъ наглымъ образомъ врывается въ жизнь и отравляетъ лучшія, блаженнѣйшія минуты ея. Каждый день, утромъ и вечеромъ, онъ влетаетъ ко мнѣ и начинаетъ приставать и даже ругаться.

— Ну, что̀, прочелъ?

— Да, право, душа моя, боюсь я...

— Что̀ же ты послѣ этого за патріотъ, коли не хочешь знать, въ чемъ нынѣшняя суть состоитъ!

— Да запью я! чувствуетъ мое сердце, что запью!

— Такъ ты по маленьку, не вдругъ! Сперва „о децентрализаціи“, потомъ „о необходимости оглушенія, въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ“, потомъ „о переформированіи де сіянсъ академіи“. Есть даже прожектъ „о наижелательнѣйшемъ для всѣхъ сторонъ упраздненіи женскаго вопроса“. Честью тебѣ ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успѣешь и оглянуться, какъ самъ собою, безъ масла, всю груду проглотишь!

И я началъ.

Но я приступилъ не вдругъ. Сначала произвелъ наружный осмотръ, причемъ оказалось, что всѣ прожекты были коротенькіе: на одномъ, много на двухъ листахъ. Потомъ перечиталъ заглавія и убѣдился, что вездѣ говорилось объ упраздненіи и уничтоженіи, и только одинъ прожектъ трактовалъ о расширеніи, но и то — о расширеніи области дѣйствія квартальныхъ надзирателей. Затѣмъ мною овладѣла моя обычная привычка резонировать по поводу выѣденнаго яйца, и я уже на цѣлыя сутки сдѣлался неспособнымъ ни къ какимъ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. Одни названія навели на меня какія-то необыкновенно тоскливыя мысли, отъ которыхъ я не могъ отдѣлаться

ни насвистываніемъ арій изъ „Герцогини Герольштейнской“, ни припоминаніемъ особенно характерныхъ эпизодовъ изъ послѣднихъ нашихъ трактирныхъ похожденій, ни даже закусываніемъ соленаго огурца, каковое закусываніе, какъ извѣстно, представляетъ во время загула одно изъ самыхъ дивныхъ, возстановляющихъ средствъ (увы! даже и это средство отыскано не мною, непризнаннымъ Гамлетомъ сороковыхъ годовъ, а все тѣмъ же дѣдушкой Матвѣемъ Иванычемъ!).

Во имя чего—думалось мнѣ—волнуются и усердствуютъ изъ глубины своихъ усадьбъ отставные прапорщики, ротмистры, полковники? изъ-за чего напрягаютъ мозги выгнанные изъ службы подъячіе? что̀ породило это ужаснѣйшее творчество, которымъ заражены россійскіе грады и веси, и печальный плодъ котораго—вотъ эта груда прожектовъ, которую мнѣ предстоитъ перечитать?

Вникните пристальнѣе въ процессъ этого творчества, и вы убѣдитесь, что первоначальный источникъ его заключается въ неугасшемъ еще чувствѣ жизни, той самой „жизни“, съ тѣмъ же содержаніемъ и тѣми же поползновеніями, о которыхъ я говорилъ въ предыдущихъ моихъ дневникахъ. Всѣ мы: поручики, ротмистры, подъячіе, однимъ словомъ, всѣ, причисляющіе себя къ сонму представителей отечественной интеллигенціи—всѣ мы были свидѣтелями этой „жизни“, всѣ воспитывались въ ея преданіяхъ, и какъ бы мы ни открещивались отъ нея, но не можемъ, ни подъ какимъ видомъ не можемъ представить себѣ что-либо иное, что̀ не находилось бы въ прямой и неразрывной связи съ тѣмъ содержаніемъ, которое выработано нашимъ прошедшимъ. Всѣ мы хотимъ жить именно тѣмъ самымъ способомъ, какимъ жилъ дѣдушка Матвѣй Иванычъ, то-есть жить хоть безобразно (увы! до другихъ идеаловъ рѣдкіе изъ насъ додумались), но властно, а не слоняться по бѣлу свѣту, выпуча глаза.

Эта перспектива „слонянія“ раздражаетъ насъ. Былъ моментъ, когда мы искренно повѣрили, что въ раскладываніи гранъ-пасьянса заключается единственно возможная, такъ сказать провиденціальная роль наша въ будущемъ. Былъ моментъ, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла изъ-подъ ногъ нашихъ, и что намъ остается только бѣжать, бѣжать и бѣжать. И теперь, при одномъ воспоминаніи объ этомъ ужасномъ времени, скверно дѣлается во рту. Но инстинктъ самосохраненія спасъ насъ. Онъ заставилъ насъ оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали — видимъ: мы тѣ же, да и кругомъ насъ все то же. И мы—„dansons, chantons et buvons“, и кругомъ насъ—„chantons, dansons et buvons“. Конечно, нѣкоторыя подробности измѣнились, но развѣ подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня онѣ имѣютъ одинъ видъ, завтра—будутъ имѣть другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нѣтъ ничего легче, какъ дать подробностямъ ту или другую форму—какую хочешь. Сегодня у насъ—la grandeur d'âme est à l'ordre du jour, а завтра — alea jacta est! — на очереди будутъ: натискъ и быстрота! Стало быть, ежели намъ, отставнымъ корнетамъ, ротмистрамъ и подъячимъ, показалось на минуту, что почва ускользаетъ изъ-подъ нашихъ ногъ, то это именно только показалось, а на самомъ дѣлѣ ничего новаго не произошло, кромѣ кавардака, умопомраченія, труса и т. д. Стало

быть, надо только разъяснить, разсѣять и затѣмъ — настоять. Мы струсили, какъ дѣти, сами не зная — чего; мы призрачную жизнь, цростую взбалмошную накипь, признали за нѣчто реальное и устойчивое. Нѣтъ! шалишь! Мы докажемъ міру, что всѣ эти призраки можно разсѣять совершенно просто и легко: тѣмъ же маніемъ руки, какимъ и въ прежнія времена достославные наши предки разсѣвали и расточали всякаго рода дурные призраки!

Отсюда — понятное раздраженіе противъ тѣхъ, которые продолжаютъ напоминать намъ о „слонянии". Какъ не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не повѣрили этой провиденціальной роли, и не обрекли себя на перспективу вѣчнаго слонянія? Надо же, наконецъ, дать почувствовать заблуждающимся всю тщету ихъ надеждъ! И вотъ, какъ плодъ этого раздраженія — являются прожекты объ уничтоженіи и упраздненіи.

Сидятъ корнеты-землевладѣльцы въ своихъ логовищахъ и немолчно скребутъ перьями. А такъ-какъ для нихъ связать двѣ мысли — трудъ совершенно анаѳемскій, то очень понятно, что творчество ихъ лишь послѣ неимовѣрныхъ потугъ находитъ себѣ какое-нибудь выраженіе. Мысли, зарождающіяся въ усадьбахъ, вдали отъ всякихъ учебныхъ пособій, вдали отъ возможности обмѣна мыслей — вѣдь это все равно, что мухи, бродящія въ лѣтнее время по столу. Поди собери ихъ въ одну кучу! Поэтому проводится множество безсонныхъ ночей, портится громада бумаги, для того только, чтобы въ концѣ концовъ вышло: „на послѣднемъ я листочкѣ напишу четыре строчки". Но чѣмъ малограмотнѣе человѣкъ, тѣмъ упорнѣе онъ въ своихъ начинаніяхъ, и, однажды задумавъ какой-нибудь подвигъ, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделѣнныя „четыре строчки" несомнѣнно будутъ написаны и смыслъ ихъ несомнѣнно будетъ таковъ: уничтожить, вычеркнуть, воспретить...

Въ одно прекрасное утро корнетъ выходитъ къ утреннему чаю и объявляетъ женѣ.

— Я, душа моя, сегодня проектъ свой кончилъ!

— Ну, и слава Богу! Я знаю, ты вѣдь у меня умный?

— Однако и помучился-таки я надъ нимъ! Странно это: мы, русскіе, кажется, на все способны, а вотъ проекты писать — смерть!

Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрѣшить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается въ слишкомъ страстномъ желаніи „жить", въ представленіи, которое съ этимъ словомъ соединено, и въ неимѣніи другихъ средствъ удовлетворить этому представленію, кромѣ тѣхъ, которыя завѣщаны намъ преданіемъ. И въ счастіи, и въ несчастіи мы какъ-то равно неразсудительны и опрометчивы. Немного лѣтъ тому назадъ (это были дни нашего несчастія), когда мы находились подъ игомъ недоразумѣній, томительно замутившихъ нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. Откуда? что? какъ нужно поступить? — мы ни о чемъ не спрашивали себя, а только чувствовали, что насъ придавило какое-то горе. Теперь, когда случайныя недоразумѣнія случайно разсѣялись, когда жажда жизни (*наша* жажда жизни!) получила возможность вновь вступить въ свои права, мы опять-таки не хотимъ подумать ни о какомъ внутреннемъ перерабатывающемъ процессѣ, не спрашиваемъ себя: куда? какъ? что изъ этого выйдетъ? —

а только чувствуемъ себя радостными, и вслѣдствіе этого весело гогочемъ. Насъ опять придавило, но на этотъ разъ—придавила радость. Наша не выгорѣла—мы приникли; наша взяла — мы подняли голову. Мы инстинктомъ чувствуемъ, что *наша взяла* — и потому хотимъ начать жить какъ можно скорѣе, сейчасъ.

Но спрашивается: возможно ли достигнуть *нашего* идеала жизни въ такой обстановкѣ, гдѣ не только мы, но и всякій другой имѣетъ право заявлять о своемъ желаніи жить?

Дѣдушка Матвѣй Ивановичъ на этотъ счетъ совершенно искренно говорилъ:—Жить тамъ, гдѣ всѣ другіе имѣютъ право, подобно мнѣ, жить—я не могу! Не могу, сударь, я стерпѣть, когда вижу, что хамъ идетъ мимо меня и кочевряжится! И будь этотъ хамъ хоть размилліонеръ, хоть разоткупщикъ, все-таки я ему напомню (дѣйствіемъ, государь мой, напомню, дѣйствіемъ!), что тѣлесное наказаніе есть удѣлъ его въ этомъ мірѣ! Хоть тысячу рублей штрафу заплачу, а напомню.

Такова была дѣдушкина мораль, и я, съ своей стороны, становясь на его точку зрѣнія, нахожу эту мораль совершенно естественною. Нельзя жить такъ, *какъ желалъ жить дѣдушка*, иначе, какъ подъ условіемъ полнаго исчезновенія жизни въ другихъ. Дѣдушка это чувствовалъ всѣмъ нутромъ своимъ; онъ зналъ и понималъ, что если міръ, по малой мѣрѣ верстъ на десять кругомъ, перестанетъ быть пустыней, то онъ погибъ. А мы?!

Что дѣдушкина мораль удержалась въ насъ всецѣло — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но — увы! — мы уже не знаемъ, какъ устраивается та пустыня, безъ которой дѣдушкина мораль падаетъ сама собою. Секретъ этотъ потерянъ для насъ навсегда—вотъ почему мы колеблемся, путаемся и виляемъ. Прямо признать за „хамами“ право на жизнь—не хочется, а устроить такимъ образомъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы — нѣтъ умѣнія. Нѣтъ выдержки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы „хамы“ на самомъ дѣлѣ не жили, а только думали бы, что живутъ; да вѣдь для этого надобно, во-первыхъ, кой-что знать, а во-вторыхъ—придумывать, взвѣшивать, соображать. А у насъ первый разговоръ: „знать ничего не хочу!“ да „ни о чемъ думать желаю!“ Скажите, возможно ли съ такимъ разговоромъ даже простодушнѣйшаго изъ хамовъ надуть?

Естественно, что при такой простотѣ нравовъ остается только одно средство оградить свою жизнь отъ вторженія непріятныхъ элементовъ—это, откинувъ всѣ сомнѣнія, начать снова бить по зубамъ. Но какъ бить! Бить—безъ яснаго права на битье; бить — и въ то же время бояться, что каждую минуту можетъ послѣдовать приглашеніе къ мировому по дѣлу о самовольномъ избитіи!...

До какой степени для насъ всякое думанье — ножъ вострый, это всего лучше доказалъ мнѣ Прокопъ.

— Послушай, мой другъ,—говорю я ему на дняхъ:—отчего это тебѣ такъ претитъ, что и другой рядомъ съ тобой жить хочетъ?

— А по твоему какъ? по твоему, стало быть, другой у меня изо рту куски станетъ рвать, а я молчи!

— Да вѣдь кусковъ много, мой другъ! И для тебя куски, и для другихъ тоже; вѣдь всѣхъ кусковъ одинъ не заглотаешь!

— Ну, нѣтъ-съ, это аттѐнде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется—прошу не взыскать!

— Ахъ, все не то! Пойми же ты наконецъ, что можно, при нѣкоторомъ умѣньи, такимъ образомъ устроить, что другіе-то будутъ на самомъ дѣлѣ только облизываться, глядя, какъ ты куски заглатываешь, а между тѣмъ будутъ думать, что и они куски глотаютъ!

— Это какъ?

— То-то, душа моя, надобно сообразить, какъ это умѣючи сдѣлать. Я и самъ, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разомъ, не все разсѣкать: иной разъ слѣдуетъ и развязать потрудиться!

— Ну, это ужъ ты трудись, а я — слуга покорный! Думать тамъ! соображать! Какая же это будетъ жизнь, коли меня на каждомъ шагу думать заставлять будутъ! Нѣтъ, братъ, ты простъ-простъ, а тоже у тебя въ головѣ прожекты... тово! Да ты знаешь ли, что какъ только мы начнемъ думать — тутъ намъ и смерть?!

Такъ мы и разстались на томъ, что свобода отъ обязанности думать есть та любезнѣйшая приправа, безъ которой вся жизнь человѣческая есть не что иное, какъ юдоль скорбей. Быть можетъ, въ настоящемъ случаѣ, то-есть какъ ограждающее средство противъ возможности систематическаго и ловкаго надуванія (не ее ли собственно я и разумѣлъ, когда говорилъ Прокопу о небходимости „соображать?“), эта боязнь мысли даже полезна, но какъ хотите, а теорія, видящая красоту жизни въ свободѣ отъ мысли — все-таки ужасна!

Кто вникнетъ ближе въ циклъ понятій, наивнымъ выразителемъ которыхъ явился Прокопъ, тотъ пойметъ, почему единственнымъ надежнымъ выходомъ изъ всѣхъ жизненныхъ затрудненій прежде всего представляется дѣйствіе, обозначаемое словомъ „вычеркнуть“. Вычеркнуть легко, создать трудно—въ этомъ разгадка той безцеремонности, съ которою мы приступаемъ къ разсѣченію всевозможныхъ жизненныхъ задачъ.

Предположите, что въ головѣ у васъ завелась затѣя, что вы возлюбили эту затѣю и съ жаромъ принялись за ея осуществленіе. Прибавьте къ этому, пожалуй, что затѣя ваша въ высшей степени женерозна, что она захватываетъ очень широко, и что съ осуществленіемъ ея легко осчастливить цѣлый міръ. Въ дѣлѣ затѣй, зарождающихся на нашей почвѣ, такого рода предположенія совсѣмъ не „шаржъ“, потому что у насъ изстари такъ заведено: затѣвать, такъ ужъ затѣвать. Но затѣмъ, все-таки, слѣдуетъ вопросъ: откуда эта затѣя явилась? составляетъ ли она плодъ предварительной жизненной подготовки или по крайней мѣрѣ хотя теоретически сложившагося убѣжденія? Или, быть можетъ, она пришла съ вѣтру, затѣмъ что у прочихъ такъ водится, такъ чтобы и намъ не стыдно было въ людяхъ глаза показать? Какъ ни придирчивъ кажется этотъ вопросъ (когда дѣло идетъ о женерозныхъ начинаніяхъ, у насъ даже вопросовъ никакихъ допускать не принято), но онъ далеко не праздный. Разрѣшите себѣ его, и вы разомъ получите возможность не

только оцѣнить по достоинству самую затѣю и исходный пунктъ, изъ котораго она возникла, но и провидѣть дальнѣйшій процессъ ея осуществленія, со всѣми ожидающими ее впереди колебаніями и неизбѣжнымъ въ концѣ концовъ фіаско.

Потребность въ выработкѣ новыхъ формъ жизни всегда и вездѣ являлась какъ слѣдствіе не одного теоретическаго признанія неудовлетворительности старыхъ формъ, но и реальнаго недовольства ими. Имѣли ли мы, интеллигенція, поводъ быть недовольными этими старыми формами?—нѣтъ, говоря по совѣсти, у насъ даже повода къ недовольству не существовало. Повторяю: нашъ кодексъ жизни вполнѣ исчерпывался формулой: „chantons, dansons et buvons"—а этой формулѣ не только не мѣшали старые порядки, но даже вполнѣ ее обезпечивали. Но, можетъ быть, насъ заставляло задумываться сосѣдство множества людей, которымъ старые порядки ни въ какомъ случаѣ не могли быть понутру? Безспорно, такое сосѣдство существовало, но мы до такой степени мало думали о немъ, что даже и теперь, когда несомнѣнность сосѣдства уже гораздо болѣе выяснилась, мы все-таки продолжаемъ столь же мало принимать его въ расчетъ, какъ и прежде. Еслибъ это было иначе, развѣ мы обращались бы столь легкомысленно съ словами: вычеркнуть, похерить, воспретить? Развѣ мы позволили бы себя считать ихъ палладіумомъ всевозможныхъ мѣропріятій? Ясно, стало быть, что сосѣдство тутъ ни-при-чемъ, или, по крайней мѣрѣ, что представленіе о немъ никогда насъ сознательно не тревожило. Наконецъ, еще третье предположеніе: быть можетъ, въ насъ проснулось сознаніе абсолютной несправедливости старыхъ порядковъ, и вслѣдствіе того потребность новыхъ формъ жизни явилась уже дѣломъ, необходимымъ для удовлетворенія человѣческой совѣсти вообще? — но въ такомъ случаѣ почему же это сознаніе не напоминаетъ о себѣ и теперь съ тою же предполагаемою страстною настойчивостью, съ какою оно напоминало о себѣ въ первыя минуты своего возникновенія? почему оно улетучилось на глазахъ нашихъ, и притомъ улетучилось, не подвергаясь никакимъ серьезнымъ испытаніямъ? Да впрочемъ въ такихъ ли мы условіяхъ воспитывались, которыя могли бы серьезно породить въ насъ подобное сознаніе, составляющее, такъ сказать, вѣнецъ нравственнаго и умственнаго развитія человѣка?

Всѣ эти соображенія приводятъ къ заключенію очень печальному, но которое едва-ли можно назвать невѣрнымъ, а именно: что наша женерозность пришла къ намъ безъ особенно дѣятельнаго участія сознанія. Это не женерозность, а просто желаніе куда-нибудь приткнуться отъ скуки и однообразія жизни — и въ то же время развлечь себя новымъ фасономъ одежды. Мы сказали себѣ: пусть будетъ новый фасонъ, а что касается до результатовъ и примѣненій, то мысль о нихъ никогда съ особенною ясностью не представлялась намъ. Мы до такой степени не думали ни о какихъ результатахъ и примѣненіяхъ, что даже не задались при этомъ никакою преднамѣренно-злостною мыслью, въ родѣ, напримѣръ, того, что новые фасоны должны только отводить глаза отъ прикрываемаго ими стараго содержанія. Не было органической, кровной надобности въ новыхъ фасонахъ, слѣдовательно не было мысли и о томъ, что они могутъ чему-нибудь угрожать. А слѣдовательно не было надобности остерегаться или надувать. Самое негодованіе наше было ретроспективное, и яви-

лось уже post factum, то-есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполнѣ согласные съ общимъ тономъ жизни и съ нашими интимными пожеланіями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться къ системѣ заушенія.

При такомъ легкомъ отношеніи къ исходному пункту новой жизненной дѣятельности возможно ли ожидать устойчивости и во всемъ дальнѣйшемъ ея развитіи? Увы! если тутъ и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслія. Сколько бы ни твердили намъ, что разумный выходъ изъ извѣстнаго положенія, созданнаго хотя бы и внезапно, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно пріобрѣвшаго право гражданственности — это признать его со всѣми естественными результатами, которые оно можетъ дать — развѣ мы, отставные прапорщики и подъячіе, способны на такое признаніе?

Развѣ мы что-нибудь предвидѣли, что-нибудь призывали сознательно? Нѣтъ, мы только сію минуту узнали (да и то не можемъ разобрать, врутъ это или правду говорятъ), что наша затѣя, кромѣ новаго фасона, заключаетъ въ себѣ и еще нѣчто, а до сихъ поръ мы думали, что это положительнымъ образомъ только фасонъ. Да это фасонъ и есть; мы это дѣло такъ разумѣли, когда увлекались имъ и апплодировали ему; такъ хотимъ разумѣть его и теперь. Всѣ эти колебанія и движенія, на которыя намъ указываютъ какъ на слѣдствіе новыхъ фасоновъ — все это вздоръ, миражъ и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебанія, существуютъ, то изъ этого слѣдуетъ только, что новые фасоны надо отмѣнить и возвратиться къ старымъ. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Разсуждая такимъ образомъ, отставные корнеты даже выходятъ изъ себя при мысли, что кто-нибудь можетъ не понять ихъ. Въ ихъ глазахъ все такъ просто, такъ ясно. Новая форма жизни — фасонъ; затѣмъ слѣдуетъ естественное заключеніе: та же случайность, которая вызвала новый фасонъ, можетъ и прекратить его дѣйствіе. Вотъ тутъ-то именно и является какъ нельзя кстати на помощь слово „вычеркнуть“, которое въ немногихъ буквахъ, его составляющихъ, резюмируетъ всѣ ихъ жизненныя воззрѣнія.

И за то, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всѣхъ этихъ плодахъ деревенскаго досуга! Листъ, много два — и дѣлу конецъ. Да и тутъ еще всякій безпристрастный читатель непремѣнно почувствуетъ не краткость, а прискорбное многословіе. Всякій читатель совершенно ясно видитъ, что авторъ ничего другого не желаетъ, кромѣ трехъ вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Слѣдовательно, взялъ бы листъ бумаги, написалъ бы на немъ эти три слова — и дѣло съ концомъ. Зачѣмъ же онъ примѣшиваетъ тутъ какого-то господина Токевиля (удерживаю фамилію этого писателя въ томъ видѣ, какъ она является въ плодахъ деревенскихъ досуговъ) *) и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а изъ отечественныхъ

*) Токевиль положительно сдѣлался популярнѣйшимъ изъ публицистовъ въ нашихъ усадьбахъ. Безъ него корнеты шагу ступить не могутъ, хотя знаютъ его только по слухамъ и устнымъ разсказамъ другихъ корнетовъ. Думалъ ли когда-нибудь знаменитый авторъ „L'ancien régime et la révolution“, что сочиненіе его можетъ послужить опорною точкой при составленіи „прожекта объ оглушеніи“?

публицистовъ—академика Безобразова и кн. Мещерскаго? Очевидно, онъ дѣлаетъ это въ обременѣніе читателю, думая, что такъ будетъ фасонистѣе.

Эта многословная краткость приводила меня въ отчаяніе еще въ то время, когда я процвѣталъ подъ сѣнью рязанско-козловско-саратовскаго клуба. Видѣть человѣка, который напруживается, у котораго на лбу жилы лопнуть готовы и изъ устъ котораго вылетаетъ безсвязное бормотаніе съ примѣсью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерскаго — можетъ ли быть зрѣлище болѣе прискорбное для сердца человѣка, сознающаго себя патріотомъ! Съ какимъ-то ужасомъ думаешь: да неужели же мы и въ самомъ дѣлѣ не можемъ двухъ мыслей порядкомъ переварить? И отчего не можемъ? оттого ли, что природа обошла насъ своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены и вслѣдствіе того подешевѣла водка? Въ каждой, въ каждой-таки деревнѣ кабакъ—какъ хотите, а тутъ хоть кого свалитъ! Развѣ „Токевиль“ въ такихъ условіяхъ писалъ свои прожекты? Развѣ Наполеонъ III заглядывалъ черезъ каждые полчаса въ буфетъ, когда диктовалъ свои мѣропріятія относительно разстрѣлянія? А мы что дѣлаемъ? Ужъ не потому ли у насъ изъ всѣхъ реформъ наиболѣе прочнымъ образомъ привилась одна — это буфеты при земскихъ собраніяхъ?

Именно отъ этой многословной краткости, отъ этихъ раздражающихъ Токевилей и Бисмарковъ я бѣжалъ изъ провинціи, и именно ее-то я и обрѣлъ опять въ Петербургѣ. Все, что въ силахъ что-нибудь дѣятельно напакостить, все, что не чуждо азбукѣ, — все это устремилось въ Петербургъ, оставивъ на мѣстахъ лишь гарнизонъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, то-есть людей, буквально могущихъ только хлопать глазами и таращить ихъ...

Но Прокопъ говоритъ, что и эти невдолгѣ пріѣдутъ.

— Вотъ погоди немного,—предсказываетъ онъ:—зашевелятся и они! И Хлобыстовскіе пріѣдутъ, и Дракины пріѣдутъ—всѣ прибѣгутъ!

Жутко, не должно сознаться, что пророчество Прокопа имѣетъ нѣкоторое основаніе. Я самъ собственными ушами слышалъ, какъ въ дебаркадерѣ желѣзной дороги одинъ изъ Хлобыстовскихъ коснѣющимъ языкомъ сказалъ:

— Гм... въ Петербургъ... скоро... сейчасъ... фью!

Теперь для меня смыслъ этого бормотанія совершенно ясенъ.

Ужели, однакожъ, и сего не довольно? ужели на смѣну нынѣшней уничтожательно-консервативной партіи грядетъ изъ мрака партія, которую придется уже назвать наиуничтожательнѣйше-консервативнѣйшею? А эта послѣдняя партія, вслѣдствіе окончательной безграмотности и незнакомства съ именемъ господина Токевиля, даже не дастъ себѣ труда писать проекты объ уничтоженіи, а просто будетъ зря махать руками направо и налѣво?

Привожу здѣсь на выдержку нѣсколько проектовъ, придерживаясь въ этомъ случаѣ указаній Прокопа.

О необходимости децентрализаціи.

„Избѣгая вреднаго многословія, приступаю прямо. Извѣстно, какія неудобства всегда и вездѣ представляла излишняя централизація. Токевиль

выражается о семъ прямо: „централизація есть зло“. Монтескью, подтверждая сіе мнѣніе, прибавляетъ: „зло, съ трудомъ поправимое даже деспотизмомъ“. Наконецъ, англійскій писатель Джонъ Стуартъ выражается такъ: „централизація есть остатокъ варварства“. Хотя же преосвященнѣйшій Георгій Конисскій, въ привѣтственной рѣчи покойной императрицѣ Екатеринѣ II, и говоритъ: „солнце наше вокругъ насъ ходитъ, да мы въ безмятежіи почиваемъ“, но сіе отнюдь не слѣдуетъ относить къ централизаціи, но къ свойственному всякому вѣрноподданному радостному чувству.

„И дѣйствительно, не токмо во Франціи, сей классической странѣ централизаціи, но и у насъ на каждомъ шагу мы видимъ плоды сего горькаго порядка вещей. Благодаря оному, какихъ хлопотъ и издержекъ, напримѣръ, стоило, дабы выиграть тяжбу въ правительствующемъ сенатѣ? сколько изнуреній даже и до-днесь нужно перенести, дабы получить въ государственномъ банкѣ какое-либо удовлетвореніе?

„Въ первомъ случаѣ необходимо было: во-первыхъ, ѣхать въ уѣздный городъ и нанимать подъячаго, который былъ бы искусенъ въ написаніи просьбъ; во-вторыхъ, идти въ судъ, подать просьбу и тамъ одарить всѣхъ, начиная съ судьи и кончая сторожемъ, такъ-какъ, въ противномъ случаѣ, просьба можетъ быть возвращена съ надписаніемъ; въ-третьихъ, отъ времени до времени посылать секретарю деревенскихъ запасовъ и писать ему льстивыя письма; въ-четвертыхъ, въ терпѣніи стяжать душу свою. И вотъ, по истеченіи двухъ-трехъ лѣтъ, уѣздный судъ даетъ, наконецъ, резолюцію, въ родѣ той знаменитой, которая разрѣшила истцу „ловить въ озерѣ рыбу *удою*“. Тогда надо ѣхать въ губернскій городъ и подавать просьбу въ гражданскую палату. И здѣсь нанимать искуснаго подъячаго, и здѣсь поголовно всѣхъ одарить, и здѣсь посылать деревенскій запасъ (при разстояніи уже значительно большемъ) и писать льстивыя письма секретарямъ. Наконецъ, года черезъ три, издаетъ палата резолюцію, которою тоже разрѣшается „ловить въ оном озерѣ рыбу *удою*“. Тогда надобно направлять стопы въ сенатъ, гдѣ по дальности разстояній подъячіе деревенскими запасами уже не берутъ, а берутъ чистыми деньгами.

„Во второмъ случаѣ, ежели вы, напримѣръ, имѣете въ банкѣ вкладъ, то забудьте о своихъ человѣческихъ немощахъ и думайте объ одномъ: что вамъ предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у васъ есть, и все въ порядкѣ, что̀ слѣдуетъ, тамъ обозначено, но, клянусь, раньше двухъ-трехъ дней процентовъ не получите! И объявленія писать вамъ придется, и расписываться, и съ сторожемъ разговаривать, и любоваться, какъ чиновникъ спичку зажечь не можетъ, какъ онъ папироску закуриваетъ, и, наконецъ, стоять, стоять и стоять!

„Таковы плоды централизаціи! Прахъ друга своего схоронить невозможно, предварительно не разстроивъ своего здоровья и не раздавъ полъ-имѣнія своего извозчикамъ!

„Наши заатлантическіе друзья давно уже сіе поняли, и Токевиль справедливо говоритъ: „въ Америкѣ—говоритъ онъ—даже самый простой мужикъ—и тотъ давно смѣется надъ централизаціей, называя ее никуда негоднымъ продуктомъ гнилой цивилизаціи“. Но зачѣмъ ходить такъ далеко? Ска-

зываютъ, даже Наполеонъ III нерѣдко въ послѣднее время о семъ поговаривалъ въ секретныхъ бесѣдахъ съ господиномъ Піетри.

„И для чего таковое непосильное изнуреніе обывателей? для того ли, чтобы власть отъ того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодѣтельныя свои для управляемыхъ насильства?

„Нѣтъ! власть нѣмотствуетъ, а государственный банкъ, тиранствуя надъ своими кліентами, нисколько симъ не возвеличивается!

„Токевиль говоритъ: „безполезное тиранство никогда пользы принести не можетъ“.

„Обыватель не можетъ своевременно процентовъ получить, а зло накопляется, распространяетъ крылѣ свои, поднимаетъ голову и въ концѣ концовъ образуетъ гидру! Обыватель тщетно расточаетъ льстивыя увѣренія передъ сонмищемъ секретарей, стараясь убѣдить ихъ въ правотѣ имущественнаго своего иска, а зло между тѣмъ рыщетъ и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и безпечно: оно не получаетъ процентовъ и не имѣетъ имущественныхъ процессовъ!

„Примѣровъ такого разслабленнаго состоянія власти множество. Приведу два или три.

„Въ селѣ проживаетъ поповскій сынъ и открыто проповѣдуетъ безначаліе. По правиламъ централизаціи, надлежитъ въ семъ случаѣ поступить такъ: начать слѣдствіе, потомъ представить оное на разсмотрѣніе, потомъ, буде найдены будутъ достаточные поводы для сужденія, то нарядить судъ. Затѣмъ судъ немедленно оправдываетъ бунтовщика, и поповскій сынъ, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ распространять свой ядъ!

„Другой примѣръ: крестьянскіе гуси потравили помѣщичій овесъ. По правиламъ централизаціи, помѣщикъ, для возстановленія нарушеннаго права собственности, поступаетъ такъ: во-первыхъ, по незнанію законовъ, обращается въ волостной судъ. Тамъ ему отказываютъ на томъ основанія, что волостные суды вѣдаютъ лишь дѣла крестьянъ между собою. Дѣлать нечего, велитъ помѣщикъ закладывать лошадей и по незнанію законовъ отправляется за двадцать, за тридцать верстъ, искать правосудія къ мировому посреднику. Сей, тоже по незнанію законовъ, принимаетъ просьбу, но черезъ двѣ недѣли, посовѣтовавшись съ своимъ письмоводителемъ, объявляетъ просителю, что нынѣ уже порядки не тѣ, и направляетъ его къ мировому судьѣ. Тѣмъ временемъ овесъ выросъ вновь, а свидѣтели преступленія, не будучи обязаны подпиской о невыѣздѣ, разбрелись по сторонамъ. Руководясь сими данными и къ тому же будучи филантропомъ, судья пишетъ отказъ и взыскиваетъ съ просителя издержки!

„Какое сердце не обольется кровью при видѣ сего!

„Тогда какъ при децентрализаціи и поповскій сынъ, распространяющій безначаліе, и крестьяне, попустившіе своимъ гусямъ наносить ущербъ помѣщичьему хозяйству, давно были бы наказаны и самое свидѣтельство о содѣянныхъ ими преступленіяхъ содѣлалось бы достояніемъ исторіи!

„Извѣстный криминалистъ Сергій Баршевъ говоритъ: „ничто такъ не

спасительно, какъ штрафъ, своевременно налагаемый, и ничто такъ не вредно, какъ безнаказанность“ *). Святая истина!

„Но что же необходимо учинить, дабы ввести сію многожелаемую и спасительную децентрализацію?

„На сіе отвѣчу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

„Можно ли назвать власть вооруженною, если для достиженія ея необходимо ѣхать за тридцать, за сорокъ верстъ, но и тутъ трепетать, что попадешь не туда, куда надлежитъ, или же что власть взглянетъ на все сіе иронически, или отзовется неимѣніемъ средствъ и указаній?

„Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннемъ желаніи помочь ближнему, она на каждомъ шагу стѣснена всякаго рода сомнительностями и пагубнымъ формализмомъ?

„Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того, чтобы быть безнаказаннымъ, стоитъ только поселиться подальше отъ становой квартиры?

„Токевиль справедливо отвѣчаетъ на сіе: невозможно.

„А между тѣмъ при нынѣшней централизаціи власть именно находится въ семъ безпомощномъ и, такъ сказать, ироническомъ состояніи.

„Губернаторы стѣснены судами, палатами, общими присутствіями. Ищутъ преданности и находятъ одно противорѣчіе.

„Исправники лишены права поступать по обстоятельствамъ, и, не имѣя прочной руководящей нити, совсѣмъ никакъ не поступаютъ.

„Становые пристава до такой степени опутаны сѣтями начальственныхъ предписаній, что вскорѣ самую жизнь за тягость себѣ почитать будутъ.

„О дворянахъ-землевладѣльцахъ умолчу.

„Всѣ жалуются и вопіютъ; вездѣ говорятъ о власти, вездѣ ищутъ сего надежнаго убѣжища, и за всѣмъ тѣмъ не токмо не приближаются къ оному, но, въ похвальномъ стремленіи всѣхъ осчастливить, постепенно все больше и больше отъ здраваго смысла отдаляются!

„И сіе все при нашихъ обширныхъ, можно сказать, даже непреоборимыхъ пространствахъ!!

„А между тѣмъ, какъ говоритъ безсмертный нашъ баснописецъ Крыловъ: вѣдь ларчикъ просто открывался!!!

„Будучи одаренъ многолѣтнею опытностью и двадцать-пять лѣтъ лично управляя моими имѣніями, я много о семъ предметѣ имѣлъ случай разсуждать, а нѣкоторое даже и въ имѣніяхъ моихъ примѣнилъ. Конечно, по малому моему чину, я не могъ своихъ знаній на широкомъ поприщѣ государственности оказать, но такъ какъ нынѣ уже, такъ сказать, принято о чинахъ произносить съ усмѣшкой, то думаю, что и я не худо сдѣлаю, ежели здѣсь мои результаты вкратцѣ попытаюсь изложить. Посему соображаю такъ:

„Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть.

---

*) Напрасно мы стали бы искать этой цитаты въ сочиненіяхъ бывшаго ректора московскаго университета. Эта цитата, равно какъ и ссылки на Токевиля, Монтескьё и проч. сдѣланы отставнымъ корнетомъ Толстолобовымъ, очевидно, со словъ другихъ отставныхъ же корнетовъ, наслышавшихся о томъ, въ свою очередь, въ земскихъ собраніяхъ.—*Примѣчаніе автора „Дневника“.*

„Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

„Затѣмъ, уже руководствуясь такими соображеніями, предлагаю:

„1) Губернаторовъ назначать вездѣ изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, яко знающихъ обстоятельства. Чинами при семъ не стѣсняться, хотя бы былъ и корнетъ, но надежнаго здоровья и опытенъ.

„2) По избраніи губернатора, немедленно онаго вооружить, освободивъ отъ всякихъ репортовъ, донесеній, а тѣмъ болѣе отъ совѣтовъ съ палатами и какими-либо присутствіями.

„3) Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящіе законы, то предоставить издавать *правила*, и отнюдь не стѣснять его въ мѣропріятіяхъ къ искорененію зла.

„4) На каждыхъ пяти верстахъ поставить особеннаго дистанціоннаго начальника изъ знающихъ обстоятельства мѣстныхъ землевладѣльцевъ, котораго также вооружить, съ предоставленіемъ искоренять зло по обстоятельствамъ.

„5) Дистанціонному начальнику поставить въ обязанность быть праздным, дабы онъ, ничѣмъ не стѣсняясь, всегда былъ готовъ принимать нужныя мѣры *).

„6) Уѣзды раздѣлить на округа (по четыре на уѣздъ), и въ каждомъ округѣ учредить изъ благонадежныхъ и знающихъ обстоятельства помѣщиковъ особливую коммисію, подъ наименованіемъ: „коммисія для изслѣдованія благонадежности“.

„7) Членамъ сихъ коммисій предоставить: а) опредѣлять степень благонадежности обывателей; б) дѣлать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вредныхъ и неблагонадежныхъ людей, преимущественно избирая для поселенія мѣста необитаемыя и ближайшія къ Ледовитому океану.

и „8) Въ вознагражденіе трудовъ положить всѣмъ симъ лицамъ приличное и вполнѣ обезпечивающее ихъ содержаніе.

„Излагая все сіе, не ищу для себя почестей, но буду доволенъ, ежели за всѣ подъятые мною труды предоставлено мнѣ будетъ хотя единое утѣшеніе — утѣшеніе сказать: *и моего тутъ капля меду есть*“.

Отставной корнетъ Петръ Толстолобовъ.

— Ну, что? каково?—присталъ ко мнѣ въ тотъ же вечеръ Прокопъ?

— Да что-жъ... хорошо-то хорошо... только вотъ насчетъ Америки какъ-то сомнительно...

— А ну ее, Америку! Главное дѣло—децентрализація чтобъ была... Согласенъ ты, что централизація—вредъ?

— Вредъ-то вредъ... что и говорить!

---

*) Пользу отъ сего я испыталъ собственнымъ опытомъ. Двадцать-пять лѣтъ я проводилъ время въ праздности, а имѣнія мои были такъ устроены, какъ дай Богъ всякому. Не оттого ли, что я всегда имѣлъ нужный досугъ?

Примѣч. автора проекта.

— Ну, а ежели вредъ, стало быть, какъ слѣдуетъ по твоему поступить?

— А чортъ его знаетъ, какъ оно тамъ...

— То-то же вотъ и есть!

— Вотъ тоже: какой-то „англійскій писатель Стуартъ“... чортъ его знаетъ, кто онъ таковъ! Ну, да и Токевиль... воля твоя, а врядъ-ли онъ такъ говорилъ!

— Что? Токевиль-то? Да я отъ Петра Иваныча Дракина самъ своими ушами слышалъ, что именно это самое у него въ книжкѣ написано! А ужъ если Петру Иванычу не повѣрить — кому же и вѣрить?

— Н-да... а все-таки какъ-то... На каждыхъ пяти верстахъ по помѣщику, и все такое... Чортъ знаетъ что!

— А я про что же говорю! Именно: чортъ не разберетъ! Ты сообрази только, какое мордобитіе-то пойдетъ — любо!

И Прокопъ залился такимъ раздражающимъ смѣхомъ, что я нѣсколько секундъ стоялъ какъ ошеломленный. Передо мной вдругъ совершенно отчетливо встала вся картина децентрализаціи по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова...

Это было ужасное зрѣлище...

Не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій — словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ.

Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ. Потомъ на́-скоро подкрѣпляютъ силы холодными закусками и водкой, и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ.

Нѣтъ ни сапожниковъ, ни портныхъ, ни музыкантовъ, ни литераторовъ, ни ученыхъ, ибо всѣхъ испытываютъ. Всѣ кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всѣми есть какой-нибудь счетецъ, и потому всѣ подлежатъ изслѣдованію.

Объятый ужасомъ, я инстинктивно схватился за графинъ и сразу выпилъ десять рюмокъ очищенной.

Другой проектъ:

О необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ.

„Новоявленный публицистъ кн. В. Мещерскій говоритъ справедливо: „реформы необходимы, но не менѣе того необходимы и знаки препинанія. Или, говоря иными словами: выпустилъ реформу — довольно, ставь точку; потомъ, спустя время, опять выпустилъ реформу и опять точку ставь. И такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока не исполнятся неисповѣдимые Божіи пути.

„Съ своей стороны скажу болѣе: не одну, а нѣсколько точекъ всякій разъ ставить не мѣшало бы. И не непремѣнно послѣ реформы, но и въ другое, свободное отъ реформъ время.

„Одно не вполнѣ ясно: какимъ образомъ все сіе исполнить? Въ теоретичной принципіальности сія мысль совершенно вѣрна, но въ практичной удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобоприменимою.

„Что такое реформа? Реформа есть такое дѣйствіе, которое человѣческимъ страстямъ сообщаетъ новый полетъ. А коль скоро страсти получили полетъ, то онѣ летятъ—это ясно. Не успѣвъ оставить гавань одной реформы, онѣ уже видятъ открывающуюся вдали гавань другой реформы, и стремятся къ ней. Вотъ здѣсь-то именно, то-есть на этомъ-то пути стремленія отъ одной реформы къ другой, и слѣдуетъ, по мысли кн. Мещерскаго, употреблять тотъ знакъ препинанія, о которомъ идетъ рѣчь. Возможно ли это?

„Возможно; но дабы получить въ семъ случаѣ успѣхъ, необходимо предварительно привести страсти въ нѣкоторое особливое состояніе, которое поставило бы ихъ въ невозможность препятствовать постановкѣ точекъ. Ибо, въ противномъ случаѣ, онѣ всенепремѣнно тому воспрепятствуютъ.

„Страсти почувствовали силу и получили полетъ—возможно ли, чтобъ онѣ, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, какъ небольшое количество благонамѣренныхъ людей будутъ ставить имъ точки? И опять, какія это точки? Ежели тѣ точки, кои обыкновенно публицисты въ сочиненіяхъ своихъ ставятъ, то развѣ великаго труда стоитъ превратить оныя въ запятыя, а въ крайнемъ случаѣ и совсѣмъ выскоблить?

„Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потомъ уже начать ставить точки, и притомъ не такія, которыя можно бы выскоблить, а настоящія, дѣйствительныя.

„Удобнѣе всего это достигается посредствомъ такъ-называемаго *оглушенія*.

„Многіе возстаютъ противъ этой системы, находя ее недостаточно человѣколюбивою и прогрессивною. Но это говорятъ люди, которые, очевидно, знакомы съ системой поверхностно или по слухамъ. Я же, напротивъ того, утверждаю: оглушеніе не только не противно либерализму, но и составляетъ необходимѣйшее отъ онаго отдохновеніе.

„Токевиль говоритъ: „такъ-называемое оглушеніе не только не противно человѣческой природѣ, но въ весьма многихъ случаяхъ даже способствуетъ возстановленію человѣческихъ силъ“. А за Токевилемъ эту истину уже повторяютъ нынѣ всѣ англійскіе публицисты.

„Съ физической стороны оглушеніе причиняетъ боль—это правда. Но съ нравственной—оно успокоиваетъ и сберегаетъ слишкомъ легко издерживающіяся силы. Да развѣ необходимо, чтобъ оглушеніе имѣло характеръ непремѣнно физическій? развѣ невозможно оглушеніе умственное и нравственное?

„Что зло повсюду распространяетъ свои корни — это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинаютъ съ того, что съ усмѣшкой отзываются о сотвореніи міра, а кончаютъ тѣмъ, что не признаютъ начальства. Все это дѣлается публично, у всѣхъ на глазахъ и притомъ съ такою самоувѣренностью, какъ будто уставъ о пресѣченіи и предупрежденіи давно уже совершилъ теченіе свое. Что могутъ въ этомъ случаѣ сдѣлать простые знаки препинанія?

„Опасность такъ велика, что не только занятыя, даже точки не упразднятъ ея. Наполеонъ I на островѣ св. Елены говорилъ: „чѣмъ сильнѣе опасности, тѣмъ сильнѣйшія должны быть употреблены средства для ихъ уврачеванія“. Подъ именемъ сихъ „сильнѣйшихъ средствъ“ что разумѣлъ великій человѣкъ? Очевидно, онъ разумѣлъ то же, что разумѣю и я, то-есть: сперва оглуши страсти, а потомъ уже ставь точку, хоть цѣлую страницу точекъ.

„Но дабы оглушеніе не противорѣчило идеямъ современнаго человѣколюбія, необходимо, чтобы оно имѣло характеръ преимущественно нравственный.

„Ежели я человѣка, посредствомъ искусно комбинированной системы воспрещеній и сокрытій, отвлеку отъ предметовъ, кои могутъ излишне плѣнять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полетъ, то этимъ я уже довольно много сдѣлаю. Но „довольно много“ еще не значитъ „все“. Человѣкъ, лишенный средствъ питать свой умъ, впадаетъ въ дремотное состояніе — но и только. Самая дремота его будетъ ненадежная и при первомъ нечаянномъ послабленіи системы сокрытій, превратится въ бдѣніе тѣмъ болѣе опасное, что, благодаря временному оглушенію, послѣдовало сбереженіе и накопленіе умственныхъ силъ.

„Необходимо, чтобы дремотное состояніе было не токмо вынужденное, но имѣло характеръ дѣятельный и искренній.

„Если, напримѣръ, пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ, или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ (самъ не видѣлъ, но изъ газетъ очень довольно знаю), или же, наконецъ, занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Таутъ. то умы ихъ будутъ дремотствовать, но дремотствовать дѣятельно.

„Предавшись чтенію сонниковъ, молодые люди будутъ ожидать отъ сего исполненія желаній. Одолѣвъ Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой увѣренности, что назначеніе человѣческой жизни ими совершено сполна. О дѣвицѣ Гандонъ — уже не говорю. Во всѣхъ сихъ упражненіяхъ, очевидно, будетъ участвовать страсть, но страсть спасительная, имѣющая въ предметѣ отличаться въ изученіи сюжетовъ безопасныхъ и малополезныхъ, какъ напримѣръ эѳіопскаго языка. И такимъ образомъ получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое, и не только не препятствующее знакамъ препинанія, но *дѣятельно* на постановку ихъ согласное.

„При таковомъ согласіи реформы примутъ теченіе постепенное и вполнѣ правильное. При наступленіи благопріятнаго времени, начальство, конечно, и безъ сторонникъ побужденій издастъ потребную по обстоятельствамъ реформу, но оная уже будетъ встрѣчена безъ сомнѣнія, ибо всякому будетъ извѣстно, что вслѣдъ затѣмъ послѣдуютъ года, кои имѣютъ быть употреблены на то, чтобы ставить той реформѣ знаки препинанія. Что, кромѣ системы нравственнаго оглушенія, можетъ дать такой, превышающій всякія ожиданія, результатъ?

„Будучи вынужденъ по непріятностямъ оставить службу и проживая въ своей чухломской усадьбѣ, я имѣлъ возможность много о семъ предметѣ

разсуждать и даже мѣняться мыслями съ нѣкоторыми уважаемыми сосѣдями, и всѣ мы пришли къ заключенію: Токевиль правъ.

„Законовъ издавать—права не имѣю; но преподать нѣчто къ изданію таковыхъ—могу.

„Съ горестью покинулъ службу; съ радостью вновь возвратился бы въ лоно оной; но удостоюсь ли сего по труднымъ и превратнымъ нынѣшнимъ обстоятельствамъ—настоящимъ образомъ предсказать не могу.

„Но ежели бы сей мой прожектъ оказался почему-либо неудобнымъ—могу написать другой, болѣе удобный".

Бывшій штатный смотритель чухломскихъ училищъ титулярный совѣтникъ Иванъ Филоверитовъ.

„P. S. Многіе изъ сверстниковъ моихъ давно уже архіереями; я же вынужденъ взяться за плугъ. А у насъ, въ Чухломѣ, и овесъ никогда болѣе какъ самъ-третéй не родится!!"

Я былъ униженъ, оскорбленъ, раздраженъ...

Вотъ, думалось мнѣ, ни образованія, ни привычки мыслить, ни даже умѣнья обращаться съ человѣческою рѣчью—ничего у этого человѣка нѣтъ, а между тѣмъ какую ужасную, ехидную мерзость онъ соорудилъ! И какъ свободно, естественно, созрѣла она въ его головѣ! Ни разу не почувствовалъ онъ потребности провѣрить себя, или посовѣтоваться съ своею совѣстью, или, наконецъ, хоть изъ чувства приличія, сослаться на какіе-нибудь факты. Нѣтъ; онъ имѣлъ въ виду только одно: что ему предстоитъ сочинить пакость, и что измышленіе его, яко пакостное, непремѣнно найдетъ себѣ прозелитовъ.

Выскажи онъ мысль сколько-нибудь человѣческую—его засмѣютъ, назовутъ блаженненькимъ, не дадутъ проходу. Но онъ явился не съ проектомъ о признаніи въ человѣкѣ человѣческаго образа (это былъ бы не проектъ, а опасное мечтаніе), а съ проектомъ о превращеніи человѣческихъ головъ въ стѣнобитныя машины—и нѣтъ хвалы, которою не считалось бы возможнымъ наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себѣ ограниченія ни въ совѣсти, ни въ знаніи.

Филоверитовъ стоялъ передо мной какъ живой. Длинный, змѣеобразный, онъ взвивался, складывался пополамъ, ползалъ. Голосъ у него былъ дѣтскій, плачущій, на глазахъ дрожали слезы крокодила. И онъ такъ вкрадчиво смотрѣлъ на меня этими глазами, какъ будто говорилъ: а хочешь, мой другъ, я засажу тебя за эѳіопскія спряженія?

А что, если въ самомъ дѣлѣ мнѣ ничего отнынѣ не дадутъ читать, кромѣ сонниковъ? Что, если ко мнѣ приставятъ педагога, который неупустительно начнетъ оболванивать меня по части памятниковъ эѳіопской письменности?

Нѣтъ! надобно все это забыть!

Но какъ забыть — вотъ вопросъ! Куда бѣжать, гдѣ скрыться отъ *его* вездѣсущія? На улицѣ, въ трактирѣ, въ клубѣ, въ гостиной—*оно* вездѣ или предшествуетъ вамъ, или бѣжитъ по пятамъ. Вездѣ *оно* гласитъ: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнетъ Толстолобовъ скользнулъ по поверхности; чухломецъ Филоверитовъ—прямо пронизалъ взоромъ въ глубь. Въ проектѣ Толстолобова черезчуръ много блеску; онъ обращаетъ слишкомъ мало вниманія на человѣческую жизнь, онъ слишкомъ охотно ею жертвуетъ. Шутка сказать! населить поморье Ледовитаго океана людьми, оказавшимися, по испытаніи, неблагонадежными! Это, наконецъ, даже непрактично! Напротивъ того, Филоверитовъ простъ и скроменъ до крайности; онъ смотритъ на человѣческую жизнь какъ на драгоцѣннѣйшій даръ Творца, и потому говоритъ: живи, но пребудь навсегда дуракомъ! Не блестяще... но какъ практично!

Но ежели нельзя забыть объ этихъ прожектахъ, то во всякомъ случаѣ надобно ихъ сжечь!

Я схватилъ всю кипу и съ какимъ-то дикимъ ожесточеніемъ бросилъ ее въ каминъ. Съ наслажденіемъ слѣдилъ я, какъ сначала повалилъ изъ-подъ кипы густой, черный дымъ; какъ отдѣльные листы постепенно свертывались, коробились и бурѣли; какъ огонь, долгое время не будучи въ состояніи осилить брошенную въ него массу бумаги, только лизалъ ея края; какъ наконецъ онъ вдругъ прорвался сквозь самый центръ массы и разомъ обхватилъ ее.

О, ужасъ! всѣ проекты, одинъ за другимъ, горѣли и уничтожались, но одинъ оставался нетлѣннымъ!

Напрасно огонь напрягалъ свои усилія, напрасно я самъ, вооружившись щипцами, пихалъ бумагу въ самую глубь камина: листъ лежалъ чистый, невредимый, безмятежный, точь-въ-точь, какъ лежалъ онъ за пять минутъ передъ тѣмъ у меня на письменномъ столѣ!

Очевидно, тутъ было какое-то указаніе, которому я, скрѣпя сердце, долженъ былъ повиноваться.

Я прочиталъ слѣдующее:

О переформированіи де-сіянсъ академіи.

„Съ юныхъ лѣтъ получилъ я сомнѣніе въ пользѣ наукъ, а затѣмъ, постепенно произрастая, все болѣе и болѣе въ томъ сомнѣніи утверждался, такъ что нынѣ, находясь въ чинѣ подполковника и съ 1807 года въ отставкѣ, даже не за сомнѣніе, а уже за вѣрное для себя оное почитаю.

„Вращаясь между людьми всякаго званія, я всегда примѣчалъ, что лишь тѣ изъ нихъ вполнѣ благополучны, кои держатъ себя въ довольномъ отъ наукъ разстояніи. Безпечная веселость лица, любезная простота нравовъ и иройство въ тѣлесныхъ упражненіяхъ—вотъ качества, отличающія истиннаго сына природы. Обладая симъ неоцѣненнымъ сокровищемъ, простодушный поселянинъ смѣло можетъ считать свой жребій болѣе счастливымъ, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступленіями. Причина же сему явная та: не зная наукъ, поселянинъ о многомъ не догадывается, а многаго и совсѣмъ не разумѣетъ. Напротивъ того, вельможа всего допытывается, но не всегда

будучи разсудительнымъ, зачастую попадаетъ совсѣмъ не въ тотъ пунктъ, куда мѣтить надлежитъ. И вслѣдствіе того приходитъ въ меланхолію, а современемъ и въ истощеніе силъ.

„Посему самымъ лучшимъ средствомъ достигнуть благополучія почиталось бы совсѣмъ покинуть науки, но какъ, по настоящему развращенію нравовъ, уже повсемѣстно за истину принято, что безъ наукъ прожить невозможно, то и намъ приходится съ сею мыслью примириться, дабы, въ противномъ случаѣ, въ военныхъ нашихъ предпріятіяхъ какого ущерба не претерпѣть. Какъ ни велико, впрочемъ, сіе горе, но и оное можно малымъ сдѣлать, ежели при семъ, смотря по обширности и величію нашего отечества, соблюдено будетъ:

„*Первое*, чтобы науки наши противъ всѣхъ прочихъ были превосходнѣе;

„ и *второе*, чтобы оныя подлинно распространяли свѣтъ, а не тьму.

„Но здѣсь предоставляется весьма щекотливый вопросъ: какъ сего достигнуть?

„На сіе отвѣчаю кратко: посредствомъ заведенія такихъ учрежденій, которыя имѣли бы въ предметѣ не распространеніе наукъ, но тщательное оныхъ разсмотрѣніе.

„Казалось бы, что съ сею именно цѣлью учреждена въ С.-Петербургѣ извѣстная де-сіянсъ академія; но ежели и была такова цѣль ея учрежденія, то сколь много она отъ оной отдалилась!

„Вмѣсто того, чтобы разсматривать науки, академія де-сіянсъ отчасти распространяла ихъ, отчасти же пребывала къ нимъ равнодушной!

„Причина такового упущенія двоякая!

„*Во-первыхъ*, члены де-сіянсъ академіи, будучи въ большей части изъ нѣмцевъ, почитаютъ для себя разсмотрѣніе наукъ за нестерпимое и несносное.

Во-вторыхъ, при обширныхъ пространствахъ, занимаемыхъ нашимъ отечествомъ, члены де-сіянсъ академіи не въ силахъ услѣдить за возникающими въ уѣздахъ и волостяхъ науками, а равнымъ образомъ, не имѣя никакихъ начальственныхъ отношеній къ капитанъ-исправникамъ, не могутъ и сихъ послѣднихъ уполномочить на то.

„Очевидно, что пока сіи двѣ причины не будутъ устранены, дѣло останется все въ прежнемъ положеніи!..

„А что положеніе сіе нестерпимо, въ томъ свидѣтельствуютъ три вещи:

1) „Въ каждомъ селеніи заведенъ кабакъ, а въ нѣкоторыхъ по два и по три.

2) „На дняхъ, въ Хвалынской губерніи, какъ свидѣтельствуетъ газета „Гражданинъ“, одна дочь оставила одного отца, дабы безпрепятственнѣе предаться наукамъ.

и 3) „На дняхъ, при моихъ глазахъ, дочь одного почтеннаго генерала рѣзала лягушку и надѣялась получить отъ сего результатъ.

„Всѣ таковые факты внушили мнѣ особливую нѣкоторую мысль, развитіе которой яснѣе выражается изъ слѣдующихъ пунктовъ.

§ 1. *Цѣль учрежденія академій.*

„Въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ учреждается особливая центральная де-сіянсъ академія, назначеніемъ которой будетъ разсмотрѣніе наукъ, но отнюдь не распространеніе оныхъ *).

„Съ тою же цѣлью, повсемѣстно, по мѣрѣ возникновенія наукъ, учреждаются отдѣленія центральной де-сіянсъ академіи, а такъ какъ нынѣ едва ли можно встрѣтить даже одинъ уѣздъ, гдѣ бы хотя о причинахъ частыхъ градобитій не разсуждали, то надо прямо сказать, что отдѣленія сіи или, лучше сказать, малыя сіи де-сіянсъ академіи разомъ во всѣхъ уѣздахъ безъ исключенія объявятся.

„Академіямъ симъ, для бо́льшаго удобства въ предстоящихъ имъ дѣйствіяхъ, прежде всего поставлено будетъ въ обязанность опредѣлить:

§ 2. *Что такое въ наукахъ сонъ?*

„Мнѣнія по сему предмету раздѣляются на правильныя и неправильныя, а въ числѣ послѣднихъ есть даже много такихъ, кои, по всей справедливости, могутъ считаться дерзкими.

„Дабы предотвратить въ столь важномъ предметѣ всякія разногласія, всего натуральнѣе было бы постановить, что только тѣ науки распространяютъ свѣтъ, кои способствуютъ выполненію начальственныхъ предписаній. Во-первыхъ, правило сіе вполнѣ согласуется съ показаніями свѣдующихъ людей и, во-вторыхъ, установляетъ въ жизни вполнѣ твердый и надежный опорный пунктъ, съ опубликованіемъ котораго всякій, кто по малодушію или изъ хвастовства вздумалъ бы противъ онаго преступить, не можетъ уже сослаться на то, что онъ не былъ о томъ предупрежденъ.

§ 3. *Какіе люди для разсмотрѣнія наукъ наиболѣе пригодны суть?*

„Люди свѣжіе и при томъ опытные.

„Какъ сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно имѣть въ виду, есть наученіе, какимъ образомъ въ исполненіи начальственныхъ предписаній быть исправнымъ надлежитъ. Таковъ фундаментъ. Но дабы въ совершенствѣ таковой постигнуть, нѣтъ надобности въ обременительныхъ или прихотливыхъ познаніяхъ, а требуется лишь свѣжее сердце и не вполнѣ поврежденный умъ. Все сіе въ свѣжемъ человѣкѣ не токмо на лицо имѣется, но даже и преизбыточествуетъ.

„Посему, какъ въ президенты де-сіянсъ академій, такъ и въ члены оныхъ надлежитъ избирать благонадежныхъ и вполнѣ свѣжихъ людей изъ

*) О составѣ и занятіяхъ сей центральной академіи умалчиваю, предоставляя устройство сего высшему начальству. Скажу только, что заведеніе сіе должно быть обширное.—*Примѣчаніе составителя проекта.*

мѣстныхъ помѣщиковъ, кои въ юности въ кадетскихъ корпусахъ образованіе получили, но отъ времени все позабыли.

„*Примѣчаніе.* Президентомъ слѣдуетъ избирать человѣка хотя и преклонныхъ лѣтъ, но лишь бы здравый умъ былъ.

§ 4. *Что отъ сего произойти можетъ?*

„Слѣдующее:

„Прежде нежели свѣжій человѣкъ приступитъ къ разсмотрѣнію наукъ, онъ постарается припомнить, въ какомъ видѣ преподавались оныя ему въ кадетскомъ корпусѣ. Убѣдившись затѣмъ, что въ его время науки имѣли видъ краткій, онъ, конечно, окомъ нѣсколько изумленнымъ взглянетъ на безчисленные томы, кои послѣ того произошли. Во-первыхъ, увидитъ онъ, что хрестоматіи появились новыя и притомъ такія, въ коихъ заключаются зачатки революціи. Во-вторыхъ, что появилось множество наукъ, о коихъ въ кадетскихъ корпусахъ даже въ упоминовеніи не было (въ особенности одна изъ нихъ вредная и, какъ распространительница бездѣльныхъ мыслей, весьма даже пагубная, называемая „Психологіей“). Третіе, наконецъ, что партикулярные люди о такихъ матеріяхъ ясно размышляютъ, о которыхъ въ прежнее время даже генераламъ не всегда размышлять дозволялось.

„Въ виду сего какъ онъ поступитъ?

„Не знаю, какъ другіе, но я поступилъ бы прямо и откровенно, то-есть сказалъ бы: все сіе навсегда прекратить!

„А кто же, кромѣ вполнѣ свѣжаго человѣка, можетъ такимъ образомъ поступить?

§ 5. *О предѣлахъ власти де-сіянсъ академій.*

„Предѣлы власти де-сіянсъ академій надлежитъ сколь возможно распространить.

„Вездѣ, гдѣ присутствуютъ науки, должны оказывать свою власть и де сіянсъ академіи. А какъ въ наукахъ главнѣйшую важность составляютъ не столько самыя науки, сколько дѣйствіе, ими на партикулярныхъ людей производимое, то изъ сего прямо явствуетъ, что ни одинъ обыватель не долженъ мнить себя отъ вѣдомства де-сіянсъ академіи свободнымъ. Слѣдственно, чѣмъ менѣе ясны будутъ границы сего вѣдомства, тѣмъ лучше, ибо нѣтъ ничего для начальника обременительнѣе, какъ ежели онъ видитъ, что пламенности его положены предѣлы.

§ 6. *О правахъ и обязанностяхъ президентовъ де-сіянсъ академій.*

„Президенты де-сіянсъ академій имѣютъ слѣдующія права:

„1) Нѣкоторыя науки временно прекращать, а ежели не замѣтятъ раскаянія, то отмѣнять навсегда.

„2) Въ остальныхъ наукахъ вредное направленіе перемѣнять на полезное.

„3) Призывать сочинителей наукъ и требовать, чтобы давали отвѣты по сущей совѣсти.

„4) Ежели даны будутъ отвѣты сомнительные, то приступать къ испытанію.

„5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и въ случаѣ открытія — таковыхъ отсылать, для продолженія наукъ, въ отдаленные и малонаселенные города.

„и 6) Вообще распоряжаться такъ, какъ бы въ комнатѣ засѣданій десіянсъ академіи никого, кромѣ ихъ, президентовъ, не было.

„Обязанности же президентовъ таковы:

„1) Дѣйствовать безъ послабленія.

„и 2) Отъ времени до времени требовать отъ обывателей представленія сочиненій на тему: „О средствахъ къ совершенному наукъ упраздненію, съ такимъ при томъ разсчетомъ, чтобы отъ сего государству ущерба не произошло, и чтобы оное, и по упраздненіи наукъ, сосѣдей своихъ въ страхѣ содержало, а отъ оныхъ почитаемо было, яко всѣхъ просвѣщеніемъ превзошедшее“.

§ 7. *Объ орудіяхъ власти президента.*

„Ближайшія орудія президента суть члены де-сіянсъ академіи.

„Права ихъ слѣдующія:

„1) Они съ почтительностью выслушиваютъ приказанія президента, хотя бы оныя и не отвѣтствовали ихъ желаніямъ.

„2) По требованію президента, являются къ нему въ мундирахъ во всякое время дня и ночи.

„3) При входѣ президента, встаютъ съ мѣстъ стремительно и шумно, и стоятъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ разрѣшено принять сидячее положеніе. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать разсмотрѣніе.

„4) Ссоръ межъ собой не имѣютъ.

„5) Въ домашнихъ своихъ дѣлахъ дѣйствуютъ по личному усмотрѣнію, при чемъ не возбраняется, однакожъ, въ щекотливыхъ случаяхъ, обращаться къ президенту за разъясненіями.

„6) Наружность имѣютъ приличную, а въ одеждѣ соблюдаютъ опрятность.

„7) Науки разсматриваютъ не ослабляючи, но, не чиня по замѣченнымъ упущеніямъ исполненія, обо всемъ доносятъ президенту.

„8) Впрочемъ, голоса не имѣютъ.

„Послѣ того, въ качествѣ орудій же, слѣдуютъ чины канцеляріи, кои пребываютъ въ непрерывномъ писаніи. Права сихъ чиновъ таковы:

„1) Они являются къ президенту по звонку.

„2) Разсматривать науки обязанности не имѣютъ, но, услышавъ нѣчто отъ постороннихъ людей, секретно доводятъ о томъ до свѣдѣнія президента.

„3) Бумаги пишутъ по очереди; написавъ одну, записываютъ оную въ регистръ, кладутъ въ пакетъ и, запечатавъ, отдаютъ курьеру для вручения; послѣ того начинаютъ писать слѣдующую бумагу и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока не испишутъ всего.

„4) Голоса не токмо не имѣютъ, но даже рта разинуть не смѣютъ.

„и 5) Относительно почтительности, одежды и прочаго поступаютъ съ такою пунктуальностью, какъ и члены.

§ 8. *О прочемъ.*

„Кромѣ сего, въ распоряженіи президента должна быть исправная команда курьеровъ.

„Что касается прочаго, то оное объявится тогда, когда де-сіянсъ академіи, въ новомъ своемъ видѣ, по всему лицу россійскія державы дѣйствіе возъимѣютъ. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется отъ меня мнѣніе насчетъ мундировъ или столовыхъ денегъ, то я во всякое время дать оное готовъ“.

Отставной полковникъ Дементій Сдаточный.

Я прочиталъ до конца, но что̀ послѣ этого было — не помню. Знаю, что сначала я ѣхалъ на тройкѣ, потомъ сидѣлъ гдѣ-то на вышкѣ (кажется, въ трактирѣ, въ Третьемъ-Парголовѣ), и угощалъ проѣзжихъ маймистовъ водкой. Сколько времени продолжалась эта исторія: день, мѣсяцъ или годъ —ничего неизвѣстно. Извѣстно только то, что *забыть* я все-таки не могъ.

Глава IV.

Не знаю, какъ долго я послѣ того спалъ, но, должно быть, времени прошло не мало, потому что я видѣлъ во снѣ цѣлый романъ.

Но прежде всего я долженъ сказать нѣсколько словъ о сновидѣніяхъ вообще.

Въ этомъ отношеніи жизнь моя рѣзко раздѣляется на двѣ совершенно отличныя другъ отъ друга половины: до упраздненія крѣпостного права и послѣ упраздненія онаго.

Клянусь, я не крѣпостникъ; клянусь, что еще въ молодости, предаваясь бесѣдамъ о святомъ искусствѣ въ трактирѣ „Британія“, я никогда не могъ безъ угрызенія совѣсти вспомнить, что всѣ эти пунши, глинтвейны и лампопо̀, которыми мы, питомцы нашей alma mater, услаждали себя—все это приготовлено руками рабовъ; что сапоги мои вычищены рабомъ и что когда я, веселый, возвращаюсь изъ „Британіи“ домой, то и спать меня укладываетъ—рабъ!.. Я ужъ тогда сознавалъ, насколько было бы лучше, чище, и благороднѣе и цѣлесообразнѣе, еслибъ лампопо̀ для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такіе же свободные люди, какъ я

самъ. А многіе ли въ то время сознавали это!? Я даже написалъ одну повѣсть (я помню, она называлась „Маланьей“), въ которой самыми негодующими красками изобразилъ безвыходное положеніе русскаго крѣпостного человѣка, и хотя по тогдашнему строгому времени цензура не пропустила этой повѣсти, но я до сихъ поръ не могу позабыть (многіе даже называютъ меня за это злопамятнымъ), что я—авторъ ненапечатанной повѣсти „Маланья“. И когда Прокопъ или кто-нибудь другой изъ „нашихъ“ начинаютъ хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать имъ, что теперь, когда всѣ вообще хвастаются безъ труда, ничего не стоитъ, конечно, прикинуть два-три словечка себѣ въ похвалу; но было время...

— Вотъ когда я свою „Маланью“ писалъ, вотъ тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Такъ говорю я въ упоръ хвастуну Прокопу, и этого напоминанія совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тонъ. Ибо, какъ онъ ни мало развитъ, но все-таки понимаетъ, что написать „Маланью“ въ такое время, когда даже въ альбомы дѣвицамъ ничего другого не писали, кромѣ:

О, Россъ! о, родъ непобѣдимый!
О, твердокаменная грудь!

—дѣло далеко не шуточное...

Тѣмъ не менѣе я долженъ сознаться, что при всей моей ненависти къ крѣпостному праву сны у меня въ то время были самые веселые. Либо ѣдешь въ гости, либо сидишь въ гостяхъ, либо изъ гостей ѣдешь съ сладкою надеждой, что въ непродолжительномъ времени опять въ гости ѣхать надо. Ничего огорчительнаго, ничего такого, что̀ имѣло бы прямое отношеніе къ „Маланьѣ“ или къ бунтовскимъ разговорамъ въ „Британіи“. Я помню, что въ „Маланьѣ“ я очень живо изобразилъ, какъ нѣкоторый Силантій томится въ темной, вонючей конурѣ. И за что̀ томится!—за то только, что не хочетъ „съ великимъ своимъ удовольствіемъ“ предоставить свою дочь Маланью любострастію помѣщика Пѣночкина! Но во снѣ тотъ же самый Силантій представлялся мнѣ ужъ совсѣмъ въ иномъ видѣ: тутъ онъ не только не изнываетъ и не томится, но, напротивъ того, или пѣсни поетъ, или Бога за меня молитъ. „Добрый я, добрый!“ —грезилось мнѣ во снѣ, и на эту сладкую грезу не оказывалъ вліянія даже тяжкій бредъ моего камердинера и раба, Гришки, который въ это самое время, разметавшись въ сосѣдней комнатѣ на войлокѣ, изнемогалъ подъ игомъ иного рода сонной фантазіи. Ему представлялся милліонъ сапоговъ, которые онъ обязывался вычистить, милліонъ печей, которыя ему предстояло вытопить, милліонъ наполненныхъ помоями лоханокъ, мимо которыхъ онъ не могъ пройти, чтобы не терзала его мысль, что онъ, а не кто другой, долженъ все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на мѣсто для дальнѣйшаго наполненія помоями... Съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ онъ вскакивалъ съ одра своего, схватывалъ въ руки кочергу и начиналъ мѣшать ею въ холодной печкѣ, а я между тѣмъ перевертывался на другой бокъ и продолжалъ себѣ потихоньку грезить: „добрый я! добрый!“

Теперь все это измѣнилось, и сновидѣнія мои приняли характеръ пе-

чальный, почти трагическій. Правда, что я все еще продолжаю ѣздить въ гости, но возвращаться вечеромъ изъ гостей ужъ не совсѣмъ безопасно. Всегда какъ-то такъ случается, что ѣдешь лѣсомъ; а ужъ коль скоро снится человѣку лѣсъ, то непремѣнно приснятся и волки. Они выбѣгаютъ на дорогу, скалятъ зубы, стучатъ ими, прыгаютъ около коляски, визжатъ, воютъ и наконецъ бросаются. Я чувствую, какъ желѣзные когти вонзаются въ мою грудь; я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ея шумное дыханіе и просыпаюсь... Конечно, осмотрѣвшись кругомъ, я успокаиваюсь и благодарю моего Создателя за то, что я не въ лѣсу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успѣваю перевернуться на другой бокъ, какъ опять сонъ. Я гуляю въ своемъ паркѣ (извѣстно, какъ опасно помѣщику ходить одному въ своемъ паркѣ съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ крѣпостныхъ садовниковъ!), и вдругъ изъ-за куста—волкъ! Опять желѣзные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыханіе...

Положимъ, что всѣ эти страхи мнимые; но если ужъ они забрались въ область сновидѣній, то ясно, что и въ реальной жизни имѣется какая-нибудь отрава. Если человѣку жить хорошо, то какъ бы онъ ни притворялся, что жить ему худо—сны его будутъ веселые и легкіе. Если жить человѣку худо, то какъ бы онъ ни разыгрывалъ изъ себя удовлетворенную невинность—сны у него будутъ тяжелые и печальные. Нѣтъ сомнѣнія, что въ сороковыхъ годахъ я написалъ „Маланью“, и слѣдовательно въ нѣкоторомъ родѣ протестовалъ, но такъ какъ, говоря по совѣсти, жить мнѣ было отлично, то протесты мои шли своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Теперь же хотя я и говорю: ну, слава Богу! совершились лучшія упованія моей молодости! — но такъ-какъ на душѣ у меня при этомъ скребетъ, то осуществившіяся упованія моей юности идутъ своимъ чередомъ, а сны—своимъ. Скажу болѣе: сны едва-ли въ этомъ случаѣ не вѣрнѣе выражаютъ дѣйствительное настроеніе моей души, нежели протесты и осуществившіяся упованія. Поэтому, когда я встрѣчаю на улицѣ человѣка, который съ лучезарною улыбкой на лицѣ объявляетъ мнѣ, что въ пошехонскомъ земствѣ совершился новый отрадный фактъ: крестьянинъ Семенъ Никифоровъ, увлеченный артельными сыроварнями, пріобрѣлъ двѣ новыя коровы! — мнѣ какъ-то невольно приходитъ на мысль: мой другъ! и Семенъ Никифоровъ, и артельныя сыроварни — все это „осуществившіяся упованія твоей юности“; а вотъ разсказалъ бы ты лучше, какія ты исторіи во снѣ видишь!

Печальные сны стали мнѣ видѣться съ тѣхъ поръ, какъ я былъ выбранъ членомъ нашего мѣстнаго комитета по улучшенію быта крестьянъ. Въ то время, какъ ни придешь бывало, въ засѣданіе, такъ и сыплются на тебя со всѣхъ сторонъ самыя трагическія новости.

— Представьте себѣ! у сосѣда моего ребенка свинья съѣла!—говоритъ одинъ членъ.

— Представьте себѣ! компаньонку моей жены волкъ искусалъ!—объясняетъ другой.

— А я вамъ доложу вотъ что-съ,—присовокупляетъ третій:—съ тѣхъ поръ, какъ эта эмансипація у насъ завелась, жена моя нарочно по деревнѣ

гулять ходитъ—и что жъ бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думаетъ передъ нею ломать!

И такимъ образомъ мы жили въ чаду самыхъ разнообразныхъ страховъ. Съ одной стороны—опасенія, что дѣтей нашихъ переѣдятъ свиньи, съ другой—грустное предвидѣніе относительно неломанія шапокъ... Возможно ли же, чтобы при такой перспективѣ мы, беззащитные, такъ сказать, временно лишенные покровительства законовъ, могли имѣть какіе-нибудь другіе сны, кромѣ страшныхъ?!

Но этого мало. Въ одно прекрасное утро намъ объявляютъ, что нашъ собственный предсѣдатель исчезъ невѣдомо куда, но „въ сопровожденіи“... Признаюсь, это ужъ окончательно сразило меня! Что жъ это будетъ, если ужъ начали пропадать предсѣдатели! И Богъ знаетъ, чего-чего ни припомнилось мнѣ по этому случаю. И анекдотъ о помѣщикѣ, котораго за продерзость приказано было всю жизнь возить по большимъ дорогамъ, нигдѣ не останавливаясь. И слышанный въ дѣтствѣ разсказъ о младенцѣ, котораго проѣздомъ родители выронили изъ саней въ снѣгъ, и только черезъ сутки потомъ изъ-подъ снѣгу вырыли. „И что жъ бы вы думали! спитъ мой младенчикъ самымъ, то-есть, крѣпкимъ сномъ, и какъ теперича его изъ-подъ снѣгу вырыли, такъ онъ сейчасъ: мама!“ —Такъ оканчивала обыкновенно моя няня разсказъ свой объ этомъ происшествіи.

Въ слѣдующую за пропажей предсѣдателя ночь я видѣлъ свой первый страшный сонъ. Сначала мнѣ представлялось, что нашего предсѣдателя возятъ со станціи на станцію и, не выпуская изъ кибитки, командуютъ: „лошадей!“ Потомъ видѣлось, что его обронили въ снѣгъ... „Любопытно бы знать“, думалось мнѣ, „отроютъ ли его, и скажетъ ли онъ: мама! какъ тотъ почтительный младенецъ, о которомъ нѣкогда повѣствовала моя няня?“

И такимъ образомъ, получивъ для страшныхъ новъ прочную реальную основу, я съ горестью убѣждаюсь, что прежніе веселые сны не возвратятся ко мнѣ, по малой мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не возвратится порождавшее ихъ крѣпостное право.

Но возвратится ли оно?

Итакъ, я видѣлъ сонъ.

Мнѣ снилось, что я былъ когда-то откупщикомъ, нажилъ милліонъ и умираю одинокій въ chambres garnies.

Около меня стоитъ Прокопъ и съ какою-то хищническою тревогой слѣдитъ за послѣдними, предсмертными искаженіями моего лица. Онъ то на меня посмотритъ, то броситъ ядовитый взглядъ на мою шкатулку. По временамъ онъ обращается ко мнѣ со словами: „ну, ну! небойсь! Богъ не безъ милости!“ Но я, съ свойственною умирающимъ проницательностью, слышу въ его словахъ нѣчто совсѣмъ другое. Мнѣ чуется, что Прокопъ говоритъ: „ужъ какъ ты ни отпрашивайся, а отъ смерти не отвертишься! такъ умирай же, ради Христа, поскорѣе, не задерживай меня понапрасну!“ Одно мгновеніе мнѣ показалось, что на губахъ его мелькнула какая-то подлѣйшая улыбка, словно онъ ужъ заранѣе меня смаковалъ, — и ахъ, какъ не понравилась мнѣ эта улыбка!

Наконецъ я испускаю послѣдній вздохъ, но не успѣваю еще окончательно потерять сознаніе, какъ вижу: шкатулка моя въ одно мгновеніе ока отперта, и Прокопъ торопливо, задыхаясь, вытаскиваетъ изъ нея мои капиталы...

Я умеръ.

Читатель! не воображай, что я человѣкъ жадный до денегъ, что я думаю только о стяжаніи, и что поэтому сребролюбивыя мечтанія даже во снѣ не даютъ мнѣ покоя. Нѣтъ; я никогда не принадлежалъ къ числу капиталистовъ, а тѣмъ менѣе откупщиковъ; никогда не задавался мыслью о стяжаніяхъ и присовокупленіяхъ, а, напротивъ того, съ такимъ постояннымъ легкомысліемъ относился къ вопросу „о производствѣ и накопленіи богатствъ“, что въ настоящее время буквально проѣдаю послѣднее свое выкупное свидѣтельство. Я съ гордостью могу сказать, что при составленіи уставной грамоты пожертвовалъ крестьянамъ четыре десятины лугу по мокрому мѣсту и всѣ безнадежныя недоимки простилъ. Когда я покончу съ послѣднимъ выкупнымъ свидѣтельствомъ, у меня останется въ виду лишь нѣсколько сотъ десятинъ худородной и отчасти болотистой земли при деревнѣ Проплёванной*), да еще какія-то надежды... На что̀ надежды—этого я и самъ хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни въ какомъ случаѣ не оставятъ меня—это несомнѣнно. Все сдается, что вотъ-вотъ совершится какое-то чудо и спасетъ меня. Напримѣръ: у другихъ ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведенія по десятерной цѣнѣ. Или еще: вдругъ Волга измѣнитъ теченіе, повернетъ лѣвѣй-лѣвѣй, и прямо въ мое имѣніе! Деревню Проплёванную при этомъ, разумѣется, разрушитъ до основанія, а мои болота обратитъ въ богатѣйшіе заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основаніе моему сну, тѣмъ не менѣе основаніе это до извѣстной степени, все-таки, не было чуждо реальности. Дѣло въ томъ, что я много лѣтъ сряду безвыѣздно живу въ провинціи, а мы, провинціалы, обдѣлываемъ свои денежныя дѣла просто, а относимся къ

*) Названіе „Проплёванной“—историческое. Однажды дѣдушка Матвѣй Ивановичъ, будучи еще корнетомъ, ѣхалъ походомъ съ своимъ однополчаниномъ, тоже корнетомъ, Семеномъ Петровичемъ Сердюковымъ. Послѣдній, надо сказать правду, былъ довольно-таки простъ, и дѣдушка хорошо зналъ это обстоятельство. И такъ какъ походомъ дѣлать было нечего, то хитрый старикъ, тогда еще, впрочемъ, полный надеждъ юноша, воспользовался простотой своего друга и предложилъ играть въ плевки (игра, въ которой дѣдушка, по истинѣ, не зналъ себѣ побѣдителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюковъ проигралъ столь значительную сумму, что долженъ былъ предоставить въ полную собственность дѣдушки свою деревню Сердюковку. Дѣдушка же, въ память о финансовой операціи, съ помощью которой онъ эту Сердюковку пріобрѣлъ, переименовалъ ее въ „Проплёванную“. Замѣчательно, что мужики долгое время сердились, когда ихъ называли „проплёванными“, а два раза даже затѣвали бунтъ. Но, благодареніе Богу, съ помощью экзекуцій все улаживалось благополучно. Впрочемъ, съ объявленіемъ мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню въ Сердюковку; но я, въ пику, продолжаю называть ихъ „проплёванными“. Я дѣлаю это въ ущербъ самому себѣ, потому что въ отмщеніе за мое названіе они ни за какія деньги не хотятъ ни косить мои луга, ни жать мой хлѣбъ; но что̀ же дѣлать? Пусть лучше хлѣбъ мой остается несжатымъ и луга нескошенными, но за то я всегда буду высоко держать мое знамя.

нимъ еще проще. Это совсѣмъ не то, что, напримѣръ, въ Петербургѣ, гдѣ ежели кто и ограбитъ умирающаго родственника, то тотчасъ же начинаетъ разсчитывать, сколько теперь у него шансовъ на полученіе бубноваго туза на спину—и сколько противъ такового полученія. Мы грабимъ не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчаетъ насъ въ подобныхъ финансовыхъ операціяхъ, то это только неудача. Удалась операція—исполать тебѣ, добру молодцу! не удалась—разиня! Достаточно посѣтить наши клубы въ дни общихъ обѣдовъ, чтобы получить любопытнѣйшія по сему предмету свѣдѣнія, особливо ежели сосѣди по бокамъ—люди знающіе и словоохотливые.

— Вотъ этого видите, вонъ того, черноволосаго, что передъ обѣдомъ такъ усердно Богу молился—онъ у своего собственнаго сына материнское имѣніе оттягалъ!—скажетъ сосѣдъ съ правой руки.

— Вотъ этого видите, вонъ того, что салфеткой брюхо себѣ застелилъ—онъ родной теткѣ конфектъ изъ Москвы привезъ, а она, поѣвши ихъ, черезъ два часа Богу душу отдала!—шепчетъ сосѣдъ съ лѣвой руки.

— А вонъ того видите—вонъ что ротъ-то разинулъ — онъ, батюшка, передъ самою эмансипаціей всѣмъ мужикамъ вольныя далъ, да всѣхъ ихъ къ купцу на фабрику и закабалилъ. Сколько деньжищъ отъ купца получилъ, да мужицкіе дома продалъ, да скотину, а земля-то вся при немъ осталась... Вотъ ты и смотри, что онъ ротъ разѣваетъ, а онъ операцію-то эту въ лучшемъ видѣ устроилъ!—снова нашептываетъ сосѣдъ съ правой руки.

И вдругъ — о, удивленіе! — человѣкъ, застилавшій брюхо салфеткой, шлетъ моему лѣвому сосѣду стаканъ шампанскаго. Разумѣется, обмѣнъ мыслей.

— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете?

— Вы какъ?

— Вашими молитвами. Послѣ обѣда пульку составить надо.

— Не вредно.

И дѣйствительно, тотчасъ же послѣ обѣда брюханъ и мой лѣвый сосѣдъ сидятъ уже за ералашемъ и дружелюбнѣйшимъ образомъ козыряютъ до глубокой ночи. И кто же знаетъ? если за брюханомъ есть конфета, то не считается ли за моимъ лѣвымъ сосѣдомъ цѣлаго пирога?

Какимъ образомъ создалась эта круговая порука снисходительности—я объяснить не берусь, но что порука эта была нѣкогда очень крѣпка — это подтвердитъ каждый провинціалъ. Однажды я былъ свидѣтелемъ оригинальнѣйшей сцены, въ которой роль героя игралъ Прокопъ. Онъ обличалъ (вовсе не думая, впрочемъ, ни о какихъ обличеніяхъ) друга своего, Анемподиста Пыркова, въ присвоеніи непринадлежащаго ему имущества.

— Ну, братъ, ужъ нѐчего тутъ очки-то вставлять! — ораторствовалъ Прокопъ:—ужъ всякому вѣдь извѣстно, какъ ты дядю-то мертваго подъ постель спряталъ, а на мѣсто его другого въ колпакѣ подъ одѣяло положилъ! Чтобы свидѣтели, значитъ, подъ завѣщаніемъ подписались, что покойникъ, дескать, въ здравомъ умѣ и твердой памяти... Штукарь вѣдь ты!

— Мѐ... финиссѐ...—умолялъ Пырковъ, простирая руки.

— Нѐчего „финиссѐ“... или ужъ по-французски заговорилъ! Ужъ что было, то было... Вонъ онъ и на кровати-то за покойника лежалъ!—вдругъ ука-

залъ Прокопъ на добродушнѣйшаго старичка, который, проходя мимо и увидѣвъ, что собралась порядочная кучка бесѣдующихъ, остановился и съ наивнѣйшимъ видомъ прислушивался къ разговору.

— Пожалуйста, финиссе... прошу!—продолжалъ умолять Пырковъ.

— Чего финиссе! Вотъ выпить съ тобой — я готовъ, да и то чтобъ бутылка за семью печатями была! А другихъ дѣловъ имѣть не согласенъ! Потому ты сейчасъ: либо конфектъ отъ Эйнема подаришь, либо пирогомъ съ начинкой угостишь! Ужъ это вѣрно!

И что жъ? черезъ какіе-нибудь полчаса, и Прокопъ, и Пырковъ сидѣли за однимъ столомъ и дружелюбнѣйшимъ образомъ чокались, что, впрочемъ, не мѣшало Прокопу отъ времени до времени язвить:

— А ужъ что ты тогда покойника подъ постель спряталъ—это, братъ, вѣрно!

Въ другой разъ, за обѣдомъ у одного изъ почтеннѣйшихъ лицъ города я услышалъ отъ сосѣда слѣдующій наивный разсказъ о двоеженствѣ нашего амфитріона.

— Служили они, знаете, въ Польшѣ-съ... ну, молоды-съ... полечки тамъ, паненочки... сейчасъ руку и сердце-съ. Вотъ только, женившись, и спохватились они, что дурно это сдѣлали. Приданаго за паненочкой — обтрепанный хвостъ-съ, а родители у нихъ престрогіе-съ. Вотъ и говорятъ они своей коханой-съ: „я, говоритъ, душенька, къ старикамъ съѣзжу, а ты, говоритъ, послѣ пріѣдешь, какъ я подготовлю ихъ“. Сказано—сдѣлано-съ. Пріѣзжаютъ это въ наши палестины, а тѣмъ временемъ родители-то ужъ вдову для нихъ приготовили. Двѣнадцать тысячъ душъ-съ. Задумались-съ. Однако, какъ увидѣли, что отъ ихней теперича рѣшительности все будущее счастіе въ зависимости состоитъ, довольно-таки твердо выговорили: „согласенъ-съ“. А потомъ, не говоря худого слова, веселымъ пиркомъ да за свадебку-съ. Пошли тутъ пиры да банкеты; они было въ Варшаву, для устройства служебныхъ дѣлъ—куда тебѣ! Наша вдовушка такъ во вкусъ вошла, что и слышать ничего не хочетъ-съ! Только проходитъ три мѣсяца, четыре-съ, получаютъ нашъ Петръ Иванычъ изъ Варшавы письмо за письмомъ-съ! А наконецъ и рѣшительное-съ. „Не знаю, говоритъ, что и подумать, коханый мой Петрусь (это она по-польски его Петрусемъ называла), я же безъ тебя не могу жить, а потому и выѣзжаю завтрашняго числа къ тебѣ“. Ну-съ, и въ другое время непріятно, знаете, этакую конфету получить, а у нихъ, кромѣ того, еще балъ на другой день въ подгородномъ имѣніи на всю губернію назначенъ-съ. Вотъ и открылись они Кузьмѣ Тихонычу — вонъ они, съ большими-то усами, по правую руку отъ нихъ сидятъ — „такъ и такъ, говорятъ, устрой!“ И что-же-съ! на другой день идетъ это балъ, кадрели, вальсы, все какъ слѣдуетъ—вдругъ входитъ Кузьма Тихонычъ, подходитъ къ хозяину, и только, знаете, шепнулъ на ушко: „алле!“ И представьте себѣ, никто даже не замѣтилъ, какъ они съ Кузьмой Тихонычемъ въ Незнамовку съѣздили (почтовая станція такъ называется, верстахъ въ четырехъ отъ ихъ имѣнія), какъ тамъ свое дѣло сдѣлали и обратно оттуда пріѣхали. И такой это пріятный балъ былъ, что долгое время вся губернія о немъ говорила! А паненочки съ тѣхъ поръ и слѣдъ простылъ. Сказывали; будто въ Незнамовкѣ стаканъ воды выпила-съ. Такъ

вотъ, сударь, какіе встарину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особливой важности дѣло сдѣлалось, а они хоть бы видъ подали!

. . . . . .

Такимъ образомъ, реальность моихъ сновидѣній не можетъ подлежать сомнѣнію. Если я самъ лично и никого не обокралъ, а тѣмъ менѣе лишилъ жизни, то во всякомъ случаѣ имѣю полное основаніе сказать; я тамъ былъ, медъ-пиво пилъ, по усамъ текло... а чортъ его знаетъ, можетъ быть, и въ ротъ попало!

И такъ, продолжаю.

Я умеръ; но такъ какъ смерть моя произошла только во снѣ, то, само собою разумѣется, что я могъ продолжать видѣть и все то, что случилось послѣ смерти моей.

Прокопъ мигомъ очистилъ мою шкатулку. Тамъ было пропасть всякаго рода цѣнныхъ бумагъ на предъявителя, но онъ оставилъ только двѣ акціи рыбинско-бологовской желѣзной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной съ нимъ губерніи (очень онъ на этотъ счетъ щекотливъ!) не на что было похоронить. Все остальное запихалъ онъ въ свои карманы и даже за голенища сапоговъ.

Потомъ Прокопъ посѣтилъ мой чемоданъ, и такъ какъ нельзя было взять вещей очень громоздкихъ, то укралъ (кажется, я вправѣ употребить это выраженіе?) два батистовыхъ носовыхъ платка. Затѣмъ онъ вскрылъ мой дорожный несессеръ и укралъ оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнивши все это, Прокопъ остановился посреди комнаты и нѣкоторое время осовѣлыми глазами озирался кругомъ, какъ бы нѣчто обдумывая. Но я—я совершенно ясно видѣлъ, что у него въ головѣ уже зрѣетъ защитительная рѣчь: „Я не укралъ—говорилъ онъ себѣ,—я только устранилъ билеты изъ мѣста ихъ прежняго нахожденія!“ Очевидно, онъ уже заразился петербургскимъ воздухомъ; онъ воровалъ безъ провинціальной непосредственности, а разсчитывая напередъ, какіе могутъ быть у него шансы для оправданія.

Затѣмъ онъ отеръ украденнымъ платкомъ лицо, позвалъ нумерного... и заплакалъ!!

Это были до такой степени настоящія слезы, что мнѣ сдѣлалось жутко. Видя, какъ онѣ текутъ по его лоснящимся щекамъ, я чувствовалъ, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь въ какую-то бездонную тьму, въ которой не можетъ быть рѣчи ни объ уликѣ, ни объ отмщеніи. Здѣсь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать слѣдъ какого бы то ни было дѣйствія. Забвеніе—и далѣе ничего...

Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моихъ законныхъ наслѣдниковъ, былъ на-лицо.

То былъ нумерной Гаврило. Очевидно, онъ наблюдалъ въ какую-нибудь щель и имѣлъ настолько вѣрное понятіе насчетъ цѣнности Прокоповыхъ слезъ, что когда Прокопъ, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тѣло, сказалъ:—Вотъ, братъ, Гаврилушко (прежде онъ никогда не называлъ его иначе, какъ Гаврюшкой), единственный другъ былъ на землѣ—и тотъ померъ!

—то Гаврило до такой степени иронически взглянулъ на него, что Прокопъ сразу все понялъ.

Тогда произошелъ между ними разговоръ, который неизгладимо напечатлѣлся въ безсмертной душѣ моей.

— Видѣлъ?

— Смотрѣлъ-съ.

— Однако, братъ, ты шельма!

— По нашей части, сударь, безъ того нельзя-съ.

— Вотъ тебѣ три серебра!

Прокопъ протянулъ зеленую кредитку; но Гаврило стоялъ съ заложенными за спину руками и не прикасался къ подачкѣ.

— Что жъ не берешь?

— Какъ возможно-съ.

— Рожна, что-ли, тебѣ нужно? Ну, сказывай!

— А вотъ какъ-съ. Тысячу рублей деньгами, да изъ платья, да изъ бѣлья—это чтобы сейчасъ. А впослѣдствіи, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей въ мѣсяцъ... вина ведро-съ.

— Да ты очумѣлъ?

— Это какъ вамъ угодно-съ. Угодно — сейчасъ можно людей скричать-съ?

— Стой! мы вотъ какъ сдѣлаемъ. Деньги тебѣ сейчасъ—сто рублей...

— Никакъ невозможно-съ.

— Да ты слушай! Денегъ сейчасъ тебѣ сто... ну, двѣсти рублей. Да слушай же, братецъ, не торопись. Денегъ сейчасъ тебѣ... ну, триста рублей. Потомъ увезу я тебя къ себѣ въ деревню и сдѣлаю надъ всѣми моими имѣніями въ родѣ какъ оберъ-мажордомомъ... понимаешь?

— А какое будетъ въ деревнѣ положеніе?

— Жалованья — пятнадцать рублей въ мѣсяцъ. Одежда, пища, вино —это само собой.

Гаврило, однако жъ, мялся.

— Сумнительно, сударь,—наконецъ произнесъ онъ:—какъ бы послѣ обиды отъ васъ не было. Многіе вотъ такъ-то обѣщаютъ, а послѣ, гляди, свидѣтелевъ-то на тотъ свѣтъ угодить норовятъ.

Но я уже видѣлъ, что колебанія Гаврилы не могутъ быть продолжительны. Дѣйствительно, Прокопъ набавилъ всего полтину въ мѣсяцъ—и торгъ былъ заключенъ. Тутъ же Прокопъ вынулъ изъ кармана триста рублей, затѣмъ вытащилъ изъ чемодана двѣ рубашки, всѣ носовые платки, новый сюртукъ (я только-что сдѣлалъ его у Тедески) и вручилъ добычу Гаврюшкѣ.

Никогда я такъ ясно не ощущалъ, что душа моя безсмертна, и въ то же время никогда съ такою опредѣленностью не сознавалъ, до какой степени можетъ быть безпомощною, безсильною моя безсмертная душа!

Я могъ рѣять въ эмпиреяхъ, могъ съ быстротой молніи перелетать черезъ громаднѣйшія пространства, могъ все видѣть, все слышать, могъ страдать и негодовать, но не могъ одного: не могъ воспрепятствовать грабежу моихъ наслѣдственныхъ и благопріобрѣтенныхъ капиталовъ.

Черезъ часъ въ моемъ нумерѣ уже ходили взадъ и впередъ какія-то

неизвѣстныя личности (изъ нихъ только одна была мнѣ знакома—это поручикъ Хватовъ), которыя описывали, опечатывали, составляли протоколы, однимъ словомъ, принимали такъ-называемыя охранительныя мѣры. И никто изъ нихъ не удивился, что въ моей шкатулкѣ оказалось всего-на-все двѣ акціи рыбинской-бологовской желѣзной дороги, да старинная копѣечка, которою когда-то благословила дѣдушку Матвѣя Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось страннымъ, что у меня нѣтъ *ни одного* носового платка. Никому не пришло въ голову поинтересоваться, отчего у Прокопа такъ безобразно оттопырились карманы пиджака. „Пришли, понюхали—и ушли". Одинъ Хватовъ на мгновеніе какъ бы удивился.

— Скажите на милость!—воскликнулъ онъ, обращаясь къ Прокопу:—я вѣдь, признаться, воображалъ, что они—милліонщики!

— Ну да, держи карманъ — милліонщики! Въ прежнее время — это точно, и изъ помѣщиковъ милліонщики бывали! а съ тѣхъ поръ какъ прошла надъ нами эта „сипація" — всѣмъ намъ одна цѣна: грошъ! Конечно, вотъ кабы дали на концессіи разжиться—ну, тогда слова нѣтъ; да и тутъ подлецъ Мерзавскій надулъ!

— Сс...

— Ужъ такъ были бѣдны! такъ бѣдны! — лгалъ, въ свою очередь, и Гаврюшка: — какъ только дотянули! Третьяго-дня подходятъ это ко мнѣ: „Гаврилушка, говорятъ, дай на два дня три цѣлковыхъ!"

Издержки по погребенію моего тѣла принялъ Прокопъ на свой счетъ, и, надо отдать ему справедливость, устроилъ похороны очень прилично. Прекраснѣйшія дроги, шесть поповъ, хоръ пѣвчихъ и цѣлый взводъ факельщиковъ, а сзади громаднѣйшій кортежъ, въ которомъ приняли участіе всѣ находящіеся въ Петербургѣ на-лицо кадыки. На могилѣ моей одинъ изъ кадыковъ началъ говорить, что душа безсмертна, но зарыдалъ и не кончилъ. Видя это, отецъ протоіерей поспѣшилъ на выручку.

— Достославный боляринъ!—произнесъ онъ, обращаясь къ моему гробу: —не будемъ много глаголати, но скажемъ кратко. Что̀ означаетъ сіе торжество? Сіе торжество прискорбное, ибо оно означаетъ, что душа твоя оставила насъ, друзей и присныхъ твоихъ! Но сіе торжество и радостное, ибо отколѣ бѣжала душа твоя и куда воспарила? Она бѣжала отъ прегорькія сей юдоли и воспарила въ высоты! Днесь вкушаетъ она отъ трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душе! вкушай пищу благопотребную, вкушай вѣчно! Мы же, воспоминая о тебѣ, друже нашъ, да не постыдимся!

Эти слова были сигналомъ къ отъѣзду кортежа въ ближайшую кухмистерскую, гдѣ Прокопъ заказалъ погребальный обѣдъ. Ѣли: щи, приготовленныя кухаркой Карнѣевой, московскихъ поросятъ съ кашей, осетрину порусски, жареную телятину и ледникъ (мороженое). И я имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили ихъ.

По настоящему, на этомъ мѣстѣ мнѣ слѣдовало проснуться. Умеръ, ограбленъ, погребенъ — чего ждать еще болѣе? Но послѣ продолжительнаго пьянственнаго бдѣнія организмъ мой требовалъ не менѣе продолжительнаго освѣженія сномъ, а потому сновидѣнія слѣдовали за сновидѣніями, не пре-

рываясь. И при этомъ съ замѣчательнымъ упорствомъ продолжали разработывать разъ начатую тему ограбленія.

Душа моя не могла болѣе выдерживать зрѣлища Прокоповой безнаказанности—и воспарила. А однажды воспаривши, мой духъ совершенно естественно очутился въ господской усадьбѣ при деревнѣ Проплёванной.

На этотъ разъ, впрочемъ, сонная фантазія не представила мнѣ никакихъ преувеличеній. Передъ умственнымъ взоромъ моимъ дѣйствительно стояла моя собственная усадьба, съ потемнѣвшими отъ дождя стѣнами, съ составленными изъ кусочковъ стекла окнами, съ проржавѣвшею крышей, съ завалившеюся оранжереей, съ занесенными снѣгомъ въ саду дорожками, однимъ словомъ, со всѣми признаками несомнѣнной опальности, въ которую ввергла ее такъ-называемая „катастрофа“.

Зимній вечеръ близится къ концу; въ окнахъ усадьбы тамъ и сямъ мелькаетъ свѣтъ. Я незримо пробираюсь въ домъ и застаю моихъ присныхъ въ гостиной. Тутъ и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лелечка. Онѣ сидятъ съ работой въ рукахъ и при трепетномъ свѣтѣ сальной свѣчи разсуждаютъ, что̀ было бы, кабы, да какъ бы оно сдѣлалось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидѣли и въ то же время любили. Какъ было имъ не ненавидѣть меня? Я былъ богатъ, онѣ—бѣдны! И чѣмъ быстрѣе я обогащался, тѣмъ быстрѣе росла моя холодность къ нимъ. Сколько разъ онѣ умоляли меня (разумѣется, каждая съ глазу на глазъ и по секрету отъ другой) дозволить имъ „походить“ за мной, а ежели не имъ, то вотъ хоть Фофочкѣ или Лелечкѣ. И я всякій разъ съ безпримѣрною въ семейныхъ лѣтописяхъ черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвилъ при этомъ. Еще недавно, передъ самымъ отъѣздомъ моимъ въ послѣдній разъ въ Петербургъ, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мнѣ изъ Ветлуги и уговаривала довѣриться ей.

— Неровёнъ часъ, братецъ,—говорила она: — и занеможется вамъ, и другое что̀ случится—все лучше, какъ родной человѣкъ подлѣ! Принять, подать...

— Вотъ сестра Марья тоже просится...

Я сказалъ это нарочно, ибо зналъ, что одно упоминовеніе имени сестрицы Машеньки выведетъ сестрицу Дашеньку изъ себя. И дѣйствительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всѣхъ парусахъ. Ужъ лучше перваго встрѣчнаго наемника, чѣмъ Марью Ивановну! Разбойникъ съ большой дороги—и у того сердце мягче, добрѣе, нежели у Марьи Ивановны! Марья Ивановна! да развѣ не ясно, какъ дважды два четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топоромъ!

— Развѣ примѣры-то эти, братецъ, не бывали?!

Тѣмъ не менѣе я остался глухъ ко всѣмъ просьбамъ и предложеніямъ, и за то имѣлъ удовольствіе видѣть, какая глубокая ненависть блестѣла въ глазахъ обѣихъ сестрицъ, когда онѣ прощались со мной, отправляясь обратно въ Ветлугу.

Но въ то же время онѣ не могли и не любить меня. Кошка усматриваетъ вдали кусокъ сала, и такъ какъ опытъ прошлыхъ дней доказываетъ,

что этого куска ей не видать какъ своихъ ушей, то она естественнымъ образомъ начинаетъ ненавидѣть его. Но, увы! мотивъ этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидитъ, а судьбу, разлучающую ее съ нимъ. Напрасно старается она забыть о салѣ, напрасно отворачивается отъ него, начинаетъ замывать лапкой мордочку, ловить зубами блохъ и проч. Сало—такая вещь, не любить которую невозможно. И вотъ она принимается любить его. Любить—и въ то же время ненавидѣть...

— А развѣ я не былъ именно такимъ кускомъ сала для моихъ сестрицъ?

Онѣ до того любили меня, что ради меня даже другъ друга возненавидѣли. Не существовало на свѣтѣ той клеветы, того подозрѣнія, о которыхъ не было бы заявлено въ нашихъ интимныхъ семейныхъ бесѣдахъ. И Фофочка, и Лелечка—все переплелось, перепуталось въ этой безконечной сѣти любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. „И легъ и всталъ“, „походя воруетъ“, „грабитъ“, „добро изъ дому тащитъ“—таковъ былъ созданный временемъ семейный нашъ лексиконъ, и ежели этотъ безсмысленный винигретъ всевозможныхъ противорѣчій, увертокъ и оговорокъ могъ казаться для посторонняго человѣка забавнымъ, то жить въ немъ, играть въ немъ дѣятельную роль—было просто нестерпимо.

— И что вы грызетесь!—говорилъ я имъ иногда подъ добрую руку:—каждой изъ васъ по двугривенному дать—за глаза довольно, а вы вотъ думаете милліонъ послѣ меня найти, и добромъ подѣлить не хотите: все какъ бы одной захапать!

— Это не я, братецъ, это сестрица Даша! Это она завистлива; а мнѣ что! Я и своимъ предовольна-довольна!—оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не я, братецъ, это сестрица Маша! мнѣ что! Это она завистлива, а я и своимъ предовольна-довольна!—въ свою очередь оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И такимъ образомъ въ взаимныхъ поклепахъ шло время, покуда мои милліоны не очутились въ рукахъ Прокопа.

И такъ, сестрицы сидѣли въ гостиной усадьбы Проплёванной и толковали. Взаимное горе соединило ихъ, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живѣе. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутыхъ надеждъ и случившагося разоренія. Если бы не Машенькины интриги — братецъ навѣрное отказалъ бы свой милліонъ Дашенькѣ, и наоборотъ. Хотя же усадьба Проплёванная и принадлежала имъ несомнѣнно, но большого утѣшенія въ этомъ онѣ не видѣли. Во-первыхъ, трудно подѣлить землю: кому отдать просто худородную землю, кому — болота и пески? Во-вторыхъ, домъ: неминучее дѣло продать его за безцѣнокъ на свозъ. Отдать Машенькѣ—будетъ протестовать Дашенька; отдать Дашенькѣ—будетъ протестовать Машенька. Кончится тѣмъ, что придется выписать изъ Петербурга адвоката, который и присудитъ себѣ Проплёванную за труды. Слѣдовательно въ будущемъ видѣлись только ссоры, утучненіе адвоката и безконечное, безвыходное галдѣніе. И куда дѣлся этотъ милліонъ? Вотъ кабы онъ былъ на-лицо, такъ тогда точно, подѣлить было бы не трудно! Вотъ вамъ,

Марья Ивановна, пятьсотъ тысячъ; а вотъ вамъ, Дарья Ивановна, пятьсотъ тысячъ. Это была такая свѣтлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабыли даже о взаимной враждѣ своей.

— Самъ! самъ передъ отъѣздомъ въ Петербургъ говорилъ: „милліона, говоритъ, добромъ подѣлить не хотите!“ —восклицаетъ сестрица Марья Ивановна, и отъ волненія даже вскакиваетъ съ мѣста и грозится куда-то въ пространство кулакомъ.

— Сама собственными ушами слышала, какъ говорилъ: „милліона, говоритъ, добромъ подѣлить не хотите!“ —вторитъ съ невольнымъ увлеченіемъ сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лелечка, Нисочка, Аннинька пожимаютъ плечиками и, шепелявя на институтскій манеръ, произносятъ:

— Это ужасно! Это ужъ Богъ знаетъ что!

— И куда этотъ милліонъ дѣвался?

— Точно въ прорву какую этотъ милліонъ провалился!

— То-есть руку на отсѣченье отдаю, что Прокопка-мерзавецъ его укралъ!

— Онъ, онъ, онъ! Кому другому украсть, какъ не ему, мерзавцу!

— Сказываютъ, нашъ-то пьяница такъ и не разставался съ нимъ въ послѣднее время! Куда нашъ пропоецъ идетъ—глядишь, и подлецъ за нимъ слѣдомъ!

— А я такъ слышала: еще гдѣ до свѣту, добрые люди отъ заутрени возвращаются, а они ужъ въ трактиръ пьянствовать бѣгутъ! Вотъ и допьянствовался голубчикъ!

— У нашего-то, говорятъ, даже глаза напослѣдокъ отъ пьянства остановились!

— Какъ не остановиться! съ утра до вечера водку жралъ! Тутъ хоть желѣзный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мнѣ дѣлается такъ жаль, такъ жаль моихъ бѣдныхъ сестрицъ! Правда, что онѣ не совсѣмъ-то вѣжливо обо мнѣ отзываются, но вѣдь и я съ ними поступилъ... ахъ, какъ я поступилъ! Шутка сказать — милліонъ! Чье сердце не содрогнется при этомъ словѣ! И какъ удачно этотъ Прокопъ дѣло обдѣлалъ! Ни малѣйшаго усложненія! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, какъ на подложномъ завѣщаніи, и потомъ стала бы этимъ завѣщаніемъ его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взялъ, укралъ —и былъ таковъ!

Но часы бьютъ одиннадцать, и сестрицы расходятся по угламъ. Тѣмъ не менѣе сонъ долгое время не смежаетъ ихъ глазъ; какъ тѣни, бродятъ онѣ, каждая въ своемъ углу, и все мечтаютъ, все мечтаютъ.

— Ужъ кабы я на мѣстѣ Прокопки-подлеца была,—мечтаетъ сестрица Марья Ивановна:—ужъ, кажется, такъ бы... такъ бы! Ну, вотъ ни съ эстолько этой Дашкѣ-поскудѣ не оставила бы!

Сестрица отмѣриваетъ на мизинцѣ самую крохотную частицу, и какъ-то такъ загадочно улыбается, что нельзя даже опредѣлить, что въ этой улыбкѣ играетъ главную роль: блаженство или злорадство.

— Ужъ кабы я на мѣстѣ подлеца-Прокопки была,—съ своей стороны мечтаетъ сестрица Дарья Ивановна:—ужъ, кажется, такъ бы... такъ бы! Ну, вотъ ни съ эстолько эта Машка-поскуда отъ меня бы не увидала!

И тоже отмѣриваетъ крохотную частицу на мизинцѣ, и тоже улыбается загадочною блаженно-злорадною улыбкой.

Минутное сожалѣніе, которое я только-что почувствовалъ-было къ сестрицамъ, смѣняется негодованіемъ. Мнѣ думается: если несомнѣнно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Развѣ кража, совершонная „кровными“, имѣетъ какой-нибудь особенный вкусъ противъ кражи, совершонной посторонними?

И въ умѣ моемъ невольно возникаетъ вопросъ: что могло бы случиться, еслибъ мой милліонъ былъ устраненъ изъ своего первоначальнаго помѣщенія не Прокопомъ, а, напримѣръ, сестрицей Машей?

Во-первыхъ, для меня, или, лучше сказать, для моего тѣла — послѣдствія были бы самыя скверныя.

Хотя я и знаю, что Прокопъ проѣдаетъ свое послѣднее выкупное свидѣтельство, но покуда онъ еще не проѣлъ его, онъ сохраняетъ всѣ внѣшніе признаки человѣка достаточнаго, живущаго въ свое удовольствіе. Слѣдовательно, обокравши меня, онъ по крайней мѣрѣ имѣлъ полную возможность дать полный просторъ чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Онъ *могъ* нанять прекраснѣйшія дроги для моего гроба, *могъ* устроить для меня погребеніе съ шестью попами и обѣдъ у кухмистера. И еслибъ выискался вольнодумецъ, который сказалъ: „вотъ какъ свободно можетъ человѣкъ распоряжаться награбленными деньгами!“ Прокопъ могъ бы, въ видѣ опроверженія, вынуть изъ кармана *свое собственное* выкупное свидѣтельство и сунуть его вольнодумцу подъ носъ: „вотъ оно!“

Напротивъ того, ограбь меня сестрица Маша — о великолѣпіи, сопровождавшемъ мое погребеніе, не могло бы быть и помину. Будучи состоянія бѣднаго и погребая брата, оставившаго послѣ себя только старинную копѣечку да двѣ акціи рыбинско-бологовской желѣзной дороги, она, для того только, *чтобы не обличить самое себя*, обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребенію до послѣдней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолѣпный кортежъ кадыковъ! Кто знаетъ, не было ли бы мое тѣло въ такомъ случаѣ погребено гдѣ-нибудь на островѣ Голодаѣ? И имѣла ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякаго рода ощущенія, какъ она дѣлаетъ это теперь, когда тѣло мое, по милости Прокопа, погребено въ 1-мъ классѣ волковскаго кладбища?

Стало быть, съ точки зрѣнія моего тѣла, еще бабушка на-двое сказала, выгоднѣе ли было бы, еслибъ меня обокрала сестрица Маша, а не Прокопъ.

Во-вторыхъ, *для моего капитала*—послѣдствія были бы едва-ли менѣе невыгодны. Обладая *своимъ собственнымъ* выкупнымъ свидѣтельствомъ, Прокопъ, подъ его эгидой, имѣетъ полную возможность пустить въ ходъ мои деньги. Онъ можетъ и у Бореля кредитъ себѣ открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего добраго, и концессію получить. И никто не имѣетъ юридическаго основанія сказать: „вотъ какъ человѣкъ на награбленныя

деньги кутитъ!“ А такъ-какъ я и самъ при жизни любилъ, чтобъ мой капиталъ имѣлъ обращеніе постоянное и быстрое, то душа моя можетъ только радоваться, что въ рукахъ Прокопа онъ не прекращаетъ своего теченія, не дѣлается мертвымъ.

Напротивъ того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты отъ всѣхъ взоровъ, потому что всякому слишкомъ хорошо извѣстно, что собственно у нея нѣтъ даже мѣднаго гроша за душой. Но скрыть — этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешніе свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши съ бдительностью аргуса слѣдили бы за каждымъ ея шагомъ. Купила Маша фунтъ икры—сейчасъ Даша: „а Машка-воровка нынѣче ужъ икру пòходя ѣстъ!“ Сшила Маша Нисочкѣ ситцевое платьице—сейчасъ Даша: „а видѣли вы, какъ воровка-то наша принцессу свою вырядила?!“ Чѣмъ могло бы кончиться это ужасное преслѣдованіе? А вотъ чѣмъ: въ одно прекрасное утро, убѣдясь, что украденный капиталъ принесъ ей только терзанія, Маша съ отчаянія бросила бы его въ отхожее мѣсто... Каково было бы смотрѣть на это душѣ моей!

Стало быть, какъ ни кинь, а выходитъ, что даже лучше, что меня обокралъ Прокопъ, а не сестрицы.

Но въ ту минуту, когда я пришелъ къ этому заключенію, должно быть, я вновь перевернулся на другой бокъ, потому что сонная моя фантазія вдругъ оставила родныя сѣни и перенесла меня, по малой мѣрѣ, верстъ за пятьсотъ отъ деревни Проплёванной.

Я очутился въ усадьбѣ Прокопа. Онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ; передъ нимъ, въ позѣ болѣе нежели развязной, стоялъ Гаврюшка.

Прокопъ постарѣлъ, посѣдѣлъ и осунулся. Онъ глядѣлъ исподлобья, но когда, по временамъ, вскидывалъ глаза, то отъ нихъ исходилъ какой-то хищный, фальшивый блескъ. Что-то среднее между „убью!“ и „боюсь!“ видѣлось въ этихъ глазахъ.

Очевидно было, что устраненіе моихъ денегъ изъ первоначальнаго ихъ помѣщенія не прошло ему даромъ, и что въ его жизнь проникло новое начало, дотолѣ совершенно ей чуждое. Это начало—всегдашнее, никогда не оставляющее человѣка, совершившаго рискованное предпріятіе по присвоенію чужой собственности, опасеніе, что вотъ-вотъ сейчасъ все кончится, соединенное съ чувствомъ унизительнѣйшей зависимости вотъ отъ этого самаго Гаврюшки, который въ эту минуту въ такой нахальной позѣ стоялъ передъ нимъ.

И дѣйствительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтобъ понять всю горечь Прокопова существованія. Правда, Гаврюшка еще не сидѣлъ, а стоялъ передъ Прокопомъ, но по отставленной впередъ ногѣ, по развязно-заложеннымъ между петлями сюртука пальцамъ руки, по осовѣлымъ глазамъ, которыми онъ съ наглѣйшею самоувѣренностью озирался кругомъ, можно было догадываться, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ возьметъ да и сядетъ.

— На чтò жъ это теперича похоже-съ!—докладывалъ Гаврюшка: — я ему говорю: предоставь мнѣ Аннушку, а онъ, вмѣсто того, чтобъ угожденіе сдѣлать...

— Да пойми ты, ради Христа! развѣ могу я его заставить? такіе ли

теперь порядки у насъ? Вотъ кабы лѣтъ пятнадцать долой—ну, тогда точно! Развѣ жалко мнѣ Аннушки-то?

— Это какъ вамъ угодно-съ. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите... А только доложу вамъ, что ежели, паче чаянья, и дальше у насъ такъ пойдетъ—большіе у насъ будутъ съ вами нелады!

— Да опомнись ты! чего тебѣ отъ меня еще нужно? Сколько ты денегъ высосалъ! сколько винища одного вылакалъ! Натко съ чѣмъ еще присталъ: Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человѣкъ! ну, скажи же ты мнѣ, какъ я могу его принудить уступить тебѣ Аннушку? Умный ли ты человѣкъ, или нѣтъ?

— Опять-таки, это какъ вамъ угодно. А я съ своей стороны полагаю такъ: вмѣстѣ похищеніе сдѣлали—вмѣстѣ, значитъ, и отвѣчать будемъ.

— Вотъ видишь ли, какъ ты со мной говоришь! Ну, какъ ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящій человѣкъ былъ — ну, смѣлъ ли бы ты со мной такъ говорить! Гдѣ у тебя рука?

— Гдѣ-же рука-съ! при мнѣ-съ!

— То-то вотъ „при мнѣ-съ“! Развѣ такъ отвѣчаютъ? Развѣ смѣлъ бы ты мнѣ такимъ родомъ отвѣтить, кабы ты человѣкъ былъ! „При мнѣ-съ“! А я вотъ тебѣ, свиньѣ, снисхожу! Зачѣмъ снисхожу? Оказалъ ты мнѣ услугу —я помню это и снисхожу! Вотъ и ты, кабы ты былъ человѣкъ, а не свинья, тоже бы понималъ!

— А я, напротивъ того, такъ понимаю, что съ моей стороны къ вамъ снисхожденіевъ не въ примѣръ больше было. И коли ежели изъ насъ кто свинья, такъ скорѣе всего вы противъ меня свиньей себя показали!

Я ожидалъ, что Прокопъ раздеретъ на себѣ ризы и, во всякомъ случаѣ, хоть одну скулу да своротитъ Гаврюшкѣ на сторону. Но онъ только зарычалъ, и притомъ такъ деликатно, что лишь безсмертная душа моя могла слышать это рычаніе.

— Для тебя ли, подлецъ, мало дѣлается!—говорилъ онъ, дѣлая неимовѣрныя усилія, чтобъ сообщить своему голосу возможно-мягкіе тоны: — мало ли тебѣ въ прорву-то пихали! Вспомни... искаріотъ ты этакой! Заставилъ ли я тебя, каналья ты этакая, когда-нибудь хоть пальцемъ объ палецъ ударить? И за что только тиранишь ты меня, безчувственный ты скотъ?

— Это какъ вамъ угодно-съ. Только я такъ полагаю, что ежели мы вмѣстѣ похищеніе дѣлали, такъ вмѣстѣ, значитъ, слѣдуетъ намъ и линію эту вести. А то какой же мнѣ теперича, значитъ, разсчетъ! Вотъ вы, сударь, на диванѣ теперича сидите — а я стою-съ! Или опять: вы за столомъ кушаете, а я, какъ какой-нибудь холопъ — въ застольной-съ... На что похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что началъ даже кричать. А такъ какъ онъ съ утра былъ пьянъ (очевидно, съ самаго дня моего погребенія, онъ ни одной минуты не былъ трезвъ), то къ крику присоединились слезы.

Прокопъ нѣкоторое время смотрѣлъ на него съ выпученными глазами, но наконецъ-таки обнялъ всю необъятность Гаврюшкиныхъ претензій, и не выдержалъ, то-есть съ поднятыми дланями устремился къ негодяю.

— Вонъ... курицынъ сынъ!—гремѣлъ онъ, не помня себя.

— Это какъ вамъ угодно-съ. Только какое вы слово теперича мнѣ сказали... ахъ, какое это слово! Ну, да и отвѣтите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка съ шикомъ повернулся на каблукахъ и не торопясь вышелъ изъ кабинета. А Прокопъ продолжалъ стоять на мѣстѣ, ошеломленный и уничтоженный. Наконецъ онъ, однакожъ, очнулся и быстро зашагалъ по комнатѣ.

— Каждый день такъ! каждый день!—слышалось мнѣ его невнятное бормотаніе.

Прокопъ былъ несчастливъ. Онъ укралъ милліонъ, и не только не получилъ отъ того утѣшенія, но убѣдился самымъ наглядным образомъ, что совершилъ кражу исключительно въ пользу Гаврюшки. Онъ не могъ ни одной копѣйки изъ этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка былъ всегда тутъ, и при первой попыткѣ Прокопа что-нибудь пріобрѣсти замѣчалъ: „а вѣдь мы вмѣстѣ деньги-то воровали“. Стало быть, положеніе Прокопа было, приблизительно, такое же, какъ и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, еслибъ не Прокопъ, а она украла мои деньги. Вездѣ и всегда Гаврюшка! Онъ болталъ безъ умолку, и если еще не выболталъ тайны во всемъ ея составѣ, то о многомъ уже далъ подозрѣвать. Самое присутствіе Гаврюшки въ имѣніи, льготы, которыми онъ пользовался, нахальное его поведеніе — все это уже представляло богатую пищу для догадокъ. Дворовые уже шепчутся между собою, а шопотъ этихъ людей —первый знакъ, что нѣчто должно случиться. Прокопъ видѣлъ это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что изъ его положенія только два выхода: или самоубійство, или...

И Прокопъ все шагалъ и шагалъ, какъ будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моемъ мѣстѣ не сдѣлалъ этого!—бормоталъ онъ:— кто бы свое упустилъ! Хоть бы эта самая Машка или Дашка — ну, развѣ онѣ не воспользовались бы? А вѣдь онѣ, по настоящему-то, даже и сказать не могутъ, зачѣмъ имъ деньги нужны! Вотъ мнѣ, напримѣръ... ну, я.. что бы, напримѣръ... ну, пятьдесятъ бы стипендій пожертвовалъ... Театръ тамъ „Буффъ“, что-ли... тьфу! А имъ на что? Такъ, жадность одна!

Но ехидная мысль: „или самоубійство, или...“, разъ забравшись въ голову, наступаетъ все больше и больше. Напрасно онъ хочетъ освободиться отъ нея при помощи разсужденій о томъ, какое можно бы сдѣлать полезное употребленіе изъ украденнаго капитала: она тутъ, она жметъ и преслѣдуетъ его.

— Позвать Андрея!—наконецъ кричитъ онъ въ переднюю.

Андрей — старый дядька Прокопа, въ настоящее время исправляющій у него должность мажордома. Это старикъ добрѣйшій, неспособный муху обидѣть, но за всѣмъ тѣмъ Прокопъ очень хорошо знаетъ, что ради него и его интересовъ Андрей готовъ даже на злодѣяніе.

— Надо намъ отъ этого Гаврюшки освободиться! — обращается Прокопъ къ старому дядькѣ.

— И что за причина такая?—вздыхаетъ на это Андрей.

— Ну, братъ, причина тамъ или не причина, а надо намъ отъ него освободиться!

— Въ шею бы его, сударь!

— Кабы можно было въ шею, развѣ сталъ бы я съ тобой, дуракомъ, разговаривать!

Наступаетъ нѣсколько минутъ молчанія. Прокопъ ходитъ по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхаетъ.

— Надо его вотъ такъ!.. — наконецъ произноситъ Прокопъ, дѣлая правою рукой жестъ, какъ будто прищелкиваетъ большимъ пальцемъ блоху.

— Да вѣдь и то, сударь, съ утра до вечера винище трескаетъ, а все лопнуть не можетъ!—объясняетъ Андрей и по обыкновенію своему прибавляетъ:—и что за причина такая—понять нельзя!

Опять молчаніе.

— Дурману бы... — произноситъ Прокопъ, и какими-то такими безстрастными глазами смотритъ на Андрея, что мнѣ становится страшно.

Я вижу, что преступленіе, совершонное въ минуту моей смерти, не должно остаться безслѣднымъ. Теперь уже идетъ дѣло о другомъ, болѣе тяжеломъ преступленіи, и кто знаетъ, быть можетъ, невдолгѣ этотъ самый Андрей... Не потребуется ли устранить и его, какъ свидѣтеля и участника совершонныхъ злодѣяній? А тамъ—Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя съ негодованіемъ отвращается отъ этого зрѣлища и спѣшитъ оставить кабинетъ Прокопа, чтобы направить полетъ свой въ людскую.

Тамъ идетъ говоръ и гомонъ. Дворовые хлебаютъ щи. Гаврюшка, совсѣмъ уже пьяный, сидитъ между ними и безобразничаетъ.

— Мнѣ бы, по настоящему, совсѣмъ не съ вами, свиньями, сидѣть надо! —говоритъ онъ.

— Что говорить! И то тебя баринъ ужо за столъ съ собой посадитъ! поддразниваетъ его кто-то изъ дворовыхъ.

— А то не посадитъ! Посадитъ, коли прикажу! Баринъ! великъ твой баринъ! Онъ баринъ, а я противъ него слово имѣю—вотъ что!

— Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты противъ барина можешь, коли онъ тебя сію минуту и всячески наказать, и даже въ Сибирь сослать можетъ?

— А такое слово... воръ!!

Рѣчь эта нѣсколько озадачиваетъ дворовыхъ, но такъ какъ крѣпостное право ужъ уничтожено, то смущеніе, произведенное словомъ „воръ“, проходитъ довольно быстро. Къ Гаврюшкѣ начинаютъ приставать, требовать объясненій; дальше—больше...

И вотъ, въ тотъ самый вечерь, камердинеръ Семенъ, получивши отъ Прокопа затрещину за то, что, снимая съ него на ночь сапоги, нечаянно тронулъ баринову мозоль, не только не стерпѣлъ, по обыкновенію, нанесеннаго ему оскорбленія, но прямо такъ-таки и выпалилъ Прокопу въ лицо:

— Отъ вора да еще плюхи получать—это ужъ не порядки!

При такой неожиданной апострофѣ Прокопъ до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова въ отвѣтъ.

Вся его жизнь прошла передъ нимъ въ эту ночь. Вспомнилось и дѣтство, и служба въ гусарскомъ полку, и сватовство, и рожденіе перваго ребенка... Но все это проходило передъ его умственнымъ взоромъ какъ-то смутно,

какъ бы для того только, чтобы составить горькій контрастъ тому безвыходному положенію, ужасъ котораго онъ въ настоящую минуту испытывалъ на себѣ. Одна только мысль была совершенно ясна: „зачѣмъ я это сдѣлалъ?“ но и она была до того очевидно-безплодна, что останавливаться на ней значило только безполезно мучить себя. Но бываютъ въ жизни минуты, когда только такія мысли и преслѣдуютъ, которыя имѣютъ привилегію вгонять человѣка въ потъ. Другая мысль, составлявшая неизбѣжное продолженіе первой: „вотъ сейчасъ... сейчасъ, сію минуту... вотъ!“ — была до того мучительна, что Прокопъ стремительно вскакивалъ съ постели и начиналъ бродить взадъ и впередъ по спальной.

— Всѣхъ!—бормоталъ онъ:—всѣхъ!

Однакожъ нелѣпость этой угрозы была до того очевидна, что онъ едва успѣвалъ вымолвить ее, какъ тутъ же начиналъ скрипѣть зубами и съ какимъ-то безсильнымъ отчаяніемъ сучить руками.

— Всѣмъ!—продолжалъ онъ, вдругъ измѣняя направленіе своихъ мыслей:—всѣмъ съ завтрашняго же дня двойное жалованье положу! А ужъ Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкій ты, неблагодарный ты человѣкъ!

Прокопъ шагалъ и скрипѣлъ зубами. Онъ злобствовалъ тѣмъ болѣе, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположеній. Развѣ Гаврюшка одинъ?—подсказывала эта мысль.—Нѣтъ, онъ былъ одинъ только до тѣхъ поръ, пока нѣмотствовали его уста. Теперь куда ни оглянись—вездѣ Гаврюшки! Сегодня ихъ двадцать; завтра—будетъ сто, тысяча. Да опять и то: за что имъ платить? за что? Развѣ они что-нибудь заслужили? Развѣ они видѣли, помогли, скрыли? Ну, Гаврюшка... это такъ! Онъ видѣлъ, и все такое... Онъ былъ вправѣ требовать, чтобъ ему платили! А то, натко, съ боку-припеку, нашлась цѣлая орава охотниковъ — и всѣмъ плати!

— Да будь я анаѳема-проклятъ, если хоть копѣйку вы отъ меня увидите... м-м-мерзавцы!—задыхается Прокопъ.

И онъ шагаетъ, шагаетъ безъ сна до тѣхъ поръ, пока розоперстая аврора не освѣщаетъ спальни лучами своими.

Утромъ онъ узнаетъ, что Гаврюшка исчезъ неизвѣстно куда...

А сестрица Марья Ивановна ужъ успѣла тѣмъ временемъ кой-что пронюхать, и вотъ, въ одно прекрасное утро, Прокопу докладываютъ, что изъ города пріѣхалъ къ нему въ усадьбу адвокатъ.

— Адвокатъ — молодой человѣкъ самой изящной наружности. Онъ одѣтъ въ щегольскую, коротенькую визитку: волосы аккуратно расчесаны à la Jésus; лицо чистое, бѣлое, слегка лоснящееся; отъ каждой части тѣла пахнетъ особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жестъ мягкій, изысканный; произношеніе такое, что вотъ такъ и слышится: а хочешь, сейчасъ по-французски заговорю! Прокопъ въ первую минуту думаетъ, что это женихъ, пріѣхавшій свататься къ старшей его дочери.

— Я пріѣхалъ къ вамъ,—начинаетъ адвокатъ,—по одному дѣлу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но... vous savez... вы знаете... наше ремесло... впрочемъ, au fond, что же въ этомъ ремеслѣ постыднаго?

Сердце Прокопа болѣзненно сжимается, но онъ перемогаетъ себя и прерываетъ рѣчь своего собесѣдника вопросомъ:

— Позвольте... въ чемъ дѣло-съ?!

— И такъ, приступимъ къ дѣлу. Въ сущности, это бездѣлица — une misère! И ежели вы будете настолько любезны, чтобъ пойти на нѣкоторыя уступочки, то бездѣлица эта сама собой... et ma foi! il n'en sera plus question! И такъ, приступимъ. Нѣсколько времени тому назадъ, въ chambres garnies, содержимыхъ нѣкоторою ревельскою гражданкою Либкнехтъ, умеръ одинъ господинъ, котораго молва называла милліонеромъ. Я вамъ сознаюсь по совѣсти: существованіе этихъ милліоновъ еще не доказано, но въ то же время, entre nous soit dit, оно *можетъ* быть доказано, и доказано безъ труда. И такъ, въ видахъ упрощенія нашихъ переговоровъ, допустимъ, что это ужъ дѣло доказанное, что милліоны были, что во всякомъ случаѣ они *могли* быть, что, наконецъ...

— Позвольте-съ... умеръ... милліоны... Не понимаю, при чемъ же тутъ я?—все еще храбрится Прокопъ.

— Я понимаю, что вамъ понять не легко, но въ то же время надѣюсь, что если вы будете такъ добры подарить мнѣ нѣсколько минутъ вниманія, то дѣло, о которомъ идетъ рѣчь, для васъ самихъ будетъ ясно какъ день. И такъ, продолжаю. Въ нумерахъ нѣкоей Либкнехтъ умеръ нѣкоторый милліонеръ, при которомъ въ минуту смерти не было ни родныхъ, ни знакомыхъ — словомъ, никого изъ тѣхъ близкихъ и дорогихъ сердцу людей, присутствіе которыхъ облегчаетъ человѣку переходъ въ лучшую жизнь. Здѣсь былъ только одинъ человѣкъ, и этотъ-то одинъ человѣкъ, который называлъ себя другомъ умиравшаго, и закрылъ ему глаза...

— Прекрасно-съ! это прекрасно-съ! Называлъ себя другомъ! закрылъ глаза! Скажите, какое важное преступленіе!—все еще бодрилъ себя Прокопъ.

— Покуда преступленія, дѣйствительно, еще нѣтъ. Закрыть глаза другу—это даже похвально. Да и вообще, я долженъ предупредить васъ, что я и въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ этого друга не вижу ничего такого... однимъ словомъ, непохвальнаго. Я не ригористъ, Dieu merci. Я понимаю, что только Богу приличествуетъ судить тайныя побужденія человѣческаго сердца, самъ же лично смотрю на человѣческія дѣйствія лишь съ точки зрѣнія наносимыхъ ими потерь и ущербовъ. Конечно, быть можетъ, на судѣ, когда наступитъ приличная обстоятельствамъ минута — я отъ всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда! — я тоже буду вынужденъ квалифицировать извѣстныя дѣйствія извѣстнаго „друга“ присвоеннымъ имъ въ законѣ именемъ; но теперь, когда мы говоримъ съ вами, какъ порядочный человѣкъ съ порядочнымъ человѣкомъ, когда мы находимся въ такой обстановкѣ, въ которой ничто не говоритъ о преступленіи, когда, наконецъ, надежда на соглашеніе еще не покинула меня...

— Ну, да! это значитъ, что вамъ хочется что-нибудь съ меня стянуть —такъ, что-ли?

— „Стянуть“—ce n'est pas le vrai mot, но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашеніе, я услышалъ бы объ этомъ съ большимъ, съ величайшимъ, можно сказать, удовольствіемъ!

— Съ кѣмъ же на соглашеніе? съ Машкой? съ Дашкой?

— Въ настоящую минуту я еще не нахожу удобнымъ открыть вамъ, кто въ этомъ дѣлѣ истецъ. Вообще, съ потерпѣвшею стороной... Я полагаю, что покамѣстъ это и для васъ совершенно безразлично.

— Однако, братъ, ты фификусъ! — вдругъ произноситъ Прокопъ съ какою-то горькою ироніей.

Но видно, что кроткое введеніе молодого адвоката уже привело его въ то раздраженное состояніе, когда человѣку, какъ говорится, ни усидѣть, ни устоять нельзя. Съ судорожнымъ подергиваніемъ во всемъ организмѣ, съ рычаніемъ въ груди, вскакиваетъ онъ со стула и начинаетъ обычное маятное движеніе взадъ и впередъ по комнатѣ. По временамъ, изъ устъ его вылетаютъ легкія ругательства. А молодой человѣкъ между тѣмъ такъ ясно, такъ безмятежно смотритъ на него, какъ будто хочетъ сказать: а согласись, однако, что въ настоящую минуту нѣтъ ни одного сустава въ цѣломъ твоемъ организмѣ, который бы не болѣлъ!

— А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: „съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тянись“? — вопрошаетъ наконецъ Прокопъ, останавливаясь передъ молодымъ человѣкомъ.

— Помилуйте! я затѣмъ и адвокатъ, чтобы знать всѣ прекраснѣйшія наши пословицы!

— Ну-съ, и что же?

— И за всѣмъ тѣмъ намѣреній своихъ измѣнить не могу-съ. Я отнюдь не скрываю отъ себя трудностей предстоящей мнѣ задачи; я знаю, что мнѣ придется упорно бороться и многое преодолѣвать; но — ma foi! — я надѣюсь! И повѣрите ли, прежде всего я надѣюсь на васъ! Вы сами придете мнѣ на помощь, вы сами снимете съ меня часть того бремени, которое я такъ неохотно взялъ на себя нести!

— Ну, ужъ это, кажется... дудки!

— Нѣтъ-съ, это совсѣмъ не такъ странно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Во-первыхъ, вамъ предстоитъ публичный и — не могу скрыть — очень и очень скандальный процессъ. При открытыхъ дверяхъ-съ. Во-вторыхъ, вы, конечно, безъ труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысячъ для васъ, все-таки, выгоднѣе, нежели рисковать сотнями, а быть можетъ — кто будетъ такъ смѣлъ, чтобы прозрѣть въ будущее? — и потерей всего вашего состоянія!

— „Десятками тысячъ“! однако это шутка! Ни дай, ни вынеси за что — плати десятки тысячъ!

— Позвольте, мы, кажется, продолжаемъ не понимать другъ друга. Вы изволите говорить, что платить тутъ не за что, а я, напротивъ того, придерживаюсь объ этомъ предметѣ совершенно противоположнаго мнѣнія. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вамъ обстоятельства настоящаго дѣла. И такъ, приступимъ. Нѣсколько времени тому назадъ, въ Петербургѣ, въ Гороховой улицѣ, въ chambres garnies, содержимыхъ ревельской гражданкою Либкнехтъ...

— Да ты видѣлъ, что-ли, какъ я укралъ?

— Pardon! Я констатирую, что выраженіе: „укралъ“, никогда не было

мною употреблено. Конечно, быть можетъ, въ судѣ... печальная обязанность... но здѣсь, въ этой комнатѣ, я сказалъ только: нѣсколько времени тому назадъ, въ Петербургѣ, въ Гороховой улицѣ, въ chambres garnies...

Любопытно было видѣть, съ какою милою непринужденностью этотъ молодой и повидимому даже тщедушный мышенокъ игралъ съ такимъ старымъ и матерымъ котомъ, какъ Прокопъ, и заставлялъ его жаться и дрожать отъ боли. Наконецъ Прокопъ не выдержалъ.

— Стой!—зарычалъ онъ въ неистовствѣ:—срыву? сколько надобно?

— Помилуйте... срыву! развѣ я далъ поводъ предполагать?..

— Да ты не мямли! сказывай: сколько?

— Ежели такъ, то, конечно, я буду откровененъ. Прежде всего я охотно допускаю, что исходъ процесса неизвѣстенъ и что, слѣдовательно, надежды на обратное полученіе милліона не могутъ быть названы вполнѣ вѣрными. Поэтому потерпѣвшая сторона *можетъ* и даже *должна* удовлетвориться возмѣщеніемъ лишь части понесеннаго ею ущерба. Въ этихъ видахъ, а разно и въ видахъ округленія цифръ, я полагалъ бы справедливымъ и достаточнымъ... ограничить наши требованія суммой въ сто тысячъ рублей.

— Натко! выкуси!

Прокопъ сдѣлалъ при этомъ такой мало-употребительный жестъ, что даже молодой человѣкъ, несмотря на врожденную ему готовность, утратилъ на минуту ясность души и сталъ готовиться къ отъѣзду.

— Стой! пять тысячъ на бѣдность! Довольно?

Молодой человѣкъ обидѣлся.

— Я рѣшительно замѣчаю,—сказалъ онъ:—что мы не понимаемъ другъ друга. Я допускаю, конечно, что вы можете желать сбавки пяти... ну, десяти процентовъ съ рубля... Но предлагать вознагражденіе до того ничтожное, и притомъ въ такой странной формѣ...

— Ну, сядемъ... будемъ разговаривать. За что же я, по вашему, вознагражденіе-то долженъ дать?

— Я полагаю, что этотъ предметъ нами уже исчерпанъ, и что насчетъ его не можетъ быть даже недоразумѣній. Дѣло идетъ вовсе не о *правѣ* на вознагражденіе — это право внѣ всякаго спора—а лишь о размѣрѣ его. Я надѣюсь, что это наконецъ ясно.

— Ну, хорошо. Положимъ. Поддѣли вы меня—это такъ. Ходите вы, шатуны, по улицамъ и примѣчаете, не сблудилъ ли кто—это ужъ хлѣбъ такой нынѣче у васъ завелся. Я вотъ тебя въ глаза никогда не видалъ, а ты мной здѣсь орудуешь. Такъ дери же, братецъ, ты съ меня по-божески, а не такъ, какъ разбойники на большихъ дорогахъ грабятъ! Не все же по семи шкуръ драть, а ты пожалѣй! Ну, согласенъ на десяти тысячахъ помириться? Сказывай! сейчасъ и деньги на столъ выложу!

Молодого человѣка слегка передергиваетъ. Съ минуту онъ колеблется, но колебаніе это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествуетъ.

— Извольте,—говоритъ онъ:—для васъ девяносто тысячъ. Менѣе—ей Богу—не въ состояніи!

— Да ты говори по совѣсти! Вѣдь десять тысячъ—это какія деньги!

Сколько дѣловъ на десять тысячъ сдѣлать можно! Вѣдь и Дашкѣ твоей, и Машкѣ—обѣимъ имъ вмѣстѣ красная цѣна грошъ! Имъ десяти-то тысячъ и не прожить! Куда имъ! пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо понимаю-съ, но позвольте вамъ доложить: тутъ дѣло идетъ совсѣмъ не о какихъ-то неизвѣстныхъ мнѣ Машкахъ или Дашкахъ, а о возстановленіи нарушеннаго права! Вотъ на что я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе!

— Ну, да! и возстановленія, и упраздненія—все это мы знаемъ! Слыхали. Сами прожекты объ упраздненіяхъ писывали!

Я не стану описывать дальнѣйшаго разговора. Это былъ ужъ не разговоръ, а какой-то ни съ чѣмъ несообразный сумбуръ, въ которомъ ничего невозможно было разобрать, кромѣ: „пойми же ты!“, да „слыхано-ли?“, да „держи карманъ, нашелъ дурака!“ Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что требованія адвоката были довольно умѣренны и что подъ конецъ онъ даже уменьшилъ ихъ до восьмидесяти тысячъ. Но Прокопъ, какъ говорится, осатанѣлъ: не идетъ далѣе десяти тысячъ—и баста. И при этомъ такъ неосторожно выражается, что такъ-таки напрямки и говоритъ:

— Милліонъ просужу, а тебѣ, прохвосту, копѣйки не дамъ!

Съ тѣмъ адвокатъ и ушелъ.

Дальнѣйшія подробности этого замѣчательнаго сновидѣнія представляются мнѣ довольно смутно. Помню, что было слѣдствіе и былъ судъ. Помню, что Прокопъ то-и-дѣло таскалъ изъ копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая разсказамъ о безумныхъ затратахъ Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконецъ помню и залу суда.

Рѣчи, то пламенныя, то язвительныя, неслись потокомъ; присяжные засѣдатели обливались потомъ; съ Прокоповой женой случилась истерика; Гаврюшка, противъ всякаго чаянія, коснѣющимъ языкомъ показывалъ:

— Ничего этого не было, и никому я этого не говорилъ. Я человѣкъ пьяный, слабый, а что жилъ я у ихъ благородія въ оберъ-мажордомахъ — это конечно; и отказу мнѣ въ винѣ не было—это всегда могу сказать!

Наконецъ формулированы и вопросы для присяжныхъ...

Но какіе это были странные вопросы! Именно только во снѣ могло представиться что-нибудь подобное!

Вопросъ первый: Согласно ли съ обстоятельствами дѣла поступилъ Прокопъ, воспользовавшись единоличнымъ своимъ присутствіемъ при смертныхъ минутахъ такого-то (имя рекъ), дабы устранить изъ первоначальнаго помѣщенія принадлежавшія послѣднему цѣнности на сумму, приблизительно, въ милліонъ рублей серебромъ?

Вопросъ второй: Не поступили ли-бы точно такимъ же образомъ родственницы покойнаго, являющіяся въ настоящемъ дѣлѣ въ качествѣ истицъ, если бы были въ такихъ же обстоятельствахъ, то-есть единолично присутствовали при смертныхъ минутахъ милліоновладѣльца и имѣли легкую возможность секретно устранить изъ первоначальнаго помѣщенія принадлежавшій ему милліонъ?

Душа моя такъ и ахнула.

Черезъ минуту отвѣты ужъ были готовы (до такой степени присяжные засѣдатели были тверды въ вѣрѣ!).

На первый вопросъ: Да; строго-согласно съ обстоятельствами дѣла.

На второй вопросъ: Да, поступили бы, и притомъ не оставя даже двухъ акцій рыбинско-бологовской желѣзной дороги!

Одинъ изъ засѣдателей простеръ свое усердіе до того, что, не удовольствовавшись симъ краткимъ исповѣданіемъ своихъ убѣжденій, зычнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Свое—да упускать! Этакъ и по міру скоро пойдешь!

Прокопъ сіялъ; со всѣхъ сторонъ его обнимали, нюхали и осыпали поцѣлуями.

Одинъ молодой адвокатъ глядѣлъ какъ-то томно и былъ какъ бы обезкураженъ; правда, я слышалъ, какъ онъ сквозь зубы процѣдилъ:

— Ну, нѣтъ, messieurs, еще роберъ не весь сыгранъ! О, нѣтъ! сыграна еще только первая партія!

Но внутренно онъ, конечно, скорбѣлъ, что не примирился съ Прокопомъ на десяти тысячахъ.

Я проснулся съ отяжелѣвшею, почти разбитою головой. Тѣмъ не менѣе хитросплетенія недавняго сна представлялись мнѣ съ такою ясностью, какъ будто это была самая яркая, самая несомнѣнная дѣйствительность. Я даже бросился искать мой милліонъ и, нашедши въ шкатулкѣ послѣднее мое выкупное свидѣтельство, обрадовался ему, какъ родному отцу.

— Однако-таки оставилъ!—вырвалось у меня изъ груди.

Но черезъ минуту я опять вспомнилъ о милліонѣ и, продолжая бредить, такъ сказать, наяву, предался размышленіямъ самаго горькаго свойства.

„Какъ жить? — думалось мнѣ: — какъ оградить свою собственность? какъ обезпечить права присныхъ и кровныхъ? „Согласно съ обстоятельствами дѣла“!—шутка сказать! Развѣ можно украсть не согласно съ обстоятельствами дѣла? Нѣтъ, надо бѣжать! Непремѣнно куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть! Не денегъ жалко — нѣтъ! Деньги—дѣло наживное! Вотъ, выйду изъ нумера, стану играть оставшимися двумя акціями рыбинско-бологовской желѣзной дороги — и доиграюсь опять до милліона! Не денегъ —нѣтъ!—жаль этого дорогаго принципа собственности, этого, такъ сказать, палладіума... Но куда бѣжать? въ провинцію? Но тамъ Петръ Иванычъ Дракинъ, Сергѣй Васильичъ Хлобыстовскій... Вѣдь они уже притаились... они уже стерегутъ! Я вижу отсюда, какъ они стерегутъ!!“

И я готовъ былъ окончательно расчувствоваться, какъ въ комнату мою, словно буря, влетѣлъ Прокопъ.

— Обложили!—кричалъ онъ неистово:—обложили!

— Кого? когда? какимъ образомъ?

— Сами себя! на этихъ дняхъ! кругомъ!.. Ну, то-есть, просто вплотную!

Но объ этомъ въ слѣдующей главѣ.

Глава V.

Очевидно, рѣчь шла или о подоходномъ налогѣ, или о всесословной рекрутской повинности. А можетъ быть, и о томъ и о другомъ разомъ.

Прокопъ былъ внѣ себя; онъ, какъ говорится, и рвалъ и металъ. Я всегда зналъ, что онъ ругатель по природѣ, но и за всѣмъ тѣмъ былъ изумленъ. Такихъ ругательствъ, какія въ эту минуту расточали уста его, я, признаюсь, даже въ соединенномъ рязанско-тамбовско-саратовско-воронежскомъ клубѣ не слыхивалъ.

— Успокойся, душа моя!—умолялъ я его:—въ чемъ дѣло?

— Да ты, съ маймистами-то пьянствуя, видно, не слыхалъ, что̀ на свѣтѣ дѣлается! Сами себя, любезный другъ, обкладываемъ! Сами въ петлю лѣземъ! Солдатчину на дѣтей своихъ накликаемъ! новые налоги выдумываемъ! Нѣтъ, ты мнѣ скажи—глупость-то какая!

— Напротивъ того, я вижу тутъ прекраснѣйшій порывъ чувствъ!

— Фофанъ ты—вотъ что! Вездѣ-то у васъ порывъ чувствъ, все-то вы свысока невѣжничаете, а коли поближе на васъ посмотрѣть—именно только глупость одна! Ну, гдѣ же это видано, чтобы человѣкъ тосковалъ о томъ, что съ него денегъ не берутъ или въ солдаты его не отдаютъ!

— Однако согласись, что нельзя же допускать такую неравномѣрность! вѣдь берутъ же деньги съ *другихъ*! отдаютъ же *другихъ* въ солдаты!

— Да вѣдь *другихъ*-то и порютъ! Порютъ вѣдь, милый ты человѣкъ! Такъ отчего же у тебя не явится порыва чувствъ попросить, чтобы и тебя за одно пороли?!

Признаюсь откровенно, вопросъ этотъ былъ для меня новъ; но я какъ-то всегда уклонялся отъ его разрѣшенія. И деньги, покуда ихъ еще не требуютъ, я готовъ отдать съ удовольствіемъ, и въ солдаты, покуда еще не зовутъ на службу, идти готовъ; но какъ только зайдетъ вопросъ о всесословныхъ поронцахъ (хотя бы даже только въ теоріи), инстинктивно какъ-то стараешься замять его. Не лежитъ сердце къ этому вопросу—да и полно! „Ну, тамъ какъ-нибудь“, или: „будемъ надѣяться, что дальнѣйшіе успѣхи цивилизаціи“ — вотъ фразы, которыя обыкновенно произносятъ уста мои въ подобныхъ случаяхъ, и хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняютъ, но, можетъ быть, именно потому-то и говорю ихъ, что дѣйствительное разъясненіе этого предмета только завело бы меня въ безвыходный лабиринтъ.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо въ лицо всегда угнетала меня. И я тѣмъ болѣе не могу простить ее себѣ, что въ душѣ и даже на бумагѣ я одинъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ равенства. Ужъ если драть, такъ драть всѣхъ поголовно и неупустительно—нельзя сказать, чтобъ я не понималъ этого. Но я не имѣю настолько твердости въ характерѣ, чтобъ быть совершенно послѣдовательнымъ, то-есть просить и даже требовать для самого себя права быть поротымъ. Иногда я иду даже далѣе идеи простого равенства передъ драньемъ и формулирую свою мысль такъ: ужъ если не драть одного, то не будетъ ли еще подходящѣе не драть никого?

Кажется, что̀ можетъ быть радикальнѣе! Но и тутъ опять овладѣваетъ мною малодушіе... Да какъ это никого не драть? Да вѣдь этакъ, пожалуй, мы и Бога-то позабудемъ! И кончается дѣло тѣмъ, что я порѣшаю съ моими сомнѣніями при помощи заранѣе проштудированныхъ фразъ: ну, тамъ какъ-нибудь... будемъ надѣяться, что дальнѣйшіе успѣхи цивилизаціи... съ одной стороны, оно, конечно, и т. д.

Такъ точно поступилъ я и теперь.

— Послушай, душа моя,—сказалъ я Прокопу:—какая у тебя, однакожъ, странная манера! Ты всегда поставишь вопросъ на такую почву, на которой просто всякій обмѣнъ мыслей дѣлается невозможнымъ! Вѣдь это нельзя!

И, говоря такимъ образомъ, я постепенно такъ разгорячился, что даже возвысилъ голосъ и нѣсколько разъ сряду въ упоръ Прокопу повторилъ:—Это нельзя! нѣтъ, это нельзя!

— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примѣру „другихъ“, пороли? Ну, говори! не виляй!

— Послушай, если я еще въ сороковыхъ годахъ написалъ „Маланью“, то, мнѣ кажется, этого достаточно... Наконецъ, я безвозмездно отдалъ крестьянамъ четыре десятины очень хорошей земли... Понимаешь ли — *безвозмездно*!!

— Ну, а я „Маланьи“ не писалъ, и никакой земли безвозмездно не отдавалъ, а потому, какъ оно тамъ — не знаю. И порицы похулить не хочу, потому что безъ этого тоже нельзя. Сѣчь — какъ не сѣчь? сѣчь нужно! Да самъ-то я, другъ ты мой любезный, поротымъ быть не желаю!

— Но я не понимаю, какое же можетъ быть отношеніе между порицами, какъ ты ихъ называешь, и, напримѣръ, всесословною рекрутскою повинностью?

— Гдѣ тебѣ понять! У тебя вѣдь порывъ чувствъ! А вотъ какъ у меня два сына ростутъ, такъ я понимаю!

Прокопъ былъ въ такомъ волненіи, въ какомъ я никогда не видалъ его. Онъ былъ блѣденъ и повидимому совершенно искренно разстроенъ.

— Я это дѣло такъ понимаю,—продолжалъ онъ:—вотъ какъ! Я самъ, братъ, два года взводомъ командовалъ—меня порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь къ солдатику: ты что, такой-сякой, ротъ-то разинулъ!.. Это сыну-то моему! А! хорошъ сюрпризъ!

— Но позволь... вѣдь успѣхи цивилизаціи...

— Какіе тутъ успѣхи цивилизаціи, тутъ убивства будутъ—вотъ что̀! „Что̀ ты ротъ-то разинулъ!“—ахъ, чортъ подери! Ты понимаешь ли, какъ въ наше время на это благородные люди отвѣчали!

Дѣйствительно, я вспомнилъ, что когда я еще былъ въ школѣ, то какой-то генералъ обозвалъ меня „щенкомъ“ за то только, что я зазѣвался, идя по улицѣ, и не вытянулся передъ нимъ во фронтъ. И долженъ сознаться, что при одномъ воспоминаніи объ этомъ эпизодѣ моей жизни мнѣ сдѣлалось крайне неловко.

— Или опять этотъ подоходный налогъ!—продолжалъ Прокопъ:—съ чего только бѣсятся! съ жиру, что-ли? Держи карманъ—жирны!

При этихъ словахъ я вдругъ вспомнилъ о своемъ милліонѣ, и невольнымъ образомъ началъ разсчитывать, сколько должно сойти съ меня налогу, если восторжествуетъ система просто подоходная, и сколько—ежели восторжествуетъ система подоходно-поразрядная.

— Вѣдь знаешь ли, — сказалъ я: — я сегодня во снѣ видѣлъ, что у меня милліонъ.

— Ну, развѣ что во снѣ.

— А если бы, однакожъ, у тебя былъ милліонъ—что̀ бы тогда?

— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный, и поразрядный—катай на все!

— Однако непослѣдователенъ же ты, душа моя!

— Да пойми же, ради Христа, вѣдь тогда...

Прокопъ, повидимому, хотѣлъ объяснить, что изъ дарового милліона, конечно, ничего не стоитъ уступить сотню-другую тысячъ; но вдругъ опомнился и уставился на меня глазами.

— Фу, чортъ! — воскликнулъ онъ:—да никакъ ты еще не очнулся! о какихъ это ты милліонахъ разговариваешь?

— Нѣтъ, ты не виляй! ты отвѣть прямо: ежели бы!..

— „Ежели бы“! Мало чего, ежели бы! Вотъ я каждую ночь въ концѣ іюня да въ концѣ декабря во снѣ вижу, что двѣсти тысячъ выигралъ, только толку-то изъ этихъ сновъ нѣтъ!

— А ну какъ выиграешь?

— Кабы выиграть! Ужъ такихъ бы мы дѣловъ съ тобою надѣлали!

— Я бы сейчасъ у Донона текущій счетъ открылъ!

— Донопъ—это само собой. Я бы и въ Парижъ скаталъ — это тоже само собой. Ну, а кромѣ того... Вотъ у меня молотилка уже другой годъ не молотитъ... а тамъ, говорятъ, еще жнеи да сѣноворошилки какія-то есть! Это, братъ, посерьезнѣе, чѣмъ у Донона текущій счетъ открыть.

— Винокуренный заводъ хорошо бы устроить. Про костяное удобреніе тоже пишутъ...

— Ужъ какъ бы не хорошо! Ты пойми, вѣдь теперь хоть бы у меня земля... ну, какая это земля? Вѣдь она холодная! Ну, можетъ ли холодная земля какой-нибудь урожай давать! Ну, а тогда бы...

Разговоръ какъ-то вдругъ смякъ, и мы нѣкоторое время молча похаживали по комнатѣ, сладко вздыхая и еще того слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у насъ ничего не идетъ!—вдругъ какъ-то печаянно сорвалось у меня съ языка:—машинъ накупимъ—не дѣйствуютъ! удобренія накопимъ видимо-невидимо — не родитъ земля, да и баста! Знаешь что̀! Я такъ думаю: чѣмъ машины-то покупать, лучше прямо у Донона текущій счетъ открыть—да и покончить на этомъ!

— А что̀ ты думаешь: вѣдь оно пожалуй...

Сказавши это, Прокопъ опять взглянулъ на меня изумленными глазами, словно сейчасъ пробудился отъ сна.

— Слушай! не мути ты меня, Христа ради!—сказалъ онъ:—вѣдь мы ужъ и такъ наяву бредимъ.

— Отчего же и не побредить, душа моя! вѣдь прежняго не воротишь, а если не воротишь, такъ надо же что-нибудь на мѣсто его вообразить!

— Тоска! Тоски мы своей избыть не можемъ—вотъ что!

Я зналъ, что когда Прокопъ заводитъ разговоръ о тоскѣ, то, въ переводѣ на рязанско-тамбовско-саратовскій жаргонъ, это значитъ: водки и закусить!—и потому поспѣшилъ распорядиться. Черезъ минуту, мы дружелюбнѣйшимъ образомъ расхаживали по комнатѣ и постепенно закусывали.

— Не понимаю я одного,—говорилъ я: — какъ ты не признаешь возможности внезапнаго порыва чувствъ!

— Кто? я-то не признаю? я, братъ, даже очень хорошо понимаю, что съ самой этой эмансипаціи мы ничѣмъ другимъ и не занимаемся, кромѣ какъ внезапными порывами чувствъ!

— Ну, видишь ли! Сидимъ мы себѣ да помалчиваемъ; другой со стороны посмотритъ: „вотъ, скажетъ, безчувственные!“ А мы вдругъ возьмемъ да и вскочимъ: бери все!

— Намъ, значитъ, чтобъ ничего!

— А зачѣмъ намъ? Жить бы только припѣваючи, да не знать горя-заботушки—чего еще нужно?

Начался разговоръ о сладостяхъ безпечальнаго житія, безъ крѣпостного права, но съ подоходными и поразрядными налогами, съ всесословною рекрутскою повинностью и т. д. Мало-по-малу перспективы, которыя при этомъ представились, до того развеселили насъ, что мы долгое время стояли другъ противъ друга и хохотали. Однакожъ, постепенно, серьезное направленіе мыслей вновь одержало верхъ надъ смѣшливостью.

— А знаешь ли, что мнѣ пришло въ голову, — вдругъ сказалъ я: — вѣдь, можетъ быть, это они не спроста?

— Что такое не спроста?

— А наши-то обкладываютъ себя. Вотъ теперь они себя обкладываютъ, а потомъ и начнутъ... и начнутъ забирать!

— Да что забирать-то?

— Какъ что! чудакъ ты! Да просто возьмутъ да и скажутъ: „мы, скажутъ, сдѣлали удовольствіе, обложили себя, что называется, вилотную, а теперь, дескать, и вы удовольствіе сдѣлайте!“

— Держи карманъ!

— Нѣтъ, да ты вникни! вѣдь это дѣло очень и очень статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина—ну, станетъ ли онъ себя обкладывать, коли нѣтъ у него про запасъ загвоздки какой-нибудь?!

— Та и есть загвоздка, что будетъ твой Петръ Иванычъ денежки платить, а сыну его будутъ „что ты ротъ-то разинулъ!“ говорить.

— Однакожъ деньги-то вѣдь не свой братъ! Коли серьезно-то отдавать ихъ придется... вѣдь это ой-ой-ой!

— Ничего! обойдемся! А коли тошно придется—пардону попросимъ!

— Нѣтъ! какъ хочешь, а что-нибудь тутъ есть! Петръ Иванычъ—онъ прозорливъ!

Но Прокопъ, который только-что передъ тѣмъ запихалъ себѣ въ ротъ огромный кусокъ колбасы, сомнительно покачивалъ головой.

— Вотъ развѣ что,—наконецъ произнесъ онъ: — можетъ, новыхъ мѣ-

стовъ по этому случаю много откроется. Вотъ это — такъ! противъ этого — не спорю!

— Зачѣмъ же тутъ мѣста?

— А какъ же. Навѣрное, пойдутъ счеты да отчеты, складки да раскладки, наблюденія, изысканія... Однихъ доносовъ сколько будетъ!

— Гм... а что ты думаешь! вѣдь, пожалуй, это и такъ!

— Вѣрно говорю. Сначала вотъ земство тоже бранили, а теперича сколько черезъ это самое земство людей счастливыми себя почитаютъ!

— Что же! если даже только мѣста — вѣдь и это, братъ, штука не плохая!

— Что говорить. И я въ раскладчики пойду, коли доброе жалованье положатъ!

— А я доносы буду разбирать, коли тысячи двѣ въ годъ дадутъ! Стало быть, чортъ-то и не такъ страшенъ, какъ его малюютъ! Вотъ ты сюда прибѣжалъ, чуть посуду сгоряча не перебилъ, а посмотрѣлъ да поглядѣлъ—анъ даже выгоду для себя запримѣтилъ!

Прокопъ молча перебиралъ пальцами, какъ будто нѣчто разсчитывалъ.

— Съ тебя что возьмутъ? — продолжалъ я: — ну, триста, четыреста рублей, а жалованья-то двѣ-три тысячи положатъ! А *имъ* вѣдь никогда никакого жалованья не положатъ, а все будутъ брать! все брать!

— И такъ-то, братъ, будутъ брать, что только держись! Это вѣрно.

— Ну, вотъ видишь ли!

Бесѣдуя такимъ образомъ, мы совершенно шутя выпили графинчикъ и, настроивъ себя на чувствительный тонъ, пустились въ разговоры о меньшей братіи.

— Меньшая братія—это, братъ, первое дѣло!—говорилъ я.

— Меньшая братія—это, братъ, штука!—вторилъ Прокопъ.

И—странное дѣло! — ни мнѣ, ни Прокопу не было совѣстно. Напротивъ того, я чувствовалъ, какъ постепенно проходила моя головная боль и какъ мысли мои все больше и больше яснѣли. Что же касается до Прокопа, то лицо его, подъ конецъ бесѣды, дышало такимъ довѣріемъ, что онъ рѣшился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсѣмъ неожиданно продекламировалъ:

Въ надеждѣ славы и добра
Иду впередъ я безъ боязни!

— Такъ-то, братъ!—завершилъ онъ:—надо теперь бѣжать домой да письма писать. А то вѣдь и мѣсто намѣтишь, а его у тебя изъ-подъ носа выхватятъ!

Несмотря на будничный исходъ, разговоръ этотъ произвелъ на меня возбуждающее дѣйствіе. Что, въ самомъ дѣлѣ, кроется въ этомъ самообкладываніи? подкопъ ли какой-нибудь, или только внезапный наплывъ чувствъ?

— Или, быть можетъ,—мелькало у меня въ головѣ:—дѣло объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу-гласному въ голову сказать, что налоги, равномѣрно распредѣляемые, суть единственные, которые, по спра-

ведливости, слѣдуетъ назвать равномѣрно распредѣленными! — другимъ эта мысль понравилась, а тамъ и пошла пильня въ ходъ.

Прежде всего я, разумѣется, обратился за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ къ исторіи нашей общественности.

Имѣли ли наши предки какое-нибудь понятіе о подкопахъ? Конечно, имѣли, ибо фрондерство изстари составляло характеристическую черту нашихъ дѣдушекъ и бабушекъ. Они фрондировали въ дворянскихъ собраніяхъ, фрондировали въ клубахъ, фрондировали—устраивая въ пику предержащимъ властямъ благородные спектакли и пикники. Но имъ никогда не приходило на мысль (по крайней мѣрѣ исторія не даетъ ни одного примѣра въ этомъ родѣ), что самообкладываніе есть тоже видъ фрондерства, изъ котораго могутъ выйти для нихъ какія-то якобы права. Какъ люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполнѣ реальными (не весьма нравственными, но все-таки реальными), нежели заглядываться на какія-то якобы права, сущность которыхъ до того темна, что можетъ быть выражена только словами: „кабы", да „еслибы", да „паче чаянія, чего Боже сохрани". Поэтому они обкладывали не себя, а другихъ, обкладывали всякаго, кого имъ было подъ силу обложить, обкладывали безъ энтузіазма и безъ праздной политико-экономической игры словъ. И если бы, напримѣръ, дѣдушкѣ Матвѣю Иванычу кто-нибудь предложилъ поступиться своимъ правомъ обкладывать другихъ и, взамѣнъ того, воспользоваться правомъ обложить самого себя, онъ навѣрное сказалъ бы: „помилуй Богъ! какая же это мѣна?"

И что всего страннѣе: даже мужикъ, въ качествѣ искони обкладываемаго лица, долженствовавшій знать до тонкости всѣ послѣдствія обложенія — и тотъ никогда не возвышался до мысли, что чѣмъ болѣе его обложатъ, тѣмъ больше выйдетъ изъ этого для него якобы правъ. Какъ человѣкъ, стоящій на реальной почвѣ, онъ зналъ, что двойное, напримѣръ, обложеніе приведетъ за собой для него только одно право: право быть обложеннымъ вдвое —и больше ничего. Поэтому онъ несъ тяготы доколѣ возможно, то-есть до тѣхъ поръ, пока у него въ сусѣкѣ водилась „пушнина". Какъ скоро изсякала и пушнина, онъ или просилъ пощады, или бунтовалъ на колѣняхъ; но ни въ мольбѣ о пощадѣ, ни въ бунтѣ на колѣняхъ, все-таки, никакого подкопа не видѣлъ и видѣть не могъ.

Однимъ словомъ, и обкладывающіе, и обкладываемые — всѣ стояли на реальной почвѣ. Одни говорили: „мы обкладываемъ", другіе — „насъ обладываютъ", и никто изъ этого простѣйшаго акта внутренней политики никакихъ для себя якобы правъ не ожидалъ. Напротивъ того, всякій молчаливо сознавалъ, что самое нестерпимое реальное положеніе, все-таки, лучше, нежели какія-то „якобы" права.

Затѣмъ, были ли наши предки доступны такъ-называемому наплыву чувствъ?—Я полагаю, что и на этотъ вопросъ никто не рѣшится отвѣчать отрицательно. Дѣды наши не были скопидомы и не тряслись надъ каждою копѣйкой, изъ чего можно было бы заключить, что они не были способны къ самообложенію изъ энтузіазма. Напротивъ того, по большей части, это были широкія русскія натуры, изъ числа тѣхъ, которымъ, при извѣстной степени возбужденія, самое море по колѣна. Бабушка Дарья Андреевна отказала ци-

рульнику Прошкѣ каменный домъ въ Москвѣ за то только, что онъ какимъ-то особеннымъ образомъ умѣлъ взбивать ей букли. Дяденька Петръ Петровичъ подарилъ заѣзжему человѣку, маркизу де-Безе, пятьдесятъ дворовъ (замѣчательно, что дяденька и тутъ не удержался, чтобы не пошутить: подарилъ всѣ дворы черезъ дворъ, такъ что вышла неслыханнѣйшая черезполосица, расхлебывать которую пришлось его же наслѣдникамъ) за то, что онъ его утѣшилъ.

— Дарю тебѣ, голоштаннику, пятьдесятъ дворовъ,—сказалъ онъ при этомъ: — чтобы не ѣздилъ ты на будущее время по помѣщикамъ на штаны собирать!

— Oh, monseigneur!—захлебнулся въ отвѣтъ растерявшійся французъ, воздѣвая руки.

Стало быть, ни въ энтузіазмѣ, ни въ презрѣніи къ металлу недостатка не было; только примѣненіе ихъ было нѣсколько иное, нежели въ настоящее время. „Бей въ мою голову!“, „за все одинъ въ отвѣтѣ!“—такого рода восторженныя восклицанія были до того общеупотребительны, что ни въ комъ даже не возбуждали удивленія. Взирая на эти подвиги человѣческой самоотверженности (я совершенно вправѣ назвать ихъ таковыми, потому что большинство ихъ, все-таки, оканчивалось въ уголовной палатѣ), никто не восклицалъ: какое великодушіе! — но всякій считалъ ихъ дѣломъ вполнѣ обыкновеннымъ, нимало не выходящимъ изъ общаго репертуара привилегированныхъ занятій. Но и за всѣмъ тѣмъ, повторяю, никому изъ нашихъ предковъ и на мысль не приходило обкладывать самихъ себя, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобное самообкладываніе, въ смыслѣ удовлетворенія внезапному наплыву чувствъ, могло обойтись даже дешевле, нежели, напримѣръ, подарокъ пятидесяти мужицкихъ дворовъ заѣзжему маркизу де-Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплывъ чувствъ не могли произвести самообкладыванія, то нужно ли доказывать, что экономическіе вицы, въ родѣ того, что равномѣрность равномѣрна, а равноправность равноправна — были тутъ ни-при-чемъ? Нѣтъ, объ этомъ нѣтъ надобности даже говорить. Какъ люди интересовъ вполнѣ реальныхъ, наши дѣды не понимали никакихъ вицевъ; а, напротивъ того, очень хорошо понимали, что равномѣрность именно потому и называется равномѣрностью, что она никогда не бываетъ равномѣрною.

Очевидно, стало быть, что мысль о самообкладываніи принадлежитъ всецѣло намъ, потомкамъ нашихъ предковъ, и должна быть разсматриваема какъ результатъ: во-первыхъ, способности выдерживать наплывъ чувствъ, нѣсколько бо́льшей противъ той, которою обладали наши предки; во-вторыхъ, вѣчно присущей намъ мысли о якобы правахъ и, въ-третьихъ, нашей страсти къ политико-экономическимъ вицамъ.

Что наплывъ чувствъ, и притомъ съ подкладкой болѣе или менѣе либеральною, составляетъ главную основу нашей теперешней жизни—противъ этого я никакихъ возраженій не имѣю. Всякая либеральная восторженность есть плодъ той привычки къ обобщеніямъ, которою предки наши, какъ люди неразвитые, обладать не могли. Имъ жилось, по своему, хорошо, но у нихъ былъ очень важный недостатокъ: они не понимали, что другіе тоже имѣютъ основаніе желать, чтобы и имъ жилось хорошо. Они смотрѣли на вещи

исключительно съ точки зрѣнія ихъ конкретности, и никогда не примѣчали тѣхъ невидимыхъ нитей, которыя идутъ отъ одного предмета къ другому, взаимно уменьшаютъ пропорціи явленій и дѣлаютъ ихъ солидарными. Поэтому они были, такъ сказать, поставлены даже внѣ возможности обобщать.

Мы въ этомъ отношеніи стоимъ неизмѣримо выше нашихъ предковъ. Мы не только фактически констатируемъ, что между жизненными явленіями существуютъ соединительныя нити, но и понимаемъ, что, въ какихъ бы благопріятныхъ условіяхъ ни стоялъ человѣкъ, онъ не можетъ быть вполнѣ счастливымъ, если его окружаютъ несчастливцы. И что же? — странное дѣло! даже этотъ несомнѣнный шагъ впередъ на пути развитія мы какимъ-то образомъ съумѣли свести на нѣтъ! Мы обобщаемъ, но приступаемъ къ обобщенію не прямо, а такъ сказать сбоку, или, еще точнѣе, съ задней стороны. Мы не говоримъ: выгоды, которыми я пользуюсь, справедливо распространить и на другихъ, но говоримъ: невыгоды, которыя стѣсняютъ жизнь другихъ, я нахожу справедливымъ распространить и на меня! Допустимъ, что когда мы формулируемъ подобныя положенія, то нами руководитъ самый чистый и искренній либерализмъ, но спрашивается: не примѣшивается ли къ этому либерализму и извѣстная доля легкомыслія? нѣтъ ли тутъ чего-то похожаго на распущенность, на недостатокъ мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопросъ съ дѣятельной стороны?..

Затѣмъ перехожу къ третьему предположенію: къ предположенію о какихъ-то заднихъ мысляхъ.

Есть убѣжденіе, что жизненныя пріобрѣтенія никогда не достигаются иначе, какъ окольными путями. Поэтому благоразумные люди постоянно вопіютъ къ людямъ менѣе благоразумнымъ: остерегитесь! подождите! придетъ время, когда и нашъ грошъ сдѣлается двугривеннымъ.

Я ничего не имѣю ни противъ подобныхъ полезныхъ предостереженій вообще, ни въ особенности противъ самочиннаго превращенія гроша въ двугривенный. Пускай себѣ превращается—это для меня все равно, тѣмъ болѣе, что я и на двугривенный смотрю не какъ на особенно-цѣнную монету. Но я совершенно вправѣ утверждать, что въ обобщеніи невыгодъ, неудобствъ и стѣсненій не только нѣтъ окольнаго пути, но есть даже отсутствіе всякаго пути. Если бы кто посредствомъ самоубійства вздумалъ доказывать свое право на жизнь — многое ли бы онъ доказалъ? Онъ доказалъ бы только, что существовалъ на свѣтѣ несчастливецъ, который не нашелъ другого выхода изъ жизненныхъ запутанностей, кромѣ самаго простого: смерти. Въ самомъ крайнемъ случаѣ, это личный протестъ — и ничего больше. Общее значеніе (впрочемъ, все-таки, весьма маленькое) этотъ личный протестъ могъ бы имѣть только тогда, еслибъ онъ имѣлъ возможность отыскать для себя вполнѣ яркое и образное выраженіе, то-есть когда бы всѣ подготовлявшія самоубійство причины могли быть выслѣжены и констатированы. Но представьте себѣ, что въ бо́льшей части случаевъ такого рода протесты сводятся къ „найденному на берегу рѣки Пряжки тѣлу неизвѣстнаго человѣка“! Какое странное фіаско! „Тѣло неизвѣстнаго человѣка“! — и это протестъ! Что же въ немъ, однакожъ, есть поучительнаго? И какой практическій результатъ можетъ быть достигнутъ *подобнымъ* окольнымъ путемъ?

Но сторонники мысли о подкопахъ и заднихъ мысляхъ идутъ еще далѣе и утверждаютъ, что тутъ дѣло идетъ не объ однихъ окольныхъ путяхъ, но и о сближеніяхъ. Отказъ отъ привилегій—говорятъ они—знаменуетъ величіе души, а величіе души, въ свою очередь, способствуетъ забвенію старыхъ распрей и счетовъ и приводитъ къ сближеніямъ. И вотъ, дескать, когда мы сблизимся... Но, къ сожалѣнію, и это не болѣе, какъ окольный путь, и притомъ до того ужъ окольный, что можно ходить по немъ до скончанія вѣковъ, все только ходить, а никакъ не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человѣчество, на какой бы низкой степени развитія оно ни стояло, неспособно оцѣнивать приносимыя жертвы. Нѣтъ, оно относится къ нимъ сочувственно, но все-таки лишь къ такимъ жертвамъ, которыя имѣютъ характеръ положительный, а не отрицательный. Такія *положительныя* жертвы вовсе не невидаль и не утопія: это жертвы, приносимыя, во-первыхъ, знаніемъ, охотно дѣлящимся своими сокровищами съ незнаніемъ, и, во-вторыхъ, дѣятельнымъ сочувствіемъ къ интересамъ, не находящимъ себѣ, вслѣдствіе несчастно-сложившихся обстоятельствъ, огражденія и защиты. Если я сижу въ деревнѣ, умно веду свое хозяйство и не отказываю въ добромъ совѣтѣ нуждающемуся—я, очевидно, приношу жертву *положительную*. Если я выслушиваю жалобу человѣка, попавшагося въ просакъ, угнетеннаго, обиженнаго, принимаю эту жалобу къ сердцу, предпринимаю ходатайства, хлопоты—я тоже приношу жертву *положительную*. Такія жертвы *всегда* оцѣниваются по достоинству, и человѣкъ, который приноситъ ихъ, будетъ почтенъ даже въ томъ случаѣ, если онъ несомнѣнно платитъ налоговъ на три копѣйки меньше противъ сущей справедливости. Но представьте себѣ, что я умѣю только раскладывать гранъ-пасьянсъ, и этотъ недостатокъ умственныхъ сокровищъ предполагаю замѣнить гривенникомъ! Подставьте себѣ, что къ одному несчастливцу приходитъ другой несчастливецъ и начинаетъ утѣшать его, говоря: „посмотри! я столько же несчастливъ, какъ и ты!“ Ужели тутъ есть какая-нибудь жертва? а если и есть жертва, то какое же она можетъ принести за собой утѣшеніе?

Увы! это будетъ утѣшеніе самое микроскопическое, а быть можетъ даже и не совсѣмъ хорошаго качества. Утѣшаться общимъ равенствомъ передъ несчастіемъ можно лишь сгоряча; тѣ же люди, которые въ подобныхъ утѣшеніяхъ видятъ нѣчто удовлетворяющее, суть люди несомнѣнно злые и испорченные и, во всякомъ случаѣ, не настолько умные, чтобы отличать облегченія мнимыя отъ облегченій реальныхъ...

Но въ томъ случаѣ, о которомъ идетъ рѣчь въ настоящее время, даже и такого по истинѣ злого утѣшенія не можетъ быть. Тщетно будемъ ожидать забвеній и сближеній при помощи самообкладыванія: зоркій глазъ несчастливца дѣйствительнаго очень тонко съумѣетъ угадать несчастливца мнимаго. Онъ различитъ тутъ все до послѣдней мелочи, до послѣдней утаенной копѣйки, и въ этой работѣ разслѣдованія дойдетъ до обличенія такихъ подробностей, которыхъ на дѣлѣ, быть можетъ, и нѣтъ. Обыкновенное простодушіе онъ возведетъ на степень преднамѣреннаго поддразниванія; въ такъ-называемомъ внезапномъ наплывѣ чувствъ увидитъ систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступаютъ на темный путь подозрѣній, то ничего

хорошаго отъ нихъ ждать ужъ нельзя. Вмѣсто прежней, исторической распри, которую желали устранить, но къ которой такъ или иначе успѣли уже приглядѣться, явится распря новая, которая тѣмъ менѣе доступна будетъ соглашеніямъ, что въ основаніе ея—положимъ, неправильно, но *непремѣнно*—лягутъ слова: преднамѣренность и обманъ.

Такимъ образомъ, достаточныхъ основаній, которыя оправдывали бы надежды на сближенія, нѣтъ. А ежели нѣтъ даже этого, то о какихъ же заднихъ мысляхъ можетъ идти рѣчь?!

Слѣдовательно, и предположеніе о наплывѣ чувствъ, и предположеніе о неизвѣстныхъ, но крайне хитрыхъ и либеральныхъ цѣляхъ — оказываются равно несостоятельными.

Остается, стало быть, предположеніе о наклонности къ политико-экономическимъ вицамъ. Но одна мысль о возможности чего-либо подобнаго была такъ страшна, что я вскочилъ какъ ужаленный.

Ужели?!

Ужели афоризмъ, утверждающій, что равномѣрность равномѣрна, а равноправность равноправна, до того обольстителенъ, что можетъ кого-нибудь увлекать?

Я гналъ отъ себя эту ужасную мысль, но въ то же время чувствовалъ, что сколько я ни размышляю, а ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, все-таки, придти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсѣмъ не годится. А между тѣмъ фактъ существуетъ! Что же, наконецъ, такое?

Мучимый сомнѣніями, я почувствовалъ потребность провѣрить мои мысли, и притомъ провѣрить въ такой средѣ, которая была бы въ этомъ случаѣ вполнѣ компетентною.

Я вспомнилъ, что у меня былъ товарищъ, очень прыткій мальчикъ, по фамиліи Менандръ Прелестновъ, который еще въ университетѣ написалъ сочиненіе на тему: „Гомеръ, какъ поэтъ, человѣкъ и гражданинъ“, потомъ перевелъ какой-то учебникъ или даже одну страницу изъ какого-то учебника и, наконецъ, теперь, за оскудѣніемъ, сдѣлался либераломъ и публицистомъ при ежедневномъ литературно-научно-политическомъ изданіи „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница“. Открытіе это освѣжило и ободрило меня. Наконецъ-то, думалось мнѣ, я буду въ самомъ сердцѣ всероссійской интеллигенціи! И, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, я побѣжалъ къ Прелестнову.

Я ужъ не разъ порывался къ Прелестнову съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ въ Петербургъ, но меня удерживала свойственная всѣмъ провинціаламъ застѣнчивость передъ печатнымъ словомъ и его служителями. Намъ и до сихъ поръ еще кажется, что въ области печатнаго слова происходитъ что-то въ родѣ священнодѣйствія, и мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достовѣрное, что въ настоящее время это дѣло упрощено до того, что стоитъ только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнѣйшая передовая статья.

Лично же для меня трепетъ передъ печатнымъ словомъ усложняется еще воспоминаніемъ о томъ, что я и самъ когда-то собирался сослужить ему

службу. Экземпляръ „Маланьи“, отлично переписанный и великолѣпно переплетенный, и до-днесь хранится у меня, и по временамъ—надо ли въ томъ сознаться?—я втихомолку кой-что изъ него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведенія, что въ головѣ моей вдругъ мелькнетъ дерзкая мысль: а не махнуть ли въ типографію? Но не успѣетъ эта мысль зародиться, какъ мнѣ уже дѣлается вполнѣ ясною вся ея несостоятельность. Увы! время „Маланій“ прошло безвозвратно! Никто теперь такъ не пишетъ, никто такъ не мыслитъ и ужъ, конечно, никто не переписываетъ своихъ „Маланій“ на-бѣло и не переплетаетъ ихъ! Очевидно, что входъ въ литературу закрытъ для меня навсегда, и что мнѣ остается только скитаться по берегу вѣчно-кипящаго моря печатнаго слова и лишь издали любоваться, какъ болѣе счастливые пловцы борются съ волнами его!

„Маланья“ написана неуклюже и формой своей напоминаетъ старинные, топорной работы помѣщичьи экипажи. Въ ней затискано множество подробностей и отступленій, которыя положительно загромождаютъ архитектуру повѣсти. И кузовъ выпятился безобразно назадъ, и козла построены такія, что ни влѣзть, ни слѣзть, и мѣшечковъ понавѣшено множество, а подножекъ чуть не четыре этажа. Съ перваго взгляда трудно даже опредѣлить, что̀ это такое: домъ, корабль или экипажъ. Что-то тутъ и звенитъ, и громыхаетъ, что-то грозитъ перекувырнуться вверхъ дномъ, но что̀ именно — хоть цѣлый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тѣмъ не менѣе утверждаю, что ежели сравненіе съ экипажемъ тутъ умѣстно, то это былъ, все-таки, *свой собственный* экипажъ, а не извозчичій.

Нынѣче, даже въ литературѣ, пошли на Руси въ ходъ экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи съ графскими гербами, завели пріобрѣтенныхъ по случаю, послѣ отъѣзжающихъ кокотокъ, кровныхъ рысаковъ: „ваше сіятельство! прокачу!“ И вотъ вы мчитесь, мчитесь во всѣ лопатки, и нигдѣ васъ не тряхнетъ, ничѣмъ не потревожитъ, не шелохнетъ. Молодецъ-лихачъ ни обо что не зацѣпится, держитъ въ рукахъ возжи бодро и самоувѣренно, и примчитъ къ вожделѣнной цѣли такъ легко, что вы и не замѣтите. Мысли у него коротенькія, фразы коротенькія; даже главы имѣютъ видъ куплетовъ. Такъ и кажется, что онъ спѣшитъ поскорѣе сдѣлать конецъ, потому что его ждетъ другой сѣдокъ, котораго тоже нужно на славу прокатить. Слышно: „пади! поберегись!“ и ничего больше. Черезъ двѣ-три минуты —пріѣхали.

Ну, куда же тутъ соваться съ „Маланьей“!

Взирая на этихъ людей, съ такою легкостью мчащихся по улицѣ мостовой, я ощущаю невольную робость. Вотъ люди,—снится мнѣ—которые не зарыли своихъ талантовъ въ землю, но, имѣя за душой грошъ, съумѣли, съ помощью однихъ быстрыхъ оборотцевъ, преобразить его въ двугривенный! Правда, что это, все-таки, только двугривенный, но вѣдь и двугривеный... воля ваша, а для гроша и это неслыханный успѣхъ! И кто же можетъ предвидѣть, что̀ станется съ этимъ двугривеннымъ въ будущемъ! Вглядитесь въ него хорошенько: вѣдь онъ и теперь чуть-ли не выглядитъ ужъ рублемъ!

И когда я подумаю, что если бы меня въ свое время не обезкуражили цензора̀, то и я, постепенно оборачиваясь, могъ бы въ настоящую минуту быть

обладателемъ цѣлаго литературнаго двугривеннаго, — мной овладѣваетъ какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь невѣдомо куда, мчался бы на подержанныхъ графскихъ дрожкахъ, блестя почищенною сбруей на купленномъ по случаю кокоткиномъ рысакѣ! Но мнѣ на первомъ же шагу закричали: „стой!“ и тѣмъ, такъ сказать, навсегда прекратили мое теченье. Оскорбленный, я изнемогалъ съ тѣхъ поръ или въ деревнѣ, или подъ сѣнію рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба, и все упивался воспоминаніями о „Маланьѣ“. О, Маланья! о, юнѣйшее изъ юнѣйшихъ, о, горячѣйшее изъ горячѣйшихъ произведеній, одно воспоминаніе о которомъ можетъ извлечь токи слезъ изъ глазъ его автора! А время между тѣмъ шло, не внося въ мои взгляды никакихъ усовершенствованій. Появились коротенькія фразы, изобрѣтены коротенькія мысли, а я все упорно оставался при четырехъ-этажныхъ періодахъ и хитросплетенныхъ силлогизмахъ. Собственные экипажи давно заброшены, проданы въ ломъ... а я и до сего дня ношусь съ своею „Маланьей“ да съ воспоминаніями о неизмѣримомъ пьянствѣ и безконечныхъ спорахъ въ трактирѣ „Британія“!

Понятно, стало быть, почему я, литераторъ неудавшійся, литераторъ съ длинными, запутанными фразами, съ мыслями, сдѣлавшимися сбивчивыми и темными, вслѣдствіе усилій высказать ихъ какъ можно яснѣе, робѣю и стушевываюсь передъ краткословными и краткомысленными представителями новѣйшей русской литературы. Мысль, что любой изъ этихъ господъ можетъ кого угодно, съ помощью самой коротенькой фразы, и осчастливить, и сконфузить, — преслѣдуетъ меня. А такъ какъ коротенькія фразы, въ сущности, даже усилій никакихъ не требуютъ, то представьте себѣ, сколько тутъ можно разбросать двугривенныхъ, нимало не трогая самого капитала, который такъ и останется навсегда неразмѣннымъ двугривеннымъ! О, Бутковъ! о, Достоевскій! о, Аполлонъ Григорьевъ! О, вы, немазанно-колеснѣйшіе, о, вы, скрипящемыслящіе прорицатели сороковыхъ годовъ! какъ бы стушевались, сконфузились вы передъ лобанчиками *) современной русской литературы!

Отъ Прелестнова пахло публицистикой, просонками и головною болью. Такъ какъ онъ редижировалъ отдѣлъ „Намъ пишутъ“, и слѣдовательно постоянно находился подъ угрозой мысли: а что если и завтра опять сообщатъ, что въ Шемахѣ произошло землетрясеніе? — то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное выраженіе. Двѣ фразы были совершенно ясно написаны на этомъ лицѣ: первая — „о чемъ, бишь, я хотѣлъ сказать?“ и вторая — „ахъ, не забыть бы, что изъ Иркутска пишутъ!“ Тѣмъ не менѣе, когда Прелестновъ увидѣлъ меня входящаго, то лицо его на мгновеніе просвѣтлѣло.

— „Британія“!—воскликнулъ онъ, простирая ко мнѣ руки.

— Санковская! Мочаловъ! „Башмаковъ еще не износила“!—отозвался я съ неменьшимъ увлеченіемъ.

---

*) „Лобанчикомъ“ въ сороковыхъ годахъ называлась въ русской торговлѣ французская монета съ изображеніемъ одного изъ Бурбоновъ, какъ извѣстно, обладавшихъ большими, открытыми лбами. Монета эта была почти всегда стертая и ходила нѣсколько ниже, нежели двадцатифранковики позднѣйшихъ чекановъ.

— Давно ли? И не побывать? не грѣхъ ли? Помнишь „Маланью“?

Мы долгое время стояли рука въ руку и смотрѣли другъ на друга свѣтящимися глазами. Наконецъ рукамъ нашимъ стало тепло, и мы бросились обнимать другъ друга и цѣловаться.

— Хорошее было это время! — говорилъ онъ, сжимая меня въ объятіяхъ.

— Еще бы! Ты писалъ диссертацію „Гомеръ, какъ поэтъ, человѣкъ и гражданинъ“, я...

— А ты... ты вдохновлялся „Маланьей“! Ты былъ поэтъ! О! это было время святого искусства!.. А впрочемъ, вѣдь и теперь... вѣдь не оскудѣла же русская земля дѣятелями! не правда ли? вѣдь не оскудѣла?

— Гдѣ же, голубчикъ, оскудѣть! возьми: вѣдь больше семидесяти милліоновъ жителей, и ежели на каждый милліонъ хоть по одному Ломоносову...

— Не правда-ли? вотъ и я постоянно твержу: не оскудѣетъ она, говорю! Такъ ли?

— Помилуй! какъ оскудѣть!

— Полководцевъ, говорятъ, нѣтъ—будутъ, говорю!

— Будутъ!

— Администраторовъ, говорятъ, подлинныхъ нѣтъ — будутъ, говорю!

— Будутъ!

— Денегъ, говорятъ, нѣтъ—будутъ, говорю!

— Еще бы! и пословица говоритъ: нѣтъ денегъ—передъ деньгами!

— Передъ нами времени-то сколько!

— Мало ли передъ нами времени!

Мы поцѣловались опять.

— Только вотъ голова болитъ!—продолжалъ онъ:—постоянно болитъ! Корреспонденціи эти, что-ли... а впрочемъ какой это бодрый, крѣпкій народъ—корреспонденты!

— Коренники!

— У насъ есть одинъ екатеринославскій корреспондентъ — ну, просто можно зачитаться его корреспонденціями!

— Что и говорить! екатеринославцы — они молодцы! Въ наше время ярославцы молодцами слыли... помнишь, половые?—вѣдь все были ярославцы! И все одинъ къ одному! Мясà какія у нихъ были—не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы... тѣ по части публицистики!

— Да, братъ, вездѣ прогрессъ! не прежнее нынѣче время! Поди-ка ты нынѣче въ половые—кто на тебя какъ на дѣятеля взглянетъ! Нѣтъ! нынѣче вотъ земство, суды, свобода книгопечатанія... вонъ оно куда пошло!

Подъ вліяніемъ воспоминаній, я такъ разгулялся, что даже совсѣмъ позабылъ, что еще часъ тому назадъ меня волновали жестокія сомнѣнія насчетъ тѣхъ самыхъ предметовъ, которые теперь возбуждали во мнѣ такой безграничный энтузіазмъ. Я ходилъ рядомъ съ Прелестновымъ по комнатѣ, потрясалъ руками и, какъ-то нелѣпо захлебываясь, восклицалъ: — Вонъ оно куда пошло! вонъ мы куда метнули!

— Не правда ли? — вторилъ, въ свою очередь, Прелестновъ: — неправда ли, какъ легко дышется?

— Ужъ чего легче надо!

— И какъ свѣтло живется!

— Ужъ чего же...

— Банки, ссудо-сберегательныя кассы, артельныя сыроварни... А сколько въ одномъ Ледовитомъ океанѣ богатствъ скрыто... О, чортъ побери!

Мы поцѣловались еще разъ.

— Только, братъ, расплываться не надо—вотъ что!—прибавилъ онъ съ нѣкоторою таинственностью:—не надо лѣзть въ задоръ! Тише! тише!

— То-есть, какъ же это: не расплываться?

— Ну, да, вотъ, напримѣръ, ежели взялся писать о ссудо-сберегательныхъ кассахъ—объ нихъ и пиши! Чтобъ ни о соціализмѣ, ни объ интернаціоналкѣ... упаси Богъ!

— Это вслѣдствіе свободы печати, что-ли?

— Ну, да, и свобода печати, да и вообще... расплываться не слѣдуетъ!

Лицо Прелестнова приняло строгое выраженіе, какъ будто онъ вдругъ получилъ изъ Екатеринославля совершенно вѣрное извѣстіе, что я имѣю намѣреніе расплываться. Мнѣ, съ своей стороны, показалось это до крайности обиднымъ.

— Да я развѣ... расплываюсь?—спросилъ я, смотря на него изумленными глазами.

— То-то! то-то! Время „Маланій“, братъ, нынѣче прошло! Ну, да впрочемъ не въ томъ дѣло. Я очень радъ тебя видѣть, но теперь некогда: надо корреспонденцію разбирать. Кстати: изъ Кишинева пишутъ, что тамъ въ продолженіе цѣлаго часа было видимо сѣверное сіяніе... Каковъ фактецъ!

— Да... фактецъ—ничего!

— Ну-съ, такъ вотъ что: приходи ты ко мнѣ завтра вечеромъ, и тогда...

Лицо Прелестнова изъ строгаго вдругъ сдѣлалось таинственнымъ. Видно было, что онъ хотѣлъ нѣчто сообщить мнѣ, но нѣкоторое время не рѣшался.

— Впрочемъ отъ тебя скрываться нечего,—наконецъ сказалъ онъ: — съ нѣкотораго времени здѣсь образовалось общество, подъ названіемъ „Союзъ Пѣнкоснимателей“... Но ради Бога, чтобъ это осталось между нами!

Онъ произнесъ это такъ тихо, что я даже поблѣднѣлъ.

— И это общество... запрещенное?—спросилъ я.

— То-есть, какъ тебѣ сказать... оно, конечно... Цѣли нашего общества самыя благонамѣренныя... Ведемъ мы себя, даже можно сказать, примѣрнѣйшимъ образомъ... Но—странное дѣло!—для правительства все какъ будто неясно, что отъ пѣнкоснимателей никакого вреда не можетъ быть!

— Гм... и завтра у тебя сборище?

— Ну, да, ты увидишь тутъ всѣхъ.

— Отлично. А у меня кстати нѣсколько вопросовъ есть.

— Прекрасно. Стало быть, до завтра. Завтра мы все порѣшимъ. Только, чуръ, не расплываться! Помни, что время „Маланій“ прошло! А покуда вотъ тебѣ писанный уставъ нашего общества.

Мы опять обнялись, поцѣловались и, смотря другъ на друга свѣтя-

щимися глазами, простояли рука въ руку до тѣхъ поръ, пока намъ не сдѣлалось тепло.

Наконецъ, однакожъ, я вышелъ. Но когда я уже былъ внизу лѣстницы, Прелестновъ, должно быть, не выдержалъ, выбѣжалъ на площадку и сверху закричалъ мнѣ:

— Смотри же! не расплываться! „Маланью“ нужно оставить! Оставить „Маланью“ нужно!

Я не шелъ домой, а бѣжалъ.

„Тайное общество!“ — думалось мнѣ: — „и какое еще тайное общество! Общество, цѣль котораго формулируется словами: „не расплываться“ и „снимать пѣнки“! Великій Боже! въ какія мы времена, однакожъ, живемъ!“

А вѣдь какой былъ прекраснѣйшій малый, этотъ Прелестновъ, въ то незабвенное время, когда онъ писалъ свою диссертацію: „Гомеръ, какъ поэтъ, какъ человѣкъ и какъ гражданинъ“! Совсѣмъ даже и не похожъ былъ на заговорщика! А теперь, вотъ, заговорщикъ, хитрецъ, почти даже государственный преступникъ! Какое горькое сплетеніе обстоятельствъ нужно было, чтобы произвести эту метаморфозу!

Я какъ сейчасъ помню нѣкоторыя выдержки изъ его достопамятной диссертаціи.

„Гомеръ! кто не испытывалъ высокаго наслажденія, читая безсмертную „Иліаду“? Гомеръ — это море, или, лучше сказать, цѣлый океанъ, какъ онъ же безбрежный, какъ онъ же глубокій, а быть можетъ, даже бездонный!“

Далѣе:

„Но Гомеръ безбреженъ не только какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Ежели мы хотимъ представить себѣ идеалъ человѣка, то, конечно, не найдемъ ничего лучшаго, какъ остановиться на величественномъ образѣ благодушнаго старца, въ которомъ, какъ въ морѣ, отразилась сѣдая древность временъ“.

И еще далѣе:

„Но Гомеръ былъ въ то же время и гражданинъ. Онъ не скрываетъ своего сочувствія къ оскорбленному Менелаю; что же касается до его патріотизма, то это вопросъ настолько рѣшенный, что всякое сомнѣніе въ немъ можетъ возбудить лишь *гомерическій* хохотъ“.

И проч., и проч.

И этотъ человѣкъ — заговорщикъ! Этотъ человѣкъ не настолько свободенъ, чтобы ясно сказать, что въ городѣ Имярекъ исправникъ ѣздитъ на казенныхъ лошадяхъ! Этотъ человѣкъ, защитникъ Гомера, какъ человѣка, поэта и гражданина — одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ разбойнической банды „Пѣнкоснимателей“!

И что это за банда такая?! настоящая ли разбойничья, или такъ, въ родѣ Оффенбаховской, при которой Менандръ разыгрываетъ роль Фальзакаппы?!

О, Менандръ! что же таится въ душѣ твоей?... что кроется въ этомъ тихо дремлющемъ заливѣ, въ которомъ такъ весело смотрится „нашъ екате-

риносла́вскій корреспондентъ“? Снятся ли ей сны о подкопахъ, или просто закипаетъ неясный наплывъ неясныхъ чувствъ? О, Менандръ!!

Прибѣжавъ домой, я съ лихорадочною поспѣшностью вынулъ изъ кармана данную мнѣ Прелестновымъ рукописную тетрадку и на заглавномъ листѣ ея прочиталъ:

„Уставъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей“.

Но въ глазахъ у меня рябило, духъ занимало, и я нѣкоторое время не могъ придти въ себя. Однакожъ, двѣ-три рюмки водки—и я былъ уже въ состояніи продолжать.

„Уставъ“ раздѣленъ на семь параграфовъ, въ свою очередь подраздѣленныхъ на статьи. Каждая статья снабжена объясненіемъ, въ которомъ подробно указываются мотивы, послужившіе для статьи основаніемъ.

„Уставъ“ гласилъ слѣдующее:

§ 1. *Цѣль учрежденія Союза и его организація.*

Ст. 1. За отсутствіемъ настоящаго дѣла и въ видахъ безобиднаго препровожденія времени, учреждается учено-литературное общество подъ названіемъ „Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей“.

Объясненіе. Въ журналѣ „Вѣстникъ Пѣнкосниманія“, въ статьѣ „Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей передъ судомъ общественной совѣсти“ сказано: „Въ сихъ печальныхъ обстоятельствахъ какой исходъ предстоялъ для русской литературы?—По нашему посильному убѣжденію, такихъ исходовъ было два: во-первыхъ, принять добровольную смерть и, во-вторыхъ, развиться въ Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей. Она предпочла послѣднее рѣшеніе, и, смѣемъ думать, поступила въ этомъ случаѣ не только разумно, но и вполнѣ согласно съ чувствомъ собственнаго достоинства. Зачѣмъ умирать, когда въ виду еще имѣется обширное и плодотворное поприще пѣнкосниманія?“

Ст. 2. Никакой организаціи Союзъ не имѣетъ. Нѣтъ въ немъ ни президентовъ, ни секретарей, ни даже совокупнаго обсужденія общихъ всѣмъ пѣнкоснимателямъ интересовъ, по той простой причинѣ, что изъ столь невиннаго занятія, каково пѣнкосниманіе, никакихъ интересовъ проистечь не можетъ.

Союзъ сей—вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пѣнки съ чего угодно и какъ угодно; эта уступка дѣлается тѣмъ охотнѣе, что въ подобномъ занятіи никакихъ твердыхъ правилъ установить невозможно.

Объясненіе. Въ той же статьѣ далѣе говорится: „Что же такое этотъ „Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей“, который, едва явившись на свѣтъ, уже задалъ такую работу близнецамъ „Московскихъ Вѣдомостей“? Имѣетъ ли онъ въ виду проведеніе какихъ-либо разрушительныхъ началъ? Или же представляетъ собой, какъ увѣряютъ нѣкоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное закономъ тайное общество? Мы смѣло

можемъ отвѣтить на эти вопросы: ни того, ни другого предположить нельзя. Пѣнкоснимательство составляетъ въ настоящее время единственный живой общественный элементъ; а ежели оно господствуетъ въ обществѣ, то весьма естественно его господство и въ литературѣ. Пѣнкосниматели всюду играютъ видную роль, и литература *обязана была* раскрыть имъ свои двери сколь возможно шире. И она сдѣлала это тѣмъ безтрепетнѣе, что пѣнкосниматели суть вполнѣ вольные люди, приходящіе въ литературный вертоградъ съ однимъ чистымъ сердцемъ и вполнѣ свободные отъ какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организаціи, о какихъ-то тайныхъ намѣреніяхъ — просто смѣшно. Этимъ чистымъ людямъ самая мысль объ организаціи должна быть противна!“

§ 2. *О членахъ Союза.*

Ст. 1-я. Въ члены Союза Пѣнкоснимателей имѣетъ право вступить всякій, кто можетъ безобиднымъ образомъ излагать смутность испытываемыхъ имъ ощущеній. Ни познаній, ни тѣмъ менѣе такъ-называемыхъ идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, какъ извозчикъ истязуетъ лошадь, почелъ бы за нужное, рядомъ фактовъ, взятыхъ изъ древности или изъ исторіи развитія современныхъ государствъ, доказать вредъ такого обычая, то сіе не токмо не возбраняется, но именно и составляетъ тотъ высшій видъ пѣнкоснимательства, который въ современной литературѣ извѣстенъ подъ именемъ „науки“.

Объясненіе. Тамъ же: „Чувство, одушевляющее пѣнкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А такъ какъ чувство это доступно всякому, то можно себѣ представить, какъ громадно должно быть число пѣнкоснимателей! Но само собою разумѣется, что въ тѣхъ случаяхъ, когда это чувство является во всеоружіи знанія и ищетъ примѣненій въ наукѣ, оно пріобрѣтаетъ еще бо́льшую цѣну. Хорошъ пѣнкосниматель-простецъ, но ученый пѣнкосниматель—еще того лучше. Появленіе сихъ послѣднихъ на аренѣ нашей литературы есть признакъ утѣшительный и, смѣемъ думать, даже здоровый. Пора, наконецъ, убѣдиться, что наше время—не время широкихъ задачъ, и что тотъ, кто, подобно автору почтеннаго разсужденія: „Русскій романсъ: „Чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ? — передъ судомъ здравой критики“, съумѣлъ придти къ разрѣшенію своей скромной задачи — тотъ сдѣлалъ гораздо болѣе, нежели всѣ совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой „широкихъ“ задачъ самонадѣянно волнуютъ міръ, не удовлетворяя онаго“.

Ст. 2-я. Отмѣтчики и газетные репортеры, то-есть, всѣ тѣ, кои наблюдаютъ, дабы полуда на посудѣ въ трактирныхъ заведеніяхъ всегда находилась въ исправности, могутъ вступать въ Союзъ даже въ томъ случаѣ, если не имѣютъ вполнѣ твердыхъ познаній въ грамматикѣ.

Объясненіе. Въ передовой статьѣ, напечатанной объ этомъ предметѣ въ газетѣ „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница“, сказано: „Газетный репортеръ есть, такъ сказать, первообразъ истиннаго литературнаго пѣнкоснимателя, отъ котораго всѣ прочіе (ученые, публицисты, беллетристы и проч.) заимствуютъ свои главныя типическія особенности. Вся разница (ого-

вариваемся, впрочемъ: разница очень значительная) заключается лишь въ большемъ или меньшемъ объемѣ произведеній тѣхъ и другихъ. Какою бы эрудиціей ни изумлялъ, напримѣръ, авторъ „Изслѣдованія о Чурилкѣ“, но ежели читатель возьметъ на себя трудъ проникнуть въ самыя глубины собраннаго имъ драгоцѣннаго матеріала, то на днѣ оныхъ онъ несомнѣнно увидитъ отмѣтчика-пѣнкоснимателя. Поэтому намъ кажется, что ограничить, относительно отмѣтчиковъ, возможность вступать въ Союзъ Пѣнкоснимателей было бы несправедливо даже въ томъ случаѣ, если бы люди сіи и не вполнѣ безукоризненно разставляли знаки препинанія. Скажемъ болѣе: это значило бы подрывать самыя основы Союза, лишая его содѣйствія такихъ лицъ, отъ которыхъ онъ получилъ свои главнѣйшія типическія особенности“. По этому же поводу въ газетѣ „Истинный Россійскій Пѣнкоснимать“ говорится слѣдующее: „Въ литературѣ нашей много надѣлалъ шуму вопросъ: слѣдуетъ ли отмѣтчиковъ и газетныхъ репортеровъ считать членами „Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей“? И повидимому весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за того, что много-де встрѣчается такихъ репортеровъ, которые даже грамотно писать не умѣютъ. Мы позволяемъ себѣ думать, однакожъ, что даже возбужденіе подобныхъ вопросовъ представляетъ нѣчто въ высшей степени странное. Въ чемъ заключается истинная цѣль пѣнкоснимательства?—Она заключается въ облегченіи литератора, въ освобожденіи его отъ нѣкоторыхъ стѣснительныхъ узъ. А въ чемъ же мы можемъ найти облегченіе болѣе дѣйствительное, какъ не въ свободѣ отъ грамматики, этого стараго, изжившаго свой вѣкъ пугала, котораго въ нашъ просвѣщенный вѣкъ не страшатся даже вороны и воробьи?“

§ 3. *О приличнѣйшей для пѣнкоснимательства аренѣ.*

Ст. 1. Разсѣянные по лицу земли, лишенные организаціи, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность—да послужатъ россійскіе пѣнкоснимати на славномъ поприщѣ россійской литературы, которая издревле всѣмъ безъ пороху палящимъ пріютъ давала!

Объясненіе. Объ этомъ предметѣ газета „Зеркало пѣнкоснимателя“ выразилась такъ: „Гдѣ самое сподручное поприще для пѣнкоснимателя? — очевидно, въ литературѣ. Всякая отрасль человѣческой дѣятельности требуетъ и спеціальной подготовки, и спеціальныхъ пріемовъ. Сапожникъ обязуется шить *непремѣнно* сапоги, а не подобіе сапоговъ, и чтобы достигнуть этого, *непремѣнно* долженъ знать, какъ взять въ руки шило и дратву. Напротивъ того, публицистъ очень свободно можетъ написать не передовую статью, а лишь подобіе оной, и нимало не потерять своей репутаціи. Отсюда ясно, что одна литература можетъ считать себя свободною отъ обязательства изготовлять работы вполнѣ опредѣленныя и логически послѣдовательныя. Составленная изъ элементовъ самыхъ разнообразныхъ и никакимъ правиламъ не подчиненныхъ, она представляетъ для пѣнкоснимательства арену тѣмъ болѣе приличную, что на оную, въ большинствѣ случаевъ, являются люди, не искушенные въ наукахъ, но одушевляемые единственно жаждой какъ можно болѣе собрать пѣнокъ и продать ихъ по 1 к. за строчку“.

§ 4. *Объ обязанностяхъ членовъ Союза.*

Ст. 1. Обязанности сіи суть:

Первое. Не пропуская ни одного современнаго вопроса, обо всемъ разсуждать съ такимъ разсчетомъ, чтобы никогда ничего изъ сего не выходило.

Объясненіе. Въ газетѣ „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница“ читаемъ: „Странный вы человѣкъ, читатель! Какъ хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, съ одной стороны, намъ угрожаетъ за это административная кара, а съ другой стороны, мы и сами вполнѣ ясныхъ представленій о вещахъ не имѣемъ?!“ Объ этомъ же предметѣ, въ еженедѣльномъ изданіи „Обыватель Пѣнкоснимающій“, въ статьѣ „Отповѣдь Старѣйшей Всероссійской Пѣнкоснимательницѣ“ (служащей отвѣтомъ на предыдущую статью), сказано: „Съ одной половиной этой мысли мы имѣемъ полную готовность согласиться весьма безусловно. Что жъ дѣлать! Старѣйшая наша Пѣнкоснимательница всегда имѣетъ такія мысли, что лишь половина оныхъ надлежащую здравость имѣетъ, другая же половина или отсутствуетъ, или идетъ на встрѣчу первой, какъ два столкнувшіеся въ лобъ поѣзда желѣзной дороги, нечаянно встрѣчущіеся. И такъ, если мы положимъ руку на сердце, то оно скажетъ намъ, что мы дѣйствительно истинно здравыхъ понятій о вещахъ въ своемъ яснопостиженіи обладать не можемъ. Это такъ. Но чтобы за сіе насъ ожидала какая-то административная кара—это никогда!! Это не есть въ предѣлахъ возможности!!“

Второе. По наружности имѣть видъ откровенный и даже смѣлый, внутренно же трепетать.

Объясненіе. Въ газетѣ „Зеркало Пѣнкоснимателя“ говорится: „Одно изъ величайшихъ затрудненій для успѣховъ пѣнкоснимательства въ будущемъ заключается въ слѣдующемъ. Читатель любитъ, чтобы бесѣдующій съ нимъ публицистъ имѣлъ видъ открытый и даже смѣлый; цензура, напротивъ, не любитъ этого. Какимъ образомъ пройти между Харибдой и Сциллой? Какимъ образомъ, съ одной стороны, не растерять подписчиковъ, а съ другой — не навлечь на себя кару закона? Въ этомъ именно и заключается задача современнаго пѣнкоснимателя. До сихъ поръ единственное практическое рѣшеніе этой задачи было таково: смѣлый видъ имѣть лишь по наружности, а внутренно трепетать. Соглашаясь вполнѣ съ правильностью такого рѣшенія, мы, съ своей стороны, полагали бы нелишнимъ, для большей смѣлости, прибѣгать при этомъ къ нѣкоторымъ фразамъ, которыя, по мнѣнію нашему, могли бы съ успѣхомъ послужить для достиженія обѣихъ высказанныхъ выше цѣлей. Фразы эти суть: „мы предупреждали“, „мы предсказывали“, „мы предвидѣли“ и т. д. Примѣненныя къ дѣлу пѣнкоснимательства, эти фразы никакой въ цензурномъ отношеніи опасности не представляютъ, а между тѣмъ публицисту придаютъ видъ бодрый и отчасти даже проницательный“.

Третье. Усиливать откровенность и смѣлость по мѣрѣ того, какъ предметъ, о которомъ заведена рѣчь, представляетъ меньшую опасность для вольнаго обсужденія. Такъ напримѣръ, по вопросу о неношеніи нѣкоторыми городовыми на виду бляхъ надлежитъ дѣйствовать съ такою настоятельностью, какъ бы имѣлось въ виду получить за сіе третье предостереженіе.

Объясненіе. Газета „Истинный Россійскій Пѣнкосниматель“ выражается поэтому такъ: „Въ сихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ литературѣ ничего не остается болѣе, какъ обличать городовыхъ. Но пусть она помнитъ, что и эта обязанность нелегкая, и пусть станетъ на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправѣ идти ни на какія сдѣлки и, напротивъ того, должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести въ дѣйствіе по другимъ вопросамъ“.

Четвертое. Разсуждая о современныхъ вопросахъ, стараться по возможности сокращать ихъ размѣры.

Объясненіе. Въ газетѣ „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница“ читаемъ: „Наклонность расплываться и захватывать вширь изстари была самымъ важнымъ, такъ сказать, органическимъ нашимъ недостаткомъ. Разсматривая, напримѣръ, поступокъ городового бляха № 000, мы никакъ не упустимъ, чтобы не зацѣпить по дорогѣ и весь почтенный институтъ городовыхъ. Понятно, какое раздраженіе долженъ породить подобный неосновательный образъ дѣйствій не только въ гг. городовыхъ, но и въ гг. участковыхъ и околоточныхъ надзирателяхъ, ихъ непосредственныхъ начальникахъ. Поэтому, въ виду благодѣтельнаго поворота нашей литературы въ смыслѣ пѣнкоснимательства, мы не обинуясь и во всеуслышаніе говоримъ: не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхѣ № 000, но не касайтесь института. Silenzio! Prudenzia! какъ поютъ хористы въ итальянской оперѣ. Не раздражайте!“

Пятое. Ежеминутно обращать вниманіе читателя на пройденный имъ славный путь. Но такъ какъ при семъ легко впасть въ ошибку, то-есть выдать славное за неславное и наоборотъ, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объясненіе. „Обыватель Пѣнкоснимающій“ выражается такъ: „Съ тѣхъ высотъ, на коихъ мы находимся, полезно, хотя бы и съ головокруженіемъ, взглядывать на путь, который уже пройденъ нами. Оглянемся — и что жъ увидимъ? Увидимъ бездну, въ которой многое и прекрасно, и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть можетъ, и не столь своевременно. Но назовемъ ли мы прекрасное безусловно прекраснымъ, а не своевременное безусловно несвоевременнымъ? Нѣтъ, мы остережемся отъ такого опрометчиваго поступка, омрачущаго нашу совѣсть! Ибо мы не знаемъ, дѣйствительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаемъ прекраснымъ для себя. Мы опасаемся, какъ бы не назвать прекраснымъ то, что для читателя совсѣмъ не есть потребно, и непотребнымъ то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковымъ, если бы не внезапность обстоятельствъ, измѣнившая все къ наилучшему (см. соч. Токквиля: „L'ancien régime et la révolution“). И если бы кто-нибудь взялъ на себя трудъ завѣрять насъ, что все сіе есть безсмыслица, то мы на сіе отвѣтствовали бы: „Судите сами! Мы же, съ Божьею помощью, и впредь таковое намѣрены говорить!“ На эту замѣтку „Зеркало Пѣнкоснимателя“ возражало: „Изъ цѣлаго лѣса безсмыслицъ, которыми переполнена замѣтка почтенной газеты, выдѣляется только одна свѣтлая мысль: нужно обращать вниманіе русскаго общества на пройденный имъ славный путь, но не слѣдуетъ дѣлать никакой критической оцѣнки этому

пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не всѣ вкусы одинаковы, а слѣдовательно трудно угадать, кому изъ подписчиковъ нравится арбузъ, а кому—свиной хрящикъ".

Шестое. Обнадеживать, что въ будущемъ ожидаетъ читателей еще того лучше.

Объясненіе. Въ фельетонѣ газеты „Пѣнкоснимателя на-распашку" сказано: „Не знаю, какъ вы, читатель, но я преисполненъ вѣры въ будущее. Я совсѣмъ не раздѣляю взглядовъ тѣхъ мрачныхъ людей, которые на все смотрятъ съ подозрительностью. Фи! какой это скучный и необтесанный народъ! Напротивъ того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь Россіи вдоль и поперекъ исполосуется желѣзными путями, когда увидятъ свѣтъ безчисленныя богатства, скрывающіяся въ нѣдрахъ земли, и безконечными караванами потянутся во всѣ стороны. Уже повезли въ Ташкентъ наши плисы и ситцы—почему бы вслѣдъ за ними не проникнуть туда и изданіямъ общества распространенія полезныхъ книгъ? То-то порадуется русскій мужичокъ, когда отдаленный Самаркандъ будетъ носить ситцевыя рубахи его издѣлія, а кичливый сынъ туманнаго Альбіона облечется въ плисовыя шаровары изготовленныя въ самомъ сердцѣ Россіи—въ Москвѣ золотыя маковки! Москва! чье сердце не трепещетъ при твоемъ имени!"

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, и высказывать надежду, что „новое слово" когда-нибудь будетъ сказано.

Объясненіе. Журналъ „Пѣнкоснимательная Подоплека", въ статьѣ „Корреспонденція изъ Вильно", выражается такъ: „Обрусеніе — вотъ наша задача въ этомъ краѣ, но обрусеніе дѣйствительное, сопровождаемое инкюлькированіемъ настоящаго русскаго духа. Мы не вѣримъ болѣе Петербургу, ибо какой же тамъ русскій духъ?! Петербургъ указываетъ намъ на Западъ и предлагаетъ нашу общественность перестроить на манеръ тамошней. Странное дѣло! Не все ли это равно, что предложить человѣку надѣть заношенное исподнее бѣлье его сосѣда?" На это газета „Зеркало Пѣнкоснимателя" возражала слѣдующее: „Стремленіе создать *свою* мысль, *свою* науку — весьма похвально. Мы не имѣемъ права успокоиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не будетъ *своей* ариѳметики, *своей* химіи, *своей* астрономіи и проч. Но сравненіе западной цивилизаціи съ чужимъ поношеннымъ бѣльемъ, все-таки, не выдерживаетъ критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могутъ возразить намъ, что на Западѣ бѣлье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кѣмъ есть грѣшокъ въ нѣкоторой неопрятности, то это именно за нами. И такъ, не станемъ напрашиваться на ненужныя возраженія и останемся при основной и несомнѣнно вѣрной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлѣющему міру новое, обновляющее слово! Не будемъ заимствоваться отъ сосѣдей ихъ заношеннымъ исподнимъ бѣльемъ, но не станемъ дорожить и собственнымъ таковымъ же! „Новое слово" — вотъ все, что̀ отъ насъ требуется въ настоящій моментъ. Чѣмъ скорѣе оно будетъ сказано, тѣмъ лучше!"

Осьмое. Всемѣрно опасаться, какъ бы все сіе внезапно не уничтожилось.

Объясненіе. Въ газетѣ „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница" читаемъ: „Мы такъ молоды и неопытны, что не жалѣть о насъ

было бы совершенно безполезною жестокостью. Скажемъ болѣе: мы отъ души сожалѣемъ о тѣхъ, которые не находятъ въ себѣ достаточно гражданскаго мужества, чтобъ пожалѣть объ насъ, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкіе. Представьте себѣ ребенка, который едва собрался встать на ноги и котораго вдругъ ткнутъ пальцемъ въ грудь—естественно, что онъ упадетъ и ушибется. Не то ли же самое можетъ случиться и съ нашимъ молодымъ обществомъ, если мы будемъ обращаться съ нимъ безъ надлежащей осторожности? Мы приглашаемъ нашихъ противниковъ подумать объ этомъ серьезно и дѣлаемъ это тѣмъ съ бо̀льшимъ основаніемъ, что и помимо литературы найдется довольно охотниковъ тыкать въ бѣднаго новорожденнаго, называющагося русскимъ обществомъ".

Девятое. Опасаться вообще.

Объясненіе. Въ той же газетѣ говорится: „Какъ ни величественно зрѣлище бури, уничтожающей все встрѣчающееся ей на дорогѣ, но отъ этой величественности нимало не выигрываетъ положеніе того, кто испытываетъ на себѣ ея дѣйствіе. Вотъ почему благоразумные люди не вызываютъ бурь, а опасаются ихъ: они знаютъ, что сто̀итъ подуть жестокому аквилону—и ихъ ужъ нѣтъ! Мы совѣтуемъ нашимъ противникамъ подумать объ этомъ, и ежели они послѣдуетъ нашему совѣту, то, быть можетъ, поймутъ, что роль пѣнкоснимателя (то-есть человѣка, опасающагося по преимуществу) далеко не столь смѣшна, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въ этой роли много трагическаго".

§ 5. *О правахъ членовъ Союза.*

Ст. 1. Права членовъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей прямо вытекаютъ изъ обязанностей ихъ. Посему и распространяться о нихъ нѣтъ надобности.

Объясненіе. Въ газетѣ „Истинный Россійскій Пѣнкоснима̀тель" читаемъ: „Намъ говорятъ о правахъ; но развѣ можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе относительно права, коль скоро обязанность несомнѣнна? Очевидно тутъ есть недоразумѣніе, и люди, возбуждающіе вопросъ о правахъ, не понимаютъ или не хотятъ понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы съ тѣмъ вмѣстѣ принимаемъ и бремя истекающихъ изъ нихъ правъ. Это подразумѣвается само собой, и напоминать о семъ, значитъ лишь подливать масла въ огонь. Не будемъ же придираться къ словамъ, но постараемся добропорядочнымъ поведеніемъ доказать, что мы одинаково созрѣли и для обязанностей, и для правъ".

§ 6. *Что сіе означаетъ?*

Ст. 1. Вопросъ этотъ ближе всего разрѣшается „Старѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницею", которая, задавшись вопросомъ: во всѣхъ ли случаяхъ необходимости приходить къ какимъ-либо заключеніямъ?"—отвѣчаетъ такъ: „Нѣтъ, не во всѣхъ. Жизнь не мертвый силлогизмъ, который

во что бы то ни стало требуетъ логическаго вывода. Заключенія, даваемыя жизнью, не зависятъ ни отъ посылокъ, ни отъ общихъ положеній, но являются ex abrupto и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нерѣдко ведемъ съ читателемъ бесѣду на шести столбцахъ и не приходимъ при этомъ ни къ какимъ заключеніямъ, то никто не вправѣ поставить намъ это въ укоръ. Укорителямъ нашимъ мы совершенно резонно отвѣтимъ: какихъ вы требуете отъ насъ заключеній, коль скоро мы съ тѣмъ и начали нашу рѣчь, чтобы ни къ какимъ заключеніямъ не приходить?“

§ 7. *Цѣль учрежденія Союза и его организація* *).

Ст. 1. За отсутствіемъ настоящаго дѣла и въ видахъ безобиднаго препровожденія времени, учреждается учено-литературное общество подъ названіемъ „Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей“.

. . . . . .

Я кончилъ. Не знаю, какъ это случилось, но едва я успѣлъ дочитать послѣднее слово „Устава“, какъ мной овладѣлъ глубочайшій сонъ.

Въ этомъ снѣ я пробылъ до тѣхъ поръ, когда пробилъ часъ ѣхать къ Прелестнову.

Что происходило потомъ—до слѣдующей главы.

Глава VI.

„Такъ вотъ вы каковы!“—думалось мнѣ, покуда я шелъ къ Прелестнову: „заговорщики! почти-что революціонеры!“

Вотъ къ чему привело классическое образованіе! вотъ что значитъ положить въ основаніе дальнѣйшей дѣятельности диссертацію „Гомеръ какъ человѣкъ, какъ поэтъ и какъ гражданинъ!“ Умъ, вскую шатающійся, умъ, оторванный отъ дѣйствительности, воспитанный въ преданіяхъ Греціи и Рима, можетъ ли такой умъ имѣть что-нибудь другое въ виду, кромѣ систематическаго, подрывающаго основы общественности пѣнкоснимательства?

А что, ежели они... да съ оружіемъ въ рукахъ! Страшно подумать!

А мы-то сидимъ въ провинціи и думаемъ, что это просто невинные люди, которые увидятъ заборъ — поютъ: заборъ! заборъ! увидятъ рѣку — поютъ: рѣка! рѣка! Какъ бы не такъ—„заборъ“! Нѣтъ, это люди себѣ на умѣ; это люди, которые въ совершенствѣ усвоили Суворовскую тактику: „заманивай! заманивай!“ — кричатъ они другъ другу, и все бѣгутъ, все бѣгутъ, куда глаза глядятъ, затылкомъ къ опасности!

---

*) Этотъ параграфъ составляетъ дословную перепечатку § 1-го и существуетъ только въ первомъ изданіи „Устава“, гдѣ онъ, очевидно, напечатанъ по недосмотру корректора. Во второмъ изданіи онъ исключенъ, но помѣщаю его, какъ потому, что у меня въ рукахъ было первое изданіе, такъ и потому, что напоминаніе о цѣли учрежденія Союза въ концѣ Устава какъ нельзя болѣе умѣстно.

Примѣчаніе автора „Дневника“.

И какъ хитро все это придумано! По наружности вы видите какъ будто отдѣльныя изданія: тутъ и „Старѣйшая Всероссійская Пѣнкоснимательница“, и „Истинный Россійскій Пѣнкосниматель“, и „Зеркало Пѣнкоснимательности“, а на повѣрку выходитъ, что все это одна и та же сказка о бѣломъ бычкѣ, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно-еженедѣльно-ежемѣсячнаго изданія „Общероссійская Пѣнкоснимательная Срамница!“ Каковъ сюрпризъ!

Но этого мало. Мало того, что родные братья притворяются, будто они другъ другу только седьмая вода на киселѣ—посмотрите, какъ они враждуютъ другъ съ другомъ! „Мы—говоритъ одинъ—и только мы одни имѣемъ совершенно правильныя и здравыя понятія насчетъ института городовыхъ, а вамъ объ этомъ важномъ предметѣ и заикаться не слѣдуетъ!“ „Нѣтъ—огрызается другой — истинная компетентность въ этомъ дѣлѣ не на вашей, а на нашей сторонѣ. Мы первые подали мысль о снабженіи городовыхъ свистками —а вы, гдѣ были вы, когда мы предлагали эту спасительную мѣру? И послѣ этого вы осмѣливаетесь утверждать, что мы не имѣемъ сказать ничего плодотворнаго по вопросу о городовыхъ! Но мы отдаемъ нашъ споръ на судъ публики и ей предоставляемъ рѣшить, какого названія заслуживаетъ взводимая на насъ нахальная ложь!“

Читая эти вдохновенныя рѣчи, мы, провинціалы, задумываемся. Конечно,—говоримъ мы себѣ,—эти люди невинны, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ они непреклонны! посмотрите, какъ они козыряютъ другъ друга по вопросу о выѣденномъ яйцѣ!

Обманъ двойной! во-первыхъ, они не невинны; во-вторыхъ, совсѣмъ не непреклонны, и ежели затѣяли между собой полемику, то единственно, какъ говорится, для оживленія своихъ столбцовъ и страницъ.

Невинны! на чемъ основано это мнѣніе? На томъ ли, что всѣ они славословятъ и поютъ хвалу? На томъ ли, что всѣ въ одно слово прорицаютъ: тише! не расплывайтесь! не заѣзжайте! не раздражайте!? Прекрасно. Я первый бы согласился, что нѣтъ никакой опасности, если бы они кричали „тише!“ каждый самъ по себѣ. Но вѣдь они кричатъ всѣ вдругъ, кричатъ единогласно—поймите это, ради Христа! Вѣдь это ужъ скопъ! Вѣдь этакъ можно съ часу на часъ ожидать, что они не задумаются кричать „тише!“—съ оружіемъ въ рукахъ! Ужели же это не анархія!?

Да; это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убѣдились, что съ ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащихъ: „тише!“—взглянуть окомъ подозрительности?! чтобы даже въ нихъ усмотрѣть наклонности къ какимъ-то темнымъ замысламъ, въ нихъ, которые до сихъ поръ выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться другъ въ друга по поводу выѣденнаго яйца!

Что же касается до непреклонности, то мнѣ невольно припомнилось, какъ въ былое время мой другъ, Никодимъ Крошечкинъ, тоже прибѣгалъ къ полемикѣ „въ видахъ оживленія столбцовъ издаваемой имъ газеты“.

То было время господства „Британіи“ и эстетическихъ споровъ. Никодимъ редижировалъ какую-то казенную газету, при которой, для увеселенія публики, имѣлся и литературный отдѣлъ. На пріобрѣтеніе матеріала для

этого отдѣла Никодиму выдавалась какая-то неизмѣримо малая сумма, съ помощью которой онъ и обязывался три дня въ недѣлю „оживлять столбцы газеты“. Пріятелей у Крошечкина было множество, но, во-первыхъ, все это были люди необыкновенно глубокіе, а потому „какъ слѣдуетъ писать объ этомъ предметѣ, братецъ, времени нѣтъ, а коротенько писать — не стоитъ руки марать“; а во-вторыхъ, всѣ они проводили время по большей части въ „Британіи“, и потому не всегда бывали трезвы. Такимъ образомъ Никодимъ и остался одинъ, какъ ракъ на мели. Бился онъ, бился — и вдругъ нашелся. Къ величайшему удивленію, мы стали замѣчать, что Никодимъ ведетъ газету на славу, что „столбцы ея оживлены“, что въ ней появилась цѣлая стая совершенно новыхъ сотрудниковъ, которые неустанно ведутъ между собою живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержанія московскихъ бульваровъ, по поводу ненужности посыпанія пескомъ тротуаровъ въ лѣтнее время и т. д. Заинтригованные въ высшей степени, мы всѣмъ хоромъ приступили къ Никодиму съ вопросомъ: что̀ сей сонъ значитъ? — И что̀ жъ оказалось! — Что онъ, Никодимъ, просто-на-просто полемизируетъ самъ съ собою! Что онъ въ одномъ своемъ лицѣ соединяетъ и Корытникова, и Иванова, и Ѳедула Долгомостьева, и Прохожаго, и Проѣзжаго и т. д.! Что сначала онъ напишетъ статью о необходимости держать бульвары въ чистотѣ, и уязвитъ при этомъ московскую городскую думу, а въ слѣдующемъ нумерѣ накинется самъ на себя и совершенно убѣдительно докажетъ, что все это пустяки, и что бульвары прежде всего должны служить въ качествѣ неисчерпаемаго вмѣстилища человѣчьяго гуано!

И вотъ теперь, когда я ближе ознакомился съ „Уставомъ Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей“ и сопоставилъ начертанныя въ немъ правила съ современною литературною и журнальною дѣйствительностью, я не могъ воздержаться, чтобы не воскликнуть: да, это Никодимъ! это онъ, подъ разными псевдонимами полемизирующій самъ съ собою!

Признаюсь, мнѣ даже сдѣлалось какъ будто неловко. Вѣдь это, наконецъ, бездѣльничество! думалось мнѣ, и ежели въ этомъ бездѣльничествѣ нѣтъ ни организаціи, ни предумышленности—тѣмъ хуже для него. Значитъ, оно проникло въ глубину сердецъ, проѣло нашихъ пѣнкоснимателей до мозга костей! Значитъ, они бездѣльничаютъ отъ полноты чувствъ, бездѣльничаютъ всласть, бездѣльничаютъ потому, что дѣйствительно ничего другого передъ собой не видятъ!

Но какъ они, отъ нечего-дѣлать, ѣдятъ другъ друга—это даже ужасно! Загляните, напримѣръ, въ „Старѣйшую Всероссійскую Пѣнкоснимательницу“, и первое, что̀ васъ поразитъ—это смотръ, который она періодически дѣлаетъ всѣмъ прочимъ органамъ пѣнкоснимательства. Что̀ побуждаетъ ее къ тому? то ли, что ее раздѣляетъ бездна отъ прочихъ пѣнкоснимателей?—нѣтъ, этой бездны нѣтъ, да и она сама, въ минуты откровенности, коснѣющимъ языкомъ проговаривается, что, въ сущности, каждый пѣнкоснимать равенъ каждому пѣнкоснимателю. Очевидно, стало быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза и оживить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей хочется, чтобы публика, благодаря общему затишью, слышала, какъ она жуетъ во снѣ собственные рукава.

Теперь этотъ наглый обманъ выяснился для меня съ какою-то безнадежною выпуклостью... Но, признаюсь, и прежде, когда я былъ еще въ провинціи, меня уже смущали нѣкоторыя неясныя сомнѣнія на этотъ счетъ. Едвали не десять лѣтъ сряду, каждое утро, какъ мнѣ подаютъ вновь полученные съ почты органы русской мысли, я ощущаю, что мною начинаетъ овладѣвать тоскливое чувство. Иногда мнѣ кажется, что вотъ-вотъ я сейчасъ услышу какое-то невнятное и ненужное бормотаніе о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ; иногда сдается, что мнѣ подаютъ дѣтскую пеленку, въ которой новорожденный младенецъ начерталъ свою первую передовую статью; иногда же просто-на-просто я во-очію вижу, что въ мой кабинетъ вошелъ дуракъ. Пришелъ, сѣлъ и забормоталъ. И я не могу указать ему на дверь, я долженъ бесѣдовать съ нимъ, потому что это дуракъ привилегированный: у него за пазухой есть двѣ-три новости, которыхъ я еще не знаю!

И эти-то люди обозрѣваютъ другъ друга! эти люди, ради оживленія какихъ-то столбцовъ, язвятъ и чернятъ другъ друга! Они, которымъ слѣдовало бы цѣловать другъ друга въ засосъ! Проказники!

У каждаго изъ этихъ апостоловъ самоѣдства сидитъ въ головѣ маковое зервышко, которое онъ хочетъ во что бы то ни стало помѣстить; каждый изъ нихъ имѣетъ за душой матеріала настолько, чтобы изобразить: „на послѣднемъ я листочкѣ напишу четыре строчки!“—зато ужъ и набрызжетъ же онъ въ этихъ четырехъ строчкахъ! И посмотрите, съ какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натанъ воробьинаго царства произноситъ свои: „позволительно думать, что возбужденіе подобныхъ вопросовъ едва ли своевременно“, или: „по нашему мнѣнію, это не совсѣмъ такъ!“ Мудрѣйшій изъ воробьевъ! кто тебя? не все ли равно, кто, какъ и съ чего снимаетъ пѣнки?

Какая громадная разница съ Никодимомъ! Когда Никодимъ полемизировалъ самъ съ собою, уличалъ самого себя въ неправдѣ и доказывалъ свою собственную несостоятельность — онъ не вставалъ на дыбы, не артачился и не похвалялся, что идетъ на рать. Онъ откровенно говорилъ: „мнѣ даютъ мелкую монету и требуютъ, чтобы я дѣйствовалъ такъ, какъ бы имѣлъ въ распоряженіи своемъ монету крупную—понятное дѣло, что я не могу удовлетворить этому требованію иначе, какъ истязуя самого себя“. Такъ объяснялся Никодимъ, и мы очень хорошо понимали, что онъ относится къ своему занятію вполнѣ объективно, что онъ рѣзко отдѣляетъ свое внутреннее „я“ отъ того горькаго дѣла, къ которому прицѣпила его судьба, отдѣляетъ настолько же, насколько отдѣлялъ себя въ тѣ времена каждый молодой либералъ-чиновникъ отъ службы въ департаментахъ и канцеляріяхъ, которые онъ всякое утро посѣщалъ. Внутренно Никодиму было рѣшительно все равно, стоятъ ли будочники при будкахъ, или же они разставлены по перекресткамъ улицъ; поэтому онъ могъ смѣло и не расходуя своихъ убѣжденій доказывать: разъ, что полезно,чтобы будочники находились при будкахъ, и два—что еще полезнѣе, если они разставлены по перекресткамъ. Слѣдовательно, ежели современные россійскіе пѣнкосниматели и заимствовали у Никодима внѣшніе пріемы „оживленія столбцовъ“, то они совершенно забыли о той объективности, которая скрывалась за этими пріемами. Подобно Никодиму, они самоѣдствуютъ, но при этомъ горячатся, встаютъ на дыбы, и—о, верхъ самохваль-

ства!—изо всѣхъ силъ доказываютъ, что у нихъ даже въ помышленіи ничего другого не имѣется, кромѣ мысли о необходимости снабженія городовыхъ свистками. О, заговорщики! кто же повѣритъ вамъ?

„Тише! не расплывайся! не раздражай!“ — это-ли не карбонарство? Этого ли мало для возбужденія въ самомъ кроткомъ начальникѣ подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали меня на подъѣздѣ дома, въ которомъ жилъ Прелестновъ. Я обернулся: сзади меня разстилалось зеркало Невы, все облитое тихимъ мерцаніемъ бѣлой майской ночи. Воздухъ былъ недвижимъ; деревья въ сосѣднемъ саду словно застыли; на поверхности рѣки —ни малѣйшей зыби; съ другой стороны рѣки доносился смутный городской гомонъ и стукъ; здѣсь, на Выборгской—царствовала тишина и благорастворѣніе воздуховъ. „А не удрать ли на тоню, или на Острова?“ мелькнуло у меня въ головѣ. Но пѣнкоснимательная мысль: „я долженъ исполнить свой долгъ!“ —уже безвозвратно отравила мое существованіе. Я позвонилъ.

Въ кабинетѣ у Менандра было довольно много народа и страшно накурено. Тутъ были люди всякаго роста и всякихъ комплекцій, но на всѣхъ лицахъ было написано присутствіе головной боли. У всѣхъ цвѣтъ лица былъ тусклый, сѣрый, а выраженіе озабоченное, какъ бы скорбящее о грѣсѣхъ; всѣ страдали геморроемъ, слѣдствіемъ слишкомъ усидчиваго пѣнкоснимательства. Всѣ великіе наши пѣнкосниматели были тутъ на-лицо, всѣ тѣ, которые даже одну минуту опасаются провести праздно: такъ велика вереница пустяковъ, которые имъ предстоитъ разрѣшить. Въ тотъ моментъ, когда я вошелъ, Менандръ разсказывалъ собравшейся около него кучкѣ о своемъ путешествіи по Италіи.

— Представьте себѣ,—говорилъ онъ:—небо тамъ синее, море синее, по морю корабли плывутъ, а надъ кораблями рѣютъ какія-то неизвѣстныя птицы... но буквально неизвѣстныя, à la lettre!

— Позвольте! не объ этихъ ли птицахъ писалъ Страбонъ?—пустилъ кто-то догадку.

— Нѣтъ, это не тѣ. Кювье же хотя и догадывался, что это простыя вороны, однако Гумбольдтъ разбилъ его доводы въ прахъ... Но что всего удивительнѣе — въ Италіи и вообще на югѣ совсѣмъ нѣтъ сумерекъ! Идете по улицѣ—свѣтло, и вдругъ—темно!

— И апельсины на воздухѣ ростутъ?—полюбопытствовалъ нѣкто.

— Еще бы. Я самъ видѣлъ дерево, буквально обремененное плодами. Ну, все равно, что у насъ яблоки, или, вѣрнѣе, даже не яблоки, а рябина.

Въ эту минуту хозяинъ замѣтилъ мое присутствіе.

— А! старый другъ! Господа! бывшій товарищъ по университету! написалъ когда-то повѣсть, на которую обратилъ вниманіе Бѣлинскій!—рекомендовалъ онъ меня и въ свою очередь представилъ мнѣ присутствующихъ: — Иванъ Николаевичъ Неуважай-Корыто, авторъ „Изслѣдованія о Чурилкѣ“! Семенъ Петровичъ Нескладинъ, авторъ брошюры: „Новые суды и легкомысленное отношеніе къ нимъ публики“! Петръ Сергѣичъ Болиголова,

авторъ диссертаціи „Русская пѣсня: *Чижикъ чижикъ! гдѣ ты былъ?* — передъ судомъ критики“! Вячеславъ Семенычъ Размазовъ, авторъ статьи „Куда несетъ нашъ крестьянинъ свои сбереженія?“...

Но тутъ со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во всѣ стороны, я до того замотался, что принялъ послѣднюю рекомендацію за вопросъ, обращенный ко мнѣ. И потому совершенно невпопадъ отвѣчалъ:

— Да въ казначейство, я полагаю...

На этотъ разъ, однакожъ, мой легкомысленный отвѣтъ не повлекъ за собой никакого реприманда. Напротивъ того, насупленныя лица пѣнкоснимателей какъ-то снисходительно осклабились, и всѣ они очень радушно пожали мнѣ руку.

Прерванный на минуту разговоръ возобновился; но едва успѣлъ Менандръ сообщить, что ладзарони лежатъ цѣлый день на солнцѣ и питаются макаронами, какъ стали разносить чай, и гости раздѣлились на группы. Я горѣлъ нетерпѣніемъ улучить минуту, чтобы пристать къ одной изъ нихъ и предложить на обсужденіе волновавшія меня сомнѣнія. Но это положительно не удавалось мнѣ, потому что у каждой группы былъ свой вопросъ, поглощавшій все ея вниманіе.

— Такъ вы полагаете, что Чурилка?.. — шла рѣчь въ одной группѣ.

Центромъ этой группы былъ Неуважай-Корыто. Это былъ сухой и длинный человѣкъ, съ длинными руками и длиннымъ же носомъ. Мнѣ показалось, что передо мною стоитъ громадныхъ размѣровъ дятелъ, который долбитъ носомъ въ дерево и постепенно приходитъ въ деревянный экстазъ отъ звуковъ собственнаго долбленія. „Да, этотъ человѣкъ, если примется снимать пѣнки, онъ сдѣлаетъ это... чисто!“ думалось мнѣ, покуда я разглядывалъ его.

— Не только полагаю, но совершенно опредѣлительно утверждаю,— объяснялъ между тѣмъ Неуважай-Корыто: — что Чурило, а не Чурилка, былъ не кто иной, какъ швабскій дворянинъ VII столѣтія. Я, батюшка, полъ-Европы изъѣздилъ, покуда, наконецъ, въ королевской мюнхенской библіотекѣ нашелъ рукопись, относящуюся къ VII столѣтію, подъ названіемъ: „Похожденія знаменитаго и доблестнаго швабскаго дворянина Чуриля“... Ба! да это нашъ Чурилка! сейчасъ же блеснула у меня мысль... И повѣрите ли, я цѣлую ночь послѣ этого былъ въ бреду!

— Понятное дѣло. Но Добрыня... Илья Муромецъ... вѣдь они *наши*?

Собесѣдникъ, произнося: „они *наши*?“ — очевидно, страдалъ. Онъ и опасался, и надѣялся; ему почему-то ужасно хотѣлось, чтобы *они* были *нашими*, и въ то же время въ душу уже запалзывали какія-то скверныя сомнѣнія. Но Неуважай-Корыто съ суровою непреклонностью положилъ конецъ колебаніямъ, „ни въ какомъ случаѣ недостойнымъ науки“.

— Напротивъ того,—отдолбилъ онъ совершенно ясно:—я положительно утверждаю, что и Добрыня, и Илья Муромецъ—все это были не болѣе, какъ сподвижники датчанина Канута!

— Но Владиміръ Красное Солнышко?

— Онъ-то самый Канутъ и есть!

Въ группѣ раздался общій вздохъ. Совопросникъ вытаращилъ на минуту глаза.

— Однакожъ, какой свѣтъ это проливаетъ на нашу древность! — произнесъ онъ тихимъ, но все еще не успокоившимся голосомъ.

— Я говорю вамъ: камня на камнѣ не останется! Я съ болью въ сердцѣ это говорю, но что же дѣлать — это такъ! Мнѣ больно, потому что всѣ эти Чурилки, Алеши Поповичи, Ильи Муромцы — всѣ они съ дѣтства волновали мое воображеніе! Я жилъ ими... понимаете, жилъ?! Но противъ науки я безсиленъ. И я съ болью въ сердцѣ повторяю: да! ничего этого нѣтъ!

Собесѣдники стояли съ раскрытыми ртами, смотря на обличителя Чурилки, какъ будто ждали, что вотъ-вотъ придетъ новый Моисей и извлечетъ изъ этого кремня огонь. Но тутъ Неуважай-Корыто съ такою силой задолбилъ носомъ, что я понялъ, что мнѣ нечего соваться съ моими сомнѣніями, и поспѣшилъ ретироваться къ другой группѣ.

Въ другой группѣ ораторствовалъ Болиголова, маленькій, юрконькій человѣчекъ, который съ трудомъ могъ устоять на мѣстѣ и судорожно подергивался всѣмъ своимъ корпусомъ. Голосъ у него былъ тоненькій, дѣтскій.

— Ужели же, наконецъ, и „Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ?!“ — изумлялись окружающіе пѣнкосниматели.

— Подлогъ-съ!

— Позвольте-съ! Но какимъ же образомъ вы объясните стихъ „на Фонтанкѣ воду пилъ“? Фонтанка — вѣдь это, наконецъ... Наконецъ, я вамъ долженъ сказать, что нашъ почтеннѣйшій Иванъ Семеновичъ живетъ на Фонтанкѣ!

— И пьетъ оттуда воду! — сострилъ кто-то.

— Подлогъ! подлогъ! и подлогъ-съ! Въ мавританскомъ подлинникѣ именно сказано: „на Гвадалквивирѣ воду пилъ“. Всю Европу, батюшка, изъѣздилъ, чтобы убѣдиться въ этомъ.

— Это удивительно! Но какъ вамъ пришло на мысль усомниться въ подлинности „Чижика“?

— Ну, ужъ это, батюшка, спеціальность моя такова!

— Однако, какой странный свѣтъ это проливаетъ въ нашу народность! Все чужое! даже „Чижика“ мы не сами сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вамъ: камня на камнѣ не останется! Съ болью въ сердцѣ это говорю, но противъ указаній науки ничего не подѣлаешь!

И т. д. и т. д.

Въ третьей группѣ шелъ разговоръ таинственнаго свойства. Сообщались по секрету свѣдѣнія о какихъ-то козняхъ, предпринимаемыхъ противъ какихъ-то учрежденій; слышались соболѣзнованія, жалобы, вздохи.

— Я самъ сейчасъ оттуда, — полушопотомъ объяснялъ Нескладинъ, авторъ брошюры: „Новые суды и легкомысленное отношеніе къ нимъ публики“.

— И что жъ?

— Дѣло очень простое. Существуютъ два проекта: одинъ объ уничтоженіи, другой объ упраздненіи. Теперь весь вопросъ въ томъ, который изъ этихъ проектовъ пройдетъ.

Всѣ въ нѣмомъ негодованіи оглянулись другъ на друга. И вдругъ кому-то пришло на мысль:

— Но тайный совѣтникъ Кузьма Прутковъ!! ужели онъ допуститъ до этого!?

— Я именно сейчасъ отъ него!

— И говорили съ нимъ?

— Да; и онъ мнѣ сказалъ прямо: „любезный другъ! о томъ, чтобы устранить *оба* проекта—не можетъ быть и рѣчи; но вѣроятно, съ Божьею помощью, мнѣ удастся провести проектъ объ упраздненіи, а „уничтоженіе“ прокатить!“

— Но вѣдь и это будетъ значительный успѣхъ!

— Конечно. Но онъ прибавилъ къ этому еще слѣдующее: „во всякомъ случаѣ, мой другъ, я тогда только могу ручаться за успѣхъ, если пресса наша будетъ вести себя съ *особенною* сдержанностью“. Слово „особенною“ старикъ даже подчеркнулъ.

Извѣстіе это производитъ въ группѣ общее впечатлѣніе.

— И я полагаю,—продолжаетъ все тотъ же Нескладинъ,—что намъ ничего болѣе на остается, какъ послѣдовать этому благоразумному совѣту!

Собесѣдники нѣсколько минутъ мнутся, и въ комнатѣ слышится какое-то неясное жужжаніе. Какъ будто влетѣлъ комаръ и затянулъ свою неистово-назойливую проповѣдь о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Наконецъ одинъ изъ собесѣдниковъ, болѣе рѣшительный, выступаетъ впередъ и говоритъ:

— Я, съ своей стороны, полагаю, что намъ слѣдуетъ молчать, молчать и молчать!

— Молчать!—восклицаютъ хоромъ прочіе.

— Не слѣдуетъ забывать, господа,—вставляетъ свое слово вдругъ появившійся Менандръ,—что въ насъ воплощается либеральное начало въ Россіи! Слѣдовательно намъ прежде всего надо поберечь самихъ себя, а потомъ позаботиться и о томъ, чтобъ у нашего бѣднаго, едва встающаго на ноги общества не отняли и того, что у него уже есть!

— Молчать! молчать! и молчать!

— Надобно, наконецъ, имѣть настолько гражданскаго мужества, чтобы взглянуть дѣйствительности прямо въ глаза,—продолжаетъ Менандръ:—надо понять, что ежели мы будемъ разбрасываться, какъ это, къ сожалѣнію, до сихъ поръ было, то самъ тайный совѣтникъ Кузьма Прутковъ окажется внѣ возможности поддержать насъ.

— И тогда у насъ отнимутъ и то, что мы въ настоящее время имѣемъ.

— И будутъ совершенно правы, потому что люди легкомысленные, не умѣющіе терпѣть, ничего другого и не заслуживаютъ. А между тѣмъ это будетъ потеря очень большая, потому что если соединить въ одинъ фокусъ все то, что мы имѣемъ, то окажется, что намъ дано очень и очень многое! Вотъ о чемъ не слѣдуетъ забывать, господа!

— Очень и очень многое! — восклицаютъ хоромъ всѣ пѣнкосниматели и, какъ бы послѣ принятаго важнаго рѣшенія, вдругъ всѣ разсыпаются по комнатѣ. У всѣхъ свѣтлыя лица, всѣ съ безпечною довѣрчивостью глядятъ въ глаза будущему; нѣкоторые бьютъ себя по ляжкамъ и повторяютъ:—очень и очень многое!

Я смотрѣлъ во всѣ глаза и, конечно, старался стать на одинъ уровень со всѣми. И, можетъ быть, это удалось бы мнѣ (я очень хорошо помню, что

и самъ разъ или два ужъ ударилъ себя по ляжкѣ съ восклицаніемъ: очень и очень многое!), но меня пугалъ Неуважай-Корыто. Этотъ загадочный человѣкъ очевидно олицетворялъ собою принципъ радикализма въ пѣнкоснимательствѣ. Объѣздить Европу для того, чтобы доказать швабское происхожденіе Чурилки—согласитесь, что въ этомъ есть что-то непреклонное! И если бы вмѣсто Чурилки этому человѣку помѣстить въ голову какую-нибудь подлинную мысль, то изъ него могъ бы выйти своего рода... Робеспьеръ! Ужъ онъ не отступитъ! онъ не отстанетъ до тѣхъ поръ, пока не высосетъ изъ Чурилки всю кровь до послѣдней капли!

Тѣмъ не менѣе я сдѣлалъ попытку сблизиться съ этимъ человѣкомъ. Замѣтивъ, что Неуважай-Корыто и Болиголова отдѣлились отъ публики въ уголъ, я направилъ въ ихъ сторону шаги свои. Я засталъ ихъ именно въ ту минуту, когда они взаимно слагали другъ другу славословія.

— Однако задали вы, Иванъ Николаичъ, задачу московскимъ буквоѣдамъ!—привѣтствовалъ Болиголова.

— Да и вы, Петръ Сергѣичъ, кажется, поусердствовали! — отвѣчалъ Неуважай Корыто.

— Я думаю, что теперь, когда Чурилкѣ нанесенъ такой рѣшительный ударъ, немного останется отъ прежнихъ трудовъ по части изученія россійскихъ древностей!

— Ну-съ, я вамъ доложу, что и „Чижикъ“... вѣдь это своего рода coup de massue... Вѣдь до сихъ поръ никто и не подозрѣвалъ, что Испанія была покорена при звукахъ пѣсни „Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ“!

Я счелъ этотъ моментъ удобнымъ, чтобъ вступить въ разговоръ.

— И такъ,—сказалъ я:—и Чурилка, и Чижикъ погребены?

Оба посмотрѣли на меня такими веселыми глазами, какими смотрятъ на ученика, совершенно неожиданно обнаружившаго понятливость.

— Погребены—это такъ,—продолжалъ я:—но, признаюсь, меня смущаетъ одно: какимъ же образомъ мы вдругъ остаемся безъ Чурилки и безъ Чижика? Вѣдь это же, наконецъ, пустота, которую необходимо замѣстить?

Неуважай-Корыто насупилъ брови.

— Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ утѣшеній преподать намъ не можетъ,—сказалъ онъ сухо.

— Позвольте-съ; я не смѣю не вѣрить показаніямъ науки. Я ничего не имѣю сказать противъ швабскаго происхожденія Чурилки; но за всѣмъ тѣмъ сердце мое совершенно явственно подсказываетъ мнѣ: не можетъ быть, чтобъ у насъ не было *своего* Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно переглянулись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пугать ихъ.

— И все-таки я не могу васъ утѣшить,—сказалъ послѣдній, и какъ бы желая дать мнѣ почувствовать, что аудіенція кончилась, запѣлъ:

—Парисъ преле-е-стный,
Судья извѣ-ѣстный!

Но сейчасъ же вспомнилъ, что Оффенбаховская музыка не къ лицу такой серьезной птицѣ, какъ дятелъ, и затянулъ изъ „Каменнаго Гостя“:

—Вѣдь я не го!
Сударственный преступникъ!

Пропѣвъ это, онъ обдалъ меня надменно-ледянымъ взоромъ и отошелъ.

Я очутился въ самомъ неловкомъ положеніи. Я только однажды въ жизни былъ въ подобномъ положеніи, и именно когда меня представляли одному сановнику, который *могъ* (буде заблагоразсудилъ бы) подать мнѣ руку, но которому я *ни въ какомъ случаѣ не имѣлъ права* протягивать свою руку. Но я не зналъ этого правила — и протянулъ. И вдругъ я почувствовалъ, что рука моя такъ и остается на вѣсу, въ тщетномъ ожиданіи взаимнаго пожатія. Ахъ, какъ мнѣ было тогда стыдно! За кого стыдно, за себя или за сановника —не знаю, но во всякомъ случаѣ чувство, которое я испытывалъ, было самаго непріятнаго свойства.

Точно то же ощущалъ я теперь. Зачѣмъ я говорилъ съ этимъ гордымъ, непреклоннымъ пѣнкоснимателемъ? думалось мнѣ. За что онъ меня сразилъ? Что̀ обиднаго или неприличнаго нашелъ онъ въ томъ, что я высказалъ сомнѣнія моего сердца по поводу Чурилки? Неужели „наука“ такъ неприступна въ своей непогрѣшимости, что не можетъ взглянуть снисходительно даже на тревоги простецовъ?

Увы! покуда я разсуждалъ такимъ образомъ, молва, что въ среду пѣнкоснимателей затесался свистунъ, который позволилъ себѣ неуважительно отнестись къ „наукѣ“, уже успѣла облетѣть все сборище. Какъ всѣ люди, дышущіе зараженнымъ воздухомъ замкнутаго кружка, пѣнкосниматели съ удивительною зоркостью угадывали человѣка, который почему-либо былъ имъ несочувственъ. И, разъ усмотрѣвши таковаго, немедленно уставляли противъ него свои рога. Я долженъ былъ убѣдиться, что не только Болиголова и Неуважай-Корыто недоумѣваютъ, какимъ образомъ я очутился въ ихъ обществѣ, но что и прочіе пѣнкосниматели перешептываются между собой и покачиваютъ головами, взглядывая на меня. Тѣмъ не менѣе, я рѣшился исполнить свой долгъ до конца, и потому, желая сдѣлать новую попытку къ общенію, подошелъ съ этою цѣлью къ Нескладину:

— Если я не ошибаюсь,—сказалъ я:—вы изволили давеча выразить опасеніе, что у насъ съ часу на часъ могутъ отнять даже и то, что̀ мы имѣемъ?

— Выразился-съ. А вы изволите сомнѣваться въ этомъ?

— Нѣтъ, я не сомнѣваюсь. О! я далеко не сомнѣваюсь! Я готовъ написать не шесть, а шестьсотъ-шесть столбцовъ передовыхъ статей, въ которыхъ надѣюсь главнѣйшимъ образомъ развить мысль, что все на свѣтѣ семъ превратно, все на свѣтѣ коловратно...

— Ну-съ, въ чемъ же затрудненіе?

— Но я не понимаю одного: почему вы предпочитаете проектъ упраздненія проекту уничтоженія?

— Д-д-да-съ! такъ вотъ въ чемъ дѣло? А почему вы, смѣю васъ спросить, утверждаете, что дважды-два—четыре, а не пять?

На одно мгновеніе вопросъ этотъ изумилъ меня; но Нескладинъ глядѣлъ на меня съ такою ясною самоувѣренностью, что мнѣ даже на мысль не пришло, что эта самоувѣренность есть не что иное, какъ продуктъ извѣст-

наго рода выработки, которая дозволяетъ человѣку барахтаться и городить вздоръ даже тогда, когда онъ чувствуетъ себя окончательно уличеннымъ и припертымъ къ стѣнѣ. Выдержавшіе подобнаго рода дрессировку люди никогда не отвѣчаютъ прямо и даже не увертываются отъ вопросовъ: они просто, въ свою очередь, ошеломляютъ васъ вопросами, не имѣющими ничего общаго съ дѣломъ, о которомъ идетъ рѣчь. Признаюсь, я въ эту минуту испытывалъ именно подобное ошеломленіе.

— Извините,—бормоталъ я:—я не зналъ... Дѣйствительно, дважды-два—это такъ... Я хотѣлъ только сказать, что сердце мое какъ-то отказывается вѣрить, что упраздненіе...

— А такъ какъ я имѣю дѣло съ фактами, а не тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вамъ въ утѣшеніе.

Произнося эти слова, Нескладинъ совершенно безцеремонно обратился къ одному изъ единомышленниковъ, взялъ его подъ руку и отошелъ прочь.

— Стало быть, это условлено: мы будемъ поддерживать „упраздненіе“?—слышался мнѣ его удаляющійся голосъ.

Нѣтъ сомнѣнія, я потерпѣлъ рѣшительное фіаско. Я дошелъ до того, что не понималъ, гдѣ я нахожусь и съ кѣмъ имѣю дѣло. Что это за люди? спрашивалъ я себя: просто ли глупцы, давшіе другъ другу слово ни подъ какимъ видомъ не сознаваться въ этомъ? или это переодѣтые принцы, которымъ правила этикета не позволяютъ ни улыбаться не-во-время, ни поговорить по душѣ съ человѣкомъ, не посвященнымъ въ тайны пѣнкоснимательской абракадабры? или, наконецъ, это банда Оффенбаховскихъ разбойниковъ, давшая клятву накидываться и скалить зубы на всѣхъ, кто къ ней не принадлежитъ?

Вѣроятно лицо мое выражало очень большое недоумѣніе, потому что Менандръ поспѣшилъ ко мнѣ на выручку.

— А вѣдь я, братъ, прорвался!—сказалъ я ему уныло.

— А я еще предупреждалъ тебя!—укорялъ онъ меня:—говорилъ я тебѣ, что расплываться не слѣдуетъ! Да забудь же ты хоть на нѣсколько часовъ о „Маланьѣ“!

— Но могъ ли я думать, что у васъ на этотъ счетъ такъ строго!

— Еще бы! Такое серьезное дѣло затѣяли—да чтобы безъ дисциплины! Мы, братъ, только и дѣла дѣлаемъ, что другъ за другомъ присматриваемъ! Впрочемъ это еще можетъ уладиться. Только, ради же Бога, душа моя, не расплывайся! Признай, наконецъ, авторитетъ „науки“!

И Менандръ отъ полноты души засуетился.

— Господа,—сказалъ онъ:—вотъ мой пріятель! онъ провинціалъ, и слѣдовательно, какъ человѣкъ дикій, не знаетъ нашихъ обычаевъ. Но это не мѣшаетъ ему интересоваться нѣкоторыми вопросами, и между прочимъ вопросомъ о распредѣленіи налоговъ. Онъ—владѣлецъ деревни Проплёванной—такъ, кажется?—и потому, какъ членъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба... то, бишь, земства... естественнымъ образомъ желаетъ стать на ту точку зрѣнія, съ которой всего удобнѣе взглянуть на этотъ вопросъ. Поэтому я попросилъ бы Ивана Петровича Нескладина прочитать статью, которую

онъ приготовилъ по этому предмету для нашей газеты. Господа! прошу присѣсть!

Кресла шумно задвигались, и когда всѣ болѣе или менѣе удобно разсѣлись вокругъ большого круглаго стола, Нескладинъ прочиталъ:

С.-Петербургъ, 30-го мая.

„Что налоги, равномѣрно распредѣленные, суть тѣ, которые, по преимуществу, заслуживаютъ наименованія равномѣрно распредѣленныхъ — въ этомъ, при настоящемъ положеніи экономической науки, никто не сомнѣвается, кромѣ развѣ какихъ-нибудь безшабашныхъ свистуновъ, которые даже въ этой простой и для всѣхъ вразумительной истинѣ готовы заподозрить экономическое празднословіе. Но мы и не обращаемся къ свистунамъ; мы съ гомерическимъ хохотомъ встрѣчаемъ нахальныя выходки этихъ отпѣтыхъ людей, а ежели не клеймимъ ихъ презрѣніемъ, то только потому, что слишкомъ хорошо знаемъ литературныя приличія. Только тѣ могутъ сомнѣваться, что равномѣрность равномѣрна, кто въ состояніи усомниться даже въ томъ, что бѣлое бѣло и черное черно. Съ такими людьми не стоитъ тратить словъ. Прикрываясь и даже гордясь незнаніемъ литературныхъ приличій (которыя въ ихъ глазахъ, выражаясь ихъ же литературнымъ слогомъ, не стоютъ выѣденнаго яйца), они способны предать дерзкому, безсодержательному глумленію все, что представляетъ собой несомнѣнную побѣду цивилизаціи надъ варварствомъ (*Превосходно*! *Очень хорошо*! *Браво*!).

„И такъ говоримъ мы, аксіома, утверждающая, что равномѣрность равномѣрна, находится внѣ спора, и не о ней намѣрены мы повести рѣчь съ почтенною газетою „Зеркало Пѣнкоснимательности“, которая дѣлаетъ намъ честь считать насъ въ числѣ ея противниковъ почти по всѣмъ вопросамъ нашей общественной жизни.

„Мы намѣрены говорить о слѣдующемъ: „Зеркало Пѣнкоснимательности“ утверждаетъ, что лучшіе крайніе сроки для взноса налоговъ суть сроки, опредѣленные нынѣ дѣйствующими по сему предмету узаконеніями, то-есть: 15-ое января и 15-ое марта; мы же, напротивъ того, утверждали, что сроки эти надлежитъ на двѣ недѣли отдалить, то-есть назначить ихъ 1-го февраля и 1-го апрѣля. Вотъ въ чемъ споръ. Конечно, „Зеркало Пѣнкоснимательности“, быть можетъ, имѣетъ очень полновѣсныя причины называть себя болѣе компетентнымъ судьей въ этомъ дѣлѣ. Быть можетъ, оно черпаетъ свои свѣдѣнія изъ такихъ источниковъ, о которыхъ мы даже понятія не имѣемъ... Но все это тайны, углубляться въ которыя намъ не позволяютъ литературныя приличія“...

— Позвольте!—не вытерпѣлъ я: — но вѣдь вы сами черпаете свѣдѣнія отъ тайнаго совѣтника Кузьмы Пруткова!

— Ахъ, душа моя, какъ ты, однакожъ, горячъ! Вѣдь это, наконецъ, невозможно!—укорилъ меня Менандръ.—Тайный совѣтникъ Прутковъ! да знаешь ли ты, что это одинъ изъ либеральнѣйшихъ людей нашего времени! что, быть можетъ, онъ самъ на дняхъ получитъ разомъ три предостереженія!

Я долженъ былъ поникнуть головой. Нескладинъ продолжалъ:

„Все это тайны, углубляться въ которыя намъ не позволяютъ литера-

турныя приличія. Но мы находимъ въ себѣ настолько гражданскаго мужества, чтобы сказать нашему противнику: ваше превосходительство! вы введены въ заблужденіе! (*Общій смѣхъ, въ которомъ участвую и я.*) И мы дѣлаемъ это тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ, что искренно уважаемъ этого бодраго и смѣлаго противника, который даже при словѣ „субсидія“ не смущается духомъ. Мы даже убѣждены, что наши безшабашные свистуны поставятъ намъ это въ укоръ, что они воспользуются нашею почтительностью, чтобъ поднять насъ на смѣхъ, подобно тому, какъ уже и поступили они на дняхъ съ однимъ изъ нашихъ уважаемыхъ сотрудниковъ, столь доблестно отличившимся въ защитѣ четырехъ негодяевъ, сознавшихся въ умерщвленіи одного почтеннаго земледѣльца *). Но это не помѣшаетъ намъ слѣдовать по избранному разъ пути, не смущаясь ни наглостью смѣха, ни нахальствомъ инсинуацій...

„И такъ (да простятъ читатели нѣкоторыя повторенія въ нашей статьѣ: они необходимы), „Зеркало Пѣнкоснимательности“ утверждаетъ, что лучшіе сроки для платежа налоговъ суть тѣ, которые издавна установлены закономъ. Въ подкрѣпленіе этой мысли почтенная газета приводитъ слѣдующее: 1) привычку платить и 2) сравнительное благосостояніе, которое, будто бы, постигаетъ плательщика именно въ сроки 15 января и 15 марта. Разберемъ эти доводы съ тѣмъ вниманіемъ, котораго они заслуживаютъ. Но напомнимъ при этомъ читателю, что насъ постигло уже два предостереженія, тогда какъ другіе журналы, быть можетъ, менѣе благонамѣренные по направленію (литературныя приличія не позволяютъ намъ назвать ихъ), еще не получили ни одного (*Браво! Браво! Ядовито и въ то же время согласно съ литературными приличіями!*).

„И такъ—приступимъ къ первому доводу.

„Намъ говорятъ: обыватели привыкли платить именно въ январѣ и въ мартѣ—и мы охотно соглашаемся, что въ этомъ возраженіи есть извѣстная доза справедливости. Но что же такое, однакожъ, привычка? Съ одной стороны—это начало всепроникающее и до такой степени подчиняющее себѣ *всего* человѣка, что субъектъ, находящійся подъ игомъ привычки, готовъ не только платить налоги, но и совершать преступленія. „Человѣкъ есть животное привычки“, сказалъ великій Бюффонъ, и сказалъ святую истину. Съ этой стороны, конечно, полезно и даже необходимо принимать во вниманіе народные обычаи и даже суевѣрія, и мы не будемъ утверждать что-нибудь противное этой святой истинѣ. Но, съ другой стороны, если взглянуть на дѣло пристальнѣе, то окажется, что привычка платить налоги, по самому свойству своему, никогда не укореняется настолько, чтобы нельзя было отстать отъ нея. Положимъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о томъ, чтобы навсегда отстать отъ привычки

*) Въ слѣдующемъ затѣмъ нумерѣ „Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницы“ было напечатано: „Въ городѣ разнеслись слухи, что авторъ передовой статьи, появившейся вчера въ нашей газетѣ, есть г. Нескладинъ, то-есть самъ знаменитый защитникъ четырехъ знаменитыхъ негодяевъ. Считаемъ долгомъ заявить здѣсь, что это наглая и гнусная клевета. Мы не имѣемъ надобности отстаивать г. Нескладина противъ набѣговъ нашихъ литературныхъ баши-бузуковъ, но говоримъ откровенно: мы перервемъ горло всякому (если позволятъ наши зубы), кто осмѣлится быть не одного съ нами мнѣнія о нашихъ сотрудникахъ“.

платить (только безшабашные наши свистуны могутъ остановиться на подобной дикой мысли), но и за всѣмъ тѣмъ, положа руку на сердце, мы смѣемъ утверждать: отдалите, по мѣрѣ возможности, сроки платежа податей—и вы увидите, какъ расцвѣтутъ сердца земледѣльцевъ!

„Но намъ говорятъ: привычка — вторая натура. Назначьте для плательщика другіе сроки, онъ, все-таки, понесетъ въ казначейство свои сбереженія въ январѣ и въ мартѣ. На это мы можемъ отвѣтить одно: тѣмъ лучше! Какъ не догадываются наши почтенные противники, что чѣмъ раньше несутъ плательщики въ казначейство свои избытки, тѣмъ лучше для нихъ и для казны. Пускай несутъ—милости просимъ! Это хорошо для плательщиковъ—потому что черезъ это они избавляются отъ опасеній военной экзекуціи; это хорошо и для казны, потому что издержки экзекуціи хотя и падаютъ, главнымъ образомъ, на обывателей, но косвенно задѣваютъ и государственное казначейство. Но вѣдь истинный государственный взглядъ на вещи долженъ имѣть въ виду не только тѣхъ бодрыхъ и смѣлыхъ людей, которые привыкли серьезно смотрѣть на свои обязанности къ государственному казначейству, но и тѣхъ, которые, не столько вслѣдствіе преступности воли, сколько подъ вліяніемъ слабохарактерности, утратили этотъ здоровый инстинктъ. И такъ какъ послѣдніе, несмотря на принимаемыя противъ нихъ мѣры, все-таки составляютъ довольно значительное меньшинство, то мы не понимаемъ, зачѣмъ идти на встрѣчу экзекуціямъ, когда еще остается неиспытаннымъ одно совершенно безвредное и ни для кого не обидное средство, а именно отдаленіе на двѣ недѣли послѣднихъ сроковъ для взноса налоговъ? Двѣ недѣли! понимаете-ли, только двѣ недѣли! И ни одной минуты больше (*Совершенно справедливо! прекрасно! браво!*)!

„Приступимъ теперь ко второму доводу. Во-первыхъ, намъ указываютъ на какія-то климатическія условія; но это доказательство до того уже несостоятельно, что нѣтъ даже надобности и распространяться о немъ. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ выраженіе: „платить налоги“? Для тѣхъ, до кого оно относится, это выраженіе означаетъ: перенести деньги изъ того помѣщенія, въ которомъ онѣ дотолѣ находились, въ другое, болѣе для нихъ подходящее. Спрашиваемъ по совѣсти: могутъ ли и въ какой мѣрѣ дѣйствовать тутъ климатическія условія? Во-вторыхъ—и это возраженіе очень серьезное — намъ говорятъ, что благоденствіе постигаетъ плательщика преимущественно въ январѣ и въ мартѣ. Но на чемъ основано такое внезапное заключеніе? — по истинѣ мы не понимаемъ этого. По нашему мнѣнію, если плательщикъ постигнутъ благоденствіемъ въ январѣ, то нѣтъ резона не быть ему постигнутымъ и въ декабрѣ, и въ іюлѣ и во всѣ прочіе мѣсяцы. Но намъ возражаютъ: вы сами знаете, что въ іюлѣ плательщикъ благоденствіемъ не постигнутъ—тогда мы спрашиваемъ: отчего? что же это за благоденствіе, которое постигаетъ плательщика только въ ту минуту, когда ему надлежитъ нести въ казначейство деньги?

„Вотъ тутъ-то мы и настигаемъ васъ, наши уважаемые противники. Мы недаромъ предлагаемъ вамъ вопросъ: отчего? потому что разрѣшеніе его лежитъ на вашей отвѣтственности. Вы находитесь слишкомъ въ исключительномъ положеніи относительно извѣстныхъ сферъ, чтобы уклониться отъ соли-

дарности съ ними. Поэтому мы имѣемъ полное право требовать именно отъ васъ отвѣта на нашъ вопросъ, или, лучше сказать, не отвѣта, а оправданія (*Браво*! *Отлично*!). Мы требуемъ этого во имя великихъ пѣнкоснимательныхъ началъ, которыхъ мы служимъ представителями, и не перестанемъ требовать, хотя бы намъ угрожали за это безчисленными предостереженіями! Мы примемъ эту кару закона безъ ропота, но и безъ удовольствія, и позволимъ себѣ только спросить, почему предостереженія постигаютъ именно насъ, а не „Истиннаго Пѣнкоснимателя", напримѣръ? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая безъ цензуры, тѣмъ не менѣе пользуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она всячески избѣгаетъ вопросовъ, волнующихъ весь пѣнкоснимательный міръ; ни для кого, наконецъ, не тайна, что лучшія статьи по части пѣнкоснимательства (какъ напримѣръ замѣчательнѣйшая статья „о необходимости содержанія въ конюшняхъ козловъ") были помѣщены не въ ней, а у насъ или въ дружескихъ намъ литературныхъ органахъ! Что же за причина того предпочтенія, которымъ пользуется эта уважаемая газета (*Прекрасно*! *Отлично*! *Браво*!)?

„Но мы отвлеклись отъ главнаго предмета нашей статьи и должны сознаться, что двѣ причины побудили насъ къ такому уклоненію. Прежде всего—принципы справедливости. Повидимому, намъ нѣтъ дѣла до того, кто и сколько получилъ предостереженій, а равно и до того, кто и какимъ образомъ снимаетъ пѣнки. Но это только повидимому. Намъ было бы несравненно пріятнѣе быть самимъ на мѣстѣ счастливцевъ, снимающихъ пѣнки въ веселіи сердца своего, нежели снимать таковыя, посыпавъ главу пепломъ, какъ мы это дѣлаемъ. Во-вторыхъ, къ величайшему нашему удивленію, насъ упрекаютъ въ какомъ-то простодушіи и даже утверждаютъ, что за простодушіе-то мы и подвергаемся карѣ закона. Но этотъ упрекъ во всѣхъ отношеніяхъ несправедливъ. Мы не только не простодушны, но, напротивъ того, обдѣлываемъ свои дѣла, какъ дай Богъ всякому (*Отлично*! *отлично*!). Мы и журналы издаемъ, и на судѣ защищаемъ, а быть можетъ участвуемъ и въ акціонерныхъ компаніяхъ. На нашей сторонѣ все образованное русское чиновничество — и кто же знаетъ?—быть можетъ, не далеко то время, когда мы будемъ снимать пѣнки въ размѣрахъ не только обширныхъ, но и неожиданныхъ... И ужели, наконецъ, правительство настолько непроницательно, чтобы стѣснять насъ въ проявленіи такого совершенно неопаснаго для него качества, какъ простодушіе? Вотъ въ томъ-то и дѣло, милостивые государи, что мы далеко не такъ просты, какъ это можетъ показаться, судя по нѣкоторымъ изъ нашихъ передовыхъ статей!

„Но мы отвлеклись опять, и потому постараемся сдержать себя. Не станемъ бродить съ перомъ въ рукахъ по газетному листу, какъ отравленныя мухи, но выскажемъ кратко наши надежды и упованія. По нашему мнѣнію, отъ котораго мы никогда ни на одну іоту не отступимъ, самые лучшіе сроки для платежа налоговъ—это первое февраля и первое апрѣля. Эти же сроки—наиболѣе подходящіе и для экзекуцій. И мы докажемъ это такимъ множествомъ фактовъ, которые заставятъ замолчать нашихъ слишкомъ словоохотливыхъ противниковъ.

„Факты эти мы надѣемся изложить въ цѣломъ рядѣ статей, которыя и будутъ постепенно появляться въ нашей газетѣ“.

Нескладинъ кончилъ и необыкновенно чистыми, ясными глазами смотрѣлъ на всѣхъ. Пѣнкосниматели были въ восторгѣ и поздравляли счастливаго передовика, предвкушая заранѣе тотъ рядъ статей, который онъ обѣщалъ имъ. Но я, признаюсь, былъ нѣсколько смущенъ. Я испытывалъ то самое ощущеніе, которое испытываетъ человѣкъ, задумавшій высморкаться, но которому вдругъ помѣшали выполнить это предпріятіе. Я, такъ сказать, ужъ распустилъ уши: я ожидалъ, что вотъ-вотъ услышу ссылки на „Статистическій Временникъ“ министерства внутреннихъ дѣлъ, на примѣры Англіи, Франціи, Италіи, Пруссіи, Соединенныхъ Штатовъ; я былъ убѣжденъ, что будетъ навѣки нерушимо доказано, что въ апрѣлѣ и февралѣ происходятъ самыя выгодныя для плательщиковъ сдѣлки, что никогда базары не бываютъ такъ людны, и что, наконецъ, только нахалы, не знающіе литературныхъ приличій, могутъ утверждать, и т. д.—и вдругъ пауза, сопровождаемая лишь угрозой цѣлаго ряда статей! Каково жить въ ожиданіи выполненія этой угрозы!

Казалось, и Менандръ отчасти раздѣлялъ мое чувство. По крайней мѣрѣ, физіономія его въ эту минуту не выражала особенной восторженности.

— Статья превосходна,—сказалъ онъ:—но, жаль, что вы прервали вашу рѣчь на самомъ интересномъ мѣстѣ!

— А я, напротивъ того, сдѣлалъ это даже съ умысломъ!—отвѣчалъ Нескладинъ, улыбаясь язвительно.

— Именно, именно!—подхватили прочіе пѣнкосниматели.

— Статья, которая обѣщаетъ другую статью,—объяснилъ Нескладинъ:—изъ которой, въ свою очередь, должна выйти третья статья и такъ далѣе—всегда производитъ особенное впечатлѣніе на тѣхъ, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!

— Она держитъ противниковъ въ тревогѣ, а для публики составляетъ своего рода загадку. Вѣдь мнѣ ничего бы не стоило разомъ написать столбцовъ десять или двѣнадцать, но я именно хотѣлъ сначала нѣсколько заинтересовать публику, а потомъ ужъ и зарядить дней на двадцать!

— Да; очень можетъ быть, что вы и правы!—какъ-то уныло отозвался Менандръ.

— Вторая статья у меня ужъ почти готова, то-есть готовы рамки: „въ прошедшій разъ мы обѣщали нашимъ читателямъ“, „такимъ образомъ, изъ сравненія статистическихъ данныхъ оказывается“, „объ этомъ интересномъ предметѣ мы побесѣдуемъ съ читателемъ въ слѣдующій разъ“—все это ужъ сложилось въ моей головѣ. Затѣмъ остается только наполнить эти рамки—и дѣло съ концомъ.

Послѣ этого вечеръ, видимо, начиналъ приходить къ концу, такъ что нѣкоторые пѣнкосниматели уже дремали. Я, впрочемъ, понималъ эту дремоту и даже сознавалъ, что влачи я свое существованіе среди подобныхъ статей, кто знаетъ—быть можетъ, и я давно бы заснулъ непробуднымъ сномъ. Ни водки, ни закуски—ничего, все равно какъ въ пустынѣ. Огорченіе, которое ощутилъ я по этому случаю, должно быть, сильно отразилось на моемъ лицѣ, потому что Менандръ отвелъ меня въ сторону и шепнулъ:

— Пусть уйдутъ! Мы съ тобой выпьемъ и закусимъ.

И дѣйствительно, едва скрылся въ переднюю послѣдній гость, какъ Менандръ повелъ меня въ столовую, гдѣ была накрыта роскошная закуска, украшенная нѣсколькими бутылками вина.

— Помянемъ, братъ, доброе старое время! — воскликнулъ Менандръ, наливая рюмку водки:—хорошо тогда было!

— А теперь развѣ...

— Да какъ тебѣ сказать! Уважаю я этихъ господъ, очень уважаю, а, коли правду сказать, прескучно съ ними! Не ѣдятъ, не пьютъ, все передовыя статьи пишутъ!

— А мы съ тобой и до сихъ поръ помнимъ старую пословицу: „потѣхѣ время, а дѣлу часъ!“.. Такъ, что-ли, душа моя?

— Да, голубчикъ, этакъ-то лучше. Право, иногда зло меня беретъ! Брошу, думаю, всѣхъ этихъ анаѳемъ! Хоть въ лѣсъ, что-ли, отъ нихъ уйти!

— Ну, братъ, это такіе молодцы, что и въ лѣсу сыщутъ!

— Отыщутъ, дружище! отыщутъ! (Менандръ какъ-то безнадежно вздохнулъ.) Кстати: какъ тебѣ понравилась статья Нескладина?

— Да какъ бы тебѣ сказать? Странно какъ-то. Въ заголовкѣ, во-первыхъ, *Санктпетербургъ*, во-вторыхъ, *30-го мая*, — зачѣмъ это? Вѣдь, коли говорить правду, статья нимало не проиграла бы, еслибъ въ заголовкѣ поставить: *Островъ Голодай, 31-го мартобря.*

— Именно, братъ, *мартобря*. Жилы они изъ меня этимъ мартобремъ вытянули. Какъ ни возьмешь въ руки газету — такъ отъ нея мартобремъ и разитъ!

— А я вѣдь вчера подумалъ, что ты одинъ изъ искреннѣйшихъ пѣнкоснимателей! А ты, братъ, какъ видно, тово...

— Ахъ, жизнь они мою отравили! Самого себя я проклялъ съ тѣхъ поръ, какъ они меня сѣтями своими опутали... Ты еще не знаешь, какой ужасный человѣкъ этотъ Неуважай-Корыто!

Эта исповѣдь поразила меня, но сомнѣваться въ искренности ея было невозможно.

Менандръ дѣйствительно страдалъ; на глазахъ у него были слезы, а когда онъ произнесъ фамилію Неуважай-Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость, — продолжалъ Менандръ съ возрастающею горечью: — развѣ Бѣлинскій, Грановскій... ну, Добролюбовъ, Писаревъ, что-ли... развѣ писали они что-нибудь подобное той канители, которая въ настоящее время носитъ названіе передовыхъ статей?

— Знаешь, оно не то чтобы что... а дѣйствительно глуповато какъ-то!

— Глуповато! нѣтъ, ты замѣтилъ ли, что̀ этотъ Нескладинъ нагородилъ? Это, братъ, ужъ не глуповато, а глуповатище! Выпьемъ, братъ, вотъ что̀!

Выпили.

— Ты не знаешь, какъ они меня истязаютъ! Что̀ они меня про себя писать и печатать заставляютъ! Ну, вотъ хоть бы самая статья „о необходимости содержанія козла при конюшняхъ“ — ну, что̀ въ ней публицистическаго! А вѣдь я долженъ былъ объявить, что авторъ ея, все тотъ-же

Нескладинъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ публицистовъ нашего времени! Попался я, братъ,—вотъ что!

Выпили вновь.

— Ты не знаешь,—продолжалъ Менандръ:—есть у меня вещица. Я написалъ ее давно, когда былъ еще въ университетѣ. Она коротенькая. Я хотѣлъ тогда помѣстить ее въ „Московскомъ Наблюдателѣ“; но Бѣлинскій сказалъ, что это бредъ куриной души... Обидѣлъ онъ меня въ ту пору... Хочешь, я прочту ее тебѣ?

— Сдѣлай милость, голубчикъ!

Менандръ вскочилъ и устремился въ кабинетъ.

— Вотъ она,—сказалъ онъ, возвращаясь ко мнѣ съ листочкомъ почтовой бумаги:—и называется: „Исторія маленькаго погибшаго дитяти“. Одну минуту вниманія—и ты узнаешь исповѣдь моей души.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ всхлипывающимъ отъ волненія голосомъ прочиталъ:

Исторія маленькаго погибшаго дитяти. Новелла.

„Жило на свѣтѣ маленькое дитя. И оно задолжало. Оно любило леденцы, грецкіе орѣхи и пастилу въ палочкахъ. И когда продавецъ сластей приступилъ къ нему съ требованіемъ уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось къ могущественнымъ людямъ, указывая на свое рубище и на свои способности. И что оно безъ пастилы жить не можетъ. Тогда могущественные люди сказали ему: хорошо! мы поможемъ тебѣ! Но ты должно поступить въ шайку пѣнкоснимателей и отнимать жизнь у всякаго, кто явится противникомъ пѣнкоснимательству! И оно поступило въ шайку пѣнкоснимателей и поклялось отнимать жизнь; но таковой до сихъ поръ ни у кого отнять не могло. Такова исторія маленькаго погибшаго дитяти“.

Конецъ.

— Теперь ты меня понялъ, надѣюсь? Вотъ еще когда я провидѣлъ это гнусное пѣнкоснимательство!—воскликнулъ Менандръ, грузно приникая головой къ столу.

Я сжалъ его руку, и такъ какъ горе его было неподдѣльно, то постарался утѣшить его.

— Послушай, другъ мой!—сказалъ я:—обстоятельства привели тебя въ лагерь пѣнкоснимателей — это очень прискорбно, но дѣлать нечего, отъ судьбы, видно, не уйдешь. Но зачѣмъ ты непремѣнно хочешь быть разбойникомъ? Снималъ бы себѣ да снималъ пѣнки въ тиши уединенія—никто бы не подумалъ препятствовать тебѣ! Но ты хочешь во что бы то ни стало отнимать жизнь!! Воля твоя, а это несправедливо.

— Кто? я-то хочу отнимать жизнь? Господи! да кабы не клятва моя! Ты не повѣришь, какъ они меня мучаютъ! На дняхъ—тутъ у насъ обозрѣватель одинъ есть—принесъ онъ мнѣ свое обозрѣніе... Прочиталъ я его—ну, точно въ отхожемъ мѣстѣ часа два просидѣлъ! Гроша у него за душой нѣтъ,

а онъ такъ и лѣзетъ, такъ и скачетъ! Помилуйте, говорю, зачѣмъ? по какому случаю? Недѣли двѣ я его уговаривалъ, такъ нѣтъ же, онъ все свое: „нѣтъ, говоритъ, вы клятву дали!“ Такъ и заставилъ меня напечатать!

— Странно мнѣ во всемъ этомъ одно: если вы, какъ ты увѣряешь, выступаете прямо съ намѣреніемъ отнимать жизнь у всякаго, кто не занимается пѣнкоснимательствомъ, то отчего же и у васъ не отнимутъ жизни? вѣдь это, кажется, очень нетрудно!

— Нѣтъ, братъ, теперь это очень и очень даже трудно. Если бы прихлопнули насъ въ то время, когда мы только-что начинали разводить нашу канитель — ну, тогда точно это было бы нетрудно. Тогда и публикѣ оно было бы понятнѣе, да и у насъ кое-какая совѣсть еще была. А теперь, когда мы и сами вошли во вкусъ, да и публику отуманило наше пѣнкоснимательство — ничего ты съ нами не подѣлаешь! Какъ ты ни прижимай меня къ стѣнѣ—во-первыхъ, съ меня нечего взять... голъ, братецъ, я какъ соколъ! а во-вторыхъ я все таки, до послѣдняго издыханія буду барахтаться и высовывать тебѣ языкъ! Я, братъ, отлично эту штуку понялъ, что покуда я барахтаюсь — какія бы я пошлости ни говорилъ, публика, все-таки, скажетъ: „эге! да этотъ человѣкъ барахтается, стало-быть что-нибудь да есть у него за душой!“ Впрочемъ, что̀ толковать объ этомъ! выпьемъ!

Менандръ нѣсколько разъ прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ, потеръ себѣ лобъ и сказалъ:

— Да; нѣтъ мнѣ отъ нихъ спасенія! Эй! Кто тутъ! отнести статью господина Нескладина въ типографію! Теперь газета наша обезпечена. Онъ, по крайней-мѣрѣ, нумеровъ пятнадцать будетъ закатывать по семи столбцовъ.

Менандръ посмотрѣлъ на меня и разразился хохотомъ.

— А я еще тебя хотѣлъ завербовать въ нашу газету! — воскликнулъ онъ:—нѣтъ, ужъ лучше ты не ходи... не ходи ты ко мнѣ, ради Христа! Не раздражай меня! Бѣлинскій! Грановскій! Добролюбовъ!.. и вдругъ Неуважай-Корыто! Чортъ знаетъ что̀ такое!

Менандръ вытянулъ руку во всю величину и повторилъ:—Неуважай-Корыто!—Я въ свою очередь взглянулъ на него: онъ былъ пьянъ.

Между тѣмъ розоперстая аврора уже смотрѣла во всѣ окна и напоминала о благодѣяніяхъ сна.

— Прощай, братъ!.. Пожалуйста, прошу тебя, ты ко мнѣ не приходи! Покойной тебѣ ночи, а я пойду екатеринославскую корреспонденцію разбирать. Тамъ, братъ, нынче сурки всѣ поля изрыли—вонъ оно куда пошло!

Мы вошли въ переднюю, и—о, ужасъ!—застали тамъ самого Неуважай-Корыто, который спалъ на лавкѣ или притворялся спящимъ.

— Онъ насъ подслушивалъ! —шепнулъ мнѣ Менандръ.

Неуважай-Корыто между тѣмъ протиралъ глаза и бормоталъ:

— А я калоши искалъ, да, кажется, и заснулъ. Боже! четвертый часъ! А мнѣ еще нужно дописать статью: „О типѣ древней русской солоницы“! Менандръ Семенычъ! а когда же вы напечатаете мою статью: „Къ вопросу о томъ: макали ли русскіе цари въ соль пальцами, или доставали оную посредствомъ ножей“?

Но Менандръ смотрѣлъ на него осовѣлыми глазами и мычалъ что-то совсѣмъ несообразное...

— Закусывали?!—язвительно замѣтилъ Неуважай-Корыто, и сталъ отыскивать калоши.

Въ углу, дѣйствительно, стояли огромные зимніе боты, въ которые Неуважай-Корыто и обулъ свои ноги, къ величайшему изумленію „веселаго мая“, выглядывавшаго въ окна.

Мы очутились на улицѣ вдвоемъ съ Неуважай-Корыто. Воздухъ былъ влаженъ и еще болѣе неподвиженъ, нежели съ вечера. Нева казалась окончательно погруженною въ сонъ; городской шумъ стихъ и лишь внезапный и быстро улетучивавшійся стукъ какого-нибудь запоздавшаго экипажа напоминалъ, что городъ не совсѣмъ вымеръ. Солнце едва показывалось изъ-за домовыхъ крышъ и разрисовывало причудливыми тѣнями лицо Неуважай-Корыто. Верхняя половина этого лица была ярко освѣщена, тогда какъ нижняя часть утопала въ тѣни.

Нѣсколько минутъ мы шли молча.

— Нѣтъ, вы рѣшительно не понимаете меня!—вдругъ воскликнулъ Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И видя, что лицо мое выражаетъ недоумѣніе, продолжалъ: — не зная пѣнкоснимательства, вы, конечно, не можете постичь тѣ наслажденія, которыя сопряжены съ этимъ занятіемъ!

— Да; я почти незнакомъ съ этимъ дѣломъ...

— Вотъ почему оно и кажется вамъ легкомысленнымъ. Вы не знаете восторговъ, которые охватываютъ все существо человѣка, когда онъ вдругъ совершенно неожиданно для самого себя, открываетъ, что Чурилка—совсѣмъ не Чурилка.

Онъ снялъ съ себя картузъ; волоса на головѣ у него растрепались: глаза горѣли дикимъ блескомъ.

— Вы думаете, что тутъ дѣло идетъ только о Чурилкѣ?—продолжалъ онъ:—нѣтъ, тутъ захватываются авторитеты... эти презрѣнные, ненавистные кумиры, которымъ мы, къ стыду нашему, до сихъ поръ еще поклоняемся. Нѣтъ, я не просто пѣнкоснимательство... я радикалъ пѣнкоснимательства! Погодинъ! Карамзинъ! Бодянскій! Забѣлинъ! вы всѣ, которые съ помощью Чурилокъ нашли себѣ доступъ въ храмъ исторіи — я проклинаю васъ! А меня даже мальчишки на улицахъ дразнятъ, что я занимаюсь Чурилками! И никто не хочетъ понять, что Чурилка—только предлогъ, который позволяетъ мнѣ удовлетворить моей страсти разрушенія! Погодинъ! проклинаю! проклинаю! проклинаю!

Послѣднее заклинаніе онъ выкрикнулъ такъ громко, что дремавшій вблизи городовой проснулся и сдѣлалъ подъ козырекъ.

— Знаете ли вы, продолжалъ онъ:—что я боготворю Оффенбаха! Оффенбахъ! — да вѣдь это само отрицаніе! А между тѣмъ я вынужденъ защищать Даргомыжскаго и Кюи—не горько ли это?

— Позвольте! но ежели вы нашли въ себѣ достаточно силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вамъ не поступить точно такимъ же образомъ и относительно Кюи?

— Не могу! тутъ есть одно недоразумѣніе!

Неуважай-Корыто повертѣлся нѣсколько секундъ на мѣстѣ, какъ бы желая нѣчто объяснить, потомъ поспѣшно надѣлъ картузъ на голову, махнулъ рукой и сталъ быстро удаляться отъ меня. Черезъ минуту, однакожъ, онъ остановился.

— Но эта минута настанетъ!—крикнулъ онъ мнѣ: — я уничтожу ихъ! Я утоплю въ ложкѣ воды и Даргомыжскаго, и Цезаря Кюи! Я сниму съ нихъ маску!! Сниму!!

Глава VII.

Некомпетентность „пѣнкоснимателей“ въ вопросахъ жизни не подлежала сомнѣнію. Ясно, что это люди унылые, безнадежно ограниченные и притомъ злые и упорные. Они способны безконечно ходить вокругъ живого дѣла, ни разу не взглянувъ ему въ лицо. Въ литературѣ, сколько-нибудь одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное значеніе, существованіе подобныхъ дѣятелей было бы немыслимо; въ литературѣ, находящейся въ состояніи умертвія, они имѣютъ возможность не только играть роль, но даже импонировать, и дѣтскія пеленки, дѣтскій разрозненный лепетъ „ба-ля-ма-а“ выдавать за отвѣты на запросы жизни.

Среди этой груды мертвыхъ тѣлъ Неуважай-Корыто — единственная личность, къ которой можно чувствовать симпатію. По крайней мѣрѣ это человѣкъ убѣжденный и чего-нибудь достигающій. Онъ, не переставая долбить въ одну точку, рано или поздно непремѣнно что-нибудь выдолбитъ. Его спеціальность — царство мертвыхъ. Въ этомъ царствѣ, сражаясь съ Чурилками и изслѣдуя вопросъ о томъ, макали ли русскіе цари въ соль пальцами, онъ можетъ совершить тьму подвиговъ, не особенно славныхъ и полезныхъ, но въ примѣненіи къ царству тѣней весьма приличныхъ. Но зачѣмъ понадобилось его участіе въ дѣлѣ, имѣющемъ претензію на жизнь? Или Менандру во что бы то ни стало необходимо было, чтобъ въ этомъ сонмищѣ мертвыхъ тѣлъ, притворяющихся живыми, было хоть одно подлинно-мертвое тѣло?

Я увѣренъ, что Неуважай-Корыто глубоко презираетъ и Менандра, и Нескладина, и всѣхъ остальныхъ притворщиковъ. Притворство не въ его характерѣ. Зачѣмъ притворяться живыми, когда мы мертвы, и когда нѣтъ положенія болѣе почтеннаго, какъ положеніе мертваго человѣка?—такъ убѣждаетъ онъ своихъ сопѣнкоснимателей. И ежели онъ, за всѣмъ тѣмъ, якшается съ ними, то потому только, что какъ ни изловчаются они казаться живыми, все-таки не могутъ не быть мертвыми.

Разочаровавшись въ Менандрѣ, я рѣшился не обращаться болѣе къ литературѣ Къ чему?—литература умерла или убита; она отказалась отъ поисковъ въ области мысли и всецѣло обратилась къ пѣнкоснимательству. Пѣнкоснимательство — не какое-нибудь частное явленіе; это болѣзнь данной минуты. Это общее пониженіе мыслительнаго уровня до той неслыханной степени, которая сама себѣ отыскала названіе пѣнкоснимательства. Очевидно, что литературная мысль утратила ясность и сдѣлалась неспособною не только давать практическія рѣшенія по вопросамъ жизни, но даже опредѣлять ха-

рактеръ и значеніе послѣднихъ. Литература уныло бредетъ по заглохшей колеѣ и безсвязно лепечетъ о томъ, что̀ первое попадется подъ руку. Творчество замѣнено словосочиненіемъ; потребность страстной руководящей мысли — хладнымъ пережовываніемъ азбучныхъ истинъ. Какимъ горькимъ процессомъ дошла литература до современнаго несноснаго пѣнкоснимательнаго бормотанія? Было ли тутъ насильство, или же измельчаніе произошло вслѣдствіе непростительнаго самопроизвольнаго неряшества?

Что внѣшній гнетъ игралъ здѣсь немалую роль — въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Но, признаюсь, въ моихъ глазахъ едва-ли не важнѣе вопросъ: сопровождалось ли это вынужденное измельчаніе какой-нибудь попыткой ускользнуть отъ него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность отъ случайностей, или, по малой мѣрѣ, обезпечить писателя на случай вынужденнаго бездѣйствія? Вотъ на эти-то вопросы я и не берусь отвѣчать. Я могу только догадываться, что ежели литература, даже по вопросамъ самосохраненія, неспособна придти къ единомыслію, а способна только предаваться взаимнымъ заушеніямъ по поводу выѣденнаго яйца, то ея вынужденное измельчаніе равняется измельчанію самопроизвольному.

Мы со всѣхъ сторонъ слышимъ жалобы на ненадежность литературной профессіи, и между тѣмъ ни одинъ изъ ожирѣвшихъ каплуновъ, занимающихся антрепренерствомъ пѣнкоснимательства, пальца о палецъ не ударитъ, чтобъ придти на помощь или, по малой мѣрѣ, возбудить вопросъ объ устраненіи этой ненадежности. Литературное дѣло идетъ заведеннымъ издревле порядкомъ къ наибыстрѣйшему наполненію антрепренерскихъ кармановъ, а писатель-труженикъ, писатель, полагающій свою жизнь въ литературное дѣло, рискуетъ, оставаясь при убѣжденіи, что печать свободна, въ одно прекрасное утро очутиться на мостовой...

Но какъ бы тамъ ни было, а въ результатѣ оказывается какое-то безнадежное утомленіе. Писателю не хочется писать, читателю — противно читать. Взялъ бы бросилъ все и ушелъ — только куда бы ушелъ? Необходимость что-нибудь высказать является результатомъ не внутренней подстрекающей потребности духа, а извѣстнымъ образомъ сложившихся внѣшнихъ обстоятельствъ. Нужно къ извѣстному сроку дать извѣстное количество печатнаго матеріала — въ этомъ одномъ вся задача. Это — бремя, не имѣющее въ себѣ ничего привлекательнаго, а въ большинствѣ случаевъ даже небезопасное. Понятно, что выходитъ безсвязный дѣтскій лепетъ, съ тою разницею, что послѣдній естественъ и свободенъ, тогда какъ такъ-называемыя капитальныя произведенія литературы имѣютъ характеръ жалкой вымученности. Понятно также, что и читатель пропускаетъ мимо всѣ эти такъ-называемыя капитальныя произведенія русской журналистики и обрушивается на мелкія извѣстія и стенографическіе отчеты. Тутъ, по крайней мѣрѣ, онъ имѣетъ дѣло съ фактомъ, не отравленнымъ пѣнкоснимательными разсужденіями о томъ, что все на свѣтѣ семъ превратно, все въ семъ свѣтѣ коловратно.

Но для пѣнкоснимателей это время все-таки самое льготное.

Повторяю: въ литературѣ сколько-нибудь одаренной жизнью они не могли бы существовать совсѣмъ, тогда какъ теперь они имѣютъ возможность дать полный ходъ невнятному бормотанію, которымъ преисполнены сердца

ихъ. Навѣрное, никто ихъ не прочитаетъ, а слѣдовательно никто и не обезпокоитъ вопросомъ: что сей сонъ значитъ? Стало быть, *для нихъ* выгода очевидная.

Прежде всего положеніе пѣнкоснимателей относительно такъ-называемыхъ „карательныхъ мѣръ“ самое благонадежное, и ежели они за всѣмъ тѣмъ жалуются, что имъ дано мало свободы, то это происходитъ отчасти вслѣдствіе дурной привычки клянчить, а отчасти вслѣдствіе того, что они все-таки забываютъ, что при большой свободѣ *они совсѣмъ не могли бы существовать*. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое „пѣнкосниматели“?—Это недоконченный, лишенный самостоятельной жизни организмъ, который можетъ водиться только въ запертомъ наглухо и никогда непровѣтриваемомъ помѣщеніи. Откройте окна и двери, пустите струю свѣжаго воздуха—и паразиты мгновенно исчезнутъ. Ужели же пѣнкосниматели навѣки осуждены не понимать, что ежели современное ихъ существованіе не вполнѣ совершенно, то все-таки оно лучше, нежели то *не*существованіе, на которое они были бы обречены при болѣе благопріятныхъ для печатнаго слова условіяхъ?

Что̀ бы ни говорили пѣнкосниматели, никто не повѣритъ, чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь и гдѣ бы то ни было возможны были препятствія Если же таковыя, къ удивленію, и встрѣчаются, то это не больше какъ плодъ минутнаго недоразумѣнія, разсѣять которое не составляетъ никакого труда. И пѣнкосниматели, и ихъ случайные каратели стоятъ такъ близко другъ къ другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить. Иногда они не понимаютъ другъ друга—это, конечно, дѣло возможное; но причина этого явленія заключается не въ чемъ-либо существенномъ, а просто въ томъ озорствѣ, которому по временамъ и притомъ всегда безъ надобности предаются пѣнкосниматели. Имъ хочется казаться самостоятельными, не бывъ оными—и вотъ они начинаютъ критиковать, придираться и дразнить. Такъ напримѣръ, если дѣйствительность въ извѣстныхъ случаяхъ гласитъ: за такое-то дѣяніе—семь лѣтъ каторги, то пѣнкоснимателю непремѣнно сочтетъ за долгъ доказать, что было бы и справедливѣе, и цѣлесообразнѣе уменьшить этотъ срокъ до шести лѣтъ одиннадцати мѣсяцевъ двадцати-девяти дней двадцати-трехъ часовъ пятидесяти-пяти минутъ. Но мало того, что онъ будетъ утверждать это, онъ станетъ упрекать дѣйствительность въ безчеловѣчіи, начнетъ дразниться своимъ открытіемъ, будетъ безъ конца приставать съ нимъ и оттачивать объ него свое гражданское мужество. И дѣйствительно, въ концѣ концовъ, по недоразумѣнію, такъ раздразнитъ, что сейчасъ ему—въ лобъ камнемъ. Ясно, однакожъ, что этотъ камень повредитъ ему лобъ совсѣмъ не за сбавку пяти минутъ каторги, а за то: не дразнись! не проѣдайся! не приставай!

Слѣдовательно нужно только перестать дразнить — и дѣло будетъ въ шляпѣ. Не пѣнкоснимательство пугаетъ, а претитъ лишь случайный вкусъ того или другого вида его. Одинъ видъ на вкусъ сладковатъ, другой кисловатъ, третій горьковатъ; но и тотъ, и другой, и третій—все-таки представляютъ собой видоизмѣненія одного и того же пѣнкоснимательства—и ничего больше.

Вторая выгода, которою пользуются пѣнкосниматели, заключается въ

томъ, что ихъ ни подъ какимъ видомъ ни услѣдить, ни уличить невозможно. Нѣтъ у нихъ ничего, а потому и ухватить ихъ не за что.

Одна изъ характеристическихъ чертъ пѣнкоснимательства—это враждебное отношеніе къ такъ-называемымъ утопіямъ. Не то чтобы пѣнкосниматели прямо враждовали, а такъ, галдятъ. Всякій пѣнкосниматель есть человѣкъ не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображенія; человѣкъ, который самой природой осужденъ на хладное пережевываніе первоначальныхъ, такъ сказать, обнаженныхъ истинъ. Надѣлите самаго ограниченнаго человѣка нѣкоторымъ количествомъ фантазіи, онъ непремѣнно устроитъ себѣ уголокъ, въ которомъ будетъ лелѣять какую-нибудь завѣтную мечту. Мечты эти будутъ, конечно, неважныя: онъ будетъ мечтать или о возможности выиграть двѣсти тысячъ, или о томъ, что хорошо было бы завоевать Византію, или о томъ, наконецъ, въ Москвѣ или въ Кіевѣ надлежитъ быть сердцу Россіи. Но во всякомъ случаѣ у него будетъ нѣчто свое, завѣтное, къ чему можно отнестись критически, чѣмъ можно разбередить его умственныя силы. Пѣнкосниматель не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній, но даже гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно также служитъ цивилизаціи, какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ уткнулся въ заборъ, и ни о чемъ другомъ, кромѣ забора, не хочетъ знать. Не хочетъ знать даже, существуютъ ли на свѣтѣ иные заборы, и въ какомъ отношеніи находятся они къ забору, имъ созерцаемому. И всѣхъ, кто напоминаетъ ему объ этихъ *иныхъ* заборахъ, онъ называетъ утопистами, оговариваясь при этомъ, что только литературныя приличія не дозволяютъ ему примѣнить здѣсь названіе жуликовъ. „Ковыряй тутъ, а не въ иномъ мѣстѣ, ибо только тутъ обрѣтешь искомый навозъ!“ вѣщаетъ онъ глубокомысленно и забрызжетъ съ ногъ до головы всякаго, кто позволитъ себѣ не послѣдовать его вѣщаніямъ.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія фантазіи, пѣнкосниматель неуязвимъ. Нѣтъ у него ея, а слѣдовательно и доказать ему необходимость этого элемента въ литературѣ и жизни — значитъ только возбуждать въ немъ смѣхъ, въ которомъ простодушіе до такой степени перемѣшано съ нахальствомъ, что трудно отличить, на которой сторонѣ перевѣсъ.

Богъ съ ними, однакожъ, съ утопіями, если ужъ этому выраженію суждено наводить страхъ на всѣхъ, кому нужны страшныя слова, чтобы замаскировать ими духовную нищету. Но вѣдь и помимо утопій есть почва на которой можно критически отнестись къ дѣйствительности, а именно та почва, на которой стоитъ сама дѣйствительность. Ограничьте конкретность факта до самой послѣдней степени, доведите ее до самой нищенской наготы — вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пѣнкоснимательными усиліями фактъ имѣетъ и свою исторію, и свою современную обстановку, и свои ближайшія послѣдствія, не касаясь уже отдаленнаго будущаго. Разъяснить эту обстановку факта, опредѣлить путь, которому онъ долженъ слѣдовать, не извращая своего внутренняго смысла—все это уже совсѣмъ не утопія, а именно та самая почва факта, на которой онъ стоитъ въ дѣйствительности. Но пѣнкосниматель, постоянно твердя о конкретности фактовъ, даже и здѣсь выказываетъ лишь безсиліе. Твердя о конкретности, онъ разумѣетъ совсѣмъ не конкретность, а разрозненность, а потому все, что имѣетъ видъ обобщенія,

что напоминаетъ объ отношеніи и связи—все это уже не подходитъ подъ *его* понятіе о конкретности, и сваливается въ одну кучу, которой дается названіе „утопія“. Наше время—не время широкихъ задачъ! гласитъ онъ безъ всякаго стыда:—не расплывайся! не заѣзжай! не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежитъ подъ носомъ, и далѣе не дерзай!

Какъ ни противна эта мутная пѣна словъ, но она представляетъ своего рода твердыню, за которою, съ полною безопасностью, укрывается безчисленное пѣнокснимательное воинство. Благодаря этой твердынѣ, пѣнкоснимателъ выскальзываетъ изъ рукъ своего изслѣдователя, какъ вьюнъ, и услѣдить за случайными эволюціями его бродячей мысли все равно, что услѣдить неуслѣдимое. Конечно, коли хотите, и тутъ должна же существовать извѣстная логическая послѣдовательность, какъ была таковая и у тѣхъ харьковскихъ юношей, которые отъ хорошаго житья задумали убить ямщика; но для того, чтобы открыть эту послѣдовательность и вынести для нея оправдательный вердиктъ, необходимо быть или всеоправдывающимъ присяжнымъ будущаго, или, по малой мѣрѣ, присяжнымъ харьковскаго окружного суда.

Возьмитесь за любое литературное изданіе пѣнкоснимательнаго пошиба, и вы убѣдитесь, какъ трудно отнестись критически къ тому, что никогда не знало никакого идеала, никогда не сознавало своихъ намѣреній. Это болото, въ которомъ тамъ и сямъ мелькаютъ блудящіе огоньки. Вотъ какъ будто брезжитъ нѣчто похожее на мысль: вотъ кажется, что пѣнкоснимателъ карабкается, хочетъ встать на какую-то точку. А ну-ко еще! еще, милый, еще! восклицаете вы, мысленно натуживаясь вслѣдъ за пѣнкоснимателемъ. И вдругъ, хвать-похвать, — туманъ, то-есть безконечное и лишенное всякаго содержанія бормотаніе! И замѣтьте, что пѣнкоснимателъ никогда не обезкуражится своимъ безсиліемъ, никогда не замолчитъ. Нѣтъ, онъ будетъ судить и рядить безъ конца; не можетъ прямо идти—заѣдетъ въ сторону! тутъ ползолотника скинетъ, тамъ ползолотника накинетъ, и при этомъ будетъ взирать съ такою ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что онъ и еще четверть золотника накинуть можетъ, если захочетъ. Или вдругъ на кого-нибудь накинется, и начнетъ полемизировать, полемизировать точь-въ-точь, какъ полемизируютъ между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба.

— Почему же вы такъ полагаете, Сидоръ Кондратьевичъ?

— Да ужъ такъ!

— Однако, Сидоръ Кондратьевичъ, нельзя же утверждать или отрицать, приводя въ доказательство: „да ужъ такъ“!

— Да ужъ помяните вы мое слово!

И онъ не выйдетъ изъ своего „да ужъ такъ!“ до послѣдняго издыханія, и дотолѣ не сочтетъ себя побѣжденнымъ, доколѣ будетъ сознавать себя способнымъ разѣвать ротъ и произносить: „помяните мое слово!“

Поэтому, и съ точки зрѣнія конкретнаго факта, пѣнкоснимателъ точно такъ же обнаженъ, какъ и на почвѣ утопій. Отъ утопіи онъ отворачивается, къ конкретному же факту хотя и имѣетъ приверженность, но приверженность слѣпую, чуждую сознательности. Въ обоихъ случаяхъ онъ неуязвимъ, какъ и любой изъ уличныхъ обывателей. Фактъ, представленный не одиноко, а въ

извѣстной обстановкѣ, для него такая же смѣшная абстракція, какъ Фаланстеръ или Икарія. Требуйте отъ него отчета, доказывайте, прижимайте къ стѣнѣ — онъ все будетъ барахтаться и произносить свое: „да ужъ такъ!“ И надъ вами же, въ заключеніе, вдосталь нахохочется. „Нѣтъ, скажетъ, ты меня не поймаешь! Ловокъ ты, а я вотъ тебѣ каждый день языкъ показывать буду — и хоть ты что хочешь, а ничего со мной не подѣлаешь!“

Но есть и еще почва, на которой пѣнкосниматель неуязвимъ — это почва либерализма. Либерализмъ — это своего рода дойная корова, за которою, при нѣкоторой снаровкѣ и при недостаткѣ бдительности надзора, можно жить припѣваючи, какъ живали нѣкогда цѣлыя поколѣнія людей съ хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакіевскаго собора. Пѣнкосниматель выражается не особенно ясно, но всегда съ такимъ разсчетомъ, чтобы загадочность его была истолкована въ либеральномъ смыслѣ. Онъ умѣетъ кстати подпустить: „мы говоримъ съ прискорбіемъ“, или: „ничто такъ не огорчаетъ насъ, какъ нападки на наши молодыя, неокрѣпшія учрежденія“, и, разумѣется, никогда не промолвится, что крѣпостной трудъ лучше труда свободнаго, или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытыхъ дверяхъ. Нѣтъ, никогда; ибо склады либерализма извѣстны ему въ точности. Конечно, онъ все-таки ничего не смыслитъ ни въ дѣйствительной свободѣ, ни въ дѣйствительной гласности; но такъ-какъ онъ произноситъ свои афоризмы совершенно такъ, какъ бы находился въ здравомъ умѣ и твердой памяти, то со стороны можетъ казаться, что онъ, пожалуй, что-нибудь и смыслитъ. И такимъ образомъ въ результатѣ оказывается безконечный обманъ, имѣющій подкладкой одно самоувѣренное нахальство. Вамъ говорятъ о благодѣяніяхъ свободнаго труда, но въ то же время пріурочиваютъ его дѣйствіе къ такой безконечно-малой сферѣ, что въ сущности выходитъ лишь замаскированный крѣпостной трудъ. Вамъ повѣствуютъ о выгодахъ гласнаго суда, а на повѣрку выходитъ, что рѣчь сводится къ рекламамъ въ пользу такого-то адвоката или судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется съ такою солидностью, что дѣлается жутко за человѣческую мысль. „Дважды два четыре“, проповѣдуетъ пѣнкосниматель, и совершенно искренно вѣритъ, что дальше этой истины ничего ужъ нѣтъ, и что доискиваться какихъ-либо дальнѣйшихъ комбинацій есть дѣло прихоти и продерзостнаго мальчишества.

Всѣ эти три неуязвимости достойно прикрываются четвертою: солидностью. Способность говоритъ солидно и увѣренно самыя неизреченныя пошлости, есть именно та драгоцѣнная способность, которою въ совершенствѣ обладаетъ всякій пѣнкосниматель. Это василискъ празднословія, при встрѣчѣ съ которымъ надобно выбирать одно изъ двухъ: или плюнуть и бѣжать отъ него прочь, или обречь себя на выслушиваніе его. Никогда ни по какому вопросу онъ не придетъ къ ясному выводу, но въ то же время никогда ни по какому вопросу не спасуетъ. Онъ будетъ плавно и мѣрно выпускать фразу за фразой, и ожиданіемъ вывода или заведетъ въ ловушку, или доведетъ до изступленія. Поэтому полезнѣе всего — это избѣгать всякихъ встрѣчъ съ пѣнкоснимателями, ибо только этимъ способомъ можно оградить себя отъ дьявольскаго навожденія. Но существуютъ люди слабые (увы! вселенная кишитъ ими!), которые не могутъ устоять передъ взорами этихъ василисковъ,

и потому ввергаются въ бездну празднословія. Вотъ въ этихъ-то слабохарактерныхъ личностяхъ пѣнкоснимателн и черпаютъ ту силу, которая такъ изумляетъ изслѣдователей современности. И будутъ черпать ее до тѣхъ поръ, пока литература не почувствуетъ себя свободною отъ кошмара, который давитъ ее, или пока совсѣмъ не потонетъ въ океанѣ безсмысленнаго бормотанія...

Я долго блуждалъ по Выборгской, заглянулъ въ Лѣсной, но вспомнилъ, что здѣсь главный очагъ нашихъ революцій, и отправился на Охту, гдѣ отяжелѣлыми отъ сна глазами оглядѣлъ зданія пороховыхъ заводовъ.

Проведенный вечеръ не выходилъ изъ головы моей. Впрочемъ изъ всѣхъ индивидуумовъ, которые играли въ немъ роль, я оплакивалъ лишь двоихъ: русскую литературу и Менандра. Всѣ прочіе были такъ счастливы и довольны собой, казались до того на своемъ мѣстѣ, что и жалѣть объ нихъ не было ни малѣйшаго повода. Они кружились и играли, какъ мошки на солнцѣ, и, кружась и играя, конечно, довлѣли сами себѣ, какъ выражалась критика сороковыхъ годовъ. Пѣнкоснимательство было ихъ назначеніемъ, ихъ провиденціальною ролью. Они родились именно тогда, когда началосъ пѣнкоснимательство, и умрутъ тогда, когда пѣнкоснимательство кончится. Но литература, но Менандръ... Воля ваша, а я и до сихъ поръ не могу примириться съ мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою. Мнѣ все кажется, что это индивидуумы подневольные, сносящіе иго пѣнкоснимательства лишь потому, что чувствуютъ себя въ каменномъ мѣшкѣ.

Сравните литературу сороковыхъ годовъ, не дѣлавшую шага безъ общихъ принциповъ, съ литературой нынѣшнею, занимающеюся вытаскиваніемъ бирюлекъ; сравните Менандра прежняго, оглашавшаго стѣны „Британіи“ восторженными кликами о служеніи высшимъ интересамъ искусства и правды, и Менандра нынѣшняго, съ тою же восторженностью возвѣщающаго міру о видѣнномъ въ Екатеринославлѣ сѣверномъ сіяніи... Какая непроглядная пропасть лежитъ между этими сопоставленіями!

Я не говорю, чтобъ полезно и желательно было всецѣло воскресить сороковые года съ ихъ исключительнымъ служеніемъ всякаго рода абстрактностямъ, но не тѣ или другія абстрактности дороги мнѣ, а темпераментъ и направленіе литературы того времени. Никто не посмѣлъ бы крикнуть тогда: наше время не время широкихъ задачъ! Напротивъ того, всякій рвался захватить какъ можно шире и глубже. Говорятъ, что расплывчивость сороковыхъ годовъ породила множество монстровъ, которые и даютъ себя знать теперь въ качествѣ неумолимыхъ гонителей всякаго живого развитія. Я и не отрицаю, что такіе монстры дѣйствительно существуютъ, но отрицаю, чтобъ ихъ можно было считать представителями сороковыхъ годовъ. Это схоластики, увлекшіеся буквою и никогда не понимавшіе ея смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убѣжденные люди утверждали, что дѣло литературы заключается въ разработкѣ общихъ руководящихъ идей, а не подробностей. Но, увы! убѣжденные люди безвременно сошли въ могилу, а схоластики остались, да еще остались старые болтуны, которые, какъ давно заброшенные часы, показываютъ все тотъ же часъ, на которомъ засталъ ихъ конецъ пятидесятыхъ годовъ.

Правда, что тогда же былъ и Булгаринъ, но вѣдь и Булгарины бываютъ разные. Бываютъ Булгарины злобствующіе и инсинуирующіе, но бываютъ и добродушные, въ простотѣ сердца переливающіе изъ пустого въ порожнее на тему, что все на свѣтѣ коловратно, и что даже привозъ свѣжихъ устрицъ къ Елисееву и Смурову ничего не можетъ измѣнить въ этой истинѣ. Кто же можетъ утверждать навѣрное, что современная русская литература не кишитъ какъ злобствующими, такъ и простосердечными Булгаринами?

Среди этихъ горькихъ размышленій, я очутился на Невскомъ уже тогда, когда часы на Публичной Библіотекѣ показывали одиннадцать. Къ довершенію всего, у Петропавловской лютеранской церкви я неожиданно наткнулся на Прокопа, о которомъ думалъ, что онъ уже нѣсколько дней тому назадъ отправился во-свояси хлопотать о мѣстѣ по части новыхъ налоговъ.

— Ба! какими судьбами! а я думалъ, что ты ужъ уѣхалъ домой! —воскликнули мы оба въ одинъ голосъ.

А между тѣмъ изъ церкви выѣзжалъ довольно людный печальный кортежъ. Невскій въ этомъ мѣстѣ былъ запруженъ войсками, которыя, при появленіи траурныхъ дрогъ, выстроились и подъ звуки похороннаго марша двинулись по направленію къ Смоленскому кладбищу.

— Что же ты здѣсь дѣлаешь? вѣдь я думалъ, что ты ужъ давно дома и объ мѣстѣ хлопочешь!—обратился я къ Прокопу.

— Нельзя, братецъ, дѣловъ много. Видишь, вотъ генерала хороню.

— Какого еще генерала?

— Фонъ-Керль прозывался, изъ нѣмцевъ. Признаться сказать, я только съ недѣлю тому назадъ съ нимъ въ департаментской пріемной познакомился, а четвертаго дня, слышу, онъ холостымъ выстрѣломъ застрѣлился.

— Ты врешь, душа моя!

— Истиннымъ Богомъ. Пистонъ разорвало, а онъ съ испугу подумалъ, что его убило, да и умеръ.

— А вотъ еще сомнѣваются въ существованіи души! Ну, могъ ли бы случиться такой фактъ, еслибъ души не было? Но что за причина, что онъ покусился на самоубійство?

— Да года три сряду все по кавалеріи числился; ну, натурально, мѣстовъ искалъ, докладныя записки во всѣ министерства подавалъ. Въ губернаторы ужъ очень хотѣлось попасть! „мнѣ бы, говоритъ, ваше превосходительство, какую-нибудь немудрящую губернію, въ Петрозаводскъ или въ Уфу“... право!

— Скажите на милость! и не дали!

— Не дали. А онъ между тѣмъ, въ ожиданіи, все до нитки спустилъ. Еще наканунѣ происшествія, я водилъ его на свой счетъ въ греческую кухмистерскую обѣдать — смотрѣть жалость! „Обносился весь!“ говоритъ. А теперь, гляди, съ какой помпой хоронятъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, какая несправедливость! Отчего бы не дать? Вѣдь нынче, говорятъ, отъ губернаторовъ все отошло!

— Вотъ и онъ тоже говорилъ. „Нынче, говоритъ, все отъ губернато-

ровъ отошло. Нужно только тактъ имѣть да хорошаго вице-губернатора". А на другой день, слышу, застрѣлился!

— И хорошій, ты говоришь, генералъ былъ?

— Одно слово, черезъ Валдайскія горы однажды перешелъ!

— Не черезъ Балканскія ли, душа моя?

— Вѣрно говорю: черезъ Валдайскія. Черезъ Балканскія — это прежде бывало, а нынѣче и черезъ Валдайскія — спасибо скажи!

Кортежъ между тѣмъ удалялся, и звуки похоронаго марша ужъ довольно смутно доносились до насъ.

— Ну, братъ, я бѣгу! — спохватился Прокопъ: — да ты что, свободенъ, что-ли?

— Спать хочется, а то какія же у меня дѣла!

— Ну, его, сонъ! успѣемъ выспаться, какъ въ деревню вернемся. Айда со мной на Смоленское! Тамъ, братъ, въ кухмистерской на казенный счетъ поминки устроены, такъ кстати закусимъ и выпьемъ.

Я съ минуту колебался, но времени впереди было такъ много, времени ничѣмъ не занятого, вполнѣ пустопорожняго... Оказывалось рѣшительно все равно, чѣмъ ни наполнить его, отданіемъ ли послѣдняго долга застрѣлившемуся холостымъ выстрѣломъ генералу, или безцѣльнымъ шаганіемъ по петербургскимъ тротуарамъ, захаживаніемъ въ кондитерскія, чтеніемъ пѣнкосимательныхъ передовыхъ статей, разсматриваніемъ проектовъ объ упраздненіи и посѣщеніемъ различнаго рода публицистическихъ раутовъ. Въ самомъ дѣлѣ, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вотъ какъ сдѣлаемъ, — продолжалъ между тѣмъ искушать Прокопъ: — сперва генералу честь отдадимъ и въ кухмистерской закусимъ, потомъ отправимся обѣдать къ Дороту, а тамъ ужъ и на Минералы рукой подать! Какихъ, братъ, тамъ штучекъ съ послѣдними кораблями привезли! Напередъ говорю: пальчики оближешь!

Но согласіе и безъ того уже видѣлось въ глазахъ моихъ...

Похороны были, такъ сказать, выморочные. Повидимому, и самъ покойный генералъ былъ выморочный, ни въ какомъ вѣдомствѣ ненужный генералъ. Переходъ черезъ Валдайскія горы, въ свое время составившій славу Фонъ-Керля, былъ давно забытъ; только немногіе изъ сослуживцевъ, да и то большею частью изъ состоящихъ по кавалеріи, почтили память усопшаго. Ни родственниковъ, ни хозяевъ печальнаго торжества не было; распоряжался казначей того вѣдомства, насчетъ котораго хоронили Фонъ-Керля, но и его дѣйствія заключались единственно въ уплатѣ издержекъ по церемоніи. Впрочемъ на закускѣ, въ ближайшей къ кладбищу кухмистерской, было довольно оживлено. Собрались большею частью люди ни мнѣ, ни Прокопу неизвѣстные, но насъ такъ усердно потчивали, какъ будто мы были ближайшіе родные покойнаго. Прокопъ, по обыкновенію, лгалъ, то-есть утверждалъ, что самъ присутствовалъ при томъ, какъ Фонъ-Керль застрѣлился, и собственными ушами слышалъ, какъ послѣдній, въ предсмертной агоніи, — сказалъ: „отнесите господину министру внутреннихъ дѣлъ послѣдній мой вздохъ, и доложите его

превосходительству, что хотя я и не удостоился, но и умирая остаюсь при убѣжденіи, что для Петрозаводска... лучше не надо!"

Нѣкоторые изъ сослуживцевъ-генераловъ облизнулись при этомъ, а одинъ изъ нихъ сказалъ:

— Вы обязаны исполнить волю покойнаго! Быть можетъ, его высокопревосходительство тронется этимъ и хотя въ отношеніи къ другимъ будетъ не столь взыскателенъ!

— Непремѣнно-съ! непремѣнно-съ!—увѣрялъ Прокопъ: — помилуйте! какого еще къ чорту губернатора надо!

По сцѣпленію идей, зашелъ разговоръ о губернаторствѣ, о томъ, что нынѣче отъ губернаторовъ все отошло, и что слѣдовательно имъ нужно только имѣть тактъ. Прокопъ сталъ-было утверждать, что и совсѣмъ ихъ не нужно, но потомъ самъ убѣдился, что, во-первыхъ, некому будетъ взыскивать недоимки, а во-вторыхъ, что безъ хозяина во всякомъ случаѣ какъ-то неловко. Отъ губернаторства разговоръ опять возвратился къ покойному и къ славнѣйшему подвигу его жизни: къ переходу черезъ Валдайскія горы.

— Скажите пожалуйста! вы были свидѣтелемъ этого перехода?—обратился къ Прокопу одинъ изъ генераловъ.

— Еще бы! Я тогда юнкеромъ въ Бѣлобородовскомъ полку состоялъ; но такъ какъ покойный всегда особенно меня жаловалъ, то я у него почти за адъютанта служилъ. Только вотъ стоимъ мы, какъ сейчасъ помню, въ Яжелбицахъ...

— Такъ, такъ! Это было при Яжелбицахъ! — воскликнули въ одинъ голосъ всѣ генералы, словно чѣмъ-то обрадованные.

— Ну-съ, стоимъ мы этакъ въ Яжелбицахъ, а въ это время, надо вамъ сказать, Рахинскіе крестьяне подняли бунтъ за то, что инженеры на ихъ село шоссе хотѣли вести*). Ну-съ, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой станціи и говоритъ покойному: „не угодно ли, говоритъ, вашему высокоблагородію —онъ тогда еще полковникомъ былъ — ухи изъ форелей откушать? у насъ, говоритъ, преотмѣнныя въ озерѣ ловятся!" Разумѣется, сейчасъ за мной: „такъ и такъ, какъ ты думаешь, успѣемъ-ли-мы уху съѣсть?"—И думать, говорю, объ ухѣ, нечего! Ну, поморщился мой полковникъ—сами вы знаете, господа, какой онъ охотникъ покушать былъ — однако видитъ, что моя правда, — воздержался! Было это дѣло у насъ, доложу вамъ, 5 іюля, немного спустя послѣ полдѣнъ...

— Такъ, такъ! 5 іюля! Такъ и въ исторіи этого похода сказано!

— Ну, вотъ видите! Не лгу же я! Да и зачѣмъ лгать, коли самъ собственными глазами все видѣлъ! Только вотъ смотрю я, солнышко-то ужъ книзу идетъ, а намъ въ тотъ же день надо было покончить съ Рахинымъ, чтобы разомъ, знаете, раздавить гидру—да и шабашъ!

— Совершенно справедливо! Бунты—тутъ первое дѣло натискъ и быстрота! А потомъ—вольнымъ шагомъ, и по домамъ!—воскликнули генералы.

— Ну-съ, только вотъ и говоритъ мой полковникъ смотрителю: „нѣтъ, говоритъ, старикъ! мнѣ, говоритъ, надо къ двумъ часамъ вотъ эту гору взять,

*) Яжелбицы и Рахино—станціи на петербургско-московскомъ шоссе.

а къ пяти часамъ чтобы въ Рахино! Когда тамъ покончимъ, тогда и уху къ вамъ ѣсть прибудемъ". А вы, господа, изволите ли знать Яжелбицкую-то гору?

— Какъ же, какъ же! ужаснѣйшая гора!—воскликнули генералы, изъ которыхъ нѣкоторые даже отмѣривали руками.

— Отвѣтивши такимъ манеромъ смотрителю, покойный улыбнулся этакъ и говоритъ солдатикамъ: „А что, ребята, къ пяти часамъ будемъ въ Рахинѣ?" Ну, разумѣется: „ради стараться!" Сейчасъ—барабаны! Пѣсенники впередъ! на приступъ! гора къ чорту!—и къ пяти часамъ у насъ ужъ кипѣлъ горячій бой подъ Рахинымъ! Къ шести часамъ гидра была при послѣднемъ издыханіи, а въ девять полковникъ былъ въ Яжелбицахъ и говорилъ мнѣ: „ну, теперь я надѣюсь, что и ты не скажешь, что я ухи не заслужилъ?" И скушалъ разомъ цѣлыхъ три тарелки!

— Браво! браво! ну, и намъ теперь самое время выпить за покойнаго!

Быть можетъ, время такъ и прошло бы въ мирномъ веселіи, еслибъ Прокопъ не выпилъ нѣсколько лишнихъ рюмокъ хересу и подъ ихъ наитіемъ не вздумалъ вступить въ религіозный споръ.

— Одно жаль,—сказалъ онъ: — не въ нашей русской вѣрѣ померъ! Говорилъ я ему еще наканунѣ смерти: окрестись, говорю, Карлъ Иванычъ! Вспомни, куда ты идешь! По крайности, въ царство небесное попадешь! съ людьми будешь!

Генералы, изъ которыхъ большинство были нѣмцы, обиженно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать,—спросилъ одинъ изъ нихъ:—какія основанія вы имѣете, чтобы такъ низко ставить нашу святую евангелическую религію?

— Да такія основанія, что она и не религія совсѣмъ!

— Однако, имѣете ли вы доказательства въ пользу вашего мнѣнія?

— Какихъ тамъ еще доказательствъ! Не религія — и все тутъ! Ну, первое доказательство: ваша вѣра таинства погребенія не признаетъ—на что похоже!

— Но позвольте вамъ доложить, что такого таинства и въ вашей русской религіи не находится!

— Ну, ужъ это дудки!

— Однакожъ, это ужасно!—воскликнули хоромъ генералы.

— У насъ надъ покойникомъ-то поютъ!—упорствовалъ Прокопъ:—и дьяконъ, и попъ—честь честью въ могилу кладутъ! А у васъ что! пришелъ вашъ пасторъ, полопоталъ что-то, даже закусить съ нами не захотѣлъ! На что похоже!

— Позволь, душа моя,—вступился я:—вѣдь дѣйствительно и у насъ таинства погребенія нѣтъ!

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ — не въ томъ штука! А вотъ мы въ Святого Духа вѣримъ, а вы, нѣмцы, не вѣрите!

— Позвольте же вамъ доложить...

— Нечего тутъ докладывать! Этакъ вы скажете, что и чухна бѣлоглазая—и та въ Бога вѣритъ!

— Но это ужасно!

— Ужасно-то оно, ужасно, только не намъ! Вамъ будетъ ужасно—это такъ!

— Но позвольте вамъ сказать, милостивый государь, что мы такъ точно вѣримъ въ Святого Духа, какъ бы онъ сейчасъ между нами былъ!

— Ну, между нами-то, пожалуй, сейчасъ его и нѣтъ! Это, братъ, враки! А вотъ что вы въ Николая чудотворца не вѣрите—это вѣрно!

— Но Николай—это совсѣмъ другое дѣло! Николай—это былъ очень великій человѣкъ!

— Боговдухновенный, сударь! Не „великій человѣкъ", а боговдухновенный мужъ! „Правило вѣры, образъ кротости, воздержанія учителю" — вотъ что-съ!—произнесъ Прокопъ строго.—А по вашему, по-нѣмецки, все одно: Бисмаркъ великій человѣкъ, и Николай чудотворецъ великій человѣкъ! Натко выкуси!

Глаза у генераловъ постепенно расширялись: чиновники похороннаго вѣдомства потихоньку посмѣивались, а Прокопъ разгорячался все больше и больше.

— Скажи это я, русскій,—ораторствовалъ онъ:—давно бы у меня языкъ отнялся! А съ васъ, съ нѣмцевъ, все какъ съ гуся вода!

Слово за слово, генералы такъ обидѣлись, что прицѣпили палаши, взяли каски и ушли. Прокопъ остался побѣдителемъ, но поминовенная закуска разстроилась. Какъ ни упрашивалъ казначей-распорядитель еще и еще разъ помянуть покойнаго, строптивость Прокопа произвела свое дѣйствіе. Чиновники боялись, что онъ начнетъ придираться, и пожалуй даже не отступитъ передъ словомъ „прохвосты". Мало-по-малу зала пустѣла, и не болѣе какъ черезъ полчаса мы остались съ Прокопомъ вдвоемъ.

— Ну, скажи пожалуйста, какая тебѣ была охота поднимать всю эту исторію?—укорялъ я Прокопа.

— А по твоему, въ ротъ имъ смотрѣть?

— Какъ ты странно, душа моя, разсуждаешь! совсѣмъ съ тобой правильнаго разговора вести нельзя!

— Нѣтъ, ты мнѣ отвѣть: въ ротъ, что-ли, имъ смотрѣть?—А я тебѣ вотъ что говорю: надоѣла мнѣ эта нѣмчура бѣлоглазая! Я, братъ, патріотъ —вотъ что!

— Но вѣдь здѣсь...

— И здѣсь, и тамъ, и вездѣ... вездѣ я имъ носъ утру! Подитка что выдумали: двѣсти лѣтъ сряду въ плѣну у себя насъ держатъ!

Спорить было безполезно, ибо въ Прокопѣ всѣ чувства и мысли прорывались какъ-то случайно. Сегодня онъ негодуетъ на нѣмцевъ и пропагандируетъ мысль о необходимости свергнуть нѣмецкое иго; завтра онъ же будетъ говорить: „чудесный генералъ! одно слово, нѣмецъ!" и даже станетъ совѣтовать: „хоть бы у нѣмцевъ министра финансовъ на подержаніе взяли — по крайности, тотъ аккуратно бы насъ обремизилъ!"

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться къ западу. Я взглянулъ на часы—нѣтъ двухъ. Вдали шагали провіантскіе и другіе чиновники изъ присутствовавшихъ на обѣдѣ и очевидно еще имѣли надежду до пяти часовъ сослужить службу отечеству. Но куда дѣваться мнѣ и Прокопу? гдѣ

пріютиться въ такой часъ, когда одна ѣда отбыта, а для другой ѣды еще не наступилъ моментъ?

— Къ Дороту, что-ли?—раздумывалъ Прокопъ:—да тамъ, поди, и татары еще дрыхнутъ! А надо гдѣ-нибудь до пяти часовъ провести время! Ишь чиновники-то! ишь, ишь, ишь, какъ улепетываютъ! Счастливый народъ!

Дѣлать нечего, я долженъ былъ пригласить его ко мнѣ.

— Ну, вотъ, и спасибо! Вздремнемъ часокъ, другой, а тамъ и опять маршъ!

Но надеждѣ на возстановляющій сонъ не суждено было осуществиться съ желаемою скоростью. Прокопъ имѣетъ глупую привычку слоняться по комнатѣ, садиться на кровать къ своему товарищу, разговаривать и вообще ахать и охать, прежде нежели заснетъ. Такъ было и теперь. Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа на минорный тонъ, и онъ началъ мнѣ сообщать новость за новостью, одна печальнѣе другой.

— Да ты знаешь ли,—сказалъ онъ,—что на этихъ дняхъ въ Калугѣ семнадцать гимназистовъ повѣсились?

— Что ты! Христосъ съ тобой!

— Вѣрно говорю, что повѣсились. Не хотятъ по-латыни учиться—и баста!

— Да врешь ты! Еслибъ что-нибудь подобное случилось, неужто въ газетахъ не напечатали бы!

— Такъ тебѣ и позволили печатать—держи карманъ! А что повѣсились—это такъ. Вчера знакомый изъ Калуги на Невскомъ встрѣтился: всѣ экзамены, говоритъ, выдержали, а какъ дошло до латыни — и на экзаменъ не пошли: прямо—взяли и повѣсились!

— Однако, братъ, это чортъ знаетъ что!

— И я то же говорю. Такое, братъ, это дѣло, такое дѣло, что я вотъ и не дуракъ, а ума не приложу.

Прокопъ потупился, и нѣкоторое время, сложивъ въ раздумьи руки, обводилъ однимъ указательнымъ пальцемъ около другого.

— Нынѣче и дѣти-то словно не на радость,—продолжалъ онъ:—сперва латынь, потомъ солдатчина. Не тамъ, такъ тутъ, а ужъ ремиза не миновать. А у меня Петька смерть этой латыни боится.

— Ну, принудилъ бы себя! что за важность!

— И я ему то же говорилъ, да ничего не подѣлаешь. „Помилуйте, говоритъ, папенька, это такой проклятый языкъ, что тамъ что ни слово, то исключеніе. Совсѣмъ, говоритъ, правилъ никакихъ нѣтъ!“

— Да нельзя ли попросить, чтобъ простили его?

— Просилъ, братецъ! ничѣмъ не проймешь! Одно ладятъ: нынѣче говорятъ, и свиней пасти, такъ и то Корнелія Непота читать надо. Ну, какъ мнѣ послѣ этого нѣмцевъ-канальевъ не ругать!

Прокопъ опять задумался, и нѣкоторое время въ комнатѣ царствовало глубокое молчаніе, прерываемое лишь вздохами моего друга.

— А то слышалъ еще: Дракинъ, Петръ Ивановичъ, помѣшался?—вновь началъ Прокопъ.

— Господи! да откуда у тебя все такія новости?

— Вчера изъ губерніи письмо получилъ. Читалъ, вишь, постоянно „Московскія Вѣдомости“, а тамъ все опасности какія-то предрекаютъ: то нигилизмъ, то сепаратизмъ... Ну, онъ и порѣшилъ. Не стоитъ, говоритъ, послѣ этого на свѣтѣ жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый былъ!

— Умница-то какая—вотъ ты что̀ скажи! Съ губернаторомъ ли сцѣпиться, на земскомъ ли собраніи кулеврину подвести—на все первый человѣкъ! Да что̀ Петръ Ивановичъ — этому, по крайней мѣрѣ, было съ чего сходить — а вотъ ты что̀ скажи: съ чего Хлобыстовскій, Петръ Лаврентьевичъ, задумываться сталъ?

— Неужто и онъ?

— Да, и отъ чего сталъ задумываться... отъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“! Съ реформами тамъ нынѣче все поздравляютъ—ну, вотъ онъ читалъ-читалъ, да и вообрази себѣ, что идетъ онъ по длинному-длинному корридору, а тамъ по обѣимъ сторонамъ все пеленки... то-бишь, все реформы развѣшаны! Эхма! чья-то теперь очередь съ ума сходить!

Новое молчаніе, новые вздохи.

— И что̀, братецъ, нынѣче за время такое! Гдѣ ни послышишь— вездѣ либо запилъ, либо съ ума сошелъ, либо повѣсился, либо застрѣлился. И вѣдь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, какъ теперь!

— Отъ скуки, любезный другъ!

— Именно, братъ, отъ скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утромъ, начнешь думать, какъ нынѣче день провести. Ну, хоть ты меня зарѣжь, нѣтъ у меня дѣловъ, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, ихъ немного.

— Вотъ, говорятъ, отъ губернаторовъ все отошло: посмотрѣли бы на насъ — у насъ-то что̀ осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникамъ. Былъ я намеднись въ департаментѣ — грѣшный человѣкъ, все еще поглядываю, не сорвется ли гдѣ-нибудь дорожка—только сидитъ ихъ тамъ какъ мухъ въ стаканѣ. Вотъ сидитъ онъ за столомъ, папироску покуритъ, ногами поболтаетъ, потомъ возьметъ перо, обмакнетъ и чего-то поваракаетъ, потомъ опять за папироску возьмется и опять поваракаетъ—анъ времени-то, гляди, сколько ушло!

— А намъ съ тобой дѣваться некуда!

— Пристанищевъ у насъ нѣтъ никакихъ—оттого и времени празднаго много. А и дѣло навернется — тоска на него глядѣть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! А отъ тоски, извѣстно, одно лекарство: водка. Вотъ мы и жремъ ее, чтобы, значитъ, время у насъ свободнѣе летѣло.

— Да, душа моя, видно, остались мы съ тобой за штатомъ!

— Не за штатомъ, а просто ни-при-чемъ. Ну, скажи на милость, кабы у тебя *свое* дѣло было, ну, пошелъ ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти „Минералы“—ну, поѣхалъ ли бы ты за семь верстъ киселя ѣсть, кабы у тебя *свой* интересъ подъ руками былъ?

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало? Возьмемъ, да и не поѣдемъ сегодня на Минералы!

— Ну, стало быть, въ Шато-де-Флёръ поѣдемъ; а ужъ туда либо сюда —не минешь ѣхать.

— Да отчего же! Посидимъ дома, пошлемъ за обѣдомъ въ кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуемъ... Можетъ быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего не найдется. О томъ, что-ли, толковать, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ? такъ оно ужъ и надоѣло маленько. А объ другомъ—не объ чемъ. Кончится тѣмъ, что посидимъ часокъ, да и уйдемъ къ Палкину, либо въ Малоярославскій трактиръ. Нѣтъ ужъ, братъ, отъ судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на Острова!

Увы! Я долженъ былъ согласиться, что планъ Прокопа все-таки былъ самый подходящій. О чемъ толковать, когда никакихъ своихъ дѣлъ нѣтъ? А если не о чемъ толковать, то, значитъ, и дома сидѣть незачѣмъ. Надо бѣжать къ Палкину, или на Минерашки, или въ Шато-де-Флёръ, однимъ словомъ, куда глаза глядятъ и гдѣ есть возможность забыть, что есть гдѣ-то какія-то дѣла, которыхъ у меня нѣтъ. Прибѣжишь—никакъ не можешь раздѣлаться съ вопросомъ: зачѣмъ прибѣжалъ? Убѣжишь — опять-таки не раздѣлаешься съ вопросомъ: зачѣмъ убѣжалъ? И все-то такъ.

Наконецъ я заснулъ.

Чертогъ сіялъ...

Въ саду, однакожъ, было почти темно. Отблескъ огней, которыми горѣло зданіе минеральныхъ водъ, превращалъ полумракъ майской ночи въ настоящую мглу. Публика съ какою-то безнадежною апатіей колотилась взадъ и впередъ, не рискуя пускаться въ аллеи болѣе отдаленныя и кружась въ районѣ свѣта, выходящаго изъ оконъ зданія. Тутъ же, на площадкѣ, волочили свои шлейфы современныя Клеопатры изъ Гамбурга. По бокамъ площадки, около столиковъ, ютились обоего пола посѣтители и истребляли всякаго рода влагу. Въ разныхъ мѣстахъ, на покрытыхъ эстрадахъ, мерцали огни и раздавались звуки музыки, которые, благодаря влажности воздуха, даже въ небольшомъ разстояніи доходили до слуха въ видѣ треска. Несмотря на то, что толпа была довольно компактная, говоръ стоялъ до такой степени умѣренный, что мы, войдя въ садъ, послѣ шума и стука съѣзда, были какъ бы охвачены молчаніемъ. По временамъ слышалось бряцаніе палаша и раздавался крикъ: „человѣкъ!“ похожій на крикъ иволги въ глухомъ лѣсу. Сырость была несносная, пронизывающая.

Странное дѣло! я и прежде нерѣдко посѣщалъ это заведеніе, и довольно коротко знаю его публику, но и до сихъ поръ, входя въ садъ, не могу избавиться отъ чувства нѣкоторой неловкости. Посмотришь кругомъ — публика ведетъ себя не только благонравно, но даже тоскливо, а между тѣмъ такъ и кажется, что вотъ кто-нибудь закричитъ: „караулъ!“; или пролетитъ мимо развязный кавалеръ и выдернетъ изъ-подъ тебя стулъ; или, наконецъ, просто налетитъ бряцающій ташкентецъ и предложитъ вопросъ: „а позвольте, милостивый государь, узнать, на какомъ основаніи вы осмѣливаетесь обладать

столь наводящей унынiе физіономіей?“ А тамъ сейчасъ протоколъ, а на завтра засѣданіе у мирового судьи, а тамъ апелляція въ съѣздъ мировыхъ судей, жалоба въ кассаціонный департаментъ, опять судъ, опять жалоба,—и пошла писать. Положимъ, что подобныя происшествія случаются рѣдко; тѣмъ не менѣе тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь въ этомъ родѣ, несомнѣнно существуетъ, и, я увѣренъ, существуетъ не у меня одного.

Въ этотъ вечеръ тревожное чувство давало себя знать какъ-то сильнѣе обыкновеннаго. Очевидно, я одичалъ, одичалъ въ Петербургѣ, въ самомъ разгарѣ всякаго рода утѣхъ. Въ теченіе полугода я испыталъ все разнообразіе петербургской жизни: я былъ въ Воронинскихъ баняхъ, слушалъ Шнейдершу, Патти, Бланшъ Вилэнъ, ходилъ въ засѣданія суда, посѣтилъ всевозможные трактиры, бывалъ на публицистическихъ и другихъ раутахъ, присутствовалъ при защитѣ педагогическихъ рефератовъ, видѣлъ въ „Птичкахъ пѣвчихъ“ Монахова и въ „Fanny Lear“ Паску, засѣдалъ въ публичной библіотекѣ и осмотрѣлъ монументы столицы, побывалъ во всѣхъ клубахъ, а въ артистическомъ былъ даже свидѣтелемъ скандала; словомъ сказать, только въ парламентѣ не былъ, но и то не потому, чтобы не желалъ тамъ быть, а потому, что его нѣтъ. И несмотря на все это, я одичалъ. Можетъ быть, это отъ вина, а можетъ быть и отъ того, что разговоры постоянно слышу какіе-то пѣнкоснимательно-несообразные,—какъ бы то ни было, но куда бы я ни пришелъ, вездѣ мнѣ кажется, что всѣ глаза устремлены на меня и во всѣхъ глазахъ я читаю: „а ты зачѣмъ сюда пожаловалъ?“ И вотъ, какъ только мелькнетъ этотъ вопросъ въ моей головѣ, мнѣ дѣлается совѣстно. И я начинаю робѣть и смущаться, и воображать, что вотъ этотъ, напримѣръ, усатый господинъ, который, гремя палашомъ, мчится въ мою сторону, мчится не иначе, какъ съ злостнымъ намѣреніемъ выдернуть изъ-подъ меня стулъ.

Напрасно напрягалъ я взоры въ темноту — я никого не могъ различить. Даже кокотки были какъ будто всѣ на одно лицо, и только по большей или меньшей смѣлости жаргона можно было различить бо́льшую или ме́ньшую знаменитость. Были такія, около которыхъ раздавалось непрерывное бряцаніе—это, конечно, самыя счастливыя, имѣвшія въ перспективѣ ужинъ у Бореля и радужную бумажку; но были и такія, которыя кружились совсѣмъ-совсѣмъ однѣ, и, быть можетъ, осуждены были на послѣдніе два двугривенныхъ нанять ваньку, чтобъ вернуться на Вознесенскій проспектъ или въ Подъяческую. Прокопъ былъ счастливѣе меня; онъ какъ-то и въ тьму ухитрялся проникнуть, и безпрестанно толкалъ меня въ бокъ, спрашивая: „это кто?.. вонъ, высокій въ плащѣ?“ или: „а этотъ вонъ, въ бѣломъ жилетѣ, съ закрученными усиками... это директоръ департамента, кажется? Ну, да, онъ! онъ и есть!“

Мы съ полчаса самымъ отчаяннымъ образомъ бременили землю, и въ теченіе всего этого времени я не имѣлъ никакой иной мысли, кромѣ: „а что бы такое съѣсть или выпить?“ Не то чтобы я былъ голоденъ—нѣтъ, желудокъ мой былъ даже переполненъ — а просто не идетъ въ голову ничего, кромѣ глупой мысли о ѣдѣ. Вотъ долетѣлъ до ушей трескъ контрабаса, и вдругъ опять все стихло, хотя и видно, что на эстрадѣ какой-то мужчина не переставая махаетъ палочкой, а другіе мужчины то поднимаютъ, то опу-

скаютъ смычки. А мы все ходимъ и ходимъ, какъ будто чего-то ждемъ. Наконецъ, несмотря на то, что прошло съ пріѣзда не болѣе двадцати минутъ, начинаемъ ощущать адскую усталость. И вотъ, въ ту самую минуту, когда я уже порѣшилъ, что самое подходящее въ настоящемъ случаѣ: выпить коньяку—раздался звонокъ, призывающій въ залу представленій. Господи! какъ же обрадовались мы этому звонку! съ какимъ импетомъ рванулись въ залу театра! и какъ рванулись вмѣстѣ съ нами всѣ эти безпріютные, чающіе движенія воды, которые ни къ чему въ жизни не могли приладиться, кромѣ бряцанія, кокотокъ и шампанскаго!

Вдругъ, при входѣ въ залъ, среди толпы, я встрѣчаю того самаго товарища, который, если читатель помнитъ, водилъ меня смотрѣть Шнейдершу. Онъ былъ окруженъ еще двумя-тремя старыми товарищами, которые, по обыкновенію, юлили около него!

— А! провинціалъ! А я вѣдь думалъ, что ты давно въ своей классической Проплёванной! Пришелъ смотрѣть Claudia? Quelle verve! Saprisli!

Затѣмъ Нагибинъ (фамилія моего товарища) нагнулся къ моему уху и таинственно шепнулъ:

— А вѣдь я къ вамъ въ губернію... mais chut!

— Какъ? уже помпадуромъ? Поздравляю!!

— Да, душа моя. Я рѣшился принять. Ce n'est pas le bout du monde, j'en conviens, mais en attendant, c'est assez joli... Я на тебя надѣюсь! Ты будешь содѣйствовать мнѣ! C'est convenu! Впрочемъ отсюда мы отправляемся ужинать къ Донону, и, разумѣется, ты съ нами!

Сказавъ это, Нагибинъ пожалъ мнѣ руку и прослѣдовалъ съ своими спутниками въ первые ряды.

Признаюсь, это извѣстіе взволновало меня. Откровенно говоря, первое чувство, заговорившее во мнѣ, было дрянное чувство зависти. Ну, за что? думалось мнѣ: за что? Вотъ онъ теперь „Le sire de Porc-Epic“ будетъ слушать, съ кокотками переглядываться—ну, и сидѣлъ бы тутъ, и переглядывался бы! „И самое мѣсто тебѣ, молокососу (я даже забылъ, что, называя Нагибина молокососомъ, я, какъ сверстникъ его, и себя причисляю къ сонму таковыхъ), здѣсь сидѣть! А ты, вмѣсто того, помпадуршъ будешь разводить, будешь содрогаться при видѣ царствующаго въ Тетюшахъ и Наровчатѣ вольномыслія, повсюду станешь внѣдрять руководящіе догматы Porc-Epic'a“. Но черезъ короткое время зависть улеглась и взволнованное чувство обратилось исключительно къ моей собственной личности. А что, думалось мнѣ, вѣдь ежели бы я не закоснѣлъ въ чинѣ титулярнаго совѣтника, вѣдь и я бы... Конечно, живя въ провинціи, я и пообносился, и одичалъ, и во французскомъ діалектѣ не безъ изъянцевъ; но ежели бы меня пріодѣть, пообчистить, я бы и теперь... О, чортъ побери! именно я могъ бы, даже очень могъ бы и помпадуршъ разводить, и содрогаться отъ вольномыслія Чебоксаръ, и кричать: „фюить“! Затѣмъ, переходя отъ смягченія къ смягченію, я дошелъ наконецъ до того, что даже ощутилъ радость по случаю назначенія Нагибина. По крайней мѣрѣ, говорилъ я себѣ, у меня другъ будетъ! Онъ будетъ повѣрять мнѣ свои тайны; по утрамъ мы будемъ вмѣстѣ содрогаться и изыскивать мѣры, а вечеромъ къ помпадуршамъ станемъ ѣздить!

А между тѣмъ Прокопъ все время ѣлъ меня глазами. По странной игрѣ природы любопытство выражалось въ его лицѣ въ видѣ испуга, и выраженіе это сохранялось до тѣхъ поръ, пока не полагался конецъ мучившей его неизвѣстности.

— Кто это?—спросилъ онъ меня, блуждая глазами.

— Мой другъ, Нагибинъ. Онъ, братъ, къ намъ въ помпадуры...

Лицо Прокопа совсѣмъ перекосило отъ испуга.

— Чудакъ! что же ты меня не представилъ?—упрекнулъ онъ меня.

Мы усѣлись гдѣ-то въ шестомъ или седьмомъ ряду, и Прокопъ никогда не рисковалъ на себя такъ, какъ теперь, за то, что пожалѣлъ полтора рубля и не взялъ мѣста во второмъ ряду, гдѣ сидѣли мои друзья.

— Ну, что мы здѣсь увидимъ!—бормоталъ онъ:—эти вещи надо непремѣнно изъ первыхъ рядовъ смотрѣть!

Зала было почти полна, но Прокопъ какъ-то ухитрился сквозь массу головъ устроить себѣ coup d'oeil въ сторону Нагибина. Онъ приподнимался всѣмъ корпусомъ, чтобъ до-сыта наглядѣтся хоть на затылокъ будущаго обладателя сердецъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба.

— Да, этотъ подтянетъ!—говорилъ онъ.

— Да, душа моя, Нагибинъ шутить не любитъ!

— Этотъ маху не дастъ! Ну, а эти... которые съ нимъ... кто такіе?

— Это тоже старые товарищи, и вѣроятно всѣ по очереди у насъ перебываютъ.

— Перебываютъ—это вѣрно. Однако, завтра, чуть свѣтъ, напялю мундиръ и явлюсь. Нельзя.

Шелъ общій, густой говоръ; передвигали стульями; слышалось бряцаніе палашей и картавый французскій говоръ; румяные молодые люди, облокотясь на борты ложъ, громко хохотали и перебрасывались фразами съ партеромъ: кокотки представляли собою цѣлую выставку, но поражали не столько изяществомъ, сколько изобиліемъ формъ и какою-то тупою сытостью; нѣкоторыя изъ нихъ ощипывали букеты и довольно мѣтко бросали цвѣтами въ знакомыхъ кавалеровъ.

Но вотъ занавѣсъ поднялся. Относительно нелѣпости содержанія, „Le sire de Porc-Epic“ можетъ быть сравненъ развѣ съ „Fanny Lear“, съ тою лишь разницею, что послѣдняя имѣетъ претензію на серьезность, а „Porc-Epic“ съ тѣмъ и писанъ, чтобъ украсить сцену колоссальною глупостью. Разобрать что-нибудь въ этомъ сумбурѣ — нѣтъ возможности, кромѣ того, что г. Теофиль даетъ г. Ру пощечину ягодицами, что совсѣмъ даже неправдоподобно. Claudia звенѣла, сыпала пощечинами и съ какою-то изступленною восторженностью поднимала ноги. Но вотъ „Porc-Epic“ посрамленъ; гремятъ трещотки, бубны, тазы, барабаны: занавѣсъ опускается.

Зачѣмъ я пріѣхалъ?!

Но несмотря на то, что этотъ вопросъ представлялся мнѣ чуть не въ сотый разъ, я все-таки и къ Донону поѣхалъ, и съ кокотками ужиналъ, и даже увлекъ за собой Прокопа, предварительно представивъ его Нагибину, какъ одного изъ представителей нашего образованнаго сословія.

Нагибинъ принялъ Прокопа съ тою дружескою любезностью, которою

отличаются вообще помпадуры новѣйшаго закала, а во время нашего переѣзда къ Донону (мы ѣхали въ четвероместной коляскѣ) былъ даже очарователенъ. Онъ не переставалъ дѣлать Прокопу вопросы, явно свидѣтельствовавшіе, что онъ очень серьезно смотритъ на предстоящую ему задачу.

— Ваша губернія плодотворная?—любопытствовалъ онъ.

— Была, вашество, прежде, а теперь... Нынче, вашество, не плодородіе, а вольныя мысли въ ходу-съ. Вотъ, ежели вы изволите насъ подтянуть, такъ оно, можетъ быть, и воротится плодородіе-то...

— Постараюсь-съ. Но не скрываю отъ себя, что задача будетъ трудная, потому что зло слишкомъ глубоко пустило корни... Ну-съ, а скажите: и лѣсъ въ вашей губерніи ростетъ?

— Росъ, вашество, прежде... богатые лѣса были! а теперь и лѣсокъ какъ-то тугонько идетъ. У меня, однакожъ, въ паркѣ, еще не всѣ липки мужики вырубили.

— Гм... однако и липа ростетъ?!

Потомъ пошли разспросы: можно ли имѣть на мѣстѣ порядочную говядину (un roastbeaf par exemple!), какъ слѣдуетъ поступить относительно вина, а также представляется ли возможность пріобрѣсти такого рода повара, который могъ бы удовлетворить требованіямъ вкуса болѣе или менѣе изысканнаго.

— Не скрою отъ васъ,—говорилъ Нагибинъ:—я смотрю на свою роль нѣсколько иначе, нежели рутинеры прежняго времени. Я миротворецъ, медіаторъ, благосклонный посредникъ—и больше ничего. Смягчать раздраженныя страсти, примирять враждующія стороны, наконецъ показывать блестящія перспективы—вотъ какъ я понимаю мое назначеніе! Or, je vous demande un peu, s'il y a quelque chose comme un bon dîner pour apaiser les passions!

Съ своей стороны, Прокопъ рисовалъ картины самаго мрачнаго свойства.

— Все прежде бывало, вашество!—ораторствовалъ онъ:—и говядина была, и повара были, и погреба съ винами у каждаго были, кто мало-мальски не свиньей жилъ! Прежде, бывало, ростбифъ-то вотъ какой подадутъ (Прокопъ разставилъ руки во всю ширину), а нынче, ежели поваръ тебѣ бефъ брезе изготовитъ—и то спасибо скажи! Батюшка-покойникъ безъ стерляжьей-то ухи за столъ не саживался, а мнѣ и съ окунькомъ подадутъ—нахвалиться не могу!

— Скажите пожалуйста! стало быть задача моя труднѣе, нежели я предполагалъ?

— Чего же, вашество, хуже! У меня до эмансипаціи-то пять поваровъ на кухнѣ готовило, да народъ-то все какой! Двѣ тысячи цѣлковыхъ за одного Кузьму губернаторъ Толстолобовъ давалъ—не продалъ! Да и губернаторъ-то какой былъ: одинъ цѣлый окорокъ ветчины съѣдалъ! И куда они всѣ подѣвались!

— Однако, вѣдь вы кушаете же?—съ нѣкоторымъ безпокойствомъ спросилъ Нагибинъ.

— Кушаемъ-то кушаемъ. У меня и нынче поваръ, — что жъ! ничего поваръ. Да страху-то у него, вашество, нѣтъ!

Какъ только Прокопъ произнесъ слово: „страхъ“, разговоръ оживился еще болѣе и сдѣлался общимъ. Всѣ почувствовали себя въ своей тарелкѣ. Начались разсужденія о томъ, какую роль играетъ страхъ въ общей экономіи народной жизни; можетъ ли страхъ, однажды исчезнувъ, возродиться вновь, и наконецъ, что̀ было бы, если бы реформы развивались своимъ чередомъ, а страхъ—своимъ, взаимно, такъ сказать, оплодотворяя другъ друга.

— Реформы, вашество, ничего!—либеральничалъ Прокопъ:—и не такія бы реформы можно вытерпѣть, кабы страхъ былъ!

На эту рѣчь Нагибинъ отвѣтилъ крѣпкимъ пожатіемъ руки.

— Я съ вами согласенъ,—сказалъ онъ:—безъ страха нельзя. Но я постараюсь!

— Трудненько будетъ, вашество!

— Трудно—я это знаю. Но я привыкъ. Я привыкъ къ борьбѣ и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хотѣлъ бы я быть на мѣстѣ того, кто меня вызоветъ на борьбу! Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous verrons qui de vous ou de moi aura le panache!

И Нагибинъ такъ свирѣпо погрозилъ кому-то въ воздухѣ, что въ воображеніи моемъ вдругъ совершенно отчетливо нарисовалась цѣлая картина: почтовая дорога съ березовой аллеей, бѣгущей по сторонамъ; тройка, увлекающая двоихъ пассажировъ (одного — везущаго, другого — везомаго) въ безвѣстную даль, и наконецъ тихое пристанище, въ видѣ уединеннаго городка, въ которомъ нѣтъ ни настоящаго пріюта, ни настоящей ѣды, а есть сырость, угаръ, слякоть и вонь...

Фюить!!

На Конюшенномъ мосту мои мечты были снова прерваны жалобами, которыя изливалъ Прокопъ.

— Даже климатъ,—говорилъ онъ:—и тотъ противъ прежняго хуже сталъ! Помѣщиковъ обидѣли — ну, они натурально всѣ лѣса повырубили! Дождей-то и нѣтъ. Мѣсяцъ нѣтъ дождя, другой нѣтъ дождя — хоть ты тресни! А не то такой вдругъ зарядитъ, что два мѣсяца зги не видать! Вотъ тебѣ и эмансипація!

Нагибинъ слушалъ эти ламентаціи и улыбался. Ему пріятно было думать, что устраненіе всѣхъ этихъ бѣдствій: и недостатка поваровъ, и бездождія, и излишества дождя—все это лежало на немъ одномъ.

— Да-съ, тяжело ваше положеніе, messieurs, — произнесъ онъ задумчиво;—но я надѣюсь, что съ Божьею помощью и сильный общимъ довѣріемъ...

Конца фразы я не разслышалъ, потому что въ эту самую минуту мы въѣхали въ ворота ресторана.

Было около часу ночи, и Дононовскій садъ былъ погруженъ въ тьму. Но кіоски ярко свѣтились, и въ нихъ громко картавили молодые служители Марса и звенѣли женскіе голоса. Лакеи-татары, какъ тѣни, безшумно сновали взадъ и впередъ по дорожкамъ. Нагибинъ остановился на минуту на балконѣ ресторана и, взглянувъ впередъ, сказалъ:

— Совершенно какъ въ „Тысячѣ-одной ночи“! не правда ли?

А Прокопъ тѣмъ временемъ шепталъ мнѣ на ухо:

— У тебя деньги есть?

— Есть, а что?

— Чудакъ! надо же честь оказать!

Я пошелъ побродить по дорожкамъ, и потому не присутствовалъ при процессѣ заказыванія ужина. До слуха моего долетали: „écrivisses à la bordelaise“, „да перчику, перчику чтобы въ мѣру“, „дупеля есть?“, „земляники, братецъ, оглохъ, что-ли?“, „на первый разъ три крюшона“... Но на меня нашелъ какой-то необыкновенный стихъ: я вдругъ вздумалъ разсчитывать. Припомнилъ, сколько я въ такомъ-то случаѣ денегъ даромъ бросилъ, сколько въ такомъ-то мѣстѣ посѣялъ, сколько у меня еще остается, и наконецъ, достанетъ ли... При этомъ вопросѣ я почувствовалъ легкій ознобъ... Достанетъ ли? Въ какомъ смыслѣ достанетъ ли? Ежели въ обширномъ... о, чортъ побери! и зачѣмъ это я началъ разсчитывать? Но, разъ начавшись, работа мысли уже не могла скоро прерваться. Не сладивъ съ разсчетами, я обратился къ будущему, и долженъ былъ сознаться, что отнынѣ нигдѣ—ни въ рязанско-тамбовско-саратовскомъ клубѣ, ни даже въ Проплёванной — нигдѣ не избѣжать мнѣ ни Минерашекъ, ни Донона, ни Шато-де-Флёра. Нагибинъ непреклоненъ; онъ не положитъ оружія, доколѣ останется хотя одинъ медвѣжій уголъ, въ которомъ не восторжествовали бы „les grands principes du Porc-Epic“. А такъ-какъ я его другъ, то, очевидно, было бы даже „подло“, если бы я не содѣйствовалъ этому торжеству. Вопросъ, значитъ, не въ томъ чтобы избѣжать торжествъ, а въ томъ, во что̀ они обойдутся мнѣ въ остальное время живота моего? Опять разсчеты, и опять ознобъ... И въ заключеніе—вопросъ: да сколько же мнѣ жить остается? А ну, кака я маѳусаиловъ вѣкъ проживу?

Ознобъ, ознобъ и ознобъ...

Я въ самомъ грустномъ расположеніи духа вернулся къ моимъ товарищамъ, и нашелъ компанію въ значительно увеличенномъ составѣ. Новыми лицами оказались: адвокатъ Ненаѣдовъ, устьсысольскій купеческій сынъ Бозпортошный и знаменитая дѣвица Сюзетта. Сюзетта предсѣдательствовала на банкетѣ и была пьяна. Купеческій сынъ, въ качествѣ временнаго нанимателя, сидѣлъ возлѣ нея и говорилъ:

— Мамзель Сузетта! покажите господамъ ручку! Какова ручка-то, господа! Почтенный! Крушончикъ еще! Да земляницы-то не жалѣйте!

Въ эту самую минуту я вошелъ.

— Гдѣ ты пропадалъ?—набросился на меня Прокопъ.

— Monsieur a eu mal au ventre! — рѣшила Сюзетта для перваго знакомства.

— Bravo, Suzette!—воскликнули собесѣдники.

— Госпожа Сузетта! сдѣлайте ваше одолженіе! скажите самыя эти слова по-русски-съ!—убѣждалъ купеческій сынъ.

— У гаспадинъ животъ болѣлъ!

— И превосходно-съ. Значитъ, первое дѣло — померанцовки. Пожалуйте! А какъ мы ужъ по крушончику на брата сокрушили, такъ и вы,

господинъ, насъ догнать должны. Почтенный! крушончикъ для господина... Да земляницы-то не жалѣйте!

Начался обычный кутежъ нашихъ дней, кутежъ безъ веселости и безъ увлеченія, кутежъ, сопровождающійся лишь непрерывнымъ наполненіемъ желудковъ, и безъ того уже переполненныхъ. Сюзетта окончательно опьянѣла. Сначала она пропѣла „L'amour—ce n'est que cela", потомъ, постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до „F..... nous". Наконецъ, по просьбѣ Безпортошнаго, разомъ выплюнула весь лексиконъ ругательныхъ русскихъ словъ. Купеческій сынъ таращилъ на нее глаза и говорилъ:

— Ишь, шельма, какъ чисто по-русски выговариваетъ!

Въ такихъ занятіяхъ прошло добрыхъ три часа. Наконецъ купеческій сынъ сталъ придираться и окончательно набросился на Ненаѣдова.

— Для чего я тебя нанялъ?—приставалъ онъ:—нѣтъ, ты отвѣть, для чего я тебя нанялъ? А хочешь, я сейчасъ скажу, какіе такіе договоры промежъ насъ были, когда я тебя въ услуженіе бралъ?

Ненаѣдовъ краснѣлъ и блѣднѣлъ. Одну минуту я даже думалъ, что онъ обидится.

Когда мы разъѣзжались, по улицамъ уже шло то смутное движеніе, которое предшествуетъ пробужденію большого города.

— А! какова Сюзетта! какъ, шельма, ругается!—воскликнулъ Прокопъ, садясь со мной на извозчика.

Но на этотъ разъ я не выдержалъ.

— Послушай, душа моя, — сказалъ я: — завтра я позову вотъ этого самаго извозчика, и велю ему всѣ ругательства, которыя мы слышали, при тебѣ повторить. А ты отдай ему тѣ сто рублей, которые ты взялъ у меня, чтобъ заплатить за ужинъ.

Глава VIII.

Я цѣлый мѣсяцъ не велъ дневника своимъ похожденіямъ, и, признаюсь, даже теперь не могу съ ясностью выразумѣть, что происходило со мной за это время.

Я былъ жертвой двухъ мистификацій сряду. Цѣлый мѣсяцъ я волновался, хлопоталъ и думалъ, что живу въ самомъ реальномъ значеніи этого слова. Сначала я былъ членомъ VIII международнаго статистическаго конгресса (въ качествѣ делегата отъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба), участвовалъ во всѣхъ его трудахъ, доказывалъ негодность употребляемыхъ нынѣ пріемовъ для изслѣдованія трактирной промышленности, бесѣдовалъ съ Левассёромъ, Кеттле, Фарромъ и проч. Потомъ вдругъ, какимъ-то чудомъ, декораціи перемѣнились. Оказалось, что вмѣсто статистическаго конгресса я чуть было не сдѣлался членомъ опаснѣйшаго тайнаго общества, имѣвшаго цѣлью ниспроверженіе общественнаго порядка, и что только по особенной Божьей милости я явился предъ лицомъ суда не въ качествѣ главнаго обвиняемаго, а лишь въ качествѣ пособника и попустителя. Что Кеттлé совсѣмъ не Кеттлé, а пензенскій помѣщикъ Капканчиковъ, что Левассеръ

—отставной корнетъ Шалапутовъ, Корренти—шарманщикъ Корподибакко и т. д. И что всѣ эти господа—эмиссары отъ интернаціоналки... Но этого мало: въ самый разгаръ процесса, въ ту минуту, когда я уже начиналъ питать увѣренность, что невинность моя доказана, декораціи опять внезапно перемѣняются, и являются новыя, среди которыхъ я вижу себя... дуракомъ! Ни конгресса, ни процесса—ничего этого не было. Былъ неслыханнѣйшій, возмутительнѣйшій фарсъ, самымъ грубымъ образомъ разыгранный шайкою досужихъ русскихъ людей надъ ватагой простодушныхъ провинціальныхъ кадыковъ, въ числѣ которыхъ, къ величайшей обидѣ, оказался и я...

Только въ обществѣ, гдѣ положительно никто не знаетъ куда дѣваться отъ праздности, можетъ существовать подобное времяпровожденіе! Только тамъ, гдѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ изнурительнаго пѣнкоснимательства, гдѣ нѣтъ другого общественнаго мнѣнія, кромѣ безпорядочнаго уличнаго говора, можно находить удовольствіе въ томъ, чтобы держать людей, въ продолженіе цѣлаго мѣсяца, въ смущеніи и тревогѣ! И въ какой тревогѣ! Въ самой дурацкой изъ всѣхъ! Въ такой, при одномъ воспоминаніи о которой бросается въ голову кровь!

Представьте себѣ такое положеніе: вы приходите по дѣлу къ одному изъ досужихъ русскихъ людей; вамъ предлагаютъ стулъ, и въ то время, какъ вы садитесь — трахъ! — заднія ножки у стула подгибаются! Вы падаете сразмаху на полъ, расшибаете затылокъ, а хозяинъ съ любезнѣйшею улыбкой говоритъ:

— Скажите, какой случай! Человѣкъ! скотина! Сколько разъ было говорено, чтобъ этотъ стулъ убрать! Извините пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стулъ, и любезный хозяинъ предлагаетъ вамъ чаю. Не подозрѣвая коварства, вы глотаете изъ стоящаго передъ вами стакана—о, ужасъ!—это не чай, а помои! А хозяинъ съ тою же любезностью утѣшаетъ васъ:

— Ахъ, извините пожалуйста! Это стаканъ съ водой, въ который я обыкновенно сбрасываю пепелъ отъ папиросъ! Человѣкъ! Скотина! Сколько разъ было говорено, чтобъ стаканъ этотъ убирать!

И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьемъ, они могутъ свести человѣка съ ума. По крайней мѣрѣ я испыталъ это отчасти на себѣ. Теперь, послѣ двухъ сыгранныхъ со мной фарсовъ, я не могу сѣсть, чтобъ не подумать: а ну, какъ этотъ стулъ вдругъ подломится подо мной! Я не могу ступить по половицѣ, чтобъ меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсѣмъ не половица, а только подобіе ея, устроенное съ исключительною цѣлью, чтобъ я провалился и расквасилъ себѣ носъ!

Есмь я или не есмь? въ нумерахъ я живу или не въ нумерахъ? Стѣны окружаютъ меня или какое-нибудь обманчивое подобіе стѣнъ? Какъ ни просты эти вопросы, но ни на одинъ изъ нихъ я положительнаго отвѣта дать не берусь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, называемая „русскимъ досужествомъ“, бездна, которая всегда готова меня поглотить, потому что я самъ наравнѣ съ другими участвовалъ въ ея устройствѣ.

Куда дѣваться отъ шалуновъ? какъ оградить себя отъ нихъ? Жало-

ваться? — но представьте же себѣ процессъ, въ которомъ десятокъ молодыхъ шалопаевъ, при открытыхъ дверяхъ, будутъ въ самыхъ художественныхъ образахъ изъяснять, какимъ вы оказали себя дуракомъ! И представьте себѣ, кромѣ того, что вы даже ничего не имѣете сказать противъ этого! Потому что вы дѣйствительно вели себя какъ дуракъ, и нѣтъ въ дѣлѣ ни одного обстоятельства, которое бы не уличало васъ въ этомъ! Это сознаетъ и предсѣдатель суда, и прокуроръ, и даже собственный вашъ защитникъ, выступающій въ роли частнаго обвинителя. На всѣхъ лицахъ только одно слово и написано: дуракъ! Нѣтъ нужды, что вы были жертвой дураковъ еще болѣе безспорныхъ—это обстоятельство еще болѣе отягчаетъ вашу вину. Зачѣмъ связывался съ дураками — дуракъ! Какъ не разсмотрѣлъ, что тебя окружаютъ дураки—дуракъ! Какъ не понялъ, когда даже Шухардинскіе половые—и тѣ догадались, что русскіе досужіе люди надъ тобой шутки шутятъ — дуракъ! Дуракъ—и больше ничего.

Словомъ сказать, вы выигрываете процессъ, вы сознаете себя вполнѣ удовлетвореннымъ передъ лицомъ юстиціи, и въ то же время, выходя изъ залы засѣданія, несомнѣнно чувствуете себя... дуракомъ! И даже не простымъ дуракомъ, а такъ сказать штемпелеваннымъ. Потому что вы утверждены въ этомъ званіи приговоромъ суда. Потому что не было ни обвиняемаго, ни свидѣтеля, ни даже жалобщика, котораго показаніе не резюмировалось бы въ одномъ словѣ: дуракъ! Потому что вся аудиторія хохотомъ выхохатывала это слово, и въ виду святости мѣста вамъ даже нельзя было сказать этой хохочущей братіи: „чему хохочете? надъ собой хохочете!“

Но буду разсказывать по порядку.

Когда разнесся слухъ, что въ Петербургѣ имѣетъ быть VIII международный статистическій конгрессъ, мною прежде всего овладѣло естественное чувство гордости. Стало быть, и мы не лыкомъ шиты, коль скоро къ намъ то-и-дѣло наѣзжаютъ то „братья“, то „друзья“, то „гости“. Положимъ, что для братьевъ-славянъ и для заатлантическихъ друзей мы могли служить оружіемъ демонстраціи, но жрецы статистики — какую демонстрацію могли они имѣть въ виду, выбирая себѣ мѣстопребываніемъ Петербургъ? Очевидно, они ни о чемъ другомъ не думали, кромѣ роскошнаго пира науки, который нигдѣ не могъ быть устроенъ съ такимъ удобствомъ, какъ въ Петербургѣ. Стало быть, если отнынѣ кто-нибудь назоветъ насъ кадетами цивилизаціи, то мы можемъ смѣло сказать тому въ глаза: нѣтъ, мы не кадеты! къ намъ обращали взоры братья-славяне! съ нами братались заатлантическіе друзья! у насъ, наконецъ, безъ всякой задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!

Конечно, было тутъ и не безъ опасеній—какъ бы не осрамиться передъ иностранными гостями; но когда мы стали съ Прокопомъ считать по пальцамъ, сколько у насъ статистиковъ, то просто даже остолбенѣли отъ удивленія. Сколько разсѣяно статистиковъ по министерствамъ и губерніямъ, статистиковъ, получающихъ опредѣленное содержаніе, и слѣдовательно вполнѣ достовѣрныхъ! Сколько, сверхъ того, статистиковъ не вполнѣ достовѣрныхъ,

а вольнопрактикующихъ, которые по собственной охотѣ ведутъ счетъ питейнымъ заведеніямъ и потомъ печатаютъ въ газетахъ свои труды въ формѣ корреспонденцій изъ Острогожска, Калязина, Ветлуги и проч.! Наконецъ, сколько „Прохожихъ“, „Проѣзжихъ“, „Иксовъ“, „Зетовъ“ и другихъ трудолюбцевъ, при трепетномъ свѣтѣ лампады разрабатывающихъ достопримѣчательности Лаишева, Кадникова, Обояни и иныхъ!

— Если всѣхъ-то счесть, такъ, пожалуй, и пальцевъ на рукахъ не хватитъ!—воскликнулъ Прокопъ, когда мы кончили обозрѣніе нашихъ статистическихъ силъ:—да и народъ-то, братъ, все какой—ужъ эти не выдадутъ!

Такимъ образомъ, оставалось только гордиться и торжествовать. Но, увы! опасенія—такая вещь, которая, однажды закравшись въ душу, уже не легко покидаетъ ее. Опровергнутыя въ одной формѣ, они отыщутъ себѣ другую, третью и т. д., и будутъ смущать человѣка до тѣхъ поръ, пока дѣйствительно не доведутъ его до сознаній эфемерности его торжества. Нѣчто подобное случилось и со мной.

Не знаю почему, но мнѣ вдругъ показалось, что ежели конгрессъ соберется въ Петербургѣ, то предметомъ его можетъ быть только *коротенькая* статистика, то-есть такая, въ которой нѣсколько главъ окажутся оторванными. Вѣдь статистика, думалось мнѣ, наука почти всеобъемлющая; слѣдовательно предметомъ ея можетъ быть не одно движеніе народонаселенія, не одно сухое перечисленіе фабрикъ и заводовъ, но и другія, болѣе деликатнаго свойства общественныя явленія. Положимъ, что и явленіе самое деликатное можно обезцвѣтить, запрятавъ его въ графу и выразивъ въ видѣ голой цифры; но вѣдь и цифры порою бываютъ такъ краснорѣчивы, что прямо ведутъ къ аттестаціямъ, въ родѣ „хорошо“, „дурно“, „благопріятно“, „неблагопріятно“ и т. д. Ловко ли будетъ намъ признать нормальность и полезность подобныхъ аттестацій? И разъ признавши ихъ нормальность, можно ли будетъ впослѣдствіи (когда оно надоѣстъ) счесть для себя необязательнымъ этотъ контроль, идущій Богъ-вѣсть откуда и руководящійся Богъ-вѣсть какими предписаніями?

Возьмемъ для примѣра хоть научно-литературное развитіе страны. Какъ ни трудно подчиняется этотъ предметъ цифирнымъ опредѣленіямъ, но несомнѣнно, что такія опредѣленія существуютъ, а слѣдовательно статистика, даже самая скромная, не имѣетъ ни малѣйшаго права игнорировать ихъ. Съ одной стороны, во всякой странѣ издается извѣстное число газетъ и журналовъ, печатается извѣстное число книгъ. Съ другой стороны, во всякой же странѣ, за немногими исключеніями, существуютъ учрежденія, обязанность которыхъ главнѣйшимъ образомъ заключается въ наблюденіи, чтобы въ литературѣ не было допускаемо случаевъ такъ-называемаго превышенія власти. Статистика не можетъ пройти молчаніемъ эти явленія; они слишкомъ крупны и ярки, чтобъ ихъ игнорировать. Но какъ же поступитъ она по ихъ поводу? Конечно, она прежде всего констатируетъ число наблюдающихъ за литературой чиновниковъ, сумму получаемаго ими содержанія, классы занимаемыхъ ими должностей и мундиры, тѣмъ должностямъ присвоенные. Разумѣется, я ничего не сказалъ бы противъ статистики, еслибъ она ограничилась исключительно одними этими фактами; но въ томъ-то и дѣло, что статистика, да вдобавокъ „международная“,

всегда идетъ далѣе тѣхъ границъ, которыя предписываются благоразумiемъ. Описавши мундиры чиновниковъ, она перейдетъ къ ихъ дѣятельности, а вступивши на эту почву, найдетъ, что дѣятельность эта выразилась въ столькихъ-то предостереженiяхъ, столькихъ-то закрытiяхъ и т. д. Вотъ тогда-то собственно и начнется такъ-называемое „краснорѣчiе цифръ“. Хорошо, если цифры останутся только цифрами, т.-е. будутъ себѣ сидѣть въ подлежащихъ графахъ да поджидать очереди, когда ихъ, наравнѣ съ прочими включатъ въ учебники; но ловко ли будетъ, если какой-нибудь „иностранный гость“, отвѣдавши нашего хлѣба-соли, вдругъ вздумаетъ изъ цифръ вывести и для насъ какую-то аттестацiю? Я уступаю заранѣе, что аттестацiя эта будетъ формулирована словами: „похвально“ и „благопрiятно“, но прiятенъ ли будетъ самый фактъ *возможности аттестацiи*?—вотъ въ чемъ вопросъ, и вопросъ настолько важный, что надъ нимъ стоитъ очень и очень крѣпко призадуматься. Я, по крайней мѣрѣ, думаю, что эта возможность обоюдуострая, и что мы въ равной мѣрѣ рискуемъ получить и благопрiятныя, и неблагопрiятныя отмѣтки. Тутъ все зависитъ отъ того, сохранилъ ли иностранный гость благодарное воспоминанiе о нашемъ гостепрiимствѣ, или не сохранилъ. Нѣтъ, лучше ужъ совсѣмъ изъять главу о духовномъ развитiи изъ программы занятiй международнаго конгресса, нежели подвергаться риску выслушиванья какихъ-то аттестацiй отъ людей, которые, быть можетъ, и мундира-то порядкомъ носить не умѣютъ.

Другой примѣръ подобной же скабрёзности представляетъ вопросъ о неприкосновенности или общедоступности домашняго очага. Въ нѣкоторыхъ странахъ вопросъ этотъ разрѣшается въ пользу неприкосновенности, въ другихъ —въ пользу общедоступности, но во всякомъ случаѣ то или другое рѣшенiе имѣетъ извѣстныя практическiя послѣдствiя, которыя отражаются на народной жизни и выражаются въ формѣ фактовъ и цифръ. Статистика была бы недостойна имени науки, еслибъ она не занялась этими цифрами и фактами и не занесла ихъ въ графы свои. И вотъ опять выступаетъ на сцену краснорѣчiе цифръ, опять является возможность аттестацiи и соединенныхъ съ нею опасенiй, сохранилъ ли иностранный гость благодарное воспоминанiе о нашемъ гостепрiимствѣ, или не сохранилъ? Ужели же изъ-за какой-нибудь статистики, единственно ради ея полноты, мы станемъ мучиться сомнѣнiями? Risum teneatis, amici! Гораздо проще и эту главу изъять изъ программы занятiй конгресса—и дѣло съ концомъ.

Третiй, еще болѣе скабрёзный вопросъ представляютъ публичныя сборища, митинги и т. д., которые также извѣстнымъ образомъ отражаются на народной жизни, и, конечно, не меньше питейныхъ домовъ имѣютъ право на вниманiе статистики. Не изъять ли, однакожъ, и его? Потому что вѣдь эти статистики—Богъ ихъ знаетъ! — пожалуй такихъ сравнительныхъ таблицъ наиздаютъ, что и жить совсѣмъ будетъ нельзя!

Словомъ сказать, вопросъ за вопросомъ, ихъ набралось такое множество, что когда поступилъ на очередь вопросъ о томъ, насколько счастливъ или несчастливъ человѣкъ, который, не показывая кукиша въ карманѣ, можетъ свободно излагать мнѣнiя о мѣропрiятiяхъ становыхъ приставовъ (по моему мнѣ-

нію, и это явленіе имѣетъ право на вниманіе статистики), то Прокопъ всплеснулъ руками и такъ испугался, что даже заговорилъ по-французски.

— Финисе! — усовѣщивалъ онъ меня: — пожалуйста финисе! Ну, что тамъ! чего тамъ? Еще услышатъ,—что хорошаго!

И вдругъ я получаю черезъ Прокопа печатное приглашеніе лично участвовать на VIII международномъ статистическомъ конгрессѣ, въ качествѣ делегата отъ рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба! Разумѣется, что при одномъ видѣ этого приглашенія у меня „въ зобу дыханье сперло", сомнѣнія исчезли и осталось лишь сладкое сознаніе, что, стало быть, и я не лыкомъ шитъ, коль скоро иностранные гости вспомнили обо мнѣ!

Ослѣпленіе мое было такъ велико, что я не обратилъ вниманія ни на странность помѣщенія конгресса, ни на несообразность его состава, ни на загадочные поступки нѣкоторыхъ конгрессистовъ, напоминавшіе скорѣе ярмарочныхъ героевъ, нежели жрецовъ науки. Я ничего не видѣлъ, ничего не помнилъ. Я помнилъ только одно: что я не лыкомъ шитъ, и слѣдовательно не плоше всякаго другого вольнопрактикующаго статистика могу имѣть сужденіе о вредѣ, производимомъ вольною продажей вина и проистекающемъ отсюда накопленіи недоимокъ.

Конгрессъ помѣщался въ саду гостинницы Шухардина — это была первая странность. Въ самомъ дѣлѣ, мы, которые такъ славимся гостепріимствомъ, ужели мы не могли найти болѣе приличнаго помѣщенія, хотя бы, напримѣръ, въ залахъ у Марцинкевича, которыя, кстати, лѣтомъ совершенно пусты?

Вторая странность заключалась въ томъ, что, кромѣ Кеттле, Левассёра, Фарра, Энгеля и Корренти, которымъ меня тотчасъ же представилъ Прокопъ, всѣ остальные члены конгресса были въ фуражкахъ съ красными околышами. То были делегаты отъ Лаишева, Чухломы, Кадникова и проч. Судите, какой же могъ быть международный конгрессъ, въ которомъ главная масса дѣятелей явно тяготѣла къ Ливнамъ, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттле кстати и некстати восклицалъ: „fichtre! sapristi!" и „ventre de biche!" Фарръ выказывалъ явную наклонность къ очищенной; Энгель не переставалъ тянуть пиво, а Левассёръ едва явился на конгрессъ, какъ тотчасъ же взялъ въ руки кій и сдѣлалъ клапштосомъ желтаго въ среднюю лузу!..

Четвертая странность: Шухардинскіе половые не только не обнаруживали никакого благоговѣнія, но даже шепнули мнѣ на ухо, не пожелаютъ ли иностранные гости послушать арфистокъ...

Но, повторяю, ничто въ то время не поразило меня: до такой степени я былъ весь проникнутъ мыслью, что я не лыкомъ шитъ.

Я пришелъ на конгрессъ первый, но едва успѣлъ углубиться въ чтеніе „Полицейскихъ Вѣдомостей", какъ услышалъ прямо у своего уха жужжаніе мухи. Отмахнулся рукой одинъ разъ, отмахнулся въ другой! наконецъ поднялъ голову... о, чудо! передо мной стоялъ Веретьевъ! Веретьевъ, съ которымъ я провелъ столько пріятныхъ минутъ въ „Затишьѣ"!

— Веретьевъ! Боже! какими судьбами? — воскликнулъ я, простирая руки.

— Делегатъ отъ Амченскаго уѣзда, рекомендуюсь! — отвѣчалъ онъ,

бросая искоса взглядъ на накрытый въ сторонѣ столъ, обремененный всевозможными сортами закусокъ и водокъ.

— Какъ? статистикъ? Браво!

Вмѣсто отвѣта Велентьевъ зажужжалъ по комариному, но такъ живо, такъ натурально, что передо мной разомъ воскресло все наше прошлое.

— А Маша?.. помнишь?—спросилъ я въ неописанномъ волненіи.

— Теперь, братъ, она ужъ не Маша, а цѣлая Марьище...

— Позволь, но вѣдь Маша утопилась!

— Это все Тургеневъ выдумалъ. Топилась, да вытащили. Послѣ вышла замужъ за Чертопханова, вывела восемь человѣкъ дѣтей, овдовѣла и теперь такъ сильно штрафуетъ крестьянъ за потраву, что даже Фетъ—и тотъ отъ нея бѣгать сталъ! *)

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоимъ! Человѣкъ, рюмку водки! большую!

Велентьевъ потупился.

— Не надо!—произнесъ онъ угрюмо:—зарокъ далъ!

— Какъ! ты! не можетъ быть!

Не успѣлъ я докончить своего восклицанія, какъ въ садъ вошли... молодой Кирсановъ и Берсеневъ! Кирсановъ былъ одѣтъ въ чистенькій вицъ-мундиръ; изъ-подъ жилета виднѣлась ослѣпительной бѣлизны рубашка; галстухъ на шеѣ былъ аккуратно повязанъ: подъ мышкой онъ крѣпко стискивалъ щегольской портфель. За нимъ, своей мечтательной, милой походкой съ переваломъ, плелся Берсеневъ и тоже держалъ подъ мышкой довольно поношенный портфель, который, вдобавокъ, постоянно у него выползалъ. Какъ ни неожиданна была для меня эта встрѣча, но, взглянувши на Кирсанова поближе, я безъ труда понялъ, что при скромности и аккуратности этого молодого человѣка ему самое мѣсто — въ статистикѣ. Нѣсколько болѣе смутило меня появленіе Берсенева. Это человѣкъ мечтательный и рыхлый, думалось мнѣ, у котораго только одно въ мысли: идти по стопамъ Грановскаго. Но идти не самому, а чтобъ извозчикъ везъ. Вотъ и теперь на немъ и рубашка криво сидитъ, и портфель изъ-подъ мышки ползетъ... ну, гдѣ ему усидѣть въ статистикѣ!

— Делегатъ отъ Ефремовскаго уѣзда,—рекомендовался между тѣмъ Кирсановъ, подавая мнѣ руку, какъ старому знакомому.

— Очень радъ! очень радъ! Уже статистикъ! Давно ли?

— Мѣсяца два тому назадъ. Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что въ нашемъ уѣздѣ статистика еще не совсѣмъ въ порядкѣ, но надѣюсь, что при содѣйствіи начальника губерніи успѣю въ непродолжительномъ времени двинуть это дѣло значительно впередъ.

— Вашъ батюшка? Дяденька?

— Благодарю васъ. Батюшка, слава Богу, здоровъ и попрежнему играетъ на віолончели свои любимые романсы. Дядя скончался, и мы съ па-

---

*) По послѣднимъ извѣстіямъ, фактъ этотъ оказался невѣрнымъ. По крайней мѣрѣ И. С. Тургеневъ совершенно иначе разсказалъ конецъ Чертопханова въ „Вѣстникѣ Европы“ за Ноябрь 1872 г.—*Примѣчаніе автора „Дневника“.*

нашей ходимъ въ хорошую погоду на его могилу. Оеничку мы пристроили; она теперь замужемъ за однимъ чиновникомъ въ Ефремовѣ, имѣетъ свой домъ, хозяйство и, повидимому, очень счастлива.

— Да... но скажите же что-нибудь о себѣ!

— Благодарю васъ, я совершенно счастливъ. Полтора года тому назадъ женился на Катѣ Одинцовой и уже имѣю сына. Поэтому полученіе мѣста было для меня какъ нельзя болѣе кстати. Знаете: хотя у насъ и довольно обезпеченное состояніе, но когда имѣешь сына, то лишнихъ тысяча рублей весьма не вредитъ.

— Базаровъ... помните?

Кирсанова передернуло при этомъ вопросѣ, и онъ довольно сухо отвѣтилъ мнѣ:

— Мы съ папашей и Катей каждый день молимся, чтобы Богъ простилъ его заблужденія!

— Ну... а вы, Берсеневъ!—обратился я къ Берсеневу, замѣтивъ, что оборотъ, который принялъ нашъ разговоръ, не нравится Кирсанову.

— Я... вотъ съ нимъ...—лѣниво пробормоталъ онъ, какъ бы не отдавая даже себѣ отчета, отъ кого или отъ чего онъ является делегатомъ.

„Ну, братъ, не усидѣть тебѣ въ статистикѣ!“ — мысленно повторилъ я и вскинулъ глазами впередъ. О, ужасъ! передо мной стоялъ Рудинъ, а за нимъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, улыбался своею мягкою, нѣсколько грустной улыбкою Лаврецкій.

— Рудинъ! да вы съ ума сошли! вѣдь вы въ Дрезденѣ на баррикадахъ убиты!—воскликнулъ я внѣ себя.

— Толкуйте! Это все Тургеневъ сказки разсказываетъ! Онъ, батюшка, четыре эпизода обо мнѣ написалъ, а эпизодъ у меня самый простой: имѣю честь рекомендоваться—путивльскій делегатъ! Да-съ, батюшка, орудуемъ! Возбуждаемъ народъ-съ! пропагандируемъ „права человѣка-съ“! воюемъ съ губернаторомъ-съ!

— И очень дурно дѣлаете-съ, — замѣтилъ наставительно Кирсановъ: — потому что, строго говоря, и ваши цѣли, и цѣли губернатора — однѣ и тѣ же.

— Толкуй по праздникамъ! Вѣдь ты, братъ, либералъ! Я знаю, ты надъ передовыми статьями „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ слезы проливаешь! А по моему, такими либералами только заборы подпирать можно!

— Лаврецкаго... не забыли? — прозвучалъ около меня задумчивый, какъ бы вуалированный голосъ.

Но не знаю почему—отъ Лаврецкаго, этого истаго представителя „Дворянскаго гнѣзда“, у меня осталось только одно воспоминаніе: что онъ женатъ.

— Лаврецкій! вы?! какъ здоровье супруги вашей?

— Благодарю васъ. Она здорова и здѣсь со мною въ Петербургѣ. Знаете, здѣсь и Изомбаръ, и Андріё... ну, а въ нашемъ Малоархангельскѣ... Милости просимъ къ намъ; мы въ „Hôtel d'Angleterre“; жена будетъ очень рада васъ видѣть.

— Ахъ, Боже мой! Лаврецкій... вы! Лиза... помните?

— Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вамъ, это была бо́льшая ошибка съ моей стороны. Увлечь молодую дѣвицу, не будучи вполнѣ увѣреннымъ въ своей свободѣ — какъ хотите, а это нехорошо! Теперь, однакожъ, эти увлеченія прошли, и въ занятіяхъ статистикой...

Но этому дню суждено было сдѣлаться для меня днемъ сюрпризовъ. Не успѣлъ я выслушать исповѣдь Лаврецкаго, какъ завидѣлъ входящаго Марка Волохова. Онъ былъ непричесанъ и ногти его были нечищены.

— Волоховъ!! и вы здѣсь!

— А вы какъ объ насъ полагали?

— Да... но вы... делегатъ!..

— Ну, да, делегатъ отъ Балашовскаго уѣзда... что жъ дальше! А вы небось думали, что я испугаюсь! Я, батюшка, ничего не испугаюсь! Мнѣ, батюшка, чортъ съ ними—вотъ что!

Сказавъ это, онъ отвернулся отъ меня и, замѣтивъ Рудина, процѣдилъ сквозь зубы:

— Балалайка безструнная!

Въ садъ хлынула вдругъ цѣлая толпа кадыковъ въ фуражкахъ съ красными околышами и заслонила собой монхъ знакомцевъ. Мнѣ показалось, что въ этой толпѣ мелькнула даже фигура Собакевича. Черезъ полчаса явился Прокопъ въ сопровожденіи иностранныхъ гостей, и засѣданіе началось.

Первое засѣданіе прошло шумно и весело. Члены живо разобрали между собой подлежащіе разработкѣ предметы и организовались въ отдѣленія; затѣмъ опредѣленъ былъ порядокъ засѣданій (число послѣднихъ ограничено семью). Въ заключеніе Энгель очень пріятно изумилъ, выпивъ бутылку пива и сказавъ по-русски:

— Ишо́ одна бутилкъ!

На что Фарръ очень мѣтко и любезно рипостировалъ:

— И мене ишо́ одинъ румкъ!

Организовавшись какъ слѣдуетъ, мы заключили нашъ avant-congrès, съѣвши по порціи ботвиньи и по порціи поросенка. При этомъ Прокопъ очень любезно извинился, что на сей разъ, по множеству другихъ организаторскихъ занятій, ѣда ограничивается только двумя блюдами, а Левассёръ чрезвычайно польстилъ нашему національному самолюбію, сказавъ:

— Mais non! mais pas du tout! mais donnez-moi tous les jours du parasseune—et vous ne m'entendrez jamais dire: assez!

Мы встали изъ-за стола сытые и довольно пьяные, постановивъ на прощаніе:

1) Ни къ какимъ издержкамъ по устройству закусокъ и обѣдовъ иностранныхъ гостей не привлекать.

2) Интернировать иностранныхъ гостей въ chambres garnies на Мѣщанской, съ предоставленіемъ имъ ежедневно по полпорціи чаю или кофею утромъ и постольку же вечеромъ, а издержки на этотъ предметъ отнести насчетъ делегатовъ отъ градовъ, весей и клубовъ.

3) Завтрашній день начать осмотромъ Казанскаго собора, затѣмъ вновь собраться къ Шухардину, гдѣ, послѣ засѣданія, имѣетъ быть обѣденный столъ (menu: селянка московская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы

въ сметанѣ, жареный поросенокъ съ кашей и малина со сливками). Послѣ обѣда—катанье на извозчикахъ.

Дорогой, пока мы шли съ Прокопомъ домой, онъ былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что мнѣ большого труда стоило усовѣстить его.

— Да, братъ, эти будутъ почище братьевъ-славянъ! — говорилъ онъ: —замѣтилъ ли ты, какъ этотъ бестія Левассёръ: „la république, говоритъ, il n'y a que ça!“ Я такъ и остолбенѣлъ!

— А знаешь ли, какая мнѣ мысль пришла въ голову: какъ только всѣ дѣла здѣсь прикончимъ, покажемъ-ка мы иностраннымъ гостямъ Москву!

— А что ты думаешь! вѣдь слѣдуетъ!

— Еще бы! Ну, разумѣется, экстренный train на нашъ счетъ; въ Москвѣ каждому гостю нумеръ въ гостинницѣ и извозчикъ; первый день — къ Иверской, оттуда на политехническую выставку, а обѣдать къ Гурину; второй день—обѣдня у Василія Блаженнаго и обѣдъ у Тѣстова; третій день —осмотръ Грановитой палаты и обѣдъ въ Новотроицкомъ. А потомъ экстренный train къ Троицѣ, въ Хотьковъ... Пѣніе-то какое, мой другъ! Покойница-тетенька не даромъ говаривала: „ужъ и не знаю, говоритъ, на землѣ ли я, или на небесахъ!“ Надо имъ все это показать!

— Безподобно! То-то я давеча сижу и думаю, что чего-то недостаетъ! Анъ вонъ оно что: въ Москву!

— Ты одно то подумай: здѣшніе ли поросята, или московскіе!

— Гдѣ ужъ здѣшнимъ!

— Или опять осетрина! Ну, гдѣ жъ ты здѣсь такой осетрины достанешь, чтобы цѣлое звено—сплошь все жиръ!

— Сказано, въ Москву—и дѣло съ концомъ!

На другой день мы всѣ, кромѣ Марка Волохова, собрались въ Казанскій соборъ. Причемъ я не безъ удивленія замѣтилъ, что Левассёръ очень отчетливо положилъ три земныхъ поклона и приложился къ иконѣ.

— Смотри-ка! Левассёръ-то! по нашему молится!—толкнулъ меня въ бокъ Прокопъ:—et vous... comme nous?—прибавилъ онъ, обращаясь къ гостю.

Но удивленію нашему уже совсѣмъ не стало предѣловъ, когда Левассёръ (вѣроятно застигнутый врасплохъ) совершенно чисто по-русски отвѣтилъ:

— Да-съ, моя маменька отъ этой иконы въ молодости исцѣленіе получила...

Но вслѣдъ затѣмъ онъ вдругъ спохватился, хлопнулъ себя по ляжкѣ и залопоталъ:

— Ah! sapristi! je crois qu'à force d'entendre parler russe, je commence moi-même à parler cette langue comme ma langue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment donc! Ah! fichtre... prosternons nous! Adorons, ventre de biche! la tolérance en matière de religion... tolerenzia et prudenzia... je ne vous dis que ça!

И представьте себѣ, какъ ни грубъ былъ этотъ фактъ самоуличенія, но даже онъ не открылъ нашихъ глазъ: до такой степени мы были полны сознаніемъ, что и мы не лыкомъ шиты!

Второе засѣданіе началось съ объявленія Кеттлé, что онъ пятьдесятъ

лѣтъ занимается статистикой, и нигдѣ не встрѣчалъ такого горячаго сочувствія къ этой наукѣ, какъ въ Россіи. „Поэтому,—присовокупилъ онъ любезно,—я просто прихожу къ заключенію, что Россія есть настоящее мѣсторожденіе статистики“...

— Messieurs! un verre de champagne! Милости просимъ! Человѣкъ! шампанскаго! Господинъ Кеттлé! ваше здоровье! Votre santé! Vous acceptez, n'est-ce-pas? Du champagne!!

— Mais j'en prendrai avec plaisir,—скромно отвѣчалъ маститый старецъ, но скромность эта была такъ полна чувства собственнаго достоинства, что мы сразу поняли, что не мы почтили старца, но старецъ почтилъ насъ.

Когда бокалы были осушены, всталъ Фарръ и вынулъ изъ боковаго кармана листъ разграфленной бумаги. Этотъ листъ онъ показалъ всѣмъ делегатамъ и объяснилъ, что такова форма для производства народной переписи, доставшаяся VIII-му международному конгрессу въ наслѣдіе отъ таковаго жъ, имѣвшаго свое мѣстопребываніе въ Гаагѣ. Но въ формѣ этой онъ, Фарръ, замѣчаетъ, однакожъ, одинъ очень важный недостатокъ, заключающійся въ томъ, что, при исчисленіи народонаселенія по занятіямъ и ремесламъ, въ ней опущенъ довольно многочисленный классъ людей, извѣстный подъ именемъ „шпіоновъ“.

Я взглянулъ на Прокопа: онъ совершенно посоловѣлъ и дико озирался. Къ счастью, половые куда-то разошлись, такъ что онъ скоро оправился и довольно спокойно произнесъ:

— Съ своей стороны я полагалъ бы этотъ непріятный разговоръ оставить. Неужто, господа, у васъ за границей и разговоровъ другихъ нѣтъ!

И онъ уже предложилъ приступить къ слѣдующему по порядку предмету сужденій, какъ всталъ Левассёръ и по существу рѣшилъ дѣло въ пользу Прокопа.

— Messieurs,—сказалъ онъ:—l'espionnage a été reconnu de tous temps comme l'un des plus vifs stimulans de la vie politique. Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne saurait signifier autre chose qu'espions. Ensuite, nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental et qu'ils donnèrent aux espions le surnom sonore des sycophantes. Mais c'est aux césars de l'antique Rome que la science de l'espionnage est redevable de son plus grand développement. Au dire de Tacite, du temps de Néron, de Caligula et autres il n'y avait presque pas un seul homme dans tout l'Empire qui ne fût espion ou ne désirât de l'être. Ces majéstueux Romains, qui ne commencaient pas autrement leurs blagues qu'en disant „civis Romanus sum“, se sont fait au métier de l'éspionnage comme s'ils étaient les plus majéstueux des chenapans. Enfin, notre belle France est là pour attester que l'espionnage n'est jamais de trop dans un pays dont la vie politique est à son apogée. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s'entreespionne, ce qui n'empêche pas la vie sociale d'aller son train. La solidarité de l'espionnage fait qu'on n'en ressent presque pas l'inconvénient. Voici l'historique de ce phénomène social qui porte

le nom malsonnant de l'espionnage. Mais si nous constatons ici les résultats pratiques du métier, nous devons en même temps constater que jamais ces résultats ne pourraient être ni si grands, ni si accomplis, si les éspions s'avisaient d'agir ouvertement... là, le cœur sur la main! Oui, messieurs, c'est une occupation qui ne saurait être pratiquée que sous le voile du plus grand mystère! Otez le mystère—et adieu l'espionnage! Il n'est plus—et avec lui tombe tout le préstige de la vie politique. Point d'espionnage—point d'accusation, point de procès, point de proscriptions! La vie politique reste pour ainsi dire en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s'évanouit. Voilà pourquoi je ne partage pas l'opinion, exprimée par mon honorable collègue, M-r Farr. Je comprends très-bien sa pensée: il est par trop champion de la statistique pour ne pas gémir en voyant que cette science conserve encore des points inexpliqués et obscurs. Mais Dieu, dans sa divine sagesse, en a jugé autrement. Il a voulu que la statistique conserve à jamais quelques points inachevés pour que nous autres, humbles travailleurs de la science, ayons toujours quelque chose à éclaircir ou à achever. Aussi je conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubrique, où se classent les chenapans et autres gens sans foi ni loi! Cette rubrique n'est-elle pas assez large pour que les éspions y trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, classons les y hardiment et puis disons leurs: allez, gens sans aveu, et faites votre vil métier! la statistique ne veut pas vous connaître!

— Рѣчь эта произвела эффектъ необычайный. Крики: „bravo! vive la France!“ (Прокопъ по обыкновенію ошибся и крикнулъ: „vive Henri IV!“) неслись со всѣхъ сторонъ. Сейчасъ же всѣ побѣжали къ закусочному столу и буквально осадили его.

— Je crois que ça s'appelle lassassine? „Lassassine“ et „parasseune“ —il faut que je me souvienne de ça!—сказалъ Левассёръ, держа на вилкѣ кусокъ маринованной лососины.

— Oh, mangez, messieurs!—упрашивалъ какой-то делегатъ (кажется, ветлужскій):—человѣкъ! лососины принесите! пожалуйста, mangez!

Засѣданіе кончилось; начался обѣдъ.

Никогда я не ѣдалъ такихъ роскошныхъ подовыхъ пироговъ, какъ въ этотъ достопамятный день. Они были съ говядиной, съ яйцами и еще съ какою-то дрянью, въ которой, впрочемъ, и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, они таяли во рту и совершенно незамѣтно проходили въ желудокъ. Фарръ съѣлъ разомъ два пирога, а третій завернулъ въ бумажку, сказавъ, что отошлетъ съ попутчикомъ въ Лондонъ къ женѣ.

— La Russie—voilà où est la véritable patrie de la statistique!—въ экстазѣ повторилъ Кеттлé.

Послѣ обѣда—ѣзда на извозчикахъ, а окончаніе дня въ „Эльдорадо“.

— C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a été décédé! ah, soyons sur nos gardes!—вздохнулъ Левассёръ, что̀ не помѣшало ему сдѣлать честь двумъ дѣвицамъ, предложивъ имъ по рюмкѣ коньяку.

На третій день—осмотръ Исакіевскаго собора, засѣданіе у Шухардина

и обѣдъ тамъ же (menu: супъ съ потрохами, бараній бокъ съ кашей, жареные каплуны и малиновый дутикъ со сливками); послѣ обѣда—катанье на яликахъ по Невѣ.

Исакіевскій соборъ произвелъ на гостей самое пріятное впечатлѣніе.

— C'est fort, c'est solide, c'est riche, c'est ébourrifant!—безпрестанно повторялъ Левассёръ:—et ça doit couter un argent fou!

Кеттлé же до того умилился духомъ, что произнесъ:

— Ah! si je n'étais pas catholique romain, je voudrais être catholique grec!

На что Прокопъ, который съ нѣкотораго времени получилъ настоящую манію приглашать иновѣрцевъ къ познанію свѣта истинной вѣры, поспѣшилъ замѣтить:

— А что же, ваше превосходительство! съ легкой бы руки!

Засѣданіе началось чтеніемъ доклада делегата отъ тульско-курско-ростовскаго клуба, по отдѣленію нравственной статистики, о томъ, чтобы въ вѣдомость, утвержденную собиравшимся въ Гаагѣ конгрессомъ, о числѣ и родѣ преступленій была прибавлена новая графа для включенія въ нее такъ-называемыхъ „жуликовъ“ (jouliks).

— Jouliks! je ne comprends pas ce mot!—съ свойственною ему меридіональною живостью протестуетъ Левассёръ.

— Ce n'est précisement ni un voleur, ni un escroc; c'est un individu qui tient de l'un et l'autre. A Moscou vous verrez cela, messieurs!—объясняетъ докладчикъ.

Встаетъ Фарръ и опять дѣлаетъ скандалъ. Онъ утверждаетъ, что замѣтилъ на континентѣ особенный видъ проступковъ, заключающійся въ вскрытіи чужихъ писемъ. „Не далѣе какъ недѣлю тому назадъ, будучи въ Парижѣ—присовокупляетъ онъ,—я получилъ письмо отъ жены, видимо подпечатанное“. Поэтому онъ требуетъ прибавки еще новой графы.

Тетюшскій делегатъ поднимается съ своего мѣста и возражаетъ, что это неудобно.

— Why?—вопрошаетъ Фарръ.

— Неудобно—и все тутъ, и разговаривать нечего! За такіе вопросы нашего брата въ кутузку сажаютъ!

— Shocking!—восклицаетъ Фарръ.

Тогда требуетъ слова Левассёръ.

— Pardon! si je comprends la pensée de monsieur, — начинаетъ онъ, указывая на тетюшскаго делегата: — elle peut être formulée ainsi: oui, le secret des lettres particulières est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!) — c'est la règle générale; mais il est des raisons de bonne politique, qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent d'admettre des exceptions même aux régles, que nous reconnaissons tous pour justeset irréprochables. C'est triste, messieurs, mais c'est vrai. Envisagée sous ce point de vue, la violation du secret des lettres particulières se présente à nous comme un fait de haute convenance, qui n'a rien de commun avec le crime ou la contravention. L'Angleterre, grâce à sa position insulaire, ignore beaucoup de phénomènes sociaux,

qui sont non-seulement tolérés par le droit coutumier du continent, mais qui en font pour ainsi dire partie. Ce qui est crime ou contravention en Angleterre, peut devenir une excellente mesure de salut public sur le continent. Aussi, je vote avec m-r de Tétiousch pour l'ordre du jour pur et simple.

— Bravo! Ура! Человѣкъ! шампанскаго! Мосье Левассёръ! Votre santé!

Не успѣли выпить за здоровье Левассёра, какъ Прокопъ вновь потребовалъ шампанскаго и провозгласилъ здоровье Фарра.

—Сознайтесь, господинъ Фарръ, что вы согрѣшили немножко!—привѣтствовалъ онъ англійскаго делегата съ бокаломъ въ рукахъ: — потому что вѣдь ежели Англія, благодаря инсулярному положенію, имѣетъ многія инсулярныя добродѣтели, такъ вѣдь и инсулярныхъ пороковъ у нея не мало! Жадность-то ваша къ деньгамъ въ пословицу вѣдь вошла! А? такъ, что-ли? Господа! выпьемъ за здоровье нашего сотоварища, почтеннѣйшаго делегата Англіи!

Разумѣется, суровый англичанинъ успокоился и выпилъ разомъ два стакана.

Но за обѣдомъ случился скандалъ почище: бараній бокъ до такой степени вонялъ саломъ, что ни у кого не хватило смѣлости объяснить это даже особенностями національной кухни. Хотя же поданные затѣмъ каплуны были зажарены божественно, тѣмъ не менѣе конгресъ единогласно порѣшилъ: съ завтрашняго дня перенести засѣданія въ Малоярославецкій трактиръ.

Четвертый день—осмотръ Петропавловскаго собора, засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославецкомъ трактирѣ (menu: ботвинья съ малосольной севрюжиной, поросенокъ подъ хрѣномъ и сметаной, жареныя утки и гурьевская каша); послѣ обѣда—прогулка пѣшкомъ по Марсову полю.

Петропавловскимъ соборомъ иностранные гости остались довольны, но видимо спѣшили кончить осмотръ его, такъ-какъ Фарръ, указывая на крѣпостныя стѣны, сказалъ:

— Въ сей мѣстности воздухъ есть нездоровъ!

На что, впрочемъ, Прокопъ тутъ же нашелся возразить:

— Для тѣхъ, господинъ Фарръ, у кого чисто сердце,—воздухъ вездѣ здоровъ!

Въ четвертомъ засѣданіи я докладывалъ свою карту, надъ которой работалъ двѣ ночи сряду (Богъ помогъ мнѣ совершить этотъ трудъ безъ всякихъ пособій!) и по которой наглядным образомъ можно было ознакомиться съ положеніемъ трактирной и кабацкой промышленности въ Россіи. Сердце Россіи, Москва, было, comme de raison, покрыто самымъ густымъ слоемъ ярко-красной краски; отъ этого центра въ видѣ радіусовъ шли другія губерніи, постепенно блѣднѣя и блѣднѣя по мѣрѣ приближенія къ окраинамъ. Такъ что Новая Земля только отъ острова Колгуева заимствовала слабый блѣдно-розовый отблескъ. Въ заключеніе, я потребовалъ, чтобы подобныя же карты были изданы и для другихъ странъ, такъ чтобы можно было сразу видѣть, гдѣ всего удобнѣе напиться.

— Ah, mais savez vous que c'est bigrement sérieux, le travail que vous nous présentez là!—воскликнулъ Левассеръ, разсматривая мою карту.

— Prachtvoll!—одобрилъ Энгель.

— Beautiful!—присовокупилъ Фарръ.

— Benissime!—проурчалъ Корренти.

— Et remarquez bien que monsieur n'a employé que deux nuits pour commencer et achever ce beau travail!—отозвался Кеттлé, который передъ тѣмъ пошептался съ Прокопомъ.

— Двѣ ночи—это вѣрно!—подтвердилъ Прокопъ:—и безъ всякаго руководства! Просто, взялъ листъ бумаги и съ Божьею помощью начертилъ!

Тогда всѣ бросились меня обнимать и цѣловать, что̀ подъ конецъ сдѣлалось для меня даже обременительнымъ, потому что делегаты вздумали качать меня на рукахъ и чуть-чуть не уронили на полъ. Тѣмъ временемъ наступилъ адмиральскій часъ; Прокопъ на̀скоро произнесъ: „господа, милости просимъ хлѣба-соли откушать!“ и повелъ насъ въ столовую, гдѣ прежде всего нашимъ взорамъ представилась севрюжина... но какая это была севрюжина!

— Вотъ такъ севрюжина! — совершенно чисто произнесъ по-русски Кеттлé.

Но, увы! насъ и на этотъ разъ не вразумило это болѣе нежели страное восклицаніе иностраннаго гостя. До того наши сердца были переполнены ликованіемъ, что мы не лыкомъ шиты!

Послѣ обѣда, во время прогулки по Марсову полю, Левассёръ, ни съ того, ни съ сего, вступилъ со мной въ очень неловкій дружескій разговоръ. Во-первыхъ, онъ напрямикъ объявилъ, что ненавидитъ войну по принципу, и что самый видъ Марсова поля дѣйствуетъ на него непріятно.

— А мы,—отвѣтилъ я довольно сухо:—мы гордимся этимъ полемъ.

— Oui, je comprends ça! la fierté nationale — nous autres, français, nous en savons quelque chose! Mais, quant à moi — je vous avoue que ça me porte sur les nerfs!

Во-вторыхъ, постепенно раскрывая передо мной свою душу, онъ признался, что всегда былъ сторонникомъ парижской коммуны и даже участвовалъ въ разграбленіи дома Тьера.

— Ma femme est une pétroleuse — je ne vous dis que ça!—прибавилъ онъ грустно.

Въ-третьихъ, онъ изъявилъ опасеніе, что за нимъ слѣдятъ; что клевета и зависть преслѣдуютъ его даже въ снѣгахъ Россіи; что вотъ этотъ самый Фарръ, который такъ искусно притворяется англичаниномъ, есть не что иное, какъ агентъ Тьера, которому нарочно поручено гласно возбуждать вопросы о шпіонахъ, а между тѣмъ подъ рукой требовать выдачи его, Левассёра. Въ заключеніе онъ просилъ меня посмотрѣть по сторонамъ и удостовѣриться, нѣтъ ли по близости полицейскаго.

Я въ смущеніи исполнилъ его просьбу, но такъ-какъ мы стояли на самой срединѣ поля и притомъ начало уже смеркаться, то полицейскіе представлялись разсѣянными по окраинамъ въ видѣ блудящихъ огоньковъ. Тѣмъ не менѣе я поспѣшилъ успокоить моего новаго друга и завѣрить его, что я и Прокопъ сдѣлаемъ все зависящее...

— Ah! quant à vous—vous avez l'âme sensible — je le vois, je le

sens, j'en suis sûr! Mais quant à monsieur votre ami — permettez-moi d'en douter!—воскликнулъ онъ, съ жаромъ сжимая мою руку.

Къ сожалѣнію, я долженъ былъ умолкнуть передъ замѣчаніемъ Левассёра, потому что, говоря по совѣсти, и самъ въ точности не зналъ, есть ли у Прокопа какая-нибудь душа. Чортъ его знаетъ! можетъ быть, у него только фуражка съ краснымъ околышемъ—вотъ и душа!

Во всякомъ случаѣ признанія Левассёра произвели на меня самое тяжелое впечатлѣніе. Коммуналистъ! жена петролейщица! И чортъ его за языкъ дергалъ соваться ко мнѣ съ своими признаніями! Поэтому первымъ моимъ движеніемъ было убѣдить его познать свои заблужденія, и я бойко и горячо принялся за выполненіе этой задачи, какъ вдругъ, среди самаго разгара моего краснорѣчія, онъ зашатался, зашатался и разомъ рухнулся на песокъ! Тутъ только я догадался, что онъ пьянъ въ послѣднемъ градусѣ, и что слѣдовательно всѣ его признанія были не что иное, какъ слѣдствіе привычки блягировать, столь свойственной его соотечественникамъ! Признаюсь, даже открытіе Америки не подѣйствовало бы на меня такъ благотворно, какъ эта неожиданная развязка, разомъ выведшая меня изъ затруднительнѣйшаго положенія!

Пятый день — осмотръ домика Петра Великаго; засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославскомъ трактирѣ (menu: суточныя щи и къ нимъ няня, свиныя котлеты, жаркое—теленокъ, поенный одними сливками, вмѣсто пирожнаго—калужское тѣсто). Послѣ обѣда каждый удаляется во-свояси и ложится спать. Я нарочно настоялъ, чтобъ въ ordre du jour было включено спанье, потому что опасался новыхъ признаній со стороны Левассёра. Шутъ его разберетъ, вретъ онъ или не вретъ! А вдругъ съ-пьяна ляпнетъ, что изъ Тьерова дома табакерку унесъ!

Осмотръ домика великаго преобразователя Россіи удался великолѣпно. Левассёръ о вчерашнемъ разговорѣ на Марсовомъ полѣ ни полслова. Напротивъ того, пришелъ какъ встрепанный и сейчасъ же воскликнулъ:

— C'en était un de tzar! fichtre, quel genre!

— Das war ein Tzar!—глубокомысленно отозвался Энгель.

— Tzarissimo, magnissimo!—чортъ знаетъ на какомъ языкѣ формулировалъ свое удивленіе Корренти.

Старичокъ Кеттлé нѣкоторое время стоялъ задумчиво опершись на трость. Наконецъ онъ взволнованнымъ голосомъ замѣтилъ, что и душѣ Петра была не чужда статистика.

Тогда выступилъ впередъ мой другъ Берсеневъ (изъ „Наканунѣ“) и сказалъ:

— Позвольте мнѣ напомнить вамъ, милостивые государи, слова о Петрѣ Великомъ, сказанныя однимъ изъ незабвенныхъ учителей моей юности, которыя будутъ здѣсь какъ нельзя болѣе у мѣста. Вотъ эти слова: „но великій человѣкъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы и плоть, и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились малы и худы, намъ нужны были общіе уставы человѣчества!“ Я сказалъ, господа *).

*) Рѣчь, сказанная профессоромъ Морошкинымъ на актѣ московскаго университета „Объ Уложеніи и его дальнѣйшемъ развитіи“.—*Примѣч. автора „Дневника“.*

Этимъ осмотръ кончился при громкомъ одобреніи присутствующихъ.

Пятое засѣданіе было посвящено вреднымъ звѣрямъ и насѣкомымъ. Делегатъ отъ Миргородскаго уѣзда, Иванъ Ивановичъ Перерепенко, прочиталъ докладъ о тушканчикахъ, и въ виду *особеннаго*, производимаго ими, вреда требовалъ, чтобъ этимъ животнымъ была отведена въ статистикѣ отдѣльная графа.

Давно я не слыхалъ такой блестящей импровизаціи. Тушканчикъ стоялъ передо мной какъ живой. Я видѣлъ его въ норѣ, окруженнаго безчисленнымъ и вреднымъ семействомъ; я видѣлъ его выползающимъ изъ норы, стоящимъ нѣкоторое время на заднихъ лапкахъ и *вредно* озирающимся; наконецъ, я видѣлъ его наносящимъ *особенный* вредъ нашимъ полямъ и поучающимъ тому же вредныхъ членовъ своего семейства. Это было нѣчто поразительное.

Но чему я былъ радъ несказанно—это случаю видѣть маститаго Перерепенко, о которомъ я такъ много слышалъ отъ Гоголя. О, Боже! какъ онъ постарѣлъ, осунулся, побѣлѣлъ, хотя, повидимому, все еще былъ бодръ и всегда готовъ спросить: „а можетъ тебѣ и мяса, небога, хочется?“

— Ну, что, какъ ваше дѣло съ Иваномъ Никифоровичемъ?—спросилъ я его.

Старикъ грустно махнулъ рукой.

— Ужели не кончено?

— На дняхъ будетъ въ третій разъ слушаться въ кассаціонномъ департаментѣ!—отвѣтилъ онъ угрюмо.

— Великій Боже!

— Сначала слушали въ полтавскомъ окружномъ судѣ — кассацію подалъ я; потомъ перенесли въ черниговскій судъ—кассировалъ Довгочхунъ. Потомъ дѣло перенесли въ Харьковъ—опять кассирую я...

Онъ на минуту поникъ головой.

— Я уже не говорю о безпокойствахъ,—произнесъ онъ со слезами въ голосѣ:—но все мое состояніе... все состояніе пошло... туда! Вы знаете, какія у меня были дыни?

— И что жъ?

— Ни въ прошломъ году, ни въ нынѣшнемъ я не съѣлъ ни одной! Все съѣли адвокаты, хоть урожай былъ отличнѣйшій! Чтобы не умереть съ голоду, я вынужденъ писать газетныя корреспонденціи по полторы копѣйки за строчку. Но и тамъ урѣзываютъ!

— Ба! такъ это ваша корреспонденція, которая начинается словами: „Хотя нашъ Миргородъ въ сравненіи съ Гадячемъ или Конотопомъ можетъ быть названъ столицею, но ежели кто видѣлъ Пирятинъ...“?

Иванъ Ивановичъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку.

— Что жъ вы однако предполагаете дѣлать съ вашимъ процессомъ?

— Вѣроятно его переведутъ теперь въ Изюмъ; но ежели и изюмскій судъ откажетъ мнѣ въ удовлетвореніи, тогда надобно будетъ опять подавать на кассацію и просить о переводѣ дѣла въ Сумы... Но я не отступлю!

Иванъ Ивановичъ такъ сверкнулъ глазами, что я совершенно ясно понялъ, что онъ не отступитъ. Онъ и Неуважай-Корыто. Они не отступятъ.

Они пойдутъ и въ Сумы, и въ Острогожскъ, и когда-нибудь да упекутъ Довгочхуна—это вѣрно!

Между тѣмъ какъ мы дружески бесѣдовали, на конгрессѣ поднялся дымъ коромысломъ. Виновникомъ скандала былъ все тотъ же несносный англичанинъ Фарръ, внесшій одно изъ самыхъ эксцентричныхъ предложеній, какого можно было только ожидать. Предложеніе это приблизительно можно было формулировать слѣдующимъ образомъ: „Тушканчики—это прекрасно; и такъ какъ вредъ, ими производимый, дѣйствительно имѣетъ свойства вреда *особеннаго*, то нѣтъ ничего справедливѣе, какъ отвести имъ и графу *особенную*. Надо, чтобъ каждый зналъ силу врага, съ которымъ имѣетъ дѣло, а кому же, какъ не статистикѣ, оказать человѣчеству услугу приведеніемъ въ ясность всѣхъ золъ, его удручающихъ? Но не одни тушканчики производятъ *особенный* вредъ; онъ, Фарръ, знаетъ иной *особенный* вредъ, гораздо болѣе сильный, о которомъ статистика не упоминаетъ вовсе, а именно: вредъ, наносимый неправильными административными распоряженіями. Въ виду несомнѣнной важности и особенности этого вреда, не слѣдуетъ ли и для него отвести особенную графу, которая слѣдовала бы непосредственно за графой о тушканчикахъ?“

Едва произнесъ Фарръ свою рѣчь, какъ Левассёръ не выдержалъ. Весь блѣдный, онъ вскочилъ съ своего мѣста и сказалъ:

— Тѣ, которые такъ упорно инсинуируютъ здѣсь противъ правительствъ, гораздо лучше сдѣлали бы, если бы внесли предложеніе о вредѣ, наносимомъ переодѣтыми членами интернаціоналки!

— А еще полезнѣе было бы,—хладнокровно возразилъ Фарръ:—привести въ ясность вредъ, производимый переодѣтыми петролейщиками:

Я до сихъ поръ не могу себѣ объяснить тайны соперничества, постоянно высказывавшагося между Фарромъ и Левассёромъ. Быть можетъ, оба они когда-нибудь служили агентами сыскной полиціи, и поэтому между ними существовала застарѣлая вражда. Смятеніе, которое произвелъ этотъ „разговоръ“, было несказанно. Всѣ делегаты заговорили разомъ. Старикъ Кеттлé всталъ съ мѣста и простеръ руки въ знакъ мира и любви. Энгель язвительно посматривалъ на „разговаривающихъ“ и шепталъ: „also nun!“ какъ бы ожидая, что вотъ сейчасъ подадутъ шампанскаго. Корренти равнодушно напѣвалъ изъ „Pifferaro“:

Evviva la Franzia!
Evviva la libertà!

Но настоящимъ миротворцемъ явился Прокопъ.

— Господа!—обратился онъ къ спорящимъ: — прекратите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы здѣсь не для пререканій! Мы всегда рады иностраннымъ гостямъ и повеземъ васъ въ Москву, и даже въ Нижній, только ужъ вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы дѣлаемъ вамъ удовольствіе—и вы насъ почтите. Вы, господинъ Фарръ, постоянно задираете. Характеръ у васъ самый несносный. Вы поднимаете такіе вопросы, что еслибъ не уваженіе къ иностраннымъ гостямъ, то васъ давно ужъ слѣдовало бы отправить къ мировому. Скажите, развѣ это пріятно? Вы, можетъ быть, думаете, что вы въ Англіи — анъ нѣтъ, вы ошибаетесь, вы въ Россіи! У насъ нѣтъ

никакого инсулярнаго положенія, а потому мы ведемъ свою статистику на свой образецъ, какъ Богъ пошлетъ. Вотъ онъ (*указываетъ на меня*) сочинилъ карту питейныхъ домовъ—чего еще больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, господинъ Левассёръ! вы тоже! добрый вы малый, а вѣдь ахъ какъ и въ васъ эта французская жилка играетъ! Вотъ господинъ Энгель: сидитъ и молчитъ — чего лучше! Оттого-то нѣмцы васъ и побиваютъ! А вы — чуть что не по васъ — сейчасъ и вспыхнули! Порохъ! Подайте же другъ другу руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! не маленькіе. Намъ еще трудовъ по горло, завтра ужъ шестое засѣданіе, а вы словно пѣтухи какіе! Человѣкъ! шампанскаго!

Левассёръ первый и съ удивительнѣйшею развязностью протянулъ руку, но Фарръ упирался. Тогда мы начали толкать его впередъ и кончили, разумѣется, тѣмъ, что враги столкнулись. Произошло примиреніе, начались заздравные тосты, поднялся говоръ, смѣхъ — какъ будто никакихъ прискорбныхъ столкновеній и въ поминѣ не было. Среди этой суматохи я вспомнилъ, что на нашемъ пирѣ науки нѣтъ японцевъ.

— Господа!—сказалъ я:—изъ газетъ достовѣрно извѣстно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтобъ не сказать болѣе, что этихъ иностранныхъ гостей нѣтъ между нами. Я положительно требую отвѣта: отчего нѣтъ японцевъ на роскошномъ пирѣ статистики?

Но, увы! упущеніе было уже сдѣлано, а потому конгрессъ положилъ: „по поводу отсутствія господъ японцевъ выразить искреннее (искреннѣйшее! искреннѣйшее — вопили со всѣхъ сторонъ делегаты) сожалѣніе, поручивъ гг. Веретьеву и Кирсанову добыть японскихъ гостей и доставить ихъ къ слѣдующему засѣданію“.

Затѣмъ пробилъ адмиральскій часъ, мы бросились къ накрытымъ столамъ, и—клянусь честью—никогда калужское тѣсто не казалось мнѣ столь вкуснымъ, какъ въ этотъ достопамятный день!

Шестой день: осмотръ сфинксовъ, засѣданіе и обѣдъ въ Малоярославецкомъ трактирѣ (menu: стерляжья уха съ подовыми пирогами; солонина подъ хрѣномъ; гусь съ капустой; клюквенный кисель съ сытою). Послѣ обѣда—мытье въ Воронинскихъ баняхъ.

Осмотръ сфинксовъ прошелъ довольно холодно, быть можетъ потому, что предстоявшее засѣданіе слишкомъ живо затрогивало личные интересы конгрессистовъ. Въ этомъ засѣданіи предстояло окончательно рѣшить вопросъ объ учрежденіи постоянной коммисіи, то-есть опредѣлить, какія откроются по этому случаю новыя мѣста, и на кого падетъ жребій замѣстить ихъ. Но естественно, что коль скоро выступаютъ на сцену подобные жгучіе вопросы, то преній по поводу ихъ слѣдуетъ ожидать оживленныхъ и даже бурныхъ.

Но Прокопъ предусмотрѣлъ это, и потому еще не успѣли приступить къ преніямъ, какъ онъ уже распорядился поднести всѣмъ членамъ конгресса по большой рюмкѣ водки. Повидимому одна, хоть и большая, рюмка едва ли могла бы достигнуть желаемыхъ результатовъ, но Прокопъ очень основательно разсчиталъ, что эта *одна* рюмка послужитъ только введеніемъ, за которымъ значительное число конгрессистовъ, уже motu proprio, потребу-

ютъ по второй и третьей. И разсчетъ его оказался вѣрнымъ. Едва засѣданіе было провозглашено открытымъ, какъ уже бо́льшая часть бойцовъ очутилась внѣ боя. На аренѣ остались только самые упорные статистики или тѣ изъ конгрессистовъ, которые положили на водку зарокъ.

Засѣданіе открылось заявленіемъ Веретьева и Кирсанова, что принятыя ими мѣры къ отысканію японцевъ были безуспѣшны. Японцы дѣйствительно прибыли, и они даже напали на ихъ слѣдъ, но, какъ ни старались, ни разу не застали ихъ дома. Сколько могли они понять изъ объясненій прислуги, японскіе делегаты сами съ утра до вечера находятся въ тщетныхъ поискахъ за конгрессомъ; стало быть, остается только констатировать эту безплодную игру въ жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, что она представляетъ одинъ изъ прискорбнѣйшихъ фактовъ нашей современности.

Опредѣлено: „записать о семъ въ журналъ и еще разъ выразить искреннѣйшее сожалѣніе, что страна столь могущественная, дружественная и притомъ неуклонно стремящаяся къ возрожденію, не имѣла на конгрессѣ своего представителя“.

Затѣмъ, не теряя времени, мы приступили къ голосованію параграфовъ „Положенія о постоянной статистической коммиссіи“, редактированнаго Прокопомъ по соглашенію съ Кеттле́.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en nombre!—замѣтилъ Левассёръ, указывая на простертыя по диванамъ тѣла нашихъ соконгрессистовъ.

— Ну, чего еще тутъ „en nombre“! Пожалуйста, Карлъ Иванычъ, не вмѣшивайся ты, ради Христа!

Откуда узналъ Прокопъ имя и отчество Левассёра? какимъ образомъ и когда сошелся онъ съ нимъ на „ты“? Изумительно!

— Господа! терять времени нечего! а то наши проснятся и загалдятъ! Параграфъ премье́: „Для наблюденія за работами гг. статистиковъ, въ отношеніи къ ихъ успѣшности и правильности, учреждается постоянная статистическая коммисія, съ тѣми же правами, которыя присвоены международному статистическому конгрессу на время его собраній“... Ладно, что-ли?

— Прекрасно!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Параграфъ сегонъ: „Постоянная сія коммисія имѣетъ мѣстопребываніе въ столичномъ городѣ С.-Петербургѣ, въ Малоярославецкомъ онаго трактирѣ“...

— Противъ этого параграфа я имѣю сдѣлать возраженіе!—заявилъ Кирсановъ.

— Покороче, сдѣлай милость!

— Я буду кратокъ: кушанье въ Малоярославецкомъ трактирѣ обходится такъ дорого...

— Да гдѣ же ты въ другомъ мѣстѣ такихъ поросятъ найдешь?

— Я не говорю, что поросята дурны, но я утверждаю, что въ случаѣ необходимости можно удовольствоваться и не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что членами коммисіи могутъ быть люди семейные, для которыхъ далеко небезразлично, платить ли за порцію восемь гривенъ, или

тридцать копѣекъ. А между тѣмъ я знаю на углу Садовой и Вознесенскаго трактирчикъ г-жи Васильевой, гдѣ, во-первыхъ, помѣщеніе очень приличное, во-вторыхъ, кушанье подается недорогое и вкусное, и, въ-третьихъ, прислугѣ строго воспрещено произносить при гостяхъ ругательныя слова! Поэтому я полагалъ бы...

— Ну, къ Васильевой, такъ къ Васильевой!—не мнѣ придется дохлятину-то ѣсть! Я, братъ, завтра взялъ шапку, да и былъ таковъ! Параграѳъ „троазіемъ“, господа: „въ составъ коммисіи входятъ по одному представителю отъ каждой изъ пяти первостепенныхъ державъ, съ жалованьемъ по шести тысячъ рублей въ годъ; второстепенныя державы посылаютъ въ складчину по одному представителю отъ каждыхъ двухъ государствъ, съ жалованьемъ по мѣрѣ средствъ. На канцелярскіе расходы ассигнуется по десяти тысячъ рублей въ годъ, каковой расходъ относится на счетъ патентнаго сбора съ вольнопрактикующихъ статистиковъ“.

Корренти всталъ и довольно нагло потребовалъ принять Италію въ число первостепенныхъ государствъ. „Съ тѣхъ поръ,—говорилъ онъ,—какъ Римъ сдѣлался нашей столицей, непростительно даже сомнѣваться, что Италія признана быть рѣшительницей судебъ міра“. Но Прокопъ сразу осадилъ дерзкаго пришельца.

— Ну, братъ, это еще Улита ѣдетъ, когда-то будетъ!—сказалъ онъ ему, и этимъ мѣткимъ замѣчаніемъ увлекъ за собой все собраніе. Параграфъ 3-й былъ принятъ огромнымъ большинствомъ.

— Параграѳъ катріемъ е дернье: „Постоянная коммисія имѣетъ главный надзоръ за статистикой во всѣхъ странахъ міра. Она поощряетъ прилежныхъ и исправныхъ статистиковъ, нерадивыхъ же подвергаетъ надлежащимъ взысканіямъ. Сверхъ того, высшимъ мѣстамъ и учрежденіямъ она пишетъ доношенія и рапорты; съ равными мѣстами сносится посредствомъ отношеній; статистикамъ, получающимъ отъ казны содержаніе, даетъ предложенія; статистикамъ вольнопрактикующимъ посылаетъ указы и предписанія“.

Но не успѣли мы приступить къ голосованію послѣдняго параграфа, какъ случилось нѣчто поразительное. На лѣстницѣ послышался сильный шумъ, и въ залу засѣданій вбѣжалъ совершенно блѣдный и растерявшійся половой. Увидѣвъ его, Кеттле съ быстротою молніи ухватилъ первую попавшуюся подъ руки шапку и улизнулъ. Его примѣру хотѣли послѣдовать и прочіе иностранные гости (какъ послѣ оказалось—притворно), но было уже поздно: въ комнатѣ засѣданій стоялъ господинъ въ полицейскомъ мундирѣ, а изъ-за дверей выглядывали головы городовыхъ. Левассёръ съ какою-то отчаянною рѣшимостью отвернулся къ окну и произнесъ:—Alea jactta est.

— Господинъ отставной корнетъ Шелапутовъ!—провозгласилъ между тѣмъ господинъ въ полицейскомъ мундирѣ.

— Здѣсь!—отозвался Левассёръ, отдаваясь въ руки правосудія.

Мы такъ и ахнули.

Глава IX.

И такъ, этотъ статистическій конгрессъ, на который мы возлагали столько надеждъ, оказался лишь фальшивою декораціей, за которою скрывалась самая низкая подпольная интрига! Онъ былъ лишь средствомъ для занесенія нашихъ именъ въ списки сочувствующихъ, а оттуда—кто знаетъ?—быть можетъ, и въ книгу живота!

Можно себѣ представить, каково было удивленіе мое и Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сдѣлались членами интернаціоналки!

Вечеръ этого дня я провелъ у Менандра, и мы оба долго и горько плакали. Чтобъ утѣшить меня, онъ началъ читать корреспонденцію изъ Екатеринославля, въ которой чертами, можно сказать, огненными, описывались производимыя суслики опустошенія; но чтеніе это еще болѣе разстроило насъ.

— Неужели же нѣтъ никакихъ мѣръ противъ этихъ негодяевъ?—воскликнулъ я, самъ, впрочемъ, хорошенько не сознавая, о чемъ я говорю.

— Къ сожалѣнію, должно признаться, что такихъ мѣръ не существуетъ, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться, что еслибъ земскія управы взялись за дѣло энергически, то суслики давно были бы уничтожены! Я намѣренъ посвятить этой мысли не менѣе десяти передовыхъ статей.

Сказавъ это, онъ такъ глубокомысленно взглянулъ на меня, что я поскорѣе взялъ шапку и побѣжалъ куда глаза глядятъ.

Всю дорогу я бѣжалъ безъ всякой мысли. То-есть, коли хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мнѣ въ голову, но мысль самая странная, а именно: „къ сожалѣнію, должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться“ — и больше ничего. Это былъ своего рода дурацкій итальянскій мотивъ, который иногда по цѣлымъ часамъ преслѣдуетъ человѣка безъ всякаго участія со стороны его сознанія. Идетъ ли человѣкъ по тротуару, сидитъ ли въ обществѣ пѣнкоснимателей, читаетъ ли корреспонденцію изъ Пирятина —вдругъ гаркнетъ: „odiar ti!“ —и самъ не можетъ дать себѣ отчета, зачѣмъ и почему. Даже когда я легъ въ постель, то и тутъ послѣднею мыслью моею было: „къ сожалѣнію, должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться“...

Ночь я провелъ безпокойно, почти бурно. Во снѣ я припомнилъ, что программа этого дня осталась невыполненною, и что намъ слѣдовало еще ѣхать съ иностранными гостями въ Воронинскія бани. Поэтому я тотчасъ же перенесся фантазіей въ бани, и, увидѣвъ себя и иностранныхъ гостей обнаженными, почему-то сконфузился. Но въ то самое время, какъ я обдумывалъ, какъ бы устроить, чтобъ нагота моя была какъ можно меньше замѣтна, Левассёръ благимъ матомъ и на чистѣйшемъ россійскомъ діалектѣ завопилъ: „пару! ради Христа, еще пару!“ Тутъ только я понялъ гнусный обманъ, котораго были жертвою мы, простодушные провинціальные кадыки, и уже бросился съ вѣникомъ, чтобъ наказать наглаго интригана, какъ вдругъ передо мной, словно изъ-подъ земли, выросъ Менандръ. Онъ былъ тоже совершенно голый, но въ рукахъ его, вмѣсто вѣника, торчала кипа корреспонденцій, изъ

которыхъ на каждой огненными буквами были начертаны слова: „къ сожалѣнію, должно признаться“... Меня бросило въ потъ, и что было послѣ того —я ничего не помню...

Утромъ, едва успѣлъ я опомниться отъ страшнаго сна, какъ Прокопъ уже стоялъ передо мной.

— Ты пойми,—сказалъ онъ мнѣ:—вѣдь мы должны будемъ фигурировать въ этомъ дѣлѣ въ качествѣ дураковъ... то-бишь, свидѣтелей!

— Надѣюсь, однако, что мы не виноваты?—рискнулъ я возразить, самъ впрочемъ не вполнѣ увѣренный, виноватъ я или не виноватъ.

— Дожидайся, будутъ тебя спрашивать, виноватъ ты или не виноватъ! Былъ съ ними—и дѣло съ концомъ!

Тутъ я вспомнилъ мой разговоръ съ Левассёромъ на Марсовомъ полѣ, и чуть не посѣдѣлъ отъ ужаса. Припомнитъ онъ или не припомнитъ? Ахъ, дай-то, Господи, чтобъ не припомнилъ! Потому что ежели онъ припомнитъ... Господи! ежели онъ припомнитъ! Это нужды нѣтъ, что я ничего не говорилъ и даже убѣждалъ его оставить заблужденія, но вѣдь, пожалуй, онъ припомнитъ, что *онъ* говорилъ, и тогда...

— Да ты не наболталъ ли чего-нибудь?—спросилъ Прокопъ, замѣтивъ мое смущеніе.

— Ей Богу, я ничего не говорилъ! Но я... но мнѣ...

— Ну, братъ, плохое твое дѣло, коли такъ. *Онъ* припомнитъ. Я, братъ, самъ однажды Энгеля пьянаго домой на извозчикѣ подвозилъ, такъ и то вчера цѣлый вечеръ въ законахъ рылся: какому за сіе наказанію подлежу! Потому, припомнитъ—это вѣрно.

— Но позволь, душа моя, вѣдь ты же всю эту исторію затѣялъ! Ты съ ними меня свелъ! Ты приглашеніе мнѣ принесъ! Ты засѣданія устраивалъ! За что же я долженъ терпѣть?

— Мало чего нѣтъ! А ты вспомни, что ты еще прежде про статистику-то говорилъ! Вспомни, какъ ты перебиралъ: и того у насъ нельзя, и то невозможно, и за это въ кутузку... Нѣтъ, братъ, шалишь! Коли ужъ припоминать, такъ все припоминать! Пущай начальство видитъ!

— Позволь... но вѣдь не въ этомъ дѣло!

— Нѣтъ, братъ, ужъ припоминать, такъ припоминать! Карту-то насчетъ трактирныхъ заведеній кто составлялъ? а? Анъ карта-то, братъ, — вотъ она! (Прокопъ хлопнулъ рукой по боковому карману сюртука.)

— Но карта... что же она означаетъ?

— Тамъ, братъ, ужъ разберутъ. Тамъ всему мѣсто найдутъ. Нѣтъ, это ужъ не резонъ. Это, братъ, не по-товарищески!

— Но пожалуйста ты не думай, чтобъ я...

— Нечего тутъ „не думай“! Я и то не думаю. А по моему: вмѣстѣ блудили, вмѣстѣ и отвѣчать слѣдуетъ, а не отлынивать! Я виноватъ! скажите на милость! А кто меня на эти дѣла натравливалъ! Кто меня на дорогу-то на эту поставилъ! Нѣтъ, братъ, я самъ съ усамъ! Карта-то — вонъ она!

Словомъ сказать, гонимые страхами, мы вдругъ уподобились тѣмъ рыцарямъ современной русской журналистики, которые, не имѣя возможности

проникнуть въ „храмъ удовлетворенія“, накидываются другъ на друга и начинаютъ грызться: „нѣтъ ты!“ — „анъ ты!“

Разъ вступивши на скользкій путь сплетенъ и припоминаній, Богъ знаетъ до чего бы мы могли дойти, но, къ счастью, мы не успѣли еще пустить другъ другу въ лицо ни „хамами“, ни „клопами“, ни однимъ изъ тѣхъ эпитетовъ, которыми такъ богата „многоуважаемая“ редакція „Старѣйшей Русской Шѣнкоснимательницы“, какъ въ мой нумеръ влетѣлъ Веретьевъ.

— Берутъ!—ревѣлъ онъ, весело потирая руки.

Я поблѣднѣлъ; Прокопъ положительно упалъ духомъ.

— Кого?!

— Волохова, Рудина и Берсенева ужъ взяли... Кирсановъ — на волоскѣ!

— Но чему же вы радуетесь, Веретьевъ?

— Я чему радуюсь? Я? чему я радуюсь?!.. „Затишье“! Астаховъ! Маша! „Человѣкъ онъ былъ“! — а теперь что! Что я такое, спрашиваю я васъ! Утонула! Чорта съ два... вышла замужъ за Чертопханова! За Чертопханова—понимаете! „Башмаковъ еще не износила“!... Зачѣмъ жить? Зачѣмъ мнѣ жить, спрашиваю я васъ! Сибирь... каторга... по холодку! Вотъ тутъ!— закончилъ онъ, ударяя себя въ грудь:—тутъ!

Я зналъ, что Веретьевъ получилъ воспитаніе въ Бѣлобородовскомъ полку, и потому паясничества его никогда не удивляли меня. Иногда, вслѣдствіе общаго неприхотливаго уровня вкуса, они казались почти забавными, а въ глазахъ очень многихъ служили даже признакомъ несомнѣнной талантливости. Но въ эту минуту, признаюсь, мнѣ было досадно глядѣть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть одинъ разъ въ жизни не можете быть серьезнымъ, Веретьевъ?—укорилъ я его.

— Тебѣ, Веретьевъ, когда ты въ компаніи—цѣны нѣтъ! — присовокупилъ съ своей стороны Прокопъ: — мухой-ли прожужжать, сверчкомъ ли прокричать — на все ты молодецъ! Ну, а теперь, братъ, извини! теперь, братъ, слѣдовало бы и остепениться крошечку!

— Что жъ! можно и остепениться! Ну, спрашивайте! глазомъ не моргну!

Сказавши это, Веретьевъ вдругъ зажужжалъ на манеръ пчелы, но зажужжалъ такъ натурально, что мы съ Прокопомъ инстинктивно начали отмахиваться.

— Ахъ, чортъ подери! Это все ты, шутъ гороховый!—обозлился Прокопъ: — и охота намъ съ отчаяннымъ связываться! Да говори толкомъ, оглашенный, что такое случилось?

Быть можетъ, Веретьевъ и еще откинулъ бы нѣсколько фарсовъ, прежде нежели объяснить, въ чемъ дѣло, но, къ счастью для насъ, въ эту минуту пришелъ Кирсановъ. Онъ былъ видимо разстроенъ; чистенькое и блѣдное лицо его приняло желтоватые тоны, тонкія губы сжались; новенькій вицъ-мундирчикъ вздрагивалъ на его плечахъ.

— Господа! вы видите меня въ величайшемъ недоумѣніи, —началъ онъ

раздраженнымъ голосомъ: — не говоря уже о томъ, что я цѣлую недѣлю, неизвѣстно по чьей милости, былъ дѣйствующимъ лицомъ въ какой-то странной комедіи, но — что̀ важнѣе всего — въ настоящую минуту заподозрѣна даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинулъ насъ взглядомъ, которому онъ, по мѣрѣ силъ своихъ, старался придать олимпическій характеръ. Но Прокопа этотъ взглядъ, повидимому, нимало не смутилъ, такъ какъ онъ отвѣтилъ въ упоръ:

— Твоя благонадежность! Велика штука — твоя благонадежность! И мы заподозрѣны, и всѣ заподозрѣны! Его благонадежность! Есть о чемъ толковать!

— Да... но вѣдь я...—заикнулся Кирсановъ.

— И я... и ты... ну, да! Ну, и ты! Ты вспомни-ка, что̀ ты съ Базаровымъ, лежа на травѣ, разговаривалъ!

Блѣдное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.

— Конечно,—сказалъ онъ:—и я былъ молодъ, и я заблуждался; но кто же изъ насъ не былъ молодъ, кто не заблуждался! Мнѣ кажется, что въ смыслѣ политической благонадежности тѣ люди даже полезнѣе, которые когда-нибудь заблуждались, но потомъ оставили свои заблужденія! Эти люди, во-первыхъ, понимаютъ, въ чемъ заключаются такъ-называемыя заблужденія, и, во-вторыхъ, знаютъ сладость раскаянья. Поэтому мнѣ болѣе, нежели странно, что меня упрекаютъ прошлымъ, отъ котораго я самъ отвернулся съ тѣхъ поръ, какъ произошла эта исторія съ Ѳеничкой!

Но Прокопъ былъ неумолимъ.

— Толкуй, братъ, по пятницамъ!—отрѣзалъ онъ:—ужъ коли въ комъ разъ эта проказа засѣла, такъ никакими раскаяньями оттолѣ ее не выкуришь! Ты на конгрессѣ-то нашемъ что̀ проповѣдовалъ?

— Я всего одинъ разъ говорилъ, и то лишь для того, чтобы указать на трактиръ г-жи Васильевой, какъ на самое удобное мѣсто для засѣданій постоянной коммисіи!

— Ну, хорошо! ну, положимъ! Дѣйствительно, на конгрессѣ ты велъ себя скромно. А какъ ты во время эмансипаціи себя велъ?! Ты посредникомъ былъ—скажи, какъ ты себя велъ? а?

— Но мнѣ кажется, что въ видахъ общихъ интересовъ...

— Нѣтъ, ты не отлынивай, а отвѣчай прямо: какъ ты себя велъ! Вотъ они (Прокопъ указалъ на Веретьева и на меня)—никогда ничего объ нихъ не скажу! Вели себя какъ дворяне—а потому и благодарность имъ отъ всѣхъ (Прокопъ прикоснулся рукою къ землѣ!). Ну, а ты, братъ!.. Нѣтъ, ты съ душкомъ! Какъ ты къ дворянину-то выходилъ? въ какомъ видѣ? а? Какъ ты дворянъ-то на очныя ставки съ хамами ставилъ? а? „Вы, говоритъ, не имѣли права, на основаніи... а онъ, говоритъ, имѣетъ право, на основаніи“... а? Анъ вотъ оно и отозвалось! вотъ оно когда отозвалось-то!

— Но позвольте! ежели я и увлекался, то цѣли, которыя при этомъ одушевляли меня...

— Не говори ты мнѣ, ради Христа! Я вѣдь помню! я все помню!

Помню я, какъ ты меня съ Прошкой-то кучеромъ судилъ! Вѣдь я со стыда за тебя сгорѣлъ! Вотъ ты какъ судилъ!

Кирсановъ слегка поникъ головой, какъ бы сознавая, что передъ трибуналомъ Прокопа для него нѣтъ оправданій. Тогда я выступилъ впередъ, въ качествѣ миротворца.

— Позвольте, господа! позволь, мой другъ!—сказалъ я, мягко устраняя рукой Прокопа, который начиналъ уже подпрыгивать по направленію къ Кирсанову:—дѣло не въ пререканіяхъ и не въ томъ, чтобы воскрешать прошлое. Аркадій Павлычъ увлекался—онъ самъ сознаетъ это. Но это сознаніе и соединенное съ нимъ раскаяніе онъ подтвердилъ цѣлымъ рядомъ дѣйствій, характеръ которыхъ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. Еслибъ не быстрота, съ которою онъ вызвалъ воинскую команду въ деревню Проплёванную, то Богъ знаетъ, имѣлъ ли бы я удовольствіе бесѣдовать теперь съ вами. Стало быть, оставимъ рѣчь о прошломъ. Въ прошломъ, конечно, были грѣшки, но были и достославныя дѣйствія. Обратимтесь, господа, къ настоящему! Въ чемъ дѣло, Аркадій Павлычъ?

— А вотъ не угодно ли посмотрѣть!

И Кирсановъ подалъ бумагу, въ которой мы прочли: „коммисія по дѣлу объ эмиссарахъ: отставномъ корнетѣ Шалапутовѣ, пензенскомъ помѣщикѣ Капканчиковѣ съ товарищи, вызываетъ титулярнаго совѣтника Аркадія Павлова Кирсанова для дачи отвѣтовъ противъ показаній неслужащаго дворянина Берсенева“.

— Ну, попался!—воскликнулъ Прокопъ, и какъ-то особенно при этомъ свистнулъ.

— Но что же я сдѣлалъ? И что могъ, наконецъ, Берсеневъ...

— Тамъ, братъ, разберутъ... а что попался, такъ это вѣрно!

— Но почему же вы такъ тревожитесь, Аркадій Павлычъ? Вѣдь вы сознаете себя невиннымъ?

— Клянусь, что я...

— Охотно вамъ вѣрю. Но, можетъ быть, вы что-нибудь говорили? Можетъ быть, вы говорили... ну, что бы такое?.. ну, хоть бы, напримѣръ, что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсановъ задумался на минуту, какъ бы припоминая.

— Да... объ этомъ, кажется, была рѣчь,—наконецъ пропзнесъ онъ тихо.

— Ну, и пропалъ! Пиши письма къ роднымъ!

— Но позвольте, господа! Положимъ, что я говорилъ, глупости, но неужели же нельзя... даже въ частномъ разговорѣ... даже глупости...

Но оправданіе это было такъ слабо, что Прокопъ опровергъ его моментально.

— Говорить глупости ты можешь,—сказалъ онъ:—да не такія. Вы заберетесь куда-нибудь въ Фонарный переулокъ да будете отечество раздроблять, а на васъ смотри! Одинъ Семипалатинскую область оторветъ, другой въ Полтавскую губернію лапу засунетъ... Нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсановъ въ свою очередь озлился.

— Позвольте, однакожъ-съ! — сказалъ онъ: — если я не имѣю права говорить глупости, такъ и вы-съ... Помните ли, какъ вы однажды изволили говорить: „вотъ какъ бы вмѣсто Москвы да нашъ Амченскъ столицею сдѣлать“!..

— Ну, это ты врешь! Этого я не говорилъ! Ишь вѣдь что вспомнилъ! ахъ ты, сдѣлай милость! Да не то что одна коммисія, а десять коммисій меня позови—передо всѣми одинъ отвѣтъ: знать не знаю, вѣдать не вѣдаю! Нѣтъ, братъ, я вѣдь травленный! Меня тоже не скоро на кривой-то объѣдешь!

— Но я не къ тому веду рѣчь...

— Понимаю, къ чему ты ведешь рѣчь, только напрасно. Ты, коли хочешь, винись, а я не повинюсь! Хоть сто коммисій меня къ отвѣту позови—не говорилъ, и баста!

Распря эта не успѣла, однакожъ, разыграться, потому что въ комнату вошелъ совершенно растерянный Перерепенко.

— Представьте себѣ, меня обвиняютъ въ намѣреніи отдѣлить Миргородскій уѣздъ отъ Полтавской губерніи!—сказалъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Что такое? какъ?

— Да-съ! вы видите передъ собой измѣнника-съ! сепаратиста-съ! Я, который всѣмъ сердцемъ-съ!—говорилъ онъ язвительно:—и добро бы еще рѣчь шла объ Золотоношѣ! Ну, тутъ дѣйствительно еще былъ бы резонъ, потому что Золотоноша отъ Канева—рукой подать! Но Миргородъ! но Хороль! но Пирятинъ! но Кобеляки!

— Откуда же такая напраслина, Иванъ Иванычъ? Ужели Довгочхунъ...

— Признаюсь, у меня у самого первое подозрѣніе пало на Довгочхуна, но, къ сожалѣнію, Довгочхуновъ много и здѣсь. Не Довгочхунъ, а неслужащій дворянинъ Маркъ Волоховъ!

— Но развѣ вы имѣли неосторожность открыть ему ваши намѣренія?

— Нечего мнѣ было открывать-съ, потому что я, какъ родился безъ намѣреній, такъ и всю жизнь безъ намѣреній надѣюсь прожить-съ. А просто однажды господинъ Волоховъ попросилъ у меня взаймы три цѣлковыхъ, и я ему въ просьбѣ отказалъ! Онъ и тогда откровенно мнѣ высказалъ: „вспомню я когда-нибудь объ васъ, Иванъ Иванычъ!“ И вспомнилъ-съ.

— Донесъ, что-ли?

— Нѣтъ, не донесъ-съ. Книжечка у него такая была, въ которую онъ все записывалъ, что на умъ взбредетъ. Вотъ онъ и записалъ тамъ: „Перерепенко, Иванъ Иванычъ; имѣть въ виду, на случай отдѣленія Миргородскаго уѣзда“... Анъ книжечку-то эту у него нашли!

— Однако, это, чортъ возьми, штука скверная!—всполошился Прокопъ:—третьяго-дня этотъ шутъ гороховый Левассёръ говорилъ мнѣ: „Votre pays, monsieur, est un fichu pays!“—а я, чтобы не обидѣть иностраннаго гостя: да, говорю, Карлъ Иванычъ! есть-таки того... попахиваетъ! А ну, какъ онъ это въ книжку записалъ?

— И записалъ-съ!—вздохнулъ Перерепенко.

Мы всѣ вдругъ сосредоточились, какъ отправляющіеся въ дальній путь. Даже Веретьевъ уныло свистнулъ, вспомнивъ, какъ онъ когда-то нагрубилъ Астахову, который занималъ въ настоящее время довольно видный

постъ. Каждый старался перебрать въ умѣ всю жизнь свою... даже такую вполнѣ чистую и безупречную жизнь, какъ жизнь Перерепенки и Прокопа.

Я былъ скомпрометтированъ больше всѣхъ. Не говоря уже о признаніяхъ Шалапутова на Марсовомъ полѣ, о томъ, что я неоднократно подвозилъ его на извозчикѣ и ссудилъ въ разное время по мелочи суммою до десяти рублей, въ моемъ прошедшемъ былъ фактъ, относительно котораго я и самъ ничего возразить не могъ. Этотъ фактъ — „Маланья", повѣсть изъ крестьянскаго быта, которую я когда-то написалъ. Конечно, это было заблужденіе молодости, но нельзя себѣ представить, до какой степени живучи эти заблужденія! Вотъ, кажется, все забыто; прошедшее стерлось и какъ бы заплыло въ темной пучинѣ времени—анъ нѣтъ, оно не стерлось и не заплыло! Достаточно самаго ничтожнаго факта, случайнаго столкновенія, нечаянной встрѣчи —и опять все воскресло, задвигалось, засуетилось! забытые образы выступаютъ наружу, полинявшія краски оживаютъ; одна подробность вызываетъ другую, и канувшій въ вѣчность моментъ преступленія становится передъ вами во всей ослѣпительной ясности.

— Эге! да вѣдь это тотъ самый, который „Маланью" написалъ?

— „Маланью"! Что такое „Маланья"? Это не то ли, что Вергина на театрѣ представляетъ: „Маланья, русская сирота"... такъ кажется?

— Нѣтъ, „русская сирота" — это „Ольга". А „Маланья" — это... это... да это ужасъ что такое „Маланья"!

— И онъ написалъ „Маланью"!

— Онъ самый. И еще имѣетъ смѣлость оправдываться... excusez du peu!

Однимъ словомъ, „Маланья"—это родъ первороднаго моего грѣха...

Эти горькія размышленія были прерваны стукомъ въ дверь моего нумера. Какъ ни были мы приготовлены ко всякимъ случайностямъ, но стукъ этотъ всѣхъ насъ заставилъ вздрогнуть. Въ комнату развязно вошелъ очень изящный молодой человѣкъ, въ сюртукѣ военнаго покроя, вручилъ мнѣ, Прокопу и Веретьеву по пакету и, сказавъ, что въ восемь часовъ, какъ только стемнѣетъ, за нами пріѣдетъ карета, удалился.

Это былъ не сонъ, но нѣчто фантастичнѣе самого сна. Насъ было тутъ пять человѣкъ, не лишенныхъ Божьей искры,—и никому даже въ голову не пришло спросить, кто этотъ молодой человѣкъ, отъ кого онъ присланъ, въ силу чего призываютъ насъ къ отвѣту, почему, наконецъ, онъ не принимаетъ такъ-называемыхъ мѣръ къ пресѣченію способовъ уклоненія отъ суда и слѣдствія, а самымъ патріархальнымъ образомъ объявляетъ, что заѣдетъ за нами вечеромъ въ каретѣ, до тѣхъ же поръ мы обязываемся его ждать! Ни одинъ изъ этихъ вполнѣ естественныхъ вопросовъ не пришелъ намъ на мысль — до такой степени было сильно убѣжденіе, что мы виноваты и что „тамъ разберутъ"!

Это была уже вторая руководящая мысль, которая привела насъ къ путаницѣ. Во время статистическаго конгресса насъ преслѣдовало гордое убѣжденіе, что мы не лыкомъ шиты; теперь оно смѣнилось другимъ, болѣе смиреномудреннымъ убѣжденіемъ: мы виноваты, а тамъ разберутъ. Въ обоихъ случаяхъ основу представляло то чувство неизвѣстности, которое всякіе сюрпризы дѣлаетъ возможными и удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнивъ о происшествіи, когда-то случившемся на Рогожскомъ кладбищѣ, гдѣ тоже пріѣхали неизвѣстные мужчины, взяли кассу и уѣхали... Мы терпѣливо просидѣли у меня въ нумерѣ до вечера. Въ восемь часовъ ровно, когда зажглись на улицѣ фонари, за нами явилась четверомѣстная карета, намъ завязали глаза и повезли.

Мы ѣхали что-то очень долго (шутники очевидно колесили съ намѣреніемъ). Несмотря на то, что мы сидѣли въ каретѣ одни — провожатый нашъ сѣлъ на козлы рядомъ съ извозчикомъ — никто изъ насъ и не думалъ снять повязку съ глазъ. Только Прокопъ, однажды приподнявъ украдкой краешекъ, сказалъ: „кажется, черезъ Троицкій мостъ сейчасъ переѣзжать станемъ“ — и опять привелъ все въ порядокъ. Наконецъ карета остановилась, насъ куда-то ввели и развязали глаза.

Клянусь честью, мнѣ сейчасъ же пришло на мысль, что мы въ трактирѣ (и дѣйствительно, мы были въ Hôtel du Nord на Офицерской): до такой степени комната, въ которой мы очутились, всей обстановкой напоминала трактиръ средней руки—до того она была переполнена всевозможными трактирными испареніями! Я обонялъ запахъ жаренаго лука, смѣшанный съ запахомъ помоевъ; я видѣлъ лампу съ захватаннымъ пальцами шаромъ, лампу, которая, казалось, сама говорила: „нигдѣ, кромѣ трактира, я висѣть не могу“; я ощущалъ подъ собой стулъ съ прорванною клеенкой, стулъ, на которомъ смѣнилось столько поколѣній... но и за всѣмъ тѣмъ мысль, что я виноватъ и что „тамъ разберутъ“, пересилила всѣ соображенія.

Мы были тутъ всѣ. Всѣ, участвовавшіе въ злосчастномъ статистическомъ конгрессѣ! Большинство было свободно, но „иностранные гости“, а также и Рудинъ, и Волоховъ были въ кандалахъ. Но какъ легко и даже весело они переносили свое положеніе! Они смѣялись, шутили, а одну минуту мнѣ даже показалось, что они перемигиваются съ нашими судьями. Но, увы! тогда я приписалъ эту веселость гражданскому мужеству, и только когда Прокопъ, толкнувъ меня подъ бокъ, шепнулъ: — Ну, братъ, ау! Надѣются, подлецы, —стало быть, важныя показанія дали!—Я нѣсколько дрогнулъ и измѣнился въ лицѣ.

Судьи сидѣли за столомъ, накрытымъ бѣлою скатертью. Ихъ было шесть человѣкъи, всѣ шестеро—молодые люди; передъ каждымъ лежалъ листъ чистой бумаги. Опять-таки клянусь, что и молодость судей не осталась незамѣченною мной, и я, конечно, съумѣлъ бы вывести изъ этого замѣчанія надлежащее заключеніе, еслибъ Прокопъ, по своему обыкновенію, вновь не спуталъ меня.

— Молодые!—шепнулъ онъ мнѣ:—гдѣ ѣдятъ, тамъ и судятъ! Ну, эти, братъ, не простятъ! эти засудятъ! Это не то что старики! Тѣ, бывало, оборвутъ—и отпустятъ; ну, а эти — шалишь! „Comment allez-vous?“ „Садитесь, не хотите ли чаю?“—и сейчасъ тебя въ кутузку!

Намъ сдѣлали перекличку; всѣ оказались на-лицо. Затѣмъ кандальныхъ куда-то увели. а одинъ изъ судей (увы! онъ разыгрывалъ презуса!) всталъ и обратился къ намъ съ рѣчью:

— Господа! вы обвиняетесь въ весьма тяжкомъ преступленіи, и только

вполнѣ чистосердечное раскаянье можетъ облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно васъ очень непріятны, но насъ подкрѣпляетъ чувство долга — и мы останемся вѣрны ему. Вы, господа, не усомнившіеся вступить въ самый гнусный изъ всѣхъ заговоровъ, вы, конечно, не можете понять это святое чувство, но мы... мы понимаемъ его! Тѣмъ не менѣе мы очень хорошо сознаемъ, что ваше положеніе не изъ пріятныхъ, и потому постараемся по возможности облегчить его. Покуда вы не осуждены закономъ — вы наши гости, messieurs! Объ одномъ только мы просимъ васъ: будьте чистосердечны. Будьте увѣрены, что мы уже *все* знаемъ, и ежели настоящее слѣдствіе имѣетъ мѣсто, то для того только, чтобы дать вамъ случай раскаяться и быть чистосердечными. Я сказалъ, господа. Теперь господинъ производитель дѣлъ отведетъ васъ, за исключеніемъ господина Кирсанова, въ особенную комнату и велитъ подать вамъ по стакану чаю. Прощайте, господа. Г. Кирсановъ! вы останетесь здѣсь для допроса!

Насъ заперли въ сосѣдней комнатѣ и подали чаю. Клянусь, что я гдѣ-то видѣлъ человѣка, который въ эту минуту разносилъ намъ чай (потомъ оказалось, что онъ служилъ недавно половымъ въ „Старомъ Пекинѣ“ !).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пяти-шести минутъ, какъ потребовали Веретьева, потомъ Лаврецкаго, Перерепенку, Прокопа и наконецъ меня. Признаюсь откровенно, я чувствовалъ себя очень неловко! ахъ, какъ неловко!

— Вы писали „Маланью“?—спросилъ меня лже-презусъ.

— Я-съ.

— И сознаете себя виновнымъ?

— То-есть... изволите видѣть... я не желалъ... въ строгомъ смыслѣ, я даже хотѣлъ воспрепятствовать...

— Безъ околичностей-съ. Отвѣчайте прямо и откровенно: виноваты?

— Виноватъ-съ.

— Ah! c'est grave!—произнесъ сбоку одинъ изъ лже-судей, рисовавшій на бѣломъ листѣ домикъ, изъ трубы котораго вьется дымокъ.

Я, въ полномъ смыслѣ этого слова, растерялся.

— Теперь извольте говорить откровенно: ѣздили ли вы 2-го августа на извозчикѣ съ шарманщикомъ Корподибакко, присвоившимъ себѣ фамилію почтеннаго члена международнаго статистическаго конгресса Корренти? не завозили ли вы его въ домъ № 30-й на Канонерской улицѣ?

— Не... не помню...

— Извольте говорить откровенно. Вспомните, что только полное чистосердечіе можетъ смягчить вашу участь.

— Кажется.... нѣтъ... кажется... ѣздилъ-съ!

— Безъ „кажется“-съ. Извольте говорить откровенно.

— Ѣздилъ-съ.

— Знали ли вы. что въ этомъ домѣ живетъ преступникъ Рудинъ, что Корренти ѣхалъ именно къ нему, чтобъ условиться насчетъ плана всесвѣтной революціи?

— Нѣтъ-съ, не зналъ.

— Говорите откровенно! не опасайтесь!

— Ей-Богу, ваше превосходительство, не зналъ.

— Пригласите сюда господина Корподибакко!

Загремѣли кандалы. Корподибакко, тяжело дыша, всталъ рядомъ со мною.

— Уличайте его.

— И вы можетъ мнѣ сказаль, что вы не зналь? — обратился ко мнѣ Корподибакко:—oh, maladetto russo! Я бѣдна, нешастна итальяницъ — и я такъ не скажу, ишто вы сичасъ говориль!

— Что можете вы сказать противъ этой улики?

— Рѣшительно ничего. Я даже въ первый разъ слышу о всесвѣтной революціи!

— Хорошо-съ. Ваше упорство будетъ принято во вниманіе. Корподибакко, вы можете уйти. Прикажите дать стаканъ чаю господину Корподибакко!

Корподибакко вдругъ грохнулся на колѣна, воздѣлъ руки и воскликнулъ:—Pietà, signori!

— Вотъ, сударь, примѣръ раскаянья теплаго, невынужденнаго! Стыдитесь!—обратился ко мнѣ одинъ изъ лже-судей, указывая на Корподибакко.

— Ну-съ, теперь извольте говорить откровенно: какого рода разговоръ имѣли вы на Марсовомъ полѣ съ отставнымъ корнетомъ Шалапутовымъ?

Я окончательно смутился. „Вотъ оно!“—мелькнуло у меня въ головѣ: „оно самое!“

— Мнѣ кажется,—пробормоталъ я: — онъ говорилъ, что не любитъ войны...

— Еще-съ!

— Еще-съ... нѣтъ... кажется... гм, да... именно, онъ, кажется, говорилъ, что у него была непріятность съ Тьеромъ.

— Еще-съ!

— Что господинъ Фарръ—переодѣтый агентъ-съ...

— Къ дѣлу-съ. Извольте приступить къ дѣлу-съ.

— Что онъ служилъ въ коммунѣ...

— Ah! c'est grave!—произнесъ опять лже-судья, рисовавшій домикъ.

— Ну-съ, а вы что ему говорили?

— Я-съ... ничего-съ... онъ былъ такъ пьянъ...

— Ну, въ такомъ случаѣ я самъ припомню вамъ, что вы говорили. Вы говорили, что вмѣсто того, чтобы разрушать домъ Тьера, слѣдовало бы разрушить домъ Вяземскаго на Сѣнной площади-съ! Вы говорили, что вмѣсто того, чтобы изгонять „этихъ дамъ“ изъ Парижа, слѣдовало бы очистить отъ нихъ бель-этажъ Михайловскаго театра-съ! Еще что вы говорили?

— Не... не... не помню...

— Вы говорили, что постараетесь скрыть его отъ преслѣдованій! Вы обѣщали ему покровительство и поддержку! Вы, наконецъ, объявили, что полагаете положить въ Россіи начало революціи введеніемъ обязательнаго оспопрививанія! Что вы можете на это сказать?

— Рѣшительно... нѣтъ... то-есть... нѣтъ, рѣшительно не припомню!

— Позвать сюда Шалапутова!

Опять загремѣли кандалы; но Шалапутовъ не вошелъ, а вбѣжалъ, и съ такою яростью напустился на меня, что я даже изумился.

— Вы не говорили? вы?!—кричалъ онъ:—вы лжецъ, позвольте вамъ сказать! Когда я вамъ сказалъ, что моя жена петролейщица—что вы отвѣтили мнѣ? Вы отвѣтили: „вотъ къ намъ бы этакихъ штучекъ пятокъ-побольше!“ Когда я изложилъ передъ вами мои планы—что вы сказали мнѣ? Вы сказали: „всѣ эти планы хороши за границей а для насъ, русскихъ, совершенно достаточно, если мы добьемся обязательнаго оспопрививанія“. Вотъ что вы отвѣтили мнѣ!

— Но мнѣ кажется, что обязательное оспопрививаніе...—заикнулся я.

— Не о томъ рѣчь, что вамъ „кажется“, государь мой! — строго прервалъ меня лже-презусъ:—а о томъ, говорили ли вы, или не говорили?

Говорилъ я, или не говорилъ? Говорилъ ли я, что слѣдуетъ очистить бель-этажъ Михайловскаго театра отъ *этихъ дамъ*? Говорилъ ли я о пользѣ оспопрививанія? Кто жъ это знаетъ? Можетъ быть, и дѣйствительно говорилъ! Все это какъ-то странно перемѣшалось въ моей головѣ, такъ что я рѣшительно пересталъ различать ту грань, на которой кончается *простой* разговоръ и начинается разговоръ *опасный*. Поэтому я рѣшился на все махнуть рукой и сознаться.

— Говорилъ!—произнесъ я совершенно твердо.

— A la bonne heure! Можете идти, господинъ Шалапутовъ! Дайте стаканъ чаю господину Шалапутову!

Шалапутовъ, гремя, удалился.

— Ну-съ, допросъ конченъ,—обратился ко мнѣ лже-презусъ:—и если бы вы не запятнали себя запирательствомъ по показанію Корподибакко...

— Помилуйте, ваше превосходительство! но вѣдь онъ, наконецъ, свинья! — воскликнулъ я дрожащимъ отъ волненія голосомъ, въ которомъ звучала такая нота искренности, что сами лже-судьи—и тѣ были тронуты.

— Гм, свинья... это конечно... это даже весьма можетъ быть! — сказалъ лже-презусъ:—но скажите, вы развѣ не употребляете свинины?

— Употребляю-съ.

— Ну, и мы употребляемъ. Къ сожалѣнію, свиньи покамѣстъ еще необходимы. C'est triste, mais c'est vrai! Не знаете ли вы за собой еще какихъ-нибудь преступленій?

Услышавъ этотъ вопросъ, я вдругъ словно въ ражъ впалъ.

— Одинъ изъ моихъ товарищей, — сказалъ я, — предлагалъ Москву упразднить, а вмѣсто нея сдѣлать столицею Мценскъ. И я раздѣлялъ это заблужденіе!

— Дальше-съ!

— Другой мой товарищъ предлагалъ отдѣлить отъ Россіи Семипалатинскую волость. И я одобрялъ это предложеніе.

— Дальше-съ!

— Еще-съ... болѣе, ваше превосходительство, ничего за собой не имѣю!

— Довольно для васъ.

Лже-презусъ всталъ, направился къ двери направо и спросилъ:—Готово? Изнутри послышался отвѣтъ:—Готово.

— Потрудитесь войти въ эту комнату!

. . . . . .

Я и до сихъ поръ не могу опомниться отъ стыда!

. . . . . .

Изъ *этой* комнаты я перешелъ въ слѣдующую, гдѣ нашелъ Прокопа, Кирсанова и прочихъ, уже прошедшихъ сквозь искусъ. Всѣ были унылы и какъ бы стыдились. Лаврецкій попробовалъ-было начать разговоръ о томъ, какъ дороги въ Петербургѣ ces petits colifichets, которые въ Парижѣ пріобрѣтаются почти задаромъ, но изъ этого ничего не вышло.

Дальнѣйшіе допросы пошли еще живѣе. Въ нашу комнату поминутно прибывали тетюшскіе, новооскольскіе и другіе депутаты, которыхъ очевидно спрашивали только для проформы. Повидимому они даже черезъ комнату „искуса“ проходили безостановочно, потому что являлись къ намъ совершенно бодрые и веселые. Мало-по-малу общество наше до того оживилось, что Прокопъ при всѣхъ обратился къ Кирсанову:

— А вѣдь ты, поросенокъ, не утерпѣлъ, чтобъ про Амченскъ-то не сказать!

Кирсановъ слегка покраснѣлъ, но отвѣтить не рѣшился.

Наконецъ, въ половинѣ одиннадцатаго, двери отворились и насъ пригласили въ залу, гдѣ уже былъ накрытъ столъ на сорокъ кувертовъ, по числу судей и обвиненныхъ.

— Ну-съ, господа!—сказалъ лже-презусъ:—мы исполнили свой долгъ, вы—свой. Но мы не забываемъ, что вы такіе же люди, какъ и мы. Скажу болѣе: вы наши гости, и мы обязаны позаботиться, чтобъ вамъ было не совсѣмъ скучно. Теперь, за кускомъ сочнаго ростбифа и за стаканомъ добраго вина, мы можемъ вполнѣ беззаботно предаться бесѣдѣ о тѣхъ самыхъ проектахъ, за которые вы находитесь подъ судомъ. Человѣкъ! ужинать! и вдоволь шампанскаго!

И дѣйствительно, лже-судьи, разомъ сбросивши декорумъ, оказались добрѣйшими малыми. Они такъ блягировали, что даже Шалапутова —и того заткнули за поясъ. Въ довершеніе всего, дозволили снять съ кандальныхъ кандалы, что, разумѣется, произвело фуроръ и сразу пріобрѣло имъ съ нашей стороны популярность. Шампанское лилось рѣкою; Шалапутовъ разсказывалъ, какъ онъ ѣздилъ въ Ирландію и готовился, вмѣстѣ съ феніями, сдѣлать вылазку въ Англію; Корподибакко увѣрялъ, что онъ былъ другомъ Мадзини и разошелся съ нимъ только потому, что Мадзини до конца жизни оставался упорнымъ католикомъ. Тосты слѣдовали одинъ за другимъ.

— За Гарибальди!—провозгласилъ лже-судья, рисовавшій домики.

— За Гамбетту!—отвѣтилъ ему лже-презусъ.

— За нашего губернатора!—скромно поднялъ бокалъ Кирсановъ.

Словомъ сказать, всѣ одушевились и совершенно позабыли, что часъ тому назадъ... Но едва было двѣнадцать (впослѣдствіи оказалось, что Hôtel du Nord въ этотъ часъ запирается), какъ на кандальниковъ вновь надѣли кандалы и увезли. Съ насъ же, прочихъ подсудимыхъ, взыскали издержки судопроизводства (по пятнадцати рублей съ человѣка) и, завязавъ намъ глаза, развезли по домамъ.

— Господа! завтра опять допросъ въ тѣ же часы! — весело сказалъ намъ лже-презусъ: — мы не арестуемъ васъ, и вполнѣ полагаемся на ваше честное слово, что вы не выйдете изъ вашихъ квартиръ!

— Позвольте мнѣ вотъ съ нимъ! — попросилъ Прокопъ, указывая на меня.

— Можете-съ.

Затѣмъ было дано еще нѣсколько разрѣшеній совмѣстнаго жительства, что̀ возбудило новый фуроръ и новую популярность.

На другой день опять допросъ и ужинъ — съ тою же обстановкой. На третій, на четвертый день и такъ далѣе—то же. Наконецъ на седьмой день мы такъ вклепались другъ въ друга и того сами на себя наболтали, что хоть всѣхъ на каторгу, такъ впору. Въ тотъ же день намъ было объявлено, что хотя мы по прежнему остаемся заарестованными на честномъ словѣ въ своихъ квартирахъ, но совмѣстное жительство уже не допускается.

Когда я брался за шляпу, производитель дѣлъ таинственно отвелъ меня въ сторону и до крайности благожелательно сказалъ:

— Знаете, а вѣдь ваше дѣло очень плохо!

— Неужели?

— Такъ плохо, что самое малое что̀ васъ ожидаетъ — это семь лѣтъ каторги. Развѣ ужъ очень искусный адвокатъ выхлопочетъ снисхожденья минутъ на пятнадцать!

— Это ужасно!

— Что̀ дѣлать! Ужъ я старался—ничего не подѣлаешь! То-есть, коли хотите, оно можно...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Можно-то можно, только вотъ видите ли... подмазочка тутъ нужна!

— Но сколько? скажите!

Производитель дѣлъ съ минуту подумалъ, пошевелилъ пальцами, какъ бы разсчитывая, сколько кому нужно, и наконецъ произнесъ:

— Вы стами тысячъ можете располагать?

Я даже затрясся весь.

— Сто тысячъ! да у меня и всего-то пять билетовъ 2-го внутренняго съ выигрышами займа... на всю жизнь, понимаете? Сто тысячъ! да ежели я въ сентябрѣ не выиграю, по малой мѣрѣ, сорокъ тысячъ — я пропалъ!

— Ну, въ такомъ случаѣ дайте хоть два билета!

— Два — съ удовольствіемъ! Съ величайшимъ удовольствіемъ! Два билета—и я буду совершенно чистъ?!

— Чисты какъ алмазъ—ручаюсь. Такъ завтра утромъ я буду у васъ.

— О! съ удовольствіемъ! съ величайшимъ удовольствіемъ!

Мы крѣпко пожали другъ другу руки и разстались.

Это была первая ночь, которую я спалъ спокойно. Я не видѣлъ никакихъ сновъ и ничего не чувствовалъ, кромѣ благодарности къ этому скромному молодому человѣку, который вмѣсто ста тысячъ удовольствовался двумя билетами и даже не отнялъ у меня всѣхъ пяти, хотя я самъ сознался въ обладаніи ими. На другой день утромъ все было кончено. Я отдалъ билеты,

и получилъ обѣщаніе, что еще два, три допроса — и меня не будутъ больше тревожить.

Но вотъ наступилъ вечеръ — кареты нѣтъ. Пришелъ и другой вечеръ — опять нѣтъ кареты. Я начинаю безпокоиться и даже скучать. На третій вечеръ — опять нѣтъ кареты. Это дѣлается уже невыносимымъ.

Бродя въ тоскѣ по комнатѣ, я припоминаю, что меня, между прочимъ, обвиняли въ пропагандѣ идеи оспопрививанія — и вдругъ обуреваюсь желаніемъ высказать гласно мои убѣжденія по этому предмету.

— Напишу статью, — думалъ я: — Менандръ тиснетъ, а при нынѣшней свободѣ книгопечатанія, чего добраго, она даже и пройдетъ. Тогда сейчасъ оттискъ въ карманъ — и въ судъ. Вы меня обвиняете въ пропагандѣ оспопрививанія — вотъ мои убѣжденія по этому предмету! они напечатаны! я не скрываю ихъ!

Задумано — сдѣлано. Посыльный летитъ къ Менандру съ письмомъ: „Любезный другъ! ты знаешь, какъ горячо я всегда принималъ къ сердцу интересы оспопрививанія, а потому не желаешь ли, чтобъ я написалъ для тебя объ этомъ предметѣ статью?“ Черезъ часъ отвѣтъ: „Ты знаешь, мой другъ, что наша газета затѣмъ собственно и издается, чтобы распространять въ обществѣ здравыя понятія объ оспопрививаніи! Пиши! сдѣлай милость пиши! Статья твоя будетъ украшеніемъ столбцовъ“ и т. д.

Стало быть, за перо. Но тутъ на первыхъ же порахъ — затрудненіе. Нѣкоторые полагаютъ, что оспопрививаніе было извѣстно задолго до Рождества Христова; другіе утверждаютъ, что незадолго; третьи, наконецъ, полагаютъ, что открытіе это сдѣлано лишь послѣ Рождества Христова. Кто правъ, — до сихъ поръ неизвѣстно. Опять мчится посыльный къ Менандру: слѣдуетъ ли упоминать объ этомъ въ статьѣ? Черезъ часъ отвѣтъ: слѣдуетъ говорить обо всемъ. И о томъ, что было до Рождества Христова, и о томъ, что было по Рождествѣ Христовѣ, и о томъ, что неизвѣстно. Потому что статья будетъ выглядѣть солиднѣе. „Да загляни, сдѣлай милость, въ Китай: мнѣ сказывалъ Нескладинъ, что тамошняя цивилизація — это прелесть что такое!“ Ну, что жъ! въ Китай — такъ Китай! Сейчасъ посыльнаго къ Мелье — и черезъ полчаса на столѣ лежитъ уже книжица, въ которой самымъ обстоятельнымъ образомъ доказывается, что въ Китаѣ и оспопрививаніе, и порохъ были извѣстны гораздо ранѣе, нежели въ Европѣ, но только они прививали оспу совсѣмъ не туда, куда слѣдуетъ. Припоминаю по этому случаю пословицу: заставь дурака Богу молиться — онъ лобъ расшибетъ, надписываю ее въ видѣ эпиграфа къ статьѣ, сажусь и съ Божею помощью пишу.

Но для меня написать статью объ оспопрививаніи — все равно, что плюнуть въ порожнее мѣсто. Къ тремъ часамъ моя работа была ужъ готова и отослана къ Менандру съ запросомъ такого содержанія: „Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делія? Кажется, теперь самое время для подобныхъ статей?“ Черезъ часъ отвѣтъ: „Сдѣлай милость! Твое сотрудничество драгоцѣнно, потому что ты одинъ знаешь, когда, что и какъ сказать. Всѣ пѣнкоснимателя въ эту минуту въ сборѣ въ моей квартирѣ, и всѣ въ восторгѣ отъ твоей статьи. Завтра, рано утромъ, „Старѣйшая Русская Пѣнкоснимательница“ будетъ у тебя на столѣ съ *привитою оспою*“.

Опять въ руки перо — и къ вечеру статья готова. Рано утромъ на другой день она была уже у Менандра съ новымъ запросомъ: „Не написать ли еще статью: „Можетъ ли быть совмѣщенъ въ одномъ лицѣ промыселъ огородничества съ промысломъ разведенія козловъ?“ Кажется, теперь самое время?“ Къ полудню — отвѣтъ: „Сдѣлай милость! присылай скорѣе!“

Такимъ образомъ, въ теченіе семи дней, кромѣ поименованныхъ выше статей, я сочинилъ еще четыре, а именно: „Геморрой—русская ли болѣзнь?“, „Нравы и обычаи летучихъ мышей“, „Единокровные и единоутробные предъ лицомъ римскаго законодательства“, и „Нѣсколько словъ о значеніи и происхожденіи выраженія: гомерическій смѣхъ“. На восьмой день я занялся собираніемъ матеріаловъ для двухъ другихъ обширныхъ статей, а именно: „Церемоніалъ при погребеніи великаго князя Трувора“ и „Какъ слѣдуетъ понимать легенду о сожженіи великою княгинею Ольгою древлянскаго города Коростеня?“. Статьи эти я полагалъ помѣстить въ „Вѣстникѣ Пѣнкоснимательства“, снабдивъ ихъ нѣкоторыми намеками на текущую современность.

Во всѣхъ семи напечатанныхъ статьяхъ моихъ оказалось четыре тысячи строкъ, за которыя я получилъ, считая по пятиалтынному за строку, шестьсотъ рублей серебромъ-съ! Да ежели еще „Вѣстникъ Пѣнкоснимательства“ рублей по двѣсти за листъ отвалитъ (въ обѣихъ статьяхъ будетъ не менѣе десяти листовъ)—анъ сколько денегъ-то у меня будетъ!

Я упивался моей новой дѣятельностью, и до того всецѣло предался ей, что даже забылъ и о своемъ заключеніи, и о томъ, что вотъ уже десятый день, а никто меня никуда не требуетъ и никакой резолюціи по моему дѣлу не объявляетъ. Есть нѣчто опьяняющее въ положеніи публициста, изслѣдующаго вопросъ о происхожденіи Деліи. И хочется „пролить новый свѣтъ“, и жутко. Хочется сказать: нѣтъ, г. Сури (авторъ статьи „La Delia de Tibule“, помѣщенной въ „Revue des deux Mondes“ 1872-го года), вы ошибаетесь! —и въ то же время боишься: а ну, ежели я самъ совралъ? А соврать немудрено, ибо что̀ такое, въ сущности, русскій публицистъ?—это не что иное, какъ простодушный обыватель, которому попалась подъ руку „книжка“ (всего лучше, если маленькая), и у котораго есть твердое намѣреніе получить по пятиалтынному за строчку. Нѣтъ ли на свѣтѣ другихъ такихъ же книжекъ —онъ этого не знаетъ, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись подъ руку „другія“ книжки, онѣ только собьютъ его съ толку, загромоздятъ память матеріаломъ, съ которымъ онъ никогда не справится, —и статьи не выйдетъ никакой. То ли дѣло — „одна книжка“! Тутъ остается только прочесть, „смекнуть“ — и ничего больше. И вотъ онъ смекаетъ, смекаетъ—и чѣмъ больше смекаетъ, тѣмъ шире становятся его горизонты. Наконецъ, статья, съ Божьею помощью, готова, и въ ней оказывается двѣнадцать столбцовъ, по пятидесяти строчекъ въ каждомъ. Положите-ка по пятиалтынному-то за строчку—сколько тутъ денегъ выйдетъ!

Одно опасно: наврешь. Но и тутъ есть фортель. Не знаешь—ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой. „Нѣкоторые полагаютъ“, „другіе утверждаютъ“, „существуетъ мнѣніе, едва ли, впрочемъ, правильное“, или „повидимому, довольно правильное“ — да мало ли еще какіе обороты рѣчи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли „существуетъ мнѣніе“,

что оспопрививаніе было извѣстно задолго до Рождества Христова? Ну, было извѣстно—и Христосъ съ нимъ!

Или еще фортель. Если сталъ втупикъ, если чувствуешь, что языкъ у тебя начинаетъ коснѣть—пиши смѣло: „объ этомъ поговоримъ въ другой разъ“—и затѣмъ молчокъ! Вѣдь читатель не злопамятенъ; не скажетъ же онъ: „а ну-ка поговори! поговори-ка въ другой-то разъ—я тебя послушаю!“ Такъ это дѣло изморомъ и кончится...

И такъ, работа у меня кипѣла. Ложась на ночь, я представлялъ себѣ двухъ столоначальниковъ, встрѣчающихся на Невскомъ.

— А читали ли вы, батюшка, статью: „Можетъ ли быть совмѣщенъ въ одномъ лицѣ промыселъ огородничества съ промысломъ разведенія козловъ?“—спрашиваетъ одинъ столоначальникъ.

— Еще бы!—восклицаетъ другой.

— Вотъ это статья! какой свѣтъ-то проливаетъ! Директоръ у насъ отъ нея безъ ума. „Дочери, говоритъ, дочери прикажу прочитать!“

Сердце мое начинаетъ играть, животъ колышется и все мое существо наполняется сладкимъ ликованіемъ...

Но на одиннадцатый день чувство дѣйствительности, все-таки, заявило о правахъ своихъ. Нельзя безнаказанно, въ теченіе семи дней сряду, не выходя изъ нумера, предаваться изнурительнымъ изслѣдованіямъ о церемоніалѣ при погребеніи великаго князя Трувора. Поэтому вопросъ: отчего столько дней за мной нѣтъ кареты? — вдругъ всталъ передо мной со всею ясностью.

Я помнилъ, что я арестованъ, и нарушить даннаго слова отнюдь не хотѣлъ. Но вѣдь могу же я въ корридорѣ погулять? Могу или не могу?... Борьба, которую возбудилъ этотъ вопросъ, была тяжела и продолжительна, но наконецъ инстинктъ свободы восторжествовалъ. Да, я могу выйти въ корридоръ, потому что мнѣ этого никто даже не воспрещалъ. Но едва я высунулъ носъ за дверь, какъ увидѣлъ Прокопа, несущагося по корридору на всѣхъ парусахъ.

— Вотъ такъ штука!—кричалъ онъ мнѣ издали:—вотъ это—штука!

— Что̀ такое случилось?

— А то и случилось, что никакой коммисіи нѣтъ и не бывало!

— Ты врешь, душа моя!

— Нѣтъ и не бывало. Ни конгресса, ни коммисіи—ничего!

— Да говори толкомъ, что̀ случилось?

— Случилось вотъ что̀. Сижу я сегодня у себя въ нумерѣ, и думаю: странное дѣло, однакожъ! одиннадцатый день кареты нѣтъ! Скука! Читать—привычки нѣтъ; ходить да думать—боюсь, съ ума сойдешь. Вотъ и пришло мнѣ въ голову: не сходить ли келейнымъ образомъ къ Доминику,—по крайности, около людей потрусь! Сказано — сдѣлано. Надвинулъ-это фуражку на глаза, прихожу, иду въ дальнюю комнату—и что̀ жъ бы, ты думалъ, вижу! Сидятъ-это за столомъ: судья, который насъ судилъ, Шалапутовъ, Капканчиковъ и Волоховъ — и вчетверомъ въ домино играютъ. Ну, я сначала не понялъ, обрадовался.—Что̀, говорю, Карлъ Иванычъ, выпустили? Это Шалапутову-то. Молчитъ. Я его по плечу: выпустили, молъ, Карлъ Иванычъ?

Онъ этакъ взглянулъ на меня, да какъ прыснетъ: „вы, говоритъ, за кого-нибудь другого меня принимаете!“ —Чего, говорю, за другого! вотъ и они налицо! Дальше — больше. Я, говорю, изъ-за васъ восемнадцатый день изъподъ ареста не выхожу.— „Да это, говорятъ, сумасшедшій! Гарсонъ! пожалуйста, пошлите за городовымъ! Собралась около насъ публика; кто въ бильярдъ игралъ, кто въ шахматы — все бросили. Гогочутъ. Пришелъ хозяинъ. „Позвольте попросить васъ оставить мое заведеніе“. Это мнѣ-то! — Нѣтъ, говорю шалишь! коли ты меня не уважаешь, такъ уважишь вотъ это! И показываю ему фуражку съ околышемъ! А кругомъ хохотъ, гвалтъ—хоть святыхъ вонъ понеси! „Сумасшедшій! Сумасшедшій!“ —только и словъ.—Да объясни ты мнѣ, ради Христа,—говорю я судьѣ:—долженъ ли, по крайней мѣрѣ, я подъ арестомъ-то сидѣть?—„Сиди, говоритъ, сдѣлай милость!“ Гогочутъ. И вѣдь какъ бы ты полагалъ? вывели-таки меня, раба Божія, изъ заведенія!

Обманъ былъ ясенъ. Тутъ только припомнились мнѣ всѣ аномаліи, которыми,—къ сожалѣнію, лишь на мгновеніе,—былъ пораженъ мой умъ во время процесса. И захватанная лампа, и дыравленные стулья, и запахъ жаренаго лука и помой...

— Слушай! вѣдь насъ съ тобой опять надули? и главное, надула все та же компанія!—воскликнулъ я въ неописанномъ испугѣ:—вѣдь этакъ намъ пожалуй въ Сибирь подорожную дадутъ, и мы поѣдемъ!

— И поѣдемъ—ничего не подѣлаешь!

— Какъ хочешь, а надо бѣжать отсюда!

— И я говорю: бѣжать!

— Стало быть, ѣдемъ!

Но Богу угодно было еще на неопредѣленное время продлить наше пребываніе въ Петербургѣ...

Глава X.

Нервы мои, возбужденные тревогой послѣднихъ дней, наконецъ не выдержали. Вынести сряду два такихъ испытанія, какъ статистическій конгрессъ и политическое судоговореніе—какъ хотите, а это сломитъ хоть кого! Чего я не передумалъ въ это время! Къ чему не приготовился! Перебирая въ умѣ кары, которымъ я подлежу за то, что подвозилъ Шалапутова на извозчикѣ домой, я съ ужасомъ помышлялъ: ужели жестокость скораго суда дойдетъ до того, что меня засадятъ въ уединенную комнату и подъ наблюденіемъ квартальнаго надзирателя заставятъ читать передовыя статьи „Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницы“? Или, быть можетъ, пойдутъ еще далѣе, то-есть заставятъ выучить наизустъ „Бормотаніе вслухъ“ „Честолюбивой Просвирни“? Какимъ образомъ я выполню это? Господи! укрѣпи меня! просвѣти мой умъ глупопониманіемъ! Сердце безчувственно и закоснѣло созижди во мнѣ! Очи мои порази невидѣніемъ, уши—неслышаніемъ, уста научи слагати несмысленная! Всевидяще! спаси мя! спаси мя! спаси мя!

Даже тогда, когда я вполнѣ убѣдился, что все происшедшее со мной не больше, какъ несносный и глупый фарсъ, когда я съ ожесточеніемъ затиски-

валъ мои вещи въ чемоданы, съ тѣмъ, чтобъ завтра же бѣжать изъ Петербурга, — даже и тогда мнѣ казалось, что сзади кто-то стоитъ съ нумеромъ „Честолюбивой Просвирни“ въ рукахъ и иронически предлагаетъ: „а вотъ не угодно ли что-нибудь понять изъ моего „Бормотанія“? „И я со страхомъ опять принимался за работу укладыванія, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назадъ. Но вотъ, наконецъ, все уложено; я вздыхаю свободнѣе, зажмуриваясь бѣгу къ постели и ложусь спать, съ сладкой надеждой, что завтра, въ эту пору, Петербургъ, съ его шумомъ и навожденіями, останется далеко позади меня.

Надежда тщетная. Хотя я заснулъ довольно скоро, но этотъ сонъ былъ томителенъ и тревоженъ. Сначала передо мной проходитъ по-одиночкѣ цѣлая вереница вялыхъ, безцѣльно глядящихъ и изнемогающихъ подъ игомъ апатіи лицъ; постепенно эта вереница скучивается и образуетъ довольно плотную, темную массу, которая полубезумно мечется изъ стороны въ сторону, стараясь подражать движеніямъ настоящихъ, живыхъ людей; наконецъ я глубже и глубже погружаюсь въ область сновидѣній, и воображеніе мое, какъ бы утомившись призрачностью пережитыхъ мною ощущеній, останавливается на единственномъ связномъ эпизодѣ, которымъ ознаменовалось мое пребываніе въ Петербургѣ. Эпизодъ этотъ — тотъ самый сонъ, который я видѣлъ мѣсяцевъ шесть тому назадъ (см. выше: глава IV), и въ которомъ фантазія представила меня сначала милліонеромъ, потомъ умершимъ и наконецъ ограбленнымъ.

Молодой человѣкъ, взявшій на себя защиту интересовъ сестрицъ, оказался правъ: роберъ не весь былъ сыгранъ; сыграна была только первая партія. Мѣсяца черезъ три приговоръ присяжныхъ былъ кассированъ, и безсмертная душа моя съ трепетомъ ожидала новыхъ волненій и тревогъ. Эти тревоги были тѣмъ естественнѣе, что дѣло мое совсѣмъ неожиданнымъ для меня образомъ вступило въ новый фазисъ, въ которомъ сестрицы, законныя наслѣдницы моихъ милліоновъ, были оттѣснены далеко на задній планъ, а на мѣсто ихъ, въ качествѣ гражданскихъ истцовъ, явились лица, такъ сказать, абстрактныя и во всякомъ случаѣ для меня постороннія. Характеръ дѣла окончательно измѣнился: вмѣсто гражданскаго процесса, на сцену выступило простое, негарантированное правительствомъ предпріятіе, въ которомъ на первомъ планѣ стояло не то или другое рѣшеніе дѣла по существу, а биржевая игра на повышеніе или пониженіе. Основной капиталъ — милліонъ въ туманѣ; акцій выпущено десять тысячъ по семидесяти рублей за сто; въ ожиданіи кассаціоннаго рѣшенія — биржа въ волненіи: „покупатели“ $71^3/_4$ „продавцы“ $72^1/_8$, „сдѣлано“ $71^7/_8$. Затѣмъ: разносится слухъ, что кассаціонная жалоба уважена — „покупатели“ $78^7/_8$, „продавцы“ $79^7/_8$, „сдѣлано“ $79^1/_2$; разносится новый слухъ, что гражданскіе истцы нашли какихъ-то неслыханныхъ и притомъ совершенно достовѣрныхъ лжесвидѣтелей — „покупатели“ $82^3/_4$ *безъ продавцовъ*; еще разносится слухъ: лжесвидѣтели, отысканные гражданскими истцами, оказываются недостовѣрными — „продавцы“ $62^3/_8$, „покупатели“ $58^3/_4$, „сдѣлано“ $59^1/_2$. И такъ далѣе. Можно себѣ представить, съ какимъ лихорадочнымъ любопытствомъ должна была слѣдить за этими измѣненіями безсмертная душа моя.

Я не помню подлинныхъ выраженій кассаціи, но приблизительно смыслъ ея былъ слѣдующій. Прежде всего постановка вопросовъ, сдѣланныхъ на первомъ судѣ, признана совершенно правильною. „Хотя невозможно не согласиться,—говорилось въ рѣшеніи,—что въ столь запутанномъ, имѣющемъ чисто-бытовой характеръ дѣлѣ, каково настоящее, постановка вопроса о томъ, *согласно ли съ обстоятельствами дѣла похищены подсудимымъ деньги*, представляется не только умѣстною, но даже почти неизбѣжною, тѣмъ не менѣе въ судебной практикѣ подобное откровенное обращеніе къ присяжнымъ засѣдателямъ представляетъ нововведеніе довольно смѣлое и во всякомъ случаѣ не имѣющее прецедентовъ. То же самое слѣдуетъ сказать и о другомъ вопросѣ, предложенномъ присяжнымъ засѣдателямъ: *не поступили ли бы точно такимъ же образомъ родственницы покойнаго, еслибъ были въ такихъ же обстоятельствахъ, въ какихъ находился подсудимый*? Онъ правиленъ, но черезчуръ уже новъ. Оба вопроса грѣшатъ не столько со стороны умѣстности, сколько со стороны необычности и несоотвѣтственности тѣмъ правиламъ, которыя предписываются издавна заведенными порядками канцелярскаго производства. Чтобы подобная постановка возъимѣла надлежащую силу, необходимо, чтобы послѣдовательно нѣсколько составовъ присяжныхъ засѣдателей не усомнилось въ ея правильности и отвѣтило на предложенные вопросы съ тою же простосердечною ясностью, съ какою отвѣтилъ составъ присяжныхъ, рѣшавшихъ дѣло на первомъ судѣ. Только этимъ путемъ можетъ быть достигнуто убѣжденіе, что въ самомъ обществѣ существуетъ *вкусъ* къ подобнымъ вопросамъ, и что слѣдовательно встрѣчается настоятельная надобность и въ судебной практикѣ допустить нѣкоторыя полезныя, соотвѣтствующія этому вкусу, измѣненія. А потому и дабы избѣжать затрудненій, коими изобилуетъ разсматриваемое дѣло, представляется одинъ практическій выходъ: судить обвиняемаго Прокопа во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи по очереди, начавъ таковую съ города Срединнаго, въ коемъ во всей непреклонности сохранилась истина древняго изреченія: „не надуешь — не наживешь“. Если за симъ невинность подсудимаго восторжествуетъ (что, впрочемъ, представляется почти несомнѣннымъ), то признать вопросы поставленными правильно, самую же невинность счесть патентованною и навсегда огражденною отъ знака отличія бубноваго туза“.

И такъ, душѣ моей предстояло продолжительное путешествіе, послѣдствія котораго, впрочемъ, могли имѣть даже нѣкоторую назидательность. Увидѣть Белебей, Тетюши, Спасскъ Тамбовскій, Спасскъ Рязанскій, Спасскъ Казанскій — развѣ это не высокое наслажденіе? Быть свидѣтелемъ, какъ добродѣтель торжествуетъ въ Острогожскѣ, Конотопѣ, Наровчатѣ и т. д.— развѣ это не высшая награда для чувствительнаго сердца? Но и помимо личныхъ соображеній, развѣ не существуютъ еще общія, которыя дѣлаютъ послѣдствія предстоящаго судебнаго странствія еще болѣе поучительными и безцѣнными? Во-первыхъ, какая грандіозная задача для нашихъ провинціальныхъ, просѣлочныхъ судовъ! Начните хоть съ бѣлозерскаго суда, которому до сихъ поръ были подсудны только снѣтки! Какія—спрашивается—преступленія могутъ быть совершены снѣтками? Ну, соберутся снѣтки, подымутъ дымъ коромысломъ, устроятъ противъ щуки стачку и даже бунтъ, потомъ

та же щука стрѣлой налетитъ на нихъ изъ-за тростниковъ и проглотитъ всѣхъ бунтовщиковъ безъ остатка — на чемъ тутъ практиковаться суду! И вдругъ, вмѣсто снѣтковъ, на скамьѣ обвиненныхъ — *милліонъ*!! Милліонъ! Ваше сіятельство! Невинность непреоборимая! У насъ! въ Бѣлозерскѣ! Нѣтъ, какъ хотите, а при видѣ этого зрѣлища самые лѣнивые мозги—и тѣ невольно зашевелятся, а разъ зашевелившись, уже не перестанутъ работать до тѣхъ поръ, пока добродѣтель окончательно не восторжествуетъ! Во-вторыхъ, какой единственный въ своемъ родѣ случай для общества, чтобы провѣрить свои нравственные идеалы и устами присяжныхъ засѣдателей разгадать загадку современности! И наконецъ, въ-третьихъ, какая будущность для самого подсудимаго милліона? Во всякомъ городѣ нѣчто оплодотворить, кого-нибудь осчастливить и въ заключеніе прибыть въ Ѳеодосію (послѣдній по алфавиту городъ) въ видѣ копѣйки серебромъ!

Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, какъ выскажется въ этомъ дѣлѣ городъ Срединный. Хороши Тетюши, прекрасенъ Белебей, но Срединный—вѣдь это почти столица! Было время, когда Срединный—чуть-чуть не сдѣлался русскими Аѳинами; хотя же впослѣдствіи аѳинство въ немъ мало-по-малу обратилось въ свинство, но и теперь это во всякомъ случаѣ первый въ Россіи городъ по числу трактировъ и кабаковъ. Въ Срединномъ я родился и воспитывался: здѣсь получилъ я первыя понятія о „ташкентствѣ“; здѣсь сдѣлалъ первые, робкіе шаги въ откупной карьерѣ и отъ откуповъ непосредственно перешелъ къ либерализму. Подъ неумолкаемый, отовсюду несущійся звонъ колоколовъ какъ-то легко пишутся проекты, въ которыхъ реформаторскія затѣи счастливымъ образомъ сочетаются съ запахомъ сивухи и съ тѣмъ благосклоннымъ отношеніемъ къ жульничеству, которое доказываетъ, что жульничество — сила и что съ этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое дѣтство и первые годы ученія съ массой гувернеровъ и гувернантокъ, обучавшихъ лганью утонченному, и съ стадомъ домашней челяди, обучавшихъ лганью грубому и закоснѣлому. Я помню нашъ домъ, въ одномъ изъ безчисленныхъ переулковъ, съ палисадникомъ впереди и съ обширнымъ дворомъ, застроеннымъ амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися подъ тяжестью „даровыхъ“ деревенскихъ запасовъ. Я помню мужиковъ въ рваныхъ понитках, которые привозили эти запасы за двѣсти верстъ изъ Проплёванной. Я помню, какъ папенька враждовалъ съ дяденькой изъ-за того, что послѣдній умѣлъ „сыскать“ въ слѣпенькой бабенькѣ, и какъ мы, дѣти, ложась на ночь въ свои кроватки, долго разсуждали: скоро ли умретъ слѣпенькая бабенька и успѣетъ ли она оставить духовную въ пользу дяденьки? Я помню мои путешествія съ папенькой по присутственнымъ мѣстамъ, гдѣ у насъ постоянно производились какія-то дѣла и гдѣ изъ-за рѣшетокъ выглядывали какія-то воспаленныя, изуродованныя оспой и фистулой физіономіи, которыя, казалось, говорили: ко мнѣ! сюда пожалуйте! здѣсь можно отца родного купить, и обратно его съ барышомъ продать! Я помню путешествія съ маменькой по гостиному двору, гдѣ купцы съ замѣчательною искренностью говорили: „въ нашемъ дѣлѣ, сударыня, не обвѣсить или не обмѣрить—все одно, что по міру пойти!“

Ничего не забыла злопамятная душа моя...

Въ Срединномъ изстари существуетъ инстинктивное вожделѣніе ко всему, что̀ носитъ на себѣ печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою „незадачу“ мѣщанинъ, такой мѣщанинъ, который съ утра до вечера колотится, чтобъ въ результатѣ получить грошъ—и тотъ мгновенно расцвѣтаетъ, какъ только чувствуетъ, что къ нему или къ его платью прикоснулся „капиталъ“. Физіономія его свѣтлѣетъ, сердце учащенно бьется, тѣло сладострастно вздрагиваетъ. Спросите у этого жалкаго, забитаго нуждой человѣка, что̀ такъ внезапно преобразило его,—и онъ непремѣнно отвѣтитъ вамъ: „помилуйте-съ! да вѣдь они теперича первые по нашему городу люди!“ И ежели для васъ собственно это объясненіе ничего не объясняетъ, то для него, забитаго мѣщанина, оно исчерпываетъ весь смыслъ его бытія и заключаетъ въ себѣ разгадку всѣхъ его поступковъ. Быть можетъ, думаете вы, въ немъ колышется мысль: вотъ пойду, поклонюсь этому человѣку въ ноги, и онъ дастъ мнѣ рубль серебра! Но, увы! даже и этой мысли у него нѣтъ! Онъ расцвѣтаетъ вполнѣ безкорыстно, расцвѣтаетъ потому только, что мошна есть единственный идеалъ, до постиженія котораго онъ успѣлъ возвыситься въ продолженіе многотрудной своей жизни, посвященной продажѣ и куплѣ. Продажѣ и куплѣ всего, начиная съ гнилыхъ яблоковъ и подержанныхъ штановъ и кончая подержанною и гнилою совѣстью...

Въ такомъ городѣ мой милліонъ долженъ произвести громадное, потрясающее впечатлѣніе. Нынѣче люди такъ слабы, что даже при видѣ сторублевой кредитки теряютъ нить своихъ поступковъ — что̀ же будетъ, когда они увидятъ... цѣлый милліонъ въ туманѣ! Поэтому будущее процесса сразу выяснилось передо мной во всѣхъ его подробностяхъ, и я очень хорошо понялъ ту наглую радость, которую ощутилъ Прокопъ, когда ему объявили, что Срединному суждено положить начало торжеству его добродѣтели!

Прежде всего, однакожъ, мнѣ хотѣлось выяснить себѣ взаимное положеніе враждующихъ сторонъ, и потому душа моя немедленно воспарила въ Проплёванную. Увы! мое старое дворянское гнѣздо какъ будто еще болѣе почернѣло и вросло въ землю. Садъ опустѣлъ и обнажился; на дорожкахъ лежала толстая стлань желтыхъ, мокрыхъ отъ дождя листьевъ; плетневый частоколъ мѣстами совсѣмъ повалился, мѣстами еще держался кой-какъ на вѣсу, какъ будто силился изобразить собой современное европейское равновѣсіе; за садомъ виднѣлась безконечная, безнадежная равнина; берега пруда были размыты и почернѣли; о-бокъ съ усадьбой темнѣли два ряда жалкихъ крестьянскихъ избъ, уныло глядѣвшихъ другъ на друга черезъ дорогу, по которой ни проѣхать, ни пройти невозможно. На дворѣ изморозь, вѣтеръ и грязь; всѣ лица красны и опухли отъ сиверки, всѣ одежды мокры отъ дождя. Надъ этой печальной картиной висѣло не менѣе печальное хмурое небо, какъ бы суля безнадежность, непріютность и тоску на безконечное время...

Сестрицы обѣ на-лицо, и въ ожиданіи исхода кассаціонной жалобы дѣлятъ между собой мою движимость. На стульяхъ развѣшены мои дворянскіе мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны, совершенно такъ, какъ во время просушки лѣтомъ на солнцѣ отъ моли; на столѣ стоятъ банки съ вареньемъ и соленьемъ, бутылки съ наливкой и бутыль листовки, которую я охотнѣе другихъ водокъ пивалъ при жизни. Ключница Авдотья (старая! ду-

мала ли ты когда-нибудь, что будешь свидѣтельницей этого разоренія?), гремя ключами, безпрерывно приноситъ съ погреба новыя банки и, наслѣдивъ въ залѣ мокрыми сапогами, опять отправляется на погребъ за ношей. Мой домъ всегда смотрѣлъ полною чашей, но сестрицы повидимому изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лелечка присутствуютъ при инвентарѣ моего имущества въ качествѣ депутатовъ: первая — со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая—со стороны сестрицы Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся въ самомъ дружелюбномъ настроеніи духа. Мысль, что въ будущемъ имъ придется подѣлить милліонъ, навѣяла миръ въ сердца ихъ и сдѣлала ихъ сговорчивѣе относительно банокъ варенья и старыхъ панталонъ, дѣлежемъ которыхъ онѣ въ настоящую минуту заняты.

— Ужъ вы, сестрица, хоть одну банку съ клубникой мнѣ уступите— говоритъ Марья Ивановна: — глядите-ка! мнѣ почти всѣ банки съ малиной достались.

— Извольте, сестрица! Фофочка! отставь отъ насъ банку съ клубникой, а банку съ малиной получи!

— Вотъ и мундирчикъ мнѣ тоже достался! Шитьецо-то только съ виду золотенькое, а посмотрѣть на него—все-то оно выгорѣло!

— За то на вашемъ суконце хорошее, сестрица! Мой-то вѣдь вывороченный! А я вотъ что, сестрица, думаю: куда это поленишевка у братца дѣвалась! Вѣдь какъ онъ ее, покойникъ, любилъ! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успѣла сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, какъ послѣдняя является съ цѣлымъ грузомъ поленишевки. Бутылки торчатъ у нея и въ рукахъ, и подъ мышками, и за пазухой, и въ черномъ передникѣ, концы котораго она закусила зубами.

— Огурцы-то послѣ, что-ли, дѣлить будете?—спрашиваетъ Авдотья.

— Завтра, Дуняша-голубушка! теперь у насъ другихъ дѣловъ много.

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются въ гостиную и усаживаются на софу.

— Ну-съ, сестрица, стало быть, вся земля отъ Матрешкиноваго оврага до Кривой Ели—моя?—начинаетъ Дарья Ивановна.

— А отъ Кривой Ели до Софронова луга—моя,—отвѣчаетъ Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтобъ разговору у насъ не было! чтобъ братца, голубчика, наши споры не потревожили! Пожилъ, братецъ, царство небесное, не прожилъ, а нажилъ... надо и успокоить его, сестрица!

— Надо! ахъ, какъ надо; какъ ему молитва-то наша нужна! Вѣдь онъ, сестрица, царство ему небесное, какъ деньги-то наживалъ?! И съ живого, и съ мертваго... съ самаго, можно сказать, убогаго... все-то онъ дралъ! все-то дралъ! Бѣдный-то придетъ, бывало, а онъ, вмѣсто того, чтобъ милостыньку сотворить, его же нагишомъ и отпуститъ!

— Что говорить! не безъ грѣха! Ну, да наше дѣло сторона! Наше дѣло молиться, сестрица! Молиться, да еще благодарить!

— И какъ еще, сестрица, благодарить! Вотъ я каждый день Лелечкѣ

говорю: благодари, говорю, дура! Еслибъ не скончался братецъ, жила бы я теперь съ вами, оболтусихами, въ Ветлугѣ! А у насъ, сестрица, на Ветлугѣ, и мужчинъ-то всего одинъ, да и тотъ землемѣръ!

Сестрицы на короткое время умолкаютъ, чтобъ перевести духъ.

— И какъ это, сестрица-сударыня, хорошо нынѣче заведено!—начинаетъ опять Дарья Ивановна:—сидимъ мы теперича здѣсь въ теплѣ да въ холѣ: ни-то на насъ вѣтромъ вѣнетъ, ни-то дождемъ спрыснетъ, а онъ-то, аблокатъ-то нашъ, то-то, чай, высуня языкъ по Петербургу рыскаетъ!

— Что-жъ, сестрица! взялъ денежки—и держись! Это ужъ званіе ихъ такое, чтобъ за другихъ задеря хвосты бѣгать! Иной человѣкъ ни за что по переднимъ нюхать не пойдетъ, а онъ, по своему званію, и это занятіе перенести долженъ!

— Слышала я, сестрица, что нынѣче надъ ними начальники въ судахъ поставлены. Прежде не было, а теперь есть. Нашъ-то такъ-таки прямо и объявилъ: „трудно, говоритъ, нынѣче, сударыня! ужъ на что, говоритъ, я безстрашенъ: и бурю, и слякоть, и холодъ, и жаръ—все стерплю! а начальства боюсь!“

— Долго ли до грѣха! Вотъ тоже, сказываютъ про одного: вралъ да вралъ, а начальникъ-то ему: „вы, говоритъ, забыли, въ какомъ государствѣ находитесь! въ такомъ, говоритъ, государствѣ, гдѣ врать не дозволено!“ Такъ-таки прямо и выпалилъ!

Богъ знаетъ, куда бы завелъ сестрицъ этотъ простодушный разговоръ, еслибъ въ эту минуту не послышался звонъ колокольчика. Еще минута —и въ гостиной совершенно неожиданно появился тотъ самый молодой адвокатъ, съ которымъ я уже познакомилъ читателя въ одной изъ предыдущихъ главъ моего „Дневника“ (я забылъ тогда сказать, что фамилія его была Хлестаковъ, что онъ былъ сынъ того самаго Ивана Александровича Хлестакова, съ которымъ я еще въ дѣтствѣ познакомился у Гоголя, и въ честь своего дѣдушки былъ названъ Александромъ). Но, увы, въ немъ уже не было и тѣни той заискивающей предупредительности, которая такъ очаровала меня въ то время, когда онъ велъ переговоры съ Прокопомъ!

Напротивъ, онъ былъ строгъ. Самъ приказалъ зажарить цыпленка, самъ выбралъ бутылку поленишевки и, распорядившись, чтобъ завтракъ былъ поданъ немедленно, разлегся на диванѣ и прямо приступилъ къ дѣлу. Сообщивъ сестрицамъ объ успѣхѣ кассаціи, онъ объяснилъ, что тѣмъ не менѣе торжество Прокопа въ будущемъ вполнѣ обезпечено. И нравы, и обычаи, и исторія, и статистика — все на его сторонѣ. И онъ, адвокатъ, конечно, не потащился бы въ эту „проклятую дыру“ (такъ назвалъ онъ Проплёванную!), онъ даже плюнулъ бы на это поганое дѣло, еслибъ не было надежды, что Прокопъ современемъ самъ изнеможетъ подъ бременемъ торжества своей добродѣтели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притомъ торжествовать до самой смерти — съ перваго взгляда это кажется легко, но въ сущности оно довольно обременительно. Что Прокопъ *долженъ* пойти на сдѣлку — это ясно; но вопросъ въ томъ, сколько потребуется времени для того, чтобы созрѣла въ немъ эта рѣшимость. Быть можетъ годъ, а быть можетъ и двадцать лѣтъ.

— Согласитесь сами, старушки, что двадцать лѣтъ сряду таскаться къ вамъ въ Проплёванную—совсѣмъ для меня не лестно!—заключилъ онъ, все непринужденнѣе и непринужденнѣе разваливаясь на диванѣ и укладываясь наконецъ на немъ съ ногами.

Сестрицы, словно ошпаренныя, молча стояли передъ нимъ, покуда онъ поигрывалъ съ pince-nez, насвистывалъ „l'amour ce n'est que ça“ и смотрѣлъ въ потолокъ.

— Да-съ, не лестно-съ и не разсчетъ-съ!—началъ онъ вновь, закидывая руки подъ голову:—я въ Петербургѣ отъ ста до тысячи рублей въ день получаю—сколько это въ годъ-то составитъ? — да-съ! А вы тутъ съ своею Проплёванною въ глаза лѣзете!.. Я за квартиру въ годъ пять тысячъ плачу! У меня мебель во всѣхъ комнатахъ золоченая—да-съ!

Сестрицы изъ учтивости раскрывали рты, какъ бы желая сказать нѣчто, но слова, очевидно, замирали у нихъ на устахъ. Я ждалъ одного изъ двухъ: или онъ ляжетъ брюхомъ внизъ, или встанетъ и начнетъ раздѣваться. Но онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого. Напротивъ того, онъ зажмурилъ глаза и продолжалъ какъ бы въ бреду:

— У меня строго. Я двадцать помощниковъ нанимаю да тридцать человѣкъ разсыльныхъ на свой счетъ содержу. И всѣмъ съ утра до вечера работа. Свистнулъ—и разомъ во всѣ стороны прыснули, только пятки сверкаютъ! опять свистнулъ—и опять всѣ тутъ какъ тутъ! Мнѣ каждый день до тысячи справокъ нужно, и все по дѣламъ—да-съ! Я въ прошломъ году на два милліона дѣлъ выигралъ; по десяти процентовъ съ рубля — сколько это денегъ-то будетъ! А многіе даже половину отдаютъ, только, братецъ, выиграй —да-съ! А шельмецовъ сколько я защитилъ! Ну, то-есть, такого однажды мерзавца оправилъ, что даже прикоснуться къ нему скверно!—да-съ! Другіе всѣ отказались... а я—нѣтъ! Нѣтъ, говорю, господа! Это не такъ! Мерзавцу адвокатъ нуженъ! Коли, говорю, отъ мерзавцевъ отказываться, такъ намъ зубы, пожалуй, на полку придется положить!.. да-съ! У меня и сегодня въ судебной палатѣ разбирательство назначено... Милліонъ!! а я вотъ въ Проплёванной съ вами наливки распиваю... да-съ!

Сказавши это, онъ какъ-то усиленно засучилъ ногами, какъ дѣлаетъ человѣкъ, которому хочется одной ногой снять сапогъ съ другой ноги.

— У меня каждое утро съ одиннадцати до двухъ пріемъ, и каждое утро не меньше ста каретъ у подъѣзда стоитъ—да-съ! Но какъ только пробило два часа—пріемъ кончился! Нѣтъ пріема—и дѣло съ концомъ. И тутъ мнѣ хоть сто тысячъ давай—дудки! ни одной минуты больше! Одинъ разъ князь Слабомысловъ—только минуту опоздалъ! одну только минуту! „Александръ Иванычъ, говоритъ, секундочку!“ — Ни терціи, говорю!—„Но почему жъ такъ?“—А потому, говорю, что ежели вашего брата, кліента, баловать, такъ вы и совсѣмъ потомъ осѣдлаете! Да-съ! Можетъ быть, и теперь, въ эту минуту, сто человѣкъ меня дожидается, а я... фью!.. гдѣ бы вы думали!.. въ Пррроплёванной!!

Сапогъ съ одной ноги летитъ на полъ.

— Меня однажды князь Серебряный (вотъ тотъ, что графъ Толстой еще цѣлый романъ о немъ написалъ!) къ себѣ сманивалъ... да-съ! „Если,

говоритъ, сдѣлаютъ меня министромъ, пойдешь ты ко мнѣ?“ —Нѣтъ, говорю, откровенно тебѣ скажу, князь, не пойду.— „Почему жъ такъ? Я, говоритъ, только для виду министромъ буду, а всѣмъ прочимъ будешь распоряжаться ты!“ —И все-таки не пойду. „Но почему же?“ —А дашь ты мнѣ, говорю, въ годъ сто тысячъ?— „Но это, говоритъ, невозможно!“ —А невозможно, говорю, такъ и разговаривать нечего!.. да-съ! А теперь онъ скажетъ: ко мнѣ идти не хотѣлъ, а въ Проплёванную, небось, есть разсчетъ ѣздить!

Другой сапогъ снятъ и летитъ на полъ. При этомъ видѣ сестрица Дарья Ивановна рѣшается наконецъ быть откровенною.

— Александръ Иванычъ! батюшка! да будьте вы съ нами по родственному!—восклицаетъ она, простирая руки и какъ-то глупо оттопыривая губы.

Восклицаніе это повидимому возвращаетъ молодого человѣка къ дѣйствительности. Онъ не торопясь поднимается съ дивана, протираетъ глаза и позѣвываетъ.

— Гм... я, кажется, сапоги съ себя снялъ,—говоритъ онъ: — а вы ужъ и раскисли, старушки! По родственному! Это значитъ: въ Проплёванной съ вами жить да наливки распивать... Недурно сказано!

И онъ такъ нагло захохоталъ имъ въ лицо, что я вдругъ совершенно ясно понялъ, какая подлая печать проклятія должна тяготѣть на всемъ этомъ поскудномъ родѣ Хлестаковыхъ, которые готовы вертѣться колесомъ передъ всѣмъ, что̀ носитъ названіе капитала и силы, и въ то же время не прочь плюнуть въ глаза всякому, кто хоть на волосъ стоитъ ниже ихъ на общественной лѣстницѣ.

— Ну-съ,—продолжалъ онъ, вновь принимая строгій и дѣловой видъ: — разговаривать съ вами мнѣ некогда. Я пріѣхалъ затѣмъ, чтобъ предложить вамъ ультиматумъ. Примете его—прекрасно; не примете — только вы меня и видѣли!

Затѣмъ онъ вынулъ изъ бумажника пачку кредитокъ и поднесъ ее къ носу сестрицы Дарьи Ивановны...

. . . . . .

Дѣло кончилось въ какихъ-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня, и мой милліонъ за десять тысячъ рублей, или, вѣрнѣе, за пять тысячъ, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальныя пять тысячъ онѣ имѣли право получить лишь тогда, когда ѳеодосійскіе присяжные окончательно произнесутъ: да, Прокопъ устранилъ милліонъ изъ прежняго помѣщенія вполнѣ согласно съ обстоятельствами дѣла. Сверхъ того сестрицы обязывались: 1) являться на всѣхъ судахъ въ бѣдной и даже рваной одеждѣ, лгать какъ будетъ указано, а въ случаѣ надобности и плакать; 2) дозволить магазину голландскихъ и билефельдскихъ полотенъ Гершки Зальцфиша (онъ же и антрепренеръ моего процесса, обязывавшійся дѣйствовать отъ имени сестрицъ) напечатать во всѣхъ газетахъ слѣдующее объявленіе:

„НЕДАВНО!!

въ нашемъ магазинѣ купили полдюжины голландскихъ носовыхъ платковъ несчастныя наслѣдницы автора „Дневника“,

ОБѢЩАЯСЬ!!

въ случаѣ выигрыша процесса, купить цѣлый ассортиментъ рубашекъ, кальсоновъ, носовыхъ платковъ, скатертей, салфетокъ и другихъ полотняныхъ товаровъ, продающихся у насъ по баснословно-дешевымъ цѣнамъ, въ чемъ почтеннѣйшая публика удостовѣрится, посѣтивши нашъ магазинъ".

Alea jacta est... Гдѣ же принципъ собственности? гдѣ святость семейныхъ узъ? Если сестрицы сознавали свое право на обладаніе моимъ милліономъ, и если при этомъ имъ было присуще чувство собственности, то онѣ были обязаны идти до конца, влечься къ *своему* милліону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что̀ бы изъ того ни произошло! Съ другой стороны, ежели онѣ чувствовали себя членами семьи, то точно такъ же фаталистически и до послѣдней крайности обязывались мстить моему обидчику. И въ чувствѣ собственности, и въ чувствѣ союза семейнаго не можетъ быть сдѣлокъ, ибо это даже не принципы, а естественное влеченіе человѣческой природы. Принципы можно сочинить, а слѣдовательно и отказаться отъ нихъ или видоизмѣнить; но какимъ образомъ устранить чувство, которое говоритъ само собой, независимо отъ какихъ-либо постороннихъ, искусственныхъ вліяній? Какъ заставить себя вожделѣть только десять тысячъ, когда предметъ вожделѣній совершенно конкретенъ и составляетъ милліонъ? Не все ли это равно, что сознавать себя сытымъ, когда все нутро вопіетъ о голодѣ?

Но въ наше развращенное время все возможно. Мы до того исковеркали себя, что даже самыя естественныя наши побужденія подчинили искусственнымъ примѣсямъ. Мы съуживаемъ и расширяемъ ихъ по своему усмотрѣнію; мы отдаемъ ихъ въ жертву всевозможнымъ жизненнымъ компромиссамъ, забывъ совершенно, что самое свойство естественныхъ чувствъ таково, что они не подчиняются ни человѣческому произволу, ни тѣмъ менѣе какимъ-то компромиссамъ. Мать взыскиваетъ по векселю съ сына, подчиняясь естественному чувству собственности и въ то же время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскавъ деньги съ одного сына, передаетъ ихъ другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь отъ естественнаго чувства собственности. Какой многознаменательный фактъ! Ужели это не повтореніе древняго миѳа о Харибдѣ и Сциллѣ? И какимъ образомъ усидѣть между этихъ двухъ стульевъ и не провалиться въ концѣ концовъ? Газета „Честолюбивая просвирня", еженедѣльный органъ русскихъ праздношатающихся людей, давно уже впрочемъ замѣтила этотъ разладъ, и ежели до сихъ поръ не съумѣла ясно формулировать его, то единственно по незнанію русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, какъ дважды два — четыре, что вредный коммунизмъ, и подъ землей и по землѣ, и подъ водой и по водѣ, какъ червь, или лучше сказать, какъ голодный нѣмецъ, ползетъ, прокладывая себѣ дорогу въ сердца простодушныхъ обывателей россійскихъ весей и градовъ!

Я чувствовалъ этотъ разладъ вдвойнѣ: и какъ консерваторъ, и какъ бывшій откупщикъ. Не за себя мнѣ было обидно, а за тѣ святыни, которыя съ дѣтства составляли животворящее начало моей жизни! Какъ мелки и даже нравственно испорчены показались мнѣ сестрицы, и какъ былъ великъ, непо-

средственъ и цѣленъ, по сравненію съ ними, Прокопъ! Правда, и у него была минута слабости—минута, когда онъ предложилъ молодому Хлестакову десять тысячъ рублей срыву, но затѣмъ онъ уже, какъ говорится, осатанѣлъ и велъ себя какъ человѣкъ, въ которомъ естественное чувство собственности совершенно заглушило всѣ другія, наплывныя соображенія...

Даже молодой Хлестаковъ — и тотъ, съ точки зрѣнія философской, являлъ себя болѣе надежнымъ хранителемъ основныхъ человѣческихъ влеченій, нежели эти малодушныя женщины, которыя имѣли наглость называть себя моими сестрами и наслѣдницами! Однажды завожделѣвъ, онъ тотчасъ же воплотилъ свое право и отдалъ себя ему весь до конца. И какъ блестяще онъ покончилъ съ сестрицами! Какъ ловко онъ поднесъ пачку ассигнацій къ самому носу сестрицы Дарьи Ивановны, въ такую минуту, когда она, ошеломленная кассаціоннымъ рѣшеніемъ, не могла даже понять, гдѣ кончается копѣйка и гдѣ начинается милліонъ! Бѣдная! она даже чихнула отъ наслажденія: до такой степени живо заговорило въ ней чувство собственности! Да, это было чувство собственности, хотя чувство неполное, чисто-женское, чувство, не умѣющее отличить гривенникъ отъ рубля и, быть можетъ, по этой причинѣ неспособное ни на какія самопожертвованія ради великихъ общихъ принциповъ!

Да; надо, ахъ, какъ надо написать объ этомъ статью и послать ее къ Менандру! Вмѣсто того, чтобъ бормотать на тему, правильно или неправильно поступаетъ огородникъ, разводя при огородѣ козловъ (вѣдь это даже за насмѣшку принять можно! можно подумать, что и „огороды“, и „козлы“ тутъ только для прилику, настоящее же заглавіе статьи таково: „правильно ли поступаетъ администраторъ, разводя въ своемъ вѣдомствѣ либераловъ?“) — не лучше ли прямо обсудить вопросъ: отчего стремленія, вполнѣ естественныя въ теоріи, на практикѣ оказываются далеко не столь естественными? что̀ тутъ составляетъ миражъ: самыя ли стремленія, или та практика, которая извращаетъ ихъ?..

Но какая, однакожъ, это странная штука! Теперь моими родственниками и наслѣдниками оказываются не сестрицы, а Хлестаковъ съ цѣлою шайкой совершенно неизвѣстныхъ жидовъ, производящихъ распродажу полотенъ! О, пархатые! какимъ чудомъ могло заползти въ ваши сердца чувство родственной любви къ человѣку вполнѣ для васъ неизвѣстному? Или я не человѣкъ, а только „рубль“, на которомъ ничего не написано, кромѣ того, что это res nullius, которая, въ этомъ качествѣ, caedet primo occupanti, то-есть еврею Зальцфишу, продающему настоящіе голландскіе платки на углу Большой Мѣщанской и Гороховой!

Какъ бы то ни было, но симпатіи мои къ Прокопу возрастали все больше и больше. Не говоря уже объ его вѣрности принципамъ, меня подкупали еще воспоминанія. Онъ любилъ меня, онъ дѣлилъ со мной радость и горе. Вмѣстѣ съ нимъ я изучалъ петербургскія трактирныя заведенія, наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, засѣдалъ въ Шухардинскомъ международномъ статистическомъ конгрессѣ и вытерпѣлъ въ „Отель дю-Нордъ“ опаснѣйшій политическій процессъ. Наконецъ, какія превосходныя устроилъ онъ мнѣ похороны! Въ виду всего этого могъ ли я винить его? Вѣдь деньги мои не были за-

перты! вѣдь онъ былъ одинъ въ моментъ моей смерти, или, по крайней мѣрѣ, мнилъ себя быть однимъ! Ну, могъ ли же онъ? Ради самого Бога, могъ ли онъ возлержаться, могъ ли не дать воли чувству стяжанія, которое дѣлается въ особенности жгучимъ, почти нестерпимымъ при видѣ того, что̀ плохо лежитъ! И не забудьте, что вѣдь плохо-то лежалъ... милліонъ!!!

Гдѣ были въ это время сестрицы? Бодрствовали ли онѣ? Слѣдили ли за тѣмъ, какъ я, постепенно спиваясь съ кругу, погружаюсь на самое дно петербургскихъ наслажденій! Нѣтъ, онѣ унывали въ Ветлугѣ! Онѣ роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу *только* одного мужчину, да и то землемѣра... О, маловѣры!

Но, дойдя до этихъ злоключеній, я самъ испугался. Оказывалось, что и во мнѣ естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной пріязни предпочесть узамъ кровнаго родства! Еслибъ я не былъ развращенъ современными вѣяніями, я долженъ былъ бы любить сестрицъ во что бы ни стало. Любить, хотя бы онѣ ненавидѣли меня и дѣлали мнѣ на каждомъ шагу всякія мерзости! Братцы! сестрицы! грабьте! — вы всегда будете милы мнѣ! Почему вы *должны* быть мнѣ милыми — это „тайна“. Это неисповѣдимѣйшая изъ всѣхъ тайнъ современности, въ которыхъ ненависти и любви такъ хитро переплелись между собой, что самъ Менандръ, со всѣмъ соборомъ пѣнкоснимателей, конечно, не разрѣшилъ бы, любовь ли тутъ породила ненависть, или ненависть породила любовь!

Сгарая нетерпѣніемъ познакомиться съ моими новыми родственниками, душа моя воспарила въ Петербургъ. Но тутъ, я долженъ сознаться, воспоминанія мои уже теряютъ свою послѣдовательность и представляются въ формѣ отрывковъ, лишенныхъ строгой органической связи.

Сначала я перенесся какъ бы на сцену Большого театра. Давали „Жидовку“; всѣ пархатые были на-лицо и производили тайное жидовское моленіе. За большимъ столомъ, покрытымъ бѣлою скатертью, по срединѣ, лицомъ къ зрителямъ, сидѣлъ Гершка Зальцфишъ и разбитымъ теноромъ произносилъ возгласы. Онъ былъ одѣтъ въ длинную одежду и препоясанъ, какъ бы собираясь въ длинный путь. На столѣ лежали опрѣсноки и зажаренная на собственномъ салѣ каширная овца, приправленная чеснокомъ. Мошка Гиршфельдъ, Іозель Зальцманъ, Іерухимъ Хайклъ, Ицко Праведный и множество другихъ жидовъ-акціонеровъ (въ числѣ ихъ я узналъ нѣкоторыхъ зубныхъ врачей) расположились кругомъ стола и подтягивали. Они молились за успѣхъ *моего* дѣла и взывали къ Іеговѣ объ отмщеніи. На одномъ концѣ стола пріютился Александръ Иванычъ Хлестаковъ и, умильно посматривая на Рифку Зальцфишъ, помѣстившуюся на другомъ концѣ, обдумывалъ, что̀ выгоднѣе: перейти ли въ жидовскую вѣру, или потурчиться? Затѣмъ, когда каширная овца была доѣдена, Хлестаковъ всталъ изъ-за стола и доложилъ общему собранію господъ акціонеровъ, что онъ успѣлъ отыскать двоихъ новыхъ и притомъ совершенно достовѣрныхъ лжесвидѣтелей. Одинъ изъ нихъ — извѣстный нумерной Гаврюшка, который согласенъ за сто цѣлковыхъ и подтвердить, и перемѣнить свое прежнее показаніе — какъ угодно: другой — елабужскій мѣщанинъ Іуда Стрѣльниковъ, который, ѣхавши на пароходѣ отъ Казани до Елабуги, собственными ушами слышалъ, какъ бывшій камерди-

неръ Прокопа, Семенъ, хвастался, что получилъ однажды отъ барина плюху за то, что назвалъ его воромъ. Показаніе это Стрѣльниковъ соглашается подтвердить и на судѣ, если ему будетъ дано двѣсти рублей.

— Но пусть лжесвидѣтели сами изложатъ передъ собраніемъ свои показанія!—восклицаетъ легкомысленный Хлестаковъ.

Входитъ Гаврюшка, съ заложенными, по привычкѣ, назадъ руками. Онъ въ оборванномъ сюртучишкѣ; лицо безобразно опухло; глаза устремлены въ полъ; ноги дрожатъ. Отъ всей его фигуры разитъ водкой, распутствомъ и тѣмъ нестерпимымъ запахомъ, который можно обонять только въ отвратительныхъ конурахъ, гдѣ ютится на ночь трактирная прислуга. Онъ вздыхаетъ какъ бы подъ бременемъ раскаянія и въ то же время блуждаетъ по столу, разыскивая, нѣтъ ли гдѣ водки. Изъ-за него выглядываетъ маленькая, юркая фигура расторопнаго елабужскаго мѣщанина Стрѣльникова.

Оба по очереди излагаютъ свои показанія. Гаврюшка поетъ свою арію пьянымъ басомъ. Стрѣльниковъ—дребезжащимъ, слабосильнымъ теноромъ. По временамъ голоса ихъ сливаются и образуютъ дуэтъ.

Затѣмъ ихъ заставляютъ сѣсть на стулья и положить руки подъ стегно въ знакъ того, что они будутъ лжесвидѣтельствовать по самой сущей истинѣ и такъ точно, какъ научилъ ихъ господинъ Хлестаковъ.

Лжесвидѣтелей увели; Гершка всталъ съ своего мѣста и какъ ошпаренный забѣгалъ по сценѣ. Глаза его горѣли, пейсы тряслись, на губахъ сочилась пѣна.

— Сами зе видѣли! сами зе теперь видѣли!—кричалъ онъ въ изступленіи.

— Видѣли! Видѣли!—отвѣчалъ ему хоръ.

— Іерухимъ! теперь бѣзите! бѣзите теперь нахъ бирза... гешвиндъ! И всѣмъ сказите! насли лзесвидѣтелей! Герсту! не лозныхъ, а настояссихъ, самыхъ луццихъ лзесвидѣтелей! И продайте тысяцу акцій!

Іерухимъ убѣжалъ, а Гершка вдругъ закружился, началъ подпрыгивать, колотить себя въ грудь и выкрикивать какіе-то неистовые звуки. Примѣру его послѣдовали и прочіе, а между ними и Хлестаковъ. Такимъ образомъ продолжалось около получаса. Наконецъ всѣ повалились, кто куда попалъ, и Гершка потухшимъ голосомъ произнесъ:

— О, вей миръ! и какой зе ты великій мосенникъ, Іерухимъ! И сто зе онъ тамъ говоритъ! И мозно ли такъ говорить... и гдѣ зе?.. на бирза! И никакихъ зе лзесвидѣтелей совсѣмъ нѣтъ! О, Іосель! о, другъ мой Іосель! Бѣзите нахъ бирза и всѣмъ говорите! Всѣмъ сказите, сто Іерухимъ говоритъ... ахъ, пфуй! сто зе онъ говоритъ! И ничего зе этого нѣтъ! И никакой лзесвидѣтель не приходилъ! И купите тысяцу акцій!

Это было такъ любопытно, что душа моя сейчасъ же воспарила на биржу, чтобъ удостовѣриться, что̀ изъ этого выйдетъ.

Іерухима еще не было. Настроеніе биржи было *вялое*. Цѣна акцій представлялась въ слѣдующемъ видѣ: продавцы 71, покупатели $70^1/_2$ безъ сдѣлокъ. Вдругъ прибѣжалъ Іерухимъ и, воздѣвши руки, воскликнулъ:

— О, вей! насли двухъ самыхъ луццихъ, самыхъ настояссихъ лзесвидѣтелей!

Тогда произошло смятеніе. Всѣ бросились покупать, и Іерухимъ въ какіе-нибудь полчаса времени спустилъ тысячу акцій: покупатели $78^{3}/_{4}$, продавцы $80^{1}/_{2}$, сдѣлано $79^{7}/_{8}$. Но въ тотъ самый моментъ, когда Іерухимъ продалъ послѣднюю акцію, прибѣжалъ весь блѣдный Іосель и, растерзавъ на себѣ ризы, воскликнулъ:

— О, Іерухимъ! ты великій мосенникъ и воръ! Не вѣрьте зе ему! не вѣрьте! Никакихъ зе лзесвидѣтелей нѣтъ!

Цѣлая толпа бросилась на Іерухима и принялась бить его. Но Гершка достигъ своей цѣли: акціи упали немедленно, и были скуплены Іоселемъ обратно: продавцы $62^{1}/_{2}$, покупатели 62, сдѣлано $62^{1}/_{8}$.

И такъ, на моемъ дѣлѣ Гершка, такъ сказать, моментально выигралъ слишкомъ шестнадцать тысячъ рублей! Этого мало: едва появилось въ газетахъ объявленіе, что мои наслѣдницы купили въ магазинѣ Зальцфиша полдюжины носовыхъ платковъ, какъ публика валомъ повалила на уголъ Гороховой и Большой Мѣщанской, и съ десяти часовъ утра до десяти часовъ вечера держала въ осадѣ лавку, дотолѣ никѣмъ не посѣщаемую. Въ этотъ день было продано 100 дюжинъ рубашекъ, 1.000 паръ мужскихъ и женскихъ кальсоновъ, 500 дюжинъ носовыхъ платковъ и по соразмѣрности прочихъ товаровъ. Вечеромъ Гершка телеграфировалъ въ Ярославль съ требованіемъ скупить у тамошнихъ бабъ все бплефельдское полотно, какое окажется въ наличности...

Однако фактъ существованія лжесвидѣтелей былъ на-лицо, и я бросился къ Прокопу, чтобы предупредить его насчетъ предательства Гаврюшки.

Но какъ же я былъ пріятно изумленъ!!

Оказалось, что все это не больше, какъ подпольная интрига, въ которой дѣятельными лицами являлись агенты Прокопа и жертвою которой долженъ былъ пасть молодой Хлестаковъ! Что и Гаврюшка, и Іуда Стрѣльниковъ — не только не лжесвидѣтели, но просто благонамѣреннѣйшіе люди, изъявившіе согласіе, за извѣстную плату, надуть моихъ новыхъ пархатыхъ родственниковъ!

Я отсюда представляю себѣ эту изумительную сцену. Хлестаковъ горячится и требуетъ призыва Гаврюшки и Стрѣльникова; напротивъ того, адвокатъ Прокопа съ чувствомъ и даже настойчиво отклоняетъ это требованіе. Но правда, однакожъ, превозмогаетъ; свидѣтели вызваны; Хлестаковъ потираетъ руки... настораживаетъ уши, старается уловить каждое слово, каждый звукъ драгоцѣннаго свидѣтельства—и что же слышитъ?!

— Ничего этого я не знаю,—говоритъ Гаврюшка:—человѣкъ я слабый, пьяный! Служилъ я у нихъ — это точно... Только ужъ оченно строги они были... ахъ, какъ были строги!

— Правда ли, что подсудимый неоднократно билъ васъ?—спрашиваетъ Гаврюшку защитникъ Прокопа.

— И бивали... страсть какъ бивали! Бывало, чуть что — сейчасъ въ ухо или по зубамъ!

— Прошу господъ присяжныхъ обратить на это показаніе особенное

вниманіе!—обращается защитникъ Прокопа къ присяжнымъ:—оно уничтожаетъ въ прахъ всѣ эти гнусныя клеветы насчетъ подкуповъ и угрозъ, которыя злонамѣренно распускаются въ обществѣ. Вотъ свидѣтель, который прямо показываетъ, что подсудимый не только не подкупалъ, но и билъ его... и за всѣмъ тѣмъ въ благодарной своей памяти не находитъ ни единаго факта, который могъ бы очернить моего кліента! Еще разъ прошу васъ обратить на это вниманіе!

— Было у насъ это дѣло такимъ манеромъ,—показываетъ въ свою очередь Іуда Стрѣльниковъ: — призываютъ они меня, вотъ этотъ самый господинъ Хлестаковъ, и говорятъ: „вотъ тебѣ, говорятъ, къ примѣру два золотыхъ; покажи, значитъ, что Семенъ Петровъ при тебѣ на пароходѣ хвастался!“ А я, ваше превосходительство, совѣсть имѣю.—Какъ же, молъ, говорю, Александръ Иванычъ, я теперича объ этомъ самомъ дѣлѣ показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю?—Однако они меня не послушали: „ничего, говорятъ, показывай! я тебя вызову“. — Какъ угодно, говорю, а только мы противъ совѣсти показывать не согласны!—Только у насъ и разговору, ваше превосходительство, съ ними было!

Хлестаковъ краснѣетъ и блѣднѣетъ; онъ чувствуетъ, какъ сознаніе собственнаго легкомыслія начинаетъ угрызать его. Конечно, впослѣдствіи онъ пойметъ ту теорію „встрѣчнаго подкупа“, которую всесторонне разработалъ Прокопъ, но когда онъ пойметъ ее—будетъ уже поздно...

Каковъ сюрпризъ!!...

Но возвращаюсь къ разсказу.

Я засталъ Прокопа въ той самой гостинницѣ, въ которой онъ остановился по пріѣздѣ въ Петербургъ. Онъ, по обыкновенію своему, шагалъ изъ угла въ уголъ, но по временамъ останавливался и меланхолически разсматривалъ щегольской сѣрый казакинъ съ бубновымъ тузомъ на спинѣ, который сгоряча заказалъ для себя и въ которомъ теперь не предстояло никакой надобности. Передъ нимъ, какъ бѣсъ передъ заутреней, вертѣлся маленькій человѣкъ, не то армянинъ, не то грекъ,—однимъ словомъ, существо, которое Прокопъ, подъ веселую руку, называлъ „православнымъ жидомъ“. Это былъ секретный агентъ Прокопа, агентъ, на обязанности котораго лежало отыскиванье лжесвидѣтелей, устройство различныхъ судебныхъ сюрпризовъ и другая черная работа. У дверей, прислонясь къ притолкѣ, стояли: ополоумѣвшій отъ водки Гаврюшка и расторопный елабужскій мѣщанинъ Іуда Стрѣльниковъ.

— Боюсь, не повѣрили они! Не пойдутъ, братъ, они на эту штуку!—какъ-то лѣниво резонировалъ Прокопъ, выслушавъ докладъ своего агента.

Гаврюшка только хлопалъ въ отвѣтъ глазами. За него выступилъ впередъ съ отвѣтомъ Стрѣльниковъ.

— Ваше высокородіе! позвольте слово сказать-съ!

— Говори, братецъ!

— Возможное ли теперича дѣло, чтобъ они не повѣрили, коли мы, значитъ, даже руки, съ позволенія сказать, подъ себя клали! По ихнему, теперича, какой это разговоръ? „Вѣрное слово“—и больше ничего.

Прокопъ вопросительно взглянулъ на „православнаго жида“.

— Это такъ точно, ваше высокородіе!—засуетился послѣдній:—это у нихъ... это ежели кто руку подъ себя положилъ...

— Позвольте, Экономидъ Мурзаханычъ!—вступился Стрѣльниковъ:—я ихъ высокородію все объясню. Ваше высокородіе! возможно ли мнѣ этихъ дѣловъ не знать, коли я этого самаго жида... другой, значитъ, козла своего столько не знаетъ, сколько я этихъ жидовъ наскрозь проникъ!

— Ой-ли? Очень ужъ, погляжу я, ты хвастаться ловокъ! А ты знаешь ли, что̀ значитъ елабужскій мѣщанинъ *)?

— И это знаю-съ! Я все знаю-съ. Потому я, ваше высокородіе, не токма что въ Елабугѣ, а даже въ самомъ Парижѣ проживаніе имѣлъ-съ!

— Ври, дуракъ!

— Вѣрное слово, ваше высокородіе! Потому тятенька у меня человѣкъ строгій, можно сказать, даже ровно истуканъ простой... Жили мы, теперича, въ этой самой Елабугѣ, и сдѣлалось мнѣ вдругъ ужасти какъ непросторно! Тоись, такъ непросторно! такъ непросторно! Ну, и сталъ я, значитъ, пропадать: день меня нѣтъ, два дня нѣтъ—натурально, отъ родителевъ гнѣвъ. Вотъ и говорятъ мнѣ тятенька: „ступай, говоритъ, сукинъ сынъ, куда глаза глядятъ!“

— Да въ Парижъ-то тебя какъ нелегкая занесла?

— Постепенно-съ. Съ господами пріѣхалъ-съ. Я, ваше высокородіе, при каммунѣ сторожемъ состоялъ!

— Ну!?

— Точно такъ, ваше высокородіе. Только я, конечно, по чувствамъ своимъ больше до господина Тьера касательство имѣлъ... Утромъ, извѣстно, въ каммунѣ служишь, а вечеромъ—касательство въ Версали-съ...

Стрѣльниковъ смотрѣлъ такъ ясно и даже интеллигентно, что Прокопъ, нѣсколько разъ во время разговора подмигивавшій „православному жиду“, окончательно повеселѣлъ.

— Выжига, значитъ!

— По нашему званію, ваше высокородіе, никакъ безъ этого невозможно-съ! Теперича, напримѣръ, хоть бы вы-съ. Призываете вы меня: предоставь мнѣ, Стрѣльниковъ, то али, положимъ, хоть и другое! Долженъ ли я вашему высокородію удовольствіе сдѣлать?

— Только ты смотри у меня, держись въ струнѣ, не сбренди! Я, братъ, вѣдь золъ! Я тебя—если что̀ — въ треисподней достану! Какъ только онъ тебя свидѣтелемъ вызоветъ—сейчасъ ты его удиви!

— Ваше высокородіе! Довольно вамъ сказать: какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вами-съ! Наплюйте вы мнѣ въ лицо! Въ самые, тоись, глаза мнѣ плюньте, ежели я хоть на волосокъ сфальшу! Сами посудить извольте: они мнѣ, теперича, двѣсти рублей посулили, а отъ васъ я четыреста въ надеждѣ получить! Не низкій ли же я противъ васъ человѣкъ буду, ежели я этихъ пархатыхъ въ лучшемъ видѣ вашему высокородію не предоставлю! Тоись, такъ ихъ удивлю! такъ удивлю! Тоись... и Боже ты мой!

---

*) „Елабужскими мѣщанами“ въ Вятской губерніи называютъ извѣстныхъ, особенно надоѣдливыхъ паразитовъ.

. . . . . .

Далѣе я не слушалъ: я понялъ.

Но тутъ нить моего сновидѣнія прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрѣлой черезъ необозримое пространство, лечу, лечу... и наконецъ упадаю на самое дно пропасти.

Прошло двадцать-пять лѣтъ; девятнадцатый вѣкъ на исходѣ, а Прокопъ все еще судится. Изъ похищеннаго милліона у него осталось всего-навсе двѣсти-пятьдесятъ тысячъ, а онъ въ теченіе двадцати-пяти лѣтъ, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успѣлъ дотянуть до половины буквы *В*. Сто-двадцать-пять городовъ, мѣстечекъ, посадовъ и крѣпостей были свидѣтелями торжества его добродѣтели, но сколько еще тысячъ городовъ предстоитъ впереди — это невозможно даже приблизительно опредѣлить. Къ несчастію для Прокопа, благодаря чрезмѣрному развитію промышленности, каждый годъ, какъ на смѣхъ, возникаетъ множество новыхъ городовъ и мѣстечекъ, такъ что ему безпрестанно приходится возвращаться назадъ къ буквѣ *А*. А тутъ еще и другое неудобство: порядокъ переѣзда изъ одного города въ другой, вслѣдствіе канцелярскаго недоразумѣнія, принятъ алфавитный, и Прокопъ по этой причинѣ обязывается переѣзжать изъ Бѣлева въ Бѣлозерскъ, изъ Бѣлозерска въ Бѣлополье и т. д.

Въ настоящую минуту онъ въ Верхотурьѣ (Пермской губерніи) и дѣятельно готовится къ переѣзду въ Верхоянскъ (Якутской области)...

Европа давно уже измѣнила лицо свое; одни мы, русскіе, остаемся, по прежнему, незыблемы, счастливы и непреоборимы. Въ Европѣ, вслѣдствіе безначалія, давно ѣсть нечего, а у насъ по прежнему всего въ изобиліи. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидѣло гласный судъ въ стѣнахъ своихъ. Благо Уральскій хребетъ перейденъ, а тамъ до Восточнаго океана—ужъ рукой подать!

Благодаря этой постепенности, успѣхи, которые сдѣлала русская жизнь въ продолженіе послѣднихъ двадцати-пяти лѣтъ, по истинѣ изумительны! Въ каждомъ городѣ существуетъ клубъ, въ которомъ за 75 копѣекъ можно получить неприхотливый, но сытный обѣдъ, состоящій изъ трехъ блюдъ. Исправники не называются больше исправниками, а носятъ титулъ „излюбленныхъ губернаторами людей“, и въ этомъ качествѣ занимаютъ въ клубахъ должности „главныхъ старшинъ“. Вредный административный антагонизмъ исчезъ совершенно; земскія управы, изнемогши въ борьбѣ съ мостами и перевозами, оставили за собой лишь уѣздную и губернскую статистику, но за то довели эту науку до такого совершенства, что старикъ Кеттлé, пріѣхавъ однажды въ Балахну („Балахня—стоитъ ротъ распахня“, говоритъ народная пословица),—воскликнулъ: „nunc dimittis!“—и тутъ же испустилъ многомятежный духъ свой. Городскіе головы оставили за собой одну спеціальность: угощать по воскресеньямъ „излюбленныхъ губернаторами людей“ пирогами. Въ судахъ безначаліе устранено окончательно, благодаря тому, что независимость судей была счастливымъ образомъ уравновѣшена перспективою повышеній и наградъ. Самые судьи собирались только по субботамъ единственно для

того, чтобы закончить дѣла, начавшіяся еще въ „эпохи независимости“, и затѣмъ, условившись, куда идти вечеромъ въ баню, и явивъ міру примѣръ судопроизводства гласнаго и невреднаго, расходились по домамъ. Хотя же рядомъ съ „новыми“ существовали еще „новѣйшіе“, но и имъ дѣлать было нечего, за отсутствіемъ преступленій и процессовъ. Воровать и грабить было воспрещено строго-на-строго, а въ 1891 году, по иниціативѣ белебеевскаго „излюбленнаго губернаторомъ человѣка“, всѣмъ ворамъ было поставлено въ обязанность подать о себѣ особыя ревизскія сказки, по исполненіи чего они немедленно были посажены на цѣпь, и тѣмъ сразу прекращены были способы для производства дальнѣйшихъ съ ихъ стороны беззаконій. Гражданскіе процессы тоже прекратились, такъ какъ общество убѣдилось, что оттягать, напримѣръ, домъ у сосѣда вовсе не значитъ получить этотъ домъ въ свою собственность, но значитъ отдать его адвокату въ вознагражденіе за ходатайство. Образованіе проникло всюду, такъ что даже пастухи, охраняя ввѣренныя имъ стада, очень удовлетворительно склоняютъ *mensa*. Паспортовъ нѣтъ; на мѣсто ихъ введены маленькія-маленькія карточки, которыя, занимая въ карманѣ втрое менѣе мѣста противъ прежнихъ неуклюжихъ листовъ, доставляютъ населенію удобства неисчислимыя. Раздѣленія на военныхъ и статскихъ не существуетъ; всѣ одновременно — и статскіе, и военные; сперва займутся статскими дѣлами, то-есть взысканіемъ недоимокъ; потомъ, сейчасъ же вслѣдъ затѣмъ, примутся за военныя дѣла, выйдутъ на площадь, зачнутъ шагать, кружиться, потомъ опять шагать:

Въ колонну
Соберись бѣгомъ!
Трезвону
Зададимъ штыкомъ!
Скорѣй! скорѣй! скорѣй!

Нѣтъ также и раздѣленія на платящихъ и неплатящихъ. Податная коммисія, выдавъ 501-й томъ своихъ трудовъ, выработала наконецъ уставъ, которымъ всѣ остались довольны. Всѣ платятъ, и притомъ съ удовольствіемъ, и притомъ противъ прежняго втрое. Затѣмъ, такъ какъ все необходимое уже выполнено и поводовъ для огорченій не существуетъ, то политическія и литературныя партіи, раздиравшія наше общество двадцать-пять лѣтъ тому назадъ, исчезли сами собой. Ругательства, составлявшія красоту полемики семидесятыхъ годовъ, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совѣтъ книгопечатанія, однакожъ, еще существуетъ, но лишь для проформы, какъ нелишняя архитектурная подробность. Одинъ Менандръ не измѣнилъ традиціямъ и дерзче нежели когда-нибудь выражаетъ свой восторгъ по поводу переименованія исправниковъ въ излюбленныхъ губернаторами людей. Внѣшняя политика тоже въ порядкѣ: по смерти Тьера мы успѣли усадить въ президентскомъ креслѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Петра Толстолобова, который, еще въ бытность губернаторомъ, выказалъ замѣчательный тактъ въ борьбѣ съ губернскимъ предводителемъ дворянства. Австрію мы предоставили ея собственной судьбѣ; отъ Италіи получили вѣрное слово, что ежели Пій IX будетъ упорствовать въ своихъ заблужденіяхъ, то всѣ италь-

янцы, какъ одинъ человѣкъ, обратятся въ св. синодъ съ просьбой о воссоединеніи, и т. д. Остается одинъ только неясный пунктъ: Византія еще не покорена. Но такъ какъ въ газетахъ отъ времени до времени помѣщалась оффиціозная замѣтка, извѣщавшая, что на дняхъ послѣдовало въ законодательномъ порядкѣ утвержденіе штатовъ византійской контрольной палаты, то даже самъ И. С. Аксаковъ согласился до поры до времени молчать объ этомъ предметѣ, дабы съ одной стороны — не волновать безплоднымъ лиризмомъ общественнаго мнѣнія, а съ другой стороны — развязать правительству руки, буде оно въ самомъ дѣлѣ намѣрено распространить на весь юго-востокъ Европы дѣйствіе единства кассъ.

Вмѣстѣ со всѣмъ окружающимъ измѣнился и Прокопъ. Онъ одряхлѣлъ, обрюзгъ и ничего не можетъ ѣсть, кромѣ манной каши. Но духъ его все еще бодръ, такъ что теперь, прибывъ въ Верхотурье, онъ прежде всего спрашиваетъ, каковъ клубный поваръ въ Верхоянскѣ и чего больше въ тамошней гостинницѣ: блохъ или клоповъ. Однимъ словомъ, намѣренія остались прежнія, только средства къ ихъ выполненію ослабѣли.

Да и не мудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. Въ теченіе прошедшихъ двадцати-пяти лѣтъ онъ не только не понесъ никакого нравственнаго ущерба, но, благодаря процессу, успѣлъ сдѣлаться однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ цѣлой Россіи. Вездѣ, гдѣ онъ ни судился, остались благодѣтельные слѣды его пребыванія. Въ Арзамасѣ онъ пожертвовалъ сто рублей на соединеніе каналомъ рѣки Теши и Сережи; въ Ардатовѣ Симбирскомъ на свой счетъ очистилъ отъ навоза базарную площадь; въ Богучарѣ устроилъ народный праздникъ и кинулъ на драку сто рублей; въ Алексинѣ выписалъ изъ Голландіи мастера, который научилъ обывателей мариновать знаменитыхъ алексинскихъ пискарей; въ Болховѣ подалъ мысль о проведеніи желѣзнодорожной вѣтви къ Мценску, въ видахъ успѣшнѣйшаго сбыта несравненныхъ болховскихъ котёлокъ, и т. д. Поэтому мѣстныя начальства принимали его съ почтительнымъ радушіемъ и съ твердой надеждой на болѣе свѣтлое для себя будущее. Во всякомъ городѣ существовали: или грязь по колѣна, или навозъ по уши, слѣдовательно всякому городу лестно было обратить вниманіе сильнаго человѣка на эти язвы, хотя бы и достовѣрно было извѣстно, что капиталы этого сильнаго человѣка пріобрѣтены не совсѣмъ чистымъ путемъ. Вездѣ Прокопа чествовали на славу: вездѣ сажали на первое мѣсто и угощали кашей на всевозможныхъ бульонахъ.

Столь почтительно-благосклонное отношеніе начальствующихъ не могло не оказать вліянія и на умы присяжныхъ засѣдателей. Сначала въ средѣ ихъ, конечно, случалось нѣчто похожее на разномысліе, такъ что твердые въ вѣрѣ не иначе какъ съ бою брали каждый свой шагъ. Но это, очевидно, было только недоразумѣніе, обязанное своимъ происхожденіемъ лишь новости дѣла. Я самъ было-испугался этому явленію и, сознаюсь, употребилъ даже военную хитрость, чтобъ побороть его. А именно: однажды, замѣтивъ, что силы „борцовъ за милліонъ“ ослабѣваютъ, я незримо пролетѣлъ между присяжными и сразу убѣдился, что этого вполнѣ достаточно, чтобъ добродѣтель Прокопа восторжествовала. Какъ только появилась моя тѣнь, такъ тотчасъ же комната присяжныхъ наполнилась тѣмъ острымъ „запахомъ милліона“, кото-

рый въ наши дни рѣшаетъ судьбу негарантированныхъ правительствомъ предпріятій. Но, начиная съ Ардатова, гдѣ Прокопъ въ одну ночь освободилъ базарную площадь отъ вѣками накопившагося на ней навоза, и къ этой уловкѣ прибѣгать не предстояло уже надобности. Присяжные словно осовѣли. Имъ, повидимому, казалось даже страннымъ, что на обсужденіе ихъ предлагается вопросъ о какихъ-то родственникахъ, тогда какъ всѣмъ извѣстно, что никакихъ заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ родственниковъ нѣтъ, а есть просто шайка пархатыхъ жидовъ, которые, по старинной ненависти къ христіанству, нанимаютъ легкомысленнаго Хлестакова, чтобы терзать человѣка за то, что онъ не пропускаетъ ни одной обѣдни! Вѣдь жиды ужъ навѣрное ограбили бы! навѣрное не оставили бы даже той старинной копѣечки, которою благословила дѣдушку Матвѣя Иваныча неизвѣстная нищенка, и къ которой Прокопъ, изъ уваженія къ семейной святынѣ, даже не прикоснулся! А если бы *они* ограбили, то почему же... о чемъ же тутъ толковать, скажите на милость!?

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, начиная съ Ардатова, даже судоговоренія по моему дѣлу почти никакого не было. Соберется судъ; Прокопа усадятъ между двумя жандармами на скамью обвиняемыхъ (постепенно онъ такъ обтерпѣлся, что безстрашно пробовалъ пальцами, тупые или острые у жандармскихъ сабель клинки), прочтутъ на почтовыхъ съ пятаго на десятое обвинительный актъ (Прокопъ во всеуслышаніе при этомъ восклицаетъ: „и зачѣмъ эти „часы“ въ сотый разъ читаютъ!“) и въ одну минуту окрутятъ лжесвидѣтелей. Потомъ выйдетъ на сцену прокуроръ, скажетъ для проформы: „ахъ, какое негодованіе возбуждаетъ въ душѣ моей этотъ ужасный преступникъ, который даже не понимаетъ, что сознайся онъ—давно бы его сослали на поселеніе въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя!“—и сядетъ. Потомъ, на смѣну прокурору, выступитъ защитникъ Прокопа, скажетъ: „ахъ, какое негодованіе возбуждаетъ во мнѣ прокуроръ, который до сихъ поръ не можетъ понять, что въ Сибирь идти никому не хочется!“—и тоже сядетъ. Наконецъ встанетъ Хлестаковъ, и только-что пригласитъ присяжныхъ засѣдателей перенестись вмѣстѣ съ нимъ мыслью въ древній Римъ, какъ предсѣдатель съ твердостью, не допускающею возраженій, замѣтитъ ему, что всякіе разговоры въ дѣлѣ столь ясномъ неумѣстны, и затѣмъ объявитъ пренія заключенными. Присяжные выйдутъ въ свою комнату, произнесутъ: „наплевать!“—и возвратятся въ залу засѣданій суда съ приговоромъ, признающимъ дѣйствія Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При такомъ упрощеніи обрядовъ судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не судъ былъ обременителенъ для него, а переѣзды. Сначала онъ довольно охотно знакомился съ городами Россійской Имперіи, но когда, въ одинъ и тотъ же годъ, ему пришлось посѣтить Баргузинъ, Барнаулъ, Баръ, Баускъ и Бахмутъ, онъ почувствовалъ нѣкоторое утомленіе. Изумительное разнообразіе климатовъ, флоры, фауны и проч., подѣйствовало на него. Духъ остался бодръ, но тѣло... тѣло восчувствовало. Такъ что, при переѣздѣ изъ Архангельска въ Астрахань, онъ разомъ потерялъ всѣ зубы и сдѣлался неспособнымъ принимать какую-либо иную пищу, кромѣ каши.

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представлялось положеніе противной стороны,

то-есть гражданскихъ истцовъ. Гершка Зальцфишъ вышелъ изъ этого дѣла съ честью. Наживъ биржевою игрою значительный капиталъ, онъ предусмотрительно сбылъ свои акціи, когда онѣ были еще въ хорошемъ требованіи: продавцы $76^{3}/_{4}$, покупатели $76^{1}/_{4}$, сдѣлано $76^{1}/_{2}$. Но впослѣдствіи, однакожъ, и Гершка возгордился, а слѣдовательно и проворовался. Занявъ во всѣхъ банкахъ (вся Россія въ то время была, какъ тенетами, покрыта банками, такъ что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попавъ головой въ одну изъ петель) болѣе милліона рублей, онъ бѣжалъ за границу, но въ Гамбургѣ былъ пойманъ въ ту самую минуту, какъ садился на отправлявшійся въ Америку пароходъ, и теперь томится въ острогѣ (присяжные засѣдатели видѣли въ этомъ происшествіи перстъ Божій). Затѣмъ всѣ акціи, по дешевой цѣнѣ, скупилъ расторопный Іерухимъ, въ надеждѣ поправить свои обстоятельства; но когда Азовъ, Аккерманъ, Акмолинскъ и Алапаевскъ послѣдовательно выразились въ пользу Прокопа, повязка вдругъ спала съ его глазъ. Онъ бросился на биржу съ предложеніями, но было уже поздно; акціи упали съ быстротою молніи и въ настоящее время стояли: продавцы $2^{1}/_{4}$ *безъ покупателей*! Къ довершенію всего, Іерухима поразилъ и еще одинъ ударъ: въ 1881 году обѣ мои сестрицы померли (и въ этомъ обстоятельствѣ для присяжныхъ засѣдателей былъ ясенъ перстъ Божій), а съ ихъ смертью сошли со сцены послѣдніе достовѣрные лжесвидѣтели, которые дотолѣ фигурировали въ процессѣ...

Если Прокопъ одряхлѣлъ тѣломъ, то Іерухимъ одряхлѣлъ духомъ. Онъ какъ-то безпокойно вертѣлъ головой, слозно къ чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не къ чему. На *моемъ* дѣлѣ іудейство всецѣло исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Іерухимѣ былъ замасленный, дырявый кафтанишка, а ермолка на головѣ до того лоснилась и побѣлѣла, что издали можно было принять ее за только-что навощенный паркетъ. Прокопъ изъ милости кормилъ и поилъ его и даже возилъ на свой счетъ за собою (разумѣется, въ третьемъ классѣ), но издержки на наемъ Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тѣмъ эти-то издержки и составляли больное мѣсто бѣднаго Іерухима. Хлестаковъ всецѣло отдалъ себя моему дѣлу (ради принципа онъ отказался и отъ удобствъ золоченой мебели, и отъ своей пятитысячной петербургской квартиры!), и потребовалъ отъ Іерухима не менѣе ста рублей въ мѣсяцъ жалованья. Сверхъ того, онъ былъ необыкновенно прожорливъ, да и переѣзды его стоили не мало (ниже II класса вагона онъ не соглашался ѣхать). Такъ что, взятыя въ совокупности, издержки на этотъ предметъ требовали не меньше двухъ тысячъ рублей съ половиною въ годъ.

— А тебѣ зе и вся цѣна—гросъ! — язвительно попрекалъ Іерухимъ своего защитника.

И сколько разъ Іерухимъ слезно молилъ Прокопа! Сколько разъ валялся у него въ ногахъ!

— Васе высокородіе!—вопіялъ онъ:—конците! Вамъ зе ницего не стоитъ дать бѣдному, цестному еврею тысяцу рублей! Нехай его, собака, подавится! А вамъ зе, ай-ай, какъ хоросо будетъ! И вамъ хоросо, и мине... ай-ай-ай, какъ уфсѣмъ будетъ спокойно!

Но Прокопъ оставался непреклоненъ.

— Нѣтъ, пархатый! — говорилъ онъ: — теперь я тебя не выпущу! Окрестись! обрѣжь кудри, оставь свою жидовскую вѣру — тогда кончу! Самъ воспреемникомъ буду, дамъ тебѣ тысячу рублей въ зубы — и ступай на всѣ четыре стороны!

И Прокопъ имѣлъ полное основаніе медлить. Независимо отъ почестей, съ которыми его всюду встрѣчали, онъ и въ домашнемъ быту былъ окруженъ самыми заботливыми попеченіями. „Православный жидъ“ въ каждомъ городѣ отыскивалъ для него достовѣрныхъ лжесвидѣтелей; Гаврюшка служилъ у него въ лакеяхъ и, женившись на старой Прокоповой метрессѣ, остепенился и пересталъ пить; Іуда Стрѣльниковъ тоже всюду сопровождалъ его и оказывалъ существенныя услуги по части отыскиванія новыхъ метресокъ. Въ Ачинскѣ ли, въ Борзнѣ ли — гдѣ бы ни былъ Прокопъ — вездѣ Іуда Стрѣльниковъ отыщетъ именно то, что по современному настроенію Прокоповой души требуется.

Одно только терзаетъ Прокопа — это чувствительная убыль въ капиталѣ. Но въ этомъ онъ долженъ винить исключительно самого себя, потому что съ самаго начала сталъ дѣйствовать уже слишкомъ неосторожно, черезчуръ на широкую руку. Такъ напримѣръ, въ Срединномъ выстроилъ разомъ сто кіосковъ для проходящихъ — но къ чему такая безполезная трата капитала въ городѣ, гдѣ изстари заведены совсѣмъ другіе по сему предмету обычаи! Сверхъ того, онъ условился платить своему оффиціальному адвокату по десяти тысячъ рублей за каждую поѣздку (онъ совершенно свободно могъ ограничить этотъ размѣръ тысячью рублями), и долженъ былъ смотрѣть сквозь пальцы, какъ „православный жидъ“, не довольствуясь присвоеннымъ ему содержаніемъ, совершенно открыто запускалъ руку въ его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты съ капитала легко покрыли бы всѣ издержки по процессу; но, къ сожалѣнію, на первыхъ порахъ, сторяча, Прокопу показалось, что украденному милліону не будетъ и конца. Поэтому, увлекшись однажды, онъ очень скоро началъ первую сотню тысячъ, потомъ вторую, третью и т. д.; когда же, наконецъ, спохватился, — было уже поздно: процентами съ оставшихся двухсотъ-пятидесяти тысячъ ни подъ какимъ видомъ издержекъ процесса удовлетворить было невозможно... Напрасно старался онъ ввести благоразумную экономію въ обиходъ свой: и оффиціальный защитникъ, и „православный жидъ“ уже пріобрѣли извѣстныя привычки, отъ которыхъ отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему нужны деньги, ибо онъ только-что приторговалъ домъ у своего сосѣда съ лѣвой стороны; а второй даже отзывовъ никакихъ не давалъ, а просто-на-просто продолжалъ лазить въ шкатулку. Да и Гаврюшка съ Стрѣльниковымъ (ужъ на что вѣрные люди!) не клали охулки на руку, особливо съ тѣхъ поръ, какъ Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Іуда Стрѣльниковъ вступилъ съ нею въ секретную любовную связь.

Видя эти расхищенія, Прокопъ, конечно, скорбѣлъ: но тѣмъ не менѣе мысль о томъ, что онъ рязанско-тамбовско-саратовско-воронежскій дворянинъ ни на минуту не покидала его. Какъ дворянинъ четырехъ губерній, онъ обязывался отстаивать свою честь до послѣдней капли крови, или, по крайней

мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока изъ похищеннаго милліона не останется только сто тысячъ. Эту послѣднюю сотню тысячъ онъ рѣшился сохранить для дѣтей, изъ которыхъ старшій сынъ, преодолѣвъ ненависть къ латинскому языку, занималъ въ настоящее время каѳедру римскихъ древностей въ пошехонскомъ университетѣ. Только тогда, когда мѣсячная расходная вѣдомость покажетъ, что на-лицо состоитъ лишь сто-одна тысяча рублей, — только тогда онъ сочтетъ свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь отомщенною. Вѣроятно это случится лѣтъ черезъ пять, въ Гавриловскомъ посадѣ Владимірской губерніи. Тогда онъ призоветъ Іерухима, кинетъ ему въ лицо тысячу рублей и скажетъ: „жри, собака!“ Потомъ онъ собственноручно изобьетъ „православнаго жида“ и спуститъ его съ лѣстницы! Затѣмъ у него останется ровно сто тысячъ, на которыя онъ, за безцѣнокъ и въ память обо мнѣ, купитъ Проплёванную и учредитъ тамъ гласную кассу судъ... то-бишь, ссудо-сберегательный банкъ для крестьянъ...

Но возвращаюсь къ разсказу.

Благодаря великому онего-устьсысольско-верхотурскому желѣзному пути, Прокопъ очень комфортабельно совершилъ свое путешествіе, и теперь, совершенно какъ дома, расположился въ верхотурской гостинницѣ для пріѣзжающихъ подъ фирмою „Удовлетворенный обыватель“, изъ которой стараніями мѣстнаго „излюбленнаго человѣка“ навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успѣлъ мой другъ умыться и причесаться съ дороги, какъ уже Гаврюшка доложилъ, что къ нему явилась депутація отъ верхотурскаго университета. Университетъ былъ основанъ въ недавнее время иждивеніемъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (въ военное же время корнета) и всѣхъ желѣзно-дорожныхъ жетоновъ кавалера Губошлепова, съ спеціальною цѣлью образованія домашнихъ Невтоновъ и быстрыхъ разумомъ Платоновъ изъ сосѣднихъ вогульцевъ и остяковъ. Но, несмотря на недавнее учрежденіе университета, студенты уже жаловались. Во-первыхъ, съ самаго основанія университета ни одна изъ учрежденныхъ въ немъ каѳедръ до сихъ поръ не была замѣщена; во-вторыхъ, самое помѣщеніе университета въ бывшей швальнѣ инвалидной команды представляло очень значительныя неудобства. Хотя же они, студенты, неоднократно приносили на дѣйствія г. Губошлепова жалобы дѣйствительному статскому совѣтнику и всѣхъ жетоновъ кавалеру г. Мордухаю Проходимцеву, но получили отвѣтъ, въ которомъ г. Проходимцевъ, ссылаясь на недавнее свое дѣло съ ташкентскимъ земствомъ, выражалъ мысль, что въ настоящее непостоянное время вступать въ какія-либо обязательства по предмету распространенія въ Россіи просвѣщенія — дѣло довольно щекотливое: пожалуй, не поймутъ шутки, да и взаправду деньги вытребуютъ!

— Ваше высокородіе! на васъ одна надежда! Вамъ шайтанъ поможетъ! —взывали бѣдные вогульцы и остяки къ Прокопу.

И надежда не тщетная, ибо Прокопъ тутъ же вынулъ изъ кармана десяти-рублевую ассигнацію, подалъ ее студентамъ и сказалъ:

— На первый разъ... вотъ вамъ! Только смотрите у меня: чуръ, не шумѣть! Вѣдь вы, студенты... тоже народецъ! А вы лучше вотъ чтѳ сдѣлайте: наймите-ка латинскаго учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите—анъ хмель-то изъ головы и вышибетъ! А Губошлепову я напишу:

стыдно, братецъ! самъ людей въ соблазнъ ввелъ, да самъ же и бросилъ... на что похоже!

Студенты ушли, благословляя имя своего благодѣтеля. „Не такъ дороги намъ эти десять рублей“, разсуждали они между собой въ передней, „какъ дорогъ благой совѣтъ!“ Вслѣдъ за студентами явился градской голова съ выборными отъ общества и поднесъ Прокопу большой горшокъ каши на рябчиковомъ бульонѣ.

— Клянчить пришли?—развязно спросилъ пришедшихъ Прокопъ.

— Какъ намъ не клянчить! Въ нуждѣ рождаемся, въ нуждѣ въ возрастъ приходимъ, въ нуждѣ же и смертный часъ встрѣтить должны!—отвѣтилъ голова, понуривая голову, какъ бы подъ бременемъ благочестивыхъ размышленій, на которыя навело его упоминовеніе смертнаго часа.

— Говорите скорѣе! что нужно? Чортъ съ вами! что могу...

— Знаемъ, ваше высокородіе! знаемъ мы твою добродѣтель! Слышали мы, какъ ты въ Ардатовѣ въ одну ночь площадь отъ навоза ослобонилъ! Можетъ, не одну тысячу лѣтъ та площадь всякій калъ на себя принимала, а ты, глядикось, прилетѣлъ, да въ однѣ сутки ее, словно дѣвицу непорочную, подъ вѣнецъ убралъ!

— А развѣ и у васъ площадь... тово?

— Нѣтъ, у насъ площадь, слава те Господи! Храни ее Царица Небесная! Съ тѣхъ поръ, какъ Губошлеповъ университетъ этотъ у насъ завелъ, каждый Божій день студентовъ съ метлами наряжаемъ. Метутъ да помечутъ на гулянкахъ! Одно только: монумента на площади нѣтъ! А ужъ какъ гражданамъ это желательно! какъ желательно! Просто, то-есть, брюхомъ хочется, чтобъ на нашей площади кончый статуй стоялъ!

И тутъ Прокопъ не сказалъ слова. Онъ даже не сталъ разспрашивать, кому намѣрены верхотурцы воздвигнуть монументъ, ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли, или, наконецъ, тому „неизвѣстному богу“, которому нѣкогда воздвигали алтари древніе нѣжинскіе греки. Онъ вынулъ изъ кармана двадцати-пяти рублевый билетъ и такъ просто вручилъ его головѣ, что присутствующіе были растроганы до слезъ и тутъ же взяли съ Прокопа слово, что онъ не уѣдетъ въ Верхоянскъ, не отвѣдавъ у головы хлѣба-соли.

Послѣ представителей городского общества явились предсѣдатель и члены земской управы, изъ которыхъ первый поднесъ Прокопу богато-переплетенный „Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Верхотурскому уѣзду“. Прокопъ далъ ему пять рублей, сказавъ:

— Далъ бы, братъ, и бсльше, да ужъ очень много васъ нынѣче развелось! На каждомъ шагу словно западни разставлены! Одному десять, другому двадцать, третьему цѣлыхъ сто... Это и на здоровые зубы оскомину набьетъ!

Члены верхотурскаго суда, дабы не подать повода къ неосновательнымъ обвиненіямъ въ пристрастіи, не рѣшились представиться явно, но устроили секретную процессію, которая церемоніальнымъ маршемъ прошла мимо оконъ занимаемаго Прокопомъ нумера. Причемъ подсудимый вышелъ на балконъ и одарялъ проходящихъ мелкою монетой.

Наконецъ пришелъ и самъ верхотурскій „излюбленный губернаторомъ

человѣкъ“ и поднесъ Прокопу дипломъ на званіе вѣчнаго члена верхотурскаго клуба. Узнавъ въ „излюбленномъ человѣкѣ“ бывшаго сослуживца по Бѣлобородовскому полку (во снѣ мнѣ даже показалось, что онъ какъ двѣ капли воды похожъ на корнета Шалапутова), Прокопъ до того обрадовался, что разомъ отвалилъ ему полсотенную. Но „излюбленный человѣкъ“ не сейчасъ положилъ ее въ карманъ, а посмотрѣлъ сначала на свѣтъ, не фальшивая ли.

— Ну, теперь айда́ въ судъ!—весело сказалъ Прокопъ, когда представленія кончились.

Но въ судѣ случилось нѣчто черезчуръ ужъ необыкновенное, нѣчто такое, что даже и во снѣ не всегда допускается...

Едва вошелъ Прокопъ, въ сопровожденіи двоихъ жандармовъ, какъ присяжные повскакали съ своихъ мѣстъ и хоромъ возгласили:

— Согласно съ обстоятельствами дѣла! Согласно! Поступили бы! Хуже бы сдѣлали! Хуже!

Напрасно протестовалъ Хлестаковъ, напрасно поднималъ онъ свой голосъ, взывая къ присяжнымъ:

— Прежде, нежели приступлю къ изложенію обстоятельствъ настоящаго дѣла, милостивые государи, считаю долгомъ кратко изложить передъ вами, какіе взгляды имѣло древнее римское законодательство на воровство вообще...

— Знаемъ, знаемъ! что̀ ты намъ очки-то втирать хочешь!—кричали присяжные:—сами дошлые! ишь малолѣтковъ нашелъ!

Іерухима едва не разнесли на куски, и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тѣмъ, что вырвали у него пейсы.

— Благодарю васъ, дѣти мои!—говорилъ Прокопъ, рыдая: — благодарю! Гаврюшка! Стрѣльниковъ! Вотъ четвертная! Четыре ведра... бѣгите... живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!

Увидѣвъ это, Хлестаковъ вдругъ измѣнилъ тактику и изъявилъ Прокопу готовность изъ обвинителя сдѣлаться его защитникомъ въ Верхоянскѣ. Но Прокопъ кратко и строго обезоружилъ его:

— Натко, выкуси!

Избитый и полумертвый, Іерухимъ наконецъ восчувствовалъ. Онъ понялъ, что до сихъ поръ блуждалъ во тьмѣ, и потому изъявилъ желаніе немедленно принять христіанство. Тогда Прокопъ простилъ его, выдалъ, по условію, тысячу рублей и даже пожелалъ быть его воспреемникомъ.

Процессъ кончился; у Прокопа осталось двѣсти пятьдесятъ тысячъ, изъ которыхъ онъ тутъ же роздалъ около десяти. Сознавая, что это уже послѣдняя раздача денегъ, онъ былъ щедръ. Затѣмъ, проживъ еще съ недѣлю въ Верхотурьѣ, среди цѣлаго вихря удовольствій, мы отправились уже не въ Верхоянскъ, а прямо подъ сѣнь рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба...

Къ сожалѣнію, однакожъ, все это было только во снѣ; въ дѣйствительности же мнѣ было суждено проснуться самымъ трагическимъ образомъ.

Глава XI.

Я проснулся въ больницѣ для умалишенныхъ. Какъ попалъ я въ это жилище скорби — я не помню. Быть можетъ, находясь въ припадкахъ лунатизма, я буйствовалъ, бросался изъ окна, угрожалъ жизни другихъ. Но можетъ быть также, что я обязанъ моимъ перемѣщеніемъ квартальному поручику Хватову, который, узнавъ о привлеченіи меня къ опаснѣйшему политическому процессу, вспомнилъ о взаимномъ нашемъ хлѣбосольствѣ и воспользовался моимъ забытьемъ, чтобъ выдать меня за сумасшедшаго и тѣмъ спасти отъ справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозилъ мнимаго Левассёра на извозчикѣ... Какъ бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась въ моихъ глазахъ. Нѣкоторое время я все еще жилъ впечатлѣніями сна и даже возстановлялъ себѣ наяву нѣкоторые эпизоды, которые или совсѣмъ улетучились, или очень неясно промелькнули въ моемъ сновидѣніи.

Такъ напримѣръ, въ сновидѣніи я совсѣмъ не встрѣчался съ личностью оффиціальнаго Прокопова адвоката (Прокопъ имѣлъ двоихъ адвокатовъ: одного секретнаго, „православнаго жида“, который, олицетворяя собой всегда омерзительный порокъ, долженъ былъ вносить смуту въ сердца свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей, и другого — открытаго, который, олицетворяя собою добродѣтель, долженъ былъ убѣдить, что послѣдняя даже въ томъ случаѣ привлекательна, когда устраняетъ капиталы изъ первоначальнаго ихъ помѣщенія)—теперь же эта личность представилась мнѣ съ такою ясностью, что я даже изумился, какъ могъ до сихъ поръ просмотрѣть ее. Припомнились мнѣ также нѣкоторыя подробности изъ дѣятельности „православнаго жида“: какъ онъ за сутки до судоговоренія залѣзъ въ секретное мѣсто, предназначенное исключительно для присяжныхъ засѣдателей (кажется, это было въ Ахалцихѣ Кутаисскомъ), какъ сначала пришелъ туда одинъ засѣдатель, и черезъ минуту вышелъ вонъ, изумленный, утѣшенный и убѣжденный, забывъ даже, зачѣмъ отлучался изъ комнаты засѣдателей; какъ онъ вошелъ обратно въ эту комнату и мигнулъ, какъ вслѣдъ затѣмъ всѣ прочіе засѣдатели по очереди направлялись, подъ конвоемъ, въ секретную, и всѣ выходили оттуда изумленные, утѣшенные и убѣжденные... Такова сила убѣжденія, которую умѣетъ усвоивать себѣ даже омерзительный порокъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда идетъ рѣчь о добродѣтели, занимающейся устраненіемъ чужихъ капиталовъ изъ первоначальныхъ помѣщеній!

Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бѣльцы, Валуйки! Въ Буинскѣ судятъ уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоѣлъ онъ, должно быть, мѣстнымъ Прокопамъ!) за то, что не по чину весело время проводилъ; въ Бѣлозерскѣ, по прежнему, позорятъ заблудшихъ снѣтковъ! Изъ всѣхъ лицъ, съ которыми мнѣ пришлось имѣть дѣло во время годичнаго пребыванія въ Петербургѣ, придется встрѣтиться, быть можетъ, только съ тремя (развѣ еще кого-нибудь неожиданно притащатъ въ больницу!), а именно: съ обоими адвокатами Прокопа да еще съ Менандромъ. Увы! и они, подобно мнѣ, находятся въ больницѣ умалишенныхъ, и я

въ эту самую минуту вижу изъ окна, какъ добродѣтельный адвокатъ прогуливается подъ руку съ Менандромъ въ саду больницы, а „православный жидъ“ притаился гдѣ-то подъ кустомъ въ той самой позѣ, въ которой онъ въ Ахалцихѣ изумилъ присяжныхъ. Всѣ они помѣшались. „Православный жидъ“ помѣшался на томъ, чтобъ устроить въ Петербургѣ такую же „comptoir de confiance“, образчикъ которой онъ недавно видѣлъ въ водевилѣ „Tricoche et Cacolet“. Добродѣтельный адвокатъ однажды какъ-то слышалъ анекдотъ о дѣвицѣ, которая и невинность сохранила, и капиталъ пріобрѣла—и помѣшался на томъ, что онъ столько лѣтъ прожилъ на свѣтѣ и не зналъ этого средства. Что же касается до Менандра, то онъ, какъ и слѣдовало ожидать, помѣшался на тушканчикахъ.

— Преслѣдуютъ, братецъ, меня эти мерзавцы!—открылся онъ мнѣ при первомъ же свиданіи: — забрались въ мою газету и ничѣмъ ихъ оттуда не вытравишь! За то, братъ, какъ я узналъ теперь этихъ тушканчиковъ! Клянусь, не хуже самого Перепенки! Да что пользы въ этомъ! Одного ухватишь—смотришь, анъ другой ужъ роется гдѣ-то и что-то грызетъ!

Обо всемъ этомъ, однакоже, рѣчь впереди; теперь же я чувствую себя обязаннымъ подвести итоги тому, что видѣлъ въ Петербургѣ въ теченіе годичнаго пребыванія въ этомъ городѣ.

Прежде всего я долженъ оговориться. Я заносилъ въ свой „Дневникъ“ далеко не все, что видѣлъ и что происходило со мною и вокругъ меня. Во-первыхъ, меня стѣсняли самые предѣлы „Дневника“, а во-вторыхъ стѣсняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всемъ можно, но не обо всемъ и удобно говорить, особенно въ той чисто-беллетристической формѣ, которую, по издавна вкоренившейся привычкѣ, я усвоилъ своему труду.

Говорю прямо: я совершенно оставилъ безъ упоминовенія нѣкоторыя категоріи людей и явленій, воспроизведеніе которыхъ было бы далеко не лишнимъ для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и „православными жидами“ наполненъ міръ; есть въ этомъ мірѣ и иные люди, съ иными физіономіями и иному дѣлу посвящающіе свою жизнь. Составляя почти незамѣтное меньшинство, эти люди тѣмъ не менѣе слишкомъ часто служатъ темой для общественнаго говора, чтобы можно было ихъ игнорировать. Почему же я ни однимъ словомъ не упомянулъ объ нихъ?

Оправданіе мое однакоже проще, нежели можно ожидать съ перваго взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явленія сообщаютъ общій тонъ жизни; а потомъ — это не люди, а жертвы, правдивая оцѣнка которыхъ, вслѣдствіе извѣстныхъ условій, не принадлежитъ настоящему.

Существуютъ два вида подобныхъ людей и явленій: одинъ, къ которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически; другой —къ которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Какимъ образомъ и откуда произошло это сидѣніе между двухъ стульевъ, дѣлающее немыслимою спокойную оцѣнку явленій и фактовъ, совершающихся у всѣхъ на глазахъ, — я не знаю (то-есть, быть можетъ, и знаю, но скромность такъ уже въѣлась въ мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существуетъ—этого даже клейменый лжецъ не от-

вергнетъ. Зачѣмъ же я буду садиться между двухъ стульевъ? зачѣмъ я буду стремиться занять позицію, на которой — я знаю это навѣрное — рано или поздно, тѣмъ или другимъ способомъ, но провалюсь?

Чтобъ сдѣлать это болѣе яснымъ для читателя, я приведу здѣсь примѣръ, который впрочемъ, въ строгомъ смыслѣ, очень мало относится къ настоящему дѣлу. (Я знаю, что „относится“ и притомъ самымъ близкимъ образомъ, и все-таки пишу: *не* относится. О, читатель! еслибъ ты зналъ, какъ совѣстно иногда литератору сознавать, что онъ литераторъ!)

Возьмемъ такъ-называемыхъ „новыхъ людей“. Я, разумѣется, знаю достовѣрно,—какъ знаетъ, впрочемъ, это и вся публика,—что существуютъ люди, которые называютъ себя „новыми людьми“, но не менѣе достовѣрно и то, что это не манекены съ наклеенными этикетами, а живые люди, которые въ этомъ качествѣ имѣютъ свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродѣтели. Какъ долженъ былъ бы я поступать, еслибъ повелъ рѣчь объ этихъ людяхъ?

Начну съ пороковъ. Я могъ бы, конечно, не хуже любого изъ современныхъ беллетристовъ, лавреатовъ и не-лавреатовъ, указать на темныя (я долженъ былъ бы сказать: „слабыя“, но смѣло пишу: темныя) стороны, которыя встрѣчаются въ этой немноголюдной и во всякомъ случаѣ непользующейся матеріальною силой корпораціи. Эти темныя стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мнѣ ничего не стоило бы, съ помощью однихъ готовыхъ матеріаловъ, возбуждать въ читателѣ, по поводу „новыхъ людей“, то смѣхъ, то ненависть, то спасительный страхъ. Но меня останавливаетъ одно обстоятельство: не будетъ ли это слишкомъ легкомысленно съ моей стороны? не докажу ли я своимъ безконечнымъ веселонравіемъ или своею безконечною пугливостью, что я не совсѣмъ уменъ, и ничего больше? Вѣдь ежели я стану смѣяться или пугать просто: какъ, дескать, оно смѣшно или омерзительно! — это, быть можетъ, покажется нѣсколько глупымъ; а ежели я захочу смѣяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденнымъ прежде всего подвергнуть осмѣянію самыя причины, породившія тѣ факты, которые возбуждаютъ во мнѣ смѣхъ или ужасъ? Вотъ эти-то причины и приводятъ меня въ смущеніе.

Кто знаетъ, быть можетъ, извѣстныя порочныя явленія сдѣлались таковыми, лишь благодая порочной обстановкѣ, въ которой они находятся? Быть можетъ, если дать человѣку возможность выговориться вполнѣ, то ультиматумъ, который вертится у него на языкѣ, окажется далеко не столь ужаснымъ, какъ это представляется съ перваго взгляда? Какъ знать, что̀ было бы, еслибы, и что̀ могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основанія для подобныхъ предположеній существуютъ въ дѣйствительности — я даже думаю, что на дѣлѣ никакихъ неблагопріятныхъ обстановокъ и въ поминѣ не имѣется — но вѣдь возможны же подобныя предположенія, а если они возможны, то, стало быть, и самый искъ, направленный противъ порочныхъ явленій, становится до крайности рискованнымъ и шаткимъ. Для чего буду я ставить себя въ ложное положеніе? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы къ такому мѣсту, которое, быть можетъ, скрываетъ медъ, а быть можетъ—деготь? Допустимъ, что при извѣст-

ныхъ усиліяхъ я дѣйствительно найду, наконецъ, эти темныя стороны, съумѣю въ ясныхъ и художественныхъ образахъ воспроизвести ихъ, и даже отыщу для нихъ лекарство въ формѣ афоризма, что преувеличенія опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановкѣ, никакимъ лекарствомъ пользоваться не можетъ? И не вправѣ ли будетъ этотъ больной, въ отвѣтъ на мою предупредительность, воскликнуть: „помилуйте! да прежде нежели остерегать меня отъ преувеличеній, устраните то положеніе, которое дѣлаетъ ихъ единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойнаго и естественнаго развитія, о которомъ вы такъ благонамѣренно хлопочете!“

Вотъ какая бѣда можетъ случиться при описаніи пороковъ „новыхъ людей“. А съ добродѣтелями — и того хуже. Извѣстно, что „новый человѣкъ“ принадлежитъ къ тому виду млекопитающихъ, у котораго по штату никакихъ добродѣтелей не полагается. Значитъ, самое упоминовеніе имени добродѣтелей становится въ этомъ случаѣ продерзостнымъ и можетъ быть прямо принято за апологію. Но писать апологію подобныхъ явленій—развѣ это не значитъ прямо идти въ разрѣзъ мнѣніямъ большинства? И притомъ не просто въ разрѣзъ, а въ такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаній о недавнихъ торжествахъ, готово всякаго апологиста разорвать на куски и самымъ вѣскимъ и убѣдительнымъ доказательствамъ противопоставить лишь голое fin de non-recevoir?

Такимъ образомъ, „новый человѣкъ“, съ его протестомъ противъ настоящаго, съ его идеалами будущаго, самою силою обстоятельствъ устраняется изъ области художественнаго воспроизведенія, или, говоря скромнѣе, изъ области беллетристики. Указывать на его пороки — легко, но жутко; указывать же на его добродѣтели не только неудобно, но если хорошенько взвѣсить всѣ условія современнаго русскаго быта, то и матеріально невозможно.

Точно такія же трудности представляются (только, разумѣется, въ обратномъ смыслѣ) и относительно другой категоріи людей — людей, почему либо выдающихся изъ тьмы темъ легіоновъ, составляющихъ противоположный лагерь, людей, мнящихъ себя руководителями, но въ сущности стоящихъ въ обществѣ столь же изолированно, какъ и „новые люди“, и столь же мало, какъ и они, сообщающихъ общій тонъ жизни (въ дѣйствительности не они подчиняютъ себѣ толпу, а она подчиняетъ ихъ себѣ; они же извлекаютъ изъ этого подчиненія лишь нѣкоторыя личныя выгоды, въ награду за вѣрную службу безсознательности).

Существуетъ мнѣніе, что эти люди уже потому одному порочны, что находятся въ лагерѣ духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не раздѣляю этого мнѣнія. Напротивъ того, я убѣжденъ, что многіе изъ этихъ людей обладаютъ очень крупными достоинствами и даже оказывали несомнѣнныя услуги дѣлу человѣчества. Описаніе добродѣтелей ихъ не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, какимъ образомъ я приступлю къ воспроизведенію типовъ этихъ людей, когда въ моемъ распоряженіи находятся *только* добродѣтели ихъ, и когда я буквально не имѣю въ своемъ свободномъ распоряженіи ни одного матеріала, на основаніи котораго могъ бы хотя однимъ словомъ заикнуться

объ ихъ слабостяхъ, а тѣмъ менѣе о порокахъ? Вѣдь въ художественномъ смыслѣ это будетъ ужъ не картина, а свѣтлое пятно, точно такъ же, какъ будетъ не картина, а темное пятно въ томъ случаѣ, когда я приступлю къ воспроизведенію типовъ „новыхъ людей“, придерживаясь лишь безапелляціонныхъ сужденій, которыя сложились объ нихъ въ обществѣ!

Я знаю многихъ очень достойныхъ людей изъ разряда „торжествующихъ“. Эти люди въ свое время были носителями очень почтенныхъ идеаловъ и стремились къ осуществленію ихъ со всѣмъ пыломъ самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальническія мѣста, которыя они въ то время занимали. Само собой разумѣется, теперь, когда карьера ихъ уже сдѣлана, мнѣ ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведенію ихъ добродѣтелей. Но вотъ, въ то самое время, какъ перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестатъ такому-то „орденовъ кавалеру“ — является, словно на смѣхъ, художественное чутье и подсказываетъ мнѣ: а вѣдь „кавалеръ-то“ твой не безъ изъянцевъ! А слѣдомъ затѣмъ встревоженное воображеніе начинаетъ рисовать и цѣлый рядъ этихъ изъяновъ. Изъянъ первый: какъ ни самоотверженно вели себя „кавалеры“, но они всегда какъ-то ухитрялись, что пріурочивали свою самоотверженность къ „новымъ мѣстамъ“, или, учтивѣе сказать, всегда случалось, что изъ ихъ самоотверженности вытекали новыя мѣста. Изъянъ второй: хотя періодъ самоотверженности для нихъ несомнѣнно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселѣ не могутъ объ немъ позабыть. А потому не понимаютъ: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно измѣнилась; 2) что рѣчи, которыми они призывали къ движенію, сдѣлались общимъ мѣстомъ; 3) что цѣли, осуществленіе которыхъ они считали завѣтной мечтой жизни, остались позади и замѣнены другими, хотя и составляющими естественное ихъ продолженіе, но все-таки имѣющими нѣкоторую отъ нихъ отличку. Изъянъ третій: постоянно находясь подъ игомъ воспоминаній о періодѣ самоотверженности, они чувствуютъ себя до того задавленными и оскорбленными при видѣ чего-либо новаго, не по ихъ иниціативѣ измышленнаго, что нѣтъ, кажется, во всемъ ихъ нравственномъ существѣ живого мѣста, которое не ныло бы отъ уязвленнаго самолюбія. Изъянъ четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могутъ спокойно смотрѣть на проходящія передъ ихъ глазами новыя явленія, и нерѣдко руководствуются въ отношеніи къ послѣднимъ не совсѣмъ хорошимъ чувствомъ мести.

Конечно, я гоню прочь всѣ эти непрошенныя подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою рѣшимость, чтобъ какъ-нибудь обойти ихъ, но что же мнѣ дѣлать съ художественнымъ чутьемъ, которое не хочетъ знать ни сплошь добродѣтельныхъ, ни сплошь порочныхъ людей? Какъ заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказываетъ, что всякая картина, чтобъ быть правдоподобною, должна допустить сочетаніе свѣта и тѣней? Что буду я дѣлать съ этими „кавалерами“, которыхъ фигуры производятъ на человѣческій умъ такое же удручающее впечатлѣніе, какое производитъ на зрѣніе ослѣпительный солнечный лучъ?

Такимъ образомъ оказывается, что все, стоящее до извѣстной степени выше ординарнаго уровня жизни, все, представляющее собой выраженіе

идеала въ какомъ бы то ни было смыслѣ: въ смыслѣ ли будущаго, или въ смыслѣ прошедшаго—все это становится заповѣдною областью, недоступною ни для воздѣйствія публицистики, ни для художественнаго воспроизведенія.

Средній человѣкъ, человѣкъ стадный, вырванный изъ толпы — вотъ достояніе современной беллетристики. Взятый самъ по себѣ, со стороны своего внутренняго содержанія, этотъ типъ не весьма выразителенъ, а въ смыслѣ художественнаго произведенія даже грубъ и неинтересенъ; но онъ представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что служитъ наивѣрнѣйшимъ олицетвореніемъ извѣстнаго положенія вещей. Онъ—представитель той безразличной, мало-чувствительной къ высшимъ общественнымъ интересамъ массы, которая во всякое время готова даромъ отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ея насущный хлѣбъ. Кромѣ этой похлебки она ничего не знаетъ, и ужъ конечно тотъ потратилъ бы даромъ время, кто предпринялъ бы трудъ вразумить ее, что между правомъ первородства и чечевичною похлебкой существуетъ извѣстная связь, которая скорѣе послѣднюю ставить въ зависимость отъ перваго, нежели первое отъ послѣдней.

Какъ выразители общей физіономіи жизни, эти люди неоцѣненны, и человѣкъ, желающій уяснить себѣ эту физіономію, долженъ обращать взоры вовсе не на тѣхъ всуе трудящихся, которые идутъ напроломъ, и не на тѣхъ ловкихъ людей, которые изъ жизни дѣлаютъ сложную каверзу, съ тѣмъ, чтобы, въ видахъ личныхъ интересовъ, запутывать и распутывать ея узлы, а именно на тѣхъ „стадныхъ“ людей, которые своими массами гнетутъ всякое самостоятельное проявленіе человѣческой мысли. Въ этомъ случаѣ самая „стадность“ не производитъ ущерба художественному воспроизведенію; нѣтъ нужды, что эти люди черезчуръ похожи другъ на друга, что они руководятся одними и тѣми же побужденіями, а потому имѣютъ одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вмѣстѣ взятое, устраняетъ всякую идею о разнообразіи типовъ: вѣдь здѣсь идетъ рѣчь собственно не о типахъ, а о положеніи минуты, которое выступаетъ тѣмъ ярче, чѣмъ единодушнѣе высказывается относительно его лагерь, видящій въ чечевичной похлебкѣ осуществленіе своихъ идеаловъ.

Я не думаю, чтобъ читатель могъ индифферентно относиться къ общему тону жизни, хотя бы уровень ея стоялъ и не весьма высоко. Я согласенъ, что дѣйствительность, которая содержаніемъ своимъ напоминаетъ сказку о бѣломъ и буромъ бычкѣ, способна возбуждать скорѣе скуку, нежели желаніе познакомиться съ нею; но знать ее все-таки необходимо, потому что безъ этого знанія невозможна самая жизнь. Возьмите самаго самоотверженнаго человѣка, такого, идеалы котораго прямо идутъ въ разрѣзъ съ содержаніемъ настоящаго — и объ немъ нельзя сказать, чтобъ онъ былъ *властенъ* расположить свою жизнь вполнѣ согласно съ своими идеалами. И его мы знаемъ не въ состояніи спокойнаго обладанія идеалами, а въ состояніи борьбы, въ которой начало возбуждающее, полемическое, очень часто принимаетъ преобладающую роль передъ началомъ положительнымъ, догматическимъ. Противъ кого предпринимается эта полемическая борьба въ ущербъ прозелитизму, имѣющему въ виду достиженіе положительныхъ результатовъ? Противъ того ли „ветхаго“

человѣка, который, ради своихъ личныхъ интересовъ, стремится остановить развитіе жизни?—Да, съ перваго взгляда, конечно, кажется, что всѣ стрѣлы борьбы направлены исключительно въ эту сторону. Но борьба была бы слишкомъ легка и равнялась бы единоборству, еслибъ это было такъ въ дѣйствительности. На дѣлѣ, между двумя борющимися сторонами есть третій членъ, играющій роль проводника. Черезъ этотъ проводникъ проходятъ всѣ стрѣлы, и смотря по его свойствамъ, а равно и смотря по умѣнію пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны дѣлаются болѣе, а для другой менѣе удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляютъ этотъ проводникъ, и съ нимъ-то я и желалъ познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтобъ онъ любовался ихъ физіономіями, а для того, чтобы, познавъ ихъ, онъ получилъ возможность сдѣлать для себя болѣе яснымъ положеніе минуты.

Съ такой точки зрѣнія смотрѣлъ я на свою задачу, и этотъ же самый взглядъ позволю себѣ рекомендовать и моему читателю. Я чуждъ былъ всякихъ претензій возводить въ типъ кого-либо изъ моихъ героевъ; я знаю, что въ каждомъ изъ нихъ найдется довольно много противорѣчій, которыя, быть можетъ, дадутъ мѣсто нѣкоторымъ недоразумѣніямъ. Но я прошу читателя видѣть въ дѣйствующихъ въ моемъ „Дневникѣ“ лицахъ нѣчто второстепенное, несущественное, около чего лѣпится главное и существенное: разсказы о положеніи минуты и общихъ тонахъ современной русской жизни.

Какого же рода итоги можно вывести изъ сдѣланнаго мною бѣглаго обзора положенія минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желалъ бы, чтобъ онъ вмѣстѣ со мной пришелъ къ нижеслѣдующему.

Первый итогъ — это живучесть идеаловъ недавно упраздненнаго прошлаго.

Уничтоженіе крѣпостного права, сдѣлавшись совершившимся фактомъ, открыло передъ нами новыя перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть одинъ членъ русской интеллигенціи, который не сознавалъ бы для себя ясными (или, по крайней мѣрѣ, не притворился бы ясно сознающимъ) всѣ логическія послѣдствія этого факта. Либерализмъ былъ въ ходу и давалъ тонъ жизни. Большинство выражало этотъ либерализмъ тѣмъ, что стыдилось и каялось, меньшинство — тѣмъ, что прощало и забывало прошлое (оставляя, впрочемъ, за собой право по временамъ поддразнивать покаявшихся). То было время образцовыхъ мировыхъ посредниковъ, которые прежде всего указывали на возвышенный характеръ лежащихъ на нихъ обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенномъ этой должности содержаніи. То было время, когда и покаявшіеся, и простившіе слились въ однихъ общихъ объятіяхъ, причемъ первые, въ знакъ возвращенія къ лучшимъ чувствамъ, сдѣлали на двугривенный уступокъ и, очистивъ себя этимъ путемъ отъ скверны прошлаго, получили даровые билеты на входъ въ святилище новаго дѣла. То было время, когда одиноко-раздававшіеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка вызывали улыбку сожалѣнія, и когда сомнѣнія въ живучести русскаго либерализма встрѣчались съ ожесточеніемъ и ненавистью.

Но сомнѣнія прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозрѣвали, что столь порывистый переходъ отъ беззавѣтнаго людоѣдства къ не менѣе беззавѣтному либерализму представляется не совсѣмъ естественнымъ. „Посмотрите,—говорили эти сомнѣвающіеся:—Петръ Иванычъ Дракинъ-то! еще вчера стригъ дѣвкамъ косы и присутствовалъ на конюшнѣ при исправленіи людей на тѣлѣ, а сегодня, словно въ баню сходилъ,—всю старую шкуру съ себя смылъ! Только и словъ на языкѣ: „слава Богу, и мы наконецъ освободились отъ этого постыднаго, ненавистнаго права стричь дѣвкамъ косы и наказывать на конюшнѣ людей!“ И точно: стоило только вглядѣться въ Дракина, чтобъ убѣдиться, что тутъ есть что-то неладное. Весь онъ вчерашній, и самъ вчерашній, и халатъ у него вчерашній, и вчерашняя у него невѣжественность, соединенная съ вчерашнею же непредусмотрительностью — только языкъ онъ себѣ новый привѣсилъ, и болтаетъ этотъ языкъ какую-то новую фразу, одну только фразу, изъ которой нельзя видѣть ни того, что ей предшествовало, ни того, что будетъ дальше. Самая изолированность этой фразы, ея чисто-буквальное, автоматическое повтореніе уже должны были навести на мысль, что либеральничать такъ отчетливо и притомъ такъ однообразно, можетъ только человѣкъ, который, несомнѣнно, находится подъ гнетомъ временнаго ошеломленія.

Но многіе примѣчали, сверхъ того, что Петра Иваныча по временамъ какъ будто передергиваетъ. Что онъ хотя и повторитъ разъ десятокъ кряду: „наконецъ мы освободились!“—но вдругъ, ни съ того, ни съ сего, возьметъ да и завертится на одномъ мѣстѣ, словно ему душно сдѣлается. Что онъ подъ шумокъ что-то подстраиваетъ и округляетъ: тамъ переселеньице на вертячіе пески устроитъ, въ другомъ мѣстѣ конопляннички или капустнички оттянетъ, будто какъ испоконвѣку такъ владѣлъ. И затѣмъ, покружившись на мѣстѣ, устроивъ переселенье и оттягавъ конопляннички, опять начинаетъ: „наконецъ освободились и мы!“

Указывая на эти признаки, маловѣры говорили: смотрите! прошедшее этихъ людей слишкомъ свѣжо, чтобъ они могли разомъ отъ него отказаться! Настоящее пришло къ нимъ внезапно; они отмахивались отъ него сколько могли, и ежели не въ силахъ были вполнѣ отмахаться, то потому только, что исторія не дала имъ устойчивости, а школа приготовила не къ серьезному воззрѣнію на жизнь, а къ дешевому пользованію ею. Эти люди не только не въ состояніи видѣть естественныя послѣдствія какого бы то ни было факта, но могутъ лишь скомкать самый конкретный фактъ и намѣренно или ненамѣренно довести его до безплодія...

Признаюсь однакожъ, я не принадлежалъ къ числу этихъ маловѣровъ. Я помню, я все кричалъ: „шибче! накаливай! ну, миленькіе, еще! еще! еще чуточку!“ Подобно большинству тогдашнихъ новоявленныхъ либераловъ, я простиралъ Петру Иванычу Дракину объятія, и говорилъ: „Петръ Иванычъ! еще вчера ты былъ весь въ навозѣ, а нынче, смотри, какой ты сталъ чистенькій!“ Да и мудрено было подступать иначе. Въ то время и жилось свѣтло, и дышалось легко. Стоило сходить въ мировой съѣздъ, чтобъ почувствовать, какъ въ груди начинаетъ саднить и по жиламъ катится какая-то горячая, совсѣмъ новая кровь. И я не только сердился на маловѣровъ, но даже съ пол-

ною откровенностью предлагалъ имъ вопросъ: „что вамъ еще надобно?“ Даже и теперь, вспоминая объ этомъ времени, я чувствую, какъ меня саднитъ, и теплота разливается во всемъ моемъ существѣ, и мнѣ кажется, что еслибъ можно было—о, еслибъ было можно! — остановить часовую стрѣлку на той самой минутѣ, когда Петръ Иванычъ впервые сказалъ: „наконецъ и мы освободились!“ —какъ было бы это хорошо!

Да; это было бы хорошо даже въ томъ случаѣ, еслибъ Петръ Иванычъ сказалъ эту фразу не своимъ, а чужимъ языкомъ. Что намъ за дѣло до его внутренняго чувства, если онъ не можетъ примѣнить его на практикѣ! Пусть чувствуетъ себѣ какъ хочетъ и что хочетъ, а мы, несмотря на его чувства, будемъ идти далѣе полегоньку впередъ. Было, положимъ, безъ пяти минутъ восемь, когда онъ въ первый разъ произнесъ: „наконецъ-то освободились и мы!“ — и пусть бы остались эти безъ пяти минутъ восемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себѣ, а Петръ Иванычъ пусть поглядывалъ бы на часы и все бы думалъ: „успѣю еще напакостить! вѣдь всего безъ пяти минутъ восемь!“ Но въ томъ-то и дѣло, что мы впопыхахъ забыли остановить маятникъ, а онъ, покачиваясь да покачиваясь, и навелъ Петра Иваныча на мысль: „а вѣдь времени-то, однакожъ, довольно ушло!“

Благодаря нашей оплошности, эта мысль была для него цѣлымъ откровеніемъ. И онъ ухватился за нее цѣпко и горячо, да пожалуй и не могъ не ухватиться, потому что, говоря по совѣсти, вѣдь въ крѣпостномъ правѣ Петръ Иванычъ потерялъ свою Эвридику. Онъ потерялъ ее въ ту самую пору, когда чувствовалъ себя въ полномъ соку, когда ни одинъ физикатъ въ цѣломъ мірѣ не нашелъ бы въ немъ ни малѣйшей погрѣшности, которая бы свидѣтельствовала о его несостоятельности. Могъ ли онъ позабыть это! И вотъ, какъ только онъ убѣдился, что время не остановило теченія своего, онъ тотчасъ же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и въ преисподнюю, и на Олимпъ. И долгое время пѣлъ онъ свои чарующія пѣсни, пѣлъ ихъ и посреди истопниковъ аида, и въ переднихъ небожителей, покуда, наконецъ, допѣлся-таки своего...

Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойнѣ виноваты въ успѣхѣ Петра Иваныча. Вмѣсто того, чтобъ кричать: „шибче! наяривай!“ и неистовымъ крикомъ своимъ приводить въ ужасъ вселенную, намъ надлежало: во-первыхъ, какъ сказано выше, остановить часы и, во-вторыхъ, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Онъ малый покладистый, и художественныя его требованія въ этомъ смыслѣ очень умѣренны. Была бы Эвридика, а тамъ вышла ли она рыломъ, или не вышла — это для него несущественно. Надобно было, стало быть, пріискавъ для него новую и не очень дорогую Эвридику, помѣстить ихъ обоихъ въ безопасномъ мѣстѣ, а затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, прикидывать кой-какія бездѣлушки, чтобъ не разогорчить старика въ конецъ. И зажилъ бы себѣ нашъ Петръ Иванычъ на славу, въ полномъ удовольствіи отъ новой Эвридики и позабывъ о старой, и жилъ бы такимъ образомъ до той минуты, когда, одряхлѣвъ и обезсилѣвъ, самъ пришелъ бы къ заключенію, что ему не объ Эвридикахъ думать надлежитъ, а о спасеніи души!

Но мы предоставили Дракина самому себѣ, и потому не должны удив-

ляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, онъ пошелъ не новымъ путемъ (сами-то мы, либералы, знаемъ ли, какой этотъ новый путь?), а тѣмъ, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человѣку въ правѣ отстаивать себя; напротивъ того, должно всегда ожидать, что если онъ, въ минуту внезапнаго нападенія, и не съумѣлъ выдержать напоръ, то впослѣдствіи, все-таки, не упуститъ ни одного случая, чтобъ занять утраченныя позиціи. Нельзя внезапно оголить человѣка отъ всѣхъ утѣшеній жизни, не припасши взамѣнъ ихъ другихъ утѣшеній, или, по крайней мѣрѣ, не разрѣшивъ обстоятельно вопроса о Дракиныхъ вообще и объ утѣшеніи ихъ въ особенности. А мы не только ничего этого не сдѣлали, но безсмысленно простирали Дракину объятія, и въ то же время еще безсмысленнѣе подшучивали надъ его тогдашнимъ безсиліемъ.

Самъ Петръ Иванычъ неоднократно жаловался мнѣ на непростительную опрометчивость тогдашнихъ либераловъ.

— Помилуйте,—говорилъ онъ:—смѣшно даже смотрѣть! Я къ нимъ съ полною моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они въ отвѣтъ: Богъ подастъ, Петръ Иванычъ! И вѣдь еще смѣются, молодые люди... ахъ, молодые люди! Обижаютъ, молодые люди, старика, да еще языкъ высовываютъ! Только и я, знаете, не промахъ: зачѣмъ, говорю, мнѣ Христа-ради кусокъ себѣ выпрашивать! Я и самъ, коли захочу, свой кусокъ найду!

— Найдете ли, Петръ Иванычъ?!

— Найду, сударь, это какъ святъ Богъ, найду! Потому неестественное это дѣло. Если я чѣмъ-ни-на-есть помѣшалъ, если, съ позволенья сказать, занятія мои такого рода, что другимъ смотрѣть на меня зазорно—ну, развлеки меня, пристрой, дай другое занятіе! А нѣтъ у тебя другого занятія—ну, отстрани совсѣмъ. Въ прежнее время мы всегда такъ дѣлали: чуть видишь, который человѣкъ шатается—сейчасъ его въ солдаты или на поселеніе! По крайности, нѣтъ его на глазахъ! А то — натко! „Богъ подастъ!“ Нѣтъ, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у васъ, но и у Господа Бога моего объѣдкомъ быть не хочу!

И Петръ Ивановичъ былъ правъ. Теперь Дракинъ вездѣ: и на улицѣ, и въ театрахъ, и въ ресторанахъ, и въ столицѣ, и въ провинціи, и въ деревнѣ—и не только не ёжится, но вездѣ распоряжается какъ у себя дома. Чуть кто зашумаркаетъ — онъ сейчасъ: „въ солдаты! въ Сибирь!“ Словомъ сказать, поступаетъ совсѣмъ-совсѣмъ такъ, какъ будто ничего новаго не произошло, а напротивъ того еще расширилась арена для его похожденій.

Я искренно желалъ бы, чтобъ кто-нибудь доказалъ мнѣ, что Дракины и Хлобыстовскіе переродились, и что не только содержаніе употребляемыхъ ими пріемовъ, но даже наружный видъ этихъ пріемовъ подверглись какому-нибудь измѣненію противъ того содержанія и вида, который знакомъ намъ съ дѣтскихъ лѣтъ. Но полагаю, что самъ Менандръ, этотъ твердѣйшій въ бѣдствіяхъ человѣкъ, который и до-днесь съ неслыханною дерзостью вопрошаетъ: „чего еще нужно?“—и тотъ едва ли найдется возразить что-нибудь основательное противъ моего предположенія. А покуда этого возраженія не существуетъ, я считаю себя вправѣ утверждать, что хотя крѣпостное право

фактически упразднено, но оно еще живо въ душахъ нашихъ, и Петръ Ивановичъ даже на волосокъ не утратилъ той энергіи, которою онъ отличался въ былыя времена. И въ прежнее время онъ завывалъ какъ вѣтеръ въ пустынѣ, и теперь завываетъ. Измѣненіе чувствуется только одно: пустыня утратила прежнія границы и сдѣлалась какъ бы безпредѣльною. Отъ этого звуки дракинскихъ голосовъ распредѣляются не съ прежнею равномѣрностью. Въ одномъ концѣ слышно, въ другомъ — нѣтъ. Но упаси Богъ очутиться въ томъ районѣ, куда Петръ Ивановичъ полюбопытствовалъ заглянуть...

Другой итогъ: неясность цѣлей, къ которымъ могли бы быть примѣнены сохранившіеся идеалы.

Правда, что Петръ Ивановичъ Дракинъ добился своего, но для чего добился — онъ и самъ этого объяснить не можетъ. Единственный ясный результатъ его скитаній по преисподнимъ и райскимъ обителямъ заключается въ томъ, что онъ поставилъ на своемъ и доказалъ „молодымъ людямъ“ (увы! какъ обрюзгли и постарѣли съ тѣхъ поръ эти „молодые люди!“), что выраженіе: „Богъ подастъ!“ — въ примѣненіи къ нему, — по малой мѣрѣ опрометчиво. Что онъ пристроится, ежели на то пошло, пристроится самъ своими средствами и у нихъ, „молодыхъ людей“, не попроситъ помощи...

Но къ чему пристроится? вотъ тутъ-то именно и начинается для Петра Ивановича цѣлый рядъ запутанностей и колебаній.

— А вѣдь я, братъ, прогадалъ! — признавался онъ мнѣ на дняхъ: — думалъ, что штука-то въ томъ только и состоитъ, чтобъ руками направо и налѣво тыкать, а выходитъ, что я тычу-то въ пусто!

— Какъ въ пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, Петръ Иванычъ! — скромно возразилъ я.

— Чудакъ! да ты пойми! Разорить-то я, разумѣется, разорю! Я, братецъ, нынѣче такое засапіе взялъ, что кого хочешь... вонъ онъ! вонъ онъ по улицѣ въ пальтишкѣ бѣжитъ... хочешь, разорю?! Да вѣдь не сумасшедшій я, братъ, чтобъ зря разорять! Вотъ ты что сообрази! Вѣдь оно хорошо, руками-то впередъ тыкать, когда знаешь, что изъ этого толкъ выходитъ. Прежде, вотъ, я зналъ... Зналъ я, мой другъ, зачѣмъ я тыкаю... „предметъ“ я передъ собой видѣлъ! Ну, а нынѣче, предметъ-то этотъ... гдѣ онъ? Ты вотъ день-то-деньской бѣгаешь, изъ себя выходишь, тычешь и направо, и налѣво, а предметъ-то онъ... фью!

— Да; безъ предмета... оно точно... тяжеленько какъ будто...

— И какъ еще тяжело-то! Цѣлый день кровь въ тебѣ такъ ходуномъ и ходитъ! Ату его! лови! догоняй — только и словъ! А вечеромъ, какъ начнешь себя усчитывать... грошъ!! Сколько крови себѣ испортилъ, сколько здоровья убавилъ, а кого удивилъ! Вонъ онъ! вонъ онъ! ишь улепетываетъ... ккканалья! Ну, и поймаю я его; ну, и посажу на одну ладонку, а другой — прихлопну; ну, и мокренько будетъ... Кого я этимъ удивлю, скажи ты мнѣ, сдѣлай милость!!

Петръ Иванычъ умолкъ на минуту и затужилъ.

— Грошъ! — повторилъ онъ въ раздумьи: — одинъ только грошъ! Сколько разъ я объ этомъ и самъ съ собой загадывалъ, и съ Михайломъ Никифорычемъ совѣтовался: отчего, молъ, у насъ прежде благорастворепіе воз-

духовъ было, а нынѣче, какъ ни бьемся — грошъ! „Да и у меня, братъ, не густо!“ говоритъ. Такъ-то вотъ!

— Но въ такомъ случаѣ не лучше ли, Петръ Иванычъ, это дѣло оставить?—почтительно доложилъ я.

— Какъ! мнѣ оставить!—Петръ Иванычъ вскочилъ съ мѣста и взвился во весь ростъ, словно получилъ электрическій ударъ въ поясницу:—мнѣ оставить! Да я тысячу разъ на дню издохну, а ужъ *его* дойму! Я его доканаю! Я его усмирю! Я нынѣче вотъ каковъ: не мнѣ, такъ никому. Пусть лучше собаки съѣдятъ! Да ты знаешь ли, какъ онъ меня позорилъ! Самъ цѣловаться лѣзетъ, а исподтишка облавы устраиваетъ! Ужъ на что я... коренникъ! — а и тутъ думалъ, что конецъ мой пришелъ! Трубитъ это въ трубу, словно въ день судный! Всѣхъ, братецъ, зоветъ! Смотрите, говоритъ, какъ я съ Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снялъ ты—чорта съ два!

— Да вѣдь сами же вы говорите, что пользы отъ этого *для васъ* никакой нѣтъ!

— И говорю, и буду говорить—а руками тыкать все-таки буду. Потому я такъ ужъ нынѣче пристроился. Дѣваться мнѣ больше нѣкуда. Съ чего они на меня наскочили? Мѣшалъ я, что-ли, имъ? Сидѣлъ я у себя въ усадьбѣ и ни въ какія ихнія политики не вмѣшивался. По мнѣ хоть дери, хоть милуй—мое дѣло сторона! Вотъ какъ я, сударь, тогда себя велъ! Даже изъ ихняго брата придетъ, бывало, который: несчастливъ? — на, братецъ! Садись за столъ, ѣшь, пей, разговаривай по-французски съ женой, съ дѣтьми играй! Въ баню хочешь — въ баню иди, экипажъ занадобился — экипажъ бери! Я дворянинъ, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянинъ, чтобъ до всего доходить! А они—натко! Про то забыли, какъ я ихъ, курицыныхъ дѣтей, за свой столъ сажалъ, а вспомнили, какъ я Кузьку да Ѳомку на конюшнѣ наказывалъ!

— Да вѣдь и вы теперь дворянинъ, Петръ Иванычъ! И вы дворянинъ, и они дворяне—ну, что бы вамъ стоило дрязги оставить!

— Нѣтъ, сударь, теперь я ужъ не дворянинъ, а мститель-съ! Мститель я-съ—и ничего больше. Только эта гордость во мнѣ и осталась-съ. А по прочему по всему, я даже такъ тебѣ скажу: жрать иногда нечего! вотъ они меня на какую линію поставили!

Слушая эти разсужденія, я не могу не признать одного: что Петръ Ивановичъ по крайней мѣрѣ настолько уменъ, что нимало не обольщаетъ себя насчетъ своей задачи. Онъ прямо говоритъ, что предметъ этой задачи... фью! Правъ онъ также и въ своихъ упрекахъ тѣмъ „молодымъ людямъ“, которые когда-то обнимали его, и въ то же время напутствовали словами: „Богъ подастъ!“ Что онъ въ свое время относился къ „молодымъ людямъ“ благосклонно, когда они попадали въ бѣду, что онъ не тиранилъ ихъ, а сажалъ за свой столъ и предоставлялъ разговаривать по-французски съ своей женой — это я испыталъ на себѣ, когда я написалъ „Маланью“, и попался по этому случаю въ просакъ. Тогда я впервые и познакомился съ Петромъ Ивановичемъ (съ тѣхъ-то поръ онъ и говоритъ мнѣ „ты“, на которое я отвѣчаю почтительнымъ „вы“). Я помню, я явился къ нему сконфуженный, и думалъ,

что онъ вотъ-вотъ сейчасъ вцѣпится въ меня (увы! *теперь* онъ такъ бы и поступилъ; онъ не только бы вцѣпился въ меня, но заперъ бы меня въ вонючую конуру, лишилъ бы огня и воды и проч.); но онъ не только не вскинулся на меня, но даже погладилъ меня по головѣ.

— Ну-ну!—сказалъ онъ мнѣ:—сшалилъ! проштрафился! ничего! тамъ — свои счеты, а здѣсь—свои. Богъ милостивъ! Дворянину—безъ того невозможно. Я самъ, братъ, молодъ былъ! самъ при цѣломъ полку командиру нагрубилъ! Знаю!

И вслѣдъ за тѣмъ, дѣйствительно, велѣлъ накрывать на столъ, представилъ меня женѣ и предоставилъ мнѣ разговаривать съ нею по-французски...

Зачѣмъ же я впослѣдствіи обругалъ его (каюсь, и я принадлежалъ къ числу тѣхъ „молодыхъ людей“, которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что онъ никогда уже не очнется)? И обругалъ притомъ безплодно, безсмысленно, точь въ точь такъ, какъ онъ поступаетъ теперь самъ по отношенію къ бывшимъ своимъ ругателямъ. И какъ мы его въ то время допрашивали! Господи! какъ мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили слѣды зубовъ, которыми мы вцѣплялись въ нихъ! И никогда вѣдь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петръ Иванычъ прошло — умирай, старикъ! но старались прежде всего въ чувство его привести, а потомъ и уязвить. И гдѣ уязвить? на собственной его почвѣ, на той почвѣ крѣпостного права, которую онъ и въ геологическомъ, и въ статистическомъ, и въ этнографическомъ отношеніяхъ зналъ какъ свои пять пальцевъ!

— Тогда-то ты дѣвкѣ Маришкѣ косу стригъ, а этого тебѣ *предоставлено не было*!—ласково обличалъ одинъ.

— Тогда-то ты у Кузьки жену себѣ въ любовницы взялъ, а этого тебѣ *предоставлено не было*!—еще ласковѣе донималъ другой.

— Тогда-то ты всѣ шесть дней сряду народъ на барщину гонялъ, а этого тебѣ *предоставлено не было*!—совсѣмъ уже по родительски вразумлялъ третій.

— Помилуйте, господа!—оправдывался Дракинъ:—на всѣ ваши вразумленія могу отвѣтить четырьмя словами: *тогда существовало крѣпостное право*!

Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, какъ однажды мой другъ Кирсановъ самымъ учтивымъ образомъ закоченѣлъ, впившись зубами въ одну изъ икръ Петра Иваныча!

Въ одномъ только Петръ Ивычъ неправъ: онъ сознаетъ, что предмета для тыканья руками уже не существуетъ, и все-таки продолжаетъ тыкать (и притомъ тыкаетъ совсѣмъ не въ то мѣсто, куда слѣдуетъ тыкать, какъ это сейчасъ будетъ объяснено). Но тутъ и неправота его только кажущаяся. Если нѣтъ предмета, котораго благополучіе оправдывало бы совершеніе подвиговъ, то есть воспоминаніе о подвигахъ, есть привычка къ нимъ; есть, наконецъ, сознаніе, что ему, Дракину, ни при чемъ больше и состоять невозможно, кромѣ какъ при подвигахъ. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачиваетъ свою ясность, но съ точки зрѣнія энергіи и силы никакого ущерба не терпитъ. Безпредметное, абсолютное, трансцендентальное,

оно питаетъ само себя такъ, какъ питалъ и питаетъ самъ себя тотъ распивочный и раскурочный либерализмъ, который можно на золотники получать изъ лавочекъ современныхъ пѣнкоснимателей. Худо, конечно, дѣлаетъ Петръ Ивановичъ, что себя безпокоитъ, но куда же онъ дѣнется съ своимъ темпераментомъ? Какъ уничтожитъ свои воспоминанія? какъ вычеркнетъ изъ прошлаго кровную обиду свою?

Но всѣ эти оправданія Петра Иваныча для меня дѣло второстепенное. Пусть даже онъ будетъ въ тысячу разъ неправъ—для меня важно уже то, что онъ самъ сознаетъ свою дѣятельность безпредметною. Этимъ признаніемъ сказано все: и то, что у него уже нѣтъ ясной цѣли, и то, что единственное побужденіе, которое руководитъ имъ, есть побужденіе гнѣва, и то, наконецъ, что онъ не можетъ продолжать своей дѣятельности иначе, какъ подъ условіемъ поддерживанія своей нервной системы въ постоянно напряженномъ состояніи. Какъ хотите, а онъ несчастливъ. Въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и видахъ является онъ передъ нами всюду: и на улицѣ, и въ кафе-шантанахъ, и въ ресторанахъ, и даже въ безчисленныхъ канцеляріяхъ, и, повидимому, улыбка никогда не сходитъ съ лица его. Но не вѣрьте этой улыбкѣ, ибо я знаю навѣрное, что на сердцѣ у него скребутъ мыши. Онъ уже понимаетъ, что предметъ его раздраженій — фью! и что сколько бы онъ ни разорялъ, ни расточалъ, собственное его благополучіе не увеличится отъ того ни на волосъ!

Но, сверхъ того, не слѣдуетъ забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай имѣть, надо быть поставленнымъ въ такія условія, при которыхъ подлинно разорять можно. Но развѣ большинство Дракиныхъ находится въ такихъ условіяхъ? — Нѣтъ, громадная масса ихъ можетъ относиться къ разоренію лишь платонически. Она можетъ только облизываться, поощрять, кричать: браво!—но ничего болѣе...

Я представляю себѣ Дракина дѣятельнаго, который, ложась на ночь, сводитъ концы съ концами, и вдругъ приходитъ къ убѣжденію, что въ результатѣ получилъ — грошъ! Какое горькое чувство должно овладѣть имъ! Какой стыдъ! какое раскаянье!

Но представьте же себѣ то множество Дракиныхъ, которымъ даже концы съ концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предметъ ихъ вожделѣній — фью! Что должны ощущать *эти* Дракины? Къ какому должны они придти заключенію относительно своего настоящаго и будущаго?

По моему мнѣнію, они должны придти къ тому заключенію, которое я назову третьимъ итогомъ моего „Дневника“: къ сознанію жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, гдѣ-нибудь сыграть дѣятельную роль.

Одинъ *можетъ* тыкать впередъ руками, но, по довольномъ упражненіи, приходитъ къ убѣжденію, что пользы отъ того не пріобрѣтается никакой. Другому и хотѣлось бы пристроиться къ этому ремеслу, но для него уже нѣтъ мѣста на жизненномъ пирѣ. Какъ ни велика разница въ положеніи обоихъ „ветхихъ людей“, но и для того, и для другого конецъ одинаковъ. Этотъ конецъ формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по на-

ружности, въ дѣйствительности же она потеряна безвозвратно, — и затѣмъ тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться въ даль...

Я положительно утверждаю, что Петръ Иванычъ понимаетъ безплодность своего нынѣшняго ремесла, и что онъ потому только упорствуетъ въ немъ, что ему внѣ этого ремесла нечего дѣлать, некуда приткнуться. Несмотря на то, что мы, русскіе, никогда особенно дѣятельно не заявляли себя съ политической стороны, никто неспособенъ съ такимъ упорствомъ оставаться на исключительно-политической почвѣ дѣятельности, какъ мы. Понятіе, сопряженное съ словомъ: „дѣлать", какъ бы не существуетъ для насъ; мы знаемъ только одно слово: распоряжаться. „Распоряжаться", то-есть смѣщать, увольнять, замѣщать, повышать, понижать и т. д. А это-то именно и есть „политика", въ томъ смыслѣ, какъ мы ее понимаемъ. Еще недавно Петръ Иванычъ жаловался мнѣ:

— Плохо, братецъ! Такой кавардакъ въ имѣніи идетъ, что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя! (Иногда я позволяю себѣ называть его ласкательными именами, и онъ — вотъ какъ онъ простъ! — нисколько не обижается этимъ!)

— И то, братецъ, распоряжался! Въ одинъ годъ двоихъ управляющихъ смѣнилъ — чего еще!

— А вы бы сами съѣздили, посмотрѣли, указали бы что слѣдуетъ!

Говоря это, я чувствовалъ, что лицо мое горитъ отъ стыда, ибо я самъ очень хорошо сознавалъ, что слова мои — кимвалъ бряцающій, а совѣты — не больше, какъ подборъ пустыхъ и праздныхъ словъ. Увы! я и самъ не дѣлатель, а только политикъ! Къ счастью, однакожъ, Петръ Иванычъ не замѣтилъ моего смущенія: онъ самъ въ это время поникъ головой и горькую думу думалъ.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ наконецъ: — незачѣмъ! Разъ смѣнилъ управляющаго — не помогло, другой разъ смѣнилъ — не помогло, приходится смѣнять въ третій разъ!

И только. Въ этомъ вся наша панацея, въ этомъ перспектива нашего будущаго. Если мы не можемъ ясно формулировать, чего мы требуемъ, что же мы можемъ? Если у насъ нѣтъ даже рутины, а тѣмъ менѣе знанія, то какое занятіе можетъ приличествовать намъ, кромѣ „политики"? Если же и „политика" ускользаетъ отъ нашихъ рукъ, то чѣмъ мы можемъ ее замѣнить, кромѣ слоняніе изъ одного угла въ другой? Какія надежды могутъ насъ оживлять, кромѣ надеждъ на выигрышъ двухсотъ тысячъ?

Съ упраздненіемъ крѣпостного права, отъ насъ отошелъ трудъ. Не только тотъ даровой трудъ, который приносило съ собой это право, но трудъ вообще. Мы сдѣлались свободными отъ труда вообще и остались при одной такъ-называемой политической задачѣ. Но спрашивается: какая-такая политика, которую можетъ преслѣдовать Петръ Иванычъ, оголенный отъ крѣпостного права?

Поймите, читатель, весь ужасъ этого положенія! Быть осужденнымъ на жизнь, и въ то же время никакого дѣла передъ собой не видѣть! Къ земству примкнуть? — но мы не знаемъ, какъ гать построить и гдѣ канаву прорыть;

не знаемъ, да и не хотимъ знать, ибо наше дѣло не указать, а приказать. Въ мировые судьи выбираться?—но мы не только законовъ не знаемъ, а просто двухъ фразъ толково связать не можемъ — только смѣхъ одинъ! Вотъ, кажется, и политическія занятія, такія, которыя всего болѣе намъ понутру—а выходитъ, что и они къ рукамъ не идутъ! А тоска-то какая! Сидѣть и думать о томъ, какъ скорбные листы въ больницахъ въ исправности содержать, или какимъ образомъ такую канаву посреди дороги провести, чтобъ и пѣшій и конный—всякій бы въ ней шею себѣ сломалъ!

Тѣмъ не менѣе, мы не сразу пришли въ уныніе, а тоже попробовали: и въ земскія собранія ѣздили, стараясь по возможности сообщить полемико-политическій оттѣнокъ вопросу о содержаніи лошадей для чиновъ земской полиціи, и въ качествѣ мировыхъ судей дѣйствовали, стараясь извлечь изъ кражи мотка нитокъ на фабрикѣ какой-нибудь политическій принципъ. Все мы испробовали, но нигдѣ не обрѣли „политики“, а взамѣнъ того вездѣ наткнулись на слово: тоска! тоска! и тоска!

Вотъ почему мы, провинціальная интеллигенція, въ настоящее время валомъ валимъ въ Петербургъ. Все думается: не полегче ли будетъ? не совершится ли чудо какое-нибудь? не удастся ли примазаться хоть къ краешку какой-нибудь концессіи, потомъ сбыть свое учредительское право—и въ сторону. А тамъ—за границу, на минеральныя воды...

Je m'en fiche, contrefiche...

Не спорю, еслибъ это удалось, оно было бы во многихъ отношеніяхъ недурно, но тутъ настигаетъ насъ другой вопросъ — финансовый. Откупа уничтожены, а концессію получить положительно трудно. Нынѣче это дѣло такъ округлено, въ такія границы поставлено, что не съ Прокоповымъ носомъ соваться туда. Это своего рода укрѣпленное мѣсто, въ которое даже самъ Петръ Иванычъ Дракинъ (онъ, по всей справедливости, считается коноводомъ кадыковъ, и дѣйствительно держитъ высоко свое знамя) — и тотъ не могъ проникнуть, какъ ни старался. А жаль. Потому что еслибъ предоставили Дракину вести на общественный счетъ желѣзные пути,—во-первыхъ, онъ, конечно, не оставилъ бы ни одного живого мѣста въ цѣлой Россіи, а во-вторыхъ, навѣрное онъ опять почувствовалъ бы себя въ обладаніи „предмета“, и вслѣдствіе этого сердце его сдѣлалось бы доступнымъ милосердію и прощенію. По крайней мѣрѣ онъ самъ удостовѣрялъ меня въ этомъ.

— Если бы хоть одну дорогу дали,—открывался онъ мнѣ:—ужъ какъ бы, кажется, на душѣ легко было! Ну, вотъ, ей-Богу... ну, ей-же-ей, простилъ бы! А то вѣдь, какъ на смѣхъ: жидъ придетъ — бери! Бери! владай! что угодно дѣлай! А свой братъ дворянинъ явится—„да ты знаешь ли, изъ чего рельсы-то дѣлаются?!“ Каково это слушать-то!

— А вѣдь коли по правдѣ сказать, оно и точно. Вотъ я, напримѣръ, хоть и знаю, что рельсъ—онъ желѣзный, а какой онъ тамъ, кромѣ того, что желѣзный—вотъ хоть убей меня, сказать не могу!

— И я, братецъ, не знаю, да кто же знаетъ нынѣче! Вотъ приступлю—и буду знать. И зачѣмъ мнѣ знать, коли мнѣ незачѣмъ? Жидъ-то пархатый—ты думаешь, онъ лучше меня знаетъ? Нѣтъ, онъ тоже, братъ, швахъ

по этой части! Вотъ подходцы онъ знаетъ — это такъ! На это онъ мастеръ! Въ такую, братъ, помойную яму съ головой окунется, какая намъ съ тобой и во снѣ не приснится!

Не приснится! Такъ говоритъ Петръ Иванычъ, но не слишкомъ ли самонадѣянно онъ утверждаетъ это? Не знаю почему, но мнѣ кажется, что не только приснилось бы, а даже... Но мы даже въ этомъ смыслѣ получили такое поверхностное образованіе, что и сны-то у насъ недостаточные выходятъ...

Какъ бы то ни было, но финансовый вопросъ есть въ настоящую минуту самый жгучій вопросъ для нашей интеллигенціи. Умѣя только распоряжаться и не умѣя „дѣлать", мы оказываемся совершенно безсильными относительно созданія новыхъ цѣнностей, и какія предпріятія мы ни затѣвали въ этомъ смыслѣ — всегда и вездѣ, за очень малыми исключеніями, оказывался, по выраженію Дракина, „кавардакъ". Но этого мало: мы не умѣемъ обращаться даже съ тѣми цѣнностями, которыя дошли до нашихъ рукъ независимо отъ нашихъ усилій...

— Въ ту пору, какъ застигла насъ эта катастрофа,—разсказывалъ мнѣ Петръ Иванычъ:—душно мнѣ стало! такъ душно!—Идите, говорю, съ моихъ глазъ долой! Всѣхъ на выкупъ! въ казну! — И зачалъ, братъ, я спѣшить! Горитъ у меня подъ ногами — да и только. Получу, думаю, выкупную ссуду, землю, которая получше, себѣ отрѣжу — и начну, благословясь вольнымъ трудомъ работать. То-есть, и сплю, и вижу, какъ этотъ вольный трудъ начнетъ у меня дѣйствовать! Ну-съ, хорошо. Окрутили меня живымъ манеромъ: опекунскому совѣту долгъ вычли (я, братецъ, на тридцать-семь лѣтъ занималъ, а съ меня *вдругъ все* вычли), кой-какіе частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава Богу, думаю, хоть и не Богъ-знаетъ, сколько суммы осталось, за то вольный трудъ теперь у меня самъ собой пойдетъ! Поѣхалъ къ Бутенопу, накупилъ машинъ — то-есть, какая сѣноворошилка у меня была: ну просто конфетка!—нанялъ рабочихъ, и сижу, жду у моря погоды. Мѣсяцъ у меня идетъ, другой идетъ — я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберетъ меня зло, что все какъ будто не такъ; вспомнишь-это, какъ прежде распоряжался, и выбѣжишь въ поле. Ни души, сударь! Тишина, братецъ, мертвая; ни голосу, ни шелесту; солнце сверху такъ и льетъ!—Гдѣ вы, черти?—ни звука. Словно всѣ умерли! А сердце такъ и кипитъ. Побѣгаешь, покружишься, наткнешься на борозду, упадешь — домой! Ахъ, какое это чувство, мой другъ! какое это ужасное чувство, когда въ тебѣ кипитъ, и вдругъ—никого! Натурально, сейчасъ за управляющимъ:—Разбойникъ! дармоѣдъ!—И что жъ! первое слово въ отвѣтъ: „Не извольте ругаться!"—Не въ ругательствѣ дѣло, курицынъ ты сынъ! не ругаюсь я, а чего ты, мерзавецъ смотришь! отчего въ полѣ никого нѣтъ?—„Оттого, что рабочіе отдыхать пошли".—Отдыхаете, бестіи! все-то вы отдыхаете! — „Помилуйте, Петръ Иванычъ, вы вотъ только-что чай откушали, а мы еще гдѣ до свѣту встали!".. Ну, успокоишься, то-есть не успокоишься, а скажешь себѣ:—Ну васъ къ чертямъ! распинайте! Сядешь-это за книжку, потомъ позавтракаешь, жена „варьяціи на русскія темы" сыграетъ, дѣти придутъ: „папа! пойдемъ въ паркъ либо на прудъ рыбу ловить!" Такимъ манеромъ

пройдетъ еще часа три-четыре — опять не утерпишь и побѣжишь въ поле. Ни души, сударь! „Да надо же отдохнуть народу!“ —ужъ огрызается тебѣ въ лицо управляющій. Потомъ обѣдать, потомъ послѣобѣденный сонъ, потомъ чай, потомъ гулянье. Нагулявшись, опять въ поле... ни души! Всѣ ужъ пошабашили и собираются ужинать. Такъ *я его* и не видалъ, какъ онъ тамъ вольнымъ трудомъ работаетъ! Возьмешь съ собой въ сумерки управляющаго и пойдешь съ нимъ по полямъ.—Такъ, что-ли, разбойникъ, пашутъ? „А то какъ же еще!“ — Такъ, что ли, мошенникъ, жнутъ? „Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что отъ насъ требуется!“ Мерзавецъ! Знаетъ вѣдь, анаѳема, что я показать не могу! Бился я бился такимъ манеромъ, наконецъ бросилъ. Жду. Осенью живо обмолотили, вывѣяли, ссыпали. Рожь уродилась самъ-четвертъ, овесъ — самъ-третей, гречиха — не собрали сѣмянъ. — Подлецы! развѣ такъ вольный трудъ долженъ давать! вѣдь онъ самъ-десять долженъ давать — да и тогда только концы съ концами свести можно! — Молчатъ.—Да что вы молчите, анаѳемы!—говорите, по крайней мѣрѣ, отчего это? „Съ землею у насъ, Петръ Ивановичъ, ничего не подѣлаешь! Холодная!“ — Какъ холодная! все была теплая, а теперь холодная сдѣлалась! „И прежде была холодная, только прежде потому теплѣе казалось, что мужички подневольные были!“ Сѣлъ я тогда за хозяйственныя книги, сталъ приходъ и расходъ сводить—вижу, въ одно лѣто изъ кармана шесть тысячъ вылетѣло, кромѣ того,что на машины да на усовершенствованія пошло. Нѣтъ, думаю, шалишь! Такимъ образомъ никакой выкупной ссуды не достанетъ! Надо это дѣло бросить! А тутъ кстати хорошій человѣкъ нашелся, надоумилъ меня. „Зачѣмъ, говоритъ, вамъ, Петръ Иванычъ, безпокоиться! сдали бы вы мнѣ землю по рублю серебромъ за десятинку на кругъ, а сами бы въ Москву или на теплыя воды!“ Что жъ, думаю, чѣмъ по пяти тысячъ въ годъ убытку терпѣть, лучше хоть тысячу чистоганчикомъ получить! Взялъ да въ одну минуту и порѣшилъ дѣло! Подмахнулъ контрактъ на двѣнадцать лѣтъ; машины, скотъ, сѣмена и другое имущество сдалъ арендатору и велѣлъ укладываться въ Москву. „Лѣсъ чтобы не рубить, Иванъ Парамонычъ!“ — Зачѣмъ, ваше превосходительство, лѣсъ рубить. — „Вѣдь ты, Иванъ Парамонычъ меня не обманешь? Аренду выстоишь?“—Зачѣмъ, ваше превосходительство, обманывать! креста, что-ли, на мнѣ нѣтъ! „Ну, то-то же! теперь съ Богомъ! Трогай! Въ Москву!“

— Ну-съ, дальше-съ!

— А дальше, братъ, даже вспомнить стыдно. Осталось у меня въ то время тысячъ шестьдесятъ выкупными свидѣтельствами (у меня, братъ, вѣдь полторы тысячи душъ было!). Деньги хорошія, и будь онѣ у меня теперь, я бы зналъ, какъ мнѣ поступить. Я понялъ бы, что мнѣ ничего другого не остается, какъ получать на мой капиталъ проценты, устроиться въ Москвѣ гдѣ-нибудь подъ-Донскимъ, лишнюю прислугу распустить, самому ходить къ Калужскимъ воротамъ за провизіей и нанять учителя, чтобъ училъ дѣтей латинскому языку. По крайности, хоть изъ нихъ дѣятели бы вышли. Но тогда чадъ изъ головы-то еще не весь вышелъ. Пріѣхалъ въ Москву, а тамъ деньги страсть какъ нужны. Сталъ я, братъ, деньги подъ залогъ раздавать, и роздалъ, нечего сказать, выгодно: процентовъ по двѣнадцати въ годъ. Ду-

маю: какъ это я до сихъ поръ не догадался! а про то и забылъ, что для этой операціи нужно законы тоже знать, а зачѣмъ мнѣ ихъ было знать, коли мнѣ незачѣмъ? Ничего, однакожъ: осмотрѣлся, получилъ проценты впередъ, и вижу: неминучее дѣло свой домъ купить. И домъ, по нашему, по-дракински, чтобы такой: во-первыхъ, зало въ четыре окна; во-вторыхъ, гостиную въ три окна; въ-третьихъ, диванная, потомъ спальня, дѣтскія, кофишенная, столовая, для меня конурка, два флигеля: въ одномъ кухня, въ другомъ людскія. Словомъ сказать, комнатъ съ двадцать. Многонько это, а меньше, какъ ни гадали, никакъ невозможно. Потому въ Москвѣ—всѣ наши на-лицо. И Хлобыстовскіе, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкіе, и Райскіе, все свои родные, всѣ въ Москву понаѣхали, всѣ живутъ и въ баклуши бьютъ. Купилъ, двадцать тысячъ отдалъ. Потомъ трехъ жеребцовъ купилъ: двухъ бурыхъ въ маслѣ въ дышло—для жены. одного, сѣраго въ яблокахъ, одиночку—для себя. Денегъ-то сколько осталось? Прожилъ я такимъ манеромъ съ годъ — не могу пожаловаться: хоть бы вѣкъ такъ жить! Живу, братецъ, да и полно! И даже надежды имѣю. На что̀ надежды — вотъ хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всѣмъ нутромъ чувствую, что придетъ что-то... Ну, сбудется *оно*, да и все тутъ! Только тогда меня осадило, когда срокъ закладнымъ пришелъ. Всѣ до одной оказались незаконными. То-есть, не то чтобъ было какое-нибудь сомнѣніе, что я деньги взаймы далъ, а такъ какъ-то вышло, что денегъ-то этихъ возвращать мнѣ не слѣдуетъ. Иду, сударь, въ судъ, а въ судѣ вижу: сидятъ всѣ тѣ „молодые люди“, которые, помнишь, мнѣ въ ту пору „Богъ подастъ“ сказали. Не вытерпѣлъ:—Разбойники! говорю.—Сейчасъ это въ протоколъ и зачали они меня судить. Про то-то, что кровныя мои денежки гулять пошли, и думать перестали, а все судятъ „поступокъ“ мой.—Какой, говорю, это „поступокъ“, молодые люди? ну, будемъ говорить безъ азартности,—ну, развѣ вы не разбойники!—Опять—въ протоколъ, и все, знаешь, тихимъ манеромъ: „успокойтесь, Петръ Иванычъ! мы ужъ не тѣ! мы прежнія заблужденія-то ужъ оставили! а вы бы лучше адвоката себѣ хорошаго наняли!“—Адвоката! ни за что! говорю. Самъ отъ васъ отгрызусь! И можешь ты себѣ представить, мой другъ, вѣдь я по сю пору подъ судомъ состою! Вотъ я съ тобой теперь говорю, а *тамъ*, можетъ быть, меня въ Сибирь на поселеніе ссылаютъ! Только нѣтъ, братъ, шалишь! Петръ Иванычъ Дракинъ докажетъ! Онъ докажетъ! Онъ съумѣетъ доказать!

Это воспоминаніе такъ взволновало Петра Иваныча, что онъ нѣкоторое время не говорилъ, а только испускалъ глухое рычаніе. Лицо у него сначала побагровѣло, потомъ посинѣло, такъ что я не на шутку началъ опасаться за окончаніе разсказа о его похожденіяхъ. Но, слава Богу, выпивъ стаканъ воды, онъ успокоился.

— Вотъ, мой другъ,—сказалъ онъ мнѣ:—ты мнѣ *въ то время* тоже разныя эти колкости говорилъ... помнишь?

— Виноватъ, Петръ Иванычъ, былъ тотъ грѣхъ!

— Ну, такъ помни ты мое слово: эти—пѣнкоснимателями, что-ли, ты ихъ называешь! — они вдвое противъ насъ, стариковъ, язвительнѣе будутъ. Ума у него съ горошину, благородныхъ чувствъ никакихъ, вотъ и сидитъ онъ и ехидствуетъ, какъ бы ему эту горошину въ оборотъ пустить. И пу-

щаетъ. Тамъ, гдѣ мы руками зря впередъ тыкали, они на законномъ основаніи тебя изведутъ. — Мы — фюить! — и дѣло съ концомъ! а они зудомъ жизнь твою вызудятъ. Я, братъ, простить могу; онъ — не проститъ. Не человѣкъ, братъ, онъ, а шкапъ съ выдвижными ящиками. На всякомъ ящикѣ у него ярлыкъ наклеенъ, а потому ему сразу видно, который ящикъ выдвинуть слѣдуетъ. И ежели ты, напримѣръ, калачъ укралъ, *я* тебѣ скажу: ты это что, курицынъ сынъ, надѣлалъ?—а *онъ* тебя призоветъ: вы, скажетъ, калачъ вамъ непринадлежащій себѣ присвоили, такъ за это вы подлежите, по такой-то статьѣ, такому-то истязанію. И не проси его! не разговаривай! Ничего, скажетъ, я не могу, потому что воровство, во-первыхъ, строго воспрещено закономъ, а во-вторыхъ обществу можетъ угрожать гибель, если воровъ не преслѣдовать! И вѣдь достигнутъ они, превознесутся! произойдутъ! Ты вотъ шутишь, говоришь, что я разоряю, а кого разоряю-то я? Вонъ онъ... вонъ голоштанникъ-то по улицѣ фалдочками трясетъ!.. *его* я разоряю! вотъ кого! А того „молодого человѣка“, пѣнкоснимателя-то... нѣтъ, братъ, его ужъ не разоришь! Мы какъ въ наше время достигали? — Мы достигали вразсыпную, вразбродъ! Стало быть, если ты не матушкинъ сынокъ или не тетка тебѣ графиня Татьяна Борисовна—хоть ты за двадцать человѣкъ апетитъ имѣй, а все ничего не подѣлаешь! Развѣ, что изъ сотни одному счастье порутируетъ. А *эти*—переплелись! Они не разбираютъ промежъ себя, кто матушкинъ, кто курицынъ сынъ, а прутъ впередъ—и все тутъ. Ужъ и теперь они, не хуже любого попа, на насъ, стариковъ, засматриваются. Ты еще похолодѣть-то не успѣлъ, а онъ ужъ тутъ какъ тутъ. Шныритъ около кого ему слѣдуетъ, объясняетъ свои поступки, благородно распинается—и достигнетъ! Достигнетъ, потому что, по правдѣ сказать, вездѣ онъ одинъ кандидатъ. Сунь ты рукой въ щучій садокъ—все равно, какъ ни шарь, щуренка вытащишь! Такъ-то, душа моя. На чемъ, бишь, я, однако, остановился, разсказывая о похожденіяхъ-то своихъ?

— На закладныхъ, Петръ Иванычъ. Закладныя ваши признаны были неподлежащими удовлетворенію.

— Ну, да. Поѣхалъ я тогда опять въ деревню, а женѣ велѣлъ московскій домъ продавать. Пріѣзжаю—и что вижу? Машины мои проданы, скотъ —тоже, лѣсъ вырубленъ... — Иванъ Парамоновъ! мошенникъ! воръ ты! говорю. „Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство“, говоритъ.—Какъ же ты не мошенникъ! гдѣ лѣсъ-то? гдѣ машины? гдѣ скотъ? — „Лѣсъ, говоритъ, на топливо срубленъ, потому не околѣвать на морозѣ; машины со временемъ испортились, скотъ тоже со временемъ весь выпалъ!“ Повѣришь ли, мой другъ, я даже глаза выпучилъ. Въ судъ, думаю, идти — такъ, вѣрно, я самъ въ контрактѣ что-нибудь напуталъ! Значитъ, придешь туда, только выругаешься —что толку? Бросилъ все—и айда въ Петербургъ. Спасибо генералъ Мудровъ меня еще по полку зналъ—ну, пріютилъ. А сколько есть такихъ, о которыхъ генералъ Мудровъ даже по наслышкѣ понятія не имѣетъ!

Да, сколько такихъ?!! повторю вмѣстѣ съ Петромъ Иванычемъ и я.

А на нихъ-то именно и отразился преимущественно финансовый вопросъ. Пошли они сначала бойко, потомъ тише, тише и наконецъ сѣли. По временамъ фортуна какъ бы благопріятствовала имъ: тотъ въ земскую управу

попалъ, тотъ, въ качествѣ мирового судьи, ребятишкамъ на молочишко доставалъ; но когда оказалось необходимымъ и тамъ дѣлиться жалованьемъ съ секретарями да письмоводителями — тогда... тогда въ перспективѣ осталось уныніе—и больше ничего. А вмѣстѣ съ унынiемъ появилось какое-то страстное, жгучее стремленіе въ Петербургъ, съ цѣлью попытать, не будетъ ли тутъ чего...

Но ничего уже не оказалось, потому что „молодые люди“, о которыхъ Петръ Иванычъ говорилъ, что они переплелись между собой, всѣ пѣнки сняли. Кадыки, обезкураженные, полинявшіе, слоняются по стогнамъ столицы, и до того оробѣли, что не могутъ даже объяснить, чего имъ хочется. Тѣ, которые еще *могутъ* тыкать руками впередъ, начинаютъ догадываться, что этимъ, кромѣ удовлетворенія чувству мести, все-таки ничего не достигнешь; а тѣ, которые *не могутъ* давать рукамъ волю, только взываютъ: „откуду мнѣ сіе?“—и въ тщетномъ ожиданіи отвѣта утрачиваютъ всякую бодрость.

На первыхъ порахъ эти люди и въ Петербургѣ начинаютъ бойко. Сознаніе, что въ карманѣ еще есть выкупное свидѣтельство, и что оно въ то же время послѣднее, заставляетъ ихъ рисковать. Либо панъ, либо пропалъ—и вотъ нашъ кадыкъ бѣжитъ къ Елисееву, кутитъ у Донона и Дюссо, платитъ 25 р. за кресло на Патти, бѣснуется въ театрѣ Буффъ и такъ далѣе. И вездѣ нюхаетъ, вездѣ ищетъ, какъ бы нужнаго человѣка подцѣпить. Тамъ прослышитъ: дорогу новую придумываютъ, въ другомъ мѣстѣ—банкъ облюбовываютъ, въ третьемъ—такое предпріятіе, ну, такое предпріятіе... ахъ, прахъ побери да и совсѣмъ! Господи, да неужели же нельзя какъ-нибудь примазаться! Хоть чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кончикъ подержусь — а тамъ и въ сторонку-съ! Но „нужный человѣкъ“ охотно пьетъ съ кадыкомъ шампанское; когда же рѣчь заходитъ о предпріятіи,—смотритъ такъ ясно и даже строго, что просто душа въ пятки уходитъ! „Зайдите-съ“, „навѣдайтесь-съ“, „можетъ быть, что-нибудь и окажется полезное“ — вотъ отвѣты, которые получаетъ бѣдный кадыкъ, и, весь полный надеждъ, начинаетъ изнурительную ходьбу по переднимъ и пріемнымъ, покуда наконецъ самымъ очевиднымъ образомъ не убѣдится, что даже швейцаръ „нужнаго человѣка“—и тотъ тяготится имъ.

Тогда кадыкъ вступаетъ во второй періодъ своего земного странствія: онъ выцвѣлъ, пересталъ гарцовать и ходитъ обѣдать не къ Дюссо, а къ Палкину и Доминику, а вечеромъ направляется въ „Орфеумъ“. Но онъ еще не окончательно утратилъ надежду, ибо если настоящій, заправскій предприниматель уже ускользнулъ изъ его рукъ, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чѣмъ ниже спускается кадыкъ по лѣстницѣ предпріятій, тѣмъ фантастичнѣе и фантастичнѣе становятся эти послѣднія. Что тутъ не предполагается! о чемъ не ведутся оживленные споры! А результатъ одинъ: конецъ выкупному свидѣтельству. И конецъ этотъ тѣмъ неизбѣжнѣе, что предприниматель второстепенный только къ тому и направляетъ свои усилія, чтобы устроить обращеніе капитала, который недаромъ же и названіе носилъ „оборотнаго“...

И вотъ наступаетъ третій періодъ: оборотный капиталъ съѣденъ и пропитъ. Ежели въ два предшествующихъ періода человѣкъ не имѣлъ никакихъ

надеждъ, кромѣ: „вотъ кабы“ да „ужъ тогда бы“, если онъ и тогда, въ сущности, только слонялся, самъ не понимая, зачѣмъ ѣлъ и пилъ больше чѣмъ надо, и восхищался Патти, въ душѣ припоминая дѣвку-Палашку, то теперь, когда все уже „совершилось“, когда весь кругъ пройденъ и даже нѣтъ въ виду ни „кабы“, ни „еслибы“ — какой удѣлъ можетъ предстоять ему, кромѣ уныніе?

Тогда онъ отправляется въ греческую кухмистерскую, заигрываетъ съ потомкомъ Перикла и Аспазіи, и даже льститъ ему, съ тѣмъ, чтобы устроить себѣ кредитъ...

Но въ первомъ ли, во второмъ ли, въ третьемъ ли періодѣ—шлющійся человѣкъ все шлющійся человѣкъ. Одумается ли онъ наконецъ? Рѣшится ли покончить съ столицею и удалиться въ свою „Проплёванную“? Какъ-то встрѣтитъ его тамъ Иванъ Парамоновъ? Дозволитъ ли ему поселиться въ собственномъ его разваливающемся домѣ и жить смирно, пока не придетъ смерть и не смететъ съ лица земли этого „лишняго человѣка“, котораго жизнь, со времени „катастрофы“, сама сдѣлалась постоянною, неперемежающеюся катастрофой!

Таковъ этотъ „ветхій“, отходящій въ вѣчность человѣкъ. Порою онъ еще огрызается и вскидывается, какъ озаренный, но въ сущности онъ уже понимаетъ, что время его прошло, и что даже огрызанія ни на волосъ не увеличатъ его благополучія.

На мѣсто его народился типъ новый, дѣятельный. Но не съ новыми идеалами, а съ старыми же, въ которые, взамѣнъ „нраву моему не препятствуй“, пущена легкая струя бездѣльничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убѣжденіемъ, что безсовѣстность и тупоуміе призваны обновить міръ. Они представляютъ собой четвертый итогъ, о которомъ я и поведу теперь рѣчь.

Среди потока противорѣчивыхъ вздоховъ, укоровъ и негодованія, которыми по временамъ обдаетъ меня Петръ Иванычъ, у него вырвалось одно очень правдивое и мѣткое замѣчаніе: онъ разорилъ не того, противъ кого устремлялъ свой натискъ, а совсѣмъ посторонняго человѣка, до котораго, собственно говоря, ему никакого дѣла не было.

Что̀ сдѣлалъ ему сей юноша, который такъ прилежно изслѣдуетъ, кто были прародители человѣка? что̀ сдѣлала ему сія юница, которую волнуетъ женскій вопросъ и которая хочетъ во что бы ни стало доказать, что женщина въ умственной сферѣ *можетъ* все то, что̀ *можетъ* и мужчина? Разумѣется, Петръ Иванычъ отвѣтитъ на эти вопросы: „они, канальи, *утопіи* тамъ выдумываютъ!“ —но отвѣтъ этотъ едва-ли будетъ искрененъ. Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина эта не безъизвѣстна и Петру Иванычу—это доказывается тѣмъ, что онъ самъ когда-то при цѣломъ полку командиру нагрубилъ. Онъ самъ неоднократно при мнѣ говаривалъ: „учись, критикуй, доходи—дворянину безъ этого нельзя!“ Почему же теперь, когда онъ видитъ, что дворянинъ доходитъ, учится, критикуетъ—сердце у него кипитъ, и онъ

задыхается отъ негодованія? Какъ хотите, а это фактъ по малой мѣрѣ загадочный.

Да, тутъ есть какое-то горькое недоразумѣніе; я догадываюсь даже, что и доходящій молодой человѣкъ, и анализирующая дѣвица — все это не болѣе, какъ эффигія, которую Дракинъ разстрѣливаетъ, думая сразить *того другого* „молодого человѣка", который нѣкогда сказалъ ему: „Богъ подастъ!" Только этотъ другой-то „молодой человѣкъ" былъ настолько проницателенъ, что заблаговременно всталъ внѣ выстрѣла; когда же увидѣлъ, что Петръ Иванычъ и затѣмъ остается при своемъ намѣреніи „палить", то былъ настолько предупредителенъ, что сказалъ ему, гдѣ скрывается *истинный* мерзавецъ и либералъ. „Я дѣйствовалъ неблагоразумно, — сказалъ онъ, — но я находился подъ гнетомъ цѣлой арміи негодяевъ, — и въ этомъ заключается мое оправданіе. Я самъ всей душой ненавижу ихъ, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по нимъ".

Я воображаю себѣ физіономію Петра Иваныча, когда онъ увидѣлъ, что дѣло приняло такой оборотъ. Его личный врагъ, его завѣдомый оскорбитель стоитъ передъ нимъ — а оказывается, что Петръ Иванычъ не только не можетъ достать его, но что этотъ же врагъ ему же указываетъ, въ кого въ настоящую минуту палить слѣдуетъ. Развѣ не трагическое это положеніе?!

— Теперь я ужъ привыкъ, — жаловался мнѣ Петръ Иванычъ: — а первое время, какъ сталъ онъ обходы-то эти кругомъ меня дѣлать — вѣришь ли, я чуть съ ума не сошелъ! — Какъ, говорю: развѣ не ты... помнишь? — „Точно такъ, говоритъ, я-съ. Только я совсѣмъ не противъ васъ дѣйствовалъ. Видѣлъ я тогда, что и *они* горячатся, да и вы горячитесь... Ну, вотъ, чтобъ отвести *имъ* глаза, я и сдѣлалъ диверсію-съ"...

Я полагаю, однакожъ, что тутъ не было никакой „диверсіи". Сначала это было легкомысліе, соединенное съ надеждой, что Петръ Иванычъ не очнется; потомъ — страхъ, при видѣ Петра Иваныча, показывающаго несомнѣнные признаки жизни, и наконецъ соображеніе, что не существуетъ такого положенія, въ которомъ не было бы возможно въ мутной водѣ рыбу ловить.

Какъ бы то ни было, новый типъ народился. Это типъ, продолжающій дѣло ветхаго человѣка, но старающійся организовать его, приводящій къ одному знаменателю яичницу, которую надѣлалъ его предшественникъ. Старый „ветхій человѣкъ" умираетъ или въ тоскѣ влачитъ свои дни, сознавая и въ теоріи, и въ особенности на практикѣ, что предметъ его жизни... фью! Новый „ветхій человѣкъ" выступаетъ на сцену и, сохраняя смыслъ традицій, набрасывается на подробности, и выказываетъ неслыханную, лихорадочную дѣятельность...

Но жизнь не дѣлается краше вслѣдствіе этой усиленной дѣятельности. Никакая лихорадка, никакое кипѣніе не въ состояніи дать жизни содержанія, котораго у нея нѣтъ. Напротивъ того, чѣмъ кипучѣе безсодержательная дѣятельность, тѣмъ болѣе она утомляетъ и обезсиливаетъ. Старое содержаніе упразднилось, новое — не вырабатывается, и не вырабатывается, быть можетъ, потому, что интеллигенція, повидимому, еще не вполнѣ увѣрена въ полномъ упраздненіи стараго содержанія. Отсюда — непріятное двоегласіе, неестественное сидѣнье между двумя стульями, которое разрѣшается скукой, апа-

тіей, равнодушіемъ ко всѣмъ интересамъ, стоящимъ нѣсколько выше „куска“; отсюда — крики: „не расплывайтесь!“ „не забудьте, что наше время — не время широкихъ задачъ!“ и т. п.

„Хищникъ“ — вотъ истинный представитель нашего времени, вотъ высшее выраженіе типа новаго ветхаго человѣка. „Хищникъ“ проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, захватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгараетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и опять стремится... Но кромѣ того, что для общества, въ цѣломъ его составѣ, подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима, — даже тѣ отдѣльные индивидуумы, которые чувствуютъ себя затянутыми въ водоворотъ ея, не могутъ отнестись къ ней какъ къ дѣйствительной цѣли жизни. „Хищникъ“ несчастливъ, потому что если онъ, вслѣдствіе своей испорченности, и не можетъ отказаться отъ тревоги, то онъ все-таки не можетъ не понимать, что тревога — въ самомъ крайнемъ случаѣ — только средство, а никакъ не цѣль. Допустимъ, что онъ неразвитъ, что связь, существующая между его личнымъ интересомъ и интересомъ общимъ, ускользаетъ отъ него; но вѣдь объ этой связи напомнитъ ему сама жизнь, дѣлая тревогу и озлобленіе непремѣннымъ условіемъ его существованія. „Хищникъ“ — это дикій въ полномъ значеніи этого слова; это человѣкъ, у котораго на языкѣ нѣтъ другого слова, кромѣ глагола: „отнять“. Но такъ какъ кусковъ разбросано много, и это заставляетъ глаза разбѣгаться; такъ какъ, съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало и строгаго распредѣленія занятій между ними не имѣется, то понятно, какая масса злобы должна накипѣть въ этихъ вѣчно алчущихъ сердцахъ. Самое торжество „хищника“ является озлобленнымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще нѣчто впереди, и во-вторыхъ есть счеты сзади...

Но масса тѣмъ не менѣе считаетъ „хищниковъ“ счастливыми людьми и завидуетъ имъ! Завидуетъ, потому что это тотъ сортъ людей, который въ настоящую минуту пользуется наибольшею суммой внѣшнихъ признаковъ благополучія. Благополучіе это выражается въ извѣстной роскоши обстановки, въ обладаніи болѣе или менѣе значительными суммами денегъ, въ легкости удовлетворенія прихотямъ, въ кутежахъ, въ развратѣ... Массы видятъ это и сгараютъ завистью. Но стоитъ только пристальнѣе вглядѣться въ эти такъ-называемыя „удовольствія“ хищниковъ, чтобъ убѣдится, что они лишены всякаго увлеченія, всякой искренности. Это тяжелыя и мрачныя оргіи, въ которыхъ распутство служитъ временнымъ заглушающимъ противовѣсомъ той грызущей тоскѣ, той гнетущей пустотѣ, которая необходимо окрашиваетъ жизнь, не видящую ни оправданія, ни конца для своихъ тревогъ.

За хищникомъ смиренно выступаетъ чистенькій, весь поддернутый „пѣнкосниматель“. Это тоже „хищникъ“, но въ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Это почтительный пролазъ, въ которомъ „сладкая привычка жить“ заслонила всѣ прочіе мотивы существованія. Это тихо курлыкающій панегиристъ хищничества, признающій въ немъ единственную законную форму жизни и трепетно простирающій руку для полученія подачки. Это безсовѣстный человѣкъ, не потому, чтобы онъ сознательно совершалъ безсовѣстныя дѣла, а потому, что не имѣетъ яснаго понятія о человѣческой совѣсти.

„Хищникъ“ проводитъ принципъ хищничества въ жизни; пѣнкоснимателъ возводитъ его въ догматъ и сочиняетъ правила на предметъ наилучшаго производства хищничества.

„Хищникъ“, оставаясь ограниченнымъ относительно пониманія общихъ интересовъ, очень часто является грандіознымъ, когда идетъ рѣчь о его личныхъ интересахъ. Пѣнкоснимателъ даже и въ этомъ смыслѣ представляетъ лишь каррикатуру „хищника“: онъ не любитъ „отнять“, но любитъ „выпросить“ и „выждать“.

„Хищникъ“ почти всегда дѣйствуетъ въ-одиночку; пѣнкоснимателъ, напротивъ того, всегда устраиваетъ скопъ, шайку, которая по временамъ принимаетъ размѣры разбойнической.

„Хищникъ“, свѣжуя своего ближняго, дѣлаетъ это потому, что ужъ такая ему вышла линія; но онъ все-таки знаетъ, что ближнему его больно. Пѣнкоснимателъ свѣжуетъ своего ближняго и не задается даже мыслью, больно ли ему, или не больно.

„Хищникъ“ рискуетъ; пѣнкоснимателъ идетъ навѣрное.

„Хищникъ“ не дорожитъ пріобрѣтенными благами; пѣнкоснимателъ— любитъ спрятать и капитализировать.

„Хищникъ“ говоритъ коротко, отрывисто: онъ чувствуетъ себя настолько сильнымъ, чтобъ пренебречь пустыми разговорами; пѣнкоснимателъ не говоритъ, а излагаетъ; онъ любитъ угнести своего слушателя и въ многоглаголаніи надѣется стяжать свою душу!

„Хищникъ“ мстителенъ и золъ, но въ проявленіи этихъ качествъ не опирается ни на какіе законы; пѣнкоснимателъ мстителенъ и золъ, но при этомъ всегда оговаривается, что имѣетъ право быть мстительнымъ на основаніи такой-то статьи, и злымъ—на основаніи такого-то параграфа.

Наконецъ, „хищникъ“, несмотря на весь разгулъ дѣятельности, скучаетъ; пѣнкоснимателъ — никогда не скучаетъ, но за то самъ представляетъ олицетвореніе скуки и тошноты.

И такъ, скучаетъ старый ветхій человѣкъ, скучаетъ и новый ветхій человѣкъ. Что дѣлаетъ другой „новый человѣкъ“ — пока неизвѣстно, да не онъ и даетъ тонъ жизни.

А тонъ этотъ — или унынie, или миражъ, вслѣдствіе котораго мнимые интересы поневолѣ принимаются за интересы дѣйствительные...

УБѢЖИЩЕ МОНРЕПО

I. — Общій обзоръ.

— Вы, конечно, на лѣто уединитесь въ свое Монрепо?
— Разумѣется! надо же отдохнуть!

Свѣтскіе діалоги.

Отъ чего отдохнуть, это—вопросъ особый; но уѣхать на лѣто во всякомъ случаѣ надо. Лѣтомъ города населяются дулебами, радимичами, вятичами и проч., въ образѣ каменьщиковъ, штукатуровъ, мостовщиковъ, совмѣстное жительство съ которыми для культурнаго человѣка по многимъ причинамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ѣздилъ по лѣтамъ въ подмосковную. Имѣніе это я пріобрѣлъ тотчасъ вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостного права, и купилъ, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первыхъ, осматривалъ имѣніе зимой, чего никто въ мірѣ никогда не дѣлаетъ; во-вторыхъ, напалъ на продавца-старичка, который въ церкви, во время литургіи вѣрныхъ, приходилъ въ восторженное состояніе, и я повѣрилъ этой восторженности. Старичокъ служилъ когда-то по провіантскому вѣдомству, и потому былъ благодушенъ и гостепріименъ. Зазвалъ меня обѣдать, накормилъ настоящимъ малороссійскимъ борщомъ и угостилъ кіевской наливкой. Потомъ самъ поѣхалъ со мной осматривать усадьбу, гдѣ велѣлъ сварить супъ изъ курицы и зажарить карасей въ сметанѣ, причемъ говорилъ: „курица эта здѣшняя, караси тоже изъ здѣшняго пруда, а въ рѣкѣ, кромѣ того, водятся язи, окуни и вотъ этакіе лини!“ Затѣмъ начался осмотръ. Выйдя на крыльцо господскаго дома, онъ показалъ пальцемъ на синѣющій вдали лѣсъ и сказалъ: „вотъ какой лѣсъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а?“ Повелъ меня въ сѣнной сарай, дергалъ и мялъ въ рукахъ сѣно, словно желая убѣдить меня въ его добротѣ, и говорилъ при этомъ: „этого сѣна хватитъ до новаго съ излишкомъ, а сѣно-то какое — овса не нужно!“ Повелъ на мельницу, которая, словно нарочно, была на этотъ разъ въ полномъ ходу, дѣйствуя всѣми тремя поставами, и говорилъ: „здѣсь сторона хлѣбная—никогда мельница не стоитъ! а ежели еще маслобойку да крупорушку устроите, такъ у васъ такая толпа завсегда будетъ, что и не продерешься!“ Сдѣлалъ, вмѣстѣ со мной, по сугробамъ, небольшое путешествіе вдоль по рѣкѣ и говорилъ: „а рѣка здѣсь какая — ве-се-ла-я!“ И все съ молитвой. Скажетъ, и

перекрестится, и зрачками вверхъ поведетъ, и губами пошевелитъ, словно на вся и на всѣхъ призываетъ благословеніе Божіе. Только въ заключеніе разсердился. Погрозился кулакомъ на крестьянскій посёлокъ, населенный новоиспеченными временно-обязанными, и присовокупилъ: „Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, подлецы, кажется, ни въ жизнь бы изъ этого рая не выѣхалъ!“

Словомъ сказать, очаровалъ меня искренностью и — что̀ еще больше мнѣ понравилось — слабыхъ сторонъ имѣнія не скрылъ. „Вотъ службы — лёгонькія! это — такъ! и озимое, по милости подлецовъ, незасѣянное осталось, это — тоже скрыть не могу!“ Но при воспоминаніи о „подлецахъ“ — опять разсердился и присовокупилъ: „Впрочемъ дѣло объ нихъ уже въ уголовной палатѣ рѣшено; вотъ какъ шестьдесятъ человѣкъ березовой кашей вспрыснутъ, такъ до новыхъ вѣниковъ не забудутъ!“ *)

При каковомъ осмотрѣ присутствовалъ и мѣстный сельскій батюшка, который скромно пощипывалъ бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

Я былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйственнымъ дѣламъ прикосновеннымъ не состоялъ. Случились въ карманѣ довольно большія деньги (впрочемъ, данныя взаймы), но я какъ-то и денегъ не понималъ: все думалъ, что конца имъ не будетъ. Словомъ сказать, произошло нѣчто въ родѣ сновидѣнія. Только одно, повидимому, я зналъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, слѣдовательно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ то время даже печатно въ этомъ родѣ разсчеты дѣлались.

Замѣчательно, что я родился и выросъ въ деревнѣ. До десяти лѣтъ я жилъ въ деревнѣ безвыѣздно; потомъ, когда начались странствованія по казеннымъ заведеніямъ, ежегодно на лѣтнія вакаціи пріѣзжалъ въ побывку домой. Я зналъ, что̀ такое лѣсъ, и множество разъ даже хаживалъ туда за грибами и ягодами; я умѣлъ отличить ячмень отъ ржи, рожь отъ овса; я видѣлъ, какъ возятъ навозъ на поля, какъ пашутъ, боронятъ, сѣютъ, жнутъ, молотятъ, косятъ. И за всѣмъ тѣмъ — рѣшительно ничего не понималъ. Воистину, это была не дѣйствительность, а сновидѣніе, отъ котораго задержались въ сознаніи только лишенные всякой связи обрывки...

Родители мои слыли въ своей сторонѣ за очень опытныхъ и рачительныхъ хозяевъ. Они „сами во все входили“, чего въ то время было совершенно достаточно, чтобъ заслужить репутацію „хозяина“. Каждый вечеръ староста приходилъ въ барскій домъ съ отчетомъ объ успѣхѣ произведенныхъ въ теченіе дня работъ; каждый вечеръ шли безконечные разговоры, предположенія и сѣтованія; отдавались приказанія на слѣдующій день, слышались тоскливыя догадки насчетъ вёдра или дождя, раздавались выраженія: „поголовно“, „братъ на брата“ и другіе сельско-хозяйственные термины въ крѣпостномъ вкусѣ. Я очень часто присутствовалъ при этихъ переговорахъ и, помнится, даже интересовался ими, тѣмъ болѣе, что рядомъ съ ними шли рас-

*) Всего въ имѣніи числилось 160 ревизскихъ душъ (ревизія была въ 1859 году), въ томъ числѣ, разумѣется, на половину подростковъ и малолѣтнихъ. Рѣшеніе московской уголовной палаты, дѣйствительно, состоялось въ этомъ родѣ, но сенатъ его отмѣнилъ, и дѣло, кажется, кончилось ничѣмъ.

поряженія и насчетъ домашнихъ запасовъ, которые, въ видѣ варенья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множествѣ. Передъ моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходилъ тотъ кропотливый процессъ, при помощи котораго созидается такъ-называемая полная чаша. Я видѣлъ эту полную чашу во всѣхъ проявленіяхъ: въ амбарахъ, наполненныхъ всякаго рода хлѣбомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скотномъ дворѣ, въ плодовыхъ садахъ и проч. Вездѣ, по всей усадьбѣ, словно въ муравейникѣ, съ утра до ночи копошились люди и все припасали. А ночью около полной чаши похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску. Все это я видѣлъ, зналъ наизустъ и могъ даже своими словами все разсказать: однако и за всѣмъ тѣмъ ничего не понималъ. Очевидно, тутъ былъ какой-то изъянъ. Я зналъ формы, въ которыхъ проявлялось созиданіе полной чаши, но не понималъ внутренняго содержанія этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилій, физическаго труда, изнеможеній, пота, ропота и отчаяній, которыми сопровождалось устроеніе полной чаши. Кажется, что я думалъ такъ: стоитъ папенькѣ съ маменькой только приказать старостѣ Лукьянычу—и у насъ будетъ и рожь, и овесъ, и сѣно...

Поэтому, когда я покончилъ съ вопросомъ о подмосковной, то-есть совершилъ купчую крѣпость и вступилъ во владѣніе, то сонное видѣніе еще нѣкоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчасъ же обнаружились факты, которые должны были бы самаго заспаннаго человѣка заставить придти въ себя. А именно: густой и высокій лѣсъ, на который мнѣ указывалъ пальцемъ старичокъ-продавецъ, оказался чужой, а *мой* лѣсъ былъ низенькій и рѣдкій; вмѣсто полныхъ сѣнныхъ сараевъ оказались искусно выведенныя изъ сѣна стѣнки, за которыми скрывалась пустота; на мельницѣ помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сѣно на лугахъ „временемъ—родится“, а „временемъ — нѣтъ“, да и сѣно — „съ осочкой“. Одно вышло справедливо: службы были лѣгонькія, то-есть совсѣмъ ветхія, а рѣчка дѣйствительно веселая: излучистая, сверкающая и вся въ зеленыхъ берегахъ.

Тѣмъ не менѣе я не впалъ въ унынie и началъ дѣятельно приспособляться въ своемъ новомъ гнѣздѣ. Сонныя видѣнія дѣтства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себѣ и нѣчто такое, что залегло во мнѣ довольно прочно. А именно: они положили основаніе убѣжденію, что всякій человѣкъ имѣетъ какъ бы естественную потребность въ своемъ собственномъ углѣ. Тамъ онъ сосредоточитъ все завѣтное, пригрѣтое, приголубленное; туда онъ придетъ послѣ изнурительныхъ скитаній по бѣлусвѣту, чтобъ успокоиться отъ жизненныхъ обидъ; тамъ онъ взлелѣетъ своихъ дѣтей и дастъ имъ возможность проникнуться впечатлѣніями настоящей, ненасурмленной дѣйствительности; тамъ онъ почувствуетъ себя свободнымъ отъ всяческой подлой зависимости, отъ заискиваній, отъ унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словомъ сказать, представленіе объ этомъ собственномъ углѣ было всегда до того присуще мнѣ, что когда жить за родительскимъ хребтомъ сдѣлалось уже неловко, а старое, насиженное гнѣздо, по волѣ случая, не дошло до рукъ, то мысль объ обрѣтеніи новаго гнѣзда начала преслѣдовать меня, такъ сказать, по пятамъ...

И, какъ сказано выше, я это гнѣздо обрѣлъ.

Я не буду разсказывать здѣсь исторію моихъ хозяйственныхъ похожденій. Это было что-то фантастическое. Неудача во всемъ. Хлѣбъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ амбаръ его дошло мало („стало быть, при молотьбѣ не доглядѣли“, объяснили мнѣ „умные мужички“); клеверъ и тимоѳеевка выскочили по полю махрами („стало быть, неровно сѣяли: вотъ здѣсь посѣяли, а вотъ здѣсь пролешили“). Два года, однакожъ, я упорствовалъ, то-есть сѣялъ и жалъ, но на третій—смирился. Или, говоря другими словами, началъ смотрѣть на свое имѣніе какъ на дачу для двухъ-трехъ-мѣсячнаго лѣтняго пребыванія. Нарушилъ всѣ хозяйственныя затѣи, а такъ-называемую „угоду“, за исключеніемъ усадьбы, сдалъ крестьянамъ за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворенія скромныхъ издержекъ по управленію и сторожѣ, и самъ удралъ въ Петербургъ.

При такомъ упрощенномъ взглядѣ дѣло шло кое-какъ ровно пятнадцать лѣтъ. Я ѣздилъ по лѣтамъ въ свое собственное Монрепо и не безъ удовольствія взиралъ на „веселую“ рѣчку, которая сверкала передъ самыми окнами господскаго дома. По временамъ на островокъ, образуемый мельничною запрудой, налеталъ соловей и грохоталъ и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствіе, хотя и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ *непремѣнно* подкарауленъ и изловленъ фабричными изъ сосѣдняго села. Во всякомъ случаѣ я жилъ безъ мучительныхъ помысловъ о дождѣ или вёдрѣ, безъ легкомысленныхъ догадокъ о томъ, что̀ въ данную минуту происходитъ въ полѣ: произрастаетъ или не произрастаетъ. Ничего „своего“ у меня не было, такъ что за каждой бездѣлицей я посылалъ въ Москву, и, къ удивленію, все выходило и лучше, и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Былъ у меня, правда, небольшой огородъ, каждую весну засаживаемый неумѣлыми руками; но и онъ не заставлялъ моего сердца сжиматься, такъ какъ я съ перваго же года понялъ, что овощи въ этомъ огородѣ будутъ поспѣвать какъ разъ ко дню моего выѣзда изъ деревни въ городъ.

Напослѣдокъ, однакожъ, обнаружилось, что и съ упрощеннымъ взглядомъ безконечно жить невозможно. Появилась цѣлая серія фактовъ довольно страннаго свойства. Лѣсъ (хоть и не тотъ высокій, который мнѣ рекомендовалъ старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ лѣсъ) пересталъ произрастать. Березовая роща, которую я засталъ въ качествѣ „опушечки“, такъ и осталась опушечкой черезъ пятнадцать лѣтъ. Осиновая роща, которую я самъ срубилъ, въ чаяніи, что осина идетъ ходко, представляла, черезъ пятнадцать лѣтъ, голое мѣсто, усѣянное пеньками („стало быть, коровъ по ёмъ насутъ“, объяснили „умные“ мужички, они же и арендаторы). Поля загрубѣли; луга, дававшіе когда-то мягкое сѣно, начали давать почти исключительно острецъ. Таковы были послѣдствія крестьянской аренды и моего упрощеннаго взгляда на имѣніе. Въ самомъ домѣ оказывались изъяны, которые предвѣщали въ ближайшемъ будущемъ очень серьезный расходъ. Въ паркѣ дорожки до того заросли, что для расчистки ихъ тоже требовалась цѣлая уйма денегъ. Къ довершенію всего, такъ какъ усадьба отстояла отъ крестьянскаго поселка не близко и какъ, съ нарушеніемъ хозяйства, прислуги при усадьбѣ содержалось мало, то ночью брала невольно оторопь. Правда, что въ нашей

сторонѣ объ „лихихъ“ людяхъ слуховъ еще не было, но верстъ за десять, за двѣнадцать, около станціи желѣзной дороги, уже „пошаливали“. Припоминая стародавнія русскія поговорки, въ родѣ „неровёнъ часъ“, „береженаго Богъ бережетъ“, „плохо не клади“ и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станціи желѣзной дороги, начинаетъ подходить къ намъ все ближе и ближе (одинъ грекъ приведетъ за собой десять грековъ, одинъ еврей—сотню евреевъ), я непримѣтно сталъ впадать въ задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. Въ короткій пятнадцатилѣтній періодъ моего владѣнія подмосковной почти весь землевладѣльческій составъ кругомъ меня измѣнился. Въ ближайшей ко мнѣ старинной княжеской усадьбѣ, съ вѣковыми лѣсами, съ знаменитыми оранжереями и съ прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, въ теченіе двухъ лѣтъ перемѣнилось два владѣльца, изъ коихъ одинъ—еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные къ постройкѣ храма Христа Спасителя; пришелъ адвокатъ, выигравшій какое-то волшебное дѣло и сейчасъ же поспѣшившій сдѣлаться „бариномъ“; наконецъ появился грекъ, который, поселившись въ верстѣ отъ меня, влѣзъ въ нашу скромную сельскую церковь и выстроилъ себѣ что-то въ родѣ горняго мѣста, дабы всѣ видѣли, какъ онъ, Самсонъ Дюбековичъ, своего Бога почитаетъ. Остались незыблемыми только два старинные и замѣчательно крупные землевладѣльца, изъ тѣхъ, которыхъ ужъ никакіе изъяны застать врасплохъ не могутъ.

Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. Пришельцы сосѣди устраивались по новому и проявляли поползновеніе жить шумно и весело. Среди этой вдругъ закипѣвшей жизни, каждое движеніе которой говоритъ о шальной деньгѣ, мой бѣдный, заброшенный пустырь былъ какъ-то совсѣмъ не у мѣста. Ветшая и упадая, онъ какъ бы говорилъ мнѣ: бѣги сихъ мѣстъ, унылый человѣкъ!

И я внялъ этому голосу, хотя и не безъ внутренняго волненія. Въ окна, главное, дуло, да и объ кухнѣ шли слухи, что скоро совсѣмъ тамъ готовить кушанье будетъ нельзя. Приходилось или злѣ погибнуть, или уйти.

Я выбралъ послѣднее и льщу себя надеждой, что въ самую пору.

Но въ ту минуту, какъ я уходилъ, старинное стремленіе къ гнѣзду вдругъ опять закопошилось во мнѣ. „Какимъ же это образомъ? — думалось мнѣ:—ужели я такъ-таки и останусь безъ собственнаго Монрепо?

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство можетъ приносить барыши—сами же займемся разрѣшеніемъ вопроса: что такое культурный человѣкъ и чего, собственно, онъ можетъ ожидать отъ деревни?

Культурный человѣкъ вообще есть личность, въ значительной степени пользующаяся досугомъ, имѣющая болѣе или менѣе отчетливыя представленія о комфортѣ и жизненныхъ удобствахъ, охотно дѣлающая экскурсіи въ область эстетики и спекулятивнаго мышленія, но очень рѣдко обладающая прикладными знаніями, то-есть тѣмъ именно орудіемъ, которое болѣе всего необходимо, чтобъ быть дѣятелемъ-земледѣльцемъ. Не даромъ генералъ Шан-

гарнье, приглашая однажды французское національное собраніе разойтись, по случаю каникулярнаго времени, рисовалъ картину успокоенія на лонѣ природы, съ эклогами Виргилія въ рукахъ. Хотя рѣчь почтеннаго генерала возбудила въ извѣстной части собранія смѣхъ, но въ сущности онъ вполнѣ правильно охарактеризовалъ отношенія культурнаго человѣка въ сельской природѣ. Не полеводство нужно культурному человѣку, а только общій видъ полей. Ему нужны: прогулка, отдыхъ, много воздуха, отсутствіе волненій, беззаботность, по временамъ дружеская бесѣда съ единомышленными людьми, по временамъ — одиночество, пожалуй хоть съ Виргиліемъ въ рукахъ. Не труда ищетъ онъ въ сельскомъ убѣжищѣ, а безмятежнаго растительнаго существованія, которое служило бы поправкой пряностямъ, изнурившимъ его въ городѣ.

Нашъ русскій культурный человѣкъ носитъ на себѣ тѣ же родныя черты, какъ и западно-европейскій. Разница только въ томъ, что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажденіи классицизма, но русскій культурный человѣкъ, въ дѣлѣ знакомства съ древними классиками, и нынѣ едва ли идетъ дальше басенъ Федра, имѣть которыя въ качествѣ настольной книги нѣсколько, впрочемъ, совѣстно. Поэтому онъ Виргилія замѣняетъ какою-нибудь другою умственною пищею, смотря по степени личнаго развитія каждаго, отъ Дарвина и Молешотта до Зола и Ксавье де-Монтепена включительно.

Я вполнѣ понимаю потребность, ощущаемую русскимъ культурнымъ человѣкомъ—воспользоваться двумя-тремя лѣтними мѣсяцами, чтобъ возстановить себя на лонѣ природы, и не нахожу ея ни незаконною, ни достойною осмѣянія.

Зима, проводимая большею частію въ городѣ, дѣйствуетъ изнурительно. Я не говорю уже о спёртомъ воздухѣ въ помѣщеніяхъ, снабженныхъ двойными рамами и нагрѣваемыхъ усиленной топкой печей—этого одного достаточно, чтобы при первомъ удобномъ случаѣ бѣжать на просторъ; но, кромѣ того, у каждаго культурнаго человѣка есть особливое занятіе, спеціальная задача, которую онъ преслѣдуетъ во время зимняго сезона и выполненіе которой иногда значительно подкашиваетъ силы его. Какого рода эти задачи и есть ли отъ нихъ какой-нибудь прокъ? — это другой вопросъ; но такъ какъ онѣ не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У насъ есть прежде всего цѣлая армія чиновниковъ, которые съ утра до вечера скребутъ перьями, посылаютъ въ пространство всякаго рода отношенія и донесенія и вообще не разгибаютъ спины—очевидно, имъ отдыхъ нуженъ, хотя бы для того, чтобы очнуться отъ тѣхъ „милостивыхъ государей“, съ которыми они девять мѣсяцевъ сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. Затѣмъ есть масса дѣльцовъ: адвокатовъ, биржевиковъ, сводчиковъ, концессіонеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шестнадцать часовъ въ сутки мелькаютъ и мечутся — очевидно, отдыхъ нуженъ и имъ. Наконецъ, существуетъ множество людей, которые утромъ занимаются дѣланьемъ визитовъ, а вечеромъ посѣщаютъ театры, цирки, балы, шпицбалы, игорные дома, рестораны—и имъ тоже необходимъ отдыхъ, потому что иной однимъ

культивированьемъ кокотокъ такъ себя за зиму ухлопаетъ, что по-неволѣ запросится вонъ изъ города.

Я знаю, что всѣ эти кипѣнія и мелканія—грошовыя, а иногда даже и вредныя; но такъ какъ люди, находящіеся на стражѣ, ничего противъ нихъ не имѣютъ, то тѣмъ менѣе могу имѣть противъ нихъ что-нибудь я, которому вообще ничего и ни отъ кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать фактъ изнуренія—и дѣлаю это.

Само собой разумѣется, что большинство культурныхъ людей, изъ тщеславія, а также и ради того, чтобы не порвать совсѣмъ съ зимними пакостями, стремятся по преимуществу въ Павловскъ, въ Петергофъ, въ Озерки и т. д. Что они тамъ обрѣтаютъ, какую природу, какой возстановляющій воздухъ, какое питаніе—я этого не знаю. Я отъ роду не живалъ въ этихъ мѣстахъ и, надѣюсь, никогда жить не буду, какъ ни соблазнительны описанія озерковскихъ шницбаловъ, съ оркестромъ Главача и кухней Ломача. Къ счастію, не всѣ Заманиловки подверглись разрушенію, а потому есть еще достаточно большая масса культурныхъ людей, которые, не заглядывая въ Озерки, устремляются къ старинным „собственнымъ“ пепелищамъ. Одни ѣдутъ поневолѣ, потому что хоть и распостылая эта Заманиловка, а все-таки *своя*, и надо за ней присмотрѣть, чтобъ окончательно ее не расхитили; другіе—потому, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаютъ лѣтняго житья иначе, какъ въ настоящей деревнѣ, съ настоящими полями и настоящимъ лѣсомъ.

Надо, впрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ прожить въ современной Заманиловкѣ три-четыре мѣсяца кряду, требуется нѣкоторая храбрость. Очень ужъ нынче тамъ глухо и непривольно. Во-первыхъ, пусто, потому что домашній персоналъ имѣется только самый необходимый; во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья и ѣды, потому что полезныя домашнія животныя упразднены, дикія, вслѣдствіе истребленія лѣсовъ, эмигрировали, карасп въ прудѣ выловлены, да и хорошаго печенаго хлѣба, пожалуй, нельзя достать; въ-третьихъ, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станціи желѣзной дороги (это было въ особенности чувствительно во время послѣдней войны); въ-четвертыхъ, не особенно весело и по части сосѣдей, ибо ежели таковые и есть, то разносоловъ у нихъ не полагается, да и ѣздить по сосѣдямъ, признаться, не́ въ чемъ, такъ какъ каретные сараи опустѣли, а бывшіе заводскіе жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, наконецъ, въ каждой Заманиловкѣ культурный человѣкъ непремѣнно встрѣчается съ вопросомъ о бѣшеныхъ собакахъ. Какъ ни исключительнымъ представляется этотъ послѣдній вопросъ, но онъ очень существенъ. Каждое лѣто непремѣнно откуда-то (откуда—никто даже опредѣлить не можетъ) забѣжитъ желтенькая, сивенькая или черненькая собачка, худая, съ помутившимися глазами и опущеннымъ хвостомъ, перекусаетъ на деревнѣ цѣлую уйму собакъ, а затѣмъ подниметъ переполохъ и на господской усадьбѣ. И долго потомъ эта сивенькая собачка живетъ въ воображеніи дѣтей и женщинъ, заставляя ихъ озираться во время прогулокъ и мѣшая рискнуть забраться куда-нибудь подальше отъ жилья—въ луга, въ лѣсъ.

Я уже не говорю о развлеченіяхъ амурныхъ, хотя и не безъ вздоха

вспоминаю Тургенева, этого правдивѣйшаго и художественнѣйшаго описателя нашихъ бывшихъ „дворянскихъ гнѣздъ“, у котораго на каждаго помѣщика (молодого и образованнаго) непремѣнно приходилась соотвѣтствующая помѣщица.

Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляетъ необходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или ради пріобрѣтенія яснаго представленія о рваномъ русскомъ мужикѣ), охотно примиряются со всѣми этими неудобствами за тѣ во истину возстановляющія (физически и умственно) блага, которыми она обилуетъ. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ ту сумму обновленныхъ силъ, которая нужна для бодраго перенесенія предстоящихъ въ зимній сезонъ задачъ (въ чемъ бы онѣ ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полнаго и невозмутимаго безмятежія. А отсюда—первая и главная обязанность: немедленно, всецѣло и навсегда удалить отъ себя всякія сельскохозяйственныя распоряженія и предпріятія. Эти послѣднія волнуютъ и изнуряютъ пуще всѣхъ огорченій, которыя испытываетъ культурный человѣкъ во время длиннаго зимняго сезона, потому что они не даютъ ни отдыха ни срока, преслѣдуютъ ежеминутно и производятъ тѣмъ большую досаду, что въ сущности цѣна каждой изъ нихъ, взятой въ отдѣльности, — грошъ. Въ эту самую минуту, когда я пишу эти строки, въ окна моей комнаты барабанитъ дождь, а между тѣмъ теперь самое горячее время для уборки сѣна, котораго вездѣ подкошено множество. Благо тому культурному человѣку, у котораго нѣтъ ни сѣна въ лугахъ, ни хлѣба въ поляхъ, потому что, будь все это, онъ непремѣнно бы мучился. Онъ думалъ бы: „ахъ, сѣно сгніетъ! ахъ, рожь проростетъ!“ и, несмотря на мокропогодицу, выбѣжалъ бы на улицу. Зачѣмъ бы онъ выбѣжалъ? что могъ бы сказать или присовѣтовать? — онъ и самъ навѣрное не отвѣтилъ бы на эти вопросы, но выбѣжалъ бы несомнѣнно, потому что его подстрекнулъ бы къ тому демонъ собственности. И въ результатѣ оказались бы потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ сѣна, ржи и овса, онъ можетъ спокойно, „въ надеждѣ славы и добра“, посматривать въ окно и думать: „а вотъ сейчасъ разгуляется, и я, какъ обсохнутъ дорожки (лѣтомъ земля сохнетъ изумительно быстро), пойду въ паркъ“...

Что сельско-хозяйственныя заботы тиранятъ ежеминутно — это аксіома, которая, я полагаю, не требуетъ доказательствъ. Природа дѣйствуетъ отнюдь не по писанному и почти всегда всѣ людскія предположенія переворачиваетъ вверхъ дномъ. Но все-таки скажу, что культурнаго досужаго человѣка эти заботы тиранятъ не въ примѣръ сильнѣе, нежели заправскаго земледѣльца. Для культурнаго человѣка—все новость, все сюрпризъ; и при этомъ, ежели у него, съ одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, съ другой стороны, ровно столько же досуга онъ имѣетъ и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящаго земледѣльца нѣтъ времени мучить себя; для него нѣтъ сюрпризовъ; онъ ко всему привыкъ и всего ожидаетъ. Онъ знаетъ, что, какъ бы ни велико было количество сюрпризовъ, онъ, земледѣлецъ, въ концѣ концовъ все-таки „управится“, то-есть одолѣетъ личнымъ трудомъ все, что въ данную минуту одолѣть можно. А культурный человѣкъ—что онъ знаетъ? Онъ глядитъ на непросвѣтное небо и думаетъ: „ахъ, все погибло!“ Сверхъ того,

онъ видитъ, что „хамово отродье“, нанятое для собиранія плодовъ земныхъ въ житницы, сидитъ, мокрое, подъ навѣсомъ и бьетъ баклуши, и это опять волнуетъ его...

Культурный человѣкъ безконечно легковѣренъ и притомъ въ высшей степени одаренъ художественными инстинктами. Вотъ почему для него выгоднѣе совсѣмъ не родиться на свѣтъ, нежели возгорѣть страстью къ полеводству. Будучи по воспитанію совершенно чуждъ прикладныхъ знаній, онъ обыкновенно приступаетъ къ сельско-хозяйственному дѣлу съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ читаетъ эту книжку не глазами обыкновеннаго смертнаго, а глазами воображенія, забывая, что ничто такъ легко не поддается подкупу, какъ воображеніе, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображеніе рисуетъ ему урожаи самъ-десять и самъ-двѣнадцать (въ „книжкѣ“ они доходятъ и до самъ-двадцати); оно рисуетъ ему коровъ, не тѣхъ тощихъ фараоновыхъ, которыя въ дѣйствительности питаются мякинным ухвостьемъ на господскомъ скотномъ дворѣ, а тѣхъ альгаузскихъ и девонширскихъ, для которыхъ существуетъ урочное положеніе: полтора ведра молока въ день; оно рисуетъ молотилки, вѣялки, жатвенныя машины, сѣноворошилки, плуги и пр. — и все непремѣнно самое прочное и достигающее именно тѣхъ самыхъ результатовъ, которые значатся въ сельско-хозяйственныхъ руководствахъ, а иногда и просто въ объявленіяхъ братьевъ Бутенопъ. Въ результатѣ происходитъ радостный сельско-хозяйственный апоѳеозъ. Культурный человѣкъ не принимаетъ въ разсчетъ ни вёдра, ни дождя, ни вѣтровъ, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный день у привода молотилки вдругъ не окажется ремня, а у самой молотилки—двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было цѣло, и вдругъ за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычисленіяхъ самъ-десять и самъ-двѣнадцать онъ снизойдетъ до принятія въ соображеніе заработной платы сѣрому человѣку, приводящему въ движеніе всѣ эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислитъ аккуратно, какъ написано въ книжкѣ: десятину луга скосить—косцовъ столько-то, сѣно сушить—бабъ столько-то. Короче сказать, онъ видитъ барыши и не предполагаетъ ущербовъ. Сѣнокосъ у него всегда сопровождается вёдромъ съ легкимъ погрыскиваньемъ дождичка по утрамъ (надо же и природѣ что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчѣе беретъ); сѣвъ никогда не обходится безъ благопріятнаго дождя: машины дѣйствуютъ безостановочно и безъ ремонта, ремни никогда не пропадаютъ и т. д.

Вѣритъ „книжкѣ“ культурный человѣкъ безусловно. Не потому вѣритъ, чтобы понималъ сущность изложеннаго въ ней, а потому, что она, такъ сказать, предупреждаетъ его желанія. Онъ читаетъ „книжку“, какъ романъ или, вѣрнѣе, какъ поваренную книгу, въ которой описываются самыя лакомыя блюда. Читаетъ и, останавливаясь на процессѣ производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатлѣніе общей сельско-хозяйственной картины, съ радостнымъ нетерпѣніемъ перескакиваетъ къ конечному результату (собираніе плодовъ въ житницы), который, разумѣется, всегда оказывается благопріятнымъ. Онъ не хочетъ знать, что книжку писалъ человѣкъ, обладающій подлинными знаніями (иногда, впрочемъ, и просто рутинёръ-шарлатанъ), который можетъ и неудачу предусмотрѣть, и даже свою собственную (опублико-

ванную) ошибку исправить. А ты, культурный человѣкъ, ты, воспитанникъ Федра, что̀ ты можешь? Вѣдь ежели ты, на свою бѣду, вычиталъ въ книгѣ „ошибку", то ты не только не исправишь ея, а, напротивъ, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обѣщаетъ тебѣ самъ-десять. И тогда что̀ станется съ тѣмъ эфемернымъ зданіемъ, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображеніе?

Понятно, что при такой степени возбужденія художественныхъ инстинктовъ всякое вмѣшательство силъ природы, мало-мальски не соотвѣтствующее заранѣе облюбованнымъ результатамъ, кажется посягательствомъ и служитъ поводомъ для мученій и проклятій. Зачѣмъ вёдро? зачѣмъ дождь?—вотъ тѣ несомнѣнно глупые вопросы, которые съ утра до вечера раздаются въ тѣхъ изъ помѣщичьихъ гнѣздъ, гдѣ еще не созрѣло убѣжденіе, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тѣмъ глупѣе, что культурному человѣку заранѣе извѣстно, что они навѣрное останутся безъ отвѣта, такъ какъ онъ не имѣетъ даже средствъ извернуться или приспособиться къ тому, что̀ онъ называетъ неожиданностями и подвохами. Сѣрый человѣкъ—тотъ во всякое время, при всякихъ условіяхъ найдетъ для себя подходящее дѣло, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесетъ пользу. Но культурный человѣкъ, при всякомъ сюрпризѣ, измѣняющемъ его планъ, становится втупикъ, не зная, гдѣ и какъ ему возмѣстить затрату, сдѣланную именно на тотъ, а не на иной предметъ. И велико бываетъ его изумленіе, когда онъ, утѣшавшій себя мыслью (да, онъ до того озлобленъ, что даже можетъ себя утѣшать неудачами другихъ), что и у другихъ сѣно почернѣло и сгнило, вдругъ видитъ цѣлыя массы совершенно зеленаго сѣна, приготовленнаго заботливыми руками меньшого брата, который не пралъ противъ рожна въ дождь, но нашелъ другое приличествующее занятіе: городилъ городьбу, починялъ клѣть, или наконецъ и просто отдыхалъ.

Я живо помню первые годы, послѣдовавшіе за эмансипаціей крестьянъ. Въ то время, какъ разъ кстати, г. Бажановъ издалъ книгу о плодопеременномъ хозяйствѣ вообще, а г. Совѣтовъ — книгу о разведеніи кормовыхъ травъ. Обѣ читались всласть, какъ романъ, и находилось много людей, которые серьёзно думали, что теперь стоитъ только дѣйствовать по писанному, чтобы на землевладѣльцевъ полился золотой дождь. Закипѣла дѣятельность. Во-первыхъ, въ помѣщичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде никогда въ деревняхъ не живали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрипывать вѣкъ съ урочнымъ барщиннымъ положеніемъ), оставившіе службу и другія занятія и полные вѣры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, накуплено было множество орудій, о которыхъ до тѣхъ поръ имѣлись только смутныя представленія, какъ о чемъ-то рѣдкомъ и недоступномъ. Въ-третьихъ, начался обмѣнъ мыслей о томъ, что̀ пристойнѣе: самъ-десять или самъ-двѣнадцать. Въ-четвертыхъ, наконецъ, приступлено было и къ дѣйствительнымъ распоряженіямъ по Бажанову и Совѣтову. Богатые люди жертвовали при этомъ своими избытками, а люди недостаточные отказывали себѣ въ привычномъ комфортѣ и смотрѣли сквозь пальцы на упадокъ своихъ жилищъ, ради того, чтобъ купить лучшихъ сѣмянъ, лучшихъ плуговъ, плужковъ, скоропашекъ и проч. (у Бажанова

были и рисунки всего этого приложены). Но съ первыхъ же шаговъ (увы! рѣшительность этихъ шаговъ была такова, что, сдѣлавши одинъ, т.-е. накупивъ сѣмянъ, орудій, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назадъ, не испивши своей чаши сѣвооборота до дна) хозяйственная практика выставила такіе вопросы, разрѣшенія на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Совѣтовъ.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочихъ, при двухъ исправныхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ день казенную десятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ съ этимъ быть? Доказывать ли, съ Бажановымъ въ рукахъ, что священный долгъ каждаго рабочаго — вспахать не менѣе полудесятины?—но они отвѣтятъ на это: „и такъ не гуляли“. Броситься ли на тунеядца съ распростертыми дланями и сквернымъ словомъ на устахъ? — но онъ, какъ человѣкъ, сознающій себя героемъ *вольнаго* труда, пожалуй самъ дастъ сдачи. Судиться ли?—но передъ какимъ судомъ и гдѣ взять критеріумъ для судебной оцѣнки? Разсчитать ли, наконецъ, неисправнаго или небойкаго работника? — но завтра же другой герой вольнаго труда не допашетъ ровно столько же, а быть можетъ и больше. Приходится смириться и сообразно съ симъ дѣлать поправки въ разсчетахъ. А такъ какъ это поправки безконечныя, то, въ концѣ концовъ, изъ нихъ образуется цѣлая паутина, въ которой человѣкъ будетъ биться, покуда не опостылѣетъ все: и выкладки, и затѣи, и поля, и луга, и люди, которые пашутъ и не допахиваютъ, косятъ и не докашиваютъ, А сколько было когда-то обмѣна мыслей по поводу словъ: „*легко* вспашутъ полдесятины“. Легко? То-есть, вѣроятно, вспашутъ и больше? Но положимъ, что только полдесятины; слѣдовательно... А кончилось тѣмъ, что хоть бы и не смотрѣть, какъ онъ тамъ на одномъ мѣстѣ топчется! Надоѣло, надоѣло, надоѣло.

„Надоѣло“ — это слово очень вѣское и рѣшительное въ человѣческой жизни вообще, и въ особенности въ жизни культурнаго русскаго человѣка, изумительная художественная воспріимчивость котораго требуетъ пищи безпрестанной и разнообразной. Но еще рѣшительнѣе звучитъ оно, когда человѣкъ начинаетъ прозрѣвать (все съ помощью тѣхъ же художественныхъ инстинктовъ), что не столько ему все надоѣло, сколько онъ самъ всѣмъ надоѣлъ. Тотъ же Бажановъ, напримѣръ, говоритъ, что землевладѣльческія орудія слѣдуетъ держать въ нарочито выстроенномъ сараѣ и что по окончаніи дневной работы необходимо ихъ вытереть, потому что иначе желѣзо ржавѣетъ и инструментъ не прослужитъ и половины урочнаго срока. Ничего не можетъ быть справедливѣе этого совѣта и законнѣе основаннаго на немъ требованія. Но бѣда въ томъ, что у вольнонаемнаго рабочаго правила о содержаніи инструментовъ въ опрятности и до сихъ поръ еще не выжжены на скрижаляхъ сердца огненными буквами. Во-первыхъ, у него совсѣмъ не болитъ сердце по хозяйскомъ добрѣ; во-вторыхъ, дома у него такія рабочія орудія, съ которыми онъ никогда не имѣлъ надобности церемониться, а слѣдовательно и вытирать ихъ до-суха привычки не пріобрѣлъ. Онъ просто не думаетъ о рабочихъ инструментахъ, и потому не считаетъ ухода за ними входящимъ въ кругъ его обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть можетъ, и не допахалъ противъ урока, но все-таки время свое выстоялъ и порядкомъ-таки усталъ.

Онъ спѣшитъ выпрячь лошадь, чтобы скорѣе отъужинать и лечь спать — досугъ ли ему съ инструментомъ возжаться? Слѣдовательно, предстоитъ нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйскія орудія во всегдашней исправности. Напомните одинъ разъ — онъ, конечно, выполнитъ съ грѣхомъ пополамъ вашу *прихоть*. Напомните въ другой разъ — услышите отвѣтъ: „не что ему (или ей) сдѣлается за ночь!“ Напомните въ третій разъ—отвѣта не послѣдуетъ, но на лицѣ прочтете явственно: „ахъ, распостылый ты человѣкъ!“ Напомните въ четвертый разъ... но въ четвертый разъ врядъ-ли вы и сами рѣшитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надоѣли, намозолили глаза, и вамъ совѣстно.

Вотъ чего не предусмотрѣли ни Бажановъ, ни Совѣтовъ, а между тѣмъ такого рода недоумѣнія встрѣчаются чуть не на каждомъ шагу. Вездѣ культурный человѣкъ видитъ себя лишнимъ, вездѣ онъ чувствуетъ себя въ положеніи того мужа, у котораго жена мучилась въ потугахъ рожденія, а онъ сидѣлъ у ея изголовья и покряхтывалъ. Вездѣ, на всѣхъ лицахъ, во всѣхъ отвѣтахъ онъ читаетъ и слышитъ одно слово: надоѣлъ! надоѣлъ! надоѣлъ!

И вотъ, когда онъ убѣждается, что Бажановскаго урочнаго положенія ему поддержать нечѣмъ, что инструментъ рабочій, на пріобрѣтеніе котораго онъ пожертвовалъ своимъ личнымъ комфортомъ, во-очію приходитъ въ негодность, что скотъ содержится неопрятно, смердитъ („не кадило!“ —ворчитъ скотница на сдѣланное по этому поводу напоминаніе) и обѣщаетъ въ ближайшемъ будущемъ совсѣмъ выродиться, что самъ онъ, наконецъ, всѣмъ надоѣлъ, потому что вездѣ „суется“, а „настоящаго“ ничего сказать не можетъ—тогда на него вдругъ нападаетъ то храброе малодушіе, которое даетъ человѣку рѣшимость въ одну минуту плюнуть на всѣ плоды многолѣтняго долготерпѣнія. И онъ, сломя голову, бѣжитъ въ объятія земскихъ учрежденій, мирового института, полиціи и проч., которыя по крайней мѣрѣ дадутъ ему средства хоть оконныя рамы новыя сдѣлать въ расшатавшейся сверху до низу Заманиловкѣ.

Говорятъ, что у культурныхъ людей нѣтъ достаточныхъ капиталовъ, которые давали бы имъ возможность съ терпѣніемъ выжидать результатовъ ихъ сельско-хозяйственныхъ предпріятій. Капиталовъ нынѣче, дѣйствительно, въ этой средѣ немного, но едва-ли умѣстно ссылаться на это обстоятельство. Во-первыхъ, вскорѣ послѣ крестьянской реформы, капиталовъ, благодаря выкупнымъ свидѣтельствамъ, было болѣе, нежели достаточно, а куда они дѣвались? Положимъ, что хорошая доля ихъ застряла въ трактирахъ Новотроицкомъ и Московскомъ, но, клянусь, цѣлая масса была ухлопана и въ землю, для исполненія прихотей Бажанова и Совѣтова. И что же изъ этого вышло? Во-вторыхъ, хотя капиталъ и дѣйствительно полезная вещь въ сельскомъ хозяйствѣ, но, все-таки, надо знать, куда и какъ его употребить. Вотъ Энгельгардтъ и безъ капиталовъ достигъ хорошихъ результатовъ (я нимало въ этомъ не сомнѣваюсь), а у культурнаго человѣка хоть и цѣлая уйма денегъ на рукахъ, да онъ не знаетъ, куда ее швырнуть. Ежели онъ броситъ ее въ отходную яму—выростутъ ли на днѣ ея розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полеводство можетъ приносить барыши; мы же, люди культурной массы, мы,

представители бюрократіи, адвокатуры, шпицбаловъ и проч., будемъ отдыхать кійждо подъ смоковницею своей, съ баснями Федра въ рукахъ (все какъ будто классицизмомъ припахиваетъ). Я самъ съ величайшимъ наслажденіемъ читаю Энгельгардта (особенно лѣтомъ въ деревнѣ), потому что никто такъ отчетливо не воспроизводитъ картину деревни, какъ онъ; но я увлекаюсь его писаніемъ съ чисто художественной точки зрѣнія и воздерживаюсь отъ всякой практической дѣятельности, въ подражаніе ему. Онъ расчищаетъ „ляда“, онъ сѣетъ ленъ и мечтаетъ о травосѣяніи, объ альгаузскомъ бычкѣ—все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я же не стану ни „ляда“ расчищать, ни льна сѣять, потому что въ самомъ благопріятномъ случаѣ эти занятія явятся лишь пустымъ препровожденіемъ времени; въ неблагопріятномъ же случаѣ...

Паче всего культурный человѣкъ долженъ избѣгать волненій и огорченій. Деревня нужна ему не ради перспективы копѣечныхъ избытковъ, но ради возстановленія подточенной зимнимъ сезономъ бодрости. Онъ долженъ помнить, что ежели возможны сельско-хозяйственные прибытки, то они возможны, во-первыхъ, для человѣка, обладающаго знаніемъ, и, во-вторыхъ, для человѣка, хотя и рутинера, но постоянно живущаго въ деревнѣ и не видящаго изъ нея выхода даже въ земскія учрежденія. Въ большинствѣ случаевъ, культурный русскій человѣкъ не подходитъ ни подъ одно изъ этихъ условій. Знаній у него нѣтъ, а въ деревнѣ онъ хочетъ жить лишь тогда, когда садъ его цвѣтетъ и благоухаетъ и когда въ сосѣдней рощѣ гремитъ соловей. Стоитъ ли при такой постановкѣ дѣла гнаться за какимъ-нибудь двугривеннымъ, котораго, вдобавокъ, еще и не поймаешь?! Стоитъ ли, ради этого двугривеннаго, испытывать волненія и разочарованія, которыя, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизмѣняются, переходятъ въ новыя формы волненій и разочарованій?

Нѣтъ спора, что и въ городахъ бываютъ огорченія: обойдутъ человѣка чиномъ; проиграетъ онъ, въ качествѣ адвоката, процессъ, или получитъ въ танцклассѣ затрещину. Но огорченія эти въ большинствѣ случаевъ имѣютъ свой коррективъ. Обойдутъ чиномъ — стоитъ только потрафить, пониже поклониться, и чинъ придетъ своимъ чередомъ; проиграетъ адвокатъ процессъ —можно взять другой и выиграть; получитъ затрещину... но что такое затрещина для человѣка, который, быть можетъ, понятіе о танцклассѣ смѣшиваетъ съ понятіемъ объ отечествѣ? Словомъ сказать, изъ всякаго городского огорченія можно выйти безъ особенно чувствительнаго ущерба. Тогда какъ для огорченій сельско-хозяйственныхъ рѣшительно нѣтъ выхода. Они сначала мелькаютъ передъ глазами въ видѣ неосуществившихся двугривенныхъ, но чуть только человѣкъ не остережется, то непремѣнно выразятся въ крупномъ кушѣ, брошенномъ въ отходную яму, на днѣ которой не выростаетъ розъ.

Но—скажутъ мнѣ—всѣ эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до насъ въ томъ самомъ составѣ и въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ онѣ представляются и нынѣ, то-есть со всѣми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, въ которыхъ растетъ бѣлоусъ. Какъ же поступить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою за нихъ земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ выростетъ ленъ?

Отвѣтъ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень

простъ. Ежели уже существуетъ убѣжденіе (а у человѣка хладнокровнаго, осторожнаго не можетъ оно не существовать), что раскинутость Заманиловокъ служитъ лишь источникомъ огорченій, то, разумѣется, необходимо принять самыя быстрыя мѣры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отдѣлаться отъ нихъ непремѣнно и безотложно, хотя бы задаромъ. Придетъ сѣрый человѣкъ въ эту самую Тараканиху, гдѣ нынѣ ростетъ бѣлоусъ, и прольетъ тамъ свой потъ. И, можетъ быть, бѣлоусъ дастъ мѣсто болѣе доброкачественнымъ злакамъ... А культурный человѣкъ ощутитъ отъ этого перемѣщенія ту несомнѣнную выгоду, что освободится отъ платежа земскихъ сборовъ за вмѣстилища бѣлоуса.

Я убѣжденъ, что первое, что̀ необходимо для культурнаго человѣка—это сокращать и съуживать границы своихъ земельныхъ владѣній. Дача, какъ вмѣстилище возстановляющаго воздуха полей — вотъ все, что̀ нужно. И при томъ дача не съ ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всѣми удобствами, которыя легко могутъ быть созданы на деньги, предназначенныя для отходной ямы. Ежели есть при дачѣ „смѣющійся“ лугъ — это хорошо; ежели есть роща, въ которой весной поетъ соловей—еще того лучше. Излучистая рѣка, тѣнистыя аллеи, пѣніе соловья—вотъ идеалы культурнаго человѣка, но отнюдь не пажити, не лѣса и не такъ-называемыя угодья. Для истребленія лѣсовъ существуютъ лѣсники; для пахаты, бороньбы и косьбы существуетъ цѣлый классъ людей, именуемыхъ земледѣльцами. Suum cuique, какъ говоритъ Горацій, а можетъ быть Федръ или даже самъ Кошанскій. Культурный человѣкъ долженъ помнить, что онъ—произведеніе города; тамъ онъ сѣетъ и жнетъ, что̀ ему сѣять и жать надлежитъ. Оклады жалованья, пенсіи, аренды, концессіи, гонорары за сводничество, полистныя и построчныя платы—все тамъ. А на лѣто онъ наѣзжаетъ въ деревню совсѣмъ не для того, чтобы страдать ради двугривенныхъ, а для того, чтобы на досугѣ обдумать, какія предстоитъ принять зимой мѣры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но пріумножить и сохранить. И пусть обдумываетъ. Пускай знаетъ свой домъ, свой садъ, свой смѣющійся лугъ, свою рощу. А ради сохраненія сельскаго колорита онъ можетъ завести трехъ-четырехъ коровъ и успокоиться на этомъ. Въ результатѣ онъ будетъ свободенъ отъ огорченій и никому не надоѣстъ. И сѣрый человѣкъ, глядя на него, скажетъ: „вотъ и видно, что настоящій баринъ—живетъ и ничего не дѣлаетъ!“

Тѣмъ не менѣе, я не могу не сознаться, что жить въ деревнѣ и не дѣлать деревенскаго дѣла, а только вдыхать ароматы полей, слѣдить за полетомъ ласточекъ, читать братьевъ Гонкуровъ и упитывать себя для предстоящихъ зимнихъ подвоховъ—ужасно совѣстно. Сѣрый человѣкъ хоть и выражается объ такомъ субъектѣ: „вотъ настоящій баринъ!“ но онъ говоритъ это только до поры до времени. Сѣрый человѣкъ покуда еще ужасно задавленъ, и вслѣдствіе этого обѣщаніе „на водку“ дѣйствуетъ на него магически. А „настоящій баринъ“ даетъ на водку часто и щедро. Онъ охотно собираетъ въ господской усадьбѣ по праздникамъ сосѣднихъ мужиковъ и бабъ, предоставляя имъ пѣть, плясать и величать себя, „настоящаго барина“, и уго-

щаетъ за это пивомъ, водкой и ломтями чернаго хлѣба, а иногда, подъ веселую руку, даже бросаетъ въ толпу разъяренныхъ бабъ пригоршни гривенниковъ. Я положительно не знаю ничего поскуднѣе этого развлеченія (имъ по преимуществу злоупотребляютъ разноплеменные хищники, отдыхающіе лѣтомъ въ своихъ виллахъ), но сѣрый человѣкъ еще охотно фигурируетъ въ немъ въ качествѣ увеселителя. Къ чести человѣчества надо думать, что наступитъ же наконецъ моментъ, когда онъ очнется и пойметъ, какой омерзительный смыслъ заключается въ поскудномъ выраженіи: „на водку“, въ которомъ теперь онъ видитъ нѣчто въ родѣ подспорья.

Повторяю: жить въ деревнѣ только въ качествѣ „хорошаго барина“ все-таки совѣстно, и потому я былъ очень обрадованъ, когда узналъ, что у культурнаго русскаго человѣка и помимо сельско-хозяйственныхъ затѣй можетъ существовать вполнѣ деревенское дѣло, а именно: дѣло совѣта, разъясненія, просвѣщенія и посильной помощи. Сѣрый человѣкъ изнываетъ въ тенетахъ круговой поруки—надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсѣмъ не въ томъ заключается, чтобы изнурять, а въ томъ, чтобы представлять очень существенныя гарантіи. Сѣрый человѣкъ погибаетъ подъ игомъ невѣжественности — надо пролить свѣтъ знанія въ эту погибающую среду, надо стараться объ разсѣяніи предразсудковъ, страховъ и предубѣжденій. Сѣрый человѣкъ изнемогаетъ отъ нищеты, поборовъ, недостатка питанія, тѣсноты жилищъ — надо сдѣлать для него доступнымъ дешевый кредитъ и при этомъ дать послѣднему такое направленіе, чтобы помощь его была чувствительна не для однихъ волостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и міроѣдовъ, но и для массы дѣйствительно нуждающихся.

Я назвалъ здѣсь очень немного задачъ, но заранѣе соглашаюсь, что ихъ наберутся цѣлыя массы, и притомъ гораздо болѣе существенныхъ. Сказать человѣку толкомъ, что онъ человѣкъ,—на одномъ этомъ предпріятіи можетъ изойти кровью сердце. Дать человѣку возможность различать справедливое отъ несправедливаго — для достиженія этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъясненія громадны и почти неприступны, но за то какіе изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывнаго горѣнія существованіе!

Позвольте, однакожъ. Я говорю здѣсь совсѣмъ не о подвижничествѣ, а о другомъ. Я говорю о самыхъ обыкновенныхъ представителяхъ культурной массы, о тѣхъ исчадіяхъ городской суеты, для которыхъ деревня составляетъ, наравнѣ съ экипажемъ, хорошимъ поваромъ и проч., одну изъ принадлежностей комфорта или общепризнанныхъ условій приличія—и ничего больше.

Я говорю исключительно объ этихъ людяхъ, потому что покамѣстъ это—единственный разрядъ культурныхъ дѣятелей, состоящій „въ законѣ“, и, стало быть, единственный, котораго дѣйствія и помыслы могутъ быть свободно изслѣдуемы. Все остальное закрыто для насъ завѣсою, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь въ соблазнъ, или нѣчто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы „въ законѣ“ и будемъ бесѣдовать лишь о томъ, что доступно нашимъ изслѣдованіямъ.

Я охотно допускаю, что и въ заурядныхъ представителяхъ культурной

массы можетъ зародиться жажда просвѣтительнаго деревенскаго дѣла. Добрыхъ, сострадающихъ и вообще порядочныхъ людей и въ этой массѣ найдется достаточно. Но дѣло въ томъ, что, по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ преданій, обстановки, воспитанія, культурный человѣкъ на этомъ поприщѣ прежде всего встрѣчается съ вопросомъ: что скажетъ о моей просвѣтительной дѣятельности становой (само собой разумѣется, что здѣсь выраженіе „становой“ употреблено не въ буквальномъ смыслѣ)? Я знаю, что вопросъ этотъ смѣшной и что даже довольно близкіе наши потомки будутъ удивляться самой возможности его постановки, но тѣмъ не менѣе онъ несомнѣнно существуетъ, и человѣкъ, „въ законѣ состоящій“, отнюдь не можетъ его миновать. Его постоянно тревожитъ мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели онъ и приступитъ на дѣлѣ къ выполненію своихъ просвѣтительныхъ поползновеній, то или проведетъ ихъ не особенно далеко (по губамъ помажетъ), или же будетъ приспособлять свои дѣйствія ко вкусамъ и идеаламъ станового. И вотъ вмѣсто того, чтобы узнать, откуда идутъ на него тѣ бичи, которые отъ колыбели до могилы подъѣдаютъ его существованіе, въ видѣ міроѣдовъ, кабачниковъ, засухъ, градобитій, моровыхъ повѣтрій и проч., сѣрый человѣкъ услышитъ изъ устъ культурнаго человѣка не особенно мудрое и не чуждое сквернословія поученіе о томъ, что первая и главная обязанность есть исполненіе приказаній, а все остальное приложится. Но вѣдь онъ и безъ того слышитъ эти проповѣди ежечасно, ежеминутно и отъ волостного старшины, и отъ сотскаго, и даже отъ кабачника. И однако до сихъ поръ онѣ не накормили его-до сыта, не дали ему человѣческаго жилища и ни на одинъ волосъ не увеличили его матеріальнаго и духовнаго благосостоянія.

Положимъ однако, что культурный человѣкъ настолько самолюбивъ, что не будетъ справляться со взглядами станового и захочетъ дѣйствовать самостоятельно, даже независимо отъ соображенія, своевременно или преждевременно; но развѣ это отреченіе отъ идеаловъ станового не будетъ съ его стороны только пустою формальностью? Увы! онъ и самъ весь начиненъ азбучными истинами, онъ и самъ ничего не знаетъ, кромѣ произвольныхъ, на нескѣ построенныхъ афоризмовъ прописной морали. Стало быть, ежели слова его и будутъ иныя, то дѣло все-таки окажется то же.

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культурному человѣку, взлелѣянному на лонѣ эстетическихъ преданій, всегда присуща нѣкоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себѣ происхожденіе лохмотьевъ и безкормицы не особенно трудно, но очень трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляетъ отождествиться съ мірской нуждой и нести на себѣ грѣхи міра сего. Тутъ и художественные инстинкты, столь могущественные въ другихъ случаяхъ, не помогаютъ. Или, вѣрнѣе сказать, помогаютъ наоборотъ, то-есть вселяютъ инстинктивный страхъ и непреодолимое желаніе избѣжать зрѣлища нищеты. Обыкновенно это послѣднее желаніе формулируется болѣе или менѣе прилично: всѣмъ, дескать, не поможешь и всей массы бѣдности не устранишь! Но понятно, что это—только отговорка, на которую возможенъ одинъ отвѣтъ: „пробуй, дѣлай что можешь или уйди, не блазни, не подавай камня тамъ, гдѣ нуженъ хлѣбъ“.

Можетъ впрочемъ случиться и такъ, что культурный человѣкъ какимъ-нибудь чудомъ всѣ эти препятствія устранитъ, то-есть съумѣетъ одновременно упразднить и идеалы сотскихъ, и эстетику. Однако и за всѣмъ тѣмъ останется обстоятельство, которое ни подъ какимъ видомъ обойти нельзя. Обстоятельство это заключается въ томъ, что главная задача его жизни совсѣмъ не въ деревнѣ, а въ городѣ. Говоря такимъ образомъ, я вовсе не имѣю въ виду посѣтителей шницбаловъ, но и людей дѣйствительно воодушевленныхъ наилучшими намѣреніями и преслѣдующихъ самыя почтенныя интеллектуальныя цѣли. И для нихъ деревня представляетъ только временную арену дѣятельности, къ которой, вдобавокъ, они въ большинствѣ случаевъ не имѣютъ никакой практической подготовки. Атмосфера, которою они дышутъ, совсѣмъ не та, которою дышетъ деревня; языкъ, которымъ они говорятъ, не тотъ, которымъ говоритъ деревня; мысли, которыя они мыслятъ, не тѣ, которыя мыслитъ деревня. Поэтому, прежде нежели приступить къ подлинному деревенскому дѣлу, сколько нужно труда, чтобъ опознаться въ условіяхъ дѣятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправной пунктъ! Но вотъ, наконецъ, точка опоры отыскана, а тутъ, какъ на грѣхъ, подкралась осень, и культурный человѣкъ волей-неволей обязывается оставить случайныя задачи, чтобы всецѣло отдаться задачамъ кореннымъ, а деревня остается въ положеніи той помпадурши, которая, при извѣстіи о низложеніи своего краткосрочнаго помпадура, восклицала: „глупушка! нашалилъ и уѣхалъ!“

Нѣтъ, просвѣтительная дорога—не наша дорога. Это—дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла и, подобно раскольникамъ, „бѣгунамъ“, идти впередъ, *вышняго града взыскуя*.

Два лѣта кряду я живу въ своемъ новомъ углу, на берегу Финскаго залива, почти въ виду кронштадтскихъ твердынь. Живу, руководствуясь сейчасъ вышесказанными соображеніями, то-есть не зная ни сельско-хозяйственныхъ затѣй, ни просвѣтительныхъ задачъ. Въ первомъ отношеніи я вполнѣ разсчитываю на сѣраго человѣка, который самъ не доѣстъ, а насъ не оставитъ безъ провіанта; во-второмъ—полагаюсь на земскія управы, которыя, по соглашенію съ начальствомъ, полегоньку да потихоньку, навѣрное, когда-нибудь устроятъ судьбу сѣраго человѣка къ безпечальному концу. Я же, засѣвъ въ своемъ углу, наслаждаюсь пальбою съ кронштадтскихъ твердынь, которая потрясаетъ окна моего Монрепò и которая, собственно говоря, составляетъ единственное здѣсь развлеченіе.

Жизнь моя здѣсь течетъ въ уединеніи и полномъ безмятежіи. Сѣна — мало, жита—и того меньше; за то есть благоустроенный паркъ, въ которомъ родится множество бѣлыхъ грибовъ и въ которомъ можно гулять даже немедленно послѣ дождя. Сверхъ того, есть порядочный сосновый лѣсъ и рѣка, на которой устроена мельница, а слѣдовательно существуетъ и запруда. Однимъ словомъ, было бы даже очень хорошо, еслибъ капельку побольше краснаго солнышка и поменьше вѣтра со стороны „хладныхъ финскихъ скалъ“.

Помилуйте: въ цѣлое нынѣшнее лѣто я не видалъ стрѣлку флюгера обращенною на югъ, а все на сѣверъ, или еще того хуже — на западъ, потому что ежели сѣверный вѣтеръ приноситъ намъ больше чѣмъ нужно прохлады, то западный гонитъ намъ тучи, которымъ иногда по цѣлымъ недѣлямъ конца не видать.

Мѣстность, въ которой расположено сказанное Монрепо—обыкновенная мѣстность ближайшихъ окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтобъ живописная, нельзя сказать, чтобъ веселая, но за то несомнѣнно веселонравная. Справа у меня—деревенскій поселокъ, при въѣздѣ въ который стоитъ столбъ и на немъ значится: душъ 24, дворовъ 10. На это не особенно громадное населеніе существуетъ два кабака, которые очень рѣдко пустуютъ. Сверхъ того, съ небольшимъ въ полуверстѣ отъ меня, налѣво, рядомъ съ моей границей, воздвигнутъ третій кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой мѣстности посчастливилось. Когда я ѣду на станцію желѣзной дороги, то на пространствѣ четырнадцати верстъ до шоссе (на которомъ уже начинаются высокопоставленныя дачи, и, стало быть, кабаковъ нѣтъ) встрѣчаю еще четыре кабака. А между тѣмъ мѣстность эта вполнѣ пустынная, и только въ одномъ мѣстѣ, въ сторонѣ, виднѣется довольно большое село, которое, конечно, обладаетъ своими собственными кабаками.

Населеніе здѣсь смѣшанное. Большинство — чухны, меньшинство—не скажу, чтобы совсѣмъ русскіе, а скорѣе какая-то помѣсь. Чухны пьютъ довольно, русскіе — много. Сверхъ того, здѣсь пролегаетъ зимній трактъ въ Кронштадтъ, который тоже не мало способствуетъ процвѣтанію кабаковъ.

Кабакъ — это что-то въ родѣ установленія, омерзительнѣе котораго трудно что-нибудь себѣ вообразить. Вокругъ кабака ростетъ одичалое племя, которое отдаетъ кабатчику всю свою душу и которому положительно ни до чего нѣтъ дѣла. А у насъ цѣлыхъ три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный коррективъ! Да и пьянство здѣсь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Какъ будто исполняется горькая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. Идетъ человѣкъ по дорогѣ и вертитъ зрачками: это значитъ, что онъ еще бодрится. Прошелъ нѣсколько шаговъ, споткнулся и ужъ храпитъ. Былъ у меня въ прошломъ году мельникъ изъ чухонъ, по истинѣ честный и добропорядочный человѣкъ. Видя, что онъ отъ времени до времени вертитъ зрачками, я пробовалъ его уговорить, и повидимому даже успѣлъ. Цѣлыхъ два мѣсяца я видѣлъ его постоянно трезвымъ, но вотъ пришла осень, и малый не вытерпѣлъ. Осень здѣсь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно надъ кладбищемъ стонъ стоитъ. Однимъ вечеромъ мельникъ урвался кратчайшимъ путемъ, по лавамъ, брошеннымъ черезъ рѣчку, въ кабакъ, и тамъ выполнилъ свою задачу серьезно и безшумно. Возвращаясь тѣмъ же путемъ на мельницу, онъ уже не попалъ на лавы, а шагнулъ прямо въ рѣку и утонулъ. Мѣсто это отстоитъ отъ мельницы въ нѣсколькихъ шагахъ, но никто не слыхалъ криковъ о помощи. Вѣроятно несчастный даже не понималъ, что тонетъ, а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ принципъ, омерзителенъ, но при этомъ оговариваюсь: можетъ быть, оно такъ надобно. Нужно, быть можетъ,

чтобъ люди вертѣли зрачками и не понимали, куда они ложатся—въ постель или въ рѣку. Почему такъ нужно—этого, конечно, мы не можемъ знать: не наше дѣло.

Благо невѣдущимъ. Знаніе, говорятъ, старитъ, а мы каждочасно молодѣемъ. „Изба моя съ краю, ничего не знаю“—успокоительнѣе этого девиза выдумать нельзя. Особливо ежели жить съ умомъ, то можно даже деньги при помощи этого девиза нажить. Вотъ, напримѣръ, владѣлецъ двухъ кабаковъ, которые держатъ меня въ осадѣ справа и слѣва, — тотъ только и говоритъ: „не нашего, сударь, это ума дѣло“. Говоритъ—и стелетъ да стелетъ кругомъ паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись въ усадьбѣ, зажимаю носъ и уши, зажмуриваю глаза и твержу: не наше дѣло! не наше дѣло! не наше дѣло! Это — слова могущественныя и отлично разбиваютъ не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти, и уже безъ малѣйшаго волненія смотрѣть, какъ взадъ и впередъ снуютъ подводы, нагруженныя бочками, боченками, бутылями и бутылочками. О чемъ тутъ скорбѣть? На что негодовать? Гораздо пристойнѣе видѣть въ этомъ маятномъ движеніи боченковъ и бутылей только виды внутренней торговли и накопленія богатствъ: хоть сейчасъ садись и пиши статистику. И статистика выйдетъ не безплодная, но полная поучительныхъ выводовъ, изъ которыхъ можно усмотрѣть вполнѣ ясно, гдѣ таятся истинные источники нашего народнаго веселья, нашей силы и мощи: все тамъ, все въ этихъ боченкахъ и бутыляхъ. Не даромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчикъ-столпъ потчивалъ „гостей“ водкой подъ названіемъ „потреотическая“, а другой кабатчикъ-столпъ, соревнуя первому, утвердилъ на „выставкѣ“ бутыль съ надписью: „на страхъ врагамъ“. И всѣ, которые пили обѣ эти водки, дѣйствительно чувствовали, что имъ море по колѣна...

Да, эти „столпы“ знаютъ тайну, какъ содѣлывать людей твердыми въ бѣдствіяхъ, а потому имъ и книги въ руки. Поймите, вѣдь это—тоже своего рода культурные люди, и притомъ не безъ нахальства говорящіе о себѣ: „мы сами оттуда, изъ Назарета, мы знаемъ!“ И дѣйствительно, они знаютъ, потому что у нихъ нервы крѣпкіе, взглядъ острый и умъ ясный, не растатанный вольнодумными софизмами. Это даетъ имъ возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дѣло — это перервать горло.

Одного только не вѣдаютъ: можетъ ли срости разъ перерванное горло, и ежели не можетъ, то какъ съ этимъ быть?

Не наше дѣло.

Продолжаю начатую матерію о Монрепо. Имѣніе это служитъ наглядньмъ примѣромъ производительности культурнаго труда и тѣхъ выгодъ, которыя можно изъ него извлечь. Нѣкогда оно принадлежало такъ-называемому „хозяину“ и, вдобавокъ, еще инженеру, стало-быть человѣку, не лишенному хотя нѣкоторыхъ прикладныхъ знаній. Владѣлецъ этотъ, очевидно, имѣлъ намѣреніе сдѣлать изъ своего имѣнія „золотое дно“. Онъ положилъ основаніе господской мызѣ, выстроилъ не особенно изящный, но крѣпкій и помѣстительный домъ, снабдилъ его службами и скотнымъ дворомъ, развелъ

паркъ, плодовитый садъ, затѣялъ обширный огородъ (вѣроятно хотѣлъ изумить міръ капустой и огурцами), устроилъ мельницу, прорѣзалъ всю дачу безчисленными канавами, вслѣдствіе чего она получила видъ шахматной доски, и заключающіеся между канавами участки земли поднялъ и засѣялъ травой. Хлѣба у него высѣвалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцѣлѣли и понынѣ, а въ особенности по чугуннымъ трубамъ, съ помощью которыхъ нагрѣвалась сушильня и которыя валяются и поднесь. Получалъ ли какіе-нибудь доходы съ этого имѣнія заботливый хозяинъ-землевладѣлецъ — это неизвѣстно; но вѣроятнѣе всего, что не получалъ, а все устраивался и устраивался. Но что̀ несомнѣнно извѣстно — это то, что онъ истратилъ на имѣніе „многія тысячи“. И не крѣпостнымъ трудомъ истратилъ, а чистоганомъ, потому что крѣпостной трудъ какихъ нибудь 24-хъ душъ даже замѣтнымъ подспорьемъ не могъ служить въ такомъ значительномъ предпріятіи. Затѣмъ основатель усадьбы умеръ, и имѣніе начало переходить изъ рукъ въ руки, причемъ никто продолжительно имъ не владѣлъ. Послѣдній владѣлецъ, отъ котораго мыза наконецъ дошла ко мнѣ, тоже, какъ говорятъ, потратился: усовершенствовалъ паркъ, меблировалъ домъ, пытался расчистить нѣкоторыя канавы и проч. Вѣроятно и тутъ дѣло не обошлось безъ „многихъ тысячъ“. А сколько одновременно съ этими „многими тысячами“ было потрачено легкомыслія, сколько видѣла эта бѣдная мыза претерпѣнія и ропота, сколько слышала она хульныхъ словъ!...

Мнѣ она досталась, съ расходами по купчей крѣпости и съ издержками по водворенью, въ суммѣ приблизительно до пятнадцати тысячъ рублей. Вотъ чѣмъ разрѣшились и „многія тысячи“, и многолѣтнія претерпѣнія. Кажется, краснорѣчивѣе этого факта нельзя себѣ ничего вообразить.

А сколько, сверхъ того, было ухвачено крѣпостныхъ пошлинъ при переходахъ имѣнья изъ рукъ въ руки! сколько было разсорено денегъ на сводчиковъ и маклеровъ, сколько употреблено суеты и бѣготни при отысканіи покупщика! — этого навѣрное ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Мнѣ могутъ возразить, что бывшіе владѣльцы, все таки, кое-чѣмъ воспользовались, и именно лѣсомъ (нынѣшній лѣсъ не особенно старъ, лѣтъ 30—35-ти, не больше, а есть участки и моложе). Дѣйствительно, громадные пни, встрѣчающіеся на каждомъ шагу, свидѣтельствуютъ, что лѣсу сведено достаточно, но, во-первыхъ, бо̀льшая его часть была несомнѣнно употреблена на нужды самаго имѣнія; во-вторыхъ, ежели двое-трое изъ кратковременныхъ владѣльцевъ (едва ли даже они жили въ имѣніи) и урвали что-нибудь, то, право, сущую бездѣлицу.

Люди, которымъ всегда „до зарѣзу“ нужны рублей 100—200, не особенно слѣдятъ за процессомъ ихъ добыванія, лишь бы „зарѣзъ“ былъ поскорѣе удовлетворенъ. Такъ было и тутъ, о чемъ даже существуютъ анекдоты, въ которыхъ фигурируютъ, съ одной стороны, культурные люди, съ другой — столпы, удовлетворяющіе этому „зарѣзу“, не безъ пользы для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это — уголокъ довольно благоустроенный, хотя и не безъ важныхъ недостатковъ, а именно:

Недостатокъ первый: солнце здѣсь такое же скупое, какъ и въ Петер-

бургѣ. Оба проведенныя мною лѣта были въ этомъ смыслѣ очень неудовлетворительны. Въ прошломъ году залили дожди, въ нынѣшнемъ—27-го іюля ударилъ первый морозецъ. Можно ли ожидать въ будущемъ лучшаго лѣта—не знаю, потому что въ Петербургѣ вообще имѣютъ смутное понятіе о благорастворенiи воздуховъ. Были впрочемъ и для здѣшняго края очевидно лучшія времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзаніе которыхъ довершилось лишь недавно. Стало быть, когда-то здѣсь было возможно разводить яблоки. А нынѣче, судя по послѣднимъ двумъ годамъ, скоро и простой огурецъ сдѣлается оранжерейнымъ растеніемъ.

Второй недостатокъ: все еще черезчуръ много земли (всего около 160 десятинъ). Конечно, большинство ея находится подъ лѣсомъ, но есть, къ сожалѣнію, и такіе участки, которые „ахъ, кабы эту землю къ рукамъ—кажется, лопатой бы деньги загребалъ!“ Какъ ни велико мое воздержаніе отъ сельско-хозяйственныхъ предпріятій, а все таки нѣтъ-нѣтъ да и поддашься на льстивыя рѣчи. То канавку прочистишь, то поднимешь участочекъ, потому что ежели совсѣмъ бросить, то земля мохомъ проростетъ, и траву косить будетъ негдѣ. А сѣно нужно, такъ какъ на скотномъ дворѣ стоитъ штукъ до десяти травоядныхъ.

Третій недостатокъ: мельница. Въ нынѣшнемъ году я вынужденъ былъ всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мнѣ ровно тысячу рублей, кромѣ бревенъ, которыя были выпилены изъ своего лѣса. Теперь всѣ любуются плотиной и говорятъ: „денегъ не пожалѣли, за то она у васъ на двадцать лѣтъ безъ поправки пойдетъ!“ Но извѣстно мнѣ, что года три тому назадъ бывшій владѣлецъ тоже „значительно исправилъ“ плотину, и вѣроятно ему тоже говорили: „теперь она на двадцать лѣтъ пойдетъ!“ А доходъ съ мельницы двоякій: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходовъ „не слишнимъ много“; ежели осень сухая, то въ очистку приходится—нуль.

Четвертый недостатокъ: слишкомъ пространенъ огородъ. Поднять его, сдѣлать гряды и потомъ нѣсколько разъ въ лѣто прополоть послѣднія стоитъ одной поденщиной, не считая постоянныхъ мызныхъ работниковъ, по малой мѣрѣ двѣсти рублей. Да навозу пойдетъ цѣлая уйма, да садоводнику въ годъ надо заплатить 360 рублей. А къ концу лѣта получаются и плоды этихъ затратъ. Огурцы, напримѣръ, „принялись-было весело“, но вдругъ сдѣлалось „сиверко“, и въ тотъ самый моментъ, когда въ Петербургѣ вся Сѣнная завалена огурцами—у васъ нѣтъ ничего. То же самое и съ цвѣтной капустой: въ августѣ ее всякій столоначальникъ въ Петербургѣ ѣстъ, а въ Монрепо показываются въ это время только зародыши и зрѣетъ надежда, что въ сентябрѣ четыре-пять кочней выйдутъ „вполнѣ“. Остается, стало быть, капуста да картофель, овощи серьезныя, не боящіяся непогодъ,—но слыханное ли дѣло съѣсть этого добра на пятьсотъ, шестьсотъ рублей въ годъ!

Однимъ словомъ, происходитъ нѣчто въ высшей степени странное. Земля, мельница, огородъ — все, повидимому, предназначенное самою природой для извлеченія дохода — все это оказывается не только лишнимъ, но и прямо убыточнымъ...

Поэтому истинное пользованіе „своимъ угломъ“ и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будетъ ни луговъ, ни лѣсовъ,

ни огородовъ, ни мельницъ. Скотный дворъ можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что обойдется дешевле и притомъ составитъ расходъ который заранѣе можно опредѣлить, а слѣдовательно и приготовиться къ нему. Можно упразднить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходимаго для увеселенія зрѣнія видомъ расчищенныхъ дорожекъ и изящно убранныхъ цвѣтами клумбъ.

Когда все это будетъ достигнуто, культурный человѣкъ можетъ наслаждаться и отдыхать по всей своей волѣ. А ежели надоѣстъ ему отдыхать, то можетъ и заняться тѣмъ дѣломъ, которое ему по душѣ.

Но какое же это дѣло?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Странная вещь, но когда встрѣчаешься съ этимъ вопросомъ—дѣлается не только просто совѣстно, но почти тоскливо совѣстно.

Объясненіе этой тоски, я полагаю, заключается въ томъ, что у культурнаго русскаго человѣка бываютъ дѣла личныя, но нѣтъ дѣлъ общихъ. Личныя дѣла вообще несложны и рѣшаются быстро, безъ особыхъ головоломныхъ думъ; затѣмъ впереди остается громадный досугъ, который рѣшительно нечѣмъ наполнить. Отсюда — скука, незнаніе, куда, чѣмъ занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое пространство, то дѣлается понятнымъ даже отчаяніе.

Повторяю: въ массѣ культурныхъ людей есть уже достаточно личностей вполнѣ добропорядочныхъ, на которыхъ насильственное бездѣйствіе лежитъ тяжелымъ ярмомъ и которыя тѣмъ сильнѣе страдаютъ, что не видятъ конца снѣдающей ихъ тоскѣ. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишнимъ на почвѣ общественныхъ интересовъ, право, нелегко. Отъ этого горькаго сознанія можетъ закружиться голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничитъ и съ полнымъ равнодушіемъ.

Чтобы читать книжку, слѣдить за наукой, литературой и искусствомъ —для всего этого нѣтъ никакой надобности въ своемъ собственномъ углѣ, и въ особенности на берегу Финскаго залива. Гораздо болѣе удобствъ въ этомъ смыслѣ представляютъ Эмсы, Баденъ-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.

Для чего культурному человѣку изнывать въ какихъ-то сумеркахъ, лишенныхъ свѣта и тепла, когда тѣ задачи, преслѣдованіе которыхъ ему доступно, онъ можетъ вполнѣ удобно переносить съ собой въ такія мѣстности, въ которыхъ вдоволь и тепла, и свѣта? Для чего онъ будетъ выносить въ своей Заманиловкѣ тьмы темъ всякаго рода лишеній и неудобствъ, когда при тѣхъ же матеріальныхъ затратахъ онъ можетъ „въ другомъ мѣстѣ“ прожить безъ мучительной заботы о томъ, позволитъ ли подоспѣвшій сѣнокосъ послать завтра въ городъ за почтой?

Человѣкъ—животное общественное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается временно одичать; человѣкъ — животное плотоядное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается сдѣлаться отчасти млекопитающимъ, отчасти травоядным. Наконецъ, Заманиловка заставляетъ его нуждаться въ услугахъ множества

лицъ, что въ высшей степени непріятно щекочетъ совѣсть. И къ довершенію всего, передъ глазами—пустое пространство.

Вникните въ это положеніе, и вы должны будете сознаться, что оно по истинѣ мрачно. Есть натуры очень строптивыя и упорно-любящія, въ которыя червь равнодушія заползаетъ лишь послѣ долгой борьбы, но и тѣ, въ концѣ концовъ, уступаютъ. Капля точитъ камень.

И вотъ передъ этими людьми встаетъ вопросъ: искать другихъ небесъ. Тамъ они тоже будутъ чужіе, но за то тамъ есть настоящее солнце, есть тепло, и уже рѣшительно не нужно думать ни объ сѣнѣ, ни объ житѣ, ни объ огурцахъ. Гуляй, свободный и безпечный, по зеленымъ паркамъ и лѣсамъ, и ежели есть охота, то рѣшай въ головѣ судьбы человѣчества!

Я высказываю здѣсь далеко не все, что можно было бы сказать объ этомъ предметѣ; я поднимаю только малѣйшій уголъ завѣсы, скрывающей безконечную перспективу, но увѣряю—отъ одной мысли объ этой перспективѣ становится неловко.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ успѣхъ почему-то оказывается фиктивнымъ. Двоегласіе очевидно, и оно невольно заставляетъ предполагать, что рядомъ съ успѣхомъ идетъ нѣчто такое, что тутъ же, сейчасъ же подрываетъ его.

Въ чемъ же, однакожъ, бѣда? откуда она идетъ и почему надъ нами стряслась?

Но тутъ я долженъ поставить точку и закончить словами, которыя покамѣстъ на всякій вопросъ представляютъ наиболѣе подходящій отвѣтъ, а именно: не наше дѣло.

II.—Тревоги и радости въ Монрепо.

Мы живемъ среди полей
И лѣсовъ дремучихъ...

Нынѣшней осенью, живя въ Монрепо, я былъ неожиданно взволнованъ: въ наше село переводили становую квартиру...

Въ деревнѣ подобныя извѣстія всегда производятъ переполохъ. Хорошо ли, худо ли живется при извѣстной обстановкѣ, но все-таки какъ-нибудь да живется. Это „какъ-нибудь“ — великое дѣло. У меньшей братіи оно выражается словами: „живы—и то слава Богу!“ у культурныхъ людей—сладкою увѣренностью, что чаша бѣдствій выпита ужъ до дна. И вдругъ: нѣтъ! имѣется на-готовѣ и еще цѣлый ушатъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?

Въ настоящемъ случаѣ поводы радоваться несомнѣнно существовали. До сихъ поръ мы жили совсѣмъ безъ начальства, какъ овцы безъ пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо намъ, культурнымъ людямъ, приходилось плохо. Работникъ загуляетъ или заспоритъ въ разсчетѣ—какъ съ нимъ раз-

судиться? Въ лѣсу пропадетъ дерево или въ огородѣ срѣжутъ кочанъ капусты—къ кому взывать объ отмщеніи? А съ мальчишками сельскими такъ просто сладу нѣтъ: обнеситесь отъ нихъ рѣшеткой — они подъ рѣшеткой лазы сдѣлаютъ; обройтесь канавой — черезъ недѣлю вся канава изукрасится тропами. Какъ тутъ быть? Мировой судья судитъ отъ насъ въ двадцати-пяти верстахъ; становой приставъ живетъ гдѣ-то ужъ совсѣмъ за болотами, такъ что легче въ Парижъ съѣздить, чѣмъ до него добраться. Сотскіе — мирволятъ; волостной старшина—тотъ на всѣ жалобы только икаетъ: „мнѣ, дескать, до васъ, культурныхъ людей, дѣла нѣтъ!“ Въ виду всего этого мнѣ и самому не разъ-таки приходило въ голову: „вотъ кабы становой былъ поближе, тогда“... Стало быть, теперь, когда желаніе мое было осуществлено, я имѣлъ повидимому полное основаніе считать себя довольнымъ и осчастливленнымъ.

Но были поводы и для опасеній, и прежде всего — неизвѣстность. Конечно, я имѣлъ о становомъ достаточно отчетливое понятіе, но о становомъ до-реформенномъ, котораго и въ глаза, и за глаза называли „куроцапомъ“. Въ мѣстностяхъ, изобиловавшихъ культурными людьми, это было существо вполнѣ жалкое, въ потертомъ вицъ-мундирѣ съ дрожащими сзади фалдочками, съ воспаленными отъ дорожной пыли глазами, съ физіономіей, замасленной какъ блинъ и не имѣвшей никакого иного выраженія, кромѣ готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И какъ дополненіе къ нему—становиха, сухая какъ щепка, вслѣдствіе безпрерывныхъ беременностей, но и за всѣмъ тѣмъ беременная. Такого станового, разумѣется, опасаться было нечего. Но вѣдь съ тѣхъ поръ много воды утекло. Говорятъ, будто становымъ новые мундиры пошили, и съ тѣхъ поръ будто бы они приняли въ свое завѣдываніе основы и краеугольные камни. И еще говорятъ, будто они, „яко боги“, получили даръ читать въ сердцахъ человѣческихъ, и что, вслѣдствіе сего, ежели прочтутъ въ чьемъ сердце обращенное къ нимъ слово „куроцапъ“, то сейчасъ же дѣлаютъ соотвѣтствующее распоряженіе. А наконецъ нѣкоторые утверждаютъ, что они самымъ названіемъ „становой приставъ“ уже начинаютъ тяготиться, признавая его неисчерпывающимъ всего содержанія ихъ дѣятельности, и ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ былъ такой титулъ, который прямо говорилъ бы о сердцевѣдѣніи, и чтобы въ сообразность съ нимъ было, разумѣется, увеличено и самое содержаніе. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ вѣроятія, но если вѣрно изъ нихъ хоть одно то, что становымъ дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будетъ, если „онъ“, вмѣсто того, чтобы ограждать мои луга отъ потравы, начнетъ читать въ моемъ сердцѣ? Прочтетъ одну страницу, помуслитъ палецъ, перевернетъ, прочтетъ другую и такъ далѣе до конца?

Въ виду этихъ сомнѣній я припоминалъ свое прошлое — и на всѣхъ его страницахъ явственно читалъ: куроцапъ! Затѣмъ я обращался къ настоящему и пробовалъ читать, что *теперь* написано въ моемъ сердцѣ, но и здѣсь ничего, кромѣ того же самаго слова, не находилъ! Какъ будто все мое міросозерцаніе относительно этого предмета выразилось въ одномъ этомъ словѣ, какъ будто ему суждено было не только заполонить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходилъ я по аллеямъ своего парка и инстинктивно

перебиралъ въ умѣ названія различныхъ. болѣе или менѣе отдаленныхъ городовъ. Потомъ пошелъ на мельницу, но и тамъ шумъ бѣгущей воды навѣялъ на меня унылыя мысли. „Жизнь человѣческая,—думалось мнѣ,—подобна этой водѣ. Сейчасъ мы видимъ ее заключенною въ бассейнѣ, а черезъ моментъ она уже устремляется въ пространство... куда?“ Потомъ пошелъ по рѣкѣ къ тому мѣсту, гдѣ вчера еще стояла полуразрушенная бесѣдка, и, увидѣвъ, что за ночь вѣтеръ окончательно разметалъ ее, воскликнулъ:—Быть можетъ, подобно этой бесѣдкѣ, и моя полуразрушенная жизнь...

Однимъ словомъ, какая-то неопредѣленная тоска овладѣла всѣмъ моимъ существомъ. Иногда въ умѣ моемъ даже мелькала кощунственная мысль: „а вѣдь безъ начальства, пожалуй, лучше!“ И что всего несноснѣе: чѣмъ усерднѣе я гналъ эту мысль отъ себя, тѣмъ назойливѣе и образнѣе она выступала впередъ, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконецъ я не выдержалъ и отправился на село къ батюшкѣ, въ надеждѣ, что онъ не оставитъ меня безъ утѣшенія.

Батюшка уже былъ извѣщенъ о предстоящей перемѣнѣ и какъ разъ въ эту минуту бесѣдовалъ объ этомъ дѣлѣ съ матушкой. Оба не знали за собой никакой вины, и потому не только не сомнѣвались, подобно мнѣ, но прямо радовались, что и у насъ на селѣ заведется свой jeune homme. Такъ что, когда я, послѣ первыхъ привѣтствій, нарисовалъ передъ ними образъ станового пристава въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сложился на основаніи моихъ до-реформенныхъ воспоминаній, то они даже удивились.

— Помилуйте! да вы о комъ это говорите?—воскликнулъ батюшка:—навѣрное про Савву Оглашеннаго (былъ у насъ, въ древности, такой становой, который вполнѣ заслужилъ это прозвище) вспоминаете? Такъ это при царѣ Горохѣ было, а нынѣче не такъ! Нынѣшняго станового отъ гвардейца не отличишь—вотъ какъ я вамъ доложу! И мундирчикъ, и кепé, и бѣльецо! Одно слово, во всѣхъ статьяхъ драгунскій офицеръ!

— А какой у нашего новаго станового образъ мыслей!—томно присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не безъ волненія слушалъ эти похвалы, потому что онѣ подтверждали именно то, чего я боялся. Въ особенности напоминаніе объ „образѣ мыслей“ встревожило меня.

— Говорятъ, будто онъ будетъ въ сердцахъ читать?—робко спросилъ я:—правда ли это?

— Всенепремѣнно-съ.

— Помилуйте! да что же онъ тамъ прочтетъ?

— Что написано, то и прочтетъ. Ежели у кого написано: „не похваляется“—онъ и въ ремарку такъ занесетъ; а ежели у кого въ сердцѣ видится токмо благое поспѣшеніе — онъ и въ ремаркѣ напишетъ: „аттестуется съ похвалой“!

— Батюшка! да какъ же это?—вѣдь онъ... куроцапъ!

Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже слегка помычалъ.

— Это прежде куроцапы были, а по нынѣшнему времени такихъ титуловъ не полагается, — холодно замѣтилъ онъ. — Но ежели бы и доподлинно такъ было, то для имѣющаго чистое сердце все равно, кому его на разсмот-

рѣніе предъявлять: и „куроцапъ“, и „не-куроцапъ“ одинаково найдутъ его чистымъ и одобренія достойнымъ! Вотъ ежели у кого въ сердцѣ свило себѣ гнѣздо злоумышленіе...

Батюшка остановился: онъ понялъ, что невеликодушно добивать колкостями и безъ того уже убитаго человѣка, и съ видимымъ участіемъ спросилъ:

— Развѣ чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопросъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мелькалъ онъ передо мной, но какъ-то въ туманѣ; теперь же, благодаря категорическому напоминанію батюшки, онъ вдругъ предсталъ во всей своей наготѣ.

— Бывало...—отвѣтилъ я уклончиво.

— Напримѣръ?

— Да вообще... вся жизнь... Вотъ хоть бы „филантропіи“ эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Какъ вы думаете, повредитъ это мнѣ?

— Смотря по тому. Разныя „филантропіи“ бываютъ: и *доброкачественныя*, и *недоброкачественныя*. За первыя—похвала, за вторыя—взысканіе.

— То-то и есть, что я самъ своихъ „филантропій“ не разберу. Прежде мнѣ казалось, что онѣ доброкачественныя, а вотъ теперь... Напримѣръ, такая мысль: хотя свобода есть драгоцѣннѣйшій даръ Творца, но она можетъ легко перейти въ анархію, ежели не обставлена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ будущемъ—взносомъ выкупныхъ платежей. Эту мысль я зарубилъ у себя на носу еще во время освобожденія крестьянъ, и, я помню, былъ даже готовъ принять за нее мученическій вѣнецъ. Какъ вы полагаете, каковà эта „филантропія“? доброкачественная или недоброкачественная?

— По моему—доброкачественная! Только вотъ „свобода“... Небольшое это слово, а разговору изъ-за него много бываетъ. Свобода! гм... что̀ такое свобода?! То-то вотъ и есть... Не было ли и еще чего въ этомъ родѣ?

— Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпѣлъ и за филантропію принялся. Проповѣдовалъ, что съ виномъ слѣдуетъ обходиться умненько; сначала въ день одну рюмку выпивать, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ, до тѣхъ поръ, пока долговременный опытъ не покажетъ, что пьяному море по колѣна. Въ то время кабатчики очень на меня за эту проповѣдь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

— Какъ вамъ сказать?—произнесъ онъ:—большой недоброкачественности и въ этомъ не видится, а есть однако... Откровенно вамъ доложу: на вашемъ мѣстѣ я бы кабатчиковъ не трогалъ. Почему бы не трогалъ?—а потому, сударь, что кабатчикъ, по нынѣшнему времени, есть столпъ. Прежде были столпы—помѣщики, а нынче столпы—кабатчики. Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

— Но вѣдь по существу...

— По существу—это точно, что особенной вины за вами нѣтъ. Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода и что̀ оною достигается? Въ какой мѣрѣ и на какой конецъ? Во благовременіи или не во благовременіи? Откуда и куда? Вотъ сколько вопросовъ предстоитъ разрѣшить? Начни-ка ихъ разрѣшать—пожалуй и въ Сибири мѣста не найдется!

А ежели бы вы, въ то время, вмѣсто „свободы-то“ просто сказали: „улучшеніе, молъ, быта“—и дѣло было бы понятное, да и вы бы на замѣчаніе не попали!

— Но кто же могъ это предвидѣть? Кто могъ думать, что когда-нибудь становые будутъ читать въ сердцахъ?

— Мудрый все предвидитъ. Мудрый такъ поступаетъ: что̀ ему нужно — выскажетъ, а себя подсидѣть — не допуститъ. Мудрый, доложу вамъ, даже отъ слова „филантропія“ воздержится, а просто скажетъ: „благое, съ дозволенія начальства, поспѣшеніе“—и конченъ балъ!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то съ участіемъ покачалъ на меня головой.

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ:—ежели настоящимъ манеромъ разъяснить и притомъ съ раскаяніемъ...

— Да вы, батюшка, со становымъ-то знакомы? — ухватился за эту мысль я.

— Знакомъ достаточно. Малый отличнѣйшій! Молодой человѣкъ, кепѐ и все такое... Строгонекъ, конечно, но... съ понятіемъ.

— Такъ вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка! вѣдь тутъ вся штука въ томъ, чтобъ дѣло было представлено въ надлежащемъ видѣ.

Къ моему удовольствію, батюшка согласился на мою просьбу. Онъ не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обѣщалъ защитить меня отъ злостныхъ преувеличеній, къ которымъ навѣрное не усомнятся прибѣгнуть кабатчики, чтобъ очернить меня передъ начальствомъ. Съ своей стороны, я вспомнилъ, что нынѣшней осенью мнѣ прислали сотню кустовъ какой-то неслыханной земляники, и предложилъ матушкѣ въ будущемъ году отдѣлить нѣсколько молодыхъ отростковъ для ея огорода.

На селѣ видимо ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своимъ выставкамъ изящный видъ. Однажды, проходя мимо меня, кабатчикъ Прохоровъ (онъ же по воскресеньямъ и праздникамъ открывалъ у себя сельскій танцклассъ) бойко приподнялъ картузъ и поздравилъ:

— Съ начальствомъ-съ!

— Не боитесь?

— Напротивъ-съ. Даже съ надеждою ожидаемъ.

Я достаточно на своемъ вѣку встрѣчалъ новыхъ губернаторовъ и другихъ сильныхъ міра, но никогда у меня сердце не ныло такъ, какъ въ эти дни. Почему-то мнѣ вдругъ показалось, что здѣсь, въ этой глуши, со мной все можно сдѣлать: посадить въ холодную, выворотѝть наизнанку, истолочь въ ступѣ. Разумѣется, предварительно завинивъ въ измѣнѣ, что̀, при умѣньи бойко читать въ сердцахъ, сдѣлать очень нетрудно. По истинѣ, никогда я такого сквернаго чувства не испытывалъ.

Я понималъ, что я—россійскій дворянинъ, но и только. Затѣмъ я искалъ кругомъ себя тына или ограды, къ которымъ можно бы, въ случаѣ нужды, прислониться—и не находилъ. Я не состоялъ на службѣ—слѣдовательно съ этой стороны защиты не имѣлъ. Я не пользовался громкимъ титуломъ—

слѣдовательно никого не могъ пугнуть высокопоставленными связями. Я не былъ особенно богатъ—слѣдовательно никто не надѣялся, что я, подъ веселую руку, созову у себя во дворѣ толпу мужиковъ и бабъ, заставлю ихъ пѣть и водить хороводы, и первымъ поднесу по стакану водки, а вторыхъ—одѣлю пряниками. Кромѣ того, я никого не ограбилъ, контрактовъ на продовольствіе арміи и флотовъ не заключалъ, ничьимъ имуществомъ насильственно не завладѣлъ, и даже ни у кого ничего на законномъ основаніи не оттягалъ—слѣдовательно никому не внушалъ ни страха, ни уваженія. Это было до такой степени омерзительно, что многимъ казалось даже страннымъ: зачѣмъ я живу? И уже навѣрное всякому думалось: „вотъ кабы на мѣсто этого разслабленнаго да поселился въ Монрепо лихой купчина Разуваевъ (мой сосѣдъ по имѣнію),—то-то бы веселье у насъ пошло!“ Но этого мало. Вмѣсто того, чтобы какъ можно безповоротнѣе позабыть, что я россійскій дворянинъ, я съ удивительною назойливостью объ этомъ помнилъ. Я сохранилъ вкусъ къ разведенію садовъ и парковъ, что уже само по себѣ свидѣтельствуетъ о заносчивости; но, сверхъ того, я не „якшался“ и—говорятъ даже — выказывалъ наклонность „задирать носъ“. Существовалъ ли этотъ послѣдній фактъ дѣйствительности—по совѣсти, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но вѣроятно въ самой моей отчужденности („неякшаніи“) было что-нибудь такое, что давало поводъ обвинять меня и въ „задираніи носа“. И, разумѣется, это еще больше раздражало: „мразь, а тоже какъ мышь на крупу надувается!“—въ одинъ голосъ твердили столпы-кабатчики.

Оголтѣлый, отживающій, больной, я сидѣлъ въ своемъ углу, мысленно разрѣшая вопросъ: можетъ ли существовать положеніе болѣе анаѳемское, нежели положеніе россійскаго дворянина, который на службѣ не состоитъ, ни княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ не обладаетъ, не заставляетъ бабъ водить хороводы, и, въ довершеніе всего, не имѣетъ достаточно денегъ, чтобы переселиться въ городъ и тамъ жить припѣваючи на глазахъ у вышняго начальства?

Я ни въ земство, ни въ мировой институтъ не попалъ и не только не попалъ, но ни разу даже не полюбопытствовалъ, что дѣлается на съѣздахъ. Какъ-то всегда мнѣ казалось, что незачѣмъ мнѣ тамъ быть, что я ни курить ѳиміамъ, ни показывать кукишъ въ карманѣ, ни устраивать мосты и перевозы—одинаково неспособенъ; а стало быть...

Повторяю: никто не могъ ясно себѣ представить, зачѣмъ я живу, и вслѣдствіе этого многіе думали и думаютъ, что я злоумышляю.

За всѣмъ тѣмъ я не только живу, но и хочу жить, и даже, мнѣ кажется, имѣю на это право. Не одни умные имѣютъ это право, но и дураки, не одни грабители, но и тѣ, коихъ грабятъ. Пора наконецъ убѣдиться, что ежели отнять право на жизнь у тѣхъ, которыхъ грабятъ, то, въ концѣ концовъ, некого будетъ грабить. И тогда грабители вынуждены будутъ грабить другъ друга, а кабатчики—самолично выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь въ ожиданіи, что вотъ-вотъ меня нѣчто слопаетъ. Что именно слопаетъ — я даже не стараюсь догадываться, а прямо огуломъ думаю: „все можетъ слопать“. Ожи-

даніе это держитъ меня въ хроническомъ безпокойствѣ, заставляетъ смотрѣть на существованіе какъ на что-то до крайности постылое, и все-таки не убиваетъ во мнѣ жажды жизни. Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ образомъ она такъ крѣпко укореняется въ человѣкѣ—я рѣшительно не понимаю, но хочу жить, хочу! Все думается, что какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу возможность приходить въ разрушеніе постепенно, самъ собою, въ силу естественнаго хода вещей... (Какой, однакожъ, идеалъ!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладостнаго трепета думается), что когда-нибудь купецъ Разуваевъ, выведенный изъ терпѣнія задираніемъ моего носа, вдругъ вынетъ изъ кармана кушъ и скажетъ: „получай и уйди съ глазъ долой!“ Господи! вотъ кабы... Какъ бы, однакожъ, Разуваеву при этомъ незначай не нагрубить—вѣдь онъ, каналья, самолюбивъ! Онъ—самолюбивъ, и я—самолюбивъ; онъ потребуетъ, чтобъ *я* колѣнцо передъ нимъ выкинулъ; а я—за это ему въ шею! Нѣтъ, ужъ такъ и быть, вытерплю! все вытерплю, даже колѣнцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучивъ кушъ, уйду, уйду навсегда! поселюсь въ городѣ, запишусь членомъ въ клубъ и буду каждый вечеръ забавляться въ табельку по четверти копѣйки за пунктъ.

Весь преданный тревогѣ въ ожиданіи начальства, я невольно спрашивалъ себя: „почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомнѣвался въ себѣ, а *теперь* — сомнѣваюсь? почему я *прежде* не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь*—не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?“ И, по зрѣломъ размышленіи, долженъ былъ дать такой отвѣтъ: „потому что прежде не было раздѣленія людей на благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ, на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ“.

Понятій такихъ не было; а потому и лицъ, которымъ удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенныя съ этими понятіями, не существовало. Была одна маршировка.

Никто не могъ себѣ представить, чтобы на всемъ лицѣ Россійской Имперіи нашелся человѣкъ, которому можно было бы сознательно присвоить титулъ неблагонамѣреннаго или политически-неблагонадежнаго лица. Не упоминалось ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ камняхъ, а слѣдовательно не могло быть рѣчи ни о подкапываніяхъ, ни о потрясаніяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ мѣстѣ, что никому не приходило даже въ голову полюбопытствовать, что̀ тутъ такое стоитъ. Не было повода любопытствовать, да и прихотливыхъ людей почти совсѣмъ не существовало. Всякій проходилъ мимо самыхъ несомнѣнныхъ краеугольныхъ камней точно также бездумно, какъ бездумно проходитъ любой маленькій чиновникъ свой ежедневный крестный путь отъ Песковъ до Главнаго Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой онъ проходилъ вчера, существуетъ и нынѣ, и что она, по вчерашнему же, съ обѣихъ сторонъ ограничена домами—стало быть, нѣтъ резона не существовать ей и завтра, и послѣ-завтра, и такъ далѣе безъ конца.

Бывали, правда, и въ то время казнокрады, вымогатели, взяточники; бывали даже люди, позволявшіе себѣ носить волосы болѣе длинные, чѣмъ нужно. Но это были лишь отдѣльныя разновидности одной и той же семьи,

существованіе которыхъ не компрометировало ни основъ, ни краеугольныхъ камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители „злой воли“, которые и наказывались, сколько кому надлежитъ, ежели не умѣли хоронить концы въ воду. „Ты казнокрадъ—шествуй въ Сибирь; ты отростилъ гриву—садись на гауптвахту“. Но о краеугольныхъ камняхъ не упоминалось, обобщеній не дѣлалось, и стремленія группировать людей на какія-то мнимыя сословія („охранителей“ и „прогрессистовъ“, какъ нѣкогда выразился академикъ Безобразовъ)—не существовало.

Понятно, что при такой простотѣ воззрѣній, за глаза достаточно было и куроцаповъ, чтобы удовлетворять всѣмъ потребностямъ благоустройства и благочинія. Въ ихъ вѣдѣніи была маршировка; а такъ какъ въ то время все было такъ подстроено, что всякій маршировалъ самъ собой, то куроцапы не суетились, не нюхали, но просто взимали дани, а въ прочее время пили безъ просыпу.

Но по мѣрѣ нашего соціальнаго и интеллектуальнаго развитія глаза наши все больше и больше раскрывались. И наконецъ раскрылись до того широко, что мы всю Россію подѣлили на два лагеря: въ одномъ — благонамѣренные и благонадежные, въ другомъ—неблагонамѣренные и неблагонадежные. А такъ какъ это дѣленіе послѣдовало не на основаніи твердыхъ фактическихъ изслѣдованій, а просто явилось отвѣтомъ на требованіе темперамента, взбудораженнаго преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первыхъ же порахъ произошла путаница.

Наружныхъ признаковъ, при помощи которыхъ можно было бы сразу отличить благонамѣреннаго отъ неблагонамѣреннаго—нѣтъ; ожидать поступковъ—и мѣшкотно, и скучно. А между тѣмъ взбудораженный темпераментъ не даетъ ни отдыха, ни срока, и все подсказываетъ: ищи! Пришлось сказать себѣ, что въ этой крайности имѣется одинъ только способъ выйти изъ затрудненія—это сердцевѣдѣніе.

Явился запросъ на сердцевѣдѣніе—явились и сердцевѣды. Мало того, явились и помощники сердцевѣдовъ изъ числа охочихъ людей: публицисты, кабатчики, мелкіе торгаши, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснилъ себѣ очень хорошо, но, къ сожалѣнію, никакой пользы отъ этихъ разъясненій для себя не извлекъ. Главное, у меня не было увѣренности, что я самъ-то благонамѣренный. То-есть, я-то собственно очень твердо понималъ себя таковымъ, но не зналъ, какъ оно выйдетъ передъ судомъ сердцевѣдѣнія.

Что я имѣлъ поводъ питать въ этомъ отношеніи сомнѣнія — въ этомъ убѣждалъ меня батюшка. Даже и онъ отозвался обо мнѣ какъ-то на-двое. Сначала сказалъ: „доброкачественно“, а потомъ присовокупилъ: „только вотъ свобода“... Только! И это, такъ сказать, съ перваго взгляда, а что же будетъ, если поискать вплотную? Да, „мудрый“ такъ не поведетъ дѣла, какъ я его велъ! „Мудрый“ покажетъ, что нужно — и сейчасъ въ кусты! А я? Впрочемъ, что же я, въ самомъ дѣлѣ, такое сдѣлалъ?

И ничего, и очень много—какъ посмотрѣть! И пятнадцать лѣтъ тому назадъ, и какъ будто только вчера — тоже какъ посмотрѣть. Тысяща лѣтъ яко день единъ — для такихъ проказъ, пожалуй, и давности не полагается.

„Свобода!“ — право, даже смѣшно! Какъ это языкъ у меня повернулся? какъ онъ не отсохъ? А главное, какъ мнѣ не пришло въ голову замѣнить „свободу“ — улучшеніемъ быта? А теперь расплачивайся!

И вотъ, несмотря на обнадеживанія батюшки, я безпокойно скитался по аллеямъ своего парка — и сравнивалъ. Сравнивалъ прошедшее съ настоящимъ, маршировку съ сердцевѣдѣніемъ. И дошелъ наконецъ до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконецъ однажды, поздно вечеромъ, ко мнѣ на мызу прибѣжалъ батюшка и возвѣстилъ: „пріѣхалъ!“

Явился вопросъ объ этикетѣ: кому сдѣлать первый шагъ къ сближенію? И у той, и у другой стороны права были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но за то настоящее было плохо и выражалось единственно въ готовности во всякое время слѣдовать куда глаза глядятъ. У „него“, напротивъ, богатое настоящее (всемогущество, сердцевѣдѣніе и пр.), но за то прошлое резюмировалось въ одномъ словѣ: куроцапъ! Надо было устроить дѣло такъ, чтобы ничьему самолюбію не было нанесено обиды.

По всестороннемъ обсужденіи, мы остановились на слѣдующемъ планѣ. И я, и „онъ“ сойдемся въ домѣ батюшки. Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я, *какъ будто гуляя*, зайду къ батюшкѣ, а въ то же время и „онъ“, *какъ будто гуляя*, придетъ туда же. И такимъ образомъ произойдетъ пріятный сюрпризъ.

Все именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пререканій, легко, пріятно. Батюшка былъ правъ: нашъ становой не только не напоминалъ собой Савву Оглашеннаго, но даже и на станового почти совсѣмъ не походилъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, сухощавый, легкій на ногу, съ манерами настолько добропорядочными, что, казалось, онъ даже понятія не имѣлъ о сквернословіи. Мундирчикъ (совсѣмъ неожиданнаго для меня покроя) сидѣлъ на немъ какъ вылитый, дѣлая на таліи ловкій перехватъ; мнѣ показалось даже, что онъ стукнулъ шпорами, когда я вошелъ. По-французски онъ не говорилъ, но нѣкоторыя русскія слова произносилъ въ носъ, и этимъ вводилъ въ заблужденіе. Сверхъ того, онъ помадилъ волосы и что̀ всего трогательнѣе — назывался Миліемъ Васильичемъ Граціановымъ.

Отнесся онъ ко мнѣ отлично; выразился, что давно искалъ случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все таки призналъ за мной нѣкоторыя литературныя заслуги. Но при этомъ, разумѣется, слегка пожурилъ за то, что я, въ первое время моей литературной дѣятельности, слишкомъ обобщалъ понятіе о куроцапствѣ и даже приписывалъ ему какое-то почти должностное значеніе.

— Быть можетъ, и въ настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: „вотъ куроцапъ!“ — прибавилъ онъ, словно угадывая, что̀ происходило въ глубинахъ моего сердца.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ, такъ что если бы онъ вздумалъ дать своему вопросу дальнѣйшее развитіе, то я навѣрное бы во всемъ сознался. Но онъ очень мило скользнулъ по моей душевной ранѣ и перешелъ

къ другимъ предметамъ. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряженіяхъ губернскаго начальства, но не раболѣпствовалъ заочно, а, напротивъ, заявилъ, что само начальство „отъ насъ“ раболѣпства не требуетъ. Сообщилъ, что, по иниціативѣ исправника, становые разъ въ мѣсяцъ собираются въ уѣздный городъ для обмѣна мыслей. На собраніяхъ этихъ, разумѣется, прежде всего читаются указы и предписанія и обсуждаются мѣры къ быстрому, точному и единообразному ихъ выполненію, но, кромѣ того, возбуждаются и нѣкоторые теоретическіе вопросы. Такъ напримѣръ, на послѣднемъ съѣздѣ разсуждалось о томъ, что̀ могутъ означать слова закона: „съ скоростью и строгостью“, и было рѣшено, что это значитъ: немедленно и не послабляючи. На будущемъ же съѣздѣ предполагаютъ прочитать рефератъ о томъ, какъ слѣдуетъ понимать выраженіе: „по точному онаго разумѣнію“.

— Вообще, я полагаю такъ: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла,—прибавилъ онъ:—и въ этомъ именно заключается отличіе нынѣшней становой системы отъ прежней. Свободы больше! свободы! Чтобъ руки не были связаны! чтобъ для мѣропріятій было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

Разумѣется, я только качалъ головою и моргалъ глазами въ знакъ единомыслія, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно народному трибуну, восклицалъ: „свободы больше! свободы!“ я такъ и думалъ, что голосъ его дрогнетъ. Однако онъ не только произнесъ эти слова совершенно безбоязненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжалъ свою profession de foi. Заявилъ, что читаетъ „Правительственный Вѣстникъ“ какъ романъ и въ восторгѣ отъ „Сенатскихъ Вѣдомостей“ („только надо умѣть владѣть этимъ орудіемъ“, сказалъ онъ), и затѣмъ нѣсколько неожиданно перешелъ къ перечисленію своихъ губернскихъ начальниковъ, и при каждомъ имени незамѣтно, но несомнѣнно привставалъ на стулѣ, побуждая и насъ дѣлать подобное же движеніе. Потомъ опять перешелъ къ своему личному положенію и отозвался, что хотя онъ и маленькій человѣкъ въ служебной іерархіи, но что и на маленькомъ мѣстѣ можно небольшую пользу государству принести, какъ это уже и предусмотрѣно мудрой русской пословицей, гласящей: „лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой тараканъ“. Что нынѣче, впрочемъ, различіе между малыми и большими должностями мало-по-малу стирается и всѣ начинаютъ уже понимать, что въ сущности и большіе чины, и малые — всѣ составляютъ одну семью.

— Конечно, покуда это еще идеалъ,—прибавилъ онъ скромно:—но первые шаги къ осуществленію его уже сдѣланы. Не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, встрѣтилъ я на станціи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Фарафонтьева, который прямо сказалъ мнѣ: „ты, братъ, не смущайся тѣмъ, что ты только становой! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ!“

Высказавши все это, онъ умолкъ, и батюшка мигнулъ мнѣ. что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но такъ какъ въ выслушанной мною исповѣди заключалось еще нѣсколько не совсѣмъ ясныхъ для меня пунктовъ, то я и рѣшился предварительно предложить нѣкоторые вопросы.

— Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной ста-

новой системы, — сказалъ я. — Откровенное отношеніе къ начальству; быстрое, точное и притомъ однообразное выполненіе предписаній; разъясненіе недоумѣній, возбуждаемыхъ выраженіями, въ родѣ: „по точному онаго разумѣнію“; стремленіе къ расширенію свободы мѣропріятій — это картина несомнѣнно грандіозная, достойная кисти великаго художника. Тѣмъ не менѣе это все-таки только идеалы или, лучше сказать, свѣточи, освѣщающіе становой путь... Къ сожалѣнію, на этомъ пути встрѣчаются обыватели, для которыхъ собственно эти идеалы и сочиняются. А такъ какъ къ числу обывателей принадлежу и я, то естественно меня должно интересовать, какъ относится становая практика къ этимъ бѣднымъ людямъ, которые, нерѣдко сами того не сознавая, могутъ представлять весьма серьезныя преткновенія для самыхъ непоколебимыхъ становыхъ идеаловъ? Чего требуете вы отъ нихъ?

— Что касается до меня, — отвѣтилъ онъ: — то я понимаю свои обязанности къ обывателямъ такъ: во-первыхъ, образовать въ средѣ управляемыхъ мною вѣрныхъ исполнителей предначертаній и, во-вторыхъ, — укоренить въ нихъ любовь къ труду. Только и всего.

— Понимаю. Такова, безспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядомъ съ нею, къ сожалѣнію, мы проводимъ и сторону пресѣкательную. Встрѣчаются, по временамъ, субъекты, которые намѣренно... а впрочемъ большею частью не намѣренно... ускользаютъ отъ воспитательнаго воздѣйствія, и, разумѣется, навлекаютъ этимъ на себя гнѣвъ... Какимъ образомъ, то-есть съ какою степенью строгости предполагаете вы поступать относительно ихъ?

Онъ на мгновеніе вперилъ въ меня испытующій взоръ, но, не желая вѣроятно, для перваго знакомства, подвергать меня взысканію, — отвѣтилъ сурово:

— Я полагаю сихъ вредныхъ членовъ отсѣкать-съ.

— Совершенно понимаю. Но вѣдь для того, чтобъ отсѣчь какъ слѣдуетъ, необходимо предварительно ихъ уличить...

— Съумѣемъ и это-съ.

— Стало быть, вы будете ожидать поступковъ?

— Не думаю-съ.

— Будете читать въ сердцахъ?

— Всенепремѣнно-съ.

Тогда произошло во мнѣ нѣчто чудное и торжественное: я вдругъ почувствовалъ, что все мое существо сладко заволновалось! Я не скажу, чтобъ это было раскаяніе — нѣтъ, не оно! — а скорѣе всего какое-то безграничное, неудержимое, почти дѣтское довѣріе! Приди и внуши!

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ предъявить вамъ мое сердце! — воскликнулъ я, устремляясь впередъ и чуть не захлебываясь отъ наплыва чувствъ.

Я высказалъ это такъ искренно, что батюшка нѣсколько разъ сряду одобрительно кивнулъ мнѣ головою, а у матушки даже дрогнули на глазахъ слезы. Онъ самъ не выдержалъ, взялъ меня за руку и, ничего еще не видя, крѣпко сжалъ ее.

— Прежде всего — продолжалъ я: — сознаюсь въ нижеслѣдующемъ. Пят-

надцать лѣтъ тому назадъ я занимался „благими поспѣшеніями“, и при этомъ неподлежательно и дерзостно призывалъ меньшую братію къ общенію...

— Почему же „неподлежательно“?—перебилъ онъ меня мягко и какъ бы успокоивая.—По моему, и „общеніе“... почему же и къ нему не прибѣгнуть, ежели оно, такъ сказать... И меньшого брата можно приласкать... Ну, а надоѣлъ — не прогнѣвайся! Вообще, я могу васъ успокоить, что нынѣче словъ не боятся. Даже сквернословіе, доложу вамъ — и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено въ приличной и почтительной формѣ. Дѣло не въ словахъ собственно, а въ тайныхъ намѣреніяхъ и помышленіяхъ, которыя слова за собою скрываютъ.

— Вы слишкомъ добры,—отвѣтилъ я.—Я самъ прежде такъ думалъ, но нынѣ разсудилъ, что даже такое выраженіе, какъ „кимвалъ бряцающій“ — и то можетъ быть употребляемо лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ такою притомъ осмотрительностью, дабы не вводить въ соблазнъ! Вотъ каковъ мой нынѣшній образъ мыслей!

— Вообще—это правило, конечно, заслуживаетъ полнаго одобренія, но въ частности я нахожу, что и въ похвальныхъ чувствахъ необходимо соблюдать извѣстную сдержанность и не утаивать отъ начальства выраженій, сокрытіе которыхъ, съ одной стороны, могло бы поставить его въ недоумѣніе, а съ другой—свидѣтельствовало бы о недостаткѣ къ нему довѣрія. Напримѣръ, вы сказали сейчасъ: „кимвалъ бряцающій“ — какое это прекрасное выраженіе! а между тѣмъ, благодаря недостатку откровенности, очень можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвѣстно! А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чемъ заключались ваши филантропическія затѣи. Прошу продолжать—я весь вниманіе.

— Во-первыхъ, я, ничего не понимаючи и безъ всякаго на то уполномочія, ежечасно, ежеминутно болталъ о свободѣ...

— О свободѣ-съ? зачѣмъ-съ?—переспросилъ онъ меня нѣсколько удивленно, но впрочемъ и на этотъ разъ, ради перваго знакомства, удержался отъ взысканія.

— Да, о свободѣ. И это происходило какъ разъ во время крестьянской эмансипаціи. При семъ я, однакожъ, присовокуплялъ, что истинная свобода должна быть ограничена: въ настоящемъ—уплатой оброковъ, а въ будущемъ —взносомъ выкупныхъ платежей. И что ежели все это не будетъ выполняемо своевременно и бездоимочно, то свобода перейдетъ въ анархію, а анархія — въ военную экзекуцію.

— Что-жъ! по моему, это толкованіе „свободы“ правильное, и я думаю, что его приличнѣе назвать даже „содѣйствіемъ“... Съ своей стороны, я готовъ доложить господину исправнику...

— Не въ томъ дѣло. Я и самъ знаю, что лучше этого толкованія желать нельзя! Но... „свобода“! вотъ въ чемъ вопросъ! Какое основаніе имѣлъ я (не будучи развращенъ до мозга костей) прибѣгать къ этому слову, коль скоро есть выраженіе, вполнѣ его замѣняющее, а именно: улучшеніе быта?

— „Улучшеніе быта“? — вопросительно повторилъ онъ и затѣмъ ласково посмотрѣлъ на меня и махнулъ рукой, какъ бы говоря: твоя наивность

приводитъ меня въ восхищеніе! — Продолжайте пожалуйста! — предложилъ онъ.

— И еще я, тоже не понимаючи, утверждалъ, что необходимо дать дѣлу такое направленіе, чтобы, съ одной стороны, крестьянинъ сейчасъ же почувствовалъ, а съ другой — помѣщикъ сколь возможно меньше ощутилъ.

— Ну, такъ что-же-съ? — перебилъ онъ, уже совсѣмъ изумляясь.

— Извините меня, но *теперь* я совсѣмъ не такъ думаю. Теперь, напротивъ, я убѣжденъ, что необходимо такъ дѣйствовать, чтобы ни крестьянинъ, ни помѣщикъ — никто ничего не почувствовалъ и не ощутилъ! вотъ мой образъ мыслей — *теперь*!

Онъ на минуту сдѣлался серьезенъ; потомъ протянулъ мнѣ руку и сказалъ:

— Вы правы. Вы угадали мою мысль.

— Очень счастливъ. Но ежели за мои тогдашнія затѣи мнѣ суждено отвѣтствовать по всей строгости законовъ, то могу ли я, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что настоящая перемѣна въ моемъ образѣ мыслей будетъ принята во вниманіе?

— Ежели это перемѣна искренняя, то несомнѣнно будетъ. Въ этомъ я вамъ ручаюсь! я доложу, и даже, въ случаѣ надобности... Но продолжайте, прошу васъ.

— И еще я утверждалъ, что необходимо поднять духъ обывателей...

— Зачѣмъ-съ?

— Затѣмъ, во-первыхъ, дабы содѣлать этотъ духъ способнымъ въ воспринятію начальственныхъ мѣропріятій и, во-вторыхъ, затѣмъ, чтобы, закаливъ оный, сообщить ему ту непоколебимость, которая необходима въ видахъ перенесенія бѣдствій.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли? — спросилъ онъ, какъ бы опечаленный неожиданнымъ открытіемъ, которое въ ближайшемъ будущемъ, быть можетъ, поставитъ его въ необходимость дѣйствовать относительно меня съ скоростью и строгостью.

— Нѣтъ, не настаиваю, — отвѣчалъ я: — ахъ, да и могу ли я на чемъ-нибудь настаивать! Что мы такое? Временные путники въ этой юдоли — и больше ничего! Нѣтъ, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предметъ этотъ и теперь не настолько для меня ясенъ, чтобъ я не нуждался въ начальственныхъ указаніяхъ. Вотъ объ этихъ-то указаніяхъ я и прошу васъ, причемъ, конечно, зараньше даю обязательство, что съ полнымъ довѣріемъ подчинюсь всякому рѣшенію, которое вамъ угодно будетъ произнести.

— Въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намѣренія ваши не были вполнѣ противозаконны, но, знаете ли, самое слово: „поднять“... „Поднять“ — всяко можно... понимаете: поднять! Нѣтъ, ужъ пожалуйста! пускай это праздное слово не омрачаетъ воспоминанія о свѣтлыхъ минутахъ, которыя мы провели при первомъ знакомствѣ съ вами! Выкиньте его изъ головы!

— Выкину и никогда къ нему не возвращусь!

— И съ Богомъ. Дальше-съ.

— И еще я утверждалъ — это происходило, когда объявили свободу

випу—что съ полугаромъ надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо съ цѣлаго штофа, но постепенно подготовлять себя къ оному, сначала выпивая рюмку, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ и т. д. Не смѣю скрыть, что этой филантропической выдумкой я возбудилъ противъ себя неудовольствіе всѣхъ господъ кабатчиковъ.

— Гм... кабатчиковъ... Это, я вамъ доложу, серьезно!

— Неужели даже серьезнѣе, нежели...

— Да-съ, серьезнѣе. Не думайте однакожъ, чтобъ я покровительствовалъ пьяницамъ — нѣтъ, я имъ не потатчикъ! Но кабатчики — это совсѣмъ другое дѣло! Вы, господа обыватели, смотрите на вещи съ точки зрѣнія слишкомъ исключительной: вы моралисты—и ничего больше. Мы, становые, поставлены въ этомъ случаѣ, въ положеніе болѣе благопріятное: мы относимся къ явленіямъ съ точки зрѣнія государственной. Но, сверхъ того, мы имѣемъ и нѣкоторыя особливыя указанія. Поэтому вы можете смѣло повѣрить мнѣ на-слово, если я вамъ скажу: не раздражайте! не раздражайте господъ кабатчиковъ, ибо въ настоящее время на нихъ покоятся всѣ наши упованія!

— Вотъ и я имъ тоже говорилъ, что раздражать не слѣдуетъ, — откликнулся съ своей стороны батюшка.

— Не раздражайте! — продолжалъ Граціановъ, постепенно возвышая голосъ:—потому что даже *я* не могу поручиться, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ привести подобный необдуманный образъ дѣйствія. Не раздражайте, потому что, наконецъ, я не имѣю права потерпѣть, чтобы въ районѣ моего вѣдомства кто бы то ни было потрясалъ силу и авторитетъ патента! И не потерплю-съ.

Онъ не выдержалъ и, поднявъ вверхъ указательный палецъ, слегка помахалъ имъ около моего носа.

— Надѣюсь, что вы раскаиваетесь?—продолжалъ онъ, нѣсколько понизивъ тонъ, но все еще строго.

— Раскаиваюсь,—отвѣтилъ я:—но боюсь, что репутація моя въ глазахъ господъ кабатчиковъ настолько уже подорвана, что самое раскаяніе мое...

— Это я берусь устроить,—сказалъ онъ уже совсѣмъ снисходительно:—насъ, представителей правящихъ классовъ общества, такъ немного въ этой глуши, что мы должны дорожить другъ другомъ. Мы будемъ собираться и проводить вмѣстѣ время—и тогда сближеніе совершится само собою. Ну, а затѣмъ-съ... Не знаете ли вы и еще чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но впрочемъ, если бы что-нибудь умалилъ или совсѣмъ изъ вида упустилъ, то заранѣе каюсь: во всемъ, во всемъ грѣшенъ.

— А я—заранѣе разрѣшаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже осмѣлился прямо поставить вопросъ такъ:

— Стало быть, я могу надѣяться, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана?

Онъ подумалъ немного, но затѣмъ твердымъ и рѣшительнымъ голосомъ сказалъ:

— Можете!

Это было даже болѣе, нежели я желалъ. Послѣ того разговоръ уже продолжался только для проформы.

Въ заключеніе, онъ крѣпко пожалъ мою руку и даже чуть-чуть не поцѣловалъ меня. Но, поколебавшись съ минуту, казалось, сообразилъ, что еще недостаточно испыталъ меня, и потому отложилъ выполненіе этого обряда до болѣе благопріятнаго времени.

— А теперь прощайте, господа!—сказалъ онъ, вставая:—и да хранитъ васъ Богъ. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрѣнія на предстоящія мнѣ обязанности, также какъ и на ту роль, которая отведена въ этихъ воззрѣніяхъ обывателямъ ввѣреннаго мнѣ стана, то прошу пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ становую квартиру. У меня будетъ пріемъ урядниковъ.

Разумѣется, мы съ радостью согласились, и затѣмъ, вмѣстѣ съ батюшкой, проводили его до квартиры. Я чувствовалъ, что съ моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепалъ по грязи. Мысль, что нашъ путь лежитъ мимо кабака купца Прохорова и что послѣдній увидитъ насъ дружески бесѣдующими, производила во мнѣ нѣчто въ родѣ сладкаго опьянѣнія. Наконецъ я не выдержалъ, и изъ глубины души моей вылетѣлъ вопросъ:

— Милій Васильичъ! да скажите же наконецъ, въ какомъ заведеніи вы получили воспитаніе?

На что онъ скромно отвѣтилъ:

— Я получилъ воспитаніе очень недостаточное и именно въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей. Но по выпускѣ изъ онаго я поступилъ въ губернаторскую канцелярію и тамъ, видя ежедневно чиновниковъ особыхъ порученій его превосходительства, съумѣлъ воспользоваться этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вотъ, какъ видите... Что же касается до моихъ воззрѣній на жизнь и міръ, то я почерпалъ ихъ изъ предписаній и циркуляровъ моего начальства.

— Не можетъ быть! извините меня, но, право, глядя на васъ, я думалъ: навѣрное, онъ получилъ воспитаніе... ну, по малой мѣрѣ, въ заведеніи Марцинкевича!

Онъ выслушалъ это предположеніе съ удовольствіемъ, но при этомъ очень мило погрозилъ мнѣ пальцемъ, какъ бы говоря: льстецъ!

Вотъ рѣчь, которую онъ произнесъ, въ нашемъ присутствіи, урядникамъ, собравшимся на другой день утромъ на дворѣ становой квартиры:

„Господа урядники! я собралъ васъ здѣсь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышаніе, что горжусь вами. Причемъ, конечно, ожидаю, что и вы, въ свою очередь, будете мною гордиться.

„Только взаимное и непрерывное горженіе другъ другомъ можетъ облагородить насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ; только оно можетъ сообщить соотвѣтствующій блескъ нашимъ дѣйствіямъ и распоряженіямъ. Видя, что мы гордимся другъ другомъ, и обыватели начнутъ гордиться нами, а современемъ, быть можетъ, перенесутъ эту гордость и на самихъ себя. Ибо ничто

такъ не возвышаетъ духъ обывателей, какъ видъ гордящихся другъ другомъ начальниковъ!

„Въ этомъ заключается весь секретъ исторіи!

„Затѣмъ я считаю нелишнимъ изложить передъ вами вкратцѣ мой взглядъ на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно.

„Во-первыхъ, вы должны знать *все*, что дѣлается въ вашихъ сотняхъ, потому что, только зная *все*, вы получите возможность обо *всемъ* доводить до моего свѣдѣнія. Я же обязанъ знать *все*, потому что, въ противномъ случаѣ, многое осталось бы мнѣ неизвѣстнымъ, чего я ни подъ какимъ видомъ допустить не могу.

„Чтобы знать *все*, нѣтъ никакой необходимости во вмѣшательствѣ какихъ-либо сверхъестественныхъ или волшебныхъ силъ. Достаточно имѣть острый слухъ, воспособляемый не менѣе острымъ зрѣніемъ—и ничего больше. Въ западной Европѣ давно уже съ успѣхомъ пользуются этими драгоцѣнными орудіями, а по примѣру Европы и въ Америкѣ. У насъ же, при чрезвычайной простотѣ устройства нашихъ жилищъ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы.

„Но тамъ, гдѣ слухъ и зрѣніе оказались бы недостаточными, немаловажнымъ подспорьемъ можетъ послужить цѣлесообразная и строго обдуманная система вопросовъ, которую я назвалъ бы системою вопрошенія. Такъ напримѣръ, ежели вы встрѣчаете идущаго по улицѣ односельца, то первый и самый естественный вопросъ долженъ быть таковъ: куда идешь? Если же вы встрѣчаете на улицѣ не односельца, но лицо неизвѣстнаго происхожденія, то, кромѣ этого вопроса, надлежитъ предлагать еще слѣдующіе: откуда? зачѣмъ? гдѣ былъ вчера? покажи что̀ несешь? кто въ твоей мѣстности сотскій, староста, старшина, господинъ становой приставъ? И замѣтьте, господа, никто не вправѣ уклоняться отъ отвѣтовъ на ваши вопросы, ибо фактъ уклоненія уже самъ по себѣ составляетъ неповиновеніе властямъ. Но, кромѣ того, онъ означаетъ и косвенное признаніе не вполнѣ чистыхъ намѣреній уклоняющагося. Невинный человѣкъ отвѣчаетъ немедленно, не ожидая подзатыльника; отвѣчаетъ быстро, порывисто, отчетливо, твердо, звонко. Напротивъ того, человѣкъ, за которымъ водятся грѣшки, даже и по полученіи подзатыльника, путается, отвѣчаетъ уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью говоритъ: не твое дѣло! Таковыхъ надлежитъ, безъ потери времени, взявъ за караулъ, представлять по начальству, для изслѣдованія.

„Господа! я не безъ намѣренія остановился на этомъ предметѣ больше чѣмъ нужно, ибо онъ есть фундаментъ, на которомъ зиждется наша становая внутренняя политика. Съ помощью системы вопрошенія, а также при посредствѣ слуха и зрѣнія... а быть можетъ, и обонянія... мы получаемъ такой богатый запасъ свѣдѣній и матеріаловъ, который стоитъ только надлежащимъ образомъ обработать, чтобы передъ нами предстала картина современнаго быта, такая картина, которая заставитъ содрогнуться начальственныя сердца. И такъ, сначала напишемъ эту картину—и чѣмъ смѣлѣе, тѣмъ лучше — а затѣмъ, разумѣется, подумаемъ и о томъ, какъ слѣдуетъ поступить, дабы превратить ея неблагонамѣренное содержаніе въ благонамѣренное. Имѣя ее въ виду, мы бодро пойдемъ на встрѣчу злоумышленію, и ежели находящаяся

въ нашихъ рукахъ аріаднина нить приведетъ насъ къ дверямъ логовища, то ужъ, конечно, не для того, чтобъ осрамиться въ немъ, но для того, чтобы несомнѣнно и неминуемо обрѣсти поличное!

„Вторая ваша обязанность заключается въ слѣдующемъ: вы должны употребить всѣ усилія, чтобы обыватели содѣйствовали вамъ. Чтобы достичь этого, вы можете воспользоваться всѣми имѣющими у васъ преимуществами власти, начиная съ увѣщаній и кончая требованіями, не терпящими возраженій. Вы можете, въ случаѣ надобности, даже употребить мое имя. Помните господа, что содѣйствіе, о которомъ я говорю, намъ безусловно необходимо. Какъ это ни больно для нашего самолюбія, но должно сознаться, что если мы не будемъ имѣть приспѣшниковъ въ обывательской средѣ, то не исполнимъ и малой доли тѣхъ задачъ, кои намъ предстоятъ. Это одна изъ тѣхъ печальныхъ истинъ, съ которыми мы сразу должны примириться, съ тѣмъ, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Но, называя этотъ фактъ печальнымъ, я въ то же время имѣю право назвать его и радостнымъ, потому, во-первыхъ, что онъ вводитъ насъ въ общеніе съ обывателемъ, а во-вторыхъ, и потому, что дѣлаетъ сего послѣдняго нашимъ соучастникомъ. Я согласенъ, что онъ умаляетъ тотъ ореолъ всемогущества, которымъ мы были бы окружены, еслибы обладали таковымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ограждаетъ насъ отъ злорѣчія и гласитъ во всеуслышаніе о чистотѣ нашихъ намѣреній. И, вдобавокъ, даетъ намъ случай дѣлать полезныя наблюденія и надъ самими содѣйствующими.

„Но содѣйствіе, о которомъ идетъ рѣчь, можетъ быть троякаго рода. Во-первыхъ, содѣйствіе дѣйствительное, плодоносящее и безусловно полезное; во-вторыхъ, содѣйствіе не особенно полезное, но и не вредное; и въ-третьихъ, содѣйствіе положительно вредное.

„Дѣйствительнаго и истинно плодотворнаго содѣйствія вы можете ожидать по преимуществу отъ господъ кабатчиковъ. Я говорю это прямо и смѣло, хотя и знаю, что у насъ принято называть это занятіе зазорнымъ. Я не раздѣляю этого предубѣжденія, и слѣдовательно не могу допустить, чтобы его раздѣляли и вы. На свѣтѣ нѣтъ зазорныхъ ремеслъ, ибо всякое ремесло вызывается насущною потребностью въ немъ. Господа кабатчики, независимо отъ ихъ личной и всегда несомнѣнной благонадежности, драгоцѣнны еще и въ томъ отношеніи, что они находятся въ непрерывномъ и тѣсномъ общеніи съ представителями самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ кабакъ стремятся всѣ. Туда идетъ и добродѣтельный человѣкъ, и злодѣй, и мирный земледѣлецъ, и храбрый воинъ, и помѣщикъ, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человѣкъ дѣлается наклоннымъ къ сообщительности, а выпивши двѣ таковыхъ, онъ уже мало-по-малу начинаетъ давать этой наклонности ходъ. Еще стаканъ—и онъ готовъ. Спрашиваю васъ: кто изъ присутствующихъ при этихъ метаморфозахъ можетъ быть названъ достовѣрнымъ ихъ свидѣтелемъ?—и съ увѣренностью отвѣчаю: кабатчикъ и только кабатчикъ! Все кругомъ пьяно; даже сотскій, скромно тутъ же сидящій, не всегда находится на высотѣ своего призванія; одинъ кабатчикъ всегда и неизмѣнно трезвъ. Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять разнообразнымъ требованіямъ потребителей; онъ трезвъ, потому что такова задача его заня-

тія. Однимъ словомъ, онъ трезвъ. Онъ одинъ имѣетъ возможность трезвенно проникать въ глубины человѣческихъ сердецъ; онъ одинъ твердою рукою держитъ всѣ нити злоумышленій, какъ приведенныхъ уже въ исполненіе, такъ и проектируемыхъ въ ближайшемъ будущемъ. Вотъ почему мы такъ часто находимъ въ кабакахъ цѣлые склады краденыхъ вещей. Но потому же самому мы обязаны отъ времени до времени прощать кабатчику его поползновенія къ сбыту таковыхъ вещей и видѣть въ немъ дарованное намъ орудіе, которое, при добромъ руководительствѣ, можетъ не только облегчить нашъ трудъ неожиданными откровеніями, но и сообщить изысканіямъ нашимъ совершенно непредвидѣнное направленіе.

„Не особенно полезнаго, однакожъ и не вреднаго содѣйствія вы можете ожидать отъ господъ бывшихъ помѣщиковъ, нынѣ скромно именующихъ себя землевладѣльцами. Свѣдѣнія, добываемыя этимъ путемъ, представляютъ по преимуществу плодъ досужей говорливости, и потому должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчивостью. Но, будучи очищены отъ того, что въ нихъ есть неожиданнаго и явно неимовѣрнаго, и они могутъ по временамъ проливать лучъ свѣта на такія извилины человѣческаго сердца, которыя, безъ сего легкомысленнаго указанія, могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего наблюденія.

„Затѣмъ остается еще третьяго рода содѣйствіе, о которомъ я говорю лишь съ болью на сердцѣ, и которое я уже ранѣе назвалъ прямо вреднымъ. Господа! я не нахожу достаточно словъ, чтобы предостеречь васъ отъ услугъ и предложеній сихъ содѣйствователей, и, дабы вы умѣли отличить ихъ, скажу вкратцѣ объ ихъ происхожденіи. Въ послѣднія пятнадцать-двадцать лѣтъ, вмѣстѣ съ успѣхами наукъ и развитіемъ формъ общежитія, у насъ появился особенный классъ злонамѣренныхъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ газетчиковъ и сочинителей. Профессія эта главнымъ образомъ направлена къ тому, чтобы разнообразными путями вводить становыхъ приставовъ въ заблужденіе, съ цѣлью испытанія ихъ способностей, а также и для осмѣянія ихъ нравовъ вообще. Люди эти иногда очень серьезно сообщаютъ намъ различныя какъ бы полезныя указанія и даже предлагаютъ проекты реформъ и законоположеній, которыя мы тоже, по чистотѣ нашей, принимаемъ за полезныя, но на днѣ которыхъ—увы! — лежитъ одна жестокая насмѣшка. Въ бо́льшей части случаевъ они дѣйствуютъ на насъ не прямо, а посредствомъ опубликованія аллегорій, но тѣмъ успѣшнѣе увлекаютъ въ соблазнъ и опутываютъ насъ своими сѣтями. Есть множество сочиненій, написанныхъ единственно съ цѣлью обмана, но при томъ съ такимъ сатанинскимъ искусствомъ, что чины, дѣйствующіе вдали отъ административныхъ центровъ и, такъ сказать, предоставленные самимъ себѣ, ничего не въ состояніи различить. Увлекаясь прекраснымъ слогомъ сихъ книгъ, они съ точностью слѣдуютъ злодѣйскимъ совѣтамъ, въ нихъ изложеннымъ, и ожидаютъ за сіе отъ начальства наградъ. Каково же бываетъ ихъ горестное изумленіе, когда, вмѣсто награды, изъ губерніи получается переводъ въ другой станъ, а иногда и предложеніе подать просьбу объ отставкѣ! Къ сожалѣнію, я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ двукратно былъ вводимъ подобнымъ образомъ въ заблужденіе. Однажды, когда, прочитавъ въ одномъ сочиненіи составленный якобы нѣкоторымъ го-

родничимъ „Уставъ о печеніи пироговъ“, я въ подражаніе оному написалъ: „Правила о томъ, въ какіе дни и съ какимъ масломъ надлежитъ вкушать блины“, и въ другой разъ, когда, прочитавъ, какъ одинъ городничій на всѣ представленія единообразно отвѣчалъ: „не потерплю!“ и „разорю!“—я, взявъ онаго за образецъ, тоже упразднилъ словесныя изъясненія и замѣнилъ оныя звукоподражательностью. И въ оба раза, вмѣсто награды, я получилъ отъ начальства выговоръ, съ таковымъ притомъ внушеніемъ, что книжками этого рода слѣдуетъ пользоваться лишь для того, чтобы поступать какъ разъ въ противоположность содержащимся въ нихъ указаніямъ! Вотъ почему я и предостерегаю васъ, господа урядники! Будьте вообще осторожны въ выборѣ вашихъ руководителей, но въ особенности опасайтесь льстивыхъ сочинительскихъ приманокъ, погоня за коими можетъ ревностнаго урядника довести до изступленія!

„Третья ваша обязанность заключается въ наблюденіи за цѣлостью и неприкосновенностью нашихъ краеугольныхъ камней. Вы знаете, о чемъ я говорю. Многіе утверждаютъ, что камни сіи суть лишь недавнее изобрѣтеніе становыхъ приставовъ, но вѣдь для насъ важно не то, когда и кѣмъ что изобрѣтено, а то, что изобрѣтенное получило надлежащій ходъ и что, слѣдовательно, сила его для всѣхъ обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имѣете семейства, чтите начальство, ходите въ храмъ Божій, такъ что, еслибъ вы не были урядниками, то я сказалъ бы вамъ: идите, добрые люди, съ миромъ, и Богъ да поддержитъ васъ въ вашихъ похвальныхъ начинаніяхъ! Но въ качествѣ урядниковъ вы не имѣете права довольствоваться личнымъ выполненіемъ предписаній долга, но обязываетесь требовать, чтобъ и другіе съ тою же мужественною непоколебимостью шли по стезѣ добродѣтели. Потому я приглашаю васъ, а въ крайнемъ случаѣ даже приказываю дѣйствовать въ этомъ смыслѣ съ неукоснительностью и неуклонностью. Само собою однакожъ разумѣется, что если бы въ районѣ вашихъ дѣйствій находились лица, не имѣющія собственности, то нѣтъ нужды заставлять ихъ пріобрѣтать земли или дома, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взамѣнъ обладанія собственностью, утѣшали себя уваженіемъ таковой.

„Въ-четвертыхъ, я желалъ бы, чтобъ вы какъ можно дѣятельнѣе сносились между собой и сообщали другъ другу результаты вашихъ личныхъ наблюденій. А еще лучше бы, если бы вы, хотя разъ въ мѣсяцъ, собирались здѣсь, у меня, для совмѣстнаго обсужденія возникающихъ въ вашей практикѣ вопросовъ и для полученія отъ меня обязательныхъ для васъ разрѣшеній и наставленій. Господа! я самъ ничего больше, какъ первый урядникъ ввѣреннаго мнѣ стана, и хотя въ качествѣ станового пристава стою во главѣ вашей дружины, но пользуюсь моимъ титуломъ лишь для того, чтобы, подобно недавно встрѣтившемуся со мной на станціи генералу Фарафонтьеву, объявить вамъ: и я, и вы—одна семья! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, всѣ тщетно спрашиваемъ себя: что сей сонъ значитъ? Будемъ же дѣйствовать единодушно и единомысленно, и встанемъ грудью противъ общаго врага!

„За симъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу васъ дать мнѣ время осмотрѣться, прежде нежели я рѣшу, какъ съ ними поступить. Теперь

же скажу кратко: есть обыватели *благо*намѣренные и есть *неблаго*намѣренные, есть *благо*надежные и есть *неблаго*надежные. Подобно тому, какъ и государства: бываютъ государства *благо*устроенныя, но бываютъ и совсѣмъ разстроенныя. Все это, конечно, выяснится по мѣрѣ ознакомленія моего съ здѣшнею мѣстностью, а до тѣхъ поръ предлагаю вамъ одно: дѣйствуйте неукоснительно, но приберегите рѣшительный натискъ, покуда я, обнаживъ мечъ, не встану передъ вами съ кличемъ: горе строптивымъ!

„Вотъ все, что̀ я имѣлъ вамъ сказать для перваго знакомства. Кажется, не забылъ ничего. Но если бы вы встрѣтили въ моихъ словахъ поводъ для превратныхъ толкованій, то прошу обращаться ко мнѣ за разъясненіями: двери моей квартиры всегда будутъ открыты для васъ. Мнѣ даже пріятно будетъ васъ видѣть сколь возможно чаще, потому что урядникъ, въ ожиданіи разъясненій, можетъ помочь моей прислугѣ нарубить дровъ, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу.

„Прощайте, господа! Передайте мой привѣтъ сотскимъ, и да благословитъ Богъ наши общія начинанія!

„Господа разсыльные! покажите примѣръ!“

По этому слову произошло нѣчто умилительное. Разсыльные, въ числѣ шести человѣкъ, взялись за руки и стройно запѣли „ура!“; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиковъ), стоявшіе тутъ въ качествѣ постороннихъ зрителей, тоже увлеклись, и, взявши другъ друга за руки, съ пѣніемъ „ура!“, три раза прошлись взадъ и впередъ по селу.

Въ этотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозмездно угощалъ урядниковъ огурцами съ квасомъ.

Замѣчательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со мною и намекая на то мѣсто въ рѣчи станового пристава, гдѣ говорилось о троякаго рода содѣйствіи, сказалъ:

— А васъ, господинъ, по второму нумеру зачислили!

— А можетъ случиться, что и по третьему!—не безъ ехидства присовокупилъ присутствовавшій при этомъ другой кабатчикъ, купецъ Колупаевъ.

Хотя мнѣнія кабатчиковъ и не имѣли въ данномъ случаѣ оффиціальнаго характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мнѣ почудилась въ нихъ цѣлая программа. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, по какому нумеру зачислилъ меня Граціановъ, по второму или по третьему? На первый нумеръ я, конечно, и самъ не претендовалъ—куда ужъ мнѣ за кабатчиками гнаться — но вотъ во второй... ахъ, хорошо, кабы во второй попасть! И вдругъ — въ третій!!! Правда, онъ самъ далъ мнѣ слово, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана, но вѣдь не даромъ гласитъ исторія, что по нуждѣ и закону премѣна бываетъ—кто же можетъ поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?

Подъ вліяніемъ этой горькой мысли я началъ задумываться и хирѣть, и все чаще и чаще обращалъ взоры въ ту сторону, гдѣ благоденствовалъ безпечальный купецъ Разуваевъ. Вотъ кабы сбыть ему Монрепо̀ и со всѣми потрохами: и съ земскимъ цензомъ, и съ политическимъ будущимъ, и съ пер-

спективою пользоваться дружескимъ расположеніемъ станового пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между тѣмъ Граціановъ не только не лишалъ меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно онъ приходилъ ко мнѣ обѣдать и въ это время обмѣнивался со мной мыслями по всѣмъ отраслямъ сердцевѣдѣнія, причемъ каждый разъ обнадеживалъ, что я могу смѣло быть съ нимъ откровеннымъ и что вообще, покуда онъ тутъ, я не имѣю никакого основанія трепетать за свое будущее.

Я долженъ сказать правду, что собесѣдникъ онъ былъ вообще чрезвычайно пріятный. Не вдругъ раскрылъ онъ мнѣ свою душу, но все-таки сразу далъ понять, что онъ либералъ, а иногда даже обнаруживалъ такое пареніе, что я подлинно изумлялся смѣлости его мыслей. Такъ напримѣръ, однажды онъ спросилъ меня, какъ я думаю, не пора ли переименованіе квартальныхъ надзирателей въ околоточные распространить на всѣ вообще города и мѣстечки имперіи, и когда я отвѣтилъ, что нахожу эту мѣру преждевременною, то онъ съ большою силою и настойчивостью возразилъ: „а я такъ думаю, что теперь именно самая пора“. Въ другой разъ онъ какъ бы мимоходомъ спросилъ меня, какого мнѣнія я насчетъ фаланстеровъ, и когда я выразился, что опытъ военныхъ поселеній достаточно доказалъ непригодность этой формы общежитія, то онъ даже не далъ мнѣ развить до конца мою мысль и воскликнулъ:

— А я, напротивъ того, полагаю, что если бы военныя поселенія и связанныя съ ними школы военныхъ кантонистовъ не были упразднены, такъ сказать, на разсвѣтѣ дней своихъ, то Россія давно ужъ была бы покрыта цѣлою сѣтью фаланстеровъ, и мы были бы и счастливы, и богаты! Да-съ!

Разумѣется, я слушалъ эти разсужденія и радостно изумлялся. Не потому радовался, чтобы самыя мысли, высказанныя Граціановымъ, были мнѣ сочувственны — я такъ себя, страха ради іудейска, вышколилъ, что мнѣ теперь на все наплевать — а потому, что онѣ исходили отъ станового пристава. Но по временамъ меня вдругъ осѣняла мысль: „зачѣмъ, однакожъ, онъ предлагаетъ мнѣ столь несвойственные своему званію вопросы?“ — и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды онъ засидѣлся у меня послѣ обѣда дольше обыкновеннаго и, начавъ съ утопическихъ мечтаній о томъ, какъ было бы хорошо, если бы въ обществѣ не существовало раздѣленія на богатыхъ и бѣдныхъ, кончилъ, разумѣется, тѣмъ, что далъ полный ходъ своей искренности.

— Скажу вамъ откровенно, — сознался онъ: — терпѣть не могу я этихъ буржуа, хотя по обязанностямъ службы и долженъ ихъ поддерживать. Деньжищъ у нихъ пропасть — это правда, но ни благородныхъ манеръ, ни благородныхъ чувствъ, ни порядочныхъ привычекъ — ничего! Даже ѣдятъ безобразно. Зазвалъ меня, напримѣръ, на дняхъ къ себѣ кабатчикъ Колупаевъ обѣдать, и представьте, чѣмъ угостилъ! Во-первыхъ, подали щи съ солониной, во-вторыхъ — лапшу, въ-третьихъ — ушнѣе изъ баранины, потомъ крошево изъ огурцовъ и кусочковъ коренной рыбы съ квасомъ, и наконецъ папушникъ съ медомъ... И въ довершеніе всего — ни вилокъ, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство такъ угощаютъ, то можно себѣ вообра-

зить, какъ они ѣдятъ, когда у нихъ нѣтъ гостей! И, что̀ всего прискорбнѣе, нашъ милый батюшка, который тоже присутствовалъ на этомъ обѣдѣ, не только ѣлъ за обѣ щеки, но даже, какъ мнѣ кажется, спряталъ кусокъ пàпушника за пазуху!

Не скрою, что и на меня перечисленіе сейчасъ приведеннаго обѣденнаго меню подѣйствовало болѣзненно; но такъ какъ при этомъ, очевидно не безъ преднамѣренности, проводилась связь между кушаньями и представленіемъ о политической роли буржуазіи, то обстоятельство это невольно налагало на меня извѣстную осторожность.

— Съ своей стороны, я нахожу, что обѣдъ былъ хотя и простой, но сытный, — сказалъ я: — а это, по моему мнѣнію, главное. Единственный серьезный недостатокъ, въ которомъ можно упрекнуть перечисленное вами меню—это обиліе суповъ, сообщающее трапезѣ однообразіе и даже нѣкоторую унылость. Но недостатокъ этотъ вовсе не присущъ буржуазіи, а зависитъ преимущественно отъ того, что Колупаевъ живетъ въ захолустьи, гдѣ не имѣется въ виду образцовъ.

— Но вы? вы сами? вѣдь вы въ томъ же захолустьи живете, а между тѣмъ...

— Я... что жъ я? Не забудьте, Милій Васильичъ, что я получилъ воспитаніе въ высшемъ учебномъ заведеніи. Поэтому я, конечно, понимаю, что супъ обязателенъ только въ единственномъ числѣ, и что затѣмъ существуютъ еще соусы, жаркія, пирожныя и т. д. Но можно надѣяться, что въ недальнемъ будущемъ всѣ эти представленія будутъ не чужды и буржуазіи. Я даже думаю, что и нынѣ, по мѣрѣ приближенія къ центрамъ цивилизаціи, буржуазія ведетъ себя нѣсколько иначе, нежели Колупаевъ. Такъ что, напримѣръ, Поляковъ, Кокоревъ, Губонинъ — ну, я готовъ держать пари, что Поляковъ сморкается не въ горсть, а въ платокъ, и притомъ не въ клѣтчатый бумажный, а въ настоящій батистовый, быть можетъ, даже вспрыснутый духами!

— Можетъ быть... можетъ быть-съ!—сказалъ онъ задумчиво, но потомъ съ живостью продолжалъ: — нѣтъ! далеко кулику до Петрова̀ дня, купчинѣ до дворянина! Дворянинъ и маленькую рыбку подастъ, такъ сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую бѣлугу на столъ выволочетъ—смотрѣть омерзительно! Да-съ, обидѣли! обидѣли въ ту пору господъ дворянъ!

Увы! при этомъ воспоминаніи я чуть-чуть не выдалъ себя. Есть у меня зіяющая рана, прикосновеніе къ которой всегда находитъ меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана—воспоминаніе о дворянской обидѣ.

— Ахъ, какъ обидѣли!—воскликнулъ я, простирая руки... Но, взглянувъ на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

— То-есть, лучше сказать, не обидѣли, — продолжалъ я уже спокойнѣе: — а каждому воздали должное. Прежде у насъ была одна опора — дворяне, нынѣче двѣ опоры—дворяне и буржуа. Стало быть, мы не потеряли, а пріобрѣли.

— А про мужичка-то и позабыли?

— И мужичокъ—тоже опора,—согласился я.

— Нѣтъ-съ, не „тоже опора“, а самая настоящая опора — вотъ какъ-съ! потому что мужичка въ какую сторону хочешь, туда и поверни.

— И съ этимъ согласенъ.

— По секрету скажу вамъ, хоть это и не входитъ въ кругъ моихъ обязанностей, но по убѣжденіямъ моимъ я — демократъ! А вы?

— Что касается до меня, то я никогда объ этомъ не думалъ. Вообще я живу не думаючи — такъ по нынѣшнему времени удобнѣе. Но ежели начальству угодно...

— Начальству! но развѣ начальство гдѣ-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинныя пользы?!

Это было уже слишкомъ. Я почувствовалъ, что еще минута — и мы выступимъ на такую покатость, съ которой легко можно спуститься въ самую преисподнюю. Поэтому я разомъ пресѣкъ недостойный разговоръ, съ силой воскликнувъ:

— Нѣтъ! съ этимъ я никогда не соглашусь! Слышите, Граціановъ! никогда! никогда!

Я помню, послѣ этого разговора я цѣлый вечеръ былъ безпокоенъ и все испытывалъ себя, не проврался ли я въ чемъ-нибудь. И хотя совѣсть моя оказалась совсѣмъ чистою, но все-таки я долго ночью ворочался съ боку на бокъ, прежде нежели сонъ смежилъ мои очи.

Но, увы! чѣмъ чаще мы сходились, тѣмъ скабрёзнѣе и скабрёзнѣе дѣлались наши собесѣдованія. Ни одного краеугольнаго камня не оставилъ онъ безъ изслѣдованія и обо всѣхъ отозвался съ одинаковымъ ехидствомъ. О бракѣ, согласно съ опредѣленіемъ присяжнаго повѣреннаго Пржевальскаго, выразился, что это могила любви; о собственности сказалъ, что область ея „въ настоящее время“ слишкомъ съужена, что надо расширить ея предѣлы, допустивъ притокъ свѣжихъ элементовъ, хотя бы, напримѣръ, казнокрадства, причемъ указывалъ на купца Разуваева, который поставкою гнилыхъ сухарей пріобрѣлъ себѣ блаженство, и т. д. О религіи пробормоталъ что-то такое, отъ чего у меня уши разомъ завяли, а о начальствѣ...

Хотя мое положеніе, во время этихъ разговоровъ, было очень выгодное, потому что мнѣ приходилось только защищать, но наконецъ мнѣ такъ наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословіе, что я рѣшился, въ свою очередь, испытать его.

— Скажите пожалуйста, Милій Васильичъ, — обратился я къ нему: — отчего же вы въ рѣчи, обращенной къ урядникамъ, утверждали совершенно противное?

— Странный вопросъ! — отвѣтилъ онъ мнѣ, нимало не смущаясь: — но развѣ я имѣю право быть откровеннымъ съ урядниками? Я откровененъ съ начальствомъ — потому что оно пойметъ меня; я откровененъ съ вами — потому что вы благородный человѣкъ... Но съ урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

— Хорошо-съ. А помните, когда я исповѣдовался передъ вами при батюшкѣ?...

— И тогда существовали тѣ же самыя причины. „При батюшкѣ“! Но что̀ такое батюшка?

— Извольте, согласенъ и съ этимъ. Но надѣюсь, что теперь вы убѣдились, что я совсѣмъ не раздѣляю тѣхъ воззрѣній, которыя повидимому исповѣдуете вы?

— Да-съ, убѣдился-съ... хотя и съ болью въ сердцѣ, но... убѣдился-съ!

— Ахъ, Милій Васильичъ! какъ хотите, голубчикъ, а вы для меня сфинксъ!

— Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не сфинксъ, а только становой приставъ! —отвѣчалъ онъ печально, какъ бы подразумѣвая при этомъ: будь я сфинксъ, давно бы ты узналъ, какъ Кузькину мать зовутъ!

— Но заклинаю васъ именемъ всего священнаго! Отвѣтьте мнѣ откровенно: врете вы или нѣтъ?—воскликнулъ я, почти не помня себя отъ страха.

— Вы меня оскорбляете, наконецъ! — отвѣтилъ онъ, взвиваясь во всю длину своего роста:—хоть я и не что иное, какъ становой приставъ, но скажу вамъ отъ души: для благороднаго человѣка это даже больно... „Врете вы или нѣтъ“!... Ахъ!

Нѣсколько дней онъ какъ будто будировалъ и не ходилъ ко мнѣ. Въ это время изъ кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я не безъ удивленія узналъ, что они извлекаются какимъ-то вольнопрактикующимъ незнакомцемъ. Увы! Этотъ загадочный для меня человѣкъ настолько коротко сошелся съ моей прислугой, что не только ѣлъ и пилъ, но даже по временамъ ночевалъ у меня на кухнѣ... И я ничего не зналъ объ этомъ! Разумѣется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Граціановъ, послѣ недѣльной разлуки, опять въ обѣденный часъ, явился въ моей столовой.

— Слушайте! — обратился я къ нему: — у меня въ кухнѣ поселился какой-то незнакомецъ... Скажите, могу ли я по крайней мѣрѣ запретить ему играть на гармоникѣ? Я не выношу этого инструмента.

— Кто же это?!—удивился онъ.

— Вѣроятно вы очень хорошо знаете и кто, и зачѣмъ.

— Зачѣмъ?—повторилъ онъ за мной, и вслѣдъ затѣмъ залился добродушнымъ смѣхомъ:—да очень понятно, зачѣмъ? Навѣрное у васъ на кухнѣ лишніе куски остаются, такъ вотъ... Ахъ, всѣ мы говядинку любимъ!—прибавилъ онъ со вздохомъ:—но, разумѣется, ежели вы протестуете...

— Нѣтъ, я не протестую. Говядина и даже телятина... не въ томъ дѣло! Но я желаю уяснить себѣ слѣдующее: не долженъ ли я считать пребываніе посторонняго человѣка въ моей кухнѣ за нарушеніе неприкосновенности моего очага?

— Нисколько.

— Очень радъ, что таково ваше мнѣніе. Садитесь пожалуйста и будемъ обѣдать.

— Но, можетъ быть, вы еще сомнѣваетесь?—успокаивалъ онъ меня:—въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: человѣкъ, о которомъ вы говорите, есть не что иное, какъ простодушнѣйшее дитя природы. Если вы его попросите, то онъ самъ будетъ бдительно ограждать неприкосновенность ва-

шего очага. Испытайте его! потребуйте отъ него какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ какимъ удовольствіемъ онъ выполнитъ всякое ваше приказаніе!

Однимъ словомъ, онъ вновь успокоилъ меня. Наши отношенія возобновились, и я тѣмъ скорѣе забылъ недавнія недоразумѣнія, что по части краеугольныхъ камней я, въ сущности, не уступилъ бы самому правовѣрному изъ становыхъ приставовъ. Въ одномъ только я опять не остерегся — это по вопросу о дворянской обидѣ.

— Обидѣли!—восклицалъ я:—такъ обидѣли, что даже въ исторіи не бывало примѣровъ болѣе горькой обиды! Въ исторіи—понимаете?—въ исторіи, которая потому только и признается поучительною, что она сплошь изъ однѣхъ обидъ состоитъ!

Затѣмъ я закусывалъ удила и начиналъ доказывать. Доказывалъ горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, насъ не спросили; во-вторыхъ, насъ не вознаградили за самое главное... за наше право! въ-третьихъ, насъ поставили на одну доску... съ кѣмъ!!! въ-четвертыхъ, намъ любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; въ-пятыхъ, насъ живьемъ отдали въ руки Колупаевымъ и Разуваемымъ; въ-шестыхъ...

Хорошо, однакожъ, что я, въ пылу доказательствъ, имѣю привычку отъ времени до времени взглядывать на моего собесѣдника. И вотъ, однажды, поднявъ глаза на Граціанова, я увидѣлъ, что все лицо его свѣтится улыбкою.

— Чему вы смѣетесь? — воскликнулъ я на этотъ разъ довольно грубо, потому что рѣшился наконецъ вывести эти улыбки на свѣжую воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.

— Тому и смѣюсь, что наконецъ-то и вы убѣдились! — сказалъ онъ.— Помните нашъ недавній разговоръ? Я говорилъ, что обидѣли господъ дворянъ, а вы утверждали, что не обидѣли, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мѣрѣ, хоть теперь...

Но я уже не вѣрилъ коварнымъ оправданіямъ и съ запальчивостью отвѣтилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ! не тому вы смѣялись, а совсѣмъ другому... Вы думаете, что я наконецъ проговорился... ну, такъ что жъ! Ну, обидѣли! допустимъ даже, что я сказалъ это! Ну, и сказалъ. Ну, и теперь повторяю: обидѣли!.. что жъ дальше? Это мое личное мнѣніе—понимаете! мнѣніе, а не поступокъ — и ничего больше! Надѣюсь, что мнѣнія... ненаказуемы... чортъ побери! Развѣ я протестую? развѣ я не доказалъ всею своею жизнью... Вонъ незнакомецъ какой-то ко мнѣ въ кухню влѣзъ, а я и то ни слова не говорю... живи!

Однимъ словомъ, неумѣстною своею горячностью я чуть-было не довелъ дѣло до размолвки. Къ счастію, онъ выказалъ въ этомъ случаѣ замѣчательное самообладаніе, и вмѣсто того, чтобъ обидѣться моими подозрѣніями, началъ очень мило и ловко меня урезонивать. Говорилъ ласковыя слова, и притомъ не на дьячковскій манеръ—безъ знаковъ препинанія, а тепло, сердечно, съ очевиднымъ участіемъ. Просилъ довѣриться ему, убѣждалъ, что хотя лично и не имѣетъ чести называться дворяниномъ, но всегда сочувствовалъ дворянской обидѣ... И вдругъ, въ то самое время, когда сердце мое уже

начало раскрываться на встрѣчу его рѣчамъ, онъ совершенно неожиданно присовокупилъ:

— А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я не выдержалъ.

— Никогда!—отвѣтилъ я рѣшительно и холодно.

— Чего ужъ тамъ: никогда!—по глазамъ вижу, что хочется! хочется! хочется!

— Повторяю вамъ: никогда!!!

— Но почему же, наконецъ?

— Потому, во-первыхъ, что протестъ несочувственъ для меня лично, а во-вторыхъ потому, что онъ не согласуется съ нашими традиціями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться другъ съ другомъ, могли выщипывать другъ у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нѣтъ! никогда!

Я не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился въ кабинетъ, оставивъ его на досугѣ размыслить, насколько имѣла успѣха, по отношенію ко мнѣ, его пресловутая „система вопрошенія“.

И вотъ, однажды онъ пришелъ ко мнѣ утромъ и, не говоря худого слова... поцѣловалъ меня!

— Давно ужъ я выжидаю этого момента, и наконецъ теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желаніе! — воскликнулъ онъ, облизывая губы.

Разумѣется, я смотрѣлъ на него испуганными глазами.

— Не удивляйтесь,—продолжалъ онъ,—и выслушайте меня. При самомъ вступленіи моемъ въ должность, услышавъ отъ батюшки о вашихъ опасеніяхъ, я сразу принялъ въ васъ самое горячее участіе. Послѣ того вы лично подтвердили мнѣ эти опасенія, причемъ чистосердечно во всемъ сознались, и это еще больше меня тронуло. Я рѣшился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобъ вы не могли имѣть никакихъ сомнѣній насчетъ ея непрекратимости. Но, разумѣется, по долгу службы, я долженъ былъ предварительно убѣдиться, что вы дѣйствительно этого заслуживаете. Съ этою цѣлью я по обыкновенію прибѣгнулъ къ системѣ вопрошенія, и теперь, послѣ мѣсячнаго испытанія, могу, положа руку на сердце, свидѣтельствовать: вы не только удовлетворили всѣмъ моимъ требованіямъ, но даже предъявили нѣсколько болѣе, чѣмъ я ожидалъ. Я прикидывался ненавистникомъ буржуазіи, но вы доказали мнѣ, что послѣдняя имѣетъ несомнѣнныя права на существованіе. Я облыжно называлъ себя демократомъ, но вы благородно мнѣ отказали въ вашемъ сочувствіи по этому предмету. Я кощунственно утверждалъ, что начальство само не сознаетъ своихъ пользъ, но вы съ негодованіемъ отвергли сами предположеніе о таковомъ несознаніи. Когда же я съ притворнымъ участіемъ отнесся къ дворянской обидѣ, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали такую беззавѣтную покорность судьбѣ, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиленія. Наконецъ, сознаться ли до конца?—Я командировалъ къ вамъ на кухню особаго довѣреннаго человѣка, съ тѣмъ, чтобы онъ собралъ подъ рукой вѣрнѣйшія о васъ свѣдѣнія, и добытый этимъ изслѣдованіемъ результатъ представляется въ

слѣдующемъ видѣ: никогда, въ цѣломъ околоткѣ, не видали столь твердаго въ бѣдствіяхъ землевладѣльца, какъ вы! Самые кабатчики—и тѣ о томъ съ умиленіемъ засвидѣтельствовали. И такъ, отнынѣ всѣ недоразумѣнія кончены. Вы—нашъ и мы—ваши!

Высказавши это, онъ, конечно, ожидалъ, что я брошусь въ его объятія; но я молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Забылъ. Вы даже мнѣ лично оказали неоцѣненную услугу, разъяснивъ разницу, которая существуетъ между помышленіями обывателей и ихъ поступками. Это въ значительной степени упрощаетъ задачи внутренней политики, хотя, съ другой стороны, въ такой же степени умаляетъ ихъ блескъ. Во всякомъ случаѣ... благодарю!

Онъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки, но я съ самаго начала этой сцены до того растерялся, что руки эти такъ и остались протянутыми въ пространствѣ. Тогда онъ фамильярно потрепалъ меня по плечу и произнесъ:

— Привыкнете, другъ мой, привыкнете!

Въ тотъ же день кабатчикъ Колупаевъ пригласилъ меня къ себѣ на вечёрку, предупредивъ, что у него соберется вся наша сельская интеллигенція для игры въ стуколку.

И я былъ тамъ, игралъ съ Граціановымъ и другими гостями въ стуколку, проигралъ цѣлую уйму пятаковъ, говорилъ комплименты кабатчицѣ Колупаевой, ухаживалъ за ея дочкой, пилъ водку, закусывалъ рыжей икрой, а за ужиномъ ѣлъ говяжій студень съ хрѣномъ. Вообще, по оказанному мнѣ радушному пріему, я убѣдился, что кабатчики наконецъ примирились со мной и допустили меня въ свою среду. Нѣтъ сомнѣнія, что я былъ обязанъ этимъ Граціанову.

Послѣ этого у насъ началось настоящее веселье, и Граціановъ оказался истиннымъ мастеромъ по части соединенія общества. Вечера слѣдовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потомъ у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконецъ я и самъ задалъ пиръ на весь міръ. Мало того: когда Граціановъ, по секрету, сообщилъ мнѣ, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принялъ участіе въ сватовствѣ и очень ловко вывѣдалъ у родителей, что за невѣстой будетъ дано пятьсотъ рублей деньгами и, кромѣ всякаго платья, лисій „монтонъ“, четыре перины, два самовара и мериносовый платокъ.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидалъ, что Граціановъ опять поцѣлуетъ меня. Не то чтобы мнѣ были антипатичны собственно административные поцѣлуи, но, будучи характера нелюдимаго и малообщительнаго, я вообще не имѣю къ поцѣлуямъ пристрастія.

И вотъ я вспомнилъ, что въ губерніи служитъ, въ качествѣ очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ товарищей по школѣ, и отправился въ городъ съ цѣлью, во что бы то ни стало, разъяснить себѣ вопросъ: имѣетъ ли право Граціановъ цѣловать меня по своему усмотрѣнію? Мой старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю исторію моихъ сношеній съ Граціановымъ, и всѣ дѣйствія послѣдняго нашелъ въ высшей степени легкомысленными. Во-

первыхъ, онъ не имѣлъ права принимать мою исповѣдь и, во-вторыхъ, еще меньшее право имѣлъ подвергать меня испытанію. Онъ просто-на-просто долженъ былъ ожидать поступковъ.

— Что же касается до поцѣлуевъ,—прибавилъ мой другъ:—то я ничему другому не могу приписать это, какъ дурной привычкѣ, пріобрѣтенной имъ вѣроятно еще въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей.

Но этого мало: онъ убѣдилъ меня, что въ настоящее время порядочный человѣкъ не только не имѣетъ причинъ опасаться внезапныхъ жизненныхъ метаморфозъ, но даже обязывается жить для славы своего отечества.

— Ты самъ виноватъ, душа моя,—сказалъ онъ:—съ одной стороны, ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи, а съ другой — черезчуръ уже смиренъ и не выказываешь ни малѣйшей самостоятельности. Будь тверже, голубчикъ, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще можетъ быть полезною.

И я живу.

III. — Монрепо-усыпальница.

Мало-по-малу тревога, возбужденная во мнѣ появленіемъ на нашемъ сельскомъ горизонтѣ Граціанова, улеглась. Да ежели говорить по правдѣ, и тревожнаго тутъ ничего не было, и только исключительныя условія, составляющія мою личную особенность, могли содѣйствовать возведенію такого пустого факта на степень переполоха. Дѣло въ томъ, что у меня съ малыхъ лѣтъ напугано воображеніе, и напугано, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я ничего другого не видѣлъ передъ собою, кромѣ начальниковъ; всю жизнь мнѣ твердили: тупа ариѳметика, косноязычна грамматика, ежели нѣтъ въ сердцѣ спасительнаго начальственнаго трепета. Сначала я смотрѣлъ на родителей какъ на начальство; потомъ поступилъ въ завѣдываніе воспитателей, которые тоже надувались и говорили: „мы—ваше начальство!“ а наконецъ и вправду попалъ начальству въ руки. Ну, натурально, испугался. Напослѣдяхъ спрятался въ Монрепо и думалъ: ужъ тутъ-то меня не настигнетъ начальственный взоръ—и вдругъ Граціановъ!..

Lui! toujours lui!

Но въ сущности, повторяю, всѣ эти тревоги — фальшивыя. И ежели отрѣшиться отъ мысли о начальствѣ, ежели побѣдить въ себѣ потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себѣ: за что же начальство съ меня будетъ взыскивать, коли я *ничего не дѣлаю*, и ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и становые, и урядники — все это нѣчто эфемерное, скоропреходящее, на пескѣ построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться въ губерніи), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни отъ кого запрета нѣтъ...

А умирать — пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, гдѣ слышатся голоса только безчисленнаго множества темпераментовъ, гдѣ нападa-

ющіе не знаютъ, на кого они нападаютъ, а защищающіеся—отъ кого они обороняются, гдѣ нѣтъ рѣчи объ идеалѣ, а мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы — въ такой суматохѣ ничего лучшаго не придумаешь, какъ схорониться въ укромное мѣсто, и тамъ—начать умирать.

„Тамъ“, то-есть въ Монрепо. Нигдѣ не найдется для самаго прихотливаго умиранія такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигдѣ нельзя такъ незамѣтно и естественно окунуться въ область неизвѣстнаго. И ежели я говорю, что въ качествѣ усыпальницы Монрепо представляетъ собою нѣчто ни съ чѣмъ несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей совѣсти, а совсѣмъ не въ видѣ рекламы. Мало того: я вполнѣ искренно утверждаю, что наши фрондирующіе помѣщики слишкомъ мало принимаютъ въ разсчетъ это свойство принадлежащихъ имъ Монрепо, и только поэтому такъ дешево сбываютъ ихъ всевозможнымъ хищникамъ новѣйшей формаціи, которые спѣшатъ обратить ихъ въ кабаки.

Прежде всего, какъ на отличнѣйшую особенность Монрепо, я могу указать на полнѣйшее отсутствіе утѣшеній медицины. Я не отрицаю заслугъ врачебной науки и ея служителей, но мнѣ кажется, что ежели разъ человѣкъ рѣшилъ, что жить довольно, то при извѣстной дозѣ порядочности даже не совсѣмъ прилично обороняться отъ смерти. Пускай люди, исполненные цвѣтенія и силъ, мечтаютъ о жизни — это ихъ право; человѣкъ умирающій, въ видахъ собственнаго огражденія, долженъ забыть и о цвѣтеніи, и о силѣ, и вообще о какихъ бы то ни было правахъ на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрѣшается—это по возможности устроить удобную обстановку для предстоящаго умиранія. А въ этомъ смыслѣ, опять-таки повторяю, Монрепо неоцѣненно. Въ городѣ никакъ не выдержишь, непремѣнно начнешь обороняться. Обратишься къ человѣку науки, который затормозитъ естественный процессъ умиранія, подольетъ въ лампаду чего-то не настоящаго, а „замѣняющаго“, и заставитъ ее лишній срокъ чадить. Въ Монрепо подобное малодушіе уже потому одному немыслимо, что тамъ нѣтъ ни мужей науки, ни „замѣняющихъ“ снадобьевъ. Обитатель Монрепо потухаетъ самъ собой, естественно, неизбѣжно. Потухаетъ съ отраднымъ убѣжденіемъ, что послѣднія его мерцанія не отравили окрестности запахомъ злоуханной гари, которая, при другихъ, менѣе благопріятныхъ условіяхъ, непремѣнно въ конецъ измучила бы человѣка, замѣнивъ подлинную жизнедѣятельность искусственнымъ калѣчествомъ.

Но, сверхъ того, истинно „сладкое“ умираніе возможно только подъ условіемъ полной и невозмутимой тишины. И этого условія ни въ городѣ, ни даже въ деревнѣ не добудешь, а найдешь въ одномъ Монрепо. Вездѣ царитъ либо рабочая суета, либо разгулъ; наконецъ, вездѣ отыщутся друзья, люди, принимающіе участіе, любопытные. Только въ Монрепо нѣтъ ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытныхъ—развѣ это не блаженство? Ничто не шелохнется кругомъ, ни одинъ звукъ не помѣшаетъ естественному потуханію. Особливо зимой. Монрепо, потонувшее въ сугробахъ снѣга — да это земной рай!

Природа оцѣпенѣла; домъ со всѣхъ сторонъ сторожитъ садъ, погруженный въ непробудный сонъ; прислуга забралась на кухню, и только смутный

гулъ напоминаетъ, что гдѣ-то далеко происходитъ галдѣніе, выдающее себя за жизнь; въ барскихъ покояхъ ни шороха; даже мыши — и тѣ беззвучно перебѣгаютъ изъ одного угла комнаты въ другой. Сидишь себѣ въ креслѣ одинъ-одинешенекъ или бродишь усталыми ногами взадъ и впередъ по запустѣлой анфиладѣ—и чувствуешь, ясно чувствуешь, какъ постепенно внутри у тебя таетъ и погасаетъ. По совѣсти говорю: слаще этого чувства нѣтъ. Къ нему можно пристраститься до упоенія, съ нимъ можно возвыситься до одичалости. Даже пропинаціонная привилегія — и та не можетъ идти въ сравненіе съ этой прекраснѣйшей привилегіей постепеннаго умиранія среди сладчайшей тишины.

Намъ, людямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и иныхъ годовъ, это въ особенности понятно, потому что съ нами въ послѣднее время случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Все-то мы жили да жили, и вдругъ потеряли что-то самое нужное и разомъ сдѣлались неспособными принимать участіе въ дѣлахъ и вещахъ современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которыя не прочь еще похорохориться, устроить недоразумѣніе и погарцовать передъ застигнутой врасплохъ толпой, въ качествѣ заправскихъ дѣятелей; но большинство отлично понимаетъ, что являться въ публику съ запасомъ забытыхъ словъ—именно значитъ только длить безплодныя недоразумѣнія. Положимъ, что эти выцвѣвшія слова въ былое время были полны содержанія и освѣщали жизнь, но какое дѣло до нихъ современности? Въ былое время они были и хороши, и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мнѣ не иначе, какъ въ видѣ ящика съ двойнымъ дномъ. Въ которомъ днѣ обрѣтается „настоящая штука“ —поди, угадай! Да и какая еще „штука“ —можетъ быть райская птица, можетъ быть крокодилъ? И помоложе, половчѣе насъ люди — и тѣ не угадываютъ, а только поневолѣ какъ-нибудь изворачиваются, на-удачу хватаются за первое, что̀ подъ руку попадетъ. Именно поневолѣ, потому что эти люди уже фаталистически „обречены“ жить, а стало быть и изворачиваться. А мы обречены умирать, и слѣдовательно отъ угадываній свободны. Но, по моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тѣмъ болѣе благо, что, всмотрѣвшись пристальнѣе въ проносящуюся мимо насъ сутолоку современности, по совѣсти, нельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна должна быть роль дѣятеля среди этой жизни съ двойнымъ дномъ!

Да, такая жизнь даже болѣе нежели мучительна—она постыдна. Передъ глазами мечется какая-то безконечно фантастическая сказка: не разберешь, что̀ тутъ дѣйствительность и что̀ — сонное видѣніе. Наиреальнѣйшіе съ перваго взгляда факты—и тѣ являются въ сопровожденіи такихъ подозрительныхъ околичностей, которыя отнимаютъ у нихъ всѣ признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь — все служитъ источникомъ самыхъ язвительныхъ вопросовъ, и, что̀ всего мучительнѣе, ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ вы не найдете нигдѣ вполнѣ вразумительнаго отвѣта. Я могъ бы назвать здѣсь цѣлую свиту вполнѣ несомнѣнныхъ и доказательныхъ фактовъ, которые несомнѣнно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тѣмъ не менѣе не называю ихъ. Почему же я не называю ихъ? А потому именно, что

всечасно и всеминутно ощущаю себя защемленнымъ между двойнымъ дномъ. Вѣдь все равно—говорю я себѣ—изъ моихъ указаній ничего не выйдетъ, такъ лучше ужъ я... ахъ, какая масса тутъ малодушія, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы опредѣленные отвѣты, то очевидно, что немыслимы ни правильныя наблюденія, ни вполнѣ твердыя обобщенія. Ни жить, стало быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Вездѣ—двойное дно, въ виду котораго именно только изворачиваться можно или идти невѣдомо куда, съ завязанными глазами. Представьте себѣ, что вы нечаянно попали въ комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Езоповъ, которые ведутъ оживленный разговоръ — и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти съ ума.

И вотъ, для того, чтобы не быть обязаннымъ ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дѣло—это затвориться въ Монрепо. А если при этомъ и самая охота къ жизни пропала, то это ужъ и совсѣмъ хорошо. Правда, что есть у насъ, культурныхъ людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки болѣе или менѣе препятствуютъ полному забвенію жизни; но тутъ уже необходимо принять героическія мѣры. А именно: разомъ прекратить доступъ для всего, что напоминаетъ о книгопечатаніи и сопряженныхъ съ нимъ учрежденіяхъ. Въ противномъ случаѣ двойное дно проникнетъ и въ Монрепо.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ дномъ, и литература не можетъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. Газеты, напримѣръ, положительно могутъ измучить. Помѣщая на столбцахъ своихъ факты, повидимому, самые обыденные, они будутъ ежедневно пробуждать въ отшельникѣ цѣлый рой томительныхъ сновидѣній. Произвели, напримѣръ, коллежскаго совѣтника Растопырю за отличіе въ слѣдующій чинъ—кажется, что можетъ быть проще, обыденнѣе этого извѣстія? А между тѣмъ вдумайтесь въ него, и вы удивитесь, какой безконечный рядъ томительнѣйшихъ вопросовъ поднимется передъ вами по его поводу! Во-первыхъ, вопросы высшаго порядка. Подлинно ли Растопыря заслужилъ производство въ слѣдующій чинъ? Не было ли тутъ интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этимъ фактомъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это—вопросы важные, существенные, ибо при утвердительномъ отвѣтѣ на нихъ („да, по ходатайству Гулакъ-Артемовской“) воображенію представляется картина развращенія нравовъ, а при отвѣтѣ отрицательномъ—картина чистоты нравовъ. Согласитесь, что для патріота своего отечества это далеко не безразлично. Затѣмъ опять вопросы: съумѣетъ ли Растопыря въ новомъ чинѣ заслужить то довѣріе начальства, которое онъ умѣлъ заслужить въ старомъ чинѣ? какихъ облегченій вправѣ ожидать отъ него отечество, буде онъ и впредь съ такою же неуклонностью будетъ подвигаться по лѣстницѣ почестей и отличій? А наконецъ и вопросы порядка низшаго, личнаго. Какимъ окомъ, милостивымъ или немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепо и скрывающагося въ немъ отшельника? не найдетъ ли онъ, что самый фактъ отшельничества есть фактъ подозрительный, влекущій за собой лишеніе хотя и не всѣхъ—у Растопыри доброе сердце—то хотя нѣкоторыхъ правъ состоянія? И ежели это фактъ подозрительный и влекущій, то... И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Какіе отвѣты я найду на эти вопросы въ газетахъ? положительно никакихъ! Такъ зачѣмъ же мнѣ знать объ этомъ производствѣ? зачѣмъ я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, гдѣ этотъ скромно выглядывающій съ газетнаго столбца Растопыря, быть можетъ, явится въ такомъ угрожающемъ видѣ, который все мое существо наполнитъ испугомъ? И что̀ всего важнѣе—испугомъ напраснымъ, ибо я знаю навѣрное, что Растопыря — малый доброжелательный, который если и позволитъ себѣ лишить меня нѣкоторыхъ правъ состоянія, то не иначе, какъ въ видахъ моей же собственной пользы.

А потомъ пойдутъ газетные „слухи“... ахъ, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьямъ, ни летѣть на встрѣчу врагамъ — нѣтъ крыльевъ! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Сиди въ Монренò и понимай, что ничто человѣческое тебѣ не чуждо, и стало быть ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (въ Монренò, вслѣдствіе изобилія досуга, это чувство некасаемости какъ-то особенно обостряется, дѣлается до болѣзненности чуткимъ). А ежели не касается, то изъ-за чего же терзать себя?

Нѣтъ, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналовъ, ни газетъ,— тѣмъ больше не нужно, что нынѣче въ любомъ деревенскомъ кабакѣ, въ любой „портерной“ найдется эта отрава, такъ что совсѣмъ отъ жизни все-таки не убѣжишь. Пойдетъ въ кабакъ кто-нибудь изъ присныхъ, и непремѣнно или самъ что-нибудь вычитаетъ, или вдоволь наслушается. Потомъ разскажетъ въ людской, а напослѣдокъ проберется въ комнаты и тамъ начадитъ. По мнѣнію моему, этимъ путемъ получать вѣсти изъ міра живыхъ, во всякомъ случаѣ, менѣе мучительно, нежели сообщаться съ нимъ посредствомъ книгопечатанія. Ибо, слушая, какъ сынъ природы несетъ ахинею, вы все-таки имѣете возможность хоть тѣмъ утѣшить себя, что, можетъ быть, онъ и перевралъ.

Именно такъ я прошлой зимой и поступилъ. Еще 31-го декабря я чувствовалъ себя въ компаніи баснописцевъ, и вдругъ съ 1-го января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера съ такимъ безцѣльнымъ гвалтомъ бушевало въ берегахъ, сегодня улеглось какъ бы по манію волшебства. Картины, волновавшія кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ ветлянская интрига, потомъ еще интрига, а наконецъ и слухи о предстоящемъ финансовомъ возрожденіи... Послѣдніе, впрочемъ, держались нѣсколько упорнѣе, потому что вѣдь и умирать не совсѣмъ ловко, когда не умѣешь ясно отвѣтить на вопросъ: что̀ такое рубль? Стало быть, съ этой стороны, то-есть со стороны міра живыхъ, я совсѣмъ квитъ. Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что отсутствіе памятниковъ книгопечатанія представляетъ очень важный пробѣлъ въ человѣческомъ существованіи, потому что и т. д. Но, во-первыхъ, газета „И шило брѣетъ“—развѣ это памятникъ? а во-вторыхъ я вѣдь не о „существованіи“ и рѣчь повелъ. Я говорю объ умираніи, объ одномъ умираніи; а съ этой точки зрѣнія, право, лучше не надо.

Вмѣстѣ съ прочими, отравляющими жизнь, представленіями постепенно начало сглаживаться и представленіе о Граціановѣ. Очевидно, моя поѣздка въ губернію смутила его... Онъ сдѣлался сдержаннѣе, при встрѣчахъ не дѣлалъ мнѣ ручкой, но молча прикладывался подъ козырекъ, при чемъ съ явно утрированною почтительностью выгибалъ шею и откидывалъ назадъ поясницу. А главное, не только пересталъ меня испытывать, но даже совсѣмъ ко мнѣ не приходилъ. Только отъ времени до времени я примѣчалъ изъ окна, что онъ меланхолически бродилъ по моему парку, напѣвая какой-то романсъ, — вѣроятно „Черный цвѣтъ“. Очевидно, онъ хотѣлъ дать мнѣ почувствовать этимъ, какъ онъ могъ бы любить, если бы я только захотѣлъ, и какъ много я потерялъ, устранившись отъ его ласкъ... Я это очень хорошо понималъ и, грѣшный человѣкъ, иногда даже готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастію, голосъ разсудка и соблазнительная картина непостыднаго умиранія восторжествовали надъ легкомысленными угрызеніями совѣсти.

Кабатчики выказали себя нѣсколько упорнѣе и не такъ-то легко предоставили меня моей судьбѣ. Благодаря Граціанову, въ періодъ моего легкомысленнаго переполоха, я завязалъ съ ними очень крѣпкія связи. У всѣхъ вообще — пилъ водку, игралъ въ стуколку и закусывалъ студнемъ, а въ частности, съ нѣкоторыми вступилъ даже въ духовное родство. У Осьмушникова крестилъ дочку, у Колупаева разыгрывалъ роль свата, у Прохорова — едва не свелъ со двора жену (разумѣется, этого на дѣлѣ не было, а были „насмѣшки“, въ которыхъ я фигурировалъ въ качествѣ соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовалъ себя особенно пріятно, когда, бывало, Осьмушниковъ, еще гдѣ завидѣвъ меня, крикнетъ: „здорово, кумъ!“ или Прохоровъ: „здорово, своякъ!“—но покуда для меня было неясно, имѣетъ или не имѣетъ Граціановъ право читать въ моемъ сердцѣ, я крѣпился и молчалъ. Теперь, когда начальство меня разувѣрило и когда мои отношенія къ Граціанову опредѣлились вполнѣ, я, конечно, счелъ первымъ долгомъ дать отпоръ всѣмъ кумовьямъ и своякамъ. Но они уже сами не соглашались ретироваться. Въ особенности же Прохоровъ долго донималъ меня своими дружескими „насмѣшками“. Только-что, бывало, я расположусь „умирать“, только-что сомкнутся мои вѣжды и слухъ начнетъ наполняться тихими шопотами непостыднаго угасанія, какъ онъ ужъ тутъ какъ тутъ, словно изъподъ земли выросъ. Сначала наполнитъ домъ звуками одышки, потомъ грузно сядетъ въ кресло, расправитъ пятерней кудри, оботретъ клѣтчатымъ платкомъ потное лицо, запалитъ папироску, дохнетъ сивухой и начнетъ шутки шутить.

— Усталъ,—скажетъ:—инда задохся. Туковъ много внутри скопилось. Ну, а ты, своякъ, что̀ носъ повѣсилъ?

— Да такъ...

— Чего „такъ“! Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?

— Когда же это...

— Нѣтъ, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотѣлъ со двора свести? а?

— Но послушайте же, наконецъ...

— Нѣтъ, ты постой! погоди! ты вотъ мнѣ на что̀ отвѣть: развѣ это

резонъ? Резонъ ли мужнюю жену на любовь съ собою склонять? Какъ эти поступки въ заповѣдяхъ-то называются? слыхалъ? а?

— Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

— То-то „я“! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты — ты! Ты бы вотъ радъ-радостью въ чужомъ саду яблочко съѣсть, даже и сейчасъ у тебя отъ одного воображенія глаза враскосъ пошли — да на тотъ грѣхъ я самъ при семъ состою! Ну, миръ что-ли! пошутилъ! давай руку—будетъ съ тебя!

Но въ ту минуту, когда я мнилъ, что онъ серьезно подаетъ мнѣ руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ мнѣ шишъ, а иногда и просто бралъ подъ мышки и, будучи вчетверо сильнѣе меня, увлекалъ въ непроизвольный галопъ, при чемъ задыхался, хрипѣлъ и свистѣлъ на весь домъ.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпѣлъ и ни на что не рѣшался. Наконецъ однакожъ рѣшился, и однажды, когда онъ приблизился, чтобъ взять меня подъ мышки, я совершенно серьезно плюнулъ ему въ самую лахань. Только тогда онъ понялъ, что я — человѣкъ солидный и „независимый“. Онъ скромно вытеръ платкомъ лицо, произнесъ: „однако!“—и съ тѣхъ поръ ко мнѣ ни ногой.

Я сознаюсь, что это былъ съ моей стороны очень дурной и наглый поступокъ, но. клянусь, что въ ту минуту онъ вышелъ самъ собой. Защита какъ-то невольно приняла ту самую форму, въ которую съ давнихъ поръ облекалось нападеніе. Прохоровъ насильственно водворялся въ моемъ домѣ, насильственно заставлялъ меня выслушивать свои „насмѣшки“, насильственно хваталъ меня подъ мышки и увлекалъ въ галопъ — и вотъ я въ той же насильственной формѣ далъ ему отпоръ. Сверхъ того, я позволяю себѣ думать, что поступокъ этотъ скорѣе свидѣтельствуетъ о моей деликатности (съ большою, впрочемъ, примѣсью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень и даже черезчуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъ и даже поддакиваютъ именно изъ опасенія обидѣть, задѣть чужое самолюбіе. Поддакиваютъ даже тогда, когда уже началось хватаніе подъ мышки. И вдругъ, глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинаетъ пронизывать все существо. Но, къ сожалѣнію, все это обнаруживается лишь тогда, когда дѣло уже мучительно обострилось. И вотъ...

Во всякомъ случаѣ я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, какъ непріятно и ненадежно положеніе русскаго культурнаго человѣка, который помнитъ, что когда-то онъ занимался „филантропіями“, и понимаетъ, что по нынѣшнему времени это составляетъ неизбываемый грѣхъ. Онъ помнитъ, понимаетъ и боится. Чего именно боится—онъ самъ опредѣленно сказать не можетъ; но вѣдь чѣмъ неопредѣленнѣе подобное чувство, тѣмъ оно тяжелѣе. Главнымъ образомъ однакожъ онъ боится своей беззащитности, неприкрытости, и вслѣдствіе этого совершенно искренно вѣритъ, что и Граціановъ, и Осьмушниковъ, и Прохоровъ могутъ во всякое время свободно войти къ нему въ домъ и полюбопытствовать: а что-молъ ты тамъ въ одиночку каверзничаешь? И вотъ, когда сумма этихъ унизительныхъ страховъ накопится до nec plus ultra, когда чаша до того переполнится, что новой каплѣ ужъ помѣститься негдѣ, и когда среди невыносимо подлой тоски вдругъ голову

освѣтитъ мысль: а вѣдь, собственно говоря, ни Граціановъ, ни Колупаевъ залѣзать ко мнѣ въ душу ни отъ кого не уполномочены — вотъ тогда-то и является на выручку дикая реакція, то-есть сквернословіе, мордобитіе, плеванье въ лахань, однимъ словомъ—все то, что при спокойномъ, хоть сколько-нибудь нормальномъ теченіи жизни, мирному гражданину даже на мысль не придетъ.

Какъ бы то ни было, но я безмѣрно обрадовался, что наконецъ меня охватила со всѣхъ сторонъ безконечная тишина. Подъ вліяніемъ этой радости я совсѣмъ утерялъ изъ вида, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цѣль была достигнута: я очутился одинъ—это было самое существенное. Но этого мало, я сдѣлался почти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ у меня сидитъ Граціановъ, но опять вспомнилъ старое и бросился въ филантропіи. Началъ мечтать, сочинять „промежду себя“ реформы, и все такія, чтобы всѣ разомъ почувствовали и въ то же время никто ничего не ощутилъ. Сначала, разумѣется, мечталъ робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ смѣлѣе и наконецъ, „въ надеждѣ славы и добра“, пустилъ такими букетами, что даже стѣны, слушавшія меня—и тѣ смекнули, чѣмъ пахнетъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваетъ человѣка, какъ мечтанія. Сначала заведется въ мозгахъ не больше горошины, а потомъ начнетъ расти и расти и наконецъ выростетъ цѣлый дремучій лѣсъ. Выростетъ, встанетъ передъ глазами, зашумитъ, загудитъ, и вотъ тутъ-то именно и начнется настоящая работа. Всего здѣсь найдется: и величіе Россіи, и конституціонное будущее Болгаріи, и Якубъ-ханъ, достославно шествующій по стопамъ Ширъ-али, и, ужъ само собой разумѣется, выигрышъ въ двѣсти тысячъ рублей. Что понравилось, то и выбирай. Ежели загорѣлось сердце величіемъ Россіи—займись; ежели величіе Россіи прискучило — переходи къ болгарамъ или къ Якубъ-хану. Мечтай безпрепятственно, сочиняй цѣлыя передовыя статьи — все равно ничего не будетъ. Если хочешь критиковать—критикуй; если хочешь требовать—требуй. Требуй смѣло, такъ прямо и говори: долго ли, молъ, ждать? И если тебѣ внимаютъ туго, или совсѣмъ не внимаютъ, то пригрозись: объ этомъ, дескать, мы поговоримъ въ слѣдующій разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совѣсти: возможность удовлетворять потребности мечтанія составляетъ едва-ли не самую сладкую принадлежность умиранія. Мечта отуманиваетъ и, слѣдовательно, устраняетъ изъ процесса умиранія все, что могло бы встревожить паціента слишкомъ назойливою ясностью. Мечта не ставитъ въ упоръ именно *такой-то* вопросъ, но всегда хранитъ въ запасѣ цѣлую свиту быстро-мелькающихъ вопросовъ, такъ что мысль, не связанная обязательнымъ сосредоточеніемъ, скользитъ отъ одного къ другому совершенно незамѣтно. Даже послѣдовательности въ работѣ ея не замѣчается, хотя связь несомнѣнно существуетъ. Но она скрывается въ тѣхъ моментахъ забытья, въ которое человѣкъ непроизвольно погружается подъ вліяніемъ мысленныхъ мельканій. Это забытье совсѣмъ не пустопорожнее, какъ можно было бы предполагать, и въ то же время очень пріятное. Мелькнетъ одинъ предметъ, остановитъ на себѣ минутное вниманіе, и почти вслѣдъ затѣмъ погрузитъ мысль

въ какую-то массу полудремотныхъ ощущеній, которыя невозможно уловить, до такой степени они быстро смѣняются одно другимъ. Затѣмъ вынырнетъ другой предметъ, и непремѣнно вынырнетъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, но такъ какъ этому появленію предшествовало „забытье“, то опредѣлить, въ чемъ заключается „порядокъ“ и что̀ именно обусловило перемѣну декорацій, представляется невозможнымъ. Повторяю: ужасно это пріятно. Ходишь, думаешь, навѣрное знаешь, что нѣчто думаешь, но что̀ именно — не скажешь. Какая открывается при этомъ безграничная перспектива приволья, свободы, безотвѣтственности не только передъ самимъ собой (это-то не штука), но и передъ начальствомъ! Поймите, какъ это хорошо! Тяжело вѣдь вѣчно такъ жить, чтобы за все и про все отвѣтъ держать; нужно хоть немного и такъ пожить, чтобы ни за что ни передъ кѣмъ себя виновнымъ не считать. Хочу — умныя мысли мыслю, хочу — легкомысленничаю... кому какое дѣло!

Тѣмъ не менѣе, какъ ни мало опредѣленны были мои зимнія мечтанія, я все-таки нѣкоторые пункты могу здѣсь намѣтить. Чаще и упорнѣе всего, какъ и слѣдуетъ ожидать, появлялся вопросъ о выигрышѣ двухсотъ тысячъ, но такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ пустякахъ почему-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по моему, самое это культурное мечтаніе), то я упоминаю объ этомъ лишь для того, чтобы не быть въ противорѣчіи съ истиной. Затѣмъ выступали и вопросы серьезные, между которыми первое мѣсто, разумѣется, принадлежало величію Россіи. Я считаю нелишнимъ изложить здѣсь главные тезисы моихъ мечтаній по этому вопросу, заранѣе впрочемъ извиняясь передъ читателемъ въ той неудовлетворительности, которую онъ навѣрное примѣтитъ въ моемъ изложеніи. Увы! я и до сихъ поръ не могу вмѣстить свободы книгопечатанія и вслѣдствіе этого иногда черезчуръ храбрюсь, но въ большей части случаевъ — черезчуръ робѣю.

Я знаю, есть люди, которые въ скромныхъ моихъ писаніяхъ усматриваютъ не только пагубный индифферентизмъ, но даже значительную долю злорадства, въ смыслѣ патріотизма. По совѣсти объявляю, что это — самая наглая ложь. Я уже не говорю о томъ, что обвиненіе это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менѣе въ этомъ виноватъ. Я люблю Россію до боли сердечной и даже не могу помыслить себя гдѣ-либо, кромѣ Россіи. Только разъ въ жизни мнѣ пришлось выжить довольно долгій срокъ въ благорастворенныхъ заграничныхъ мѣстахъ, и я не упомню минуты, въ которую сердце мое не рвалось бы къ Россіи. Хорошо тамъ, а у насъ... положимъ, у насъ хоть и не такъ хорошо... но, представьте себѣ, все-таки выходитъ, что у насъ лучше. Лучше, потому что больнѣй. Это совсѣмъ особенная логика, но все-таки логика, и именно — логика любви. Вотъ этотъ-то культъ, въ основаніи котораго лежитъ сердечная боль, и есть истинно русскій культъ. Болитъ сердце, болитъ, но и за всѣмъ тѣмъ всеминутно къ источнику своей боли устремляется...

Но этотъ же культъ, вѣроятно, и служитъ предлогомъ для обвиненій, о которыхъ идетъ рѣчь. Есть люди (въ послѣднее время ихъ даже много развелось), которые мертвыми дланями стучатъ въ мертвыя перси, которые суконнымъ языкомъ выкликаютъ: „звонъ побѣды раздавайся!“ и зіяющими впадинами, вмѣсто глазъ, выглядываютъ окрестъ: кто не стучитъ въ перси

и не выкликаетъ вмѣстѣ съ ними? Это—цѣлое постыдное ремесло. По моему мнѣнію, люди, занимающіеся этимъ ремесломъ, суть іезуиты. Разумѣется, іезуиты русскіе, лыкомъ шитые, вскормленные на почвѣ крѣпостного права и сопряженныхъ съ нимъ: лганья, двоедушія, коварства и проч. Это — люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные вонючимъ самолюбіемъ и злою, долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно тогда лишь спастись, когда они вмѣстѣ съ безконечною злобой соединяютъ и безконечную алчность къ ловленію рыбы въ мутной водѣ. Тогда можно отъ нихъ откупиться, можно бросить имъ кость въ глотку. Но если они съ адской злобой соединяютъ и адское безкорыстіе, и ежели при этомъ свою адскую ограниченность возводятъ на степень адскаго убѣжденія—тогда это уже совершенныя исчадія сатаны. Они настроятъ мертвыми руками безчисленные ряды костровъ и будутъ безсмысленными, *пустыми* глазами слѣдить за предсмертными конвульсіями жертвы, которая, подобно имъ, не стучала въ *пустыя* перси...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицемѣровъ и клеветниковъ и возвратимся къ Монрепо и навѣваемымъ имъ мечтаніямъ.

Я желалъ видѣть мое отечество не столько славнымъ, сколько счастливымъ — вотъ существенное содержаніе моихъ мечтаній на тему о величіи Россіи, и если я въ чемъ-нибудь виноватъ, то именно въ этомъ. По моему мнѣнію, слава, поставленная въ качествѣ главной цѣли, къ которой должна стремиться страна, очень многимъ стоитъ слезъ; счастье же для всѣхъ одинаково желательно и въ то же время само по себѣ составляетъ прочную и немеркнущую славу. Какой вѣнецъ можетъ быть болѣе лучезарнымъ, какъ не тотъ, который сотканъ изъ лучей счастія? какой народъ можетъ съ бо́льшимъ правомъ назвать себя подлинно славнымъ, какъ не тотъ, который сознаетъ себя подлинно счастливымъ? Мнѣ скажутъ, быть можетъ, что общее счастіе на землѣ недостижимо, и что вотъ именно для того, чтобы восполнить этотъ недостатокъ и сдѣлать его менѣе замѣтнымъ и горькимъ, и придумана, въ качествѣ подспорья, слава. Слава, то-есть „насъ возвышающій обманъ“. Но я—человѣкъ скромный; я не дипломатъ и даже не публицистъ, и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и кого собственно они обманываютъ. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество—и ничего больше. Ужели человѣкъ, смотрящій на міръ трезвыми глазами и чувствующій себя менѣе счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ—ужели этотъ человѣкъ утѣшится тѣмъ только, что начнетъ обманывать себя чѣмъ-то замѣняющимъ, неподлиннымъ? Нѣтъ, онъ не сдѣлаетъ этого. Онъ просто скажетъ себѣ: ежели я въ данную минуту не столь счастливъ (а стало быть и не столь славенъ), то это значитъ, что необходимо употребить извѣстную сумму усилій, дабы законнымъ путемъ добыть ту сумму счастія и славы, которая по условіямъ времени достижима. Вотъ и все. А насколько будутъ плодотворны или безплодны эти усилія—это ужъ другой вопросъ.

Руководясь этими скромными соображеніями, я и въ мечтаніяхъ никому не объявлялъ войны и не предпринялъ ни малѣйшей дипломатической кампаніи. А слѣдовательно не одержалъ ни одной побѣды и никого не огорошилъ дипломатическимъ сюрпризомъ. Вообще, моя мысль не задерживалась

ни на арміяхъ, ни на флотахъ, ни на подрядахъ и поставкахъ, и даже къ представленіямъ о гражданскомъ мундирномъ шитьѣ прибѣгала лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда, по издревле установленнымъ условіямъ русской жизни, безъ этого ужъ ни подъ какимъ видомъ нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можемъ быть безъ того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ вопросъ: а какъ же въ семъ случаѣ поступали господа чиновники? Но тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачественность моихъ мечтаній. „Что дѣлали господа чиновники?“ спрашивалъ я самъ себя, и тутъ же, послѣ кратковременнаго „забытья“, отвѣтствовалъ: „ходили въ мундирахъ — и больше ничего“. Этимъ простымъ отвѣтомъ, мнѣ кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновниковъ (ибо благополучіе на ихъ глазахъ созидалось, и они благосклонно допустили его), и идея не-необходимости чиновниковъ, ибо, говоря по сущей совѣсти, благополучіе могло бы совершиться и безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности моей, я болѣе склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсѣмъ особенная, русская. Ходятъ люди въ мундирахъ, ничего не созидаютъ, не оплодотворяютъ, а только не препятствуютъ — а на повѣрку оказывается, что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ. Какое занятіе можетъ быть легче и какой удѣлъ — слаще?

Но ежели разъ воинственныя и присоединительныя упражненія устранены, то картина благополучія начертывалась уже сама собой. Въ самомъ дѣлѣ, что нужно нашей дорогой родинѣ, чтобы быть вполнѣ счастливой? На мой взглядъ, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужикъ русскій, говоря стихомъ Державина, „ѣлъ добры щи и пиво пилъ“. Затѣмъ все остальное приложится.

Если это есть — значитъ, у мужика земля приноситъ плодъ сторицею. Если это есть — значитъ, страна кипитъ млекомъ и медомъ и вездѣ чувствуется благорастореніе воздуховъ и изобиліе плодовъ земныхъ. Если это есть — значитъ, деревни въ изобиліи снабжены школами и мужикъ воистину позналъ, что ученье — свѣтъ, а неученье — тьма. Если это есть — значитъ, казна Государева ломится подъ тяжестью сребра и злата, и нѣтъ надобности ни въ „выбиваніяхъ“, ни въ экзекуціяхъ для пополненія казенныхъ сборовъ. Если это есть — значитъ, въ массахъ господствуетъ трудолюбіе, любовь къ законности, потребность тихаго житія; значитъ, массы дѣйствительно повинуются не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Если это есть — значитъ, за границу везутся заправскіе избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вслѣдствіе горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть — значитъ, у мужика есть досугъ; значитъ, онъ ведетъ не прекратительную жизнь подъяремнаго животнаго, а здоровое существованіе разумнаго существа; значитъ, онъ плодится и множится. Если это есть — значитъ, курное логовище уступило мѣсто подлинному жилищу, согласованному съ человѣческими потребностями. Если это есть — значитъ, правда и милость царствуютъ въ судахъ; значитъ, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ зубами, а судьи являются въ мѣста служенія лишь для полученія присвоеннаго имъ содержанія. Если это есть — значитъ, монополія не впивается когтями въ беззащитную жертву и не рветъ ея внутренностей. Если это есть — значитъ, государственная казна не расточается, а государственное

имущество охраняется и процвѣтаетъ. Если это есть—значитъ, рубль равенъ рублю...

Вотъ сколько отличнѣйшихъ представленій заключаетъ въ себѣ такой простой фактъ, какъ общедоступность „добрыхъ щей“! Спрашивается: ужели въ цѣломъ мірѣ найдется народъ, болѣе достойный названія „славнаго“, нежели этотъ, вкушающій „добры щи“ народъ?

Кажется, что мечтать на эту тему—ничего? даже Граціановъ—и тотъ, думается мнѣ, не найдетъ тутъ „возбужденія пагубныхъ страстей“? Пагубныхъ страстей—къ чему? Къ „добрымъ щамъ“?

И такъ, я мечталъ на тему о величіи Россіи. Я всѣмъ желалъ всего добраго, всего лучшаго. Чиновнику — чиновъ и крестовъ съ надписью: „за отдохновеніе“; купцу—хорошихъ торговъ и медалей; культурному человѣку —бутылку шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидѣтельство; мужику — „добрыхъ щей“. И при этомъ, какъ человѣкъ, одаренный художественными инстинктами, я такъ живо представлялъ себѣ благополучіе этихъ людей, что они метались передъ моими глазами какъ живые. Всѣ были поперекъ себя толще, у всѣхъ лица лоснились подъ вліяніемъ хорошаго житья и внутренняго ликованія. Но въ особенности хорошъ былъ мужикъ, такъ хорошъ, что я по цѣлымъ часамъ велъ съ нимъ мысленную бесѣду.

— Ну что, милый человѣкъ, — спрашивалъ я: — бунтовать больше не будешь?

— Помилуйте, ваше скородіе, — отвѣчалъ онъ: — ужъ ежели мы во время сѣкуціевъ—и то, значитъ, со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ, такъ теперича и подавно насъ за эти самые бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало „забытье“ (зри выше), и дальнѣйшія слова мужика стушевывались; но когда мысленная дѣятельность вновь вступала въ свои права, то я видѣлъ передъ собою такое довольное и добродушное лицо, что невольно говорилъ себѣ: да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! Недоимки всѣ съ него сложены, подушная подать предана забвенію... чего еще нужно! И онъ славословитъ во истину; не такъ, какъ культурные люди, когда получатъ подачку — съ расшаркиваньемъ и цѣлованіемъ въ плечико, — а скромно и истово, а именно: ѣстъ „добры щи“ во свидѣтельство, что сердце въ немъ играетъ подъ бременемъ благодарности и ликованія.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему — ничего!

Даже свое Монрепо — и его я какъ-то съумѣлъ пристегнуть къ мечтаніямъ о величіи Россіи. Представьте себѣ, что вдругъ, по щучьему велѣнію, по моему хотѣнью, случился такой анекдотъ. Мой лѣсъ изъ дровяного неожиданно сдѣлался строевымъ; мои болота внезапно осушились и начали производить не мохъ, а настоящую съѣдобную траву; мои пески я утилизировалъ и обработалъ подъ картофельныя плантаціи, а небольшая запашка словно взбѣсилась—начала родить самъ двадцать *). (Увы! въ мечтахъ и не такія метаморфозы

*) Одинъ екатеринославскій землевладѣлецъ увѣрялъ меня, что у него пшеница постоянно родитъ самъ-двадцать, и, въ виду моего удивленія по этому поводу, присовокуплялъ, что это происходитъ отъ того, что у нихъ, въ Екатеринославѣ, не

возможны!) Развѣ это „не величіе Россіи“? И къ довершенію всей этой чертовщины, въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ моего крыльца, прошла желѣзная дорога, которая возитъ не вывезетъ произведенія Монрепо. Капуста, которую ѣдятъ петербургскіе чиновники—это все моя; бѣлоснѣжная телятина, которою щеголяетъ англійскій клубъ по субботамъ—тоже моя. Огурцы, морковь, рѣпа, прессованное сѣно, молочные скопы, кормныя индѣйки — всего пропасть и все мое. А дрова? а рыба, въ изобиліи извлекаемая изъ Финскаго залива? а прочія произведенія природы, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси? Что, если и во всѣхъ другихъ Монрепо идетъ такая же волшебно-производительная галиматья, какъ и въ моемъ? Что, если вдругъ воспрянули отъ сна всѣ Проплёванныя, всѣ Погорѣловки, Ненаѣдовки, всѣ взапуски принялись рожать, и нѣтъ на дорогахъ проѣзда отъ массы капусты, огурцовъ, рѣдьки и проч.?!

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? вотъ вопросъ! Я думаю однакожъ, что не возгордимся, потому что, во-первыхъ, вѣдь ничего этого на дѣлѣ нѣтъ, а ежели нѣтъ ничего, то стало быть и во-вторыхъ, и въ третьихъ, все-таки, ничего нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ, повторяю вновь: мечтать на эту тему — ей Богу, ничего!

Ничего? но кто же сказалъ это? Кто же удостовѣрилъ, что „ничего“? А можетъ быть это-то и есть самое оно... А можетъ быть тутъ-то, въ этихъ безпардонныхъ мечтахъ, и кроется „возбужденіе пагубныхъ страстей“! Кто сказалъ: ничего? Тяпкинъ-Ляпкинъ сказалъ? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Ряпкинъ-Ляпкинъ, сказали: „ничего“? И такъ далѣе.

Прекрасно. Стало быть, это — не ничего? Такъ и запишемъ. Нельзя мечтать о величіи Россіи—будемъ на другія темы мечтать, тѣмъ болѣе, что по культурному нашему званію намъ это ничего не значитъ. Напримѣръ, конституціонное будущее Болгаріи — чѣмъ не благодарнѣйшая изъ темъ? А при обиліи досуга даже тѣмъ болѣе благодарная, что для развитія ея необходимо прибѣгать къ посредничеству телеграфа, то-есть посылать вопросныя телеграммы и получать отвѣтныя. Анъ время-то, смотришь, и пройдетъ.

Сказано-сдѣлано. Посылаю телеграмму № 1-й: „Митрополиту Аѳиму. Настоятельно прошу отвѣтить: будетъ ли у васъ конституція?“ Черезъ четверть часа полученъ отвѣтъ: „Братолюбивому господину Монрепо. Конституція, сирѣчь уставъ о предупрежденіи и пресѣченіи—будетъ. Аѳимъ“.

Не удовольствовавшись этимъ объясненіемъ, посылаю телеграмму № 2-й: „Благородному господину Балабанову. Экзархъ Аѳимъ увѣдомляетъ: будетъ-де у васъ конституція, сирѣчь исправительный уставъ. Правда ли?“ Черезъ четверть часа отвѣтъ: „Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежскій ассесоръ Балабановъ“.

земля, а все цѣлина. Замѣчательно, что этотъ самый землевладѣлецъ эту самую землю уже лично двадцать лѣтъ пашетъ, но и за всѣмъ тѣмъ не только въ объявленіяхъ газетныхъ пишетъ: продается столько-то десятинъ „цѣлины“, но и самъ, повидимому, вѣритъ въ подлинность этой „цѣлины“! Точь-въ-точь, какъ та легендарная дѣвица, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, которая будто бы въ одно и то же время и сокровище сохранила, и капиталъ пріобрѣла. Но развѣ это правдоподобно?

Тогда, чтобъ убѣдиться окончательно, посылаю телеграмму № 3-й: „Благородному господину Занкову. Что же, наконецъ, у васъ будетъ?“ И черезъ новыя четверть часа получаю новый отвѣтъ. „Будетъ что Богъ дастъ. Губернскій секретарь Занковъ“.

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопросъ о конституціонномъ будущемъ Болгаріи исчерпаннымъ, и посылаю четвертую, общую телеграмму. „Митрополиту Аѳанасію. Пью за болгарскій народъ!“ А черезъ четверть часа получаю отвѣтъ: „Братолюбивому господину Монрепо. Не находимъ словъ выразить, сколь для болгарскаго народа сіе лестно. Аѳанасій“.

И такимъ образомъ въ какой-нибудь часъ времени—все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но если бы и тутъ оказалось не „ничего“, то, дѣлать нечего, возьмемъ за бока Афганистанъ. Ужасно меня съ нѣкоторыхъ поръ интригуетъ Якубъ-ханъ. Коваренъ, какъ всякій восточный человѣкъ, и въ то же время, подобно знаменитому своему отцу, склоненъ къ присвоенію государственной афганистанской казны. Пойдетъ онъ или не пойдетъ по слѣдамъ Ширъ-али относительно коварнаго Альбіона? Ежели пойдетъ, то рано или поздно быть ему водвореннымъ въ губернскомъ городѣ Рязани. Ежели не пойдетъ, то и тутъ Рязани ему не миновать. Въ первомъ случаѣ—въ знакъ гостепріимства, во-второмъ—въ знакъ забвенія бунтовъ. Но во всякомъ разѣ онъ предварительно вывезетъ изъ своего мѣста безчисленное множество лаковъ рупій и доставитъ ихъ въ то мѣсто, которое ему будетъ назначено для гостепріимства. Рязань украсится, оплодотворится и въ нѣсколько мѣсяцевъ сдѣлается неузнаваемою. Въ соборѣ заблаговѣститъ новый колоколъ, на пожарномъ дворѣ явится новая пожарная труба, а что касается до дамочекъ, то онѣ изобрѣтутъ, въ пользу Якубъ-хана такое декольте, отъ котораго содрогнутся въ гробѣ кости Ширъ-али. Словомъ сказать, весь обрядъ гостепріимства будетъ выполненъ въ точности. Но что же затѣмъ? Затѣмъ, разумѣется, все пойдетъ обычнымъ порядкомъ. Сначала явится разбитной малый изъ мѣстныхъ культурныхъ людей и дастъ рупіямъ приличествующее назначеніе; потомъ начнется по этому случаю судоговореніе, и въ Рязань прибудетъ адвокатъ и проклянетъ часъ своего рожденія, доказывая, что назначеніе рупіямъ дано вполнѣ правильное и согласное съ волей самого истца; а наконецъ Якубъ-хану, въ знакъ окончательнаго гостепріимства, будетъ дозволено переѣхать въ Петербургъ, гдѣ онъ и поступитъ въ ресторанъ Бореля, въ качествѣ служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русскіе интересы будутъ при этомъ такъ строго соблюдены, что даже „Московскія Вѣдомости“—и тѣ останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать—ничего?

Но ежели и это не „ничего“, то къ услугамъ мечтателя найдется въ Монрепо не мало и другихъ темъ, столь же интересныхъ и ужъ до такой степени безопасныхъ, что даже покойный цензоръ Красовскій—и тотъ съ удовольствіемъ подписалъ бы подъ ними: „мечтать дозволяется“. Во-первыхъ, есть цѣлая область исторіи, которая представляетъ такой неисчерпаемый источникъ всякаго рода комбинацій, сопряженныхъ съ забытьемъ, что самъ.

мечтательный Погодинъ — и тотъ не могъ вычерпать его до дна. Возьмите, напримѣръ, хоть слѣдующія темы:

Что было бы, еслибъ древніе новгородцы не послѣдовали совѣту Гостомысла и не пригласили варяговъ?

Гдѣ былъ бы центръ тяжести, еслибъ вѣщій Олегъ взялъ Константинополь и оставилъ его за собой?

Какими государственными соображеніями руководились удѣльные князья, ведя другъ съ другомъ безпрерывныя войны?

На какой степени гражданскаго и политическаго величія стояла бы въ настоящее время Россія, еслибъ она не была остановлена въ своемъ развитіи татарскимъ нашествіемъ?

Кто былъ первый Лжедмитрій?

Еслибъ Петръ Великій не основалъ Петербурга, въ какомъ положеніи находилась бы теперь мѣстность при впаденіи Невы въ Финскій заливъ, и имѣла ли бы Москва основаніе завидовать Петербургу (извѣстно, что зависть къ Петербургу составляетъ историческую миссію Москвы въ теченіе болѣе полутора вѣковъ)?

Почему, несмотря на сравнительно мѣньшую численность населенія, въ Москвѣ больше трактировъ и питейныхъ домовъ, нежели въ Петербургѣ? Почему въ Петербургѣ немыслимъ трактиръ Тѣстова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа—все разомъ переполнится привидѣніями. Со всѣхъ сторонъ поползутъ шопоты, таинственныя дуновенія, мелканія, словомъ сказать, вся процедура серьезнаго историческаго, истинно-Погодинскаго изслѣдованія. И въ заключеніе тѣнь Красовскаго произнесетъ: „мечтать дозволяется“.

О, тѣнь возлюбленная! не ошибкой ли, однако, высказала ты разрѣшительную формулу? повтори!

Во-вторыхъ, имѣется другая, не менѣе обширная область—кулинарная. Еще Владиміръ Великій сказалъ: „веселіе Руси пити и ясти“, и въ этихъ немногихъ словахъ до такой степени вѣрно очертилъ русскую подоплёку, что даже и до-нынѣ русскій человѣкъ ни на чемъ съ такимъ удовольствіемъ не останавливаетъ свою мысль, какъ на ѣдѣ. А такъ какъ объектомъ для ѣды служитъ все разнообразіе органической природы, то не трудно себѣ представить, какое безчисленное количество механическихъ и химическихъ метаморфозъ можетъ произойти въ этомъ безграничномъ мірѣ чудесъ, если хозяиномъ въ немъ явится мечтатель, охотникъ пожрать!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнѣйшимъ перечисленіемъ подходящихъ сюжетовъ и темъ. Скажу огуломъ: міръ мечтаній такъ великъ и допускаетъ такое безграничное разнообразіе сочетаній, что нѣтъ той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснѣйшихъ сопоставленій.

И такъ, я мечталъ. Мечталъ и чувствовалъ, какъ я умираю, естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ въ жизни я паслаждался сознаніемъ, что ничто не нарушитъ моего вольнаго умиранія, что никто не призоветъ меня къ отвѣту и не напомнитъ о какихъ-то обязанностяхъ, что ни одна душа не

потребуетъ отъ меня ни совѣта, ни помощи, что мнѣ не предстоитъ никуда спѣшить, объ чемъ-то бесѣдовать и что-то предпринимать, что ни одинъ органъ книгопечатанія не обольетъ меня помоями сквернословія. Однимъ словомъ, что я забытъ, совсѣмъ забытъ.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Внѣ дома—то же одиночество и та же пустота. По временамъ паркъ заволакивался, словно сѣтью, падающими хлопьями снѣга; по временамъ деревья какъ бы сбрасывали съ себя иго оцѣпенѣнія и, колеблемыя вѣтромъ, оживали и шевелились; по временамъ изъ лѣсной чащи даже доносился грозный гулъ. Но взоръ и слухъ скоро привыкали и къ этимъ картинамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа даже и въ гнѣвѣ какъ-то безоружна, разумѣется, для тѣхъ, которыхъ нужда не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вотъ въ полѣ, въ лѣсу — тамъ, должно быть, страшно. Можно сбиться съ дороги, подвергнуться нападенію волковъ, замерзнуть. Но въ комнатѣ, гдѣ градусникъ показываетъ всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, гдѣ и тепло, и свѣтло, и уютно, всѣ эти морозы и вьюги могутъ даже подать поводъ для благодарныхъ сопоставленій.

И не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ сопоставленій. Ибо если хорошо быть совсѣмъ обезпеченнымъ отъ морозовъ и вьюгъ, то еще большее наслажденіе долженъ ощущать тотъ, кто, испытавъ морозъ и вьюгу, кто, проплутавъ до истощенія силъ по сугробамъ, вдругъ совсѣмъ неожиданно обрѣтаетъ спасеніе въ видѣ жилья. Представьте себѣ этотъ почти волшебный переходъ отъ холода къ теплу, отъ мрака къ свѣту, отъ смерти къ жизни; представьте себѣ эту радость возрожденія, радость до того глубокую и яркую, что для нея дѣлаются уже тѣсными предѣлы случая, ее породившаго. Да, это—радость совсѣмъ особенная, лучезарная, ни съ чѣмъ несравнимая. Не одинъ *этотъ* случай освѣтила она своими лучами, но разомъ втянула въ себя цѣлую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавленія. Въ эту блаженную минуту нѣтъ мѣста ни для опасенія ни для тревогъ. *Всѣ* опасности миновали, *всѣ* тревоги улеглись; *все* больное, щемящее упразднилось — навсегда. Во всемъ существѣ разлилась горячая струя жизни, во всѣхъ мысляхъ царитъ убѣжденіе, что отнынѣ жизнь уже пойдетъ не старою горькою колеей, а совсѣмъ новымъ, радостнымъ порядкомъ. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но за то какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это—наслажденіе великое, и съ теоретической точки зрѣнія отсутствіе его въ жизни людей, проводящихъ время въ теплыхъ и свѣтлыхъ комнатахъ, представляетъ даже очень значительный пробѣлъ.

Между прочимъ, я мечталъ и объ этомъ, и это были мечтанія по истинѣ отрадныя. Сначала я душевно скорбѣлъ, рисуя себѣ картину путника, выбивающагося изъ силъ; но такъ какъ я человѣкъ добрый, то, разумѣется, не оставлялъ его до конца погибнуть, и въ критическую минуту поспѣшалъ на помощь и предоставлялъ въ его распоряженіе неприхотливое, но вполнѣ удовлетворительное жилье. И глубока была моя радость, когда вслѣдъ затѣмъ передъ моими глазами постепенно развертывалась картина возрожденія...

Однимъ словомъ, я мечталъ, мечталъ безъ конца, мечталъ обо всемъ: о

прошломъ, настоящемъ и будущемъ, мечталъ смѣло, въ сладкой увѣренности, что никто объ моихъ мечтахъ не узнаетъ, и слѣдовательно никто меня не подкузьмитъ. И, проводя время въ этихъ мечтаніяхъ, чувствовалъ себя удивительно хорошо. До усталости ходилъ по комнатѣ и ни на минуту не уличилъ свою мысль въ бездѣятельности; потомъ садился въ кресло, закрывалъ глаза и опять начиналъ мысленную работу. Даже такъ-называемыя „хозяйственныя распоряженія“ — и тѣ вскорѣ приняли у меня мечтательный характеръ. Придетъ вечеромъ, передъ спаньемъ, въ комнаты старикъ Лукьянычъ и молвитъ:

— Ну, нынче—зима!

— Ты говоришь: зима?

— Да, зима нынче. И ежели теперича лѣто съ примѣтами сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не будетъ!

— Ты думаешь?

— Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только сторону сѣномъ набили, а въ нынѣшнемъ придется, пожалуй, и на чердаки на скотномъ сѣно таскать.

— Гм... это бы...

— Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то зима у меня на памятяхъ всего разъ случилась, когда мнѣ еще пятнадцать лѣтъ было. И что̀ въ ту пору хлѣба нажали, что̀ сѣна накосили — страсть!

— Богъ, братецъ...

— Само собой, Богъ! захочетъ Богъ — полны сусѣки хлѣба насыплетъ, не захочетъ — ни пера земля не родитъ! это что̀ говорить!

Молчаніе.

— Распоряженіевъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?

— Нѣтъ, что̀ ужъ...

— Покойной ночи-съ!

И все въ домѣ окончательно стихаетъ. Сперва на скотномъ дворѣ потухаютъ огни, потомъ на кухнѣ замираетъ послѣдній звукъ гармоники, потомъ сторожъ въ послѣдній разъ стукнулъ палкой въ стѣну и забрался въ сѣни спать, а наконецъ ложусь въ постель и я самъ...

Но и сонъ приходитъ какой-то особенный. Мечтанія канувшаго дня не прерываются, а только быстрѣе и отрывочнѣе слѣдуютъ одни за другими. Вотъ и опять „величіе Россіи“, вотъ „Якубъ-ханъ“, вотъ „историческіе вопросы“, а вотъ и „ну, ужъ нынче зима!“... Не разберешь, гдѣ кончилось бодрствованіе и гдѣ начался сонъ...

Но въ этой-то невозможности что-нибудь „разобрать“ именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляетъ умирающаго человѣка стремиться въ Монрепо̀, чтобы тамъ обрѣсти для себя усыпальницу.

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали вкрадываться смутныя опасенія. Прилетѣли грачи и наполнили паркъ гамомъ; почернѣла дорога. На большомъ трактѣ, отдѣляющемся отъ моего дома лишь небольшимъ клочкомъ парка, появились тройки съ катающимися, которыхъ, благо-

даря отсутствію листвы, я могъ видѣть совершенно отчетливо. Это были наши портерныя и питейныя дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составляетъ, по изстари заведенному обычаю, единственное великопостное развлеченіе. Повидимому имъ было очень весело, также какъ и Граціанову, неизмѣнно сопровождавшему дамъ на бѣговыхъ санкахъ. Но въ особенности шумнымъ дѣлалось это веселіе противъ моей усадьбы. Тройки замедляли ходъ; дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хохотали такъ громко, что даже черезъ двойныя оконныя рамы до меня долетали ихъ ликующіе голоса; при этомъ Граціановъ объяснялъ имъ, должно быть, нѣчто очень уморительное. Можетъ быть, онъ въ смѣшномъ видѣ пересказывалъ испытаніе, которому меня подвергалъ; можетъ быть, подмѣтилъ кое-что изъ моихъ привычекъ и тоже возводилъ въ перлъ созданія.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помѣхой для моего умиранія. Но однажды я замѣтилъ нѣчто не совсѣмъ необыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсѣмъ особенная, охотницкая. На пошевняхъ, покрытыхъ ковромъ, сидѣлъ купецъ Разуваевъ, самъ правилъ лошадьми и завивалъ пристяжныхъ въ кольца. Какъ только показалась эта тройка, Граціановъ передалъ свою одиночку близъ стоявшему сотскому и пересѣлъ въ Разуваевскія пошевни. Затѣмъ, пропустивши мимо дамскій поѣздъ, друзья остановились прямо противъ оконъ моего дома. Разуваевъ жестикулировалъ, Граціановъ что-то доказывалъ; оба отъ времени до времени хохотали. Я видѣлъ, какъ Разуваевъ поманилъ пальцемъ стараго Лукьяныча, сидѣвшаго на лавкѣ у воротъ, какъ послѣдній неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сплюнулъ въ сторону, и затѣмъ оба друга опять захохотали. Черезъ четверть часа улица опустѣла и гуляющіе, очевидно, разошлись по кабакамъ. Но когда начали спускаться сумерки, Разуваевская тройка съ двумя сѣдоками по крайней мѣрѣ разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась взадъ и впередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ комья грязи и рыхлаго снѣга и взбудораживая угомонившихся въ гнѣздахъ грачей.

Передъ спаньемъ Лукьянычъ имѣлъ по этому поводу со мной объясненіе.

— Разуваевъ мимо насъ сегодня озоровалъ.

— Видѣлъ.

— Стало быть, ему можно?

— Стало быть.

— Стало быть, ежели онъ ночью... испугаетъ, на вѣкъ уродомъ сдѣлаетъ... и это можно?

— Вѣроятно, можно.

Лукьянычъ только головой мотнулъ на мой отвѣтъ.

— Давеча меня поманилъ: „правда ли, говоритъ, что Матрена-скотница (Матрена—почтенная женщина лѣтъ подъ-шестьдесятъ) въ грѣхѣ состоитъ?“

— Съ кѣмъ? сказывалъ?

— Извѣстно, съ кѣмъ.

— Со мной?

— Стало быть.

Молчаніе.

— А потомъ опять подъѣхалъ. „Коли, говоритъ, Матрена не виновата, такъ чѣмъ же твой баринъ питается?“ И это, значитъ, можно?

— Должно быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговариваешь...

— А я что же могу! Я думалъ, онъ объ дѣлѣ хочетъ говорить, а онъ вонъ что! По моему, ему бы за это въ шею накласть—вотъ и все.

— А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?

— Это, чай, и безъ спросу можно. При папенькѣ при вашемъ, царство небесное, коли бы этакой случай вышелъ...

— То было при папенькѣ, а то теперь.

— Такъ, значитъ, и пущай озоруетъ?

— И пущай!

— Покойной ночи-съ!

Нѣсколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды даже, какъ предсказалъ Лукьянычъ, Разуваевъ угостилъ меня имъ въ глухую ночь. Проскакалъ несчетное число разъ мимо моей усадьбы во весь опоръ, крича: „караулъ! рѣжутъ! пожаръ!“ И во всѣхъ этихъ parties de plaisir неизмѣнно участвовалъ Граціановъ. Я понялъ, что противъ меня затѣяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. Вездѣ кругомъ кабаки, вездѣ веселье идетъ, одинъ я заперся отъ всѣхъ и умираю. И при этомъ какъ-то странно и неестественно себя веду, такъ что и приноровиться ко мнѣ невозможно. Сперва не „якшался“ и задиралъ носъ, потомъ смалодушничалъ и началъ „якшаться“, и вотъ въ ту самую минуту, когда всѣ сердца понеслись мнѣ на встрѣчу, когда всѣ начали надѣяться, что я буду приглашать деревенскихъ дѣвокъ водить хороводы у себя передъ домомъ и одѣлять ихъ пряниками, я вдругъ опять заперся и пересталъ „якшаться“. Даже батюшка скандализировался моимъ поведеніемъ, и, дабы не преогорчить своихъ прочихъ духовныхъ дѣтей, сталъ избѣгать свиданій со мною. Ясно, что Разуваевъ былъ въ этомъ мѣстѣ гораздо болѣе ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ рощи и отправлялъ въ городъ барки съ дровами. Сверхъ того, онъ занимался и другими операціями, объектомъ которыхъ обыкновенно служилъ мужикъ. И онъ былъ веселый, и жена у него была веселая. Домъ ихъ, небольшой и невзрачный, стоялъ у лѣсной опушки, такъ что изъ оконъ никакого другого вида не было, кромѣ громаднаго пространства, сплошь усѣяннаго пнями. Но хозяева были гостепріимные, и пированье шло въ этомъ домишкѣ великое.

Ко времени, о которомъ идетъ рѣчь, доходилъ срокъ арендуемымъ Разуваевымъ рощамъ. И вотъ онъ началъ задумываться. Капиталъ свободный есть, торговыя связи тоже заведены, а главное, мѣсто насижено и облюбовано. Ѣдетъ онъ по селу улицей — всѣ шапки снимаютъ; пріѣдетъ въ церковь къ обѣднѣ — станетъ съ супругой впереди у крылоса, подтягиваетъ дьячку и любуется на пожертвованное имъ паникадило; послѣ обѣдни подойдетъ ко кресту первымъ послѣ Граціанова и получитъ отъ батюшки заздравную просвиру. Всѣмъ съ нимъ повадно, всѣмъ по себѣ, потому что онъ на всѣ руки: и выпить не дуракъ, и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Поставитъ на голову стаканъ съ пивомъ и спляшетъ. Батюшка сколько разъ мнѣ говорилъ: „вотъ у Разуваева икру подаютъ — бѣлужью, настоящую! А

однажды изъ города копченую стерлядь привезъ — даже и до часа сего забыть не могу!" А матушка, вздохнувъ, прибавляла: „по здѣшнему мѣсту, только и полакомиться, что у Разуваевыхъ!" Даже такъ-называемая чернядь —и та какъ полоумная сбѣгалась со всѣхъ сторонъ, когда на село пріѣзжалъ Разуваевъ. Потому что онъ вдругъ, того гляди, велитъ пѣсни пѣть и начнетъ въ народъ гривенники на драку бросать!

Однимъ словомъ, всѣми онъ былъ любимъ, для всѣхъ желателенъ. Мужикъ онъ былъ не то чтобы молодой, но въ порѣ, статный, широкоплечій, лицо имѣлъ русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, свѣтлорусую. И жена у него была такая же, русская: круглолицая, бѣлотѣлая, полногрудая, румяная, съ веселыми, слегка безстыжими глазами на выкатѣ. Охотники были оба пѣсни попѣть, и пѣли мастерски, особенно хоровыя, подблюдныя.

Давно ужъ до меня доходили слухи, что Разуваевъ ищетъ купить себѣ усадьбу, но только чтобы непремѣнно за грошъ. Думалъ-было онъ сначала на порожнемъ участкѣ новый домъ взбодрить, но разсчиталъ, что за грошъ новаго заведенья никакъ устроить нельзя. Да поди еще жди, когда еще оно въ настоящій видъ придетъ, а до тѣхъ поръ торчи на тычкѣ, жарься лѣтомъ на припекѣ, а зимой слушай, какъ вѣтеръ воетъ. Начнешь парки разводить, сады сажать — смотришь, анъ изъ десяти деревъ одно принялось, а прочія посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крѣпостные были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все въ высь и въ ширь, словно по щучьему велѣнью. Тогда-то и было положено начало всѣмъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не до парковъ. Такъ вотъ этакую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды бы въ паркахъ, и караси бы въ прудахъ водились, и плодовитый садъ чтобы тутъ же находился, а въ бочку́ бы харчевенку съ продажей распивочно и на выносъ поставить. Да за грошъ бы, непремѣнно за грошъ.

Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабьихъ слезъ эти парки видѣли — Разуваевъ объ этомъ не хочетъ и знать. До сихъ поръ старики поминаютъ: „вонъ въ этомъ мѣстѣ трясинка была, такъ мы мѣшками землю таскали—смотри, каку гору́шу взбодрили!" —но Разуваеву и до этого дѣла нѣтъ. Онъ знаетъ только, что современному помѣщику все это не къ рукамъ, да и самъ помѣщикъ, по нынѣшнему времени, тутъ не ко двору. Помѣщикъ—онъ человѣкъ невѣрный, а нужны люди постоянные, вѣроятные, то-есть либо кабатчики, либо оголтѣлые мужики. А сверхъ того Разуваевъ имѣетъ простодушно-наглое убѣжденіе, что стоитъ только помахать у помѣщика подъ носомъ ассигнаціей, чтобъ онъ сейчасъ же, отъ одного ассигнаціоннаго запаха, впалъ въ изнеможеніе.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и сознанію беззащитности съ другой, мое сладкое умираніе было самымъ нахальнымъ образомъ прервано. Уже съ самаго начала открытія непріязненныхъ дѣйствій, съ появленіемъ первыхъ гиканій, я смутно почувствовалъ, что мое дѣло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я долженъ буду уступить силѣ обстоятельствъ. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ я могъ предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? Жаловаться на него—куда? И притомъ что-нибудь одно: или уми-

рать, или утруждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тѣмъ, и другимъ—развѣ это съ чѣмъ-нибудь согласно? Если же прибѣгнуть къ партикулярнымъ мѣрамъ взысканія, то и тутъ ничего не подѣлаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо—онъ утрется, своротишь ему скулу — онъ въ баню сходитъ и опять ее на старое мѣсто вправитъ. Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступись—онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще запоетъ: „Веселися, храбрый россъ!“ и заставитъ слушать себя стоя...

Въ одно прекрасное утро, взглянувъ въ окно, обращенное въ паркъ, я увидѣлъ, что по одной изъ расчищенныхъ для моихъ прогулокъ аллей ходятъ двое мужчинъ, посматриваютъ кругомъ хозяйскимъ глазомъ, мѣряютъ шагами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вглядѣвшись пристальнѣе, я узналъ въ посѣтителяхъ Разуваева и Граціанова. Вотъ они скрылись въ чащѣ, вотъ опять выглянули, подошли къ пруду, причемъ Разуваевъ сплюнулъ на посинѣвшій ледъ; вотъ подошли къ рѣшеткѣ, отдѣляющей огородъ отъ сада, и что-то высчитываютъ—должно быть, сколько тутъ грядъ можно обработать, и съ чѣмъ именно. Вотъ наконецъ они возвращаются, опять останавливаются и толкуютъ, вотъ подходятъ къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...

IV.—Finis Монрепо.

Когда продавецъ недвижимаго имущества входитъ въ сношенія съ покупателемъ, то совѣтуемъ первому не только не утаивать недостатковъ продаваемаго имѣнія, но объяснять оные съ полною откровенностью. Само собою, впрочемъ, разумѣется, что умный продавецъ никогда не скажетъ, что имѣніе его ничего не стоитъ, но сошлется или на недостатокъ капиталовъ, или на собственныя свои, владѣльца, невѣжество и нерадивость. Такая откровенность почти всегда удается, ибо всякій покупатель непремѣнно мнитъ себя агрономомъ, а ежели у него, вдобавокъ, есть нѣсколько лишнихъ тысячъ рублей, то къ таковому самомнѣнію обыкновенно присоединяется увѣренность, что по мѣрѣ размѣна крупныхъ ассигнацій на мелкія негодное имущество будетъ постепенно превращаться въ золотое дно. Одинъ нашъ знакомый, напримѣръ, такъ рекомендовалъ свое Монрепо лицу, интересовавшемуся пріобрѣтеніемъ онаго:

„Земля у меня,—писалъ онъ,—отчасти худородная, отчасти изъ песковъ состоящая, но ежели приложить трудъ, умѣніе и капиталъ, то... Баженовъ пишетъ: извѣстно, что даже зыбучіе пески, ежели... Совѣтовъ повѣствуетъ: ежели зыбучіе пески... Но въ особенности рекомендую нѣкоторыя подозрительнаго свойства залежи, которыхъ въ имѣніи очень достаточно и которыя, по недостатку капиталовъ, не были, къ сожалѣнію, подвергнуты изслѣдованію. Судя однакожъ по ржавчинѣ, покрывающей воды и ростущіе злаки, можно предположить“...

И что же! откровенность эта имѣла самый полный успѣхъ! Прошло очень немного времени, какъ въ Монрепо уже разгуливалъ новый владѣлецъ и въ свою очередь обдумывалъ наилучшую для онаго рекомендацію!

Изъ неизданнаго сочиненія: „Совѣты благоразумія при продажѣ земельныхъ недвижимыхъ имуществъ“.

Разуваевъ предсталъ передо мной радостный, румяный, свѣтлый. Онъ увѣренно протянулъ мнѣ руку, держа ее ладонью вверхъ.

— Ну, баринъ, по рукамъ!—воскликнулъ онъ, повидимому не питая ни малѣйшаго сомнѣнія, что именно эти самыя слова ему сказать надлежитъ.

— По какому случаю?

— Да такъ ужъ, хлопай! въ накладѣ не будешь! хорошее слово услышишь!

— Покуда что̀ услышу, а до тѣхъ поръ лучше было бы, кабы вы безцеремонность-то посократили.

Разуваевъ взглянулъ на меня, слегка подбоченился и грустно покачалъ головой.

— Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я на васъ, на баръ, все-то вы артачитесь!

И затѣмъ, вынувъ изъ кармана большой и туго набитый бумажникъ, присовокупилъ:

— Вотъ!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. Въ послѣднее время русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто на манеръ буржуазіи, то-есть новый культурный слой, состоящій изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцовъ и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ. Въ короткій срокъ эта праздношатающаяся тля успѣла опутать всѣ наши палестины; въ каждомъ углу она сосетъ, точитъ, разоряетъ и, вдобавокъ, нахальничаетъ. Въ большихъ центрахъ она теряется въ массѣ прочихъ праздношатающихся и потому не слишкомъ бьетъ въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это — ублюдки крѣпостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской.

Помѣщикъ, еще недавній и полновластный обладатель сихъ мѣстъ, исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, струсилъ и потому или бѣжалъ, или сидитъ, спрятавшись, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ побѣжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа-міроѣдъ смотритъ такъ, что только не говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ слопаю; даже попъ—и тотъ не идетъ къ нему славить по праздникамъ, ни о чемъ не докучаетъ, а при встрѣчахъ впадаетъ въ учительный тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовалъ при составленіи уставныхъ граматъ и не безъ грѣха утянулъ отъ крестьянскихъ надѣловъ, помѣщикъ не знаетъ, что̀ съ ними дѣлать, какъ ихъ сберечь. Видитъ самъ, что онъ къ дѣлу не приготовленъ, на выдумки не гораздъ, да притомъ и лѣнивъ, и что, слѣдовательно, что̀ бы онъ ни предпринялъ, ничего у него не выйдетъ. Между тѣмъ надо жить. И жить не власть имѣющимъ, не привилегированнымъ, а заурядnымъ партикулярнымъ человѣкомъ. И прежде былъ онъ негораздъ и нерективъ, но прежде у него былъ подъ руками „вѣрный человѣкъ“, который и распоряжался, и присматривалъ за него, а ему только денежки на столъ выкладывалъ: пей, ѣшь и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лѣтъ, какъ „вѣрнаго человѣка“ и слѣдъ простылъ. „Нѣтъ вѣрныхъ людей! пропалъ, изворовался вѣрный человѣкъ!“ —вопіютъ во всѣхъ концахъ разсѣянные остатки стариннаго барства, и вопіютъ не напрасно, ибо каждому изъ нихъ предстоитъ ухитить разрушающееся гнѣздо, да и въ домашнемъ обиходѣ дворянскій обычай соблюсти, то-есть имѣть чай, сахаръ, водку, табакъ. На все это потребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его добыть

тому, кто „вѣрнаго человѣка“ лишился и не успѣлъ проникнуть ни въ земство, ни въ мировыя учрежденія?

А „вѣрный человѣкъ“ притаился тутъ же подъ бокомъ и обростаетъ да обростаетъ себѣ полегоньку. Помѣщикъ, Сидоръ Кондратьичъ Прогорѣловъ, нѣкогда звалъ его Егоркой, потомъ сталъ звать Егоромъ Ивановымъ, потомъ — Егоромъ Иванычемъ, а теперь уже и прямо произноситъ полный титулъ: Егоръ Иванычъ господинъ Груздёвъ. Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратьича нѣсколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ — опуталъ ими деревню; Егоръ Иванычъ съѣздилъ въ городъ, узналъ, гдѣ раки зимуютъ, и открылъ кабакъ, а при немъ и лавку, въ качествѣ подспорья къ кабаку; а господинъ Груздёвъ ужъ о томъ мечтаетъ, какъ бы ему „банку“ устроить и въ концѣ родную палестину слопать. Тщетно Сидоръ Кондратьичъ изъ глубины взволнованной души вопіетъ: „давно ли Егорка при мнѣ въ прохвостахъ состоялъ!“ — на эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражаетъ: „одни это съ вашей стороны, Сидоръ Кондратьичъ, нестоющія слова!“

Однакожъ и Егорка выступаетъ на арену дѣятельности не Богъ знаетъ съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и невѣжественъ, и онъ ретивъ только галдѣть да зубы заговаривать. Но у него есть готовность кровопійствовать — и это значительно помогаетъ ему. Готовность эту онъ выработалъ еще въ то время, когда въ „подломъ видѣ“ состоялъ, но тогда онъ употреблялъ ее за счетъ своего патрона, и за это-то именно и получилъ титулъ „вѣрнаго человѣка“. Теперь онъ пользуется ею ужъ „для себя“, и пользуется, разумѣется, шире, рискованнѣе. Но, сверхъ того, у него есть и еще подспорье: онъ совсѣмъ не думаетъ о томъ, что̀ ожидаетъ его впереди. Можетъ быть, изъ него выйдетъ *господинъ* Груздёвъ, а можетъ быть онъ угодитъ въ острогъ. Разумѣется, лучше сдѣлаться *господиномъ* Груздёвымъ, но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живутъ. Не выгорѣло — только и всего; а чтобы совѣстно было или больно — ни капельки! Понятно, что, заручившись двумя столь драгоцѣнными качествами, онъ всякую мышь, всякую букашку, въ травѣ ползущую — все видитъ.

И вотъ наконецъ совершилось. Миновавши чудеснымъ образомъ каторгу, Егорка откуда-то добываетъ себѣ шитый мундиръ и окончательно дѣлается Егоромъ Иванычемъ господиномъ Груздёвымъ. Онъ пьетъ кровь уже въявь и въ то же время сознаетъ себя „столпомъ“. Все кругомъ „подражаетъ“ ему, заискиваетъ, льститъ. Уѣздныя власти заѣзжаютъ къ нему и по пути, и безъ пути, пьютъ въ его домѣ, закусываютъ и, въ случаѣ административныхъ затрудненій, прибѣгаютъ къ его помощи. Кто купитъ недоимщицкій скотъ? — Егоръ Иванычъ. Къ кому обратиться съ приглашеніемъ о пожертвованіи? — къ Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка чувствуетъ, какъ раскипается у нея сердце усердіемъ къ Егору Иванычу. Батюшка обѣдни не начинаетъ до пріѣзда его въ храмъ; волостной старшина совмѣстно съ писаремъ контракты для него сочиняютъ, коими закрѣпляютъ въ пользу его степенства всю волость, а сотскіе и десятскіе всѣ глаза проглядѣли, не покажется ли гдѣ Егоръ Иванычъ, чтобы броситься впередъ и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее „подражаніе“, Егорка начинаетъ больше и больше

входить въ азартъ. Онъ уже не разъ видѣлъ себя въ мечтахъ перебравшимся въ Петербургъ и оттуда дѣлающимъ экскурсіи „гля дебаширства“ въ Парижъ, Ниццу, Баденъ-Баденъ и проч.; но покуда это — еще идеалъ болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Покамѣстъ ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ Кондратьичъ словно бѣльмо на глазу у него торчитъ. Струсилъ онъ, захудалъ, а все-таки помнитъ, что Егорка въ прохвостахъ у него состоялъ. Да и гнѣздо у него такое насижено, какъ будто бы именно тутъ, а не въ иномъ мѣстѣ „господину“ быть надлежитъ. Знаетъ Егорка, что все это, въ сущности, пустяки, что не въ преданіяхъ прошлаго сила — и все-таки кипятится: какъ-ни-какъ, а надо Сидора Кондратьича изъ здѣшняго мѣста выкурить, надо гнѣздомъ его завладѣть. Ибо тогда и только тогда онъ воистину *господинъ* Груздёвъ будетъ.

Сказано — сдѣлано. Предпринимается цѣлый рядъ подвоховъ. Еще будучи въ „подломъ видѣ“, Егорка-вѣрный человѣкъ до тонкости вызналъ Сидора Кондратьича и очень хорошо понимаетъ, на какой струнѣ надлежитъ играть, чтобъ заставить его лѣзть на стѣну или ввергнуть въ уныніе. И вотъ не проходитъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ бывшій властитель сихъ мѣстъ видитъ себя лишеннымъ огня и воды и дѣлается притчей во языцѣхъ. Рабочіе къ нему не идутъ, поля у него не родятъ, коровы его не доятъ, овцы чихаютъ... дурракъ! Даже чернядь, которая спеціально рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочетъ, слушая анекдоты объ Егоркиныхъ подвохахъ и Прогорѣловскомъ простодушіи. А ежели не донимаютъ простые подвохи, то пускаются въ ходъ подвохи сложные, какъ-то: доносы, нашептыванья, раздаются слова: „книжки читаетъ“, „народъ смущаетъ“, „соблазнъ заводитъ“. Долго не вѣритъ Сидоръ Кондратьичъ ушамъ и глазамъ своимъ, но наконецъ убѣждается, что надо бѣжать, бѣжать безъ оглядки, сейчасъ...

Я не утверждаю, разумѣется, что все написанное выше составляетъ общее правило. Есть и тутъ исключенія, но ихъ такъ мало и они такъ своеобразны, что большинству, состоящему изъ простыхъ смертныхъ, трудно и мечтать о томъ, чтобъ попасть въ ряды счастливцевъ. Вотъ эти исключенія. Во-первыхъ, дѣятели земскихъ и мировыхъ учрежденій, потому что они сами всегда могутъ притѣснить; во-вторыхъ, землевладѣльцы изъ числа крупныхъ петербургскихъ чиновниковъ, потому что они могутъ содѣйствовать Груздёвскимъ предпріятіямъ и, сверхъ того, служить украшеніемъ Груздёвскихъ семейныхъ торжествъ, какъ-то: крестинъ, свадебъ и проч.; въ-третьихъ, землевладѣльцы изъ ряду вонъ богатые, считающіе за собой земли десятками тысячъ десятинъ, которые покуда еще игнорируютъ Груздёвыхъ и отсылаютъ ихъ для объясненій въ конторы; и въ-четвертыхъ, землевладѣльцы не особенно вліятельные, но обладающіе атлетическимъ тѣлосложеніемъ и способные произвести ручную расправу. Вотъ единственныя лица, предъ которыми новоявленный русскій буржуа до поры до времени не нахальствуетъ.

Повторяю: это совсѣмъ не тотъ буржуа, которому удалось неслыханнымъ трудолюбіемъ и пристальнымъ изученіемъ профессіи (хотя и не безъ участія кровопивства) завоевать себѣ положеніе въ обществѣ; это — просто праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивѣйшій забулдыга, которому, бла-

годаря слѣпой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кишащія вокругъ него массы „рохлей“, „ротозѣевъ“ и „дураковъ“.

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ сказать, на линіи Груздёвыхъ. По крайней мѣрѣ идея грабежа была уже вполнѣ имъ усвоена. Я зналъ его очень давно, еще въ то время, когда онъ состоялъ дворовымъ человѣкомъ моего сосѣда по прежнему имѣнію, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваевъ, молодой и красивый парень, пользовался довѣріемъ корнетши Отлетаевой, а камеристка послѣдней, Аннушка, тоже молодая и красивая дѣвица, пользовалась таковымъ же довѣріемъ со стороны самого корнета. Года два или три эти люди жили вполнѣ безмятежно, довольные собой, какъ вдругъ эмансипація все это счастье перевернула вверхъ дномъ. И Анатолій, и Аннушка тотчасъ же и на-отрѣзъ отказались отъ наперсничества, хотя корнетъ и корнетша доказывали, что имѣютъ право и еще въ теченіе двухъ лѣтъ пользоваться ихъ услугами. Дѣло не обошлось безъ формальнаго разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тѣмъ, что возмутившимся „хамамъ“ выданы были увольнительныя свидѣтельства. Немедленно послѣ этого молодая чета вступила въ законный бракъ, а затѣмъ и навсегда исчезла изъ родовыхъ палестинъ. И вотъ, спустя пятнадцать лѣтъ, я вновь встрѣтился съ ними, и встрѣтился какъ чужой, потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движеніемъ не выдалъ, что когда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но въ эту минуту нахальство Разуваева какъ-то непріятно на меня подѣйствовало. Къ сожалѣнію, ежели я способенъ понимать (а стало быть и оправдывать) извѣстныя жизненныя явленія, то не всегда имѣю достаточно выдержки, чтобы относиться къ нимъ объективно, когда они становятся ко мнѣ лицомъ къ лицу. Поэтому я вмѣсто отвѣта указалъ Разуваеву на дверь, и онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же послѣдовалъ моему молчаливому приглашенію.

Но тутъ-то именно и начались для меня глупѣйшія испытанія. Вечеромъ того же дня явился Лукьянычъ и вмѣсто того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступилъ въ собесѣдованіе.

— Разуваева-то вы давеча прогнали?

— Я его къ себѣ не приглашалъ, а стало быть и отъ себя не прогонялъ. А такъ-какъ онъ ворвался ко мнѣ нахаломъ, то, разумѣется, я...

— Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьянычъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, переступилъ съ ноги на ногу и какъ-то особенно пошевелилъ плечами. Значитъ, будетъ продолженіе.

— А онъ къ вамъ за дѣломъ пріѣзжалъ.

— Да, показывалъ бумажникъ; вотъ за это-то я и указалъ ему на дверь.

— Угоду онъ у васъ купить охотится—оттого и бумажникъ показывалъ. Чтобъ, значитъ, сумленія вы не имѣли.

— А коли дѣло хочетъ дѣлать, такъ долженъ говорить по-человѣчьему, а не махать бумажникомъ у меня передъ глазами.

— Такъ-то оно такъ.

Опять минута молчанія и опять переступаніе съ ноги на ногу.

— Нехорошо въ здѣшнемъ мѣстѣ, нескладно.

— Что такъ?

— Народу настоящаго нѣтъ. Мелкій народъ, гадёнокъ. Глаза бѣлые, лопочутъ по своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни отъ него резонъ выслушать... право...

— Такъ вѣдь это не со вчерашняго дня.

— То-то, говорю: нехорошо здѣсь. Сидишь, молчишь — того гляди, остàтній умъ промолчишь.

— Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что-ли, разговаривалъ?

— А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ.

— Ну, хорошо; продать такъ продать. А куда потомъ дѣваться? надо же гдѣ-нибудь помирать?

— Я въ свое мѣсто уйду, къ Успленью-Матушкѣ.

— А я куда уйду?

— Неужто жъ мѣстовъ не найдется!

— То-то вотъ и есть, что нынче нигдѣ притаиться нельзя. Только-что затворишься—смотришь, анъ кто-нибудь и заглянулъ.

— Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорилъ я тогда: не нужно мужикамъ Свѣтлички отдавать — нѣтъ, отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинокъ — въ самую могуту! И лѣсокъ березовый по ней, грибовъ сколько, все бѣлые. Все село туда за грибами ходитъ. Выстроили бы тамъ домòкъ, въ препорцію; какъ захотѣли, такъ и жили бы.

— Да ты къ чему это говоришь? уйти, что-ли, отъ меня хочешь?

— Уйти мнѣ отъ васъ никакъ невозможно. Я покойному вашему папенькѣ образъ снималъ, чтобъ быть, значитъ, завсегда при васъ. А только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо здѣсь.

— Стало быть, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно.

— И опять искать?

— И опять сыскать можно. Только ужъ надо съ умомъ. Чтобъ Разуваевыхъ, значитъ, не было. Вонъ онъ и теперь свищетъ да гамитъ по ночамъ, а лѣтомъ, пожалуй, и вовсе въ трубу трубить будетъ... По прежнему, по старинному, въ шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не дозволено.

— Чудакъ! да вѣдь и тамъ, и во всякомъ мѣстѣ свой Разуваевъ найдется!

— На что такое мѣсто выбирать? Надо такое изобрать, чтобы никѣмъ никого опричь своихъ. Живемъ, значитъ, одни, ни мы никого не замаемъ, ни насъ никто не замай. Вотъ какое мѣсто искать нужно.

— Ну, прощай покуда.

— Спокойной ночи-съ.

Всю ночь я не могъ заснуть. Все мнѣ представлялся вопросъ: въ самомъ дѣлѣ, что я буду дѣлать, если Разуваеву вздумается по ночамъ въ трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно быть, ужъ

это судьба такая: насчетъ чтеніевъ строго, а въ трубу трубить у сосѣда подъ ухомъ — можно. Весь арсеналъ воздѣйствій, кажется, во всякое время на-лицо: и ежовыя рукавицы, и бараній рогъ, и злачныя мѣста — а кому они служатъ защитой? Хорошо еще, что не всѣ знаютъ, что озорничать свободно — иначе всѣ, у кого мало-мальски досугъ есть, непремѣнно затрубили бы въ трубы. Какъ тутъ быть? неужто приносить жалобы, подавать прошенія, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто, наконецъ, бѣжать?

И на другой день утромъ голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени посматривалъ въ окно, словно желая удостовѣриться: все ли стоитъ на старомъ мѣстѣ и не бѣжало ли къ Разуваеву? Мартъ подходилъ уже къ концу; время стояло хмурое, хотя въ воздухѣ все-таки чуялась близость весны. Деревья въ паркѣ стояли обнаженныя, мокрыя; на цвѣтникѣ, передъ домомъ, снѣгъ посинѣлъ и, весь источенный, долеживалъ послѣдній срокъ; дорожки, по мѣстамъ, пестрѣли желтыми пятнами; нѣсколько поодаль, на огородѣ виднѣлись совсѣмъ черныя гряды, а около парниковъ шла усиленная дѣятельность. За зиму рабочій людъ отдохнулъ и приготовлялся къ серьезному труду. Вотъ и я зиму отдохнулъ и приготовляюсь продолжать отдыхать и лѣтомъ. Какой отдыхъ пріятнѣе: зимній или лѣтній? — оба въ своемъ родѣ хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ туфляхъ изъ комнаты въ комнату; лѣтомъ хорошо отдыхать, бродя по аллеямъ и внимая пѣнію зябликовъ и чижей. Но ежели все сложилось такъ хорошо — зачѣмъ же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право онъ имѣетъ прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мѣшаю и что вообще я здѣсь не ко двору?

Среди этихъ сѣтованій явился давно небывалый гость: батюшка. На вопросъ: чѣмъ потчивать? онъ только горько усмѣхнулся, какъ бы вопрошая: а какіе теперь дни? забылъ?

— Не полагается?

— То-то, что не полагается. И изъ мірянъ благочестивые — и тѣ ни вина, ни елея не дерзаютъ.

Мы оба нѣсколько минутъ помолчали, слегка удрученные.

— Былъ я у васъ на мельницѣ, — началъ батюшка: — полезное заведеньице!

— Выгоды мало приноситъ, батюшка.

— И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помольцевъ мало, самимъ по осени, въ дешевое время, зерно можно скупать, а весной, въ дорогое время, мукой продавать — убытка не будетъ. Вотъ тоже огородъ у васъ. Мѣсто обширное: сколько одной овощи насадить можно, окромя ягодъ и всего прочаго!

— И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной выгоды. Сами, должно быть, потребляемъ, а на сторону мало продаемъ.

— И на сторону можно бы продавать, коли съ разумѣніемъ. Возьмемъ хоть бы ягоды: земляница, малина, смородина — на все покупщикъ найдется.

— Кабы былъ покупщикъ — отчего бы не продать!

— Искать, сударь, надо — и найдется. Толцыте и отверзется. По здѣшнему мѣсту да покупщика не сыскать! Да тутъ на одномъ огурцѣ фортуну сдѣлать можно.

Однакожъ воспоминаніе объ овощахъ (особенно ежели съ елеемъ) повидимому подѣйствовало на батюшку раздражительно. Онъ слегка поперхнулся, провелъ рукою по волосамъ, какъ бы отгоняя „мечтаніе“, потомъ вздохнулъ и перешелъ къ злакамъ.

— Вотъ тоже луга у васъ. Мѣсто здѣсь потное, доброе, только ума требуетъ. А вы сѣете-сѣете, и все у васъ кислица замѣсто тимоѳеевки родится.

— Такъ, стало быть, Богу угодно, батюшка.

— Знаю, что безъ Бога нельзя. Прогнѣвлять его не слѣдуетъ — вотъ что̀ главнѣе всего. А затѣмъ и самому необходимо заботу прилагать, дабы Богъ на наши благополезные труды благосерднымъ окомъ взиралъ. Вотъ тогда будетъ родиться не кислица, а тимоѳеева трава.

— Что жъ, батюшка, кажется, я ничего такого не дѣлаю, за что̀ бы Богу гнѣваться на меня.

— То-то и есть, что „не дѣлать“-то мы всѣ мастера, а нужно „дѣлать“, да только такъ „дѣлать“, чтобъ Богу пріятно было. Тогда у насъ будетъ кормовъ изобиліе: и сами будемъ сыты, и скотины не изобидимъ. Скажемъ, напримѣръ, о картофелѣ. Плантаціи вы завели значительныя, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а между прочимъ добрую половину свиньямъ скормили. Свиньи же, по неимѣнію борова, плода не принесли.

Послѣднее замѣчаніе поразило меня. Въ самомъ дѣлѣ, меня преслѣдуетъ неудача особаго рода. На скотномъ дворѣ у меня мужской плодъ положительно не въ авантажѣ. Третій годъ, напримѣръ, мы ищемъ селезня для утокъ, и что̀ ни купимъ — опять окажется утка. И вотъ, вслѣдствіе этого преобладанія женскаго элемента надъ мужскимъ, куры не несутся, коровы доятъ мало и телятся не каждогодно. А одна корова такъ положительно добродѣтельная. Въ теченіе четырехъ лѣтъ всего одинъ разъ телилась, да и то самымъ необыкновеннымъ образомъ. Никто ничего не подозрѣвалъ, а она между тѣмъ однажды вечеромъ не пришла со стадомъ домой, а на утро, только солнышко встало, слышимъ: мычитъ, умница, у воротъ, а за нею теленочекъ. Радостямъ и изумленіямъ не было конца. „Вотъ умница, вотъ красавица! и гдѣ это она?“ сыпалось на нее со всѣхъ сторонъ, и всякій спѣшилъ чѣмъ-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я, и подарилъ „Умницѣ“ „Домашнюю Бесѣду“ за цѣлый годъ. Но съ тѣхъ поръ „Умница“ ни гугу. Покушаетъ, ляжетъ, взглянетъ на небо, зажмуритъ глаза — и только. Не разъ я спрашивалъ у Лукьяныча, что̀ за причина такая? Но у него всегда одинъ отвѣтъ: либо — „стало быть, пѣтухи своево дѣла не понимаютъ“, либо — „стало быть, быкъ не солощъ попался“. Прекрасно; но кто же долженъ за этимъ наблюдать?!

Разумѣется, въ виду этихъ фактовъ я ничего дѣльнаго на укоризны батюшки возразить не могъ.

— Опять же лѣсъ, — продолжалъ между тѣмъ батюшка: — съ тѣхъ поръ, какъ имѣніе къ вамъ перешло, онъ даже въ ростѣ прибавляться пересталъ. Мужики въ немъ жерднякъ рубятъ, бабы — вѣники рѣжутъ. А ежели бы этотъ самый лѣсъ да въ надежныя руки — онъ бы процентъ принесъ!

Я молчалъ, потому что сознавалъ батюшкину правду, какъ она ни была

для меня обидна. А батюшка все больше и больше хмурилъ брови и началъ даже разжизаться.

— Куры не несутся,—говорилъ онъ негодующимъ голосомъ:—коровы молока не даютъ, поля не родятъ, мельница издержекъ не окупаетъ, лѣсъ надлежащаго прироста не даетъ—по вашему, какъ это называется?

Я такъ и ждалъ, что онъ вынетъ изъ кармана листокъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и закричитъ: „измѣна!“

— А по моему,—продолжалъ онъ:—это и для правительства прямой ущербъ. Правительство источниковъ новыхъ не видитъ, а стало быть и въ обложеніяхъ препону находитъ. Въ случаѣ, напримѣръ, войны — какъ тутъ быть? А окромѣ того и мѣстность здѣшняя терпитъ. Сколькимъ сирымъ и неимущимъ было бы существованіе обезпечено, еслибъ съ вашей стороны приличное направленіе сельско-хозяйственной дѣятельности было дано! А вѣдь и по христіанству, сударь, грѣшно сирыхъ не призирать.

Батюшка опять-таки былъ правъ; но такъ-какъ онъ разсердился, то, по закону возмездія, счелъ нужнымъ разсердиться и я.

—Ну-ну, батя!—сказалъ я:—увѣщевать отчего не увѣщевать, да не до седьмого пота! Куры яицъ не несутъ, а онъ правительство приплелъ... ишь вѣдь! Вотъ я намеднись въ газетахъ читалъ: такой же батя, какъ и вы, опасеніе выражалъ, дабы добрыя сѣмена не были хищными птицами позобаны. Хотъ я и не приравниваю себя къ „добрымъ сѣменамъ“ — гдѣ ужъ! —а сдается, будто вы съ Разуваевымъ сзобать меня собрались.

— Что вы! Христосъ съ вами! — смягчился батюшка: — я вѣдь для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ благопоспѣшенія нѣтъ, думаю: кому же, какъ не пастырю, о семъ предстательствовать!

— Нѣтъ, вы лучше прямо скажите: Разуваетъ васъ ко мнѣ подослалъ?

Батюшка слегка крякнулъ и ужъ совсѣмъ было-сконфузился, но сейчасъ же впрочемъ оправился.

— А хоть бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него препорученія не принять, ежели изъ того обоюдная польза произойти должна? Въ сихъ случаяхъ пастырю даже въ обязанность вмѣняется...

— Позвольте, да развѣ я въ газетахъ публиковалъ или кому сказывалъ, что дачу продаю?

— Объ этомъ, конечно, не слыхалъ, а только для всѣхъ видимо. Призору настоящаго нѣтъ, предпріятій тоже не видится—вотъ и сдается, словно бы дѣло къ недальнему концу приближается.

— Вы такъ полагаете?

— Вмѣстѣ съ прочими и я. Нерѣдко мы съ попадьей про васъ поминаемъ: совсѣмъ не такъ господинъ устроился, какъ ему надлежитъ! Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, сударь, вамъ за экой угодой самимъ вездѣ усмотрѣть?

— А какъ бы, по вашему, мнѣ устроиться надлежало?

— Да такъ думается: десятинки двѣ-три не больше; домичекъ небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохладности... чисто, аккуратно! А изъ живности: курочекъ съ пятокъ, ну, коровка, чтобъ молочко свое было.

— За этимъ, значитъ, я буду въ состояніи усмотрѣть?

— Гдѣ и сами присмотрите, а гдѣ и Лукьянычъ поможетъ. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтобъ за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорилъ мнѣ вчера Лукьянычъ. Да я и самъ — развѣ я, въ сущности, когда-нибудь мечталъ о другомъ! Пять курочекъ и одна коровка — вотъ все, что мнѣ нужно, все, съ чѣмъ я могу справиться! Да и это нужно совсѣмъ не для того, что оно, въ самомъ дѣлѣ „нужно“, а только для того, чтобъ около дома не было ужъ черезчуръ безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, кудахтало. Взялъ бы я въ товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слушалъ бы, какъ они, съ утра прикончивъ съ дѣлами, взапуски зѣваютъ и чешутся спинами объ дверные косяки. И мнѣ было бы хорошо, и всѣмъ было бы хорошо. Правительство находило бы новые источники, а Разуваевъ призиралъ бы сирыхъ и неимущихъ, предоставляя имъ пахать землю, полоть гряды въ огородѣ и проч. Тѣмъ не менѣе я не рѣшился въ эту минуту сознаться передъ батюшкой, что онъ отгадалъ мои тайныя помышленія.

— Благодарю за предику, — сказалъ я: — но откровенно сознаюсь, что таковыя бываютъ пріятны лишь во благовременіи. Такъ и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка взаправду огорчился и даже слегка побѣлѣлъ въ лицѣ. Онъ поспѣшно засучилъ рукава своей ряски, взялъ шляпу и сталъ искать глазами образа.

— Образокъ-то маленькій!—сказалъ онъ:—сразу и не отыщешь!

Онъ произнесъ это съ улыбочкой, что впрочемъ, не мѣшало мнѣ прочесть на его лицѣ: „МАТЕРІАЛЫ!! Правительству новыхъ источниковъ дохода не предоставляетъ—первое; пастырей духовныхъ не чтитъ и совѣтами ихъ небрежетъ—второе“.

— Говѣть-то будете?—спросилъ онъ уже совсѣмъ умиленнымъ голосомъ.

— Я, батюшка, въ городѣ...

Онъ радушно пожалъ мнѣ руку на прощанье, но увѣренію моему вѣры не далъ, и на лицѣ его я прочиталъ новый „матеріалъ“: „утверждаетъ, якобы говѣлъ въ городѣ, но наврядъ ли—третье“.

Распростившись съ батюшкой, я вышелъ изъ дому и направился въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидѣлъ садовникъ Артемій, порядочно навеселѣ, и ропталъ.

— Какой это навозъ?—вопіялъ онъ:—развѣ на такомъ навозѣ можетъ настоящая обощь вырости?

Съ этими словами онъ нагнулся, зачерпнулъ изъ парника рукой и поднесъ горсть къ самому моему лицу.

— Вотъ, сударь, извольте смотрѣть!

И затѣмъ, не выжидая моего отвѣта, продолжалъ:

— Навозъ для парниковъ долженъ быть конскій, чистый... одно чтобы кало! А у насъ какъ? Я говорю: давай мнѣ навозу чистаго, чтобы, значитъ, все одно какъ печь, а Лукьянычъ: „ступай въ свиной хлѣвъ, тамъ про тебя много припасено!“ Развѣ такъ возможно... ахъ-ахъ-ахъ!

— Ну, старикъ, какъ-нибудь...

— Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и васъ за эти самыя слова похвалить нельзя. Потому я — садовникъ, и всякій, значитъ, беретъ это въ разсужденіе. Теперича вы, напримѣръ, усадьбу свою продавать вздумали... хорошо! Приходитъ, значитъ, покупатель, и первымъ дѣломъ: садовникъ! кажи парники! Что я ему покажу? А почему, скажетъ, въ парникахъ у тебя ничего не ростетъ? А?

Но я уже шелъ дальше, на скотный, и только слышалъ, какъ въ догонку мнѣ укоризненно раздавалось:

— Я выпилъ... это дѣйствительно! да вѣдь не на ваши, а на свои... ахъ, господинъ, господинъ!

На скотномъ меня ждала радость: „Умница“ опять отелилась.

— Телочку принесла... пестренькую! — радовалась старуха Матрена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и прибавила:—а по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

— Отчего такъ?

— Все равно рѣзать велите; бычка не такъ бы жалко.

— Почему же ты думаешь, что я рѣзать велю?

— Такъ неужто жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, толстомясаго, и старыхъ коровъ. Вонъ и Машка пороситься собралась — стало быть, и поросятъ для Разуваева беречи будете?

Рѣшительно, даже кругомъ меня, и въ домѣ, и во дворѣ, все въ заговорѣ. Положимъ, это не злостный заговоръ, а, напротивъ, унылый, жалѣющій, но все-таки заговоръ. Никто въ меня не вѣритъ, никто отъ меня ничего солиднаго не ждетъ. Вотъ Разуваевъ — другое дѣло! Этотъ подтянетъ! Онъ свиной навозъ въ конскій обратитъ! онъ заставитъ коровъ доить! онъ такого пѣтуха предоставитъ, что куры только ахнутъ!

Всѣ боятся Разуваева, никто не любитъ его, и въ то же время всѣ сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода, какъ рабочіе мои предчувствуютъ это, и въ моихъ глазахъ самымъ заискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая мою экскурсію, прихожу къ сѣнному сараю; тамъ работники: первый Иванъ да другой Иванъ прошлогоднее сѣно перебиваютъ и для чего-то съ одной стороны на другую его перетаскиваютъ.

— Что это вамъ вздумалось?

— Ѳедотъ Лукьянычъ велѣлъ.

— Зачѣмъ?

— У насъ спереди-то съ гнильцой сѣно лежало, а сзади зеленое, вѣдренное; такъ теперь похуже-то сѣно къ стѣнѣ переложимъ, а хорошее будетъ впереди.

— Сами себя, стало быть, тѣшить хотите?

— Нѣтъ, а на случай ежели примѣрно покупатель...

Я прекращаю разговоръ и спрашиваю:—гдѣ Лукьянычъ?

— Съ Андреемъ за рѣку въ лѣсъ пошелъ.

— Зачѣмъ же Андрея взялъ?

— У насъ въ прошломъ году за рѣкой порубочка была, такъ хворостку пошли на это мѣсто покидать, чтобъ покупателю, значитъ...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ. „Неужто же я въ самомъ дѣлѣ продаю? спрашиваю я себя. Ежели продаю, то какимъ же образомъ я какъ будто не сознаю этого? ежели же не продаю, такъ вѣдь это просто разоренье: никто никакой работы не дѣлаетъ, а всѣ только дыры замазываютъ да приготовляются кому-то показать товаръ лицомъ“.

— Стакнулись что-ли вы съ Разуваевымъ! — накинулся я на Лукьяныча, какъ только увидѣлъ его.

— Зачѣмъ съ Разуваевымъ! Свѣтъ не клиномъ сошелся; можетъ, и окромя покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой увѣренностью, что мнѣ ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумѣется, молчать—самое лучшее. Но какъ молчать, когда булавки со всѣхъ сторонъ такъ и впиваются въ васъ? какъ молчать, ежели комнаты нетоплены, ежели вы ежечасно рискуете остаться въ положеніи человѣка, выброшеннаго на необитаемый островъ, ежели самыя обыкновенныя жизненныя удобства ежеминутно грозятъ сдѣлаться для васъ недоступными?

Я знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но развѣ я одинъ? Развѣ такія руины, какъ я, не считаются тысячами, десятками тысячъ? руины, жалобно вымирающія по своимъ угламъ? руины, питающіяся крупицами, остающимися отъ трапезы міроѣдовъ? руины, ежеминутно готовыя превратиться въ червонныхъ валетовъ?

Предположите, что я представляю собой типъ старокультурнаго человѣка средняго пошиба, не обладающаго сильными матеріальными средствами, но и не совсѣмъ обдѣленнаго; человѣка, помнящаго крѣпостное право съ его привольями; человѣка, смолоду выработавшаго себѣ потребность извѣстныхъ удобствъ; человѣка, ни къ какому дѣлу не приготовленнаго (ибо и дѣла въ то время не предвидѣлось), и—что̀ важнѣе всего—человѣка, совершенно неспособнаго къ физическому труду. Сей человѣкъ ни въ чемъ не можетъ лично помочь себѣ; онъ не можетъ сдѣлать шагу въ жизни безъ того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно нѣсколько человѣкъ, которые постоянно заботились бы о томъ, чтобы онъ былъ накормленъ, одѣтъ, обутъ, не задохся отъ собственныхъ міазмовъ, не закоченѣлъ отъ холода. Чтобы связать эти постороннія существованія съ своимъ, онъ долженъ имѣть на-готовѣ приманку, то-есть деньги, и эти деньги, въ большинствѣ случаевъ, опять-таки добыть при помощи постороннихъ людей. Но развѣ эти люди, которыхъ онъ заманиваетъ деньгою, не понимаютъ, что они существуютъ не для себя? развѣ есть возможность устроить такой миражъ, который заставлялъ бы ихъ думать, что, соблюдая мою выгоду, холя и покоя меня, они не мою выгоду соблюдаютъ, а свою, не меня покоятъ и холятъ, а себя?

Даже при крѣпостномъ правѣ такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совсѣмъ ясно, что только нужда можетъ заставить посторонняго человѣка принять участіе въ холеніи другого человѣка, хотя бы и „барина“. А ежели нужда, то, стало быть, надлежитъ удовлетворять ей вотъ до этой черты и ни на волосъ больше. И вотъ затѣвается борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая игра въ прятки, въ неохоту, въ нехотѣніе. Допустимъ, что подневольный человѣкъ въ этой борьбѣ ничего не выиграетъ,

что онъ все-таки и впередъ останется прежнимъ подневольнымъ человѣкомъ, но вѣдь онъ и безъ того никогда ничего не выигрываетъ, и безъ того онъ осужденъ „слезы лить“ — стало быть, какой же ему, все-таки, резонъ усердствовать и потрафлять? А культурный человѣкъ проигрываетъ положительно. Не говоря уже о матеріальныхъ ущербахъ, чего стоютъ нравственныя страданія, причиняемыя вѣчно-присущимъ страхомъ безпомощности?

Сапоги нечищены, комнаты нетоплены, обѣдъ неготовленъ — вотъ случайности, среди которыхъ живетъ культурный обитатель Монрепо. Случайности унизительныя и глупыя, но для человѣка, не могущаго ни въ чемъ себѣ помочь, очень и очень чувствительныя. И что всего мучительнѣе — это сознаніе, что только благодаря тому, что подневольный человѣкъ еще не вполнѣ уяснилъ себѣ идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затѣмъ, какъ человѣкъ, возлежавшій на лонѣ крѣпостного права и питавшійся его благостынями, я помню, что у меня были „права“, и притомъ въ такихъ безграничныхъ размѣрахъ, въ какихъ никогда самая свободная страна въ мірѣ не можетъ надѣлить излюбленнѣйшихъ дѣтей своихъ. Ибо что можетъ быть существеннѣе, въ смыслѣ экономическомъ, права распоряжаться трудомъ посторонняго человѣка, распоряжаться легко, безъ предварительныхъ подвоховъ, просто: „пойди и сработай то-то!“ Или что можетъ быть дѣйствительнѣе, въ смыслѣ политическомъ, какъ право распоряжаться судьбой посторонняго человѣка, право по усмотрѣнію воздѣйствовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобныя „права“ нравственны — это вопросъ особый, который я охотно разрѣшаю въ отрицательномъ смыслѣ, но несомнѣнно, что права существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности извѣстнаго жизненнаго строя суть вопросы высшаго порядка, которые и натурамъ свойственны высшимъ. Только абсолютно-чистыя и высоко-нравственныя личности могли, въ пылу „пользованія“, волноваться такими вопросами и разрѣшать ихъ радикально. Средній же культурный человѣкъ, даже въ томъ случаѣ, ежели чувствовалъ себя кругомъ виноватымъ, считалъ дѣло удовлетворительно разрѣшеннымъ, если ему удавалось въ свои отношенія къ подневольнымъ людямъ ввести такъ-называемый патріархальный элементъ и за это заслужить кличку „добраго барина“. Онъ никогда не былъ героемъ и ясно понималъ только одно, что за предѣлами крѣпостного права его ожидаетъ неумѣлость и безпомощность. И потому старался отвѣчать на запросы совѣсти не прямыми разрѣшеніями, а лукавыми поддѣлками. Поддѣлки эти отнюдь не обѣляли его, а скорѣе обнаруживали безхарактерность и слабость; но даже и за эту безхарактерность онъ держался цѣпко, какъ за что-то оправдывающее или, по малой мѣрѣ, смягчающее. И съ этою же безхарактерностью остался и теперь, когда на практикѣ увидѣлъ свою безпомощность, неумѣлость и сиротливость.

Мнѣ скажутъ, что это типъ вымирающій — это правда, но, увы! онъ еще не вымеръ. И еще скажутъ, что это типъ несимпатичный — и это правда, но и это не мѣшаетъ ему существовать. Притомъ же онъ далъ отпрыскъ. Я надѣюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ нѣсколько иного характера, но покуда онъ еще не настолько опредѣлился, чтобы заключать объ его при-

годности къ жизни въ тѣхъ хищническихъ формахъ, въ какихъ она сложилась въ послѣднее время. Мнѣ кажется даже, что то характеристическое условіе, которое мы привыкли связывать съ представленіемъ о культурности, то-есть отсутствіе возможности обойтись безъ посторонней услуги, существуетъ и для отпрыска въ той же силѣ, какъ и для стараго, отживающаго дерева.

Не знаю, какъ кому, а на мой взглядъ, ежели по обстоятельствамъ нѣтъ другого выбора, какъ или быть „рохлей“, или быть „кровопивцемъ“, то я все-таки роль „рохли“ нахожу болѣе приличною.

Какъ культурный человѣкъ средняго пошиба, я мирно доживаю свой вѣкъ въ деревнѣ. Я выбралъ деревню, во-первыхъ, потому, что городская жизнь для меня несподручна, во-вторыхъ, потому, что я имѣю привязанность къ „своему мѣсту“, и, въ-третьихъ, потому, что я имѣю наклонность къ унынію, и нигдѣ такъ полно не могу удовлетворить этой потребности, какъ въ деревнѣ. Затѣмъ, какъ человѣкъ старокультурный, я никому ненуженъ и даже ни для кого непонятенъ. Я не имѣю достаточно денегъ, чтобы призирать сирыхъ и неимущихъ, и тѣмъ менѣе, чтобы веселить сердца Осьмушниковыхъ и Колупаевыхъ, забирая у нихъ на книжку водку и колоніальный товаръ. Я не имѣю достаточно знаній, чтобы подѣлиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконецъ, я говорю совсѣмъ другимъ языкомъ и, вдобавокъ, оказался даже недостойнымъ принять участіе въ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ. Все это ставитъ меня въ совершенную невозможность что-нибудь предпринять и въ какомъ бы то ни было смыслѣ играть дѣятельную роль. И я, дѣйствительно, не только не „дѣйствую“, а просто-на-просто сижу и ничего не дѣлаю. Имѣю ли я право на это?

Въ глазахъ закона я это право имѣю. Я знаю, что было бы очень некрасиво, еслибъ вдругъ всѣ стали ничего не дѣлать; но такъ какъ мнѣ достовѣрно извѣстно, что существуютъ на свѣтѣ такіе неусыпающіе черви, которымъ никакъ нельзя „ничего не дѣлать“, то я и позволяю себѣ маленькую льготу: съ утра до ночи отдыхаю одѣтымъ, а съ ночи до утра отдыхаю въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Повидимому и закону все это отлично извѣстно, потому что и онъ съ меня за мое отдыханіе никакого взыска не полагаетъ.

Оказывается однакожъ, что и ничегонедѣланіе представляетъ своего рода угрозу. „Ничего-то не дѣлать всѣ мы мастера,—говоритъ батюшка:— а надобно дѣлать, и притомъ такъ, чтобы Богу было пріятно“. И при этомъ умиленнымъ гласомъ вопрошаетъ: „а говѣть будете?“ Ахъ, батюшка, батюшка! да какъ же мнѣ быть, ежели я иначе жить не умѣю, ежели съ пеленокъ все говорило мнѣ о ничегонедѣланіи, ежели это единственный грузъ, которымъ я успѣлъ запастись въ жизни и съ которымъ добрелъ до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крѣпостномъ правѣ возглашали: „рабы, господамъ повинуйтеся и послужите имъ въ веселіи сердца вашего“? Да, наконецъ, съ которыхъ же поръ нищіе духомъ, ротозѣи, рохли, простофили, дураки начали стоять на счету враговъ отечества?

А Граціановъ такъ даже положительно подозрѣваетъ, что если я „ничего не дѣлаю“, то это значитъ, что я фрондирую. Или, въ переводѣ на русскій языкъ: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохорюсь, пѣтушусь, кажу кукишъ въ карманѣ (вотъ какое богатство синонимовъ!). И все это, какъ истинно

лукавый и опасный человѣкъ, дѣлаю „промежду себя“. Допустимъ однакожъ, что это такъ. Допустимъ, что я дѣйствительно „недоволенъ“ и съ своей личной точки зрѣнія, и съ болѣе общей, философской. Допустимъ, что я, возлежа на одрѣ, читаю Кабе, Маркса, Прудона и даже — horribile dictu! — такую заразу, какъ „Впередъ“ или „Набатъ“. Но развѣ быть недовольнымъ „промежду себя“ воспрещено? Развѣ гдѣ-нибудь написано: вмѣняется въ обязанность быть во что бы то ни стало довольнымъ? Наконецъ, развѣ погибнутъ государство, общество, религія отъ того, что я... кажу кукишъ въ карманѣ?

Граціановъ думаетъ, что погибнутъ, а вслѣдъ за нимъ также думаютъ: Осьмушниковъ, Колупаевъ, Разуваевъ. Всѣ они, вмѣстѣ взятые, не понимаютъ, что̀ значатъ слова: государство, общество, религія, но трепетать готовы. И вотъ они бродятъ около меня, киваютъ на меня головами, шепчутся и только что не въ глаза мнѣ говорятъ: уйди!

Да, трудно себѣ представить, какая существуетъ масса людей средняго пошиба, людей, ничѣмъ не прославившихся, но и ни въ чемъ не проштрафившихся, которымъ жить тошно. Къ прирожденной безпомощности, неумѣлости и сиротливости въ послѣднее время присоединились еще намеки и покиванія. Можно ли представить себѣ существованіе менѣе защищенное? Конечно, можно, скажутъ мнѣ — и укажутъ на мужика. Но, по моему мнѣнію, мужикъ уже до того незащищенъ, что тутъ самая незащищенность почти равняется защищенности. А вѣдь культурному человѣку съизмлада говорили: „ты — краса вселенной, ты — соль земли!“ — и вдругъ является какой-нибудь уроженецъ ретироднаго мѣста и безъ околичностей говоритъ: „уйди.... сочувствователь!“

„Сочувствователь“ — это новое модное слово, которое стремится затмить „нигилистовъ“ и которое исключительно имѣетъ въ виду людей культуры. Вмѣсто обвиненія въ фактѣ является обвиненіе въ сочувствіи — и дешево, и сердито. Обвиненіе въ фактѣ можно опровергнуть, но какъ опровергнуть обвиненіе въ „сочувствіи“? Желаніе понять и выяснить извѣстное явленіе въ ряду условій, среди которыхъ оно народилось — сочувствіе ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждаютъ во всеуслышаніе, что все это — сочувствіе. Кто же эти люди? — это граждане ретирадныхъ мѣстъ, которые, благодаря смутѣ, вышли изъ первобытнаго заключенія и, всѣ пропитанные вонью его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которымъ необходимо поддерживать смуту и питать пламя человѣконенавистничества, ибо они знаютъ, что не будь смуты, умолкни ненависть — и имъ вновь придется сдѣлаться гражданами ретирадныхъ мѣстъ.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающихъ людей старокультурнаго закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь въ окрестностяхъ питейнаго дома, въ области объегориванья, среди Осьмушниковыхъ, Колупаевыхъ и прочихъ столповъ; я знаю, что на нихъ покоятся всѣ упованія, что съ ними дружитъ все, что̀ не хочетъ знать иной почвы, кромѣ непосредственно-дѣловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостоинъ жить и умираю. Но я еще не умеръ — какъ же съ этимъ быть?

Есть у меня одна претензія: безъ утѣсненія прожить послѣдніе дни. Конечно, я не могу въ точности опредѣлить, сколько осталось этихъ дней сче-

томъ, но неужто-жъ нельзя имѣть сколько-нибудь терпѣнія? И что же! оказывается, что даже для осуществленія этой скромнѣйшей претензіи необходима „протекція“. Я долженъ припомнить старинныя связи, долженъ утруждать напоминаніемъ о своемъ забытомъ существованіи, долженъ обращаться къ просвѣщенному содѣйствію. Конечно, въ этомъ содѣйствіи мнѣ не будетъ отказано, и въ концѣ концовъ я получу-таки право безнаказанно „артачиться“ и „показывать кукишъ въ карманѣ“, но, ради Бога, развѣ нельзя отъ одной мысли объ этой предварительной процедурѣ сойти съума?!

Свѣтлая недѣля прошла на селѣ очень весело. Много было пѣсенъ, довольно и дракъ. Колупаевъ, Осьмушниковъ и Прохоровъ давно такъ бойко не торговали; батюшка ходилъ по избамъ, поздравлялъ хозяевъ съ праздникомъ и собиралъ крутыя яйца; даже въ мое уединеніе доносились клики ликованія, хотя по случаю праздниковъ Монрепо было пустыннѣе, нежели въ обыкновенные дни. Вся прислуга точно съ цѣпи сорвалась; появлялась въ домъ лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, живъ ли я, и затѣмъ вновь бѣжала бѣгомъ на село принять участіе въ общемъ веселіи. Даже Лукьяныча я никакъ не могъ дозваться, хотя и слышалъ, что гдѣ-то недалеко кто-то зѣваетъ; потомъ оказалось, что и онъ, по своему, соблюдалъ праздничный обрядъ, то-есть сидѣлъ, пока свѣтло, за воротами на лавкѣ и смотрѣлъ, какъ пьяные, проходящіе мимо усадьбы, теряли равновѣсіе, падали и барахтались въ грязи посередь дороги.

Всѣ сельскіе нотабли посѣтили меня, пили водку, ѣли ветчину и крутыя яйца. И какъ мнѣ показалось, съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома—точно старались запомнить, гдѣ что стоитъ. Колупаевъ даже провелъ рукой по обоямъ залы и сказалъ:

— Обои-то, кажется, новенькіе поставить сбирались?

— Сбирался.

— И купили, сударь?

— Купилъ.

— Такъ-съ. Въ сохранности, стало быть, лежатъ?

— Лежатъ.

Однимъ словомъ, повидимому начали ужъ подозрѣвать, не замышляю ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или въ другое мѣсто потихоньку перевезти.

Въ началѣ недѣли Граціанова не было дома: онъ ѣздилъ въ городъ христосоваться съ полицейскимъ управленіемъ. Въ серединѣ недѣли, однакожъ, вернулся и привезъ свѣжія политическія новости. Новости эти, впрочемъ, заключались единственно въ томъ, что отнынѣ никому ужъ спуску не будетъ (помнится однакожъ, что и послѣ новогодней поѣздки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого чтобъ ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаетъ или неприлично званію себя ведетъ—сейчасъ въ кутузку и... фюить! Въ концѣ недѣли посѣтилъ и меня, и при этомъ выказалъ такой величественный видъ, что я даже удивился, какъ это онъ меня удостоилъ.

— Откровенно вамъ скажу, — началъ онъ послѣ обычныхъ пасхаль-

ныхъ привѣтствій: — очень меня моя нынѣшняя поѣздка въ городъ порадовала.

— Награду получили?

— Насчетъ награды: исправникъ поцѣловалъ — только и всего. А главное: наконецъ-то за умъ взялись!

— Новенькое что-нибудь?

— Да-съ; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И нашему брату приходится ухо востро̀ держать, а что касается до иныхъ прочихъ...

— Ну, слава Богу!

Повидимому, однакожъ, онъ не ожидалъ съ моей стороны такого восклицанія. По крайней мѣрѣ онъ взглянулъ на меня и чуть замѣтно ухмыльнулся.

— Что̀ вы улыбаетесь?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ, знаете... А впрочемъ...

— То-то „впрочемъ“! А я вамъ на это скажу: иногда мы ищемъ, думая осиное гнѣздо обрѣсти, а вмѣсто того обрѣтаемъ сокровище! Имѣйте это въ виду.

— Превосходно-съ!

Мы оба на минуту замолчали, и, кажется, оба мысленно восклицали: „однако!“

— Вы, я слышалъ, имѣніе-то продавать хотите? — началъ онъ вновь.

— И я со стороны слыхалъ объ этомъ, но самъ ничего не знаю.

— Отчего бы и не продать?

— А отчего бы продать?

— Выгоды для васъ держать въ здѣшнемъ мѣстѣ имѣніе нѣтъ—вотъ что̀. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянычъ старъ. На вашемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ.

— А какъ, напримѣръ?

— Да купилъ бы рощицу десятинки въ двѣ, въ три, выстроилъ бы домичекъ, садикъ бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... Все передъ глазами—любезное дѣло!

— Представьте себѣ, что ужъ цѣлый мѣсяцъ я эти совѣты выслушиваю.

— А, по моему, благіе совѣты всегда выслушивать пріятно. Да-съ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, давно пора! А все гордость путаетъ: мы, дескать, интеллигенція—а гдѣ ужъ!

— Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?

— Нельзя, всѣмъ заниматься приходится, наша должность такая. Вотъ въ „Вѣдомостяхъ“ справедливо пишутъ: вся наша интеллигенція — фальшь одна, а настоящій-то государственный смыслъ въ Москвѣ, въ Охотномъ раду обрѣтается. Тамъ, дескать, съ основанія Россіи не чищено, такъ сколько одной благонадежности накопилось! Разумѣется, не буквально такъ выражаются, своими словами я пересказываю.

— Вѣрно, что своими словами.

— Такъ вотъ и дѣльнѣе бы было, въ виду этого, себя ограничивать. Собственность-то подъ силу, значитъ, выбирать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой махиной усмотрѣть?

— Да я и не претендую на это.

— А найдись ловкій человѣкъ — тотъ усмотритъ. Надъ тѣмъ и мужики не подумаютъ озоровать. Это чтобы луга травить или лѣсъ рубить — сохрани Богъ!

— Кто жъ этотъ „ловкій“? Разуваевъ что-ли?

— А хоть бы и Разуваевъ.

— Надоѣлъ онъ мнѣ—вотъ что!

— Первымъ дѣломъ, устроилъ бы онъ въ здѣшнемъ паркѣ гулянье, а между прочимъ вотъ тамъ на уголку торговлю бы прохладительными напитками открылъ...

— Да, хорошо это... Гм... такъ вы думаете, что отнынѣ спуску ужъ не будетъ?

— Да-съ, не дадутъ-съ, подтянутъ-съ!

— Слава Богу! а то совсѣмъ-было распустили!

— Теперь—конецъ!

— Всему вѣнецъ! Вонъ изъ Москвы пишутъ: „умниковъ-де“ въ рѣкѣ топить надо...

— Тсс...

— Да! такъ вы, кажется, объ Разуваевѣ начали что-то говорить?

— Просилъ онъ узнать, не примете ли вы его?

— Былъ вѣдь онъ у меня... И такой странный: вынулъ изъ кармана бумажникъ и началъ передъ глазами махать имъ. А впрочемъ, день на день не приходится. Я вообще трудно рѣшаюсь, все думаю: можетъ, и еще Богъ грѣхамъ потерпитъ! И вдругъ выдастся часъ: возьми все и отстань!

— Значитъ, такъ ему и сказать?

— Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вѣрнаго, молъ, еще нѣтъ, а на то похоже!

— А какъ бы для васъ-то было хорошо!

Наконецъ Граціановъ ушелъ, я же по обыкновенію началъ терзать себя размышленіями. „Умникъ“ я или „неумникъ“? спрашивалъ я себя. Самолюбіе говорило: умникъ; скромность и чувство самосохраненія подсказывали: нѣтъ, неумникъ. А что, ежели въ самомъ дѣлѣ умникъ? — вѣдь здѣсь не токмо рѣка, но и море, пожалуй, не далеко! Долго ли умника утопить?

Какая, однакожъ, странная эта московская топительная программа! Какъ понимать ее? Кто будетъ разсортировывать умниковъ отъ неумниковъ, первыхъ ставить ошуйю, а вторыхъ — одесную? Вотъ, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдятъ, насмердятъ—не продохнешь!

Въ прежнія времена, процедура разсортировки умниковъ отъ неумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь изъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, выстроитъ всѣхъ въ шеренгу и кликнетъ: „зачинщики (по нынѣшнему „умники“), впередъ!“ Сейчасъ-это выйдутъ впередъ зачинщики, каждый получитъ, что ему по расчисленію полагается—и правъ. Всякій знаетъ, что, получивъ надлежащее, онъ спокойно можетъ смѣшаться съ массою заурядныхъ смертныхъ, и что до слѣдующаго раза его тревожить не будутъ; въ слѣдующій же разъ, можетъ быть, и совсѣмъ Богъ помилуетъ.

Нынѣче, съ упраздненіемъ заставъ, распорядиться такимъ образомъ не-

кому. Некому выкликать кличъ, некому дѣлать расчисленія, некому воздавать надлежащее; стало быть, по-неволѣ разсортировка „умниковъ“ и „неумниковъ“ должна быть предоставлена молодцамъ изъ Охотнаго ряда, а гдѣ такового не имѣется—Осьмушниковымъ, Колупаевымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ возлежащимъ. Какой же возможенъ для нихъ критеріумъ для расцѣнки! Критеріумъ этотъ одинъ: кто въ книжку читаетъ, кто чисто ходитъ, въ кабаки не заглядываетъ (но къ Донону), нѣходя не сквернословитъ (но потихоньку и по-французски), кто не накладываетъ, не наяриваетъ —тотъ и „умникъ“! Но вѣдь и московскіе сочинители топительныхъ программъ тоже и въ книжку читаютъ, и даже перомъ балуютъ—стало быть, и они „умники“? Или, быть можетъ, они только полуумники?

И еще: немного говорилъ Граціановъ, да много сказалъ. Ишь вѣдь: „ведетъ себя несвойственно званію“—какъ это понимать? Напримѣръ, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремесломъ никакимъ не занимаюсь, просто сижу и совсѣмъ ничего не дѣлаю—кажется, что это званію моему не несвойственно? А между тѣмъ несомнѣнно, что, говоря свои жестокія слова, онъ имѣлъ въ виду именно меня. Ужъ не унылость ли моя ввела его въ заблужденіе? Имѣетъ, дескать, постоянно унылый видъ и этимъ другихъ не только отъ дѣла, но даже отъ пищи отбиваетъ... Господи помилуй! Да послѣ того какъ меня „обидѣли“, какой же видъ болѣе приличествуетъ моему званію, какъ не унылый! Меня „обижаютъ“, а я буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... ни за что! На зло буду слезы лить — гляди!.. Однако и это вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я унылъ, но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и „Самоновѣйшій пѣсенникъ“, и когда Колупаевъ, въ сопровожденіи подносчиковъ и иныхъ кабацкихъ чиновъ придутъ топить меня, яко „умника“, я предъявлю ему вещественныя доказательства и возглашу: я совсѣмъ не „умникъ“, но такой же курицынъ сынъ, какъ и вы всѣ! И при этомъ, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо мной снимутъ! Что нужно, чтобы произвести во мнѣ подобное превращеніе?—нужно очень немногое: приказать. Прикажите унылый видъ прекратить—и я прекращу.

Вообще я не понимаю, изъ чего Граціановъ тревожитъ себя и хлопочетъ. Вмѣсто того, чтобъ гнѣваться, полемизировать, ссылаться на свидѣтельство гражданъ ретирадныхъ мѣстъ и даже „подъ рукой“ скрежетать зубами, объявилъ бы прямо: „веселися, храбрый россъ!“—давнымъ бы давно я трепака отхватывалъ. Да и этого не надо, совсѣмъ ничего не надо. Просто надлежитъ оставить меня въ жертву унылости—только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и въ самомъ дѣлѣ унылостью моею я хотѣлъ намекнуть, что „хорохорюсь“, „кажу кукишъ въ карманѣ“ — эка важность! Кажу такъ кажу, хорохорюсь такъ хорохорюсь—пущай!

Изъ всего вышеписаннаго всякій можетъ заключить, что я и самъ не весьма отличнаго о себѣ мнѣнія. Ибо что же можетъ быть менѣе лестно: человѣкъ „артачится“, „фордыбачитъ“, а его не токмо за это не бьютъ, но даже и вниманія никакого на это не обращаютъ? Однакожъ и тутъ загвоздка есть. Говорятъ, будто бы это „не отличное мнѣніе“ касается не столько самого меня, сколько тѣхъ тенетъ, въ которыхъ я отъ рожденія путаюсь. Вотъ, молъ, какая

тутъ затаенная мысль. Но ежели это и такъ — эка важность! Были бы тенета, а тамъ, какъ я о нихъ „промежду себя“ полагаю — это потомъ какъ-нибудь на досугѣ разберется. А покуда: „веселися, храбрый россъ!“ —и шабашъ.

До меня даже такіе слухи доходятъ, будто бы Граціановъ ночей изъ-за меня не спитъ. Говорятъ, будто онъ такъ выражается: — Кабы у меня въ стану все такіе „граждане“ жили, какъ Колупаевъ да Разуваевъ — я былъ бы поперекъ себя толще, а то вотъ принесла нелегкая эту „заразу“... И при послѣднихъ словахъ будто бы заводитъ глаза въ сторону Монрепо...

А я, признаюсь, на его мѣстѣ все бы спалъ. Спалъ бы да тучнѣлъ, да во снѣ отъ времени до времени бредилъ: „веселися, храбрый россъ!“ И достаточно.

Самъ себя человѣкъ изнуряетъ, самъ развращаетъ свою фантазію до того, что она начинаетъ творить неизглаголаемая, самъ сны наяву видитъ —да еще жалобы приноситъ! Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, кто ты таковъ, и нужно бы сказать, а боюсь—какихъ еще доказательствъ нужно для безпрепятственности спанья?

Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородіе! господинъ Граціановъ! какъ вы полагаете, легко ли съ этакимъ эпитетомъ на свѣтѣ жить?

„Ничтожный“ —это подлежащее. А сказуемое — фюить! Связки — не полагается. Вѣдь вонъ онъ, мой синтаксисъ-то, каковъ! А ваше благородіе еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! Ахъ-ахъ-ахъ!

Нѣтъ, лучше бѣжать. Но вопросъ: куда бѣжать? Желалъ бы я быть „птичкой вольной“, какъ говоритъ Катерина въ „Грозѣ“ у Островскаго, да вѣдь Граціановъ, того гляди, и канарейку слопаетъ! А кромѣ какъ „птички вольной“, у меня и воображенія не хватаетъ, кѣмъ бы другимъ быть пожелать. Ежели конемъ степнымъ, такъ Граціановъ заарканитъ и начнетъ подъ верхъ муштровать. Ежели буй-туромъ, такъ Граціановъ будетъ для бифштексовъ воспитывать. Но что всего замѣчательнѣе—животнымъ еще все-таки вообразить себя можно, но человѣкомъ—никогда!

Человѣкъ — это общипанный пѣтухъ. Такъ гласитъ анекдотъ о человѣкѣ Платона, и этотъ анекдотъ, возведенный въ идеалъ, преподанъ, яко руководство, и въ наши дни.

Но бѣжать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хоть въ червя ползущаго, все-таки надо бѣжать. Двѣ-три десятинки, коровка, пять курочекъ—всѣ въ одинъ голосъ такъ говорятъ! Мнѣ—двѣ десятинки! Осьмушниковымъ и Разуваевымъ—вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да вѣдь новые-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ Граціановъ!

Не малодушіе ли это, однакожъ, съ моей стороны, не преувеличеніе ли? Вѣдь жилъ же я до сихъ поръ — живъ есмь и жива душа моя!—вѣроятно, ежели и впредь буду жить — и впредь никто меня не съѣстъ. Допустимъ, что все это такъ. Но, во-первыхъ, развѣ такъ живутъ люди, какъ я до сихъ поръ жилъ? А во-вторыхъ, какой горькій искусъ нужно вынести на своихъ

плечахъ, чтобы дойти до подобнаго малодушія, до подобныхъ преувеличеній. Вѣдь и малодушіе не по произволу является, но сходственно съ обстоятельствами дѣла. Легко указывать на человѣка и восклицать: „вотъ рабъ лукавый!“ —но что же ему дѣлать, если у него, кромѣ лукавства, услады иной въ жизни нѣтъ?

Чуть ли не съ Кантемира начиная, мы только и дѣлаемъ, что жалуемся на „дурныя привычки“. Распущенность, разнузданность, равнодушіе, лѣность, малодушіе, лукавство, лицемѣріе, лганье — вотъ каковъ багажъ. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли можетъ чѣмъ-либо заявить себя со стороны производительности, а скорѣе обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонамъ. Но для того чтобъ дурныя привычки исчезли, надобно прежде всего, чтобъ онѣ сдѣлались невыгодны. Рамки такія нужны, въ которыхъ даже невзначай не представилось бы повода для проявленія этихъ привычекъ. А гдѣ эти рамки взять?

Обратить строгое вниманіе на выборъ подчиненныхъ — отлично. Строжайше соблюдать законъ — превосходно. Не менѣе строго соблюдать экономію — лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это такъ и будетъ. И вотъ, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тѣхъ поръ—и радъ бы, да не могу.

Впрочемъ я однажды ужъ оговорился, что мой личный казусъ ничтоженъ. Повторяю это и теперь. Что я такое — „пхе“! Одно только утѣшительно: вѣдь и всѣ остальные — пхе, всѣ до единаго. Но какое странное утѣшеніе!

Разуваевъ явился ко мнѣ на другой день и на этотъ разъ былъ удивительно милъ. Расчесалъ кудри, тщательно вымылся, надѣлъ новый сюртукъ и штаны на-выпускъ. Вообще, повидимому, понялъ, что пришелъ не въ харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянулъ и съ благодарностью отозвался при этомъ о корнетшѣ Отлетаевой.

— Кабы онѣ въ тѣ поры не зачинали суда, а честью попросили, — сказалъ онъ:—я, можетъ, и по сейчасъ бы вѣрный слуга для нихъ былъ.

— Ну, гдѣ ужъ!—усомнился я.

— Вѣрное слово, вашескородіе, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихній рабъ состоялъ.

— Что ужъ о старыхъ дѣлахъ вспоминать, лучше о нынѣшнихъ потолкуемъ. Торгуете?

— И нынче дѣла нельзя похулить, надо правду сказать. Народъ нынче очень ужъ оплошалъ, такъ, значитъ, только случая опускать не слѣдуетъ.

— Частенько-таки я въ послѣднее время такія слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По моему, ежели народъ оплошалъ, да еще вы случаевъ упускать не будете—вѣдь этакъ онъ, чего добраго, и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надѣетесь?

— Ахъ, вашескородіе! йѣнъ доста-а-нетъ!

Онъ сказалъ это съ такой невозмутимой увѣренностью, что мнѣ невольно пришло на мысль: что же такое, однакожъ, намъ въ дѣтствѣ твердили о курицѣ, несшей золотыя яйца? Какъ извѣстно, владѣлецъ этой курицы, наску-

чивъ получать по одному яйцу въ день и желая заразъ воспользоваться всѣми будущими яйцами, зарѣзалъ курицу, и, разумѣется, не только обманулся въ своихъ мечтаніяхъ, но утратилъ и прежній скромный доходъ. Легенда эта (въ смыслѣ результата) всегда казалась мнѣ достойною вѣроятія, и я вполнѣ искренно думалъ, что человѣкъ, зарѣзавшій драгоцѣнную курицу, былъ глупый человѣкъ и совершенно правильно за свою глупость пострадалъ.

И вотъ теперь Разуваевъ объявляетъ прямо, что все это вздоръ. Судя по его словамъ, курица не перестаетъ нести золотыя яйца, даже если она съѣдена. Это какая-то вѣчная, дважды-волшебная курица, которую ничто нейметъ, ничто доканать не можетъ. Это—курица-миѳъ, курица-безсмыслица, но въ то же время курица, подлинное существованіе которой можетъ подтвердить такой несомнѣнный экспертъ куриныхъ дѣлъ, какъ Разуваевъ. И мнѣ кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оцѣниваютъ этотъ фактъ, ибо въ противномъ случаѣ они не разглагольствовали бы ни о сокровищахъ, въ нѣдрахъ земли скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемыхъ экспедиціей заготовленія бумагъ, а просто-на-просто объявили бы: ежели въ одномъ карманѣ пусто, въ другомъ ничего, то распори курицѣ брюхо, выпотроши, свари, съѣшь, и пускай она продолжаетъ нести золотыя яйца по прежнему. И она будетъ нестись—въ этомъ порукою Разуваевъ.

„Йёнъ доста-а-нетъ!“ Просто, глупо—и между тѣмъ изумительно глубоко. Эту фразу слѣдовало бы золотыми буквами начертать на всѣхъ пантеонахъ, ибо, въ сущности, на ней одной издревле всѣ экономисты и финансисты вйсятъ.

— Однако вы, какъ я вижу, и финансистъ!—похвалилъ я.

— Я-то-съ?—помилуйте, вашескородіе! такъ маленько мерёкаемъ *), а чтобы настоящимъ манеромъ произойти — такого разума отъ Бога еще не удостоены-съ.

— Ахъ, Анатолій Иванычъ, Анатолій Иванычъ! да вѣдь и всѣ мы, голубчикъ, только мерёкаемъ!

— Нѣтъ-съ, вашескородіе, слыхалъ я, что бываютъ и настоящіе по этой части ходаки. Прожженные, значитъ. Взглянетъ — и сразу все нутро высмотритъ.

— Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что онъ нутро видитъ, а въ дѣйствительности онъ то же самое усматриваетъ, что и мы съ вами. Только мы съ вами мерёкаемъ кратко, а онъ пространно. Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, а намерёкать могу съ три короба — вотъ и разгадка вся.

— Это такъ точно-съ.

— Одинъ придетъ, померёкаетъ; другого завидки возьмутъ—придетъ и наизново перемерёкаетъ. И все одно и то же выходитъ. А мы, простецы, смотримъ издали, какъ они сами себѣ хвалы слагаютъ, и думаемъ, что и нивѣсть какой свѣтъ ихъ осіялъ!

---

*) Для незнакомыхъ съ этимъ выраженіемъ считаю нелишнимъ пояснить, что „мерёкать“ значитъ кое-что понимать, на бобахъ разводить. Первоначальнымъ корнемъ этого выраженія былъ, очевидно, глаголъ „мерещиться“. Мерещится знаніе, а настоящаго нѣтъ.

— И это истинная правда-съ.

— И ежели по правдѣ говорить, такъ вы ужъ черезчуръ скромнаго о себѣ мнѣнія. Именно вы-то и не мерёкаете, а самое нутро видите. „Йёнъ достанетъ!“ Ахъ, голубчикъ! неужто же вы не понимаете, что вы—финансистъ?

Не знаю, насколько понялъ меня Разуваевъ, но знаю, что онъ остался польщенъ и доволенъ. Разумѣется, онъ воспользовался моею словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти къ дѣйствительному предмету своего посѣщенія.

— Главная причина,—сказалъ онъ:—время теперь самое подходящее. Весна на дворѣ, огородъ работать пора, къ посѣву приготовляться. Ежели теперь время опустилъ—послѣ его ужъ не наверстать.

— Но почему же вы думаете, что я упущу?

— Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Ну, какая же есть возможность вамъ за всѣмъ усмотрѣть-съ!

— Однако, шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.

— Какъ-нибудь—это такъ точно-съ. А намъ надо не какъ-нибудь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескородіе! позвольте вамъ доложить! Совсѣмъ бы я на вашемъ мѣстѣ... ну, просто совсѣмъ бы не такъ я эту линію повелъ!

— Что же бы вы сдѣлали?

— Оченно просто-съ. Купилъ бы двѣ-три десятинки-съ, выстроилъ бы домичекъ по препорціи, садичекъ для прохладности бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... Мило, благородно!

Стало быть, и онъ. Всѣ какъ одинъ, почти слово въ слово; должно быть, однакожъ, частенько-таки они обо мнѣ бесѣдуютъ. Вотъ онъ, vox populi—теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди такъ увѣренно ждутъ — стало быть, они имѣютъ къ тому основаніе; ежели они съ такою тщательною подробностью опредѣляютъ, что для меня нужно —стало быть, они положительно знаютъ, что я сижу не на своемъ мѣстѣ, что здѣсь я помѣха и безобразіе, а вонъ тамъ, на двухъ десятинкахъ, я придусь какъ разъ въ самую мѣру. И что всего важнѣе—это же самое сознавалъ я и самъ. Давно ужъ сознавалъ, да самолюбіе, должно быть, мѣшало вступить на новый путь, а можетъ быть и просто лѣнь...

Вѣроятно эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побесѣдовалъ съ Разуваевымъ, но ни своей цѣны ему не объявилъ, ни объ его цѣнѣ не спросилъ. Словомъ сказать, ни на чемъ не покончилъ. Однакожъ, видимо было, что Разуваевъ, уходя отъ меня, былъ значительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинулъ мою обстановку, какъ бы желая запечатлѣть ее въ своей памяти, и на прощанье долго и умильно смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Онъ понялъ, что я все еще „артачусь“, и былъ такъ любезенъ, что взглянулъ на эту слабость снисходительно. Въ самомъ дѣлѣ, не Богъ же знаетъ, что съѣстъ человѣкъ, ежели и подождать двѣ-три недѣли, а онъ между тѣмъ жалованье рабочимъ за мѣсяцъ заплатитъ... Во всякомъ случаѣ я почти убѣжденъ, что отъ меня онъ побѣжалъ къ своимъ единомышленникамъ и что тамъ все единогласно уже рѣшено и скомпоновано. Можетъ быть, и Лукьянычъ тамъ, вмѣстѣ со всѣми, совѣты подаетъ...

— Лукьянычъ! а, Лукьянычъ! гдѣ ты?—испугался я.

— Здѣся я,—отозвался голосъ изъ передней.

— Разуваевъ-то вѣдь въ сурьёзъ покупать приходилъ.

— Неужто-жъ въ шутку.

— Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоящимъ манеромъ невозможно!

— Чего „настоящимъ манеромъ“! Апрѣль въ половинѣ, пахать пора, а гдѣ у насъ навозъ-то?

— Такъ неужто за зиму не накопилось?

— Спросите у садовника, куда онъ его дѣвалъ.

— Такъ, значитъ, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно.

— Да ты-то, ты-то что̀ думаешь! Чай, не цѣпями у тебя языкъ скованъ—шевели!

— И то умаялся, еще при папенькѣ при вашемъ шевеливши. Говорилъ въ то время: не покупайте, зачѣмъ вамъ!—нѣтъ, купили...

— Ну, ступай!

Но прошла Святая, прошла Ѳомина недѣля, а я все еще артачился и недоумѣвалъ. Вонъ выѣхалъ Иванъ старшій съ сохой на полосу противъ усадьбы, перекрестился и пошелъ ковырять. Ишь ковыряетъ! даже изъ оконъ видно, какъ онъ на каждомъ шагу пропашку за пропашкой дѣлаетъ... такъ бы и налетѣлъ! Смотрю, анъ и Разуваевъ стоитъ на дорогѣ и тоже на пашню любуется: только понапрасну, молъ, землю болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерпѣлъ, крикнулъ: „а ты бы, Иванъ, сохой-то не все напусто, а и въ землю бы попадалъ!“ И Иванъ понялъ, что это не напрасный окрикъ, что когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и началъ въ землю сохой попадать. „Но-но, милякъ! Нно... стерво!“ слышатся мнѣ черезъ полуотворенное окно поощренія, посылаемыя имъ рыжему мерину.

Главное препятствіе для окончательной развязки предъставляла повидимому мысль: наступаетъ лѣто—куда дѣваться? Ежели въ Петербургъ или въ Москву ѣхать—упаси Богъ! Тамъ теперь такіе фундаменты закладываются и такія созидаются зданія, что того и гляди задавятъ. Ежели за границу ѣхать—не лежитъ у меня сердце къ этой „за-границѣ“. Во-первыхъ, англичанъ на каждомъ шагу встрѣчаешь: ходятъ прямо, надменно, и у каждаго написано на лицѣ: „Afghanistan—jamais!“ Это, то-есть, насъ, русскихъ, они такъ дразнятъ, Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ уже поръ вы твердите: jamais, да jamais, а мы между тѣмъ, не торопясь, да Богу помолясь, смотрите-ка куда забрались! Одно нехорошо: объяснить имъ это прямо нельзя—того гляди, проштрафишься. Онъ говоритъ: jamais! а я отвѣтить ему не могу. Почемъ я знаю, что̀ по обстоятельствамъ дѣла и въ согласность съ высшими соображеніями слѣдуетъ въ данную минуту говорить? Можетъ быть pour sûr, а можетъ быть и jamais. Такъ ужъ лучше пусть онъ одинъ дразнится, а мы помолчимъ — вотъ оно, положеніе-то каково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей нѣтъ. Коли хотите, цѣлые города (курорты) существуютъ, гдѣ кромѣ лакеевъ и людей другихъ не найдешь, а все-таки подлиннаго, „своего“, лакея нѣтъ. Тамошній лакей жадный, прожженный,

онъ всякому служить готовъ, а потому ни настоящей снаровки, ни преданности съ него спросить нельзя. А намъ нуженъ лакей постоянный, чтобъ съ утра до вечера все одного и того же человѣка шпынять. Въ-третьихъ, за границей очень ужъ чисто. Вычистятъ съ утра и хотятъ, чтобы цѣлый день чисто было. А намъ это невозможно. Помню, я въ прошломъ году людскія помѣщенія на скотномъ дворѣ вычистить собрался; нанялъ поденьщицъ (на свою-то прислугу не понадѣялся), самъ за чисткой наблюдалъ, чистилъ день, чистилъ другой, одного убіеннаго и ошпареннаго клопа цѣлый ворохъ на полосу вывезъ—и вдругъ вижу, смотритъ на мои хлопоты старшій Иванъ и только-что не въявь говоритъ: дай срокъ! я завтра же всю твою чистоту въ лучшемъ видѣ загажу. Такъ-то и всѣ. Нельзя намъ чисто жить, недосугъ. Да и приспособленій у насъ не заведено. За границей машинами улицы поливаютъ, а мы—ковшечкомъ; за границей громадными щетками грязь вычищаютъ, а мы—метелками. И не то чтобъ мы не понимали, что̀ хорошо, что̀ худо; спросите у перваго встрѣчнаго: что̀ лучше, въ чистотѣ ли жить, или въ грязи барахтаться—навѣрное всякій скажетъ: „какъ можно! въ грязи или въ чистотѣ!“ Но черезъ минуту непремѣнно прибавитъ: „ахъ, баринъ, баринъ!“

Словомъ сказать, ни въ столицѣ, ни за границей — нигдѣ жить охоты нѣтъ. Купить бы гдѣ-нибудь въ Проплёванскомъ уѣздѣ, на берегу рѣки Гнилушки, двѣ-три десятинки — именно такъ, ни больше, ни меньше — да вѣдь, пожалуй, въ поискахъ за этимъ эльдорадо все лѣто пройдетъ...

Очень возможно, что я долго бы такимъ образомъ недоумѣвалъ, еслибъ не пришелъ ко мнѣ на помощь неожиданный случай и не ускорилъ развязку.

Сейчасъ послѣ Ѳоминой я получилъ письмо отъ стариннаго моего пріятеля и школьнаго товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилія и очень древняя: и въ Смоленскѣ Косушкины сидѣли, и въ Тушино бѣгали, но нигдѣ „косушки“ не забывали и тѣмъ прославились). Письмо гласило слѣдующее:

„Соломенное Городище, 26-го апрѣля.

„Ау, дружище! гдѣ ты и какъ живешь? Ежели въ Монрепѣ унываешь, то брось все, продавай за грошъ и кати сюда. Ибо лѣта наши приходятъ преклонныя, и слѣдовательно закатъ дней своихъ намъ не унывающе, но веселящеся провести надлежитъ.

„Скоро будетъ два года, какъ я поселился здѣсь, поселился повидимому случайно, а на повѣрку выходитъ, что навсегда. Вотъ краткая повѣсть о моемъ переселеніи.

„И я родился въ Аркадіи, и у меня было свое Монрепо; но въ послѣднее время такъ оно мнѣ опостылѣло, что я, какъ помѣшанный, слонялся изъ угла въ уголъ. Дѣло въ томъ, что покуда были на-лицо разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиньюшки, жилось хоть и не особенно сладко, но все-таки жилось. Жилъ и я. Никто не тревожилъ меня, никто „распоряженіями“ не донималъ. Придетъ кто-нибудь насчетъ покосца переговорить—ступай къ Евдокимычу; дровецъ не продадите ли—ступай къ Климычу; маслица нѣтъ ли залишняго — ступай къ Аксиньюшкѣ. Какъ ужъ они тамъ ладились — не знаю, но денегъ на расходы не требовали, и даже меня отъ времени до вре-

мени кýшиками побаловывали. Но что̀ важнѣе всего—я былъ увѣренъ (да и теперь вѣрю), что дѣло у насъ идетъ среднимъ ходомъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смирно, честно, благородно... И вдругъ, среди этакой-то тишины и во всемъ благого поспѣшенія, налетѣлъ на насъ вихрь: стали старики помирать. Сначала умеръ Евдокимычъ, потомъ Климычъ, а наконецъ и Аксиньюшка.

„Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недѣли двѣ морщится, скучный ходитъ (Евдокимычъ говорилъ: „въ первую холеру я съ покойнымъ папенькой вашимъ въ ростепель въ Москву ѣздилъ—съ тѣхъ самыхъ поръ ноги мозжатъ"), потомъ влѣзаетъ на печку и ужъ не слѣзаетъ оттуда: значитъ, смерть идетъ. И дѣйствительно, не пройдетъ и мѣсяца — смотришь, шлютъ за священникомъ. Причастится, особоруется и совсѣмъ ужъ притихнетъ. А къ вечеру икнётъ — и нѣтъ его. Тяжелѣе другихъ умирала Аксиньюшка: все каялась мнѣ, что „еще при покойницѣ матушкѣ вашей новинку утаила", и просила простить. Точно ли она утаила новúнку, или въ порывѣ предсмертнаго самобичеванья наклепала на себя — сказать не могу; но, вспоминаючи матушкинъ „глазокъ-смотрокъ", сдается мнѣ, что врядъ ли отъ ея вниманія могла укрыться цѣлая недостающая новинà.

„Не думай однакожъ, что я пишу идиллію, и тѣмъ паче, что любуюсь ею. Отлично я понимаю, какимъ образомъ сложился типъ крѣпостного пѣстуна, и почему всѣ эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у нихъ ногъ ужъ не было, чтобъ бѣжать, а во-вторыхъ, отъ отца съ матерью они навѣрное и безъ ногъ бы ушли, потому что тѣ были господа настоящіе, и хоть особенно блестящихъ хозяйственныхъ подвиговъ не совершали, но любили игру „въ каторгу", то-есть съ утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а стало быть съумѣли бы и со стариковъ „спросить". Ну, а мнѣ все равно: живите, только меня не трогайте!

„Когда всѣ перемерли, я остался одинъ лицомъ къ лицу съ Монрепò. Ужасно это тяжелое чувство; въ первый разъ въ жизни напалъ на меня страхъ. Спать по ночамъ не могъ; все чудилось: зачѣмъ же Монрепò-то не умерло? и кто меня теперь успокоитъ? кто добро мое сбережетъ? Пришлось нанимать чужака.

„Явился чуженинъ и говоритъ: „Филаретъ Семеновъ Перебѣжчиковъ, здѣшняго города мѣщанинъ; надѣюсь вашей милости заслужить". Что жъ, очень радъ; вотъ ключи, вотъ планы, съ остальнымъ сами постепенно познакомитесь. Но на первыхъ же порахъ началъ меня этотъ человѣкъ огорчать. Прежде всего охаялъ распоряженія Евдокимыча и даже попытался набросить на нихъ неблаговидную тѣнь. Потомъ сталъ каждый вечеръ ходить, спрашивать, какое на завтрашній день распоряженіе будетъ (да еще цѣлыхъ два ему выложи: одно на случай, коли ежели вёдро, а другое на случай, коли ежели Богъ дождичка пошлетъ). А я почемъ знаю? Кому виднѣе, кàкъ по обстоятельствамъ дѣла поступать надлежитъ, мнѣ или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человѣку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничѣмъ распорядиться не могу... Вотъ я распоряжался, распоряжался, да и затосковалъ.

„А къ этому вскорѣ присоединилось и еще обстоятельство: прислали

къ намъ въ уѣздъ новаго начальника. Глаза какъ плошки, усы какъ у таракана, изъ устъ пахнетъ „Московскими Вѣдомостями“. Стараго-то — отличный былъ, царство небесное! — смѣнили за то, что все въ городѣ сиднемъ сидѣлъ (кстати, онъ мнѣ потомъ жаловался: „вѣдь и Илья-Муромецъ, говоритъ, сколько лѣтъ сиднемъ сидѣлъ, однако, когда понадобилось“...) Такъ новый, какъ дорвался до мѣста, такъ и поѣхалъ. Ѣздитъ, братецъ, по проселкамъ и все людей выдергиваетъ да въ плѣнъ уводитъ. Завелся, видишь ли, „духъ“ какой-то въ нашихъ палестинахъ, такъ вотъ по этому случаю. У меня не былъ, а проѣзжалъ мимо не разъ. Смотрѣлъ я на него изъ окна въ бинокль: сидитъ въ телѣгѣ, обернется лицомъ къ усадьбѣ и вытаращитъ глаза. Думалъ я, думалъ: никогда у насъ никакого „духа“ не бывало, и вдругъ завелся... Кого ни спросишь: что, молъ, за духъ такой? — никто ничего не знаетъ, только говорятъ: строгость пошла. Разумѣется, затосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мнѣ этотъ „духъ“ есть? и меня, въ преклонныхъ моихъ лѣтахъ, въ плѣнъ уведутъ!

„Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактирщикъ тутъ у насъ по близости на пристани процвѣлъ — онъ и купилъ. Въ немъ ужъ навѣрное никакого „духу“, кромѣ грабительства, нѣтъ, стало быть ему честь и мѣсто. И сейчасъ, на моихъ глазахъ, покуда я пожитки собиралъ, онъ и распоряжаться началъ: птицу на скотномъ перерѣзалъ, карасей въ прудѣ выловилъ, скотъ угналъ... „А потомъ, говоритъ, начну домъ распродавать, лѣсъ рубить, въ два года выручу два капитала, а наконецъ и пустое мѣсто за-дешево продамъ.“

„Признаюсь, однакожъ, что на первыхъ порахъ тоскливо было. Во-первыхъ, странно съ непривычки такія фразы слышать: „а подсвѣчничекъ-то вы, кажется, съ собой нашъ уложили?“ или: „тутъ полотенчико прежде висѣло, такъ какъ прикажете, ваше оно или наше будетъ?“ А во-вторыхъ, продать-то я продалъ, а какъ съ собой поступить — не знаю. На всякій случай, однакожъ, отправился въ „губернію“, думаю: тамъ моя невинность виднѣе будетъ. Проѣзжаю мимо Соломеннаго Городища, смотрю и не вѣрю глазамъ: волшебство! При самомъ въѣздѣ въ городъ, безъ конца тянется заборъ, а за заборомъ зелени, зелени — цѣлое море! И домъ большой, и развалины какія-то въ сторонѣ. Спрашиваю на станціи: что за штука? — отвѣчаютъ: жилъ-былъ здѣсь откупщикъ, и водочный заводъ у него былъ (это развалины-то), а теперь дескать домъ съ землей продаются. Сейчасъ же побѣжалъ смотрѣть. Мѣсто — двѣ десятины; въ самый разъ, значитъ, и то, пожалуй, за всѣмъ не усмотришь; заборъ — подгнилъ, а мѣстами даже повалился, надо новый строить; домъ ежели маленько его поправить, то хватитъ надолго; и мебель есть, а въ одной комнатѣ даже ванна мраморная стоитъ, въ которой жидовинъ-откупщикъ свое тѣло бѣлое нѣжилъ; руина... ну, это, пожалуй, „питорескъ“, и больше ничего; однако, существуетъ легенда, будто по ночамъ здѣсь собираются сирые и неимущіе, лижутъ кирпичи, нѣкогда обагрявшіеся сивухой, и бываютъ пьяны. Но садъ — волшебство! Ни цвѣтниковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это „онъ“ все на „предметъ настоекъ“ разводилъ! И все запущено, разрослось, переплелось... Словомъ сказать, такъ мнѣ вдругъ захотѣлось тутъ умереть, что сейчасъ же я поскакалъ въ Москву и въ два дня кончилъ.

„И ко всему этому — здѣшній начальникъ оказался смирный. Любознательный, но смирный. Пріѣхалъ ко мнѣ на новоселье, посидѣлъ, побесѣдовалъ и вдругъ задумался. „Такъ вы, — говоритъ, — къ намъ“... — Совсѣмъ, говорю. „Аттестатъ у васъ есть?“ — Вотъ онъ. — Посмотрѣлъ, перелистовалъ: служилъ тамъ-то и тамъ-то, аттестовался способнымъ и достойнымъ, въ походахъ не бывалъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ... Вздохнулъ. — „А знаете ли, — говоритъ, — я, воля ваша, этого не понимаю: къ намъ... совсѣмъ... что̀ такое значитъ?“ — Да просто значитъ, что къ вамъ совсѣмъ — и больше ничего. — „Помилуйте... что̀ же такое у насъ?.. никто къ намъ... никто, никогда... и вдругъ!“ — Да вѣдь надо же гдѣ-нибудь жить? — „Такъ-то такъ... а все-таки... ну, какую вы здѣсь прелесть нашли! городишко самый пустой, бѣлаго хлѣба не сыщешь... никто къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!“.. Это было такъ мило, что я не выдержалъ и расцѣловалъ его. И вотъ съ тѣхъ поръ мы друзья. Чтобъ окончательно его успокоить, я отвелъ въ домѣ квартиру для полицейскаго чина, истребилъ всѣ книги, вмѣсто газетъ выписалъ „Московскія Вѣдомости“ и купилъ гитару. Все прошлое лѣто, днемъ и ночью, я держалъ окна нàстежъ: приди и виждь!

„И такъ, бросай свое Монрепò и пріѣзжай сюда. Ничего кромѣ ношеннаго платья не привози, но гитарой запасись непремѣнно: это придаетъ шикъ благонамѣренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, въ родѣ моего Евдокимыча, то также привози, потому что это придастъ нашему сожительству шикъ респектабельности: авторитеты, значитъ, признаемъ. По исполненіи сего, заживемъ отлично. Будемъ вдвоемъ сидѣть у открытаго окна, брянцать на струнахъ и пѣть:

Ахъ, что̀ кому до насъ!
Когда праздничекъ у насъ,
Мы зароемся въ соломку,
И никто не найдетъ насъ!
Тируинь! тируинь! тируинь!

„Помнишь?

„Затѣмъ, жму твою руку и жду. Vale.

Иванъ Косушкинъ.

„P. S. Забылъ сказать: при домѣ есть сажалка и въ ней караси. Караси, да ежели въ сметанѣ... это что же такое!!“

Первою мыслію по прочтеніи этого письма было: такъ вотъ онѣ двѣ десятины, о которыхъ мнѣ цѣлый мѣсяцъ твердятъ! Затѣмъ, черезъ часъ я уже былъ у Разуваева, и мы въ два слова кончили. Finis Монрепò!

V.—Предостереженіе.

Посвящается кабатчикамъ, мѣнялamъ, подрядчикамъ, желѣзнодорожникамъ и прочихъ міроѣдскихъ дѣлъ мастерамъ.

Я, оставной корнетъ Прогорѣловъ, нѣкогда крѣпостныхъ дѣлъ мастеръ, впослѣдствіи оголтѣлый землевладѣлецъ, а нынѣ пропащій человѣкъ — я обращаю къ вамъ рѣчь мою!

Вся цивилизованная природа свидѣтельствуетъ о скоромъ пришествіи вашемъ. Улица ликуетъ, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожиданіи млѣютъ, даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ—и тѣ рѣзвѣе играютъ въ водѣ, словно говорятъ: слава Богу! кажется, скоро начнутъ ѣсть и насъ! По всей веселой Руси, отъ Мѣщанскихъ до Кунавина включительно, раздается одинъ кличъ: идетъ чумазый! Идетъ, и на вопросъ: „что̀ есть истина?“ твердо и неукоснительно отвѣтитъ: „распивочно и на-выносъ!“

Присутствуя при этихъ шумныхъ предвкушеніяхъ будущаго распивочнаго торжества, пропащіе люди жмутся и ждутъ... Они понимаютъ, что „чумазый“ придетъ совсѣмъ не для того, чтобы „новое слово“ сказать, а для того единственно, чтобъ показать, гдѣ раки зимуютъ. Они знаютъ также, что именно на нихъ-то онъ прежде всего и обрушится, дабы впослѣдствіи уже безъ помѣхи производить опыты упрощеннаго кровопійства; но неотразимость факта до того ясна, что имъ даже на мысль не приходитъ обороняться отъ него. Придетъ „чумазый“, придетъ съ ногъ до головы наглый, съ цѣпкими руками, съ несытой утробой—придетъ и слопаетъ! Только и всего.

И не одна безсознательная, кунавинская природа привѣтствуетъ ваше пришествіе; нѣтъ, слухи о васъ проникли даже въ ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидѣнія и чаянія. И эта среда вмѣстѣ съ Кунавинымъ спѣшитъ всѣмъ возвѣстить ваше пришествіе, какъ вѣрнѣйшій залогъ грядущаго обновленія.

Прежде всего васъ привѣтствуютъ наши „охранители“. Пропащіе люди, которыхъ они когда-то изъ всѣхъ силъ старались пристроить, нынѣ до смерти надоѣли имъ. Сантиментальничаютъ, ропщутъ, не то просятъ прощенья, не то грубятъ. Что-то невнятное происходитъ; не поймешь, гдѣ тутъ слава и гдѣ стыдъ. И въ довершеніе всего, до того обнажились, что даже на табакъ подчаску не изъ чего дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Какимъ чудомъ случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ пропащихъ людей?

Исторія этого превращенія для охранителей представляетъ какую-то неисповѣдимую загадку. Но еще болѣе загадочнымъ кажется то, что, несмотря ни на какія умертвія, пропащій человѣкъ все-таки еще живъ состоитъ. Жизнь съ пассивнымъ упорствомъ держится въ этомъ расшатанномъ организмѣ, держится на ряду съ явнымъ оголтѣніемъ... И кто знаетъ? можетъ быть именно благодаря этому упорству, была одна минута, когда казалось, что

вотъ-вотъ все русское общество вступитъ на стезю абсолютнаго и безповоротнаго безстолбія... Да, было и такое время, было! все въ русской жизни было! Такое было время, когда все смѣшалось, когда самые несомнѣнные столпы, казалось, потонули въ зіяющей безднѣ, чтобы не вынырнуть изъ нея никогда! Хорошо, что Богъ пронесъ мимо эту дурную фантасмагорію; но охранители и до-нынѣ не могутъ забыть о краткомъ періодѣ этого „чуть-чуть не безстолбія“, и, разумѣется, вспоминаютъ о немъ не только съ тоскою, но и съ омерзѣніемъ... Было такое время... га!

Да, слово „столпъ“ не пустой звукъ, но одна изъ тѣхъ живыхъ и несомнѣнныхъ конкретностей, временное исчезновеніе которыхъ производитъ замѣтную пустоту въ кодексѣ благоустройства и благочинія. Столпы — это выдающіеся пункты, около которыхъ ютится мелкота, иногда ропщущая, но въ большинствѣ случаевъ безнадежно изнемогающая. Столпы даютъ тонъ этой мелкотѣ, держатъ ее въ изумленіи, не допускаютъ обрости. Однимъ своимъ присутствіемъ они съ бо́льшимъ успѣхомъ устраняютъ вредныя мечтанія, нежели самыя дѣятельныя разслѣдованія корней и нитей. Разслѣдованіе налетитъ и исчезнетъ; столпы же всегда тутъ, безотлучно... вплоть до изгноя. Мелкота съ суевѣрнымъ страхомъ взираетъ на ихъ незыблемость и инстинктивно понимаетъ, что совмѣстное существованіе незыблемости и мечтаній — дѣло не только немыслимое, но и прямо противоестественное. Едва рожденныя, вредныя мечтанія тутъ же немедленно и умираютъ. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только отъ времени до времени заносятся въ видѣ эффектнаго слуха, со стороны, не поселяя въ столпахъ ни малѣйшей тревоги своимъ эфемернымъ появленіемъ...

Вотъ почему столпы считаются существеннѣйшимъ подспорьемъ, и вотъ почему, когда наступаетъ моментъ изгноя, благоразумные охранители заранѣе подстерегаютъ этотъ моментъ и дѣлаютъ нужныя приспособленія, дабы старые, подгнившіе столпы были немедленно замѣнены новыми...

Нынѣ, къ безмѣрной радости охранителей, пробѣлъ, причиненный кратковременнымъ безстолбіемъ, пополненъ. „Чумазый человѣкъ“ — въ виду у всѣхъ; человѣкъ свѣжій, непреклонный и расторопный, который навѣрное освободитъ охранителей отъ половины гнетущей ихъ обузы. Нѣтъ нужды, что онъ еще недостаточно поскоблился, что онъ не тронутъ наукой и разнодушенъ къ памятникамъ искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: распивочно и на-выносъ... Охранитель видитъ въ этомъ не препятствіе, но залогъ. Чѣмъ меньше бродитъ въ обществѣ превыспренностей, тѣмъ прочнѣе оно стоитъ—это истина, которая нынѣ бьетъ въ глаза даже будочникамъ. Что́ такое „общество?“ — это фикція и больше ничего. Объ этой фикціи отъ времени до времени упоминается, потому что совсѣмъ забыть о ней какъ-то совѣстно, но въ сущности... Ахъ, тѣмъ-то вѣдь и дорогъ „чумазый человѣкъ“, что, имѣя его подъ рукой, о всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно. Ему ни „общество“, ни „отечество“, ни „правда“, ни „свобода“—ничто ему доподлинно неизвѣстно! Ему извѣстенъ только грошъ — ну, и пускай онъ надѣлаетъ изъ него пятаковъ!

Слѣдомъ за охранителями привѣтствуютъ чумазаго человѣка и публи-

цисты. Никогда не было потрачено столько усилій на разъясненіе принциповъ собственности, семейственности и государственности, никогда съ такою настойчивостью, съ такими угрозами не было говорено о необходимости огражденія этихъ принциповъ. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? — все ради васъ, кабатчики и мѣнялы! все ради того, чтобъ для васъ соотвѣтствующую обстановку устроить и ваше пришествіе приличнымъ образомъ объяснить.

Въ старое время, и въ обществѣ, и въ литературѣ было насчетъ этого болѣе нежели просто. Люди наиболѣе заинтересованные столь же мало думали о вопросахъ собственности, семейственности и государственности, какъ мало думаетъ человѣкъ, которому приходится періодически совершать одинъ и тотъ же путь, о домахъ и заборахъ, стоящихъ по обѣимъ сторонамъ этого пути. Зачѣмъ мнѣ, крѣпостныхъ дѣлъ мастеру, было напоминать о существованіи какихъ-то „принциповъ“ собственности, семейственности и государственности, когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этимъ принципамъ? Зачѣмъ мнѣ было подстрекать самого себя на постиженіе какихъ-то усложненій, когда стоило только протянуть руку, чтобъ безъ всякаго постиженія получить желаемое? Всѣ эти „принципы“ я не имѣлъ надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать ихъ, потому что они представляли собой стихію до такой степени мнѣ родную, что я только весело плавалъ въ ней, какъ рыба въ водѣ. Мнѣ и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть въ ней (знаю, что подъ конецъ я захлебнулся-таки, но вѣдь за то и наплавался же!). Ничѣмъ она не угрожала мнѣ, а только ласкала и нѣжила.

И вдругъ все измѣнилось. По волѣ судебъ, насталъ періодъ безстолбія и всѣхъ напугалъ. Начали рыться, доискиваться причинъ и наконецъ пришли къ такому заключенію, что даже и въ родной стихіи нельзя безсрочно плавать, не понимая, что̀ дѣлаешь. Умозаключеніе это прямо противорѣчило исторической практикѣ, побѣдоносно доказавшей, что столпы именно до тѣхъ поръ и стоятъ крѣпко, пока крѣпко стоитъ безсознательность; но такъ какъ безстолбіе одолѣвало, то приходилось довольствоваться хоть какимъ-нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явленія. Понадобилось уяснить составныя части стихіи, указать наилучшіе способы управленія ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совсѣмъ не такъ проста, какъ это казалось намъ, крѣпостныхъ дѣлъ мастерамъ, что, напротивъ того, она представляетъ сплошную цѣпь большихъ и малыхъ „принциповъ“, которые постоянно и ревниво надлежитъ держать передъ глазами, дабы благополучно провести свою ладью къ желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявилась необходимость „принциповъ“, то, само собой разумѣется, потребовались и знаменосцы для нихъ. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, не могли быть таковыми, во-первыхъ, потому, что людей, однажды уже ославленныхъ въ качествѣ выслужившихъ срокъ, было бы странно вновь привлекать къ дѣятельному столпослуженію, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я уже сказалъ выше, надъ всей нашей крѣпостной жизнью тяготѣлъ только одинъ рѣшительный принципъ: какъ только допущены бу-

дутъ разъясненія, расчлененія и разслѣдованія, такъ тотчасъ же всѣ мы пропали! Требовались люди болѣе подходящіе, такіе, которые зубами вцѣпились бы въ врученныя имъ знамена и всечасно памятовали, что плошать въ дѣлѣ держанія знаменъ — отнюдь не допускается. Такими людьми оказались — вы, кабатчики, желѣзнодорожники, мѣнялы и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера! Публицисты отлично угадали, что цѣпче васъ въ настоящее время людей не найти, и въ восторгѣ отъ этой находки воскликнули: „долой безстолбіе! вотъ они, новоявленные наши столпы!“

И точно: безстолбіе какъ-то вдругъ кануло, и ежели о немъ изрѣдка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, чтобы съ пылающими отъ стыда щеками воскликнуть: „ужели когда-нибудь былъ этотъ позоръ?“ Отнынѣ на васъ, кабатчики и мѣнялы, покоятся всѣ упованія. Вы совершите то, что̀ не съумѣли свершить даже мы, ваши достославные предшественники; вы съ неумолимою логикою проведете принципъ умиротворенія посредствомъ обездоленія. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, какъ-то задумывались передъ громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы насъ останавливали на этомъ пути какія-нибудь соображенія высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вплотную, то изъ этого, чего добраго, въ концѣ концовъ, произойдетъ обездоленіе нашей собственной утробы. Вы и въ этомъ отношеніи поставлены гораздо выгоднѣе, нежели мы. Арена вашего обездоленія такъ безконечна и такъ загадочна, что даже при самой неисповѣдимой наглости всегда будетъ казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще гдѣ-то уголокъ, въ которомъ процессъ обездоленія не совершилъ всего своего круга.

Въ виду столь несомнѣнныхъ свидѣтельствъ и я, Прогорѣловъ, не имѣю возможности сомнѣваться: да, вы грядете — это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, увѣренность эта не наполняетъ моего сердца сладкой надеждой, но, напротивъ, заставляетъ меня съ нѣкоторымъ трепетомъ приподнимать завѣсу будущаго и отыскивать тамъ совсѣмъ не тѣ ликующіе тоны, которые обѣщаютъ наши охранители и наши публицисты.

Не думайте однакожъ, кабатчики и мѣнялы, что я сгараю къ вамъ завистью, и что именно это дурное чувство препятствуетъ мнѣ привѣтствовать васъ. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ не то. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ сряду, какъ я состою въ званіи пропащаго человѣка, и мнѣ кажется, что этого періода времени вполнѣ достаточно, чтобы пролить бальзамъ забвенія на какіе угодно сердечные ропоты. На первыхъ порахъ я дѣйствительно волновался и представлялъ изъ себя не то невинно-падшаго, который успѣлъ-таки припрятать въ укромномъ мѣстѣ кой-какія уцѣлѣвшія крохи, не то человѣка, приведеннаго въ восторженное состояніе отъ безпрерывной молотьбы по головѣ. Подъ вліяніемъ свѣже-нанесенной обиды я или ехидствовалъ, или извергалъ цѣлые потоки ропотовъ, причемъ такъ безтолково кричалъ, что не только не вникалъ въ смыслъ собственныхъ рѣчей, но, въ большинствѣ случаевъ, за гвалтомъ не умѣлъ даже хорошенько разслышать ихъ. Но вдругъ промелькнула свѣтлая минута. Я вслушался, вникъ и... покраснѣлъ. Я понялъ, что мой ропотъ былъ чѣмъ-то нелѣпымъ по существу и безконечно неуклюжимъ по формѣ; что по существу я обнаруживалъ только голую алчность, а по формѣ — только беззавѣтнѣйшую невѣжественность. Съ тѣхъ поръ я сми-

рился и замолчалъ. Изрѣдка, правда, и теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ тѣхъ тихихъ пріютовъ, которые извѣстны подъ именемъ земскихъ учрежденій, но сболтну неувѣренно и какъ-то невнятно, съ пропусками. Точь-въ-точь, какъ органчикъ, котораго валъ, отъ времени и жестокаго обращенія, утратилъ три четверти своихъ колышковъ.

И знаете ли что̀ еще! Съ тѣхъ поръ какъ я покраснѣлъ и созналъ, что титулъ пропащаго человѣка прикрѣпленъ за мной безповоротно—я полюбилъ это скромное званіе. Иногда мнѣ даже сдается, что оно близко граничитъ съ званіемъ человѣка вообще, что въ этомъ качествѣ ему предстоитъ хорошая и прочная будущность, и что ежели для увѣковѣченія родовъ пропащихъ людей не будетъ заведено бархатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы люди сіи не были того достойны, а потому что, разъ испытавъ тщету увѣковѣченій, они и сами едва ли пожелаютъ ихъ возобновленія. Повторяю: я до того примирился съ мыслію, что я пропащій человѣкъ, что воспоминанія минувшей славы уже не пробуждаютъ во мнѣ ни безплодной горечи, ни несбыточныхъ надеждъ. Я знаю, что исторія назадъ не возвращается, что даже гнусное не повторяется въ ней въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и что, стало быть, Прогорѣловымъ—какъ бы они ни вопіяли—повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержатъ) не суждено. Одно меня заботитъ въ моемъ новомъ положеніи: съумѣю ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться во истину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ, то-есть человѣкомъ долга, добра, чести и труда?

И такъ, не по чувству зависти я воздерживаюсь отъ поздравленія васъ съ пріѣздомъ, а просто потому, что меня беретъ оторопь. И не за себя я боюсь—чего ужъ! изъ меня все, даже страхъ вынули!—но за отечество.

Какъ ни безшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своемъ вѣку, а тѣмъ временемъ кое-что и попристало ко мнѣ. Я, Прогорѣловъ, грамотенъ—вотъ въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или злосчастіе—всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мнѣ непостыдно и безболѣзненно (по крайней мѣрѣ относительно) перекочевать изъ категоріи столповъ въ категорію пропащихъ людей; это злосчастіе — потому что грамота же помѣшала мнѣ всецѣло отдаться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладьѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота—нельзя сказать, чтобъ черезъ-чуръ ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивавшій внутренній міръ и въ то же время внушила мнѣ вкусъ къ нѣкоторымъ нелишнимъ наблюденіямъ и оцѣнкамъ.

Благодаря этимъ наблюденіямъ, я знаю, напримѣръ, что независимо отъ клейменыхъ русскихъ словарей въ нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имѣющій очень мало сходства съ клейменными. И представь себѣ, Разуваевъ, что когда рѣчь идетъ о выраженіяхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы, напримѣръ: интеллигенція, культура, дирижирующіе классы и проч., то я положительно предпочитаю послѣдній первымъ. Я инстинктивно чувствую, что клейменые словари фаталистически

обречены на повтореніе задовъ. Ихъ міросозерцаніе — мое міросозерцаніе; условности, которыя связываютъ ихъ, суть тѣ же, которыя связываютъ и меня; словомъ сказать, словари эти несомнѣнно сочинены самимъ мной, еще въ ту эпоху, когда я какъ сыръ въ маслѣ катался. Такъ что еслибъ я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное такъ навсегда и осталось бы для меня сомнительнымъ и неяснымъ. Но, по счастью, рядомъ съ клейменными словарями существуетъ толковый интимно-обывательскій словарь, который провидитъ и отлично объясняетъ смыслъ даже такихъ выраженій, передъ которыми клейменый словарь стоитъ, уставясь лбомъ въ стѣну. Вотъ къ этому-то неизданному, но превосходнѣйшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мнѣ нужно вложить персты въ язвы.

Возьмемъ хоть бы данный случай. Вездѣ кругомъ говорятъ: грядутъ кабатчики, мѣнялы, желѣзнодорожники и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера. Желая объяснить себѣ это явленіе, я прежде всего обращаюсь къ обывательскимъ наблюдательнымъ реестрамъ, и вижу, что вы значитесь въ нихъ такъ: „*Разуваевъ*, Анатолій, бывый халуй (понимаю). Занимается кабаками, а нынѣ, сверхъ того, и *интеллигенціей* (не понимаю).

„*Губошлеповъ*, Іона, бывшій цѣловальникъ (понимаю). Занимается поставкой для арміи и флотовъ гнилыхъ сухарей (еще бы не понимать!), а нынѣ, сверхъ того, *дирижирующій классъ*“ (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистовъ, подчасковъ и прочихъ экспертовъ науки подчеркнутыя мною опредѣленія вполнѣ ясны, но для меня, человѣка только потревоженнаго наукой—нѣтъ. Поэтому я по старой привычкѣ беру сначала клейменый словарь и спѣшу справиться въ немъ: что̀ сей сонъ значитъ? Но, увы! никакихъ утѣшеній въ немъ не обрѣтаю, кромѣ того, что интеллигенція есть интеллигенція, а правящій классъ есть тотъ, который правитъ. Тогда я припоминаю, что у насъ есть еще неизданный интимно-обывательскій толковый словарь, медленно развертываю его и читаю слѣдующее:

„*Интеллигенція*, или кровопивство...

„*Правящій классъ*, или шайка людей, втихомолку отъ начальства объегоривающая...“

Дальше я уже не читаю: съ меня довольно. Искомая язва глядитъ мнѣ прямо въ глаза, зіяющая, обнаженная, вполнѣ достовѣрная. Нѣтъ нужды, что прочитанныя опредѣленія противорѣчатъ безсознательной номенклатурѣ, усвоенной мною съ пеленокъ; то̀, что̀ открылось передо мной, такъ прозрачно-ясно, что я забываю всѣ пеленки, заподозрѣваю всѣ клейменые словари и вѣрю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затѣмъ цѣлый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свойства, такъ и роится въ моей головѣ.

Горе—думается мнѣ—тому граду, въ которомъ и улица, и кабаки безнужно скулятъ о томъ, что собственность священна! навѣрное въ градѣ семъ имѣетъ произойти неслыханнѣйшее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вопіютъ, что семейство — святыня! навѣрное надъ этой весью невдолгѣ разразится колоссальнѣйшее прелюбодѣйство!

Горе той странѣ, въ которой шайка шалопаевъ во всѣ трубы трубитъ: „государство, mon cher!—c'est sacrrrré!“ Навѣрное въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожій пирогъ!

А работа воображенія не только не отстаетъ отъ работы мысли, но по обыкновенію даже опережаетъ ее. Картины слѣдуютъ за картинами... ужасъ! Представьте себѣ эту неусыпающую свару, въ которой отнятіе перемѣшано съ прелюбодѣяніемъ и терзаніемъ пирога! Осуществите ее въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостяжаній и любострастія; заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина болѣе потрясающая? Бѣжать отъ нихъ! бѣжать! бѣжать! — вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ при видѣ этихъ озлобленныхъ, бѣсноватыхъ существъ. Но куда бѣжать?

Вотъ чего я, Прогорѣловъ, страшусь и чего — увы! — я не могу не провидѣть въ ближайшемъ будущемъ. Воистину говорю: никогда ничего подобнаго не бывало. Ужасно было крѣпостное мучительство, но оно имѣло опредѣленный районъ (каждый мучительствовалъ въ предѣлахъ своего гнѣзда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о, міроѣды и кровопійственныхъ дѣлъ мастера, есть мучительство вселенское, неуличимое, не знающее ни границъ, ни даже ясныхъ опредѣленій! Ужели это прогрессъ, а не наглое вырожденіе гнусности меньшей въ гнусность сугубую?

Интеллигенція! дирижирующіе классы! И при семъ въ скобкахъ: „сюжетъ заимствованъ съ французскаго!“ Слыханное ли это дѣло! И какъ отвѣтъ на эти запросы — „Разуваевъ, бывый халуй“! Разуваевъ, заспанный и нахучій, буйный, безшабашный, безвременно оплывшій, съ отяжелѣвшею отъ виннаго угара головой и съ хмельною улыбкою на устахъ. Подумайте! да онъ— въ ту самую минуту, какъ вы, публицисты, призываете его: „иди и володѣй нами!“ — даже въ эту торжественную минуту онъ пущаетъ враскосъ глаза, высматривая, не лежитъ ли гдѣ плохо!

Знаетъ ли онъ, что̀ такое отечество! слыхалъ ли онъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему-то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка — вотъ какое значеніе имѣетъ это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственныхъ дѣлъ мастерамъ!

. . . . . .

Но да свершится. Исторія имѣетъ свои повороты, которые невозможно измѣнить, а тѣмъ менѣе устранить. Это, конечно, не слѣпой фатализмъ, передъ которымъ не остается ничего другого, какъ преклониться, и не произволъ, которому люди подчиняются, потому что за нимъ стоитъ цѣлый легіонъ темныхъ силъ; но все-таки это законъ, и именно законъ послѣдовательнаго развитія однихъ явленій изъ другихъ. Явленія приходятъ на арену исторіи, какъ бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки — вотъ почему они въ большинствѣ случаевъ кажутся намъ внезапными или произ-

вольными. Но подготовка эта несомнѣнно существовала—только мы, ошеломленные исконной репутаціей несмѣняемости, которою пользовались явленія предшествующія, проглядѣли ее. Такъ что когда новыя вещи, новые порядки и новыя дѣла являются во всеоружіи совершившагося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для борьбы съ ними, но и для смягченія безполезныхъ наглостей подкравшагося торжества.

Увы! міроѣдскій періодъ, очевидно, еще не исчерпалъ всего своего содержанія. Ему еще предстоитъ сказать рѣшительное слово, и чѣмъ ближе къ концу будетъ приходить его рѣчь, тѣмъ жестче и неумолимѣе выскажется это послѣднее слово. Жизнь выработала извѣстную сумму приманокъ, имѣющихъ несомнѣнно кровопійственный характеръ, и покуда эти приманки носятъ названіе утѣхъ, къ нимъ все-таки не перестанутъ устремляться завистливые взоры тѣхъ, кто не боится рисковать, или кто суевѣрно надѣется на свою счастливую звѣзду. Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду устраненія жизненныхъ огорченій человѣческое естество необходимо упразднить, а на мѣсто его водворить и утвердить естество волчье, до тѣхъ поръ всякій могущій вмѣстить будетъ прямо или косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципъ утѣхъ—великій принципъ, которому суждено вѣчно плѣнять человѣческія сердца, и ежели тутъ есть бѣда, то не въ томъ, что люди желаютъ наслаждаться утѣхами, а въ томъ, что по обстоятельствамъ эти утѣхи нерѣдко получаютъ характеръ звѣриный и человѣконенавистническій. Вотъ когда жизнь выработаетъ новаго сорта утѣхи, тогда самъ собою изноетъ и міроѣдскій періодъ. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестокихъ и безчеловѣчныхъ словъ и долго оставаться безмолвнымъ свидѣтелемъ всякаго рода безстыжествъ и неключимостей.

Какъ бы то ни было, но я взялся за перо совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы протестовать. Я только намѣренъ высказать нѣсколько благожелательныхъ соображеній, которыя, по мнѣнію моему, вамъ, новоявленнымъ столпамъ, въ видахъ собственной пользы нелишне было бы принять къ свѣдѣнію.

Я самъ, пропащій человѣкъ Прогорѣловъ, былъ въ свое время столпомъ и самъ безчисленно прегрѣшалъ. Я былъ и отнимателемъ, и прелюбодѣемъ, и измѣнникомъ казеннаго интереса, и не только не полагалъ въ томъ грѣха, но и вполнѣ искренно былъ убѣжденъ, что именно на этихъ трехъ китахъ міръ стоитъ. Только теперь, когда меня безповоротно произвели въ чинъ пропащаго человѣка, я понялъ, что никакихъ тутъ китовъ нѣтъ. Во всякомъ случаѣ то, что мнѣ предстоитъ сказать по этому поводу, будетъ плодомъ моего собственнаго опыта и моей собственной долголѣтней міроѣдской практики. Стало быть, вѣрно.

Начнемъ съ отечества. Отвѣть, Разуваевъ! знаешь ли ты, что такое отечество?

Сдѣлавши этотъ вопросъ, я натурально стараюсь уловить, какое онъ произвелъ на тебя впечатлѣніе. И долженъ сказать, что впечатлѣніе это, на мой взглядъ, не весьма удовлетворительное. Прежде всего ты изумленъ и таращишь глаза, словно спрашиваешь: и зачѣмъ ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себѣ „филантропію“... Потомъ, однакожъ, ты начинаешь шутки

шутить, зубы заговаривать: „кто же, молъ, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я изъ учтивости о немъ умалчиваю) не знаетъ!“ Но наконецъ, прижатый къ стѣнѣ, ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гдѣ имѣетъ квартиру становой приставъ Граціановъ.

Твой кивокъ въ сторону Граціанова убѣждаетъ меня, что ты смѣшиваешь отечество съ начальствомъ, или, по малой мѣрѣ, ставишь представленіе о первомъ въ зависимость отъ представленія о послѣднемъ. Исполнять приказанія начальства—вотъ, по твоему, что значитъ быть истиннымъ сыномъ отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за тѣми же разъясненіями обращаюсь къ твоему публицисту (онъ тебя провидѣлъ, облюбовалъ, онъ же, стало быть, обязывается и отвѣчать за тебя), въ чаяніи, что этотъ шустрый малый съумѣетъ яснѣе формулировать то, что ты въ столповой своей необрѣзанности только бормочешь. Но, увы! и отъ него ничего, кромѣ бормотанія, въ отвѣтъ не слышу. Онъ легкомысленно перебѣгаетъ отъ одного признака къ другому; онъ упоминаетъ и о географическихъ границахъ, и о расовыхъ отличіяхъ, и о равной для всѣхъ обязательности законовъ, и о присягѣ, и объ окраинахъ, и о необходимости обязательнаго употребленія въ присутственныхъ мѣстахъ русскаго языка, и о господствующей религіи, и объ арміи и флотахъ, и въ концѣ концовъ все-таки сводитъ вопросъ къ Граціанову. Словомъ сказать, онъ тоже смѣшиваетъ отечество съ государствомъ и правительствомъ, подчиняя представленіе о первомъ представленію о двухъ послѣднихъ.

Смѣю тебя увѣрить однакожъ, что представленія эти совершенно различныя и что смѣшеніе ихъ можетъ привести къ такимъ запутанностямъ, которыя на практикѣ бываютъ равносильны бѣдствіямъ.

И такъ, въ чемъ же тутъ различіе?

Прежде всего отечество — привлекаетъ; государство — обязываетъ; начальство — приказываетъ. Все это функціи, конечно, очень почтенныя, но и за всѣмъ тѣмъ совершенно различныя. Дальше. Представленію объ отечествѣ соотвѣтствуетъ представленіе о нравахъ и обычаяхъ, объ играхъ, пѣсняхъ и пляскахъ, о примѣтахъ и суевѣріяхъ, о пословицахъ, поговоркахъ, притчахъ и сказкахъ и наконецъ о томъ неклейменомъ, но несомнѣнно ходячемъ словарѣ, о которомъ я упоминалъ уже выше. Представленію о государствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о законахъ, о коммисіяхъ, издающихъ сто-одинъ томъ трудовъ, о географическихъ границахъ, объ арміяхъ и флотахъ, о податяхъ и повинностяхъ, о казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, о дипломатическихъ нотахъ и о клейменыхъ словаряхъ. Представленію о начальствѣ соотвѣтствуетъ представленіе о департаментахъ, канцеляріяхъ и штабахъ, о предписаніяхъ, подтвержденіяхъ и о тщетныхъ ожиданіяхъ на сіи предписанія отвѣтовъ, о маршировкахъ и обмундировкахъ, о наградахъ, повышеніяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ и наконецъ паки о предписаніяхъ и подтвержденіяхъ.

Отечество говоритъ тебѣ кратко: „живи!“ даже не прибавляя при этомъ: играй, пой пѣсни, пляши, сказывай сказки и проч. Оно знаетъ, что и безъ его напоминанія все сіе тебѣ свойственно. Государство тоже говоритъ: „живи!“

но прибавляетъ: „и повинуйся закону“. Начальство выражается такъ: „живи, но ожидай предписаній и подтвержденій!“

Ужели и теперь не ясно, что это функціи совершенно другъ отъ друга отличныя?

Но будемъ продолжать наши сравненія.

Отечество есть тотъ таинственный, но живой организмъ, очертанія котораго ты не можешь отчетливо для себя опредѣлить, но котораго прикосновеніе къ себѣ ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связанъ съ этимъ организмомъ неразрывною пуповиной. Онъ, этотъ таинственный организмъ, былъ свидѣтелемъ и источникомъ первыхъ впечатлѣній твоего бытія; онъ надѣлилъ тебя способностью мыслить и чувствовать; онъ создалъ твои привычки, далъ тебѣ языкъ, вѣрованія, литературу, онъ обогрѣлъ и пріютилъ тебя, словомъ сказать, сдѣлалъ изъ тебя существо, способное жить. И всего этого онъ достигъ безъ малѣйшаго насилія, однимъ теплымъ и безконечно любовнымъ къ тебѣ прикосновеніемъ. Онъ сдѣлалъ даже больше того: неусыпно обнимая тебя своею любовью, онъ и въ тебѣ зажегъ священную искру любви, такъ что и тебѣ нигдѣ не живется такою полною, горячею жизнью, какъ подъ сѣнью твоего отечества. Ты слово скажешь — въ отечествѣ тебя понимаютъ; ежели это слово умное — возвеличатъ и воздвигнутъ монументъ; ежели оно глупое—забранятъ и простятъ. Ты сдѣлаешь движеніе—въ отечествѣ сразу угадываютъ, куда оно клонится; ежели это движеніе осмысленное—скажутъ: „даже жестъ у него умный и благородный!“ ежели оно нелѣпое и противоестественное — опредѣлятъ въ актеры въ Александринскій театръ: играй съ Новиковымъ и Петипа! Всякій поступокъ твой въ отечествѣ оцѣнятъ, не прикидывая къ нему абсолютныхъ критеріумовъ, а довольствуясь правиломъ: по здѣшнему мѣсту и такъ сойдетъ! Самый плохой человѣкъ — и тотъ найдетъ въ своемъ отечествѣ массу такихъ же плохихъ людей, которые будутъ вмѣстѣ съ нимъ на бобахъ разводить, вмѣстѣ ѣсть печатные пряники, вмѣстѣ горевать и радоваться. Даже мерзавецъ — и тотъ обрящетъ цѣлую уйму сомерзавцевъ, съ которыми можетъ по душѣ поговорить. Нигдѣ на чужбинѣ ты ничего подобнаго не найдешь: ни сочувствія, ни снисходительности, ни даже порицаній. Вездѣ, кромѣ своего отечества, ты чужой; ни тебя никто въ земскія учрежденія не выберетъ, ни ты никого въ земскія учрежденія не выберешь. Только въ отечествѣ тебѣ до всего дѣло, даже въ такомъ отечествѣ, гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: „не суйся! не лѣзь впередъ! не твое дѣло!“ Пускай говорятъ! ты все-таки всѣмъ существомъ своимъ сознаешь, что дѣла у тебя по горло, и что еслибъ ты даже желалъ послѣдовать совѣту о несованіи носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что дѣло само такъ и подступаетъ къ твоему носу. Словомъ сказать, только тутъ, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способнымъ къ жизни существомъ, хозяиномъ „своего дѣла“, человѣкомъ, котораго понимаютъ и который въ то же время самъ понимаетъ.

Всѣ эти блага наполняютъ твое существо такою полнотою довольства, какой ничто другое не можетъ тебѣ дать. А довольство, въ свою очередь, полагаетъ начало другому не менѣе сладкому чувству — чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты

ищешь олицетворить его въ чемъ-нибудь конкретномъ, и въ этихъ поискахъ прежде всего наталкиваешься на своихъ соотечественниковъ. Кто далъ тебѣ это чувство довольства? кто далъ тебѣ славу, ежели ты силенъ, и снисхожденіе, ежели ты слабъ? Кто окружилъ тебя почетомъ или накрылъ покровомъ забвенія, смотря по тому, что ты заслужилъ? Кто сказалъ тебѣ: вотъ въ чемъ твоя заслуга и вотъ въ чемъ твой стыдъ? Все это дали и сказали тебѣ твои соотечественники. Во всякомъ другомъ мѣстѣ, отъ всѣхъ другихъ людей ты слышалъ только одинъ разговоръ: столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только здѣсь, въ отечествѣ, съ тобой разговаривали по человѣчьему, только здѣсь признали въ тебѣ существо, которое можно хвалить или порицать и котораго дѣйствія во всякомъ случаѣ слѣдуетъ считать обязательно-вмѣняемыми. Какъ же тебѣ не быть безконечно признательнымъ этимъ людямъ, которые ни разу не проглядѣли въ тебѣ человѣка, которые могли любить, ненавидѣть, даже презирать тебя, но одного не могли: остаться къ тебѣ равнодушными? Какъ тебѣ не считать себя солидарнымъ съ ними, какъ всеминутно отъ глубины благодарнаго сердца не восклицать: о, плоть отъ плоти моей и кость отъ костей моихъ!—когда и у нихъ при видѣ твоемъ дыханіе спирается въ зобу? Какъ не броситься въ огонь и въ воду ради присныхъ твоихъ? какъ не принять смерть, мучительство, позоръ ради друговъ твоихъ? О, Разуваевъ! сдѣлай милость, пойми меня! вѣдь они, они одни признали въ тебѣ подлиннаго человѣка, одни они напоили тебя и радостью, и мучительствомъ, и позоромъ—какой же высшей награды можно желать?

Вотъ отчего говорится, что нѣтъ отечества краше собственнаго отечества; вотъ отчего ни о чемъ не болитъ сердце такою острою болью, какъ объ отечествѣ. Люди изнываютъ подъ непосильнымъ бременемъ этой боли, сходятъ съ ума, рѣшаются на самоубійство. Стоитъ одинокій человѣкъ гдѣ-нибудь на берегу Средиземнаго моря, среди залитой лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля по каплѣ истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ дѣлается, въ этихъ дорогихъ сердцу палестинахъ, гдѣ „С.-Петербургскія“ и „Московскія Вѣдомости“ издаются (wo die Citronen blühen)? Чай, Ѳеденька Неугодовъ закусываетъ, Петръ Толстолобовъ цыркаетъ... ахъ, такъ бы и летѣлъ туда! хоть невидимкой посидѣлъ бы въ томъ засѣданіи коммисіи, когда она, издавъ сто-одинъ томъ трудовъ, сама наконецъ приходитъ къ заключенію, что все земное ею свершено, и что затѣмъ ей ничего другого не остается, какъ разойтись! Да, хочется и туда! не для смѣха хочется, а потому что нутро горитъ по присномъ и другамъ, потому что память о нихъ даже въ лучахъ этого горящаго солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство неразрывности съ отечествомъ даже въ плохихъ людяхъ, доказательствомъ тому можетъ служить слѣдующій, правда, довольно банальный примѣръ. Колеситъ гулящій русскій человѣкъ по бѣлу свѣту, сыплетъ марками и франками, уплачиваетъ тринкгельды и пурбуары—и все ему почета ни отъ кого нѣтъ. Наконецъ наступаетъ рѣшительный моментъ: жизнь въ обществѣ кельнеровъ, гарсоновъ и метродотелей наскучила, франки приходятъ къ концу — айда домой! Начинаются разсчеты! столько-то на разставанье съ Парижемъ, столько-то — на ознакомленіе по пути съ садомъ Кроля, столько-то—на дорогу... И представь себѣ, Разува-

евъ! такова сила инстинктивной вѣры въ привѣчающія свойства отечества, что ежели нѣтъ совсѣмъ завалящихъ денегъ, то гулящій человѣкъ въ своихъ путевыхъ разсчетахъ какъ-то совсѣмъ забываетъ Россію. Только бы до Эйдкунена доѣхать, а тамъ какъ-нибудь... вѣдь тамъ ужъ Россія! И дѣйствительно, доѣхали до Вержболова, а здѣсь ужъ давно ждутъ: пожалуйте по этапу! Ну, что жъ! по этапу, такъ по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваевъ, что разъясненія эти утомили тебя, но я остановился на нихъ потому, что надо же тебѣ знать, что̀ такое отечество и почему такъ естественно его любить. Вѣдь ты грядешь съ тѣмъ, чтобъ играть роль, ты даже въ обывательскихъ книгахъ въ графѣ „чѣмъ занимается“ отмѣченъ: „дережирующій классъ“ — надо же, чтобъ ты понималъ, что̀ именно разумѣли наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, но порядку въ ней нѣтъ. Но, сверхъ того, я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свѣтѣ существуютъ легіоны вертопраховъ, которые слишкомъ охотно говорятъ о прекращеніяхъ и вовсе не думаютъ о томъ, что отечество не прекращать, а любить надлежитъ. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажутъ себѣ: „да, онъ правъ! если мы присныхъ своихъ предадимъ расточенію, то съ кѣмъ же сами останемся? кто будетъ насъ красавцами называть?“

Идея отечества одинаково для всѣхъ плодотворна. Честнымъ она внушаетъ мысль о подвигѣ, безчестныхъ — предостерегаетъ отъ множества гнусностей, которыя безъ нея несомнѣнно были бы совершены. Есть еще и другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная — это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственнаго дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщеній, — тогда какъ мысль о томъ, какъ будетъ принятъ тотъ или другой поступокъ въ средѣ соотечественниковъ, бьетъ прямо въ чувствительное мѣсто и отчасти имѣетъ даже угрожающій характеръ. Ибо нѣтъ презрѣнія существеннѣе того презрѣнія, которымъ пользуется человѣкъ отъ своихъ соотечественниковъ.

Но, можетъ быть, ты скажешь на это: „вѣдь самъ же ты, за нѣсколько страницъ выше, утверждалъ, что и мерзавцу въ своемъ отечествѣ веселѣе, потому что онъ найдетъ тамъ массу вполнѣ однородныхъ сомерзавцевъ, съ которыми ему можно душу отвести; стало быть, дескать, и я: подберу подходящую компанію, и будемъ мы вкупѣ сомерзавствовать, а до прочаго намъ дѣла нѣтъ“. Прекрасно; дѣйствительно, ты можешь такую компанію обрѣсти. Но вѣдь ежели я рисовалъ тебѣ подобную перспективу, то, право, не для того, чтобъ ты непремѣнно въ ней искалъ себѣ успокоенія, а только на случай крайности. Не спорю, можно такъ искусно нырнуть въ шайку спеціалистовъ, что ею, такъ сказать, отъ всего остального свѣта себя загородить; но не забывай, что въ такой шайкѣ тебѣ предстоитъ только бражничать да по душѣ калякать, а вѣдь тебѣ главнѣйшимъ образомъ надо объегоривать и дѣла дѣлать. Вотъ эти-то послѣднія функціи и вынудятъ тебя отъ времени до времени выбѣгать изъ шайки и обращаться къ прочимъ партикулярнымъ людямъ. Теперь представь себѣ слѣдующее. Допустимъ, что въ виду засилія, которое ты взялъ, партикулярные людя не посмѣютъ совершенно уклониться отъ сношеній съ тобой; но такъ какъ имъ извѣстно, что ты несомнѣнный кровопивецъ, то они непремѣнно хоть частицу сокровища да утаятъ отъ тебя.

Если же имъ о кровопивствѣ твоемъ неизвѣстно, если ты съумѣлъ — не скажу сдѣлаться честнымъ человѣкомъ, но по крайней мѣрѣ прикинуться таковымъ, то они не только *все* свое сокровище, но и тѣла, и души — все полностью тебѣ препоручатъ. Не ясно ли, что даже въ такомъ дѣлѣ, какъ облапошиванье, быть кровопивцемъ загадочнымъ выгоднѣе, нежели неприкрытымъ нахаломъ, который всей своей физіономіей только-что не говоритъ: что жъ ты задумался, не плюешь въ меня? плюй!

Осторожность и загадочность — вотъ школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы въ тебѣ воистину видѣли „дирижирующій классъ“. Ибо обыватель простодушенъ, и ежели видитъ, что на него наступаютъ съ тѣмъ, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку невѣдомо гдѣ сосутъ, онъ только перевертывается.

Теперь — о государствѣ. Эта идея тоже плодотворная, но только въ другомъ родѣ и въ другой степени. Но ты и ее смѣшиваешь съ Граціановымъ, а публицисты твои — съ цензурнымъ вѣдомствомъ; а потому надо и въ данномъ случаѣ кое-что тебѣ пояснить. Скажемъ такъ: отечество — отъ Бога, государство — дѣло изобрѣтательности человѣческаго ума. Вотъ главное и существенное различіе между отечествомъ и государствомъ; остальныя подробности ты можешь сообразить самъ по тому же масштабу. Необходимо, впрочемъ, помнить еще слѣдующее: въ представленіи о государствѣ ты не встрѣтишься ни съ подблюдными, ни съ свадебными пѣснями, ни съ сказками, ни съ былинами, ни съ пословицами, словомъ сказать — ни съ чѣмъ изъ всего цикла тѣхъ нѣжащихъ явленій, которыя обдаютъ тебя тепломъ, когда ты мыслишь себя лицомъ къ лицу съ отечествомъ. Ничего подобнаго государство тебѣ не дастъ, но у него имѣется въ рукахъ громадная привилегія: оно властно обезпечить или не обезпечить твоему отечеству спокойное пользованіе этими благами. Это обстоятельство очень важно, и ты отнюдь не долженъ упускать его изъ вида, если хочешь умненько вести дѣла свои. Такъ что ежели, напримѣръ, ты сдуру будешь молить Бога, чтобъ государство не обезпечивало хороводовъ и игръ, но воспрещало и преслѣдовало оные, то, во-первыхъ, молитва твоя не будетъ угодна Богу, а во-вторыхъ ты самъ же первый почувствуешь на себѣ ея неблагопріятныя послѣдствія, если Провидѣніе допуститъ осуществленіе ея. Знай, Разуваевъ, что только народы веселые и хороводолюбивые къ объегориванію ласковы; народы же угрюмые, узаконеніями непосильно изнуряемые, даже для самыхъ изобрѣтательныхъ кровопивцевъ даютъ мало пищи. Отданные въ жертву унылости, они безмолвно изнемогаютъ безъ малѣйшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тѣло. Кости да кожа — по истинѣ съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя! Это не я говорю, а исторія.

Не менѣе плодотворна и идея о начальствѣ. Идея эта тебѣ небезъизвѣстна — этого отрицать нельзя; но все-таки скажу, даже и ее ты какъ-то неблагородно представляешь себѣ. Начальство представляется тебѣ чѣмъ-то такимъ, что̀ наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажкѣ. Нѣтъ, это не такъ; это идеалъ, уже вышедшій изъ употребленія, и притомъ такой, который не за что было бы любить. Но не любить начальства нельзя, такъ какъ и оно, совмѣстно съ госу-

дарствомъ, для того установлено, дабы наидѣйствительнѣйше обезпечивать неприкосновенность хороводовъ и игръ. А потому, ежели ты будешь въ молитвахъ своихъ упоминать о начальствѣ (это полезно „да тихое житіе поживемъ“), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ распоряженіяхъ было больше снисходительности и менѣе настоятельности, и чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, начальство въ то же время памятовало, что и оно, яко изъ человѣковъ состоящее, прегрѣшать можетъ. Именно такъ и молись, ибо въ противномъ случаѣ результатъ одинъ: кости да кожа, съ его неизбѣжнымъ послѣдствіемъ въ формѣ постепеннаго закрытія заведеній, глася-щихъ: распивочно и на-выносъ.

И такъ, три главныхъ объекта предстоятъ для твоей, Разуваевъ, любви:

Во-первыхъ, отечество, которое ты обязываешься любить—будемъ говорить кратко—за то, что оно твое отечество и его тебѣ далъ Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради отечества, дабы послѣднее не впало въ унынie и свойственные ему игры и смѣхи неповрежденными сохранило.

Въ-третьихъ, начальство, которое ты долженъ любить тоже ради отечества и по той же причинѣ.

Какъ видите, во всѣхъ трехъ случаяхъ отечество стоитъ на первомъ планѣ. Я знаю, что для тебя это сущій сюрпризъ, но что же дѣлать, мой другъ! я бы и самъ радъ всѣхъ поровнять, но такъ ужъ выходитъ.

Повторяю: все сейчасъ изложенное я высказалъ по собственному опыту. Когда я былъ столпомъ, то такъ же, какъ и ты, Разуваевъ, ровно ничего не понималъ. Для меня это было еще постыднѣе, потому что я грамотенъ. Грановскаго слушалъ, Бѣлинскаго читалъ, восторгался, трепеталъ отъ умиленія —и, представь себѣ, всѣ эти восторги и умиленія я словно во снѣ или фантастическомъ представленіи продѣлывалъ! Отслушаешь, бывало, Грановскаго, а черезъ часъ, какъ ни въ чемъ не бывало, думаешь: „а что кабы кто у меня душу купилъ!“ Какимъ образомъ происходилъ чудодѣйственный процессъ этого жизненнаго двоегласія — объ этомъ цѣлые томы психологическихъ изслѣдованій можно написать; но онъ происходилъ несомнѣнно, и я былъ въ немъ дѣйствующимъ лицомъ. Я безъ умолку болталъ о любви къ отечеству—и въ годину опасности жертвовалъ на алтарь отечества чужія тѣла; я требовалъ, чтобъ отечественный культъ былъ объявленъ обязательнымъ, но лично на встрѣчу врагу не шелъ, а нанималъ за себя пропойца. И въ довершеніе всего я снабжалъ пожертвованныхъ и нанятыхъ мною „защитниковъ“ сапогами на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога побѣдъ и одолѣній, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на картонныхъ подошвахъ мои ратнички... И вотъ за это теперь—я пропащій человѣкъ.

Я говорилъ себѣ: отечество—святыня! объ этомъ во всѣхъ стихотвореніяхъ упоминается. Но ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ прямую зависимость отъ процвѣтанія отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процвѣтать особо. Правда, въ моей головѣ иногда мелькала мысль, что это выводъ лукавый и постыдный, что, слѣдуя Грановскому и Бѣлинскому, его надлежало бы какъ разъ вывороти́ть на изнанку, то-есть

сказать: ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ зависимость отъ процвѣтанія отечества, то я самъ, по совѣсти, обязанъ устроить эту зависимость; но я какъ-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочиталъ оставаться при первоначальной редакціи. Я срывалъ цвѣты удовольствія, а соотечественники мои унывали; я праздновалъ, а соотечественники мои повинны бѣша работѣ; я былъ изъятъ отъ тѣлесныхъ наказаній, а соотечественники мои были изъяты отъ наградъ. И въ то же время я слушалъ Грановскаго, восторгался, восклицалъ: „отечество—святыня!“ И вотъ за это теперь—я пропащій человѣкъ!

Прорывались, однакожъ, минуты, когда мнѣ думалось: а вѣдь, несмотря на процвѣтаніе, все-таки въ моемъ существованіи есть что-то непрочное и какъ бы неблаговонное. Куда бы я ни сунулъ свой носъ, вездѣ на встрѣчу мнѣ раздавался окрикъ: „чего съ жиру бѣсишься! твое дѣло не лѣзть, а другимъ примѣръ подавать!“ „Подавать примѣръ“—это, по тогдашнему времени, значило: собственнымъ тѣломъ такую филантропію пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совалъ. И что же! перваго окрика было вполнѣ достаточно, чтобъ я убѣдился. Мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось ясно, что дѣйствительно я съ жиру бѣшусь, а не по настоятельной внутренней нуждѣ дѣйствую, что, въ сущности, для меня даже выгоднѣе не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не сунетъ. И, заручившись этою столповою мудростью, я ни за себя, ни за другихъ—ни за кого пальцемъ не шевельнулъ. Ни за кого не заступился, никого не загородилъ грудью и въ то же время умилялся и восклицалъ: „отечество—святыня!“ И вотъ за это теперь—я пропащій человѣкъ.

Какъ въ былое время мнѣ ни до кого не было дѣла, такъ теперь никому нѣтъ дѣла до меня. Никто ко мнѣ не устремляется, никто отъ меня ничего не ждетъ, никто даже въ толкъ не можетъ взять, хочу ли я чего-нибудь, или просто блажу. А я между тѣмъ... понялъ! Я понялъ, что такое отечество, понялъ, почему оно вправѣ требовать отъ сыновъ своихъ жертвъ и даже самоотверженія, и—увы! понялъ даже и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ, ни самоотверженія не требуетъ: оно лучше меня самого знаетъ, что я дать ему ничего не могу. Оставленный всѣми, отжившій, выдохшійся, я обязываюсь изнывать въ отчужденіи, услаждая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сынъ или внукъ утопятъ званіе пропащаго человѣка въ званіе человѣка вообще и сына отечества въ особенности. То-есть тогда, когда даже потроховъ моихъ въ поминѣ не будетъ. Скажи, можно ли представить себѣ боль, горшую этой!

Вотъ отъ этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваевъ. Не иди по стопамъ моимъ, и ежели достигнешь производства въ столпы, то не понимай этого званія въ черезчуръ буквальномъ смыслѣ, но потщись изъ недвижимаго имущества превратиться въ движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не чрезъ посредство наемниковъ; не процвѣтай особо, совмѣстно съ твоими соотечественниками, не утопай въ бездѣльничествѣ и равнодушіи, но стой грудью за други своя, жертвуй своими интересами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебѣ жалко поступиться рублемъ, то поступись хоть двугривеннымъ. Все это для тебя даже необходимѣе,

нежели для меня. Мы, Прогорѣловы, столповали въ такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, нежели понимали; тебѣ, Разуваевъ, предстоитъ столповать въ такое время, когда даже и мелкотѣ приходитъ на умъ: „а что, ежели этотъ самый кусъ, который онъ къ устамъ подноситъ, взять да вырвать у него?“ И вырвутъ—не сомнѣвайся, а тебя произведутъ въ пропащіе люди, и все это произойдетъ тѣмъ легче, что на твое мѣсто давно ужъ самъ себя намѣтилъ новый столпъ: содержатель дома терпимости Ротозѣевъ... Вотъ сколько васъ тамъ, въ щеляхъ, притаилось... столповъ!

Однимъ словомъ, люби отечество — и вѣрь, что убытка не будетъ. А затѣмъ мнѣ остается условиться еще насчетъ нѣкоторыхъ подробностей, и задача моя будетъ кончена.

По поводу вашего появленія было поднято много разнаго принципіальнаго разговора. Собственность, семейство, государство—вотъ тріада, которую, по мнѣнію охранителей и публицистовъ, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно: постараемся же сговориться, въ какой мѣрѣ и какъ ловчѣе все это осуществить.

„Собственность“—ты понимаешь достаточно, то-есть всѣмъ своимъ нутромъ. „Все,—говоришь ты,—что я успѣлъ опустить въ *свой* карманъ, помѣстить въ *своей* квартирѣ, запереть въ *свою* шкатулку, все, что я могу, по личному усмотрѣнію, перенести въ другое мѣсто и въ случаѣ банкротства спрятать —все это есть собственность движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной цѣнности, поджечь, а вторыя, исхлопотавъ отъ установленныхъ баснописцевъ залоговыя свидѣтельства (съ виньетками и картинками), заложить въ кредитномъ учрежденіи—это собственность недвижимая“. То же самое говорятъ и твои юристы и публицисты, только съ несравненно меньшей ясностью, что впрочемъ и вполнѣ естественно, ибо на неясности почіетъ ихъ право на полученіе гонорара.

Все это, однакожъ, относится къ собственности уже осуществившейся, то-есть опущенной въ карманъ, запертой въ шкатулку или получившей отъ нотаріуса надлежащую санкцію. О томъ же, какимъ образомъ произошелъ процессъ этого осуществленія, тутъ вовсе умалчивается, а мнѣ сдается, что съ точки зрѣнія принципіальностей это-то именно и важно. Какимъ образомъ запутался въ твоемъ карманѣ рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запутавшіеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты наконецъ воскликнулъ: „а теперь пойдемъ къ нотаріусу и постараемся опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ недвижимаго имущества“?

Ежели ты дѣйствительный поборникъ принциповъ, ежели ты воистину призванъ оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое безпокойство. Прямо тебѣ говорю: какъ насадитель и оградитель принципа собственности, ты долженъ такимъ образомъ вести свои дѣла, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ пріобрѣтенія. По крайней мѣрѣ я, Прогорѣловъ, былъ въ старые годы вполнѣ на этотъ счетъ чистосердеченъ. „Все, что вы видите, говорилъ я, все это перешло ко мнѣ отъ папеньки и маменьки (были и исключенія, но очень немного), я же только одно усовершенствованіе въ дошедшемъ имуществѣ допустилъ: заложилъ оное въ опекунскомъ совѣтѣ“. По моему мнѣ-

нію, не меньшее чистосердечіе въ этомъ смыслѣ обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покровъ давности (тоже, братъ, принципъ!), на другое—покровъ коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, такъ тѣ даже прямо говорятъ, что такъ-какъ въ данномъ случаѣ истцовъ въ виду не имѣется, то и надлежитъ въ требованіи чистосердечнаго отчета отказать. И отказываютъ —что̀ будешь дѣлать! И даже правильно отказываютъ, потому что допусти васъ подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, и другихъ до смерти закляузничаете.

Однако, для партикулярнаго человѣка это не резонъ, ибо онъ не юристъ и не публицистъ, а простой сынъ отечества. Какъ только онъ замѣчаетъ, что отвѣтчикъ начинаетъ ссылаться на отсутствіе истцовъ, такъ тотчасъ начинаетъ подозрѣвать: а вѣдь отсутствующій-то истецъ, пожалуй, и есть: именно я, партикулярный человѣкъ!

Допустить, чтобъ эта мысль утвердилась въ немъ — очень невыгодно, потому что, развивая, провѣряя и дополняя ее, онъ можетъ придти къ выводамъ по-истинѣ поразительнымъ. Какъ юристъ, ты ясно понимаешь, чѣмъ ты вправѣ „воспользоваться“, что вотъ это ты можешь „оттягать“, а вотъ это—просто „отнять“; но партикулярный человѣкъ какъ сынъ отечества во всемъ этомъ сомнѣвается. Какъ юристъ, ты говоришь: „какъ взялъ, такъ и отдай!“—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: „и все-таки ты поступай побожески!“ Какъ юристъ ты говоришь: „своими ли глазами ты смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?“...—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: „и все-таки ты меня обманулъ, зубы мнѣ заговорилъ!“ Какъ юристъ, ты его убѣждаешь: „ты пропустилъ всѣ сроки, не жаловался, не апеллировалъ, на кассацію не подалъ, кто жъ виноватъ, что ты прозѣвалъ?“—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: „гдѣ жъ это видано, чтобъ изъ-за какихъ-то кляузъ у меня мое отнимать?“ Какъ юристъ, ты говоришь: „я за своей собственностью блюду, а ты за своею блюди!“ а онъ, сынъ отечества, возражаетъ на это: „воръ!“

Конечно, всѣ эти возраженія ничтожны и будутъ оставлены безъ послѣдствій, но когда живешь среди сыновъ отечества, то надобно заранѣе приготовиться къ тому, чтобы и ничтожныя возраженія выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и въ довершеніе всего каждый изъ нихъ наивно думаетъ: своего-то вѣдь жалко. Очень можетъ быть, что это и предразсудокъ; но что же дѣлать, мой другъ! онъ настолько живучъ, что не принять его къ свѣдѣнію—просто нельзя.

Я думаю впрочемъ, что ты до извѣстной степени удовлетворишь этому предразсудку, если признаешь совмѣстное существованіе своей собственности и чужой. Это будетъ и просто, и благородно. Неусыпно стеречь свою шкатулку и въ то же время не подбирать ключа къ шкатулкѣ сосѣда; держаться обѣими руками за рубль, запутавшійся въ карманѣ, и въ то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль въ карманѣ приснаго... чтò можетъ быть величественнѣе этого зрѣлища! Вотъ задачи, которыя предстоитъ осуществить истинному радѣтелю принципа собственности, и, по моему, это задачи очень хорошія, особливо ежели выраженіе о подбираніи ключа не принимать въ

исключительно буквальномъ смыслѣ, но стараться какъ можно шире распространять его дѣйствіе. Не пренебрегай ими, Разуваевъ! Не разоряй, не грабь, и на вопросъ: кого же ты будешь допекать послѣ того, какъ въ конецъ допечешь обывателя?—не отвѣчай съ нахальствомъ: „йёнъ доста-а-нетъ!“ Нѣтъ, когда-нибудь наступитъ минута, что и онъ не достанетъ, ибо всякому доставанію положенъ предѣлъ, а слѣдовательно положенъ предѣлъ и твоимъ допеканьямъ!

Человѣкъ ни къ чему не относится съ такою чувствительностью, ничего такъ ревниво не оберегаетъ, какъ ту совокупность матеріальныхъ удобствъ, которыми онъ успѣлъ обставить свою жизнь. Малѣйшій ущербъ, приводящій къ стѣсненію этой обстановки, заставляетъ его роптать и искать глазами, гдѣ обидчикъ? И такъ какъ обидчика-имярекъ никогда на-лицо не оказывается, то онъ невольно приходитъ къ необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тѣхъ горькихъ послѣдствій, которыя неизбѣжно должны произойти изъ подобныхъ обобщеній?

И такъ, будь умѣренъ, и помни, что титулъ дирижирующаго класса, который ты стремишься восхитить, влечетъ за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти, въ томъ, что̀ касается принципа собственности, гласятъ такъ: „не укради!“ А такъ-какъ по обстоятельствамъ времени такая редакція представляется черезчуръ уже строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца обездоливай, но непремѣнно оставляй обывателю столько, чтобы изобрѣтательность его и впредь находила для себя поводъ изощряться. Ежели ты изъ рубля отнимешь половину — это, я полагаю, будетъ вполнѣ прилично; ежели ты отнимешь изъ рубля восемь гривенниковъ, то это будетъ ужъ кровопійственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!

Затѣмъ на очереди стоитъ принципъ семейственности, который тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прогорѣловы, достаточно-таки порасшатали этотъ принципъ, или, лучше сказать, до того его обнажили, что, въ концѣ концовъ, въ немъ ничего не осталось, кромѣ въѣзжаго салона, въ которомъ во всякое время происходили разговоры объ улучшеніи быта милой бездѣлицы. И вотъ, когда дѣти перестали поздравлять родителей съ добрымъ утромъ и цѣлованіемъ родительскихъ ручекъ выражать волнующія ихъ чувства по поводу съѣденнаго обѣда, когда самоваръ, около котораго когда-то ютилась семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ буфетную, откуда чай, разлитой рукою наемника, разносился по закоулкамъ квартиры, когда дни имянинъ и рожденій сдѣлались пустою формальностью, служащею лишь поводомъ для выпивки — только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожаетъ дѣйствительная опасность. Начали думать, соображать, какъ этому дѣлу помочь, и, разумѣется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, что вездѣ было такъ. Во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра, гдѣ Прогорѣловы завѣдывали дѣлами культуры, вездѣ они низвели семейный вопросъ до уровня милой бездѣлицы. Изъ драмы сдѣли оперетку, изъ совмѣстнаго скитанія—изъ спальной въ дѣтскую, изъ дѣтской на кухню, потомъ въ столовую, гостиную и обратно черезъ всѣ инстанціи въ

спальню—вольное катанье на тройкахъ въ трактиръ „Самаркандъ“. И вездѣ же на смѣну ослабѣвшимъ Прогорѣловымъ явились люди свѣжіе, неиспорченные, которые тѣмъ съ большей готовностью подняли брошенныя въ грязь знамёна, что въ совершенствѣ поняли, какую службу они могутъ сослужить. У всѣхъ на памяти, какъ ловко подняла, въ тридцатыхъ годахъ, знамя семейственности и домашняго очага западно-европейская буржуазія, и какъ крѣпко она держалась за него, пока вѣчно достойныя памяти Наполеонъ III, при содѣйствіи Оффенбаха, Шнейдерши и нынѣшней неутѣшной вдовы, не увлекъ ее въ сторону милой бездѣлицы.

Въ виду столь рѣшительныхъ справокъ предполагалось, что то же самое произойдетъ и у насъ. Сначала Прогорѣловы расшатаютъ, а потомъ кабатчики и мѣнялы утвердятъ. Первая часть этой программы уже выполнена, но будетъ ли выполнена послѣдняя—это еще вопросъ.

Мнѣ кажется что наиболѣе существеннымъ препятствіемъ въ этомъ смыслѣ явится родъ вашихъ занятій. Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживаньямъ и сводничествамъ. Въ согласность этому и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что бо́льшую ея часть вы проводите внѣ домовъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какихъ же принципахъ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?

Очевидно, что публицисты, возложившіе на васъ обязанность утвердить принципъ семейственности, совсѣмъ проглядѣли эту обстановку. Ихъ ввела въ заблужденіе ваша грубость, которую они приняли за патріархальность. Въ то время, когда у западно-европейскаго буржуа наполеоновскаго образца „l'eau vient à la bouche“—у васъ „текутъ слюни“; въ то время, какъ у того же буржуа изъ устъ вылетаетъ цѣлый фейерверкъ милыхъ мерзостей — изъ вашей утробы извергается какое-нибудь односложное поскудство; въ то время, какъ западная буржуа разговариваетъ, убѣждаетъ, умоляетъ—вы, „глядя по товару“, выкладываете болѣе или менѣе крупную ассигнацію, кратко присовокупляя: „Машка, пошевеливайся!“ Не спорю, съ точки зрѣнія ясности намѣреній, ваши „слюни“ сравнительно менѣе поскудны, нежели французское l'eau à la bouche, но спрашивается: что́ же однако общаго между кунавинскими „слюнями“ и семейственностью? О какомъ тутъ „утвержденіи“ можетъ идти рѣчь?

Поэтому, въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь. Но такъ-какъ на тебя обращены всѣ взоры и такъ-какъ, въ качествѣ повоявленной „интеллигенціи“, чаша сія ни въ какомъ случаѣ не минетъ тебя, то, по мнѣнію моему, ты только тогда успѣешь... ну, хоть притвориться поборникомъ чистоты семейнаго очага, когда радикально измѣнишь родъ своихъ занятій. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсіи въ Кунавино, производи, а не маклери — это до извѣстной степени осадитъ тебя, утретъ твои „слюни“ и приведетъ въ порядокъ твои утробныя урчанія. Но будетъ ли и за всѣмъ тѣмъ принципъ семейственности тобой утвержденъ — на это, я полагаю, и прозорливѣйшій изъ публицистовъ утвердительнаго отвѣта не дастъ. Да и отвѣтить тутъ можно только одно: не будетъ, навѣрное не будетъ — вотъ и все.

Въ заключеніе еще одинъ вопросъ: о неоставленіи присныхъ безъ заступленія, или же—что то же самое—о непримѣненіи къ нимъ принципа предательства.

Я, Прогорѣловъ, совершенно некомпетентенъ по этому вопросу. Всю жизнь я столповалъ за свой собственный счетъ, а о присныхъ слышалъ только за обѣдней въ церкви. Тѣмъ не менѣе, возобновляя въ памяти процессъ моего переименованія изъ столповъ въ пропащіе люди, я долженъ сознаться, что въ числѣ причинъ этого превращенія немаловажную роль играло и то, что я процвѣталъ независимо отъ процвѣтанія моихъ соотечественниковъ, что я ни за кого не поревновалъ, никого своей грудью не заслонилъ. Стало быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не долженъ брать примѣровъ съ меня (къ чему ты, мимоходомъ сказать, черезчуръ наклоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать совершенно наоборотъ. Я равнодушествовалъ — ты сострадай; я бездѣйствовалъ — ты хлопочи; я держался правила: носа изъ мурьи не совать — ты выбѣгай изъ мурьи какъ можно чаще, суй свой носъ, суй! Хлопочи объ концессіяхъ, но не забывай и о соотечественникахъ. Это хорошо зарекомендуетъ тебя въ ихъ глазахъ и ихъ самихъ заставитъ надѣяться и вѣрить въ лучшіе дни. Выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ хлопотъ, надеждъ и вѣрованій — это вопросъ другой, и ежели ты хочешь, чтобъ я отвѣтилъ на него по совѣсти, то изволь, отвѣчу! не выйдетъ ничего, потому что у тебя и на умѣ ничего такого—чтобъ что-нибудь вышло—нѣтъ. Но все-таки старайся, радѣй, хлопочи!

За симъ моя рѣчь кончена. Вкратцѣ она можетъ быть резюмирована такъ:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникамъ.

Блюди свою собственность, но не отказывай и присному твоему въ правѣ имѣть таковую.

О Кунавинѣ по возможности позабудь.

А главное, все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта дастъ тебѣ силу и все остальное безъ труда совершить.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ

I.—Культурная тоска.

Я сидѣлъ дома и по обыкновенію не зналъ, что̀ съ собой дѣлать. Чего-то хотѣлось: не то конституцій, не то севрюжины съ хрѣномъ, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня въ головѣ; ободрать, да и въ сторону. Да по нынѣшнему, та̀къ, чтобъ ни истцовъ, ни отвѣтчиковъ—ничего. Такъ, молъ, само собою случилось, поди, доискивайся! А потомъ, зарекомендовавши себя благонамѣреннымъ, можно и о конституціяхъ на досугѣ помечтать.

Будетъ ли при конституціяхъ казначей? — вотъ въ чемъ вопросъ. И вопросъ очень существенный, ежели принять въ соображеніе, что жизненные припасы съ каждымъ годомъ дѣлаются дороже и дороже, а потребности, благодаря развитію культурности, увеличиваются не по днямъ, а по часамъ. Чорта ли и въ конституціяхъ, ежели при нихъ должности казначея не полагается! Ободрать—вотъ это безподобно! Вотъ при „Уложеніи о наказаніяхъ“ нѣтъ казначея, поэтому оно ни для кого и не лестно. Но, можетъ быть, поэтому-то именно оно и дано намъ.

Я человѣкъ культурный, потому что служилъ въ кавалеріи. И еще потому, что въ настоящее время заказываю платья у Шармера. И еще потому, что по субботамъ обѣдаю въ англійскомъ клубѣ. Приду въ пять часовъ, проберусь въ уголокъ на свое мѣсто и ѣмъ, покуда не запыхаюсь. Прежде, бывало, я разговаривалъ, а нынѣче—только ѣмъ.

Нынѣче въ англійскомъ клубѣ чиновники преобладаютъ. Длинные, сухіе, прожженые. Шепчутся другъ съ другомъ, судьбы по секрету рѣшаютъ, а на лбу между тѣмъ написано: „чего изволите?“ Не разъ случалось заговаривать:—а принеси-ка, любезный... Посмотришь—анъ у него звѣзда сбоку пришпилена. Настоящихъ культурныхъ людей, утробистыхъ, совсѣмъ мало стало, да и тѣ, которые остались, въ конецъ развратились. Ѣдятъ разсѣянно, за чиновниками безпокойно слѣдятъ глазами, словно думаютъ: что̀-то они съ нами сдѣлаютъ? И глаза какіе-то подлые, ласковые у всѣхъ дѣлаются, когда съ ними какой-нибудь чиновный извергъ невзначай заговоритъ...

Говорятъ, будто утробистые люди частью въ Москву перебрались, частью

у себя, по своимъ губернскимъ клубамъ засѣли. Тамъ будто бы они не только ѣдятъ и пьютъ, но и разговариваютъ. Только о губернаторахъ говорить не смѣютъ, потому что губернаторы строго за этимъ слѣдятъ. А о прочихъ предметахъ, какъ-то: объ икрѣ, о севрюжинѣ и даже о Наполеонѣ III—говори сколько угодно. Говорятъ, былъ даже такой случай: одинъ утробистый взялъ да вдругъ, ни съ того, ни съ сего, и ляпнулъ: „конституцій, говоритъ, желаю!“ Туда, сюда—къ счастью, губернаторъ зналъ, что малый-то выпить любитъ, стало-быть человѣкъ благонамѣренный.

— Пьянъ, старикъ, былъ?

— Точно такъ, ваше превосходительство, заставьте Бога за себя молить!

— Ну, Богъ проститъ — ступай! Только впередъ, коли чувствуешь, что пьянъ, сейчасъ бѣги домой и спать ложись!

— Ради стараться, ваше превосходительство!

И такимъ образомъ вся эта исторія изморомъ кончилась. А будь-ка губернаторъ построже, да взгляни на дѣло съ точки зрѣнія „внутренней политики“—быть бы бычку на веревочкѣ! Фюить!

Ужъ не удрать ли, въ самомъ дѣлѣ, въ губернскій городъ Залупскъ? Хорошо тамъ. Утромъ всталъ, не торопясь умылся, не торопясь чаю напился —гляди-ко, ужъ двѣнадцать часовъ на дворѣ. Походилъ, посидѣлъ, покурилъ, посвисталъ, въ окошко поглядѣлъ: выкупныя-то свидѣтельства, кажется, еще не всѣ въ расходѣ? „Завтракать подано!“ гудитъ сзади холопскій басъ. Позавтракалъ, опять походилъ, покурилъ—одурь взяла: „эй, кто тамъ! тройку велѣть заложить!“ И—охъ! у—ахъ! Эхъ вы, соколики!.. Безподобно! Воротился—ха! да никакъ ужъ обѣдъ на столѣ! Въ комнатахъ тепло, свѣтло; щи, солонина съ хрѣномъ, поросенокъ съ кашей... по-русски! И какъ только ложкой стукнулъ — сейчасъ и гость на порогѣ. Ежели настоящій человѣкъ не наклюнулся, такъ секретарь какой-нибудь забѣжалъ. И все-то онъ тебѣ разскажетъ: кто кому рукой плюху далъ, кто кого калошей по лицу смазалъ. Заслушаешься, и не замѣтишь, какъ на часахъ девять пробьетъ. Въ клубъ, сударь, въ клубъ! А тамъ ужъ всѣ въ сборѣ и всѣ о давешнихъ плюхахъ разсказываютъ. И одинъ по одному — въ буфетъ да въ буфетъ. Постепенно да постепенно— и вдругъ... конституція! А что жъ такое, что конституція! Коли ты пьянъ да благонамѣренъ — Христосъ съ тобой! Ступай домой, ложись спать—сномъ все пройдетъ.

Ахъ, хорошо!

Хорошо-то, хорошо, да полно, такъ ли? Было такое времячко у насъ въ Залупскѣ, было—да не прошло ли оно? Не даромъ мой другъ, капитанъ Копѣйкинъ, пишетъ: „не ѣзди въ Залупскъ! у насъ, братъ, столько теперь поджарыхъ да прожженыхъ развелось — весь нашъ культурный клубъ испакостили!“ Да; развелись-таки и тамъ. Ищутъ, нюхаютъ, законы подводятъ. Въ преферансъ съ тобой играютъ, и черезъ часъ у тебя же въ квартирѣ поличнаго ищутъ. И въ клубы заползли: сперва одинъ, за нимъ другой, а потомъ, глядишь, и въ старшины попадать начали. Брякни-ка при немъ: „конституція!“ — а онъ тебѣ: „вы, кажется, существующей формой правленія недовольны!“.. А мнѣ что! Форма правленія—эка нѣвидаль! Я такъ... самъ по себѣ... проваливай, братъ, проваливай!

То-то „проваливай“! Языкъ-то храбръ, коли заочно, а какъ до дѣла дойдетъ — пожалуй, онъ и не всякое слово выговоритъ. Иное вѣдь слово прямо къ отягченію служитъ,—попробуй-ка, выговори его! Да коли при этомъ ты еще не пьешь, да на дурномъ счету состоишь—сколько тебѣ ради этого слова слезъ потомъ пролить нужно будетъ, чтобъ прощенье испросить!

И надо сознаться, что во всемъ мы сами, утробистые, виноваты. Еще въ то время, когда „проженые“ только-что нарождаться въ губерніяхъ стали—тогда надо было мѣры принимать. Явился прожженый — и съ Богомъ! Живите, сколько васъ есть, промежду себя. Играйте другъ съ другомъ въ преферансъ, ѣздите другъ къ другу въ гости, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодѣйствуйте! Но въ нашъ культурный клубъ—ни-ни! Валяй, братцы, имъ черняковъ, чтобъ впередъ неповадно было! И жили бы прожженые особнякомъ, словно прокаженные...

Да, нынѣче утробистый человѣкъ гляди въ оба, несмотря на то, что ему благосклонно присвоено названіе культурнаго. Пришелъ ты въ клубъ — проходи бочкомъ, не задѣть бы вотъ этихъ двухъ выродковъ, которые по секрету объ тебѣ между собой сужденіе имѣютъ. Ты его задѣнешь, а онъ тебя смягчающихъ обстоятельствъ лишитъ. Сторонись же, иди бочкомъ къ буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что ежели ты разинешь ротъ—это можетъ вонъ тѣхъ двухъ выродковъ оскорбить, которые тоже по секрету разсуждаютъ, какому роду истребленія тебя подвергнуть! И такимъ образомъ, никого не задѣвши, садись, засучивай рукава и ѣшь. Ѣшь молча, и когда ѣда начнетъ одолѣвать тебя, то прилично вздыхай.

Много виноваты утробистые люди въ печальной судьбѣ своей но съ другой стороны нельзя и осуждать ихъ строго. Прожженые люди, именно какъ внутренностные паразиты, проползли въ самое нутро культурныхъ людей. Я помню, какъ въ первый разъ къ намъ въ Залупскъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ явился. Все благосклонности просилъ, всю надежду на земскую культурную силу полагалъ, да и объ конституціяхъ самъ же первый заговорилъ. Да еще какъ заговорилъ-то! Съ хохотомъ, съ визгомъ, съ свистомъ, со слюною... Въ лицахъ форму правленія представлялъ, пѣсни скоромныя пѣлъ, брудершафты предлагалъ! Ну, культурный человѣкъ и смякъ. Видитъ, что малый разухабистый: и сплясать, и спѣть, и соврать —на все первый сортъ. „Милости просимъ! прошу покорно! запросто! отобѣдать! да вечеркомъ... къ женѣ! да въ клубъ, ваше превосходительство, въ клубъ!“ Ну, и пустили козла въ огородъ. А Солитеръ между тѣмъ, не будь простъ, послужилъ-послужилъ, да и цапъ-царапъ! „Вы, кажется, формой правленія недовольны?“ Ахъ, прахъ-те побери! Я такъ... самъ по себѣ... а онъ: „форма правленія!“

А жены наши еще больше виноваты. Легкомысленны наши жены, ахъ, какъ легкомысленны! Прожженые такъ и вьются около нихъ, такъ и шепчутъ, и шепчутъ. У иной отъ этого шопота и грудочка поднимается, и глазки искрятся, и личико полымемъ пышетъ. „Ты что жъ, душенька, мсьё Солитера къ намъ не пригласишь?“—Солитера! ахъ, сдѣлайте милость! Господинъ Солитеръ! милости просимъ! запросто! Отобѣдать! вечеромъ... къ женѣ!

Нѣтъ, совсѣмъ у нынѣшнихъ культурныхъ людей ни esprit de corps,

ни esprit de conduite нѣтъ. А прежнихъ утробистыхъ представителей культуры, съ жирными кадыками и пространными затылками, которые, завязавшись по горло салфеткой, ѣли и „независимо“ сквернословили—нѣтъ и въ поминѣ. Бывало, соберутся въ каре вокругъ своихъ вольностей (такъ встарину крѣпостное право называлось), да уставятся лбами—пушками ихъ не прошибешь! А нынѣче какой-нибудь дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ — и тотъ все въ одинъ моментъ развратилъ. Женъ и дѣвъ перепортилъ, птенцовъ расточилъ, старцамъ—показалъ фигу...

Поэтому нынѣшній культурный человѣкъ объ вольностяхъ ужъ не думаетъ, а либо на теплыя воды удралъ, либо самъ въ „Солитеры“ норовитъ. Только и слышишь окрестъ: „да отчего же не довѣряютъ намъ? да попробовали бы! да насъ только помани! да мы...“ Что-жъ, если у васъ такая охота есть,—рапортуйте, любезные, другъ на друга, рапортуйте!

Фу, подлость! Живешь-живешь—и все на положеніи грудного ребенка находишься! Мнѣ вотъ пятьдесятъ лѣтъ, а я даже объ конституціяхъ вволю наговориться не могу! Развѣ я что-нибудь говорю! Перемѣнить что-ли я что-нибудь хочу! Да мнѣ — Христосъ съ вами! Я такъ... самъ по себѣ... разговариваю...

Хочешь сказать ему, этому Солитеру долговязому: да вы что въ самомъ дѣлѣ, милостивый государь! да я самъ Государя моего дворянинъ! я въ кавалеріи, государь мой, служилъ! И хотя въ походахъ не бывалъ, но на походномъ положеніи и даже въ лагеряхъ... да-съ! Хочешь сказать—и молчишь. Потому что всюду, во всѣ клубы, во всѣ щели клубовъ—вездѣ Солитеры наползли, и вездѣ соглядатайствуютъ. Смотрятъ и улыбаются, словно вотъ говорятъ: ты думаешь, мы не знаемъ, что у тебя въ затылкѣ шевелится? Все, мой другъ, знаемъ, и при случаѣ...

Вотъ это-то „при случаѣ“ и сбиваетъ культурную спѣсь. Такъ оно ясно, несмотря на внѣшнюю таинственность, что даже клубные лакеи—и тѣ понимаютъ. Прежде, бывало,—кому первый кусъ?—ему, культурному человѣку, кому и по всѣмъ утробнымъ правамъ онъ слѣдуетъ. А нынѣче на культурнаго человѣка и смотрѣть не хотятъ—прямо ему, дѣйствительному статскому совѣтнику Солитеру, несутъ. Ну, и опѣшили культурные люди.—Позвольте, я вашему превосходительству рапортовать буду?—Рапортуй, братецъ, рапортуй!

Подлость, подлость и подлость! Скоро мы и не то услышимъ.—У меня, ваше превосходительство, сынъ превратными идеями занимается—не прикажете ли его подкузьмить?—отрапортуетъ культурный человѣкъ... Фуй, мерзость!

Да, плохъ, ты, культурный человѣкъ! совсѣмъ никуда не годишься! Никто съ тобой не разговариваетъ, вездѣ тебя обносятъ, женѣ твоей подлости въ уши нашептываютъ... Скучно, другъ! И дома у тебя тоска, и въ клубахъ твоихъ тоска, а въ собраніяхъ твоихъ (бывшихъ палладіумахъ твоихъ вольностей) — жгучее, надрывающее запустѣніе царствуетъ. Не метено, не чищено, сыро, грязно... Рапортуй, мой другъ, рапортуй!

И именно съ тѣхъ поръ ты и смякъ, какъ тебя культурнымъ человѣкомъ назвали. Культурность обязываетъ. Теперь и ты, и дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ—вы оба одно дѣло дѣлаете. Онъ дѣйствуетъ,

а ты содѣйствуешь. А ты думалъ—какъ? Ты, можетъ быть, думалъ, что Солитеръ станетъ распинаться да душу за общество полагать, а ты будешь лежать да благороднымъ манеромъ въ потолокъ плевать? Такъ разувѣрься, голубчикъ! Это въ тѣ времена такіе порядки были, когда ты еще чистопсовымъ назывался, а теперь шалишь!—теперь ты культурный человѣкъ сталъ! Солитеръ будетъ дѣйствовать, а ты — содѣйствуй! Рапортуй, братецъ, рапортуй!

И за всѣмъ тѣмъ никогда никто въ цѣломъ мірѣ такъ не тосковалъ, какъ тоскуемъ мы, представители русской культуры. Мы чувствуемъ, что жизнь уходитъ отъ насъ, и хотя цѣпляемся за нее при пособіи „содѣйствія“, но все-таки не можемъ не сознавать, что это совсѣмъ не та жизнь, которой бы мы по культурности своей заслуживали. Хотя предки наши назывались только чистопсовыми, но они многаго не понимали изъ тѣхъ подлостей, которыя намъ какъ свои пять пальцевъ извѣстны.

И я увѣренъ, что въ большинствѣ ихъ такія, напримѣръ, слова, какъ „содѣйствовать“, „рапортовать“—вызвали бы во время оно только недоумѣніе. Мой прадѣдъ, еслибъ при немъ употребили эти выраженія, навѣрное воскликнулъ бы: „Я, ваше превосходительство, государю моему вѣрный слуга, но не лакей-съ. Я самъ бунтовалъ-съ... въ пользу законной власти-съ! Я Анну Леопольдовну, регентшу-съ, въ одной сорочкѣ изъ опочивальной вынесъ—и былъ за то деревнею въ пятьсотъ душъ награжденъ-съ! Извольте, сударь, идти вонъ!“ А дѣдушка мой сказалъ бы: „Я въ Ропшѣ, государь мой, былъ! и оттуда на сѣромъ аргамакѣ до зимняго дворца за великою государыней слѣдовалъ-съ... Извольте идти вонъ!“ Даже отецъ мой—и тотъ бы отвѣтилъ: „Я самъ заблуждался-съ! и хотя принесъ въ томъ чистосердечное раскаяніе, но не содѣйствовалъ... нѣтъ, не содѣйствовалъ-съ!“ И всѣ они почувствовали бы себя оскорбленными, и будировали бы... Конечно, будировали бы до тѣхъ поръ, пока имъ Станислава на шею не прислали бы. Но не за содѣйствіе-съ, а за благородно-вѣрный порывъ чувствъ-съ!

А я, правнукъ, внукъ и сынъ,—что я скажу? Я могу сказать только, что я культурный человѣкъ и что въ этомъ качествѣ не имѣю возможности даже „чистосердечнаго раскаянья въ томъ принести“. Ибо я даже и не заблуждался никогда — нѣтъ, никогда! Ни заблужденій, ни истины, ни превратныхъ идей, ни идей благонамѣренныхъ—ничего я не знаю! Стало быть, я могу только содѣйствовать — вотъ моя спеціальность; не дѣлать, не производить, не распоряжаться, а только содѣйствовать. Вотъ почему многіе, боясь увлечься этой спеціальностью, бѣгутъ на теплыя воды и тамъ влачатъ остатки культурнаго существованія.

Не однажды меня интриговала мысль: какимъ это образомъ русскій культурный человѣкъ вдругъ словно изъ земли выросъ? Все были чистопсовые, а теперь культурными сдѣлались. И даже заслуги особенныя выдумали, которыя объ культурности несомнѣнно свидѣтельствуютъ. „Я, говоритъ, изъ тарелки ѣмъ, а Иванъ мой изъ плошки; я салфеткой утираюсь, а Иванъ—стекломъ. Вотъ почему я и называюсь культурнымъ человѣкомъ!“

Но едва я притрогивался къ вопросу: дѣйствительно ли ѣда изъ тарелки, а не изъ плошки составляетъ непререкаемый призракъ культурности?

какъ предо мной вставалъ другой вопросъ: да неужто это можетъ кого-нибудь интересовать? и убудетъ ли отъ того хоть сколько-нибудь той безконечной тоски, которая день и ночь гложетъ культурнаго человѣка, несмотря на то, что онъ ѣстъ изъ тарелки, а не изъ плошки?

Тоска, тоска и тоска! Съ какимъ-то отчаяніемъ обращаешься къ прошлому: прошлое! прошлое! воротись! И знаешь, что попусту надрываешься, и все-таки кричишь: воротись! воротись! воротись!

Сознавать себя культурнымъ человѣкомъ, и въ то же время не знать, куда дѣваться съ этою культурностью—вотъ истинно трагическое положеніе! Ну, что я съ собой предприму? Куда, куда я пойду... ну, хоть сегодня вечеромъ? Все, что можно было, въ предѣлахъ русской культурности, видѣть и совершить—все это я уже видѣлъ и совершилъ. Жюдикъ—видѣлъ, Шнейдершу—видѣлъ, у Елисеева и на биржѣ, и на Невскомъ—былъ. Повторять то же самое—ну, просто противно, да и все тутъ. Вѣдь и для культурности есть предѣлы, за которыми даже право „содѣйствія“ становится безсильнымъ оживить человѣка. А между тѣмъ ни смерть, ни болѣзнь — ничто насъ не беретъ; жить, жить надо, не потому, чтобы хотѣлъ жить, а потому что встала у тебя жизнь на дорогѣ, и какъ ты ей ни кричи: сторонись!—она все стоитъ да подманиваетъ. Встанешь утромъ и глядишь испуганными глазами въ лицо грядущему дню. А въ головѣ такъ и стучитъ: чѣмъ? ну, чѣмъ наполню я его?

И такъ, я сидѣлъ дома, и не зналъ, что дѣлать съ собою. Впереди предстояло одно изъ двухъ: или въ балаганы идти, или въ тайное юридическое общество проникнуть и послушать, какъ разрѣшается вопросъ о правахъ седьмой воды на киселѣ на наслѣдованіе послѣ единокровныхъ и единоутробныхъ.

— Господи! да вѣдь это отрава!—вырвался изъ груди моей вопль.

II.—Продолженіе тоски и появленіе Прокопа.

Дѣло было въ половинѣ апрѣля, какъ разъ въ свѣтлый праздникъ. Я смотрѣлъ изъ окошка на улицу и любовался на истерическую сумятицу происходившую въ природѣ. Воздухъ былъ наполненъ неизобразимымъ мелканіемъ; густая бѣлесоватая кашица кружилась и металась передъ глазами, отдѣляя изъ себя крупныя-крупныя снѣжины, мокрыя, разорванныя, которыя тяжко шлепались объ оконныя стекла. На наружныхъ подоконникахъ уже образовались порядочныя груды бѣлой массы, рыхлой и источенной, какъ тающій сахаръ; мостовая, два часа тому назадъ сѣрая, начинала бѣлѣть; темные ряды домовъ, мокрыхъ, ослизлыхъ, загадочно глядѣли сквозь снѣжную сѣть своими безчисленными черными окнами, словно тысячами потухшихъ глазъ. Небо давило, и, несмотря на первый часъ дня, больше и больше заволокало городъ ранними сумерками. Но улица, наперекоръ стихіямъ, все еще усиливалась удержать праздничную физіономію. Стрѣлой мчались щегольскія ка-

реты, унося захваченныхъ въ нихъ звѣздоносцевъ: между ними мелкой рысью сновали извозчичьи пролетки съ скрюченными подъ зонтиками чиновниками; на тротуарахъ дворники и мастеровые христосовались съ бабами въ душегрѣйкахъ. Но вотъ наконецъ ударилъ такой снѣжный ливень, что вдругъ праздничный гулъ смолкъ. Улица опустѣла какъ бы волшебствомъ; еще разъ взвизгнула дверь въ кабакѣ напротивъ—и захлопнулась; даже ликующіе столоначальники—и тѣ куда-то пропали.

Я стоялъ у окна и припоминалъ. Было время, когда и я въ этотъ день метался по улицамъ. Пріѣдешь, бывало, въ одинъ домъ, подаришь швейцару цѣлковый, распишешься и что̀ есть мочи спѣшишь въ другой домъ, гдѣ тоже подаришь цѣлковый и распишешься. Да въ мундирѣ, сударь, въ мундирѣ! Встрѣтишь, бывало, на улицѣ такого же поздравителя, остановишь, выпучишь глаза.

— Были?

И онъ тоже выпучитъ глаза:

— Былъ, а вы были?

— Былъ.

И летишь дальше.

А нынче, вотъ, сижу дома и глазами хлопаю. Извозчика, пожалуй, и не мудрость нанять, да ѣхать-то некуда. Некуда и незачѣмъ.

Прежде я потому ѣздилъ, что было у меня такое убѣжденіе: въ Петербургѣ поздравлю, за то въ своемъ мѣстѣ наверстаю. Я даже нарочно въ Петербургѣ періодически появлялся, чтобъ претерпѣть и впослѣдствіи наверстать. Мерзокъ я былъ, низкопоклоненъ, податливъ—это такъ; но по крайней мѣрѣ я зналъ, что у меня есть совершенно реальный стимулъ (возможность наверстыванія), который двигаетъ моими дѣйствіями. Впослѣдствіи обстоятельства заставили меня сознать, что это былъ стимулъ фальшивый. Я понялъ это, и волею или неволею отказался отъ идеаловъ наверстыванья, которые обуревали меня въ бывалое время. Но почему же, оставивъ прежніе стимулы, я не усвоилъ себѣ новыхъ? Для чего я остался жить? для того ли только, чтобъ представлять собой образчикъ отечественной культурности?—велика нéвидаль!

Я знаю, что ѣзди я или не ѣзди, поздравляй или не поздравляй — я все-таки ничего не наверстаю, потому что наверстать негдѣ. Хотя же дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ и показываетъ мнѣ вдали какія-то „преспективы“, но, право, мнѣ кажется, что онъ и самъ не сознаетъ, въ чемъ эти преспективы заключаются. Слѣдуй, говоритъ, по моимъ указаніямъ, а куда слѣдуй—и самъ порядкомъ растолковать не можетъ. Эхъ, братъ! у самого-то у тебя яичница въ головѣ, а тоже другихъ за собой приглашаешь!

Да ежели бы онъ и могъ доподлинно разъяснить, куда и какъ нужно слѣдовать—развѣ я могу *туда* идти? Да и не только *туда*—просто никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я истца отъ отвѣтчика отличить не могу—чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народнаго просвѣщенія я не знаю, кто кого кормилъ, волчица ли Ромула, или Ромулъ волчицу—какъ же я на экзаменахъ баллы ставить буду? По части финансовъ я знаю: дери шибче, а въ случаѣ недобора—

безстрашно заключай займы! Что же касается до того, какъ и на какой бумагѣ ассигнаціи печатаются и почему за быстрое отпечатаніе таковыхъ въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ даютъ награды и ордена, а за отпечатаніе въ Гуслицахъ на каторгу ссылаютъ — ничего я этого не знаю. Вотъ развѣ по сыскной части... ну, нѣтъ, Солитеръ! этому пока не бывать! Хотя по этой части и дѣйствительно никакихъ познаній не требуется, а только культурность одна, да я вѣдь еще не забылъ, что мой прадѣдушка регентшу Анну Леопольдовну въ одной сорочкѣ изъ опочивальной вынесъ! Нѣтъ, не позабылъ! Ибо ежели я самолично ничего не совершилъ, даже „чистосердечнаго въ томъ раскаянья не принесъ“, то прадѣдъ мой...

И откуда нынѣче такіе дѣйствительные статскіе совѣтники развелись, которые настоящаго не даютъ, а все преспективы показываютъ! И прежде бывало не мало дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ—но какая разница! Назывались они не Солитерами, а Довгочхунами, Ѳедоровыми, Ивановыми, Семеновыми, пили, ѣли, по гостямъ ѣздили, сами балы дѣлали и откупщиковъ балы заставляли дѣлать, играли въ клубахъ въ карты и въ свободное отъ занятій время писали: „утверждаю, утверждаю, утверждаю“. А Солитеръ пишетъ: „разоряю, разоряю, разоряю!“...

И ничего. Разоряетъ — но не созидаетъ, расточаетъ — и самъ стоитъ невредимъ, развращаетъ — и состоитъ членомъ общества распространенія нравственности. Кто эту тайну пойметъ?

Есть одинъ рессурсъ, который выручаетъ его. Это лганье и показываніе фальшивыхъ преспективъ. Онъ лжетъ неуставаючи, лжетъ какъ рязанскій дворянинъ, когда начинаетъ разсказывать, какіе у него въ оранжереяхъ персики при крѣпостномъ правѣ росли. Недавняя чистоплотность и до сихъ поръ выступаетъ наружу въ немъ. Онъ лжетъ, и самъ нагло прислушивается къ своему лганью. И вѣритъ. Вѣритъ, что со всей тройкой и съ экипажемъ въ одну прорубь провалился, а черезъ двадцать верстъ—на тѣхъ же лошадяхъ и въ томъ же экипажѣ изъ другой проруби выскочилъ.

И многіе до сихъ поръ вѣрятъ показываемымъ имъ преспективамъ. Я убѣжденъ, что Прокопъ, напримѣръ, даже въ эту минуту мечется, какъ озаренный, и все поздравляетъ, все поздравляетъ. И все потому, что думаетъ: „пріѣду домой, тамъ наверстаю!“ И такъ съ незапамятныхъ временъ изъ года въ годъ у него ведется: чѣмъ больше получаетъ кукишей, тѣмъ больше надѣется, тѣмъ шибче поздравляетъ.

Уже недѣлю тому назадъ я прочиталъ въ газетахъ, что онъ въ Петербургъ прибылъ—а ко мнѣ до сихъ поръ ни ногой. Вмѣстѣ Шнейдершу слушали, вмѣстѣ въ географическомъ конгрессѣ засѣдали, вмѣстѣ по политическому дѣлу судились—и вотъ! Чай, все преспективы высматриваетъ, связи поддерживаетъ, со швейцарами да съ камердинерами табаки разнюхиваетъ! Чай, когда изъ Залупска ѣхалъ,—хвастался тоже: „я, молъ, въ Петербургѣ о залупскихъ нуждахъ буду разговаривать!“ Разговаривай, мой другъ, разговаривай... съ швейцарами!

Кому интересны залупскія нужды, культурныя и не-культурныя? Вотъ кабы ты сообщилъ секретъ, какъ къ празднику нѣчто заполучить или какъ такому-то ножку, ради высокоторжественнаго дня, подставить—ну, тогда бы

мы тебя послушали. А то: залупскія нужды!—ишь съ чѣмъ подъѣхалъ! Есть у васъ въ Залупскѣ Солитеръ — и будетъ съ васъ. Онъ васъ разберетъ: и стравитъ другъ съ другомъ, и помиритъ, если ему вздумается. Zaloupsk! qu'est ce que c'est que Zaloupsk?

И вотъ ради безплодныхъ разговоровъ съ швейцарами Прокопъ даже о старомъ собутыльникѣ позабылъ. Это ли не черта русской культурности! Сегодня пріятель, а завтра разрѣшилъ ему Солитеръ за каблукъ своего сапога подержаться—онъ ужъ отъ вчерашнихъ друзей рыло воротитъ. Я, говоритъ, нынче, наверху, у самаго каблука его превосходительства стою — сверху-то мнѣ преспективы виднѣе!

Мнѣ сдѣлалось и досадно, и жалко. Милый Прокопъ! Глупъ-глупъ, а культурность свою очень тонко понимаетъ. У меня, говоритъ, въ деревнѣ и зальце въ домикѣ есть, и палисадничекъ, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матрацѣ, а не на войлокѣ—сейчасъ видно, что культурный человѣкъ живетъ! А мужикъ что! намеднись у насъ на селѣ у крестьянина мальчику тараканы носъ выѣли, а у меня, братъ, тараканы только на кухнѣ живутъ! Милый, милый Прокопъ! какъ сейчасъ вижу, какъ онъ въ Залупскѣ въ клубѣ, завязавшись салфеткой (неопрятенъ онъ, когда ѣстъ) сидитъ: буженины кусокъ проглотитъ и слово скажетъ, еще кусокъ буженины проглотитъ, и еще слово скажетъ. И слова все такія милыя: течетъ что-то, плыветъ, барахтается — и не зацѣпишь. И вотъ этотъ-то человѣкъ, у котораго тараканы только въ кухнѣ живутъ,—поздравляетъ, подличаетъ, съ швейцарами по душѣ калякаетъ! И даже когда запросто въ клубѣ сидитъ—ѣстъ, а однимъ глазкомъ въ сосѣднюю комнату заглядываетъ! Тамъ, въ этой комнатѣ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Солитеръ съ статскимъ совѣтникомъ Глистомъ по секрету совѣщаются, а титулярный совѣтникъ Трихина такъ и кружится, такъ и выплясываетъ передъ ними. И жутко Прокопу, и любопытство одолѣваетъ. „Ужъ отъ Трихины все вывѣдаю!“ думаетъ онъ про себя. И дѣйствительно, какъ только Трихина показался въ дверяхъ, весь пропитанный Солитеровыми инструкціями, такъ по столовой ужъ и раздается зыкъ Прокопа: „человѣкъ! шампанскаго!“

И для чего онъ кланяется и поздравляетъ? для чего вывѣдываетъ? Спросите его—онъ и самъ внятно не отвѣтитъ на этотъ вопросъ. „Подличать, скажетъ, я не подличаю, это ты врешь, а все-таки“... И такъ-таки и упрется на этомъ „все-таки“, какъ будто и Богъ вѣсть какую оно мудрость въ себѣ заключаетъ...

И мнѣ вдругъ такъ загорѣлось видѣть Прокопа, до того захотѣлось на затылокъ его порадоваться, что не успѣлъ я какъ слѣдуетъ формулировать мое желаніе, какъ въ дверяхъ раздался звонокъ, и Прокопъ собственной персоной предсталъ передо мной.

Онъ былъ въ культурномъ мундирѣ и въ культурныхъ бѣлыхъ штанахъ; лицо его, напоминавшее морду красивѣйшаго изъ моповъ, выражало сильнѣйшее утомленіе; щеки одрябли, подъ глазами образовались темные круги; животъ колыхался, ноги тряслись.

— Откуда, голубчикъ? поздравлялъ?

— Разумѣется, поздравлялъ. Вотъ ты такъ и день-то нынче какой, чай, позабылъ? Христосъ воскресъ!

Мы перецѣловались.

— У заутрени былъ?

— По обыкновенію, мой другъ, по обыкновенію.

— То-то. Въ этакій день вольныя-то идеи оставить надо.

Прокопъ усѣлся противъ камина и протянулъ ноги чуть не въ самый огонь.

— Скинулъ бы ты съ себя форму-то,—предложилъ я:—вмѣстѣ позавтракали бы. А какое у меня вино! по случаю... краденое!

— Это, братъ, только хвастаются, что краденое, а попробуй—опивки простые. Нѣтъ, завтракать мнѣ некогда, еще въ двадцати мѣстахъ расписаться нужно, а ты вотъ что: вели рюмку водки подать—спасибо скажу!

Принесли водки и балыка. Прокопъ потянулся, выпилъ и нѣкоторое время стоялъ съ разинутымъ ртомъ, словно водка обожгла ему нёбо. Не знаю, почему ему показалось, что я въ него всматриваюсь.

— Ты что на меня смотришь? узоры, что-ли, на мнѣ написаны?

— Помилуй, мой другъ! я радъ тебя видѣть—и только.

— А радъ, такъ и слава Богу. Измучился, братъ, я. Погодища нынче—страсть! Ѣздилъ-ѣздилъ, штаны-то бѣлые, замарать боишься—ну, и сидишь распахнувшись, какъ на выставкѣ. Да на грѣхъ еще происшествіе нынче въ одномъ мѣстѣ случилось... препоганое!

— Что же такое?

— Да пріѣхалъ я къ особѣ одной—ну, расписался. Только вижу, что тутъ же, въ швейцарской, и камердинеръ особы стоитъ — и угоразди меня нелегкая въ разговоръ съ нимъ вступить. То да се: рано ли его сіятельство встаетъ? въ которомъ часу государственными дѣлами зиниматься садится? кто къ нему первый съ докладомъ приходитъ? не слышно ли, мѣстовъ гдѣнибудь не скрывается ли? Только разговариваемъ мы такимъ манеромъ, и вдругъ, братецъ, я вижу: вынимаетъ онъ изъ кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снимаетъ крышку да ко мнѣ...—Это, говорю, что?—„Нюхните-ка“, говоритъ. Да ты, говорю, свинья, кажется, позабылъ?..

— Такъ и сказалъ?

— Такъ и брякнулъ. Я, братъ, прямикъ! не люблю вокругъ да около ходить! По мнѣ, коли свинья, такъ свинья!

— Такъ-то такъ, а все-таки неосторожно ты поступилъ. Горяченекъ ты, братъ, справляться съ собой не можешь!

Прокопъ струсилъ; казалось, онъ только теперь понялъ всю неключимость своего поступка.

— Тебѣ что нужно? — продолжалъ я: — тебѣ нужно Солитеру ножку подставить да самому на его мѣсто вскочить? Слѣдовательно такъ ты и долженъ поступать. Знаешь, что камердинеръ можетъ словечко замолвить, — стало быть, и долженъ ты съ нимъ ласковенько: табачку, водочки... Я на твоемъ мѣстѣ даже къ себѣ бы его пригласилъ! А теперь онъ тебѣ мстить будетъ.

Прокопъ стоялъ вытаращивши глаза; вилка, устремленная по направленію къ балыку, такъ и застыла въ его рукѣ.

— Я, братъ, и самъ объ этомъ ужъ думалъ! — наконецъ промолвилъ онъ.

— Непремѣнно будетъ мстить. Вотъ сегодня же вечеромъ, какъ станетъ съ его сіятельства сапоги снимать, и скажетъ ему: „былъ давеча такой-то, не нравится онъ мнѣ, невѣжей смотритъ!“ А завтра ты явишься къ его сіятельству, его сіятельство посмотритъ на тебя да и подумаетъ: „а кто, бишь, мнѣ сказывалъ, что этотъ человѣкъ невѣжа? какой, въ самомъ дѣлѣ, грубіянъ!“

— А что ты думаешь! вѣдь это, пожалуй, и вправду такъ будетъ! Они, эти хамы...

— Вѣрно говорю. Эти камердинеры да истопники... ахъ, какъ съ ними надо, мой другъ, осторожно! Самый это ехидный народъ! Солитеръ-то, ты думаешь, какъ пролѣзъ?

— Ну, Солитеръ и такъ, самъ собой... На то онъ и солитеръ!

— Нѣтъ, онъ сперва въ камердинера влѣзъ, а потомъ ужъ и...

— Ну, такъ прощай! бѣгу!

— Да погоди! сейчасъ ужъ и бѣжать! Разсказалъ бы по крайней мѣрѣ, что у васъ дѣлается?

— Некогда, некогда — чему у насъ дѣлаться! Солитеръ... Я было-посплетничать на него пріѣхалъ, да вотъ приключеніе это... Завтра пріемъ мнѣ былъ назначенъ, а теперь пожалуй и не выслушаетъ!

Прокопъ заторопился, подтянулся, вытянулъ ногу, на сапоги взглянулъ, посмотрѣлся въ зеркало, пылинку съ носа смахнулъ, шпагу поправилъ и ужъ совсѣмъ на ходу закинулъ мнѣ:

— Я, братъ, съ женой и съ дочерью здѣсь. Въ Гранд-отелѣ стоимъ. За границу ѣхать сбираемся.

— Какъ! И Надежда Лаврентьевна здѣсь! и ты ничего не говоришь!

— Ну, что тутъ! невидаль какая! Приходи ужо вечеромъ — посидимъ!

Онъ рысцой направился въ переднюю, накинулъ тамъ на себя шинель — и вдругъ опять встревожился.

— Какъ ты думаешь? — спросилъ онъ меня: — ему... хаму этому... трехъ цѣлковенькихъ довольно будетъ?

— Дай, братъ, десятирублевую! — посовѣтовалъ я: — надо воображеніе ему поразить. Потому что хамы эти...

— Ну, ладно, ладно. Такъ ужо вечеромъ. Кстати я и разскажу, чѣмъ у насъ съ нимъ кончится. Жена, признаться, давно къ тебѣ посылаетъ — съ недѣлю мы ужъ здѣсь — да вотъ все происшествія эти...

Онъ исчезъ въ дверяхъ, а я остался опять одинъ съ своею тоскою. Я началъ резюмировать разговоръ, который мы сейчасъ вели — и вдругъ покраснѣлъ. „Что я такое сейчасъ говорилъ? какіе такіе совѣты насчетъ десятирублевой бумажки подавалъ?“ мучительно спрашивалъ я себя. „Господи! да неужто-жъ холопство имѣетъ такую втягивающую силу!“

Вотъ я, напримѣръ, повидимому кажется, совсѣмъ позабылъ. Ни мундира у меня культурнаго нѣтъ (старый износился, новаго не сшилъ), ни поздравлять я не ѣзжу — такъ, само по себѣ, „независимо“ глазами хлопаю! А увидѣлъ человѣка съ краснымъ околышемъ на головѣ — и не вытерпѣлъ! Такъ и лѣзетъ оно, такъ и претъ изъ тебя, это проклятое холопство, при первомъ удобномъ случаѣ! И рожа погано осклабляется, и языкъ петлей

складывается, какъ только начнутъ объ швейцарахъ да объ камердинерахъ разговаривать. Не явись Прокопъ, не начни онъ этого разговора, сидѣлъ бы я себѣ да проявлялъ бы гражданское мужество, въ окошко глядючи! А теперь, поди вотъ, какой грѣхъ случился — даже на языкѣ холопская слизь чувствуется — фу, мерзость!

Вотъ нынче во Франціи цѣлая школа беллетристовъ-психологовъ народилась — ни́што имъ. У нихъ психологія французская, неспутанная — ври себѣ припѣваючи! Нѣтъ, попробовалъ бы ты, господинъ Гонкуръ, вотъ сквозь этотъ психологическій лѣсъ продраться, который у Прокопа въ головѣ засѣлъ! Ему, по настоящему, и до самого его сіятельства горя мало, а онъ съ лакеями объ „внутренней политикѣ“ калякаетъ, да еще грубитъ имъ... лакеямъ-то! Да и я тутъ же, за компанію, ему вторю: „отомститъ *онъ* тебѣ!“ „не три, а десять рубликовъ ему надо дать!“ — Сказалъ это — и ничего! даже не почувствовалъ, что у меня отъ языка воняетъ! Спрашивается: какое можетъ быть сцѣпленіе идей, когда такія вещи говоришь? И какова должна быть психологія, которая доставляетъ матеріалъ для подобныхъ разговоровъ? Вотъ кабы ты, господинъ Зола, поприсутствовалъ при этихъ разговорахъ — можетъ быть, и понялъ бы, что самое наглое психологическое лганье, которое не снилось ни тебѣ, ни братьямъ Гонкурамъ, ниже прокурорамъ и адвокатамъ (прокурорамъ — разумѣется, французскимъ, а адвокатамъ — всѣмъ вообще), должно встать втупикъ передъ этой психологической непроходимостью.

И въ то самое время, какъ я все это думалъ, вдругъ, вслѣдствіе такого же необъяснимаго психологическаго переворота, въ головѣ моей блеснуло: „а вѣдь Прокопъ за границу ѣдетъ — не примазаться ли и мнѣ къ нимъ?“

Сейчасъ обвинялъ Прокопа въ холопствѣ, сейчасъ на самого себя негодовалъ, что никакъ не могу пропустить случая, чтобъ не похолопствовать — и вотъ опять къ Прокопу льну! Знаю я, что Прокопъ, вмѣстѣ съ своей персоной, весь Залупскъ Европѣ покажетъ; знаю, что онъ повезетъ за границу Залупскъ и въ своемъ платьѣ, и въ покроѣ своего затылка и брюха, и въ тѣхъ рѣчахъ, которыми онъ будетъ за табльдотами щеголять; знаю все это — и все-таки льну. Такъ и стремлюсь залупскіе запахи обонять, залупскому невнятному бормотанью внимать. И вмѣстѣ со мной будутъ внимать этому бормотанью и Средиземное море, и сѣрыя скалы, которыя высятся вдоль его береговъ, словно сторожатъ лазурное ложе его въ предвидѣніи нашествія варваровъ.

III.—Между своими.

Для тѣхъ, которые позабыли о Прокопѣ (см. „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ“), считаю нелишнимъ возстановить здѣсь въ короткихъ словахъ его физіономію. Это одинъ изъ самыхъ выразительныхъ представителей культурнаго русскаго человѣка, лишь со вчерашняго дня узнавшаго о своей культурности. Въ физическомъ отношеніи онъ созданъ забавно: голова круглая, животъ круглый, глаза круглые, даже плеча, руки, ноги — и тѣ круглыя, затылокъ круглый, спина круглая. Лицо — портретъ красавца-мопса и по обстоятельствамъ принимаетъ свойственныя мопсу выраженія. Когда его „никто не дразнитъ“ и когда, сверхъ того, онъ сытъ — кожа на его лицѣ растягивается и выраженіе дѣлается ласковымъ: можно держать пари, что у него непремѣнно гдѣ-нибудь спрятанъ хвостъ, которымъ онъ въ эту минуту виляетъ. Когда онъ раздразненъ и голоденъ — на лбу и на переносьи дѣлаются складки, зубы злобно оскаливаются, и изъ гортани вылетаетъ рычанье; такъ и хочется крикнуть: „а гдѣ у насъ арапникъ-то, гдѣ?“ Въ нравственномъ отношеніи онъ прежде всего преисполненъ загадочнаго юмора, объ которомъ нельзя сказать положительно, на кого онъ направленъ, на собственную ли персону Прокопа, или на окружающихъ. Сверхъ того, онъ заносчивъ и льстивъ, лукавъ и легковѣренъ, наивенъ и лживъ, преисполненъ всякаго рода предразсудковъ, недоумѣній, противорѣчій и необыкновенно невѣжественъ. Говоритъ онъ обрывками, уснащая свою рѣчь безчисленными околичностями, перерывами, многоточіями, и при этомъ всегда поражаетъ собесѣдника внезапностью мыслей, въ которыхъ невозможно отличить, что̀ правда и что̀ ложь. Нѣкоторые думаютъ, что онъ глупъ и золъ, но это невѣрно. Онъ не глупъ и не уменъ, не добръ и не золъ—онъ самъ по себѣ. Репутацію глупости составила ему глубокая его невѣжественность, репутацію злого человѣка — нѣкоторые нечеловѣческіе инстинкты, которые довольно частыми вспышками проявлялись въ немъ во времена крѣпостного права. Но ежели надѣть на него прочный намордникъ, то горячность эта довольно скоро остываетъ, и въ Залупскѣ справедливо замѣчаютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ упразднено крѣпостное право, Прокопъ сталъ огрызаться значительно меньше прежняго.

Фамилія Прокопа — Лизоблюдъ, изъ тѣхъ Лизоблюдовъ, которые еще при царѣ Горохѣ тарелки лизали. Прокопъ гордится своими предками. Не говоря уже о родоначальникѣ Лизоблюдовъ, занимавшемся лизоблюдствомъ во времена до-историческія, много было и позднѣйшихъ потомковъ, которые шли по его стопамъ уже во времена, освѣщенныя свѣтомъ исторіи. Вообще это были люди смышленые и хозяйственные, и въ то время, какъ другіе „ближніе люди“ занимались цѣлованіемъ крестовъ да выщипываньемъ другъ у друга бородъ по волоску, Лизоблюды все больше ютились около утробной части, завѣдывали поварнями, подавали кушанья, служили посредниками въ любовныхъ интригахъ и, проводя въ этомъ занятіи время, укрѣплялись въ милостяхъ и пріобрѣтали вотчины. Но въ половинѣ XVIII вѣка звѣзда Лизоблюдовъ померкла: Никита Лизоблюдъ, устраивая любовныя дѣла Авдотьи Лопухиной, былъ обвиненъ въ измѣнѣ и, по наказаніи на тѣлѣ, сосланъ въ

залупскія вотчины, съ воспрещеніемъ выѣзда изъ мѣста жительства. Причемъ было выражено, что снисхожденіемъ этимъ (ему надлежало вырѣзать языкъ) онъ обязанъ лишь „неистовой его глупости“. Съ этихъ поръ значеніе фамиліи Лизоблюдовъ принимаетъ характеръ исключительно культурный, и цѣлыя поколѣнія ея членовъ слѣдуютъ одно за другимъ въ роли представителей залупской культурности, сами, впрочемъ, не подозрѣвая всей тяжести бремени, которое судьба возложила на ихъ плечи.

Семейство Прокопа состоитъ изъ жены, сына и дочери Наташеньки. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, хоть ей ужъ подъ сорокъ, производитъ въ Залупскѣ сенсацію. У нея нѣтъ ни особеннаго ума, ни даже умѣнья болтать милый вздоръ, но есть удивительнѣйшія, наливныя, бѣлоснѣжныя плечи, и она знаетъ это. Къ этимъ плечамъ несутся сердца всѣхъ залупскихъ культурныхъ людей, и въ нихъ же отчасти заключается тайна поднесенія Прокопу бѣлыхъ шаровъ на выборахъ. Самъ Солитеръ, котораго голова, начиненная циркулярными предписаніями, повидимому недоступна ни для чего, кромѣ тусклаго мерцанія, выражающагося загадочнымъ восклицаніемъ: „фюить!“—и тотъ любострастно чавкаетъ и какъ-то нелѣпо коситъ глазами, когда встрѣчается съ Надеждой Лаврентьевной на балахъ. Я не знаю, понимаетъ ли Прокопъ, какое дѣйствіе производятъ плечи его жены на окружающихъ, но думаю, что онъ, дѣлая видъ, что не понимаетъ, все-таки пользуется этимъ дѣйствіемъ, какъ однимъ изъ средствъ внутренней залупской политики.

Единственный сынъ Прокопа, Гаврюша, похожъ на отца до смѣшного. То же круглое тѣло, то же лицо монса, забавное во время покоя и бороздящееся складками на лицѣ и на лбу во время гнѣва. Прокопъ любитъ его безъ памяти, всѣмъ нутромъ, и ласково рычитъ, когда сынъ является изъ заведенья „домой“. Онъ садится тогда на кресло, ставитъ сына между ногъ, беретъ его за руки, разспрашиваетъ, зналъ ли онъ урокъ и чѣмъ его на недѣлѣ кормили, и смотрится въ него словно въ зеркало.

— Такъ ты говоришь, хорошо васъ кормили?—спрашиваетъ онъ, заглядывая ему въ глаза.

— Нынче, папаша, насъ лучше кормятъ: директоръ коммисію изъ воспитанниковъ надъ экономомъ назначилъ.

— То-то. А паче чаянія ежели что, такъ ты спрашивай: я твоему дядькѣ строго приказалъ, и денегъ на это оставилъ. Ѣшь, братъ, ѣсть надо; больше будешь ѣсть—урокъ будешь лучше знать.

Въ „заведеніе“ Прокопъ отдалъ Гаврюшу не безъ разсчета: онъ понялъ, что „заведеніе“ есть именно такая вещь, откуда, хочешь не хочешь, а въ концѣ концовъ все-таки и съ чиномъ выйдешь, и на мѣсто поступишь.

— Я, братъ, по себѣ знаю,—открывался онъ мнѣ по этому случаю:—и гувернеры, и мадамы у меня были, а что толку! Срамъ сказать: и теперь изъ катихизиса ни одного текста не знаю!

— Да вѣдь на выборахъ изъ катихизиса не спрашиваютъ?—возражалъ я.

— Все-таки. Разговариваютъ. Не изъ катихизиса, такъ изъ географіи. Кабы я зналъ, такъ и самъ бы разговаривалъ. А теперь приходится на другихъ смотрѣть, смѣются или нѣтъ.

— Такъ что жъ! сходитъ съ рукъ—и слава Богу!

— То-то, что по̀дъ Богомъ мы нынѣче ходимъ. Сегодня сошло, а завтра нѣтъ. Ехидные нынѣче люди пошли: испытываютъ. Иной цѣлый разговоръ съ тобой ведетъ: ты думаешь, онъ вправду, а онъ на̀ смѣхъ! Вотъ, года три назадъ, пришла ко мнѣ бумага насчетъ распространенія спеціальныхъ идей. Натурально, письмоводителя: какія-молъ такія спеціальныя идеи? — А это, говоритъ, по акцизной части, должно быть. Ну, мнѣ что̀! по акцизной, такъ по акцизной! Анъ послѣ оказалось, что онъ мнѣ на̀-смѣхъ акцизную-то часть ввелъ!

— Ахъ, Прокопъ, Прокопъ! Милый ты, милый! Такъ какъ же ты съ Гаврюшей хочешь поступить?

— Хочу въ „заведеніе“ отдать. Тамъ научатъ. Туда лиха бѣда попасть, а попалъ, такъ будетъ „человѣкомъ“. Экзамены будетъ, братецъ, выдерживать, а вѣдь я никогда ни одного экзамена выдержать не могъ. Та̀къ воспитываться, безъ экзамена — это я могу, а чуть на экзаменъ повели — ау, братъ!

Какъ ни удивительны представлялись мнѣ эти соображенія Прокопа, но въ результатѣ оказалось, что онъ правъ. Третій годъ находился Гаврюша въ заведеніи — и ничего, даже экзамены выдерживалъ. Жаловались, правда, воспитатели, что онъ во время препараціи забирается въ шинельную спать, но Прокопъ такъ наивно возражалъ на это: „такъ неужто-жъ робенку не спать?“ — что начальство махнуло рукой, и вновь подтвердило обѣщаніе сдѣлать Гаврюшу „человѣкомъ“.

Наташенька ужъ невѣста; ей восемнадцать лѣтъ и наружностью она пошла въ мать, то-есть навѣрное будетъ современемъ имѣть такія же наливныя, сахарныя плечи. Какъ дѣвица благовоспитанная, она стыдится мужчинъ и при видѣ ихъ жмется къ мамашѣ. Сверхъ того, склоняетъ голову нѣсколько на бокъ, что̀ придаетъ ей какую-то трогательную грацію, и ходитъ слегка привскакивая на носкахъ, тоже для граціи. Вообще дѣвушка образованная, сытая и апетитная, хотя совѣститься за свою апетитность, и отъ души молится Богу о ниспосланіи ей худобы. Прокопъ ее любитъ по своему, то-есть шутитъ шутки насчетъ ея невинности и апетитности; но въ этой любви нѣтъ и тѣни той страстности, которую онъ чувствуетъ къ Гаврюшѣ.

— Наташа — что̀! — говоритъ онъ: — сегодня она Лизоблюдъ, а завтра будетъ Тарелкина. Вотъ Гаврило у меня — тотъ настоящій, коренной Лизоблюдъ будетъ!

Когда я пришелъ къ Прокопу вечеромъ, у него ужъ сидѣлъ гость. Поэтому онъ вышелъ ко мнѣ на встрѣчу въ переднюю, чтобъ сообщить о результатѣ давешняго разговора насчетъ графскаго камердинера.

— Обдѣлалъ, братъ! — сказалъ онъ довольнымъ тономъ: — десяти-рублевенькую выкинулъ.

— Ловко, голубчикъ. Стало быть, скоро тебя и поздравить будетъ можно?

— Ну, это еще бабушка на-двое сказала. Мѣстовъ, говоритъ, нѣтъ. Будутъ, говоритъ, два мѣста на дняхъ, да вчера, вишь, обѣщаны. А послѣ этихъ двухъ мѣстъ, какъ очистится первая вакансія, такъ и...

— Да не вретъ ли?

— Вѣрно, братецъ. Прямо такъ и сказалъ: послѣ этихъ двухъ вакансія—моя!

— Ну, и слава Богу. Покуда за границу съѣздишь, покуда что̀... Завидую я тебѣ, голубчикъ! Какъ тамъ ни говори, а еще много, очень много въ наше время можно напакостить... то-бишь, дѣлъ надѣлать. Вотъ хоть бы эта самая область, куда Макаръ телятъ не гонялъ...

— Да одно ли это! А прочее-то! Однако я долженъ тебя предупредить: покуда объ этомъ—молчокъ. Иванъ Созонтычъ такъ сказывалъ: „вы, сударь, до времени не хвастайтесь“. А теперь, идемъ къ женѣ.

Вся семья Прокопа была на-лицо. Надежда Лаврентьевна дала мнѣ руку поцѣловать, Наташенька—въ губки похристосовалась; одинъ Гаврюша бутузомъ сидѣлъ въ углу, держалъ въ обѣихъ рукахъ по яйцу и пробовалъ, которое изъ нихъ крѣпче. Гостемъ оказался какой-то генералъ, до такой степени унылый, что мнѣ съ перваго взгляда показалось, что у него болитъ животъ. Прокопъ отрекомендовалъ насъ другъ другу.

— Генералъ Николай Батистычъ Пупонъ,—сказалъ онъ мнѣ:—отецъ его, Батистъ Богданычъ, французъ былъ, съ русскими войсками въ восемьсотъ-четырнадцатомъ году Парижъ бралъ, ну, а вотъ онъ — ужъ настоящій русскій. И вѣры нашей.

При имени Пупона мнѣ вдругъ что̀-то смутно вспомнилось, что̀ я въ 1863 году въ газетахъ читалъ. Реляція какая-то, въ которой говорилось, что храбрый полковникъ Пупонъ... но вотъ тутъ-то именно я и сбивался: крѣпость ли непріятельскую взялъ, или молодцомъ взлетѣлъ на четвертый этажъ какого-то дома и безъ ключа отперъ дверь какой-то квартиры.

— Вы... тотъ самый храбрый полковникъ Пупонъ?..—невольно сорвалось у меня съ языка.

— Да... но теперь—генералъ! — отвѣтилъ онъ мнѣ какимъ-то горькимъ голосомъ.

И вдругъ я въ самомъ дѣлѣ вспомнилъ.—Да, это дѣйствительно было не подъ Севастополемъ, а на Подъяческой. Онъ взлетѣлъ и какимъ-то волшебствомъ, безъ ключа, очутился внутри запертой квартиры. Но какъ онъ съ тѣхъ поръ измѣнился! Тогда онъ мнѣ казался молодымъ, исполненнымъ отваги и надеждъ, и хотя выраженіе его лица и въ то время имѣло что-то наглое, но это была наглость молодая, сильная, ликующая. Теперь — онъ былъ похожъ на заштатнаго индѣйскаго пѣтуха, который до такой степени забитъ и отощалъ, что не имѣетъ силъ даже соплю распустить. Весь онъ былъ словно пепломъ покрытъ; лицо пепельное, глаза пепельные, волосы пепельные, даже на мундирномъ сюртукѣ какъ будто кусочки пепла виднѣлись. Сидѣлъ онъ молча, часто и глубоко вздыхалъ, а немногіе отвѣты на вопросы давалъ отсырѣлымъ, пещернымъ голосомъ.

Мы сѣли въ кружокъ и стали разговаривать. Сначала погоду бранили, потомъ перешли къ залупскимъ новостямъ, и Надежда Лаврентьевна въ одну минуту засыпала меня разсказами, въ которыхъ, къ великому моему прискорбію, главную роль играли плюхи.

— Говорили, будто ужъ плюхъ больше не будетъ,—резюмировалъ эти

разсказы Прокопъ: — а онѣ нынѣче еще веселѣе прежняго въ ходъ пошли. У насъ, въ Залупскѣ, рѣдкій разговоръ нынѣче не кончается плюхой.

— Самолюбивѣе народъ сталъ — оттого! — попробовалъ я объяснить.

— Нѣтъ, не самолюбивѣе, а такъ какъ-то... въ общежитіе, стало быть, вошло. Кабы самолюбіе, такъ онъ, получивши плюху-то, бѣжалъ бы куда-нибудь, а то получитъ, да такъ съ плюхой и ходитъ по городу.

— Очень нынѣче въ Залупскѣ нехорошо стало! — вздохнула Надежда Лаврентьевна.

— Скучно?

— Нѣтъ, не то чтобы... Балы въ собраньи бываютъ... офицеры пикники устраиваютъ... нѣтъ, мы не скучаемъ! А такъ, вообще...

— У насъ, братъ, и въ заводѣ скуки нѣтъ!—отозвался Прокопъ: — либо у насъ гости, либо мы въ гостяхъ — гдѣ тутъ скукѣ быть! А гостей нѣтъ—лошадей велишь заложить или варенья спросишь. А теперь вотъ за границу собрались. Вздумалось съѣздить—и поѣдемъ.

— Такъ это у васъ окончательно рѣшено?—обратился я къ Надеждѣ Лаврентьевнѣ.

— Да, рѣшено. Надо же!

— Я ужъ разъ шесть за границей былъ, вездѣ перебывалъ,—объяснилъ Прокопъ:—а онѣ еще ни разу не были. Ну, и пусть съѣздятъ, посмотрятъ. Нельзя же...

— Да, да... Это дѣйствительно такъ... нельзя же! Вотъ я никогда за границей не бывалъ и даже намѣренія не имѣлъ, а давеча пришелъ онъ — я и раздумался. Надо же, думаю, нельзя же!

— Конечно, надо,—подтвердила и Надежда Лаврентьевна.

— И прекрасно, братъ, вмѣстѣ всѣ и поѣдемъ. Вотъ и генералъ съ нами, да еще по дорогѣ кой-кого подходящихъ подберемъ — чудесно время проведемъ!..

— Только вотъ что: хотѣлось бы мнѣ прежде хоть приблизительное понятіе себѣ составить, что собственно будемъ мы дѣлать за границей?

— А что прочіе дѣлаютъ, то и мы будемъ. Чай, не ариѳметикѣ учиться ѣдемъ. Талеры знаешь, франки знаешь—ну, и все тутъ.

— Напримѣръ, начать хоть бы съ того, *куда* мы ѣдемъ?

— Разумѣется, сначала въ Берлинъ—тамъ на недѣлю остановимся. Въ Берлинѣ можно бы и поменьше побыть, да мнѣ, признаться, Бисмарка показать обѣщали.

— Что ты! Самого Бисмарка?

— Да, Иванъ Карлычъ, булочникъ здѣшній, обѣщалъ. „Я, говоритъ, вамъ къ его камердинеру, Христофору Иванычу, письмо дамъ, такъ онъ его вамъ за сто марокъ сколько угодно покажетъ“. А ежели двѣсти марокъ дашь, такъ Бисмаркъ даже на аудіенцію выходитъ. И тутъ что хочешь у него проси, потому что онъ за аудіенцію сто марокъ въ свою пользу отсчитываетъ.

— Ахъ, Господи!

— Нечего ахать—вѣрно говорю! А ежели еще сто талеровъ не пожалѣешь, такъ и на квартиру приметъ—разумѣется, ежели ты русскій. Потому русскихъ онъ любитъ. Русскіе, говоритъ, добрый, покорный народъ.

Какъ ни привыкъ я къ внезапнымъ мыслямъ Прокопа, но это было такъ необыкновенно, словно я въ армидины волшебные сады вошелъ. Я глядѣлъ на Прокопа во всѣ глаза, усиливаясь угадать, не предается ли онъ, по обычаю, своему загадочному юмору; но лицо его сіяло такимъ ликованіемъ, что не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ искренности его словъ. Очень даже возможно, что преспектива видѣть Бисмарка играла не послѣднюю роль въ его рѣшимости ѣхать за границу, и что онъ покуда только не могъ еще вполнѣ опредѣлить себѣ, по какому разряду онъ устроитъ это свиданіе, то-есть за сто, за двѣсти или за триста марокъ.

— А изъ Берлина прямикомъ въ Парижъ, — продолжалъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало: — тамъ мѣсяца съ два пробудемъ. Вотъ барыни нарядовъ накупятъ, а мы по ресторанамъ походимъ. Оттуда поѣдемъ въ Баденъ, въ Швейцарію, а на зиму въ Ниццу махнемъ.

— Но все-таки, что же мы дѣлать-то, дѣлать-то что будемъ?

— Что другіе, то и мы. Другіе гулять — и мы гулять другіе обѣдать — и мы обѣдать. Тамъ, братъ, не Россія: озорничать не позволяется. Вотъ въ Швейцаріи — скажутъ тебѣ съ вечера: завтра въ пять часовъ восхожденіе на Риги — ну, и будь готовъ въ пять часовъ, и становись въ пару.

— Видъ, что-ли, ужъ очень хорошъ, что даже выспаться не даютъ?

— Ничего... видъ! Солнце встаетъ — извѣстно! Въ трубки англичане смотрятъ. Посмотрѣли — и опять, какъ арестантовъ, въ отель поведутъ.

— Такъ неужто-жъ, послѣ нашего-то простора, такая жизнь можетъ нравиться?

— Я развѣ говорю, что нравится? Нравится или не нравится, а коли назвался груздемъ, такъ и полѣзай въ кузовъ — вотъ я объ чемъ. И ѣда у нихъ хуже нашей. Говядина есть, да своя, а черкасской нѣтъ.

— Такъ какъ же это?

— Объ томъ-то я и говорю. А впрочемъ, коли ты за границу ѣдешь, такъ меня держись. Если на себя надѣяться будешь — одни извозчики съ ума сведутъ. А я тамошніе порядки наизустъ знаю. И что гдѣ спросить, и гдѣ что поѣсть, и гдѣ гривенникъ сунуть — все знаю. Я какъ пріѣду въ гостинницу — сейчасъ на кухню и повару полтинничекъ. Все покажетъ. Оберъ-кельнеру тоже сунуть надо — первому за табельдотомъ подавать будутъ.

— Такъ, стало быть, ѣдемъ?

— Какъ не ѣхать? Нельзя не ѣхать. Я за зиму-то въ Залупскѣ отеку, а лѣтомъ, какъ за границей въ родѣ арестанта побудешь — весь отекъ съ тебя какъ рукой сниметъ! Вотъ и генералъ съ нами — ты что, генералъ, носъ повѣсилъ? Ѣдемъ?

— Не знаю... я ванны брать буду...

— Не все же въ ваннѣ будешь сидѣть. Чай, и поѣсть захочешь.

— Нѣтъ ужъ... Я ужъ... Не могу я, мой другъ!

— Ахъ, генералъ, генералъ! Какой ты былъ храбрый да проворный, сраженіе въ Средней Подъяческой выигралъ — и вдругъ что съ тобой сдѣлалось!

Генералъ обратилъ на насъ потухающій взоръ и произнесъ:

— Таковы плоды человѣческой мечтательности!

Онъ сказалъ это такимъ безнадежнымъ тономъ, что всѣ невольно смолкли. И затѣмъ вдругъ, къ величайшему моему удивленію и къ смущенію Наташеньки, которая впрочемъ въ одно мгновенье куда-то исчезла, началъ разстегивать свой сюртукъ, потомъ жилетъ, рубашку, покуда не обнажилась лѣвая сторона нижней части его волосатой груди.

— Смотрите, молодой человѣкъ, и да послужитъ вамъ это урокомъ!— обратился онъ ко мнѣ, неизвѣстно почему считая меня за молодого человѣка: —вотъ здѣсь, пониже лѣваго соска—что вы видите?

Я приблизился и дѣйствительно увидѣлъ нѣчто въ высшей степени странное. Въ нижней части груди, въ томъ самомъ мѣстѣ, на которое, сейчасъ указалъ генералъ, находилось продолговатое пространство, усѣянное бѣлыми пупырышками, въ родѣ сыпи. Когда генералъ щелкнулъ по этому мѣсту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснѣли, и я могъ прочитать слѣдующее:

КЪ СЕМУ ТѢЛУ, ЗА
БЕЗГРАМОТСТВОМЪ САТАНЫ,
АГГЕЛЪ ЕГО, ИВАНЪ ИВАНОВЪ
ДОМОВОЙ, РУКУ ПРИЛОЖИЛЪ.
АНАѲЕМА!!

Повидимому подпись эта была нѣкогда наколота сапожнымъ шиломъ и натерта порохомъ.

— Теперь вы знаете роковую тайну моего горькаго существованія! — продолжалъ генералъ, покуда я внѣ себя отъ изумленія смотрѣлъ на него: — покамѣстъ я былъ субалтернъ и штабъ-офицеромъ, не существовало человѣка, который при встрѣчѣ со мной не говорилъ: „вотъ отважный Пупонъ“! Всѣ меня знали! всѣ льстили и чествовали; отовсюду слали мнѣ телеграммы, во всѣхъ трактирахъ пили за мое здоровье! Даже историкъ Соловьевъ, и тотъ, въ предвидѣніи сорокового тома „Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ“, съ благодарностью принялъ отъ меня меморію, подъ названіемъ: „Къ исторіи смутнаго времени, съ присовокупленіемъ подвиговъ“. Но съ тѣхъ поръ, какъ я произведенъ въ генералы—все измѣнилось. Пупонъ забытъ, Пупонъ отверженъ, Пупонъ — отчисленъ по кавалеріи! И въ довершеніе всего господинъ Соловьевъ на дняхъ возвратилъ мнѣ мою меморію обратно съ слѣдующею надписью: „Дѣла, въ сей меморіи описанныя, столь несвойственны, что даже не весьма стыдливая Кліо — и та отвращаетъ отъ нихъ лицо свое“. Замѣтьте: „несвойственны“, но чему несвойственны — о томъ умалчиваетъ! Какъ по вашему: обидно это, или не обидно?

— Конечно, обидно. Но, съ другой стороны, ежели справедливо, что даже „не весьма стыдливая Кліо“ — и та зарумянилась, то, можетъ быть, подвиги, которые вы описывали, были такого сорта, что для ученаго и притомъ семейнаго человѣка...

— Нѣтъ, дѣло совсѣмъ не въ свойствѣ подвиговъ, а въ томъ, что съ производствомъ моимъ въ генеральскій чинъ истекъ срокъ контракта, скрѣпленнаго той печатью, которую вы сейчасъ видѣли. Съ этихъ поръ все въ судьбѣ моей измѣнилось. Подвиги продолжаютъ совершаться по прежнему, и профес-

соръ Соловьевъ самъ очень хорошо знаетъ это — но они совершаются уже не мною, а людьми совсѣмъ другого вѣдомства! Спрашиваю васъ: можно ли было поступить оскорбительнѣе?

— А впередъ, братъ, умнѣе будь!—вмѣшался Прокопъ:—коли съ нечистымъ контракты писать, такъ пиши обстоятельнѣе: такъ-молъ и такъ, до смерти моей обязываешься ты мнѣ... а тамъ-молъ, послѣ смерти, буде что послѣ меня останется—все твое!

— Шутитъ! все шутитъ!—съ горечью укорилъ генералъ.

— Позвольте, генералъ!—вмѣшался я: — я съ любопытствомъ слѣжу за вашими жалобами, и даже сочувствую имъ, но, признаюсь, очень мало въ нихъ понимаю. Ваша прежняя блестящая карьера — и теперешній вашъ унылый видъ... наконецъ, эта странная печать на вашей груди... что все это значитъ? кто вы?

— Я—жертва неопытной мечтательности и жажды благородныхъ подвиговъ, и такъ какъ мы ѣдемъ вмѣстѣ за границу, то когда-нибудь я разскажу вамъ подробно исторію моей жизни. Теперь же могу сказать только одно: молодой человѣкъ! берегитесь мечтательности! Ибо мечтательность—даже въ границахъ области предупрежденія — преступленія далеко на всегда ведетъ къ тому концу который она самонадѣянно себѣ предназначила!

Съ этими словами онъ всталъ и вышелъ, оставивъ меня лицомъ къ лицу съ какою-то нелѣпою тайною.

IV.—Поѣхали.

Черезъ недѣлю, въ одиннадцать часовъ утра, я былъ на дебаркадерѣ варшавской желѣзной дороги. Прокопъ уже распоряжался переноскою багажа, состоявшаго изъ двѣнадцати большихъ сундуковъ и нѣсколькихъ ручныхъ чемодановъ.

Сырая погода преслѣдовала насъ, и цѣлое море грязи стояло передъ станціей. Неподалеку возвышался закопченный остовъ Фейгинской мельницы, которая нѣкогда была утѣшеніемъ интендантства и около которой теперь шныряли неизвѣстнаго происхожденія люди. Казалось, зданіе еще дымится, и духъ Овсянникова паритъ надъ нимъ. Прокопъ, какъ человѣкъ похотливый относительно всѣхъ скандаловъ русской современности, конечно, не преминулъ обратить вниманіе и на мельницу.

— Изъ-за полтинничка кашу-то заварилъ!—сказалъ онъ, мигнувъ по направленію пожарища.

— Какъ ты, однакожъ, все просто объясняешь!—счелъ долгомъ возразить я, изумленный внезапностью этого предположенія.

— Извѣстно, изъ-за полтинника. На низу помолъ дешевле на копѣйку —вотъ онъ и тово. Дай, молъ, сожгу, благо мельница застрахована.

— Ну, нѣтъ, это ты ужъ черезчуръ хватилъ. Милліонеръ—и станетъ объ такихъ пустякахъ думать!

— А ты душу-то человѣческую знаешь?

— Нѣтъ, но во всякомъ случаѣ...

— А я знаю. У насъ въ Залупскѣ тоже милліонеръ Голопузовъ живетъ, такъ у него извозчикъ пятиалтынный проситъ, а онъ ему гривенникъ даетъ. Да еще усовѣщиваетъ: „креста, говоритъ, на тебѣ нѣтъ!“ Такъ вотъ оно, что душа-то человѣческая значитъ!

Въ эту самую минуту изъ всѣхъ отверстій мельницы цѣлая масса людей высыпала наружу и скучилась противъ фасада ея. Прокопъ не преминулъ и на это обратить свое вниманіе.

— Ишь, ишь, ишь! адвокатовъ-то что собралось! — возопилъ онъ: — это они сламъ дѣлятъ!

— Какой еще сламъ?

— Такой и сламъ, что одинъ какой-нибудь возьметъ всю тушу за себя, примѣрно хошь за сто тысячъ — ну, пятьдесятъ себѣ оставитъ, а пятьдесятъ на драку.

— Скажи по совѣсти: вѣдь ты это сейчасъ только выдумалъ?

— А ежели и выдумалъ — важность какая! Не въ томъ штука, выдумалъ или нѣтъ, а въ томъ, что правильно выдумалъ. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядятъ! ахъ, чтобъ имъ пусто было! Ишь, ишь! Вонъ бѣлый, вонъ-вонъ этотъ! — къ стѣнѣ подошелъ, штукатурки кусокъ отколупнулъ — это у него „совершенное“ доказательство будетъ!

Затѣмъ Прокопъ началъ-было объяснять мнѣ, какой разговоръ онъ имѣлъ объ этомъ дѣлѣ съ адвокатомъ Комаринскимъ, но я уже не слушалъ его. Придя въ залъ, я нашелъ тамъ довольно много народу, мужчинъ и дамъ, и у всѣхъ было на лицахъ написано: „вотъ и мы за границу ѣдемъ! нельзя же! надо же!“ Меня никто не провожалъ; около Прокопа вертѣлся Гаврюша, которому онъ отъ времени до времени говорилъ:

— Смотри же, ѣшь больше! будешь ѣсть — и урокъ будешь знать! А въ іюнѣ, на каникулы, — къ намъ за границу пріѣзжай!

Но вотъ раздался второй звонокъ, и надо было разсаживаться по вагонамъ. Прокопъ въ послѣдній разъ взялъ Гаврюшу за руки, пристально взглянулъ на него, словно бы хотѣлъ укусить, и перекрестилъ.

— Ѣшь, братъ! — повторилъ онъ: — тамъ я дядькѣ оставилъ... требуй!

Перейдя въ вагонъ, Прокопъ отворилъ окно и оттуда смотрѣлъ на Гаврюшу. Онъ сидѣлъ безъ словъ, но все лицо его сіяло и смѣялось. Гаврюша тоже смѣялся, но стыдливо, какъ будто совѣстился. Наконецъ поѣздъ заколыхался и тронулся.

— Ѣшь, братъ! — крикнулъ Прокопъ встрѣчу сыну, который трускомъ бѣжалъ рядомъ съ удаляющимся вагономъ.

Вагонъ, въ которомъ мы помѣстились, принадлежалъ къ числу самыхъ роскошныхъ. Кромѣ двухъ отдѣльныхъ купе́, въ немъ былъ еще прекрасный салонъ. Надежда Лаврентьевна съ Наташенькой устроились въ одномъ изъ купе́, въ которомъ вмѣстѣ съ ними сѣлъ и еще какой-то молодой человѣкъ. Остальные пассажиры размѣстились въ салонѣ. Кромѣ Прокопа, генерала Пупона и меня, тутъ было еще четверо пассажировъ. Молодой тайный совѣтникъ Стрекоза, который ожидалъ къ празднику Бѣлаго Орла, а получилъ ко-

рону на святыя Анны, и въ знакъ фрондерства отправлялся вояжировать; адвокатъ, который былъ обиженъ тѣмъ, что его не пригласили по Овсянниковскому дѣлу ни для судоговоренія, ни даже на побѣгушки; сѣденькій старичокъ съ Владиміромъ на шеѣ, маленькій съеженный, подергивающійся, съ необыкновенно густыми и черными бровями, которыя при каждомъ душевномъ движеніи становились дыбомъ, и, должно быть, очень злой; наконецъ какая-то таинственная личность, въ восточномъ костюмѣ, въ родѣ халата изъ термаламы, и съ ермолкой на головѣ.

Когда поѣздъ двинулся, то всякій по своему выразилъ чувство, одушевлявшее его въ эту минуту. Прокопъ смѣло и прямо снялъ картузъ и, перекрестившись большимъ крестомъ, произнесъ: „съ Богомъ!“ Старичокъ тоже перекрестился, но какъ-то робко, подъ пальто, словно сомнѣваясь, входитъ ли это въ кругъ его обязанностей. Пупонъ хотѣлъ послѣдовать ихъ примѣру, но „отецъ лжи“ не позволилъ ему. Нѣсколько разъ онъ безуспѣшно замахивался, и наконецъ, чтобъ скрыть свою неудачу, вынулъ изъ кармана носовой платокъ, высморкался, сказавъ: „теперь надолго!“ и усѣлся въ уголъ. Восточный человѣкъ повидимому хотѣлъ совершить омовеніе, но, за невозможностью, сотворилъ бреніе и помазалъ имъ подъ ермолкой. Адвокатъ долго слѣдилъ за исчезающею въ туманѣ мельницею, потомъ вынулъ изъ кармана фотографическую карточку Овсянникова и пристально посмотрѣлъ на нее, какъ бы вопрошая: „виноватъ ты или нѣтъ?“ Молодой тайный совѣтникъ открылъ окно и долго махалъ платкомъ провожавшимъ его столоначальникамъ, какъ бы подтверждая имъ вести дѣла въ томъ же „направленіи“. Потомъ сѣлъ и горько улыбнулся, словно укоряя отечество въ неблагодарности. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ въ эту минуту сравнивалъ себя съ древнимъ Коріоланомъ, съ тою лишь разницей, что, болѣе великодушный, нежели Коріоланъ, онъ не намѣревался привести вольсковъ, чтобъ отомстить за корону на святыя Анны.

Мнѣ было не по себѣ. По мѣрѣ того, какъ поѣздъ прибавлялъ ходу и врѣзывался въ царство болотъ, мнѣ представлялось, что внутри меня все больше и больше пустѣетъ. Теперь впервые съ особенной назойливостью выдвигался впередъ вопросъ: что-то будетъ? Я — человѣкъ привычки и настолько робкій, что всякое передвиженіе непремѣнно волнуетъ и тревожитъ меня. Даже переѣзжая каждогодно лѣтомъ изъ Петербурга въ деревню, я не могу избавиться отъ вопроса: что будетъ?—до такой степени все, что стоитъ внѣ этой комнаты и дальше этой минуты, кажется мнѣ преисполненнымъ всякаго рода опасностей. Собственно говоря, я оставляю сзади себя очень мало: смутную тоску объ чемъ-то и смутное желаніе чего-то — казалось бы, не объ чемъ очень-то жалѣть! Но неизвѣстность, разстилающаяся впереди, до того преисполнена мучительныхъ загадочностей, что даже та лѣнивая смутность воспоминаній и надеждъ, которой предается современный русскій культурный человѣкъ, ежели онъ не адвокатъ, не прокуроръ, не желѣзнодорожный дѣятель и не директоръ банка, представляется ему чѣмъ-то въ родѣ убѣжища. Точно вотъ проснулся человѣкъ и началъ въ халатѣ по комнатѣ ходить, и не хочется ему ни умываться, ни одѣваться, ни даже къ чаю притронуться: все бы онъ ходилъ взадъ да впередъ, ходилъ бы да думалъ. Объ чемъ бы думалъ?—право, даже и на этотъ вопросъ отвѣчать незачѣмъ. Такъ

бы, думалъ, и все тутъ. Мелькнетъ и исчезнетъ, и опять выскочитъ, и опять пропадетъ. То мотивъ какой-нибудь звукнетъ и замолчитъ, то образъ какой-то освѣтится и потухнетъ. Ходишь, ходишь и даже усталости не замѣчаешь. Я знаю, что это мечтательность изнурительная, но, по моему мнѣнію, она представляетъ собой эмблему существованія очень многихъ русскихъ людей. Современная жизнь, съ ея лихорадочными движеніями, не для всѣхъ выказала себя матерью. Многихъ хищниковъ выдвинула она впередъ, но большинство людей добродушныхъ и неспохватливыхъ оставила безъ дѣла, за штатомъ. Вотъ они-то и мятутся въ области тоски и всякаго рода смутностей. Безъ ясныхъ сожалѣній въ прошломъ, безъ ясныхъ провидѣній въ будущемъ—точно вотъ сейчасъ проснулись, и ночныя грёзы еще не успѣли съ нихъ соскочить, да, пожалуй, и не соскочатъ никогда. И такъ какъ вездѣ, куда бы они ни пришли, имъ говорятъ: „не твое дѣло!“ —то весьма естественно, что ими овладѣла оторопь. Эту оторопь они носятъ съ собой вездѣ, и по привычкѣ являются съ ней даже тамъ, гдѣ жизнь повидимому не представляетъ уже ни тайнъ, ни неожиданностей. Все кажется, что или кондукторъ обидитъ, или засудятъ, или вдругъ... фюить!

Вотъ я, напримѣръ. Хотя я и не бывалъ еще за границей, но весь складъ моей жизни, все воспитаніе, всѣ идеалы, всѣ привычки и пріемы — все и всегда было заграничное. Я и парлé-франсé умѣю, и Наполеона III обругать могу, и про Бисмарка два-три анекдота знаю, и даже съ нѣкоторыми заграничными обычаями знакомъ. Одинъ знакомый сказалъ: „за границей за табльдотомъ семь блюдъ подаютъ“; другой знакомый предупредилъ: „если вы въ Парижѣ будете, никогда не говорите гарсонамъ: je vous prie, a s'il vous plait, — иначе васъ сейчасъ за русскаго примутъ“. Съ этими свѣдѣніями, куда бы я ни пріѣхалъ, вездѣ я какъ дома буду. И за всѣмъ тѣмъ, все-таки, беретъ оторопь. Вотъ теперь, черезъ сутки—Эйдткуненъ, а мнѣ все кажется: пройдетъ ли? Точно къ родителямъ изъ школы съ дурной отмѣткой на билетѣ идешь. Каковы-то тамъ кондукторы? обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? А главное, какъ я за табльдотомъ обѣдать буду? Я привыкъ на просторѣ обѣдать, а тутъ вдругъ — хочешь кусокъ проглотить, анъ тебѣ нѣмецъ въ ротъ смотритъ! И вдругъ онъ расхорохорится, скажетъ: давай за погибель Франціи пить! А я Францію люблю. Люблю, несмотря даже на то, что она теперь не Франція, а Макмагонія.

Буду ли я съ нѣмцемъ за погибель Франціи пить?

Буду ли я вообще всѣ тѣ мерзости продѣлывать, которыя продѣлываютъ русскіе культурные люди, шляющіеся на теплыхъ водахъ? Буду ли я увѣрять, что мы, русскіе—свиньи, что правительство у насъ революціонное, что молодежь наша не признаетъ ни авторитетовъ, ни государства, ни семейства, ни собственности, что вообще порядочному человѣку въ Россіи дышать нельзя, и что поэтому слѣдуетъ пріобрѣсти виллу въ Баденѣ или въ Ниццѣ, а сношенія съ Россіей ограничить полученіемъ оброковъ?

Буду ли я говорить все это? — вотъ странный вопросъ! Развѣ я знаю, что̀ я буду говорить? развѣ могу опредѣлить заранѣе, что̀ я скажу, когда начну говорить? Вотъ еслибъ я одинъ обѣдалъ, я бы, конечно, молчалъ, а то за табльдотомъ, гдѣ сто нѣмцевъ въ ротъ тебѣ смотрятъ, всѣ другъ другу

таинственно шепчутъ: „а это вѣдь русскій“! Ну, какъ тутъ выдержать? какъ не сказать: „господа! я дѣйствительно русскій, но я изъ тѣхъ русскихъ, которые очень хорошо понимаютъ, что русскіе—кадеты европейской цивилизаціи!“?

Покуда эти мысли толпились въ моей головѣ, Прокопъ всматривался въ пассажировъ и приставалъ ко мнѣ съ вопросами: „это кто? а вонъ этотъ, въ углу, кто таковъ?“ При этомъ онъ указывалъ пальцемъ и дѣлалъ свои замѣчанія такъ громко, что я каждую минуту ожидалъ, что буду скомпрометированъ. Прежде всего онъ заинтересовался адвокатомъ, долго припоминалъ, гдѣ онъ его видѣлъ, и наконецъ вспомнилъ-таки, что въ Муромскомъ лѣсу.

— Насилу, братъ, мы отъ него удрали!—присовокупилъ онъ въ видѣ заключенія.

Потомъ его заинтриговалъ восточный человѣкъ, и онъ опять началъ припоминать, гдѣ онъ его видѣлъ.

— А вѣдь это отъ Огюста татаринъ!—воскликнулъ онъ наконецъ: — убей меня Богъ, ежели не онъ! Только фракъ снялъ, да вѣдь я ихъ и въ костюмѣ въ ихнемъ видалъ: въ ноябрѣ они къ своему причастію ходятъ, такъ этакимъ же манеромъ наряжаются! Постой, я ему свиное ухо покажу!

И, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, къ величайшему моему изумленію, черезъ весь вагонъ крикнулъ:

— Здравствуй, саламалика! ты какъ это въ первый классъ попалъ?

Но восточный человѣкъ только привѣтливо улыбнулся въ отвѣтъ на эту апострофу, и, къ моему удовольствію, происшествіе это не имѣло дальнѣйшихъ послѣдствій, кромѣ брезгливаго движенія плечами со стороны тайнаго совѣтника Стрекозы, который, казалось, говорилъ: въ какомъ же, однако, я обществѣ ѣду?

Вообще, какъ я ни усиливался воздержать Прокопа отъ внезапныхъ движеній, онъ съ каждымъ шагомъ впередъ эмансипировался все больше и больше. Однимъ изъ самыхъ выдающихся его качествъ было любопытство, соединенное съ легковѣріемъ, и когда оно выступало впередъ, то совладать съ нимъ было очень трудно. Такъ случилось и теперь. Нѣкоторое время онъ какъ будто боролся съ собой и даже пытался разсказать мнѣ сюжетъ „Трехъ мушкатеровъ“, которыхъ онъ будто бы читалъ по рекомендаціи какого-то высокопоставленнаго лица, но на половинѣ разсказа не вытерпѣлъ, подсѣлъ къ адвокату и тотчасъ же завязалъ съ нимъ разговоръ.

— Вы адвокатъ?

— Имѣю честь принадлежать къ сословію адвокатовъ.

— Фамилія ваша?

— Проворный, Алексѣй Андреевъ.

— Какъ будто мы съ вами прежде встрѣчались?

— Очень можетъ быть-съ.

— Въ Муромскомъ лѣсу будто. Я въ саратовскую деревню, помнится, ѣхалъ.

Проворный взглянулъ на Прокопа недоумѣвающими глазами:

— Какъ ее, станція-то? Булатниково, что-ли? еще вы насъ въ оврагѣ поджидали?—не смущаясь, продолжалъ Прокопъ:—вы давно тамошнія мѣста бросили?

— Извините... тутъ есть какое-то недоразумѣніе... Я даже не слыхалъ ни о какихъ Муромскихъ лѣсахъ! — все больше и больше недоумѣвалъ Проворный.

— Ну, что тутъ! Конечно, кому пріятно про Муромскіе лѣса вспоминать. Главное дѣло: бросили — и довольно. Тамъ, впрочемъ, нынче и невыгодно: всѣ проѣзжіе на желѣзныя дороги бросились, да и Муромскіе-то лѣса, кажется, въ Петербургъ, на Литейную, перевели. Овсянниковское дѣло знаете?

— Имѣлъ честь быть приглашаемымъ-съ?

— Понюхать, или взаправду?

Вопросъ былъ такъ необыкновененъ, что даже самому Проворному сдѣлалось весело.

— Вы чему смѣетесь? — спросилъ Прокопъ, замѣтивъ на лицѣ адвоката улыбку.

— Да, признаюсь вамъ откровенно, у васъ такой неожиданный способъ выраженія...

— Никакого у меня способа выраженія нѣтъ, а говорю правду. У меня у самого два адвоката-пріятеля есть: одного, Бѣлобрюшенкова, понюхать приглашали, а другого, Комаринскаго, — того прямо запрягли: ступай, значитъ, въ самый навозъ. О Комаринскомъ, чай, слыхали?

— Имѣю честь знать лично-съ.

— Веселый парень, безстрашный. Я, признаться, говорилъ ему: смотри, братъ, вытащишь ли? Какъ бы совсѣмъ въ навозѣ не застрясть! Ничего — смѣется. „Мнѣ, говоритъ, бояться нечего, я сытъ. Въ Петербургѣ будетъ жить скверно — въ Ниццу уѣду. Куплю палаццо, захвачу парочку литераторовъ съ Ветлуги, будемъ въ чехарду играть, въ Средиземное море плевать, по вечерамъ трехголосную херувимскую пѣть. Все равно, что въ Ветлугѣ заживемъ“. А какъ по вашему мнѣнію: поджегъ Овсянниковъ мельницу или не поджегъ?

— Это зависитъ-съ...

— То-есть, отъ чего же зависитъ?

— Отъ взгляда-съ. Ежели съ одной стороны взглянуть — выйдетъ поджогъ, а ежели съ другой стороны — выйдетъ случайность.

— Ну, а по настоящему, по правдѣ-то, какъ?

— По моему мнѣнію, правда есть продуктъ судоговоренія — вотъ все, что могу вамъ на этотъ счетъ сказать.

— Да вѣдь поджогъ-то до судоговоренія былъ?

— Пожаръ-съ. А что было причиной, поджогъ или неосторожность, или дѣйствіе стихій — это ужъ тайна судоговоренія.

— Стало быть, на судоговореніи можно и первое, и другое, и третье доказать?

— Не доказать, а доказывать-съ. Три системы доказательствъ будутъ имѣть мѣсто въ этомъ дѣлѣ: одна со стороны прокурора, другая со стороны гражданскаго истца и наконецъ третья — со стороны защиты обвиняемыхъ. Какая изъ этихъ системъ окажется болѣе убѣдительною, та и выиграетъ дѣло.

— Стало быть, еслибъ я, напримѣръ, хоть разневинный былъ, а у про-

курора система будетъ лучше, нежели у моего адвоката, такъ меня на каторгу сошлютъ?

— Подобные случаи извѣстны въ юридической практикѣ подъ названіемъ судебныхъ ошибокъ.

— Слава Богу, хоть это. Ну, а теперь имѣніе у меня въ Рязанской губерніи есть—можно его у меня отнять?

— Ежели есть противная сторона, которая обладаетъ извѣстною суммою доказательствъ...

— Вотъ такъ судоговореніе! Ваше превосходительство! какъ вы объ этомъ думаете?

Вопросъ этотъ относился къ молодому тайному совѣтнику, который полулежалъ въ это время на диванѣ, закрывшись листомъ газеты. Но тайный совѣтникъ даже въ вагонѣ строго соблюдалъ свое достоинство, и, чтобъ не вступать въ разговоръ съ неизвѣстною личностью, притворился спящимъ.

— Спитъ?—шопотомъ произнесъ Прокопъ: — ну, да ему и не грѣхъ. Обидѣли его. Ну-съ, такъ будемте знакомы, Алексѣй Андреичъ. Хоть вы и собрались у меня рязанскую деревню оттягать, — да это еще когда-то будетъ! А покамѣстъ знакомы будемъ. Можетъ, за границей свидимся, пріятнѣе будетъ въ своемъ кружку время провести. А что Овсянниковъ мельницу поджогъ — такъ вы въ этомъ не сомнѣвайтесь. Я и съ адвокатомъ его, съ Комаринскимъ говорилъ—и тотъ говоритъ: поджогъ! Только парень-то ужъ очень хорошъ, денегъ у него много — вотъ и нельзя не заступиться за него.

Прокопъ всталъ, потянулся и осмотрѣлся кругомъ, къ кому бы еще присѣсть. Покосился сначала на восточнаго человѣка, но раздумалъ и направился къ старику съ Владиміромъ на шеѣ. Старецъ какъ-то нервно передернулся, почувствовавъ себя въ этомъ сосѣдствѣ.

— Вы до Вильны?—спросилъ Прокопъ.

— Я за границу-съ.

— А я думалъ, до Вильны. Туда нынче много такихъ ѣздитъ. Просвѣтители. А гдѣ служите? чай, въ консисторіи?

Старичокъ ничего не отвѣтилъ, но я видѣлъ, какъ брови его начали постепенно шевелиться, словно въ нихъ что-то забѣгало.

— Что жъ не говорите?—продолжалъ Прокопъ:—чай, языкъ не отвалится?

— При своемъ мѣстѣ служенія нахожусь,—отвѣтилъ старецъ, рѣшительно уклоняясь отъ дальнѣйшаго разговора.

— Понимаю! ватерклозетами завѣдуете? Тамъ, вѣрно, и простудились —теперь на казенный счетъ лечиться ѣдете?

Старичокъ не отвѣчалъ, а только безпокойно подергивалъ плечами и спиной и перекладывалъ ноги одну на другую.

— Я и болѣзнь вашу знаю,—продолжалъ Прокопъ:—по-медицински восцой она называется. Черносливу, братъ, больше ѣшь—пройдетъ.

— Прокопъ!—возопилъ я:—что ты дѣлаешь?

— Ничего я не дѣлаю. Я только объ томъ, сколько на эту восцу казенныхъ денегъ выходитъ. А ежели ты со мной, господинъ Восцынъ, разго-

варивать не хочешь, — обратился онъ къ старику: — ну, и сиди съ Богомъ. Подергивайся. Ишь его передергиваетъ. Восца! она и есть!

Наконецъ вновь Прокопъ сѣлъ подлѣ меня и нѣкоторое время казался обиженнымъ. Но такъ какъ никакое опредѣленное чувство не могло въ немъ долго задерживаться, то въ скоромъ времени его занимали уже совсѣмъ другія соображенія, и онъ изумилъ меня цѣлымъ рядомъ совершенно неожиданныхъ вопросовъ и разсужденій.

— Къ Лугѣ, что-ли, мы подъѣзжаемъ?, спросилъ онъ.

— Къ Лугѣ.

— Ѣсть будемъ—это хорошо. Вотъ я ему компотъ изъ чернослива закажу—ѣшь, братъ, здоровъ будешь. А что за Луга? городъ, что-ли?

— Городъ.

— А чудотворцы въ немъ какіе-нибудь почиваютъ?

— Объ какихъ еще чудотворцахъ ты заговорилъ? Есть исправникъ, становые—вотъ и довольно.

— Нѣтъ, это ты ужъ вздоръ мелешь. Это я навѣрное знаю. Во всякомъ городѣ свои угодники почиваютъ — это мнѣ архимандритъ Амфилохій говорилъ. Во Псковѣ—псковскіе угодники, въ Вильнѣ—виленскіе... А мнѣ, братъ, серьезно ѣсть захотѣлось. Въ Лугѣ какая рыба водится?

— Ей-Богу, не знаю. Одному только удивляюсь: какъ это ты, голубчикъ, минуту помолчать не можешь? И мысли у тебя какія-то все разныя являются: сейчасъ были угодники, и вдругъ—рыба...

— А мнѣ развѣ заказано? Кабы мнѣ заказано было: думай объ одномъ —я бы и думалъ. Вонъ ему, Восцыну, сказано: думай о ватерклозетахъ—онъ и думаетъ, къ нему въ это время не подходи. А мнѣ свободно: объ чемъ хочу, объ томъ и думаю.

— Все-таки, иногда не мѣшало бы...

— Ну тебя! Я еще вонъ этого, тайнаго-то совѣтника, къ вечеру разгужу, да и объ татаринѣ досконально разузнаю: съ какой стати свиное ухо съ нами въ первомъ классѣ ѣдетъ? Смотри-ка! смотри-ка! вѣдь и онъ на насъ глядитъ! Смѣется! ишь!

Дѣйствительно, восточный человѣкъ смотрѣлъ на насъ и улыбался во весь ротъ. Онъ даже хлопалъ ладонью по подушкѣ сосѣдняго мѣста, какъ бы приглашая Прокопа сѣсть возлѣ него.

— Станція Луга! двадцать минутъ остановки! — прокричалъ кондукторъ, проходя мимо насъ.

V.—Тайна, облекающая личность восточнаго человѣка, слегка разъясняется.

Въ Лугѣ, по дорогѣ къ вокзалу, меня подхватилъ подъ руку тайный совѣтникъ Стрекоза. Признаюсь, я смутно угадывалъ, что будетъ нѣчто подобное (дальше я разскажу читателю мои отношенія къ Стрекозѣ), и порядочно-таки это волновало меня.

— Мы, кажется, съ вами знакомы?—спросилъ онъ.

— Кажется,—отвѣчалъ я.

— Мы пошли разными дорогами, но надѣюсь, что это не должно мѣшать намъ взаимно уважать другъ друга.

Говоря это, онъ сжималъ своимъ правымъ локтемъ мой лѣвый локоть, а лѣвою рукой взялъ мою правую руку.

— Признаюсь вамъ, я ужъ давно для себя рѣшилъ: ко всѣмъ имѣть уваженіе, кто имѣетъ чинъ не ниже статскаго совѣтника. А слѣдовательно и вы въ томъ числѣ.

Онъ усмѣхнулся, заглянулъ мнѣ въ лицо, пробормоталъ какъ бы про себя:—это иронія?—и, не отпуская моей руки, засвисталъ какой-то мотивъ.

— Вы мои послѣднія распоряженія читали?—вновь началъ онъ разговоръ.

— Нѣтъ, не читалъ.

— Не интересуетесь?

— Сами по себѣ, вѣроятно, они интересны, но для меня—нѣтъ.

— Многіе такъ разсуждаютъ нынѣче, и оттого у насъ ничего не идетъ. Я не понимаю, какъ можетъ не интересовать умнаго человѣка то, въ чемъ, напримѣръ, заинтересовано цѣлое государство!

— Что прикажете дѣлать! Это странно и даже малообъяснимо, но это такъ!

— Вотъ если бы вы читали, то должны были бы сознаться, что неправы.

— Въ чемъ неправъ?

— А хоть бы въ томъ, что имѣете на меня совершенно невѣрный взглядъ.

— Да помилуйте! что же вамъ-то до этого? развѣ вамъ мой взглядъ нуженъ?

— Даже очень. Я вообще имѣю нужду въ содѣйствіи, а въ частности, относительно васъ, есть, кромѣ того, и еще... Вы, можетъ быть, забыли, но я очень многое помню.

Онъ вновь сжалъ мнѣ локоть. Непріятное чувство испытывалъ я въ эту минуту: какъ будто Богъ вѣсть откуда взялось мертвое тѣло и увязалось за мной.

— Какъ хорошо было двадцать лѣтъ тому назадъ—помните?—воскликнулъ онъ, и даже ротъ на мгновеніе разинулъ, какъ бы вдыхая въ себя невѣсть какой ароматъ.

Я не отвѣтилъ, но онъ не сконфузился этимъ и еще крѣпче сжалъ мой локоть.

— Вы были въ то время неправы относительно меня,—продолжалъ онъ:

—мы когда-нибудь объ этомъ поговоримъ на досугѣ. Старыхъ недоразумѣній не должно быть. Вы куда ѣдете?

Я назвалъ нѣсколько пунктовъ.

— Приблизительно, это и мой маршрутъ. Скажите, что̀ это за чудакъ, который васъ сопровождаетъ?

Я сказалъ.

— Эти дамы—его жена и дочь?

Стрекоза надѣлъ на глаза пенснé и, сжавши губы, внимательно осмотрѣлъ Надежду Лаврентьевну и Наташеньку, которая сидѣла за общимъ столомъ и кушала цыпленка, словно играя имъ.

— Интересныя особы!—процѣдилъ Стрекоза сквозь зубы:—можно съ ними познакомиться?

— Полагаю.

Въ эту минуту я замѣтилъ, что Прокопъ, совсѣмъ запыхавшись, бѣжитъ въ нашемъ направленіи, доѣдая на-бѣгу пирогъ, кусокъ котораго еще торчалъ у него во рту.

— Ну, что̀! говорилъ я! и вышла моя правда!—кричалъ онъ еще издали, махая руками.

Наконецъ подбѣжалъ и торжественно объявилъ:

— Науматуллу видѣлъ.

— Да ты хоть бы говорилъ толкомъ!—возразилъ я, едва воздерживаясь отъ раздраженія.

— Изъ Белью Науматуллу; онъ тоже за границу ѣдетъ, вотъ съ нимъ, вонъ съ этимъ... ну, вонъ что̀ въ ермолкѣ у насъ въ вагонѣ сидитъ!

— Ну, и пускай ѣдетъ. Какое, наконецъ, намъ до этого дѣло!

— Какъ какое? Я отъ Науматуллы узналъ про *него*. Онъ—принцъ, братецъ, только инкогнито.

— Душа моя! это, наконецъ, утомительно!

— Ты сперва взгляни, а потомъ говори! Вонъ они рядомъ сидятъ. Науматулла-то ужъ разсчитался съ Белью, теперь у принца камергеромъ служитъ.

Какъ ни глупо все это представлялось, но я невольно взглянулъ впередъ. Дѣйствительно, восточный человѣкъ сидѣлъ за общимъ столомъ и пилъ шампанское, которое Науматулла изъ Белью (я тотчасъ же узналъ его) наливалъ ему.

— Ты вотъ все бѣгаешь,—сказалъ я Прокопу:—теперь ѣду прозѣваешь, а потомъ будешь жаловаться, что голоденъ. Садись-ка лучше, ѣшь.

— Нѣтъ, я хочу тебѣ доказать! хоть я и не отгадчикъ, а взглядъ у меня есть! Псст... псст...—сдѣлалъ онъ, кивая головой по направленію къ Науматуллѣ.

Науматулла всталъ, что-то почтительно пошепталъ восточному человѣку, потомъ налилъ три бокала, поставилъ на тарелку и поднесъ намъ.

— Прынецъ проситъ здоровья кушать!—сказалъ онъ.

Прокопъ принялъ бокалъ и, выступя нѣсколько впередъ, церемоніально поклонился. Я и Стрекоза тоже машинально взяли бокалы и нѣкоторое время

совсѣмъ по-дурацки стояли съ ними, не рѣшаясь, пить или не пить. Восточный человѣкъ между тѣмъ во весь ротъ улыбался намъ.

— Что же это, однако, за принцъ такой?—спросилъ Стрекоза Науматуллу.

— Въ Эйдткуненъ все будемъ говорить; въ Эйдткуненъ—все чисто будемъ объяснять,—таинственно отвѣтилъ Науматулла:—а до Эйдткуненъ—не можемъ объяснять. Еще шампанскаго, господа, угодно?

— Да не мятежникъ ли это какой-нибудь?—усомнился вдругъ Прокопъ.

— Сказано: въ Эйдткуненъ все чисто объяснять будемъ. И больше ничего!—вновь подтвердилъ Науматулла и исчезъ съ опорожненными бокалами въ толпѣ.

— Какъ же къ нему обращаться? чай, титулъ у него какой-нибудь есть?—обезпокоился Прокопъ:—Науматулла, признаться, сказалъ мнѣ что-то, да вѣдь его развѣ поймешь? „Заблудащій“, говоритъ,—вотъ и думай!

— Въ Эйдткуненѣ узнаемъ-съ,—отозвался Стрекоза.

— Чай, бѣглый какой-нибудь,—продолжалъ Прокопъ: — ишь, шельма, смѣлый какой! не боится, такъ съ подлиннымъ обличьемъ и ѣдетъ! Вотъ бы тебя къ становому отсюда препроводить—и узналъ бы ты, гдѣ раки зимуютъ!

— Въ Вержболовѣ, по всей вѣроятности, такъ и поступлено будетъ,—вновь отозвался Стрекоза.

— И все-таки принцъ! тамъ какъ ни дразнись свинымъ ухомъ, а и у нихъ, коли принцъ, такъ сейчасъ видно, что есть что-то свыше. Вотъ кабы онъ къ Наташенькѣ присватался, я бы его въ нашу православную вѣру перевелъ... ха-ха! А что ты думаешь! уѣхали бы всѣ вмѣстѣ въ Ташкентъ, стали бы новые необременительные налоги придумывать, дворъ бы, по примѣру прочихъ принцевъ, завели, Патти бы выписали...

— Христосъ съ тобой! вѣдь Ташкентъ-то ужъ русскій!

— А можетъ, царь и проститъ, назадъ велитъ отдать. Мы противъ Русской Имперіи — ничего, мы — вѣрные слуги; вотъ коканцы — тѣ мятежники. А мы бумагу такую напишемъ, чтобы, значитъ, ни вамъ, ни намъ. Смотри-ка! да никакъ Науматулла опять съ шампанскимъ идетъ! Постой, я его разспрошу!

Дѣйствительно, Науматулла опять стоялъ передъ нами съ наполненными бокалами, и говорилъ:

— Вторично прынецъ велѣлъ здоровья кушать! Всѣ будьте здоровы! Кофій, чай, шкаладъ — кому что угодно, все спрашивайте! все подавать велѣно!

— Да кто твой принцъ! сказывай!—спросилъ Прокопъ:—можетъ, онъ мятежникъ?

— Въ Эйдткуненъ—все говоримъ; до Эйдткуненъ—ничего говорить не можемъ!

— Пить ли?—усомнился Прокопъ, обращаясь ко мнѣ.

Къ счастію, звонокъ прервалъ всѣ эти вопросы и недоразумѣнія. Мы на-скоро выпили шампанское и поспѣшили въ вагонъ, причемъ я, на ходу, представилъ другъ другу Стрекозу и Прокопа. Восточный человѣкъ былъ уже на мѣстѣ, и Прокопъ, сказавъ мнѣ: „воля твоя, а я его буду благодарить!“

— подошелъ къ нему. На что восточный человѣкъ отвѣтилъ очень привѣтливо, протянувъ руку на диванъ и какъ бы приглашая Прокопа сѣсть на нее.

Надо отдать справедливость Прокопу—онъ отнесся къ этой пантомимѣ довольно недовѣрчиво и сѣлъ поодаль. Затѣмъ онъ попытался завести разговоръ и, какъ всегда водится въ подобныхъ случаяхъ, даже выдумалъ совершенно своеобразный языкъ, для объясненія съ восточнымъ человѣкомъ.

— Далеко? луанъ?—спросилъ онъ, и, для ясности нѣсколько разъ махнувъ рукою въ воздухѣ, показалъ пальцемъ въ окно.

Восточный человѣкъ засмѣялся, и тоже показалъ пальцемъ въ окно.

— Дѣла есть?—аферъ иль-я?

Восточный человѣкъ продолжалъ смѣяться и показывать пальцемъ въ окно.

— И я тоже туда! е муа осси леба! Только я, братъ, безъ дѣла—комса!

Очевидно было, однакожъ, что восточный человѣкъ или не понималъ, или упорно притворялся непонимающимъ. Онъ только смотрѣлъ какъ-то удивительно весело, раскрывъ ротъ до ушей.

— Не понимаешь? — утомился наконецъ и Прокопъ:—ну, нечего дѣлать, давай такъ сидѣть! другъ на дружку смотрѣть станемъ!

Начали смотрѣть другъ на друга, и вдругъ оба захохотали. За ними захохотали и другіе, такъ что Надежда Лаврентьевна обезпокоилась и выглянула изъ-за двери.

— Наденька! поди сюда!—вотъ это принцъ! а это—ма фамъ!—рекомендовалъ ихъ другъ другу Прокопъ.

Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и какъ-то конфузливо оглядывалась. Между тѣмъ принцъ, съ ловкостью восточнаго человѣка, вскочилъ съ своего мѣста, отвернулъ полу халата, порылся въ карманѣ штановъ, и поднесъ Надеждѣ Лаврентьевнѣ шепталу, держа ее между двумя пальцами.

— Бери! послѣ за окно выбросишь!—разрѣшилъ Прокопъ недоумѣніе жены своей:—принцъ вѣдь онъ! Ишь вѣдь, свиное ухо, куда вздумалъ гостинцы прятать! въ штаны!

Однако, какъ ни мало-требователенъ былъ Прокопъ насчетъ развлеченій, и ему повидимому надоѣло смотрѣть на восточнаго человѣка и смѣяться съ нимъ.

— Будетъ, братъ!—сказалъ онъ: — послѣ, ежели захочется, давай и опять смотрѣться!

А мнѣ, покуда все это происходило, было совсѣмъ тяжело, потому что ко мнѣ подсѣлъ Стрекоза и самымъ серьезнымъ образомъ допрашивалъ, почему я его не уважаю?

— Изъ чего вы это заключаете?—отбивался я, какъ умѣлъ.

— Нѣтъ, это для меня вопросъ рѣшенный: я по глазамъ вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?

Я бился какъ рыба объ ледъ, стараясь ежели не разувѣрить, то по крайней мѣрѣ успокоить моего собесѣдника. Но онъ не унимался и только видоизмѣнилъ свой вопросъ:

— Вы мои послѣднія распоряженія читали? Не читали? а между тѣмъ судите обо мнѣ!

Въ это время, къ моему удовольствію, подошелъ къ намъ Прокопъ и произнесъ:

— Чортъ ихъ знаетъ, эти татары! вотъ и смѣялся, кажется, а смерть какъ скучно! Какову онъ конфетку Надеждѣ Лаврентьевнѣ подарилъ? замѣтилъ?

Наконецъ начало и темнѣть въ вагонахъ. Проѣхали Псковъ, отобѣдали, стали подъѣзжать къ Острову. Всѣ были утомлены, потягивались и зѣвали; многіе пробовали заснуть, но не могли. Съ полчаса было въ вагонѣ тихо—только слышалось, какъ восточный человѣкъ чавкалъ шепталу и щелкалъ миндальные орѣхи. Потомъ вдругъ все опять заворочалось, стараясь половчѣе усѣсться, и вдругъ всѣ очутились сидящими прямо и глядящими другъ другу въ глаза.

— Вотъ-то, братъ, тоска!—произнесъ Прокопъ:—хоть бы сказку кто разсказалъ!

Тогда мнѣ припомнилось, что генералъ обѣщалъ разсказать исторію о томъ, какъ онъ свелъ знакомство съ чортомъ, и я немедленно сообщилъ эту мысль Прокопу.

— А что жъ! и прекрасно! можетъ быть, и разгуляемся! Генералъ! помнишь, ты ему обѣщалъ исторію свою разсказать? вотъ бы теперь — чего лучше! Господа! будемъ всѣ просить генерала!

Генералъ нѣсколько затруднился, но такъ какъ мы всѣ его обступили и въ самыхъ почтительныхъ выраженіяхъ просили доставить намъ своимъ разсказомъ живѣйшее удовольствіе, то онъ наконецъ согласился. Но прежде нежели приступить къ самому разсказу, онъ всталъ, разстегнулъ сюртукъ, рубашку и фуфайку и показалъ намъ опять ту надпись, которая хранилась у него на груди пониже лѣваго соска, и о которой я уже говорилъ читателю.

— Смотрите, господа!—сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ:—ибо эта печать есть истинный герой предстоящаго разсказа!

Затѣмъ онъ высморкался, откашлялся и разсказалъ намъ слѣдующее *).

Конецъ четвертаго тома.

*) По обстоятельствамъ осталось неоконченнымъ.—*Замѣч. автора*

Типографія М. М. Стасюлевича. Спб. Вас. Остр., 2 линія, 7.

PG
3361
S3
1889
t.4

Saltykov, Mikhail Evgrafovich
Sochineniia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY